Эдгар Аллан По

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
сочинений
В ОДНОМ ТОМЕ

- Эдгар Аллан По
  - Рассказы
    - Фолио Клуб
    - Тишина. Притча
    - Метценгерштейн
    - Герцог де л'Омлет
    - На стенах Иерусалимских
    - Без дыхания
    - Бон-Бон
    - Рукопись, найденная в бутылке
    - Свидание
    - Береника
    - Морелла
    - Страницы из жизни знаменитости
    - Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля
    - Король Чума. Аллегорический рассказ[360]
    - Тень. Парабола
    - Четыре зверя в одном (Человеко-жираф)
    - Мистификация
    - Лигейя
    - Как писать рассказ для «Блэквуда»
    - Трагическое положение (Коса времени)
    - Чёрт на колокольне
    - Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской[488] кампании
    - Падение дома Ашеров
    - Вильям Вильсон
    - Разговор Эйрос и Хармионы[545]
    - Почему французик носит руку на перевязи
    - Делец
    - Человек толпы
    - Убийство на улице Морг
    - Тайна Мари Роже
    - Низвержение в Мальстрем[601]
    - Остров феи
    - Беседа Моноса и Уны

- Не закладывай чёрту своей головы
- Элеонора
- Три воскресенья на одной неделе
- Овальный портрет
- Маска Красной смерти
- Колодец и маятник
- Сердце-обличитель
- Золотой жук
- Чёрный кот
- Надувательство как точная наука
- Очки
- Повесть Крутых гор
- Преждевременное погребение
- Месмерическое откровение
- Продолговатый ящик
- Ангел Необъяснимого
- «Ты еси муж, сотворивый сие!»
- Литературная жизнь Какваса Тама, Эсквайра
- Похищенное письмо
- Тысяча вторая сказка Шехерезады
- Разговор с мумией
- Сила слов
- Бес противоречия
- Система доктора Смоля и профессора Перро
- Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром
- Сфинкс
- Бочонок Амонтильядо
- Поместье Арнгейм
- Домик Лэндора. Дополнение к «Поместью Арнгейм»
- Mellonta tauta[1016]
- Прыг-Скок
- Фон Кемпелен и его открытие
- Как была набрана одна газетная заметка
- Маяк

- Повесть о приключениях Артура Гордона Пима
  - Предисловие
  - 1

        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
        - 8
        - 9
        - 10
        - 11
        - 12
        - 13
        - 14
        - 15
        - 16
        - 17
        - 18
        - 19
        - 20
        - 21
        - 22
        - 23
        - 24
        - 25
        - От издателя
    - Дневник Джулиуса Родмена
        - Глава I
        - Глава II
        - Глава III
        - Глава IV
        - Глава V
        - Глава VI
    - Эссе
        - Философия обстановки
        - Лось (Утро на Виссахиконе)
        - История с воздушным шаром
        - Философия творчества

        - Новеллистика Натаниэля Готорна
        - Эврика. Поэма в прозе
        - Поэтический принцип
    - Стихотворения и поэмы
        - O, Tempora! O, Mores!
        - Тамерлан
        - Песня
        - Имитация
        - Сон
        - Озеро
        - Духи мертвых
        - Вечерняя звезда
        - Мечты
        - Стансы
        - «Счастливый день! Счастливый час!»
        - Маргарет
        - Один
        - Айзеку Ли
        - К ручью…
        - К…
        - Романс
        - Страна фей
        - Сонет к науке
        - Аль-Аарааф
        - Акростих
        - Элизабет Р. Херринг
        - К Елене
        - Пэан
        - Спящая
        - Город среди моря
        - Долина тревоги
        - Израфел
        - Загадка
        - Колизей
        - Серенада
        - Той, которая в раю
        - Гимн

    - В альбом Фрэнсис С. Осгуд
    - Подвенечная баллада
    - Сонет к Занте
    - Призрачный замок
    - Молчание. Сонет
    - Червь-победитель
    - Линор
    - Страна снов
    - К Ф…
    - Евлалия. Песня
    - Ворон
    - Ворон
    - Нет королей Господней властью
    - Возлюбленной в Валентинов день
    - To M.L.S
    - Улялюм
    - Строки в честь эля
    - Марии Луизе
    - Загадочный сонет
    - К Елене
    - Сновиденье в сновиденьи
    - Эльдорадо
    - К Анни
    - Сонет к моей матери
    - Аннабель-Ли
    - Колокола
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10

- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47

- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84

- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121

- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158

- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195

- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232

- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269

- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306

- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343

- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380

- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417

- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454

- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491

- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528

- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565

- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602

- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639

- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676

- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713

- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750

- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787

- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824

- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861

- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898

- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935

- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972

- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 1000
- 1001
- 1002
- 1003
- 1004
- 1005
- 1006
- 1007
- 1008
- 1009

- 1010
- 1011
- 1012
- 1013
- 1014
- 1015
- 1016
- 1017
- 1018
- 1019
- 1020
- 1021
- 1022
- 1023
- 1024
- 1025
- 1026
- 1027
- 1028
- 1029
- 1030
- 1031
- 1032
- 1033
- 1034
- 1035
- 1036
- 1037
- 1038
- 1039
- 1040
- 1041
- 1042
- 1043
- 1044
- 1045
- 1046

- 1047
- 1048
- 1049
- 1050
- 1051
- 1052
- 1053
- 1054
- 1055
- 1056
- 1057
- 1058
- 1059
- 1060
- 1061
- 1062
- 1063
- 1064
- 1065
- 1066
- 1067
- 1068
- 1069
- 1070
- 1071
- 1072
- 1073
- 1074
- 1075
- 1076
- 1077
- 1078
- 1079
- 1080
- 1081
- 1082
- 1083

- 1084
- 1085
- 1086
- 1087
- 1088
- 1089
- 1090
- 1091
- 1092
- 1093
- 1094
- 1095
- 1096
- 1097
- 1098
- 1099
- 1100
- 1101
- 1102
- 1103
- 1104
- 1105
- 1106
- 1107
- 1108
- 1109
- 1110
- 1111
- 1112
- 1113
- 1114
- 1115
- 1116
- 1117
- 1118
- 1119
- 1120

- 1121
- 1122
- 1123
- 1124
- 1125
- 1126
- 1127
- 1128
- 1129
- 1130
- 1131
- 1132
- 1133
- 1134
- 1135
- 1136
- 1137
- 1138
- 1139
- 1140
- 1141
- 1142
- 1143
- 1144
- 1145
- 1146
- 1147
- 1148
- 1149
- 1150
- 1151
- 1152
- 1153
- 1154
- 1155
- 1156
- 1157

- 1158
- 1159
- 1160
- 1161
- 1162
- 1163
- 1164
- 1165
- 1166
- 1167
- 1168
- 1169
- 1170
- 1171
- 1172
- 1173
- 1174
- 1175
- 1176
- 1177
- 1178
- 1179
- 1180
- 1181
- 1182
- 1183
- 1184
- 1185
- 1186
- 1187
- 1188
- 1189
- 1190
- 1191
- 1192
- 1193
- 1194

- 1195
- 1196
- 1197
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Эдгар Аллан По
Полное собрание сочинений

Рассказы

Фолио Клуб

Тут хитрость в духе Макьявелли —
Ее не все понять сумели.

Батлер[1]

1832
пер. З. Александровой.

Должен с сожалением сказать, что Фолио Клуб — не более как скопище скудоумия. Считаю также, что члены его столь же уродливы, сколь глупы. Полагаю, что они твердо решили уничтожить Литературу, ниспровергнуть Прессу и свергнуть Правительство Имен Собственных и Местоимений. Таково мое личное мнение, которое я сейчас осмеливаюсь огласить.

А между тем, когда я, всего какую-нибудь неделю назад, вступал в это дьявольское объединение, никто не испытывал к нему более глубокого восхищения и уважения, чем я. Отчего в моих чувствах произошла перемена, станет вполне ясно из дальнейшего. Одновременно я намерен реабилитировать собственную личность и достоинство Литературы. Обратившись к протоколам, я установил, что Фолио Клуб был основан как таковой — дня — месяца — года. Я люблю начинать с начала и питаю особое пристрастие к датам. Согласно одному из пунктов принятого в ту пору Устава, членами Клуба могли быть только лица образованные и остроумные; а признанной целью их союза было «просвещение общества и собственное развлечение». Ради этой последней цели на дому одного из членов клуба ежемесячно проводится собрание, куда каждый обязан принести сочиненный им самим Короткий Рассказ в Прозе. Каждое такое сочинение читается автором перед собравшимися за стаканом вина, после обеда. Все, разумеется, соперничают друг с другом, тем более что автор «Лучшего Рассказа» становится pro tern[2] Председателем клуба; должность эта весьма почетна, почти не сопряжена с расходами и сохраняется за занимающим ее лицом, пока его не вытеснит еще лучший рассказчик. И наоборот, автор рассказа,

признанного худшим, обязан оплатить обед и вино на следующем очередном собрании общества. Это оказалось отличным способом привлекать время от времени новых членов вместо какого-нибудь несчастливца, который, проиграв такое угощение два-три раза подряд, натурально отказывался и от «высокой чести» и от членства. Число членов Клуба не должно превышать одиннадцати. На это имеется ряд основательных причин, которые нет надобности излагать, но о которых догадается всякий мыслящий человек. Одна из них состоит в том, что первого апреля, в год триста пятидесятый перед Потопом, на солнце, как говорят, было ровно одиннадцать пятен. Читатель заметит, что в этом кратком очерке истории Общества я не даю воли своему негодованию и пишу с редким беспристрастием и терпимостью. Для expose[3], которое я намерен сделать, достаточно привести протокол собрания Клуба от прошлого вторника, когда я дебютировал в качестве члена этого общества, будучи избран вместо достопочтенного Огастеса Зачерктона, вышедшего из его состава.

В пять часов пополудни я, как было условлено, явился к мистеру Руж-э-Нуар, почитателю леди Морган[4], признанному в предыдущем месяце автором худшего рассказа. Я застал собравшихся уже в столовой и должен признать, что яркий огонь камина, комфортабельная обстановка комнаты и отлично сервированный стол, равно как и достаточная уверенность в своих способностях, настроили меня весьма приятно. Я был встречен с большим радушием и пообедал, крайне довольный вступлением в общество столь знающих людей.

Членами его были большей частью очень примечательные личности. Это был прежде всего мистер Щелк, председатель, чрезвычайно худой человек с крючковатым носом, бывший сотрудник «Обозрения для глупцов».

Был там также мистер Конволвулус Гондола, молодой человек, объездивший много стран.

Был Де Рерум Натура, эсквайр, носивший какие-то необыкновенные зеленые очки.

Был очень маленький человечек в черном сюртуке, с черными глазами.

Был мистер Соломон Гольфштрем, удивительно похожий на рыбу.

Был мистер Оррибиле Дикту, с белыми ресницами и дипломом Геттингенского университета.

Был мистер Блэквуд Блэквуд[5], написавший ряд статей для иностранных журналов.

Был хозяин дома, мистер Руж-э-Нуар, поклонник леди Морган.

Был некий толстый джентльмен, восхищавшийся Вальтером Скоттом.

Был еще Хронологос Хронолог, почитатель Хорейса Смита[6], обладатель большого носа, побывавшего в Малой Азии.

Когда убрали со стола, мистер Щелк сказал, обращаясь ко мне: «Полагаю, сэр, что едва ли есть надобность знакомить вас с правилами Клуба. Вам, я думаю, известно, что мы стремимся просвещать общество и развлекать самих себя. Сегодня, однако, мы ставим себе лишь эту вторую цель и ждем, чтобы и вы внесли свой вклад. А сейчас я приступлю к делу». Тут мистер Щелк, отставив от себя бутылку, достал рукопись и прочел следующее:[7]

Тишина. Притча

Горные вершины дремлют;
В долинах, утесах и пещерах тишина.

Алкман[412]

«Внемли мне, — молвил Демон, возлагая мне руку на голову. — Край, о котором я повествую, — унылый край в Ливии, на берегах реки Заиры, и нет там ни покоя, ни тишины.

Воды реки болезненно-шафранового цвета; и они не струятся к морю, но всегда и всегда вздымаются, бурно и судорожно, под алым оком солнца. На многие мили по обеим сторонам илистого русла реки тянутся бледные заросли гигантских водяных лилий. Они вздыхают в безлюдье, и тянут к небу длинные, мертвенные шеи, и вечно кивают друг другу. И от них исходит неясный ропот, подобный шуму подземных вод. И они вздыхают.

Но есть граница их владениям — ужасный, темный, высокий лес. Там, наподобие волн у Гебридских островов, непрестанно колышется низкий кустарник. Но нет ветра в небесах. И высокие первобытные деревья вечно качаются с могучим шумом и грохотом. И с их уходящих ввысь вершин постоянно, одна за другою, надают капли росы. И у корней извиваются в непокойной дремоте странные ядовитые цветы. И над головою, громко гудя, вечно стремятся на запад серые тучи, пока не перекатятся, подобно водопаду, за огненную стену горизонта. Но нет ветра в небесах. И по берегам реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и падал дождь; и, падая, то был дождь, но, упав, то была кровь. И я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на голову — и лилии кивали друг другу и вздыхали в торжественном запустении.

И мгновенно сквозь прозрачный мертвенный туман поднялась багровая луна. И взор мой упал на громадный серый прибрежный утес, озаренный светом луны. И утес был сер, мертвен, высок, — и утес был сер. На нем были высечены письмена. И по трясине, поросшей водяными лилиями, я подошел к самому берегу, дабы

прочитать письмена, высеченные на камне. Но я не мог их постичь. И я возвращался в трясину, когда еще багровей засияла луна, и я повернулся и вновь посмотрел на утес и на письмена, и письмена гласили: запустение.

И я посмотрел наверх, и на краю утеса стоял человек; и я укрылся в водяных лилиях, дабы узнать его поступки. И человек был высок и величав и завернут от плеч до ступней в тогу Древнего Рима. И очертания его фигуры были неясны — но лик его был ликом божества; и ризы ночи, тумана, луны и росы не скрыли черт его лица. И чело его было высоко от многих дум, и взор его был безумен от многих забот; и в немногих бороздах его ланит я прочел повествование о скорби, усталости, отвращении к роду людскому и жажде уединения.

И человек сел на скалу и склонил голову на руку и смотрел на запустение. Он смотрел на низкий непокойный кустарник, и на высокие первобытные деревья, и на полные гула небеса, и на багровую луну. И я затаился в сени водяных лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

И человек отвел взор от неба и взглянул на унылую реку Заиру[413], и на мертвенную желтую воду, и на бледные легионы водяных лилий. И человек внимал вздохи водяных лилий и ропот, не умолкавший среди них. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я спустился в трясину и направился по воде в глубь зарослей водяных лилий и позвал гиппопотамов, живущих на островках среди топи. И гиппопотамы услышали мой зов и пришли с бегемотом[414] к подножью утеса и рычали, громко и устрашающе, под луной. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожала уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я проклял стихии проклятием буйства; и страшная буря разразилась на небесах, где до того не было ветра. И небо потемнело от ярости бури — и дождь бил по голове человека — и река вышла из берегов — и воды ее вспенились от мучений — и водяные лилии пронзительно кричали — и деревья рушились под натиском ветра — и перекатывался гром — и низвергалась молния — и утес был сотрясен до основания. И я притаился в моем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он сидел на утесе.

Тогда я разгневался и проклял проклятием тишины реку и лилии, ветер и лес, небо и гром и вздохи водяных лилий. И они стали прокляты и затихли. И луна перестала карабкаться ввысь по небесной тропе, и гром заглох, и молния не сверкала, и тучи недвижно повисли, и воды вернулись в берега и застыли, и деревья более не качались, и водяные лилии не кивали друг другу и не вздыхали, и меж ними не слышался ропот, не слышалось и тени звука в огромной, бескрайней пустыне. И я взглянул на письмена утеса и увидел, что они изменились; и они гласили: тишина.

И взор мой упал на лицо человека, и лицо его было бледно от ужаса. И он поспешно поднял голову и встал на утесе во весь рост и слушал. Но не было ни звука в огромной бескрайней пустыне, и письмена на утесе были: тишина. И человек затрепетал и отвернулся и кинулся прочь, так что я его более не видел».

Да, прекрасные сказания заключены в томах Волхвов, в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе и о Земле, и о могучем море, и о Джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях Сивилл; и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны[415], но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснейшей всех! И, завершив свой рассказ, Демон снова упал в разверстую могилу и засмеялся. И я не мог смеяться с Демоном, и он проклял меня, потому что я не мог смеяться. И рысь, что вечно живет в могиле, вышла и простерлась у ног Демона и неотрывно смотрела ему в лицо[416].

1838

пер. В. Рогова

Метценгерштейн

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero[8]

Martin Luther

Ужас и рок шествовали по свету во все века. Стоит ли тогда говорить, к какому времени относится повесть, которую вы сейчас услышите? Довольно сказать, что в ту пору во внутренних областях Венгрии тайно, но упорно верили в переселение душ. О самом этом учении — то есть о ложности его или, напротив, вероятности — я говорить не стану. Однако же я утверждаю, что недоверчивость наша по большей части (а несчастливость, по словам, Лабрюйера, всегда) «vient de ne pouvoir etre seui»[9].

Суеверье венгров кое в чем граничило с нелепостью. Они — венгры весьма существенно отличались от своих восточных учителей. Например, душа, говорили первые (я привожу слова одного проницательного и умного парижанина), «ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un homme meme, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»[10].

Веками враждовали между собою род Берлифитцингов и род Метценгерштейнов. Никогда еще жизнь двух столь славных семейств не была отягощена враждою столь ужасной. Источник этой розни кроется, пожалуй, в словах древнего пророчества: «Высоко рожденный падет низко, когда, точно всадник над конем, тленность Метценгерштейнов восторжествует над нетленностью Берлифитцингов». Разумеется, слова эти сами по себе мало что значили. Но причины более обыденные в самом недавнем времени привели к событиям, столь же непоправимым. Кроме того, земли этих семейств соприкасались, что уже само по себе с давних пор рождало соперничество. К тому же близкие соседи редко состоят в дружбе, а обитатели замка Берлифитцинг со своих высоких стен могли заглядывать в самые окна дворца Метценгерштейн. И едва ли не королевское великолепие, которое таким образом открывалось их взорам, менее всего способно было успокоить ревнивые чувства

семейства не столь древнего и не столь богатого. Можно ли тогда удивляться, что, каким бы нелепым ни было то прорицание, оно вызвало и поддерживало распрю двух родов, которые, подстрекаемые соперничеством, переходящим из поколения в поколение, и без того непременно должны были враждовать. Пророчество, казалось, лишь предрекло — если оно вообще предрекало что бы то ни было окончательное торжество дома, и без того более могущественного, а домом слабейшим и менее влиятельным вспоминалось, конечно же, с горькою злобой.

Высокородный Вильгельм, граф Берлифитцинг, в ту пору, о которой идет рассказ, был дряхлым, впавшим в детство стариком и отличался единственно неумеренной и закоренелой неприязнью к семье своего соперника и столь страстной любовью к лошадям и охоте, что ни дряхлость тела, ни преклонный возраст, ни ослабевший ум не мешали ему всякий божий день подвергать себя опасностям полеванья. Фредерик, барон Метценгерштейн, напротив того, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер молодым. Мать, баронесса Мария, ненадолго пережила своего супруга. Фредерику в ту пору шел девятнадцатый год. В городе восемнадцать лет — срок не долгий, на приволье же, да еще столь великолепном, каким было старое поместье, течение времени исполнено более глубокого смысла. Благодаря некоторым особым обстоятельствам юный барон стал полновластным хозяином громадных богатств сразу же после смерти своего отца. Мало у кого из венгерских вельмож были такие имения. Замкам его не было числа. Но самым большим и самым великолепным был дворец Метценгерштейн. Пределы его владений никогда не были в точности обозначены, но граница главного парка протянулась на пятьдесят миль. В том, как поведет себя новый владелец, такой юный, с характером так хорошо известным, получив столь беспримерное богатство, мало у кого были сомнения. И разумеется, в первые же три дня наследник дал себе полную волю и превзошел самые смелые ожидания самых горячих своих поклонников. Бесстыдный разгул, вопиющее вероломство, неслыханные жестокости быстро показали его трепещущим вассалам, что ни рабская их покорность, ни голос совести не послужат им отныне защитой от безжалостных когтей маленького Калигулы. В ночь на четвертый день загорелись конюшни замка Берлифитцинг; и вся округа единодушно присовокупила этот

поджог к и без того чудовищному списку беззаконий и злодеяний барона. Но во время суматохи, вызванной этим происшествием, сам юный вельможа сидел погруженный в глубокое раздумье в огромной мрачной зале в верхнем этаже родового дворца Метценгерштейнов. На пышных, хотя и выцветших гобеленах, что висели по стенам, смутно проступали величественные фигуры множества прославленных предков. Здесь облаченные в горностай епископы и кардиналы, как равные сидя рядом с властителем монархов, накладывают вето на желания какого-нибудь земного владыки либо именем верховной власти самого папы обуздывают дерзновенного врага рода человеческого. Там статные сумрачные князья Метценгерштейны — их могучие боевые кони топчут поверженных врагов, а решительное выражение их лиц способно испугать человека даже с весьма крепкими нервами; а вот исполненные неги и гибкие, как лебеди, дамы давних времен уплывают в призрачном танце под звуки воображаемой музыки. Но пока барон прислушивался или делал вид, что прислушивается к нараставшему в конюшнях Берлифитцинга шуму, а быть может, замышлял новое, еще более дерзкое злодейство, взгляд его, скользивший по гобеленам, упал на огромного, необычайной масти коня, который принадлежал какому-то сарацину, одному из предков его соперника. Конь изображен был на переднем плане, и был он недвижим, точно статуя, а в глубине умирал поверженный всадник, пронзенный кинжалом Метценгерштейна. Когда Фредерик понял, на чем случайно задержался его взгляд, губы его искривила дьявольская усмешка. Однако же он не отвел глаз. Напротив, он никак не мог понять, что за неодолимая тревога сковала все его существо. Не сразу, с трудом осознал он, что, несмотря на смутные бессвязные свои ощущения, он не спит, а бодрствует. Чем дольше смотрел он, тем больше поддавался чарам, и, казалось, никогда уже ему не оторвать завороженного взгляда от гобелена. Но шум и крики за окном вдруг сделались громче, и он с усилием заставил себя взглянуть на алые отблески, что отбрасывало на окна пламя, охватившее конюшни. Однако уже в следующий миг взгляд его вновь невольно обратился на тот же гобелен. К величайшему его ужасу и удивлению, голова гигантского коня тем временем изменила положение. Шея его, прежде склоненная словно бы сочувственно над распростертым телом господина, теперь вытянулась в сторону барона. Глаза, прежде

невидные, сейчас смотрели осмысленно, совсем по-человечески, и в них странно мерцал яростный багровый огонь; а губы рассвирепевшего коня растянулись, обнажая отвратительный мертвый оскал. Пораженный ужасом, молодой барон, шатаясь, устремился к двери. Распахнул ее, и тотчас в комнату ворвался красный свет и отбросил тень барона на затрепетавший гобелен; на мгновенье замешкавшись на пороге, он со страхом увидел, что она в точности совпала с очертаниями безжалостного и торжествующего убийцы, вонзившего кинжал в сарацина Берлифитцинга. Чтобы рассеять странный испуг, барон поспешно вышел на воздух. У главных ворот дворца он столкнулся с тремя конюшими. С великим трудом и с опасностью для жизни они сдерживали судорожно рвущегося из рук гигантского огненно-рыжего коня.

— Чей конь? Откуда он у вас? — хрипло, запальчиво спросил юноша, ибо он вдруг увидел, что это взбешенное животное двойник загадочного коня на гобелене.

— Конь ваш, ваша светлость, — отвечал один из конюших, — по крайней мере, никто не признал его своим. Мы поймали его, когда он вынесся из горящих конюшен Берлифитцинга, бока у него курились, на губах пена. Мы подумали, он графский, из конюшни чужеземных коней, и отвели его назад. Но там конюхи его не признали. Странно это, ведь сразу видно, что он вырвался прямо из огня.

— И на лбу у него клеймо, очень четкое, — вмешался второй конюший. — Вероятно, Уильям фон Берлифитцинг, но в замке все, как один, уверяют, будто никогда этого коня и в глаза не видели.

— Очень странно! — в недоумении сказал молодой барон, явно не задумываясь над смыслом своих слов. — Ведь и вправду удивительный, редкостный конь! Хотя, как вы весьма справедливо заметили, нрав у него подозрительный и непослушный. Что ж, пускай будет мой, — прибавил он, помолчав. — Быть может, Фредерик Метценгерштейн сумеет обуздать самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошиблись, ваша светлость. Мы уже говорили: лошадь эта не из конюшен графа. Будь она оттуда, мы бы не посмели привести ее пред глаза вашей светлости.

— В самом деле, — сухо заметил барон, и в этот миг из замка выбежал паж. Он шепнул на ухо господину, что в верхней зале

внезапно исчезла часть гобелена; сообщил также и подробности, но поведал он их едва слышным шепотом, так что ни одна не достигла ушей конюших, чье любопытство было сильно возбуждено. Фредерик слушал, и его, казалось, обуревали самые разные чувства. Однако же скоро к нему вновь вернулось самообладание, и, когда он властно приказал немедля запереть залу, о которой шла речь, и ключ отдать ему в собственные руки, лицо его выражало злую решимость.

— Вы слышали о неожиданной смерти старого Берлифитцинга? — спросил барона один из его вассалов, когда, после ухода пажа, могучий конь, которого этот вельможа согласился счесть своею собственностью, стал с удвоенной яростью кидаться из стороны в сторону на аллее, ведущей от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — отвечал барон, резко оборотясь к говорящему, — умер, вы говорите?

— Да, ваша светлость. И для вельможи из рода Метценгерштейнов, я полагаю, это не столь уж неприятное известие.

На губах барона промелькнула улыбка.

— Какою смертью он умер?

— Он отчаянно пытался спасти хотя бы лучшую часть своего конского завода и сам погиб в пламени.

— Вот как! — промолвил барон, словно бы не вдруг освоясь с мыслью, сильно его взволновавшей.

— Вот как, — подтвердил вассал.

— Ужасно! — хладнокровно сказал юноша и спокойно вошел в свой дворец.

С этих пор в поведении беспутного молодого барона Фредерика фон Метценгерштейна произошла разительная перемена. Он, право же, обманул ожидания всех и вся и, на взгляд бесчисленных маменек, повел себя престранно; привычками своими и манерами он еще меньше, нежели прежде, походил теперь на своих аристократических соседей. Никто отныне никогда не встречал его за пределами его владений, и, несмотря на широкое знакомство, он все свое время проводил в полном одиночестве, разве только странный, неподатливый огненно-рыжий конь, с которого он теперь почти не слезал, по какому-то загадочному праву мог называться его другом. Однако же он еще долгое время получал множество приглашений от соседей: «Не почтит ли барон наш праздник своим присутствием?», «Не соблаговолит ли

барон принять участие в охоте на вепря?». «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не приедет», — надменно и коротко отвечал он. Гордая знать не желала мириться со столь оскорбительной заносчивостью. Приглашения становились все менее радушными, приходили все реже, а со временем и вовсе прекратились. Говорят, вдова несчастного графа Берлифитцинга даже выразила надежду, что барону придется сидеть дома и тогда, когда ему совсем этого не захочется, ибо он презрел общество ровни, и придется скакать верхом, когда у него не будет к тому охоты, ибо он предпочел общество коня. Это, разумеется, была лишь весьма неумная вспышка наследственной розни; и она лишь доказывает, сколь бессмысленны бывают наши речи, когда мы желаем придать им особую силу.

Люди добросердечные объясняли, однако, перемену в поведении молодого вельможи вполне естественным горем сына, потрясенного безвременной смертью родителей, — они забывали при этом, как бессердечно и безрассудно вел он себя первое время после тяжкой этой утраты. Кое-кто полагал даже, что барон чересчур возомнил о своей особе и положении. Другие же (среди них можно назвать домашнего врача) уверенно говорили о склонности барона к болезненной меланхолии и о наследственной слабости здоровья; но большинство обменивалось зловещими намеками. Упрямую привязанность барона к недавно приобретенному скакуну, привязанность, которая, кажется, становилась сильней с каждым новым проявлением свирепой демонической натуры этого животного, люди здравомыслящие в конце концов, конечно же, сочли чудовищной и зловещей страстью. Среди бела дня или в глухой час ночи, здоров ли он был или болен, в ясную погоду или в бурю молодой Метценгерштейн, казалось, был прикован к седлу гигантского коня, чья неукротимая дерзость так отвечала его собственному нраву.

Существовали еще к тому же обстоятельства, которые вместе с недавними событиями придавали сверхъестественный и опасный смысл одержимости наездника и свойствам коня. Было тщательно измерено расстояние, которое конь преодолевал одним прыжком, и казалось, что оно ошеломляюще превысило все самые смелые ожидания людей, одаренных самым богатым воображением. Кроме того, барон не назвал этого скакуна никаким именем, хотя у всех прочих коней были свои особые клички. И конюшня его также

находилась в отдалении от остальных; а кормить, чистить и даже просто войти в отведенное ему стойло не отваживался никто, кроме самого владельца. Надо еще заметить, что хотя трое конюших, которые поймали жеребца, когда он спасался из объятых пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его с помощью уздечки и аркана, однако же ни один не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной схватки или когда-либо после он коснулся самого коня. Проявления редкостного ума в повадках благородного и резвого животного не должны были бы возбудить особых толков, но некоторые обстоятельства взбудоражили даже самых недоверчивых и равнодушных, и, говорят, иной раз целая толпа, собравшаяся поглазеть на диковинного коня, шарахалась в ужасе, словно чувствовала, что неспроста он так свирепо бьет копытом, и даже молодой Метценгерштейн, случалось, бледнел и съеживался под его пронзительным, испытующим, совсем человеческим взглядом.

Среди многочисленной свиты барона никто, однако, не сомневался в пылкости той необыкновенной любви, которую молодой вельможа питал к буйному норовистому коню; никто, кроме ничтожного и уродливого маленького пажа, чье уродство всем бросалось в глаза и чьи слова никто ни во что не ставил. У него хватало дерзости утверждать (если мнение его вообще заслуживает быть упомянутым), что всякий раз, как господин его вспрыгивал в седло, по его телу проходила непонятная, едва заметная дрожь; и всякий раз, как он возвращался с обычной своей долгой прогулки, лицо его было искажено злобным торжеством.

Однажды бурной ночью, очнувшись от тяжелой дремоты, Метценгерштейн точно безумный выбежал из своей спальни и, поспешно вскочив в седло, ускакал в лесную чащу. Так бывало не раз, и потому никто не обеспокоился, а вот возвращения его домочадцы на сей раз ожидали в большой тревоге, ибо через несколько часов после его отъезда могучие и величественные стены дворца Метценгерштейн треснули до самого основания и зашатались, охваченные синевато-багровым неукротимым пламенем. Когда огонь впервые заметили, дворец уже весь полыхал, и любые усилия спасти хоть какую-то его часть были, несомненно, обречены на неудачу, так что ошеломленные соседи праздно стояли вокруг и молча, хотя и сокрушенно, дивились происходящему. Но в скором времени новое и страшное зрелище

приковало внимание собравшихся и доказало, что человеческие муки потрясают чувства толпы куда глубже, нежели самая страшная гибель предметов неодушевленных.

На аллею, обсаженную могучими дубами, что вела из лесу прямо к дворцу Метценгерштейна, стремительно, точно сам мятежный дух бури, вылетел конь, неся смятенного всадника. Бесспорно, не всадник направлял эту неистовую скачку. Лицо его выражало муку, тело напряглось в сверхчеловеческом усилии, в кровь искусаны были губы, но лишь однажды вырвался у него короткий, пронзительный крик ужаса. Мгновенье — ив реве огня и вое ветра отчетливо и резко простучали копыта, еще мгновенье — и, одним прыжком перенесясь через ворота и ров, конь вскочил на готовую рухнуть лестницу дворца и вместе с всадником исчез в бушующих вихрях пламени. И сразу же буря утихла и воцарилась гнетущая тишина. Белое пламя все еще, точно саваном, окутывало дворец и, устремившись в безмятежную высь, озарило все окрест каким-то сверхъестественным светом, а над зубчатыми крепостными стенами тяжело нависло облако дыма, в очертаниях которого явственно угадывался гигантский конь.

14 января, 1832

пер. Р. Облонской

Герцог де л'Омлет

И вмиг попал он в климат попрохладней.[11]

Каупер

Китс[12] умер от рецензии. А кто это умер от «Андромахи»[13] Монфлери.[14] Автор «Parnasse Reforme»[15] заставляет его говорить в Гадесе[16]: «L'homme done qui voudrait savoir ce dont je suis mort, qu'il ne demande pas s'il fflt de fievreou de podagre ou d'autre chose, mais qu'il entende que ce fut de L'Andromache»[17]? Ничтожные душонки! Де л'Омлет погиб от ортолана[18]. L'histoire en est breve.[19] Дух Апиция[20], помоги мне!

Из далекого родного Перу маленький крылатый путешественник, влюбленный и томный, был доставлен в золотой клетке на Шоссе д'Антен. Шесть пэров империи передавали счастливую птицу от ее царственной владелицы, Ла Беллиссимы, герцогу де л'Омлет.

В тот вечер герцогу предстояло ужинать одному. Уединившись в своем кабинете, он полулежал на оттоманке — на той самой, ради которой он нарушил верность своему королю, отбив ее у него на аукционе, — на пресловутой оттоманке Cadet.

Он погружает лицо в подушки. Часы бьют! Не в силах далее сдерживаться, его светлость проглатывает оливку. Под звуки пленительной музыки дверь тихо растворяется, и нежнейшая из птиц предстает перед влюбленнейшим из людей. Но отчего на лице герцога отражается такой ужас?

— Horreur! — chien! — Baptiste! — l'oiseau! ah, bon Dieu! cet oiseau modeste que tu es deshabille de ses plumes, et que tu as servi sans papier![21]

Надо ли говорить подробнее? Герцог умирает в пароксизме отвращения.

— Ха-ха-ха! — произнес его светлость на третий день после своей кончины.

— Хи-хи-хи! — негромко откликнулся Дьявол, выпрямляясь с надменным видом.

— Вы, разумеется, шутите, — сказал де л'Омлет. — Я грешил — c'est vrai[22] — но рассудите, дорогой сэр, — не станете же вы приводить в исполнение столь варварские угрозы!

— Чего-й-то? — переспросил его величество. — А ну-ка, раздевайся, да поживее!

— Раздеться? Ну, признаюсь! Нет, сэр, я не сделаю ничего, подобного. Кто вы такой, чтобы я, герцог де л'Омлет, князь де Паштет, совершеннолетний, автор «Мазуркиады» и член Академии, снял по вашему приказу лучшие панталоны работы Бурдона, самый элегантный robe-de-chambre[23], когда-либо сшитый Ромбером, — не говоря уж о том, что придется еще снимать и папильотки и перчатки…

— Кто я такой? Изволь. Я — Вельзевул[24], повелитель мух. Я только что вынул тебя из гроба розового дерева, отделанного слоновой костью. Ты был как-то странно надушен, а поименован согласно накладной. Тебя прислал Белиал[25], мой смотритель кладбищ. Вместо панталон, сшитых Бурдоном, на тебе пара отличных полотняных кальсон, а твой robe-de-chambre просто саван изрядных размеров.

— Сэр! — ответил герцог, — меня нельзя оскорблять безнаказанно. Сэр! Я не премину рассчитаться с вами за эту обиду. О своих намерениях я вас извещу, а пока, au revoir[26]! — и герцог собирался уже откланяться его сатанинскому величеству, но один из придворных вернул его назад. Тут его светлость протер, глаза, зевнул, пожал плечами и задумался. Убедившись, что все это происходит именно с ним, он бросил взгляд вокруг.

Апартаменты были великолепны. Даже де л'Омлет признал их bien comme il faut[27]. Они поражали не столько длиною и шириною, сколько высотою. Потолка не было — нет — вместо него клубилась плотная масса огненных облаков. При взгляде вверх у его светлости закружилась голова. Оттуда спускалась цепь из неведомого кроваво-красного металла; верхний конец ее, подобно городу Бостону, терялся parmi les nues[28]. К нижнему был подвешен большой светильник. Герцог узнал в нем рубин; но он изливал такой яркий и страшный свет, какому никогда не поклонялась Персия, какого не воображал себе гебр[29], и ни один мусульманин, когда, опьяненный опиумом, склонялся на ложе из маков, оборотясь спиною к цветам, а лицом к

Аполлону. Герцог пробормотал проклятие, выражавшее явное одобрение.

Углы зала закруглялись, образуя ниши. В трех из них помещались гигантские изваяния. Их красота была греческой, уродливость — египетской, их tout ensemle[30] — чисто французским. Статуя, занимавшая четвертую нишу, была закрыта покрывалом; ее размеры были значительно меньше. Но видна была тонкая лодыжка и ступня, обутая в сандалию. Де л'Омлет прижал руку к сердцу, закрыл глаза, открыл их и увидел, что его сатанинское величество покраснел.

А картины! Киприда! Астарта! Ашторет![31] Их тысяча и все это — одно. И Рафаэль видел их! Да, Рафаэль побывал здесь; разве не он написал… и разве не тем погубил свою душу? Картины! Картины! О роскошь, о любовь! Кто, увидев эту запретную красоту, заметил бы изящные золотые рамы, сверкавшие точно звезды на стенах из гиацинта и порфира?

Но у герцога замирает сердце. Не подумайте, что он ошеломлен роскошью или одурманен сладострастным дыханием бесчисленных курильниц. C'est vrai que de toutes ces choses il a pense beaucoup — mais![32] Герцог де л'Омлет поражен ужасом; ибо сквозь единственное незанавешенное окно он видит пламя самого страшного из всех огней!

Le pauvre Due![33] Ему кажется, что звуки, которые непрерывно проникают в зал через эти волшебные окна, превращающие их в сладостную музыку, — не что иное, как стоны и завывания казнимых грешников. А там? — Вон там, на той оттоманке? — Кто он? Этот petit-maitre[34] — нет, божество — недвижный, словно мраморная статуя, — и такой бледный — et qui sourit, si amerement[35]?

Mais il fait agir[36] — то есть француз никогда не падает сразу в обморок. К тому же его светлость ненавидит сцены; и де л'Омлет овладевает собой. На столе лежит несколько рапир, в том числе обнаженных. Герцог учился фехтованию у Б. — Il avait tue ses six hommes[37]. Значит, il peut s'echapper[38]. Он выбирает два обнаженных клинка равной длины и с неподражаемой грацией предлагает их его величеству на выбор. Horreur![39] Его величество не умеет фехтовать. Mais il joue![40] — Какая счастливая мысль! — Впрочем, его светлость всегда отличался превосходной памятью. Он заглядывал в «Diable»[41],

сочинение аббата Гуалтье[42]. А там сказано, «que le Diable n'ose pas refuser un jeu d'ecarte»[43].

Но есть ли шансы выиграть? Да, положение отчаянное, но решимость герцога — тоже. К тому же, разве он не принадлежит к числу посвященных? Разве он не листал отца Лебрена[44]? Не состоял членом Клуба Vingt-Un[45]? «Si je perds, — говорит он, — je serai deux fois perdu[46], погибну дважды — voite tout![47] (Тут его светлость пожимает плечами). Si je gagne, je reviendrai 5 mes ortolans — que les cartes soient preparees![48]»

Его светлость — весь настороженность и внимание. Его величество — воплощенная уверенность. При виде их зрителю вспомнились бы Франциск и Карл[49]. Его светлость думал об игре. Его величество не думал; он тасовал карты. Герцог снял.

Карты сданы. Открывают козыря — это — да, это король! нет, дама! Его величество проклял ее мужеподобное одеяние. Де л'Омлет приложил руку к сердцу.

Они играют. Герцог подсчитывает. Талья окончилась. Его величество медленно считает, улыбается и отпивает глоток вина. Герцог сбрасывает одну карту.

— C'est a vous a faire[50], — говорит его величество, снимая. Его светлость кланяется, сдает и подымается из-за стола, en presentant le Roi[51].

Его величество огорчен.

Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном[52]; герцог же на прощанье заверил своего партнера, «que s'il n'eflt pas ete De L'Omelette, il n'aurait point d'objection d'etre le Diable». [53]

3 марта, 1832

пер. З. Александровой

На стенах Иерусалимских

Intonsos rigidam in frontem ascendere canos
Passus erat…

Lucan[54]

Поспешим на стены, — сказал Абель-Фиттим, обращаясь к Бузи бен Леви и Симону фарисею в десятый день месяца Таммуза[55], в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое[56]. — Поспешим на крепостной вал, примыкающий к Вениаминовым воротам, в граде Давидовом[57], откуда виден лагерь необрезанных; ибо близится восход солнца, последний час четвертой стражи[58], и неверные, во исполнение обещания Помпея[59], приготовили нам жертвенных агнцев.

Симон, Абель-Фиттим и Бузи бен Леви были гизбаримами, то есть младшими сборщиками жертвований в священном граде Иерусалиме.

— Воистину, — отозвался фарисей, — поспешим, ибо подобная щедрость в язычниках весьма необычна, зато переменчивость всегда отличала этих поклонников Ваала[60].

— Что они изменчивы и коварны, это столь же истинно, как Пятикнижие[61], — сказал Бузи бен Леви, — но только по отношению к народу Адонаи[62]. Слыхано ли, чтобы аммонитяне[63] поступались собственной выгодой? Невелика щедрость поставлять нам жертвенных агнцев по тридцати серебряных сиклей[64] с головы!

— Ты забываешь, бен Леви, — промолвил Абель-Фиттим, — что римлянин Помпеи, святотатственно осаждающий град Всевышнего, может подозревать, что купленных жертвенных агнцев мы употребим на потребности нашего тела, а не духа.

— Клянусь пятью углами моей бороды! — воскликнул фарисей, принадлежавший к секте так называемых топальщиков (небольшой группе праведников, которые так усердно истязали себя, ударяя ногами о мостовую, что были живым упреком для менее ревностных верующих и камнем преткновения на пути менее талантливых пешеходов). — Клянусь пятью углами этой бороды, которую мне, как

священнослужителю, не дозволено брить! Неужели мы дожили до того, что римский богохульник, язычник и выскочка осмелился заподозрить нас в присвоении священных предметов на потребу плоти? Неужели мы дожили?..

— Не станем допытываться о побуждениях филистимлянина[65], — прервал его Абель-Фиттим, — ибо сегодня впервые пользуемся его великодушием, а может быть, жаждой наживы. Поспешим лучше на городскую стену, дабы не пустовал жертвенник, чей огонь негасим под дождями небесными, а дымный столп неколеблем бурями.

Та часть города, куда поспешали наши почтенные гизбаримы и которая носила имя своего строителя царя Давида, почиталась наиболее укрепленной частью Иерусалима, ибо была расположена на крутом и высоком Сионском холме. Вдоль широкого и глубокого кругового рва, вырубленного в скалистом фунте, была воздвигнута крепкая стена. На стене, через равные промежутки, подымались четырехугольные башни белого мрамора, из которых самая низкая имела в вышину шестьдесят, а самая высокая — сто двадцать локтей. Но вблизи Вениаминовых ворот стена отступала от края рва. Между рвом и основанием стены возвышалась отвесная скала в двести пятьдесят локтей, составлявшая часть крутой горы Мориа. Таким образом, взойдя на башню, носившую название Адони-Бэзек, — самую высокую из всех башен вокруг Иерусалима, откуда обычно велись переговоры с осаждавшими, — Симон и его спутники могли видеть неприятельский лагерь с высоты, на много футов превышающей пирамиду Хеопса, а на несколько футов — даже храм Бела[66].

— Воистину, — вздохнул фарисей, опасливо взглянув с этой головокружительной высоты, — необрезанных — что песку в море или саранчи в пустыне! Долина Царя стала долиной Адоммина.

— А все же, — заметил бен Леви, — покажи мне хоть одного неверного — от алефа до тау[67] — от пустыни до крепостных стен, который казался бы крупнее буквы «иод»[68]!

— Спускайте корзину с серебряными сиклями, — крикнул римский солдат грубым и хриплым голосом, казалось, исходившим из подземных владений Плутона, — спускайте корзину с проклятыми монетами, названия которых благородному римлянину не выговорить — язык сломаешь! Так-то вы благодарны нашему господину Помпею,

который снизошел до ваших языческих нужд? Колесница Феба — истинного бога! — уже час, как катит по небу, а ведь вы должны были прийти на крепостную стену к восходу солнца. Эдепол![69] Или вы думаете, что нам, покорителям мира, только и дела, что дожидаться у каждой паршивой стены ради торга со всякими собаками? Спускайте, говорю! Да глядите, чтобы ваши дрянные монеты были новенькие и полновесные!

— Эль Элоим![70] — воскликнул фарисей, когда резкий голос центуриона прогремел среди скал и замер у стен храма. — Эль Элоим! Что еще за бог Феб? Кого призывает этот богохульник? Ты, Бузи бен Леви, начитан в писаниях необрезанных и жил среди тех, что имеют дело с терафимом[71]; скажи, о ком толкует язычник? О Нергале?[72] Об Ашиме?[73] О Нибхазе?[74] Тартаке?[75] Адрамелехе?[76] Анамалехе?[77] О Суккот-Бенифе?[78] О Дагоне?[79] Белиале?[80] Ваал-Перите?[81] Ваал-Пеоре?[82] Или Ваал-Зебубе?[83]

— Ни о ком из них. Но не отпускай веревку чересчур быстро; корзина может зацепиться за выступ вон той скалы, и тогда горе нам! — ибо ценности святилища будут из нее извергнуты.

С помощью грубого приспособления тяжело нагруженную корзину спустили в толпу солдат; и сверху было смутно видно, как римляне собрались вокруг; но огромная высота и туман мешали разглядеть, что там делается.

Прошло полчаса.

— Мы опоздаем, — вздохнул по прошествии этого времени фарисей, заглядывая в пропасть, — мы опоздаем! Кафалим снимет нас с должности.

— Никогда больше не вкушать нам от тука земли[84]! — подхватил Абель-Фиттим. — Не умащать бороды благовонным ладаном, не повивать чресел тонким храмовым полотном.

— Рака![85] — выругался бен Леви. — Рака! Уж не вздумали ли они украсть наши деньги? О, святой Моисей! Неужели они взвешивают священные сикли скинии[86]?

— Вот наконец-то сигнал! — воскликнул фарисей. — Сигнал! Подымай, Абель-Фиттим! Тяни и ты, Бузи бен Леви! Либо филистимляне еще не отпустили корзину, либо господь смягчил их сердца, и они положили нам увесистое животное!

И гизбаримы изо всех сил тянули за веревку, а корзина медленно поднималась среди сгустившегося тумана.

— Бошох хи! — вырвалось у бен Леви спустя час, когда на конце веревки обозначилось что-то неясное. — Бошох хи!

— Бошох хи! Вот тебе на! Это, должно быть, баран из энгедийских[87] рощ, косматый, как долина Иосафата[88]!

— Это первенец стада, — сказал Абель-Фиттим. — Я узнаю его по блеянию и по невинным очертаниям тела. Глаза его прекраснее самоцветов из священного нагрудника[89], а мясо подобно меду Хеврона[90].

— Это тучный телец с пастбищ Васана[91], — промолвил фарисей. — Язычники поступили великодушно. Воспоем же хвалу. Вознесем благодарность на гобоях и псалтерионах. — Заиграем на арфах и на кимвалах, на цитрах и саквебутах[92].

Только когда корзина была уже в нескольких футах от гизбаримов, глухое хрюканье возвестило им приближение огромной свиньи.

— Эль Эману! — воскликнули все трое, возводя глаза к небу и выпуская из рук веревку, отчего освобожденная свинья полетела на головы филистимлян. — Эль Эману! С нами бог! Это трефное мясо! [93]

9 июня, 1832

пер. З. Александровой

Без дыхания

О, не дыши и т. д.

«Мелодии» Мура[95]

Самая жестокая судьба рано или поздно должна отступить перед тою неодолимой бодростию духа, какую вселяет в нас философия, — подобно тому, как самая неприступная крепость сдается под упорным натиском неприятеля. Салманассар[96] (судя по священному писанию) вынужден был три года осаждать Самарию, но все же она пала. Сарданапал[97] (см. у Диодора[98]) целых семь лет держался в Ниневии, но это ни к чему не повело. Силы Трои истощились через десять лет, а город Азот, — Аристей[99] в этом ручается словом джентльмена, — тоже в конце концов открыл Псамметиху[100] свои ворота, которые держал на запоре в теченние пятой части столетия.

— Ах ты гадина! ах ты ведьма! ах ты мегера, — сказал я жене наутро после свадьбы, — ах ты чертова кукла, ах ты подлая, гнусная тварь, клоака порока, краснорожее исчадие мерзости, ах ты, ах ты… — В тот самый миг, когда я встал на цыпочки, схватил жену за горло и, приблизив губы к ее уху, собрался было наградить ее каким-нибудь еще более оскорбительным эпитетом, который, будучи произнесен достаточно громко, должен был окончательно доказать ее полнейшее ничтожество, — в тот самый миг, к своему величайшему ужасу и изумлению, я вдруг обнаружил, что у меня захватило дух.

Выражения: «захватило дух», «перехватило дыхание» и т. п. довольно часто употребляются в повседневном обиходе, но я, bona fide[101], никогда не думал, что ужасный случай, о котором я говорю, мог бы произойти в действительности. Вообразите — разумеется, если вы обладаете фантазией, — вообразите мое изумление, мой ужас, мое отчаяние!

Однако мой добрый гений еще ни разу не покидал меня окончательно. Даже в тех случаях, когда я от ярости едва в состоянии владеть собой, я все же сохраняю некоторое чувство собственного

достоинства, et le chemin des passions me conduit (как лорда Эдуарда[102] в «Юлии») a la philosophic veritable[103].

Хотя мне в первую минуту не удалось с точностью установить размеры постигшего меня несчастья, тем не менее я решил во что бы то ни стало скрыть все от жены — по крайней мере до тех пор, пока не получу возможность определить объем столь неслыханной катастрофы. И так, мгновенно придав моей искаженной бешенством физиономии кокетливое выражение добродушного лукавства, я потрепал свою супругу по одной щечке, чмокнул в другую и, не произнеся ни звука (о фурии! ведь я не мог), оставил ее одну дивиться моему чудачеству, а сам легким па-де-зефир выпорхнул из комнаты.

И вот я, являющий собой ужасный пример того, к чему приводит человека раздражительность, благополучно укрылся в своем будуаре живой, но со всеми свойствами мертвеца, мертвый, но со всеми наклонностями живых, — нечто противоестественное в мире людей, — очень спокойный, но лишенный дыхания.

Да, лишенный дыхания! Я совершенно серьезно утверждаю, что полностью утратил дыхание. Его не хватило бы и на то, чтобы сдуть пушинку или затуманить гладкую поверхность зеркала, — даже если бы от этого зависело спасение моей собственной жизни. О злая судьба! Однако даже в этом первом приступе всепоглощающего отчаяния я все же обрел некоторое утешение. Тщательная проверка убедила меня в том, что я не окончательно лишился дара речи, как мне показалось вначале, когда я не смог продолжать свою интересную беседу с женой.

Речь у меня была нарушена лишь частично, и я обнаружил, что, стоило мне в ту критическую минуту понизить голос и перейти на гортанные звуки, — я мог бы и дальше изливать свои чувства. Ведь данная высота тона, как я сообразил, зависит не от потока воздуха, а от определенных спазматических движений, производимых мышцами гортани.

Я упал в кресло и некоторое время предавался размышлениям. Думы мои были, разумеется, весьма малоутешительны. Сотни смутных, печальных фантазий теснились в моем мозгу, и на мгновение у меня даже мелькнула мысль, не покончить ли с собой; но такова уж извращенность человеческой природы — она предпочитает отдаленное и неясное близкому к определенному. Итак, я содрогнулся при мысли о самоубийстве, как о самом ужасном злодеянии,

одновременно прислушиваясь к тому, как полосатая кошка довольно мурлычет на своей подстилке и даже ньюфаундленд старательно выводит носом рулады, растянувшись под столом. Оба словно нарочно демонстрировали силу своих легких, явно насмехаясь над бессилием моих.

Терзаемый то страхом, то надеждой, я наконец услышал шаги жены, спускавшейся по лестнице. Когда я убедился, что она ушла, я с замиранием сердца вернулся на место катастрофы.

Тщательно заперев дверь изнутри, я предпринял лихорадочные поиски. Быть может, думал я, то, что я ищу, скрывается где-нибудь в темном углу, в чулане, или притаилось на дне какого-нибудь ящика. Может быть, оно имеет газообразную или даже осязаемую форму. Большинство философов до сих пор придерживается весьма нефилософских воззрений на многие вопросы философии. Однако Вильям Годвин в своем «Мандевиле»[104] говорит, что «невидимое — единственная реальность»; а всякий согласится, что именно об этом и идет речь в моем случае. Я бы хотел, чтобы здравомыслящий читатель подумал, прежде чем называть подобные открытия пределом абсурда. Ведь Анаксагор[105], как известно, утверждал, что снег черный, и я не раз имел случай в этом убедиться.

Долго и сосредоточенно продолжал я свои поиски, но жалкой наградой за мои труды и рвение были всего лишь одна фальшивая челюсть, два турнюра, вставной глаз да несколько billet-doux[106], адресованных моей жене мистером Вовесьдух. Кстати, надо сказать, что это доказательство пристрастия моей супруги к мистеру Вовесьдух не причинило мне особого беспокойства. То, что миссис Духвон питает нежные чувства к существу, столь непохожему на меня, — вполне законное и неизбежное зло. Всем известно, что я дороден и крепок, хотя в то же время несколько мал ростом. Что же удивительного, если миссис Духвон предпочла моего тощего, как жердь, приятеля, нескладность которого вошла в поговорку. Но вернемся к моему рассказу.

Как я уже сказал, мои усилия оказались напрасными. Шкаф за шкафом, ящик за ящиком, чулан за чуланом — все подверглось тщательному осмотру, но все втуне. Была, правда, минута, когда мне показалось, что труды мои увенчались успехом, — роясь в одном несессере, я нечаянно разбил флакон гранжановского «Елея

архангелов» (беру на себя смелость рекомендовать его как весьма приятные духи).

С тяжелым сердцем воротился я в свой будуар, чтобы измыслить какой-нибудь способ обмануть проницательность жены хотя бы на то время, пока я успею подготовить все необходимое для отъезда за границу, — ибо на это я уже решился. В чужой стране, где меня никто не знает, мне, быть может, удастся скрыть свою ужасную беду, способную даже в большей степени, чем нищета, отвратить симпатии толпы и навлечь на несчастную жертву вполне заслуженное негодование людей добродетельных и счастливых. Я колебался недолго. Обладая от природы прекрасной памятью, я целиком выучил наизусть трагедию «Метамора»[107]. К счастью, я вспомнил, что при исполнении этой пьесы (или, во всяком случае, той ее части, которая составляет роль героя) нет никакой надобности в оттенках голоса, коих я был лишен, и что всю ее следует декламировать монотонно, причем должны преобладать низкие гортанные звуки.

Некоторое время я практиковался на краю одного болота, где было отнюдь не безлюдно, и поэтому мои упражнения не имели, по существу, ничего общего с аналогичными действиями Демосфена[108], а, напротив, основывались на моем собственном, специально разработанном методе. Чувствуя себя теперь во всеоружии, я решил внушить жене, будто мною внезапно овладела страсть к драматическому искусству. Это мне удалось как нельзя лучше, и в ответ на всякий вопрос или замечание я мог своим замогильным лягушачьим голосом с легкостью продекламировать какой-нибудь отрывок из упомянутой трагедии, — любыми строчками из нее, как я вскоре с удовольствием отметил, можно было пользоваться при разговоре на любую тему. Не следует, однако, полагать, что, исполняя подобные отрывки, я обходился без косых взглядов, шарканья ногами, зубовного скрежета, дрожи в коленях или иных невыразимо изящных телодвижений, которые ныне по справедливости считаются непременным атрибутом популярного актера. В конце концов заговорили о том, не надеть ли на меня смирительную рубашку, но — хвала господу! — никто не заподозрил, что я лишился дыхания.

Наконец я привел свои дела в порядок и однажды на рассвете сел в почтовый дилижанс, направлявшийся в N, распространив среди

знакомых слух, будто дело чрезвычайной важности срочно требует моего личного присутствия в этом городе.

Дилижанс был битком набит, но в неясном свете раннего утра невозможно было разглядеть моих спутников. Я позволил втиснуть себя между двумя джентльменами грандиозных размеров, не оказав сколько-нибудь энергичного сопротивления, а третий джентльмен, еще большей величины, предварительно попросив извинения за вольность, во всю длину растянулся на мне и, мгновенно погрузившись в сон, заглушил мои гортанные крики о помощи таким храпом, который вогнал бы в краску и ревущего быка Фаларида[109]. к счастью, состояние моих дыхательных способностей совершенно исключало возможность такого несчастного случая, как удушение.

Когда мы приблизились к окраинам города, уже совсем рассвело, и мой мучитель, пробудившись от сна и приладив свой воротничок, весьма учтиво поблагодарил меня за любезность. Но, увидев, что я остаюсь недвижим (все мои суставы были как бы вывихнуты, а голова свернута набок), он встревожился и, растолкав остальных пассажиров, в весьма решительной форме высказал мнение, что ночью под видом находившегося в полном здравии и рассудке пассажира им подсунули труп; при этом, желая доказать справедливость своего предположения, он изо всех сил ткнул меня большим пальцем в правый глаз.

Вслед за этим каждый пассажир (а их было девять) счел своим долгом подергать меня за ухо. А когда молодой врач поднес к моим губам карманное зеркальце и убедился, что я бездыханен, присяжные единогласно подтвердили обвинение моего преследователя, и вся компания выразила твердую решимость не только в дальнейшем не мириться с подобным мошенничеством, но и в настоящее время не ехать ни шагу дальше с подобной падалью.

В соответствии с этим меня вышвырнули из дилижанса перед «Вороном» (наш экипаж как раз проезжал мимо названной таверны), причем со мною не произошло больше никаких неприятностей, если не считать перелома обеих рук, попавших под левое заднее колесо. Кроме того, следует воздать должное кучеру — он не преминул выбросить вслед за мной самый объемистый из моих чемоданов, который, по несчастью, свалившись мне на голову, раскроил мне череп весьма любопытным и в то же время необыкновенным образом.

Хозяин «Ворона», человек весьма гостеприимный, убедившись, что содержимого моего сундука вполне достаточно, дабы вознаградить его за некоторую возню со мной, тут же послал за знакомым хирургом и передал меня в руки последнего вместе со счетом на десять долларов.

Совершив сию покупку, хирург отвез меня на свою квартиру и немедленно приступил к соответствующим операциям. Однако, отрезав мне уши, он обнаружил в моем теле признаки жизни. Тогда он позвонил слуге и послал его за соседом-аптекарем, чтобы посоветоваться, как поступить в столь критических обстоятельствах. На тот случай, если его подозрения, что я еще жив, в конце концов подтвердятся, он пока что сделал надрез на моем животе и вынул оттуда часть внутренностей для будущих анатомических исследований.

Аптекарь выразил мнение, что я в самом деле мертв. Это мнение я попытался опровергнуть, изо всех сил брыкаясь и корчась в жестоких конвульсиях, ибо операции хирурга в известной мере вновь пробудили мои жизненные силы. Однако все это было приписано действию новой гальванической батареи, при помощи которой аптекарь — человек действительно весьма сведущий — произвел несколько любопытнейших опытов, каковыми, ввиду моего непосредственного в них участия, я не мог не заинтересоваться самым пристальным образом. Тем не менее для меня явился источником унижения тот факт, что хотя я и сделал несколько попыток вступить в разговор, но до такой степени не владел даром речи, что не мог даже открыть рот, а тем более возражать против некоторых остроумных, но фантастических теорий, каковые я при иных обстоятельствах мог бы с легкостью опровергнуть благодаря близкому знакомству с гиппократовой патологией[110].

Не будучи в состоянии прийти к какому-либо заключению, искусные медики решили оставить меня для дальнейших исследований и отнесли на чердак. Жена хирурга одолжила мне панталоны и чулки, а сам хирург связал мне руки, подвязал носовым платком мою челюсть, после чего запер дверь снаружи и поспешил к обеду, оставив меня наедине со своими размышлениями.

Теперь, к своему величайшему восторгу, я обнаружил, что мог бы говорить, если б только мои челюсти не были стеснены носовым

платком. В то время как я утешался этой мыслью, повторяя про себя некоторые отрывки из «Вездесущности бога»[111], как я имею обыкновение делать перед отходом ко сну, две жадные и сварливые кошки забрались на чердак сквозь дыру, подпрыгнули, издавая фиоритуры a la Каталани[112], и, сев друг против друга прямо на моей физиономии, вступили в неприличный поединок за грошовое право владеть моим носом.

Однако, подобно тому, как потеря ушей способствовала восшествию персидского мага Гауматы[113] на престол Кира, а отрезанный нос дал Зопиру[114] возможность овладеть Вавилоном, так потеря нескольких унций моей физиономии оказалась спасительной для моего тела. Возбужденный болью и горя негодованием, я одним усилием разорвал свои путы и повязки. Пройдя через комнату, я бросил полный презрения взгляд на воюющие стороны и, распахнув, к их величайшему ужасу и разочарованию, оконные рамы, с необычайной ловкостью ринулся вниз из окна.

Грабитель почтовых дилижансов В., на которого я поразительно похож, в это самое время ехал из городской тюрьмы к виселице, воздвигнутой для его казни в предместье. Вследствие своей крайней слабости и продолжительной болезни он пользовался привилегией и не был закован в кандалы. Облаченный в костюм висельника, чрезвычайно напоминавший мой собственный, он лежал, вытянувшись во всю длину, на дне повозки палача (которая случайно оказалась под окнами хирурга в момент моего низвержения), не охраняемый никем, кроме кучера, который спал, и двух рекрутов шестого пехотного полка, которые были пьяны.

Злой судьбе было угодно, чтобы я спрыгнул прямо на дно повозки. В. — малый сообразительный — не преминул воспользоваться удобным случаем. Мгновенно поднявшись на ноги, он соскочил с повозки и, завернув за угол, исчез. Рекруты, разбуженные шумом, не сообразили, в чем дело. Однако, при виде человека — точной копии осужденного, — который стоял во весь рост в повозке прямо у них перед глазами, они решили, что мошенник (они подразумевали В.) собирается удрать (их подлинное выражение), и, поделившись этим мнением друг с другом, они хлебнули по глотку, а затем сбили меня с ног прикладами своих мушкетов.

Вскоре мы достигли места назначения. Разумеется, мне нечего было сказать в свою защиту. Меня ожидала виселица. Я безропотно покорился своей неизбежной участи с чувством тупой обиды. Не будучи ни в коей мере киником[115], я, должен признаться, чувствовал себя какой-то собакой. Между тем палач надел мне на шею петлю. Спускная доска виселицы упала.

Воздерживаюсь от описаний того, что я ощутил на виселице, хотя, конечно, я мог бы многое сказать на эту тему, относительно которой никто еще не высказывался с достаточной полнотой. Ведь, в сущности, чтобы писать о таком предмете, необходимо пройти через повешение. Каждому автору следует ограничиваться тем, что он испытал на собственном опыте. Так, Марк Антоний[116] сочинил трактат об опьянении.

Могу только упомянуть, что я отнюдь не умер. Тело мое действительно было довешено, но я никак не мог испустить дух, потому что у меня его уже не было; и должен сказать, что, если бы не узел под левым ухом (который на ощупь напоминал твердый крахмальный воротничок), я не испытывал бы особых неудобств. Что касается толчка, который был сообщен моей шее при падении спускной доски, то он лишь вернул на прежнее место мою голову, свернутую набок тучным джентльменом в дилижансе.

У меня были, однако, достаточно веские причины, чтобы постараться вознаградить толпу за ее труды. Все признали мои конвульсии из ряда вон выходящими. Судороги мои трудно было превзойти. Чернь кричала «бис». Несколько джентльменов упало в обморок, и множество дам было в истерике увезено домой. Один художник воспользовался случаем, чтобы наброском с натуры дополнить свою замечательную картину «Марсий»[117], с которого сдирают кожу живьем.

Когда я достаточно развлек публику, власти сочли уместным снять мое тело с виселицы, тем более что к этому времени настоящий преступник был снова схвачен и опознан, — факт, остававшийся мне, к сожалению, неизвестным.

Много сочувственных слов было, разумеется, сказано по моему адресу, и, так как никто не претендовал на мой труп, поступил приказ похоронить меня в общественном склепе.

На это место, по истечении надлежащего срока, я и был водворен. Могильщик удалился, и я остался в одиночестве. В эту минуту мне пришло в голову, что строчка из «Недовольного» Марстона[118]:

> Радушна смерть, к ней всем открыты двери содержит явную ложь.

Тем не менее я взломал крышку своего гроба и выбрался наружу. Кругом было страшно сыро и уныло, и я изнывал от скуки. Чтобы развлечься, я принялся бродить между аккуратно расставленными рядами гробов. Стаскивая гробы на землю один за другим, я вскрывал их и предавался рассуждениям о заключенных в них бренных останках.

— Это, — произнес я, споткнувшись о рыхлый, одутловатый труп, — это, без сомнения, был в полном смысле слова неудачник, несчастный человек. Ему суждена была жестокая судьба: он не ходил, а переваливался; он шел через жизнь не как человек, а как слон, не как мужчина, а как бегемот.

Его попытки передвигаться по прямой были обречены на неудачу, а его вращательные движения кончались полным провалом. Делая шаг вперед, он имел несчастье всякий раз делать два шага вправо и три влево. Его занятия ограничивались изучением поэзии Крабба[119]. Он не мог иметь никакого представления о прелести пируэта. Для него па-де-папиньон всегда был абстрактным понятием. Он никогда не восходил на вершину холма. Никогда, ни с какой вышки не созерцал он славных красот столицы. Жара была его заклятым врагом. Когда солнце находилось в созвездии Пса, он вел поистине собачью жизнь, — в эти дни ему снилась геенна огненная, горы, взгромоздившиеся на горы, Пелион — на Оссу[120]. Ему не хватало воздуха, — да, если выразить это кратко, не хватало воздуха. Игру на духовых инструментах он считал безумием. Он был изобретателем самодвижущихся вееров и вентиляторов. Он покровительствовал Дюпону[121], фабриканту кузнечных мехов, и умер самым жалким образом, пытаясь выкурить сигару. Он внушает мне глубокий интерес, его судьба вызывает во мне искреннее сочувствие.

— Но вот, — сказал я злорадно, извлекая из гроба сухопарого, длинного, странного мертвеца, примечательная внешность которого

неприятно поразила меня сходством с чем-то хорошо знакомым, — вот презренная тварь, не достойная ни малейшего сострадания. — Произнося эти слова, я, чтобы лучше разглядеть свои объект, схватил его двумя пальцами за нос, усадил и, держа таким образом на расстоянии вытянутой руки, продолжал свой монолог.

— Не достойная, — повторил я, — не достойная ни малейшего сострадания. Кому же, в самом деле, придет в голову сочувствовать тени? Да и разве не получил он сполна причитавшейся ему доли земных благ? Он был создателем высоких памятников, башен для литья дроби, громоотводов и пирамидальных тополей. Его трактат «Тени и оттенки» обессмертил его имя. Он с большим талантом обработал последнее издание Саута[122] «О костях». В молодом возрасте поступил он в колледж, где изучал пневматику. Затем он возвратился домой, вечно болтал всякую чепуху и играл на валторне. Он покровительствовал волынщикам. Известный скороход капитан Баркли[123] ни за что не соглашался состязаться с ним в ходьбе. О'Ветри и Выдыхауэр были его любимыми писателями, а Физ[124] — его любимым художником. Он умер смертью славных, вдыхая газ, — levique flatu corrupitur[125], как fama pudiciti Tenera res in feminis fama pudicitiae est, et quasi flos pulcherrius, cito ad levem marcessit auram, levique flatu corrumpitur, maxime, etc. — Hieronymus ad Salvinam. Нежная вещь — добрая слава целомудренности и как прекраснейший цветок вянет от легкого ветра, от слабого дуновения погибает…[126] у Иеронима.[127] к Сальвиану. Он несомненно был…

— Как вы смеете! Как… вы… смеете! — задыхаясь, прервал меня объект моей гневной филиппики и отчаянным усилием сорвал платок, которым была подвязана его нижняя челюсть. — Как вы смеете, мистер Духвон, с такой дьявольской жестокостью зажимать мне нос?! Разве вы не видите, что они завязали мне рот? А вам должно быть известно, — если вам вообще что-либо известно, — каким огромным избытком дыхания я располагаю! Если же вам об этом неизвестно, то присядьте и убедитесь сами. В моем положении поистине огромное облегчение иметь возможность открыть рот… иметь возможность беседовать с человеком вроде вас, который не считает своим долгом каждую минуту прерывать нить рассуждений джентльмена. Следовало бы запретить прерывать друг друга, не правда ли?.. Прошу вас, не

отвечайте… достаточно, когда говорит один человек… Рано или поздно я кончу, и тогда вы сможете начать… За каким чертом, сэр, принесло вас сюда?.. ни слова, умоляю… я сам пробыл здесь некоторое время… кошмарный случай… Слыхали, наверное?.. ужасающая катастрофа!.. Проходил под вашими окнами… приблизительно в то время, когда вы помешались на драматическом искусстве… жуткое происшествие!.. Знаете выражение: «перехватило дыхание»?.. придержите язык, говорю я вам!.. так вот: я перехватил чье-то чужое, дыхание!.. когда мне и своего всегда хватало… Встретил на углу Пустослова… не дал мне ни слова вымолвить… я ни звука произнести не мог… в результате припадок эпилепсии… Пустослов сбежал… черт бы побрал этих идиотов!.. Приняли меня за мертвого и сунули сюда… не правда ли, мило? Слышал все, что вы обо мне говорили… каждое слово — ложь… ужасно!.. поразительно!.. гнусно!.. мерзко!.. непостижимо!.. et cetera… et cetera… et cetera…[128]

Невозможно представить себе, как я изумился, услышав столь неожиданную тираду, и как обрадовался, когда мало-помалу сообразил, что дыхание, столь удачно перехваченное этим джентльменом (в котором я вскоре узнал соседа моего Вовесьдуха), было то самое, которого я лишился в ходе беседы с женой. Время, место и обстоятельства дела не оставляли в том и тени сомнения. Однако я все еще держал мистера Вовесьдуха за его обонятельный орган — по крайней мере в течение того весьма продолжительного периода, пока изобретатель пирамидальных тополей давал мне свои объяснения.

К этому побуждала меня осторожность, которая всегда была моей отличительной чертою. На пути моего избавления, подумал я, лежит еще немало препятствий, которые мне удастся преодолеть лишь с величайшим трудом. Следует принять во внимание, что многим людям свойственно оценивать находящуюся в их владении собственность (хотя бы эти люди в данный момент и в грош ее не ставили, хотя бы собственность, о которой идет речь, доставляла им одни хлопоты и беспокойства) прямо пропорционально той выгоде, которую могут извлечь другие, приобретая ее, или они сами, расставаясь с нею. Не принадлежит ли мистер Вовесьдух к подобным людям? Не подвергну ли я себя опасности стать объектом его вымогательств, слишком явно выказывая стремление завладеть дыханием, от которого он в

настоящее время так страстно желает избавиться? Ведь есть же на этом свете такие негодяи, подумал я со вздохом, которые не постесняются воспользоваться затруднительным положением даже ближайшего своего соседа; и (последнее замечание принадлежит Эпиктету[129]) именно тогда, когда люди особенно стремятся сбросить с себя бремя собственных невзгод, они меньше всего озабочены тем, как бы облегчить участь своего ближнего.

Все еще не выпуская нос мистера Вовесьдуха, я счел необходимым построить свой ответ, руководствуясь подобными соображениями.

— Чудовище! — начал я тоном, исполненным глубочайшего негодования. — Чудовище и двудышащий идиот! Да как же ты, которого небу угодно было покарать за грехи двойным дыханием, — как же ты посмел обратиться ко мне с фамильярностью старого знакомого? «Каждое слово ложь»… подумать только! Да еще «придержите язык». Как бы не так! Нечего сказать, приятная беседа с джентльменом, у которого нормальное дыхание! И все это в тот момент, когда в моей власти облегчить бремя твоих бедствий, отняв тот излишек дыхания, от которого ты вполне заслуженно страдаешь. — Произнеся эти слова, я, подобно Бруту, жду ответа[130], и мистер Вовесьдух тотчас обрушился на меня целым шквалом протестов и каскадом извинений. Он соглашался на любые условия, чем я не преминул воспользоваться с максимальной выгодой для себя.

Когда предварительные переговоры наконец завершились, мой приятель вручил мне дыхание, в получении коего (разумеется, после тщательной проверки) я впоследствии выдал ему расписку.

Многие, несомненно, станут порицать меня за то, что я слишком поверхностно описал коммерческую операцию, объектом которой было нечто столь неосязаемое. Мне, вероятно, укажут, что следовало остановиться более подробно на деталях этого происшествия, которое (и я с этим совершенно согласен) могло бы пролить новый свет на чрезвычайно любопытный раздел натурфилософии[131].

На все это — увы! — мне нечего ответить. Намек — вот единственное, что мне дозволено. Таковы обстоятельства. Однако по здравом размышлении я решил как можно меньше распространяться о деле столь щекотливом, — повторяю, столь щекотливом и, сверх того,

затрагивавшем в то время интересы третьего лица, гнев которого в настоящее время я меньше всего желал бы навлечь на себя.

Вскоре после этой необходимой операции мы предприняли попытку выбраться из подземных казематов нашего склепа. Соединенные силы наших вновь обретенных голосов были столь велики, что мы очень скоро заставили себя услышать. Мистер Ножницы, редактор органа вигов, опубликовал трактат «О природе и происхождении подземных шумов». Газета партии демократов незамедлительно поместила на своих столбцах ответ, за которым последовало возражение, опровержение и наконец подтверждение. Лишь после вскрытия склепа удалось разрешить этот спор: появление мистера Вовесьдуха и мое собственное доказало, что обе стороны были совершенно неправы.

Заканчивая подробный отчет о некоторых весьма примечательных эпизодах из моей и без того богатой событиями жизни, я не могу еще раз не обратить внимание читателя на преимущества такой универсальной философии, ибо она служит надежным и верным щитом против тех стрел судьбы, кои невозможно ни увидеть, ни ощутить, ни даже окончательно постигнуть. Уверенность древних иудеев, что врата рая не преминут раскрыться перед тем грешником или святым, который, обладая здоровыми легкими и слепой верой, возопит «аминь!», — была совершенно в духе этой философии. Совет Эпименида[132] (как рассказывает об этом философе Лазрций[133] во второй книге своих сочинений) воздвигнуть алтарь и храм «надлежащему божеству», данный им афинянам в те дни, когда в городе свирепствовала моровая язва и все средства против нее были исчерпаны, — также совершенно в духе этой философии.

Литтлтон Бэрри.

(Рассказ не для журнала Блэквуд[94] и отнюдь не из него).
10 ноября, 1832
пер. М. Беккер

Бон-Бон

Когда я в глотку лью коньяк,
Я сам ученей, чем Бальзак[134],
И я мудрее, чем Пибрак[135],
Мне нипочем любой казак.
Пойду на рать таких вояк
И запихну их в свой рюкзак.
Могу залезть к Харону в бак
И спать, пока везет чудак,
А позови меня Эак[136],
Опять не струшу я никак.
И сердце тут ни тик, ни так,
Я только гаркну: «Сыпь табак!»

Французский водевиль. пер. В.В. Левика

То обстоятельство, что Пьер Бон-Бон был restaurateur[137] необычайной квалификации, не осмелится, я полагаю, оспаривать ни единый человек из тех, кто в царствование — посещал маленькое Cafe в cul-de-sac Le Febvre[138] в Руане. То обстоятельство, что Пьер Бон-Бон приобрел в равной степени сноровку в философии того времени, я считаю еще более неоспоримым. Его pates a la foie[139] были несомненно безупречными, но где перо, которое воздаст должное его эссе sur la Nature[140], — его мыслям sur l'Ame[141], его замечаниям sur l'Esprit[142]? Если его omelettes[143], если его fricandeaux[144] были неоценимыми, то какой litterateur[145] того времени не дал бы за одну «Idee de Bon-Bon»[146] вдвое больше, чем за весь хлам «Idees»[147] всех остальных savants[148]? Бон-Бон обшаривал библиотеки, как не обшаривал их никто, — читал столько, что другому и в голову не могла бы закрасться мысль так много прочитать, — понимал столько, что другой и помыслить не мог бы о возможности столь многое понимать. И хотя в Руане, в эпоху его расцвета находились некие авторы, которые утверждали, будто его dicta[149] не отличается ни ясностью Академии,

ни глубиной Ликея[150], хотя, заметьте, его доктрины никоим образом не были всеобщим достоянием умов, отсюда все же не следует, будто они были трудны для понимания. По-моему, именно по причине их самоочевидности многие стали считать их непостижимыми. Именно Бон-Бону — однако не будем продвигаться в этом вопросе слишком далеко — именно Бон-Бону в основном обязан Кант[151] своей метафизикой. Первый из них на самом-то деле не был платоником, не был он, строго говоря, и последователем Аристотеля[152] и не растрачивал, словно некий самоновейший Лейбниц, драгоценные часы, кои можно было употребить на изобретенье fricassee[153] или, facili gradu[154], на анализ ощущений, в легкомысленных попытках примирить друг с другом упрямые масло и воду этического рассуждения. Никоим образом! Бон-Бон был ионийцем — в той же мере Бон-Бон был италийцем. Он рассуждал a priori — он рассуждал также a posteriori. Его идеи были врожденными — или же совсем наоборот. Он верил в Георгия Тралезундского[155]. — Он верил в Бессариона[156]. Бон-Бон был ярко выраженным «бон-бонианцем».

Я говорил о компетенции этого философа как restaurateur. Да не помыслит, однако, кто-либо из моих друзей, будто, выполняя унаследованные им обязанности, наш герой страдал недооценкой их важности или достоинства. Отнюдь нет. Невозможно сказать, какая из сторон его профессий служила для него предметом наибольшей гордости. Он считал, что силы интеллекта находятся в тонкой связи с возможностями желудка. И, в сущности, я не стал бы утверждать, что он так уж расходился с китайцами, которые помещают душу в брюшную полость. Во всяком случае, думал он, правы были греки, употреблявшие одно и то же слово для обозначения разума и грудобрюшной преграды[157]. Говоря все это, я вовсе не хочу выдвинуть обвинение в чревоугодии или какое-либо другое серьезное обвинение, в ущерб нашему метафизику. Если у Пьера Бон-Бона и были слабости — а кто из великих людей не имел их тысячами, — если, повторяю, Пьер Бон-Бон и имел свои слабости, то они были слабостями незначительными, — недостатками, которые при другом складе характера рассматривались бы скорее как добродетели. Что касается одной из этих слабых струнок, то я бы даже не упомянул о ней в своем рассказе, если б она не выделялась с особой выпуклостью

— наподобие резко выраженного alto rilievo[158] — из плоскости обычного расположения Бон-Бона. Он не упускал ни одной возможности заключить сделку.

Не то чтобы он страдал алчностью — нет! Для удовлетворения нашего философа вовсе не нужно было, чтобы сделка шла ему на пользу. Если совершался товарообмен — любого рода, на любых условиях и при любых обстоятельствах, — то много дней после этого торжествующая улыбка освещала лицо философа, а заговорщицкое подмигивание свидетельствовало о его прозорливости.

Не представляется удивительным, если столь своеобразный характер, как ют, о котором Я только что упоминал, привлекает внимание и вызывает комментарии. Следовало бы поистине удивляться, если бы в эпоху, к которой относится наш рассказ, это своеобразие не привлекло бы внимания. Вскоре было замечено, что во всех случаях подобного рода ухмылка Бон-Бона имела склонность резко отличаться от той широкой улыбки, в которой он расплывался, приветствуя знакомых или смеясь собственным шуткам. Распространялись тревожные слухи, рассказывались истории о губительных сделках, заключенных в спешке и оплакиваемых на досуге; присовокуплялись примеры необъяснимых способностей, смутных вожделений и противоестественных наклонностей, насаждаемых автором всяческого зла в его собственных премудрых целях.

Наш философ имел и другие слабости — но они едва ли заслуживают серьезного исследования. К примеру, мало кто из людей неисчерпаемой глубины не имеет склонности к бутылке. Является ли эта склонность побудительной причиной подобной глубины или же скорее ее веским подтверждением — вопрос тонкий. Бон-Бон, насколько я мог установить, не расценивал сей предмет как пригодный для детального исследования; — я придерживаюсь того же мнения. Однако же при всем потворстве этому предрасположению, столь классическому, не следует думать, будто restaurateur утрачивал ту интуитивную разборчивость, которая обычно характеризовала его essais[159] и, в то же самое время, его omelettes. При уединенных бдениях его жребий падал на Vin de Bourgogne[160], но находились и моменты, подходящие для Cotes du Rhone[161]. С точки зрения Бон-

Бона-сотерн относился к медоку[162] так же, как Катулл[163] — к Гомеру. Он был не прочь позабавиться силлогизмом, потягивая сен-пере, но вскрывал сущность рассуждения за бокалом клодвужо и опрокидывал теорию в потоке шамбертена. Было бы прекрасно, если б столь же острое чувство уместности сопровождало его торговые склонности, о которых я говорил ранее, — однако последнее отнюдь не имело места. Если сказать по правде, так эта черта ума философического Бон-Бона стала принимать с течением времени характер странной напряженности и мистицизма и несла в себе значительную примесь diablerie[164] излюбленных им германских авторов.

Войти в маленькое Cafe в cul-de-sac Le Febvre означало в эпоху нашего рассказа войти в sanctum[165] гения. А Бон-Бон был гением. Не было в Руане sous-cuisinier[166], который не сказал бы вам, что Бон-Бон был гением. Даже его кошка знала это и не позволяла себе размахивать хвостом в присутствии гения. Его огромный пудель был знаком с этим фактом и при приближении своего хозяина выражал чувство собственного ничтожества смиренной благовоспитанностью, опаданием ушей и опусканием нижней челюсти в манере, не вовсе недостойной собаки. Впрочем, верно, что многое в этом привычном уважении надлежало бы приписать внешности метафизика. Выдающаяся наружность, должен я сказать, действует даже на животных, и я готов допустить, что многое во внешнем человеческом облике restaurateur было рассчитано на то, чтобы производить впечатление на четвероногих. От великого коротышки — да будет мне дозволено употребить столь двусмысленное выражение — веет какой-то особой царственностью, которую чисто физические объемы сами по себе ни при каких обстоятельствах создать не способны. Бон-Бон едва достигал трех футов роста, и если голова его была преуморительно мала, то все же было невозможно созерцать округлость его живота, не ощущая великолепия, граничащего с возвышенным. В его размерах собакам и людям надлежало усматривать образец достижений Бон-Бона, в его обширности — достойное вместилище для бессмертной души философа.

Я мог бы здесь — если б мне того захотелось — подробно остановиться на экипировке и на других привходящих обстоятельствах, касающихся внешней стороны метафизика. Я мог бы

намекнуть, что волосы нашего героя были острижены коротко, гладко зачесаны на лоб и увенчаны белым фланелевым коническим колпаком с кисточками, что его гороховый камзол не следовал фасону, который носили обычные restaurateurs того времени, что рукава были несколько пышнее, чем дозволяла то господствующая мода, что обшлага их, в отличие от того, что было принято в ту варварскую эпоху, не были подбиты материей того же качества и цвета, что и само одеяние, но были прихотливо отделаны переливчатым генуэзским бархатом, что его ночные туфли, изящно украшенные филигранью, были ярко-пурпурного цвета и их можно было бы принять за изготовленные в Японии, если б не утонченная заостренность их носов и бриллиантовый блеск гаруса и шитья, что его штаны были из желтой атласной материи, называемой aimable[167], что его лазурно-голубой плащ, напоминающий своей формой халат, весь в малиновых узорах, небрежно струился с его плеч, подобно утреннему туману, и что tout ensemble[168] вызвало следующие замечательные слова Беневенуты, импровизатриссы из Флоренции: «Быть может, Пьер Бон-Бон и явился к нам точно райская птица, но скорее всего он — воплощение райского совершенства». Я мог бы, повторяю, пуститься в детальное обсуждение всех этих предметов, если б я того захотел, — однако же я воздержусь; я оставляю чисто личные подробности авторам исторических романов — голый факт по своим этическим достоинствам куда выше таких деталей.

«Войти в маленькое Cafe в cul-de-sac Le Febvre означало», писал я выше, «войти в sanctum гения», но только будучи гением можно было надлежащим образом оценить достоинства этого sanctum. У входа, исполняя роль вывески, раскачивался огромный фолиант, на одной стороне которого была изображена бутылка, а на другой — pate. На корешке виднелись большие буквы «Oeuvres de Bon-Bon»[169]. Эта аллегория утонченно передавала двоякость занятий владельца.

Переступив порог, можно было тотчас окинуть взглядом вою внутренность дома. Длинная низкая комната старинной архитектуры составляла единственное помещение этого Cafe. В углу стояла кровать метафизика. Вереница занавесей и полог a la Grecque[170] придавали ей классический, а вместе с тем и уютный вид. В углу, противоположном по диагонали, объединились в дружное семейство кухонные

принадлежности и bibliotheque[171]. Блюдо полемики мирно покоилось на кухонном столе. Тут — полный противень новейшей этики, там — котел melanges in duodecimo[172], здесь — сочинения германских моралистов в обнимку с рашпером. Вилку для подрумянивания хлеба можно было отыскать рядом с Евсевием[173], Платон прикорнул отдохнуть на сковороде, а современные писания были насажены на вертел.

В остальном Cafe de Bon-Bon, пожалуй, мало чем отличалось от обычных restaurants того времени. Прямо напротив двери зиял очаг, справа от него в. открытом буфете виднелись устрашающие ряды бутылочных этикеток.

Здесь, суровой зимой 18 — года, около полуночи, Пьер Бон-Бон, выслушав замечания соседей по поводу его странных наклонностей и выпроводив их из своего дома, — здесь, повторяю, Пьер Бон-Бон запер за ними с проклятьем дверь и погрузился, в не слишком мирном расположении духа, в объятья кожаного кресла перед вязанками хвороста, пылавшими в очаге.

Стояла одна их тех страшных ночей, которые выпадают раз или два в столетие. Снег валил с яростью, а весь дом до основания содрогался под струями ветра, которые, прорываясь сквозь щели в стене и вырываясь из дымохода, вздували занавеси у постели философа и приводили в беспорядок все хозяйство его манускриптов и сотейников. Внушительный фолиант качающейся снаружи вывески, отданной на ярость бури, зловеще скрипел под стонущий звук своих крепких дубовых кронштейнов.

В настроении, повторяю, отнюдь не миролюбивом, метафизик пододвинул свое кресло к обычному месту у очага. За день произошло много досадных событий, которые нарушили безмятежность его размышлений. Взявшись за des oeufs a la Princesse[174], он нечаянно состряпал omelette a la Reine[175]. Открытие нового этического принципа свелось на нет опрокинутым рагу, а самой последней, но отнюдь не самой малой неприятностью было то, что философу поставили препоны при заключении одной из тех восхитительных сделок, доводить которые до успешного конца всегда служило ему особой отрадой. Однако, наряду со всеми этими необъяснимыми неприятностями, в приведение его ума в раздраженное состояние не

преминула принять участие и известная доля той нервной напряженности, на создание которой столь точно рассчитана ярость неистовой ночи. Подозвав легким свистом своего огромного черного пуделя, о котором мы упоминали ранее, и устроясь с недобрым предчувствием в кресле, он невольно окинул подозрительным и тревожным взглядом те отдаленные уголки своего жилища, непокорные тени которых даже красное пламя очага могло разогнать лишь частично. Закончив осмотр, точную цель которого, пожалуй, он и сам не понимал, философ придвинул к себе маленький столик, заваленный книгами и бумагами, и вскоре погрузился в правку объемистой рукописи, предназначенной к публикации на завтра.

Бон-Бон был занят этим уже несколько минут, как вдруг в комнате раздался внезапно чей-то плаксивый шепот:

— Мне ведь не к спеху, monsieur Бон-Бон.

— О, черт! — возопил наш герой, вскакивая на ноги, опрокидывая столик и с изумлением озираясь вокруг.

— Он самый, — невозмутимо ответил тот же голос.

— Он самый? Кто это он самый? Как вы сюда попали? — выкрикивал метафизик, меж тем как взгляд его упал на что-то, растянувшееся во всю длину на кровати.

— Так вот, я и говорю, — продолжал незваный гость, не обращая никакого внимания на вопросы. — Я и говорю, что мне торопиться ни к чему. Дело, из-за которого я взял на себя смелость нанести вам визит, не такой уж неотложной важности, словом, я вполне могу подождать, пока вы не кончите ваше Толкование.

— Мое Толкование — скажите на милость! — откуда вы это знаете? Как вы догадались, что я пишу Толкование? — О, боже!

— Тсс… — пронзительно прошипел гость; и, быстро поднявшись с кровати, сделал шаг к нашему герою, меж тем как железная лампа, подвешенная к потолку, судорожно отшатнулась при его приближении.

Изумление философа не помешало ему подробно рассмотреть одежду и наружность незнакомца. Линии его фигуры, изрядно тощей, но вместе с тем необычайно высокой, подчеркивались до мельчайших штрихов потертым костюмом из черной ткани, плотно облегавшим тело, но скроенным по моде прошлого века. Это одеяние предназначалось, безусловно, для особы гораздо меньшего роста, чем его нынешний владелец. Лодыжки и запястья незнакомца

высовывались из одежды на несколько дюймов. Пара сверкающих пряжек на башмаках отводила подозрение о нищенской бедности, создаваемое остальными частями одежды. Голова незнакомца была обнаженной и совершенно лысой, если не считать весьма длинной queue[176], свисавшей с затылка. Зеленые очки с дополнительными боковыми стеклами защищали его глаза от воздействия света, а вместе с тем препятствовали нашему герою установить их цвет или их форму. На этом субъекте не было и следа рубашки; однако на шее с большой тщательностью был повязан белый замызганный галстук, а его концы, свисающие строго вниз, придавали незнакомцу (смею сказать, неумышленно) вид духовной особы. Да и многие другие особенности его наружности и манер вполне могли бы подкрепить идею подобного рода. За левым ухом он носил некий инструмент, как делают это нынешние клерки, похожий на античный стилос. В нагрудном кармане сюртука виднелся маленький черный томик, скрепленный стальными застежками. Эта книга, случайно или нет, была повернута таким образом, что открывались слова «Rituel Catholique»[177], обозначенные белыми буквами на ее корешке. Печать загадочной угрюмости лежала на мертвенно-бледной физиономии незнакомца. Глубокие размышления провели на высоком лбу свои борозды. Углы рта были опущены вниз с выражением самой покорной смиренности. Сложив руки, он подошел с тяжким вздохом к нашему герою, и весь его вид предельной святости не мог не располагать в его пользу. Последняя тень гнева исчезла с лица метафизика, когда, завершив удовлетворивший его осмотр личности посетителя, он сердечно пожал ему руку и подвел к креслу.

Было бы, однако, серьезной ошибкой приписать эту мгновенную перемену в чувствованиях философа одной из тех естественных причин, которые могли оказать здесь влияние. В самом деле, Пьер Бон-Бон, в той мере, в какой я был способен понять его характер, менее кого бы то ни было мог поддаться показной обходительности. Невозможно было предположить, чтобы столь тонкий наблюдатель людей и предметов не раскусил бы с первого взгляда подлинный характер субъекта, явившегося злоупотреблять его гостеприимством. Помимо всего прочего, заметим, что строение ног посетителя было достаточно примечательным, что он с легкостью удерживал на голове необычайно высокую шляпу, что на задней части его панталон было

видно трепетное вздутие, а подрагивание фалд его сюртука было вполне осязаемым фактом. Судите же поэтому сами, с чувством какого удовлетворения наш герой увидел себя внезапно в обществе персоны, к которой он всегда питал самое безоговорочное почтение. Он был, однако, слишком хорошим дипломатом, чтобы хоть малейшим намеком выдать свои подозрения по поводу реального положения дел. Показывать, что он хоть сколько-нибудь осознает ту высокую честь, которой он столь неожиданно удостоился, не входило в его намерения. Напротив, он хотел вовлечь гостя в разговор и выудить у него кое-что из важных этических идей, которые могли бы, получив место в предвкушаемой им публикации, просветить человеческий род, а вместе с тем и обессмертить имя самого автора; идей, выработать которые, должен я добавить, вполне позволял посетителю его изрядный возраст и его всем известная поднаторелость в этических науках.

Побуждаемый сими просвещенными взглядами, наш герой предложил джентльмену присесть, а сам, воспользовавшись случаем, подбросил в огонь несколько вязанок, поднял опрокинутый столик и расставил на нем несколько бутылок Mousseux[178]. Быстро завершив эти операции, он поставил свое кресло visa-vis[179] кресла своего партнера и стал ждать, когда же тот начнет разговор. Но даже план, разработанный с наибольшим искусством, часто опрокидывается при малейшей попытке его осуществить, и наш restaurateur был совершенно обескуражен первыми же словами посетителя.

— Я вижу, вы меня знаете, Бон-Бон, — начал гость, — ха! ха! ха! — хе! хе! хе! — хи! хи! хи! — хо! хо! хо! — ху! ху! ху! — и дьявол, тут же отбросив личину святости, разинул во всю ширь, от уха до уха рот, так что обнажился частокол клыкастых зубов, запрокинул назад голову и закатился долгим, громким, зловещим и неудержимым хохотом, меж тем как черный пудель, припав задом к земле, принялся с наслаждением ему вторить, а пятнистая кошка, отпрянув неожиданно в самый дальний угол комнаты, стала на задние лапы и пронзительно завопила.

Философ же повел себя иначе; он был слишком светским человеком, чтобы смеяться подобно собаке или визгом обнаруживать кошачий испуг дурного тона. Он испытывал, следует признать, легкое удивление при виде того, как белые буквы, составляющие слова

«Rituel Catholique» на книге в кармане гостя, мгновенно изменили свой цвет и форму, и через несколько секунд на месте прежнего заглавия уже пылали красными буквами слова «Regitre des Condamnes»[180]. Этим поразительным обстоятельством и объясняется тот оттенок смущения, который появился у Бон-Бона, когда он отвечал на слова своего гостя, и который, в противном случае, по всей вероятности, не наблюдался бы.

— Видите ли, сэр, — начал философ, — видите ли, по правде говоря… Я уверен, что вы… клянусь честью… и что вы прокл… то есть, я думаю, я полагаю… смутно догадываюсь… весьма смутно догадываюсь… о высокой чести…

— О! — а! — да! — отлично! — прервал философа его величество, — довольно, я все уже понял. — И вслед за этим он снял свои зеленые очки, тщательно протер стекла рукавом сюртука и спрятал очки в карман.

Если происшествие с книгой удивило Бон-Бона, то теперь его изумление сильно возросло от зрелища, представшего перед ним. Горя желанием установить, наконец, какого же цвета глаза у его гостя, Бон-Бон взглянул на них. И тут он обнаружил, что вопреки его ожиданиям цвет их вовсе не был черным. Не был он и серым, вопреки тому, что можно было бы предположить — не был ни карим, ни голубым — ни желтым — ни красным — ни пурпурным — ни белым — ни зеленым — и вообще не был никаким цветом, который можно сыскать вверху в небесах, или внизу на земле, или же в водах под землей. Словом, Пьер Бон-Бон не только увидел, что у его величества попросту нет никаких глаз, но и не мог обнаружить ни единого признака их существования в прежние времена, ибо пространство, где глазам полагается пребывать по естеству, было совершенно гладким.

Воздержание от вопросов по поводу причин столь странного явления вовсе не входило в натуру метафизика, а ответ его величества отличался прямотой, достоинством и убедительностью.

— Глаза! — мой дорогой Бон-Бон — глаза, говорите вы? — о! — а! — Понимаю! Нелепые картинки — не правда ль? — нелепые картинки, которые ходят средь публики, создали ложное представление о моей наружности. Глаза!!! — Конечно! Глаза, Пьер Бон-Бон, хороши на подходящем для них месте — их место на голове, скажете вы! — верно — на голове червя. Точно так же и вам

необходимы эти окуляры, и все ж вы сейчас убедитесь, что мое зрение проникает глубже вашего. Вон там в углу я вижу койку — миленькая кошка — взгляните на нее — понаблюдайте за ней хорошенько. Ну как, Бон-Бон, видите ли вы ее мысли — мысли, говорю я, — идеи — концепции, — которые зарождаются под ее черепной коробкой? Вот то-то же, не видите! Она думает, что мы восхищены длиной ее хвоста и глубиной ее разума. Только что она пришла к заключению, что я — весьма важное духовное лицо, а вы — крайне поверхностный метафизик. Итак, вы видите, я не вполне слеп; но тому, кто имеет мою профессию, глаза, о которых вы говорите, были бы попросту обузой, того и гляди их выколят вилами или вертелом для подрумянивания грешников. Вам эти оптические штуковины необходимы, я готов это признать. Постарайтесь, Бон-Бон, использовать их хорошо; мое же зрение — душа.

С этими словами гость налил себе вина и, наполнив до краев стакан Бон-Бона, предложил ему выпить без всякого стеснения и вообще чувствовать себя совсем как дома.

— Неглупая вышла у вас книга, Пьер, — продолжал его величество, похлопывая с хитрым видом нашего приятеля по плечу, когда тот поставил стакан, в точности выполнив предписание гостя. — Неглупая вышла книга, клянусь честью. Такая работа мне по сердцу. Однако расположение материала, я думаю, можно улучшить, к тому же многие ваши взгляды напоминают мне Аристотеля. Этот философ был одним из моих ближайших знакомых. Я обожал его за отвратительный нрав и за счастливое уменье попадать впросак. Есть только одна твердая истина во всем, что он написал, да и ту из чистого сострадания к его бестолковости я ему подсказал. Я полагаю, Пьер Бон-Бон, вы хорошо знаете ту восхитительную этическую истину, на которую я намекаю?

— Не могу сказать, чтоб я…

— Ну конечно же! Да ведь это я сказал Аристотелю, что избыток идей люди удаляют через ноздри посредством чихания.

— Что, безусловно, — и-ик — и имеет место, — заметил метафизик, наливая себе еще один стакан муссо и подставляя гостю свою табакерку.

— Был там еще такой Платон, — продолжал его величество, скромно отклоняя табакерку и подразумеваемый комплимент, — был

там еще Платон, к которому одно время я питал самую дружескую привязанность. Вы знавали Платона, Бон-Бон? — ах, да, Реестр обреченных, — приношу тысячу извинений. Однажды он встретил меня в Афинах, в Парфеноне, и сказал, что хочет разжиться идеей. Я посоветовал ему написать, что o nouz estin auloz[181]. Он обещал именно так и поступить и отправился домой, а я заглянул к пирамидам. Однако моя совесть грызла меня за то, что я высказал истину, хотя бы и в помощь другу, и, поспешив назад в Афины, я подошел к креслу философа как раз в тот момент, когда он выводил словечко «auloz». Я дал лямбде щелчка, и она опрокинулась; поэтому фраза читается теперь как «o nouz estin augoz»[182] и составляет, видите ли, основную доктрину его метафизики.

— Вы бывали когда-нибудь в Риме? — спросил restaurateur, прикончив вторую бутылку mousseux и доставая из буфета приличный запас шамбертена.

— Только однажды, monsieur Бон-Бон, только однажды. В то время, — продолжал дьявол, словно читая по книге, — в то время настал период анархии, длившийся пять лет, когда в республике, лишенной всех ее должностных лиц, не осталось иных управителей, кроме народных трибунов[183], да к тому же не облеченных полномочиями исполнительной власти. В то время, monsieur Бон-Бон, только в то время я побывал в Риме, и, как следствие этого, я не имею ни малейшего знакомства с его философией.[184]

— Что вы думаете — и-ик — думаете об — и-ик — Эпикуре?

— Что я думаю о ком, о ком? — переспросил с изумлением дьявол. Ну, уж в Эпикуре вы не найдете ни малейшего изъяна! Что я думаю об Эпикуре! Вы имеете в виду меня, сэр? — Эпикур — это я! Я — тот самый философ, который написал все до единого триста трактатов, упоминаемых Диогеном Лаэрцием.

— Это ложь! — сказал метафизик, которому вино слегка ударило в голову.

— Прекрасно! Прекрасно, сэр! Поистине прекрасно, сэр! — проговорил его величество, по всей видимости весьма польщенный.

— Это ложь! — повторил restaurateur, не допуская возражений. — Это — и-ик — ложь!

— Ну, ну, пусть будет по-вашему! — сказал миролюбиво дьявол, а Бон-Бон, побив его величество в споре, счел своим долгом прикончить

вторую бутылку шамбертена.

— Как я уже говорил, — продолжал посетитель, — как я отмечал немного ранее, некоторые понятия в этой вашей книге, monsieur Бон-Бон, весьма outre[185]. Вот, к слову сказать, что за околесицу несете вы там о душе? Скажите на милость, сэр, что такое душа?

— Дуу — и-ик — ша, — ответил метафизик, заглядывая в рукопись, — душа несомненно…

— Нет, сэр!

— Безусловно…

— Нет, сэр!

— Неоспоримо…

— Нет, сэр!..

— Очевидно…

— Нет, сэр!

— Неопровержимо…

— Нет, сэр!

— И-ик!..

— Нет, сэр!

— И вне всякого сомнения, ду…

— Нет, сэр, душа вовсе не это! (Тут философ, бросая по сторонам свирепые взгляды, воспользовался случаем прикончить без промедления третью бутылку шамбертена).

— Тогда — и-и-ик — скажите на милость, сэр, что ж — что ж это такое?

— Это несущественно, monsieur Бон-Бон, — ответил его величество, погружаясь в воспоминания. — Мне доводилось отведывать — я имею в виду знавать — весьма скверные души, а подчас и весьма недурные. — Тут он причмокнул губами и, ухватясь машинально рукой за том, лежащий в кармане, затрясся в неудержимом припадке чиханья. Затем он продолжал:

— У Кратина[186] душа была сносной; у Аристофана — пикантной; у Платона — изысканной — не у вашего Платона, а у того, у комического поэта[187]; от вашего Платона стало бы дурно и Церберу — тьфу! Позвольте, кто ж дальше? Были там еще Невий[188], Андроник[189], Плавт и Теренций. А затем Луцилий[190], Катулл, Назон[191], и Квинт Флакк[192] — миляга Квинта, чтобы потешить

меня, распевал seculare[193], пока я подрумянивал его, в благодушнейшем настроении, на вилке. Но все ж им недоставало настоящего вкуса, этим римлянам. Один упитанный грек стоил дюжины, и к тому ж не начинал припахивать, чего не скажешь о квиритах[194]. Отведаем вашего сотерна!

К этому времени Бон-Бон твердо решил nil admirari[195] и сделал попытку подать требуемые бутылки. Он услышал, однако, в комнате странный звук, словно кто-то махал хвостом. На этот, хотя и крайне недостойный со стороны его величества, звук, наш философ не стал обращать внимания, он попросту дал пуделю пинка и велел ему лежать смирно. Меж тем посетитель продолжал свой рассказ:

— Я нашел, что Гораций на вкус очень схож с Аристотелем, — а вы знаете, я люблю разнообразие. Теренция я не мог отличить от Менандра[196]. Назон, к моему удивлению, обманчиво напоминал Никандра[197] под другим соусом. Вергилий[198] сильно отдавал Феокритом. Марциал[199] напомнил мне Архилоха[200], а Тит Ливий[201] определенно был Полибием[202] и не кем другим.

— И-и-ик! — ответил Бон-Бон, а его величество продолжал:

— Но если у меня и есть страстишка, monsieur Бон-Бон, — если и есть страстишка, так это к философам. Однако ж, позвольте мне сказать вам, сэр, что не всякий чер… — я хочу сказать, не всякий джентльмен умеет выбрать философа. Те, что подлиннее, — не хороши, и даже лучшие, если их не зачистишь, становятся горклыми из-за желчи.

— Зачистишь?

— Я хотел сказать, не вынешь из тела.

— Ну а как вы находите — и-и-ик — врачей?

— И не упоминайте о них! — мерзость! (Здесь его величество потянуло на рвоту). — Я откушал лишь одного ракалью Гиппократа — ну, и вонял же он асафетидой[203] — тьфу! тьфу! тьфу! — я подцепил простуду, полоща его в Стиксе, и вдобавок он наградил меня азиатской холерой.

— Ско-ик-тина! — выкрикнул Бон-Бон. — Клистирная — и-и-ик — кишка! — и философ уронил слезу.

— В конце-то концов, — продолжал посетитель, — в конце-то концов, если чер… — если джентльмен хочет остаться в живых, он

должен обладать хоть некоторыми талантами; у нас круглая физиономия — признак дипломатических способностей.

— Как это?

— Видите ли, иной раз бывает очень туго с провиантом. Надо сказать, что в нашем знойном климате зачастую трудно сохранить душу в живых свыше двух или трех часов; а после смерти, если ее немедля не сунуть в рассол (а соленые души — совсем не то, что свежие), она начинает припахивать — понятно, а? Каждый раз опасаешься порчи, если получаешь душу обычным способом.

— И-ик! — И-ик! — Да как же вы там живете?

Тут железная лампа закачалась с удвоенной силой, а дьявол привстал со своего кресла; однако же, с легким вздохом он занял прежнюю позицию и лишь сказал нашему герою вполголоса: — Прошу вас, Пьер Бон-Бон, не надо больше браниться.

В знак полного понимания и молчаливого согласия хозяин опрокинул еще один стакан, и посетитель продолжал:

— Живем? Живем мы по-разному. Большинство умирает с голоду, иные — питаются солониной; что ж касается меня, то я покупаю мои души vivente corpore[204], в каковом случае они сохраняются очень неплохо.

— Ну, а тело!? — и-ик — а тело!?

— Тело, тело — а причем тут тело? — о! — а! — понимаю! Что ж, сэр, тело нисколько не страдает от подобной коммерции. В свое время я сделал множество покупок такого рода, и стороны ни разу не испытывали ни малейшего неудобства. Были тут и Каин, и Немврод[205], и Нерон, и Калигула, и Дионисий[206], и Писистрат[207], и тысячи других, которые во второй половине своей жизни попросту позабыли, что значит иметь душу, а меж тем, сэр, эти люди служили украшением общества. Да взять хотя бы А., которого вы знаете столь же хорошо, как и я! Разве он не владеет всеми своими способностями, телесными и духовными? Кто напишет эпиграмму острей? Кто рассуждает остроумней? Но погодите, договор с ним находится у меня здесь, в записной книжке.

Говоря это, он достал красное кожаное портмоне и вынул из него пачку бумаг. Перед Бон-Боном мелькнули буквы Маки[208]… Маза[209]… Робесп[210]… и слова Калигула, Георг[211], Елизавета[212].

Его величество выбрал узенькую полоску пергамента и прочел вслух следующее:

— Сим, в компенсацию за определенные умственные дарования, а также в обмен на тысячу луидоров, я, в возрасте одного года и одного месяца, уступаю предъявителю данного соглашения все права пользования, распоряжения и владения тенью, именуемой моею душой. Подписано: А..[213] (Тут его величество прочел фамилию, указать которую более определенно я не считаю для себя возможным).

— Неглупый малый, — прибавил он, — но, как и вы, Бон-Бон, он заблуждался насчет души. Душа это тень! Как бы не так! Душа — тень! Ха! ха! ха! — хе! хе! хе! — хо! хо! хо! Подумать только — фрикасе из тени!

— Подумать только — и-ик! — фрикасе из тени! — воскликнул наш герой, в голове у которого наступало прояснение от глубочайших мыслей, высказанных его величеством.

— Подумать только — фри-ик-касе из тени! Черт подери! — И-ик! — Хм! — Да будь я на месте — и-ик! — этого простофили! Моя душа, Мистер… Хм!

— Ваша душа, monsieur Бон-Бон?

— Да, сэр — и-ик! — моя душа была бы…

— Чем, сэр?

— Не тенью, черт подери!

— Вы хотите сказать…

— Да, сэр, моя душа была бы — и-ик! — хм! — да, сэр.

— Уж не станете ли вы утверждать…

— Моя душа особенно — и-ик! — годилась бы — и-ик! для…

— Для чего, сэр?

— Для рагу.

— Неужто?

— Для суфле!

— Не может быть!

— Для фрикасе!

— Правда?

— Для рагу и для фрикандо — послушай-ка, приятель, я тебе ее уступлю — и-ик — идет! — Тут философ шлепнул его величество по спине.

— Это немыслимо! — невозмутимо ответил последний, поднимаясь с кресла. Метафизик недоуменно уставился на него.

— У меня их сейчас предостаточно, — пояснил его величество.

— Да — и-ик — разве? — сказал философ.

— Не располагаю средствами.

— Что?

— К тому же с моей стороны было бы некрасиво…

— Сэр!

— Воспользоваться…

— И-ик!

— Вашим нынешним омерзительным и недостойным состоянием.

Гость поклонился и исчез — трудно установить, каким способом, — но бутылка, точным броском запущенная в «злодея», перебила подвешенную к потолку цепочку, и метафизик распростерся на полу под рухнувшей вниз лампой.

1 декабря, 1832

пер. Ф. Широкова

Рукопись, найденная в бутылке

Тому, кому осталось жить не более мгновенья,
Уж больше нечего терять.

Филипп Кино. «Атис»[214]

Об отечестве моем и семействе сказать мне почти нечего. Несправедливость изгнала меня на чужбину, а долгие годы разлуки отдалили от родных. Богатое наследство позволило мне получить изрядное для тогдашнего времени образование, а врожденная пытливость ума дала возможность привести в систему сведения, накопленные упорным трудом в ранней юности. Превыше всего любил я читать сочинения немецких философов-моралистов — не потому, что красноречивое безумие последних внушало мне неразумный восторг, а лишь за ту легкость, с какою привычка к логическому мышлению помогала обнаруживать ложность их построений. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии вменялся мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона[215]. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии и вправду сделала меня жертвою весьма распространенного заблуждения нашего века — я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются подобному объяснению, принципами этой науки. Вообще говоря, казалось почти невероятным, чтобы ignes fatui[216] суеверия могли увлечь за суровые пределы истины человека моего склада. Я счел уместным предварить свой рассказ этим небольшим вступлением, дабы необыкновенные происшествия, которые я намереваюсь изложить, не были сочтены скорее плодом безумного воображения, нежели действительным опытом человеческого разума, совершенно исключившего игру фантазии как пустой звук и мертвую букву.

Проведши много лет в заграничных путешествиях, я не имел причин ехать куда бы то ни было, однако же, снедаемый каким-то нервным беспокойством, — словно сам дьявол в меня вселился, — я в 18… году выехал из порта Батавия[217], что на богатом и густо

населенном острове Ява, в качестве пассажира корабля, совершавшего плаванье вдоль островов Зондского архипелага. Корабль наш, великолепный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, построенный в Бомбее из малабарского тикового дерева и обшитый медью, имел на борту хлопок и хлопковое масло с Лаккадивских островов[218], а также копру, пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была сделана кое-как, что сильно уменьшало остойчивость судна.

Мы покинули порт при еле заметном ветерке и в течение долгих дней шли вдоль восточного берега Явы. Однообразие нашего плавания лишь изредка нарушалось встречей с небольшими каботажными судами с тех островов, куда мы держали свой путь.

Однажды вечером я стоял, прислонившись к поручням на юте, и вдруг заметил на северо-западе какое-то странное одинокое облако. Оно поразило меня как своим цветом, так и тем, что было первым, какое мы увидели со дня отплытия из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката, когда оно внезапно распространилось на восток и на запад, опоясав весь горизонт узкою лентой тумана, напоминавшей длинную полосу низкого морского берега. Вскоре после этого мое внимание привлек темно-красный цвет луны и необычайный вид моря. Последнее менялось прямо на глазах, причем вода казалась гораздо прозрачнее обыкновенного. Хотя можно было совершенно ясно различить дно, я бросил лот и убедился, что под килем ровно пятнадцать фатомов[219]. Воздух стал невыносимо горячим и был насыщен испарениями, которые клубились, словно жар, поднимающийся от раскаленного железа. С приближением ночи замерло последнее дыхание ветерка и воцарился совершенно невообразимый штиль. Ничто не колебало пламени свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я держал указательным и большим пальцем, не обнаруживал ни малейшей вибрации. Однако капитан объявил, что не видит никаких признаков опасности, а так как наш корабль сносило лагом к берегу, он приказал убрать паруса и отдать якорь. На вахту никого не поставили, и матросы, большей частию малайцы, лениво растянулись на палубе. Я спустился вниз — признаться, не без дурных предчувствий. И в самом деле, все свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими

опасениями с капитаном, но он не обратил никакого внимания на мои слова и ушел, не удостоив меня ответом. Тревога, однако, не давала мне спать, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Поставив ногу на верхнюю ступеньку трапа, я вздрогнул от громкого гула, напоминавшего звук, производимый быстрым вращением мельничного колеса, но прежде чем смог определить, откуда он исходит, почувствовал, что судно задрожало всем своим корпусом. Секунду спустя огромная масса вспененной воды положила нас на бок и, прокатившись по всей палубе от носа до кормы, унесла в море все, что там находилось.

Между тем этот неистовый порыв урагана оказался спасительным для нашего корабля. Ветер сломал и сбросил за борт мачты, вследствие чего судно медленно выпрямилось, некоторое время продолжало шататься под страшным натиском шквала, но в конце концов стало на ровный киль.

Каким чудом избежал я гибели — объяснить невозможно. Оглушенный ударом волны, я постепенно пришел в себя и обнаружил, что меня зажало между румпелем и фальшбортом. С большим трудом поднявшись на ноги и растерянно оглядевшись, я сначала решил, что нас бросило на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не могла бы представить себе эти огромные вспененные буруны, словно стены, вздымавшиеся ввысь. Вдруг до меня донесся голос старого шведа, который сел на корабль перед самым отплытием из порта. Я что было силы закричал ему в ответ, и он, шатаясь, пробрался ко мне на корму. Вскоре оказалось, что в живых остались только мы двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, что же касается капитана и его помощников, то они, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху залиты водой. Лишенные всякой помощи, мы вдвоем едва ли могли предпринять что-либо для безопасности судна, тем более что вначале, пораженные ужасом, с минуты на минуту ожидали конца. При первом же порыве урагана наш якорный канат, разумеется, лопнул, как тонкая бечевка, и лишь благодаря этому нас тут же не перевернуло вверх дном. Мы с невероятной скоростью неслись вперед, и палубу то и дело захлестывало водой. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны, и все судно было сильно повреждено, однако, к великой нашей радости, мы убедились, что помпы работают исправно и что

балласт почти не сместился. Буря уже начала стихать, и мы не усматривали большой опасности в силе ветра, а напротив, со страхом ожидали той минуты, когда он прекратится совсем, в полной уверенности, что мертвая зыбь, которая за ним последует, непременно погубит наш потрепанный корабль. Но это вполне обоснованное опасение как будто ничем не подтверждалось. Пять суток подряд, — в течение коих единственное наше пропитание составляло небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали на баке, — наше разбитое судно, подгоняемое шквальным ветром, который хотя и уступал по силе первым порывам тайфуна, был тем не менее гораздо страшнее любой пережитой мною прежде бури, мчалось вперед со скоростью, не поддающейся измерению. Первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, по-видимому, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии[220]. На пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не излучало света. Небо было безоблачно, но ветер свежел и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень — насколько мы могли судить — наше внимание опять привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, как будто все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в середине диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомою силой, и в бездонный океан канул один лишь тусклый серебристый ободок.

Напрасно ожидали мы наступления шестого дня — для меня он и по сей час еще не наступил, а для старого шведа не наступит никогда. С этой поры мы были объяты такой непроглядною тьмой, что в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего разобрать. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением моря, к которому мы привыкли в тропиках. Мы также заметили, что, хотя буря продолжала свирепствовать с неудержимою силой, вокруг больше не было обычных вспененных бурунов, которые сопровождали нас прежде. Везде царил только ужас, непроницаемый мрак и вихрящаяся черная пустота. Суеверный страх постепенно овладел душою старого шведа, да и мой дух тоже был

объят немым смятеньем. Мы перестали следить за кораблем, считая это занятие более чем бесполезным, и, как можно крепче привязав друг Друга к основанию сломанной бизань-мачты, с тоскою взирали на бесконечный океан. У нас не было никаких средств для отсчета времени и никакой возможности определить свое местоположение. Правда, мы ясно видели, что продвинулись на юг дальше, чем кто-либо из прежних мореплавателей, и были чрезвычайно удивлены тем, что до сих пор не натолкнулись на обычные для этих широт льды. Между тем каждая минута могла стать для нас последней, ибо каждый огромный вал грозил опрокинуть наше судно. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал за чудо, что мы до сих пор еще не покоимся на дне пучины. Мой спутник упомянул о легкости нашего груза и обратил мое внимание на превосходные качества нашего корабля, но я невольно ощущал всю безнадежность надежды и мрачно приготовился к смерти, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час, ибо с каждою милей мертвая зыбь усиливалась и гигантские черные валы становились все страшнее и страшнее. Порой у нас захватывало дух при подъеме на высоту, недоступную даже альбатросу, порою темнело в глазах при спуске в настоящую водяную преисподнюю, где воздух был зловонен и сперт и ни единый звук не нарушал дремоту морских чудовищ.

Мы как раз погрузились в одну из таких пропастей, когда в ночи раздался пронзительный вопль моего товарища. «Смотрите, смотрите! — кричал он мне прямо в ухо, — о, всемогущий боже! Смотрите!» При этих словах я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы находились, озарило тусклое багровое сияние; его мерцающий отблеск ложился на палубу нашего судна. Подняв свой взор кверху, я увидел зрелище, от которого кровь заледенела у меня в жилах. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва вздыбился гигантский корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Хотя он висел на гребне волны, во сто раз превышавшей его собственную высоту, истинные размеры его все равно превосходили размеры любого существующего на свете линейного корабля или судна Ост-Индской компании. Его колоссальный тускло-черный корпус не оживляли обычные для всех кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали в один ряд медные пушки, полированные поверхности которых отражали огни

бесчисленных боевых фонарей, качавшихся на снастях. Но особый ужас и изумление внушило нам то, что, презрев бушевавшее с неукротимой яростию море, корабль этот несся на всех парусах навстречу совершенно сверхъестественному ураганному ветру. Сначала мы увидели только ноо корабля, медленно поднимавшегося из жуткого темного провала позади него. На одно полное невыразимого ужаса мгновенье он застыл на головокружительный высоте, как бы упиваясь своим величием, затем вздрогнул, затрепетал и — обрушился вниз.

В этот миг в душу мою снизошел непонятный покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без всякого страха ожидал неминуемой смерти. Наш корабль не мог уже больше противостоять стихии и зарылся носом в надвигавшийся вал. Поэтому удар падавшей вниз массы пришелся как раз в ту часть его корпуса, которая была уже почти под водой, и как неизбежное следствие этого меня со страшною силой швырнуло на ванты незнакомого судна.

Когда я упал, это судно сделало поворот оверштаг, и, очевидно благодаря последовавшей затем суматохе, никто из команды не обратил на меня внимания. Никем не замеченный, я без труда отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре подучил возможность спрятаться в трюме. Почему я так поступил, я, право, не могу сказать. Быть может, причиной моего стремления укрыться был беспредельный трепет, охвативший меня при виде матросов этого корабля. Я не желал вверять свою судьбу существам, которые при первом же взгляде поразили меня своим зловещим и странным обличьем. Поэтому я счел за лучшее соорудить себе тайник в трюме и отодвинул часть временной переборки, чтобы в случае необходимости спрятаться между огромными шпангоутами.

Едва успел я подготовить свое убежище, как звук шагов в трюме заставил меня им воспользоваться. Мимо моего укрытия тихой, нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я разглядеть не мог, но имел возможность составить себе общее представление об его внешности, которая свидетельствовала о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени его сгибались под тяжестью лет, и все его тело дрожало под этим непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом бормоча что-то на неизвестном мне языке, он шарил в углу, где были свалены в кучу какие-то диковинные

инструменты и полуистлевшие морские карты. Вся его манера являла собою смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и величавого достоинства бога. В конце концов он возвратился на палубу, и больше я его не видел.

…

Душой моей владеет новое чувство, имени которого я не знаю, ощущение, не поддающееся анализу, ибо для пего нет объяснений в уроках былого, и даже само грядущее, боюсь, не подберет мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение убийственно. Никогда — я это знаю твердо — никогда не смогу я точно истолковать происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование будет неопределенным — ведь оно обращено на предметы абсолютно неизведанные. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию.

…

Прошло уже немало времени с тех пор, как я вступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы уже начинают собираться в фокус. Непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них в высшей степени бессмысленно, ибо они упорно не желают видеть. Не далее как сию минуту я прошел прямо перед глазами у первого помощника; незадолго перед тем я осмелился проникнуть в каюту самого капитана и вынес оттуда письменные принадлежности, которыми пишу и писал до сих пор. Время от времени я буду продолжать эти записки. Правда, мне может и не представиться оказия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу рукопись в бутылку и брошу ее в море.

…

Произошло нечто, давшее мне новую пищу для размышлений. Не следует ли считать подобные явления нечаянной игрою случая? Я вышел на палубу и, не замечаемый никем, улегся на куче старых парусов и канатов, сваленных на дне шлюпки. Раздумывая о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя, лежавшего возле меня на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные мазки сложились в слово открытие.

В последнее время я сделал много наблюдений по части устройства этого судна. Несмотря на изрядное вооружение, оно, по-моему, никак не может быть военным кораблем. Его архитектура, оснастка и вообще все оборудование опровергают предположение подобного рода. Чем оно не может быть, я хорошо понимаю, а вот чем оно может быть, боюсь, сказать невозможно. Сам не знаю почему, но, когда я внимательно изучаю его необычные обводы и своеобразный рангоут, его огромные размеры и избыток парусов, строгую простоту его носа и старинную форму кормы, в уме моем то и дело проносятся какие-то знакомые образы и вместе с этой смутной тенью воспоминаний в памяти безотчетно всплывают древние иноземные хроники и века давно минувшие.

…

Я досконально изучил тимберсы корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает особым свойством, которое, как мне кажется, делает его совершенно непригодным для той цели, которой оно должно служить. Я имею в виду его необыкновенную пористость, даже независимо от того, что он весь источен червями (естественное следствие плавания в этих морях), не говоря уже о трухлявости, неизменно сопровождающей старость. Пожалуй, мое замечание может показаться слишком курьезным, но это дерево имело бы все свойства испанского дуба, если бы испанский дуб можно было каким-либо сверхъестественным способом растянуть.

При чтении последней фразы мне приходит на память афоризм одного старого, видавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь высказывал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка».

…

Час назад, набравшись храбрости, я решился подойти к группе матросов. Они не обращали на меня ни малейшего внимания и, хотя я затесался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечали моего присутствия. Подобно тому, кого я в первый раз увидел в трюме, все они были отмечены печатью глубокой старости. Колени их дрожали от немощи, дряхлые спины сгорбились, высохшая кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали глухо и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленою, а седые волосы бешено трепала

буря. Вся палуба вокруг них была завалена математическими инструментами необычайно замысловатой, устаревшей конструкции.

…

Недавно я упомянул о том, что подняли лисель. С этого времени корабль шел в полный бакштаг, продолжая свой зловещий путь прямо на юг под всеми парусами и поминутно окуная ноки своих брамрей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что ушел с палубы, где совершенно не мог устоять на ногах, между тем как команда, казалось, не испытывала никаких неудобств. Чудом из чудес представляется мне то обстоятельство, что огромный корпус нашего судна раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно пребывать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребня валов, фантастические размеры которых в тысячу раз превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы с легкой стремительностью чайки соскальзываем вниз, и колоссальные волны возносят над нами свои головы, словно демоны адских глубин, однако демоны, коим дозволены одни лишь угрозы, но не дано уничтожать. То, что мы все время чудом уходим от гибели, я склонен приписать единственной натуральной причине, которая может вызвать подобное следствие. Очевидно, корабль находится под воздействием какого-то сильного течения или бурного глубинного потока.

…

Я столкнулся лицом к лицу с капитаном, и притом в его же собственной каюте, но, как я и ожидал, он не обратил на меня ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его наружности не могла бы навести случайного наблюдателя на мысль, что он не принадлежит к числу смертных, и все же я взирал на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но пропорционально сложен. Однако необыкновенное выражение, застывшее на его лице, — напряженное, невиданное, вызывающее нервную дрожь свидетельство старости столь бесконечной, столь несказанно глубокой, — вселяет мне в душу ощущение неизъяснимое. Чело его, на котором почти не видно морщин, отмечено, однако, печатью неисчислимого множества лет. Его седые бесцветные волосы — свидетели прошлого, а выцветшие серые

глаза — пророчицы грядущего. На полу каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших научных инструментов и древних, давно забытых морских карт. Склонившись головою на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент и которая, во всяком случае, была скреплена подписью монарха. Он сердито бормотал про себя — в точности как первый моряк, которого я увидел в трюме, — слова какого-то чужеземного наречия, и, хотя я стоял почти рядом, его глухой голос, казалось, доносился до меня с расстояния в добрую милю.

…

Корабль и все находящееся на нем проникнуто духом Старины. Моряки скользят взад-вперед, словно призраки погребенных столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, и, когда в грозном мерцании боевых фонарей руки их нечаянно преграждают мне путь, я испытываю чувства доселе не испытанные, хотя всю свою жизнь занимался торговлею древностями и так долго дышал тенями рухнувших колоннад Баальбека, Тадмора и Персеполя[221], что душа моя и сама превратилась в руину.

…

Оглядываясь вокруг, я стыжусь своих прежних опасений. Если я дрожал от шквала, сопровождавшего нас до сих пор, то разве не должна поразить меня ужасом схватка океана и ветра, для описания коей слова «смерч» и «тайфун», пожалуй, слишком мелки и ничтожны? В непосредственной близости от корабля царит непроглядный мрак вечной ночи и хаос беспенных волн, но примерно в одной лиге по обе стороны от нас виднеются там и сям смутные силуэты огромных ледяных глыб, которые, словно бастионы мирозданья, возносят в пустое безотрадное небо свои необозримые вершины.

…

Как я и думал, корабль попал в течение, если это наименование может дать хоть какое-то понятие о бешеном грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь белое ледяное ущелье, стремительно катится к югу.

…

Постигнуть весь ужас моих ощущений, пожалуй, совершенно невозможно; однако страстное желание проникнуть в тайны этого чудовищного края превосходит даже мое отчаяние и способно примирить меня с самым ужасным концом. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке некоей тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее своею жизнью. Быть может, это течение ведет нас прямо к Южному полюсу[222]. Следует признать, что многое свидетельствует в пользу этого предположения, на первый взгляд, по-видимому, столь невероятного.

…

Матросы беспокойным, неверным шагом с тревогою бродят по палубе, но на лицах их написана скорее трепетная надежда, нежели безразличие отчаяния.

Между тем ветер все еще дует нам в корму, а так как мы несем слишком много парусов, корабль по временам прямо-таки взмывает в воздух! Внезапно — о беспредельный чудовищный ужас! — справа и слева от нас льды расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев колоссального амфитеатра, гребни стен которого теряются в непроглядной дали. Однако для размышлений об ожидающей меня участи остается теперь слишком мало времени! Круги быстро сокращаются — мы стремглав ныряем в самую пасть водоворота, и среди неистового рева, грохота и воя океана и бури наш корабль вздрагивает и — о боже! — низвергается в бездну!

…

Примечание. «Рукопись, найденная в бутылке» была впервые опубликована в 1831 году, и лишь много лет спустя я познакомился с картами Меркатора[223], на которых океан представлен в виде четырех потоков, устремляющихся в (северный) Полярный залив, где его должны поглотить недра земли, тогда как самый полюс представлен в виде черной скалы, вздымающейся на огромную высоту.

19 октября, 1833

пер. М. Беккер

Свидание

О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой.

Генри Кинг, епископ Чичестерский[224].

«Эпитафия на смерть жены»

Злосчастный и загадочный человек! — смятенный ослепительным блеском своего воображения и падший в пламени своей юности! Вновь в мечтах моих я вижу тебя! Вновь твой облик возникает передо мною! не таким — ах! — каков ты ныне, в долине хлада и тени, но таким, каким ты должен был быть — расточая жизнь на роскошные размышления в граде неясных видений, в твоей Венеции — в возлюбленном звездами морском Элизиуме[225], где огромные окна всех палаццо, построенных Палладио,[226] взирают с глубоким и горьким знанием на тайны тихих вод. Да! повторяю — каким ты должен был быть. О, наверное, кроме этого, есть иные миры — мысли иные, нежели мысли неисчислимого человечества, суждения иные, нежели суждения софиста. Кто же тогда призовет тебя к ответу за содеянное тобою? Кто упрекнет тебя за часы ясновидения или осудит как трату жизни те из твоих занятий, что были только переплеском твоих неиссякаемых сил?

В Венеции, под крытою аркою, называемою там Ponte di Sospiri[227], встретил я в третий или четвертый раз того, о котором повествую. С чувством смущения воскрешаю я в памяти обстоятельства той встречи. И все же я помню — ах! забыть ли мне? — глубокую полночь, Мост Вздохов[228], прекрасную женщину и Гений Возвышенного, реявший над узким каналом.

Стоял необычно темный для Италии вечер. Громадные часы на Пьяцце[229] пробили пять. Площадь Кампанила[230] была безлюдна и тиха, и огни в старом Дворце Дожей быстро гасли. Я возвращался домой с Пьяцетты[231] по Большому Каналу. Когда же моя гондола проходила напротив устья канала Святого Марка, откуда-то со стороны

его раздался женский голос, внезапно пронзивший тьму диким, истерическим, протяжным вскриком. Встревоженный этим звуком, я вскочил на ноги; а гондольер, выпустив единственное весло, безвозвратно потерял его в черной тьме, и вследствие этого мы были предоставлены на волю течения, в этом месте идущего из большего в меньший канал. Подобно некоему гигантскому черноперому кондору, мы медленно проплывали к Мосту Вздохов, когда сотни факелов, сверкающих в окнах и на лестнице Дворца Дожей, мгновенно превратили глубокий мрак в сверхъестественный сине-багровый день.

Младенец, выскользнув из рук матери, выпал сквозь верхнее окно высокого здания в глубокий, глухой канал. Тихие воды бесстрастно сомкнулись над жертвой; и хотя моя гондола была единственной в поле зрения, многие упорные пловцы уже находились в воде и тщетно искали на ее поверхности сокровище, которое, увы, можно было обрести лишь в ее глубине. На широких, черных мраморных плитах у дворцового входа стояла фигура, которую вряд ли кто-то из видевших ее тогда мог бы с тех пор забыть. То была маркиза Афродита, обожаемая всей Венецией, веселейшая из веселых, прекраснейшая из красивых и, к сожалению, юная жена старого интригана Ментони и мать прелестного младенца, ее первого и единственного, который сейчас, в глубине беспросветных вод, скорбно вспоминал ее нежные ласки и тратил свои хрупкие силы в попытках воззвать к ее имени.

Она стояла одна. Ее маленькие босые серебристые ноги мерцали в черном зеркале мраморных плит. Ее волосы, только что полураспущенные после бала, в потоках алмазов клубились вокруг ее античной головки кудрями, подобными завиткам гиацинта. Прозрачное белоснежное покрывало казалось едва ли не единственным одеянием ее хрупкого тела; но полночный летний воздух был душен, горяч, бестрепетен, и ни единое движение этой подобной изваянию фигуры не всколыхнуло даже складки покрывала, как бы сотканного из легчайшей дымки, которое обволакивало ее, как массивный мрамор — Ниобею[232]. И все же — странно сказать — ее большие, блистающие глаза были устремлены не вниз, не к той могиле, где было погребено ее светлое упование, но пристально взирали совсем в другом направлении! Тюрьма Старой Республики, по-моему, самое величественное здание во всей Венеции — но как могла эта дама столь пристально взирать на него, когда у ее ног

захлебывалось ее родное дитя? И темная, мрачная ниша, зияющая прямо напротив ее покоев, — что же могло быть в ее тенях, в ее очертаниях, в ее угрюмых, увитых плющом карнизах, чего бы маркиза ди Ментони не видывала тысячу раз до того? Вздор — кто не знает, что в такие мгновения глаз, подобно разбитому зеркалу, умножает образы своего горя и видит близкую беду в бесчисленных отдаленных местах?

На много ступеней выше маркизы, под аркою шлюза стоял, разряженный, и сам Ментони, похожий на сатира. Время от времени он бренчал на гитаре, как бы томимый смертельной скукой, а в перерывах давал указания о спасении своего ребенка. Потрясенный до отупения, я оцепенел с тех пор, как только услышал крик, и, должно быть, предстал перед столпившимися взволнованными людьми зловещим, призрачным видением, когда, бледный, стоя неподвижно, проплыл мимо них в погребальной гондоле.

Все попытки оказались тщетными. Многие из самых настойчивых в поисках умеряли свои усилия и сдавались унылому горю. Казалось, для младенца было мало надежды (а менее того для матери!), но сейчас из упомянутой темной ниши в стене старой республиканской тюрьмы, расположенной напротив окон маркизы, в полосу света выступила фигура, закутанная в плащ, и, остановясь на мгновение перед головокружительной крутизной, бросилась в воды канала. Еще через мгновение, когда этот человек стал, держа еще живого и дышащего младенца, рядом с маркизой, намокший плащ раскрылся, падая складками у его ног, и перед изумленными зрителями предстала стройная фигура некоего совсем молодого человека, имя которого тогда гремело почти до всей Европе.[233]

Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза! Сейчас она возьмет свое дитя, прижмет к сердцу, вцепится в маленькое тельце, осыплет его ласками. Увы! Другие руки взяли дитя у незнакомца — другие руки взяли дитя и незаметно унесли во дворец! А маркиза! Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы собираются в ее глазах — глазах, что, подобно аканту у Плиния[234], «нежны и почти влажны». Да! Слезы собираются в этих глазах — и смотрите! Дрожь пошла по всему ее телу, и статуя стала живой! Бледный мраморный лик и даже мраморные ноги, мы видим, внезапно заливает неукротимая волна

румянца; ее хрупкое тело пронизывает легкий озноб, легкий, как дуновение среди пышных серебристых лилий в Неаполе.

Почему она покраснела? На этот вопрос нет ответа — быть может, потому, что пораженная ужасом мать второпях покинула укромный будуар, забыв обуть крошечные ноги и накинуть на свои тициановские плечи подобающий наряд. Какая сыщется иная возможная причина для подобного румянца? для безумного взгляда умоляющих очей? для необычайного колыхания трепетных персей? для конвульсивного сжимания дрожащей руки? — той руки, что нечаянно, когда Ментони направился во дворец, опустилась на руку незнакомца. Какая сыщется причина для тихого, весьма тихого голоса, которым маркиза, прощаясь с незнакомцем, произнесла бессмысленные слова? «Ты победил, — сказала она (или я был обманут плеском воды), — ты победил: через час после восхода солнца — мы встретимся — да будет так!»

Шум толпы умолк, огни во дворце погасли, и незнакомец, которого я теперь узнал, один стоял на каменных плитах. Он содрогался от непостижимого волнения и взглядом искал гондолу. Я не мог не предложить ему свою, и он принял мою услугу. Добыв на шлюзе весло, мы направились к его жилищу, а он тем временем быстро овладел собою и завел речь о нашем прежнем отдаленном знакомстве с большою и очевидною сердечностью.

Есть предметы, говоря о которых, мне приятно вдаваться в мельчайшие подробности. Личность этого незнакомца — буду аттестовать его так, ибо тогда он еще являлся незнакомцем для всего мира — личность этого незнакомца один из таких предметов. Он был скорее ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной страсти его тело буквально вырастало и опровергало это утверждение. Легкая, почти хрупкая грация его фигуры заставляла ожидать от него скорее той деятельной решимости, высказанной им у Моста Вздохов, нежели геркулесовой мощи, которую, как было известно, он обнаруживал в случае большей опасности. Уста и подбородок божества, неповторимые, дикие, блестящие глаза, порою прозрачные, светло-карие, а порою сверкающие густою чернотой — изобилие черных кудрей, сквозь которые, светясь, проглядывало чело необычайной ширины, цветом сходное со слоновой костью, — таковы были его черты, и я не видел других, столь же классически правильных, кроме, быть может, у

мраморного императора Коммода[235]. И все же его облик был таков, что подобных ему впоследствии никто не видывал. Он не обладал единым, постоянно ему присущим выражением, которое могло бы запечатлеться в памяти; облик его, единожды увиденный, мгновенно забывался, но забывался, оставляя неясное и непрестанное желание вновь вспомнить его. Не то чтобы никакая буйная страсть не отбрасывала четкое отражение на зеркало этого лица — но это зеркало, как зеркалам и свойственно, не оставляло на себе следа страсти, как только та проходила.

Прощаясь со мною в ночь нашего приключения, он просил меня, как мне показалось, весьма настоятельно, посетить его очень рано следующим утром. Вскоре после восхода солнца я по его просьбе прибыл к нему в палаццо, одно из тех гигантских сооружений, исполненных мрачной, но фантастической пышности, что высятся над водами Большого канала невдалеке от Риальто[236]. Меня провели по широкой, извилистой лестнице, выложенной мозаикой, в покои, чья непревзойденная пышность прямо-таки вырывалась сиянием сквозь открывающуюся дверь, роскошью ослепляя меня и кружа мне голову.

Я знал, что мой знакомец богат. Молва говорила о его состоянии так, что я даже осмеливался называть ее нелепым преувеличением. Но, оглядываясь, я не мог заставить себя поверить, будто есть в Европе хоть один подданный, способный создать царственное великолепие, что горело и пылало кругом.

Хотя, как я сказал, солнце взошло, но светильники все еще пылали. Судя по этому, а также по усталому виду моего знакомого, он всю прошлую ночь не отходил ко сну. В архитектуре и украшениях покоя проступала явная цель ослепить и ошеломить. В небрежении оставались decora[237] того, что специалисты называют соответственностью частей или выдержанностью стиля. Взгляд переходил с предмета на предмет, ни на чем не останавливаясь: ни на гротесках греческих живописцев, ни на статуях итальянской работы лучших дней, ни на огромных, грубых египетских изваяниях. Богатые драпировки в каждой части покоя колыхались под трепетные звуки грустной, заунывной музыки, доносящейся неведомо откуда. Чувства притуплялись от смешанных, перебивающих друг друга благовоний, клубящихся на причудливых витых курильницах вкупе с бесчисленными вспышками и мигающими языками изумрудного и

фиолетового огня. Лучи только что взошедшего солнца озаряли все, вливаясь сквозь окна, в каждое из которых было вставлено но большому стеклу пунцового оттенка. Тысячекратно отражаясь там и сям от завес, что спадали с карнизов подобно потокам расплавленного серебра, лучи царя природы смешивались с искусственным освещением и ложились, как бы растекаясь по ковру из драгоценной золотой чилийской парчи.

— Ха! ха! ха! ха! ха! ха! — засмеялся хозяин дома, жестом приглашая меня сесть, как только я вошел, и сам бросаясь на оттоманку и вытягиваясь во весь рост. — Я вижу, — сказал он, заметив, что я не сразу мог примириться с допустимостью столь необычного приветствия, — я вижу, что вы ошеломлены моими апартаментами, моими статуями, моими картинами, оригинальностью моих понятий по части архитектуры и обмеблировки! Опьянели от моего великолепия, а? Но прошу извинить меня, милостивый государь (здесь тон его переменился и стал воплощением самой сердечности); прошу извинить меня за мой непристойный смех. У вас был такой ошеломленный вид. Кроме того, есть вещи настолько забавные, что человек должен или засмеяться, или умереть. Умереть, смеясь, — вот, наверное, самая великолепная изо всех великолепных смертей! Сэр Томас Мор[238] — превосходнейший был человек сэр Томас Мор, — сэр Томас Мор умер смеясь, как вы помните. А в «Абсурдностях» Равизия Текстора[239] приводится длинный перечень лиц, умерших тою же славною смертью. Знаете ли вы, однако, — продолжал он задумчиво, — что в Спарте (которая теперь называется Палеохорами), что в Спарте к западу от цитадели, среди хаоса едва видимых руин, находится нечто наподобие цоколя, на котором поныне различимы буквы ΛΑΣΜ. Несомненно, это часть слова ΓΕΛΑΣΜΑ[240]. Так вот, в Спарте стояла тысяча храмов и алтарей, посвященных тысяче разных божеств. И странно до чрезвычайности, что алтарь Смеха пережил все остальные! Но в настоящем случае, — тут его голос и манера странным образом переменились, — я не имею права веселиться за ваш счет. У вас были основания изумляться. Вся Европа не в силах создать ничего прекраснее моей царской комнатки. Другие мои апартаменты ни в коей мере не похожи на этот — они просто-напросто ultra[241] модной безвкусицы. А это будет получше моды, не правда ли? И все же стоит показать эту комнату, и она послужит началом

последнего крика моды, разумеется, для тех, кто может себе это позволить ценою всего своего родового имения. Однако я уберегся от подобной профанации. За одним исключением, вы единственный человек, не считая меня и моего камердинера, который был посвящен в тайны этого царского чертога, с тех пор как он обрел свой нынешний вид!

Я поклонился с признательностью — ибо подавляющая пышность, благовония и музыка в соединении с неожиданною эксцентричностью его обращения и манер помешали мне выразить словесно мою оценку того, что я мог бы воспринять в качестве комплимента.

— Здесь, — продолжал он, встав и опираясь о мою руку, по мере того как мы расхаживали вокруг покоя, — здесь живопись от греков до Чимабуэ[242] и от Чимабуэ до нашего времени. Как видите, многое выбрано без малейшего внимания к мнениям Добродетели. Но все достойно украшать комнату, подобную этой. Здесь некоторые шедевры великих художников, оставшихся неизвестными; здесь же неоконченные эскизы работы мастеров, прославленных в свое время, даже имена которых по прозорливости академий были предоставлены безмолвию и мне. Что вы думаете, — спросил он, резко повернувшись ко мне, — что вы думаете об этой Мадонне della Pieta?[243]

— Это работа самого Гвидо![244] — воскликнул я со всем энтузиазмом, мне присущим, ибо я пристально рассматривал ее все затмевающую прелесть. — Это работа самого Гвидо! Как могли вы ее добыть? Несомненно, для живописи она то же, что Венера для скульптуры.

— А! — задумчиво произнес он. — Венера? Прекрасная Венера? Венера Медицейская? С крошечной головкой и позолоченными волосами? Часть левой руки (здесь голос его понизился так, что был слышен с трудом) и вся правая суть реставрации, и в кокетство этой правой руки вложена, по моему мнению, аффектация в самом чистом виде. Что до меня, я предпочитаю Венеру Кановы! Аполлон тоже копия — тут не может быть сомнений, — и какой же я слепой глупец, что не в силах увидеть хваленую одухотворенность Аполлона! Я не могу — пожалейте меня! — я не могу не предпочесть Антиноя[245]. Разве не Сократ сказал[246], что ваятель находит свою статую в глыбе

мрамора? Тогда Микеланджело был отнюдь не оригинален в своем двустишии:

Non ha l'ottimo artista alcum concetto
Che un marmo solo in non circunscriva.[247]

Было или должно было быть отмечено, что мы всегда чувствуем в манерах истинного джентльмена отличие от поведения черни, хотя и не могли бы вдруг точно определить, в чем это отличие состоит. В полной мере применяя это замечание к внешнему поведению моего знакомца, я чувствовал, что в тот богатый событиями рассвет оно еще более приложимо к его душевному складу и характеру. И я не могу лучше определить эту его духовную особенность, ставящую его в стороне от всех других людей, чем назвав ее привычкой к напряженному и непрерывному мышлению, определяющей его самые тривиальные действия, вторгающейся даже в его шутки и вплетающейся даже в самые вспышки его веселости, подобно змеям, что выползают, извиваясь, из глаз смеющихся масок на карнизах персепольских храмов.

И все же я не мог не заметить, что сквозь его слова о пустяках, изрекаемые то торжественно, то легкомысленно, постоянно прорывается некий трепет — дрожь, пронизывающая его движения и речи, непокойная взволнованность, казавшаяся мне необъяснимой, а порой и внушавшая тревогу. Часто он останавливался на середине фразы, явно забывая ее начало, и, казалось, прислушивался с глубочайшим вниманием, то ли ожидая чьего-то прихода, то ли вслушиваясь в звуки, должно быть, существовавшие лишь в его воображении.

Во время одного из этих периодов задумчивости или отвлечения от всего, переворачивая страницу «Орфея», прекрасной трагедии поэта и ученого Полициано[248] (первой итальянской трагедии), которая лежала рядом со мною на оттоманке, я обнаружил пассаж, подчеркнутый карандашом. Это был пассаж, находящийся недалеко от конца третьего акта, проникнутый волнующим напряжением, — пассаж, который даже человек, запятнанный пороком, не может прочитать, не испытывая озноб, рожденный неведомым ранее

чувством, а женщина — без вздоха. Вся страница была залита свежими слезами; а на противоположном, чистом листе находились следующие строки, написанные по-английски, — и почерком, столь несхожим с причудливым почерком моего знакомца, что лишь с известным трудом я признал его руку:

В твоем я видел взоре,
К чему летел мечтой —
Зеленый остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах —
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой нежный сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — но над былым
Мой дух простерт — без чувств, без слов,

Подавлен, недвижим!
Вновь не зажжется надо мной
Любви моей звезда.
«Нет, никогда, нет, никогда
(Так дюнам говорит прибой)
Не полетит орел больной
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!»

Мне сны дарят отраду,
Мечта меня влечет
К пленительному взгляду
В эфирный хоровод,
Где вечно льет прохладу
Плеск италийских вод.

И я живу, тот час кляня,

Когда прибой бурливый
Тебя отторгнул от меня
Для ласки нечестивой —
Из края, где, главу клоня,
Дрожат и плачут ивы!

То, что эти строки написаны были по-английски — на языке, по моим предположениям, автору неизвестном, — не вызвало у меня удивления. Я слишком хорошо знал о многообразии его познаний и о чрезвычайной радости, которую он испытывал, скрывая их, чтобы изумляться какому-либо открытию в этом роде; но место и дата их написания, признаться, немало изумили меня. Под стихами вначале стояло слово «Лондон», впоследствии тщательно зачеркнутое, но не настолько, чтобы не поддаться прочтению пристальным взором. Я говорю, что это немало изумило меня, ибо я прекрасно помнил, что в одну из прежних бесед с моим знакомцем я особливо спрашивал у него, не встречал ли он когда-либо в Лондоне маркизу ди Ментони (которая несколько лет, предшествующих ее браку, жила в этом городе), и из его ответа, если только я не ошибся, я понял, будто он никогда не посещал столицу Великобритании. Заодно стоит здесь упомянуть, что я слыхал не раз (не оказывая, разумеется, доверия сообщению, сопряженному со столь большим неправдоподобием), будто человек, о котором я говорю, не только по рождению, но и по образованию был англичанин.

— Есть одна картина, — сказал он, не замечая, что я читал стихотворение, — есть одна картина, которую вы не видели. — И, отдернув какой-то полог, он открыл написанный во весь рост портрет маркизы Афродиты.

Искусство человека не могло бы совершить большего для изображения ее сверхчеловеческой красоты. Та же эфирная фигура, что прошлою ночью стояла передо мною на ступенях Дворца Дожей, стала передо мною вновь. Но в выражении ее черт, сияющих улыбками, еще таился (непостижимая аномалия!) мерцающий отблеск печали, всегда неразлучной с совершенством прекрасного. Ее правая рука покоилась на груди, а левою она указывала вниз, на вазу, причудливую по очертаниям. Маленькая ножка, достойная феи, едва

касалась земли; и, еле различимые в сиянии, что словно бы обволакивало и ограждало ее красоту, как некую святыню, парили прозрачные, нежные крылья. Я перевел взор на фигуру моего знакомца, и энергичные строки из Чепменова[249] «Бюсси д'Амбуа» непроизвольно затрепетали у меняна губах:

Он стоит,
Как изваянье римское!
И будет
Стоять, покуда смерть его во мрамор
Не обратит!

— Ну, — наконец сказал он, поворачиваясь к массивному серебряному столу, богато украшенному эмалью, где стояли несколько фантастически расписанных кубков и две большие этрусские вазы той же необычайной формы, что и ваза на переднем плане портрета, и наполненные, как я предположил, иоганнисбергером[250]. — Ну, — сказал он отрывисто, — давайте выпьем! Еще рано — но давайте выпьем. В самом деле, еще рано, — продолжал он задумчиво, в то время как херувим, опустив тяжелый золотой молот, наполнил покои звоном, возвещающим первый послерассветный час, — в самом деле, еще рано, но не все ли равно? Давайте выпьем! Совершим возлияние величавому солнцу, кое эти пестрые светильники и курильницы тщатся затмить! — И, заставив меня выпить стакан за его здоровье, он залпом осушил один за другим несколько кубков вина.

— Мечтать, — продолжал он, вновь принимая тон отрывистой беседы и поднося одну из великолепных ваз к ярко пылающей курильнице, — мечтать было делом моей жизни. И с этой целью я воздвиг себе, как видите, чертог мечтаний. Мог ли я воздвигнуть лучший в самом сердце Венеции? Правда, вы замечаете вокруг себя смешение архитектурных стилей. Чистота Ионии оскорблена здесь допотопными орнаментами, а египетские сфинксы возлежат на парчовых коврах. И все же конечный эффект покажется несообразным только робкому. Единство места и в особенности времени — пугала, которые устрашают человечество, препятствуя его созерцанию возвышенного. Я сам некогда был этому сторонник, но душа моя

пресытилась подобными выспренними глупостями. Все, что ныне окружает меня, куда более ответствует моим стремлениям. Словно эти курильницы, украшенные арабесками, дух мой извивается в пламени, и это бредовое окружение готовит меня к безумнейшим зрелищам той страны сбывшихся мечтаний, куда я теперь поспешно отбываю. — Он внезапно прервал свои речи, опустил голову на грудь и, казалось, прислушивался к звуку, мне неслышному. Наконец он выпрямился во весь рост, устремил взор ввысь и выкрикнул строки епископа Чичестерского:

О, жди меня! В долине той,
Клянусь, мы встретимся с тобой.

В следующее мгновение, уступая силе вина, он упал и вытянулся на оттоманке.

Тут на лестнице раздались быстрые шаги, а за ними последовал громкий стук в двери. Я поспешил предотвратить новый стук, когда в комнату ворвался паж из дома Ментони и голосом, прерывающимся от нахлынувших чувств, пролепетал бессвязные слова: «Моя госпожа! Моя госпожа! Отравлена! Отравлена! О, прекрасная Афродита!»

Смятенный, я бросился к оттоманке и попытался привести спящего в чувство, дабы он узнал потрясающую весть. Но его конечности окоченели, его уста посинели, его недавно сверкавшие глаза были заведены в смерти. Я отшатнулся к столу — рука моя опустилась на почернелый, покрытый трещинами кубок, и внезапное постижение всей ужасной правды вспышкой молнии озарило мне душу.

Январь, 1834

пер. В. Рогова

Береника

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae vlsitarem, euros meas aliquantulum fore levatas. —

Ebn Zaiat[251]

Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, становятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни накликало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль родится из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательницей, то оказывается, что причина — счастье, которое могло бы сбыться когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда, в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальных покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике, а еще больше в галерее старинной живописи, в обстановке библиотеки и, наконец, в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится, — словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать других не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных

глубокого, духовного смысла, о звуках мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти, подобной тени чего-то, неясной, — изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося — но только кажущегося — небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгочеем, то ничего нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда, с годами, подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то поистине странно было, как тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся было представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением и не более как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня поистине самим бытием, единственным и непреложным.

Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я — хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она — стремительная, прелестная; в ней жизнь била ключом, ей только бы и резвиться на склонах холмов, мне — все корпеть над книгами отшельником; я — ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она — беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о тенях, которые могут лечь у нее на пути, ни о безмолвном полете часов, у которых крылья воронов. Береника!.. я зову ее: Береника! — и в ответ на это имя из серых руин моей памяти вихрем взвивается рой воспоминаний! Ах, как сейчас вижу ее перед собой, как в дни юности, когда она еще не знала ни горя, ни печалей! О, красота несказанная, волшебница! О, сильф в чащах Арнгейма[252]! О, наяда, плещущаяся в струях! А дальше… дальше только тайна и ужас, и повесть, которой лучше бы оставаться не рассказанной. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч, и все в ней переменилось до неузнаваемости у меня на глазах, а демон превращения вторгся и ей в душу, исказив ее нрав и привычки, но самой коварной и страшной

была в ней подмена ее самой. Увы! разрушитель пришел и ушел! а жертва — где она? Я теперь и не знал, кто это… Во всяком случае, то была уже не Береника!

Из множества недугов, вызванных первым и самым роковым, произведшим такой страшный переворот в душевном и физическом состоянии моей кузины, как особенно мучительный и от которого нет никаких средств, следует упомянуть некую особую форму эпилепсии, припадки которой нередко заканчивались трансом, почти неотличимым от смерти; приходила в себя она по большей части с поразительной внезапностью. А тем временем собственная моя болезнь — ибо мне велели иначе ее и не именовать — так вот, собственная моя болезнь тем временем стремительно одолевала меня и вылилась, наконец, в какую-то еще невиданную и необычайную форму мономании, становившейся час от часу и что ни миг, то сильнее, и взявшей надо мной в конце концов непостижимую власть. Эта мономания, если можно так назвать ее, состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называют вниманием. По-видимому, я выражаюсь не особенно вразумительно, но, боюсь, что это и вообще задача невозможная — дать заурядному читателю более или менее точное представление о той нервной напряженности интереса к чему-нибудь, благодаря которой вся энергия и вся воля духа к самососредоточенности поглощается, как было со мной, созерцанием какого-нибудь сущего пустяка.

Забыться на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекшую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное словцо, пока оно из-за бесконечных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании, — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных, сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко.

Да не поймут меня, однако, превратно. Это несоразмерное поводу, слишком серьезное и напряженное внимание к предметам и явлениям, которые сами по себе того совершенно не стоят, не следует смешивать с обычной склонностью заноситься в мыслях, которая присуща всем без исключения, а особенно натурам с пылким воображением. Оно не является даже, как может поначалу показаться, ни крайней степенью этого пристрастия, ни увлечением им до полной потери всякой меры; это — нечто по самой сути своей совершенно иное и непохожее. Бывает, например, что мечтатель или человек увлекающийся, заинтересовавшись каким-то явлением, — но, как правило, отнюдь не ничтожным, — сам того не замечая, упускает его из виду, углубляясь в дебри умозаключений и догадок, на которые навело его это явление, пока, наконец, уже на излете подобного парения мысли, — чаще всего весьма возвышенного, — не оказывается, что в итоге incitamentum, или побудительная причина его размышлений, уже давно отставлена и забыта. У меня же исходное явление всегда было самым незначительным, хотя и приобретало, из-за моего болезненного визионерства, некое новое преломление и значительность, которой в действительности не имело. Мыслей при этом возникало немного, но и эти умозаключения неуклонно возвращали меня все к тому же явлению как к некоему центру. Сами же эти размышления никогда не доставляли радости. Когда же мечтательное забытье подходило к концу, интерес к его побудительной причине, ни на минуту не упускавшейся из виду, возрастал уже до совершенно сверхъестественных и невероятных размеров, что и являлось главкой отличительной чертой моей болезни. Одним словом, у меня, как я уже говорил, вся энергия мышления тратилась на сосредоточенность, в то время как у обычного мечтателя она идет на полет мысли.

Книги, которые я в ту пору читал, если и не были прямыми возбудителями моего душевного расстройства, то, во всяком случае, своей фантастичностью, своими мистическими откровениями безусловно отражали характернейшие признаки самого этого расстройства. Из них мне особенно памятны трактат благородного итальянца Целия Секундуса Куриона[253] «De amplitudine beati regni Dei»[254], великое творение Блаженного Августина[255] «О граде божием» и «De came Christi»[256] Тертуллиана[257], парадоксальное замечание которого «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est:

et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»[258], надолго захватило меня и стоило мне многих и многих недель упорнейших изысканий, так и закончившихся ничем.

Отсюда напрашивается сопоставление моего разума, который выбивало из колеи лишь соприкосновение с мелочами, с тем упоминаемым у Птолемея[259] Гефестиона океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется асфоделью[260]. И хотя, на самый поверхностный взгляд, может показаться само собой разумеющимся, что перемена, произведенная в душевном состоянии Береники ее губительным недугом, должна была бы доставить обильную пищу самым лихорадочным и безумным из тех размышлений, которые я с немалым трудом пытался охарактеризовать; но ничего подобного на самом деле не было. Правда, когда у меня наступали полосы просветления, мне было больно видеть ее жалкое состояние, и, потрясенный до глубины души крушением этой благородной и светлой жизни, я, конечно же, то и дело предавался горестным думам о чудодейственных силах, которые произвели такую невероятную перемену с такой молниеносностью. Но на эти размышления мои собственные странности как раз не накладывали своего отпечатка; так же точно думало бы на моем месте большинство нормальных представителей рода человеческого. Оставаясь верным себе, мой расстроенный разум жадно упивался переменами в ее облике, которые хотя сказывались не столь уж заметно на физическом ее состоянии, но меня как раз и поражали более всего таинственной и жуткой подменой в этом существе его самого.

В самые золотые дни, какие знала ее необыкновенная красота, я не любил ее; конечно, именно так и было. При том отчужденном и совершенно необычном существовании, которое я вел, сердечных переживаний я не знал, и все увлечения мои были всегда чисто головными. На тусклом ли рассвете, меж рядами ли полуденных лесных теней и в ночном безмолвии библиотеки проходила она перед моими глазами, я видел в ней не живую Беренику во плоти, а Беренику-грезу; не земное существо, а некий его символ, не женщину, которой нельзя было не восхищаться, а явление, которое можно

анализировать; не живую любимую, а тему самых глубоких, хотя и наиболее хаотических мыслей. Теперь же… теперь я трепетал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; однако, горюя о том, что она так жалка и безутешна, я напомнил себе, что когда-то она меня любила, и однажды, в недобрый час, заговорил о Женитьбе.

И вот, уже совсем незадолго до нашего бракосочетания, в тот далекий зимний полдень, в один из тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица Гальциона[261], я сидел во внутреннем покое библиотеки (полагая, что нахожусь в полном одиночестве). Но, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Было ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышащимися? Я не мог решить. Она стояла молча, а я… я ни за что на свете не смог бы ничего вымолвить! Ледяной холод охватил меня с головы до ног; невыносимая тревога сжала сердце, а затем меня захватило жгучее любопытство и, откинувшись на спинку стула, я на какое-то время замер и затаил дыхание, не сводя с нее глаз. Увы! вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры ни единым намеком не выдавала прежней Береники. Мой жадный взгляд обратился к ее лицу.

Лоб ее был высок, мертвенно бледен и на редкость ясен, волна некогда черных как смоль волос спадала на лоб, запавшие виски были скрыты густыми кудрями, переходящими в огненно-желтый цвет, и эта причудливость окраски резко дисгармонировала с печалью всего ее облика. Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы Они раздвинулись, и в этой загадочной улыбке взору моему медленно открылись зубы преображенной Береники. Век бы мне на них не смотреть, о господи, а взглянув, тут же бы и умереть!

Опомнился я оттого, что хлопнула дверь, и, подняв глаза, увидел, что кузина вышла из комнаты. Но из разоренного чертога моего сознания все не исчезало и, увы! уже не изгнать его было оттуда, — жуткое белое сияние ее зубов. Ни пятнышка на их глянце, ни единого

потускнения на эмали, ни зазубринки по краям — и я забыл все, кроме этой ее мимолетной улыбки, которая осталась в памяти, словно выжженная огнем. Я видел их теперь даже ясней, чем когда смотрел на них. Зубы! зубы!.. вот они, передо мной, и здесь, и там, и всюду, и до того ясно, что дотронуться впору: длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ, как в ту минуту, когда она улыбнулась мне. А дальше мономания моя дошла до полного исступления, и я тщетно силился справиться с ее необъяснимой и всесильной властью. Чего только нет в подлунном мире, а я только об этих зубах и мог думать. Они манили меня, как безумца, одержимого одной лишь страстью. И видение это поглотило интерес ко всему на свете, так что все остальное потеряло всякое значение. Они мерещились мне, они, только они со всей их неповторимостью, стали смыслом всей моей душевной жизни. Мысленным взором я видел их то при одном освещении, то при другом. Рассматривал то в одном ракурсе, то в другом. Я присматривался к их форме и строению. Подолгу вникал в особенности каждого в отдельности. Размышлял, сличая один с другим. И вот, во власти видений, весь дрожа, я уже открывал в них способность что-то понимать, чувствовать и, более того, — иметь свое, независимое от губ, доброе или недоброе выражение. О мадемуазель Салле[262] говорили: «que tous ses pas etaient des sentiments»[263]; а я же насчет Береники был убежден в еще большей степени, «que toutes ses dents etaient des idees. Des idees»[264] Ах, вот эта глупейшая мысль меня и погубила! Des idees! ах, потому-то я и домогался их так безумно! Мне мерещилось, что восстановить мир в душе моей, вернуть мне рассудок может лишь одно — чтобы они достались мне.

А тем временем уже настал вечер, а там и ночная тьма — сгустилась, помедлила и рассеялась, и новый день забрезжил, и вот уже снова поползли вечерние туманы, а я так и сидел недвижимо все в той же уединенной комнате, я так и сидел, погруженный в созерцание, и все та же phantasma[265], мерещившиеся мне зубы, все так же не теряла своей страшной власти; такая явственная, до ужаса четкая, она все наплывала, а свет в комнате был то одним, то другим, и тени сменялись тенями. Но вот мои грезы прервал крик, в котором словно слились испуг и растерянность, а за ним, чуть погодя, загудела тревожная многоголосица, вперемешку с плачем и горькими

стенаниями множества народец Я встал и, распахнув дверь библиотеки, увидел стоящую в передней заплаканную служанку, которая сказала мне, что Береники… уже нет. Рано утром случился припадок падучей, и вот к вечеру могила уже ждет ее, и все сборы покойницы кончены.

Оказалось, я в библиотеке и снова в одиночестве. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после какого-то сумбурного, тревожного сна. Я понимал, что сейчас полночь, и ясно представлял себе, что Беренику схоронили сразу после заката. Но что было после, все это тоскливое время, я понятия; не имел или, во всяком случае, не представлял себе хоть сколько-нибудь ясно. Но память о сне захлестывала жутью, — тем, более гнетущей, что она была необъяснима, ужасом, еще более чудовищным из-за безотчетности. То была страшная страница, истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями. Я пытался расшифровать их, но ничего не получалось; однако же все это время, все снова и снова, словно отголосок какого-то давно умолкшего звука, мне вдруг начинало чудиться, что я слышу переходящий; в визг пронзительный женский крик. Я в чем-то замешан; в чем же именно? Я задавал себе этот вопрос вслух. И многоголосое эхо комнаты шепотом вторило мне: «В чем же?»

На столе близ меня горела лампа, а возле нее лежала какая-то коробочка. Обычная шкатулка, ничего особенного, и я ее видел уже не раз, потому что принадлежала она нашему семейному врачу; но как она попала сюда, ко мне на стол, и почему, когда я смотрел на нее, меня вдруг стала бить дрожь? Разобраться ни в том, ни в другом никак не удавалось, и в конце концов взгляд мой упал на раскрытую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были слова поэта Ибн-Зайата, странные и простые: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Но почему же, когда они дошли до моего сознания, волосы у меня встали дыбом и кровь застыла в жилах?

В дверь библиотеки тихонько постучали, на цыпочках вошел слуга, бледный, как выходец из могилы. Он смотрел одичалыми от ужаса глазами и обратился ко мне срывающимся, сдавленным, еле слышным голосом. Что он сказал? До меня доходили лишь

отрывочные фразы. Он говорил о каком-то безумном крике, возмутившем молчание ночи, о сбежавшихся домочадцах, о том, что кто-то пошел на поиски в направлении крика, и тут его речь стала до ужаса отчетливой — он принялся нашептывать мне о какой-то осквернённой могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саване, но еще дышащей, корчащейся, — еще живой.

Он указал на мою одежду: она была перепачкана свежей землей, заскорузла от крови. Я молчал, а он потихоньку взял меня за руку: вся она была в отметинах человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Несколько минут я присматривался: то был заступ. Я закричал, кинулся к столу и схватил шкатулку. Но все никак не мог ее открыть — сила была нужна не та; выскользнув из моих дрожащих рук, она тяжело ударилась оземь и разлетелась вдребезги; из нее со стуком рассыпались зубоврачебные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слонового бивня костяшками, раскатившимися по полу врассыпную.

Март, 1835

пер. В. Неделина

Морелла

Αυτό χατ 'αυτά μετ' αύτοϋ μονοειδές α'ιεί φν[266]

Платон. Пир, 211

Глубокую, но поистине странную привязанность питал я к Морелле, моему другу. Много лет назад случай познакомил нас, и с первой встречи моя душа запылала пламенем, прежде ей неведомым, однако пламя это зажег не Эрос, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла и не могу управлять его туманным пыланием. Но мы встретились, и судьба связала нас пред алтарем; и не было у меня слов страсти, и не было мысли о любви. Она же бежала общества людей и, посвятив себя только мне одному, сделала меня счастливым. Ибо размышлять есть счастье, ибо грезить есть счастье.

Начитанность Мореллы не знала пределов. Жизнью клянусь, редкостными были ее дарования, а сила ума — велика и необычна. Я чувствовал это и многому учился у нее. Однако уже вскоре я заметил, что она (возможно, из-за своего пресбургского[267] воспитания) постоянно предлагала мне мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой накипью ранней немецкой литературы. По непостижимой для меня причине они были ее постоянным и любимым предметом изучения, а то, что со временем я и сам занялся ими, следует приписать просто властному влиянию привычки и примера.

Рассудок мой — если я не обманываю себя — нисколько к этому причастен не был. Идеальное — разве только я себя совсем не знаю — ни в чем не воздействовало на мои убеждения, и ни мои поступки, ни мои мысли не были окрашены — или я глубоко заблуждаюсь — тем мистицизмом, которым было проникнуто мое чтение. Твердо веря в это, я полностью подчинился руководству моей жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. И когда… когда, склоняясь над запретными страницами, я чувствовал, что во мне просыпается запретный дух, Морелла клала

холодную ладонь на мою руку и извлекала из остывшего пепла мертвой философии приглушенные необычные слова, таинственный смысл которых выжигал неизгладимый след в моей памяти. И час за часом я сидел возле нее и внимал музыке ее голоса, пока его мелодия не начинала внушать страха — и на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было столь мало земного. Вот так радость внезапно преображалась в ужас и воплощение красоты становилось воплощением безобразия, как Гинном стал Ге-Енной[268].

Нет нужды излагать содержание этих бесед, темы которых подсказывали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же беседы наши все равно не были бы понятны. Буйный пантеизм Фихте[269], видоизмененная παλιγγενεδις[270]пифагорейцев[271] и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг[272], — вот в чем впечатлительная Морелла обычно находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Локк, если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа[273]. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас нами самими, в отличие от всех других существ, которые мыслят. Principium individuationis, представление о личности, которая исчезает — или не исчезает — со смертью, всегда меня жгуче интересовало. И не столько даже из-за парадоксальной и притягательной природы его следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

Но уже настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала гнести меня, как злое заклятие. Мне стали невыносимы прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихая музыкальная речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня; казалось, что она постигала мою слабость или мое безумие, и с улыбкой называла его Роком. И еще казалось, что она знает неведомую мне причину, которая вызвала мое постепенное отчуждение, но ни словом, ни намеком она не открыла мне ее природу. Однако она была женщиной и таяла с каждым днем. Пришло время,

когда на ее щеках запылали два алых пятна, а синие жилки на бледном лбу стали заметнее; и на миг моя душа исполнялась жалости, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражали то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, охваченный головокружением, смотрит в мрачные глубины неведомой бездны.

Сказать ли, что я с томительным нетерпением ждал, чтобы Морелла наконец умерла? Да, я ждал этого, но хрупкий дух еще много дней льнул к бренной оболочке — много дней, много недель и тягостных месяцев, пока мои истерзанные нервы не взяли верх над рассудком и я не впал в исступление из-за этой отсрочки, с демонической яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые словно становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь, так удлиняются тени, когда умирает день.

Но однажды в осенний вечер, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, и на пышную листву октябрьских лесов с вышины пала радуга[274].

— Это день дней, — сказала она, когда я приблизился. — Это день дней, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сынов земли и жизни… но еще более дивный для дочерей небес и смерти!

Я поцеловал ее лоб, а она продолжала:

— Я умираю, и все же я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты любил меня, но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты будешь боготворить.

— Морелла!

— Я говорю, что я умираю. Но во мне сокрыт плод той нежности — о, такой малой! — которую ты питал ко мне, к Морелле. И когда мой дух отлетит, дитя будет жить — твое дитя и мое, Мореллы. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Ибо часы твоего счастья миновали, и цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускались розы Пестума[275]. И более ты не будешь играть со временем, подобно Анакреонту[276], но, отлученный от мирта и лоз, понесешь с собой по земле свой саван, как мусульманин в Мекке.

— Морелла! — вскричал я. — Морелла, как можешь ты знать это!

Но она отвернула лицо, по ее членам пробежала легкая дрожь; так она умерла, и я больше не слышал ее голоса.

Но как она предрекла, ее дитя, девочка, которую, умирая, она произвела на свет, которая вздохнула, только когда прервалось дыхание ее матери, это дитя осталось жить. И странно развивалась она телесно и духовно, и была точным подобием умершей, и я любил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к обитателям земли.

Но вскоре небеса этой чистейшей нежности померкли и их заволокли тучи тревоги, ужаса и горя. Я сказал, что девочка странно развивалась телесно и духовно. Да, странен был ее быстрый рост, но ужасны, о, как ужасны были смятенные мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И могло ли быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в словах ребенка мышление и способности взрослой женщины? Если младенческие уста изрекали наблюдения зрелого опыта? И если в ее больших задумчивых глазах я ежечасно видел мудрость и страсти иного возраста? Когда, повторяю, все это стало очевидно моим пораженным ужасом чувствам, когда я уже был не в силах скрывать это от моей души, не в силах далее бороться с жаждой уверовать, — можно ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения, что мои мысли с трепетом обращались к невероятным фантазиям и поразительным теориям покоящейся в склепе Мореллы? Я укрыл от любопытных глаз мира ту, кого судьба принудила меня боготворить, и в строгом уединении моего дома с мучительной тревогой следил за возлюбленным существом, не жалея забот, не упуская ничего.

И но мере того как проходили годы и я день за днем смотрел на ее святое, кроткое и красноречивое лицо, на ее формирующийся стан, день за днем я находил в дочери новые черты сходства с матерью, скорбной и мертвой. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непонятными и полными леденящего ужаса. Я мог снести сходство ее улыбки с улыбкой матери, но я содрогался от их тождественности; я мог бы выдержать сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в самую мою душу с властным и непознанным смыслом, как смотрела только Морелла. И очертания высокого лба, и

шелковые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная музыкальность голоса, и главное (о да, главное!), слова и выражения мертвой на устах любимой и живой питали одну неотвязную мысль н ужас — червя, который не умирал!

Так прошли два люстра[277] ее жизни, и моя дочь все еще жила на земле безымянной. «Дитя мое» и «любовь моя» — отцовская нежность не нуждалась в иных наименованиях, а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишало ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло с ее смертью. И я никогда не говорил дочери о ее матери — говорить было невозможно. Нет, весь краткий срок ее существования внешний мир за тесными пределами ее затворничества оставался ей неведом. Но в конце концов обряд крещения представился моему смятенному уму спасением и избавлением от ужасов моей судьбы. И у купели я заколебался, выбирая ей имя. На моих губах теснилось много имен мудрых и прекрасных женщин и былых и нынешних времен, обитательниц моей страны и дальних стран, и много красивых имен женщин, которые были кротки душой, были счастливы, были добры. Так что же подвигло меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон подстрекнул меня произнести тот звук, одно воспоминание е котором заставляло багряную кровь потоками отхлынуть от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из недр моей души, когда среди сумрачных приделов и в безмолвии ночи я шепнул священнослужителю эти три слога — Морелла? И некто больший, нежели злой дух, исказил черты моего ребенка и стер с них краски жизни, когда, содрогнувшись при этом чуть слышном звуке, она возвела стекленеющие глаза от земли к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила:

— Я здесь.

Четко, так бесстрастно и холодно четко раздались эти простые звуки в моих ушах, и оттуда расплавленным свинцом, шипя, излились в мой мозг. Годы… годы могут исчезнуть бесследно, но память об этом мгновении — никогда! И не только не знал я более цветов и лоз, но цикута и кипарис[278] склонялись надо мной ночью и днем. И более я не замечал времени, не ведал, где я, и звезды моей судьбы исчезли с небес, и над землей сомкнулся мрак, и жители ее скользили мимо меня, как неясные тени, и среди них всех я видел только — Мореллу! Ветры шептали мне в уши только один звук, и рокот моря повторял

вовек — Морелла. Но она умерла; и сам отнес я ее в гробницу и рассмеялся долгим и горьким смехом, не обнаружив в склепе никаких следов первой, когда положил там вторую Мореллу[279].

Апрель, 1835

пер. И. Гуровой

Страницы из жизни знаменитости

…и весь народ
От изумления разинул рот.

Сатиры епископа Холла[280]

Я знаменит, то есть был знаменит, но я ни автор «Писем Юниуса»[281], ни Железная Маска[282], ибо зовут меня, насколько мне известно, Робертом Джонсом, а родился я где-то в городе Бели-Берде[283].

Первым действием, предпринятым мною в жизни, было то, что я обеими руками схватил себя за нос. Матушка моя, увидав это, назвала меня гением, а отец разрыдался от радости и подарил мне трактат о носологии. Его я изучил в совершенстве прежде, чем надел первые панталоны.

К тому времени я начал приобретать научный опыт и скоро постиг, что когда у человека достаточно выдающийся нос, то он разнюхает дорогу к славе. Но я не обращал внимания ни на одну теорию. Каждое утро я дергал себя за нос разок-другой и пропускал рюмочек пять-шесть.

Когда я достиг совершеннолетия, отец мой как-то пригласил меня зайти к нему в кабинет.

— Сын мой, — спросил он, когда мы уселись, — какова главная цель твоего существования?

— Батюшка, — отвечал я, — она заключается в изучении носологии.

— Роберт, — осведомился он, — а что такое носология?

— Сэр, — пояснил я, — это наука о носах.

— И можешь ли ты сказать мне, — вопросил он, — что такое нос?

— Нос, батюшка, — начал я, весьма польщенный, — пытались многообразно охарактеризовать около тысячи исследователей. — (Тут я вытащил часы). — Сейчас полдень или около того, так что к полуночи мы успеем пройтись по всем. Итак, начнем: — Нос, по Бартолину[284], — та выпуклость, тот нарост, та шишка, то…

— Полно, полно, Роберт! — перебил достойный старый джентльмен. — Я потрясен обширностью твоих познаний… Я прямо-таки… Ей-богу… — (Тут он закрыл глаза и положил руку на сердце.) — Поди сюда! — (Тут он взял меня за плечо). — Твое образование отныне можно считать законченным; пора тебе самому о себе позаботиться — и лучше всего тебе держать нос по ветру — вот так-так-так — (Тут он спустил меня с лестницы и вышвырнул на улицу.) — так что пошел вон из моего дома, и бог да благословит тебя!

Чувствуя в себе божественный afflatus[285], я счел этот случай скорее счастливым. Я решил руководствоваться отчим советом. Я вознамерился держать нос по ветру. И я разок-другой дернул себя за нос и написал брошюру о носологии.

Брошюра произвела в Бели-Берде фурор.

— Чудесный гений! — сказали в «Ежеквартальном».

— Непревзойденный физиолог! — сказали в «Вестминстерском».

— Умный малый! — сказали в «Иностранном».

— Отличный писатель! — сказали в «Эдинбургском».

— Глубокий мыслитель! — сказали в «Дублинском».

— Великий человек! — сказал «Бентли».

— Высокий дух! — сказал «Фрейзер».

— Он наш! — сказал «Блэквуд»[286].

— Кто он? — спросила миссис Bas-Bleu[287].

— Что он? — спросила старшая мисс Bas-Bleu.

— Где он? — спросила младшая мисс Bas-Bleu.

Но я не обратил на них ни малейшего внимания, а взял и зашел в мастерскую некоего живописца.

Герцогиня Шут-Дери позировала для портрета; маркиз Имя-Рек держал герцогинина пуделя; граф Как-Бишь-Его вертел в руках ее нюхательный флакон; а его королевское высочество Эй-не-Трожь облокачивался о спинку ее кресла.

Я подошел к живописцу и задрал нос.

— Ах, какая красота! — вздохнула ее светлость.

— Ах, боже мой! — прошепелявил маркиз.

— Ах, ужас! — простонал граф.

— Ах, мерзость! — буркнул его королевское высочество.

— Сколько вы за него возьмете? — спросил живописец.

— За его нос! — вскричала ее светлость.

— Тысячу фунтов, — сказал я, садясь.

— Тысячу фунтов? — задумчиво осведомился живописец.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Какая красота! — зачарованно сказал он.

— Тысячу фунтов! — сказал я.

— И вы гарантируете? — спросил он, поворачивая мой нос к свету.

— Гарантирую, — сказал я и как следует высморкался.

— И он совершенно оригинален? — осведомился живописец, почтительно касаясь его.

— Пф! — сказал я и скривил его набок.

— И его ни разу не воспроизводили? — справился живописец, рассматривая его в микроскоп.

— Ни разу, — сказал я и задрал его.

— Восхитительно! — закричал живописец, потеряв всякую осторожность от красоты этого маневра.

— Тысячу фунтов, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Именно, — сказал я.

— Тысячу фунтов? — спросил он.

— Совершенно верно, — сказал я.

— Вы их получите, — сказал он. — Что за virtu[288]! — и он немедленно выписал мне чек и зарисовал мой нос. Я снял квартиру на Джермин-стрит и послал ее величеству девяносто девятое издание «Носологии» с портретом носа. Этот несчастный шалопай, принц Уэльский, пригласил меня на ужин.

Мы все знаменитости и recherches[289].

Присутствовал новейший исследователь Платона. Он цитировал Порфирия[290], Ямвлиха[291], Плотина[292], Прокла[293], Гиерокла[294], МаксимаТирского[295] и Сириана[296].

Присутствовал сторонник самоусовершенствования. Он цитировал Гюрго[297], Прайса[298], Пристли[299], Кондорсе[300], де Сталь[301] и «Честолюбивого ученого, страдающего недугом».

Присутствовал сэр Позитив Парадокс Он отметил, что все дураки — философы, а все философы — дураки.

Присутствовал Эсгетикус Этикс. Он говорил об огне, единстве и атомах, о раздвоении и прибытии души[302]; о родстве и расхождении; о примитивном разуме и гомеомерии[303].

Присутствовал Теологос Теологи. Он говорил о Евсевии[304] и Арии[305]; о ереси и Никейском соборе[306]; о пюзеизме[307] и пресуществлении[308]; о гомузии и гомуйозии[309].

Присутствовал мосье Фрикассе из Роше де Канкаля. Он упомянул мюритон с красным языком; цветную капусту с соусом veloute; телятину a la St. Menehoult; маринад a la St. Florentin и апельсиновое желе en mosaiques[310].

Присутствовал Бибулус О'Бражник. Он вспомнил латур и маркбруннен; муссо и шамбертен; рошбур и сен-жорж; обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере. Он качал головой при упоминании о клодвужо[311] и мог с закрытыми глазами отличить херес от амонтильядо.

Присутствовал синьор Тинтонтинтино из Флоренции. Он трактовал о Чимабуэ, Арпино[312], Карпаччо[313] и Агостино[314]; о мрачности Караваджо, о приятности Альбано[315], о колорите Тициана, о женщинах Рубенса и об озорстве Яна Стеена[316].

Присутствовал президент Бели-Бердского университета. Он держался того мнения, что луну во Фракии называли Бендидой[317], в Египте — Бубастидой[318], в Риме — Дианой, а в Греции — Артемидой.

Присутствовал паша из Стамбула. Он не мог не думать, что у ангелов обличье лошадей, петухов и быков, что у кого-то в шестой небесной сфере семьдесят тысяч голов, и что земля покоится на голубой корове, у которой неисчислимое множество зеленых рогов.

Присутствовал Дельфинус Полиглот. Он сообщил нам, куда девались не дошедшие до нас восемьдесят три трагедии Эсхила[319]; пятьдесят четыре ораторских опыта Исея[320]; триста девяносто одна речь Лисия[321]; сто восемьдесят трактатов Феофраста[322]; восьмая книга Аполлония[323] о сечениях конуса; гимны и дифирамбы Пиндара[324]; и тридцать пять трагедий Гомера Младшего[325].

Присутствовал Майкл Мак-Минерал. Он осведомил нас о внутренних огнях и третичных образованиях; о веществах

газообразных, жидких и твердых; о кварцах и мергелях; о сланце и турмалине; о гипсе и траппе; о тальке и кальции; о цинковой обманке и роговой обманке; о слюде и шифере; о цианите и лепидолите; о гематите и тремолите; об антимонии и халцедоне; о марганце и о чем вам угодно.

Присутствовал я. Я говорил о себе; о себе, о себе, о себе; о носологии, о моей брошюре и о себе. Я задрал мой нос, и я говорил о себе.

— Поразительно умен! — сказал принц.

— Великолепен! — сказали его гости; и на следующее утро ее светлость герцогиня Шут-Дери нанесла мне визит.

— Ты пойдешь к Элмаку[326], красавчик? — спросила она, похлопывая меня под подбородком.

— Даю честное слово, — сказал я.

— Вместе с носом? — спросила она.

— Клянусь честью, — отвечал я.

— Так вот тебе, жизненочек, моя визитная карточка. Могу я сказать, что ты хочешь туда пойти?

— Всем сердцем, дорогая герцогиня. — фи, нет! — но всем ли носом?

— Без остатка, любовь моя, — сказал я; после чего дернул носом раз-другой и очутился у Элмака.

Там была такая давка, что стояла невыносимая духота.

— Он идет! — сказал кто-то на лестнице.

— Он идет! — сказал кто-то выше.

— Он идет! — сказал кто-то еще выше.

— Он пришел! — воскликнула герцогиня. — Пришел, голубчик мой! — и крепко схватив меня за обе руки, троекратно поцеловала в нос. Это произвело немедленную сенсацию.

— Diavolo![327] — вскричал граф Козерогутти.

— Dios guarda![328] — пробормотал дон Стилетто.

— Mille tonnerres![329] — возопил принц де Ля Гуш.

— Tausend Teufel![330] — проворчал курфюрст Крофошатцский. Этого нельзя было снести. Я разгневался. Я резко повернулся к курфюрсту.

— Милсдарь, — сказал я ему, — вы скотина.

— Милсдарь, — ответил он после паузы, — Donner und Blitzen! [331] Большего нельзя было и желать. Мы обменялись визитными карточками. На другое утро, под Чок-Фарм, я отстрелил ему нос — и поехал по друзьям.

— Bete![332] — сказал один.

— Дурак! — сказал второй.

— Болван! — сказал третий.

— Осел! — сказал четвертый.

— Кретин! — сказал пятый.

— Идиот! — сказал шестой.

— Убирайся! — сказал седьмой.

Я был убит подобным приемом и поехал к отцу.

— Батюшка, спросил я, — какова главная цель моего существования?

— Сын мой, — ответствовал он, — это все еще занятия носологией; но, попав в нос курфюрсту, ты перестарался и допустил перелет. У тебя превосходный нос, это так — но у курфюрста Крофошатцского теперь вообще никакого нет. Ты проклят, а он стал героем дня. Согласен, что в Бели-Берде слава прямо пропорциональна величине носа, но — боже! — никто не посмеет состязаться со знаменитостью, у которой носа вообще нет.

Май, 1835

пер. В. Рогова

Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля

Мечтам безумным сердца
Я властелин отныне,
С горящим копьем и воздушным конем
Скитаюсь я в пустыне.

Песня Тома из Бедлама[333]

Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени, — я в этом не сомневаюсь, — будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор.

Произошло следующее. Такого-то числа и такого-то месяца (я не могу сообщить точной даты[334]) огромная толпа почему-то собралась на Биржевой площади благоустроенного города Роттердама. День был теплый — совсем не по времени года, — без малейшего ветерка; и благодушное настроение толпы ничуть не омрачалось оттого, что иногда ее спрыскивал мгновенный легкий дождичек из огромных белых облаков, в изобилии разбросанных по голубому небосводу. Тем не менее около полудня в толпе почувствовалось легкое, но необычайное беспокойство: десять тысяч языков забормотали разом; спустя мгновение десять тысяч трубок, словно по приказу, вылетели из десяти тысяч ртов и продолжительный, громкий, дикий вопль, который можно сравнить только с ревом Ниагары, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина этой суматохи вскоре выяснилась. Из-за резко очерченной массы огромного облака медленно выступил и обрисовался на ясной лазури какой-то странный, весьма пестрый, но, по-видимому, плотный предмет такой курьезной формы и из такого замысловатого материала, что толпа крепкоголовых бюргеров,

стоявшая внизу разинув рты, могла только дивиться, ничего не понимая. Что же это такое? Ради всех чертей роттердамских, что бы это могло означать? Никто не знал, никто даже вообразить не мог, никто — даже сам бургомистр мингер Супербус ван Ундердук — не обладал ключом к этой тайне; и так как ничего более разумного нельзя было придумать, то в конце концов каждый из бюргеров сунул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного явления, выпустил клуб дыма, приостановился, переступил с ноги на ногу, значительно хмыкнул — затем снова переступня с ноги на ногу, хмыкнул, приостановился и выпустил клуб дыма.

Тем временем объект столь усиленного любопытства и причина столь многочисленных затяжек спускался все ниже и ниже над этим прекрасным городом. Через несколько минут его можно было рассмотреть в подробностях. Казалось, это был… нет, это действительно был воздушный шар; но, без сомнения, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, позвольте вас спросить, слыхал когда-нибудь о воздушном шаре, склеенном из старых газет? В Голландии — никто, могу вас уверить; тем не менее в настоящую минуту под самым носом у собравшихся, или, точнее сказать, над носом, колыхалась на некоторой высоте именно эта самая штука, сделанная, по сообщению вполне авторитетного лица, из упомянутого материала, как всем известно, никогда дотоле не употреблявшегося для подобных целей, и этим наносилось жестокое оскорбление здравому смыслу роттердамских бюргеров. Форма «шара» оказалась еще обиднее. Он имел вид огромного дурацкого колпака, опрокинутого верхушкой вниз. Это сходство ничуть не уменьшилось, когда, при более внимательном осмотре, толпа заметила огромную кисть, подвешенную к его заостренному концу, а вокруг верхнего края, или основания конуса, — ряд маленьких инструментов вроде бубенчиков, которые весело позванивали. Мало того, к этой фантастической машине была привешена вместо гондолы огромная темная касторовая шляпа с широчайшими полями и обвитая вокруг тульи черной лентой с серебряной пряжкой. Но странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были побожиться, что им уже не раз случалось видеть эту самую шляпу, да и все сборище смотрело на нее, как на старую знакомую, а фрау Греттель Пфааль, испустив радостное восклицание, объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька.

Необходимо заметить, что лет пять тому назад Пфааль с тремя товарищами исчез из Роттердама самым неожиданным и необычным образом, и с тех пор не было о нем ни слуху ни духу. Позднее в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена куча костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то странными тряпками и обломками, и некоторые из граждан даже вообразили, что здесь совершилось кровавое злодеяние, жертвой которого пали Ганс Пфааль и его товарищи. Но вернемся к происшествию.

Воздушный шар (так как это был несомненно воздушный шар) находился теперь на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла свободно рассмотреть его пассажира. Правду сказать, это было очень странное создание. Рост его не превышал двух футов; но и при таком маленьком росте он легко мог потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной гондолы, если бы не обруч, помещенный на высоте его груди и прикрепленный к шару веревками. Толщина человечка совершенно не соответствовала росту и придавала всей его фигуре чрезвычайно нелепый шарообразный вид. Ног его, разумеется, не было видно. Руки отличались громадными размерами. Седые волосы были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был красный, непомерно длинный, крючковатый нос, блестящие пронзительные глаза, морщинистые и вместе с тем пухлые щеки, но ни малейшего признака ушей где-либо на голове; странный старичок был одет в просторный атласный камзол небесно-голубого цвета и такого же цвета короткие панталоны в обтяжку, с серебряными пряжками у колен. Кроме того, на нем был жилет из какой-то ярко-желтой материи, мягкая белая шляпа, молодцевато сдвинутая набекрень, и кроваво-красный шелковый шейный платок, завязанный огромным бантом, концы которого франтовато спадали на грудь.

Когда оставалось, как уже сказано, каких-нибудь сто футов до земли, старичок внезапно засуетился, по-видимому не желая приближаться еще более к terra firma[335]. С большим усилием подняв полотняный мешок, он отсыпал из него немного песку, и шар на мгновение остановился в воздухе. Затем старичок торопливо вытащил из бокового кармана большую записную книжку в сафьяновом переплете и подозрительно взвесил в руке, глядя на нее с величайшим изумлением, очевидно пораженный ее тяжестью. Потом открыл книжку и, достав из нее пакет, запечатанный сургучом и тщательно

перевязанный красною тесемкой, бросил его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука. Его превосходительство нагнулся, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-прежнему в сильнейшем волнении и, очевидно, считая свои дела в Роттердаме покончеными, начал в ту самую минуту готовиться к отлету. Для этого потребовалось облегчить гондолу, и вот с полдюжины мешков, которые он выбросил, не потрудившись предварительно опорожнить их, один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника столько же раз перекувырнуться на глазах у всего города. Не следует думать, однако, что великий Ундердук оставил безнаказанной наглую выходку старикашки. Напротив, рассказывают, будто он, падая, каждый раз выпускал не менее полдюжины огромных и яростных клубов из своей трубки, которую все время крепко держал в зубах и намерен был держать (с божьей помощью) до последнего своего вздоха.

Тем временем воздушный шар взвился, точно жаворонок, на громадную высоту и вскоре, исчезнув за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он так неожиданно выплыл, скрылся навеки от изумленных взоров добрых роттердамцев. Внимание всех устремилось теперь на письмо, падение которого и последовавшие затем происшествия оказались столь оскорбительными для персоны и персонального достоинства его превосходительства ван Ундердука. Тем не менее этот сановник во время своих коловращений не упускал из вида письмо, которое, как оказалось при ближайшем рассмотрении, попало в надлежащие руки, будучи адресовано ему и профессору Рубадубу как президенту и вице-президенту Роттердамского астрономического общества. Итак, названные сановники распечатали письмо тут же на месте и нашли в нем следующее необычное и весьма важное сообщение:

Их превосходительствам господину ван Ундердуку и господину Рубадубу, президенту и вице-президенту Астрономического общества в городе Роттердаме.

Быть может, ваши превосходительства соблаговолят припомнить Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой мехов для раздувания огня, — который вместе с тремя другими обывателями исчез из города Роттердама около пяти лет тому назад

при обстоятельствах, можно сказать, чрезвычайных. Как бы то ни было, с позволения ваших превосходительств, я, автор настоящего сообщения, и есть тот самый Ганс Пфааль. Большинству моих сограждан известно, что в течение сорока лет я занимал небольшой кирпичный дом в конце переулка, именуемого переулком Кислой Капусты, где проживал вплоть до дня моего исчезновения. Предки мои с незапамятных времен обитали там же, подвизаясь на том же почетном и весьма прибыльном поприще починки мехов для раздувания огня. Ибо, говоря откровенно, до последних лет, когда весь народ прямо помешался на политике, ни один честный роттердамский гражданин не мог бы пожелать или заслужить право на лучшую профессию. Я пользовался широким кредитом, в работе никогда не было недостатка — словом, и денег и заказов было вдоволь. Но, как я уже сказал, мы скоро почувствовали, к чему ведет пресловутая свобода, бесконечные речи, радикализм и тому подобные штуки. Людям, которые раньше являлись нашими лучшими клиентами, теперь некогда было и подумать о нас, грешных. Они только и знали, что читать о революциях, следить за успехами человеческой мысли и приспосабливаться к духу времени. Если требовалось растопить очаг, огонь раздували газетой; я не сомневаюсь, что, по мере того как правительство становилось слабее, железо и кожа выигрывали в прочности, так как в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось и пары мехов, которые требовали бы помощи иглы или молотка. Словом, положение сделалось невыносимым. Вскоре я уже был беден как мышь, а надо было кормить жену и детей. В конце концов мне стало просто невтерпеж, и я проводил целые часы, обдумывая, каким бы способом лишить себя жизни; но кредиторы не оставляли мне времени для размышлений. Мой дом буквально подвергался осаде с утра и до вечера. Трое заимодавцев особенно допекали меня, часами подстерегая у дверей и грозя судом. Я поклялся жестоко отомстить им, если только когда-нибудь они попадутся мне в лапы, и думаю, что лишь предвкушение этой мести помешало мне немедленно привести в исполнение мой план покончить с жизнью и раздробить себе череп выстрелом из мушкетона. Как бы то ни было, я счел за лучшее затаить свою злобу и умасливать их ласковыми словами и обещаниями, пока благоприятный оборот судьбы не доставит мне случая для мести.

Однажды, ускользнув от них и чувствуя себя более чем когда-либо в угнетенном настроении, я бесцельно бродил по самым глухим улицам, пока не завернул случайно в лавочку букиниста. Увидев стул, приготовленный для посетителей, я угрюмо опустился на него и машинально раскрыл первую попавшуюся книгу. Это оказался небольшой полемический трактат по теоретической астрономии, сочинение не то берлинского профессора Энке[336], не то француза с такой же фамилией. Я немножко маракую в астрономии и вскоре совершенно углубился в чтение; я прочел книгу дважды, прежде чем сообразил, где я и что я. Тем временем стемнело, и пора было идти домой. Но книжка (в связи с новым открытием по части пневматики, тайну которого сообщил мне недавно один мой родственник из Нанта) произвела на меня неизгладимое впечатление, и, блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных рассуждениях автора. Некоторые места особенно поразили мое воображение. Чем больше я раздумывал над ними, тем сильнее они занимали меня. Недостаточность моего образования и, в частности, отсутствие знаний по естественным наукам отнюдь не внушали мне недоверия к моей способности понять прочтенное или к тем смутным сведениям, которые явились результатом чтения, — все это только пуще разжигало мое воображение. Я был настолько безрассуден или настолько рассудителен, что спрашивал себя: точно ли нелепы фантастические идеи, возникающие в причудливых умах, и не обладают ли они в ряде случаев силой, реальностью и другими свойствами, присущими инстинкту или вдохновению?

Я пришел домой поздно и тотчас лег в постель. Но голова моя была слишком взбудоражена, и я целую ночь провел в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив на них всю имевшуюся у меня скудную наличность. Затем, благополучно вернувшись домой с приобретенными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре достиг знаний, которые счел достаточными для того, чтобы привести в исполнение план, внушенный мне дьяволом или моим добрым гением. В то же время я всеми силами старался умаслить трех кредиторов, столь жестоко донимавших меня. В конце концов я преуспел в этом, уплатив половину долга из денег, вырученных от продажи кое-каких домашних

вещей, и обещав уплатить остальное, когда приведу в исполнение один проектец, в осуществлении которого они (люди совершенно невежественные) согласились мне помочь.

Уладив таким образом свои дела, я при помощи жены и с соблюдением строжайшей тайны постарался сбыть свое остальное имущество и собрал порядочную сумму денег, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и (со стыдом должен сознаться) не имея притом никаких надежд возвратить эти долги в будущем. На деньги, добытые таким путем, я помаленьку накупил: очень тонкого кембрикового муслина, кусками по двенадцати ярдов каждый, веревок, каучукового лака, широкую и глубокую плетеную корзину, сделанную по заказу, и разных других материалов, необходимых для сооружения и оснастки воздушного шара огромных размеров. Изготовление шара я поручил жене, дав ей надлежащие указания, и просил окончить работу как можно скорее; сам же тем временем сплел сетку, снабдив ее обручами и крепкими веревками, и приобрел множество инструментов и материалов для опытов в верхних слоях атмосферы. Далее, я перевез ночью в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, вместимостью в пятьдесят галлонов каждая, и шестую побольше, полдюжины жестяных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, запас особого металлического вещества, или полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей самой обыкновенной кислоты. Газа, получаемого с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или, по крайней мере, он никогда не применялся для подобной цели. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, так долго считавшегося неразложимым, и что плотность его в 37,4 раза меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает запахом; очищенный — горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для всякого живого существа. Я мог бы описать его во всех подробностях, но, как уже намекнул выше, право на это открытие принадлежит по справедливости одному нантскому гражданину, который поделился со мною своей тайной на известных условиях. Он же сообщил мне, ничего не зная о моих намерениях, способ изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, сквозь которую газ почти не проникает. Я, однако, нашел этот способ слишком дорогим и решил, что в конце концов кембриковый муслин,

покрытый слоем каучука, ничуть не хуже. Упоминаю об этом, так как считаю весьма возможным, что мой нантский родственник попытается сделать воздушный шар с помощью нового газа и материала, о котором я говорил выше, — и отнюдь не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

На тех местах, где во время наполнения шара должны были находиться бочки поменьше, я выкопал небольшие ямы, так что они образовали круг диаметром в двадцать пять футов. В центре этого круга была вырыта яма поглубже, над которой я намеревался поставить большую бочку. Затем я опустил в каждую из пяти маленьких ям ящик с порохом, по пятидесяти фунтов в каждом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами пушечного пороха. Соединив бочонок и ящики подземными проводами и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута длиною, я прикрыл его бочкой, так что конец фитиля высовывался из-под нее только на дюйм; потом засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат господина Гримма для сгущения атмосферного воздуха. Впрочем, эта машина, чтобы удовлетворить моим целям, потребовала значительных изменений. Но путем упорного труда и неутомимой настойчивости мне удалось преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал более сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, мои запасы и сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что кембриковый муслин ничуть не уступает шелку, так же прочен, но гораздо дешевле.

Когда все было готово, я взял со своей жены клятву хранить в тайне все мои действия с того дня, когда я в первый раз посетил книжную лавку; затем, обещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей оставшиеся у меня деньги и распростился с нею. Мне нечего было беспокоиться на ее счет. Моя жена, что называется, ловкая баба и сумеет прожить на свете без моей помощи. Говоря откровенно, мне сдается, что она всегда считала меня лентяем, дармоедом, способным только строить воздушные замки, и была очень рада отделаться от меня. Итак, простившись с ней в одну темную ночь, я захватил с собой в качестве адъютантов трех кредиторов,

доставивших мне столько неприятностей, и мы потащили шар, корзину и прочие принадлежности окольным путем к месту отправки, где уже были заготовлены все остальные материалы. Все оказалось в порядке, и я немедленно приступил, к делу.

Было первое апреля. Как я уже сказал, ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, по милости которого мы чувствовали себя весьма скверно. Но пуще всего меня беспокоил шар, который, хотя и был покрыт лаком, однако сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Итак, я попросил моих трех кредиторов приняться за работу и как можно ретивее: толочь лед около большой бочки и размешивать кислоту в остальных. Однако они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и страшно злились на тяжелую работу, которую я заставил их делать. Какой прок, говорили они, выйдет из того, что они промокнут до костей, принимая участие в таком ужасном колдовстве? Я начинал чувствовать себя очень неловко и работал изо всех сил, так как эти дураки, видимо, действительно вообразили, будто я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они совсем уйдут от меня. Как бы то ни было, я старался уговорить их, обещая расплатиться полностью, лишь только мы доведем мое предприятие до конца. Без сомнения, они по-своему истолковали эти слова, решив, что я должен получить изрядную сумму чистоганом; а до моей души им, конечно, не было никакого дела, — лишь бы я уплатил долг да прибавил малую толику за услуги.

Через четыре с половиной часа шар был в достаточной степени наполнен. Я привязал корзину и положил в нее мой багаж: зрительную трубку, высотомер с некоторыми важными усовершенствованиями, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундные часы, колокольчик, рупор и прочее и прочее; кроме того, тщательно закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сгущения воздуха, запас негашеной извести, кусок воска и обильный запас воды и съестных припасов, главным образом пеммикана, который содержит много питательных веществ при сравнительно небольшом объеме. Я захватил также пару голубей и кошку.

Рассвет был близок, и я решил, что пора лететь. Уронив, словно нечаянно, сигару, я воспользовался этим предлогом и, поднимая ее,

зажег кончик фитиля, высовывавшийся, как было описано выше, из-под одной бочки меньшего размера. Этот маневр остался совершенно не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним махом перерезал веревку, прикреплявшую шар к земле, и с удовольствием убедился, что поднимаюсь с головокружительной быстротой, унося с собою сто семьдесят пять фунтов балласта (а мог бы унести вдвое больше). В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — 19°.

Но едва я поднялся на высоту пятидесяти ярдов, как вдогонку мне взвился с ужаснейшим ревом и свистом такой страшный вихрь огня, песку, горящих обломков, расплавленного металла, растерзанных тел, что сердце мое замерло, и я повалился на дно корзины, дрожа от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и что главные последствия толчка еще впереди. И точно, не прошло секунды, как вся моя кровь хлынула к вискам, и тотчас раздался взрыв, которого я никогда не забуду. Казалось, рушится самый небосвод. Впоследствии, размышляя над этим приключением, я понял, что причиной столь непомерной силы взрыва было положение моего шара как раз на линии сильнейшего действия этого взрыва. Но в ту минуту я думал только о спасении жизни. Сначала шар съежился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, крутясь и шатаясь, точно пьяный, выбросил меня из корзины, так что я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой бечевке фута в три длиною, случайно проскользнувшей в отверстие близ дна корзины и каким-то чудом обмотавшейся вокруг моей левой ноги. Невозможно, решительно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, дрожь, точно при лихорадке, сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что глаза мои вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и наконец я лишился чувств.

Долго ли я провисел в таком положении, решительно не знаю. Должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, утро уже наступило, шар несся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и ни признака земли не было видно по всему широкому кругу горизонта. Я, однако, вовсе не испытывал такого отчаяния, как можно было ожидать. В самом деле, было что-то безумное в том спокойствии, с каким я принялся обсуждать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и удивился,

отчего это вены на них налились кровью я ногти так страшно посинели. Затем тщательно исследовал голову, несколько раз тряхнул ею, ощупал очень подробно и наконец убедился, к своему удовольствию, что она отнюдь не больше воздушного шара, как мне сначала представилось. Потом я ощупал карманы брюк и, не найдя в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго старался объяснить себе, куда они девались, но, не успев в этом, почувствовал невыразимое огорчение. Тут я ощутил крайнюю неловкость в левой лодыжке, и у меня явилось смутное сознание моего положения. Но странное дело — я не был удивлен и не ужаснулся. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, что так ловко выпутаюсь из стоявшей передо мной дилеммы, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался глубокому раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я поджимал губы, приставлял палец к носу и делал другие жесты и гримасы, как это в обычае у людей, когда они, спокойно сидя в своем кресле, размышляют над запутанными или сугубо важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я очень спокойно и осторожно засунул руки за спину и снял с ремня, стягивавшего мои панталоны, большую железную пряжку. На ней было три зубца, несколько заржавевшие и потому с трудом повертывавшиеся вокруг своей оси. Тем не менее мне удалось поставить их под прямым углом к пряжке, и я с удовольствием убедился, что они держатся в этом положении очень прочно. Затем, взяв в зубы пряжку, я постарался развязать галстук, что мне удалось не сразу, но в конце концов удалось. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. Затем со страшным усилием мускулов качнулся вперед и забросил ее в корзину, где, как я и ожидал, она застряла в петлях плетения.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не значит, что оно только на сорок пять градусов отклонялось от вертикальной линии. Напротив, я лежал почти горизонтально, так как, переменив положение, заставил корзину сильно накрениться, и мне по-прежнему угрожала большая опасность. Но если бы, вылетев из корзины, я повис лицом к шару, а не наружу, если бы веревка, за которую я зацепился, перекинулась через край корзины, а не выскользнула в отверстие на дне, мне не удалось бы

даже то немногое, что удалось теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Итак, я имел все основания благодарить судьбу. Впрочем, в эту минуту я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства, и с добрые четверть часа провисел совершенно спокойно, в бессмысленно-радостном настроении. Вскоре, однако, это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я понял всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся так долго в сосудах головы и гортани и доведшая мой мозг почти до бреда, мало-помалу отхлынула, и прояснившееся сознание, раскрыв передо мною весь ужас положения, в котором я очутился, только лишило меня самообладания и мужества. К счастью, этот припадок слабости не был продолжителен. На помощь мне явилось отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я стал метаться, как безумный, пока наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перекинулся через него и, весь дрожа, не свалился на дно.

Лишь спустя некоторое время я опомнился настолько, что мог приняться за осмотр воздушного шара. К моей великой радости, он оказался неповрежденным. Все мои запасы уцелели; я не потерял ни провизии, ни балласта. Впрочем, я уложил их так тщательно, что это и не могло случиться. Часы показывали шесть. Я все еще быстро поднимался; высотомер показывал высоту в три и три четверти мили. Как раз подо мною, на океане, виднелся маленький черный предмет — продолговатый, величиной с косточку домино, да и всем видом напоминавший ее. Направив на него зрительную трубку, я убедился, что это девяносточетырехпушечный, тяжело нагруженный английский корабль, — он медленно шел в направлении вест-зюйд-вест. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое давно уже взошло.

Но пора мне объяснить вашим превосходительствам цель моего путешествия. Ваши превосходительства соблаговолят припомнить, что расстроенные обстоятельства в конце концов заставили меня прийти к мысли о самоубийстве. Это не значит, однако, что жизнь сама по себе мне опротивела, — нет, мне стало только невтерпеж мое бедственное положение. В этом-то состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно прочел книжку, которая, в связи с открытием моего нантского родственника, доставила обильную пищу моему воображению. И тут я наконец нашел выход. Я решил исчезнуть

с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть этот мир, продолжая существовать, — одним словом, я решил во что бы то ни стало добраться до луны. Чтобы не показаться совсем сумасшедшим, я теперь постараюсь изложить, как умею, соображения, в силу которых считал это предприятие — бесспорно трудное и опасное — все же не совсем безнадежным для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии луны от земли. Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет всего 237 000 миль. Я говорю о среднем расстоянии; но так как орбита луны представляет собой эллипс, эксцентриситет которого достигает в длину не менее 0,05484 большой полуоси самого эллипса, а земля расположена в фокусе последнего, — то, если бы мне удалось встретить луну в перигелии, вышеуказанное расстояние сократилось бы весьма значительно. Но, даже оставив в стороне эту возможность, достаточно вычесть из этого расстояния радиус земли, то есть 4000, и радиус луны, то есть 1080, а всего 5080 миль, и окажется, что средняя длина пути при обыкновенных условиях составит 231920 миль. Расстояние это не представляет собой ничего чрезвычайного. Путешествия на земле сплошь и рядом совершаются со средней скоростью шестьдесят миль в час, и, без сомнения, есть полная возможность увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, то, чтобы достичь луны, потребуется не более 161 дня. Однако различные соображения заставляли меня думать, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет шестьдесят миль в час, и так как эти соображения оказали глубокое воздействие на мой ум, то я изложу их подробнее.

Прежде всего остановлюсь на следующем весьма важном пункте. Показания приборов при полетах говорят нам, что на высоте 1000 футов над поверхностью земли мы оставляем под собой около одной тридцатой части всей массы атмосферного воздуха, на высоте 10 600 футов — около трети, а на высоте 18 000 футов, то есть почти на высоте Котопакси[337], под нами остается половина, — по крайней мере, половина весомой массы воздуха, облекающего нашу планету. Вычислено также, что на высоте, не превосходящей одну сотую земного диаметра, то есть не более восьмидесяти миль, атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не

могут обнаружить ее присутствия, и жизнь животного организма становится невозможной. Но я знал, что все эти расчеты основаны на опытном изучении свойств воздуха и законов его расширения и сжатия в непосредственном соседстве с землей, причем считается доказанным, что свойства животного организма не могут меняться ни на каком расстоянии от земной поверхности. Между тем выводы, основанные на таких данных, без сомнения проблематичны. Наибольшая высота, на которую когда-либо поднимался человек, достигнута аэронавтами гг. Гей-Люссаком и Био[338], поднявшимися на 25000 футов. Высота очень незначительная, даже в сравнении с упомянутыми восемьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут останется мне немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, количество весомой атмосферы, которую шар оставляет за собою при подъеме, отнюдь не находится в прямой пропорции к высоте, а (как видно из вышеприведенных данных) в постоянно убывающем ratio[339]. Отсюда ясно, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем такой границы, выше которой вовсе не существует атмосферы. Она должна существовать, рассуждал я, хотя, быть может, в состоянии бесконечного разрежения.

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований допускать существование реальной определенной границы атмосферы, выше которой воздуха безусловно нет. Но одно обстоятельство, упущенное из виду защитниками этой точки зрения, заставляло меня сомневаться в ее справедливости и во всяком случае считать необходимой серьезную проверку. Если сравнить интервалы между регулярными появлениями кометы Энке в ее перигелии, принимая в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются, то есть главная ось орбиты становится все короче. Так и должно быть, если допустить существование чрезвычайно разреженной эфирной среды, сквозь которую проходит орбита кометы. Ибо сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, очевидно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается, и комета с каждым периодом приближается к солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты не придумаешь. Кроме того,

замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается с приближением к солнцу и столь же быстро принимает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий. И разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить, вместе с господином Вальцом[340], сгущением вышеупомянутой эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света, также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается под тропиками и не имеет ничего общего со светом, излучаемым метеорами. Это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению солнечного экватора. Они, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от солнца по меньшей мере до орбиты Венеры, а по моему мнению, и гораздо дальше[341]. В самом деле, я не могу допустить, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к солнцу. Напротив, гораздо легче предположить, что она наполняет всю нашу планетную систему, сгущаясь поблизости от планет и образуя то, что мы называем атмосферными оболочками, которые, быть может, также изменялись под влиянием геологических факторов, то есть смешивались с испарениями, выделявшимися той или другой планетой.

Остановившись на этой точке зрения, я больше не стал колебаться. Предполагая, что всюду на своем пути найду атмосферу, в основных чертах сходную с земной, я надеялся, что мне удастся с помощью остроумного аппарата господина Гримма сгустить ее в достаточной степени, чтобы дышать. Таким образом, главное препятствие для полета на луну устранялось. Я затратил немало труда и изрядную сумму денег на покупку и усовершенствование аппарата и не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы путешествие не затянулось. Это соображение заставляет меня вернуться к вопросу о возможной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты взлета поднимаются сравнительно медленно. Быстрота подъема всецело зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, наполняющего шар. Если принять в расчет это обстоятельство, то покажется совершенно невероятным, чтобы скорость восхождения могла увеличиться в верхних слоях атмосферы, плотность которых

быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета о воздушном путешествии, в котором бы сообщалось об уменьшении скорости но мере подъема; а между тем она, несомненно, должна бы была уменьшаться — хотя бы вследствие просачиванья газа сквозь оболочку шара, покрытую обыкновенным лаком, — не говоря о других причинах. Одна эта потеря газа должна бы тормозить ускорение, возникающее в результате удаления шара от центра земли. Имея в виду все эти обстоятельства, я полагал, что если только найду на моем пути среду, о которой упоминал выше, и если эта среда в основных своих свойствах будет представлять собой то самое, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разрежения не окажет особого влияния — то есть не отразится на быстроте моего взлета, — так как по мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу выпускать его по мере надобности с помощью клапана); в то же время, оставаясь тем, что он есть, газ всегда окажется относительно легче, чем какая бы то ни была смесь азота с кислородом. Таким образом, я имел основание надеяться — даже, собственно говоря, быть почти уверенным, — что ни в какой момент моего взлета мне не придется достигнуть пункта, в котором вес моего огромного шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превзойдет вес вытесняемого ими воздуха. А только это последнее обстоятельство могло бы остановить мое восхождение. Но если даже я и достигну такого пункта, то могу выбросить около трехсот фунтов балласта и других материалов. Тем временем сила тяготения будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадратам расстояний, а скорость полета увеличиваться в чудовищной прогрессии, так что в конце концов я попаду в сферу, где земное притяжение уступит место притяжению луны.

Еще одно обстоятельство несколько смущало меня. Замечено, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затрудненного дыхания, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечением из носа и другими тревожными признаками, которые усиливаются по мере подъема[342]. Это обстоятельство наводило на размышления весьма неприятного свойства. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и окончатся смертью? Однако я решил, что этого вряд ли

следует опасаться. Ведь их причина заключается в постепенном уменьшении обычного атмосферного давления на поверхность тела и в соответственном расширении поверхностных кровяных сосудов — а не в расстройстве органической системы, как при затрудненном дыхании, вызванном тем, что разреженный воздух по своему химическому составу недостаточен для обновления крови в желудочках сердца. Оставив в стороне это недостаточное обновление крови, я не вижу, почему бы жизнь не могла продолжаться даже в вакууме, так как расширение и сжатие груди, называемое обычно дыханием, есть чисто мышечное явление и вовсе не следствие, а причина дыхания. Словом, я рассудил, что когда тело привыкнет к недостаточному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно уменьшатся, а я пока что уж как-нибудь перетерплю, здоровье у меня железное.

Таким образом, я, с позволения ваших превосходительств, подробно изложил некоторые — хотя далеко не все — соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на луну. А теперь возвращусь к описанию результатов моей попытки — с виду столь безрассудной и, во всяком случае, единственной в летописях человечества.

Достигнув уже упомянутой высоты в три и три четверти мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной быстротой и, следовательно, пока нет надобности выбрасывать балласт. Я был очень доволен этим обстоятельством, так как хотел сохранить как можно больше тяжести, не зная наверняка, какова степень притяжения луны и плотность лунной атмосферы. Пока я не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли. Кошка расположилась на моем пальто, которое я снял, и с напускным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал за ноги, чтобы они не улетели, деловито клевали зерна риса, насыпанные на дно корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26400 футов, то есть пять с лишним миль. Простор, открывавшийся подо мною, казался безграничным. На самом деле, с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности я мог охватить взглядом. Ведь выпуклая поверхность сегмента шара относится ко всей его

поверхности, как обращенный синус сегмента к диаметру шара. В данном случае обращенный синус — то есть, иными словами, толщина сегмента, находившегося подо мною, почти равнялась расстоянию, на котором я находился от земли, или высоте пункта наблюдения; следовательно, часть земной поверхности, доступная моему взору, выражалась отношением пяти миль к восьми тысячам. Иными словами, я видел одну тысячешестисотую часть всей земной поверхности. Море казалось гладким, как зеркало, хотя в зрительную трубку я мог убедиться, что волнение на нем очень сильное. Корабль давно исчез в восточном направлении. Теперь я по временам испытывал жестокую головную боль, в особенности за ушами, хотя дышал довольно свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, как нельзя лучше.

Без двадцати минут семь мой шар попал в слой густых облаков, которые причинили мне немало неприятностей, повредив сгущающий аппарат и промочив меня до костей. Это была, без сомнения, весьма странная встреча: я никак не ожидал, что подобные облака могут быть на такой огромной высоте. Все же я счел за лучшее выбросить два пятифунтовых мешка с балластом, оставив про запас сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно возросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой облако, молния прорезала его с одного конца до другого, и все оно вспыхнуло, точно груда раскаленного угля. Напомню, что это происходило при ясном дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе великолепие подобного явления; случись оно ночью, оно было бы точной картиной ада. Даже теперь волосы поднялись дыбом на моей голове, когда я смотрел в глубь этих зияющих бездн и мое воображение блуждало среди огненных зал с причудливыми сводами, развалин и пропастей, озаренных багровым, нездешним светом. Я едва избежал опасности. Если бы шар помедлил еще немного внутри облака — иными словами, если бы сырость не заставила меня выбросить два мешка с балластом — последствием могла быть — и была бы, по всей вероятности, — моя гибель. Такие случайности для воздушного шара, может быть, опаснее всего, хотя их обычно не принимают в расчет. Тем временем я оказался уже на достаточной высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших приключений в том же роде.

Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту не менее девяти с половиной миль. Мне уже становилось трудно дышать, голова мучительно болела, с некоторых пор я чувствовал какую-то влагу на щеках и вскоре убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели; когда я провел по ним рукой, мне показалось, что они вылезли из орбит; все предметы в корзине и самый шар приняли уродливые очертания. Эти болезненные симптомы оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку встревожили меня. Расстроенный, хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делаю, я совершил нечто в высшей степени неблагоразумное: выбросил из корзины три пятифунтовых мешка с балластом. Шар рванулся и перенес меня сразу в столь разреженный слой атмосферы, что результат едва не оказался роковым для меня и моего предприятия. Я внезапно почувствовал припадок удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; даже когда он прекратился, я не мог вздохнуть как следует. Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться на волю; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась туда и сюда, точно проглотила отраву. Слишком поздно поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Я ожидал неминуемой и близкой смерти. Физические страдания почти лишили меня способности предпринять что-либо для спасения своей жизни, мозг почти отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость обморока, я хотел было дернуть веревку, соединенную с клапаном, чтобы спуститься на землю, — как вдруг вспомнил о том, что я проделал с кредиторами, и о вероятных последствиях, ожидающих меня в случае возвращения на землю. Это воспоминание остановило меня. Я лег на дно корзины и постарался собраться с мыслями. Это удалось мне настолько, что я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью перочинного ножа. Как только потекла кровь, я почувствовал большое облегчение, а когда вышло с полчашки, худшие из болезненных симптомов совершенно исчезли. Все ж я не решился встать и, кое-как забинтовав руку, пролежал еще о четверть часа. Наконец я поднялся; оказалось, что все болезненные ощущения, преследовавшие меня в течение последнего часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затруднено, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к конденсатору. Случайно взглянув на кошку, которая

снова улеглась на пальто, я увидел, к своему крайнему изумлению, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятами. Этого прибавления пассажиров я отнюдь не ожидал, но был им очень доволен: оно давало мне возможность проверить гипотезу, которая более чем что-либо другое повлияла на мое решение. Я объяснял болезненные явления, испытываемые воздухоплавателем на известной высоте, привычкой к определенному давлению атмосферы около земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как мать, то моя теория, видимо, ошибочна, если же нет — она вполне подтвердится.

К восьми часам я достиг семнадцати миль над поверхностью земли. Очевидно, скорость подъема возрастала, и если бы даже я не выбросил балласта, то заметил бы это ускорение, хотя, конечно, оно не совершилось бы так быстро. Жестокая боль в голове и ушах по временам возвращалась; иногда текла из носа кровь; но, в общем, страдания мои были гораздо незначительнее, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для конденсации воздуха и принялся налаживать его.

С этой высоты на землю открывался великолепный вид. К западу, к северу и к югу, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретавшая с каждой минутой все более яркий голубой оттенок. Вдали, на востоке, вырисовывалась Великобритания, все атлантическое побережье Франции и Испании и часть северной окраины Африканского материка. Подробностей, разумеется, не было видно, и самые пышные города точно исчезли с лица земли.

Больше всего удивила меня кажущаяся вогнутость земной поверхности. Я, напротив, ожидал, что по мере подъема она будет представать мне все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что этого не могло быть. Перпендикуляр, опущенный из пункта моего наблюдения к земной поверхности, представлял бы собой один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого простиралось до горизонта, а гипотенуза — от горизонта к моему шару. Но высота, на которой я находился, была ничтожна сравнительно с пространством, которое я мог обозреть. Иными словами, основание и гипотенуза упомянутого треугольника были бы

так велики сравнительно с высотою, что могли бы считаться почти параллельными линиями. Поэтому горизонт для аэронавта остается всегда на одном уровне с корзиной. Но точка, находящаяся под ним внизу, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние — следовательно, ниже горизонта. Отсюда — впечатление вогнутости, которое и останется до тех пор, пока высота не достигнет такого отношения к диаметру видимого пространства, при котором кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет.

Так как голуби все время жестоко страдали, я решил выпустить их. Сначала я отвязал одного — серого крапчатого красавца — и посадил на обруч сетки. Он очень забеспокоился, жалобно поглядывал кругом, хлопал крыльями, ворковал, но не решался вылететь из корзины. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не полетел вниз, как я ожидал, а изо всех сил устремился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные крики. Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и упал мертвым в корзину. Другой был счастливее. Чтобы предупредить его возвращение, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре он исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался до земли. Кошка, по-видимому, оправившаяся от своего припадка, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали пока ни малейших признаков заболевания.

В четверть девятого, испытывая почти невыносимые страдания при каждом затрудненном вздохе, я стал прилаживать к корзине аппарат, составлявший часть конденсатора. Он требует, однако, более подробного описания. Ваши превосходительства благоволят заметить, что целью моею было защитить себя и корзину как бы барьером от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, с тем чтобы ввести внутрь корзины нужный для дыхания конденсированный воздух. С этой целью я заготовил плотную, совершенно непроницаемую, но достаточно эластичную каучуковую камеру в виде мешка. В этот мешок поместилась вся моя корзина, то есть он охватывал ее дно и края до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края наверху, над обручем, то есть просунуть эти края между обручем и сеткой. Но если

отделить сетку от обруча, чтобы пропустить края мешка, — на чем будет держаться корзина? Я разрешил это затруднение следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а прикреплена посредством петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на остальных, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, — не к обручу, разумеется, оттого что он находился под мешком, а к пуговицам на мешке, соответствовавшим петлям и пришитым фута на три ниже края; затем отстегнул еще несколько петель, просунул еще часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам. Таким образом, мне мало-помалу удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. Понятно, что обруч опустился в корзину, которая со всем содержимым держалась теперь только на пуговицах. На первый взгляд это грозило опасностью — но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только очень прочны сами по себе, но и посажены так тесно, что на каждую приходилась лишь незначительная часть всей тяжести. Если бы корзина с ее содержимым была даже втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Я снова приподнял обруч и прикрепил его почти на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных перекладин. Это я сделал для того, чтобы мешок оставался наверху растянутым и нижняя часть сетки не изменила своего положения. Теперь оставалось только закрыть мешок, что я и сделал без труда, собрав складками его верхний край и стянув их туго-натуго при помощи устойчивого вертлюга.

В боковых стенках мешка были сделаны три круглые окошка с толстыми, но прозрачными стеклами, сквозь которые я мог смотреть во все стороны по горизонтали. Такое же окошко находилось внизу и соответствовало небольшому отверстию в дне корзины: сквозь него я мог смотреть вниз. Но вверху нельзя было устроить такое окно, ибо верхний, стянутый, край мешка был собран складками. Впрочем, в этом окне и надобности не было, так как шар все заслонил бы собою.

Под одним из боковых окошек, примерно на расстоянии фута, имелось отверстие дюйма в три диаметром; а в отверстие было вставлено медное кольцо с винтовыми нарезками на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка конденсатора, помещавшегося, само собою разумеется, внутри каучуковой камеры. Через эту трубку разреженный воздух втягивался с помощью вакуума,

образовавшегося в аппарате, сгущался и проходил в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было наполнить камеру воздухом, вполне пригодным для дыхания. Но в столь тесном помещении воздух, разумеется, должен был быстро портиться вследствие частого соприкасания с легкими и становиться не пригодным для дыхания. Тогда его можно было выбрасывать посредством небольшого клапана на дне мешка; будучи более тяжелым, этот воздух быстро опускался вниз, рассеиваясь в более легкой наружной атмосфере. Из опасения создать полный вакуум в камере при выпускании воздуха, очистка последнего никогда не производилась сразу, а лишь постепенно. Клапан открывался секунды на две — на три, потом замыкался, и так — несколько раз, пока конденсатор не заменял вытесненный воздух запасом нового. Ради опыта я положил кошку и котят в корзиночку, которую подвесил снаружи к пуговице, находящейся подле клапана; открывая клапан, я мог кормить кошек по мере надобности. Я сделал это раньше, чем затянул камеру, с помощью одного из упомянутых выше шестов, поддерживавших обруч. Как только камера наполнилась сконденсированным воздухом, шесты и обруч оказались излишними, ибо, расширяясь, внутренняя атмосфера и без них растягивала каучуковый мешок.

Когда я приладил все эти приборы и наполнил камеру, было всего без десяти минут девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и горько упрекал себя за небрежность, или скорее за безрассудную смелость, побудившую меня отложить до последней минуты столь важное дело. Но, когда наконец все было готово, я тотчас почувствовал благотворные последствия своего изобретения. Я снова дышал легко и свободно, — да и почему бы мне не дышать? К моему удовольствию и удивлению, жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение какой-то раздутости или растяжения в запястьях, лодыжках и гортани. Очевидно, мучительные ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, происходило только вследствие затрудненного дыхания.

В сорок минут девятого, то есть незадолго до того, как я затянул отверстие мешка, ртуть опустилась до нижнего уровня в высотомере. Я находился на высоте 132000 футов, то есть двадцати пяти миль, и,

следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я снова потерял из виду землю на востоке, заметив при этом, что шар быстро несется в направлении норд-норд-вест. Расстилавшийся подо мною океан все еще казался вогнутым; впрочем, облака часто скрывали его от меня.

В половине десятого я снова выбросил из корзины горсть перьев. Они не полетели, как я ожидал, но упали, как пуля, — всей кучей, с невероятною быстротою, — и в несколько секунд исчезли из виду. Сначала я не мог объяснить себе это странное явление; мне казалось невероятным, чтобы быстрота подъема так страшно возросла. Но вскоре я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они действительно упали с огромной быстротой; и поразившее меня явление обусловлено было сочетанием скорости падения перьев со скоростью подъема моего шара.

Часам к десяти мне уже нечего было особенно наблюдать. Все шло исправно; быстрота подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я не мог определить степень этого возрастания. Я не испытывал никаких болезненных ощущений, а настроение духа было бодрее, чем когда-либо после моего вылета из Роттердама! Я коротал время, осматривая инструменты и обновляя воздух в камере. Я решил повторять это через каждые сорок минут — скорее для того, чтобы предохранить свой организм от возможных нарушений его деятельности, чем по действительной необходимости. В то же время я невольно уносился мыслями вперед. Воображение мое блуждало в диких, сказочных областях луны, необузданная фантазия рисовала мне обманчивые чудеса этого призрачного и неустойчивого мира. То мне мерещились дремучие вековые леса, крутые утесы, шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. То я переносился в пустынные просторы, залитые лучами полуденного солнца, куда ветерок не залетал от века, где воздух точно окаменел и всюду, куда хватает глаз, расстилаются луговины, поросшие маком и стройными лилиями, безмолвными, словно оцепеневшими. То вдруг являлось передо мною озеро, темное, неясное, сливавшееся вдали с грядами облаков. Но не только эти картины рисовались моему воображению. Мне рисовались ужасы, один другого грознее и причудливее, и даже мысль об их возможности потрясала меня до глубины души. Впрочем, я старался не

думать о них, справедливо полагая, что действительные и осязаемые опасности моего предприятия должны поглотить все мое внимание.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, жестоко страдала, несомненно, вследствие затрудненного дыхания; но котята изумили меня. Я ожидал, что они тоже будут страдать, хотя и в меньшей степени, чем кошка, что подтвердило бы мою теорию насчет нашей привычки к известному атмосферному давлению. Оказалось, однако, — чего я вовсе не ожидал, — что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков какого-либо органического расстройства. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет (как я вначале думал) со стороны ее химического состава никакого препятствия для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого труда, а попавши в более плотные слои по соседству с землей, испытает те же мучения, которым я подвергался так недавно. Очень сожалею, что вследствие несчастной случайности я потерял эту кошачью семейку и не мог продолжать свои опыты. Просунув чашку с водой для старой кошки в отверстие мешка, я зацепил рукавом за шнурок, на котором висела корзинка, и сдернул его с пуговицы. Если бы корзинка с кошками каким-нибудь чудом испарилась в воздухе — она не могла бы исчезнуть с моих глаз быстрее, чем сейчас. Не прошло положительно и десятой доли секунды, как она уже скрылась со всеми своими пассажирами. Я пожелал им счастливого пути, но, разумеется, не питал никакой надежды, что кошка или котята останутся в живых, дабы рассказать о своих бедствиях.

В шесть часов значительная часть земли на востоке покрылась густою тенью, которая быстро надвигалась, так что в семь без пяти минут вся видимая поверхность земли погрузилась в ночную тьму. Но долго еще после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, можно было предвидеть заранее, доставляло мне большую радость. Значит, я и утром увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, несмотря на более восточное положение этого города, и, таким образом, буду пользоваться все более и более продолжительным днем соответственно с высотой, которой буду достигать. Я решил вести

дневник моего путешествия, отмечая дни через каждые двадцать четыре часа и не принимая в расчет ночей.

В десять часов меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, о котором я совершенно забыл, хотя должен был предвидеть его заранее. Если я засну, кто же будет накачивать воздух в камеру? Дышать в ней можно было самое большее час; если продлить этот срок даже на четверть часа, последствия могли быть самые гибельные. Затруднение это очень смутило меня, и хотя мне едва ли поверят, но, несмотря на преодоление стольких опасностей, я готов был отчаяться перед новым, потерял всякую надежду на исполнение моего плана и уже подумывал о спуске. Впрочем, то было лишь минутное колебание. Я рассудил, что человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему существенно важными, а на самом деле они сделались такими единственно в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мешало мне приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного обновления воздуха достаточно было пяти минут. Меня затруднял только способ, каким я буду будить себя в надлежащее время. Правду сказать, я долго ломал себе голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты прибегают к такому приему: взяв в руку медную пулю, держат ее над медным тазиком; и, если студенту случится задремать над книгой, пуля падает, и ее звон о тазик будит его. Но для меня подобный способ вовсе не годился, так как я не намерен был бодрствовать все время, а хотел лишь просыпаться через определенные промежутки времени. Наконец я придумал приспособление, которое при всей своей простоте показалось мне в первую минуту открытием не менее блестящим, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Необходимо заметить, что на той высоте, которой я достиг в настоящее время, шар продолжал подниматься без толчков и отклонений, совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни малейшей тряски. Это обстоятельство явилось как нельзя более кстати для моего изобретения. Мой запас воды помещался в бочонках, по пяти галлонов каждый, они были выстроены вдоль стенки корзины. Я отвязал один бочонок и, достав две веревки, натянул их поперек корзины вверху, на расстоянии фута одну от другой, так что они

образовали нечто вроде полки. На эту полку я взгромоздил бочонок, положив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, прикрепил другую полку, употребив для этого тонкую дощечку, единственную, имевшуюся у меня в запасе. На дощечку поставил небольшой глиняный кувшинчик. Затем провертел дырку в стенке бочонка над кувшином и заткнул ее втулкой из мягкого дерева. Вдвигая и выдвигая втулку, я наконец установил ее так, чтобы вода, просачиваясь сквозь отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это было нетрудно, проследив, какая часть кувшина наполняется в известный промежуток времени. Остальное понятно само собою. Я устроил себе постель на дне корзины так, чтобы голова приходилась под носиком кувшина. Ясно, что по истечении часа вода, наполнив кувшин, должна была выливаться из носика, находившегося несколько ниже его краев. Ясно также, что, орошая лицо мое с высоты четырех футов, вода должна была разбудить меня, хотя бы я заснул мертвым сном.

Было уже одиннадцать часов, когда я покончил с устройством этого будильника. Затем я немедленно улегся спать, вполне положившись на мое изобретение. И мне не пришлось разочароваться в нем. Точно через каждые шестьдесят минут я вставал, разбуженный моим верным хронометром, выливал из кувшина воду обратно в бочонок и, обновив воздух с помощью конденсатора, снова укладывался спать. Эти регулярные перерывы в сне беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я встал утром, было уже семь часов, и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля.

Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте, так как выпуклость земли была теперь ясно видна. Подо мной, в океане, можно было различить скопление каких-то темных пятен — без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды блистали; они стали видны с первого же дня моего полета. Далеко по направлению к северу я заметил тонкую белую, ярко блестевшую линию, или полоску, на краю неба, в которой не колеблясь признал южную окраину полярных льдов. Мое любопытство было сильно возбуждено, так как я рассчитывал, что буду лететь гораздо дальше к северу и, может быть, окажусь над самым полюсом, Я пожалел, что

огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его как следует. Но все-таки я мог заметить многое.

В течение дня не случилось ничего особенного. Все мои приборы действовали исправно, и шар поднимался без всяких толчков. Сильный холод заставил меня плотнее закутаться в пальто. Когда земля оделась ночным мраком, я улегся спать, хотя еще много часов спустя вокруг моего шара стоял белый день. Водяные часы добросовестно исполняли свою обязанность, и я спокойно проспал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля.

Встал здоровым и бодрым и был поражен тем, как странно изменился вид океана. Он утратил свою темно-голубую окраску и казался серовато-белым, притом он ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так четко, что громада воды, находившейся подо мною, точно низвергалась в пучину по краям неба, и я невольно прислушивался, стараясь расслышать грохот этих мощных водопадов. Островов не было видно, потому ли, что они исчезли за горизонтом в юго-восточном направлении, или все растущая высота уже лишала меня возможности видеть их. Последнее предположение казалось мне, однако, более вероятным. Полоса льдов на севере выступала все яснее. Холод не усиливался. Ничего особенного не случилось, и я провел день за чтением книг, которые захватил с собою.

5 апреля.

Отмечаю любопытный феномен: солнце взошло, однако вся видимая поверхность земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и снова показалась на севере полоса льдов. Теперь она выступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближался к ней, и очень быстро. Мне казалось, что я различаю землю на востоке и на западе, но я не был в этом уверен. Температура умеренная. В течение дня не случилось ничего особенного. Рано лег спать.

6 апреля.

Был удивлен, увидев полосу льда на очень близком расстоянии, а также бесконечное ледяное поле, простиравшееся к северу. Если шар сохранит то же направление, то я скоро окажусь над Ледовитым океаном и несомненно увижу полюс. В течение дня я неуклонно приближался ко льдам. К ночи пределы моего горизонта неожиданно и

значительно расширились, без сомнения потому, что земля имеет форму сплюснутого сфероида, и я находился теперь над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо опасался, что предмет моего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет от моих наблюдений.

7 апреля.

Встал рано и, к своей великой радости, действительно увидел Северный полюс. Не было никакого сомнения, что это именно полюс и он находится прямо подо мною. Но, увы! Я поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в подробностях. В самом деле, если составить прогрессию моего восхождения на основании чисел, указывавших высоту шара в различные моменты между шестью утра 2 апреля и девятью без двадцати минут утра того же дня (когда высотомер перестал действовать), то теперь, в четыре утра седьмого апреля, шар должен был находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. (С первого взгляда эта цифра может показаться грандиозной, но, по всей вероятности, она была гораздо ниже действительной.) Во всяком случае, я видел всю площадь, соответствовавшую большому диаметру земли; все северное полушарие лежало подо мною наподобие карты в ортографической проекции, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Итак, ваши превосходительства без труда поймут, что лежавшие подо мною неизведанные области в пределах Полярного круга находились на столь громадном расстоянии и в столь уменьшенном виде, что рассмотреть их подробно было невозможно. Все же мне удалось увидеть кое-что замечательное. К северу от упомянутой линии, которую можно считать крайней границей человеческих открытий в этих областях, расстилалось сплошное, или почти сплошное, поле. Поверхность его, будучи вначале плоской, мало-помалу понижалась, принимая заметно вогнутую форму, и завершалась у самого полюса круглой, резко очерченной впадиной. Последняя казалась гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в шестьдесят пять секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К двенадцати часам впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я потерял ее из вида: шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору.

8 апреля.

Видимый диаметр земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел самую землю в просветах между облаками. В течение последних сорока восьми часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени, а при той высоте, которой теперь достиг шар, груды облаков сблизились в поле зрения еще теснее, и наблюдать землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле, направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом в 5°8′48". Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку: мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса.

9 апреля.

Сегодня диаметр земли значительно уменьшился, окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в девять утра он достиг северной окраины Мексиканского залива.

10 апреля.

Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался; в первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный.

11 апреля.

Диаметр земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра луны. Теперь приходилось

затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания.

12 апреля.

Странно изменилось направление шара; и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув двадцатой параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достойно замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля.

Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал десятого. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра земли: теперь его угловая величина лишь чуть побольше двадцати пяти градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток.

14 апреля.

Стремительное уменьшение диаметра земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией абсид по направлению к перигелию — то есть, иными словами, стремится прямо к луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда.

15 апреля.

На земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнуло и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных

камней, которые попадают иногда на нашу землю и называются метеорами.

16 апреля.

Сегодня, заглянув в боковые окна камеры, я, к своему великому удовольствию, увидел, что край лунного диска выступает над шаром со всех сторон. Я был очень взволнован, чувствуя, что скоро наступит конец моему опасному путешествию. Действительно, конденсация воздуха требовала таких усилий, что она отнимала у меня все время. Спать почти не приходилось. Я чувствовал мучительную усталость и совсем обессилел. Человеческая природа не способна долго выдерживать такие страдания. Во время короткой ночи мимо меня опять пронесся метеор. Они появлялись все чаще, и это не на шутку стало пугать меня.

17 апреля.

Сегодня — достопамятный день моего путешествия. Если припомните, тринадцатого апреля угловая величина земли достигала всего двадцати пяти градусов. Четырнадцатого она очень уменьшилась, пятнадцатого — еще значительнее, а шестнадцатого, ложась спать, я отметил угол в 7°15′ Каково же было мое удивление, когда, пробудившись после непродолжительного и тревожного сна утром семнадцатого апреля, я увидел, что поверхность, находившаяся подо мною, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла не менее тридцати девяти градусов в угловом диаметре! Меня точно обухом по голове ударили. Безграничный ужас и изумление, которых не передашь никакими словами, поразили, ошеломили, раздавили меня. Колени мои дрожали, зубы выбивали дробь, волосы поднялись дыбом. «Значит, шар лопнул! — мелькнуло в моем уме. — Шар лопнул! Я падаю! Падаю с невероятной, неслыханной быстротой! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже пролетел, не пройдет и десяти минут, как я ударюсь о землю и разобьюсь вдребезги». Наконец ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, подумал, стал сомневаться. Нет, это невероятно. Я не мог так быстро спуститься. К тому же, хотя я, очевидно, приближался к расстилавшейся подо мною поверхности, но вовсе не так быстро, как мне показалось в первую минуту. Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец понял, в чем дело. Если бы испуг и удивление не отбили у меня всякую способность соображать, я бы с первого взгляда заметил, что

поверхность, находившаяся подо мною, ничуть не похожа на поверхность моей матери-земли. Последняя находилась теперь наверху, над моей головой, а внизу, под моими ногами, была луна во всем ее великолепии.

Мои растерянность и изумление при таком необычайном повороте дела непонятны мне самому. Этот bouleversement[343] не только был совершенно естествен и необходим, но я заранее знал, что он неизбежно свершится, когда шар достигнет того пункта, где земное притяжение уступит место притяжению луны, — или, точнее, тяготение шара к земле будет слабее его тяготения к луне. Правда, я только что проснулся и не успел еще прийти в себя, когда заметил нечто поразительное; и хотя я мог это предвидеть, но в настоящую минуту вовсе не ожидал. Поворот шара, очевидно, произошел спокойно и постепенно, и если бы я даже проснулся вовремя, то вряд ли мог бы заметить его по какому-нибудь изменению внутри камеры.

Нужно ли говорить, что, опомнившись после первого изумления и ужаса и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью принялся рассматривать поверхность луны. Она расстилалась подо мною, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания выступали вполне ясно. Полное отсутствие океанов, морей, даже озер и рек — словом, каких бы то ни было водных бассейнов — сразу бросилось мне в глаза, как самая поразительная черта лунной орографии. При всем том, как это ни странно, я мог различить обширные равнины, очевидно, наносного характера, хотя большая часть поверхности была усеяна бесчисленными вулканами конической формы, которые казались скорее насыпными, чем естественными возвышениями. Самый большой не превосходил трех — трех с четвертью миль. Впрочем, карта вулканической области Флегрейских полей даст вашим превосходительствам лучшее представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Большая часть вулканов действовала, и я мог судить о бешеной силе извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще пролетавших с громом мимо шара.

18 апреля.

Объем луны очень увеличился, и быстрота моего спуска стала сильно тревожить меня. Я уже говорил, что мысль о существовании лунной атмосферы, плотность которой соответствует массе луны,

играла немаловажную роль в моих соображениях о путешествии на луну, — несмотря на существование противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что на нашем спутнике нет никакой атмосферы. Но, независимо от вышеупомянутых соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на некоторые наблюдения г-на Шретера[344] из Лилиенталя. Он наблюдал луну на третий день после новолуния, вскоре после заката солнца, когда темная часть диска была еще незрима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видима. Оба рога казались удлиненными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего солнца. Вскоре по наступлении ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы (которая может преломлять достаточное количество лучей, чтобы вызвать в темной части диска свечение вдвое более сильное, чем свет, отражаемый от земли, когда луна отстоит на 32° от точки новолуния) я принимал в 1356 парижских футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восемьдесят втором томе «Философских трудов», где говорится об оккультации спутников Юпитера, причем третий спутник стал неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчез на некотором расстоянии от диска.[345]

От степени сопротивления или, вернее сказать, от поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать моему шару, зависел всецело и благополучный исход путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца своим приключениям: мне предстояло разлететься на атомы, ударившись о скалистую поверхность луны. Судя по всему, я имел полное основание опасаться подобного конца. Расстояние до луны было сравнительно ничтожно, а обновление воздуха в камере требовало такой же работы, и я не замечал никаких признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля.

Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность луны угрожающе приблизилась и мои опасения дошли до крайних пределов, насос конденсатора, к великой моей радости, показал наконец очевидные признаки изменения плотности атмосферы.

К десяти часам плотность эта значительно возросла. К одиннадцати аппарат требовал лишь ничтожных усилий, а в двенадцать я решился — после некоторого колебания — отвинтить вертлюг; и, убедившись, что ничего вредного для меня не воспоследовало, я развязал гуттаперчевый мешок и отогнул его края. Как и следовало ожидать, непосредственным результатом этого слишком поспешного и рискованного опыта была жесточайшая головная боль и удушье. Но, так как они не угрожали моей жизни, я решился претерпеть их в надежде на облегчение при спуске в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил с невероятной быстротою, и хотя мои расчеты на существование лунной атмосферы, плотность которой соответствовала бы массе спутника, по-видимому, оправдывались, но я, очевидно, ошибся, полагая, что она способна поддержать корзину со всем грузом. А между тем этого надо было ожидать, так как сила тяготения и, следовательно, вес предметов также соответствуют массе небесного тела. Но головокружительная быстрота моего спуска ясно доказывала, что этого на самом деле не было. Почему?.. Единственное объяснение я вижу в тех геологических возмущениях, на которые указывал выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем близко от луны и стремился к ней со страшною быстротой. Итак, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, конденсирующий прибор, каучуковую камеру и, наконец, все, что только было в корзине. Ничто не помогало. Я по-прежнему падал с ужасающей быстротой и находился самое большее в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив сюртук и сапоги, я отрезал даже корзину, повис на веревках и, успев только заметить, что вся площадь подо мной, насколько видит глаз, усеяна крошечными домиками, очутился в центре странного, фантастического города, среди толпы уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище идиотов, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар. Я с презрением отвернулся от них, посмотрел, подняв глаза, на землю, так недавно — и, может быть, навсегда, — покинутую мною, и увидел ее в виде большого медного щита, около двух градусов в диаметре, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один край его, в форме серпа, горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков

воды или суши не было видно, — я заметил только тусклые, изменчивые пятна да тропический и экваториальный пояс.

Так, с позволения ваших превосходительств, после жестоких страданий, неслыханных опасностей, невероятных приключений, на девятнадцатый день моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие, — без сомнения, самое необычайное и самое замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных, предпринятых или задуманных жителями земли. Но рассказ о моих приключениях еще далеко не кончен. Ваши превосходительства сами понимают, что, проведя около пяти лет на спутнике земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своих особенностей, но и вследствие своей тесной связи с миром, обитаемом людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более интересных, чем описание моего путешествия, как бы оно ни было удивительно само по себе. И я действительно могу открыть многое и сделал бы это с величайшим удовольствием. Я мог бы рассказать вам о климате луны и о странных колебаниях температуры — невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом, — о постоянном перемещении влаги вследствие испарения, точно в вакууме, из пунктов, находящихся ближе к солнцу, в пункты, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих вод; о здешнем населении — его обычаях, нравах, политических учреждениях; об особой физической организации здешних обитателей, об их уродливости, отсутствии ушей — придатков, совершенно излишних в этой своеобразной атмосфере; об их способе общения, заменяющем здесь дар слова, которого лишены лунные жители; о таинственной связи между каждым обитателем луны и определенным обитателем земли (подобная же связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и участь населения одного мира теснейшим образом переплетаются с жизнью и участью населения другого; а главное — главное, ваши превосходительства, — об ужасных и отвратительных тайнах, существующих на той стороне луны, которая, вследствие удивительного совпадения периодов вращения спутника вокруг собственной оси и обращения его вокруг земли, недоступна и, к счастью, никогда не станет доступной для земных телескопов. Все это — и многое, многое еще — я охотно изложил бы в подобном

сообщении. Но скажу прямо, я требую за это вознаграждения. Я жажду вернуться к родному очагу, к семье. И в награду за дальнейшие сообщения — принимая во внимание, какой свет я могу пролить на многие отрасли физического и метафизического знания, — я желал бы выхлопотать себе через посредство вашего почтенного общества прощение за убийство трех кредиторов при моем отбытии из Роттердама. Такова цель настоящего письма. Податель его — один из жителей луны, которому я растолковал все, что нужно, — к услугам ваших превосходительств; он сообщит мне о прощении, буде его можно получить.

Примите и проч. Ваших превосходительств покорнейший слуга, **Ганс Пфааль.**

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил, так он был изумлен, а мингер Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, положил в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся волчком. Разумеется, прощение будет выхлопотано, — об этом и толковать нечего. Так, по крайней мере, поклялся в самых энергических выражениях профессор Рубадуб. То же подумал и блистательный ван Ундердук, когда, опомнившись наконец, взял под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы обсудить на досуге, как лучше взяться за дело. Однако, дойдя до двери бургомистрова дома, профессор решился заметить, что в прощении едва ли окажется нужда, так как посланец с луны[346] исчез, без сомнения испугавшись суровой и дикой наружности роттердамских граждан, — а кто, кроме обитателя луны, отважится на такое путешествие? Бургомистр признал справедливость этого замечания, чем дело и кончилось. Но не кончились толки и сплетни. Письмо было напечатано и вызвало немало обсуждений и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить самих себя в смешном виде, утверждая, будто все это происшествие сплошная выдумка. Но эти господа называют выдумкой все, что превосходит их понимание. Я, со своей стороны, решительно не вижу, на чем они основывают такое обвинение.

Вот их доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть такие-то шутники (имярек), которые имеют зуб против таких-то бургомистров и астрономов (имярек).

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то проделку ушами недавно исчез из соседнего города Брюгге и не возвращался в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые всюду были налеплены на шар, — это голландские газеты, и, стало быть, выходили не на луне. Они были очень, очень грязные, и типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, печатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, будто бы его кредиторами, видели два-три дня тому назад в кабаке, в предместье Роттердама: они были при деньгах и только что вернулись из поездки за море.

И наконец: согласно общепринятому (по крайней мере, ему бы следовало быть общепринятым) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим обществам во всех других частях света, оставляя в стороне общества и астрономов вообще, ничуть не лучше, не выше, не умнее, чем ему следует быть.

Примечание. Строго говоря, наш беглый очерк представляет очень мало общего с знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка[347], но, так как оба рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, другой в сугубо серьезном тоне), оба трактуют об одном и том же предмете, мало того — в обоих правдоподобие достигается с помощью чисто научных подробностей, — то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым заметить в целях самозащиты, что его «jeu d'esprit»[348] была напечатана в «Саутерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между обоими рассказами сходство, которого, быть может, на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, то мы считаем нелишним остановиться на этом рассказе, — то есть отметить те его особенности, которые должны бы были устранить возможность подобного легковерия, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и

бесспорное остроумие автора, произведение его сильно хромает в смысле убедительности, ибо он недостаточно уделяет внимания фактам и аналогиям. Если публика могла хоть на минуту поверить ему, то это лишь доказывает ее глубокое невежество по части астрономии.

Расстояние луны от земли в круглых цифрах составляет 240 000 миль. Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, нужно разделить его на цифру, выражающую степень увеличительной силы последнего. Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 000 раз. Разделив на это число 240 000 (расстояние до Луны), получаем пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно рассмотреть каких-либо животных, а тем более всякие мелочи, о которых упоминается в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель видит на луне цветы (из семейства маковых и др.), даже различает форму и цвет глаз маленьких птичек. А незадолго перед тем сам автор говорит, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы менее восемнадцати дюймов в диаметре. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим мимоходом, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской гг. Гартлей и Грант в Домбартоне; но гг. Гартлей и Грант прекратили свою деятельность за много лет до появления этой сказки.

На странице 13 отдельного издания, упоминая о «волосяной вуали» на глазах буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим провидением защиту глаз животного от резких перемен света и мрака, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Однако подобное замечание отнюдь не свидетельствует о «проницательности» доктора. У обитателей, о которых идет речь, никогда не бывает темноты, следовательно, не подвергаются они и упомянутым резким световым переменам. В отсутствие солнца они получают свет от земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография луны у мистера Локка, даже там, где он старается согласовать ее с картой луны Блента, расходится не только с нею и со всеми остальными картами, но и с собой. Относительно стран света у него царит жестокая путаница; автор, по-видимому, не знает, что на

лунной карте они расположены иначе, чем на земле: восток приходится налево, и т. д.

Мистер Локк, быть может, сбитый с толку неясными названиями «Mare Nubium», «Mare Tranquillitatis», «Mare Fecunditatis»[349], которыми прежние астрономы окрестили темные лунные пятна, очень обстоятельно описывает океаны и другие обширные водные бассейны на луне; между тем отсутствие подобных бассейнов доказано. Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе, пересекая темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы ровною.

Описание крыльев человека — летучей мыши на стр. 21 — буквально копия с описания крыльев летающих островитян Питера Уилкинса[350]. Уже одно это обстоятельство должно было бы возбудить сомнение.

На стр. 23 читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего, когда, зарождаясь в недрах времени, оба были игралищем химических сил!» Это отлично сказано, конечно; но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, так как земля не в тринадцать, а в сорок девять раз больше луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет некоторых недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты — и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на луне, — что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на земле? Без сомнения, не форма, не рост, не другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымышленный наблюдатель едва ли удержался бы от восклицания при виде столь странного положения живых существ (хотя бы и предвидел его заранее), наблюдатель вымышленный не только не отметил этого обстоятельства, но говорит о форме всего тела, хотя мог видеть только форму головы!

Заметим в заключение, что величина и особенно сила человека — летучей мыши (например, способность летать в разреженной атмосфере, если, впрочем, на луне есть какая-нибудь атмосфера) противоречат всякой вероятности. Вряд ли нужно прибавлять, что все соображения, приписываемые Брюстеру[351] и Гершелю в начале статьи — «передача искусственного света о помощью предмета, находящегося в фокусе поля зрения», и проч. и проч., — относятся к разряду высказываний, именуемых в просторечии чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд — предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы все зависело от силы оптических стекол, человеческая изобретательность несомненно справилась бы в конце концов с этой задачей, и у нас были бы чечевицы каких угодно размеров. К несчастию, по мере возрастания увеличительной силы стекол, вследствие рассеяния лучей уменьшается сила света, испускаемого объектом. Этой беде мы не в силах помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету — его собственному или отраженному. «Искусственный» свет, о котором толкует мистер Л., мог бы иметь значение лишь в том случае, если бы был направлен не на «объект, находящийся в поле зрения», а на действительный изучаемый объект — то есть на луну. Нетрудно вычислить, что если свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную, безлунную ночь, то это тело станет недоступным для изучения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля — только в 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса[352] имеет 6 футов в диаметре, толщина ее на краях — 5 и 1/2. в центре — 5 дюймов. Фокусное расстояние — 50 футов. Вес — 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титуле которой значится:

«L'Homme dans la lune, ou le Voyage Chimerique fait au Monde de la Lune, nouvellement decouvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autremet dit le Courier volant. Mis en notre langue par J.B.D.A. Paris, chez Francois Piot, pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J.

Goignard, au premier pilier de la grand' salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVIII», p. 176.[353]

Автор говорит, что перевел книжку с английского подлинника некоего мистера Д'Ависсона (Дэвидсон?), хотя выражается крайне неопределенно.

«J'en ai eu, — говорит он, — l'original de Monsieur D'Avisson, medecin des mieux versez qui soient aujourd'huy dans la conoissance des Belles Lettres, et sur tout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m'auoir non seulment mis en main ce Livre en anglois, mais encore ie Manuscrit du Sieur Thomas D'Anan, gentilhomrne Eccossois, recommandable pour sa vertu, sur la version duquel j'advoue j'ay tire le plan de la mienne».[354]

После разнообразных приключений во вкусе Жиль Блаза[355], рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, где возмутившийся экипаж оставляет его вдвоем с служителем-негром. Ради успешнейшего добывания пищи они разошлись и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться Друг с другом с помощью птиц, дрессированных на манер почтовых голубей. Мало-помалу птицы выучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору пришло в голову воспользоваться соединенными силами целой стаи птиц и подняться самому. Для этого он построил машину, которая подробно описана и изображена в книжке. На рисунке мы видим сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносимого стаей диких лебедей (ganzas), к хвостам которых привязана машина.

Главное приключение сеньора обусловлено очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце книги. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказываются уроженцами не острова Святой Елены, а луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на землю; но в надлежащее время, конечно, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на непродолжительное путешествие, поднимается прямо в небо и в самое короткое время достигает луны. Тут он находит среди прочих курьезов — население, которое вполне счастливо. Обитатели луны не знают законов; умирают без страданий; ростом они от десяти до тридцати футов; живут пять тысяч лет. У них есть император, по имени

Ирдонозур; они могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя, таким образом, из сферы притяжения, летать с помощью особых крыльев.

Не могу не привести здесь образчик философствований автора:

«Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше (приблизительно), чем когда смотришь на них с земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась громадной величины.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны земли, которая обращена к луне, и что чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился между землей и луной. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой линии; во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть, мы все Же двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов Равноденствия, называемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые ошибки, книжка заслуживает внимания как простодушный образчик наивных астрономических понятий того времени. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» земли действует лишь на незначительное расстояние от ее поверхности, и вот почему он «все же двигался вокруг земного шара» и т. д.

Есть и другие «путешествия на луну», но их уровень не выше этой книжки. Книга Бержерака[356] не заслуживает внимания. В третьем томе «Американ куотерли ревью»[357] помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий», — разбор, свидетельствующий столько же о нелепости книжки, сколько и о глубоком невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ

путешествия еще глупее, чем полет нашего приятеля сеньора Гонзалеса. Путешественник случайно находит в земле неведомый металл, притяжение которого к луне сильнее, чем к земле, делает из него ящик и улетает на луну. «Бегство Томаса О'Рука» — не лишенный остроумия jeu d'esprit[358]; книжка эта переведена на немецкий язык. Герой рассказа Томас, — лесничий одного ирландского пэра, эксцентричные выходки которого послужили поводом для рассказа, — улетает на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной в конце Бантри Бей[359].

Все упомянутые брошюры преследуют сатирическую цель; тема — сравнение наших обычаев с обычаями жителей луны. Ни в одной из них не сделано попытки придать с помощью научных подробностей правдоподобный характер самому путешествию. Авторы делают вид, что они люди вполне осведомленные в области астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» заключается в попытке достигнуть этого правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы.

Июнь, 1835

пер. М. Энгельгардта

Король Чума. Аллегорический рассказ[360]

С чем боги в королях мирятся,
что приемлют.
То в низкой черни гневно отвергают.

«Трагедия о Феррексе и Поррексе»[361]

Однажды в царствование доблестного Эдуарда Третьего[362], в октябре, два матроса с торговой шхуны «Независимая», плавающей между Слау и Темзой, а тогда стоявшей на Темзе, около полуночи, к своему величайшему изумлению, обнаружили, что сидят в лондонском трактире «Веселый матрос» в приходе св. Эндрюса.

Эта убогая, закопченная распивочная с низким потолком ничем не отличалась от любого заведения подобного рода, какими они были в те времена; и все же посетители, расположившиеся в ней причудливыми группами, нашли бы, что она вполне отвечает своему назначению.

Наши матросы, люди простые и немудрящие, тем не менее представляли собой весьма занятную парочку.

Один из них, тот, которого не без основания прозвали «Дылдой», был как будто старше своего спутника и чуть не вдвое выше его. Из-за своего огромного роста — в нем было футов шесть с половиной — он сильно сутулился. Впрочем, излишек длины с лихвой искупался нехваткой ширины. Он был до того худ, что, как уверяли товарищи, пьяный мог бы служить флагштоком на мачте, а трезвый — сойти за бушприт. Но ни одна из подобных шуток не вызывала даже тени улыбки у этого матроса. У него был крупный ястребиный нос, острые скулы, круто срезанный подбородок, запавшая нижняя губа, а глаза на выкате — большие и белесые. Казалось, ко всему на свете он относился с тупым безразличием, причем лицо его выражало такую торжественную важность, что описать или воспроизвести это выражение невозможно.

Второй матрос, тот, который был моложе, являлся его полной противоположностью. Рост матроса едва достигал четырех футов. Приземистое нелепое туловище держалось на коротких и толстых

кривых ногах; куцые руки с массивными кулаками висели наподобие плавников морской черепахи. Маленькие бесцветные глазки поблескивали откуда-то из глубины, нос утопал в лиловых подушках щек; толстая верхняя губа, покоясь на еще более толстой нижней, придавала его лицу презрительное выражение, а привычка облизываться еще подчеркивала его. Нельзя было не заметить, что Дылда вызывает в нем удивление и насмешку, он поглядывал на своего долговязого приятеля снизу вверх, точь-в-точь как багровое закатное солнце смотрит на крутые склоны Бен-Невиса[363].

Странствия сей достойной парочки из трактира в трактир сопровождались в тот вечер самыми невообразимыми происшествиями. В распивочную «Веселый матрос» друзья явились без гроша в кармане — запасы денег, даже самые солидные, когда-нибудь да иссякают.

В ту минуту, с которой, собственно, и начинается наш рассказ, Дылда и его дружок Хью Смоленый сидели посреди комнаты, положив локти на большой дубовый стол и подпирая ладонями щеки. Скрытые огромной бутылью от эля, который они успели выпить, но не оплатили, приятели взирали на зловещие слова «мела нет»[364] (что означало — нет кредита), выведенные, к их величайшему изумлению и негодованию, над входной дверью тем самым мелом, наличие коего отрицалось. Не думайте, что хотя бы один из этих детей моря умел читать по писаному, — способность, считавшаяся в те времена простым народом не менее магической, чем дар сочинительства, но буквы, как хмельные, делали резкий крен в подветренную сторону, а это, по мнению обоих матросов, предвещало долгое ненастье; волей-неволей пришлось тут же, как аллегорически выразился Дылда, «откачивать воду из трюма, брать паруса на гитовы и ложиться по ветру».

И матросы, расправившись наскоро с остатками эля и затянув шнурки коротких курток, устремились на улицу. Несмотря на то, что Хью Смоленый дважды сунул голову в камин, приняв его за дверь, наши герои благополучно выбрались из трактира и в половине первого ночи уже во всю прыть неслись по темному переулку к лестнице св. Эндрюса, навстречу новым бедам и упорно преследуемые разъяренной хозяйкой «Веселого матроса».

В эпоху, к которой относится этот богатый происшествиями рассказ, по всей Англии, и особенно по ее столице, долгие годы разносился душераздирающий вопль: «Чума!»[365] Лондон совсем обезлюдел; по темным, узким, грязным улицам и переулкам близ Темзы, где, как полагали, и появился призрак Черной смерти, свободно разгуливали только Ужас, Страх и Суеверие.

Указом короля на эти районы был наложен запрет, и под страхом смертной казни никто не смел нарушить их мрачное безлюдье. Но ни указ монарха, ни высокие заставы перед зачумленными улицами, ни смертельная угроза погибнуть от богомерзкой болезни, подстерегавшей несчастного, который, презрев опасность, рисковал всем, — ничто не могло спасти от ночных грабителей покинутые жителями дома; хотя оттуда и был вывезен весь скарб, воры уносили железо, медь, свинец, — словом, все, что имело какую-нибудь ценность.

Каждый год, когда снимали заставы, оказывалось, что владельцы многочисленных в тех местах лавок, стремившиеся избежать риска и хлопот, связанных с перевозкой, напрасно доверили замкам, засовам и потайным погребам свои обширные запасы вин и других спиртных напитков.

Впрочем, лишь немногие приписывали эти деяния рукам человеческим. Люди обезумели от страха и считали, что во всем повинны духи чумы, бесы моровой язвы или демоны горячки. Ежечасно возникали леденящие кровь легенды, и неодолимый страх словно саваном окутал эти здания, находившиеся под запретом, — не раз случалось, что ужасы обступали грабителя, и он в трепете бежал, оставляя обезлюдевшие улицы во власти заразы, безмолвия и смерти.

Одна из тех зловещих застав, которые ограждали зачумленные районы, внезапно выросла на пути Дылды и его достойного дружка Хью Смоленого, когда они, спотыкаясь, бежали по переулку. О возвращении не могло быть и речи; нельзя было терять ни минуты, так как преследователи гнались за ними по пятам. Да и что стоит настоящим морякам взобраться на сколоченную наспех ограду! И вот приятели, разгоряченные быстрым бегом и вином, уже перескочили барьер, понеслись дальше с громкими криками и пьяным гиканьем и вскоре затерялись в лабиринте зловонных извилистых улиц.

Конечно, если бы они не были пьяны до бесчувствия, сознание безвыходности их положения парализовало бы их, а они и без того стояли нетвердо на ногах. Стало холодно, моросил дождь. Камни, вывороченные из мостовой, валялись где попало среди высокой, цеплявшейся за ноги, буйно разросшейся травы. Обломки домов завалили улицы. Кругом стоял удушливый смрад, и при мертвенно бледном свете, излучаемом мглистым тлетворным воздухом даже в самую темную ночь, можно было увидеть то там, то здесь в переулках и в жилищах с выбитыми стеклами разлагающийся труп ночного разбойника, настигнутого рукою чумы в ту самую минуту, когда он грабил.

Но даже эти препятствия и картины ужасов не могли остановить людей от природы храбрых, отвага которых была к тому же подогрета элем, — и вот уже наши матросы, пошатываясь и стараясь, насколько позволял им алкоголь, не уклоняться в сторону, спешили прямо в пасть смерти. Вперед, все вперед бежал угрюмый Дылда, пробуждая многоголосое тоскливое эхо своим диким гиканьем, напоминавшим военный клич индейцев; вперед, все вперед спешил за ним вразвалку коротышка Хью Смоленый, вцепившись в куртку своего более предприимчивого товарища, и из глубины его могучих легких вырывались басовые ноты, подобные бычьему реву, еще более оглушительные, чем музыкальные упражнения Дылды.

Теперь приятели, видимо, добрались до главного оплота чумы. С каждым шагом воздух становился все зловоннее и удушливее, а переулки все более узкими и извилистыми. С прогнивших крыш поминутно срывались громадные камни и балки, а грохот, с каким они падали, свидетельствовал о высоте окружающих зданий; с трудом прокладывая себе дорогу среди развалин, матросы нередко задевали рукой скелет или разлагающийся труп.

Вдруг, когда они наткнулись на подъезд какого-то высокого мрачного дома и у разгоряченного Дылды вырвался особенно пронзительный вопль, в глубине здания раздался взрыв неистового сатанинского гогота и визга. Ничуть не испугавшись этого гогота, от которого в такое время да еще в таком месте у людей не столь отчаянных кровь застыла бы в жилах, пьяницы очертя голову ринулись к двери, с градом проклятий распахнули ее настежь и очутились в самом пекле.

Комната, куда они попали, была лавкой гробовщика; через открытый люк в углу у входа был виден ряд винных погребов, а доносившееся оттуда хлопанье пробок свидетельствовало о том, что там хранятся изрядные запасы спиртного.

Посредине лавки стоял стол, в центре которого возвышалась огромная кадка, наполненная, по всей вероятности, пуншем. Весь стол был заставлен бутылками со всевозможными винами; вперемежку стояли баклаги, фляги, кувшины самого разнообразного вида с другими спиртными напитками. Вокруг стола на козлах для гробов разместилась компания из шести человек. Попытаемся описать каждого из них.

Против двери, на возвышении, сидел, по-видимому, распорядитель пира. Он был высок и очень тощ. Дылда даже растерялся, увидев человека, еще более тощего, чем он сам. Председатель был желт, как шафран, но черты его лица не привлекли бы внимания и о них не стоило бы упоминать, если бы не одно обстоятельство: лоб у него был до того безобразный и неестественно высокий, что казалось, будто поверх головы надето нечто вроде колпака или кивера в виде огромного нароста. Стянутый, точно кисет, ввалившийся рот улыбался с какой-то дьявольской приветливостью, и глаза от действия винных паров казались остекленевшими, как, впрочем, у всех сидящих за столом. На этом джентльмене была богато расшитая мантия из черного бархата, в которую он небрежно завернулся с головы до ног, словно в испанский плащ. Голова его была утыкана черными перьями, какими обычно украшают катафалки, и он непринужденно, с франтоватым видом, покачивал этим плюмажем из стороны в сторону; в правой руке распорядитель сжимал берцовую кость, которой, видимо, только что потехи ради огрел одного из своих собутыльников.

Напротив, спиной к двери, восседала леди, наружности ни чуть не менее ошеломляющей. Будучи почти одного роста с вышеописанным джентльменом, она, однако, не могла пожаловаться на худобу — ее явно мучила водянка, к тому же в последней стадии; фигура этой леди больше всего походила на огромную бочку из-под октябрьского пива, с пробитым верхом, стоявшую в углу. Ее округлое, как шар, красное и распухшее лицо отличалось той же странностью, что и лицо председателя, — вернее сказать, в нем тоже не было ничего

примечательного, кроме одной черты, которая настолько бросалась в глаза, что не упомянуть о ней невозможно. Наблюдательный Хью Смоленый тут же заметил, что каждый из присутствующих отмечен какой-нибудь чудовищной особенностью, словно он взял себе монополию на одну часть физиономии. У леди, о которой мы ведем речь, выделялся рот. Он протянулся зияющей щелью от правого до левого уха, и подвески ее серег то и дело проваливались в эту щель. Однако бедняжка изо всех сил старалась держать рот закрытым — уж очень ей хотелось сохранять тот величественный вид, который придавал ей тесный, туго накрахмаленный, тщательно отутюженный саван, стянутый у шеи батистовым гофрированным рюшем.

По правую руку от нее сидела миниатюрная молодая особа, которой она, видимо, покровительствовала. Дрожь исхудалых пальцев, синева губ, легкий лихорадочный румянец, пятнами окрасивший свинцово-серое лицо этого нежного создания, — все говорило о том, что у нее скоротечная чахотка. В манерах молодой леди чувствовался подлинный haut ton[366]; с непринужденной грацией носила она свободную, очень элегантную погребальную сорочку из тончайшего батиста; волосы кольцами ниспадали на шею; на губах играла томная улыбка; но ее нос, необычайно длинный и тонкий, подвижный, похожий на хобот, весь в угрях, закрывал нижнюю губу и, несмотря на изящество, с каким она перебрасывала его кончиком языка туда и сюда, придавал ее лицу какое-то непристойное выражение.

По другую сторону стола, налево то леди, страдавшей водянкой, расположился отекший, страдающий астмой и подагрой старичок; его щеки лежали на плечах, как два бурдюка, полных красного портвейна. Руки он скрестил на груди, свою забинтованную ногу положил на стол и, по всей видимости, чувствовал себя очень важной персоной. Старичок явно гордился каждым дюймом своей наружности, но больше всего он наслаждался тем вниманием, какое вызывал его пестрый сюртук. Еще бы — сюртук этот, наверное, стоил ему больших денег и сидел на нем превосходно; скроен он был из причудливо расшитого шелкового шарфа, какими обвивают щиты с пышными гербами, которые в Англии и в других странах вывешиваются на домах старой аристократии.

Рядом с ним, по правую руку от председателя, матросы увидели джентльмена в длинных белых чулках и бязевых кальсонах. Он

уморительно дергался всем телом в приступе «трясучки», как определил про себя Хью Смоленый. Его гладко выбритые щеки и подбородок стягивала муслиновая повязка, запястья ему также связали, и таким образом он был лишен возможности злоупотреблять горячительными напитками, в изобилии стоявшими на столе, — предосторожность, как подумал Дылда, необходимая, принимая во внимание бессмысленное выражение лица этого закоренелого пьянчуги, который, наверное, и забыл, когда был трезв. Но его гигантские уши уж никак не удалось бы связать, и они тянулись вверх, судорожно настораживаясь всякий раз, когда хлопала пробка.

Лицом к нему возлежал шестой и последний собутыльник — до странности одеревенелый джентльмен; он был разбит параличом и, честно говоря, должен был прескверно себя чувствовать в своем неудобном, хоть и весьма оригинальном туалете. Одет он был в новешенький нарядный гроб. Поперечная стенка давила на голову этого облаченного в гроб человека, нависая подобно капюшону, что придавало его лицу неописуемо забавный вид. По бокам гроба были сделаны отверстия для рук, скорее ради удобства, чем ради красоты. При всем том, наряд этот не позволял его обладателю сидеть прямо, как остальные, и, лежа под углом в сорок пять градусов, откинувшись назад к стенке, он закатывал к потолку белки своих огромных вытаращенных глаз, словно сам бесконечно изумлялся их чудовищной величине.

Перед каждым из пирующих стоял разбитый череп, заменивший ему кубок. Над столом покачивался скелет, он висел на веревке, обвязанной вокруг ноги и протянутой через кольцо в потолке. Другая нога отскакивала под прямым углом, отчего костяк при малейшем дуновении ветерка, проникавшего в комнату, дребезжал, подпрыгивал и раскачивался во все стороны. В черепе мерзостного скелета пылали угли, они освещали всю эту сцену резким мерцающим светом; между тем гробы и прочие товары похоронной конторы, наваленные высокими кучами по всему помещению и у окон, не давали ни единому лучу света прорваться на улицу.

При виде столь необычайного общества и еще более необычайных одеяний наши матросы повели себя далеко не так пристойно, как можно было ожидать. Дылда, прислонившись к стене, у который стоял, широко разинул рот, — нижняя губа у него отвисла

еще больше обычного, а глаза чуть не вылезли из орбит; а Хью, присев на корточки так, что нос его оказался на одном уровне со столом, и хлопая себя по коленям, разразился неудержимым и совершенно неприличным смехом.

Все же верзила-председатель не счел оскорблением такую вопиющую неучтивость: он милостиво улыбнулся незваным гостям и, величаво качнув головой, утыканной траурными перьями, поднялся, взял матросов за руки и подвел к козлам, которые услужливо притащил кто-то из пирующих. Дылда без малейшего сопротивления сел, куда ему было указано, между тем как галантный Хью придвинул свои козлы поближе к миниатюрной чахоточной леди в погребальной сорочке и весело плюхнулся рядом с нею; плеснув в череп красного вина, он осушил его за более близкое знакомство. Но возможностью такого знакомства был крайне рассержен одеревенелый джентльмен в гробу, и это привело бы к весьма неприятным последствиям, если бы председатель, постучав по столу своим жезлом, не отвлек внимания присутствующих следующей речью:

— Мы считаем своим долгом, ввиду счастливого случая…

— Стоп! — с серьезным видом прервал его Дылда. — Погоди, говорю, минутку! Скажи нам сперва, кто вы такие, дьявол вас забери, и что вы тут делаете, разрядившись как черти на шабаш? Почему хлебаете славное винцо и пиво, которое гробовщик Уилл Уимбл — честный мой дружок, мы немало с ним плавали, — припас себе на зиму?

Выслушав столь непозволительно наглую речь, чудная компания привстала и ответила таким же неистовым гоготом, какой незадолго перед тем привлек внимание наших моряков.

Первым овладел собой председатель и, обратившись к Дылде, заговорил с еще большим достоинством:

— Мы готовы любезно удовлетворить любопытство наших именитых, хоть и непрошеных гостей и ответить на любой разумный вопрос. Так знайте: я государь этих владений и правлю здесь единодержавно под именем король Чума Первый.

Эти покои, что вы по невежеству сочли лавкой Уилла Уимбла, гробовщика, человека нам не известного, чье плебейское имя до сей ночи не оскверняло наших королевских ушей, это — тронная зала нашего дворца, которая служит нам для совещаний с сановниками, а

также для других священных и возвышенных целей. Благородная леди, что сидит напротив, — королева Чума, ее величество наша супруга, а прочие высокие особы, которых вы здесь видите, — члены нашего августейшего семейства. Все они королевской крови и носят соответствующие звания: его светлость эрцгерцог Чума-Мор, ее светлость герцогиня Чума Бубонная, его светлость герцог Чума-Смерч и ее высочество Чумная Язва.

А на ваш вопрос, — продолжал председатель, — по какому поводу мы собрались здесь, мы позволим себе ответить, что это касается исключительно наших личных королевских интересов и ни для кого, кроме нас, значения не имеет. Однако, исходя из тех прав, на кои вы, как наши гости и чужеземцы, имеете основание претендовать, объясняем: мы собрались здесь нынче ночью для того, чтобы путем глубоких изысканий и самых тщательных исследований проверить, испробовать и до конца распознать неуловимый дух, непостижимые качества, природу и бесценные вкусовые свойства вина, эля и иных крепких напитков нашей прекрасной столицы. Делаем мы это не столько ради личного нашего преуспеяния, сколько ради подлинного благоденствия той неземной владычицы, которая царит над всеми, владения коей безграничны, — имя же ей — Смерть!

— Имя же ей Деви Джонс[367]! — крикнул Хью Смоленый, наполняя вином два черепа — для себя и для своей соседки.

— Нечестивый раб! — воскликнул председатель, окидывая взглядом милейшего Хью. — Нечестивый жалкий ублюдок! Мы заявили тебе, что из уважения к правам, кои мы не склонны нарушать, даже имея дело с такой гнусной личностью, как ты, мы снизошли до ответа на оскорбительные и дурацкие расспросы. Однако за то, что вы так кощунственно вторглись сюда на наш совет, мы почитаем своим долгом наложить штраф на тебя и твоего дружка: вы должны, стоя на коленях, осушить за процветание нашего королевства по галлону рома, смешанного с патокой, после чего можете продолжать свой путь или остаться и разделить с нами все привилегии нашего общества, как это вам самим заблагорассудится.

— Никак невозможно, — отозвался Дылда. Достоинство, с которым держался король Чума Первый, очевидно, внушило Дылде некоторое почтение; он поднялся и, опершись на стол, продолжал: — С дозволения вашего величества, невозможное это дело — спустить в

трюм хоть четверть того пойла, о котором ваше величество сейчас изволило упомянуть. Не считая жидкости, принятой на борт утром в качестве балласта, не говоря об эле и других крепких напитках, принятых нынешним вечером в разных портах, мой трюм доверху полон пивом, которым я нагрузился, расплатившись за него сполна в трактире под вывеской «Веселый матрос». Так вот, прошу ваше величество довольствоваться моими добрыми намерениями, ибо я никоим образом не могу вместить в себя еще хоть каплю чего-либо, а тем более этой мерзкой трюмной водички, которая зовется ромом с патокой.

— Заткни глотку! — прервал его Хью Смоленый, ошарашенный столь длинной речью товарища, а еще больше его отказом. — Заткни глотку, пустомеля! Я скажу — а я зря болтать не стану: в моем трюме еще найдется место, хоть ты, видать, и перебрал лишнее. А что до твоей доли груза, так я найду и для нее место, нечего поднимать бурю!..

— Это не отвечает смыслу приговора, — остановил его председатель. — Наше решение как мидийский закон: оно не может быть ни изменено, ни отменено. Условия должны быть выполнены неукоснительно и без малейшего промедления. А не выполните, прикажем привязать вам ноги к шее и, как бунтовщиков, утопить вон в том бочонке октябрьского пива!

— Таков приговор! Правильный и справедливый! Прекрасное решение! Самое достойное, самое честное и праведное! — хором завопило чумное семейство.

На лбу у короля собрались бесчисленные складки; старичок с подагрой запыхтел, как кузнечные мехи; молодая особа в погребальной сорочке вертела носом во все стороны; леди в саване ловила ртом воздух, словно издыхающая рыба; а тот, что был облачен в гроб, лежал, как колода, и таращил свои чудовищные глаза.

— Хи-хи-хи! — посмеивался Хью Смоленый, словно не замечая общего волнения. — Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Я же говорил, когда мистер король стучал своей свайкой, что такому крепкому, малонагруженному судну, как мое, ничего не стоит опрокинуть в себя лишних два галлона рома с патокой. Но пить за здоровье сатаны (да простит ему Господь!), стоя на коленях перед этим паршивым величеством, когда я уверен, что он еще больший грешник, чем я, и всего-навсего Тим Херлигерли,

комедиант, — нет, дудки! По моим понятиям это дело другого сорта и совсем не по моим мозгам.

Ему не дали кончить. Едва он упомянул имя Тима Херлигерли, все разом вскочили.

— Измена! — закричал его величество король Чума Первый.

— Измена! — проскрипел человек с подагрой.

— Измена! — взвизгнула ее высочество Чумная Язва.

— Измена! — прошамкал человек со связанной челюстью.

— Измена! — прорычал человек, облаченный в гроб.

— Измена! Измена! — завопила ее величество Рот-щелью и, ухватив злополучного Хью Смоленого сзади за штаны, высоко подняла его и без всяких церемоний бросила в огромный открытый бочонок с его излюбленным октябрьским пивом. Несколько секунд он то погружался на дно, то всплывал, словно яблоко в чаше с пуншем, пока не исчез в водовороте пенистого пива, которое забурлило еще больше от судорожных усилий Хью.

Видя поражение своего товарища, в дело вмешался долговязый матрос. Столкнув короля Чуму в открытый люк, отважный Дылда с проклятием захлопнул за ним дверцу и вышел на середину комнаты. Он сорвал качавшийся над столом скелет и принялся молотить им по головам пирующих, да с таким усердием и добросовестностью, что с последней вспышкой гаснущих углей вышиб дух из подагрического старикашки. Навалившись потом изо всей силы на роковой бочонок с октябрьским пивом и Хью Смоленым, он тут же опрокинул его. Из бочонка хлынуло пиво потоком, таким бурным и стремительным, что сразу залило всю лавку от стенки до стенки. Уставленный напитками стол перевернулся, козлы для гробов поплыли ножками вверх, кадка с пуншем скатилась в камин, и обе леди закатили истерику. Оплетенные соломой фляги наскакивали на портерные бутылки; кубки, кружки, стаканы — все смешалось в общей схватке. Человек-трясучка захлебнулся тут же, одеревенелый джентльмен выплыл из своего гроба, а победоносный Дылда, обхватив за талию могучую леди в саване, ринулся с нею на улицу, беря прямой курс на «Независимую»; следом за ним, чихнув три или четыре раза, пыхтя и задыхаясь, под легкими парусами несся Хью Смоленый, прихватив с собою ее высочество Чумную Язву.

Сентябрь, 1835

пер. Э. Березиной

Тень. Парабола

Если я пойду и долиною тени…

Псалом Давида[368]

Вы, читающие, находитесь еще в числе живых; но я, пишущий, к этому времени давно уйду в край теней. Ибо воистину странное свершится и странное откроется, прежде чем люди увидят написанное здесь. А увидев, иные не поверят, иные усумнятся, и все же немногие найдут пищу для долгих размышлений в письменах, врезанных здесь железным стилосом.

Тот год был годом ужаса и чувств, более сильных, нежели ужас, для коих на земле нет наименования. Ибо много было явлено чудес и знамений, и повсюду, над морем и над сушею, распростерлись черные крыла Чумы[369]. И все же тем, кто постиг движения светил, не было неведомо, что небеса предвещают зло; и мне, греку Ойносу[370], в числе прочих, было ясно, что настало завершение того семьсот девяносто четвертого года, когда с восхождением Овна планета Юпитер сочетается с багряным кольцом ужасного Сатурна. Особенное состояние небес, если я не ошибаюсь, сказалось не только на вещественной сфере земли, но и на душах, мыслях и воображении человечества.

Над бутылями красного хиосского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемаиде[371], сидели мы ночью, всемером. И в наш покой вел только один вход: через высокую медную дверь; и она, вычеканенная искуснейшим мастером Коринносом, была заперта изнутри. Черные завесы угрюмой комнаты отгораживали от нас Луну, зловещие звезды и безлюдные улицы — но предвещанье и память Зла они не могли отгородить. Вокруг нас находилось многое — и материальное и духовное, — что я не могу точно описать: тяжесть в атмосфере… ощущение удушья…. тревога и, прежде всего, то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда чувства бодрствуют и живут, а силы разума почиют сном. Мертвый груз давил на нас. Он опускался на наши тела, на убранство зала, на кубки, из

которых мы пили; и все склонялось и никло — все, кроме языков пламени в семи железных светильниках, освещавших наше пиршество. Вздымаясь высокими, стройными полосами света, они горели, бледные и недвижные; и в зеркале, образованном их сиянием на поверхности круглого эбенового стола, за которым мы сидели, каждый видел бледность своего лица и непокойный блеск в опущенных глазах сотрапезников. И все же мы смеялись и веселились присущим нам образом, то есть истерично; и пели песни Анакреона, то есть безумствовали; и жадно пили, хотя багряное вино напоминало нам кровь. Ибо в нашем покое находился еще один обитатель — юный Зоил[372]. Мертвый, лежал он простертый, завернутый в саван — гений и демон сборища. Увы! Он не участвовал — в нашем веселье, разве что его облик, искаженный чумою, и его глаза, в которых смерть погасила моровое пламя лишь наполовину, казалось, выражали то любопытство к нашему веселью, какое, быть может, умершие способны выразить к веселью обреченных смерти. Но хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза почившего остановились на мне, все же я заставил себя не замечать гнева в их выражении и, пристально вперив мой взор в глубину эбенового зеркала, громко и звучно пел песни теосца[373]. Но понемногу песни мои прервались, а их отголоски, перекатываясь в черных, как смоль, завесах покоя, стали тихи, неразличимы и, наконец, заглохли. И внезапно из черных завес, заглушивших напевы, возникла темная, зыбкая тень — подобную тень низкая луна могла бы отбросить от человеческой фигуры — но то не была тень человека или бога или какого-либо ведомого нам существа. И, зыблясь меж завес покоя, она в конце концов застыла на меди дверей. Но тень была неясна, бесформенна и неопределенна, не тень человека и не тень бога — ни бога Греции, ни бога Халдеи, ни какого-либо египетского бога. И тень застыла на меди дверей, под дверным сводом, и не двинулась, не проронила ни слова, но стала недвижно на месте, и дверь, на которой застыла тень, была, если правильно помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы семеро, увидев тень выходящего из черных завес, не посмели взглянуть на нее в упор, но опустили глаза и долго смотрели в глубину эбенового зеркала. И наконец я, Ойнос, промолвив несколько тихих слов, вопросил тень об ее обиталище и прозвании. И тень отвечала: «Я — Тень, и обиталище мое вблизи от птолемаидских катакомб, рядом со

смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову проливу[374]». И тогда мы семеро в ужасе вскочили с мест и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и, переливаясь из слога в слог, сумрачно поразили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч ушедших друзей.

Сентябрь, 1835

пер. В. Рогова

Четыре зверя в одном (Человеко-жираф)

Chacun a ses vertus.[375]

Кребийон «Ксеркс»

Антиоха Эпифана[376] обычно отождествляют с Гогом из пророчеств Иезекииля[377]. Эта честь, однако, более подобает Камбизу[378], сыну Кира. А личность сирийского монарха ни в коей мере не нуждается в каких-либо добавочных прикрасах. Его восшествие на престол, вернее, его захват царской власти за сто семьдесят один год до рождества Христова; его попытка разграбить храм Дианы в Эфесе[379]; его беспощадные преследования евреев[380]; учиненное им осквернение Святая Святых[381] и его жалкая кончина в Табе[382] после бурного одиннадцатилетнего царствования — события выдающиеся и, следовательно, более отмеченные историками его времени, нежели беззаконные, трусливые, жестокие, глупые и своевольные деяния, составляющие в совокупности его частную жизнь и славу.

Предположим, любезный читатель, что сейчас — лето от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое[383], и вообразим на несколько минут, что мы находимся невдалеке от самого уродливого обиталища людского, замечательного города Антиохии. Правда, в Сирии и в других странах стояли еще шестнадцать городов, так наименованных, помимо того, который я имею в виду. Но перед нами — тот, что был известен под именем Антиохии Эпидафны ввиду своей близости к маленькой деревне Дафне, где стоял храм, посвященный этому божеству. Город был построен (хотя мнения на этот счет расходятся) Селевком Никанором[384], первым царем страны после Александра Македонского, в память своего отца Антиоха, и сразу же стал столицей сирийских монархов. В пору процветания Римской империи в нем обычно жил префект восточных провинций; и многие императоры из Вечного Города (в особенности Вер[385] и Валент[386]) проводили здесь большую часть своей жизни. Но я вижу, что мы уже в городе. Давайте взойдем на этот парапет и окинем взглядом Эпидафну

и ее окрестности. «Что это за бурная и широкая река, которая, образуя многочисленные водопады, прокладывает путь сквозь унылые горы, а затем — меж унылыми домами?» Это Оронт; другой воды не видно, если не считать Средиземного моря, простирающегося широким зеркалом около двенадцати миль южнее. Все видели Средиземное море; но, уверяю вас, лишь немногие могли взглянуть на Антиохию. Под немногими разумею тех, что, подобно нам с вами, при этом наделены преимуществом современного образования. Поэтому перестаньте смотреть на море и направьте все внимание вниз, на громадное скопление домов. Припомните, что сейчас — лето от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое. Будь это позже — например, в лето от рождества Христова тысяча восемьсот сорок пятое[387], — нам не довелось бы увидеть это необычайное зрелище. В девятнадцатом веке Антиохия находится — то есть Антиохия будет находиться в плачевном состоянии упадка. К тому времени город будет полностью уничтожен тремя землетрясениями. По правде говоря, то немногое, что от него тогда останется, окажется в таком разоре и запустении, что патриарху придется перенести свою резиденцию в Дамаск… А, хорошо. Я вижу, что вы вняли моему совету и используете время, обозревая местность и теша взгляд

> Прославленною древностью, которой Гордится этот город.[388]

Прошу прощения; я забыл, что Шекспир станет знаменит лишь тысячу семьсот пятьдесят лет спустя. Но разве я не был прав, называя Эпидафну уродливой? «Город хорошо укреплен; и в этом смысле столько же обязан природе, сколько искусству». Весьма справедливо. «Здесь поразительно много величавых дворцов». Согласен. «А бесчисленные храмы, пышные и великолепные, выдерживают сравнение с лучшими образцами античного зодчества». Все это я должен признать. Но тут же бесчисленное множество глинобитных хижин и омерзительных лачуг. Нельзя не увидеть обилия грязи в любой конуре, и, если бы не густые клубы языческого фимиама, то я не сомневаюсь, что мы бы учуяли невыносимое зловоние. Видели ли вы когда-нибудь такие невозможно узкие улицы, такие невероятно

высокие дома? Как темно на земле от их тени? Хорошо, что висячие светильники на бесконечных колоннадах оставляют гореть весь день напролет, а то здесь царила бы тьма египетская. «Да, странное это место! А это что за необычайное здание? Видите, оно возвышается над всеми остальными, а находится к востоку от того строения, очевидно, царского дворца.» Это новый храм Солнца, которому в Сирии поклоняются под именем Эла Габала. Позже некий недоброй памяти римский император учредит его культ в Риме и заимствует от него свое прозвище Гелиогабал[389]. Думаю, что вы хотели бы подглядеть, какому божеству поклоняются в этом храме. Можете не смотреть на небо: его Солнечного Сиятельства там нет — по крайней мере, того, которому поклоняются сирийцы. То божество вы найдете внутри вон того храма. Оно имеет вид большого каменного столба с конусом или пирамидою наверху, что символизирует Огонь. «Смотрите! Да что это за нелепые существа, полуголые, с размалеванными лицами, которые вопят и кривляются перед чернью?» Некоторые из них скоморохи. Другие принадлежат к племени философов. Большинство из них, однако, — особенно те, что отделывают население дубинками, — суть важные вельможи из дворца, исполняющие по долгу службы какую-нибудь достохвальную царскую прихоть. «Но что это? Город кишит дикими зверями! Какое страшное зрелище! Какая опасная особенность!» Согласен, это страшно; но ни в малейшей степени не опасно. Каждый зверь, если соизволите посмотреть, совершенно спокойно следует за своим хозяином. Некоторых, правда, ведут на веревке, но это, главным образом, меньшие или самые робкие особи. Лев, тигр и леопард пользуются полной свободой. Их без труда обучили новой профессии, и теперь они служат камердинерами. Правда, случается, что Природа пытается восстановить свои права, но съедение воина или удушение священного быка для Эпидафны такое незначительное событие, что о нем говорят разве лишь вскользь. «Но что за необычайный шум я слышу? Право же, ом громок даже для Антиохии! Он предвещает нечто из ряда вон выходящее». Да, несомненно. Видимо, царь повелел устроить какое-то новое зрелище — бой гладиаторов на ипподроме, или, быть может, избиение пленных из Скифии, или сожжение своего нового дворца, или разрушение какого-нибудь красивого храма, а то и костер из нескольких евреев. Шум усиливается. Взрывы хохота возносятся к небесам. Воздух

наполняется нестройными звуками труб и ужасным криком миллиона глоток. Давайте спустимся, забавы ради, и посмотрим, что там происходит! Сюда! Осторожнее! Вот мы и на главной улице, улице Тимарха. Море людей устремилось в эту сторону, и нам трудно будет идти против его прилива. Он течет по аллее Гераклида, ведущей прямо от дворца, — так что, по всей вероятности, среди гуляк находится и царь. Да — я слышу клики глашатая, возвещающие его приближение в витиеватых восточных оборотах. Мы сможем взглянуть на его особу, когда он проследует мимо храма Ашимы, а пока укроемся в преддверье капища; он скоро будет здесь. А тем временем рассмотрим это изваяние. Что это? А! Это бог Ашима, собственной персоной. Вы видите, что он не ягненок, не козел, не сатир; также нет у него большого сходства с аркадским Паном. И все-таки ученые последующих веков приписывали — прошу прощения, будут приписывать — эти обличья Ашиме Сирийскому. Наденьте очки и скажите, кто он. Кто он? «Батюшки! Обезьяна!» Именно — павиан; но от этого божественность его не меньше. Его имя — производное от греческого Simia Обезьяна (греч.). что за болваны археологи! Но смотрите! Смотрите! Вон сквозь толпу продирается оборванный мальчишка. Куда он идет? О чем он вопит? Что он говорит? А, он говорит, что царь движется сюда во главе торжественного шествия; что на нем полное царское облачение; что он только что собственноручно предал смерти тысячу закованных в цепи пленных израильтян! За этот подвиг оборвыш превозносит его до небес! Чу! сюда движется толпа таких же голодранцев. Они сочинили латинский гимн «Флавий Вописк[390] указывает, что чернь пела приведенный гимн, когда во время сарматской войны Аврелиан собственноручно убил девятьсот пятьдесят врагов. (Примеч, авт.)», восхваляющий отвагу царя, и поют его по мере своего продвижения:

Mille, mille, mille,
Mille, mille, mille,
Deccolavimus unus homo!
Mille, mille, mille, mille deccolavimus!
Mille, mille, mille,
Vivat qui mille mille occidit!
Tantum vini habet nemo

Quantum sanguinis eftuditi

Что можно передать следующим образом:

Тысячу, тысячу, тысячу,
Тысячу, тысячу, тысячу
Мы поразили десницей одной!
Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу,
Снова припев этот пой!
Вновь повторю:
Слава царю!
Им тысяча смело была сражена!
Честь ему воздадим!
Больше одним
Крови пролито им,
Чем в Сирии целой — вина!

«Слышите трубы?» Да, царь приближается! Смотрите! Все оцепенели от восторга и благоговейно возводят глаза к небесам! Он идет! — он приближается! — вот он! «Кто? Где? Царь? Я его не вижу — не могу сказать, что вижу». Тогда вы, должно быть, слепы. «Очень может быть. И все же я ничего не вижу, кроме буйной толпы идиотов и сумасшедших, которые падают ниц перед гигантским жирафом и пытаются лобызнуть ему копыта. Смотрите! Зверь поделом сшиб кого-то из черни — и еще — и еще — и еще. Право, нельзя не похвалить эту скотину за то, какое прекрасное применение нашла она своим копытам». Хороша чернь! Да это же благородные и вольные граждане Эпидафны! Скотина, говорите? Берегитесь, чтобы вас не услышали. Разве вы не видите, что у этой скотины человеческое лицо? Сударь вы мой, да этот жираф — не кто иной, как Антиох Эпифан — Антиох Высокородный, царь сирийский, могущественнейший изо всех самодержцев Востока! Правда, его иногда называют Антиохом Эпиманом — Антиохом Сумасшедшим — но это потому, что не все способны оценить его заслуги. Так же очевидно, что сейчас он скрыт звериной шкурой и усердно старается изображать жирафа; но это

делается для вящего укрепления его царского достоинства. Вдобавок, царь — гигантского роста, поэтому такое одеяние ему идет и не слишком велико. Мы можем, однако, предположить, что он его надел только по какому-то особо торжественному случаю. Вы согласитесь, что избиение тысячи евреев таковым случаем является. Как величаво и надменно перемещается он на четвереньках! Его хвост, как видите, торжественно несут две его главные наложницы Эллина и Аргелаида; и вся его наружность была бы бесконечно внушительна, если бы не глаза навыкате да не странный цвет лица, ставший безобразным под действием обильных возлияний. Проследуем за ним к ипподрому, куда он направляется, и послушаем триумфальную песнь, которую он запевает:

Нет царя, кроме Эпифана!
Слава ему, слава!
Нет царя, кроме Эпифана!
Браво! Браво!
Нет царя, кроме Эпифана,
На земле и в небесах,
Так погасим солнце,
Повергнем храмы в прах!

Отлично, сильно спето! Жители величают его: «Первейший из Поэтов», а также «Слава Востока», «Отрада Вселенной» и «Замечательнейший из Камелеопардов». Его просят повторить песнь, и — слышите? — он снова поет ее. Когда он прибудет на ипподром, его наградят венком поэтов, предвосхищая его победу на будущих Олимпийских играх. «Юпитер милостивый! Что происходит в толпе за нами?» За нами, говорите? А! О! Вижу. Друг мой, хорошо, что вы сказали вовремя. Идемте-ка в безопасное место, да поскорее. Вот! — спрячемся под аркой этого акведука, и я не замедлю уведомить вас о причине возникшего волнения. Случилось так, как я и ожидал. Необычное появление жирафа с человеческой головой, как видно, нарушило правила приличия, общие для всех ручных зверей города. Из-за этого вспыхнул мятеж; и, как обычно бывает в подобных случаях, все попытки унять толпу окажутся бесплодными. Уже съели

нескольких сирийцев; но мнение большинства четвероногих патриотов, по-видимому, склоняется к съедению камелеопарда. Вследствие этого «Первейший из Поэтов» бежит что есть силы на задних ногах. Вельможи бросили его на произвол судьбы, а наложницы последовали столь превосходному примеру. «Отрада Вселенной», в печальном ты положении! «Слава Востока», берегись, как бы тебя не разжевали! Поэтому не взирай так печально на свой хвост; он, несомненно, изваляется в грязи, и этому не поможешь. Так не оглядывайся на его неизбежное унижение; лучше мужайся, придай резвость стопам твоим и улепетывай к ипподрому! Помни, что ты Антиох Эпифан, Антиох Высокородный! — а также «Первейший из Поэтов», «Слава Востока», «Отрада Вселенной» и «Замечательнейший из Камелеопардов»! О небо! Сколь изумительную быстроту ты обнаруживаешь! Какую способность к бегу ты выказываешь! Беги, Первейший! Браво, Эпифан! Молодец, Камелеопард! Славный Антиох! Он бежит! он скачет! он летит! Как стрела из катапульты, он приближается к ипподрому! Он бежит! он визжит! он там! И прекрасно; а то если бы, «Слава Востока», ты опоздал на полсекунды, все медвежата Эпидафны откусили бы от тебя по кусочку. Но пора — идемте! — нежные уши рожденных в наше время не вынесут оглушительного гомона, который вот-вот начнется в честь спасения царя! Слушайте! Он уже начался. Смотрите! Весь город на голове ходит. «Право же, это самый многолюдный город Востока! Что за обилие народа! Что за смешение всех сословий и возрастов! Что за множество вероисповеданий и народностей! Что за разнообразие одежд! Что за вавилонское столпотворение языков! Что за рев зверей! Что за бренчание струн! Что за скопление философов!» Ну, идемте, идемте. «Подождите минутку! На ипподроме какая-то суматоха; скажите, почему?» Это? А, ничего! Благородные и вольные граждане Эпидафны, будучи, как они заявляют, вполне убеждены в правоверности, отваге, мудрости и божественности своего повелителя и, вдобавок, сумев воочию удостовериться в его сверхчеловеческом проворстве, считают не больше, чем своим долгом возложить на его главу (дополнительно к венку поэтов) венок победителей в состязаниях по бегу — венок, который, несомненно, он должен завоевать на следующей Олимпиаде и который поэтому ему вручают заранее.

Март, 1836
пер. В. Рогова

Мистификация

Ну, уж коли ваши пассадо и монтанты[391] таковы, то мне их не надобно.

Нед Ноулз[392]

Барон Ритцнер фон Юнг происходил из знатного венгерского рода, все представители которого (по крайней мере, насколько проникают в глубь веков некоторые летописи) в той или иной степени отличались каким-либо талантом — а большинство из них талантом к тому виду grotesquerie[393], живые, хотя и не самые яркие примеры коей дал Тик[394], состоявший с ними в родстве. Знакомство мое с бароном Ритцнером началось в великолепном замке Юнг, куда цепь забавных приключений, не подлежащих обнародованию, забросила меня в летние месяцы 18 — года. Там Ритцнер обратил на меня внимание, а я, с некоторым трудом, постиг отчасти склад его ума. Впоследствии, по мере того, как дружба наша, позволявшая это понимание, становилась все теснее, росло и понимание; и когда, после трехлетней разлуки, мы встретились в Г-не[395], я знал все, что следовало знать о характере барона Ритцнера фон Юнга.

Помню гул любопытства, вызванный его появлением в университетских стенах вечером двадцать пятого июня. Помню еще яснее, что, хотя с первого взгляда все провозгласили его «самым замечательным человеком на свете», никто не предпринял ни малейшей попытки обосновать подобное мнение. Его уникальность представлялась столь неопровержимою, что попытка определить, в чем же она состоит, казалась дерзкою. Но, покамест оставляя это в стороне, замечу лишь, что не успел он вступить в пределы университета, как начал оказывать на привычки, манеры, характеры, кошельки и склонности всех его окружающих влияние совершенно беспредельное и деспотическое и в то же время совершенно неопределенное и никак не объяснимое. Поэтому его недолгое пребывание образует в анналах университета целую эру, и все категории лиц, имеющих к университету прямое или косвенное

отношение, называют ее «весьма экстраординарным временем владычества барона Ритцнера фон Юнга».

По прибытии в Г-н он пришел ко мне домой. Тогда он был неопределенного возраста, то есть не давал никакой возможности догадаться о своем возрасте. Ему могли дать пятнадцать или пятьдесят, а было ему двадцать один год семь месяцев. Он отнюдь не был красавцем — скорее наоборот. Контуры его лица отличались угловатостью и резкостью: вздернутый нос; высокий и очень чистый лоб; глаза большие, остекленелые; взор тяжелый, ничего не выражающий. По его слегка выпяченным губам можно было догадаться о большем. Верхняя так покоилась на нижней, что невозможно было вообразить какое-либо сочетание черт, даже самое сложное, способное производить столь полное и неповторимое впечатление безграничной гордости, достоинства и покоя.

Несомненно, из вышеуказанного можно вывести, что барон относился к тем диковинным людям, встречающимся время от времени, которые делают науку мистификации предметом своих изучений и делом всей своей жизни. Особое направление ума инстинктивно обратило его к этой науке, а его наружность неимоверно облегчила ему претворение в действие его замыслов. Я непререкаемо убежден, что в прославленную пору, столь причудливо называемую временем владычества барона Ритцнера фон Юнга, ни один г-нский студент не мог хоть сколько-нибудь проникнуть в тайну его характера. Я и вправду держусь того мнения, что никто в университете, исключая меня, ни разу и не помыслил, будто он способен шутить словом или делом — скорее в этом заподозрили бы старого бульдога, сторожившего садовые ворота, призрак Гераклита[396], или парик отставного профессора богословия. Так было, даже когда делалось очевидно, что самые дикие и непростительные выходки, шутовские бесчинства и плутни если не прямо исходили от него, то, во всяком случае, совершались при его посредничестве или потворстве. С позволения сказать, изящество его мистификаций состояло в его виртуозной способности (обусловленной почти инстинктивным постижением человеческой природы, а также беспримерным самообладанием) неизменно представлять учиняемые им проделки совершающимися отчасти вопреки, отчасти же благодаря его похвальным усилиям предотвратить их ради того, дабы Alma Mater[397]

сохраняла в неприкосновенности свое благоприличие и достоинство. Острое, глубокое и крайнее огорчение при всякой неудаче столь достохвальных тщаний пронизывало каждую черточку его облика, не оставляя в сердцах даже самых недоверчивых из его однокашников никакого места для сомнений в искренности. Не менее того заслуживала внимания ловкость, с какою он умудрялся перемещать внимание с творца на творение — со своей персоны на те нелепые затеи, которые он измышлял. Я ни разу более не видывал, чтобы заправский мистификатор избежал естественного следствия своих маневров — всеобщего несерьезного отношения к собственной персоне. Постоянно пребывая в атмосфере причуд, друг мой казался человеком самых строгих правил; и даже домашние его ни на мгновение не думали о бароне Ритцнере фон Юнге иначе, как о человеке чопорном и надменном.

Во время его г-нских дней воистину казалось, что над университетом, точно инкуб[398], распростерся демон dolce far niente[399]. Во всяком случае, тогда ничего не делали — только ели, пили да веселились. Квартиры многих студентов превратились в прямые кабаки, и не было среди них кабака более знаменитого или чаще посещаемого, нежели тот, что держал барон. Наши кутежи у него были многочисленны, буйны, длительны и неизменно изобиловали событиями.

Как-то раз мы затянули веселье почти до рассвета и выпили необычайно много. Помимо барона и меня, сборище состояло из семи или восьми человек, по большей части богатых молодых людей с весьма высокопоставленной родней, гордых своей знатностью и распираемых повышенным чувством чести. Они держались самых ультранемецких воззрений относительно дуэльного кодекса. Эти донкихотские понятия укрепились после знакомства с некоторыми недавними парижскими изданиями да после трех-четырех отчаянных и фатальных поединков в Г-не; так что беседа почти все время вертелась вокруг захватившей всех злобы дня. Барон, в начале вечера необыкновенно молчаливый и рассеянный, наконец, видимо, стряхнул с себя апатию, возглавил разговор и начал рассуждать о выгоде и особливо о красоте принятого кодекса дуэльных правил с жаром, красноречием, убедительностью и восторгом, что возбудило пылкий энтузиазм всех присутствующих и потрясло даже меня, отлично

знавшего, что в душе барон презирал именно то, что превозносил, в особенности же фанфаронство дуэльных традиций он презирал глубочайшим образом, чего оно и заслуживает.

Оглядываясь при паузе в речи барона (о которой мои читатели могут составить смутное представление, когда я скажу, что она походила на страстную, певучую, монотонную, но музыкальную проповедническую манеру Колриджа[400]), я заметил на лице одного из присутствующих признаки даже большей заинтересованности, нежели у всех остальных. Господин этот, которого назову Германном, был во всех смыслах оригинал — кроме, быть может, единственной частности, а именно той, что он был отменный дурак. Однако ему удалось приобрести в некоем узком университетском кругу репутацию глубокого мыслителя-метафизика и, кажется, к тому же наделенного даром логического мышления. Как дуэлянт он весьма прославился, даже в Г-не. Не припомню, сколько именно жертв пало от его руки, но их насчитывалось много. Он был несомненно смелый человек. Но особенно он гордился доскональным знанием дуэльного кодекса и своей утонченностью в вопросах чести. Это было его коньком. Ритцнера, вечно поглощенного поисками нелепого, его увлечение давно уж вызывало на мистификацию. Этого, однако, я тогда не знал, хотя и понял, что друг мой готовит какую-то проделку, наметив себе жертвой Германна.

Пока Ритцнер продолжал рассуждения или, скорее, монолог, я заметил, что взволнованность Германна все возрастает. Наконец он заговорил, возражая против какой-то частности, на которой Ритцнер настаивал, и приводя свои доводы с мельчайшими подробностями. На это барон пространно отвечал (все еще держась преувеличенно патетического тона) и заключил свои слова, на мой взгляд, весьма бестактно, едкой и невежливой насмешкой. Тут Германн закусил удила. Это я мог понять по тщательной продуманности возражений. Отчетливо помню его последние слова. «Ваши мнения, барон фон Юнг, позвольте мне заметить, хотя и верны в целом, но во многих частностях деликатного свойства они дискредитируют и вас, и университет, к которому вы принадлежите. В некоторых частностях они недостойны даже серьезного опровержения. Я бы сказал больше, милостивый государь, ежели бы не боялся вас обидеть (тут говорящий ласково улыбнулся), я сказал бы, милостивый государь, что мнения

ваши — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека». Германн договорил эту двусмысленную фразу, и все взоры направились на барона. Он побледнел, затем густо покраснел; затем уронил носовой платок, и, пока он за ним нагибался, я, единственный за столом, успел заметить его лицо. Оно озарилось выражением присущей Ритцнеру насмешливости, выражением, которое он позволял себе обнаруживать лишь наедине со мною, переставая притворяться. Миг — и он выпрямился, став лицом к Германну; и столь полной и мгновенной перемены выражения я дотоле не видывал. Казалось, он задыхается от ярости, он побледнел, как мертвец. Какое-то время он молчал, как бы сдерживаясь. Наконец, когда это ему, как видно, удалось, он схватил стоявший рядом графин и проговорил, крепко сжав его: «Слова, кои вы, мингеер Германн, сочли приличным употребить, обращаясь ко мне, вызывают протест по столь многим причинам, что у меня нет ни терпения, ни времени, дабы причины эти оговорить. Однако то, что мои мнения — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека — фраза настолько оскорбительная, что мне остается лишь одно. Все же меня вынуждает к известной корректности и присутствие посторонних и то, что в настоящий момент вы мой гость. Поэтому вы извините меня, ежели, исходя из этих соображений, я слегка отклонюсь от правил, принятых среди благородных людей в случае личного оскорбления. Вы простите меня, ежели я попрошу вас немного напрячь воображение и на единый миг счесть отражение вашей особы вон в том зеркале настоящим мингеером Германном. В этом случае не возникнет решительно никаких затруднений. Я швырну этим графином в вашу фигуру, отраженную вон в том зеркале, и так выражу по духу, если не строго по букве, насколько я возмущен вашим оскорблением, а от необходимости применять к вашей особе физическое воздействие я буду избавлен».

С этими словами он швырнул полный графин в зеркало, висевшее прямо напротив Германка, попав в его отражение с большою точностью и, конечно, разбив стекло вдребезги. Все сразу встали с мест и, не считая меня и Ритцнера, откланялись. Когда Германн вышел, барон шепнул мне, чтобы я последовал за ним и предложил свои услуги. Я согласился, не зная толком, что подумать о столь нелепом происшествии.

Дуэлянт принял мое предложение с присущим ему чопорным и сверхутонченным видом и, взяв меня под руку, повел к себе. Я едва не расхохотался ему в лицо, когда он стал с глубочайшей серьезностью рассуждать о том, что он называл «утонченно необычным характером» полученного им оскорбления. После утомительных разглагольствований в свойственном ему стиле, он достал с полок несколько заплесневелых книг о правилах дуэли и долгое время занимал меня их содержанием, читая вслух и увлеченно комментируя прочитанное. Припоминаю некоторые заглавия: «Ордонанс Филиппа Красивого[401] о единоборствах», «Театр чести», сочинение Фавина[402] и трактат Д'Одигье[403] «О разрешении поединков». Весьма напыщенно он продемонстрировал мне «Мемуары о дуэлях» Брайтома[404], изданные в 1666 году в Кельне, — драгоценный и уникальный том, напечатанный эльзевиром[405] на веленевой бумаге, с большими полями, переплетенный Деромом[406]. Затем он с таинственным и умудренным видом попросил моего сугубого внимания к толстой книге в восьмую листа, написанной на варварской латыни неким Эделеном[407], французом, и снабженной курьезным заглавием «Duelli Lex scripta, et non; aliterque»[408]. Оттуда он огласил мне один из самых забавных пассажей на свете, главу относительно «Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se»[409], около половины которой, как он меня заверил, было в точности применимо к его «утонченно необычному» случаю, хотя я не мог понять ни слова из того, что услышал, хоть убейте. Дочитав главу, он закрыл книгу и осведомился, что, по-моему, надлежит предпринять. Я ответил, что целиком вверяюсь его тонкому чутью и выполню все им предлагаемое. Ответ мой, видимо, ему польстил, и он сел за письмо барону. Вот оно.

«Милостивый государь, — друг мой, г-н П., передаст Вам эту записку. Почитаю необходимым просить Вас при первой возможности дать мне объяснения о происшедшем у Вас сегодня вечером. Ежели на мою просьбу Вы ответите отказом, г-н П. будет рад обеспечить, вкупе с любым из Ваших друзей, коего Вы соблаговолите назвать, возможность для нашей встречи.

Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Имею честь пребыть Вашим покорнейшим слугою, Иоганн Германн».

«Барону Ритцнеру фон Юнгу, 18 августа 18…г.»

Не зная, что еще мне делать, я доставил это послание Ритцнеру. Когда я вручил ему письмо, он отвесил поклон; затем с суровым видом указал мне на стул. Изучив картель, он написал следующий ответ, который я отнес Германну.

«Милостивый государь, — наш общий друг, г-н П., передал мне Ваше письмо, написанное сегодня вечером. По должном размышлении откровенно признаюсь в законности требуемого Вами объяснения. Признавшись, все же испытываю большие затруднения (ввиду утонченно необычного характера наших разногласий и личной обиды, мною нанесенной) в словесном выражении того, что в виде извинения долженствует от меня последовать, дабы удовлетворить всем самомалейшим требованиям и всем многообразным оттенкам, заключенным в данном инциденте. Однако я в полной мере полагаюсь на глубочайшее проникновение во все тонкости правил этикета, проникновение, коим Вы давно и по справедливости славитесь. Будучи вследствие этого полностью уверен в том, что меня правильно поймут, прошу Вашего соизволения взамен изъявления каких-либо моих чувств отослать Вас к высказываниям сьера Эделена, изложенным в девятом параграфе главы „Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se“ его труда „Duelli Lex scripta, et non; aliterque“. Глубина и тонкость Ваших познаний во всем, там трактуемом будет, я вполне уверен, достаточна для того, дабы убедить Вас, что самый факт моей ссылки на этот превосходный пассаж должен удовлетворить Вашу просьбу объясниться, просьбу человека чести.

Примите уверения в глубочайшем к Вам почтении.

Ваш покорный слуга, Фон Юнг».

«Господину Иоганну Германну, 18 августа 18…г.»

Германн принялся читать это послание со злобной гримасою, которая, однако, превратилась в улыбку, исполненную самого смехотворного самодовольства, как только он дошел до околесицы относительно «Injuriae per applicationem, per constructionem et per se». Дочитав письмо, он стал упрашивать меня с наилюбезнейшей из возможных улыбок присесть и обождать, пока он не посмотрит упомянутый трактат. Найдя нужное место, он прочитал его про себя с величайшим вниманием, а затем закрыл книгу и высказал желание,

дабы я в качестве доверенного лица выразил от его имени барону фон Юнгу полный восторг перед его, барона, рыцарственностью, а в качестве секунданта уверить его, что предложенное объяснение отличается абсолютной полнотою, безукоризненным благородством и, безо всяких оговорок, исчерпывающе удовлетворительно.

Несколько пораженный всем этим, я ретировался к барону. Он, казалось, принял дружелюбное письмо Германка как должное и после нескольких общих фраз принес из внутренних покоев неизменный трактат «Duelli Lex scripta, et non; aliterque». Он вручил мне книгу и попросил просмотреть в ней страницу-другую. Я так и сделал, но безрезультатно, ибо оказался неспособен извлечь оттуда ни крупицы смысла. Тогда он сам взял книгу и прочитал вслух одну главу. К моему изумлению, прочитанное оказалось до ужаса нелепым описанием дуэли двух павианов. Он объяснил мне, в чем дело, показав, что книга prima facie[410] была написана по принципу «вздорных» стихов Дю Бартаса[411], то есть слова в ней подогнаны таким образом, чтобы, обладая всеми внешними признаками разумности и даже глубины, не заключать на самом деле и тени смысла. Ключ к целому находился в том, чтобы постоянно опускать каждое второе, а затем каждое третье слово, и тогда нам представали уморительные насмешки над поединками нашего времени.

Барон впоследствии уведомил меня, что он нарочно подсунул трактат Германку за две-три недели до этого приключения, будучи уверен, что тот, судя по общему направлению его бесед, внимательнейшим образом изучит книгу и совершенно убедится в ее необычайных достоинствах. Это послужило Ритцнеру отправной точкой. Германн скорее бы тысячу раз умер, но не признался бы в неспособности понять что-либо на свете, написанное о правилах поединка.

Июнь, 1837

пер. В. Рогова

Лигейя

И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей.

Джозеф Гленвилл[417]

И ради спасения души я не в силах был бы вспомнить, как, когда и даже где впервые увидел я леди Лигейю. С тех пор прошло много долгих лет, а память моя ослабела от страданий. Но, быть может, я не могу ныне припомнить все это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкая ученость, необычная, но исполненная безмятежности красота и завораживающая и покоряющая выразительность ее негромкой музыкальной речи проникали в мое сердце лишь постепенно и совсем незаметно. И все же представляется мне, что я познакомился с ней и чаще всего видел ее в некоем большом, старинном, ветшающем городе вблизи Рейна. Ее семья… о, конечно, она мне о ней говорила… И несомненно, что род ее восходит к глубокой древности. Лигейя! Лигейя! Предаваясь занятиям, которые более всего способны притуплять впечатления от внешнего мира, лишь этим сладостным словом — Лигейя! — воскрешаю я перед своим внутренним взором образ той, кого уже нет. И сейчас, пока я пишу, мне внезапно вспомнилось, что я никогда не знал родового имени той, что была моим другом и невестой, той, что стала участницей моих занятий и в конце концов — возлюбленной моею супругой. Почему я о нем не спрашивал? Был ли тому причиной шутливый запрет моей Лигейи? Или так испытывалась сила моей нежности? Или то был мой собственный каприз — исступленно романтическое жертвоприношение на алтарь самого страстного обожания? Даже сам этот факт припоминается мне лишь смутно, так удивительно ли, если из моей памяти изгладились все обстоятельства, его породившие и ему сопутствовавшие? И поистине, если дух,

именуемый Романтической Страстью, если бледная Аштофет[418] идолопоклонников-египтян и правда, как гласят их предания, витает на туманных крыльях над роковыми свадьбами, то, бесспорно, она председательствовала и на моем брачном пиру.

Но одно дорогое сердцу воспоминание память моя хранит незыблемо. Это облик Лигейи. Она была высокой и тонкой, а в последние свои дни на земле — даже исхудалой. Тщетно старался бы я описать величие и спокойную непринужденность ее осанки или непостижимую легкость и грациозность ее походки. Она приходила и уходила подобно тени. Я замечал ее присутствие в моем уединенном кабинете, только услышав милую музыку ее тихого прелестного голоса, только ощутив на своем плече прикосновение ее беломраморной руки. Ни одна дева не могла сравниться с ней красотой лица. Это было сияние опиумных грез — эфирное, возвышающее дух видение, даже более фантасмагорически божественное, чем фантазии, которые реяли над дремлющими душами дочерей Делоса[419]. И тем не менее в ее чертах не было той строгой правильности, которую нас ложно учат почитать в классических произведениях языческих ваятелей. «Всякая утонченная красота, — утверждает Бэкон, лорд Веруламский, говоря о формах и родах красоты, — всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность».[420] И все же хотя я видел, что черты Лигейи лишены классической правильности, хотя я замечал, что ее прелесть поистине «утончена», и чувствовал, что она исполнена «странности», тем но менее тщетны были мои усилия уловить, в чем заключалась эта неправильность, и понять, что порождает во мне ощущение «странного». Я разглядывал абрис высокого бледного лба — он был безупречен (о, как холодно это слово в применении к величию столь божественному!), разглядывал его кожу, соперничающую оттенком с драгоценнейшей слоновой костью, его строгую и спокойную соразмерность, легкие выпуклости на висках и, наконец, вороново-черные, блестящие, пышные, завитые самой природой кудри, которые позволяли постигнуть всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на тонко очерченный нос — такое совершенство я видел только на изящных монетах древней Иудеи. Та же нежащая взгляд роскошная безупречность, тот же чуть заметный намек на орлиный изгиб, те же гармонично вырезанные ноздри, свидетельствующие о свободном духе. Я взирал на сладостный рот. Он

поистине был торжествующим средоточием всего небесного — великолепный изгиб короткой верхней губы, тихая истома нижней, игра ямочек, выразительность красок и зубы, отражавшие с блеском почти пугающим каждый луч священного света, когда они открывались ему в безмятежной и ясной, но также и самой ликующе-ослепительной из улыбок. Я изучал лепку ее подбородка и находил в нем мягкую ширину, нежность и величие, полноту и одухотворенность греков — те контуры, которые бог Аполлон лишь во сне показал Клеомену[421], сыну афинянина. И тогда я обращал взор на огромные глаза Лигейи.

Для глаз мы не находим образцов в античной древности. И может быть, именно в глазах моей возлюбленной заключался секрет, о котором говорил лорд Веруламский. Они, мнится мне, несравненно превосходили величиной обычные человеческие глаза. Они были больше даже самых больших газельих глаз женщин племени, обитающего в долине Нурджахад[422]. И все же только но временам, только в минуты глубочайшего душевного волнения эта особенность Лигейи переставала быть лишь чуть заметной. И в такие мгновенья ее красота (быть может, повинно в этом было одно мое разгоряченное воображение) представлялась красотой существа небесного или не землей рожденного — красотой сказочной гурии турков. Цвет ее очей был блистающе-черным, их осеняли эбеновые ресницы необычной длины. Брови, изогнутые чуть-чуть неправильно, были того же оттенка. Однако «странность», которую я замечал в этих глазах, заключалась не в их величине, и не в цвете, и не в блеске — ее следовало искать в их выражении. Ах, это слово, лишенное смысла! За обширность его пустого звучания мы прячем свою неосведомленность во всем, что касается области духа. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов я размышлял о нем! Целую ночь накануне Иванова дня я тщетно искал разгадки его смысла! Чем было то нечто, более глубокое, нежели колодец Демокрита[423], которое таилось в зрачках моей возлюбленной? Что там скрывалось? Меня томило страстное желание узнать это. О, глаза Лигейи! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они превратились для меня в звезды-близнецы, рожденные Ледой[424], и я стал преданнейшим из их астрологов.

Среди многих непонятных аномалий науки о человеческом разуме нет другой столь жгуче волнующей, чем факт, насколько мне известно,

не привлекший внимания ни одной школы и заключающийся в том, что, пытаясь воскресить в памяти нечто давно забытое, мы часто словно бы уже готовы вот-вот вспомнить, но в конце концов так ничего и не вспоминаем. И точно так же, вглядываясь в глаза Лигейи, я постоянно чувствовал, что сейчас постигну смысл их выражения, чувствовал, что уже постигаю его, — и не мог постигнуть, и он вновь ускользал от меня. И (странная, о, самая странная из тайн!) в самых обычных предметах вселенной я обнаруживал круг подобий этому выражению. Этим я хочу сказать, что с той поры, как красота Лигейи проникла в мой дух и воцарилась там, словно в святилище, многие сущности материального мира начали будить во мне то же чувство, которое постоянно дарили мне и внутри и вокруг меня ее огромные сияющие очи. И все же мне не было дано определить это чувство, или проанализировать его, или хотя бы спокойно обозреть. Я распознавал его, повторяю, когда рассматривал быстро растущую лозу или созерцал ночную бабочку, мотылька, куколку, струи стремительного ручья. Я ощущал его в океане и в падении метеора. Я ощущал его во взорах людей, достигших необычного возраста. И были две-три звезды (особенно одна — звезда шестой величины, двойная и переменная, та, что соседствует с самой большой звездой Лиры[425]), которые, когда я глядел на них в телескоп, рождали во мне то же чувство. Его несли в себе некоторые звуки струйных инструментов и нередко — строки книг. Среди бесчисленных других примеров мне ясно вспоминается абзац в трактате Джозефа Гленвилла, неизменно (быть может, лишь своей причудливостью — как знать?) пробуждавший во мне это чувство: «И в этом — воля, не ведающая смерти. Кто постигнет тайны воли во всей мощи ее? Ибо Бог — ничто как воля величайшая, проникающая все сущее самой природой своего предназначения. Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Долгие годы и запоздалые размышления помогли мне даже обнаружить отдаленную связь между этими строками в труде английского моралиста и некоторыми чертами характера Лигейи. Напряженность ее мысли, поступков и речи, возможно, была следствием или, во всяком случае, свидетельством той колоссальной силы воли, которая за весь долгий срок нашей близости не выдала себя никакими другими, более непосредственными признаками. Из всех

женщин, известных мне в мире, она — внешне спокойная, неизменно безмятежная Лигейя — с наибольшим исступлением отдавалась в жертву диким коршунам беспощадной страсти. И эту страсть у меня не было никаких средств измерить и постичь, кроме чудодейственного расширения ее глаз, которые и восхищали и страшили меня, кроме почти колдовской мелодичности, модулированности, четкости и безмятежности ее тихого голоса, кроме яростной силы (вдвойне поражающей из-за контраста с ее манерой говорить) тех неистовых слов, которые она так часто произносила.

Я упомянул про ученость Лигейи — поистине гигантскую, какой мне не доводилось встречать у других женщин. В древних языках она была на редкость осведомлена, и все наречия современной Европы — во всяком случае, известные мне самому — она тоже знала безупречно. Да и довелось ли мне хотя бы единый раз обнаружить, чтобы Лигейя чего-то не знала — пусть даже речь шла о самых прославленных (возможно, лишь из-за своей запутанности) темах, на которых покоится хваленая эрудиция Академии? И каким странным путем, с каким жгучим волнением только теперь я распознал эту черту характера моей жены! Я сказал, что такой учености я не встречал у других женщин, но где найдется мужчина, который бы успешно пересек все широчайшие пределы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не постигал того, что столь ясно вижу теперь, — что знания Лигейи были колоссальны, необъятны, и все же я настолько сознавал ее бесконечное превосходство, что с детской доверчивостью подчинился ее руководству, погружаясь в хаотический мир метафизики, исследованиям которого я предавался в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким ликующим восторгом, с какой высокой надеждой распознавал я, когда Лигейя склонялась надо мной во время моих занятий (без просьбы, почти незаметно), ту восхитительную перспективу, которая медленно разворачивалась передо мной, ту длинную, чудесную, нехоженую тропу, которая обещала привести меня к цели — к мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной!

Так сколь же мучительно было мое горе, когда несколько лет спустя я увидел, как мои окрыленные надежды безвозвратно улетели прочь! Без Лигейи я был лишь ребенком, ощупью бродящим во тьме. Ее присутствие, даже просто ее чтение вслух, озаряло ясным светом

многие тайны трансцендентной философии[426], в которую мы были погружены. Лишенные животворного блеска ее глаз, буквы, сияющие и золотые, становились более тусклыми, чем свинец Сатурна[427]. А теперь эти глаза все реже и реже освещали страницы, которые я штудировал. Лигейя заболела. Непостижимые глаза сверкали слишком, слишком ослепительными лучами; бледные пальцы обрели прозрачно-восковой оттенок могилы, а голубые жилки на высоком лбу властно вздувались и опадали от самого легкого волнения. Я видел, что она должна умереть, — и дух мой вел отчаянную борьбу с угрюмым Азраилом[428]. К моему изумлению, жена моя боролась с ним еще более страстно. Многие особенности ее сдержанной натуры внушили мне мысль, что для нее смерть будет лишена ужаса, — но это было не так. Слова бессильны передать, как яростно сопротивлялась она беспощадной Тени. Я стонал от муки, наблюдая это надрывающее душу зрелище. Я утешал бы, я убеждал бы, но перед силой ее необоримого стремления к жизни, к жизни — только к жизни! — и утешения и уговоры были равно нелепы. И все же до самого последнего мгновения, среди самых яростных конвульсий ее неукротимого духа она не утрачивала внешнего безмятежного спокойствия. Ее голос стал еще нежнее, еще тише — и все же мне не хотелось бы касаться безумного смысла этих спокойно произносимых слов. Моя голова туманилась и шла кругом, пока я завороженно внимал мелодии, недоступной простым смертным, внимал предположениям и надеждам, которых смертный род прежде не знал никогда.

О, я не сомневался в том, что она меня любила, и мог бы без труда догадаться, что в подобной груди способна властвовать лишь любовь особенная. Однако только с приходом смерти постиг я всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку в своей, она исповедовала мне тайны сердца, чья более чем пылкая преданность достигала степени идолопоклонства. Чем заслужил я блаженство подобных признаний? Чем заслужил я мучение разлуки с моей возлюбленной в тот самый час, когда услышал их? Но об этом я не в силах говорить подробнее. Скажу лишь, что в этом более чем женском растворении в любви — в любви, увы, незаслуженной, отданной недостойному — я, наконец, распознал природу неутолимой жажды Лигейи, ее необузданного стремления к жизни, которая теперь столь

стремительно отлетала от нее. И вот этой-то необузданной жажды, этого алчного стремления к жизни — только к жизни! — я не могу описать, ибо нет слов, в которые его ложно было бы воплотить.

В ночь своей смерти, в глухую полночь, она властным мановением подозвала меня и потребовала, чтобы я прочел ей стихи, сложенные ею лишь несколько дней назад. Я повиновался. Вот эти стихи:

Спектакль-гала! Чу, срок настал,
Печалью лет повит.
Под пеленою покрывал
Сокрыв снега ланит,

Сияя белизной одежд,
Сонм ангелов следит
За пьесой страха и надежд,
И музыка сфер гремит.

По своему подобью бог
Актеров сотворил.
Игрушки страха и тревог
Напрасно тратят пыл:

Придут, исчезнут, вновь придут,
Покорствуя веленью сил,
Что сеют горе и беду
Движеньем кондоровых крыл.

Пестра та драма и глупа,
Но ей забвенья нет:
По кругу мечется толпа
За призраком вослед,

И он назад приводит всех
Тропой скорбен и бед.
Безумие и черный грех
И ужас — ее сюжет.

Но вдруг актеров хоровод
Испуганно затих.
К ним тварь багряная ползет
И пожирает их.

Ползет, свою являя власть,
Жертв не щадя своих.
Кровавая зияет пасть —
Владыка судьб людских.

Всюду тьма, им всем гибель — удел,
Под бури пронзительный вой
На груды трепещущих тел
Пал занавес — мрак гробовой.

Покрывала откинувши, рек
Бледных ангелов плачущий строй,
Что трагедия шла — «Человек»
И был Червь Победитель — герой.[429]

— О Бог! — пронзительно вскрикнула Лигейя, вскакивая и судорожно простирая руки к небесам, когда я прочел последние строки. — О Бог! О Божественный Отец! Должно ли всегда и неизменно быть так? Ужели этот победитель ни разу не будет побежден сам? Или мы не часть Тебя и не едины в Тебе? Кто… кто постигает тайны воли во всей мощи ее? Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей!

Затем, словно совсем изнемогшая от этого порыва, она уронила белые руки и скорбно вернулась на одр смерти. И когда она испускала последний вздох, вместе с ним с ее губ срывался чуть слышный шепот. Я почти коснулся их ухом и вновь различил все те же слова Гленвилла: «Ни ангелам, ни смерти не предает себя всецело человек, кроме как через бессилие слабой воли своей».

Она умерла, и я, сокрушенный печалью во прах, уже не мог долее выносить унылого уединения моего жилища в туманном ветшающем городе на Рейне. Я не испытывал недостатка в том, что свет зовет богатством. Лигейя принесла мне в приданое больше, — о, много, много больше, — чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев тягостных и бесцельных странствий я купил и сделал пригодным для обитания старинное аббатство, которое не назову, в одной из наиболее глухих и безлюдных областей прекрасной Англии. Угрюмое величие здания, дикий вид окрестностей, множество связанных с ними грустных стародавних преданий весьма гармонировали с той безысходной тоской, которая загнала меня в этот отдаленный и никем не посещаемый уголок страны. Однако, хотя наружные стены аббатства, увитые, точно руины, вековым плющом, были сохранены в прежнем своем виде, внутренние его помещения я с ребяческой непоследовательностью, а может быть, и в безотчетной надежде утишить терзавшее меня горе, отделал с более чем королевским великолепием. Ибо еще в детские годы я приобрел вкус к этим суетным пустякам, и теперь он вернулся ко мне, точно знамение второго детства, в которое ввергла меня скорбь. Увы, я понимаю, сколько зарождающегося безумия можно было бы обнаружить в пышно прихотливых драпировках, в сумрачных изваяниях Египта, в невиданных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах парчовых ковров с золотой бахромой! Тогда уже я стал рабом опиума, покорно подчинившись его узам, а потому все мои труды и приказы расцвечивались оттенками дурманных грез. Но к чему останавливаться на этих глупостях! Я буду говорить лишь о том во веки проклятом покое, куда в минуту помрачения рассудка я привел от алтаря как юную мою супругу, как преемницу незабытой Лигейи белокурую и синеглазую леди Ровену Тремейн из рода Тревейньон.

Каждая архитектурная особенность, каждое украшение этого брачного покоя — все они стоят сейчас перед моими глазами. Где были души надменных родителей и близких новобрачной, когда в жажде золота они допустили, чтобы невинная девушка переступила порог комнаты, вот так украшенной? Я сказал, что помню эту комнату во всех подробностях — я, который столь непростительно забывчив теперь, когда речь идет о предметах величайшей важности; а ведь в этой фантастической хаотичности не было никакой системы, никакого

порядка, которые могли бы помочь памяти. Комната эта, расположенная в одной из высоких башен похожего на замок аббатства, была пятиугольной и очень обширной. Всю южную сторону пятиугольника занимало окно — гигантское цельное венецианское стекло свинцового оттенка, так что лучи и солнца и луны, проходя сквозь него, придавали предметам внутри мертвенный оттенок. Над этим колоссальным окном по решетке на массивной стене вились старые виноградные лозы. Необыкновенно высокий сводчатый потолок из темного дуба был покрыт искусной резьбой — самыми химерическими и гротескными образчиками полуготического, полудруидического стиля[430]. Из самого центра Этого мрачного свода на единой золотой цепи с длинными звеньями свисала огромная курильница из того же металла сарацинской чеканки, с многочисленными отверстиями, столь хитро расположенными, что из них непрерывно ползли и ползли словно наделенные змеиной жизнью струи разноцветного огня.

Там и сям стояли оттоманки и золотые восточные канделябры, а кроме них — ложе, брачное ложе индийской работы из резного черного дерева, низкое, с погребально-пышным балдахином. В каждом из пяти углов комнаты вертикально стояли черные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора[431]; с их древних крышек смотрели изваяния незапамятной древности. Но наиболее фантасмагоричны были, увы, драпировки, которые, ниспадая тяжелыми волнами, сверху донизу закрывали необыкновенно — даже непропорционально — высокие стены комнаты. Это были массивные гобелены, сотканные из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и кровати из черного дерева, что и ее балдахин, что и драгоценные свитки занавеса, частично затенявшего окно. Материалом этим была бесценная золотая парча. Через неравномерные промежутки в нее были вотканы угольно-черные арабески около фута в поперечнике. Однако арабески эти представлялись просто узорами только при взгляде из одной точки. При помощи способа, теперь широко применяемого и прослеживаемого до первых веков античности, им была придана способность изменяться. Тому, кто стоял на пороге, они представлялись просто диковинными уродствами; но стоило вступить в комнату, как арабески эти начинали складываться в фигуры, и

посетитель с каждым новым шагом обнаруживал, что его окружает бесконечная процессия ужасных образов, измышленных суеверными норманнами или возникших в сонных видениях грешного монаха. Жуткое впечатление это еще усиливалось благодаря тому, что позади драпировок был искусственно создан непрерывный и сильный ток воздуха, который, заставляя фигуры шевелиться, наделял их отвратительным и пугающим подобием жизни.

Вот в каких апартаментах, вот в каком свадебном покое провел я с леди Тремейн не осененные благословением часы первого месяца нашего брака — и провел их, не испытывая особой душевной тревоги. Я не мог не заметить, что моя жена страшится моего яростного угрюмого нрава, что она избегает меня и не питает ко мне любви. Но это скорее было мне приятно. Я ненавидел ее исполненной отвращения ненавистью, какая свойственна более демонам, нежели человеку. Память моя возвращалась (о, с каким мучительным сожалением!) к Лигейе — возлюбленной, царственной, прекрасной, погребенной. Я наслаждался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее высокой, ее эфирной натуре, о ее страстной, ее боготворящей любви. Теперь мой дух поистине и щедро пылал пламенем даже еще более неистовым, чем огнь, снедавший ее. В возбуждении моих опиумных грез (ибо я постоянно пребывал в оковах этого дурмана) я громко звал ее по имени как в ночном безмолвии, так и в уединении лесных лужаек среди бела дня, словно необузданной тоской, глубочайшей страстью, всепожирающим жаром томления по усопшей я мог вернуть ее на пути, по кинутые ею — ужели, ужели навеки? — здесь на земле.

В начале второго месяца нашего брака леди Ровену поразил внезапный недуг, и выздоровление ее было трудным и медленным. Терзавшая ее лихорадка лишала больную ночного покоя, и в тревожном полусне она говорила о звуках и движениях, которыми была наполнена комната в башне, но я полагал, что они порождались ее расстроенным воображением или, быть может, фантасмагорическим воздействием самой комнаты. В конце концов ей стало легче, а потом она и совсем выздоровела. Одна ко минул лишь краткий срок, и новый, еще более жестокий недуг опять бросил ее на ложе страданий; здоровье ее никогда не было крепким, и теперь совсем расстроилось. С этого времени ее болезни приобретали все более грозный характер, и

еще более грозным было их постоянное возобновление — все знания и все старания ее врачей оказывались тщетными. Усиление хронического недуга, который, по-видимому, укоренился так глубоко, что уже не поддавался излечению человеческими средствами, по моим почти невольным наблюдениям сочеталось с равным усилением нервного расстройства, сопровождавшегося, казалось бы, беспричинной пугливостью. Она все чаще и все упорнее твердила о звуках — о чуть слышных звуках — и о странном движении среди драпировок, про которые упоминала прежде.

Как-то ночью на исходе сентября больная с большей, чем обычно, настойчивостью заговорила со мной об этом тягостном предмете. Она только что очнулась от беспокойной дремоты, и я с тревогой, к которой примешивался смутный ужас, следил за смелой выражений на ее исхудалом лице. Я сидел возле ее ложа черного дерева на одной из индийских оттоманок. Ровена приподнялась и тихим исступленным шепотом говорила о звуках, которые слышала в это мгновение — но которых я не слышал, о движении, которое она видела в это мгновение — но которого я не улавливал. За драпировками проносился сильный ветер, и я решил убедить Ровену (хотя, признаюсь, сам этому верил не вполне), что это почти беззвучное дыхание и эти чуть заметные изменения фигур на стенах были лишь естественными следствиями постоянного воздушного тока за драпировками. Однако смертельная бледность, разлившаяся по ее лицу, сказала мне, что мои усилия успокоить ее останутся тщетными. Казалось, она лишается чувств, а возле не было никого из слуг. Я вспомнил, где стоял графин с легким вином, которое предписал ей врач, и поспешно пошел за ним в дальний конец комнаты. Но когда я вступил в круг света, отбрасываемого курильницей, мое внимание было привлечено двумя поразительными обстоятельствами. Я ощутил, как мимо, коснувшись меня, скользнуло нечто невидимое, но материальное, и заметил на золотом ковре в самом центре яркого сияющего круга, отбрасываемого курильницей, некую тень — прозрачное, туманное ангельское подобие: тень, какую могло бы отбросить призрачное видение. Но я был вне себя от возбуждения, вызванного особенно большой дозой опиума, и, сочтя эти явления не стоящими внимания, ничего не сказал о них Ровене. Отыскав графин, я вернулся к ней, налил бокал вина и поднес его к ее губам. Однако она уже немного оправилась и взяла

бокал сама, а я опустился на ближайшую оттоманку, не сводя глаз с больной. И вот тогда-то я совершенно ясно расслышал легкие шаги по ковру возле ее ложа, а мгновение спустя, когда Ровена готовилась отпить вино, я увидел — или мне пригрезилось, что я увидел, — как в бокал, словно из невидимого сокрытого в воздухе источника, упали три-четыре большие блистающие капли рубинового цвета. Но их видел только я, а не Ровена. Она без колебаний выпила вино, я же ничего не сказал ей о случившемся, считая, что все это могло быть лишь игрой воображения, воспламененного страхами больной, опиумом и поздним часом.

И все же я не могу скрыть от себя, что сразу же после падения рубиновых капель состояние Ровены быстро ухудшилось, так что на третью ночь руки прислужниц уже приготовили ее для погребения, а на четвертую я сидел наедине с ее укутанным в саван телом в тон же фантасмагорической комнате, куда она вступила моей молодою женой. Перед моими глазами мелькали безумные образы, порожденные опиумом. Я устремлял тревожный взор на саркофаги в углах, на меняющиеся фигуры драпировок, на извивающиеся многоцветные огни курильницы в вышине. Вспоминая подробности недавней ночи, я посмотрел на то освещенное курильницей место, где я увидел тогда неясные очертания тени. Но на этот раз ее там не было, и, вздохнув свободнее, я обратил взгляд на бледную и неподвижную фигуру на ложе. И вдруг на меня нахлынули тысячи воспоминаний о Лигейе — и с бешенством разлившейся реки в мое сердце вновь вернулась та невыразимая мука, с которой я глядел на Лигейю, когда такой же саван окутывал ее. Шли ночные часы, а я, исполненный горчайших дум о единственной и бесконечно любимой, все еще смотрел на тело Ровены.

В полночь — а может быть, позже или раньше, ибо я не замечал времени, — рыдающий вздох, тихий, но ясно различимый, заставил меня очнуться. Мне почудилось, что он донесся с ложа черного дерева, с ложа смерти. Охваченный суеверным ужасом, я прислушался, но звук не повторился. Напрягая зрение, я старался разглядеть, не шевельнулся ли труп, но он был неподвижен. И все же я не мог обмануться. Я бесспорно слышал этот звук, каким бы тихим он ни был, и душа моя пробудилась. С упорным вниманием я не спускал глаз с умершей. Прошло много минут, прежде чем случилось еще что-то, пролившее свет на тайну. Но наконец стало очевидным, что очень

слабая, еле заметная краска разлилась по щекам и по крохотным спавшимся сосудам век. Пораженный неизъяснимым ужасом и благоговением, для описания которого в языке смертных нет достаточно сильных слов, я ощутил, что сердце мое перестает биться, а члены каменеют. Однако чувство долга в конце концов заставило меня сбросить парализующее оцепенение. Нельзя было долее сомневаться, что мы излишне поторопились с приготовлениями к похоронам — что Ровена еще жива. Нужно было немедленно принять необходимые меры, но башня находилась далеко в стороне от той части аббатства, где жили слуги и куда они все удалились на ночь, — чтобы позвать их на помощь, я должен был бы надолго покинуть комнату, а этого я сделать не решался. И в одиночестве я прилагал все усилия, чтобы удержать дух, еще не покинувший тело. Но вскоре стало ясно, что они оказались тщетными, — краска исчезла со щек и век, сменившись более чем мраморной белизной, губы еще больше запали и растянулись в жуткой гримасе смерти, отвратительный липкий холод быстро распространился по телу, и его тотчас сковало обычное окостенение. Я с дрожью упал на оттоманку, с которой был столь страшным образом поднят, и вновь предался страстным грезам о Лигейе.

Так прошел час, а затем (могло ли это быть?) я вторично услышал неясный звук, донесшийся со стороны ложа. Я прислушался, вне себя от ужаса. Звук раздался снова — это был вздох. Кинувшись к трупу, я увидел, — да-да, увидел! — как затрепетали его губы. Мгновение спустя они полураскрылись, обнажив блестящую полоску жемчужных зубов. Изумление боролось теперь в моей груди со всепоглощающим страхом, который до этого властвовал в ней один. Я чувствовал, что зрение мое тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного усилия я наконец смог принудить себя к исполнению того, чего требовал от меня долг. К этому времени ее лоб, щеки и горло слегка порозовели и все тело потеплело. Я ощутил даже слабое биение сердца. Она была жива! И с удвоенным жаром я начал приводить ее в чувство. Я растирал и смачивал спиртом ее виски и ладони, я пускал в ход все средства, какие подсказывали мне опыт и немалое знакомство с медицинскими трактатами. Но втуне! Внезапно розовый цвет исчез, сердце перестало биться, губы вновь сложились в гримасу смерти, и миг спустя тело обрело льдистый холод, свинцовую бледность,

жесткое окостенение, угловатость очертаний и все прочие жуткие особенности, которые обретает труп, много дней пролежавший в гробнице.

И вновь я предался грезам о Лигейе, и вновь (удивительно ли, что я содрогаюсь, когда пишу эти строки?), вновь с ложа черного дерева до меня донесся рыдающий вздох. Но к чему подробно пересказывать невыразимые ужасы этой ночи? К чему медлить и описывать, как опять и опять почти до первых серых лучей рассвета повторялась эта жуткая драма оживления, прерываясь новым жестоким и, казалось бы, победным возвращением смерти? Как каждая агония являла черты борьбы с каким-то невидимым врагом и как каждая такая борьба завершалась неописуемо страшным преображением трупа? Нет, я сразу перейду к завершению.

Эта жуткая ночь уже почти миновала, когда та, что была мертва, еще раз шевельнулась — и теперь с большей энергией, чем прежде, хотя восставая из окостенения, более леденящего душу своей полной мертвенностью, нежели все предыдущие. Я уже давно отказался от всяких попыток помочь ей и, бессильно застыв, сидел на оттоманке, охваченный бурей чувств, из которых невыносимый ужас был, пожалуй, наименее мучительным и жгучим. Труп, повторяю, пошевелился, и на этот раз гораздо энергичней, чем раньше. Краски жизни с особой силой вспыхнули на лице, члены расслабились и, если бы не сомкнутые веки и не погребальные покровы, которые все еще сообщали телу могильную безжизненность, я мог бы вообразить, что Ровене удалось наконец сбросить оковы смерти. Но если даже в тот миг я не мог вполне принять эту мысль, то для сомнений уже не было места, когда, восстав с ложа, неверными шагами, не открывая глаз, словно в дурмане тяжкого сна, фигура, завернутая в саван, выступила на самую середину комнаты!

Я не вздрогнул, я не шелохнулся, ибо в моем мозгу пронесся вихрь невыносимых подозрений, рожденных обликом, осанкой, походкой этой фигуры, парализуя меня, превращая меня в камень. Я не шелохнулся и только глядел на это видение. Мысли мои были расстроены, были ввергнуты в неизъяснимое смятение. Неужели передо мной действительно стояла живая Ровена? Неужели это Ровена — белокурая и синеглазая леди Ровена Тремейн из рода Тревейньон? Почему, почему усомнился я в этом? Рот стягивала тугая повязка, но

разве он не мог быть ртом очнувшейся леди Тремейн? А щеки — на них цвели розы, как в дни ее беззаботной юности… да, конечно, это могли быть щеки ожившей леди Тремейн. А подбородок с ямочками, говорящими о здоровье, почему он не мог быть ее подбородком? Но в таком случае за дни своей болезни она стала выше ростом?! Какое невыразимое безумие овладело мной при этой мысли? Одним прыжком я очутился у ее ног. Она отпрянула от моего прикосновения, окутывавшая ее голову жуткая погребальная пелена упала, и гулявший по комнате ветер заиграл длинными спутанными прядями пышных волос — они были чернее вороновых крыл полуночи! И тогда медленно раскрылись глаза стоявшей передо мной фигуры.

— В этом… — пронзительно вскрикнул я, — да, в этом я не могу ошибиться! Это они — огромные, и черные, и пылающие глаза моей потерянной возлюбленной… леди… ЛЕДИ ЛИГЕЙИ!

Сентябрь, 1838

пер. И. Гуровой

Как писать рассказ для «Блэквуда»

«Во имя пророка — фиги!»

Крик продавцов фиг в Турции

Полагаю, что обо мне слышали все. Меня зовут синьора Психея Зенобия[432]. Это достоверно мне известно. Никто кроме моих врагов не называет меня Сьюки Снобз. Мне говорили, что «Сьюки» является вульгарным искажением имени «Психея», а это — хорошее греческое имя, означающее «душа» (оно очень ко мне подходит, я — сплошная душа!), а также «бабочка»; ну а это, несомненно, относится к моей внешности, когда я надеваю новое платье малинового атласа, с небесно-голубой арабской мантильей, с отделкой из зеленых agraffes[433] и семью оборками из оранжевых auriculas[434]. Что касается фамилии Снобз — то на меня достаточно взглянуть, чтобы убедиться, что я не Снобз. Мисс Табита Турнепс распространила этот слух просто из зависти. Табита Турнепс! Этакая негодяйка! Но чего можно ожидать от турнепса? Интересно, помнит ли она старинную поговорку насчет «крови из турнепса»? (Не забыть напомнить ей об этом при первом случае). (Не забыть также показать ей нос). На чем, бишь, я остановилась? Ах, да! Меня уверяют, что Снобз — это искаженное «Зенобия»; что Зенобия была царицей (Я тоже. Доктор Денепрош всегда называет меня царицей сердец); что Зенобия, как и Психея, — слово греческое; что мой отец был «греком»[435], и, следовательно, я имею право на нашу фамилию — Зенобия, но никоим образом не Снобз. Никто кроме Табиты Турнепс не зовет меня Сьюки Снобз. Я — синьора Психея Зенобия.

Как я уже сказала, обо мне слышали все. Я — та самая Психея Зенобия, пользующаяся заслуженной известностью в качестве корреспондента Союза Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями. Такое название придумал для нас доктор Денеггрош, и придумал, как он говорит, потому, что оно звучит громко, точно пустая бочка из-под рома. (Иногда он бывает

грубоват, но какой это умный человек!) Все мы ставим эти буквы после наших фамилий, как это делают члены К.Х.О. — Королевского Художественного Общества, члены О.Р.П.З. — Общества по Распространению Полезных Знаний и т. п. Д-р Денеггрош говорит, что «П» означает «протухший» и что все вместе должно читаться «Общество по Распознаванию Протухших Зайцев», а вовсе не общество лорда Брума[436] — но доктор Денеггрош такой чудак! — не знаешь, когда он говорит с вам и серьезно. Во всяком случае, мы всегда прибавляем к нашим фамилиям буквы С. И. Н. И. Е. Ч. У. Л. О. Ч. К. И. — то есть Союз Исключительно Научных Изысканных Еженедельных Чаепитий Успешно Ликвидирующих Отсталость Человечества Красноречивыми Излияниями — по букве на каждое слово, гораздо лучше, чем у лорда Брума. Доктор Денеггрош утверждает, будто эти буквы отлично нас описывают, но я право не понимаю, что он этим хочет сказать.

Несмотря на содействие доктора Денеггроша и усиленные старания самого общества привлечь к себе внимание, оно не имело большого успеха, пока туда не вступила Я. По правде сказать, члены общества позволяли себе чересчур легкомысленный тон. Еженедельные субботние доклады отличались более буффонством, нежели глубокомыслием. Так — какой-то гоголь-моголь. Никакого исследования первопричин или первооснов. Да и вообще никакого исследования. Ни малейшего внимания величайшей из проблем — проблеме всеобщего соответствия. Словом, ничего похожего на то, как пишу я. Все было на низком — весьма низком! — уровне. Ни глубины, ни эрудиции, ни философии — ничего того, что ученые зовут духовностью, а невежды — жеманством[437].

Вступив в общество, я постаралась ввести там более высокие мысли и более изысканный слог, и всему свету известно, что это мне отлично удалось. Сейчас С. И. Н. И. Е. Ч. У. Л. О. Ч. К. И. сочиняют рассказы ничуть не хуже, чем даже в «Блзквуде». Я говорю о «Блэквуде» потому, что слышала, будто лучшие статьи на любую тему можно найти именно на страницах этого заслуженно знаменитого журнала[438]. Мы теперь во всем берем его за образец и поэтому быстро приобретаем известность. Ведь если взяться за дело умеючи, не так уж трудно написать настоящий блэквудовский рассказ. Разумеется, я не говорю о статьях политических. Все знают, как они

составляются, с тех пор, как это объяснил доктор Денеггрош. Мистер Блэквуд берет портновские ножницы, а рядом стоят наготове трое учеников. Один подает ему «Тайма», другой — «Экзаминер», а третий — «Руководство по Динь-Бому» мистера Гальюна. Мистеру Блэквуду остается только вырезать и перемешивать. Делается это очень быстро. — «Экзаминер», «Динь-Бом», «Тайме» — потом «Таимо», «Динь-Бом» и «Экзаминер», — а затем «Тайме», «Экзаминер» и «Динь-Бом».

Но главным украшением журнала являются очерки и рассказы на различные темы; лучшие из них относятся к разряду bizarerries[439], по выражению доктора Денеггроша (что бы это ни означало), тогда как все другие называют их сенсационными. Этот вид литературы я всегда высоко ценила, но о способах его создания узнала лишь после того, как недавно (по поручению общества) посетила мистера Блэквуда. Способ весьма прост, хотя и менее прост, чем для статей политических. Явившись к мистеру Блэквуду и изложив ему пожелания нашего общества, я была принята им с большой учтивостью и приглашена к нему в кабинет, где получила точные указания относительно всей процедуры.

— Сударыня, — сказал он, явно пораженный моим величественным видом, ибо на мне было малиновое атласное платье с зелеными agraffas и оранжевыми auriculas, — сударыня, — сказал он, — прошу вас сесть. Дело обстоит следующим образом. Прежде всего автор сенсационных рассказов должен обзавестись очень черными чернилами и очень большим пером с очень тупым концом. И заметьте себе, мисс Психея Зенобия! — продолжал он после паузы, весьма внушительным и торжественным тоном. — Заметьте себе, — это перо — никогда — не следует чинитmь. Вот, мэм, в чем заключен весь секрет и самая душа сенсационного рассказа. Я берусь утверждать, что никто, даже величайший гений, никогда не писал — прошу меня понять — хороших рассказов хорошим пером. Можете не сомневаться; если рукопись легко разобрать, то ее не стоит и читать. Таков один из наших основных принципов, и если вы с ним не согласны, наша беседа окончена.

Он умолк. Не желая кончать беседу, я, разумеется, согласилась со столь очевидным положением, в котором, кстати, давно была убеждена. Он, видимо, остался доволен и продолжал меня наставлять.

— Быть может, мисс Психея Зенобия, с моей стороны было бы дерзостью указывать какой-либо наш рассказ или рассказы в качестве образца; и все же на некоторые из них я должен обратить ваше внимание. Позвольте припомнить. Был, например, «Живой мертвец»[440] — отличная вещь! Там описаны ощущения одного джентльмена, которого похоронили, прежде чем он испустил дух, — бездна вкуса, ужаса, чувства, философии и эрудиции. Можно поклясться, что автор родился и вырос в гробу. Затем была у нас «Исповедь курильщика опиума»[441] — великолепное сочинение! — богатство фантазии — глубокие мысли — острые замечания — много огня и пыла — и достаточная доза непонятного. Весьма увлекательный вздор, и читатель проглотил его с наслаждением. Говорили, что автором был Колридж[442], — ничего подобного. Это было сочинено моим ручным павианом Джунипером за стаканом голландского джина с водой, «горячего и без сахара». (Этому я, пожалуй, не поверила бы, если бы не услышала от самого мистера Блэквуда.) А то еще был «Экспериментатор поневоле»[443] — о джентльмене, которого запекли в печи, но он оттуда вышел целый и невредимый, хотя и печеный. Или «Дневник покойного врача»[444], где все дело было в громких фразах и плохом греческом языке — и то и другое привлекает читателей. Или, наконец, «Человек в колоколе»[445] — вот это произведение, мисс Зенобия, я особенно рекомендую вашему вниманию. Там рассказано о молодом человеке, который засыпает под языком церковного колокола и просыпается от погребального звона. Эти звуки сводят его с ума, и он, вынув записную книжку, записывает свои ощущения. Ощущения — вот, собственно, главное. Если вам случится утонуть или быть повешенной, непременно опишите ваши ощущения — вы заработаете на них по десять гиней за страницу. Если хотите писать сильные вещи, мисс Зенобия, уделяйте особое внимание ощущениям.

— Непременно, мистер Блэквуд, — сказала я.

— Отлично! — заметил он. — Такая ученица мне по душе. Надо, однако, ввести вас в курс некоторых подробностей сочинения настоящего блэквудовского рассказа с ощущениями — то есть такого, который я считаю во всех отношениях лучшим.

Первое, что требуется, это — попасть в такую передрягу, в какой не бывал еще никто и никогда. Вот, скажем, печь — это было отлично

задумано. Но если у вас нет под рукой печи или большого колокола и вы не можете упасть с воздушного шара, или погибнуть при землетрясении, или застрять в каминной трубе, вам придется удовольствоваться воображаемым переживанием чего-либо в этом роде. Однако я предпочел бы, чтобы ваше повествование подкреплялось фактами. Ничто так не помогает фантазии, как приобретенное опытом знание. «Правда, — как вы знаете, — всякой выдумки странней»[446] и к тому же от нее больше толку.

Тут я заверила его, что у меня имеется пара отличных подвязок, на которых я намерена немедленно удавиться.

— Неплохо! — сказал он. — Действуйте, хотя это — прием уже несколько избитый. Можно, пожалуй, сделать лучше. Примите дозу пилюль Брандрета, а затем опишите ваши ощущения. Впрочем, мои инструкции одинаково применимы к любой катастрофе, а ведь легко может случиться, что по дороге домой вам проломят голову, или вы попадете под омнибус, или вас укусит бешеная собака, или вы утонете в сточной канаве. Однако продолжим.

Выбрав тему, вы должны будете затем подумать о тоне или манере изложения. Существует тон дидактический, тон восторженный, тон естественный — все они уже достаточно банальны. Есть также тон лаконический, или отрывистый, который сейчас в большом ходу. Он состоит из коротких предложений. Вот так. Короче. Еще короче. То и дело точка. Никаких абзацев.

Есть еще тон возвышенный, многословный, восклицательный. Его придерживаются некоторые из лучших наших романистов. Все слова должны кружиться, как волчки, и жужжать точно так же — это отлично заменяет смысл. Такой слог — лучший из всех возможных, если автору недосуг подумать.

Хорош также тон философский. Если вы знаете какие-нибудь слова подлиннее, тут им как раз найдется место. Пишите об ионийской[447] и элейской школах[448] — об Архите[449], Горгии[450] и Алкмеоне. Упомяните о субъективности и объективности. Не забудьте обругать человека по фамилии Локк. Высказывайте как можно больше пренебрежения ко всему на свете, а если случится написать что-нибудь уж слишком несуразное, не трудитесь вымарывать; просто сделайте сноску и скажите, что приведенной глубокой мыслью обязаны «Kritik

der reinen Vemunft»[451] или «Metaphysische Anfangsgrunde der Naturwissenschaft»[452]. Будет выглядеть и научно, и — ну, и честно.

Существуют и другие, не менее известные, манеры, но я назову еще только две — трансцендентальную и смешанную. Достоинство первой заключается в том, что она проникает в суть вещей гораздо глубже всякой иной. Подобное ясновидение, при некотором умении, бывает весьма эффектно. Многое можно почерпнуть из журнала «Дайел»[453], даже при беглом чтении. В этом случае следует избегать длинных слов; выбирайте короткие и пишите их вверх ногами. Загляните в том стихотворений Чаннинга[454] и процитируйте оттуда о «толстом человечке, будто бы что-то умеющем». Упомяните о Верховной Единосущности. Но ни слова о Греховной Двоесущности.

А главное, это — постичь искусство намека. Намекайте на все — и не утверждайте ничего. Если вам хочется сказать «хлеб с маслом», ни в коем случае не говорите этого прямо. Можете говорить обо всем, что так или иначе приближается к «хлебу с маслом». Можете намекнуть на гречишную лепешку, даже больше того — на овсяную кашу, но если вы в действительности имеете в виду хлеб с маслом, остерегайтесь, дорогая мисс Психея, сказать «хлеб с маслом».

Я заверила его, что больше не сделаю этого ни разу, пока жива. Он поцеловал меня и продолжал:

— Что касается манеры смешанной, то это просто разумное соединение, в равных долях, всех других манер на свете, а потому она одновременно и глубока, и возвышенна, и причудлива, и пикантна, и уместна, и прелестна.

— Предположим, что вы выбрали и тему и манеру. Остается самое важное — я бы сказал, суть — я имею в виду исполнение. Не может джентльмен — да, впрочем, и дама — вести жизнь книжного червя. А между тем совершенно необходимо, чтобы в вашем рассказе была видна эрудиция или, по крайней мере, большая общая начитанность. Сейчас я покажу вам, чем это достигается. Смотрите! (Тут он достал с полки три-четыре тома самого обыкновенного вида и принялся раскрывать их наугад). Пробежав почти любую страницу любой книги, вы легко заметите множество клочков учености или bel-esprit[455], как раз того, чем следует приправлять рассказ для «Блэквуда». Советую записать некоторые из них — сейчас я их вам

прочту. Я разделю их на две рубрики: во-первых, Пикантные Факты для сравнений; а во-вторых, Пикантные Фразы для употребления при случае. Записывайте. — И я стала записывать под его диктовку.

ПИКАНТНЬЕ ФАКТЫ ДЛЯ СРАВНЕНИЙ. «Вначале было всего три музы — Мелета, Мнема, Аэда[456] — музы размышления, памяти и пения». Из этого небольшого факта при умелом пользовании можно извлечь очень много. Видите ли, он мало известен и выглядит recherche[457]. Надо только преподнести его небрежно и как бы случайно.

Или еще: «Река Алфей[458] протекала под морским дном и выходила наружу, сохраняя свои воды чистыми». Это, пожалуй, немного старо, но если должным образом приправить и подать, может показаться вполне свежим.

А вот кое-что получше. «Некоторым кажется, что персидский ирис обладает сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха». Очень тонко! Стоит немного повернуть, и получится просто прелесть. Мы возьмем кое-что еще из ботаники. Ничто так хорошо не принимается публикой, особенно с помощью нескольких латинских слов. Пишите! «„Epidendrum Flos Aeris“ с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, даже будучи вырван с корнями. Туземцы подвешивают его на веревке к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет». Великолепно! Но хватит сравнений. Перейдем к Пикантным Фразам.

ПИКАНТНЬЕ ФРАЗЫ. «Классический китайский роман Ю-Киао-Ли».[459] Отлично! Умело вставив эти несколько слов, вы покажете основательное знакомство с языком и литературой Китая. Если воспользоваться ими, можно, пожалуй, обойтись без арабского, санскрита или чикасо[460]. А вот испанский, итальянский, немецкий, латынь и греческий совершенно обязательны. Я подберу вам образцы каждого из них. Любой отрывок годится, потому что использование его в рассказе — это уж дело вашей изобретательности. А теперь пишите!

«Aussi tendre que Zaire» — нежная, как Заира, — вот вам французская фраза. Имеется в виду частое повторение фразы «la tendre Zaire» во французской трагедии того же названия[461]. Приведя ее кстати, вы покажете не только ваши познания во французском языке,

но и общую вашу начитанность и остроумие. Можно, например, сказать, что курица, которую вы ели (допустим, вы пишете о том, как подавились куриной костью), что эта курица далеко не была «aussi tendre que Zaire». Пишите далее!

Ven muerte tan escondida,
Oue no te sienta venir,
Porque el plazer del morir
No me torne a dar la vida.

Это по-испански — из Мигеля де Сервантеса: «Приди скорее, о смерть, но только не показывайся мне, чтобы радость, какую доставит мне твой вид, не возвратила меня к жизни[462]». Это можно вставить весьма кстати, когда вы, подавившись куриной костью, корчитесь в предсмертной агонии. Пишите!

Il pover' huomo che non sen'era accorto,
Andava combattendo, ed era morto.

А это, как видите, по-итальянски — из Ариосто[463]. Речь идет о славном герое, который в пылу битвы не замечает, что убит, и продолжает доблестно сражаться, хотя и мертв. Очевидно, что и это применимо к вашему случаю — ибо я уверен, мисс Психея, что вы будете дрыгать ножками еще часа полтора после того, как подавитесь до смерти этой самой куриной костью. Извольте записывать!

Und sterb' ich doch, so sterb' ich denn
Dutch sir — durch sie!

А вот это по-немецки — из Шиллера: «Пусть это смерть — я смерть вкусил у ног, у ног, у милых ног твоих»[464]. Здесь вы, понятно, обращаетесь к причине вашей гибели — к курице. В самом деле, какой разумный джентльмен (да и дама тоже) откажется умереть ради откормленного каплуна моллукской породы, начиненного каперсами и грибами и сервированного на блюде с гарниром из апельсинового желе

en mosaiques[465] — Записывайте! (Так их подают у Тортони[466]). Записывайте, прошу вас!

Вот отличная маленькая латинская фраза, и притом редкая (латинские фразы надо выбирать возможно короче и изысканней — уж очень они становятся обиходны) — ignoratio elenchi[467]. Кто-то совершил ignoratio elenchi — то есть понял ваши слова, но не мысль. Он попросту дурак. Какой-нибудь бедняга, с которым вы заговорили, когда подавились куриной костью, и который поэтому не вполне понял, о чем вы говорите. Бросьте в него этим ignoratio elenchi, и вы его сразу уничтожите. Если он осмелится возражать, можете ответить ему словами Лукана (вот они), что речи — всего лишь anemonae verborum — слова-анемоны[468]. Анемона красива, но лишена запаха. А если он начнет шуметь, обрушьтесь на него с insomnia Jovis — грезами Юпитера — так Силий Италик[469] (вот он!) называет напыщенные и высокопарные рассуждения. Это наверняка поразит его в самое сердце. Ему останется только опрокинуться на спину и умереть. Итак, записывайте, прошу вас.

По-гречески надо что-нибудь красивое — вот, например, из Демосфена[470]. Anhr o jeugwn kai palin makhsetai[471].

В «Гудибрасе»[472] есть недурной перевод —

В бой может вновь пойти беглец —
Не тот, кого настиг конец.

В рассказе для «Блэквуда» ничем так не блеснешь, как греческим языком. Одни буквы, и те уж смотрят умно. Обратите внимание, мэм, какой проницательный вид у этого Ипсилона! А Фи, право, мог бы быть епископом! А до чего хорош Омикрон! А поглядите на Тау! Одним словом, для настоящего рассказа с ощущениями нет ничего лучше греческого языка. В нашем случае применить его чрезвычайно просто. Выпалите цитату тоном ультиматума, с добавлением громового проклятия, прямо в лицо тупоголовому ничтожеству, не сумевшему понять ваших простых английских слов о куриной кости. Будьте уверены, он поймет намек и удалится.

Вот и все указания, какие мистер Блэквуд дал мне на этот предмет, но я почувствовала, что их вполне достаточно. Теперь я могла наконец

написать настоящий блэквудовский рассказ, и я решила приступить к делу немедленно. Прощаясь со мной, мистер Блэквуд предложил приобрести мой рассказ, когда он будет написан; но так как он мог предложить всего пятьдесят гиней за страницу, я решила лучше отдать его нашему обществу, чем расстаться с ним за столь ничтожную сумму. Несмотря на такую скупость, этот джентльмен во всем прочем отнесся ко мне с большим уважением и был чрезвычайно учтив. Его прощальные слова глубоко запали мне в сердце; и я надеюсь, что всегда буду с признательностью их помнить.

— Дорогая мисс Зенобия, — сказал он со слезами на глазах, — не могу ли я чем-либо еще содействовать успеху вашего достохвального предприятия? Дайте подумать. Возможно, что вам не удастся в ближайшее время утонуть — или подавиться куриной костью — или быть повешенной — или укушенной — но постойте! Я вспомнил, что во дворе есть пара отличных бульдогов — превосходных, поверьте мне — свирепых и все такое прочее-самое для вас подходящее — они вас разорвут, вместе с auriculas, менее чем за пять минут (по часам!) — и подумайте только, что это будут за ощущения! Эй! Том! — Питер! — Дик, где ты там, негодяй? — выпусти их!

Но так как я страшно спешила и не имела ни минуты, пришлось, к сожалению, поторопиться, и я тотчас распрощалась — признаюсь, несколько поспешнее, чем предписано правилами вежливости.

Расставшись с мистером Блэквудом, я прежде всего хотела, согласно его советам, попасть в какую-нибудь беду и с этой именно целью провела большую часть дня на улицах Эдинбурга в поисках рискованных приключений, которые соответствовали бы силе моих чувств и размерам задуманного мною рассказа. Меня сопровождал при этом слуга-негр Помпей и собачка Диана, которых я привезла с собой из Филадельфии. Но только под вечер я сумела осуществить свою нелегкую задачу. Именно тогда произошло важное событие, послужившее темой нижеследующего рассказа в духе журнала «Блэквуд», написанного в смешанной манере.

Ноябрь, 1838

пер. З. Александровой

Трагическое положение (Коса времени)

Что так безмерно огорчило вас,
Прекраснейшая дама?[473]

«Комус»

Был тихий и ясный вечер, когда я вышла пройтись по славному городу Эдине[474]. На улицах царил неописуемый шум и толкотня. Мужчины разговаривали. Женщины кричали. Дети вопили. Свиньи визжали. А повозки — те громыхали. Быки — те ревели. Коровы — те мычали. Лошади — те ржали. Кошки — те мяукали. Собаки — те танцевали. Танцевали! Возможно ли? Танцевали! Увы, подумала я, для меня пора танцев миновала! Так бывает всегда. Целый сонм печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта-созерцателя, в особенности гения, осужденного на непрестанное, постоянное и, можно сказать, длительное — да, длительное и длящееся — горькое, мучительное, тревожащее — и да позволено мне будет сказать — очень тревожащее воздействие ясного, божественного, небесного, возвышенного, возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной, поистине завидной — нет! самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной и, так сказать, самой миленькой (если мне простят столь смелое слово) вещи в целом мире (прости, любезный читатель!). Однако я позволила себе увлечься. Повторяю, в такой душе сколько воспоминаний способен пробудить любой пустяк! Собаки танцевали! А я — я не могла! Они резвились — я плакала. Они прыгали — я горько рыдала. Волнующая картина! Образованному читателю она несомненно напомнит прелестные строки о всеобщем соответствии в начале третьего тома классического китайского романа, великолепного Пью Чай-ли.[475]

В моих одиноких скитаниях по городу у меня было два смиренных, но верных спутника. Диана, милый мой пудель! Прелестное создание! На ее единственный глаз свешивался клок шерсти, на шее был изящно повязан голубой бант. Диана была не

более пяти дюймов росту, но голова ее была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, делал ее общей любимицей и придавал этому незаурядному животному вид оскорбленной невинности.

А Помпей, мой негр! — милый Помпей! Как мне забыть тебя? Я опиралась на руку Помпея. Его рост был три фута (я люблю точность), возраст — семьдесят, а быть может, и восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен. Рот его, равно как и уши, нельзя было назвать маленьким. Однако зубы его были подобны жемчугу, а огромные выпуклые белки сверкали белизной. Природа не наделила его шеей, а щиколотки (что обычно для представителей его расы) поместила в середине верхней части стопы. Он был одет с удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шейного платка в девять дюймов и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде высокому и статному знаменитому доктору Денеггрошу. Это было отличное пальто. Хорошо скроенное. Хорошо сшитое. Пальто было почти новым. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы оно не попало в грязь.

Нас было трое, и двоих я уже описала. Был еще и третий — этим третьим была я сама. Я — синьора Психея Зенобия[476]. А вовсе не Сьюки Снобс. У меня очень импонирующая наружность. В тот памятный день на мне было платье малинового атласа и небесно-голубая арабская мантилья. Платье было отделано зелеными аграфами[477] и семью изящными оборками из оранжевых аурикул[478]. Итак, я была третьей. Был пудель. Был Помпей. И была я. Нас было трое. Говорят, что и фурий было первоначально всего три — Мельти, Нимми и Хетти[479] — Размышление, Память и Пиликанье.

Опираясь на руку галантного Помпея и сопровождаемая па почтительном расстоянии Дианой, я шла по одной из людных и живописных улиц ныне опустелой Эдины. Внезапно моим глазам предстала церковь — готический собор — огромный, старинный, с высоким шпилем, уходившим в небо. Что за безумие овладело мною? Зачем поспешила я навстречу року? Меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда взглянуть на огромный город. Дверь собора была открыта, словно приглашая войти. Судьба моя решилась. Я вступила под мрачные своды. Где был мой ангел-хранитель, если такие ангелы существуют? Если! Короткое,

но зловещее слово! Целый мир тайн, значений, сомнений и неизвестности заключен в твоих четырех буквах! Я вступила под мрачные своды! Я вошла; ничего не задев своими оранжевыми оборками, я прошла под порталом и оказалась в преддверии храма. Так, говорят, огромная река Альфред протекала под морским дном, не портясь и не промокая.

Я думала, что лестнице не будет конца. Кругом! Да, ступени шли кругом и вверх, кругом и вверх, кругом и вверх, пока мне и догадливому Помпею, на которого я опиралась со всей доверчивостью первой привязанности, не пришло в голову, что верхний конец этой колоссальной винтовой лестницы был случайно, а быть может и намеренно, снят. Я остановилась, чтобы передохнуть; и тут произошло нечто слишком важное как в моральном, так и в философском смысле, чтобы можно было обойти это молчанием. Мне показалось — я даже была уверена и не могла ошибиться, ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно наблюдала движения моей Дианы — повторяю, ошибиться я не могла — Диана почуяла крысу! Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он, он согласился со мной. Сомнений быть не могло. Крысу почуяли — и почуяла ее Диана. Силы небесные! Как мне забыть глубокое волнение этой минуты? Увы! Что такое хвалебный ум человека? Крыса! Она была тут, то есть где-то поблизости. Диана почуяла крысу. А я-я. не могла! Так, говорят, прусский Ирис обладает для некоторых сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишен запаха.

Наконец лестница кончилась; всего три-четыре ступеньки отделяли нас от ее верхней площадки. Мы поднялись еще, и нам оставался только один шаг. Один шаг! Один маленький шаг! Сколько людского счастья или горя часто зависит от одного такого шага по великой лестнице жизни! Я подумала о себе, потом о Помпее, а затем о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготевшей над нами. Я подумала о Помпее, увы, я подумала о любви! Я подумала о многих ложных шагах, которые сделаны и еще могут быть сделаны. Я решила быть более сдержанной, более осторожной. Я отняла у Помпея свою руку и сама, без его помощи, преодолела последнюю ступеньку и взошла на колокольню. Мой пудель тотчас последовал за мной. Помпей остался позади. Стоя на верху лестницы, я ободряла его. Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, выпустил пальто,

которое придерживал. Ужели боги не устанут нас преследовать? Пальто упало, и Помпей наступил на его длинные, волочившиеся полы. Он споткнулся и упал — такое следствие было неизбежно. Он упал вперед и своей проклятой головой ударился в мою, в мою грудь; увлекая меня за собою, он свалился па твердый, омерзительно грязный поп колокольни. Но моя месть была решительной, немедленной и полной. Яростно вцепившись обеими руками в его шерстистую голову, я выдрала большие клочья этой жесткой, курчавой черной шерсти и с презрением отшвырнула их прочь. Они упали среди колокольных веревок и там застряли. Помпей поднялся и не произнес ни слова. Он лишь жалобно посмотрел на меня своими большими глазами — и вздохнул. О боги, что это был за вздох! Он проник в мое сердце, А эти волосы, эта шерсть! Если бы я могла до нее дотянуться, я омочила бы ее слезами раскаяния. Но увы! Она была теперь недосягаема. Качаясь среди колокольных веревок, она казалась мне все еще живою. Мне чудилось, что она встала дыбом от негодования. Так, говорят, Хэппиденди Флос Аэрис с острова Ява очень красиво цветет и продолжает жить, если его выдернуть с корнями. Туземцы подвешивают его к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет.

Мы помирились и оглянулись вокруг себя, ища отверстия, из которого открывался бы вид на город Эдину. Окон там не было. Свет проникал в мрачное помещение только через квадратный проем диаметром около фута, находившийся футах в семи от пола. Но чего не совершит энергия истинного гения! Я решила добраться до этого отверстия. Под ним находилось множество колес, шестерен и других таинственных частей часового механизма, а сквозь отверстие шел от этого механизма железный стержень. Между колесами и стеной едва можно было протиснуться — но я была исполнена отчаянной решимости и упорствовала в своем намерении. Я подозвала Помпея.

— Видишь это отверстие, Помпей? Я хочу оттуда выглянуть. Стань прямо под пим, вот здесь. Теперь вытяни руку, и я на нее встану, вот так. А теперь другую руку, Помпей, и я влезу тебе па плечи.

Он сделал все, чего я хотела, и, когда я выпрямилась, оказалось, что я легко могу просунуть в проем голову и шею. Вид открывался дивный. Ничто не могло быть великолепнее. Я только велела Диане вести себя смирно, а Помпея заверила, что буду его щадить и

постараюсь не слишком давить ему на плечи. Я сказала, что буду с ним нежна — «осси тандр ке бифштекс»[480]. Проявив таким образом должное внимание к моему верному другу, я с восторгом и упоением предалась созерцанию пейзажа, столь услужливо представившегося моему взору.

Впрочем, на эту тему я не буду распространяться. Я не стану описывать город Эдинбург. Все побывали в Эдинбурге — древней Эдине. Я ограничусь важнейшими подробностями собственных злоключений. Удовлетворив отчасти свое любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я успела затем оглядеть церковь, в которой находилась, и изящную архитектуру ее колокольни. Я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов и снизу должно было казаться дырочкой для ключа, какие бывают у французских карманных часов. Оно несомненно предназначалось для того, чтобы часовой мастер мог просунуть руку и в случае надобности перевести стрелку изнутри. Я с изумлением увидела также, насколько велики эти стрелки, из которых более длинная имела в длину не менее десяти футов, а в самом широком месте — около девяти дюймов ширины. Стрелки были, как видно, из твердой стали, и края их казались очень острыми. Заметив эти и некоторые другие подробности, я снова обратила свой взор на великолепную панораму, расстилавшуюся внизу, и погрузилась в ее созерцание.

Спустя несколько минут меня отвлек от этого голос Помпея, который заявил, что дольше не может выдержать, и попросил, чтобы я была так добра и слезла. Требование было неблагоразумным, и я ему это высказала в довольно пространной речи. Он отвечал, но явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик сказала ему, что он дурак, совершил «игнорамус» и «клянчит»; что все его понятия — «инсоммари явис», и слова не лучше — какие-то «аниманинаборы». Этим он, по-видимому, удовлетворился, а я вернулась к созерцанию.

Через какие-нибудь полчаса после нашей словесной стычки, все еще поглощенная божественным ландшафтом, расстилавшимся подо мною, я вздрогнула от прикосновения чего-то очень холодного, слегка нажавшего мне сзади на шею. Излишне говорить, как я перепугалась. Я знала, что Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, по моему

строгому приказу, сидит на задних лапках в дальнем углу помещения. Что же это могло быть? Увы! Я слишком скоро это узнала. Слегка повернув голову, я к своему величайшему ужасу увидела, что огромная, блестящая минутная стрелка, подобная мечу, обращаясь вокруг циферблата, достигла моей шеи. Я поняла, что нельзя терять ни секунды. Я рванулась назад — но было слишком поздно. Я уже не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она попала и которая продолжала смыкаться с ужасающей быстротой. Ужас этого мгновения невозможно себе представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было пытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась все ниже, ниже и ниже и все ближе ко мне. Я позвала на помощь Помпея, но оп сказал, что я его обидела, назвав старым дураком, который клянчит. Я громко позвала Диану, но та ответила только «вау, вау» и еще, что я «не велела ей ни в коем случае выходить из угла». Итак, от моих спутников нечего было издать помощи.

Между тем массивная и страшная Коса Времени (ибо теперь я поняла буквальное значение этой классической фразы) продолжала свое безостановочное движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на целый дюйм впился в мое тело, и мысли мои начали мешаться. Я видела себя то в Филадельфии, в обществе статного доктора Денеггроша, то в приемной мистера Блэквуда[481], где слушала его драгоценные наставления. А потом вдруг нахлынули сладостные воспоминания о прежних, лучших днях, и я перенеслась в то счастливое время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был менее жестокосерд.

Тиканье механизма забавляло меня. Повторяю, забавляло, ибо теперь мое состояние граничило с полным блаженством, и каждый пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее тик-так, тик-так, тик-так звучало в моих ушах дивной музыкой и порою даже напоминало прекрасные проповеди доктора Оллапода[482]. А крупные цифры на циферблате — какой умный у них был вид! Они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне поправилось исполнение ее цифрой V. Она, несомненно, получила отличное воспитание. В ней не было ничего вульгарного, а в движениях — ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, крутясь на своем остром конце. Я попыталась было предложить ей стул, ибо она

казалась утомленной танцем — и только тут вполне поняла свое безвыходное положение. Поистине безвыходное! Стрелка врезалась мне в шею уже на два дюйма. Я ощущала нестерпимую боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно повторяла прекрасные стихи поэта Мигеля де Сервантеса:

Ванни Бюрен[483], тан эскондида,
Квори но ти сенти венти
Полк на пляже делли мори
Номми, торни, дари види.

Но меня ожидало новое бедствие, невыносимое даже для самых крепких нервов. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как трудно будет без них обойтись, один из них вывалился и, скатившись с крутой крыши колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания. Не столь обидна была потеря глаза, сколько нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он глядел на меня, после того как выпал. Он лежал в водосточном желобе у меня под носом и напускал на себя важность, которая была бы смешна, если бы не была противна. Никогда еще ни один глаз так не хлопал и не подмигивал. Подобное поведение моего глаза не только раздражало меня своей явной дерзостью и гнусной неблагодарностью, но и причиняло мне крайнее неудобство вследствие сродства, которое всегда существует между двумя глазами одной и той же головы, какое бы расстояние их ни разделяло. Поэтому я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с мерзавцем, лежавшим у меня перед носом. Вскоре, однако, пришло облегчение, так как выпал и второй глаз. Он упал туда же, куда его собрат (возможно, тут был сговор). Они вместе выкатились из водостока, и я, признаться, была рада от них избавиться.

Стрелка врезалась мне в шею уже на четыре с половиной дюйма, и ей оставалось только перерезать последний лоскуток кожи. Я испытывала полное счастье, ибо сознавала, что всего через несколько минут придет конец моему неприятному положению. В этих ожиданиях я не обманулась. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка продвинулась на своем страшном пути

настолько, что перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделилась от моего туловища. Она скатилась по стене колокольни, па миг задержалась в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, оказалась посреди улицы.

Должна откровенно признаться, что теперь мои ощущения приняли чрезвычайно странный, нет, более того, таинственный и непонятный характер. Мое сознание находилось одновременно и тут и там. Головой я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена именно в туловище. Желая прояснить свои мысли на этот счет, я полезла в карман за табакеркой, но достав ее и попытавшись обычным образом применить щепотку ее приятного содержимого, я тотчас поняла свою несостоятельность и кинула табакерку вниз, своей голове. Она с большим удовольствием понюхала табаку и улыбнулась мне в знак признательности. Вскоре после этого она обратилась ко мне с речью, которую я плохо расслышала за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить при таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариосто:

Иль повер омо ке нон серри корти
И лихо бился тенти эрри мертви,

сравнивая меня таким образом с героем, который в пылу битвы не заметил, что он мертв, и продолжал доблестно сражаться. Теперь ничто уже не мешало мне сойти с моего возвышения, что я и сделала. Но что уж такого особенно странного увидел во мне Помпей, я и поныне не знаю. Он разинул рот до ушей, а глаза зажмурил так крепко, точно собирался колоть орехи между век. Затем, сбросив свое пальто, он мотнулся к лестнице и исчез. Я бросила вслед негодяю страстные слова Демосфена:

— Эндрью О'Флегетон, как можешь бросать меня? — и повернулась к своей любимице, к одноглазой лохматой Диане. Увы! Что за страшное зрелище предстало моим глазам! Неужели это крыса юркнула только что в нору? А это — неужели это обглоданные кости

моего ангелочка, съеденного злобным чудовищем? О боги! Что я вижу — не тень ли это, не призрак ли, не дух ли моей любимой собачки сидит в углу с такой меланхолической грацией? Но чу! Она заговорила, и о небо! на языке Шиллера:

Унт штабби дак, зо штабби дун
Дук зи! Дук зи!

Увы! Сколько правды в ее словах!

Пусть это смерть — я смерть вкусил
У ног, у ног, у милых ног твоих.

Нежное создание! Она тоже пожертвовала собою ради меня. Без собаки, без негра, без головы, что еще остается несчастной синьоре Психее Зенобии? Увы, ничего! Все кончено.

Ноябрь, 1838

пер. З. Александровой

Чёрт на колокольне

«Который час?»

Известное выражение

Решительно всем известно, что прекраснейшим местом в мире является — или, увы, являлся — голландский городок Школькофремен. Но ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от больших дорог, в захолустной местности, быть может, лишь весьма немногим из моих читателей довелось в нем побывать. Поэтому ради тех, кто в нем не побывал, будет вполне уместно сообщить о нем некоторые сведения. Это тем более необходимо, что, надеясь пробудить сочувствие публики к его жителям, я намереваюсь поведать здесь историю бедственных событий, недавно происшедших в его пределах. Никто из знающих меня не усомнится в том, что долг, мною на себя добровольно возложенный, будет выполнен в полную меру моих способностей, с тем строгим беспристрастием, скрупулезным изучением фактов и тщательным сличением источников, коими ни в коей мере не должен пренебрегать тот, кто претендует на звание историка.

Пользуясь помощью летописей купно с надписями и древними монетами, я могу утверждать о Школькофремене, что он со своего основания находился совершенно в таком же состоянии, в каком пребывает и ныне. Однако с сожалением замечу, что о дате его основания я могу говорить лишь с той неопределенной определенностью, с какой математики иногда принуждены мириться в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как все на земле, и существует с сотворения мира.

С прискорбием сознаюсь, что происхождение названия «Школькофремен» мне также неведомо. Среди множества мнений по этому щекотливому вопросу — из коих некоторые остроумны, некоторые учены, а некоторые в достаточной мере им противоположны — не могу выбрать ни одного, которое следовало бы счесть удовлетворительным. Быть может, гипотеза Шнапстринкена, почти совпадающая с гипотезой Тугодумма, при известных оговорках

заслуживает предпочтения. Она гласит: «Школько» — читай — «горький» — горячий', «фремен» — непр. — вм. «кремень»; видимо, идиом. для «молния». Такое происхождение этого названия, по правде говоря, поддерживается также некоторыми следами электрического флюида, еще замечаемыми на острие шпиля ратуши. Однако я не желаю компрометировать себя, высказывая мнения о столь важной теме, и должен отослать интересующегося читателя к труду «Oratiunculoe de Rebus Proeter-Veteris»[484] сочинения Брюкенгромма. Также смотри Вандерстервен, «De Derivationibus»[485] (стр. 27 — 5010, фолио, готич. изд., красный и черный шрифт, колонтитул и без арабской пагинации), где можно также ознакомиться с заметками на полях Сорундвздора и комментариями Тшафкенхрюккена[486].

Несмотря на тьму, которой покрыты дата основания Школькофремена и происхождение его названия, не может быть сомнения, как я уже указывал выше, что он всегда выглядел совершенно так же, как и в нашу эпоху. Старейший из жителей не может вспомнить даже малейшего изменения в облике какой-либо его части; да и самое допущение подобной возможности сочли бы оскорбительным. Городок расположен в долине, имеющей форму правильного круга, — около четверти мили в окружности, — и со всех сторон его обступают пологие холмы, перейти которые еще никто не отважился. При этом они ссылаются на вполне здравую причину: они не верят, что по ту сторону холмов хоть что-нибудь есть.

По краю долины (совершенно ровной и полностью вымощенной кафелем) расположены, примыкая друг к другу, шестьдесят маленьких домиков. Домики эти, поскольку задом они обращены к холмам, фасадами выходят к центру долины, находящемуся ровно в шестидесяти ярдах от входа в каждый дом. Перед каждым домиком маленький садик, а в нем — круговая дорожка, солнечные часы и двадцать четыре кочана капусты. Все здания так схожи между собой, что никак невозможно отличить одно от другого. Ввиду большой древности архитектура у них довольно странная, но тем не менее она весьма живописна. Выстроены они из огнеупорных кирпичиков — красных, с черными концами, так что стены похожи на большие шахматные доски. Коньки крыш обращены к центру площади; вторые этажи далеко выступают над первыми. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частым переплетом. Крыши покрыты

черепицей с высокими гребнями. Деревянные части — темного цвета; и хоть на них много резьбы, но разнообразия в ее рисунке мало, ибо с незапамятных времен резчики Школькофремена умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но вырезывают они их отлично, и притом о поразительной изобретательностью — везде, где только хватит места для резца.

Жилища так же сходны между собой внутри, как и снаружи, и мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты квадратиками кафеля; стулья и столы с тонкими изогнутыми ножками сделаны из дерева, похожего на черное. Полки над каминами высокие и черные, и на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются на самой середине полок; часы необычайно громко тикают; по концам полок, в качестве пристяжных, стоят цветочные горшки; в каждом горшке по капустному кочану. Между горшками и часами стоят толстопузые фарфоровые человечки; в животе у каждого из них большое круглое отверстие, в котором виден часовой циферблат.

Камины большие и глубокие, со стоячками самого фантастического вида. Над вечно горящим огнем — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда наблюдает хозяйка дома. Это маленькая толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову, чепце, украшенном лиловыми и желтыми лентами. На ней оранжевое платье из полушерсти, очень широкое сзади и очень короткое в талии, да и вообще не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоватые, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Ее туфли — из розовой кожи, с пышными пучками желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее тяжелые голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом с ней стоит жирная полосатая кошка, к хвосту которой мальчики потехи ради привязали позолоченные игрушечные часы с репетиром.

Сами мальчики — их трое — в саду присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треуголки, доходящие до бедер лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и длинные сюртучки с крупными перламутровыми

пуговицами. У каждого в зубах трубка, а в правой руке — маленькие пузатые часы. Затянутся они — и посмотрят на часы, посмотрят — и затянутся. Дородная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается лягнуть позолоченные часы с репетиром, которые мальчишки привязали к ее хвосту, дабы она была такой же красивой, как и кошка.

У самой парадной двери, в обитых кожей креслах с высокой спинкой и такими же изогнутыми ножками, как у столов, сидит сам хозяин дома. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и огромным двойным подбородком. Одет он так же, как и дети, — и я могу об этом более не говорить. Вся разница в том, что трубка у него несколько больше и дым он пускает обильнее. Как и у мальчиков, у него есть часы, но он их носит в кармане. Говоря по правде, ему надо следить кое за чем поважнее часов, — а за чем, я скоро объясню. Он сидит, положив правую ногу на левое колено, облик его строг, и, по крайней мере, один его глаз всегда прикован к некоей примечательной точке в центре долины.

Точка эта находится на башне городской ратуши. Советники ратуши — все очень маленькие, кругленькие, масленые и смышленые человечки с большими, как блюдца, глазами и толстыми двойными подбородками, а сюртуки у них гораздо длиннее и пряжки на башмаках гораздо больше, нежели у обитателей Школькофремена. За время моего пребывания в городе у них состоялось несколько особых совещаний, и они приняли следующие три важных решения:

«Что изменять добрый старый порядок жизни нехорошо»;

«Что вне Школькофремена нет ничего даже сносного» и

«Что мы будем держаться наших часов и нашей капусты».

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся и находились с времен незапамятных гордость и диво этого города — главные часы Школькофремена. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, сидящих в кожаных креслах.

У часов семь циферблатов — по одному на каждую из сторон колокольни, — так что их легко увидеть отовсюду. Циферблаты

большие, белые, а стрелки тяжелые, черные. Есть специальный смотритель, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершеннейший вид синекуры, ибо со школькофременскими часами никогда еще ничего не случалось. До недавнего времени даже предположение об этом считалось ересью. В самые древние времена, о каких только есть упоминания в архивах, большой колокол регулярно отбивал время. Да, впрочем, и все другие часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным сказать: «Двенадцать часов!» — все его верные последователи одновременно разверзали глотки и откликались, как само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры любили кислую капусту, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у школькофременского смотрителя колокольни совершеннейший вид синекуры, то и уважают его больше, нежели кого-нибудь на свете. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него снизу вверх с глубоким почтением. Фалды его сюртука гораздо длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он не только двойной, а даже тройной.

Вот я и описал счастливый уголок Школькофремен. Какая жалость, что столь прекрасная картина должна была перемениться на обратную!

Давно уж мудрейшие обитатели его повторяли: «Из-за холмов добра не жди», — и в этих словах оказалось нечто пророческое. Два дня назад, когда до полудня оставалось пять минут, на вершине холмов с восточной стороны появился предмет весьма необычного вида. Такое происшествие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаных креслах, смятенно устремил один глаз на это явление, не отрывая второго глаза от башенных часов.

Когда до полудня оставалось всего три минуты, любопытный предмет на горизонте оказался миниатюрным молодым человеком чужеземного вида. Он с необычайной быстротой спускался с холмов, так что скоро все могли подробно рассмотреть его. Воистину это был самый жеманный франт из всех, каких когда-либо видели в Школькофремене. Цвет его лица напоминал темный нюхательный табак, у него был длинный крючковатый нос, глаза — как горошины,

широкий рот и прекрасные зубы, которыми он, казалось, стремился перед всеми похвастаться, улыбаясь до ушей; бакенбарды и усы скрывали остальную часть его лица. Он был без шляпы, с аккуратными папильотками в волосах. На нем был плотно облегающий фрак (из заднего кармана которого высовывался длиннейший угол белого платка), черные кашемировые панталоны до колен, черные чулки и тупоносые черные лакированные туфли с громадными пучками черных атласных лент вместо бантов. К одному боку он прижимал локтем громадную шляпу, а к другому — скрипку, почти в пять раз больше него самого. В левой руке он держал золотую табакерку, из которой, сбегая с прискоком с холма и выделывая самые фантастические па, в то же время непрерывно брал табак и нюхал его с видом величайшего самодовольства. Вот это, доложу я вам, было зрелище для честных бюргеров Школькофремена!

Проще говоря, у этого малого, несмотря на его ухмылку, лицо было дерзкое и зловещее; и когда он, выделывая курбеты, влетел в городок, странные, словно обрубленные носки его туфель вызвали немалое подозрение; и многие бюргеры, видевшие его в тот день, согласились бы даже пожертвовать малой толикой, лишь бы заглянуть под белый батистовый платок, столь досадно свисавший из кармана его фрака. Но главным образом этот наглого вида франтик возбудил праведное негодование тем, что, откалывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счет.

Добрые горожане, впрочем, и глаз-то как следует открыть не успели, когда этот негодяй — до полудня оставалось всего полминуты-очутился в самой их гуще; тут «шассе», там «балансе», а потом, сделав пируэт и па-де-зефир, вспорхнул прямо на башню, где пораженный смотритель сидел и курил, исполненный достоинства и отчаяния. А человечек тут же схватил его за нос и дернул как следует, нахлобучил ему на голову шляпу, закрыв ему глаза и рот, а потом замахнулся большой скрипкой и стал бить его так долго и старательно, что при соприкосновении столь попой скрипки со столь толстым смотрителем можно было подумать, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на башне школькофременской ратуши.

Кто знает, к какому отчаянному возмездию побудило бы жителей это бесчестное нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до

полудня оставалось только полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а внимательное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью. Однако было очевидно, что в тот самый миг пришелец проделывал с часами что-то неподобающее. Но часы забили, и ни у кого не было времени следить за его действиями, ибо всем надо было считать удары колокола.

— Раз! — сказали часы.

— Расс! — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла в Школькофремене. «Расс!» — сказали его часы; «расс!» — сказали часы его супруги, и «расс!» — сказали часы мальчиков и позолоченные часики с репетиром на хвостах у кошки и у свиньи.

— Два! — продолжал большой колокол; и

— Тфа! — повторили все за ним.

— Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! — сказал колокол.

— Три! Тшетире! Пиать! Шшесть! Зем! Фосем! Тефять! Тесять! — ответили остальные.

— Одиннадцать! — сказал большой.

— Отиннатсать! — подтвердили маленькие.

— Двенадцать! — сказал колокол.

— Тфенатсать! — согласились все, удовлетворенно понизив голос.

— Унд тфенатсать тшасофф и есть! — сказали все старички, поднимая часы.

Но большой колокол еще с ними не покончил.

— Тринадцать! — сказал он.

— Дер Тейфель! — ахнули старички, бледнея, роняя трубки в снимая правые ноги с левых колен.

— Дер Тейфель! — стонали они. — Дряннатсать! Дряннатсать! Майн Готт, сейтшас, сейтшас дряннатсать тшасофф!

К чему пытаться описать последовавшую ужасную сцену? Всем Школькофременом овладело прискорбное смятение.

— Што с моим шифотом! — возопили все мальчики. — Я целый тшас колотаю!

— Што с моей капустой? — визжали все хозяйки. — Она за тшас вся расфарилась!

— Што с моей трупкой? — бранились все старички. — Кром в молния! Она целый тшас, как покасла! — И в гневе они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так стремительно и свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

Тем временем все капустные кочаны покраснели, и казалось, сам нечистый вселился во все, имеющее вид часов. Часы, вырезанные на мебели, заплясали, точно бесноватые; часы на каминных полках едва сдерживали ярость и не переставали отбивать тринадцать часов, а маятники так дрыгались и дергались, что страшно было смотреть. Но еще хуже то, что ни кошки, ни свиньи не могли больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совали рыла, визжали и верещали, мяукали и хрюкали, кидались людям в лицо и забирались под юбки — словом, устроили самый омерзительный гомон и смятение, какие только может вообразить здравомыслящий человек. А в довершение всех зол негодный маленький шалопай на колокольне, по-видимому, старался вовсю. Время от времени мерзавца можно было увидеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне на упавшем навзничь смотрителе. В зубах злодей держал веревку колокола, которую дергал, мотая головой, и при этом поднимал такой шум, что у меня до сих пор в ушах звенит, как вспомню. На коленях у него лежала скрипка, которую он скреб обеими руками, немилосердно фальшивя, делая вид, бездельник, будто играет «Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти»[487].

При столь горестном положении вещей я с отвращением покинул этот город и теперь взываю о помощи ко всем любителям точного времени и кислой капусты. Направимся туда в боевом порядке и восстановим в Школькофремене былой уклад жизни, изгнав этого малого с колокольни.

18 мая, 1839

пер. В. Рогова

Человек, которого изрубили в куски. Повесть о последней Бугабуско-Кикапуской[488] кампании

Pleurez, pleurez, mes yeux, et fondez-vous en eau!
La moitie de ma vie a mis l'autre au tombeau.

Corneille[489]

Не могу припомнить, когда и где я впервые познакомился с этим красавцем-мужчиной — бревет[490]-бригадным генералом Джоном А. Б. В. Смитом. Кто-то меня ему представил, в этом я совершенно уверен — в каком-то собрании, это я знаю точно, — посвященном, конечно, чему-то необычайно важному, — в каком-то доме, я ни минуты в том не усомнюсь, — только где именно, я почему-то никак не могу припомнить. Сказать по чести, при этом я испытывал некое смущение и тревогу, помешавшие мне составить хоть сколько-нибудь определенное впечатление о месте и времени нашего знакомства. По природе я очень нервен — у нас это в роду, и тут уже я ничего не могу поделать. Малейший намек на таинственность, любой пустяк, не совсем мне понятный, мгновенно приводит меня в самое жалкое состояние.

Во всем облике упомянутого господина было что-то… как бы это сказать… замечательное, — да, замечательное, хотя слово это слишком невыразительно и не может передать всего, что я подразумеваю. Роста в нем было, должно быть, футов шесть, а вид чрезвычайно властный. Была во всей его манере некая air distingue[491], выдающая высокое воспитание, а возможно, и происхождение. В этом вопросе — вопросе о внешности Смита — я хотел бы позволить себе горькое удовольствие быть точным. Его шевелюра сделала бы честь самому Бруту — по блеску и пышности ей не было равных. Цвет воронова крыла — и тот же цвет, или, вернее, отсутствие цвета в его божественных усах. Вы замечаете, конечно, что о последних я не могу говорить без восторга; я не побоюсь сказать, что под солнцем не было других таких усов. Они

обрамляли, а кое-где и прикрывали несравненные уста. Зубы бесподобной формы блистали невероятной белизной, и в подобающих случаях из его горла лился голос сверхъестественной чистоты, мелодичности и силы. Что до глаз, то и тут мой новый знакомец был наделен совершенно исключительно. За каждый из них можно было, не дрогнув, отдать пару обычных окуляров. Огромные, карие, они поражали глубиной и сиянием и слегка косили — чуть-чуть, совсем немного, как раз столько, сколько требуется, чтобы придать взору интересную загадочность.

Такой груди, как у генерала, я в своей жизни, безусловно не встречал. При всем желании в ней нельзя было найти ни единого дефекта. Она на редкость шла к плечам, которые вызвали бы краску стыда и неполноценности на лице мраморного Аполлона. У меня к хорошим плечам страсть — смею сказать, что никогда ранее не видел такого совершенства. Руки у него имели форму безукоризненную. Не менее выразительны были и нижние конечности. Это были прямо-таки не ноги, a nec plus ultra[492] прекрасных ног. Любой знаток нашел бы их безупречными. Они были не слишком толсты и не слишком тонки, без грубости, но и без излишней хрупкости. Более изящного изгиба, чем в его os femoris[493], я и представить не могу, а fibula[494] его слегка выгибалась сзади как раз настолько, сколько необходимо для истинно пропорциональной икры. Мне очень жаль, что мой юный и талантливый друг, скульптор Дребеззино не видел ног бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита.

Но хоть мужчин с такой великолепной внешностью на свете совсем не так много, как звезд в небе или грибов в лесу, все же я не мог заставить себя поверить, что то поразительное нечто, о котором я говорил, — тот странный аромат je ne sais quo![495], который витал вокруг моего нового знакомца, — крылся, — нет, этого не может быть! — исключительно в телесном его совершенстве. Возможно, дело тут было в его манере, — впрочем, и тут я ничего не могу утверждать наверное. В осанке его была некая принужденность, хоть я и побоюсь назвать ее чопорностью; в каждом движении некая прямоугольная рассчитанность и точность, которая в фигуре более мелкой слегка отдавала бы высокомерием, позой или напыщенностью, но в господине масштабов столь внушительных вполне объяснялась сдержанностью или даже hauteur[496] весьма приятного свойства,

короче, чувством достоинства, вполне естественным при таких колоссальных пропорциях.

Любезный приятель, представивший меня генералу Смиту, шепнул мне кое-что о нем на ухо.

— Замечательный человек — человек весьма замечательный — о-о! один из самых замечательных людей нашего века! Любимец дам — немудрено — репутация героя.

— Тут у него нет соперников — отчаянная голова, настоящий лев, можете мне поверить, — шептал мой приятель, еще пуще понижая при этих словах голос и приводя меня в крайнее волнение своим таинственным тоном. — Настоящий лев, можете мне поверить. Да, он себя показал в последнем сражении с индейцами племени бугабу и кикапу — в болотах на крайнем юге. (Тут мой приятель широко открыл глаза). Господи боже — гром и молния! — кровь потоками — чудеса храбрости! — конечно, слышали о нем? Знаете, он тот самый человек…

— Вот он, тот самый человек, который мне нужен. Как поживаете, мой друг? Что поделываете? Душевно рад вас видеть, — перебил тут моего приятеля подошедший генерал, тряся ему руку и отвешивая мне, когда я был ему представлен, деревянный, но низкий поклон. Помню, я подумал (и мнение свое я не изменил), что никогда в жизни не слышал голоса звучнее и чище, не видел зубов такой белизны; впрочем, должен признаться, что пожалел о том, что нас прервали, ибо мой приятель своим шепотом и недомолвками возбудил во мне живейший интерес к герою бугабуско-кикапуской кампании.

Впрочем, блестящее остроумие бревет-бригадного генерала Джона А. Б. В. Смита вскоре полностью рассеяло эту досаду. Приятель нас тут же оставил, и мы имели долгий tete-a-tete не только приятный, но и весьма поучительньй. Мне не доводилось встречать человека, который так легко и в то же время с таким глубоким знанием говорил бы на самые разные темы. И все же он с достойной скромностью избегал касаться предмета, более всего меня волновавшего, — я говорю о таинственных обстоятельствах бугабуской войны; я же, со своей стороны, из вполне понятной деликатности не решался завести о них разговор первым, хотя, признаться, мне чрезвычайно этого хотелось. Я заметил также, что доблестный воин предпочитал философские темы и что с особым вдохновением говорил он о

необычайных успехах механики. О чем бы я ни заводил речь, он неизменно возвращался.

— Нет, но вы только подумайте, — говорил он, — мы удивительный народ и живем в удивительный век. Парашюты и железные дороги, капканы на людей и скорострельные ружья! На всех морях наши суда, и с минуты на минуту отроется регулярное сообщение — на воздушных шарах Нассау[497] — между Лондоном и Тимбукту[498] — билет в один конец всего двадцать фунтов стерлингов! А кто измерит огромное влияние на жизнь общества — на искусство — торговлю — литературу — исследования — великих принципов электромагнетизма! И это далеко не все, позвольте мне вас заверить. Изобретениям поистине нет конца. Самое удивительное — самое хитроумное — и позвольте вам заметить, мистер… мистер… Томпсон, — если не ошибаюсь? — так вот, позвольте вам заметить, что самые полезные — действительно полезные механические приспособления что ни день появляются, как грибы после дождя, если можно так выразиться, — или, если употребить еще более свободное сравнение, плодятся… гм… как кролики… как кролики, мистер Томпсон… вокруг нас… и гм… гм… гм… возле нас!

Разумеется, меня зовут совсем не Томпсон, но стоит ли говорить, что я попрощался с генералом Смитом, чувствуя, что мой интерес к нему возрос неизмеримо, преклоняясь перед его даром собеседника и гордясь тем, что мы живем в век удивительных открытий. Впрочем, любопытство мое не было удовлетворено, и я решил, не откладывая, расспросить своих знакомых о самом бревет-бригадном генерале и особенно о великих событиях quorum pars magna fuit[499] во время бугабуской и кикапуской кампании.

Случай мне вскоре представился — и я не замедлил (horresco referens[500]) им воспользоваться — в церкви достопочтенного доктора Трамтарарамма, где однажды в воскресенье во время проповеди я очутился на скамье бок о бок с моей достойнейшей и обаятельнейшей приятельницей мисс Табитой Т. Увидев это, я поздравил себя — не без весьма серьезных оснований — с чрезвычайно удачным положением дел. Если кто-нибудь и знал что-нибудь о бревет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите, то — тут я ни на минуту не сомневался — то

была мисс Табита Т. Мы переглянулись, а затем приступили sotto voce[501] к быстрому tete-a-tete.

— Смит! — отвечала она в ответ на мою взволнованную просьбу. — Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Господи, я думала, вы о нем все знаете] Век открытий! Удивительный век! Ужасная история — кровожадная банда негодяев, эти кикапу — дрался, как герой, — чудеса храбрости — бессмертная слава! Смит! Бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В.! Да, знаете, это тот самый человек…

— Человек, — загремел тут во весь голос доктор Трамтарарамм и так грохнул по кафедре, что у нас зазвенело в ушах, — человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит и опадает…[502]

Дрожа, я отпрянул от мисс Табиты, поняв по раскрасневшемуся лицу богослова, что гнев, едва не оказавшийся для кафедры роковым, был вызван нашим перешептыванием. Делать нечего — я покорился судьбе и со смирением мученика выслушал в благоговейном молчании эту прекрасную проповедь.

Следующий вечер застал меня в театре «Чепуха», куда я явился, правда, с некоторым опозданием, в уверенности, что стоит мне только зайти в ложу очаровательных Арабеллы и Миранды Познаванти, всегда поражавших меня своей добротой и всеведением, как любопытство мое будет удовлетворено. Зал был переполнен — в тот вечер Кульминант, этот превосходный трагик, играл Яго, и мне было нелегко объяснить, чего я хочу, ибо ложа наша была крайней и прямо-таки нависала над сценой.

— Смит! — сказала мисс Арабелла. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.?

— Смит! — протянула задумчиво Миранда. — Боже! Видали вы когда-нибудь такую несравненную фигуру?

— Никогда, сударыня, но скажите, прошу вас…

— Такую несравненную грацию?

— Никогда, даю вам слово! Но, умоляю, скажите мне…

— Такое прекрасное чувство сцены?

— Сударыня!

— Такое тонкое понимание подлинных красот Шекспира? Вы только взгляните на эту ногу!

— Черт! — И я повернулся к ее сестре.

— Смит! — сказала она. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? Страшные негодяи, эти бугабу! Дикари — и все такое — но мы живем в век изобретений! Удивительный век! — Смит! — Да! великий человек — отчаянная голова! — вечная слава! — чудеса храбрости! — Никогда о нем не слышат! (Вопль) Господи, да это тот человек…

— Вы человек иль нет! Где ваше сердце?[503] — заорал тут Кульминант мне прямо в ухо, грозясь кулаком с такой наглостью, которой я не намерен был сносить. Я немедленно покинул мисс Познаванти, отправился за кулисы и задал этому жалкому негодяю такую трепку, какая, надеюсь, запомнилась ему на всю жизнь.

Я был уверен, что на soiree[504] у прелестной вдовушки миссис Кетлин О'Вист меня не ждет подобное разочарование. Не успел я усесться за карточный стол vis-a-vis с моей хорошенькой хозяйкой, как тут же завел речь о тайне, разрешение которой стало столь важным для спокойствия моей души.

— Смит! — сказала моя партнерша. — Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история, не так ли? — невероятные негодяи эти кикапу! Это вист, мистер Глупп, — не забывайте, пожалуйста! Впрочем, в наш век изобретений, в этот, можно сказать, великий век — век par excellence[505] — вы говорите по-французски? — просто герой — отчаянная голова! — нет червей, мистер Глупп? Я этому не верю! — вечная слава и все такое — чудеса храбрости! Никогда не слышали?! Какая фигура! А какие ман…

— Манн! Капитан Манн! — завопила тут какая-то дамочка из дальнего угла. — Вы говорите о капитане Манне и его дуэли? О, пожалуйста, расскажите, я должна это услышать. — Прошу вас, миссис О'Вист, продолжайте, — о, пожалуйста, расскажите нам все!

И миссис О'Вист рассказала — бесконечную историю о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили[506], — а лучше б и застрелили, и повесили фазу! Да! Миссис (УВист вошла в азарт, ну а я — я вышел из комнаты. В тот вечер не было уже никакой надежды узнать что-либо о бревет-бригадном генерале Джоне А. Б. В. Смите.

Я утешал себя мыслью, что не вечно же судьба будет ко мне так неблагосклонна, и потому решил смело потребовать информации на рауте у этого ангела, этой чаровницы, изящнейшей миссис Пируэтт.

— Смит! — сказала миссис Пируэтт, кружась со мной в pas-de-zephyr.

— Смит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Ужасная история с этими бугабу, не так ли? — ужасные создания эти индейцы! — тяните носок, тяните носок! Мне просто стыдно за вас! — человек необычайного мужества, бедняга! — но наш век — век удивительных изобретений! — о боже, я совсем задохнулась — отчаянная голова — чудеса храбрости! — никогда не слышали?! — Я не могу этому поверить! — Придется мне сесть и все вам рассказать. — Смит! да это тот самый человек…

— Век, век, а я вам говорю, Бронзовый век, — вскричала тут мисс Синье-Чулокк, когда я подвел миссис Пируэтт к креслу. — Говорят вам, «Бронзовый век», а вовсе не «Бронзовый внук». Тут мисс Синье-Чулокк властным тоном подозвала меня; пришлось мне волей-неволей оставить миссис Пируэтт, чтобы сказать решающее слово в споре о какой-то поэме лорда Байрона[507]. Без долгих размышлений я тут же заявил, что она, конечно, называется «Бронзовый внук» и ни в коем случае не «Бронзовый век», но, вернувшись к креслу миссис Пируэтт, обнаружил, что она исчезла, и тут же удалился, проклиная мисс Синье-Чулокк и всю ее фамилию.

Дело принимало нешуточный оборот, и я решил, не тратя попусту времени, навестить моего ближайшего друга Теодора Клеветона, ибо я понимал, что у него-то я получу хоть какие-то сведения.

— Сми-ит! — сказал он, растягивая, по обыкновению, слога. — Сми-ит! Как, неужели генерал Джон А. Б. В.? Дикая история с этими ки-капу-у, не так ли? — нет, правда? — отчаянная голова-а, ужасно жаль, честное слово! — век удивительных изобретении! — чудеса-а хра-а-брости! — кстати, слыхали вы о капитане Манне?

— К черту капитана Манна! — отвечал я. — Продолжайте, прошу вас…

— Гм… ну, что ж… совершенно la meme chooose[508], как говорят у нас во Франции. Смит? Бригадный генерал Джон А. Б. В.? Ну, знаете ли (тут мистер Клеветой почему-то приставил палец к носу) — не хотите же вы сказать, что никогда не слышали об этой истории — нет, вы признайтесь честно, положа руку на сердце. — Смит? Джон А. Б. В.? Господи! да это же человек…

— Мистер Клеветой, — сказал я с мольбой, — неужто это человек в маске?

— Не-ет! — протянул он лукаво. — Но и с лу-уны[509] он тоже не свалился!

Ответ этот я счел за рассчитанное и прямое оскорбление, а потому тут же в глубоком возмущении покинул этот дом, решив призвать своего друга, мистера Клеветона, к ответу за его невоспитанность и недостойное джентльмена поведение.

Тем временем, однако, я не имел мысли отказаться от получения столь важных для меня сведений. Мне оставалось лишь одно. Направиться прямо к источнику. Явиться к самому генералу и потребовать, языком простым и понятным, ответа на эту проклятую тайну. Тут уж не ускользнешь. Я буду краток, властен, деловит, прост, как Писание, и лаконичен, как Тацит[510] и Монтескье[511].

Было еще утро, когда я нанес свой визит, и генерал совершал туалет, но я объяснил, что у меня к нему срочное дело, и старый негр-камердинер провел меня в спальню, где и оставался во все время моего визита. Войдя в спальню, я оглянулся, ища глазами хозяина, но не тотчас увидел его. На полу, возле моих ног, лежал большой узел какой-то странной рухляди, и так как я был в тот день очень не в духе, я пнул его ногой.

— Гха! гха! не очень-то это любезно, я бы сказал, — проговорил узел каким-то необычайно тихим и тонким голосом, похожим не то на писк, не то на свист. Такого в своей жизни я еще не слыхал.

— Гха! Не очень-то это любезно, я бы заметил… Я чуть не вскрикнул от ужаса и отскочил в дальний конец комнаты.

— Господи боже, мой милый друг! — просвистел узел. — В чем… в чем… нет, в чем же дело? Вы, видно, меня совсем не узнаете.

Что я мог на это ответить? Что?! Я повалился в кресло и — открыв рот и выпучив глаза — стал ждать объяснения этого чуда.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? — проскрипело чудовище, производя на полу какие-то странные манипуляции, — похоже, что оно натягивало чулок. Впрочем, нога почему-то была одна и, сколько я ни смотрел, второй ноги я так и не обнаружил.

— Как все же странно, что вы меня не узнаете, правда? Помпей, дай сюда эту ногу! — Тут Помпей подал узлу прекрасную пробковую

ногу, обутую и затянутую в лосину, которая и была мгновенно прикручена, после чего узел поднялся с пола прямо у меня на глазах.

— Ну и кровавая была бойня! — продолжал он свой монолог. — Впрочем, когда воюешь с бугабу и кикапу, было бы глупо предполагать, что отделаешься простой царапиной. Помпей, где же рука? Давай ее сюда, да поскорее! (Поворачиваясь ко мне): — Томас[512] набил себе руку на пробковых ногах, но если вам, мой дорогой друг, когда-нибудь понадобится рука, позвольте мне порекомендовать вам Бишопа. — Тут Помпей привинтил ему руку.

— Да, жаркое было дело! Надевай мне плечи и грудь, пес! Лучшие плечи делает Петитт, но за грудью лучше обратиться к Дюкрау.

— За грудью! — произнес я.

— Помпеи, куда же ты запропастился с этим париком? Скальпирование — очень неприятная процедура, но зато у Де Л'Орма можно приобрести такой прекрасный скальп.

— Скальп!

— Эй, черномазый, мои зубы! Хорошие челюсти лучше сейчас же заказать у Пармли — цены высокие, но работа отличная. Я, правда, проглотил великолепную челюсть, когда этот огромный бугабу проломил мне голову прикладом.

— Прикладом! Проломил! Пресветлый боже!

— А-а, кстати, где мой пресветлый глаз? Эй, Помпей, ввинти мне глаз, негодяй! Эти кикапу выдавливают глаза довольно быстро, но доктора Уильямса все же зря оклеветали, вы даже представить себе не можете, как хорошо я вижу его глазами.

Понемногу мне стало ясно, что этот предмет, который стоял передо мной, этот предмет был не что иное, как мой новый знакомец, бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит. Усилиями Помпея в его внешности произведены были разительные перемены. Один только голос все еще немало меня тревожил, но даже явная эта тайна вскоре получила объяснение.

— Помпей, черномазый мерзавец, — пропищал генерал. — Ты, видно, хочешь, чтоб я ушел без неба?

На что неф, бормоча извинения, приблизился к своему хозяину, с видом бывалого жокея открыл ему рот и очень ловко вставил ему какую-то ни на что не похожую штуку, назначение которой было мне

совсем непонятно. Однако в лице генерала немедленно произошла разительная перемена. А когда он опять заговорил, в голосе его вновь зазвучала вся та глубокая мелодичность и звучность, которая поразила меня при нашем первом знакомстве.

— Черт бы побрал этих мерзавцев! — сказал он таким зычным голосом, что я положительно вздрогнул. — Черт бы их побрал! Они не только вбили мне в глотку все небо, но еще и позаботились о том, чтобы отрезать семь восьмых — никак не меньше! — моего языка. Впрочем, в Америке есть Бонфанти, — равного ему не сыщешь! — все эти предметы он делает бесподобно. Я могу с уверенностью рекомендовать его вам (тут генерал поклонился) — поверьте, я это делаю с величайшим удовольствием.

Я, как полагается, ответил на его любезное предложение, и тут же с ним распрощался, составив себе полное представление о том, в чем тут дело, и получив разъяснение тайны, которая мучила меня так долго. Все было ясно. Случай был прост. Бревет-бригадный генерал Джон А. Б. В. Смит был тот самый человек — тот самый человек, которого изрубили в куски.

Август, 1839

пер. Н. Демуровой

Падение дома Ашеров

«Son coeur est un luth suspendu;
Sitot qu'on le touche il resonne».

Беранже[513]

Весь этот нескончаемый пасмурный день, в глухой осенней тишине, под низко нависшим хмурым небом, я одиноко ехал верхом по безотрадным, неприветливым местам — и наконец, когда уже смеркалось, передо мною предстал сумрачный дом Ашеров. Едва я его увидел, мною, не знаю почему, овладело нестерпимое уныние. Нестерпимое оттого, что его не смягчала хотя бы малая толика почти приятной поэтической грусти, какую пробуждают в душе даже самые суровые картины природы, все равно — скорбной или грозной. Открывшееся мне зрелище — и самый дом, и усадьба, и однообразные окрестности — ничем не радовало глаз: угрюмые стены… безучастно и холодно глядящие окна… кое-где разросшийся камыш… белые мертвые стволы иссохших деревьев… от всего этого становилось невыразимо тяжко на душе, чувство это я могу сравнить лишь с тем, что испытывает, очнувшись от своих грез, курильщик опиума: с горечью возвращения к постылым будням, когда вновь спадает пелена, обнажая неприкрашенное уродство.

Сердце мое наполнил леденящий холод, томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть — она бессильна была настроиться на лад более возвышенный. Отчего же это, подумал я, отчего так угнетает меня один вид дома Ашеров? Я не находил разгадки и не мог совладать со смутными, непостижимыми образами, что осаждали меня, пока я смотрел и размышлял. Оставалось как-то успокоиться на мысли, что хотя, безусловно, иные сочетания самых простых предметов имеют над нами особенную власть, однако постичь природу этой власти мы еще не умеем. Возможно, раздумывал я, стоит лишь под иным углом взглянуть на те же черты окружающего ландшафта, на подробности той же картины — и гнетущее впечатление смягчится или даже исчезнет совсем; а потому я направил коня к обрывистому берегу черного и мрачного озера, чья

недвижная гладь едва поблескивала возле самого дома, и поглядел вниз, — но опрокинутые, отраженные в воде серые камыши, и ужасные остовы деревьев, и холодно, безучастно глядящие окна только заставили меня вновь содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде.

А меж тем в этой обители уныния мне предстояло провести несколько недель. Ее владелец, Родерик Ашер, в ранней юности был со мною в дружбе; однако с той поры мы долгие годы не виделись. Но недавно в моей дали я получил от него письмо — письмо бессвязное и настойчивое: он умолял меня приехать. В каждой строчке прорывалась мучительная тревога. Ашер писал о жестоком телесном недуге… о гнетущем душевном расстройстве… о том, как он жаждет повидаться со мной, лучшим и, в сущности, единственным своим другом, в надежде, что мое общество придаст ему бодрости и хоть немного облегчит его страдания. Все это и еще многое другое высказано было с таким неподдельным волнением, так горячо просил он меня приехать, что колебаться я не мог — и принял приглашение, которое, однако же, казалось мне весьма странным.

Хотя мальчиками мы были почти неразлучны, я, по правде сказать, мало знал о моем друге. Он всегда был на редкость сдержан и замкнут. Я знал, впрочем, что род его очень древний и что все Ашеры с незапамятных времен отличались необычайной утонченностью чувств, которая век за веком проявлялась во многих произведениях возвышенного искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, в щедрости не напоказ, а также в увлечении музыкой: в этом семействе музыке предавались со страстью, предпочитая не общепризнанные произведения и всем доступные красоты, но сложность и изысканность. Было мне также известно примечательное обстоятельство: как ни стар род Ашеров, древо это ни разу не дало жизнеспособной ветви; иными словами, род продолжался только по прямой пинии, и, если не считать пустячных кратковременных отклонений, так было всегда… Быть может, думал я, мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, что шла про его обитателей, и размышляя о том, как за века одно могло наложить свой отпечаток на другое, — быть может, оттого, что не было боковых линий и родовое имение всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось, его

сменило новое, странное и двусмысленное. «Дом Ашеров» — так прозвали здешние крестьяне и родовой замок, и его владельцев.

Как я уже сказал, моя ребяческая попытка подбодриться, заглянув в озеро, только усилила первое тягостное впечатление. Несомненно, оттого, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие (почему бы и не назвать его самым точным словом?), оно лишь еще больше крепло во мне. Такова, я давно это знал, двойственная природа всех чувств, чей корень — страх. И, может быть, единственно по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озере на самый дом, странная мысль пришла мне на ум — странная до смешного, и я лишь затем о ней упоминаю, чтобы показать, сколь сильны и ярки были угнетавшие меня ощущения. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез верил, будто самый воздух над этим домом, усадьбой и всей округой какой-то особенный, он не сродни небесам и просторам, но пропитан духом тления, исходящим от полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера, — всё окутали тлетворные таинственные испарения, тусклые, медлительные, едва различимые, свинцово-серые.

Стряхнув с себя наваждение — ибо это, конечно же, не могло быть ничем иным, — я стал внимательней всматриваться в подлинный облик дома. Прежде всего поражала невообразимая древность этих стен. За века слиняли и выцвели краски. Снаружи все покрылось лишайником и плесенью, будто клочья паутины свисали с карнизов. Однако нельзя было сказать, что дом совсем пришел в упадок. Каменная кладка нигде не обрушилась; прекрасная соразмерность всех частей здания странно не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Отчего-то мне представилась старинная деревянная утварь, что давно уже прогнила в каком-нибудь забытом подземелье, но все еще кажется обманчиво целой и невредимой, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее дуновение извне. Однако, если не считать покрова лишайников и плесени, снаружи вовсе нельзя было заподозрить, будто дом непрочен. Разве только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой крышей, зигзагом проходила по фасаду и терялась в хмурых водах озера.

Приметив все это, я подъехал по мощеной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды прихожей.

Отсюда неслышно ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в «студию» хозяина. Все, что я видел по дороге, еще усилило, не знаю отчего, смутные ощущения, о которых я уже говорил. Резные потолки, темные гобелены по стенам, черный, чуть поблескивающий паркет, причудливые трофеи — оружие и латы, что звоном отзывались моим шагам, — все вокруг было знакомо, нечто подобное с колыбели окружало и меня, и, однако, бог весть почему, за этими простыми, привычными предметами мне мерещилось что-то странное и непривычное. На одной из лестниц нам повстречался домашний врач Ашеров. В выражении его лица, показалось мне, смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поклонился мне и прошел мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину.

Комната была очень высокая и просторная. Узкие стрельчатые окна прорезаны так высоко от черного дубового пола, что до них было не дотянуться. Слабые красноватые отсветы дня проникали сквозь решетчатые витражи, позволяя рассмотреть наиболее заметные предметы обстановки, но тщетно глаз силился различить что-либо в дальних углах, разглядеть сводчатый резной потолок. По стенам свисали темные драпировки. Все здесь было старинное — пышное, неудобное и обветшалое. Повсюду во множестве разбросаны были книги и музыкальные инструменты, но и они не могли скрасить мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все окутано и проникнуто было холодным, тяжким и безысходным унынием.

Едва я вошел, Ашер поднялся с кушетки, на которой перед тем лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность сперва показалась мне преувеличенной — насильственной любезностью ennuye[514] светского человека. Но, взглянув ему в лицо, я тотчас убедился в его совершенной искренности. Мы сели; несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с ужасом. Нет, никогда еще никто не менялся так страшно за такой недолгий срок, как переменился Родерик Ашер! С трудом я заставил себя поверить, что эта бледная тень и есть былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были примечательны. Восковая бледность; огромные, ясные, какие-то

необыкновенно сияющие глаза; пожалуй, слишком тонкий и очень бледный, но поразительно красивого рисунка рот; изящный нос с еврейской горбинкой, но, что при этом встречается не часто, с широко вырезанными ноздрями; хорошо вылепленный подбородок, однако, недостаточно выдавался вперед, свидетельствуя о недостатке решимости; волосы на диво мягкие и тонкие; черты эти дополнял необычайно большой и широкий лоб, — право же, такое лицо нелегко забыть. А теперь все странности этого лица сделались как-то преувеличенно отчетливы, явственней проступило его своеобразное выражение — и уже от одного этого так сильно переменился весь облик, что я едва не усомнился, с тем ли человеком говорю. Больше всего изумили и даже ужаснули меня ставшая поистине мертвенной бледность и теперь уже поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы тоже, казалось, слишком отросли и даже не падали вдоль щек, а окружали это лицо паутинно-тонким летучим облаком; и, как я ни старался, мне не удавалось в загадочном выражении этого удивительного лица разглядеть хоть что-то, присущее всем обыкновенным смертным.

В разговоре и движениях старого друга меня сразу поразило что-то сбивчивое, лихорадочное; скоро я понял, что этому виною постоянные слабые и тщетные попытки совладать с привычной внутренней тревогой, с чрезмерным нервическим возбуждением. К чему-то в этом роде я, в сущности, был подготовлен — и не только его письмом: я помнил, как он, бывало, вел себя в детстве, да и самое его телосложение и нрав наводили на те же мысли. Он становился то оживлен, то вдруг мрачен. Внезапно менялся и голос — то дрожащий и неуверенный (когда Ашер, казалось, совершенно терял бодрость духа), то твердый и решительный… то речь его становилась властной, внушительной, неторопливой и какой-то нарочитой, то звучала тяжеловесно, размеренно, со своеобразной гортанной певучестью, — так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума.

Именно так говорил Родерик Ашер о моем приезде, о том, как горячо желал он меня видеть и как надеется, что я принесу ему облегчение. Он принялся многословно разъяснять мне природу своего недуга. Это — проклятие их семьи, сказал он, наследственная болезнь всех Ашеров, он уже отчаялся найти от нее лекарство, — и тотчас

прибавил, что все это от нервов и, вне всякого сомнения, скоро пройдет. Проявляется эта болезнь во множестве противоестественных ощущений. Он подробно описывал их; иные заинтересовали меня и озадачили, хотя, возможно, тут действовали самые выражения и манера рассказчика. Он очень страдает оттого, что все его чувства мучительно обострены; переносит только совершенно пресную пищу; одеваться может далеко не во всякие ткани; цветы угнетают его своим запахом; даже неяркий свет для него пытка; и лишь немногие звуки — звуки струнных инструментов — не внушают ему отвращения. Оказалось, его преследует необоримый страх.

— Это злосчастное безумие меня погубит, — говорил он, — неминуемо погубит. Таков и только таков будет мой конец. Я боюсь будущего — и не самих событий, которые оно принесет, но их последствий. Я содрогаюсь при одной мысли о том, как любой, даже пустячный случай может сказаться на душе, вечно терзаемой нестерпимым возбуждением. Да, меня страшит вовсе не сама опасность, а то, что она за собою влечет: чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинство, я знаю — рано или поздно придет час, когда я разом лишусь и рассудка и жизни в схватке с этим мрачным призраком — страхом.

Сверх того, не сразу, из отрывочных и двусмысленных намеков я узнал еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, где он жил и откуда уже многие годы не смел отлучиться: ему чудилось, будто в жилище этом гнездится некая сила, — он определял ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять, но весь облик родового замка и даже дерево и камень, из которых он построен, за долгие годы обрели таинственную власть над душою хозяина: предметы материальные — серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они гляделись, — в конце концов повлияли на дух всей его жизни.

Ашер признался, однако, хотя и не без колебаний, что в тягостном унынии, терзающем его, повинно еще одно, более естественное и куда более осязаемое обстоятельство — давняя и тяжкая болезнь нежно любимой сестры, единственной спутницы многих лет, последней и единственной родной ему души, а теперь ее дни, видно, уже сочтены. Когда она покинет этот мир, сказал Родерик с горечью, которой мне вовек не забыть, он — отчаявшийся и хилый — останется последним

из древнего рода Ашеров. Пока он говорил, леди Мэдилейн (так звали его сестру) прошла в дальнем конце залы и скрылась, не заметив меня. Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом, хоть и сам не понимал, откуда эти чувства. В странном оцепенении провожал я ее глазами. Когда за сестрою наконец затворилась дверь, я невольно поспешил обратить вопрошающий взгляд на брата; но он закрыл лицо руками, и я заметил лишь, как меж бескровными худыми пальцами заструились жаркие слезы.

Недуг леди Мэдилейн давно уже смущал и озадачивал искусных врачей, что пользовали ее. Они не могли определить, отчего больная неизменно ко всему равнодушна, день ото дня тает и в иные минуты все члены ее коченеют и дыхание приостанавливается. До сих нор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела вовсе слечь в постель; но в вечер моего приезда (как с невыразимым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер) она изнемогла под натиском обессиливающего недуга; и когда она на миг явилась мне издали — должно быть, то было в последний раз: едва ли мне суждено снова ее увидеть — по крайней мере, живою.

В последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали даже имени леди Мэдилейн; и все это время я, как мог, старался хоть немного рассеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я, как во сне, слушал внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все тесней, все свободнее допускал он меня в сокровенные тайники своей души — и все с большей горечью понимал я, сколь напрасны всякие попытки развеселить это сердце, словно наделенное врожденным даром изливать на окружающий мир, как материальный, так и духовный, поток беспросветной скорби.

Навсегда останутся в моей памяти многие и многие сумрачные часы, что провел я наедине с владельцем дома Ашеров. Однако напрасно было бы пытаться описать подробней занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все озарено было потусторонним отблеском какой-то страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Всегда будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные песни, что импровизировал Родерик Ашер. Среди многого другого мучительно врезалось мне в память, как странно исказил и подчеркнул он бурный мотив последнего вальса

Вебера[515]. Полотна, рожденные изысканной и сумрачной его фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все непонятней, от их загадочности меня пробирала дрожь волнения, тем более глубокого, что я и сам не понимал, откуда оно; полотна эти и сейчас живо стоят у меня перед глазами, но напрасно я старался бы хоть в какой-то мере их пересказать — слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно совершенная простота, обнаженность замысла. Если удавалось когда-либо человеку выразить красками на холсте чистую идею, человек этот был Родерик Ашер. По крайней мере, во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые умудрялся мой мрачный друг выразить на своих полотнах, пробуждали безмерный благоговейный ужас — даже слабого подобия его не испытывал я перед бесспорно поразительными, но все же слишком вещественными видениями Фюссли[516].

Одну из фантасмагорий, созданных кистью Ашера и несколько менее отвлеченных, я попробую хоть как-то описать словами. Небольшое полотно изображало бесконечно длинное подземелье или туннель с низким потолком и гладкими белыми стенами, ровное однообразие которых нигде и ничем не прерывалось. Какими-то намеками художник сумел внушить зрителю, что странный подвал этот лежит очень глубоко под землей. Нигде на всем его протяжении не видно было выхода и не заметно факела или иного светильника; и, однако, все подземелье заливал поток ярких лучей, придавая ему какое-то неожиданное и жуткое великолепие.

Я уже упоминал о той болезненной изощренности слуха, что делала для Родерика Ашера невыносимой всякую музыку, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Ему пришлось довольствоваться гитарой с ее своеобразным мягким голосом — быть может, прежде всего это и определило необычайный характер его игры. Но одним этим нельзя объяснить лихорадочную легкость, с какою он импровизировал. И мелодии и слова его буйных фантазий (ибо часто он сопровождал свои музыкальные экспромты стихами) порождала, без сомнения, та напряженная душевная сосредоточенность, что обнаруживала себя, как я уже мельком упоминал, лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил. Одна его внезапно вылившаяся песнь сразу мне запомнилась. Быть может, слова ее оттого так явственно

запечатлелись в моей памяти, что, пока он пел, в их потаенном смысле мне впервые приоткрылось, как ясно понимает Ашер, что высокий трон его разума шаток и непрочен. Песнь его называлась «Обитель привидений»[517], и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно, были такие:

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.
И ничего прекрасней в мире
Крылом своим
Не осенял, плывя в эфире
Над землею, серафим.

Гордо реяло над башней
Желтых флагов полотно
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно).
Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона проносясь;
Государь порфирородный,
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной.

А дверь!.. рубины, аметисты
По золоту сплели узор —
И той же россыпью искристой
Хвалебный разливался хор;

И пробегали отголоски
Во все концы долины,
В немолчном славя переплеске
И ум и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог —
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).
А прежнее великолепье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец,
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачной рекой…
И слышен смех — смех без улыбки.[518]

Помню, потом мы беседовали об этой балладе, и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько ради его новизны (те же мысли высказывали и другие люди)[519] сколько ради упорства, с каким он это свое мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать[520]. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней дерзости, переходящей подчас все границы разумного. Не нахожу слов, чтобы вполне передать пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана (как я уже ранее намекал) с серым камнем, из которого сложен был дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, порождается уже самым расположением этих камней, их сочетанием, а также сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, и обступивших дом

полумертвых дерев — и, главное, тем, что все это, ничем не потревоженное, так долго оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера. Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию, говорил Ашер (при этих словах я даже вздрогнул), — своими глазами можно видеть, как медленно, но с несомненностью сгущается над озером и вкруг стен дома своя особенная атмосфера. А следствие этого, прибавил он, — некая безмолвная и, однако же, неодолимая и грозная сила, она веками лепит по-своему судьбы всех Ашеров, она и его сделала тем, что он есть, — таким, как я вижу его теперь. О подобных воззрениях сказать нечего, и я не стану их разъяснять.

Нетрудно догадаться, что наши книги — книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, — вполне соответствовали его причудливым взглядам. Нас увлекали «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессэ[521], «Бельфегор» Макиавелли[522], «Рай и ад» Сведенборга[523], «Подземные странствия Николаса Климма» Хольберга[524], «Хиромантия» Роберта Флада[525], труды Жана д'Эндажинэ[526] и Делашамбра[527], «Путешествие в голубую даль» Тика[528] и «Город солнца» Кампанеллы[529]. Едва ли не любимой книгой был томик in octavo «Директориум Инквизиториум» доминиканца Эймерика Жеронского[530]. Часами в задумчивости сиживал Ашер и над иными страницами Помпония Мелы[531] о древних африканских сатирах и эгипанах. Но больше всего наслаждался он, перечитывая редкостное готическое издание in quarto — требник некоей забытой церкви — Vigiliae Mortuorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae[532].

Должно быть, неистовый дух этой книги, описания странных и мрачных обрядов[533] немало повлияли на моего болезненно впечатлительного друга, невольно подумал я, когда однажды вечером он отрывисто сказал мне, что леди Мэдилейн больше нет и что до погребения он намерен две недели хранить ее тело в стенах замка, в одном из подземелий. Однако для этого необычайного поступка был и вполне разумный повод, так что я не осмелился спорить. По словам Родерика, на такое решение натолкнули его особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее докторов, и еще мысль о том, что кладбище рода Ашер расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне вспомнился

зловещий вид эскулапа, с которым в день приезда я повстречался на лестнице, — и, признаться, не захотелось противиться тому, что, в конце концов, можно было счесть просто безобидной и естественной предосторожностью.

По просьбе Ашера я помог ему совершить это временное погребение. Тело еще раньше положено было в гроб, и мы вдвоем снесли его вниз. Подвал, где мы его поместили, расположен был глубоко под землею, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня; он был тесный, сырой, без малейшей отдушины, которая давала бы доступ свету, и так давно не открывался, что наши факелы едва не погасли в затхлом воздухе и мне почти ничего не удалось разглядеть. В давние феодальные времена подвал этот, по-видимому, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох или иные горючие вещества, судя по тому, что часть пола, так же как и длинный коридор, приведший нас сюда, покрывали тщательно пригнанные медные листы. Так же защищена была от огня и массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она повернулась на петлях с громким, пронзительным скрежетом.

В этом ужасном подземелье мы опустили нашу горестную ношу на деревянный помост и, сдвинув еще не закрепленную крышку гроба, посмотрели в лицо покойницы. Впервые мне бросилось в глаза разительное сходство между братом и сестрой; должно быть, угадав мои мысли, Ашер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецы и всю жизнь души их оставались удивительно, непостижимо созвучны.

Однако наши взоры лишь ненадолго остановились на лице умершей, — мы не могли смотреть на него без трепета. Недуг, сразивший ее в расцвете молодости, оставил (как это всегда бывает при болезнях каталептического характера) подобие слабого румянца на ее щеках и едва заметную улыбку, столь ужасную на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и, обессиленные, поднялись наконец в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома.

Прошло несколько невыразимо скорбных дней, и я уловил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение стало иным. Он забыл или забросил обычные занятия. Торопливыми неверными шагами бесцельно бродил он по дому.

Бледность его сделалась, кажется, еще более мертвенной и пугающей, но глаза угасли. В голосе уже не слышались хотя бы изредка звучные, сильные ноты, — теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порою мне чудилось даже, что смятенный ум его тяготит какая-то страшная тайна и он мучительно силится собрать все свое мужество и высказать ее. А в другие минуты, видя, как он часами сидит недвижимо и смотрит в пустоту, словно бы напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поневоле заключал, что все это попросту беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня ужасало… что оно было заразительно. Я чувствовал, как медленно, но неотвратимо закрадываются и в мою душу его сумасбродные, фантастические и, однако же, неодолимо навязчивые страхи.

С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздно ночью, когда уже лег в постель, на седьмой или восьмой день после того, как мы снесли тело леди Мэдилейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно бежал моей постели. Я пытался здравыми рассуждениями побороть владевшее мною беспокойство. Я уверял себя, что многие, если не все мои ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой, темными ветхими драпировками, которые метались по стенам и шуршали о резную кровать под дыханием надвигающейся бури. Но напрасно я старался. Чем дальше, тем сильней била меня необоримая дрожь. И наконец, сердце мое стиснул злой дух необъяснимой тревоги. Огромным усилием я стряхнул его, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться — сам не знаю почему, разве что побуждаемый каким-то внутренним чутьем, — к смутным глухим звукам, что доносились неведомо откуда в те редкие мгновенья, когда утихал вой ветра. Мною овладел как будто беспричинный, но нестерпимый ужас, и, чувствуя, что мне в эту ночь не уснуть, я торопливо оделся, начал быстро шагать из угла в угол и тем отчасти одолел сковавшую меня недостойную слабость.

Так прошел я несколько раз взад и вперед по комнате, и вдруг на лестнице за стеною послышались легкие шаги. Я узнал походку Ашера. И сейчас же он тихонько постучался ко мне и вошел, держа в руке фонарь. По обыкновению, он был бледен, как мертвец, но глаза сверкали каким-то безумным весельем, и во всей его повадке

явственно сквозило еле сдерживаемое лихорадочное волнение. Его вид ужаснул меня… но что угодно было лучше, нежели мучительное одиночество, и я даже обрадовался его приходу.

Несколько мгновений он молча осматривался, потом спросил отрывисто:

— А ты не видел? Так ты еще не видел? Ну, подожди! Сейчас увидишь!

С этими словами, заботливо заслонив фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его навстречу буре.

В комнату ворвался яростный порыв ветра и едва не сбил нас с ног. То была бурная, но странно прекрасная ночь, ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то по соседству рождался и набирал силы ураган, ибо направление ветра то и дело резко менялось; необычайно плотные, тяжелые тучи нависали совсем низко, задевая башни замка, и видно было, что они со страшной быстротой мчатся со всех сторон, сталкиваются — и не уносятся прочь! Повторяю, как ни были они густы и плотны, мы хорошо различали это странное движение, а меж тем не видно было ни луны, ни звезд и ни разу не сверкнула молния. Однако снизу и эти огромные массы взбаламученных водяных паров, и все, что окружало нас на земле, светилось в призрачном сиянии, которое испускала слабая, но явственно различимая дымка, нависшая надо всем и окутавшая замок.

— Не смотри… не годится на это смотреть, — с невольной дрожью сказал я Ашеру, мягко, но настойчиво увлек его прочь от окна и усадил в кресло. — Это поразительное и устрашающее зрелище — довольно обычное явление природы, оно вызвано электричеством… а может быть, в нем повинны зловредные испарения озера. Давай закроем окно… леденящий ветер для тебя опасен. Вот одна из твоих любимых книг. Я почитаю тебе вслух — и так мы вместе скоротаем эту ужасную ночь.

И я раскрыл старинный роман сэра Ланселота Каннинга «Безумная печаль»[534]; назвав его любимой книгой Ашера, я пошутил, и не слишком удачно; по правде говоря, в этом неуклюжем, тягучем многословии, чуждом истинного вдохновения, мало что могло привлечь возвышенный поэтический дух Родерика. Но другой книги под рукой не оказалось; и я смутно надеялся (история умственных расстройств дает немало поразительных тому примеров), что именно

крайние проявления помешательства, о которых я намеревался читать, помогут успокоить болезненное волнение моего друга. И в самом деле, сколько возможно было судить по острому напряженному вниманию, с которым он вслушивался — так мне казалось — в каждое слово повествования, я мог себя поздравить с удачной выдумкой.

Я дошел до хорошо известного места, где рассказывается о том, как Этелред, герой романа, после тщетных попыток войти в убежище пустынника с согласия хозяина, врывается туда силой. Как все хорошо помнят, описано это в следующих словах:

«И вот Этелред, чью природную доблесть утроило выпитое вино, не стал долее тратить время на препирательства с пустынником, который поистине нрава был упрямого и злобного, но, уже ощущая, как по плечам его хлещет дождь, и опасаясь, что разразится буря, поднял палицу и могучими ударами быстро пробил в дощатой двери отверстие, куда прошла его рука в латной перчатке, — и с такою силой он бил, тянул, рвал и крошил дверь, что треск и грохот ломающихся досок разнесся по всему лесу».

Дочитав эти строки, я вздрогнул и на минуту замер, ибо мне показалось (впрочем, я тотчас решил, что меня просто обманывает разыгравшееся воображение), будто из дальней части дома смутно донеслось до моих ушей нечто очень похожее (хотя, конечно, слабое и приглушенное) на тот самый шум и треск, который столь усердно живописал сэр Ланселот. Несомненно, только это совпадение и задело меня; ведь сам по себе этот звук, смешавшийся с хлопаньем ставен и обычным многоголосым шумом усиливающейся бури, отнюдь не мог меня заинтересовать или встревожить. И я продолжал читать:

«Когда же победоносный Этелред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынник не явился его взору; а взамен того пред рыцарем, весь в чешуе, предстал огромный и грозный дракон, изрыгающий пламя; чудище сие сторожило золотой дворец, где пол был серебряный, а на стене висел щит из сверкающей меди, на щите же виднелась надпись:

О ты, сюда вступивший, ты победитель будешь,
Дракона поразивший, сей щит себе добудешь.

И Этелред взмахнул палицею и ударил дракона по голове, и дракон пал пред ним, испустив свой зловонный дух вместе с воплем страшным и раздирающим, таким невыносимо пронзительным, что Этелред поневоле зажал уши, ибо никто еще не слыхал звука столь ужасного».

Тут я снова умолк, пораженный сверх всякой меры, и не мудрено: в этот самый миг откуда-то (но я не мог определись, с какой именно стороны) и вправду донесся слабый и, видимо, отдаленный, но душераздирающий, протяжный и весьма странный то ли вопль, то ли скрежет, — именно такой звук, какой представлялся моему воображению, пока я читал в романе про сверхъестественный вопль, вырвавшийся у дракона.

Это — уже второе — поразительное совпадение вызвало в душе моей тысячи противоборствующих чувств, среди которых преобладали изумление и неизъяснимый ужас, но, как ни был я подавлен, у меня достало присутствия духа не возбудить еще сильней болезненную чувствительность Ашера неосторожным замечанием. Я вовсе не был уверен, что и его слух уловил странные звуки; впрочем, несомненно, за последние минуты все поведение моего друга переменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но постепенно повернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери; теперь я видел его только сбоку, но все же заметил, что губы его дрожат, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его склонилась на грудь, и, однако, он не спал — в профиль мне виден был широко раскрытый и словно бы остановившийся глаз. Нет, он не спал, об этом говорили и его движения: он слабо, но непрестанно и однообразно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и вновь принялся за чтение. Сэр Ланселот продолжает далее так:

«Едва храбрец избегнул ярости грозного чудища, как мысль его обратилась к медному щиту, с коего были теперь сняты чары, и, отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, где сверкал щит; а расколдованный щит, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, сам с грозным, оглушительным звоном пал на серебряный пол к его ногам».

Не успел я произнести последние слова, как откуда-то — будто и вправду на серебряный пол рухнул тяжелый медный щит — вдруг долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный, хоть и

смягченный расстоянием, звон металла. Вне себя я вскочил. Ашер же по-прежнему мерно раскачивался в кресле. Я кинулся к нему. Взор его был устремлен в одну точку, черты недвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему телу его прошла дрожь, страдальческая улыбка искривила губы; и тут я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, будто не замечая моего присутствия. Я склонился к нему совсем близко и наконец уловил чудовищный смысл его слов.

— Теперь слышишь?.. Да, слышу, давно уже слышу. Долго… долго… долго… сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал… и все же не смел… о я несчастный, я трус и ничтожество!.. я не смел… не смел сказать! Мы похоронили ее заживо! Разве я не говорил, что чувства мои обострены? Вот теперь я тебе скажу — я слышал, как она впервые еле заметно пошевелилась в гробу. Я услыхал это… много, много дней назад… и все же не смел… не смел сказать! А теперь… сегодня… ха-ха! Этелред взломал дверь в жилище пустынника, и дракон испустил предсмертный вопль, и со звоном упал щит… скажи лучше, ломались доски ее гроба, и скрежетала на петлях железная дверь ее темницы, и она билась о медные стены подземелья! О, куда мне бежать? Везде она меня настигнет! Ведь она спешит ко мне с укором — зачем я поторопился? Вот ее шаги на лестнице! Вот уже я слышу, как тяжко, страшно стучит ее сердце! Безумец! — Тут он вскочил на ноги и закричал отчаянно, будто сама жизнь покидала его с этим воплем: — Безумец! Говорю тебе, она здесь, за дверью!

И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, обладала властью заклинания, огромные старинные двери, на которые указывал Ашер, медленно раскрыли свои тяжелые черные челюсти. Их растворил мощный порыв ветра — но там, за ними, высокая, окутанная саваном, и вправду стояла леди Мэдилейн. На белом одеянии виднелись пятна крови, на страшно исхудалом теле — следы жестокой борьбы. Минуту, вся дрожа и шатаясь, она стояла на пороге… потом с негромким протяжным стоном покачнулась, пала брату на грудь — и в последних смертных судорогах увлекла за собою на пол и его, уже бездыханного, — жертву всех ужасов, которые он предчувствовал.

Объятый страхом, я кинулся прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря еще неистовствовала во всей своей ярости, когда я миновал

старую мощеную дорожку. Внезапно путь мой озарился ярчайшей вспышкой света, и я обернулся, не понимая, откуда исходит этот необычайный блеск, ибо позади меня оставался лишь огромный дом, тонувший во тьме. Но то сияла, заходя, багрово-красная полная луна, яркий свет ее лился сквозь трещину, о которой я упоминал раньше, что зигзагом пересекала фасад от самой крыши до основания, — когда я подъезжал сюда впервые, она была едва различима. Теперь, у меня на глазах, трещина эта быстро расширялась… налетел свирепый порыв урагана… и слепящий лик луны полностью явился предо мною… я увидел, как рушатся высокие древние стены, и в голове у меня помутилось… раздался дикий оглушительный грохот, словно рев тысячи водопадов… и глубокие воды зловещего озера у моих ног безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров.

Сентябрь, 1839

пер. Н. Галь

Вильям Вильсон

«Что скажет совесть,
Злой призрак да моем пути?»

Чемберлен. «Фаронида»[535]

Позвольте мне на сей раз назваться Вильямом Вильсоном. Нет нужды пятнать своим настоящим именем чистый лист бумаги, что лежит сейчас передо мною. Имя это внушило людям слишком сильное презрение, ужас, ненависть. Ведь негодующие ветры уже разнесли по всему свету молву о неслыханном моем позоре. О, низкий из низких, всеми отринутый! Разве не потерян ты навек для всего сущего, для земных почестей, и цветов, и благородных стремлений? И разве не скрыты от тебя навек небеса бескрайней непроницаемой и мрачной завесой? Я предпочел бы, если можно, не рассказывать здесь сегодня о своей жизни в последние годы, о невыразимом моем несчастье и неслыханном злодеянии. В эту пору моей жизни, в последние эти годы я вдруг особенно преуспел в бесчестье, об истоках которого единственно и хотел здесь поведать. Негодяем человек обычно становится постепенно. С меня же вся добродетель спала в один миг, точно плащ. От сравнительно мелких прегрешений я гигантскими шагами перешел к злодействам, достойным Гелиогабала. Какой же случай, какое событие виной этому недоброму превращению? Вооружись терпеньем, читатель, я обо всем расскажу своим чередом.

Приближается смерть, и тень ее, неизменная ее предвестница, уже пала на меня и смягчила мою душу. Переходя в долину теней, я жажду людского сочувствия, чуть было не сказал — жалости. О, если бы мне поверили, что в какой-то мере я был рабом обстоятельств, человеку не подвластных. Пусть бы в подробностях, которые я расскажу, в пустыне заблуждений они увидели крохотный оазис рока. Пусть бы они признали, — не могут они этого не признать, — что хотя соблазны, быть может, существовали и прежде, но никогда еще человека так не искушали и, конечно, никогда он не падал так низко. И уж не потому ли никогда он так тяжко не страдал? Разве я не жил как в дурном сне?

И разве умираю я не жертвой ужаса, жертвой самого непостижимого, самого безумного из всех подлунных видений?

Я принадлежу к роду, который во все времена отличался пылкостью нрава и силой воображения, и уже в раннем детстве доказал, что полностью унаследовал эти черты. С годами они проявлялись все определеннее, внушая, по многим причинам, серьезную тревогу моим друзьям и принося безусловный вред мне самому. Я рос своевольным сумасбродом, рабом самых диких прихотей, игрушкой необузданных страстей. Родители мои, люди недалекие и осаждаемые теми же наследственными недугами, что и я, не способны были пресечь мои дурные наклонности. Немногие робкие и неумелые их попытки окончились совершеннейшей неудачей и, разумеется, полным моим торжеством. С тех пор слово мое стало законом для всех в доме, и в том возрасте, когда ребенка обыкновенно еще водят на помочах, я был всецело предоставлен самому себе и всегда и во всем поступал как мне заблагорассудится.

Самые ранние мои школьные воспоминания[536] связаны с большим, несуразно построенным домом времен королевы Елизаветы, в туманном сельском уголке, где росло множество могучих шишковатых деревьев и все дома были очень старые. Почтенное и древнее селение это было местом поистине сказочно мирным и безмятежным. Вот я пишу сейчас о нем и вновь ощущаю свежесть и прохладу его тенистых аллей, вдыхаю аромат цветущего кустарника и вновь трепещу от неизъяснимого восторга, заслышав глухой в низкий звон церковного колокола, что каждый час нежданно и гулко будит тишину и сумрак погруженной в дрему готической резной колокольни.

Я перебираю в памяти мельчайшие подробности школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти радуют меня, насколько я еще способен радоваться. Погруженному в пучину страдания, страдания, увы! слишком неподдельного, мне простятся поиски утешения, пусть слабого и мимолетного, в случайных беспорядочных подробностях. Подробности эти, хотя и весьма обыденные и даже смешные сами по себе, особенно для меня важны, ибо они связаны с той порою, когда я различил первые неясные предостережения судьбы, что позднее полностью мною завладела, с тем местом, где все это началось. Итак, позвольте мне перейти к воспоминаниям.

Дом, как я уже сказал, был старый и нескладный. Двор — обширный, окруженный со всех сторон высокой и массивной кирпичной оградой, верх которой был утыкан битым стеклом.

Эти, совсем тюремные, стены ограничивали наши владения, мы выходили за них всего трижды в неделю — по субботам после полудня, когда нам разрешали выйти всем вместе в сопровождении двух наставников на недолгую прогулку по соседним полям, и дважды по воскресеньям, когда нас, так же строем, водили к утренней и вечерней службе в сельскую церковь. Священником в этой церкви был директор нашего пансиона. В каком глубоком изумлении, в каком смущении пребывала моя душа, когда с нашей далекой скамьи на хорах я смотрел, как медленно и величественно он поднимается на церковную кафедру! Неужто этот почтенный проповедник, с лицом столь благолепно милостивым, в облачении столь пышном, столь торжественно ниспадающем до полу, — в парике, напудренном столь тщательно, таком большом и внушительном, — неужто это он, только что сердитый и угрюмый, в обсыпанном нюхательным табаком сюртуке, с линейкой в руках, творил суд и расправу по драконовским законам нашего заведения? О, безмерное противоречие, ужасное в своей непостижимости!

Из угла массивной ограды, насупясь, глядели еще более массивные ворота. Они были усажены множеством железных болтов и увенчаны острыми железными зубьями. Какой глубокий благоговейный страх они внушали! Они всегда были на запоре, кроме тех трех наших выходов, о которых уже говорилось, и тогда в каждом скрипе их могучих петель нам чудились всевозможные тайны — мы находили великое множество поводов для сумрачных замечаний и еще более сумрачных раздумий.

Владения наши имели неправильную форму, и там было много уединенных площадок. Три-четыре самые большие предназначались для игр. Они были ровные, посыпаны крупным песком и хорошо утрамбованы. Помню, там не было ни деревьев, ни скамеек, ничего. И располагались они, разумеется, за домом. А перед домом был разбит небольшой цветник, обсаженный вечнозеленым самшитом и другим кустарником, но по этой запретной земле мы проходили только в самых редких случаях — когда впервые приезжали в школу, или навсегда ее покидали, или, быть может, когда за нами заезжали

родители или друзья и мы радостно отправлялись под отчий кров на рождество или на летние вакации.

Но дом! Какое же это было причудливое старое здание! Мне он казался поистине заколдованным замком! Сколько там было всевозможных запутанных переходов, сколько самых неожиданных уголков и закоулков. Там никогда нельзя было сказать с уверенностью, на каком из двух этажей вы сейчас находитесь. Чтобы попасть из одной комнаты в другую, надо было непременно подняться или спуститься по двум или трем ступенькам. Коридоров там было великое множество, и они так разветвлялись и петляли, что, сколько ни пытались мы представить себе в точности расположение комнат в нашем доме, представление это получалось не отчетливей, чем наше понятие о бесконечности. За те пять лет, что я провел там, я так и не сумел точно определить, в каком именно отдаленном уголке расположен тесный дортуар, отведенный мне и еще восемнадцати или двадцати делившим его со мной ученикам.

Классная комната была самая большая в здании и, как мне тогда казалось, во всем мире. Она была очень длинная, узкая, с гнетуще низким дубовым потолком и стрельчатыми готическими окнами. В дальнем, внушающем страх углу было отгорожено помещение футов в восемь — десять — кабинет нашего директора, преподобного доктора Брэнсби[537]. И в отсутствие хозяина мы куда охотней погибли бы под самыми страшными пытками, чем переступили бы порог этой комнаты, отделенной от нас массивной дверью. Два другие угла были тоже отгорожены, и мы взирали на них с куда меньшим почтением, но, однако же, с благоговейным страхом. В одном пребывал наш преподаватель древних языков и литературы, в другом — учитель английского языка и математики. По всей комнате, вдоль и поперек, в беспорядке стояли многочисленные скамейки и парты — черные, ветхие, заваленные грудами захватанных книг и до того изуродованные инициалами, полными именами, нелепыми фигурами и множеством иных проб перочинного ножа, что они вовсе лишились своего первоначального, хоть сколько-нибудь пристойного вида. В одном конце комнаты стояло огромное ведро с водой, в другом весьма внушительных размеров часы.

В массивных стенах этого почтенного заведения я провел (притом без скуки и отвращения) третье пятилетие своей жизни. Голова

ребенка всегда полна; чтобы занять его или развлечь, вовсе не требуются события внешнего мира, и унылое однообразие школьного бытия было насыщено для меня куда более напряженными волнениями, чем те, какие в юности я черпал из роскоши, а в зрелые годы — из преступления. Однако в моем духовном развитии ранней поры было, по-видимому, что-то необычное, что-то outre[538] События самых ранних лет жизни редко оставляют в нашей душе столь заметный след, чтобы он сохранился и в зрелые годы. Они превращаются обычно лишь в серую дымку, в неясное беспорядочное воспоминание — смутное скопище малых радостей и невообразимых страданий. У меня же все по-иному. Должно быть, в детстве мои чувства силою не уступали чувствам взрослого человека, и в памяти моей все события запечатлелись столь же отчетливо, глубоко и прочно, как надписи на карфагенских монетах[539].

Однако же, с общепринятой точки зрения, как мало во всем этом такого, что стоит помнить! Утреннее пробуждение, ежевечерние призывы ко сну; зубрежка, ответы у доски; праздничные дни; прогулки; площадка для игр — стычки, забавы, обиды и козни; все это, по волшебной и давно уже забытой магии духа, в ту пору порождало множество чувств, богатый событиями мир, вселенную разнообразных переживаний, волнений самых пылких и будоражащих душу. «O le bon temps, quo ce siecle de fer!»[540]

И в самом деле, пылкость, восторженность и властность моей натуры вскоре выделили меня среди моих однокашников и неспешно, но с вполне естественной неуклонностью подчинили мне всех, кто был немногим старше меня летами — всех, за исключением одного. Исключением этим оказался ученик, который, хотя и не состоял со мною в родстве, звался, однако, так же, как и я, — обстоятельство само по себе мало примечательное, ибо, хотя я и происхожу из рода знатного, имя и фамилия у меня самые заурядные, каковые — так уж повелось с незапамятных времен — всегда были достоянием простонародья. Оттого в рассказе моем я назвался Вильямом Вильсоном, — вымышленное это имя очень схоже с моим настоящим. Среди тех, кто, выражаясь школьным языком, входил в «нашу компанию», единственно мой тезка позволял себе соперничать со мною в классе, в играх и стычках на площадке, позволял себе сомневаться в моих суждениях и не подчиняться моей воле — иными

словами, во всем, в чем только мог, становился помехой моим деспотическим капризам. Если существует на свете крайняя, неограниченная власть, — это власть сильной личности над более податливыми натурами сверстников в годы отрочества.

Бунтарство Вильсона было для меня источником величайших огорчений; в особенности же оттого, что, хотя на людях я взял себе за правило пренебрегать им и его притязаниями, втайне я его страшился, ибо не мог не думать, что легкость, с какою он оказывался со мною вровень, означала истинное его превосходство, ибо первенство давалось мне нелегко. И однако его превосходства или хотя бы равенства не замечал никто, кроме меня; товарищи наши по странной слепоте, казалось, об этом и не подозревали. Соперничество его, противодействие и в особенности дерзкое и упрямое стремление помешать были скрыты от всех глаз и явственны для меня лишь одного. По-видимому, он равно лишен был и честолюбия, которое побуждало меня к действию, и страстного нетерпения ума, которое помогало мне выделиться. Можно было предположить, что соперничество его вызывалось единственно прихотью, желанием перечить мне, поразить меня или уязвить; хотя, случалось, я замечал со смешанным чувством удивления, унижения и досады, что, когда он и прекословил мне, язвил и оскорблял меня, во всем этом сквозила некая совсем уж неуместная и непрошеная нежность. Странность эта проистекала, на мой взгляд, из редкостной самонадеянности, принявшей вид снисходительного покровительства и попечения.

Быть может, именно эта черта в поведении Вильсона вместе с одинаковой фамилией и с простой случайностью, по которой оба мы появились в школе в один и тот же день, навела старший класс нашего заведения на мысль, будто мы братья. Старшие ведь обыкновенно не очень-то вникают в дела младших. Я уже сказал или должен был сказать, что Вильсон не состоял с моим семейством ни в каком родстве, даже самом отдаленном. Но будь мы братья, мы бы, несомненно, должны были быть близнецами; ибо уже после того, как я покинул заведение мистера Брэнсби, я случайно узнал, что тезка мой родился девятнадцатого января 1813 года[541], — весьма замечательное совпадение, ибо в этот самый день появился на свет и я.

Может показаться странным, что, хотя соперничество Вильсона и присущий ему несносный дух противоречия постоянно мне

досаждали, я не мог заставить себя окончательно его возненавидеть. Почти всякий день меж нами вспыхивали ссоры, и, публично вручая мне пальму первенства, он каким-то образом ухитрялся заставить меня почувствовать, что на самом деле она по праву принадлежит ему; но свойственная мне гордость и присущее ему подлинное чувство собственного достоинства способствовали тому, что мы, так сказать, «не раззнакомились», однако же нравом мы во многом были схожи, и это вызывало во мне чувство, которому, быть может, одно только необычное положение наше мешало обратиться в дружбу. Поистине нелегко определить или хотя бы описать чувства, которые я к нему питал. Они составляли пеструю и разнородную смесь: доля раздражительной враждебности, которая еще не стала ненавистью, доля уважения, большая доля почтения, немало страха и бездна тревожного любопытства. Знаток человеческой души и без дополнительных объяснений поймет, что мы с Вильсоном были поистине неразлучны.

Без сомнения, как раз причудливость наших отношений направляла все мои нападки на него (а было их множество — и открытых и завуалированных) в русло подтрунивания или грубоватых шуток (которые разыгрывались словно бы ради забавы, однако все равно больно ранили) и не давала отношениям этим вылиться в открытую враждебность. Но усилия мои отнюдь не всегда увенчивались успехом, даже если и придумано все было наиостроумнейшим образом, ибо моему тезке присуща была та спокойная непритязательная сдержанность, у которой не сыщешь ахиллесовой пяты, и поэтому, радуясь остроте своих собственных шуток, он оставлял мои совершенно без внимания. Мне удалось обнаружить у него лишь одно уязвимое место, но то было особое его свойство, вызванное, вероятно, каким-то органическим заболеванием, и воспользоваться этим мог лишь такой зашедший в тупик противник, как я: у соперника моего были, видимо, слабые голосовые связки, и он не мог говорить громко, а только еле слышным шепотом. И уж я не упускал самого ничтожного случая отыграться на его недостатке.

Вильсон находил множество случаев отплатить мне, но один из его остроумных способов досаждал мне всего более. Как ему удалось угадать, что такой пустяк может меня бесить, ума не приложу; но, однажды поняв это, он пользовался всякою возможностью мне

досадить. Я всегда питал неприязнь к моей неизысканной фамилии и к чересчур заурядному, если не плебейскому имени. Они были ядом для моего слуха, и когда в день моего прибытия в пансион там появился второй Вильям Вильсон, я разозлился на него за то, что он носит это имя, и вдвойне вознегодовал на имя за то, что его носит кто-то еще, отчего его станут повторять вдвое чаще, а тот, кому оно принадлежит, постоянно будет у меня перед глазами, и поступки его, неизбежные и привычные в повседневной школьной жизни, из-за отвратительного этого совпадения будут часто путать с моими.

Порожденная таким образом досада еще усиливалась всякий раз, когда случай явственно показывал внутреннее или внешнее сходство меж моим соперником и мною. В ту пору я еще не обнаружил того примечательного обстоятельства, что мы были с ним одних лет; но я видел, что мы одного роста, и замечал также, что мы на редкость схожи телосложением и чертами лица. К тому же я был уязвлен слухом, будто мы с ним в родстве, который распространился среди учеников старших классов. Коротко говоря, ничто не могло сильней меня задеть (хотя я тщательно это скрывал), нежели любое упоминание о сходстве наших душ, наружности или обстоятельств. Но сказать по правде, у меня не было причин думать, что сходство это обсуждали или хотя бы замечали мои товарищи; говорили только о нашем родстве. А вот Вильсон явно замечал это во всех проявлениях, и притом столь же ревниво, как я; к тому же он оказался на редкость изобретателен на колкости и насмешки — это свидетельствовало, как я уже говорил, об его удивительной проницательности.

Его тактика состояла в том, чтобы возможно точнее подражать мне и в речах и в поступках; и здесь он достиг совершенства. Скопировать мое платье ничего не стоило; походку мою и манеру держать себя он усвоил без труда; и, несмотря на присущий ему органический недостаток, ему удавалось подражать даже моему голосу. Громко говорить он, разумеется, не мог, но интонация была та же; и сам его своеобразный шепот стал поистине моим эхом.

Какие же муки причинял мне превосходный этот портрет (ибо по справедливости его никак нельзя было назвать карикатурой), мне даже сейчас не описать. Одно только меня утешало, — что подражание это замечал единственно я сам и терпеть мне приходилось многозначительные и странно язвительные улыбки одного только

моего тезки. Удовлетворенный тем, что вызвал в душе моей те самые чувства, какие желал, он, казалось, втайне радовался, что причинил мне боль, и решительно не ждал бурных аплодисментов, какие с легкостью мог принести ему его остроумно достигнутый успех. Но долгие беспокойные месяцы для меня оставалось неразрешимой загадкой, как же случилось, что в пансионе никто не понял его намерений, не оценил действий, а стало быть, не глумился с ним вместе. Возможно, постепенность, с которой он подделывался под меня, мешала остальным заметить, что происходит, или — это более вероятно — своею безопасностью я был обязан искусству подражателя, который полностью пренебрег чисто внешним сходством (а только его и замечают в портретах люди туповатые), зато, к немалой моей досаде, мастерски воспроизводил дух оригинала, что видно было мне одному.

Я уже не раз упоминал об отвратительном мне покровительственном тоне, который он взял в отношении меня, и о его частом назойливом вмешательстве в мои дела. Вмешательство его нередко выражалось в непрошеных советах; при этом он не советовал прямо и открыто, но говорил намеками, обиняками. Я выслушивал эти советы с отвращением, которое год от году росло. Однако ныне, в столь далекий от той поры день, я хотел бы отдать должное моему сопернику, признать хотя бы, что ни один его совет не мог бы привести меня к тем ошибкам и глупостям, какие столь свойственны людям молодым и, казалось бы, неопытным; что нравственным чутьем, если не талантливостью натуры и жизненной умудренностью, он во всяком случае намного меня превосходил и что, если бы я не так часто отвергал его советы, сообщаемые тем многозначительным шепотом, который тогда я слишком горячо ненавидел и слишком ожесточенно презирал, я, возможно, был бы сегодня лучше, а значит, и счастливей.

Но при том, как все складывалось, под его постылым надзором я в конце концов дошел до крайней степени раздражения и день ото дня все более открыто возмущался его, как мне казалось, несносной самонадеянностью. Я уже говорил, что в первые годы в школе чувство мое к нему легко могло бы перерасти в дружбу; но в последние школьные месяцы, хотя навязчивость его, без сомнения, несколько уменьшилась, чувство мое почти в той же степени приблизилось к

настоящей ненависти. Как-то раз он, мне кажется, это заметил и после того стал избегать меня или делал вид, что избегает.

Если память мне не изменяет, примерно в это же самое время мы однажды крупно поспорили, и в пылу гнева он отбросил привычную осторожность и заговорил и повел себя с несвойственной ему прямотой — и тут я заметил (а может быть, мне почудилось) в его речи, выражении лица, во всем облике нечто такое, что сперва испугало меня, а потом живо заинтересовало, ибо в памяти моей всплыли картины младенчества, — беспорядочно теснящиеся смутные воспоминания той далекой поры, когда сама память еще не родилась. Лучше всего я передам чувство, которое угнетало меня в тот миг, если скажу, что не мог отделаться от ощущения, будто с человеком, который стоял сейчас передо мною, я был уже когда-то знаком, давным-давно, во времена бесконечно далекие. Иллюзия эта, однако, тотчас же рассеялась; и упоминаю я о ней единственно для того, чтобы обозначить день, когда я в последний раз беседовал со своим странным тезкой.

В громадном старом доме, с его бесчисленными помещениями, было несколько смежных больших комнат, где спали почти все воспитанники. Было там, однако (это неизбежно в столь неудобно построенном здании), много каморок, образованных не слишком разумно возведенными стенами и перегородками; изобретательный директор доктор Брэнсби их тоже приспособил под дортуары, хотя первоначально они предназначались под чуланы и каждый мог вместить лишь одного человека. В такой вот спаленке помещался Вильсон.

Однажды ночью, в конце пятого года пребывания в пансионе и сразу после только что описанной ссоры, я дождался, когда все погрузились в сон, встал и, с лампой в руке, узкими запутанными переходами прокрался из своей спальни в спальню соперника. Я уже давно замышлял сыграть с ним одну из тех злых и грубых шуток, какие до сих пор мне неизменно не удавались. И вот теперь я решил осуществить свой замысел и дать ему почувствовать всю меру переполнявшей меня злобы. Добравшись до его каморки, я оставил прикрытую колпаком лампу за дверью, а сам бесшумно переступил порог. Я шагнул вперед и прислушался к спокойному дыханию моего тезки. Уверившись, что он спит, я возвратился в коридор, взял лампу и

с нею вновь приблизился к постели. Она была завешена плотным пологом, который, следуя своему плану, я потихоньку отодвинул, — лицо спящего залил яркий свет, и я впился в него взором. Я взглянул — и вдруг оцепенел, меня обдало холодом. Грудь моя тяжело вздымалась, колени задрожали, меня объял беспричинный и, однако, нестерпимый ужас. Я перевел дух и поднес лампу еще ближе к его лицу. Неужели это… это лицо Вильяма Вильсона? Я, конечно, видел, что это его лицо, и все же не мог этому поверить, и меня била лихорадочная дрожь. Что же в этом лице так меня поразило? Я смотрел, а в голове моей кружился вихрь беспорядочных мыслей. Когда он бодрствовал, в суете дня, он был не такой, как сейчас, нет, конечно, не такой. То же имя! Те же черты! Тот же день прибытия в пансион! Да еще упорное и бессмысленное подражание моей походке, голосу, моим привычкам и повадкам! Неужели то, что представилось моему взору, — всего лишь следствие привычных упражнений в язвительном подражании? Охваченный ужасом, я с трепетом погасил лампу, бесшумно выскользнул из каморки и в тот же час покинул стены старого пансиона, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

После нескольких месяцев, проведенных дома в совершенной праздности, я был определен в Итон. Короткого этого времени оказалось довольно, чтобы память о событиях, происшедших в пансионе доктора Брэнсби, потускнела, по крайней мере, я вспоминал о них с совсем иными чувствами. Все это больше не казалось таким подлинным и таким трагичным. Я уже способен был усомниться в свидетельстве своих чувств, да и вспоминал все это не часто, и всякий раз удивлялся человеческому легковерию, и с улыбкой думал о том, сколь живое воображение я унаследовал от предков. Характер жизни, которую я вел в Итоне, нисколько не способствовал тому, чтобы у меня поубавилось подобного скептицизма. Водоворот безрассудств и легкомысленных развлечений, в который я кинулся так сразу очертя голову, мгновенно смыл все, кроме пены последних часов, поглотил все серьезные, устоявшиеся впечатления, оставил в памяти лишь пустые сумасбродства прежнего моего существования.

Я не желаю, однако, описывать шаг за шагом прискорбное распутство, предаваясь которому мы бросали вызов всем законам и ускользали от строгого ока нашего колледжа. Три года безрассудств протекли без пользы, у меня лишь укоренились порочные привычки,

да я еще как-то вдруг вырос и стал очень высок ростом; и вот однажды после недели бесшабашного разгула я пригласил к себе на тайную пирушку небольшую компанию самых беспутных своих приятелей. Мы собрались поздним вечером, ибо так уж у нас было заведено, чтобы попойки затягивались до утра. Вино лилось рекой, и в других, быть может более опасных, соблазнах тоже не было недостатка; так что, когда на востоке стал пробиваться хмурый рассвет, сумасбродная наша попойка была еще в самом разгаре. Отчаянно раскрасневшись от карт и вина, я упрямо провозглашал тост, более обыкновенного богохульный, как вдруг внимание мое отвлекла порывисто открывшаяся дверь и встревоженный голос моего слуги. Не входя в комнату, он доложил, что какой-то человек, который очень торопится, желает говорить со мною в прихожей.

Крайне возбужденный выпитым вином, я скорее обрадовался, нежели удивился нежданному гостю. Нетвердыми шагами я тотчас вышел в прихожую. В этом тесном помещении с низким потолком не было лампы; и сейчас сюда не проникал никакой свет, лишь серый свет утра пробивался чрез полукруглое окно. Едва переступив порог, я увидел юношу примерно моего роста, в белом казимировом сюртуке такого же новомодного покроя, что и тот, какой был на мне. Только это я и заметил в полутьме, но лица гостя разглядеть не мог. Когда я вошел, он поспешно шагнул мне навстречу, порывисто и нетерпеливо схватил меня за руку и прошептал мне в самое ухо два слова: «Вильям Вильсон».

Я мигом отрезвел.

В повадке незнакомца, в том, как задрожал у меня перед глазами его поднятый палец, было что-то такое, что безмерно меня удивило, но не это взволновало меня до глубины души. Мрачное предостережение, что таилось в его своеобразном, тихом, шипящем шепоте, а более всего то, как он произнес эти несколько простых и знакомых слотов, его тон, самая интонация, всколыхнувшая в душе моей тысячи бессвязных воспоминаний из давнего прошлого, ударили меня, точно я коснулся гальванической батареи. И еще прежде, чем я пришел в себя, гостя и след простыл.

Хотя случай этот сильно подействовал на мое расстроенное воображение, однако же впечатление от него быстро рассеялось. Правда, первые несколько недель я всерьез наводил справки либо

предавался мрачным раздумьям. Я не пытался утаить от себя, что это все та же личность, которая столь упорно мешалась в мои дела и допекала меня своими вкрадчивыми советами. Но кто такой этот Вильсон? Откуда он взялся? Какую преследовал цель? Ни на один вопрос я ответа не нашел, узнал лишь, что в вечер того дня, когда я скрылся из заведения доктора Брэнсби, он тоже оттуда уехал, ибо дома у него случилось какое-то несчастье. А вскорости я совсем перестал о нем думать, ибо мое внимание поглотил предполагаемый отъезд в Оксфорд. Туда я скоро и в самом деле отправился, а нерасчетливое тщеславие моих родителей снабдило меня таким гардеробом и годовым содержанием, что я мог купаться в роскоши, столь уже дорогой моему сердцу, — соперничать в расточительстве с высокомернейшими наследниками самых богатых и знатных семейств Великобритании.

Теперь я мог грешить, не зная удержу, необузданно предаваться пороку, и пылкий нрав мой взыграл с удвоенной силой, — с презрением отбросив все приличия, я кинулся в омут разгула. Но нелепо было бы рассказывать здесь в подробностях обо всех моих сумасбродствах. Довольно будет сказать, что я всех превзошел в мотовстве и изобрел множество новых безумств, которые составили немалое дополнение к длинному списку пороков, каковыми славились питомцы этого по всей Европе известного своей распущенностью университета.

Вы с трудом поверите, что здесь я пал столь низко, что свел знакомство с профессиональными игроками, перенял у них самые наиподлейшие приемы и, преуспев в этой презренной науке, стал пользоваться ею как источником увеличения и без того огромного моего дохода за счет доверчивых собутыльников. И, однако же, это правда. Преступление мое против всего, что в человеке мужественно и благородно, было слишком чудовищно — и, может быть, лишь поэтому оставалось безнаказанным. Что и говорить, любой, самый распутный мой сотоварищ скорее усомнился бы в явственных свидетельствах своих чувств, нежели заподозрил в подобных действиях веселого, чистосердечного, щедрого Вильяма Вильсона — самого благородного и самого великодушного студента во всем Оксфорде, чьи безрассудства (как выражались мои прихлебатели) были единственно безрассудствами юности и необузданного

воображения, чьи ошибки всего лишь неподражаемая прихоть, чьи самые непростимые пороки не более как беспечное и лихое сумасбродство.

Уже два года я успешно следовал этим путем, когда в университете нашем появился молодой выскочка из новой знати, по имени Гленденнинг, — по слухам, богатый, как сам Ирод Аттик[542], и столь же легко получивший свое богатство. Скоро я понял, что он не блещет умом, и, разумеется, счел его подходящей для меня добычей. Я часто вовлекал его в игру и, подобно всем нечистым на руку игрокам, позволял ему выигрывать изрядные суммы, чтобы тем вернее заманить в мои сети. Основательно обдумав все до мелочей, я решил, что пора наконец привести в исполнение мой замысел, и мы встретились с ним на квартире нашего общего приятеля-студента (мистера Престона[543]), который, надо признаться, даже и не подозревал о моем намерении. Я хотел придать всему вид самый естественный и потому заранее озаботился, чтобы предложение играть выглядело словно бы случайным и исходило от того самого человека, которого я замыслил обобрать. Не стану распространяться о мерзком этом предмете, скажу только, что в тот вечер не было упущено ни одно из гнусных ухищрений, ставших столь привычными в подобных случаях; право же, непостижимо, как еще находятся простаки, которые становятся их жертвами.

Мы засиделись до глубокой ночи, и мне наконец удалось так все подстроить, что выскочка Гленденнинг оказался единственным моим противником. Притом игра шла моя излюбленная — экарте. Все прочие, заинтересовавшись размахом нашего поединка, побросали карты и столпились вокруг нас. Гленденнинг, который в начале вечера благодаря моим уловкам сильно выпил, теперь тасовал, сдавал и играл в таком неистовом волнении, что это лишь отчасти можно было объяснить воздействием вина. В самом непродолжительном времени он был уже моим должником на круглую сумму, и тут, отпив большой глоток портвейна, он сделал именно то, к чему я хладнокровно вел его весь вечер, — предложил удвоить наши и без того непомерные ставки. С хорошо разыгранной неохотой и только после того, как я дважды отказался и тем заставил его погорячиться, я наконец согласился, всем своим видом давая понять, что лишь уступаю его гневной настойчивости. Жертва моя повела себя в точности, как я предвидел:

не прошло и часу, как долг Гленденнинга возрос вчетверо. Еще до того с лица его постепенно сходил румянец, сообщенный вином, но тут он, к моему удивлению, страшно побледнел. Я сказал: к моему удивлению. Ибо заранее с пристрастием расспросил всех, кого удалось, и все уверяли, что он безмерно богат, а проигрыш его, хоть и немалый сам по себе, не мог, на мой взгляд, серьезно его огорчить и уж того более — так потрясти. Сперва мне пришло в голову, что всему виною недавно выпитый портвейн. И скорее желая сохранить свое доброе имя, нежели из иных, менее корыстных видов, я уже хотел прекратить игру, как вдруг чьи-то слова за моею спиной и полный отчаяния возглас Гленденнинга дали мне понять, что я совершенно его разорил, да еще при обстоятельствах, которые, сделав его предметом всеобщего сочувствия, защитили бы и от самого отъявленного злодея.

Как мне теперь следовало себя вести, сказать трудно. Жалкое положение моей жертвы привело всех в растерянность и уныние; на время в комнате установилась глубокая тишина, и я чувствовал, как под множеством горящих презрением и упреком взглядов моих менее испорченных товарищей щеки мои запылали. Признаюсь даже, что, когда эта гнетущая тишина была внезапно и странно нарушена, нестерпимая тяжесть на краткий миг упала с моей души. Массивные створчатые двери вдруг распахнулись с такой силой и так быстро, что все свечи в комнате, точно по волшебству, разом погасли. Но еще прежде, чем воцарилась тьма, мы успели заметить, что на пороге появился незнакомец примерно моего роста, окутанный плащом. Тьма, однако, стала такая густая, что мы лишь ощущали его присутствие среди нас. Мы еще не успели прийти в себя, ошеломленные грубым вторжением, как вдруг раздался голос незваного гостя.

— Господа, — произнес он глухим, отчетливым и незабываемым шепотом, от которого дрожь пробрала меня до мозга костей, — господа, прошу извинить меня за бесцеремонность, но мною движет долг. Вы, без сомнения, не осведомлены об истинном лице человека, который выиграл нынче вечером в экарте крупную сумму у лорда Гленденнинга. А потому я позволю себе предложить вам скорый и убедительный способ получить эти весьма важные сведения. Благоволите осмотреть подкладку его левой манжеты и те пакетики, которые, надо полагать, вы обнаружите в довольно поместительных карманах его сюртука.

Во время его речи стояла такая тишина, что, упади на пол булавка, и то было бы слышно.

Сказав все это, он тотчас исчез — так же неожиданно, как и появился. Сумею ли я, дано ли мне передать обуявшие меня чувства? Надо ли говорить, что я испытал все муки грешника в аду? Уж конечно, у меня не было времени ни на какие размышления. Множество рук тут же грубо меня схватили, тотчас были зажжены свечи. Начался обыск. В подкладке моего рукава обнаружены были все фигурные карты, необходимые при игре в экарте, а в карманах сюртука несколько колод, точно таких, какие мы употребляли для игры, да только мои были так называемые arrondees: края старших карт были слегка выгнуты. При таком положении простофиля, который, как принято, снимает колоду в длину, неизбежно даст своему противнику старшую карту, тогда как шулер, снимающий колоду в ширину, наверняка не сдаст своей жертве ни одной карты, которая могла бы определить исход игры.

Любой взрыв негодования не так оглушил бы меня, как то молчаливое презрение, то язвительное спокойствие, какое я читал во всех взглядах.

— Мистер Вильсон, — произнес хозяин дома, наклонясь, чтобы поднять с полу роскошный плащ, подбитый редкостным мехом, — мистер Вильсон, вот ваша собственность. (Погода стояла холодная, и, выходя из дому, я накинул поверх сюртука плащ, по здесь, подойдя к карточному столу, сбросил его.) Я полагаю, нам нет надобности искать тут, — он с язвительной улыбкой указал глазами на складки плаща, — дальнейшие доказательства вашей ловкости. Право же, нам довольно и тех, что мы уже видели. Надеюсь, вы поймете, что вам следует покинуть Оксфорд и, уж во всяком случае, немедленно покинуть мой дом.

Униженный, втоптанный в грязь, я, наверно, все-таки не оставил бы безнаказанными его оскорбительные речи, если бы меня в эту минуту не отвлекло одно ошеломляющее обстоятельство. Плащ, в котором я пришел сюда, был подбит редчайшим мехом; сколь редким и сколь дорогим, я даже не решаюсь сказать. Фасон его к тому же был плодом моей собственной фантазии, ибо в подобных пустяках я, как и положено щеголю, был до смешного привередлив. Поэтому, когда мистер Престон протянул мне плащ, что он поднял с полу у двери, я с

удивлением, даже с ужасом, обнаружил, что мой плащ уже перекинут у меня через руку (без сомнения, я, сам того не заметив, схватил его), а тот, который мне протянули, в точности, до последней мельчайшей мелочи его повторяет.

Странный посетитель, который столь гибельно меня разоблачил, был, помнится, закутан в плащ. Из всех собравшихся в тот вечер в плаще пришел только я. Сохраняя по возможности присутствие духа, я взял плащ, протянутый Престоном, незаметно кинул его поверх своего, с видом разгневанным и вызывающим вышел из комнаты, а на другое утро, еще до свету, в муках стыда и страха поспешно отбыл из Оксфорда на континент.

Но бежал я напрасно! Мой злой гений, словно бы упиваясь своим торжеством, последовал за мной и явственно показал, что его таинственная власть надо мною только еще начала себя обнаруживать. Едва я оказался в Париже, как получил новое свидетельство бесившего меня интереса, который питал к моей судьбе этот Вильсон. Пролетали годы, а он все не оставлял меня в покое. Негодяй! В Риме — как не вовремя и притом с какой беззастенчивой наглостью — он встал между мною и моей целью! То же и в Вене… а потом и в Берлине… и в Москве! Найдется ли такое место на земле, где бы у меня не было причин в душе его проклинать? От его загадочного деспотизма я бежал в страхе, как от чумы, но и на край света я бежал напрасно!

Опять и опять в тайниках своей души искал я ответа на вопросы: «Кто он?», «Откуда явился?», «Чего ему надобно?». Но ответа не было. Тогда я с величайшим тщанием проследил все формы, способы и главные особенности его неуместной опеки. Но и: тут мне почти не на чем было строить догадки. Можно лишь было сказать, что во всех тех многочисленных случаях, когда он в последнее время становился мне поперек дороги, од делал это, чтобы расстроить те планы и воспрепятствовать тем поступкам, которые, удайся они мне, принесли бы истинное зло. Какое жалкое оправдание для власти, присвоенной столь дерзко! Жалкая плата за столь упрямое, столь оскорбительное посягательство на право человека поступать по собственному усмотрению!

Я вынужден был также заметить, что мучитель мой (по странной прихоти с тщанием и поразительной ловкостью совершенно уподобясь мне в одежде), постоянно разнообразными способами мешая мне

действовать по собственной воле, очень долгое время ухитрялся ни разу не показать мне своего лица. Кем бы ни был Вильсон, уж это, во всяком случае, было с его стороны чистейшим актерством или же просто глупостью. Неужто он хоть на миг предположил, будто в моем советчике в Итоне, в погубителе моей чести в Оксфорде, в том, кто не дал осуществиться моим честолюбивым притязаниям в Риме, моей мести в Париже, моей страстной любви в Неаполе или тому, что он ложно назвал моей алчностью в Египте, — будто в этом моем архивраге и злом гении я мог не узнать Вильяма Вильсона моих школьных дней, моего тезку, однокашника и соперника, ненавистного и внушающего страх соперника из заведения доктора Брэнсби? Не может того быть! Но позвольте мне поспешить к последнему, богатому событиями действию сей драмы.

До сих пор я безвольно покорялся этому властному господству. Благоговейный страх, с каким привык я относиться к этой возвышенной натуре, могучий ум, вездесущность и всесилье Вильсона вместе с вполне понятным ужасом, который внушали мне иные его черты и поступки, до сих пор заставляли меня полагать, будто я беспомощен и слаб, и приводили к тому, что я безоговорочно, хотя и с горькою неохотой подчинялся его деспотической воле. Но в последние дни я всецело предался вину; оно будоражило мой и без того беспокойный нрав, и я все нетерпеливей стремился вырваться из оков. Я стал роптать… колебаться… противиться. И неужто мне только чудилось, что чем тверже я держался, тем менее настойчив становился мой мучитель? Как бы там ни было, в груди моей загорелась надежда и вскормила в конце концов непреклонную и отчаянную решимость выйти из порабощения.

В Риме во время карнавала 18… года[544] я поехал на маскарад в палаццо неаполитанского герцога Ди Брольо. Я пил более обыкновенного; в переполненных залах стояла духота, и это безмерно меня раздражало. Притом было нелегко прокладывать себе путь в толпе гостей, и это еще усиливало мою досаду, ибо мне не терпелось отыскать (позволю себе не объяснять, какое недостойное побуждение двигало мною) молодую, веселую красавицу-жену одряхлевшего Ди Брольо. Забыв о скромности, она заранее сказала мне, какой на ней будет костюм, и, наконец заметив ее в толпе, я теперь спешил приблизиться к ней. В этот самый миг я ощутил легкое прикосновение

руки к моему плечу и услышал проклятый незабываемый глухой шепот.

Обезумев от гнева, я стремительно оборотился к тому, кто так некстати меня задержал, и яростно схватил его за воротник.

Наряд его, как я и ожидал, в точности повторял мой: испанский плащ голубого бархата, стянутый у талии алым поясом, сбоку рапира. Лицо совершенно закрывала черная шелковая маска.

— Негодяй! — произнес я хриплым от ярости голосом и от самого слова этого распалился еще более. — Негодяй! Самозванец! Проклятый злодей! Нет, довольно, ты больше не будешь преследовать меня! Следуй за мной, не то я заколю тебя на месте! — И я кинулся из бальной залы в смежную с ней маленькую прихожую, я увлекал его за собою — и он ничуть не сопротивлялся.

Очутившись в прихожей, я в бешенстве оттолкнул его. Он пошатнулся и прислонился к стене, а я тем временем с проклятиями затворил дверь и приказал ему стать в позицию. Он заколебался было, но чрез мгновенье с легким вздохом молча вытащил рапиру и встал в позицию.

Наш поединок длился недолго. Я был взбешен, разъярен, и рукою моей двигала энергия и сила, которой хватило бы на десятерых. В считанные секунды я прижал его к панели и, когда он таким образом оказался в полной моей власти, с кровожадной свирепостью несколько раз подряд пронзил его грудь рапирой.

В этот миг кто-то дернул дверь, запертую на задвижку. Я поспешил получше ее запереть, чтобы никто не вошел, и тут же вернулся к моему умирающему противнику. Но какими словами передать то изумление, тот ужас, которые объяли меня перед тем, что предстало моему взору? Короткого мгновенья, когда я отвел глаза, оказалось довольно, чтобы в другом конце комнаты все переменилось. Там, где еще минуту назад я не видел ничего, стояло огромное зеркало — так, по крайней мере, мне почудилось в этот первый миг смятения; и когда я в неописуемом ужасе шагнул к нему, навстречу мне нетвердой походкой выступило мое собственное отражение, но с лицом бледным и обрызганным кровью.

Я сказал — мое отражение, но нет. То был мой противник — предо мною в муках погибал Вильсон. Маска его и плащ валялись на полу, куда он их прежде бросил. И ни единой нити в его одежде, ни

единой черточки в его приметном и своеобычном лице, которые не были бы в точности такими же, как у меня!

То был Вильсон; но теперь говорил он не шепотом; можно было даже вообразить, будто слова, которые я услышал, произнес я сам:

— Ты победил, и я покоряюсь. Однако отныне ты тоже мертв — ты погиб для мира, для небес, для надежды! Мною ты был жив, а убив меня, — взгляни на этот облик, ведь это ты, — ты бесповоротно погубил самого себя!

Октябрь, 1839

пер. Р. Облонской

Разговор Эйрос и Хармионы[545]

Πῦρ σοι προσοισω
Я принесу тебе огонь.

Еврипид.[546] ***«Андромаха»***

Эйрос. Почему ты зовешь меня Эйрос?

Хармиона. Ты будешь зваться так отныне и вовеки. Забудь и мое земное имя и зови меня Хармионой.

Эйрос. Да, это не сон!

Хармиона. Снов более нет с нами; но речь об этих тайнах впереди. Мне отрадно видеть, что тобою сохранены подобие жизни и разум. Теневая пелена сошла с твоих глаз. Исполнись смелости и ничего не бойся. Назначенные тебе дни оцепенения миновали; и завтра я сама посвящу тебя во все радости и чудеса твоего нового существования.

Эйрос. И вправду, я совсем не чувствую оцепенения. Неистовый недуг и ужасная тьма оставили меня, и мне более не слышен бешеный, стремительный, ужасный звук, подобный «шуму от множества вод»[547]. И все же чувства мои в смятении, Хармиона, от остроты восприятия нового.

Хармиона. Через несколько дней все это пройдет; — но я вполне тебя понимаю и сочувствую тебе. Прошло десять земных лет с той поры, как я испытала то, что испытываешь ты, но память об испытанном все же свежа. Все страдания, уготованные тебе в Эдеме, теперь позади.

Эйрос. В Эдеме?

Хармиона. В Эдеме.

Эйрос. О боже! — сжалься надо мной, Хармиона! — меня подавляет величие всего — неведомое, ставшее ведомым — Грядущее, слитое с царственным и определенным Настоящим.

Хармиона. Не пытайся разрешить эти вопросы. Речь о них будет завтра. Волнение твоего неокрепшего ума утешится простыми воспоминаниями. Не смотри ни окрест, ни вперед — но только назад. Я сгораю от нетерпения услышать подробности о грандиозном

событии, забросившем тебя к нам. Поведай мне о нем. Побеседуем о привычных предметах на старом привычном языке мира, погибшего столь ужасно.

Эйрос. О, ужасно, ужасно! — да, это не сон.

Хармиона. Снов более нет. Меня много оплакивали, Эйрос?

Эйрос. Оплакивали, Хармиона? О, горько. До самого последнего часа над твоим семейством нависала туча безысходного горя и благочестивой скорби.

Хармиона. И тот последний час — поведай о нем. Не забывай, что, помимо краткого известия о самой катастрофе, я ничего не знаю. Когда, покинув человечество, я прошла через Могилу в Ночь — в ту пору, если я верно помню, бедствия, постигшего вас, никак не ожидали. Но ведь я была мало сведуща в предсказаниях умозрительной философии тех дней.

Эйрос. Как ты сказала, бедствия, постигшего нас, совершенно не ждали; но подобные невзгоды на протяжении долгого времени составляли для астрономов предмет обсуждения. Едва ли стоит говорить тебе, друг мой, что, когда ты ушла от нас, люди истолковали те места из наших священных писаний, где повествуется об окончательной гибели всего сущего от огня, как относящиеся лишь к земному шару. Но касательно сил, посредством которых свершится наша гибель, все предположения были ошибочны, начиная с той эпохи развития астрономии, когда перестали считать, что кометы способны уничтожить нас огнем. Была точно установлена весьма невысокая плотность этих небесных тел. Заметили, что они проходят среди спутников Юпитера без какого-либо значительного изменения массы или орбит этих второстепенных планет. Мы давно рассматривали этих небесных скитальцев как крайне разреженные газообразные скопления, никак не способные причинить вред нашему весомому шару даже в случае соприкосновения. Но соприкосновения мы ни в коей мере не опасались, ибо элементы комет были досконально известны. Что среди них должно искать носителя огненной гибели, много лет считалось недопустимой идеей. Но последнее время причудливые фантазии и вера в чудеса странным образом распространились по свету; и хотя подлинное предчувствие грядущей катастрофы укоренилось лишь среди немногих невежд, но после того,

как астрономы объявили о новой комете[548], эта весть была принята всеми с какой-то тревогой и недоверием.

Немедленно определили элементы незнакомой кометы, и все наблюдатели сразу признали, что ее траектория в перигелии проходит очень близко от Земли. Двое или трое второстепенных астрономов настоятельно утверждали, что соприкосновение неизбежно. Не могу должным образом выразить тебе, какой эффект произвело это сообщение. Несколько дней люди не в силах были поверить утверждению, которое их разум, погруженный в будничные заботы, никак не мог осмыслить. Но правда о чем-то жизненно важном быстро доходит до понимания даже самых тупоумных. Наконец, все увидели, что астрономия не лжет, и принялись ожидать комету. Ее приближение на первых порах не казалось особо стремительным; да и вид ничем не поражал. Она была тускло-красная, с еле видным хвостом. Семь или восемь дней мы не замечали значительного увеличения ее диаметра и видели лишь частичное изменение ее цвета. Тем временем повседневные дела оказались в забросе, и всеобщий интерес был направлен на все расширяющееся обсуждение природы кометы, начатое людьми с философским складом ума. Даже величайшие невежды напрягали свои дремлющие способности ради рассуждений о комете. Теперь ученые не тратили ни интеллекта, ни души на то, чтобы рассеять страхи или защитить любимую теорию. Выбиваясь из сил, они искали правильного взгляда. Они мучительно добивались совершенства знаний. Истина восстала в чистоте силы своей и в беспредельном величии, и мудрые благоговейно простерлись перед нею.

Мнение, будто земной шар или его обитатели подвергнутся урону от предполагаемого соприкосновения с кометой, с каждым часом теряло вес среди мудрых; и мудрым теперь предоставлялась свобода власти над разумом и фантазией толпы. Было доказано, что плотность ядра кометы значительно ниже плотности самого разреженного из наших газов; настойчиво подчеркивали факт прохождения подобного небесного гостя среди спутников Юпитера, не имевший никаких опасных последствий, что весьма споспешествовало уменьшению ужаса. Богословы с усердием, вызванным страхом, занимались библейскими пророчествами и толковали их народу с прямолинейностью и простотою, дотоле неведомой. Представление о

том, что окончательная гибель Земли настанет от огня, внедрялось с упорством, убеждавшим всех; а что кометы состоят не из пламени (как поняли к тому времени все) — было истиной, в огромной мере ослабившей всеобщее предчувствие предсказанной беды. Заметно было, что принятые суеверия и заблуждения черни относительно эпидемий и войн — заблуждения, широко распространенные при появлении любой кометы — теперь были совершенно неведомы. Словно бы неким судорожным усилием разум в единый миг низверг суеверие с престола. В повышенной любознательности черпал силу и слабейший ум.

В мельчайших подробностях изучался вопрос каких малых зол можно ожидать от соприкосновения с кометой. Ученые говорили о незначительных геологических сдвигах, о вероятных изменениях климата, а следственно, и растительности; о возможных магнитных и электрических влияниях. Многие держались того мнения, что никаких видимых или заметных перемен вообще не последует. Покамест продолжались подобные дискуссии, предмет их постепенно приближался, его диаметр возрастал, сияние делалось все ярче. По мере приближения кометы росла тревога человечества. Все дела людские приостановились.

Настало время, когда комета в конце концов достигла величины, превосходящей величину всех подобных явлений, ранее отмеченных. Теперь люди, отбросив всякую оставшуюся надежду на ошибку астрономов, уверились в неотвратимой беде. Ужас потерял свою призрачность. Сердца смелейших бешено стучали. Однако оказалось довольно совсем не многих дней, дабы растворить и подобные чувства в других, вовсе уж непереносимых. Мы не могли более подходить к неведомой комете с какими-либо привычными мерками. Ее исторические признаки исчезли. Она тяготила нас ужасающею новизною внушаемых эмоций. Каждый из нас видел в ней не астрономический феномен, но инкуба[549] на сердце, тень на разуме. С непостижимой стремительностью она превратилась в гигантский покров разреженного пламени, простертый от горизонта до горизонта.

Еще день, и люди вздохнули свободнее. Стало ясно, что мы уже находимся в сфере влияния кометы; и все-таки живем. Мы даже ощущали необычную телесную гибкость и живость ума. Была очевидна крайняя разреженность кометы, ужасавшей нас: все

небесные тела были ясно видны сквозь нее. Тем временем растительность Земли заметно изменилась; и мы уверовали по этому ранее предсказанному обстоятельству в прозорливость мудрых. Буйная, роскошная листва, неведомая ранее, покрыла каждое растение.

Еще день — а зло все же не настигло нас до конца. Стало очевидным, что первым дойдет до нас ядро. Все люди безумно изменились; и первое ощущение боли послужило яростным сигналом для всеобщего плача и ужаса. Первое ощущение боли пришло от резкого стеснения грудной клетки и легких и от невыносимой сухости кожи. Нельзя было отрицать, что наша атмосфера поражена; начались споры о составе атмосферы и о допустимых в ней изменениях. Итоги исследования пропустили по всем людским сердцам электрическую искру глубочайшего ужаса.

Давно было известно, что окружавший нас воздух представляет собою смесь кислорода и азота в пропорции двадцати одной доли кислорода к семидесяти девяти азота на каждые сто в атмосфере. Кислород, источник сгорания и проводник тепла, самое могучее и действенное вещество в природе, был абсолютно необходим для поддержания жизни. Азот, напротив, был неспособен поддерживать жизнь или огонь. Противоестественный избыток кислорода привел бы, как было удостоверено, именно к такому подъему жизненных сил, какой мы незадолго до того испытали. Следование за этой идеей, ее развитие и породило ужас. К чему привело бы полное удаление азота? К воспламенению, неотвратимому, всепожирающему, повсеместному, немедленному; — полностью сбудутся, в мельчайших и устрашающих подробностях, пламенные, вселяющие ужас обличения из пророчеств Священного Писания.

Есть ли нужда, Хармиона, живописать ничем не сдерживаемое исступление человечества? Разреженность кометы, ранее вселявшая в нас надежды, стала теперь источником горестного отчаяния. В ее газообразной неосязаемости мы ясно усмотрели свершение Судьбы. Тем временем прошли еще сутки, унося с собою последнюю тень Надежды. Мы задыхались в стремительно изменяющемся воздухе. Алая кровь, бурля, проносилась по тесным сосудам. Исступленный бред обуял всех людей; простерев оцепенелые руки к грозящим небесам, они пронзительно кричали, охваченные трепетом. И тут на нас надвинулось ядро разрушительницы; даже здесь, в Эдеме, я

содрогаюсь, говоря об этом. Позволь мне быть краткой — краткой, как время, в которое постигла нас гибель. Какой-то миг сверкал зловещий, яростный свет, пронизывающий все. Тогда — позволь мне склониться, Хармиона, пред бесконечным величием всемогущего бога! — тогда раздался громовой, все наполняющий звук, словно бы исходивший из ЕГО уст; а вся масса эфира, в которой мы существовали, в единый миг вспыхнула неким пламенем, ослепительной яркости и всесжигающему жару которого нет имени даже среди ангелов в горнем Небе чистого знания. Так завершилось все.[550]

Декабрь, 1839

пер. В. Рогова

Почему французик носит руку на перевязи

Ежели кому из джентльменов интересно, то можете сами поглядеть — у меня на визитных карточках так прямо черным по розовой глянцевой бумаге значится: «Сэр Патрик О'Грандисон, баронет; приход Блумсбери, Рассел-Сквер, Саутгемптон-роуд, 39». И ежели кому хочется знать, кто у нас цвет галантности и вершина бон-тона во всем Лондоне, то это как раз я самый и есть. И ничего удивительного (так что можете не воротить носы), ведь уже битые полтора месяца, что я джентльмен, с тех пор как я перестал быть ирландцем и пошел в баронеты, живу — что твой император, уже и образование получил и галантному обхождению обучился. Ох, вам небось охота хоть краем глаза взглянуть, как сэр Патрик О'Грандисон, баронет, выходит, разодетый в пух и прах, чтобы ехать в эту самую оперу, или же садится в бричку и едет кататься в Гайд-Парк! А какая у меня вальяжная фигура! Элегант! Из-за этой фигуры все дамы влюбляются в меня. Ведь во мне роста — любо-дорого посмотреть — добрых шесть футов да еще и три дюйма в придачу. А какая грация, какое сложение сверху донизу! Это вам не три фута с малостью, что росточку в нем — в этом паршивом иностранце-французике, который через дорогу живет и целый божий день с утра до ночи — себе на горе — пялится и зырится на хорошенькую вдовушку миссис Джем, мою соседку (да благословит ее бог!) и самую что ни на есть добрую знакомую. Вы только взгляните — видите? У паршивца рожа кислая и левая рука на перевязи. А почему — сейчас все как есть толком разобъясню.

Дело-то нехитрое вот в чем. В первый же день, как я приехал из славного Коннаута[551] и красотка-вдовушка меня молодца в окошко на улице увидела, — тут же сердце свое мне и отдала. Я это сразу заметил, понятно? Меня не проведешь — не таковский. Вижу: она окошко торопливо распахивает, глаза разинула, таращит, а потом подносит к одному этакое стеклышко в золотой оправе, и дьявол меня заграбастай, ежели взгляд ее сквозь стеклышко не сказал мне яснее слов: «Ах! Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баронет, и низкий поклон! Вы, как погляжу, воистину из джентльменов

джентльмен, клянусь душой, и я, ей же ей! — ваша, мой дорогой, в любое время дня и ночи — только кликните». Ну а уж я не из тех, кого можно переплюнуть в галантности. Я отвесил ей поклон, да такой — вы бы видели! А затем одернул шляпу с головы одним широким рывком и обоими глазами ей подмигнул, словно бы говоря: «Верное слово, вы — премилая крошка, миссис Джем, моя красавица, и захлебнуться мне в ирландской топи болотной, ежели я, сэр Патрик О'Грандисон, баронет, собственной персоной, не готов сей же миг сдавить вас в жарких объятиях и показать вам, как любят у нас в Лондондерри!».

Ну, назавтра утром я как раз сидел и думал, не требует ли от меня галантность послать моей вдовушке любовную писульку, как вдруг входит лакей ливрейный и подает мне разрисованную эдакую визитную карточку, а на ней, он говорит, написано (я сам гравированные слова с завитками не разбираю по причине того, что левша): «мусью» там, «граф», «фу-ты-ну-ты», «мэтр дю-танц» и прочая галиматья — имя и прозвания этого паршивого иностранца-французика, что через дорогу живет.

И тут как раз он сам входит, отвешивает мне поклон по высшему разряду и говорит, что, мол, только взял на себя смелость сделать мне честь нанести мне краткий визит, и как припустил, припустил, а я ни боже мой не понимаю, чего он лопочет. Одно только слышу: «Пули-ву, вули-ву», — и среди прочего наговорил он мне с три короба разного вранья, что будто бы он, видите ли, без ума от любви к моей вдовушке миссис Джем и что она будто бы питает любовь к нему!

Услышав такое, я, сами понимаете, чуть не взбесился, но вспомнил, однако, что я — сэр Патрик О'Грандисон, баронет, и что хороший тон, не допускает, чтобы галантный джентльмен давал волю гневу, ну, я вида не подал, словно бы мне дела нет, балакаю с ним по-дружески, и немного погодя он вдруг — бац! — предлагает, чтобы мы вместе пошли прямо к вдовушке и он представит меня мадаме со всеми онерами.

«Ты слышишь, — говорю я про себя. — Ну и везет же тебе, Патрик! Погоди, сейчас он увидит, в кого влюблена без памяти миссис Джем, в тебя, молодца, или же в этого мусью Мэтр дю-танца».

И пошли мы к вдовушке в соседний дом, и ежели вы скажете, что все там было бон-тон и элегант, то не ошибетесь. Ковер лежал во весь

пол, в углу — фордыбьяно, и фисгармошка, и еще черт те что, а в другом углу — диванчик, такой распрекрасный, что в мире не сыскать, а на нем — ангельчик прелестный, миссис Джем собственной персоной.

— Свет доброго утра вам, миссис Джем, — говорю я и отвешиваю ей такой изысканный, элегантный поклон, что у вас бы голова кругом пошла. А французик-иностранец лопочет

— Вули-ву, пули-ву, ляп-тяп, и дорогая миссис Джем, вот этот джентльмен — не кто другой, как достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, мой самый что ни на есть добрый друг и знакомый.

Вдовушка встает с дивана и делает мне изысканный реверанс, какого свет не видывал, и снова садится, ангелочек-ангелочком. Смотрю, провалиться мне, если этот паршивый мусью Мэтр дю-танц в тот же миг не усаживается подле по правую ее ручку. Ух ты черт! Я думал, у меня глаза так прямо и выскочат; до того я разозлился. Но, однако, потом говорю про себя: «Ах так! Вот вы как, мусью Мэтр дю-танц?» И в тот же миг тоже усаживаюсь подле хозяйки по левую ручку — знай, мусью, наших! Ну, вы бы посмотрели, как изысканно и элегантно я ей подмигнул при этом обоими глазами прямо в лицо!

Но французишка даже и не заподозрил меня ни в чем. Знай себе любезничает с хозяйкой, старается изо всей своей мочи, «Вули-ву, — говорит, — пули-ву. И тяп-ляп».

«Ничего не выйдет, мусью лягушатник», — думаю я про себя. И тоже стал разговаривать что было мочи. И так я ее заговорил моей изысканной, элегантной беседой про милые болота Коннаута, что она только меня одного и слушала. Под конец подарила она меня такой прелестной улыбкой от уха до уха, что я сразу осмелел и пожал ей кончик мизинца самым что ни на есть галантным манером, а сам знай гляжу на нее во все глаза.

И подумайте только, что за хитрая плутовка, лишь только она увидела, что я ей лапку пожимаю, она ее цап — и за спину. Мол, что вы, сэр Патрик О'Грандисон, вот теперь вам будет удобнее, а то право же, хороший тон не допускает, чтобы вы мне ручку пожимали прямо на глазах у этого иностранца-французика мусью Мэтр дю-танца.

Я ей в ответ подмигнул, словно говоря: «Ладно, что до хитростей, то можете на сэра Патрика положиться». И эдак не спеша приступаю к

Делу. Вы бы умерли, если б видели, как я помаленьку, осторожненько просунул руку между спинкой дивана и спиной хозяйки. А там — ее лапка дожидается, словно говорит «Свет доброго утра вам, сэр Патрик О'Грандисон, баронет». Ну, я ее пожал слегка, так только, для начала, самую малость, боясь, не дай бог, показаться грубым. И — ах ты боже мой! — она мне отвечает самым легким и нечувствительным пожатием, какое мне в жизни доставалось. «Кровь и гром, сэр Патрик, — думаю я про себя, — ты один и никто другой — самый красивый и самый счастливый ирландец изо всех сыновей славного Коннаута». И тут уж я жму ей лапку от всей души, и она, моя красавица, тоже жмет мне руку в ответ вполне чувствительно. Но вы бы лопнули от смеха, видя глупое зазнайство французика, — он так перед ней рассыпался, и ухмылялся, и лопотал, и бормотал, что в жизни я не слыхивал ничего подобного. И пусть дьявол меня заграбастает, ежели я вдруг своими глазами не увидел, как он возьми да подмигни ей. Ох, ну и разозлился же я, не дай вам господи!

— Разрешите, — говорю, — уведомить вас, мусью Мэтр дю-танц, — эдак вежливо говорю, ничем меня не возьмешь, — что хороший тон не допускает пялиться и зыриться на благородную женщину, тем паче таким вот, как вы. И с этими словами снова пожимаю ей лапку, словно хочу сказать: «Ни боже мой, не сомневайтесь, мое сокровище, сэр Патрик — ваша надежная защита». И снова чувствую ответное пожатие, словно она мне отвечает «Правда ваша, сэр Патрик, — а мне это понятнее всяких слов. — Правда ваша, клянусь душой, вы — джентльмен что надо, и это как бог свят». Да еще открывает свои ясные буркалы во всю ширь, так что они у нее едва вовсе не выскочили, и смотрит сначала в сердцах на мусью Лягушатника, а потом на меня с улыбкой, что твой солнечный свет.

— Ах так! — говорит этот наглец. — Вот оно что! И вули-ву, пули-ву, — и вбирает голову в плечи все глубже и глубже, а рот изгибает дугой углами вниз — и ни гу-гу.

Сами понимаете, дальше — больше, сэр Патрик совсем рассвирепел, потому что французишка снова подмигивает моей вдовушке, а вдовушка снова мне руку жмет, словно говоря: «Ну-ка, покажите ему, сэр Патрик О'Грандисон, клянусь душой!».

Издал я могучее проклятье: — Ах, ты, — говорю, — паршивый лягушатник и такой-рассякой такой-то сын! — Но в эту минуту что бы

вы думали она делает? Вскакивает с дивана, словно ужаленная, и бегом к дверям. А я гляжу ей вслед и совершенно ничегошеньки понять не могу. Видите ли, ведь я-то знал про себя, что далеко она не уйдет, не сбежит вот так вниз по лестнице за здорово живешь: я же ее за руку держу и ни на минуту не отпускаю. Вот я и говорю:

— Не кажется ли вам, мадам, что вы самую что ни на есть чуточку поторопились? Назад, назад, моя красавица, и тогда я отпущу вашу лапку. — Но она пулей сбежала вниз по лестнице, и тогда я обернулся и посмотрел на этого иностранца-французика. Вот тебе на! Провалиться мне, ежели я не его паршивую лапу держу в своей руке. Так значит… да ведь тогда… словом, так.

Ну, я тут чуть не умер от смеха, до того потешно было смотреть на французишку, когда он сообразил, что вовсе не вдовушку держал все это время за лапку, а сэра Патрика О'Грандисона. Сам дьявол никогда не видел такой вытянутой рожи! Ну а достопочтенный сэр Патрик О'Грандисон, баронет, не таковский, чтобы из себя выходить из-за какой-то небольшой ошибки. В одном только можете поручиться (и не ошибетесь): перед тем как отпустить французишке руку — а сделал я это не раньше, чем лакеи миссис Джем вытолкали нас обоих взашей, — я так ему сжал ее на прощанье, что из нее получился малиновый джем.

— Вули-ву, — говорит он, — пули-ву. И черт драл. Вот в чем истинная причина, что он носит левую руку на перевязи.

1840

пер. И. Бернштейн

Делец

«Система — душа всякого бизнеса».

Старая пословица[552]

Я — делец. И приверженец системы. Система — это, в сущности, и есть самое главное. Но я от всего сердца презираю глупцов и чудаков, которые разглагольствуют насчет порядка и системы, ровным счетом ничего в них не смысля, строго придерживаются буквы, нарушая самый дух этих понятий. Такие люди совершают самые необычные поступки, но «методически», как они говорят. Это, на мой взгляд, просто парадокс; порядок и система приложимы только к вещам самым обыкновенным и очевидным, а экстравагантным совершенно несвойственны. Какой смысл может быть заключен в выражении «порядок шалопайства» или, например, «система прихоти»?

Взгляды мои по этому вопросу, возможно, никогда не были бы столь определенны, если бы не счастливое происшествие, случившееся со мною совсем еще в юном возрасте. Однажды, когда я производил гораздо больше шуму, нежели то диктовалось необходимостью, добрая старуха-ирландка, моя нянюшка (которую я не забуду в моем завещании), подняла меня за пятки, покрутила в воздухе, пожелала мне как «визгуну проклятому» провалиться и ударом о спинку кровати промяла мне посредине голову, точно шапку. Этим была решена моя судьба и заложены начатки моего благосостояния. На теменной кости у меня в тот же миг вскочила шишка, и она впоследствии оказалась самой что ни на есть настоящей шишкой порядка. Вот откуда у меня страсть к системе и упорядоченности, благодаря которой я стал таким выдающимся дельцом.

Больше всего на свете я ненавижу гениев. Все эти гении — просто ослы, чем больше гений, тем больше осел. Уж такое это правило, из него не бывает исключений. Из гения, например, никогда не получится делец, как из жида не получится благотворитель или из сосновой шишки — мускатный орех. Эти людишки вечно пускаются во

всевозможные немыслимые и глупые предприятия, никак не соответствующие правильному порядку вещей, и нипочем не займутся настоящим делом. Так что гения сразу можно отличить по тому, чем он в жизни занимается. Если вам попадется человек, который тщится быть купцом или промышленником, который выбрал для себя табачное пли хлопковое дело и тому подобную чертовщину, который хочет стать галантерейщиком, мыловаром или еще кем-нибудь в таком же роде, а то еще строит из себя ни много ни мало, как адвоката, или кузнеца, или врача — словом, занимается чем-то необычным — можете не сомневаться: это — гений и, значит, согласно тройному правилу, осел.

Я вот, например, не гений. Я просто делец, бизнесмен. Мой гроссбух и приходо-расходная книга докажут вам это в одну минуту. Замечу без ложной скромности, они у меня всегда в образцовом порядке, поскольку я склонен к аккуратности и пунктуальности. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не сравниться. Более того, дела, которыми занимаюсь я, всегда находятся в согласии с обыденными людскими привычками моих ближних. Хотя за это мне приходится благодарить вовсе не моих на редкость недалеких родителей — они-то уж постарались бы сделать из меня отъявленного гения, не вмешайся своевременно мой ангел-хранитель. В биографическом сочинении правда — это все, тем более в автобиографическом. И однако, кто мне поверит, если я расскажу, — а ведь мне не до шуток, — что пятнадцати лет меня родной отец задумал определить в контору к одному почтенному торговцу скобяными товарами, у которого, как он говорил, было «превосходное дело». Превосходное дело, как бы не так! Итог был тот, что по прошествии двух или трех дней меня отослали назад, в лоно моей тупоумной семьи с высокой температурой и с резкими болями в теменной кости вокруг моего органа порядка. Я едва не отдал душу богу, шесть недель провел между жизнью и смертью, врачи потеряли всякую надежду — и так далее. Но хоть я и принял страдания, все же я был благодарен судьбе. Мне повезло — я не стал почтенным торговцем скобяными товарами, за что и возблагодарил помянутое возвышенно у меня на темени, ставшее орудием моего спасения, равно как и ту добрую женщину, которая в свое время меня им наградила.

Обычные мальчишки убегают из дому в возрасте десяти — двенадцати лет. Я лично подождал, пока мне исполнится шестнадцать.

Я, может быть, и тогда бы не сбежал, если бы не подслушал ненароком, как моя старушка-мать вела разговор о том, что, мол, надобно меня пристроить по бакалейной части. «По бакалейной части» — подумать только! Я сразу же принял решение убраться подальше и приняться, по возможности, за какое-нибудь действительно приличное дело, чтобы не зависеть впредь от прихотей этих двух старых фантазеров, норовящих, того и гляди, не мытьем, так катаньем сделать из меня гения. Намерение мое с первой же попытки увенчалось успехом, и к тому времени, когда мне сравнялось восемнадцать лет, у меня уже было большое и доходное дело по линии портновской ходячей рекламы.

И удостоился я этой почетной должности исключительно благодаря приверженности к системе, являющейся моей характерной чертою. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, равно как и мою отчетность. По своему опыту могу сказать, что не деньги, а система делает человека — за исключением той части его индивидуальности, которая изготовляется портным, — моим нанимателем. Ровно в девять часов каждое утро я являлся к нему за очередным одеянием. В десять часов я уже был на каком-нибудь модном променаде или в другом месте общественного увеселения. Точность и размеренность, с какой я поворачивал мою видную фигуру, выставляя напоказ одну за другой все детали облачавшего ее костюма, были предметом неизменного восхищения всех специалистов. Полдень еще не наступал, как я уже приводил в дом моих нанимателей, господ Крой, Шип и Ко, нового заказчика. Говорю это с гордостью, но и со слезами на глазах, ибо их фирма выказала низкую неблагодарность. Представленный мною небольшой счетец, из-за которого мы рассорились и в конце концов расстались, ни один джентльмен, понимающий тонкости нашего дела, не назовет дутым. Впрочем, об этом, смею с гордостью и удовлетворением заметить, читателю дается возможность судить самому.

Причитается от господ Крой, Шил и Ко, портных, мистеру Питеру Профиту, ходячей рекламе Долл.

Июля 10 За прохаживание, как обычно, и привод одного заказчика — 00,25.

Июля 11 То же 25.

Июля 12 За одну ложь второго сорта: всучил покупателю побуревший черный материал как якобы темно-зеленый — 25.

Июля 13 За одну ложь первого сорта экстра: выдал бумажный плис за драп-велюр — 75.

Июля 20 За покупку совершенно нового бумажного воротничка, чтобы лучше оттенить темно-серое пальто — 2.

Августа 15 За ношение короткого фрака с двойными прокладками на груди (температура — 76 градусов в тени) — 25.

Августа 16 За стояние в течение трех часов на одной ноге для демонстрации нового фасона штрипок к панталонам — из расчета по 12 и 1/2 центов за одну ногу — 37 и 1/2.

Августа 17 За прохаживание, как обычно, и привод крупного заказчика (толстый мужчина) — 50.

Августа 18 То же, то же (средней упитанности) — 25.

Августа 19 То же, то же (тщедушный и неприбыльный) — 6.

Итого: 2 долл. 96 1/2 цента.

Пункт, по которому разгорелись особенно жаркие споры, касался весьма умеренной суммы в два цента за бумажный воротничок. Но, клянусь честью, этот воротничок вполне стоил двух центов. В жизни я не видывал воротничка изящнее и чище. И у меня есть основания утверждать, что он помог реализации трех темно-серых пальто. Но старший партнер фирмы не соглашался положить за него больше одного цента и вздумал даже показывать мне, как из двойного листа бумаги можно изготовить целых четыре таких воротничка. Едва ли стоит говорить, что я от своих принципов не отступился. Дело есть дело, и подходить к нему следует только по-деловому. Какой же это порядок — обсчитывать меня на целый цент? Чистое надувательство из пятидесяти процентов, вот как я это называю. Можно ли его принять за систему? Я немедленно покинул службу у господ Крой, Шил и Ко и завел собственное дело по бельмовой части — одно из

самых прибыльных, благородных и независимых среди обычных человеческих занятий.

И здесь моя неподкупная честность, бережливость и строгие правила бизнесмена снова пришлись как нельзя кстати. Предприятие процветало, и вскоре я уже был видной фигурой в своем деле. Ибо я не разменивался на всякие новомодные пустяки, не старался пускать пыль в глаза, а твердо придерживался добрых честных старых приемов этой почтенной профессии — профессии, которой, без сомнения, держался бы и по сей день, если бы не досадная случайность, происшедшая однажды со мною, когда я совершал кое-какие обычные деловые операции. Известно, что когда какой-нибудь старый толстосум, или богатый наследник-вертопрах, или акционерное общество, которому на роду написано вылететь в трубу, — словом, когда кто-нибудь затевает возвести себе хоромы, ничего нет лучше, как воспрепятствовать такой затее, всякий дурак это знает. Приведенное соображение и лежит в основе бельмового бизнеса. Как только дело у наших предполагаемых строителей примет достаточно серьезный оборот, вы тихонько покупаете клочок земли на краю облюбованного ими участка, или же бок о бок с ним, или прямо напротив. Затем ждете, пока хоромы не будут уже наполовину возведены, а тогда нанимаете архитектора с тонким вкусом, и он строит вам у них под самым носом живописную мазанку, или азиатско-голландскую пагоду, или свинарник, или еще какое-нибудь замысловатое сооружение в эскимосском, кикапуском или готтентотском стиле. Ну и понятно, нам не по средствам снести его за премию всего из пятисот процентов от наших первоначальных затрат на участок и на штукатурку. По средствам нам это, я спрашиваю? Пусть мне ответят другие дельцы. Самая мысль эта абсурдна. И тем не менее одно наглое акционерное общество сделало мне именно такое предложение — именно такое! Разумеется, я на эту глупость ничего не ответил и в ту же ночь вынужден был пойти и измазать сажей их строящиеся хоромы, я чувствовал, что это мои долг. Безмозглые же злодеи упекли меня в тюрьму; и, когда я оттуда вышел, собратья по бельмовой профессии поневоле должны были прекратить со мной знакомство.

Профессия рукоприкладства, которой мне пришлось заняться после этого, чтобы заработать себе хлеб насущный, не вполне соответствовала моей нежной конституции, — и, однако же, я

приступил к делу с открытой душой и убедился, что моя сила, как и прежде, в тех твердых навыках методичности и аккуратности, которые вбила в меня эта замечательная женщина, моя старая нянька, — право, я был бы низким подлецом, если бы не помянул ее в моем завещании. Так вот, соблюдая в делах строжайшую систему и аккуратно ведя приходо-расходные книги, я сумел преодолеть немало серьезных трудностей и в конце концов добиться вполне приличного положения в своей профессии. Думаю, что мало кто делал дела удачнее, чем я. Приведу здесь страницу или две из моего журнала — это избавит меня от необходимости трубить о самом себе, что, по-моему, недостойно человека с возвышенной душой. Другое дело журнал, он не даст солгать.

1 янв.

Новый год. Встретил на улице Скока, навеселе. Нотабене: подойдет. Чуть позднее встретил Груба, пьяного в стельку. Нотабене: тоже годится. Внес обоих джентльменов в мой гроссбух и завел на каждого открытый счет.

2 янв.

Видел Скока на бирже, подошел к нему и наступил на ногу. Он размахнулся и кулаком сбил меня с ног. Отлично! Встал на ноги. Затруднения с моим поверенным Толстосуммом. Я хотел за ущерб тысячу, а он говорит, что за одну такую несерьезную затрещину больше пятисот нам с них не содрать. Нотабене: расстаться с Толстосуммом, у него нет совершенно никакой системы.

3 янв.

Был в театре, искал Груба. Он сидел сбоку в ложе во втором ряду между толстой дамой и тощей дамой. Разглядывал их в театральный бинокль, пока толстая дама не покраснела и зашептала что-то на ухо Г. Тогда зашел в ложу и сунул нос прямо ему под руку. Ничего не вышло — не дернул. Высморкался, попробовал еще раз — бесполезно. Тогда уселся и подмигнул тощей, после чего, к моему величайшему удовлетворению, был поднят им за шиворот и вышвырнут в партер. Вывих шеи и первоклассный перелом

ноги. Торжествуя, вернулся домой и записал на него пять тысяч. Толстосумм говорит, что выгорит.

15 февр.

Пошел на компромисс в деле мистера Скока. Сумма в пятьдесят центов заприходована — о чем см.

16 февр.

Сбит с йог этим хулиганом Грубом, каковой сделал мне подарок в пять долларов. (Судебные издержки — четыре доллара двадцать пять центов. Чистый доход — см. приходо-расходную книгу — семьдесят пять центов).

Итого, за самый короткий срок чистой прибыли не менее одного доллара двадцати пяти центов — и это только от Скока и Груба. Притом, заверяю читателя, что вышеприведенные выписки из моего журнала взяты наудачу.

Однако старая — и мудрая — пословица говорит, что здоровье дороже денег. Эта профессия оказалась несколько слишком тяжелой для моего слабого организма, и потому, обнаружив в один прекрасный день, что я измордован до полной неузнаваемости, так что знакомые, встречаясь со мною на улице, даже и не догадывались, что проходят мимо Питера Профита, я подумал, что лучшее средство от этого — сменить профессию. По каковой причине я обратил мои взоры к пачкотне и занимался ею несколько лет.

Хуже всего в этом деле то, что слишком многие им увлекаются, и поэтому конкуренция очень уж высока. Всякий дурак, у которого не хватает мозгов для того, чтобы преуспеть в качестве ходячей рекламы, или в бельмовом бизнесе, или в рукоприкладстве, конечно, считает, что пачкотня как раз по нему. Но думать, будто для пачкотни не требуется мозгов, величайшее заблуждение. Наоборот. И в особенности тут необходима система — без нее как без рук. Я вел всего только розничное дело, но благодаря моей старой привычке к порядку, неплохо в нем преуспел. Прежде всего я с большим тщанием подошел к выбору подходящего перекрестка и за все время ни разу не поднял метлу ни в каком другом месте. Позаботился я также и о том, чтобы под рукой у меня всегда была отличная, удобная лужа. Этим способом я приобрел твердую репутацию человека, на которого можно положиться, а это, поверьте мне, для всякого дельца добрая половина

успеха. Не было случая, чтобы кто-нибудь, кто швырнул мне монетку, не перешел па моем перекрестке улицу в чистых панталонах. И поскольку мои положительные деловые привычки были каждому известны, никто не пытался поживиться за мой счет. Попробовал бы только! Я сам не из тех, кто занимается вымогательством, но уж и меня тоже не тронь. Конечно, против банков, этих обдирал, я был бессилен. Я от них копейки не видел, отчего и терпел большие лишения. Но ведь это не люди, а корпорации, а у корпораций, как известно, нет ни тела, которое можно поколотить, ни души, которую можно предать вечному проклятью.

Я с успехом вел свое прибыльное дело, пока в один злосчастный день не принужден был к слиянию с сапого-собако-марательством, каковое занятие в некотором роде подобно моему, однако далеко не столь почтенно. Правда, местоположение у меня было отличное, в самом центре, а щетки и вакса — высшего качества. И песик мой отличался упитанностью и был большой специалист по разного рода обнюхиваниям. У него уже имелся изрядный стаж, и дело свое он понимал, могу сказать, превосходно. Работали мы обычно так. Помпейчик, вывалявшись хорошенько в грязи, сидит, бывало, паинькой на пороге соседней лавки, пока не появится какой-нибудь франт в начищенных сапогах. Тогда он устремляется ему навстречу и трется о блестящие голенища. Франт отчаянно ругается и начинает озираться в поисках чистильщика. А тут как раз я, сижу на самом виду, и в руках у меня вакса и щетки. Работы не больше чем на минуту, и шесть пенсов в кармане. На первых порах этого вполне хватало — я ведь не жадный. Зато пес мой оказался жадным. Я выделил ему третью долю доходов, а он счел уместным потребовать половину. На это я пойти не мог — мы поссорились и расстались.

Потом я какое-то время крутил шарманку и могу сказать, дело у меня шло совсем недурно. Работа эта простая, немудреная, особых талантов не требует. За безделицу покупаете музыкальный ящик, и, чтобы привести его в порядок, открываете крышку, и раза три ударяете по его нутру молотком. От этого звук несравненно улучшается, что для дела особенно важно. После этого остается взвалить шарманку на плечо и идти куда глаза глядят, покуда не попадется вам дверь с обтянутым замшей висячим молотком, а перед нею насыпанная на мостовой солома. Под этой дверью надо остановиться и завести

шарманку, всем своим видом показывая, что намерен так стоять и крутить хоть до второго пришествия. Рано или поздно над вами распахивается окно, и вам бросают шестипенсовик, сопровождая подношение просьбой «заткнуться и проваливать». Мне известно, что некоторые шарманщики и в самом деле считают возможным «проваливать» за названную сумму, но я лично полагал, что вложенный капитал слитком велик и не позволяет «проваливать» меньше чем за шиллинг.

Это занятие приносило мне немалый доход, но как-то не давало полного удовлетворения, так что в конце концов я его бросил. Ведь я все же был поставлен в невыгодные условия, у меня не было обезьянки, — и потом улицы в Америке так грязны, а демократический сброд до того бесцеремонен и толпы злых мальчишек слишком уж надоедливы.

Несколько месяцев я был без работы, но потом сумел устроиться при лжепочте, ибо испытывал к этому делу пылкий интерес. Занятие это весьма простое и притом не вовсе бездоходное. К примеру, рано утром я подготавливал пачку лжеписем — на листке бумаги писал что-нибудь на любую тему, что ни придет в голову, лишь бы позагадочнее, и ставил какую-нибудь подпись, скажем, Том Добсон или Бобби Томпкинс. Потом складывал листки, запечатывал сургучом, лепил поддельные марки с поддельными штемпелями якобы из Нового Орлеана, Бенгалии, Ботани-Бея и прочих удаленных мест и спешил вон из дому. Мой ежеутренний путь вел меня от дома к дому, которые посолиднее. Я стучался, вручал письма и взимал суммы, причитающиеся по наложенному платежу. Платили, не раздумывая. Люди всегда с готовностью платят за письма — такие дураки, — и я без труда успевал скрыться за углом, прежде чем они прочитывали мое послание. Единственное, что плохо в этой профессии, это что нужно очень много и очень быстро ходить и беспрестанно менять маршруты. И, кроме того, я испытывал укоры совести. Признаться, я терпеть не могу, когда ругают ни в чем не повинного человека, а весь город так честил Тома Добсона и Бобби Томпкинса, что просто слушать было больно. И я в отвращении умыл от этого дела руки.

Восьмым и последним моим занятием было кошководство. Я нашел его в высшей степени приятным, доходным и совершенно необременительным. Страна наша, как известно, наводнена кошками.

Бедствие это достигло в последнее время таких размеров, что на последней сессии Законодательного совета была внесена петиция о помощи, под которой стояло множество подписей, в том числе людей самых уважаемых. Совет высказал рассудительность необыкновенную и, приняв на той памятной сессии целый ряд здравых и мудрых постановлений, увенчал их Актом о кошках. Новый закон в своей первоначальной редакции предлагал премию (по четыре пенса) за кошачью голову, но сенату удалось протащить поправку к основному параграфу, с тем чтобы заменить слово «голову» на слово «хвост». Поправка эта была столь неоспоримо уместна, что сенат проголосовал за нее nem. con.[553]

Лишь только новый закон был подписан губернатором, как я тут же вложил всю мою движимость в приобретение кисок. Вначале я ввиду ограниченности средств кормил их одними мышами, поскольку они дешевы, но мои питомцы с такой невероятной быстротой выполняли библейский завет, что я вскоре счел возможным быть с ними пощедрее и баловал их устрицами и черепаховым супом. Их хвосты по сенатской ставке приносят мне отличный доход, ибо я открыл способ с помощью макассарского масла[554] снимать по три урожая в год. К тому же я с радостью обнаружил, что славные животные скоро привыкают к этой процедуре и сами предпочитают, чтобы хвосты им отрубали. Словом, теперь я состоятельный человек и сейчас занят тем, что торгую себе поместье на берегу Гудзона.

Февраль, 1840

пер. И. Бернштейн

Человек толпы

Ce grand malheur de не pouvoir etre seul.

La Bruyere[555]

По поводу одной немецкой книги было хорошо сказано, что она «langst sich nicht lesen» — не позволяет себя прочесть. Есть секреты, которые не позволяют себя рассказывать. Еженощно люди умирают в своих постелях, цепляясь за руки своих духовников и жалобно заглядывая им в глаза, умирают с отчаянием в сердце и со спазмой в горле — и все из-за потрясающих тайн, которые никоим образом не дают себя раскрыть. Увы — порою совесть человеческая возлагает на себя бремя ужасов столь тяжкое, что сбросить его можно лишь в могилу, — и, таким образом, сущность всякого преступления остается неразгаданной.

Как-то раз, поздним осенним вечером, я сидел у большого окна кофейни Д. в Лондоне. В течение нескольких месяцев я хворал, но теперь поправлялся, и вместе со здоровьем ко мне вернулось то счастливое расположение духа, которое представляет собою полную противоположность ennui[556] — состояние острейшей восприимчивости, когда спадает завеса с умственного взора — «axlns e prin epeen»[557] и наэлектризованный интеллект превосходит свои обычные возможности настолько же, насколько неожиданные, но точные определения Лейбница превосходят причудливую риторику Горгия[558]. Просто дышать — и то казалось наслаждением, и я извлекал удовольствие даже из того, что обыкновенно считается источником страданий. У меня появился спокойный и в то же время пытливый интерес ко всему окружающему. С сигарой во рту и газетой на коленях я большую часть вечера развлекался тем, что просматривал объявления, наблюдал разношерстную публику, собравшуюся в зале, или выглядывал на улицу сквозь закопченные стекла.

Это была одна из главных улиц города, и весь день на ней толпилось множество народу. Однако по мере того, как темнота сгущалась, толпа все увеличивалась, а к тому времени, когда зажгли

фонари, мимо входа в кофейню с шумом неслись два густых бесконечных потока прохожих. В столь поздний вечерний час мне еще ни разу не приходилось занимать подобную позицию, и потому бушующее море людских голов пленяло меня новизною ощущений. В конце концов я перестал обращать внимание на то, что происходило вокруг меня, и всецело погрузился в созерцание улицы.

В начале наблюдения мои приняли отвлеченный, обобщающий характер. Я рассматривал толпу в целом и думал обо всех прохожих в совокупности. Вскоре, однако, я перешел к отдельным подробностям и с живым интересом принялся изучать бесчисленные разновидности фигур, одежды и манеры держаться, походку и выражение лиц.

У большей части прохожих вид был самодовольный и озабоченный, Казалось, они думали лишь о том, как бы пробраться сквозь толпу. Они шагали, нахмурив брови, и глаза их перебегали с одного предмета на другой. Если кто-нибудь нечаянно их толкал, они не выказывали ни малейшего раздражения и, пригладив одежду, торопливо шли дальше. Другие — таких было тоже немало — отличались беспокойными движениями и ярким румянцем. Энергично жестикулируя, они разговаривали сами с собой, словно чувствовали себя одинокими именно потому, что кругом было столько народу. Встречая помеху на своем пути, люди эти внезапно умолкали, но продолжали с удвоенной энергией жестикулировать и, растерянно улыбаясь, с преувеличенной любезностью кланялись тому, кто им помешал, ожидая, пока он не уйдет с дороги. В остальном эти две большие разновидности прохожих ничем особенным не выделялись. Одеты они были, что называется, прилично. Без сомнения, это были дворяне, коммерсанты, стряпчие, торговцы, биржевые маклеры — эвпатриды[559] и обыватели, — люди либо праздные, либо, напротив, деловитые владельцы самостоятельных предприятий. Они меня не очень интересовали.

В племени клерков, которое сразу бросалось в глаза, я различил две характерные категории. Это были прежде всего младшие писари сомнительных фирм — надменно улыбающиеся молодые люди с обильно напомаженными волосами, в узких сюртуках и начищенной до блеска обуви. Если отбросить некоторую рисовку, которую, за неимением более подходящего слова, можно назвать канцелярским снобизмом, то манеры этих молодчиков казались точной копией того,

что считалось хорошим тоном год или полтора назад. Они ходили как бы в обносках с барского плеча, что, по моему мнению, лучше всего характеризует всю их корпорацию.

Старших клерков солидных фирм невозможно было спутать ни с кем. Эти степенные господа красовались в свободных сюртуках, в коричневых или черных панталонах, в белых галстуках и жилетах, в крепких широких башмаках и толстых гетрах. У каждого намечалась небольшая лысина, а правое ухо, за которое они имели привычку закладывать перо, презабавно оттопыривалось. Я заметил, что они всегда снимали и надевали шляпу обеими руками и носили свои часы на короткой золотой цепочке добротного старинного образца. Они кичились своею респектабельностью — если вообще можно кичиться чем-либо столь благонамеренным.

Среди прохожих попадалось множество щеголей — они, я это сразу понял, принадлежали к разряду карманников, которыми кишат все большие города. С пристальным любопытством наблюдая этих индивидуумов, я терялся в догадках, каким образом настоящие джентльмены могут принимать их за себе подобных — ведь чрезмерно пышные манжеты в сочетании с необыкновенно искренним выраженьем па физиономии должны были бы тотчас же их выдать.

Еще легче было распознать игроков, которых я тоже увидел немало. Одежда их отличалась невероятным разнообразием — начиная с костюма шулера, состоящего из бархатного жилета, затейливого шейного платка, позолоченных цепочек и филигранных пуговиц, и кончая подчеркнуто скромным одеянием духовного лица, менее всего могущего дать повод для подозрений. Но у всех были землистые, испитые лица, тусклые глаза и бледные, плотно сжатые губы. Кроме того, они отличались еще двумя признаками: нарочито тихим голосом и более чем удивительной способностью большого пальца отклоняться под прямым углом от остальных. В обществе этих мошенников я часто замечал другую разновидность людей — обладая несколько иными привычками, они тем не менее были птицами того же полета. Их можно назвать джентльменами удачи. Они, так сказать, подстерегают публику, выстроив в боевой порядок оба своих батальона — батальон денди и батальон военных. Отличительными чертами первых следует считать длинные кудри и улыбки, а вторых — мундиры с галунами и насупленные брови.

Спускаясь по ступеням того, что принято называть порядочным обществом, я обнаружил более мрачные и глубокие темы для размышления. Здесь были разносчики-евреи со сверкающим ястребиным взором и печатью робкого смирения на лице; дюжие профессиональные попрошайки, бросавшие грозные взгляды на честных бедняков, которых одно лишь отчаяние могло выгнать ночью на улицу просить милостыню; жалкие, ослабевшие калеки, на которых смерть наложила свою беспощадную руку, — неверным шагом пробирались они сквозь толпу, жалобно заглядывая в лицо каждому встречному, словно стараясь найти в нем случайное утешение или утраченную надежду; скромные девушки, возвращавшиеся в свои неуютные жилища после тяжелой и долгой работы, — они скорее со слезами, чем с негодованием, отшатывались от наглецов, дерзких взглядов которых, однако, избежать невозможно; уличные женщины всех сортов и возрастов: стройные красавицы в расцвете женственности, напоминающие статую, описанную Лукианом[560] — снаружи паросский мрамор, внутри нечистоты; безвозвратно погибшая отвратительная прокаженная в рубище; морщинистая, размалеванная, увешанная драгоценностями молодящаяся старуха; девочка с еще незрелыми формами, но вследствие продолжительного опыта уже искушенная в гнусном жеманстве своего ремесла и снедаемая жаждой сравняться в пороке со старшими; всевозможные пьяницы — некоторые, в лохмотьях, с мутными, подбитыми глазами, брели пошатываясь и бормотали что-то невнятное, другие — в целой, хотя и грязной одежде, с толстыми чувственными губами и добродушными красными рожами, шли неуверенной поступью, третьи — в костюмах из дорогой ткани, даже теперь тщательно вычищенных, люди с неестественно твердой и упругой походкой, со страшной бледностью на лице и жутким блеском в воспаленных глазах, пробирались сквозь толпу и дрожащими пальцами цеплялись за все, что попадалось им под руку. Кроме того, в толпе мелькали торговцы пирогами, носильщики, угольщики, трубочисты, шарманщики, дрессировщики обезьян, продавцы и исполнители песенок, оборванные ремесленники и истощенные рабочие всякого рода. Шумное и неумеренное веселье всей этой толпы неприятно резало слух и до боли раздражало взгляд.

С приближением ночи мой интерес к этому зрелищу еще более усилился, стал еще глубже, ибо теперь не только существенно

изменился общий облик толпы (более благородные ее элементы постепенно отходили на задний план, по мере того как порядочные люди удалялись, тогда как более грубые начинали выделяться рельефнее — ведь в поздний час все виды порока выползают из своих нор), но и лучи газовых фонарей, вначале с трудом боровшиеся со светом угасающего дня, теперь сделались ярче и озаряли все предметы своим неверным сиянием. Все вокруг было мрачно, но сверкало подобно черному дереву, с которым сравнивают слог Тертуллиана.

Причудливая игра света привлекла мой взор к отдельным лицам, и, несмотря на то что быстрота, с которой этот мир ярких призраков проносился мимо окна, мешала пристально всмотреться в те пли иные черты, мне, в моем тогдашнем странном душевном состоянии, казалось, будто даже этот мимолетный взгляд нередко позволяет прочесть историю долгих лет.

Прижавшись лбом к стеклу, я внимательно изучал людской поток, как вдруг мне бросился в глаза дряхлый старик лет шестидесяти пяти или семидесяти. Удивительное выражение его лица сразу же приковало к себе и поглотило все мое внимание. Я никогда еще не видел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало это выражение. Хорошо помню: при виде его у меня мелькнула мысль, что Ретц[561], увидев подобную физиономию, без сомнения предпочел бы ее собственным рисункам, в которых пытался воплотить образ дьявола. Когда я в тот первый короткий миг попытался подвергнуть анализу его сущность, в мозгу моем возникли смутные и противоречивые мысли о громадной силе ума, об осторожности, скупости, алчности, хладнокровии, о коварстве, кровожадности, торжестве, радости, о невероятном ужасе и бесконечном отчаянии. Меня охватило странное возбуждение, любопытство, страх. «Какая жуткая повесть запечатлелась в этом сердце!» — сказал я себе. Мне захотелось не выпускать этого человека из виду, узнать о нем как можно больше. Торопливо накинув пальто, схватив шляпу и трость, я вышел на улицу и, пробиваясь сквозь толпу, двинулся вслед за стариком, который уже успел скрыться. С некоторым трудом мне наконец удалось догнать его, и, приблизившись к нему, я осторожно, стараясь не привлекать его внимания, пошел за ним по пятам.

Теперь я мог хорошенько изучить его наружность. Он был невысокого роста, очень худой и на вид совсем дряхлый. Одежда на

нем была грязная и рваная, однако в те короткие мгновенья, когда на него падал яркий свет фонаря, я успел заметить, что белье у него хоть и грязное, по сшито из дорогой ткани и, если зрение меня не обмануло, сквозь прореху в наглухо застегнутом и, без сомнения, купленном у старьевщика roquelaire[562] сверкнули алмаз и кинжал. Эти наблюдения еще больше усилили мое любопытство, и я решил следовать за незнакомцем всюду, куда бы он ни пошел.

Спустилась ночь; над городом навис влажный густой туман, вскоре сменившийся упорным проливным дождем. Перемена погоды оказала странное действие на толпу — все кругом засуетилось, и над головами вырос лес зонтиков. Давка, толкотня и гул удесятерились. Что до меня — я не обращал особого внимания на дождь, ибо для застарелой лихорадки, гнездившейся в моем организме, сырость была хоть и опасной, но приятною усладой. Завязав рот носовым платком, я продолжал свой путь. С полчаса старик пробирался по главной улице, и я, боясь потерять его из виду, неотступно следовал за ним. Он не оборачивался и поэтому меня не замечал. Через некоторое время он свернул в одну из боковых улиц, где было хотя и полно народу, но все же менее людно, чем на главной улице. Тут поведение старика совершенно изменилось. Он пошел медленнее и как-то неуверенно, словно сам не зная куда. Несколько раз он без всякой видимой причины переходил через дорогу, а толчея все еще была такой сильной, что при каждом повороте я приближался к нему почти вплотную. Пока он брел по этой узкой и длинной улице, прошло около часу, толпа постепенно стала редеть, и наконец народу осталось не больше, чем бывает в полдень па Бродвее возле парка — настолько велика разница между обитателями Лондона и самого многолюдного американского города. Еще один поворот — и мы вышли на ярко освещенную, полную жизни площадь. Здесь к незнакомцу вернулась его прежняя манера. Опустив подбородок на грудь и нахмурившись, он бросал яростные взгляды на теснивших его со всех сторон прохожих, упорно пробивая себе дорогу в толпе. Я очень удивился, когда, обойдя всю площадь, он повернулся и пошел обратно. Но еще больше удивило меня то, что этот маневр он проделал несколько раз, причем однажды, резко обернувшись, чуть не наткнулся на меня.

Таким образом он провел еще час, к концу которого прохожие уже не мешали нам так, как прежде. Дождь все еще лил, стало холодно, и

люди начали расходиться по домам. Старик, раздраженно махнув рукой, свернул в одну из сравнительно пустынных боковых улиц и пробежал примерно четверть мили с проворством, какого невозможно было ожидать от человека, столь обремененного годами. Я с трудом поспевал за ним. Через несколько минут мы вышли к большому многолюдному рынку, расположение которого незнакомец, по-видимому, хорошо знал, и здесь, бесцельно бродя в толпе покупателей и продавцов, он вновь обрел свой прежний облик.

В течение тех полутора часов, что мы провели на этой площади, мне пришлось соблюдать крайнюю осторожность, чтобы, не отставая от незнакомца, в то же время не привлечь его внимания. К счастью, благодаря резиновым калошам я мог двигаться совершенно бесшумно, так что он ни разу меня не заметил. Он заходил во все лавки подряд, ни к чему не приценивался, не произносил ни слова и диким, отсутствующим взором глядел на все окружающее. Теперь недоумение мое достигло чрезвычайной степени, и я твердо решил не выпускать его из виду, пока хоть сколько-нибудь не удовлетворю свое любопытство.

Часы грозно пробили одиннадцать; толпа начала быстро расходиться. Какой-то лавочник, закрывая ставни, толкнул старика, и тут я увидел, как по всему его телу пробежала дрожь. Он торопливо вышел из лавки, беспокоило огляделся и с невероятной быстротой помчался по извилистым пустынным переулкам. Наконец мы снова очутились на той улице, где расположена гостиница Д. и откуда мы начали свой путь. Теперь, однако, улица казалась совершенно иной. Она все еще была ярко освещена газом, но дождь лил немилосердно, и прохожие попадались только изредка. Незнакомец побледнел. С унылым видом прошел он несколько шагов по этой недавно еще столь людной улице, а затем с тяжелым вздохом повернул к реке и окольными путями вышел к театру. Там только что окончилось представление, и публика густой толпой валила из дверей. Я увидел, как старик, задыхаясь, бросился в толпу, но мне показалось, что напряженное страдание, выражавшееся на его лице, несколько смягчилось. Голова его снова упала на грудь, и он опять стал таким же, каким я увидел его в первый раз. Я заметил, что он двинулся в ту же сторону, куда шла большая часть зрителей, но разобраться в его причудливых порывах никак не мог.

По мере того как он шел вперед, толпа редела, и к нему снова вернулись прежнее беспокойство и нерешительность. Некоторое время он следовал по пятам за какой-то компанией, состоявшей из десятка гуляк, но они один за другим разошлись, и наконец в узком темном переулке их осталось только трое. Незнакомец остановился и, казалось, на минуту погрузился в раздумье, потом в крайнем волнении быстро пошел дорогой, которая привела нас на окраину города, в кварталы, совершенно непохожие на те, по которым мы до сих пор проходили. Это была самая отвратительная часть Лондона, где все отмечено печатью безысходной нищеты и закоренелой преступности. В тусклом свете редких фонарей перед нами предстали высокие, ветхие, источенные жучком деревянные дома, готовые каждую минуту обрушиться и разбросанные в таком хаотическом беспорядке, что между ними едва виднелись проходы. Под ногами торчали булыжники, вытесненные из мостовой густо разросшимися сорняками. В сточных канавах гнили зловонные нечистоты. Повсюду царили бедность и запустение. Однако постепенно до нас стали доноситься звуки, свидетельствовавшие о присутствии людей, и в конце концов мы увидели толпы самых последних подонков лондонского населения. Старик снова воспрянул духом, подобно лампе, которая ярко вспыхивает перед тем, как окончательно угаснуть, и упругой походкой устремился вперед. Вдруг при повороте нас ослепил яркий свет, и перед нами предстал огромный загородный храм Пьянства — один из дворцов дьявола Джина.

Близился рассвет, но несчастные пропойцы все еще теснились в ярко освещенных дверях. Издав радостный вопль, старик протолкался внутрь и, снова обретя свой прежний вид, принялся метаться среди посетителей. Вскоре, однако, все бросились к выходу: хозяин закрывал свое заведение. На лице непонятного существа, за которым я так упорно следил, изобразилось теперь чувство более сильное, нежели простое отчаяние. Но, ни минуты не медля, он с бешеною энергией снова устремился к самому центру исполина-Лондона. Он бежал долго и быстро, а я в изумлении следовал за ним, решив во что бы то ни стало продолжать свои наблюдения, которые теперь захватили меня всецело. Пока мы шли, поднялось солнце, и когда мы снова добрались до самой людной части этого густонаселенного города — до улицы, где расположена гостиница Д., суета и давка снова были такими же,

как накануне вечером. И здесь, в ежеминутно возрастающей толчее, я еще долго следовал за странным незнакомцем. Но он, как и прежде, бесцельно бродил среди толпы, весь день не выходя из самой гущи уличного водоворота. А когда вечерние тени снова стали спускаться на город, я, смертельно усталый, остановился прямо перед скитальцем и пристально посмотрел ему в лицо. Он не заметил меня и продолжал невозмутимо шествовать дальше, я же, прекратив погоню, погрузился в раздумье. «Этот старик, — произнес я наконец, — прообраз и воплощение тягчайших преступлений. Он не может остаться наедине с самим собой. Это человек толпы. Бесполезно следовать за ним, ибо я все равно ничего не узнаю ни о нем, ни об его деяниях. Сердце самого закоренелого злодея в мире — книга более гнусная, нежели „Hortulus Animae…“[563], и, быть может, одно из величайших благодеяний господа состоит в том, что она „не позволяет себя прочесть“».

Декабрь, 1840

пер. М. Беккер

Убийство на улице Морг

Что за песню пели сирены или каким именем назывался Ахилл, скрываясь среди женщин, — уж на что это, кажется, мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна.

Сэр Томас Браун[564]

«Захоронения в урнах»

Так называемые аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Мы судим о них только по результатам. Среди прочего нам известно, что для человека, особенно одаренного в этом смысле, дар анализа служит источником живейшего наслаждения. Подобно тому как атлет гордится своей силой и ловкостью и находит удовольствие в упражнениях, заставляющих его мышцы работать, так аналитик радуется любой возможности что-то прояснить или распутать. Всякая, хотя бы и нехитрая задача, высекающая искры из его таланта, ему приятна. Он обожает загадки, ребусы и криптограммы, обнаруживая в их решении проницательность, которая уму заурядному представляется чуть ли не сверхъестественной. Его решения, рожденные существом и душой метода, и в самом деле кажутся чудесами интуиции. Эта способность решения, возможно, выигрывает от занятий математикой, особенно тем высшим ее разделом, который неправомерно и только в силу обратного характера своих действий именуется анализом, так сказать анализом par excellence[565] Между тем рассчитывать, вычислять — само по себе еще не значит анализировать. Шахматист[566], например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что непритязательная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше

полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шатки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку.

Вист давно известен как прекрасная школа для того, что именуется искусством расчета; известно также, что многие выдающиеся умы питали, казалось бы, необъяснимую слабость к висту, пренебрегая шахматами, как пустым занятием. В самом деле, никакая другая игра не требует такой способности к анализу. Лучший в мире шахматист — шахматист, и только, тогда как мастерская игра в вист сопряжена с умением добиваться победы и в тех более важных областях человеческой предприимчивости, в которых ум соревнуется с умом. Говоря «мастерская игра», я имею в виду ту степень совершенства, при которой игрок владеет всеми средствами, приводящими к законной победе. Эти средства не только многочисленны, но и многообразны и часто предполагают такое знание человеческой души, какое недоступно игроку средних способностей. Кто внимательно наблюдает, тот отчетливо и помнит, а следовательно, всякий сосредоточенно играющий шахматист может рассчитывать на успех в висте, поскольку руководство Хойла[567] (основанное на простой механике игры) общепонятно и

общедоступно. Чтобы хорошо играть в вист, достаточно, по распространенному мнению, соблюдать «правила» и обладать хорошей памятью. Однако искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотрено. Каких он только не делает про себя выводов и наблюдений! Его партнер, быть может, тоже; но перевес в этой обоюдной разведке зависит не столько от надежности выводов, сколько от качества наблюдения. Важно, конечно, знать, на что обращать внимание. Но наш игрок ничем себя не ограничивает. И хотя прямая его цель — игра, он не пренебрегает и самыми отдаленными указаниями. Он изучает лицо своего партнера и сравнивает его с лицом каждого из противников, подмечает, как они распределяют карты в обеих руках, и нередко угадывает козырь за козырем и онер за онером по взглядам, какие они на них бросают. Следит по ходу игры за мимикой игроков и делает уйму заключений, подмечая все оттенки уверенности, удивления, торжества или досады, сменяющиеся на их физиономиях. Судя по тому, как человек сгреб взятку, он заключает, последует ли за ней другая. По тому, как карта брошена, догадывается, что противник финтит, что ход сделан для отвода глаз. Невзначай или необдуманно оброненное слово; случайно упавшая или открывшаяся карта и как ее прячут — с опаской или спокойно; подсчет взяток и их расположение; растерянность, колебания, нетерпение или боязнь — ничто не ускользает от якобы безразличного взгляда аналитика. С двух-трех ходов ему уже ясно, что у кого на руках, и он выбрасывает карту с такой уверенностью, словно все игроки раскрылись.

Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, ибо аналитик всегда изобретателен, тогда как не всякий изобретательный человек способен к анализу. Умение придумывать и комбинировать, в котором обычно проявляется изобретательность и для которого френологи[568] (совершенно напрасно, по-моему) отводят особый орган, считая эту способность первичной, нередко наблюдается даже у тех, чей умственный уровень в остальном граничит с кретинизмом, что не раз отмечалось писателями, живописующими быт и нравы. Между умом изобретательным и аналитическим существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением, но это различие того же порядка. В самом деле, нетрудно заметить, что люди изобретательные

— большие фантазеры и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.

Дальнейший рассказ послужит для читателя своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям.

Весну и часть лета 18… года я прожил в Париже, где свел знакомство с неким мосье С. — Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода[569], он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни и меньше всего помышлял о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, какую он себе позволял, — книги, — вполне доступна в Париже.

Впервые мы встретились в плохонькой библиотеке на улице Монмартр, и так как оба случайно искали одну и ту же книгу, чрезвычайно редкое и примечательное издание, то, естественно, разговорились. Потом мы не раз встречались. Я заинтересовался семейной историей Дюпена, и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное — я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения.

Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами и, чувствуя, что общество такого человека неоценимая для меня находка, не замедлил ему в этом признаться. Вскоре у нас возникло решение на время моего пребывания в Париже поселиться вместе; а поскольку обстоятельства мои были чуть получше, чем у Дюпена, то я снял с его согласия и обставил в духе столь милой нам обоим романтической меланхолии сильно пострадавший от времени дом причудливой архитектуры в уединенном уголке Сен-Жерменского предместья[570]; давно покинутый хозяевами из-за каких-то суеверных преданий, в суть которых мы не стали вдаваться, он клонился к упадку.

Если бы наш образ жизни в этой обители стал известен миру, нас сочли бы маньяками, хоть и безобидными маньяками. Наше уединение было полным. Мы никого не хотели видеть. Я скрыл от друзей свой

новый адрес, а Дюпен давно порвал с Парижем, да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя.

Одной из фантастических причуд моего друга — ибо как еще это назвать? — была влюбленность в ночь, в ее особое очарование; и я покорно принял эту bizarrerie[571] как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темноликая богиня то и дело покидала нас, и, чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории: при первом проблеске зари захлопывали тяжелые ставни старого дома и зажигали два-три светильника, которые, курясь благовониями, изливали тусклое, призрачное сияние. В их бледном свете мы предавались грезам, читали, писали, беседовали, пока звон часов не возвещал нам приход истинной Тьмы. И тогда мы рука об руку выходили на улицу, продолжая дневной разговор или бесцельно бродили до поздней ночи, находя в мелькающих огнях и тенях большого города ту неисчерпаемую пищу для умственных восторгов, какую дарит тихое созерцание.

В такие минуты я не мог не восхищаться аналитическим дарованием Дюпена, хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления. Да и Дюпену, видимо, нравилось упражнять эти способности, если не блистать ими, и он, не чинясь, признавался мне, сколько радости это ему доставляет. Не раз хвалился он с довольным смешком, что люди в большинстве для него — открытая книга, и тут же приводил ошеломляющие доказательства того, как ясно он читает в моей душе. В подобных случаях мне чудилась в нем какая-то холодность и отрешенность; пустой, ничего не выражающий взгляд его был устремлен куда-то вдаль, а голос, сочный тенор, срывался на фальцет и звучал бы раздраженно, если бы не четкая дикция и спокойный тон. Наблюдая его в эти минуты, я часто вспоминал старинное учение о двойственности души[572] и забавлялся мыслью о двух Дюпенах: созидающем и расчленяющем.

Из сказанного отнюдь не следует, что разговор здесь пойдет о неких чудесах; я также не намерен романтизировать своего героя. Описанные черты моего приятеля-француза были только следствием перевозбужденного, а может быть, и больного ума. Но о характере его замечаний вам лучше поведает живой пример.

Как-то вечером гуляли мы по необычайно длинной грязной улице в окрестностях Пале-Рояля[573]. Каждый думал, по-видимому, о своем, и в течение четверти часа никто из нас не проронил ни слова. Как вдруг Дюпен, словно невзначай, сказал:

— Куда ему, такому заморышу! Лучше б он попытал счастья в театре «Варьете»[574].

— Вот именно, — ответил я машинально.

Я так задумался, что не сразу сообразил, как удачно слова Дюпена совпали с моими мыслями. Но тут же опомнился, и удивлению моему не было границ.

— Дюпен, — сказал я серьезно, — это выше моего понимания. Сказать по чести, я поражен, я просто ушам своим не верю. Как вы догадались, что я думал о… — Тут я остановился, чтобы увериться, точно ли он знает, о ком я думал.

— …о Шантильи, — закончил он. — Почему же вы запнулись? Вы говорили себе, что при его тщедушном сложении нечего ему было соваться в трагики.

Да, это и составляло предмет моих размышлений. Шантильи, quondam[575] сапожник с улицы Сен-Дени, помешавшийся на театре, недавно дебютировал в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона[576] и был за все свои старания жестоко освистан.

— Объясните мне, ради бога, свой метод, — настаивал я, — если он у вас есть и если вы с его помощью так безошибочно прочли мои мысли. — Признаться, я даже старался не показать всей меры своего удивления.

— Не кто иной, как зеленщик, — ответил мой друг, — навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок не дорос до Ксеркса et id genus omne[577].

— Зеленщик? Да бог с вами! Я знать не знаю никакого зеленщика!

— Ну, тот увалень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад.

Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове по нечаянности чуть не сбил меня с ног, когда мы из переулка вышли на людную улицу. Но какое отношение имеет к этому Шантильи, я так и не мог понять.

Однако у Дюпена ни на волос не было того, что французы называют charlatanerie[578].

— Извольте, я объясню вам, — вызвался он. — А чтобы вы лучше меня поняли, давайте восстановим весь ход ваших мыслей с нашего последнего разговора и до встречи с пресловутым зеленщиком. Основные вехи — Шантильи, Орион, доктор Никольс[579], Эпикур, стереотомия, булыжник и — зеленщик.

Вряд ли найдется человек, которому ни разу не приходило в голову проследить забавы ради шаг за шагом все, что привело его к известному выводу. Это — преувлекательное подчас занятие, и кто впервые к нему обратится, будет поражен, какое неизмеримое на первый взгляд расстояние отделяет исходный пункт от конечного вывода и как мало они друг другу соответствуют. С удивлением выслушал я Дюпена и не мог не признать справедливости его слов.

Мой друг между тем продолжал:

— До того как свернуть, мы, помнится, говорили о лошадях. На этом разговор наш оборвался. Когда же мы вышли сюда, на эту улицу, выскочивший откуда-то зеленщик с большой корзиной яблок на голове пробежал мимо и второпях толкнул вас на груду булыжника, сваленного там, где каменщики чинили мостовую. Вы споткнулись о камень, поскользнулись, слегка насупились, пробормотали что-то, еще раз оглянулись на груду булыжника и молча зашагали дальше. Я не то чтобы следил за вами: просто наблюдательность стала за последнее время моей второй натурой.

Вы упорно не поднимали глаз и только косились на выбоины и трещины в панели (из чего я заключил, что вы все еще думаете о булыжнике), пока мы не поравнялись с переулком, который носит имя Ламартина[580] и вымощен на новый лад — плотно пригнанными плитками, уложенными в шахматном порядке. Вы заметно повеселели, и по движению ваших губ я угадал слово «стереотомия» — термин, которым для пущей важности окрестили такое мощение. Я понимал, что слово «стереотомия» должно навести вас на мысль об атомах и, кстати, об учении Эпикура; а поскольку это было темой нашего недавнего разговора — я еще доказывал вам, как разительно смутные догадки благородного грека подтверждаются выводами современной космогонии по части небесных туманностей, в чем никто еще не отдал ему должного, — то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную

туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашнем «Musee» некий зоил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на котурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. Я разумею стих:

Perdidit antiquum litera prima sonum.[581]

Я как-то пояснил вам, что здесь разумеется Орион — когда-то он писался Урион, — мы с вами еще пошутили на этот счет, так что случай, можно сказать, памятный. Я понимал, что Орион наведет вас на мысль о Шантильи, и улыбка ваша это мне подтвердила. Вы вздохнули о бедной жертве, отданной на заклание. Все время вы шагали сутулясь, а тут выпрямились во весь рост, и я решил, что вы подумали о тщедушном сапожнике. Тогда-то я и прервал ваши размышления, заметив, что он в самом деле не вышел ростом, наш Шантильи, и лучше бы ему попытать счастья в театре «Варьете».

Вскоре затем, просматривая вечерний выпуск «Gazette des Tribunaux»[582], наткнулись мы на следующую заметку:

> «НЕСЛЫХАННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
>
> Сегодня, часов около трех утра, мирный сон обитателей квартала Сен-Рок был нарушен душераздирающими криками. Следуя один за другим без перерыва, они доносились, по-видимому, с пятого этажа дома на улице Морг, где, как известно местным обывателям, проживала единственно некая мадам Л'Эспанэ с незамужней дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После небольшой заминки у запертых дверей при безуспешной попытке проникнуть в подъезд обычным путем пришлось прибегнуть к лому, и с десяток соседей, в сопровождении двух жандармов, ворвались в здание. Крики уже стихли; но едва лишь кучка смельчаков поднялась по первому маршу, как сверху послышалась перебранка двух, а возможно, и трех голосов, звучавших отрывисто и сердито. Покуда добрались до

третьего этажа, стихли и эти звуки, и водворилась полная тишина. Люди рассыпались по всему дому, перебегая из одной комнаты в другую. Когда же очередь дошла до большой угловой спальни на пятом этаже (дверь, запертую изнутри, тоже взломали), — толпа отступила перед открывшимся зрелищем, охваченная ужасом и изумлением.

Здесь все было вверх дном, повсюду раскидана поломанная мебель. В комнате стояла одна только кровать, но без постели, подушки и одеяло валялись на полу. На стуле лежала бритва с окровавленным лезвием. Две-три густые пряди длинных седых волос, вырванных, видимо, с корнем и слипшихся от крови, пристали к каминной решетке. На полу, под ногами, найдены четыре наполеондора, одна серьга с топазом, три столовые серебряные и три чайные мельхиоровые ложки и два мешочка с золотыми монетами — общим счетом без малого четыре тысячи франков. Ящики комода в углу были выдвинуты наружу, грабители, очевидно, рылись в них, хотя всего не унесли. Железная укладка обнаружена под постелью (а не под кроватью). Она была открыта, ключ еще торчал в замке, но в ней ничего не осталось, кроме пожелтевших писем и других завалявшихся бумажек.

И никаких следов мадам Л'Эспанэ! Кто-то заметил в камине большую груду золы, стали шарить в дымоходе и — о ужас! — вытащили за голову труп дочери: его вверх ногами, и притом довольно далеко, затолкали в узкую печную трубу. Тело было еще теплым. Кожа, как выяснилось при осмотре, во многих местах содрана — явное следствие усилий, с какими труп заталкивали в дымоход, а потом выволакивали оттуда. Лицо страшно исцарапано, на шее сине-багровые подтеки и глубокие следы ногтей, словно человека душили.

После того как сверху донизу обшарили весь дом, не обнаружив ничего нового, все кинулись вниз, на мощеный дворик, и там наткнулись на мертвую старуху — ее так хватили бритвой, что при попытке поднять труп голова

отвалилась. И тело и лицо были изуродованы, особенно тело, в нем не сохранилось ничего человеческого.

Таково это поистине ужасное преступление, пока еще окутанное непроницаемой тайной».

Назавтра газета принесла следующие дополнительные сообщения:

«ТРАГЕДИЯ НА УЛИЦЕ МОРГ

Неслыханное по жестокости убийство всколыхнуло весь Париж, допрошен ряд свидетелей, но ничего нового, проясняющего тайну, пока не обнаружено. Ниже приведены вкратце наиболее существенные показания:

Полина Дюбур[583], прачка, показывает, что знала покойниц последние три года, стирала на них. Старая дама с дочкой, видно, жили дружно, душа в душу. Платили исправно. Насчет их образа жизни и средств ничего сказать не может. Полагает, что мадам Л'Эспанэ была гадалкой, этим и кормились. Поговаривали, что у нее есть деньги. Свидетельница никого не встречала в доме, когда приходила за бельем или приносила его после стирки. Знает наверняка, что служанки они не держали. Насколько ей известно, мебелью был обставлен только пятый этаж.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что в течение четырех лет отпускал мадам Л'Эспанэ нюхательный и курительный табак небольшими пачками. Он местный уроженец и коренной житель. Покойница с дочерью уже больше шести лет как поселилась в доме, где их нашли убитыми. До этого здесь квартировал ювелир, сдававший верхние комнаты жильцам. Дом принадлежал мадам Л'Эспанэ. Старуха всякое терпение потеряла с квартирантом, который пускал к себе жильцов, и переехала сама на верхний этаж, а от сдачи внаем свободных помещений и вовсе отказалась. Не иначе как впала в детство. За все эти годы свидетель только пять-шесть раз видел дочь. Обе женщины жили уединенно, по слухам, у них имелись деньги. Болтали, будто мадам Л. промышляет гаданьем, но он этому не верил.

Ни разу не видел, чтобы кто-либо входил в дом, кроме самой н дочери да кое-когда привратника, да раз восемь — десять наведывался доктор.

Примерно то же свидетельствовали и другие соседи. Никто не замечал, чтобы к покойницам кто-либо захаживал. Были ли у них где-нибудь друзья или родственники, тоже никому слышать не приходилось. Ставни по фасаду открывались редко, а со двора их и вовсе заколотили, за исключением большой комнаты на пятом этаже. Дом еще не старый, крепкий.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что за ним пришли около трех утра. Застал у дома толпу, человек в двадцать — тридцать, осаждавшую дверь. Замок взломал он, и не ломом, а штыком. Дверь поддалась легко, она двустворчатая, ни сверху, ни снизу не закреплена. Крики доносились все время, пока не открыли дверь, — и вдруг оборвались. Кричали (не разберешь — один или двое) как будто в смертной тоске, крики были протяжные и громкие, а не отрывистые и хриплые. Наверх свидетель поднимался первым. Взойдя на второй этаж, услышал, как двое сердито и громко переругиваются — один глухим, а другой вроде как визгливым голосом, и голос какой-то чудной. Отдельные слова первого разобрал. Это был француз. Нет, ни в коем случае не женщина. Он разобрал слова „sacre“ и „diable“[584] визгливым голосом говорил иностранец. Не поймешь, мужчина или женщина. Не разобрать, что говорил, а только скорее всего язык испанский. Рассказывая, в каком виде нашли комнату и трупы, свидетель не добавил ничего нового к нашему вчерашнему сообщению.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что с первой же группой вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. Едва проникнув в подъезд, они заперли за собой дверь, чтобы задержать толпу, которая все прибывала, хотя стояла глухая ночь. Визгливый голос, по впечатлению свидетеля, принадлежал итальянцу. Уверен, что не француз. По голосу не сказал бы, что непременно мужчина. Возможно, что женщина. Итальянского не знает,

слов не разобрал, но, судя по интонации, полагает, что итальянец. С мадам Л. и дочерью был лично знаком. Не раз беседовал с обеими. Уверен, что ни та, ни другая не говорила визгливым голосом.

Оденгеймер, ресторатор. Свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Уроженец Амстердама. Проходил мимо дома, когда оттуда раздались крики. Кричали долго, несколько минут, пожалуй, что и десять. Крики протяжные, громкие, хватающие за душу, леденящие кровь. Одним из первых вошел в дом. Подтверждает предыдущие показания по всем пунктам, кроме одного: уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, и притом французу. Нет, слов не разобрал, говорили очень громко и часто-часто, будто захлебываясь, не то от гнева, не то от страха. Голос резкий — скорее резкий, чем визгливый. Нет, визгливым его не назовешь. Хриплый голос все время повторял „sacre“ и „diable“, а однажды сказал „mon Dieu!“[585]

Жюль Миньо, банкир, фирма „Миньо и сыновья“ на улице Делорен. Он — Миньо-старший. У мадам Л'Эспанэ имелся кое-какой капиталец. Весною такого-то года (восемь лет назад) вдова открыла у них счет. Часто делала новые вклады — небольшими суммами. Чеков не выписывала, но всего за три дня до смерти лично забрала со счета четыре тысячи франков. Деньги были выплачены золотом и доставлены на дом конторщиком банка.

Адольф Лебон, конторщик фирмы „Миньо и сыновья“, показывает, что в означенный день, часу в двенадцатом, проводил мадам Л'Эспанэ до самого дома, отнес ей четыре тысячи франков, сложенных в два мешочка. Дверь открыла мадемуазель Л'Эспанэ; она взяла у него один мешочек, а старуха другой. После чего он откланялся и ушел. Никого на улице он в тот раз не видел. Улица тихая, безлюдная.

Уильям Берд, портной, показывает, что вместе с другими вошел в дом. Англичанин. В Париже живет два года. Одним из первых поднялся по лестнице. Слышал, как двое спорили. Хриплый голос принадлежал французу. Отдельные слова

можно было разобрать, но всего он не помнит. Ясно слышал „sacre“ и „mon Dieu!“. Слова сопровождались шумом борьбы, топотом и возней, как будто дрались несколько человек. Пронзительный голос звучал очень громко, куда громче, чем хриплый. Уверен, что не англичанин. Скорее, немец. Может быть, и женщина. Сам он по-немецки не говорит.

Четверо из числа означенных свидетелей на вторичном допросе показали, что дверь спальни, где нашли труп мадемуазель Л. была заперта изнутри. Тишина стояла мертвая, ни стона, ни малейшего шороха. Когда дверь взломали, там уже никого не было. Окна спальни и смежной комнаты, что на улицу, были опущены и наглухо заперты изнутри, дверь между ними притворена, но не заперта. Дверь из передней комнаты в коридор была заперта изнутри. Небольшая комнатка окнами на улицу, в дальнем конце коридора, на том же пятом этаже, была не заперта, дверь приотворена. Здесь были свалены старые кровати, ящики и прочая рухлядь. Вещи вынесли и тщательно осмотрели. Дом обшарили сверху донизу. Дымоходы обследованы трубочистами. В доме пять этажей, не считая чердачных помещений (mansardes). На крышу ведет люк, он забит гвоздями и, видимо, давно бездействует. Время, истекшее между тем, как свидетели услышали перебранку и как взломали входную дверь в спальню, оценивается по-разному: от трех до пяти минут. Взломать ее стоило немалых усилий.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показал, что проживает на улице Морг. Испанец но рождению. Вместе с другими побывал в доме. Наверх не подымался. У него нервы слабые, ему нельзя волноваться, Слышал, как двое спорили, хриплый голос — несомненно француз. О чем спорили, не уловил. Визгливым голосом говорил англичанин. Сам он по-английски не разумеет, судит по интонации. Альберта Монтани, владелец магазина готового платья, показывает, что одним из первых взбежал наверх. Голоса слышал. Хрипло говорил француз. Кое-что понять можно было. Говоривший в чем-то упрекал другого. Слов второго не

разобрал. Второй говорил часто-часто, заплетающимся языком. Похоже, что по-русски. В остальном свидетель подтверждает предыдущие показания. Сам он итальянец. С русскими говорить ему не приходилось. Кое-кто из свидетелей на вторичном допросе подтвердил, что дымоходы на четвертом этаже слишком узкие и человеку в них не пролезть. Под „трубочистами“ они разумели цилиндрической формы щетки, какие употребляют при чистке труб. В доме пет черной лестницы, по которой злодеи могли бы убежать, пока их преследователи поднимались наверх. Труп мадемуазель Л'Эспанэ был так плотно затиснут в дымоход, что только общими усилиями четырех или пяти человек удалось его вытащить.

Поль Дюма, врач, показывает, что утром, чуть рассвело, его позвали освидетельствовать тела убитых женщин. Оба трупа лежали на старом матраце, снятом с кровати в спальне, где найдена мадемуазель Л. Тело дочери все в кровоподтеках и ссадинах. Это вполне объясняется тем, что его заталкивали в тесный дымоход. Особенно пострадала шея. Под самым подбородком несколько глубоких ссадин и сине-багровых подтеков — очевидно, отпечатки пальцев. Лицо в страшных синяках, глаза вылезли из орбит. Язык чуть ли не насквозь прокушен. Большой кровоподтек на нижней части живота показывает, что здесь надавливали коленом. По мнению мосье Дюма, мадемуазель Л'Эснанэ задушена, — убийца был, возможно, не один. Тело матери чудовищно изувечено. Все кости правой руки и ноги переломаны и частично раздроблены. Расщеплена левая tibia[586] равно как и ребра с левой стороны. Все тело в синяках и ссадинах. Трудно сказать, чем нанесены повреждения. Увесистая дубинка или железный лом, ножка кресла — да, собственно, любое тяжелое орудие в руках необычайно сильного человека могло это сделать. Женщина была бы не в силах нанести такие увечья. Голова убитой, когда ее увидел врач, была отделена от тела и тоже сильно изуродована. Горло перерезано острым лезвием, возможно, бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вместе с мосье Дюма приглашен освидетельствовать трупы. Полностью присоединяется к показаниям и заключениям мосье Дюма.

Ничего существенного больше установить не удалось, хотя к дознанию были привлечены и другие лица. В Париже не запомнят убийства, совершенного при столь туманных и во всех отношениях загадочных обстоятельствах. Да и убийство ли это? Полиция сбита с толку. Ни малейшей путеводной нити, ни намека на возможную разгадку».

В вечернем выпуске сообщалось, что в квартале Сен-Рок по-прежнему сильнейший переполох, но ни новый обыск в доме, ни повторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебой, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено.

Я видел, что Дюнен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался. И только когда появилось сообщение об аресте Лебона, он пожелал узнать, что я думаю об этом убийстве.

Я мог лишь вместе со всем Парижем объявить его неразрешимой загадкой. Я не видел ни малейшей возможности напасть на след убийцы.

— А вы не судите по этой пародии на следствие, — возразил Дюпен. — Парижская полиция берет только хитростью, ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы, если не считать системой обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспоминаешь Журдена[587]: «pour mieux entendre la musique»[588], он требовал подать себе свой «robe de chambre»[589] Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилия их терпят крах. У Видока[590], например, была догадка и упорство, при полном неумении систематически мыслить; самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал впросак. Он так близко вглядывался в свой объект, что это искажало перспективу. Пусть он ясно различал то или другое, зато целое от него ускользало. В глубокомыслии легко перемудрить. Истина не всегда обитает на дне

колодца. В насущных вопросах она, по-моему, скорее лежит на поверхности. Мы ищем ее на дне ущелий, а она поджидает нас на горных вершинах. Чтобы уразуметь характер подобных ошибок и их причину, обратимся к наблюдению над небесными телами. Бросьте на звезду быстрый взгляд, посмотрите на нее краешком сетчатки (более чувствительным к слабым световым раздражениям, нежели центр), и вы увидите светило со всей ясностью и сможете оценить его блеск, который тускнеет, по мере того как вы поворачиваетесь, чтобы посмотреть на него в упор. В последнем случае на глаз упадет больше лучей, зато в первом восприимчивость куда острее. Чрезмерная глубина лишь путает и затуманивает мысли. Слишком сосредоточенный, настойчивый и упорный взгляд может и Венеру согнать с небес.

Что касается убийства, то давайте учиним самостоятельный розыск, а потом уже вынесем суждение. Такое расследование нас позабавит (у меня мелькнуло, что «позабавит» не то слово, но я промолчал), к тому же Лебон когда-то оказал мне услугу, за которую я поныне ему обязан. Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г. — мой старый знакомый — не откажет нам в разрешении.

Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу Морг. Это одна из тихих, неказистых улочек, соединяющих улицу Ришелье с улицей Сен-Рок. Мы жили на другом конце города и только часам к трем добрались до места. Дом сразу бросился нам в глаза, так как немало зевак все еще бесцельно глазело с противоположного тротуара на закрытые ставни. Это был обычный парижский особняк с подворотней, сбоку прилепилась стеклянная сторожка с подъемным оконцем, так называемая loge de concierge[591]. Не заходя, мы проследовали дальше по улице, свернули в переулок, опять свернули и вышли к задам дома. Дюпен так внимательно оглядывал усадьбу и соседние строения, что я только диву давался, не находя в них ничего достойного внимания.

Вернувшись к входу, мы позвонили. Наши верительные грамоты произведи впечатление, и дежурные полицейские впустили нас. Мы поднялись по лестнице в спальню, где была найдена мадемуазель Л'Эспанэ и где все еще лежали оба трупа. Здесь, как и полагается, все оставалось в неприкосновенности и по-прежнему царил хаос. Я видел

перед собой картину, описанную в «Судебной газете», — и ничего больше. Однако Дюпен все подверг самому тщательному осмотру, в том числе и трупы. Мы обошли и остальные комнаты и спустились во двор, все это под бдительным оком сопровождавшего нас полицейского. Осмотр затянулся до вечера; наконец мы попрощались. На обратном пути мой спутник еще наведался в редакцию одной из утренних газет.

Я уже рассказал здесь о многообразных причудах моего друга и о том, как je les menageais[592] — соответствующее английское выражение не приходит мне в голову. Сейчас он был явно не в настроении обсуждать убийство и заговорил о нем только назавтра, в полдень. Начав без предисловий, он огорошил меня вопросом: не заметил ли я чего-то особенного в этой картине зверской жестокости?

«Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся.

— Нет, ничего особенного, — сказал я, — по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газете.

— Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное, — возразил Дюпен, — то чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Но бог с ним, с этим дурацким листком и его праздными домыслами. Мне думается, загадку объявили неразрешимой как раз на том основании, которое помогает ее решить: я имею в виду чудовищное, что наблюдается здесь во всем. Полицейских смущает кажущееся отсутствие побудительных мотивов, и не столько самого убийства, сколько его жестокости. К тому же они не могут справиться с таким будто бы непримиримым противоречием: свидетели слышали спорящие голоса, а между тем наверху, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, никого не оказалось. Но и бежать убийцы не могли — другого выхода нет, свидетели непременно увидели бы их, поднимаясь по лестнице. Невообразимый хаос в спальне; труп, который кто-то ухитрился затолкать в дымоход, да еще вверх ногами; фантастические истязания старухи — этих обстоятельств вместе с вышеупомянутыми, да и многими другими, которых я не стану здесь перечислять, оказалось достаточно, чтобы выбить у наших властей почву из-под ног, парировать их хваленую догадливость. Они впали в грубую, хоть и весьма распространенную ошибку, смешав необычайное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках

истины. В таком расследовании, как наше с вами, надо спрашивать не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего еще никогда не бывало?». И в самом деле, легкость, с какой я прихожу — пришел, если хотите, — к решению этой загадки, не прямо ли пропорциональна тем трудностям, какие возникают перед полицией?

Я смотрел на Дюпена в немом изумлении.

— Сейчас я жду, — продолжал Дюпен, поглядывая на дверь, — жду человека, который, не будучи прямым виновником этих зверств, должно быть, в какой-то мере способствовал тому, что случилось. В самой страшной части содеянных преступлений он, очевидно, не повинен. Надеюсь, я прав в своем предположении, так как на нем строится мое решение всей задачи в целом. Я жду этого человека сюда, к нам, с минуты на минуту. Разумеется, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет. И тогда необходимо задержать его. Вот пистолеты. Оба мы сумеем, если нужно будет, распорядиться ими.

Я машинально взял пистолеты, почти не сознавая, что делаю, не веря ушам своим, а Дюпен продолжал, словно изливаясь в монологе. Я уже упоминал о присущей ему временами отрешенности. Он адресовался ко мне и, следовательно, говорил негромко, но что-то в его интонации звучало так, точно он обращается к кому-то вдалеке. Пустой, ничего не выражающий взгляд его упирался в стену.

— Показаниями установлено, — продолжал Дюпен, — что спорящие голоса, которые свидетели слышали па лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Л'Эспанэ убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом, лишь чтобы показать ход своих рассуждений: у мадам Л'Эспанэ не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден, а истязания, которым подверглась она сама, исключают всякую мысль о самоубийстве. Отсюда следует, что убийство совершено какой-то третьей стороной, и спорящие голоса с полной очевидностью принадлежали этой третьей стороне. А теперь обратимся не ко всей части показаний, касающихся обоих голосов, а только к известной их особенности. Скажите, вас ничто не удивило?

— Все свидетели, — отвечал я, — согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого, как кто-то выразился, мнения разошлись.

— Вы говорите о показаниях вообще, — возразил Дюпен, — а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного. А следовало бы заметить! Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса; тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз — все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык которой ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца: «Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский». Для голландца это был француз; впрочем, как записано в протоколе, «свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика». Для англичанина это звучит как речь немца; кстати, он «по-немецки не разумеет». Испанец «уверен», что это англичанин, причем сам он «по-английски не знает ни слова» и судит только по интонации, — «английский для него чужой язык». Итальянцу мерещится русская речь — правда, «с русскими говорить ему не приходилось». Мало того, второй француз, в отличие от первого, «уверен, что говорил итальянец»; не владея этим языком, он, как и испанец, ссылается «на интонацию». Поистине, странно должна была звучать речь, вызвавшая подобные суждения, речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного! Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки нечасто встречаются в Париже, но, даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался «скорее резким, чем визгливым». Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова или хотя бы отчетливого звука.

— Не знаю, — продолжал Дюпен, — какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний — насчет хриплого и визгливого голоса — вытекают законные выводы и догадки, предопределяющие весь дальнейший ход нашего расследования. Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному

результату. Что за догадка, я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне.

Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи, в самом деле, расправились с мадам и мадемуазель Л'Эспанэ! Преступники — заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения, и они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что, когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне либо, в крайнем случае, в смежной комнате, — а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда. Но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части, футов на восемь — десять от выхода в камин, они обычной ширины, но выше настолько сужаются, что в них не пролезть и упитанной кошке. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказаться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри. Все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь. И это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать

этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна.

Я не ограничился поверхностным осмотром, я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что «невозможность» здесь не явная, а мнимая.

Я стал рассуждать a posteriori[593]. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри, а ведь окна оказались наглухо запертыми, и это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение, как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину. Я нажал на нее и, удовлетворясь этой находкой, не стал поднимать раму.

Я снова вставил гвоздь в отверстие и стал внимательно его разглядывать. Человек, вылезший в окно, может снаружи опустить раму, и затвор сам собой защелкнется — но ведь гвоздь сам по себе на место не станет. Отсюда напрашивался вывод, еще более ограничивший поле моих изысканий. Убийцы должны были бежать через другое окно. Но если, как и следовало ожидать, затвор в обоих окнах одинаковый, то разница должна быть в гвозде или, по крайней мере, в том, как он вставляется на место. Забравшись на матрац и перегнувшись через спинку кровати, я тщательно осмотрел раму второго окна; потом, просунув руку, нащупал и нажал пружину, во всех отношениях схожую с соседкой. Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ, и тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку.

Вы, конечно, решите, что я был озадачен. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления — умозаключение от факта к его причине. Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. Я шел по верному следу. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена, я проследил ее всю до конечной точки — и этой точкой оказался гвоздь. Я уже говорил, что он во всем

походил на своего собрата в соседнем окне, но что значил этот довод (при всей его убедительности) по сравнению с моей уверенностью, что именно к этой конечной точке и ведет путеводная нить. «Значит, гвоздь не в порядке», — подумал я. И действительно, чуть я до него дотронулся, как шляпка вместе с обломком шпенька осталась у меня в руке. Большая часть гвоздя продолжала сидеть в отверстии, где оп, должно быть, и сломался. Излом был старый; об этом говорила покрывавшая его ржавчина; я заметил также, что молоток, вогнавший гвоздь, частично вогнал в раму края шляпки. Когда я аккуратно вставил обломок на место, получилось впечатление, будто гвоздь целый. Ни малейшей трещинки не было заметно. Нажав на пружинку, я приподнял окно. Вместе с рамой поднялась и шляпка, плотно сидевшая в отверстии. Я опустил окно, опять впечатление целого гвоздя.

Итак, в этой части загадка была разгадана: убийца бежал в окно, заставленное кроватью. Когда рама опускалась — сама по себе или с чьей-нибудь помощью, — пружина закрепляла ее на месте; полицейские же действие пружины приняли за действие гвоздя и отказались от дальнейших расследований.

Встает вопрос, как преступник спустился вниз. Тут меня вполне удовлетворила наша с вами прогулка вокруг дома. Футах в пяти с половиной от проема окна, о котором идет речь, проходит громоотвод. Добраться отсюда до окна, а тем более влезть в него нет никакой возможности. Однако я заметил, что ставни на пятом этаже принадлежат к разряду ferrades, как называют их парижские плотники; они давно вышли из моды, но вы еще частенько встретите их в старых особняках где-нибудь в Лионе или Бордо. Такой ставень напоминает обычную дверь — одностворчатую, — с той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Л'Эспанэ шириной в три с половиной фута. Когда мы увидели их с задворок, они были полуоткрыты, то есть стояли под прямым углом к стене. Полицейские, как и я, возможно, осматривали дом с тылу. Но, увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычайной ширины, во всяком случае — не обратили должного внимания. Уверенные, что преступники не могли ускользнуть таким путем, они, естественно, ограничились беглым осмотром окон. Мне же сразу стало

ясно, что, если до конца распахнуть ставень над изголовьем кровати, он окажется не более чем в двух футах от громоотвода. При исключительной смелости и ловкости вполне можно перебраться с громоотвода в окно. Протянув руку фута на два с половиной (при условии, что ставень открыт настежь), грабитель мог ухватиться за решетку. Отпустив затем громоотвод и упершись в стену ногами, он мог с силой оттолкнуться и захлопнуть ставень, а там, если предположить, что окно открыто, махнуть через подоконник прямо в комнату.

Итак, запомните: речь идет о совершенно особой, из ряда вон выходящей ловкости, ибо только с ее помощью можно совершить столь рискованный акробатический номер. Я намерен вам доказать, во-первых, что такой прыжок возможен, а во-вторых, — и это главное, — хочу, чтобы вы представили себе, какое необычайное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка.

Вы, конечно, скажете, что «в моих интересах», как выражаются адвокаты, скорее скрыть, чем признать в полной мере, какая здесь нужна ловкость. Но если таковы нравы юристов, то не таково обыкновение разума. Истина — вот моя конечная цель. Ближайшая же моя задача в том, чтобы вызвать в вашем сознании следующее сопоставление: с одной стороны, изумительная ловкость, о какой я уже говорит; с другой — крайне своеобразный, пронзительный, а по другой версии — резкий голос, относительно национальной принадлежности которого мнения расходятся; и при этом невнятное лопотание, в котором нельзя различить ни одного членораздельного слога…

Под влиянием этих слов какая-то смутная догадка забрезжила в моем мозгу. Казалось, еще усилие, и я схвачу мысль Дюпена: так иной тщетно напрягает память, стараясь что-то вспомнить. Мой друг между тем продолжал:

— Заметьте, от вопроса, как грабитель скрылся, я свернул на то, как он проник в помещение. Я хотел показать вам, что то и другое произошло в одном и том же месте и одинаковым образом. А теперь вернемся к помещению. Что мы здесь застали? Из ящиков комода, где и сейчас лежат носильные вещи, многое, как нас уверяют, было похищено. Ну не абсурд ли? Предположение, явно взятое с потолка и не сказать чтобы умное. Почем знать, может быть, в комоде и не было

ничего, кроме найденных вещей? Мадам Л'Эспанэ и ее дочь жили затворницами, никого не принимали и мало где бывали, — зачем же им, казалось бы, нужен был богатый гардероб? Найденные платья по своему качеству явно не худшие из того, что могли носить эти дамы. И если грабитель польстился на женские платья, то почему он оставил как раз лучшие, почему наконец не захватил все? А главное, почему ради каких-то тряпок отказался от четырех тысяч золотых?

А ведь денег-то он и не взял. Чуть ли не все золото, о котором сообщил мосье Миньо, осталось в целости и валялось в мешочках на полу. А потому выбросьте из головы всякую мысль о побудительных мотивах — дурацкую мысль, возникшую в голове у полицейских под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения вдесятеро более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей, и слыхом не слыхавших ни о какой теории вероятности, — а ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями. Разумеется, если бы денег недосчитались, тот факт, что их принесли чуть ли не накануне убийства, означал бы нечто большее, чем простое совпадение. С полным правом возник бы вопрос о побудительных мотивах. В данном же случае счесть мотивом преступления деньги означало бы прийти к выводу, что преступник — совершеннейшая разиня и болван, ибо о деньгах, а значит, о своем побудительном мотиве, он как раз и позабыл.

А теперь, твердо помня о трех обстоятельствах, на которые я обратил ваше внимание, — своеобразный голос, необычайная ловкость и поражающее отсутствие мотивов в таком исключительном по своей жестокости убийстве, — обратимся к самой картине преступления. Вот жертва, которую задушили голыми руками, а потом вверх ногами засунули в дымоход. Обычные преступники так не убивают. И уж, во всяком случае, не прячут таким образом трупы своих жертв. Представьте себе, как мертвое тело заталкивали в трубу, и вы согласитесь, что в этом есть что-то чудовищное, что-то несовместимое с нашими представлениями о человеческих поступках, даже считая, что здесь орудовало последнее отребье. Представьте также, какая

требуется неимоверная силища, чтобы затолкнуть тело в трубу — снизу вверх, когда лишь совместными усилиями нескольких человек удалось извлечь его оттуда сверху вниз…

И, наконец, другие проявления этой страшной силы! На каминной решетке были найдены космы волос, необыкновенно густых седых волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна сила, чтобы вырвать сразу даже двадцать — тридцать волосков! Вы, так же как и я, видели эти космы. На корнях — страшно сказать! — запеклись окровавленные клочки мяса, содранные со скальпа, — красноречивое свидетельство того, каких усилий стоило вырвать одним махом до полумиллиона волос. Горло старухи было не просто перерезано — голова начисто отделена от шеи; а ведь орудием убийце послужила простая бритва. Вдумайтесь также в звериную жестокость этих злодеяний. Я не говорю уже о синяках на теле мадам Л'Эспанэ. Мосье Дюма и его достойный коллега мосье Этьенн считают, что побои нанесены каким-то тупым орудием, — и в этом почтенные эскулапы не ошиблись. Тупым орудием в данном случае явилась булыжная мостовая, куда тело выбросили из окна, заставленного кроватью. Ведь это же проще простого! Но полицейские и это проморгали, как проморгали ширину ставней, ибо в их герметически закупоренных мозгах не могла возникнуть мысль, что окна все же отворяются.

Если присоединить к этому картину хаотического беспорядка в спальне, вам останется только сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, превосходящую всякое понимание, с голосом и интонациями, которые кажутся чуждыми представителям самых различных национальностей, а также с речью, лишенной всякой членораздельности. Какой же напрашивается вывод? Какой образ возникает перед вами?

Меня прямо-таки в жар бросило от этого вопроса.

— Безумец, совершивший это злодеяние, — сказал я, — бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома.

— Что ж, не так плохо, — одобрительно заметил Дюпен, — в вашем предположении кое-что есть. И все же выкрики сумасшедшего, даже в припадке неукротимого буйства, не отвечают описанию того своеобразного голоса, который слышали поднимавшиеся по лестнице. У сумасшедшего есть все же национальность, есть родной язык, а речи

его, хоть и темны по смыслу, звучат членораздельно. К тому же и волосы сумасшедшего не похожи на эти у меня в руке. Я едва вытащил их из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них скажете?

— Дюпен, — воскликнул я, вконец обескураженный, — это более чем странные волосы — они не принадлежат человеку!

— Я этого и не утверждаю, — возразил Дюпен. — Но прежде чем прийти к какому-нибудь выводу, взгляните на рисунок на этом листке. Я точно воспроизвел здесь то, что частью показаний определяется как «темные кровоподтеки и следы ногтей» на шее у мадемуазель Л'Эспанэ, а в заключении господ Дюма и Этьенна фигурирует как «ряд сине-багровых пятен — по-видимому, отпечатки пальцев».

— Рисунок, как вы можете судить, — продолжал мой друг, кладя перед собой на стол листок бумаги, — дает представление о крепкой и цепкой хватке. Эти пальцы держали намертво. Каждый из них сохранял, очевидно, до последнего дыхания жертвы ту чудовищную силу, с какой он впился в живое тело. А теперь попробуйте одновременно вложить пальцы обеих рук в изображенные здесь отпечатки.

Тщетные попытки! Мои пальцы не совпадали с отпечатками.

— Нет, постойте, сделаем уж все как следует, — остановил меня Дюпен. — Листок лежит на плоской поверхности, а человеческая шея округлой формы. Вот поленце примерно такого же радиуса, как шея. Наложите на него рисунок и попробуйте еще раз.

Я повиновался, но стало не легче, а труднее.

— Похоже, — сказал я наконец, — что это отпечаток не человеческой руки.

— А теперь, — сказал Дюпен, — прочтите этот абзац из Кювье[594]. То было подробное анатомическое и общее описание исполинского бурого орангутанга, который водится на Ост-Индских островах. Огромный рост, неимоверная сила и ловкость, неукротимая злоба и необычайная способность к подражанию у этих млекопитающих общеизвестны.

— Описание пальцев, — сказал я, закончив чтение, — в точности совпадает с тем, что мы видим на вашем рисунке. Теперь я понимаю, что только описанный здесь орангутанг мог оставить эти отпечатки. Шерстинки ржаво-бурого цвета подтверждают сходство. Однако как

объяснить все обстоятельства катастрофы? Ведь свидетели слышали два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Совершенно справедливо! И вам, конечно, запомнилось восклицание, которое чуть ли не все приписывают французу: «mon Dieu!» Восклицание это, применительно к данному случаю, было удачно истолковано одним из свидетелей (Монтани, владельцем магазина) как выражение протеста или недовольства. На этих двух словах и основаны мои надежды полностью решить эту загадку. Какой-то француз был очевидцем убийства. Возможно, и даже вероятно, что он не причастен к зверской расправе. Обезьяна, должно быть, сбежала от него. Француз, должно быть, выследил ее до места преступления. Поймать ее при всем том, что здесь разыгралось, он, конечно, был бессилен. Обезьяна и сейчас на свободе. Не стану распространяться о своих догадках, ибо это всего лишь догадки, и те зыбкие соображения, на которых они основаны, столь легковесны, что недостаточно убеждают даже меня и тем более не убедят других. Итак, назовем это догадками и будем соответственно их расценивать. Но если наш француз, как я предполагаю, непричастен к убийству, то объявление, которое я по дороге сдал в редакцию «Монд» — газеты, представляющей интересы нашего судоходства и очень популярной среди моряков, — это объявление наверняка приведет его сюда.

Дюпен вручил мне газетный лист. Я прочел:

> «Пойман в Булонском лесу — ранним утром — такого-то числа сего месяца (в утро, когда произошло убийство) огромных размеров бурый орангутанг, разновидности, встречающейся на острове Борнео. Будет возвращен владельцу (по слухам, матросу мальтийского судна) при условии удостоверения им своих прав и возмещения расходов, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: дом N… на улице… в Сен-Жерменском предместье; справиться на пятом этаже».

— Как же вы узнали, — спросил я, — что человек этот матрос с мальтийского корабля?

— Я этого не знаю, — возразил Дюпен. — И далеко не уверен в этом. Но вот обрывок ленты, посмотрите, как она засалена, да и с виду

напоминает те, какими матросы завязывают волосы, — вы знаете эти излюбленные моряками queues[595]. К тому же таким узлом мог завязать ее только моряк, скорее всего мальтиец. Я нашел эту ленту под громоотводом. Вряд ли она принадлежала одной из убитых женщин. Но даже если я ошибаюсь и хозяин ленты не мальтийский моряк, то нет большой беды в том, что я сослался на это в своем объявлении. Если я ошибся, матрос подумает, что кто-то ввел меня в заблуждение, и особенно задумываться тут не станет. Если же я прав — это козырь в моих руках. Как очевидец, хоть и не соучастник убийства, француз, конечно, не раз подумает, прежде чем пойдет по объявлению. Вот как он станет рассуждать: «Я не виновен; к тому ж человек я бедный; орангутанг и вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние, зачем же терять его из-за пустой мнительности. Вот он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции ввек не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили — попробуй докажи, что я что-то знаю; а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен. В объявлении меня так и называют владельцем этой твари. Кто знает, что этому человеку еще про меня порассказали. Если я не приду за моей собственностью, а ведь она больших денег стоит, да известно, что хозяин — я, на обезьяну падет подозрение. А мне ни к чему навлекать подозрение что на себя, что на эту бестию. Лучше уж явлюсь по объявлению, заберу орангутанга и спрячу, пока все не порастет травой».

На лестнице послышались шаги.

— Держите пистолеты наготове, — предупредил меня Дюпен, — только не показывайте и не стреляйте — ждите сигнала.

Парадное внизу было открыто; посетитель вошел, не позвонив, и стал подниматься по ступенькам. Однако он, должно быть, колебался, с минуту постоял на месте и начал спускаться вниз. Дюпен бросился к двери, но тут мы услышали, что незнакомец опять поднимается. Больше он не делал попыток повернуть. Мы слышали, как он решительно топает по лестнице, затем в дверь постучали.

— Войдите! — весело и приветливо отозвался Дюпен.

Вошел мужчина, судя по всему матрос, — высокий, плотный, мускулистый, с таким видом, словно сам черт ему не брат, а в общем,

приятный малый. Лихие бачки и mustachio[596] больше чем наполовину скрывали его загорелое лицо. Он держал в руке увесистую дубинку, по-видимому, единственное свое оружие. Матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера; говорил он по-французски чисто, разве что с легким невшательским акцентом[597]; но по всему было видно, что это коренной парижанин.

— Садитесь, приятель, — приветствовал его Дюпен. — Вы, конечно, за орангутангом? По правде говоря, вам позавидуешь: великолепный экземпляр, и, должно быть, ценный. Сколько ему лет, как вы считаете?

Матрос вздохнул с облегчением. Видно, у него гора свалилась с плеч.

— Вот уж не знаю, — ответил он развязным тоном. — Годика четыре-пять — не больше. Он здесь, в доме?

— Где там, у нас не нашлось такого помещения. Мы сдали его на извозчичий двор на улице Дюбур, совсем рядом. Приходите за ним завтра. Вам, конечно, нетрудно будет удостоверить свои права?

— За этим дело не станет, мосье!

— Прямо жалко расстаться с ним, — продолжал Дюпен.

— Не думайте, мосье, что вы хлопотали задаром, — заверил его матрос. — У меня тоже совесть есть. Я охотно уплачу вам за труды, по силе возможности, конечно. Столкуемся!

— Что ж, — сказал мой друг, — очень порядочно с вашей стороны. Дайте-ка я соображу, сколько с вас взять. А впрочем, не нужно мне денег; расскажите нам лучше, что вам известно об убийстве на улице Морг.

Последнее он сказал негромко, но очень спокойно. Так же спокойно подошел к двери, запер ее и положил ключ в карман; потом достал из бокового кармана пистолет и без шума и волнения положил на стол.

Лицо матроса побагровело, казалось, он борется с удушьем. Инстинктивно он вскочил и схватился за дубинку, но тут же рухнул на стул, дрожа всем телом, смертельно бледный. Он не произнес ни слова. Мне было от души его жаль.

— Зря пугаетесь, приятель, — успокоил его Дюпен. — Мы ничего плохого вам не сделаем, поверьте. Даю вам слово француза и порядочного человека: у нас самые добрые намерения. Мне хорошо

известно, что вы не виновны в этих ужасах на улице Морг. Но не станете же вы утверждать, будто вы здесь совершенно ни при чем. Как видите, многое мне уже известно, при этом из источника, о котором вы не подозреваете. В общем, положение мне ясно. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть или за что вас можно было бы привлечь к ответу. Вы даже не польстились на чужие деньги, хоть это могло сойти вам с рук. Вам нечего скрывать, и у вас нет оснований скрываться. Однако совесть обязывает вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Арестован невинный человек; над ним тяготеет подозрение в убийстве, истинный виновник которого вам известен.

Слова Дюпена возымели действие: матрос овладел собой, но куда девалась его развязность!

— Будь что будет, — сказал он, помолчав. — Расскажу вам все, что знаю. И да поможет мне бог! Вы, конечно, не поверите — я был бы дураком, если б надеялся, что вы мне поверите. Но все равно моей вины тут нет! И пусть меня казнят, а я расскажу вам все как на духу.

Рассказ его, в общем, свелся к следующему. Недавно пришлось ему побывать на островах Индонезийского архипелага. С компанией моряков он высадился на Борнео и отправился на прогулку в глубь острова. Им с товарищем удалось поймать орангутанга. Компаньон вскоре умер, и единственным владельцем обезьяны оказался матрос. Чего только не натерпелся он на обратном пути из-за свирепого нрава обезьяны, пока не доставил ее домой в Париж и не посадил под замок, опасаясь назойливого любопытства соседей, а также в ожидании, чтобы у орангутанга зажила нога, которую он занозил на пароходе. Матрос рассчитывал выгодно его продать.

Вернувшись недавно домой с веселой пирушки, — это было в ту ночь, вернее, в то утро, когда произошло убийство, — он застал орангутанга у себя в спальне. Оказалось, что пленник сломал перегородку в смежном чулане, куда его засадили для верности, чтобы не убежал. Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив

это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, — а там на улицу.

Француз в ужасе побежал за ним. Обезьяна, не бросая бритвы, то и дело останавливалась, корчила рожи своему преследователю и, подпустив совсем близко, снова от него убегала. Долго гнался он за ней. Было около трех часов утра, на улицах стояла мертвая тишина. В переулке позади улицы Морг внимание беглянки привлек свет, мерцавший в окне спальни мадам Л'Эспанэ, на пятом этаже ее дома. Подбежав ближе и увидев громоотвод, обезьяна с непостижимой быстротой вскарабкалась наверх, схватилась за открытый настежь ставень и с его помощью перемахнула на спинку кровати. Весь этот акробатический номер не потребовал и минуты. Оказавшись в комнате, обезьяна опять пинком распахнула ставень.

Матрос не знал, радоваться или горевать. Он вознадеялся вернуть беглянку, угодившую в ловушку, бежать она могла только по громоотводу, а тут ему легко было ее поймать. Но как бы она чего не натворила в доме! Последнее соображение перевесило и заставило его последовать за своей питомицей. Вскарабкаться по громоотводу не представляет труда, особенно для матроса, но поравнявшись с окном, которое приходилось слева, в отдалении, он вынужден был остановиться. Единственное, что он мог сделать, это, дотянувшись до ставня, заглянуть в окно. От ужаса он чуть не свалился вниз. В эту минуту и раздались душераздирающие крики, всполошившие обитателей улицы Морг.

Мадам Л'Эспапэ и ее дочь, обе в ночных одеяниях, очевидно, разбирали бумаги в упомянутой железной укладке, выдвинутой на середину комнаты. Сундучок был раскрыт, его содержимое лежало на полу рядом. Обе женщины, должно быть, сидели спиной к окну и не сразу увидели ночного гостя. Судя по тому, что между его появлением и их криками прошло некоторое время, они, очевидно, решили, что ставнем хлопнул ветер.

Когда матрос заглянул в комнату, огромный орангутанг держал мадам Л'Эспанэ за волосы, распущенные по плечам (она расчесывала их на ночь), и, в подражание парикмахеру, поигрывал бритвой перед самым ее носом. Дочь лежала на полу без движения, в глубоком обмороке. Крики и сопротивление старухи, стоившие ей вырванных волос, изменили, быть может, и мирные поначалу намерения

орангутанга, разбудив в нем ярость. Сильным взмахом мускулистой руки он чуть не снес ей голову. При виде крови гнев зверя перешел в неистовство. Глаза его пылали, как раскаленные угли. Скрежеща зубами, набросился он на девушку, вцепился ей страшными когтями в горло и душил, пока та не испустила дух. Озираясь в бешенстве, обезьяна увидела маячившее в глубине над изголовьем кровати помертвелое от ужаса лицо хозяина. Остервенение зверя, видимо не забывшего о грозном хлысте, мгновенно сменилось страхом. Чувствуя себя виноватым и боясь наказания, орангутанг, верно, решил скрыть свои кровавые проделки и панически заметался по комнате, ломая и опрокидывая мебель, сбрасывая с кровати подушки и одеяла. Наконец он схватил труп девушки и затолкал его в дымоход камина, где его потом и обнаружили, а труп старухи не долго думая швырнул за окно.

Когда обезьяна со своей истерзанной ношей показалась в окне, матрос так и обмер и не столько спустился, сколько съехал вниз по громоотводу и бросился бежать домой, страшась последствий кровавой бойни и отложив до лучших времен попечение о дальнейшей судьбе своей питомицы. Испуганные восклицания потрясенного француза и злобное бормотание разъяренной твари и были теми голосами, которые слышали поднимавшиеся по лестнице люди.

Вот, пожалуй, и все. Еще до того, как взломали дверь, орангутанг, по-видимому, бежал из старухиной спальни по громоотводу. Должно быть, он и опустил за собой окно.

Спустя некоторое время сам хозяин поймал его и за большие деньги продал в Gardine des Plantes[598]. Лебона сразу же освободили, как только мы с Дюпеном явились к префекту и обо всем ему рассказали (Дюпен не удержался и от кое-каких комментариев). При всей благосклонности к моему другу, сей чинуша не скрыл своего разочарования по случаю такого конфуза и даже отпустил в наш адрес две-три шпильки насчет того, что не худо бы каждому заниматься своим делом.

— Пусть ворчит, — сказал мне потом Дюпен, не удостоивший префекта ответом. — Пусть утешается. Надо же человеку душу отвести. С меня довольно того, что я побил противника на его территории. Впрочем, напрасно наш префект удивляется, что загадка ему не далась. По правде сказать, он слишком хитер, чтобы смотреть в корень. Вся его наука сплошное верхоглядство. У нее одна лишь

голова, без тела, как изображают богиню Лаверну[599] или в лучшем случае — голова и плечи, как у трески. Но что ни говори, он добрый малый; в особенности восхищает меня та ловкость, которая стяжала ему репутацию великого умника. Я говорю о его манере «de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas»[600].

Апрель, 1841

пер. Р. Гальпериной

Тайна Мари Роже
Дополнение к «Убийству на улице Морг»

Параллельно с реальными событиями существует идеальная их последовательность. Они редко полностью совпадают. Люди и обстоятельства обычно изменяют идеальную цепь событий, а потому она кажется несовершенной, и следствия ее равно несовершенны. Так было с реформацией — взамен протестантства явилось лютеранство.

Новалис. «Взгляд на мораль»[686]

«Мари Роже» впервые была опубликована без примечаний, поскольку тогда они казались излишними; однако со времени трагедии, которая легла в основу этой истории, прошли годы, а потому появилась нужда и в примечаниях, и в небольшом вступлении, объясняющем суть дела. В окрестностях Нью-Йорка была убита молодая девушка Мэри Сесилия Роджерс, и хотя это убийство вызвало большое волнение и очень долго оставалось в центре внимания публики, его тайна еще не была раскрыта в тот момент, когда был написан и опубликован настоящий рассказ (в ноябре 1842 г.). Автор, якобы описывая судьбу французской гризетки, на самом деле точно и со всеми подробностями воспроизвел основные акты убийства Мэри Роджерс, ограничиваясь параллелизмами в менее существенных деталях.

«Тайна Мари Роже» писалась вдали от сцены зверского убийства, и, расследуя его, автор мог пользоваться только сведениями, опубликованными в газетах. В результате от него ускользнуло многое из того, чем он мог бы воспользоваться, если бы лично побывал на месте происшествия. Тем не менее будет, пожалуй, нелишним

указать, что признания двух лиц (одно из них выведено в рассказе под именем мадам Дюлюк), сделанные независимо друг от друга и много времени спустя после опубликования рассказа, полностью подтвердили не только общий вывод, но и абсолютно все основные предположения, на которых был этот вывод построен. — *Примеч. автора.*

Мало какому даже самому рассудочному человеку не случалось порой со смутным волнением почти уверовать в сверхъестественное, столкнувшись с совпадением настолько поразительным, что разум отказывается признать его всего лишь игрой случая. Подобные ощущения (ибо смутная вера, о которой я говорю, никогда полностью не претворяется в мысль) редко удается до конца подавить иначе, как прибегнув к доктрине случайности или — воспользуемся специальным ее наименованием — к теории вероятности. Теория же эта является по самой своей сути чисто математической; и, таким образом, возникает парадокс — наиболее строгое и точное из всего, что дает нам наука, прилагается к теням и призракам наиболее неуловимого в области мысленных предположений.

Невероятные подробности, которые я призван теперь сделать достоянием гласности, будучи взяты в хронологической их последовательности, складываются в первую ветвь необычайных совпадений, а во второй и заключительной их ветви все читатели, несомненно, узнают недавнее убийство в Нью-Йорке Мэри Сесилии Роджерс.

Когда в статье, озаглавленной «Убийство на улице Морг», я год назад попытался описать некоторые примечательные особенности мышления моего друга шевалье С. — Огюста Дюпена, мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь вновь вернусь к этой теме. Именно это описание было моей целью, и она нашла свое полное осуществление в рассказе о прихотливой цепи происшествий, которые позволили раскрыться особому таланту Дюпена. Я мог бы привести и другие примеры, но они не доказали бы ничего, кроме уже доказанного. Однако удивительный поворот недавних событий нежданно открыл мне новые подробности, которые облекаются в подобие вынужденной исповеди. После того, что мне довелось услышать совсем недавно, было бы странно, если бы я продолжал

хранить молчание относительно того, что я слышал и видел задолго перед этим.

Раскрыв тайну трагической гибели мадам Л'Эспанэ и ее дочери, шевалье тотчас выбросил все это дело из головы и возвратился к привычным меланхолическим раздумьям. Его настроение вполне отвечало моему неизменному тяготению к отрешенности, и, как прежде замкнувшись в нашем тихом приюте в предместье Сен-Жермен, мы оставили Будущее на волю судьбы и предались безмятежному спокойствию Настоящего, творя грезы из окружающего нас скучного мира.

Но эти грезы время от времени нарушались. Нетрудно догадаться, что роль моего друга в драме, разыгравшейся на улице Морг, не могла не произвести значительного впечатления на парижскую полицию. У ее агентов имя Дюпена превратилось в присловье. Того простого хода рассуждений, который помог ему раскрыть тайну, он, кроме меня, не сообщил никому — даже префекту, — а потому не удивительно, что непосвященным эта история представлялась истинным чудом, и аналитический талант шевалье принес ему славу провидца. Если бы он отвечал на любопытные расспросы с достаточной откровенностью, это заблуждение скоро рассеялось бы, но душевная леность делала для него невозможным какое бы то ни было возвращение к теме, которая давно уже перестала интересовать его самого. Вот почему взгляды полицейских постоянно устремлялись к нему и префектура вновь и вновь пыталась прибегнуть к его услугам. Одна из наиболее примечательных таких попыток была вызвана убийством молоденькой девушки по имени Мари Роже.

Это случилось года через два после жуткого события на улице Морг. Мари (поразительное совпадение ее имени и фамилии с именем и фамилией злополучной продавщицы сигар сразу бросается в глаза) была единственной дочерью вдовы Эстеллы Роже. Ее отец умер, когда она была еще младенцем, и вплоть до последних полутора лет перед убийством, о котором пойдет речь в этом повествовании, мать и дочь жили вместе на улице Паве-Сент-Андре[687] Мадам Роже содержала пансион, а Мари ей помогала. Так продолжалось до тех нор, пока Мари не исполнилось двадцать два года — а тогда ее редкая красота привлекла внимание парфюмера, снимавшего лавку в нижнем этаже Пале-Рояля и числившего среди своих клиентов почти одних только

отчаянных искателей легкой наживы, которыми кишит этот квартал. Мосье Леблан[688] отлично понимал, что присутствие красавицы Мари в его лавке может принести ему немалые выгоды, и его щедрые посулы сразу же прельстили девушку, хотя ее маменька выказала гораздо больше нерешительности.

Надежды парфюмера вполне сбылись, и его заведение благодаря чарам бойкой гризетки скоро приобрело значительную популярность. Мари уже служила у мосье Леблана около года, когда она внезапно исчезла из его лавки, повергнув своих поклонников в большое смятение. Мосье Леблан не знал, чем объяснить ее отсутствие, а мадам Роже была вне себя от тревоги и страшных опасений. Происшествие попало в газеты, и полиция уже собиралась начать серьезное расследование, как вдруг в одно прекрасное утро ровно через неделю Мари вновь появилась на своем обычном месте за прилавком, живая и здоровая, хотя как будто и погрустневшая. Официальное расследование было, конечно, немедленно прекращено, а на все расспросы мосье Леблан по-прежнему отговаривался полным неведением, мадам же Роже и Мари отвечали, что прошлую неделю она гостила у родственницы в деревне. На том дело и кончилось, а затем и вовсе изгладилось из памяти публики, тем более что девушка, желая, по-видимому, избежать назойливого внимания любопытных, вскоре навсегда покинула парфюмера и вернулась в материнский дом на улице Паве-Сент-Андре.

Примерно через три года после возвращения Мари к матери ее друзья были встревожены новым внезапным исчезновением девушки. Три дня о ней ничего не было известно. На четвертый день ее труп обнаружили в Сене[689] — у берега, противоположного тому, на котором находится квартал Сент-Андре, в пустынных окрестностях заставы Дюруль[690].

Столь зверское убийство (в том, что это — убийство, никаких сомнений быть не могло), молодость и красота жертвы, а главное, ее недавняя известность пробудили живейший интерес падких до сенсаций парижан. Я не припомню никакого другого происшествия, которое вызвало бы столь всеобщее и сильное волнение. В течение нескольких недель эта тема была злобой дня, заслонившей даже важнейшие политические события. Префект усердствовал больше

обыкновенного, и парижская полиция, разумеется, совсем сбилась с ног.

Когда труп нашли, все были убеждены, что немедленно предпринятые поиски убийцы увенчаются самым скорым результатом. И только через неделю наконец сочли нужным предложить награду за его поимку, но даже и тогда сумма была ограничена всего лишь тысячью франками. Следствие тем временем велось весьма энергично, если не всегда разумно, очень много разных людей подверглось ни к чему не приведшим допросам, и отсутствие даже самых слабых намеков на разгадку тайны все больше и больше подогревало интерес к ней. На десятый день пришлось удвоить обещанную награду, а когда по истечении второй недели дело не сдвинулось с места и недовольство полицией, никогда не угасающее в Париже, успело несколько раз привести к уличным беспорядкам, префект лично предложил награду в двадцать тысяч франков «за изобличение убийцы» или же, если бы участников преступления оказалось несколько, «за изобличение кого-либо из убийц». В объявлении об этой награде, кроме того, содержалось обещание полного помилования любому сообщнику, который донес бы на своих соучастников; и к нему, где бы оно ни вывешивалось, присовокуплялось объявление комитета частных граждан, обещавшего добавить десять тысяч франков к сумме, назначенной префектом. Таким образом, в целом награда составляла тридцать тысяч франков: сумма неслыханная, если вспомнить более чем скромное положение девушки и то обстоятельство, что в больших городах подобные возмутительные преступления отнюдь не редкость.

Теперь уже никто не сомневался, что тайна этого убийства будет немедленно раскрыта. И правда, были произведены два-три ареста, однако никаких улик против подозреваемых обнаружить на удалось и их пришлось тут же освободить.

Как ни удивительно, мы с Дюпеном впервые услышали об этом событии, столь взволновавшем общественное мнение, только когда миновала третья неделя после обнаружения трупа — неделя, также не бросившая никакого света на происшедшее. Мы были всецело поглощены одним исследованием и более месяца не выходили из дома, не принимали посетителей и едва проглядывали политические статьи в ежедневно доставлявшейся нам газете. И первое известие об убийстве

Мари Роже нам принес сам Г. Он зашел к нам днем 13 июля 18… года и просидел у нас до поздней ночи. Ему было крайне досадно, что все его усилия разыскать убийц ни к чему не привели. На карту поставлена, заявил он с чисто парижским жестом, его репутация. Более того — его честь! К нему прикованы глаза всего общества, и нет жертвы, которую он не принес бы ради раскрытия тайны. Свою несколько витиеватую речь он заключил комплиментом касательно того, что соизволил назвать «тактом» Дюпена, и обратился к моему другу с прямым и, бесспорно, щедрым предложением, о котором я не считаю себя вправе сообщить что-либо, но которое не имеет ни малейшего отношения к непосредственной теме моего повествования.

Комплимент мой друг по мере сил отклонил, но на предложение тотчас согласился, хотя его выгоды оставались пока условными. Покончив с этим, префект немедленно принялся излагать свою собственную точку зрения, уснащая объяснение многочисленными рассуждениями, касавшимися обстоятельств дела, о которых мы еще ничего не знали. Он говорил долго, проявляя, без сомнения. немалую осведомленность, я иногда осмеливался высказать скромное предположение, а дремотные часы ночи проходили один за другим. Дюпен неподвижно сидел в своем кресле, как истое воплощение почтительного внимания. На нем были очки, и, исподтишка заглядывая под их зеленые стекла, я вновь и вновь убеждался, что мой друг крепко спит, — ничем себя не выдав, он так и проспал все семь свинцово-медлительных часов, по истечении которых префект наконец удалился.

Утром я получил в префектуре полное изложение всех собранных фактов, а в газетных редакциях — экземпляры всех газет, в которых были опубликованы какие бы то ни было сведения об этой трагедии. Очищенная от всех безусловно опровергнутых выдумок, история выглядела следующим образом.

Мари Роже вышла из дома своей матери на улице Паве-Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье 22 июня 18… года. Уходя, она сообщила некоему мосье Жаку Сент-Эсташу[691] — и только ему, — что намерена провести день у своей тетки, которая живет на улице Дром. Узенькая, короткая, но оживленная улица Дром находится неподалеку от берега Сены, и от пансиона мадам Роже ее отделяют две с лишним мили, даже если идти кратчайшим путем. Сент-Эсташ был официальным женихом Мари и не только столовался,

но и жид в пансионе. Он должен был зайти за своей невестой под вечер и проводить ее домой. Однако во второй половине дня полил сильный дождь, и, полагая, что Мари предпочтет переночевать у тетки (как она уже не раз делала при подобных обстоятельствах), он не счел нужным сдержать свое обещание. Вечером мадам Роже (больная семидесятилетняя старуха) выразила опасение, что она «уже больше никогда не увидит Мари», но тогда никто не обратил на ее слова особого внимания.

В понедельник выяснилось, что Мари вообще не заходила к тетке, и когда к вечеру она не вернулась, ее с большим запозданием принялись искать в тех местах города и окрестностей, где она могла бы оказаться. Однако узнать о ней что-то определенное удалось только на четвертый день с момента ее исчезновения. В этот день (в среду 25 июня) некий мосье Бове,[692] который вместе с приятелем наводил справки о Мари в окрестностях заставы Дюруль на противоположном берегу Сены, услышал, что рыбаки только что доставили на берег труп, который плыл по реке. Увидев тело, Бове после некоторых колебаний опознал бывшую продавщицу из парфюмерной лавки. Его приятель опознал ее сразу же.

Лицо мертвой было налито темной кровью, которая сочилась изо рта. Пены, какая бывает у обыкновенных утопленников, заметно не было. На горле виднелись синяки и следы пальцев. Согнутые в локтях и скрещенные на груди руки окостенели. Пальцы правой были сжаты в кулак, пальцы левой полусогнуты. На левой кисти имелись два кольцевых рубца, как будто оставленные веревками или одной веревкой, но обвитой вокруг руки несколько раз. На правой кисти имелись ссадины, так же как и на всей спине — особенно в области лопаток. Чтобы доставить труп на берег, рыбаки захлестнули его веревкой, но она никаких рубцов не оставила. Шея была сильно вздута. На теле не было заметно ни порезов, ни синяков, причиненных ударами. Шея была перехвачена обрывком кружев, затянутым так туго, что складки кожи совершенно скрывали его от взгляда. Он был завязан узлом, находившимся под левым ухом. Одного этого было достаточно, чтобы вызвать смерть. Протокол медицинского осмотра не оставлял ни малейших сомнений в целомудрии покойной. Она, указывалось в нем, подверглась грубому насилию. Состояние трупа в момент его обнаружения позволяло легко опознать его.

Одежда была сильно изорвана и приведена в полнейший беспорядок. Из верхней юбки от подола к талии была вырвана полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обвернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом. Вторая юбка была из тонкого муслина, и от нее была оторвана полоса шириной дюймов в восемнадцать — оторвана полностью и очень аккуратно. Эта полоса муслина была свободно обвернута вокруг шеи и завязана неподвижным узлом. Поверх этой муслиновой полосы и обрывка кружев проходили ленты шляпки. Эти ленты были завязаны не бантом, как их завязывают женщины, а морским узлом.

После опознания труп против обыкновения не был увезен в морг (это сочли излишней формальностью), а поспешно погребен неподалеку от того места, где его вытащили на берег. Благодаря усилиям Бове дело, насколько это было возможно, замяли, и прошло несколько дней, прежде чем оно привлекло внимание публики. Затем, однако, им занялась еженедельная газета[693], труп был эксгумирован и вновь подвергнут осмотру, но ничего, помимо вышеописанного, обнаружено не было. Правда, на этот раз платье, шляпку и прочее предъявили матери и знакомым покойной, и они без колебаний опознали в них одежду, в которой девушка ушла из дома в то утро.

Тем временем возбуждение публики росло с каждым часом. Несколько человек было арестовано, но отпущено. Главное подозрение падало на Сент-Эсташа, и вначале он не сумел достаточно убедительно объяснить, как он провел роковое воскресенье. Однако вскоре он представил мосье Г. в письменном виде точные сведения о том, где и когда он был в этот день, подкрепленные надежными свидетельскими показаниями. По мере того как дни проходили, не принося никаких новых открытий, по городу начали распространяться тысячи противоречивых слухов, а журналисты принялись строить всевозможные догадки и предположения. Среди этих последних наибольший интерес вызвало утверждение, будто Мари Роже жива, а из Сены был извлечен труп какой-то другой несчастной девушки. Я считаю своим долгом познакомить читателя с отрывками из статьи, содержавшей вышеуказанное предположение и опубликованной в «Этуаль»[694] — газете достаточно солидной.

«Мадемуазель Роже ушла из материнского дома утром в воскресенье 22 июня 18… года, объявив, что намерена навестить тетку или какую-то другую родственницу, проживающую на улице Дром. С этого момента, насколько удалось установить, ее никто не видел. Она исчезла бесследно, и ее судьба остается неизвестной… До сих пор не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее в тот день после того, как за ней закрылась дверь материнского дома… Итак, хотя мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня, у нас есть неопровержимые доказательства, что до этого часа она была жива и здорова. В среду в двенадцать часов дня в Сене у заставы Дюруль был обнаружен женский труп. Это произошло — даже если предположить, что Мари Роже бросили в реку не позже чем через три часа после того, как она ушла из дому, — всего лишь через трое суток после ее ухода, через трое суток час в час. Однако было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи. Те, кто творит столь гнусные преступления, предпочитают ночной мрак свету дня… Другими словами, если тело, найденное в реке, это действительно тело Мари Роже, оно могло пробыть в воде не более двух с половиной или — с большой натяжкой — ровно трех суток. Как показывает весь прошитый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды. Итак, мы должны задать себе вопрос, что в этом случае вызвало отклонение от обычных законов природы? …Если же изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться

какие-нибудь следы убийц. Кроме того, представляется сомнительным, чтобы труп всплыл так скоро, даже если его бросили в реку через два дня после убийства. И далее, весьма маловероятно, чтобы злодеи, совершившие убийство, вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы ни малейшего труда».

По мнению автора статьи, этот труп должен был пробыть в воде «не каких-то трое суток, а впятеро дольше», поскольку разложение зашло так далеко, что Бове не сразу его опознал. Однако этот довод был полностью опровергнут. Затем в статье говорилось:

«Так каковы же факты, ссылаясь на которые мосье Бове утверждает, будто убитая — без сомнения, Мари Роже? Он разорвал рукав платья убитой и теперь заявляет, что видел особые приметы, вполне его удовлетворившие. Широкой публике, конечно, представляется, что под этими особыми приметами подразумеваются шрамы или родинки. На самом же деле он потер руку и обнаружил — волоски! На наш взгляд, трудно найти менее определенную примету, и убедительна она не более, чем ссылка на то, что в рукаве обнаружилась рука! В этот вечер мосье Бове не вернулся в пансион, а в семь часов послал мадам Роже известие, что расследование касательно ее дочери все еще продолжается. Если даже допустить, что преклонный возраст и горе мадам Роже не позволяли ей самой побывать там (а допустить это очень нелегко!), то, несомненно, должен был найтись кто-то, кто счел бы необходимым поспешить туда и принять участие в расследовании, если они были уверены, что это действительно тело Мари. Но никто туда не отправился. Обитателям дома на улице Паве-Сент-Андре вообще ничего не было сказано, и они даже не слыхали о том, что произошло. Мосье Сент-Эсташ, поклонник и жених Мари, живший в пансионе ее матери, показал под присягой, что про обнаружение тела своей нареченной он узнал только на

следующее утро, когда к нему в спальню вошел мосье Бове и рассказал ему о событиях прошлого вечера. Нам кажется, что, учитывая характер новости, она была принята весьма спокойно и хладнокровно».

Вот так газета стремилась создать впечатление, что близкие Мари оставались равнодушными и бездеятельными — картина, несовместимая с предположением, будто они верили, что найден действительно ее труп. Эти инсинуации вкратце сводились к следующему: Мари при пособничестве своих друзей покинула город по причинам, бросающим тень на ее добродетель, и когда из Сены был извлечен труп, имевший некоторое сходство с исчезнувшей девушкой, указанные друзья воспользовались этим, чтобы внушить всем мысль, будто она мертва. Однако «Этуаль» опять излишне поторопилась. Выяснилось, что равнодушие и бездеятельность целиком относятся к области вымыслов, что старушка действительно была очень слаба и волнение лишило ее последних сил, что Сент-Эсташ не только не выслушал это известие с полным хладнокровием, но совсем обезумел от горя, и мосье Бове, увидя его отчаяние, убедил кого-то из его родственников остаться с ним и помешать ему отправиться на эксгумацию. Более того, хотя «Этуаль» объявила, что труп был вторично погребен на общественный счет, что близкие Мари Роже наотрез отказались оплатить даже очень дешевые похороны и что никто из них не присутствовал на церемонии, — хотя, повторяю, «Этуаль» утверждала все это для подкрепления впечатления, которое она стремилась создать у своих читателей, каждое из перечисленных утверждений было решительным образом опровергнуто. В одном из последующих номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Бове. Редактор в своей статье заявил:

«И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в роме мадам Роже находилась мадам Б., мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б., не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему… В настоящий момент, насколько можно заключить, мосье Бове хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мосье

> Бове буквально нельзя и шагу ступить, ибо, куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него… По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании и, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп».

Нижеследующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Бове этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Бове, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари».

Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако «Коммерсьель»,[695] газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц.

> «Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа… Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих, и все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и, кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести, точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль,

не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду… От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергли большую часть рассуждений «Коммерсьель». Два мальчика, сыновья некоей мадам Дюлюк, гуляя в лесу, неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из трех-четырех больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее, в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое.

Еженедельник «Le Soleil»[696], повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом:

«Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель; под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда его раскрыли, он весь расползся… Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском

нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны, и висели на терновнике в футе над землей… Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено».

Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать — глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье примерно в три часа дня в трактир зашла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом учили, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке.

В тот же вечер, вскоре после того как совсем стемнело, мадам Дюлюк и ее старший сын слышали женские крики неподалеку от трактира. Крики были очень громкими, но вскоре оборвались. Мадам Д. опознала не только шарф, но и платье, которое было на трупе. Кучер омнибуса, по фамилии Баланс[697] теперь также показал, что видел в это воскресенье, как Мари переправлялась через Сену в обществе смуглого молодого человека. Он, Баланс, знал Мари и ошибиться не мог. Предметы, найденные в чаще, все были опознаны родственниками Мари.

Сведения, которые я таким образом извлек по просьбе Дюпена из газетных статей, включали, кроме вышеперечисленных, только один факт — но факт этот представлялся весьма многозначительным. После того, как в чаще были обнаружены шарф и прочие вещи, неподалеку от того места, которое теперь все считали местом убийства, было

обнаружено безжизненное иди почти безжизненное тело Сент-Эсташа, жениха Мари. Возле валялся пустой флакон — на ярлычке было написано «опиум». Дыхание Сент-Эсташа указывало, что он действительно принял этот яд. Он умер, не приходя в сознание. В кармане у него была найдена записка: коротко упомянув о своей любви к Мари, он сообщил, что намерен наложить на себя руки.

— Мне, разумеется, незачем говорить вам, — сказал Дюпен, внимательно прочитав мои заметки, — что это куда более запутанное дело, чем убийство на улице Морг, от которого оно отличается в одном очень важном отношении, так как представляет собой хотя и зверски-жестокое, но ординарное преступление. В нем нет ничего выходящего за рамки обычного. Заметьте, что по этой причине все полагали, будто раскрыть его окажется нетрудно, тогда как именно его заурядность и составляет главный камень преткновения. Вначале ведь даже не сочли нужным назначить награду. Мирмидоняне[698] префекта сразу же представили себе, как и почему могло быть совершено это гнусное преступление. Их воображение было способно нарисовать способ — много способов — его совершения, а также и побудительный мотив — много мотивов. И потому, что какие-то из этих способов и этих мотивов могли оказаться подлинными, им представилось само собой разумеющимся, что один из них и окажется подлинным. Однако легкость, с какой возникали эти различные предположения, и их правдоподобность свидетельствовали о том, что правильное решение найти будет не только не просто, по, наоборот, очень трудно. Я не раз замечал, что в поисках истины логика нащупывает свой путь по отклонениям от обычного и заурядного и что в случаях, подобных этому, следует спрашивать не «что произошло?», а «что произошло необыкновенного, такого, чего не случалось прежде?». Ведя следствие в доме мадам Л'Эспанэ[699] агенты Г. растерялись из-за необычности случившегося, в то время как верно направленный интеллект именно в этой необычности усмотрел бы залог успеха; и тот же самый интеллект с глубоким отчаянием убедился бы в видимой заурядности обстоятельств исчезновения продавщицы парфюмерных товаров, хотя подчиненные префекта как раз в ней увидели обещание легкой победы.

В деле мадам Л'Эспанэ и ее дочери мы с самого начала твердо знали, что речь идет об убийстве. Возможность самоубийства исключалась безусловно. Здесь самоубийство также исключается. Вид

трупа, обнаруженного неподалеку от заставы Дюруль, не оставляет никаких сомнений в этом важном вопросе. Однако высказывается предположение, что труп этот — не труп Мари Роже, за поимку убийцы или убийц которой назначена награда и которой касается наш уговор с префектом. Мы оба прекрасно знаем этого господина. И знаем, что слишком доверять ему не следует. Если мы начнем наше расследование с трупа и, отыскав убийцу, тем не менее установим, что это труп какой-то другой женщины, а не Мари, или если мы сразу предположим, что Мари жива и отыщем ее — отыщем целой и невредимой, — то в обоих случаях наши труды пропадут даром, поелику мы имеем дело с мосье Г. Поэтому в наших собственных интересах, если не в интересах правосудия, мы должны с самого начала удостовериться, что найденный в Сене труп — это действительно труп пропавшей Мари Роже.

Доводы «Этуаль» произвели впечатление на публику, да и сама газета убеждена в их неопровержимости, о чем свидетельствует первая строка одной из напечатанных в ней заметок, посвященных делу Мари Роже. «Несколько утренних газет, — начинается эта заметка, — обсуждают исчерпывающую статью в номере „Этуаль“ от понедельника». На мой взгляд, эта статья исчерпывающе доказывает только рвение ее автора. Вообще следует помнить, что наши газеты думают главным образом о том, как создать сенсацию, а не о том, как способствовать обнаружению истины. Последнее становится их задачей, только если это способствует достижению первой и главной их цели. Когда печать всего лишь следует общему мнению (каким бы обоснованным оно ни было), она не обеспечивает себе успеха у толпы. Большинство людей считает мудрецом только того, кто высказывает предположение, идущее вразрез с принятыми представлениями. В логических рассуждениях, не менее чем в литературе, наибольшим и незамедлительным успехом пользуется эпиграмма, и в обоих случаях она стоит меньше всего.

Я хочу сказать, что предположение, будто Мари Роже еще жива, было подсказано «Этуаль» неожиданностью и мелодраматичностью подобной идеи, а вовсе не ее правдоподобием — и по той же причине она нашла столь благосклонный прием у публики. Давайте разберем по пунктам рассуждения этой газеты, освободив их от той бессвязности и непоследовательности, с какой они изложены в статье.

Прежде всего ее автор стремится доказать, что между исчезновением Мари и обнаружением в реке плывущего трупа прошло слишком мало времени, а потому это не мог быть ее труп. Для достижения своей цели он стремится елико возможно сократить этот интервал. Такое опрометчивое стремление заставляет его сразу же пустить в ход абсолютно безосновательное предположение. «Было бы чистейшей нелепостью считать, — утверждает он, — будто убийство (если она действительно была убита) могло совершиться настолько быстро после ее ухода, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи». Мы немедленно задаем естественный вопрос: почему? Почему было бы нелепостью предположить, что девушку убили через пять минут после того, как она вышла из дома? Убийства случались во всякое время суток. Но если бы это убийство произошло в течение воскресенья в любую минуту между девятью часами утра и до без четверти двенадцать ночи, убийцы все-таки успели бы «бросить тело в реку до полуночи». Следовательно, произвольная предпосылка автора статьи, в сущности, сводится к тому, что убийство вообще в воскресенье не произошло, а если мы позволим «Этуаль» исходить из такой предпосылки, то должны будем прощать ей любые вольности. Фраза, начинающаяся словами: «Было бы чистейшей нелепостью считать…» — и т. д., независимо от того, в каком виде она появилась на страницах «Этуаль», была порождена следующей мыслью своего творца: «Было бы чистейшей нелепостью считать, будто убийство (если речь действительно идет об убийстве) могло совершиться настолько быстро после ухода девушки из дома, что убийцы успели бросить тело в реку до полуночи; было бы нелепостью, утверждаем мы, предположить все это и в то же время предположить (как мы твердо решили сделать), что тело было брошено в реку только после полуночи», — фраза достаточно непоследовательная, но далеко не столь абсурдная, как та, которая появилась в статье.

— Если бы, — продолжал Дюпен, — я хотел просто опровергнуть именно это место в рассуждениях «Этуаль», — то мог бы спокойно ограничиться уже сказанным. Однако нас интересует не «Этуаль», а истина. Рассматриваемая фраза в ее настоящем виде имеет лишь одно содержание, и это содержание я изложил с полной беспристрастностью, но нам важно, не ограничиваясь только словами, проникнуть в мысль, которую эти слова явно должны были выразить,

хотя и не выразили. Журналист хотел сказать, что, независимо от того, утром, днем или вечером в воскресенье было совершено это убийство, убийцы вряд ли осмелились бы доставить труп к реке раньше полуночи. И именно в этих словах прячется та произвольная предпосылка, которую я ставлю ему в упрек. Он без каких-либо оснований исходит из предположения, будто убийство было совершено в таком месте и при таких обстоятельствах, что труп обязательно надо было доставлять к реке. А ведь оно могло произойти на берегу или даже на самой реке — тогда труп мог быть брошен в воду в любое время суток, так как это был бы наиболее легкий и естественный способ избавиться от него. Вы, конечно, понимаете, что я вовсе не считаю наиболее вероятной именно эту возможность и не высказываю своего мнения. Пока еще я те касаюсь реальных фактов дела, а только хочу предостеречь вас против самого тона предположения «Этуаль», обратив ваше внимание на то, что они с самого начала носят характер ex-parte[700].

И вот, предписав ограничение, удобное для ее собственных предвзятый идей, предположив, что этот труп, если он был трупом Мари, мог пробыть в воде лишь очень незначительное время, газета заявляет:

> «Как показывает весь прошлый опыт, тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в воду вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успеют извлечь из воды».

С этими утверждениями безмолвно согласились все парижские газеты, за исключением «Монитер»[701], которая пытается опровергнуть лишь то место, которое относится к «утопленникам», ссылаясь на пять-шесть случаев, когда тела заведомых утопленников всплывали до истечения срока, указанного «Этуаль». Однако в этой попытке «Монитер» опровергнуть общее утверждение «Этуаль» ссылками на конкретные противоречащие ему примеры есть что-то

глубоко нефилософское. Сошлись «Монитер» не на пять, а на пятьдесят трупов, всплывших через двое-трое суток, все равно эти пятьдесят примеров следовало бы считать лишь исключением из правила, установленного «Этуаль», до тех пор, пока не было бы доказано, что само это правило неверно. А если признавать правило («Монитер» же его не отрицает и только указывает на исключения), то рассуждения «Этуаль» сохраняют полную силу, поскольку они касаются всего лишь вероятности того, что труп всплыл до истечения трех суток; и эта вероятность будет свидетельствовать в пользу «Этуаль» до тех пор, пока количество примеров, на которые по-детски ссылаются противники ее выводов, не возрастет до той степени, когда уже можно будет говорить о противоположном правиле.

Как вы могли заметить, все рассуждения касательно этого пункта должны строиться так, чтобы опровергнуть указанное правило, а для этой цели нам следует рассмотреть его рациональную основу. Начнем с того, что в среднем человеческое тело немногим тяжелей или легче воды Сены; другими словами, удельный вес человеческого тела в обычных условиях примерно равен удельному весу пресной воды, которую вытесняет это тело. Тела тучных, дородных людей с тонкими костями и тела подавляющего большинства женщин легче, чем тела худощавых крупнокостных мужчин; а на удельный вес речной воды оказывает влияние наличие морской воды, поступающей в реки с приливной волной. Но даже отбросив это наличие морской воды, все-таки можно утверждать, что даже в пресной воде при отсутствии дополнительных причин тонут лишь немногие человеческие тела. Упавший в реку человек почти никогда не пойдет ко дну, если он позволит весу своего тела прийти в соответствие с весом вытесненной им воды — другими словами, если он погрузится в воду почти целиком. Для людей, не умеющих плавать, наиболее правильной будет вертикальная позиция идущего человека, причем голову слезет откинуть и погрузить в воду так, чтобы над ней оставались только рот и нос. Приняв подобную позу, вы обнаружите, что без всяких усилий и труда держитесь у самой поверхности. Однако совершенно очевидно, что вес человеческого тела и воды, которую оно вытесняет, находятся лишь в весьма хрупком равновесии, так что достаточно ничтожного пустяка, чтобы оно нарушилось в ту или иную сторону. Например, рука, поднятая над водой и тем самым лишенная ее поддержки,

представляет собой добавочный вес, которого достаточно, чтобы голова ушла под воду целиком, тогда как случайно схваченный даже небольшой кусок дерева позволит вам приподнять голову и оглядеться. Человек, не умеющий плавать, обычно начинает биться в воде, вскидывает руки и старается держать голову, как всегда, прямо. В результате рот и ноздри оказываются под водой, которая при попытке вздохнуть проникает в легкие. Кроме того, большое ее количество попадает в желудок, и все тело становится тяжелее настолько, насколько вода тяжелее воздуха, наполнявшего эти полости прежде. Как правило, этой разницы достаточно для того, чтобы человек пошел ко дну, но только не в тех случаях, когда речь идет о людях с тонкими костями и излишком жира на теле. Такие люди, и утонув, продолжают держаться на поверхности.

Труп, опустившийся на дно реки, останется там до тех пор, пока по какой-то причине его вес опять не станет меньше веса вытесняемой им воды. Это может быть связано с разложением или с чем-либо еще. В процессе разложения образуется газ, расширяющий клетки в тканях и все полости, что придает мертвым телам ту вздутость, которая производит столь жуткое впечатление. Когда такое расширение приводит к заметному увеличению объема трупа без соответствующего увеличения его массы или веса, он становится легче вытесняемой им воды и всплывает. Однако процесс разложения определяется множеством факторов, он убыстряется или замедляется по множеству причин — тут могут играть роль жара и холод, количество растворенных в воде минеральных веществ, большая или меньшая глубина, наличие или отсутствие течения, температура тела, а также и состояние здоровья человека перед смертью. Таким образом, совершенно очевидно, что мы не можем даже приблизительно указать срок всплытия трупа в результате разложения. В некоторых условиях это произойдет менее чем через час, а в других — не произойдет вовсе. Есть химикалии, способные полностью и навсегда предохранить животные ткани от гниения, — к ним, например, принадлежит двухлористая ртуть. Однако и помимо разложения в желудке в результате брожения растительной массы (или же в других полостях по другим причинам) может образовываться — и обычно образуется — газ, который вызывает расширение тела, достаточное для того, чтобы оно всплыло на поверхность. Пушечный выстрел

просто производит сильную вибрацию, которая либо высвобождает труп из ила — и он всплывает, потому что был уже почти готов всплыть, либо разрушает какую-то часть уже сгнившей клеточной ткани, препятствовавшей расширению полостей под воздействием газа.

Итак, ознакомившись с философской основой этого предмета, мы с ее помощью легко можем проверить справедливость утверждения «Этуаль». «Как показывает весь прошлый опыт, — заявляет эта газета, — тела утопленников или тела жертв убийства, брошенные в реку вскоре после наступления смерти, всплывают, только когда процесс разложения зайдет достаточно далеко, то есть не ранее, чем через шесть — десять дней. Даже в тех случаях, когда такой труп всплывает ранее пяти-шести дней, так как над ним выстрелили из пушки, он вскоре вновь опускается на дно, если его не успевают извлечь из воды».

Теперь весь этот абзац выглядит мешаниной натяжек и несуразностей. Весь прошлый опыт отнюдь не показывает, что телу утопленника обязательно требуется шесть — десять дней, прежде чем оно разложится настолько, чтобы всплыть. И наука, и практический опыт свидетельствуют, что период, предшествующий всплытию, должен быть самым неопределенным — каковым он и является. Если же труп всплывет в результате выстрела из пушки, то он «опускается вновь на дно, если его не успевают извлечь из воды» не «вскоре», а только тогда, когда разложение продвинется настолько далеко, что образовавшийся в теле газ найдет выход наружу. Но я хотел бы обратить ваше внимание на различие, сделанное между «телами утопленников» и «телами жертв убийства, брошенных в реку вскоре после наступления смерти». Хотя автор признает это различие, он тем не менее относит и те и другие тела к одной категории. Я уже объяснил, как именно тело тонущего приобретает больший удельный вес, чем вода, и показал вам, что такой человек не утонул бы, если бы не начал бить руками, высовывая их из воды, и не захлебывался бы, пытаясь вздохнуть, в результате чего в его легкие вместо воздуха попадает вода. Но тело, «брошенное в реку вскоре после наступления смерти», рук не вскидывает и не захлебывается. Следовательно, в этом случае труп, как правило, вообще не утонет — факт, о котором «Этуаль», по-видимому, не осведомлена. Только когда разложение

зайдет очень далеко, когда в значительной мере обнажатся кости, только тогда, но не ранее, он скроется под водой.

Так как же должны мы теперь оценивать довод, что найденный труп — это не труп Мари Роже, ибо он плыл по реке, хотя со времени исчезновения девушки прошло всего три дня? Если бы она утонула, то, будучи женщиной, могла вообще не пойти ко дну, а если и пошла, то ее тело могло всплыть меньше чем через сутки. Но ведь никто не высказывает предположения, будто она утонула, а раз ее бросили в воду уже мертвой, тот факт, что тело плыло по реке, ни о каком сроке не говорит: оно и не должно было опускаться на дно.

Но, утверждает «Этуаль», «если изуродованное тело пролежало на берегу до ночи со вторника на среду, в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Здесь в первый момент трудно распознать, куда клонит автор. На самом же деле он хочет предвосхитить возможное возражение против его теории — а именно, что тело оставили лежать двое суток на берегу, где оно разлагалось быстро, быстрее, чем под водой. Он предполагает, что в этом случае оно могло бы всплыть уже в среду, и считает, что всплыть оно могло только при подобных обстоятельствах. А поэтому он торопится показать, что на берегу его не оставляли, ибо тогда «в этом месте должны были бы отыскаться какие-нибудь следы убийц». Полагаю, ваша улыбка вызвана столь неожиданной причинной связью. Вам непонятно, каким образом одна лишь длительность пребывания трупа на берегу могла способствовать умножению следов, оставленных убийцами. Непонятно это и мне.

«И далее, весьма маловероятно, — продолжает наша газета, — чтобы злодеи, совершившие убийство вроде предполагающегося здесь, бросили тело в воду, не привязав к нему предварительно какого-нибудь груза, когда принять подобную предосторожность не составило бы никакого труда». Заметьте, какая смехотворная путаница мыслей! Никто — ни даже «Этуаль», — не оспаривает, что женщина, чей труп был извлечен из Сены, была убита. Признаки насильственной смерти слишком уж очевидны. Наш автор ставит себе всего лишь одну цель: убедить читателей, что эта убитая — не Мари. Он стремится доказать не то, что не была убита женщина, чей труп найден, а что не была убита Мари. Однако этот его довод может служить только доказательством первого. Перед нами труп, к которому не привязано

никакого груза. Убийцы, бросая его в воду, обязательно привязали бы к нему груз. Отсюда следует, что убийцы его в воду не бросали. Больше ничего подобный аргумент не доказывает — если он вообще что-либо доказывает. Вопрос о личности убитой даже не затрагивается, а «Этуаль» пускается тут в сложные рассуждения всего лишь для того, чтобы опровергнуть собственное признание, которое было сделано несколькими строчками выше. «Мы твердо убеждены, — говорится в них, — что найденное тело — несомненно, труп убитой женщины».

И это — отнюдь не единственный случай, когда наш автор невольно опровергает сам себя даже только в этой части своих рассуждений. Он, как я уже говорил, несомненно ставит себе целью елико возможно сократить промежуток между исчезновением Мари и обнаружением трупа. Тем не менее он настойчиво подчеркивает, что с той минуты, когда девушка вышла из материнского дома, ее никто не видел. «Итак, — говорит он, — мы не можем утверждать, что Мари Роже пребывала в мире живых после девяти часов утра воскресенья 22 июня». Поскольку его довод явно ex-parte, ему следовало бы по меньшей мере вовсе не упоминать об этом обстоятельстве, так как вышеупомянутый промежуток заметно сократился бы, если бы кто-нибудь видел Мари в понедельник или, например, во вторник, и, согласно его собственным рассуждениям, вероятность того, что был найден труп именно красавицы-гризетки, заметно уменьшилась бы. Очень забавно наблюдать, как «Этуаль» настойчиво обращает внимание своих читателей на эту подробность в глубокой уверенности, что таким образом она подкрепляет общий ход своих рассуждений.

Теперь перечитайте ту часть статьи, где рассказывается о том, как труп был опознан Бове. В вопросе о волосках «Этуаль» проявила большую неуклюжесть. Мосье Бове, не будучи идиотом, при опознании трупа вряд ли привел бы в качестве доказательства просто волоски на руке. Волоски есть на любой руке. Неопределенность выражения, употребленного «Этуаль», искажает слова свидетеля. Он, без сомнения, указал на какое-то своеобразие этих волосков — особый цвет, густоту, длину или расположение.

«Ее нога, — пишет газета, — была маленькой, как и тысячи других женских ног. Ее подвязка не может служить серьезным доказательством, как и ботинки — ведь ботинки и подвязки продаются тысячами одинаковых пар. То же можно сказать о цветах на ее шляпе.

Мосье Бове особенно упирает на то, что застежка на подвязке переставлена. Это просто ничего не значит, так как женщины почти всегда предпочитают, купив подвязки, затем подогнать их дома, нежели примерять подвязки в лавке перед покупкой». Трудно предположить, что автор утверждает это серьезно. Если бы мосье Бове, разыскивая Мари, нашел труп женщины, сложением и внешностью схожей с исчезнувшей девушкой, он имел бы все основания (вообще не рассматривая одежды) счесть, что его поиски увенчались успехом. А если, кроме общего сходства, он обнаружил бы на руке умершей те своеобразные волоски, которые видел на руке Мари, его уверенность с полным нравом могла бы возрасти в степени, прямо пропорциональной необычности этой приметы. Если ноги Мари были маленькими и ноги трупа — тоже, уверенность в том, что это труп именно Мари, возросла бы не в арифметической, но в геометрической прогрессии. Добавьте ко всему этому ботинки, такие же, какие были на ней в день исчезновения, и пусть даже эти ботинки «продаются тысячами одинаковых пар», вы доведете вероятность уже почти до степени абсолютной несомненности. То, что само по себе не является точной приметой, теперь благодаря своему месту в целом ряду других признаков становится почти неопровержимым доказательством. Добавьте еще цветы на шляпе, такие же, какие носила исчезнувшая девушка, и опознание можно считать полным. Достаточно было бы и одного цветка. Но что, если их два, или три, или больше? Каждый из них не просто дополняет нашу уверенность, но стократ ее умножает. А теперь обнаружим на покойнице такие же подвязки, какие носила живая девушка, — и всякие дальнейшие поиски становятся просто нелепыми. Но оказывается, застежки на этих подвязках были переставлены, чтобы подогнать их по ноге, — точно так, как Мари затянула свои подвязки незадолго до ухода. После этого сомневаться может только сумасшедший или лицемер. Эластичная природа подвязок уже указывает на необычность такой перестановки застежки. Если предмет способен укорачиваться сам, то дополнительное его укорачивание по необходимости не может не быть редким. То, что подвязки Мари потребовали такой переделки, было случайностью в самом строгом смысле слова. Одних этих подвязок было бы вполне достаточно, чтобы точно установить ее личность. Но ведь на трупе не просто нашли подвязки исчезнувшей девушки, или ее

ботинки, или ее шляпку, или цветы с ее шляпки, не просто оказалось, что ноги убитой такие же маленькие, или что у нее такие же волоски на руке, или что она напоминает Мари сложением и внешностью, — нет, труп имел все эти приметы до единой. Если бы удалось доказать, что редактор «Этуаль» при таких обстоятельствах все же продолжает искренне сомневаться в личности убитой, его можно было бы объявить сумасшедшим и без заключения медицинской комиссии. Он решил, что будет очень хитро с его стороны прибегнуть к профессиональному языку адвокатов, которые по большей части удовлетворяются повторением прямолинейных юридических понятий. Кстати, многое из того, что суды отказываются считать доказательствами, является для острого ума наиболее убедительным доказательством. Ибо суд руководствуется общими принципами, определяющими, что составляет доказательство, а что — нет, то есть руководствуется признанными, записанными в кодексах принципами и не склонен отступать от них в конкретных случаях. Несомненно, такое неуклонное следование принципу и полное игнорирование противоречащих ему исключений в конечном счете представляет собой верный способ обнаружения максимума поддающейся обнаружению истины. Следовательно, в целом такая практика вполне философически оправдана, однако верно и то, что она приводит ко множеству индивидуальных ошибок[702].

Что касается инсинуаций, направленных против Бове, вы, конечно, отбросите их без долгих размышлений. Истинный характер этого господина вам, разумеется, уже ясен. Это романтичный и не очень умный любитель совать нос в чужие дела. Каждый человек подобного типа в действительно серьезных случаях обычно ведет себя так, что вызывает подозрение у излишне проницательных или нерасположенных к нему людей. Мосье Бове (как вытекает из ваших заметок) имел личную беседу с редактором «Этуаль» и задел его самолюбие, настаивая на том, что труп, вопреки теории редактора, все-таки и без всяких сомнений труп Мари Роже. «Он, — говорит газета, — упрямо утверждает, что это труп Мари, но не может сослаться в подтверждение ни на какие более убедительные для других приметы, кроме тех, которые мы уже обсудили». Не возвращаясь к вопросу о том, что «более убедительные для других приметы» найти вообще невозможно, надо указать на следующее: в подобного рода

дедах человек вполне может быть твердо убежден сам и в то же время не располагать никакими доводами, убедительными для других. Впечатление, которое вы храните о личности того или иного человека, очень трудно поддается определению. Каждый человек узнает своих знакомых, но весьма редко кто бывает способен логически объяснить, каким образом он их узнает. Редактор «Этуаль» не имеет права обижаться на мосье Бове за его нерассуждающую уверенность.

Связанные с ним подозрительные обстоятельства куда легче объяснить, исходя из моего представления о нем как о романтическом любителе совать нос в чужие дела, чем из виновности, которую обиняком пытается ему приписать автор статьи. Если мы будем исходить из более милосердного предположения, то легко поймем и розу в замочной скважине, и «Мари» на грифельной доске, и «оттирание в сторону родственников мужского пола», и нежелание, чтобы они увидели труп, и предостережение, с которым он обратился к мадам Б., указывая, что ей не следует ничего говорить жандарму до его (Бове) возвращения, и, наконец, его твердую решимость «не позволять никому другому принимать участие в расследовании». Мне представляется безусловным, что Бове был поклонником Мари, что она с ним кокетничала и что он стремился внушить всем, будто пользуется ее особым доверием и расположением. Больше я ничего об этом говорить не стану, а поскольку факты полностью опровергают утверждение «Этуаль» относительно равнодушия матери Мари и других ее родственников — равнодушия, которое ставило бы под сомнение искренность их убеждения, что найден действительно труп Мари, — мы будем далее исходить из того, что вопрос об установлении личности убитой разрешен к полному нашему удовлетворению.

— А что вы умаете, — спросил я, — о предположениях «Коммерсьель»?

— Я думаю, что по своему духу они заслуживают значительно большего внимания, чем все прочие мнения, высказанные об этом деле. Выводы из предпосылок философски верны и остроумны, однако по меньшей мере в двух случаях предпосылки опираются на неточные наблюдения. «Коммерсьель» дает попять, что Мари неподалеку от дома ее матери схватила шайка негодяев. «Невозможно предположить, — настаивает газета, — чтобы кто-нибудь, столь

известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала». Такую мысль мог высказать лишь мужчина, коренной парижанин, видный член общества, который, как правило, ходит только по определенным улицам в деловой части города. Он по опыту знает, что ему редко удается пройти пять кварталов от своей конторы без того, чтобы его кто-нибудь не узнал и не заговорил с ним. Он знает обширность своих знакомств и, сравнивая собственную известность с известностью продавщицы из парфюмерной лавки, не обнаруживает существенной разницы, а потому тут же приходит к заключению, что и ее на улице должны узнавать не реже, чем его. Но так могло бы быть только, если бы она, подобно ему, ходила одним и тем же неизменным путем в пределах четко ограниченной части города. Он проходит туда и обратно в определенные часы, и его маршрут пролегает по улицам, где ему на каждом шагу встречаются люди, интересующиеся им из-за общности их занятий. Мари же в своих прогулках вряд ли придерживалась какого-либо определенного маршрута. А в данном случае наиболее вероятным будет предположение, что она избрала путь, как можно более отличавшийся от обычных. Сопоставление, которое, как мы полагаем, подразумевала «Коммерсьель», оказалось бы справедливым, только если бы два сопоставляемых индивида прошли через весь город. В этом случае, при условии равной обширности круга их знакомств, были бы равны и их шансы на равное число встреч со знающими их людьми. Я же считаю не только возможным, но и гораздо более вероятным, что Мари могла в любое заданное время проследовать по какому-либо из многочисленных путей, соединяющих ее жилище и жилище ее тетки, не встретив ни единого человека, который был бы ей известен или которому была бы известна она. Рассматривая этот вопрос наиболее полно и правильно, мы должны все время помнить о колоссальном несоответствии между кругом знакомств даже самого известного парижанина и всем населением Парижа.

Если предположение «Коммерсьель» тем не менее еще сохраняет некоторую силу, нам следует вспомнить час, в который Мари вышла из дома. «И она вышла из дома в час, — утверждает „Коммерсьель“, — когда улицы были полны народа». Однако дело обстояло по-другому. Это произошло в девять часов утра. Действительно, в девять часов утра улицы бывают полны народа в любой день недели, кроме

воскресенья. В воскресенье же в девять часов утра горожане обычно бывают дома, собираясь идти в церковь. Любой наблюдательный человек, несомненно, замечал особую пустынность городских улиц в воскресное утро с восьми до десяти часов. Между десятью и одиннадцатью часами их действительно заполняют прохожие, но не ранее, не в час, о котором идет речь.

Наблюдательность изменила «Коммерсьель» и в другом случае. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки, — указывает газета, — был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут. Из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками». Насколько это предположение основательно само по себе, мы рассмотрим позже, но во всяком случае под «субъектами, не располагающими носовыми платками», автор подразумевает бродяг самого низшего разбора. Однако именно у них всегда бывают платки, даже у тех, у кого и рубашки нет. Вероятно, вы заметили, что за последние годы платки превратились в обязательную принадлежность всего городского отребья.

— А как следует оценить статью в «Le Soleil»? — спросил я.

— Очень жаль, что ее сочинитель не родился попугаем — в этом случае он, несомненно, стал бы самым знаменитым попугаем на свете. Он всего-навсего повторяет отдельные положения из того, что уже было высказано кем-то другим, разыскивая их с похвальным трудолюбием на страницах чужих газет. «Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее трех-четырех недель, и не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено». Факты, которые тут вновь перечисляет «Le Soleil», моих сомнений отнюдь не рассеивают, и подробнее мы о них поговорим позднее, в связи с еще одним аспектом этой темы.

А пока нам следует заняться другими вопросами. Вы, несомненно, обратили внимание на чрезвычайную небрежность осмотра трупа. Да, конечно, личность убитой была установлена достаточно быстро, но многое осталось невыясненным. Был ли труп ограблен? Надела ли убитая, выходя из дому, какие-нибудь дорогие украшения? А если да, то были ли они найдены на ее теле? На эти

весьма важные вопросы материалы расследования не дают никакого ответа, без внимания остались и другие, столь же существенные моменты. Мы должны попробовать сами восполнить эти пробелы. Необходимо заново рассмотреть роль Сент-Эсташа. У меня нет против него никаких подозрений, но нам следует действовать систематически. Мы придирчиво проверим его письменное показание о том, где и когда он был в то воскресенье. Такого рода показания нередко оказываются весьма ненадежными. Но если мы не обнаружим в них никаких противоречий, то больше Сент-Эсташем заниматься не будем. Однако его самоубийство, хотя оно и усугубило бы подозрения против него в случае, если бы нам удалось доказать лживость этих показаний, вполне объяснимо, если они верны, а потому из-за него нам незачем изменять обычные методы анализа.

Я предлагаю пока не заниматься непосредственно самим трагическим событием, а сосредоточить наше внимание на предшествовавших и сопутствовавших ему обстоятельствах. Одна из частых и отнюдь не наименьших ошибок подобного рода расследований заключается в том, что расследуется только самый факт, а все опосредствованно или косвенно с ним связанное полностью игнорируется. Суды совершают значительный промах, ограничивая рассмотрение улик и свидетельских показаний лишь темп, связь которых с делом представляется непосредственной и очевидной. Однако, как не раз показывал прошлый опыт и как всегда покажет истинная философия, значительная, если не подавляющая часть истины раскрывается через обстоятельства, на первый взгляд совершенно посторонние. Именно дух, если не буква этого принципа, лежит в основе решимости современной науки опираться на непредвиденное. Но, возможно, вам непонятны мои слова. История накопления человеческих знаний непрерывно доказывает одно: наибольшим числом самых ценных открытий мы обязаны сопутствующим, случайным или непредвиденным обстоятельствам, а потому, в конце концов, при обзоре перспектив на будущее стало необходимым отводить не просто большое, но самое большое место будущим изобретениям, которые возникнут благодаря случайности и вне пределов предполагаемого и ожидаемого. Теперь стало несовместимым с философией строить прогнозы грядущего, исходя только из того, что уже было. Случай составляет признанную часть

таких построений. Мы превращаем случайность в предмет точных исчислений. Мы подчиняем непредвиденное и невообразимое научным математическим формулам.

Как я уже говорил, наибольшая часть истины была открыта благодаря побочным обстоятельствам; и в соответствии с духом принципа, стоящего за этим фактом, я в данном случае перенесу расследование с истоптанной и до сей поры неплодородной почвы самого события на обстоятельства, ему сопутствовавшие. Вы будете проверять истинность показаний, подтверждающих, где и когда был в то воскресенье Сент-Эсташ, а я тем временем проштудирую газеты не столь целенаправленно, как сделали это вы. Пока мы лишь произвели предварительную разведку, но будет весьма странно, если широкое ознакомление с прессой, которое я намерен предпринять, не откроет какие-нибудь второстепенные подробности, которые, в свою очередь, подскажут нам, в каком направлении надо вести расследование.

Выполняя поручение Дюпена, я скрупулезно изучил вышеупомянутые показания и убедился в их истинности, а следовательно, и в невиновности Сент-Эсташа. Тем временем мой друг с тщанием, которое представлялось мне совершенно излишним, просматривал одну газетную подшивку за другой. Через неделю он положил передо мной следующие выдержки:

> «Примерно три с половиной года назад волнение, весьма напоминающее нынешнее, было вызвано исчезновением той же самой Мари Роже из парфюмерной лавки мосье Леблана в Пале-Рояль. Однако неделю спустя она вновь появилась за своим прилавком, живая и невредимая, хотя, правда, чуть более бледная, чем прежде. Мы полагаем, что и нынешнее исчезновение вызвано сходной причиной и что по истечении недели или, быть может, месяца мы снова увидим ее среди нас».

(«Вечерняя газета»[703], понедельник 23 июня.)

> «Одна из вечерних газет сослалась вчера на первое таинственное исчезновение мадемуазель Роже. Известно, что ту неделю, пока ее не было в лавке мосье Леблана, она

провела в обществе молодого морского офицера, имеющего репутацию кутилы и повесы. Полагают, что вследствие ссоры она, к счастью, вернулась домой вовремя. Нам известно имя этого Лотарио[704], находящегося в настоящее время в Париже, но по понятным причинам мы не предаем его гласности».

(«Меркюри»[705], вторник 24 июня, утренний выпуск.)

«Позавчера в окрестностях нашего города было совершено возмутительнейшее преступление. Некий господин в сумерках нанял шестерых молодых людей, которые катались на лодке по Сене, перевезти его с женой и дочерью через реку. Когда лодка причалила к противоположному берегу, трое пассажиров высадились и успели отойти на такое расстояние, что река скрылась из виду, но тут дочь заметила, что забыла в лодке зонтик. Она вернулась за ним, но негодяи схватили ее, заткнули ей рот кляпом, вывезли на середину реки, учинили над ней зверское насилие и в конце концов высадили на берег примерно там же, где она вошла в лодку со своими родителями. Преступники скрылись, но полиция напала на их след, и кое-кто из них скоро будет арестован».

(«Утренняя газета»[706], 25 июня.)

«Мы получили несколько писем, цель которых — доказать, что виновником недавнего зверского преступления был Менэ[707], но поскольку после официального расследования он был полностью оправдан, а доводы этих наших корреспондентов продиктованы более желанием обнаружить преступника, нежели фактами, мы на считаем возможным опубликовать их».

(«Утренняя газета», 28 июня.)

«Мы получили несколько гневных писем, по-видимому, принадлежащих перу разных лиц, которые дышат уверенностью, что злополучная Мари Роже стала жертвой одной из многочисленных бандитских шаек, которые по воскресеньям наводняют окрестности города. Это предположение полностью соответствует нашему собственному мнению. Несколько позже мы попробуем найти место для некоторых из этих писем на наших страницах».

(«Вечерняя газета»[708]вторник 30 июня.)

«В понедельник один из лодочников, служащих в налоговом управлении, заметил пустую лодку, плывущую вниз по Сене. Паруса лежали свернутыми на дне лодки. Лодочник отбуксировал ее к своей пристани. На следующее утро ее забрали оттуда без ведома местного начальства. Ее руль находится в конторе пристани».

(«Дилижанс»[709], вторник 26 июня.)

Я прочел эти разнообразные выдержки, и они не только показались мне совершенно не связанными между собой, но я не мог вообразить, какое отношение они имели к делу, которым мы занимались. И я стал ждать объяснений Дюпена.

— Пока, — сказал он, — я не намерен останавливаться на первой и второй вырезках. Я дал их вам главным образом для того, чтобы показать всю степень непростительной небрежности нашей полиции, которая, насколько я понял из слов префекта, даже не потрудилась хотя бы навести справки об этом морском офицере. А ведь утверждать, что между первым и вторым исчезновением Мари невозможно хотя бы предположительно усмотреть никакой связи, по меньшей мере глупо. Допустим, что первое бегство из дома закончилось ссорой и обманутая девушка вернулась к матери. Теперь мы готовы рассмотреть второе бегство (если нам известно, что это именно бегство) скорее как свидетельство того, что обманщик возобновил свои ухаживания, чем как результат новых предложений кого-то еще, — нам легче счесть его

возобновлением старого романа после примирения, чем началом нового. Десять шансов против одного, что прежний возлюбленный, однажды уже уговоривший Мари бежать с ним, уговорил ее снова, а не нашелся кто-то другой, кто обратился к ней с таким же предложением. И тут разрешите мне привлечь ваше внимание к тому факту, что время, миновавшее менаду первым, несомненным, бегством, и вторым, предполагаемым, лишь на несколько месяцев превышает обычный срок дальнего плаванья наших военных кораблей. Быть может, соблазнитель в первый раз не сумел привести в исполнение свое низкое намерение, так как должен был уйти в море, и, едва вернувшись, вновь приступил к осуществлению своего незавершенного гнусного плана — во всяком случае, не завершенного им самим? Об этом нам ничего не известно.

Однако вы возразите, что во втором случае бегства с любовником не было. Безусловно так — но возьмемся ли мы утверждать, что оно и не предполагалось? Кроме Сент-Эсташа и, быть может, Бове, у Мари, насколько нам известно, не было признанных поклонников, ухаживавших за ней открыто и с честными намерениями. Ни о ком другом мы не находим никаких упоминаний. Так кто же этот тайный возлюбленный, о котором родственники (во всяком случае, большинство из них) не знают ничего, но с которым Мари встречается утром в воскресенье и которому она так доверяет, что без опасения остается в его обществе до тех пор. пока вечерний сумрак не окутывает пустынные рощи неподалеку от заставы Дюруль? Кто этот тайный возлюбленный, спрашиваю я, о ком, во всяком случае, большинство родственников ничего не знает? И что означает странное пророчество мадам Роже, произнесенное утром в воскресенье после ухода Мари? Это ее «боюсь, я уже больше никогда не увижу Мари»?

Но если мы не можем вообразить, что мадам Роже знала о предполагаемом бегстве, то разве непозволительно будет допустить, что сама девушка такие планы строила? Уходя, она сказала, что идет навестить тетку, и попросила Сент-Эсташа зайти за ней вечером на улицу Дром. На первый взгляд это обстоятельство как будто опровергает мое предположение. Однако поразмыслим. Точно известно, что она с кем-то встретилась и что она отправилась с этим человеком за реку, оказавшись в окрестностях заставы Дюруль в три часа дня, то есть через несколько часов после ухода из дома. Но,

согласившись отправиться туда с этим неизвестным (неважно, ради какой цели, с ведома или без ведома матери), Мари не могла не подумать о том, как она объяснит свой уход, а также об удивлении ее нареченного, Сент-Эсташа, и о подозрениях, которые его охватят, когда, явившись за ней в назначенный час на улицу Дром, он узнает, что она там даже не появлялась, а затем, воротившись в пансион с этой тревожной вестью, не найдет ее и там. Конечно, она не могла пе подумать обо всем этом. Она должна была предвидеть отчаяние Сент-Эсташа и подозрения, которые ее исчезновение вызовет у всех. После такой эскапады ей было бы трудно вернуться домой, но мысль об этом не стала бы ее смущать, если, допустим, она с самого начала не собиралась возвращаться в дом матери.

Мы можем предположить, что она рассуждала примерно так: «Я должна встретиться о таким-то человеком, чтобы бежать о ним — или ради какой-то другой цели, известной мне одной. Надо устроить так, чтобы мне не помешали, надо выиграть время, чтобы избежать погони, а потому я скажу, что собираюсь провести день у тетушки на улице Дром, и попрошу Сент-Эсташа, чтобы он не заходил за мной, пока не стемнеет. Таким образом, до начала вечера мое отсутствие ни у кого не вызовет ни беспокойства, ни подозрений, и я выиграю времени больше, чем любым другим способом. Если я попрошу Сент-Эсташа зайти за мной, когда стемнеет, он раньше туда не явится, но если я не скажу ему ничего, то выиграю времени гораздо меньше, так как меня будут ждать дома в более ранний час и мое отсутствие скорее вызовет тревогу. Если бы я собиралась вернуться — если бы я хотела только прогуляться с тем человеком, — то я не попросила бы Сент-Эсташа зайти за мной, поскольку в этом случае он наверняка узнал бы, что я его обманула, тогда как мне ничего не стоило бы скрыть от него это, если бы я ничего ему не сказала, вернулась бы домой до сумерек, а потом объявила бы, что была в гостях у тетушки на улице Дром. Но раз я вообще не намерена возвращаться — во всяком случае, не ранее чем через несколько недель или же только после принятия некоторых мер предосторожности, — мне следует думать лишь о том, как выиграть побольше времени, и ни о чем другом».

Как вы указываете в своих заметках, с самого начала общее мнение касательно этого печального происшествия склонялось к тому, что Мари Роже стала жертвой шайки хулиганов. Ну, а при

определенных обстоятельствах общее мнение не следует игнорировать. Когда оно возникает само собой — когда оно появляется строго самопроизвольно, — его следует рассматривать как аналогию той интуиции, которой бывают наделены гениальные люди. И в девяноста девяти случаях из ста я соглашусь с ним. Но необходимо твердо знать, что оно никем и ничем не подсказано. Это мнение должно быть строго мнением самого общества, но такое различие часто бывает довольно трудно уловить и объяснить. В данном случае я вижу, что это «общее мнение» о шайке возникло из-за сходного случая, который подробно описан в третьем из моих извлечений. Весь Париж неистовствует из-за того, что найден труп Мари — молодой, красивой девушки, уже привлекавшей к себе внимание публики. На трупе обнаружены следы насилия, и он был вытащен из реки. Но тут же становится известно, что тогда же или примерно тогда же, когда была убита Мари Роже, другая девушка подверглась такому же надругательству, как и покойная, хотя и с менее трагическими последствиями, попав в лапы шайки молодых негодяев. Стоит ли удивляться, что достоверные сведения о возмутительном преступлении подействовали на общественное мнение и в связи о другим преступлением, о котором ничего достоверного пока не известно? Общественное мнение искало виновных, и они были услужливо подсказаны ему обстоятельствами другой драмы! Ведь Мари нашли в реке — в той же самой, на которой разыгралась эта вторая драма. Связь этих двух событий на первый взгляд представляется абсолютно очевидной, и было бы поразительно, если бы публика не заметила этого сходства и не ухватилась за него. Однако в действительности подобное преступление скорее доказывает, что второе, совершенное примерно в то же время, носило совсем иной характер. Если бы оказалось, что пока одна шайка мерзавцев в таком-то месте совершала чрезвычайно редкое по гнусности преступление, еще одна такая же шайка в тех же окрестностях того же города при таких же обстоятельствах, прибегнув к таким же ухищрениям, творила точно такую же гнусность точно в то же время, — это вышло бы за пределы вероятного и могло бы называться чудом! А ведь общественное мнение, сложившееся под воздействием внушения, требует, чтобы мы поверили именно в эту невероятную цепь совпадений.

Прежде чем идти дальше, поговорим о предполагаемом месте убийства — о чаще неподалеку от заставы Дюруль. Эта чаща, хотя и густая, находится возле проезжей дороги. В ее глубине были найдены три-четыре больших камня, сложенные в виде сиденья со спинкой и подножкой. На верхнем камне была найдена белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф. Там же были обнаружены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была метка «Мари Роже». На ветках вокруг висели лоскутки платья. Земля была истоптана, кусты переломаны, и повсюду виднелись признаки отчаянной борьбы.

Какую бы важность ни придавали газеты этим находкам, с каким бы единодушием ни было решено, что место преступления наконец обнаружено, тем не менее есть немало веских причин для сомнения. Я могу верить или не верить, что преступление было совершено именно там, но существуют весьма веские причины для сомнения. Если бы, как предположила «Коммерсьель», преступление совершилось где-то неподалеку от улицы Паве-Сент-Андре, его участники, если они остались в Париже, естественно, пришли бы в ужас оттого, что внимание публики оказалось направленным в верную сторону, и у людей определенного умственного склада немедленно возникло бы стремление что-то предпринять, чтобы отвлечь это внимание. А поскольку чаща у заставы Дюруль уже вызывала некоторые подозрения, это могло подсказать им мысль подбросить вещи девушки в то место, где они и были затем найдены. Вопреки убеждению «Le Soleil» нет никаких реальных доказательств того, что вещи пролежали в чаще более трех-четырех дней, тогда как многие косвенные данные свидетельствуют, что они не могли бы остаться там незамеченными в течение тех двадцати суток, которые протекли между роковым воскресеньем и вечером, когда их обнаружили мальчики. «Под действием дождя, — утверждает „Le Soleil“, повторяя другие газеты, — они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг них выросла трава, а кое-где стебли проросли и сквозь них. Шелк зонтика был толстым, но складки его склеились, а верхняя, сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что, когда ее раскрыли, он весь расползся». Что касается травы, которая «выросла вокруг них», и стеблей, «кое-где проросших и сквозь них», то эти факты могли быть почерпнуты только из рассказа, а следовательно, из впечатлений двух маленьких мальчиков, так как эти мальчики унесли все найденные ими

вещи домой и никто третий в чаще их не видел. Однако в такую теплую и влажную погоду, какая стояла со времени убийства, трава порой вырастает на два-три дюйма в сутки. Зонтик, положенный среди молодой травки, через неделю может быть уже полностью скрыт от взгляда ее вытянувшимися стеблями. Ну а плесень, на которую редактор «Le Soleil» ссылается с таким упорством, что в двух-трех фразах, процитированных мной, он трижды ее упоминает, — неужели этот господин и правда не знает, какова ее природа? Неужели ему надо объяснять, что это одна из разновидностей грибов, а грибам свойственно вырастать и сгнивать на протяжении двадцати четырех часов.

Таким образом, мы сразу видим, что наиболее торжественно преподносимое свидетельство пребывания этих вещей в чаще «не менее трех-четырех недель» абсолютно ничем этого факта не доказывает. С другой стороны, очень трудно поверить, что эти вещи могли пролежать в указанной чаще дольше недели, то есть дольше, чем от одного воскресенья до другого. Людям, знакомым с окрестностями Парижа, хорошо известно, насколько трудно отыскать там укромное местечко — разве только в большом отдалении от предместий. В этих лесках и рощах просто нельзя вообразить не только уединенного уголка, но даже такого, который посещался бы не очень часто. Пусть-ка любитель природы, прикованный своими обязанностями к пыли и жаре этой огромной столицы, пусть-ка такой человек попробует даже в будний день утолить свою жажду одиночества среди окружающих ее прелестных естественных пейзажей. Их очарование ежеминутно будет нарушаться голосом, а то и появлением какого-нибудь бродяги или же веселящейся компании городских оборванцев. И он тщетно будет искать уединения в гуще деревьев и кустов. Именно там собираются неумытые в наибольшем числе, именно эти храмы подвергаются наибольшему поруганию. И с тоской в сердце такой скиталец устремится назад в осквернённый Париж, ибо в этом средоточии скверны она все же менее бросается в глаза. Но если окрестности города столь многолюдны в будние дни, насколько больше переполнены они народом в воскресенье! Именно тогда, освободившись на день от необходимости трудиться или же на тот же срок лишившись возможности совершать обычные преступления, подонки города устремляются за его черту не из любви

к сельской природе, которую они в глубине души презирают, но чтобы освободиться от уз и запретов, налагаемых на них обществом. Их манит не столько чистый воздух и зелень деревьев, сколько отсутствие какого-либо надзора. Где-нибудь в придорожном трактире или под пологом лесной листвы, вдали от чужих глаз, они в компании собутыльников предаются тому, что сходит у них за веселье — дикому разгулу, порождению безнаказанности и спиртных напитков. И повторяя, что в любой чаще под Парижем означенные вещи могли бы пролежать никем не замеченные дольше, чем от воскресенья до воскресенья, только если бы произошло чудо, я утверждаю лишь то, с чем не может не согласиться любой непредубежденный наблюдатель.

К тому же существует достаточно других оснований подозревать, что вещи эти были подброшены в чащу у заставы с целью отвлечь внимание от настоящего места преступления. И в первую очередь я хотел бы, чтобы вы заметили, какого числа были найдены вещи. Сопоставьте это число с числом, которым помечено мое пятое извлечение из газет. Вы обнаружите, что открытие это последовало почти немедленно за сообщением вечерней газеты о полученных ею «гневных письмах». Эти письма, различавшиеся по содержанию и, по-видимому, исходившие от разных лиц, все клонили к одному и тому же, а именно — называли виновниками преступления шайку негодяев и указывали на заставу Дюруль как на место, где оно было совершено. Разумеется, никак нельзя считать, что мальчики отправились в чащу и отыскали там вещи Мари Роже вследствие этих писем и того внимания, которое они к себе привлекли; однако может представляться и представляется вполне вероятным, что мальчики не отыскали этих вещей раньше, так как раньше этих вещей в чаще не было, та. что их оставили там, только когда газета сообщила о письмах (или же незадолго до этого), сами же виновные авторы указанных писем.

Эта чаща — очень своеобразная чаща, весьма и весьма своеобразная. Она чрезвычайно густа. А внутри между стенами кустов находятся необычные камни, образующие сиденье со спинкой и подножкой. И эта-то чаща, такая необычная, находилась совсем рядом, всего в нескольких сотнях шагов, от жилища мадам Дюлюк, чьи сыновья имели обыкновение обшаривать все соседние кусты, собирая кору сасафрасса[710]. Можно ли будет назвать неразумным пари, если я поставлю тысячу франков против одного, что не проходило дня, чтобы

хотя бы один из мальчуганов не забирался в тенистую естественную беседку и не восседал на каменном троне? Те, кто откажутся предложить такое пари, либо никогда сами не были мальчиками, либо забыли свое детство. И я повторяю: почти невозможно понять, как эти вещи могли бы пролежать в чаще больше двух дней и остаться незамеченными; а поэтому есть достаточно оснований заподозрить, что, вопреки дидактичному невежеству «Le Soleil», они были подброшены туда, где их нашли, относительно недавно.

Однако существуют еще более веские основания полагать, что их именно подбросили, — куда более веские, чем все, о чем я упоминал до сих пор. Позвольте мне теперь указать вам на чрезвычайно искусственное расположение вещей. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка, на втором — шелковый шарф, а вокруг были разбросаны зонтик, перчатки и носовой платок с меткой «Мари Роже». Именно такое расположение им, естественно, придал бы не слишком умный человек, желая разбросать эти вещи естественно. На самом же деле это выглядит далеко не естественно. Было бы уместнее, если бы все они валялись на земле и были бы истоптаны. В тесноте этой полянки юбка и шарф едва ли остались бы лежать на камнях, если там шла какая-то борьба — их обязательно смахнули бы на землю. «Земля была утоптана, кусты поломаны — все там свидетельствовало об отчаянной борьбе», — утверждает газета, однако юбка и шарф были аккуратно разложены, словно на полках. «Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно три дюйма, а в длину — шесть. Один оказался куском нижней оборки со штопкой. Они выглядели так, словно были оторваны». Здесь «Le Soleil» случайно употребила весьма подозрительный глагол. Действительно, судя по описанию, эти лоскутки кажутся оторванными — но сознательно, человеческой рукой. Лишь в чрезвычайно редких случаях колючка «отрывает» лоскут от подобной одежды. Эти ткани по самой своей природе таковы, что колючка или гвоздь, запутавшиеся в них, рвут их под прямым углом, образуя две перпендикулярные друг к другу прорехи, сходящиеся там, где колючка вонзилась в ткань, но трудно вообразить «оторванный» таким способом лоскуток. Мне этого видеть не приходилось. Да и вам тоже. Для того, чтобы оторвать лоскуток такой ткани, необходимо почти в любом случае приложить две отдельные силы, действующие в разных направлениях. Если ткань имеет два края

— если, например, вы захотите оторвать полоску от носового платка, — тогда и только тогда достаточно будет приложения одной силы. Но в данном случае речь идет о платье, имеющем один край. Чтобы колючки вырвали лоскут где-то выше, где нет краев, необходимо чудо, а одна колючка вообще этого сделать не может. Но даже и у нижнего края для этого требуется не меньше двух колючек, причем они должны действовать в двух сильно различающихся направлениях. Но и это относится лишь к неподрубленному краю ткани. Если же он подрублен, то опять-таки ничего подобного произойти не может. Итак, мы видим, сколько существует серьезных, почти непреодолимых препятствий к тому, чтобы лоскуток был «вырван» просто «колючками», а нас просят поверить, что было вырвано несколько лоскутков! Причем «один оказался куском нижней оборки»! А второй «был вырван из юбки гораздо выше оборки», то есть колючки не оторвали его от края, а вырвали из внутренней части ткани! Да, человека, отказывающегося поверить в это, вполне можно извинить, но, взятые в целом, эти улики все же дают, пожалуй, меньше основания для подозрения, чем одно-единственное поразительное обстоятельство, а именно — тот факт, что вещи вообще были оставлены среди кустов убийцами, у которых хватило хладнокровия унести труп. Однако вы поймете меня неверно, если предположите, будто моя цель доказать, что преступление не было совершено в этой чаще. Оно могло произойти там, или же, что вероятнее, какая-то несчастная случайность привела к нему под кровлей мадам Дюлюк, но этот факт имеет второстепенное значение. Мы пытаемся установить, не где было совершено убийство, а кто его совершил. Мои рассуждения, несмотря на их обстоятельность, имели только целью, во-первых, показать всю нелепость решительных и опрометчивых выводов «Le Soleil» и, во-вторых, что гораздо важнее, наиболее естественным путем подвести вас к вопросу о том, было ли убийство совершено шайкой или нет.

Мы возобновим рассмотрение этого вопроса, кратко коснувшись отвратительных подробностей, сообщенных полицейским врачом на следствии. Достаточно сказать, что его опубликованное заключение, касающееся числа преступников, вызвало заслуженные насмешки всех видных анатомов Парижа, как неверное и абсолютно безосновательное. Конечно, он не предположил ничего невозможного,

но никаких реальных оснований для такого предположения у него не было. Однако нельзя ли найти достаточных оснований для какого-нибудь другого предположения?

Займемся теперь «следами отчаянной борьбы». Позвольте мне спросить, свидетельством чего были сочтены эти следы? Свидетельством присутствия шайки. Но разве на самом деле они не свидетельствуют совсем об обратном? Какая борьба могла завязаться — какая борьба, настолько яростная и длительная, что она оставила «следы» повсюду, — между слабой беззащитной девушкой и предполагаемой шайкой негодяев? Да они просто схватили бы ее, и все было бы кончено в одно мгновение и без всякого шума. У жертвы не хватило бы сил вырваться из их грубых рук, и она оказалась бы в полной их власти. Но помните одно: доводы против того, что местом преступления является именно эта чаща, в подавляющем большинстве справедливы, только если считать, что преступников было несколько. Если же предположить, что насильник был один, то тогда — и только тогда — можно представить себе такую яростную и упорную борьбу, которая оставила бы пресловутые «следы».

И еще одно. Я уже упомянул, насколько подозрительным представляется тот факт, что вещи вообще были оставлены там, где их нашли. Почти невозможно вообразить, что их случайно забыли в чаще. У преступников достало хладнокровия (так, по крайней мере, считается) унести труп, и тем не менее улики куда более очевидные, чем сам труп (который мог вскоре быть изуродован разложением до неузнаваемости), оставляются на месте преступления — я имею в виду носовой платок с именем и фамилией убитой. Если это произошло случайно, то такая случайность исключает шайку. Она могла произойти, только если преступник был один. Будем рассуждать. Человек совершил убийство. Он стоит один перед трупом своей жертвы. Он испытывает глубокий ужас, глядя на неподвижное тело. Бурная вспышка страстей угасла, и его сердцем овладевает естественный страх перед содеянным. Его не подбадривает присутствие сообщников. Он здесь один с убитой. Он трепещет и не знает, как поступить. Но труп необходимо как-то скрыть. Он тащит мертвое тело к реке и оставляет в чаще другие свидетельства своей вины, так как унести все сразу было бы очень трудно или даже вообще невозможно, но он полагает, что вернуться за остальным будет легко.

Однако, пока он пробирается к реке, его страх удесятеряется. Со всех сторон до него доносятся звуки, свидетельствующие о близости людей. Много раз он слышит — или ему чудится, что он слышит, — шаги непрошеного свидетеля. Даже огни города пугают его. Но вот после долгих, исполненных ужаса остановок он достигает реки и избавляется от своей жуткой ноши — быть может, воспользовавшись для этого лодкой. Но какой страх перед воздаянием может понудить одинокого убийцу вернуться теперь по трудной и опасной тропе в чащу, полную ужасных воспоминаний? Ни за какие сокровища мира он не решится пойти туда еще раз, чем бы это ему ни грозило. Он не мог бы вернуться, даже если бы хотел. Сейчас он думает только об одном: бежать отсюда, бежать как можно скорее. Он навсегда поворачивается спиной к этим страшным кустам и обращается в паническое бегство.

Ну, а если бы там действовала шайка? Их многочисленность придала бы им уверенности — закоренелым негодяям ее вообще не занимать стать. Подобные же шайки составляются именно из закоренелых негодяев. Их многочисленность, повторяю я, избавила бы их от растерянности и слепого ужаса, парализующего рассудок одинокого убийцы, о котором я говорил. Если бы не спохватился первый, второй, даже третий из них, четвертый исправил бы их промах. Они ничего не оставили бы в кустах, потому что легко могли бы унести все сразу. Возвращаться им не было бы нужды.

Теперь вспомните, что из верхней юбки, надетой на трупе, была вырвана от подола к талии «полоса дюймов в двенадцать шириной, но не оторвана совсем, а трижды обернута вокруг талии и закреплена на спине скользящим узлом». Сделано это было несомненно для того, чтобы облегчить переноску трупа. Но зачем нескольким мужчинам могло понадобиться такое приспособление? Троим-четверым было бы проще и удобнее нести тело за руки и за ноги. Такая «ручка» могла понадобиться только человеку, которому предстояло перетаскивать тело одному, а это подводит нас к тому обстоятельству, что «в изгородях, находившихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве указывали, что тут волочили что-то тяжелое». Но неужели несколько мужчин стали бы ломать изгородь, чтобы протащить сквозь нее труп, когда им ничего не стоило бы в одно мгновение перекинуть его через любую ограду? Неужели

несколько мужчин стали бы волочить тело по земле, оставляя следы-улики?

И тут нам следует обратиться к одному из замечаний «Коммерсьель», о котором я уже говорил. «От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в два фута и шириной в фут, и из него была устроена повязка, проходившая под подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками».

Я уже указывал, что бродяги, воры и другие темные личности всегда имеют при себе носовой платок. Но теперь меня интересует другое. Платок, брошенный в чаще, неопровержимо доказывает, что не отсутствие носового платка побудило бы преступника воспользоваться этой повязкой для цеди, которую ему приписала «Коммерсьель»; и предназначалась повязка отнюдь не для того, чтобы «помешать ей кричать» — для этого ведь он располагал гораздо более надежным средством. Однако в протоколе осмотра трупа говорится о полосе муслина, «свободно обвернутой вокруг шеи и завязанной неподвижным узлом». Это — довольно неопределенное описание, но оно существенно отличается от того, что мы находим в «Коммерсьель». Полоса шириной в восемнадцать дюймов, пусть даже муслиновая, представляет собой довольно крепкую веревку, если скрутить ее в продольном направлении. А она была скручена именно так. Я делаю из этого следующий вывод: одинокий убийца протащил труп несколько десятков шагов (в чаще у заставы или в другом месте — значения не имеет), держа его на весу за повязку, закрепленную скользящим узлом на талии жертвы, но обнаружил, что такая ноша слишком тяжела для него. Он решил дальше волочить ее — следы на земле свидетельствуют, что труп именно волочили. Для этого необходимо привязать веревку к шее жертвы или к ее ногам. Шея представляется ему более удобной, так как подбородок не даст веревке соскользнуть. Тут убийца, несомненно, подумал о повязке, уже охватывающей пояс жертвы. Но чтобы воспользоваться ею, надо распутать скользящий узел, размотать ее и оторвать от корсажа. Проще оторвать еще одну такую полосу ткани от нижней юбки. Он отрывает такую полосу, завязывает ее на шее мертвой девушки и волочит свою жертву к реке. Тот факт, что была использована «повязка», которую

можно было изготовить только ценой определенных усилий и задержки, причем она довольно плохо отвечала своему назначению, ясно показывает, что прибегнуть к ней пришлось под давлением каких-то обстоятельств в тот момент, когда носового платка рядом уже не было, то есть, как мы уже предположили, когда убийца выбрался из чащи (если все произошло именно там) и находился на полпути между чащей и рекой.

Однако, скажете вы, показания мадам Дюлюк (!) не оставляют никаких сомнений, что в час, когда было совершено убийство, или примерно в этот час неподалеку от чащи бродила какая-то шайка. Да, конечно. Вполне возможно, что в момент трагедии или примерно в то же время неподалеку от заставы Дюруль шлялось даже полдесятка шаек вроде описанной мадам Дюлюк. Но шайка, привлекшая к себе особое внимание благодаря довольно запоздалым и весьма подозрительным показаниям мадам Дюлюк, — это единственная шайка, которая, по словам этой честной и щепетильной дамы, ела ее пироги и пила ее пиво[711], не побеспокоившись заплатить за них. Et hinc illae irae?[712]

Но что именно показала мадам Дюлюк? «В трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка, вернулись в трактир, когда начинало смеркаться, и переправились на другой берег как будто в большой спешке».

Эта «большая спешка» могла представиться мадам Дюлюк особенно большой потому, что она оплакивала судьбу своих пирогов и пива и, возможно, все еще таила слабую надежду получить причитающиеся ей деньги. Иначе почему она с такой настойчивостью указывала на их «большую спешку», хотя уже начинало смеркаться? Неужели следует удивляться, что даже эта буйная компания спешила вернуться домой? Ведь собиралась гроза, приближалась ночь, а им еще предстояло переправиться через широкую реку в маленьких лодках.

Я говорю — «приближалась ночь», так как еще не стемнело. Ведь неприличная торопливость этих «хулиганов» оскорбила трезвый взор мадам Дюлюк, когда только-только начинало смеркаться. Однако нам сообщают, что в тот же самый вечер мадам Дюлюк и ее старший сын «слышали женские крики неподалеку от трактира». Какими же

словами мадам Дюлюк обозначила тот час вечера, когда раздались эти крики? Она их услышала «после того, как совсем стемнело». Но «совсем стемнело» означает поднято темноту, а «начинало смеркаться» подразумевает дневной свет. Следовательно, шайка покинула окрестности заставы Дюруль до того, как мадам Дюлюк услышала (?) крики. Но, хотя во всех сообщениях о показаниях мадам Дюлюк эти обозначения времени неизменно приводятся именно в тех словах, которые я повторил сейчас в беседе с вами, пока еще ни газеты, ни полицейские агенты не обратили внимания на грубое противоречие, которое в них содержится.

Я приведу еще только один довод против предположения, что в деле замешана шайка, но этот один довод, на мой взгляд, неопровержим. Раз за поимку преступников предложена большая награда и обещано полное прощение тому, кто их выдаст, среди членов такой шайки уж непременно нашелся бы предатель. Каждый член шайки, оказавшись в подобном положении, не столько думает о награде или о возможности избежать кары, сколько опасается предательства со стороны своих сообщников. Он торопится донести на них первым, чтобы другой не успел донести на него. И то, что тайна остается нераскрытой, вернее всего свидетельствует о том, что это — действительно тайна. Подробности этого гнусного преступления известны только одному человеку — или, в крайнем случае, двум людям — и богу.

Теперь подведем итоги скудных, но, во всяком случае, верных выводов из нашего долгого анализа. Он показал нам, что либо в трактире мадам Дюлюк произошел несчастный случай, либо в чаще у заставы Дюруль было совершено убийство, причем совершил его любовник покойной девушки или, во всяком случае, ее близкий и тайный знакомый. Про него мы знаем, что он — «смуглый» молодой человек. Эта смуглота, пресловутый «скользящий узел», а также «морской узел», которым были завязаны ленты шляпки, указывают на моряка. Его отношения с покойной — разбитной, но разборчивой девушкой — позволяют сделать вывод, что он не мог быть простым матросом. Это подтверждается и хорошо написанными гневными письмами, адресованными в газеты. Обстоятельства первого бегства, упомянутые «Меркюри», заставляют связать этого моряка с тем

«морским офицером», который, как известно, один раз уже увлек несчастную девушку на гибельный путь.

И здесь весьма уместно вспомнить о том, что этот смуглый молодой человек до сих пор никак не заявил о себе. Я немного отвлекусь и замечу, что он смугл до черноты — эта смуглость настолько необычна, что и Баланс, и мадам Дюлюк обратили внимание только на нее и никаких других его примет не указали. Но почему этот молодой человек исчез? Может быть, шайка его убила? Но в этом случае почему сохранились только следы убийства девушки? Естественно предположить, что убить их должны были бы в одном и том же месте. И где его труп? Убийцы скорее всего избавились бы от них обоих одинаковым способом. Но можно предположить, что он жив и не хочет обнаружить себя, опасаясь обвинения в убийстве. Такое соображение имеет определенный вес сейчас, на этом позднем этапе, поскольку свидетели видели его с Мари, но в то время, когда произошло убийство, оно не имело никакой силы. Ни в чем не повинный человек поспешил бы сообщить о случившемся и помог бы розыску преступника. Такое поведение было бы самым разумным. Его видели в обществе убитой. Он переехал с ней через реку на открытом пароме. Даже идиот понял бы, что обличение убийц было бы наиболее верным и к тому же единственным способом очистить себя от подозрений. А предположить, что вечером в воскресенье он был и неповинен в совершенном преступлении, и ничего о нем не знал, невозможно. Однако только в этом случае он, если он остался жив, мог бы не объявить об убийстве и не обличить убийц.

А какими средствами мы располагаем, чтобы узнать истину? Мы обнаружим, что средства эти умножаются и становятся все более верными по мере того, как мы будем продвигаться в нужном направлении. Давайте до конца выясним все подробности первого побега. Давайте познакомимся со всеми обстоятельствами жизни этого «офицера», узнаем, где он сейчас и где находился в час убийства. Давайте тщательно сравним все письма, присланные в вечернюю газету с целью обвинить в преступлении шайку. Затем сравним эти письма — их стиль и почерк.

Когда я описывал, как убийца один волок свою жертву к реке, я уже упоминал, что затем он, возможно, воспользовался лодкой. Теперь мы можем считать, что тело Мари Роже действительно было брошено

в реку с лодки. Произойти иначе это не могло. Кто рискнул бы оставить труп на мелководье у берега? Странные рубцы на спине и плечах жертвы заставляют вспомнить о шпангоутах на дне лодки. Подтверждается это предположение еще и тем, что труп был брошен в воду без груза. Если бы его бросали в воду с берега, к нему обязательно привязали бы груз. Такой недосмотр убийцы мы можем объяснить, только предположив, что второпях он забыл захватить с собой в лодку что-нибудь подходящее. Когда он выбрасывал тело за борт, то, конечно, обнаружил свой недосмотр, но уже не мог его исправить. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы не возвращаться к этому проклятому берегу. Избавившись от своего жуткого балласта, убийца, без сомнения, поспешил к городу. Там он выпрыгнул на какую-нибудь темную пристань. Но лодка? Привязал ли он ее? Нет, он слишком торопился, чтобы тратить время на привязывание лодки. Кроме того, он почувствовал бы, что, привязывая ее к пристани, тем самым оставляет там страшную улику против себя. Ему, естественно, хотелось избавиться от всего, что было связано с его преступлением. Он не только сам бежал без оглядки от этой пристани, но никак не мог оставить там лодку. Конечно же, он пустил ее плыть по течению. Последуем и дальше за игрой нашего воображения. Утром негодяй с ужасом узнает, что лодку поймали и отвели туда, где он имеет обыкновение бывать чуть ли не ежедневно, туда, где он, возможно, обязан бывать по долгу службы. В эту же ночь, не посмев взять из конторы руль, он забирает лодку. Итак, где теперь находится эта лодка, лишенная руля? Вот что нам надо узнать прежде всего. Первые сведения о ней будут нашим первым шагом к верному успеху. Эта лодка с быстротой, которая удивит даже нас самих, приведет нас к тому, кто плыл на ней в полночь этого рокового воскресенья. Одно подтверждение последует за другим, и убийца будет обнаружен.

(По причинам, которые мы не будем называть, но которые многие наши читатели поймут без всяких объяснений, мы взяли на себя смелость изъять из врученной нам рукописи подробности того, как были использованы немногочисленные улики, обнаруженные Дюпеном. Мы считаем необходимым лишь вкратце сообщить, что цель была достигнута и что префект добросовестно, хотя е с большой неохотой, выполнил условия своего договора с шевалье. Статья мистера По завершается следующим образом. — Ред.[713])

Само собой разумеется, что я говорю тут только о совпадениях, и ни о чем другом. Того, что я сказал об этом выше, должно быть достаточно. В моем собственном сердце нет веры в сверхъестественное. Ни один мыслящий человек не станет отрицать двоицы — Природы и ее Бога. Бесспорно и то, что последний, творя первую, может по своей воле управлять ею и изменять ее. Я говорю — «по своей воле», ибо речь здесь идет о воле, а не о власти, как это предполагает безумие логики. Конечно, Всевышний может менять свои законы, но мы оскорбляем его, выдумывая необходимость такого изменения. Эти законы с самого начала были созданы так, чтобы обнять любые возможности, какие только таило в себе будущее. Для Бога все — только теперь.

И я повторяю, что рассматриваю все, о чем здесь шла речь, только как совпадения. И далее: вдумываясь в мой рассказ, нетрудно усмотреть, что между судьбой злополучной Мэри Сесилии Роджерс — насколько эта судьба известна — и историей некой Мари Роже вплоть до определенного момента существует параллелизм, поразительная точность которого приводит в смущение рассудок. Да, усмотреть это нетрудно. Но не следует полагать, будто я продолжил грустную историю Мари после упомянутого выше момента и проследил весь путь раскрытия тайны ее смерти с задней мыслью, желая намекнуть на дальнейшие совпадения или даже давая понять, что меры, принятые в Париже для обнаружения убийцы хорошенькой гризетки, или меры, опирающиеся на сходный анализ, привели бы и здесь к таким же результатам.

Ведь следует помнить, что при таком ходе рассуждений даже самое крохотное различие в фактах того и другого случая могло бы привести к колоссальному просчету, потому что тут обе цепи событий начали бы расходиться. Точно так же в арифметике ошибка, сама по себе ничтожнейшая, в ходе вычислений после ряда умножений может дать результат, чрезвычайно далекий от истинного. К тому же не следует забывать, что та самая теория вероятности, на которую я ссылался, налагает запрет на всякую мысль о продолжении такого параллелизма — налагает с решительностью, находящейся в прямой зависимости от длительности и точности уже установленного параллелизма. Это одна из тех аномалий, которые, хотя и чаруют умы, далекие от математики, тем не менее полностью постижимы только

для математиков. Например, обычного читателя почти невозможно убедить, что при игре в кости двукратное выпадение шестерки делает почти невероятным выпадение ее в третий раз и дает все основания поставить против этого любую сумму. Заурядный интеллект не может этого воспринять, он не может усмотреть, каким образом два броска, принадлежащие уже прошлому, могут повлиять на бросок, существующий еще пока только в будущем. Возможность выпадения шестерки кажется точно такой же, как и в любом случае — то есть зависящей только от того, как именно будет брошена кость. И это представляется настолько очевидным, что всякое возражение обычно встречается насмешливой улыбкой, а отнюдь не выслушивается с почтительным вниманием. Суть скрытой тут ошибки — грубейшей ошибки — я не могу объяснить в пределах места, предоставленного мне здесь, а людям, искушенным в философии, никакого объяснения и не потребуется. Тут достаточно будет сказать, что она принадлежит к бесконечному ряду ошибок, которые возникают на пути Разума из-за его склонности искать истины в частностях.

Ноябрь, 1842 — Февраль, 1843

пер. И. Гуровой

Низвержение в Мальстрем[601]

Пути Господни в Природе и в Промысле его не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца[602].

Джозеф Гленвилл[603]

Мы наконец взобрались на вершину самого высокого отрога. Несколько минут старик, по-видимому, был не в силах говорить от изнеможения.

— Еще не так давно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой тропе с такой же легкостью, как мой младший сын; но без малого три года тому назад со мной случилось происшествие, какого еще никогда не выпадало на долю смертного, и, уж во всяком случае, я думаю, нет на земле человека, который, пройдя через такое испытание, остался бы жив и мог рассказать о нем. Шесть часов пережитого мною смертельного ужаса сломили мой дух и мои силы. Вы думаете, я глубокий старик, но вы ошибаетесь. Меньше чем за один день мои волосы, черные как смоль, стали совсем седыми, тело мое ослабло и нервы до того расшатались, что я дрожу от малейшего усилия и пугаюсь тени. Вы знаете, стоит мне только поглядеть вниз с этого маленького утеса, и у меня сейчас же начинает кружиться голова.

«Маленький утес», на краю которого он так непринужденно разлегся, что большая часть его тела оказалась на весу и удерживалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, — этот маленький утес поднимался над пропастью, прямой, отвесной глянцевито-черной каменной глыбой футов на полтораста выше гряды скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Признаюсь, что рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что

я бросился ничком на землю и, уцепившись за торчавший около меня кустарник, не решался даже поднять глаза. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба может вот-вот обрушиться от бешеного натиска ветра. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось несколько овладеть собой и я обрел в себе мужество приподняться, сесть и оглядеться кругом.

— Будет вам чудить, — сказал мой проводник, — ведь я вас только затем и привел сюда, чтобы показать место того происшествия, о котором я говорил, потому что, если вы хотите послушать эту историю, надо, чтобы вся картина была у вас перед глазами.

— Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же неизменной обстоятельностью, коей отличался во всем, — над самым побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофодена[604]. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка немножко повыше — держитесь за траву, если у вас кружится голова, вот так, — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов под нами, в море.

Я посмотрел, и у меня потемнело в глазах: я увидел широкую гладь океана такого густого черного цвета, что мне невольно припомнилось Mare Tenebrarum[605] в описании нубийского географа[606]. Нельзя даже и вообразить себе более безотрадное, более мрачное зрелище. Направо и налево, далеко, насколько мог охватить глаз, тянулись гряды отвесных чудовищно черных нависших скал, словно заслоны мира. Их зловещая чернота казалась еще чернее из-за бурунов, которые, высоко вздыбливая свои белые страшные гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом и воем. Прямо против мыса, на вершине которого мы находились, в пяти-шести милях от берега, виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, что вы угадывали этот островок по яростному клокотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две поближе к берегу виднелся другой островок, поменьше, чудовищно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон выступающими там и сям темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела какой-то необычайный вид. Несмотря на то что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, двигавшееся

вдалеке под глухо зарифленным триселем, то и дело пропадало из глаз, зарываясь всем корпусом в волны, все же это была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у самых скал.

— Вот тот дальний островок, — продолжал старик, — зовется у норвежцев Вург. Этот, поближе, — Моске. Там, на милю к северу, — Амбаарен. Это Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм. Туда подальше, между Моске и Бургом, — Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Вот вам точные названия этих местечек, но зачем их, в сущности, понадобилось как-то называть, этого ни вам, ни мне уразуметь не дано. Вы слышите что-нибудь? Не замечаете вы никакой перемены в воде?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофодена, так что мы только тогда увидели море, когда оно внезапно открылось перед нами о утеса. Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, «сечка», стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут вез море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом. Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела) бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.

Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать

очагом нового, более обширного. Неожиданно — совсем неожиданно — он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; по ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем — не то воплем, не то ревом, — какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.

Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

— Это, конечно, и есть, — прошептал я, обращаясь к старику, — великий водоворот Мальстрем?

— Так его иногда называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, называем его Москестрем — по имени острова Моске, вон там, посредине.

Обычные описания этого водоворота отнюдь не подготовили меня к тому, что я теперь видел. Описание Ионаса Рамуса[607], пожалуй, самое подробное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни о том непостижимо захватывающем ощущении необычности, которое потрясает зрителя. Мне не совсем ясно, откуда наблюдал автор это явление и в какое время, — во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести ради кое-каких подробностей, но язык его так беден, что совершенно не передает впечатления от этого страшного котла.

«Между Лофоденом и Моске, — говорит он, — глубина океана доходит до тридцати шести — сорока морских саженей; но по другую сторону, к Вургу, она настолько уменьшается, что здесь нет сколько-нибудь безопасного прохода для судов и они всегда рискуют разбиться о камни даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофоденом и Моске бурно устремляется к берегу, по оглушительный гул, с которым оно во время отлива несется обратно в море, едва ли может сравниться даже с шумом самых мощных

водопадов. Гул этот слышен за несколько десятков километров, а глубина и размеры образующихся здесь ям или воронок таковы, что судно, попадающее в сферу их притяжения, неминуемо захватывается водоворотом, идет ко дну и там разбивается о камни; когда море утихает, обломки выносит на поверхность. Но это затишье наступает только в промежутке между приливом и отливом в спокойную погоду и продолжается всего четверть часа, после чего волнение снова постепенно нарастает. Когда течение бушует и ярость его еще усиливается штормом, опасно приближаться к этому месту на расстояние норвежской мили[608]. Шхуны, яхты, корабли, вовремя не заметившие опасности, погибают в пучине. Часто случается, что киты, очутившиеся слишком близко к этому котлу, становятся жертвой яростного водоворота; и невозможно описать их неистовое мычание и рев, когда они тщетно пытаются выплыть. Однажды медведя, который плыл от Лофодена к Моске, затянуло в воронку, и он так ревел, что рев его был слышен на берегу. Громадные стволы сосен и елей, поглощенные течением, выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепа на них торчит как щетина. Это несомненно указывает па то, что дно здесь покрыто острыми рифами, о которые и разбивается все, что попадает в крутящийся поток. Водоворот этот возникает в связи с приливом и отливом, которые чередуются каждые шесть часов. В 1645 году, рано утром в вербное воскресенье[609], он бушевал с такой силой, что от домов, стоящих на берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины, я не представляю себе, каким образом можно было определить ее в непосредственной близости к воронке. «Сорок саженей» указывают, по-видимому, на глубину прохода возле берегов Моске или Лофодена. Глубина в середине течения Москестрема, конечно, неизмеримо больше. И для этого не требуется никаких доказательств: достаточно бросить хотя бы один беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена. Глядя с этого утеса на ревущий внизу Флегетон[610], я не мог не улыбнуться тому простодушию, с каким почтенный Ионас Рамус рассказывает, как о чем-то малоправдоподобном, о случаях с китами и медведями, ибо мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения, мог бы противиться ему не больше, чем перышко урагану, и был бы мгновенно поглощен водоворотом.

Попытки объяснить это явление казались мне, насколько я их помню, довольно убедительными. Но теперь я воспринял их совсем по-другому, и они отнюдь не удовлетворяли меня. По общему признанию, этот водоворот, так же как и три других небольших водоворота между островами Фере, обязан своим происхождением не чему иному, как столкновению волн, которые, во время прилива и отлива сдавленные между грядами скал и рифов, яростно взметаются вверх и обрушиваются с неистовой силой; таким образом, чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого является воронка, или водоворот, удивительная способность всасывания коего достаточно изучена на менее грандиозных примерах. Вот что говорится по этому поводу в Британской энциклопедии. Кирхер[611] и другие считают, что в середине Мальстрема имеется бездонная пропасть, которая выходит по ту сторону земного шара, в каком-нибудь очень отдаленном месте, например, в Ботническом заливе, как утверждают. Это само по себе нелепое утверждение сейчас, когда вся картина была у меня перед глазами, казалась мне вполне правдоподобным, но когда я обмолвился об этом моему проводнику, я с удивлением услышал от него, что, хотя почти все норвежцы и придерживаются этого мнения, он сам не разделяет его. Что же касается приведенного выше объяснения, он просто сознался, что не в состоянии этого понять; и я согласился с ним, потому что, как оно ни убедительно на бумаге, здесь, перед этой ревущей пучиной, оно кажется невразумительным и даже нелепым.

— Ну, вы достаточно нагляделись на водоворот, — сказал старик, — так вот теперь, если вы осторожно обогнете утес и сядете здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая убедит вас, что я-то кое-что знаю о Москестреме…

Я примостился там, где он мне посоветовал, и он приступил к рассказу:

— Я и двое моих братьев владели когда-то сообща хорошо оснащенным парусным судном, тонн этак на семьсот, и на этом паруснике мы обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время бурных приливов в море всегда бывает хороший улов, надо только выбрать подходящую минуту и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить ее; однако изо всех

лофоденских рыбаков только мы трое ходили промышлять к островам. Обычно лов рыбы производится значительно ниже к югу, где можно безо всякого риска рыбачить в любое время, поэтому все и предпочитают охотиться там. Но здесь, среди скал, были кое-какие местечки, где мало того что водилась разная редкая рыба, но и улов был много богаче, так что нам иногда удавалось за один день наловить столько, сколько люди более робкого десятка не добывали и за неделю. Словом, это было своего рода отчаянное предприятие: вместо того чтобы вкладывать в него труд, мы рисковали головой, отвага заменяла нам капитал.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте, примерно миль на пять выше отсюда по побережью, и обычно в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длилось четверть часа, мы пересекали главное течение Мальстрема, намного выше водоворота, и бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так бушует прибой. Мы оставались здесь, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, возвращались домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда (такого, за который можно было поручиться, что он не стихнет до нашего возвращения), и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только два раза вынуждены были простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явление поистине редкое в здешних местах; а однажды нам пришлось целую неделю задержаться на промысле, и мы чуть не подохли с голоду, потому что едва только мы прибыли па лов, как поднялся шторм, и нечего было даже и думать о том, чтобы пересечь разбушевавшееся течение. Нас бы, конечно, все равно унесло в море, потому что шхуну так швыряло и крутило, что якорь запутался и волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из перекрестных течений — их много здесь, нынче оно тут, а завтра нет, — и оно прибило нас к острову Флимен, где нам удалось стать на якорь.

Я не могу описать и двадцатую долю тех затруднений, с которыми нам приходилось сталкиваться на промысле (скверное это место, даже и в тихую погоду). Однако мы ухитрялись всегда благополучно миновать страшную пропасть Москестрема, хотя, признаюсь, у меня иной раз душа уходила в пятки, когда нам случалось очутиться в его водах на какую-нибудь минуту раньше или позже затишья. Бывало, что ветер оказывался слабее, чем нам казалось, когда мы выходили на лов,

и наш парусник двигался не так быстро, как нам хотелось, а управлять им мешало течение. У моего старшего брата был сын восемнадцати лет, и у меня тоже было двое здоровых молодцов. Они, разумеется, были бы нам большой подмогой в таких случаях-и на веслах, да и во время лова, — но, хотя сами мы всякий раз шли на риск, у нас не хватало духу подвергать опасности жизнь наших детей, потому что, сказать правду, это была смертельная опасность.

Через несколько дней исполнится три года с тех пор, как произошло то, о чем я вам хочу рассказать. Это случилось десятого июля тысяча восемьсот… года. Жители здешних мест никогда не забудут этого дня, ибо такого страшного урагана, какой свирепствовал в тот день, еще никогда не посылали небеса. Однако все утро н после полудня дул мягкий устойчивый юго-западный ветер и солнце светило ярко, так что самый что ни на есть старожил из рыбаков не мог предугадать того, что случилось.

Около двух часов пополудни мы втроем — два моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили нашу шхуну превосходной рыбой, которая в этот день, как мы все заметили, шла в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по моим часам, когда мы снялись с якоря и пустились в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение Стрема в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно было наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, который нас подгонял с штирборта, и некоторое время быстро двигались вперед, не думая ни о какой опасности, потому что и в самом деле не видели никаких причин для опасений. Вдруг ни с того ни с сего навстречу нам подул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совсем необычное, никогда такого не бывало, и мне, сам не знаю почему, стало как-то не по себе. Мы поставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения, и я уже собирался было предложить братьям повернуть обратно и стать на якорь, но в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом нависла какая-то необыкновенная, совершенно медная туча, которая росла с невероятной быстротой. Между тем налетевший на нас спереди ветер утих, наступил мертвый штиль, и нас только мотало во все стороны течением. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это значило. Не прошло и минуты, как на нас налетел шторм, еще

минута — небо заволокло, море вспенилось, и внезапно наступил такой мрак, что мы перестали видеть друг друга. Бессмысленно и пытаться описать этот ураган. Ни один из самых старых норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас налетел шквал, но при первом же порыве ветра обе наши мачты рухнули за борт, будто их спилили, и грот-мачта увлекла за собой моего младшего брата, который привязал себя к ней из предосторожности.

Наше судно отличалось необыкновенной легкостью, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба у него была сплошного настила, с одним только небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали, перед тем как переправляться через Стрем, чтобы нас не захлестнуло «сечкой». И если бы не эта предосторожность, то мы сразу пошли бы ко дну, потому что на несколько секунд совершенно зарылись в воду.

Каким образом мой старший брат избежал гибели, я не могу сказать, мне не пришлось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок, бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир[612], уцепился что было сил за рымболт[613] у основания фок-мачты. Конечно, я это сделал совершенно инстинктивно, и это лучшее, что я мог сделать, потому что в ту минуту я не был способен думать.

На несколько секунд, как я уже вам говорил, нас совершенно затопило, и я лежал не дыша, цепляясь обеими руками за рым. Когда я почувствовал, что силы изменяют мне, я приподнялся на колени, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось, точь-в-точь как пес, выскочивший из воды, и, извернувшись, вынырнуло из волн. Я был точно в столбняке, но изо всех сил старался овладеть собой и сообразить, что мне делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Оказалось, это мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что я ведь уже был уверен, что его смыло за борт. Но радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, выкрикнул одно слово: «Москестрем!»

Нельзя передать, что почувствовал я в эту минуту. Я затрясся с головы до ног, точно в каком-то страшном лихорадочном ознобе. Я хорошо понял, что означало в его устах это одно-единственное слово.

Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту Стрема, и ничто не могло нас спасти.

Вы понимаете, что обычно, пересекая течение Стрема, мы всегда старались держаться как можно выше, подальше от водоворота, даже в самую тихую погоду, и при этом зорко следили за началом затишья, а теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане. «Но ведь мы, наверно, попадем туда в самое затишье, — подумал я. — Есть еще маленькая надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться.

К этому времени первый бешеный натиск шторма утих, или, может быть, мы не так ощущали его, потому что ветер дул нам в корму, но зато волны, которые сперва ложились низко, прибитые ветром, и только пенились, теперь вздыбились и превратились в целые горы… В небе также произошла какая-то странная перемена. Кругом со всех сторон оно было черное, как деготь, и вдруг прямо у нас над головой прорвалось круглое оконце, и в этом внезапном просвете чистой, ясной, глубокой синевы засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда в жизни не видывал. Она озарила все кругом, и все выступило с необыкновенной отчетливостью — но боже, какое зрелище осветила она своим сиянием!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но, непонятно почему, шум до такой степени усилился, что, как я ни старался, он не мог расслышать ни одного слова, несмотря на то, что я изо всех сил кричал ему прямо в ухо. Вдруг он покачал головой и, бледный как смерть, поднял палец, словно желая сказать: «Слушай!»

Сперва я не мог понять, на что он хочет обратить мое внимание, но тотчас же у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их на свет и поглядел на циферблат. Они остановились в семь часов! Мы пропустили время затишья, и водоворот Стрема сейчас бушевал вовсю.

Если судно сбито прочно, хорошо оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны всегда словно выскальзывают из-под него; людям, непривычным к морю, это кажется странным, а у нас на морском языке это называется «оседлать волны».

Так вот, до сих пор мы очень благополучно «держались в седле», как вдруг огромная волна подхватила нас прямо под корму и, взметнувшись, потащила вверх, выше, выше, словно в самое небо. Я

бы никогда не поверил, что волна может так высоко подняться. А потом, крутясь и скользя, мы стремглав полетели вниз, так что у меня захватило дух и потемнело в глазах, будто я падал во сне с высокой-высокой горы. Но, пока мы еще были наверху, я успел бросить взгляд по сторонам, и одного этого взгляда было достаточно. Я тотчас же понял, где мы находимся. Водоворот Москестрема лежал прямо перед нами, на расстоянии всего четверти мили, но он был так непохож на обычный Москестрем, как вот этот водоворот, который вы видите, на мельничный ручей. Если бы я еще раньше не догадался, где мы и к чему мы должны быть готовы, я бы не узнал этого места. И я невольно закрыл глаза от ужаса. Веки мои судорожно сомкнулись сами собой.

Прошло не больше двух-трех минут, как вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдает пеной. Судно круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный грохот волн совершенно потонул в каком-то пронзительном вое, — представьте себе несколько тысяч пароходов, которые все сразу вместе гудят, выпуская пары. Мы очутились теперь в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну, которую мы только смутно различали, потому что кружили над ней с невероятной быстротой. Шхуна паша как будто совсем не погружалась в воду, а скользила, как пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева громоздился необъятный, покинутый нами океан. Он высился подобно огромной стене, которая судорожно вздыбливалась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы уже очутились в самой пасти водяной бездны, я был спокойнее, чем тогда, когда мы еще только приближались к ней. Сказав себе, что надеяться не на что, я почти избавился от того страха, который так парализовал меня вначале. Должно быть, отчаяние взвинтило мои нервы.

Можно подумать, что я хвастаюсь, но я вам говорю правду: мне представлялось, как это должно быть величественно — погибнуть такой смертью и как безрассудно перед столь чудесным проявлением всемогущества божьего думать о таком пустяке, как моя собственная жизнь. Мне кажется, я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль мелькнула у меня в голове. Спустя некоторое время мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело чувство жгучего

любопытства. Меня положительно тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что для этого стоит пожертвовать жизнью. Я только очень сожалел о том, что никогда уже не смогу рассказать старым товарищам, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые увижу. Конечно, это странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; я потом часто думал, что, может быть, это бесконечное кружение над бездной несколько помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой: это отсутствие ветра, теперь не достигавшего нас. Как вы сами видели, полоса пены находится значительно ниже уровня океана — он громоздился над нами высокой, черной, необозримой стеной. Если вам никогда не случалось быть на море во время сильного шторма, вы не в состоянии даже представить себе, до какого исступления может довести ветер и хлестанье волн. Они слепят, оглушают, не дают вздохнуть, лишают вас всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были почти избавлены от этих неприятностей, — так осужденный на смерть преступник пользуется в тюрьме некоторыми маленькими льготами, которых оп был лишен, когда участь его еще не была решена.

Сколько раз совершили мы круг по краю водоворота, сказать невозможно. Нас кружило, может быть, около часа; мы не плыли, а словно летели, содвигаясь все больше к середине пояса, потом все ближе и блинке к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук рыма. Мой старший брат лежал на корме, ухватившись за большой пустой бочонок, принайтованный к корме; это была единственная вещь на палубе, которую не снесло за борт налетевшим ураганом. Но вот, когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат вдруг выпустил из рук бочонок и, бросившись к рыму, вне себя от ужаса, пытался оторвать от него мои руки, так как вдвоем за него уцепиться было нельзя. Никогда в жизни не испытывал я такого огорчения, как от этого его поступка, хотя я и понимал, что у него, должно быть, отшибло разум, что он совсем помешался от страха. У меня и в мыслях не было вступать с ним в борьбу. Я знал, что никому из нас не поможет, будем мы за что-нибудь держаться или нет. Я уступил ему кольцо и перебрался на корму к бочонку. Сделать это не представляло большого труда, потому что шхуна наша в своем вращении держалась довольно устойчиво, не кренилась на борт и

только покачивалась взад и вперед от гигантских рывков и содроганий водоворота. Едва я успел примоститься на новом месте, как вдруг мы резко опрокинулись на правый борт и стремглав понеслись в бездну. Я поспешно прошептал молитву и решил, что все кончено.

Во время этого головокружительного падения я инстинктивно вцепился изо всех сил в бочонок и закрыл глаза. В течение нескольких секунд я не решался их открыть; я ждал, что вот-вот мы погибнем, и не понимал, почему я еще не вступил в смертельную схватку с потоком. Но секунды проходили одна за другой — я был жив. Я перестал чувствовать, что мы летим вниз; шхуна, казалось, двигалась совершенно так же, как и раньше, когда она была в полосе пены, с той только разницей, что теперь она как будто глубже сидела в воде. Я собрался с духом, открыл глаза и бросил взгляд сначала в одну, потом в другую сторону.

Никогда не забуду я ощущения благоговейного трепета, ужаса и восторга, охвативших меня. Шхуна, казалось, повисла, задержанная какой-то волшебной силой, на половине своего пути в бездну, на внутренней поверхности огромной круглой воронки невероятной глубины; ее совершенно гладкие стены можно было бы принять за черное дерево, если бы они не вращались с головокружительной быстротой и не отбрасывали от себя мерцающее, призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь, в самые недра пропасти.

Сначала я был так ошеломлен, что не мог ничего разглядеть. Внезапно открывшееся мне грозное величие — вот все, что я видел. Когда я немножко пришел в себя, взгляд мой невольно устремился вниз. В этом направлении для глаза не было никаких преград, ибо шхуна висела на наклонной поверхности воронки. Она держалась совершенно ровно, иначе говоря — палуба ее представляла собой плоскость, параллельную плоскости воды, но эта последняя круто опускалась, образуя угол больше сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я не мог не заметить, что и при таком положении я почти без труда сохранял равновесие; должно быть, это объяснялось скоростью нашего вращения.

Лунные лучи, казалось, ощупывали самое дно пучины; но я по-прежнему не мог ничего различить, так как все было окутано густым туманом, а над ним висела сверкающая радуга, подобная тому узкому,

колеблющемуся мосту, который, по словам мусульман, является единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникал, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они все сразу сшибались на дне; но вопль, который поднимался из этого тумана и летел к небесам, я не берусь описать.

Когда мы оторвались от верхнего пояса пены и очутились в бездне, нас сразу увлекло на очень большую глубину, но после этого мы спускались отнюдь не равномерно. Мы носились кругами, но не ровным, плавным движением, а стремительными рывками и толчками, которые то швыряли нас всего на какую-нибудь сотню футов, то заставляли лететь так, что мы сразу описывали чуть не полный круг. И с каждым оборотом мы опускались ниже, медленно, но очень заметно.

Озираясь кругом и вглядываясь в огромную черную пропасть, по стенам которой мы кружились, я заметил, что наше судно было не единственной добычей, захваченной пастью водоворота.

Над нами и ниже нас виднелись обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов — разная домашняя утварь, разломанные ящики, доски, бочонки. Я уже говорил о том неестественном любопытстве, которое овладело мною, вытеснив первоначальное чувство безумного страха. Оно как будто все сильней разгоралось во мне, по мере того как я все ближе и ближе подвигался к страшному концу. Я с необычайным интересом разглядывал теперь все эти предметы, кружившиеся вместе с нами. Быть может, я был в бреду, потому что мне даже доставляло удовольствие загадывать, какой из этих предметов скорее умчится в клокочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас непременно сделает роковой прыжок, нырнет и исчезнет, — и я был очень разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил ее и нырнул первым. Наконец, после того как я несколько раз загадывал и всякий раз ошибался, самый этот факт — неизменной ошибочности моих догадок — натолкнул меня на мысль, от которой я снова весь задрожал с головы до ног, а сердце мое снова неистово заколотилось.

Но причиной этому был не страх, а смутное предчувствие надежды. Надежда эта была вызвана к жизни некоторыми воспоминаниями и в то же время моими теперешними наблюдениями. Я припомнил весь тот разнообразный хлам, которым усеян берег Лофодена, все, что когда-то было поглощено Москестремом и потом

выброшено им обратно. Большей частью это были совершенно изуродованные обломки, истерзанные и искромсанные до такой степени, что щепа на них стояла торчком, но среди этого хлама иногда попадались предметы, которые совсем не были изуродованы. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме того, что из всех этих предметов только те, что превратились в обломки, были увлечены на дно, другие же — потому ли, что они много позже попали в водоворот, или по какой-то иной причине — опускались очень медленно и не успевали достичь дна, так как наступал прилив или отлив. Я готов был допустить, что и в том и в другом случае они могли быть вынесены на поверхность океана, не подвергшись участи тех предметов, которые были втянуты раньше или почему-то затонули скорее. При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: как общее правило, чем больше были предметы, тем скорее они опускались; второе: если из двух тел одинакового объема одно было сферическим, а другое какой-нибудь иной формы, сферическое опускалось быстрее; третье: если из двух тел одинаковой величины одно было цилиндрическим, а другое любой иной формы, цилиндрическое погружалось медленнее. После того как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов — «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось, в сущности, естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы, и почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тело, обладающее любой иной формой[614].

Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения, оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения: каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею или обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня.

Я больше не колебался. Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за который я держался, отрезать найтов,

прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но — так это было или нет — он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Дотянуться до него было невозможно; каждая секунда промедления грозила гибелью. Итак, я скрепя сердце предоставил брата его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой бочонок был принайтован к корме, и не задумываясь бросился в пучину.

Результат оказался в точности таким, как я и надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час или немногим больше, после того как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего милого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул, когда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось. Туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься. Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москестрема. Это было время затишья, но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение Стрема подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого ужаса. Меня подобрали мои старые приятели и товарищи, но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом

рассказал им всю эту историю, но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам, но я сильно сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем беспечные лофоденские рыбаки.

Апрель, 1841

пер. М. Богословской

Остров феи

Nullus enim locus sine genio est.

Serviius[615]

La musique, — пишет Мармонтель[616] в тех «Contes Moraux»[617], которым во всех наших переводах упорно дают заглавие «Нравственные повести», как бы в насмешку над их истинным содержанием, — la musique est le seui des talents qui joiissent de lui — meme; tous les autres veulent des temoins [618]. Здесь он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их творить. Талант музыкальный, не более всякого другого, в силах доставлять наслаждение в отсутствие второго лица, способного оценить упражнения в нем. И то, что он создает эффекты, коими вполне можно наслаждаться в одиночестве, лишь роднит его с другими талантами. Идея, которую писатель не то не сумел ясно выразить, не то принес в жертву присущей его нации любви к острой фразе, — несомненно, вполне разумная идея о том, что музыку самого высокого рода наилучшим образом можно оценить, когда мы совсем одни. С положением, выраженным таким образом, немедленно согласится всякий, кто любит музыку и ради ее самой, и ради ее духовного воздействия. Но есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду человеческому, — и, быть может, единственное, — которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею счастье, испытываемое от созерцания природы. Воистину человек, желающий узреть славу божию на земле, должен узреть ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь — не только человеческая, но в любом виде, кроме жизни безгласных зеленых существ, произрастающих из земли, — портит пейзаж и враждует с духом — покровителем местности. Говоря по правде, я люблю рассматривать темные долины, серые скалы, тихо улыбающиеся воды, леса, что вздыхают в непокойной дремоте, и горделивые, зоркие горы, на все взирающие свысока, — я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного

ощущениями и душою, — целого, чья форма (сферическая) наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает в семье планет; чья робкая прислужница — луна; чей покорный богу властелин — солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — о некоем божестве; чье наслаждение — в познании; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас подобно нашему представлению об animalculae[619], кишащих у нас в мозгу, — вследствие чего существо это представляется нам сугубо материальным и неодушевленным, подобно тому как. наверное, мы представляемся этим animalculae.

Наши телескопы и математические исследования постоянно убеждают нас — невзирая на нужные рацеи наиболее невежественной части духовенства, — что пространство и, следственно, объем имеют важное значение для Всевышнего. Звезды движутся по циклам, наиболее годным для вращения наибольшего количества тел без их столкновения. Тела эти имеют в точности такую форму, дабы вместить наивозможно большее количество материи в пределах данной поверхности; а сама поверхность расположена таким образом, дабы разместить на ней большее количество насельников, нежели на той же самой поверхности, расположенной иначе. И бесконечность пространства — не довод против мысли о том, что бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы ясно видим, что наделение материи жизненною силою является принципом, и, насколько мы можем судить, ведущим принципом в деяниях божества, то вряд ли будет логичным предполагать, будто принцип этот ограничивается пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявление, и не распространяется на великое.

Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но все имеющие некий единый отдаленный центр коловращения — божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в жизнях, меньших в больших, и все в пределах божественного духа? Коротко говоря, мы в своей самонадеянности заблуждаемся до безумия, когда предполагаем, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во вселенной больше, нежели те «глыбы долины», которые он возделывает и презирает, отказываясь видеть в них душу, лишь на том основании, что он действий этой души не замечал[620].

Эти и им подобные мысли всегда придавали моим раздумьям, когда я находился в горах или в лесах, на речном или на морском берегу, оттенок того, что будничный мир не преминул бы назвать фантастическим. Мои скитания по таким местностям были многочисленны, исполнены любознательности и часто велись в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по многим тенистым, глубоким долинам или созерцал небеса, отраженные во многих ясных озерах, было любопытство, во много раз усугубленное мыслью о том, что я блуждаю и созерцаю один. Какой это насмешливый француз[621] сказал относительно известного произведения Циммермана[622], что «la solitude est une belle chose; mais il faut queiqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose».[623] Остроумие этой фразы нельзя отрицать: но подобной необходимости и нет.

Во время одного из моих одиноких странствий по далекому краю гор, краю печально вьющихся рек и уныло дремлющих озер мне довелось набрести на некий ручей и остров. Порою июньского шелеста листвы я неожиданно наткнулся на них и распростерся на дерне под сенью ветвей благоухающего куста неизвестной мне породы, дабы предаться созерцанию и дремоте. Я почувствовал, что видеть окружающее дано было мне одному — настолько оно походило на призрачное видение.

По всем сторонам — кроме западной, где начинало садиться солнце, — поднимались зеленые стены леса. Речка, которая в этом месте делала крутой поворот, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке густой зеленой листвой, а с противоположной стороны (так представлялось мне, пока я лежал растянувшись и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад небесных закатных потоков.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой мечтательный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густою зеленью.

Так тень и берег слиты были,
Что словно в воздухе парили, —

чистая вода была так зеркальна, что едва было возможно сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения.

С того места, где я лежал, я мог охватить взглядом и восточную и западную оконечности острова разом и заметил удивительно резкую разницу в их виде. К западу помещался сплошной лучезарный гарем садовых красавиц. Он сиял и рдел под бросаемыми искоса взглядами солнца и прямо-таки смеялся цветами. Короткая, упругая, ароматная трава пестрела асфоделиями. Было что-то от Востока в очертаниях и листве деревьев — гибких, веселых, прямых, ярких, стройных и грациозных, с корою гладкой, глянцевитой и пестрой. Все как бы пронизывало ощущение полноты жизни и радости; и хотя с небес не слетало ни дуновения, но все колыхалось — всюду порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам[624].

Другую, восточную часть острова окутывала чернейшая тень. Там царил суровый, но прекрасный и покойный сумрак. Все деревья были темного цвета; они печально клонились, свиваясь в мрачные, торжественные и призрачные очертания, наводящие на мысли о смертельной скорби и безвременной кончине. Трава была темна, словно хвоя кипариса, и никла в бессилии; там и сям среди нее виднелись маленькие неказистые бугорки, низкие, узкие и не очень длинные, похожие на могилы, хотя и не могилы, и поросшие рутой и розмарином. Тень от деревьев тяжко ложилась на воду, как бы погружаясь на дно и пропитывая мраком ее глубины. Мне почудилось, будто каждая тень, по мере того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего ее ствола и поглощалась потоком; и от деревьев мгновенно отходили другие тени вместо своих погребенных предтеч.

Эта идея, однажды поразив мою фантазию, возбудила ее, и я погрузился в грезы. «Если и был когда-либо очарованный остров, — сказал я себе, — то это он. Это приют немногих нежных фей, переживших гибель своего племени. Их ли это зеленые могилы? Расстаются ли они со своею милою жизнью, как люди? Или, умирая, они скорее грустно истаивают, мало-помалу отдавая жизнь богу, как эти деревья отделяют от себя тень за тенью, теряя свою субстанцию? И не может ли жизнь фей относиться к поглощающей смерти, как дерево — к воде, которая впитывает его тень, все чернея и чернея?»

Пока я, полузакрыв глаза, размышлял подобным образом, солнце стремительно клонилось на отдых, и скорые струи кружились вокруг острова, качая большие, ослепительно белые куски платановой коры, которые так проворно скользили по воде, что быстрое воображение могло превратить их во что угодно, — пока я размышлял подобным образом, мне представилось, что фигура одной из тех самых фей, о которых я грезил, медленно перешла во тьму из освещенной части острова. Она выпрямилась в удивительно хрупком челне, держа до призрачности легкое весло. В медливших погаснуть лучах облик ее казался радостным — но скорбь исказила его, как только она попала в тень. Плавно скользила она и, наконец, обогнув остров, вновь очутилась в лучах. «Круг, только что описанный феей, — мечтательно подумал я, — равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к кончине на год; ибо я не мог не заметить, что в темной части острова тень ее отпала от нее и была поглощена темною водою, от чего чернота воды стала еще чернее».

И вновь показался челн и фея на нем, но в облике ее сквозили забота и сомнение, а легкая радость уменьшилась. И вновь она вплыла из света во тьму (которая мгновенно сгустилась), и вновь ее тень, отделяясь, погрузилась в эбеновую влагу и поглотилась ее чернотою. И вновь и вновь проплывала она вокруг острова (пока солнце поспешно отходило ко сну), и каждый раз, выходя из темноты, она становилась печальнее, делалась более слабой, неясной и зыбкой, и каждый раз, когда она переходила во тьму, от нее отделялась все более темная тень, растворяясь во влаге, все более черной. И наконец, когда солнце совсем ушло, фея, лишь бледный призрак той, какою была до того, печально вплыла в эбеновый поток, а вышла ли оттуда — не могу сказать, ибо мрак объял все кругом, и я более не видел ее волшебный облик.

Июнь, 1841

пер. В. Рогова

Беседа Моноса и Уны

Μελλοντα ταμτα[625]

Софокл. Антигона

Уна. «Новое рождение»?

Монос. Да, прекраснейшая и любимейшая Уна, «новое рождение»[626]. Над загадочным смыслом этих слов я долго раздумывал, отвергая толкования священнослужителей, пока сама Смерть не раскрыла мне тайну.

Уна. Смерть!

Монос. Как странно, милая Уна, повторяешь ты мои слова! Я замечаю также неровность твоей поступи и радостную тревогу твоего взора. Ты растерянна и подавлена величавой новизною Жизни Вечной. Да, я говорил о Смерти. И как по-особому звучит здесь это слово, в былом вселявшее ужас во все сердца, покрывавшее плесенью все отрады!

Уна. Ах, Смерть, призрак, что восседал на всех пиршествах! Как часто, Монос, мы терялись в предположениях относительно ее природы! Как загадочно обуздывала она блаженство человеческое, говоря ему: «Доселе и не далее!»[627] Та искренняя взаимная любовь, что пылала в наших сердцах, мой Монос, — о, сколь самонадеянно были мы убеждены, испытывая счастье при ее первом проблеске, что наше счастье возрастет вместе с нею! Увы! По мере ее роста рос в наших сердцах и ужас перед тем злым часом, что спешил разлучить нас навеки! И так, со временем, любовь стала причинять муки. Тогда ненависть явилась бы милостью.

Монос. Не говори здесь об этих горестях, дорогая Уна, — теперь ты моя, моя навеки!

Уна. Но память страданий прошлого — разве она не отрада в настоящем? Я еще многое поведаю о том, что было. Но прежде всего я сгораю от желания узнать о твоем пути через темный Дол и Тень.

Монос. Когда же лучезарная Уна понапрасну просила о чем-либо ее Моноса? Я перескажу все до мельчайших подробностей — по с чего

начать мне мое страшное повествование?

Уна. С чего?

Монос. Да.

Уна, Я поняла тебя, Монос. В Смерти мы оба узнали о склонности людской к определению неопределяемого. Поэтому я не скажу: начни с мгновения, когда жизнь прекратилась, — нет, начни с того печального, печального мига, когда жар схлынул и ты погрузился в бездыханное и подвижное оцепенение, а я опустила тебе веки пылкими перстами любви.

Монос. Сначала два слова, моя Уна, касательно общего состояния человечества в ту эпоху. Ты припомнишь, что двое или трое мудрецов из числа наших пращуров — мудрецов разумом, а не славой мирскою — отважились усомниться в том, что термин «улучшение» подобает прогрессу нашей цивилизации. В каждом из пяти или шести столетий, непосредственно предшествовавших нашему упадку, рождался какой-то могучий ум, смело вставáвший на защиту тех принципов, чья истинность ныне предстает нашему освобожденному рассудку столь самоочевидной, — тех принципов, что должны были бы научить наш род скорее повиноваться зову законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через длительные промежутки появлялся какой-нибудь великий ум, который видел в каждом шаге вперед практической науки некий шаг назад в смысле истинной полезности. Время от времени поэтический интеллект — тот интеллект, что, как теперь мы чувствуем, является самым возвышенным, — ибо истины, полные для нас наиболее долговечного значения, достижимы лишь путем аналогии, доказательной для одного лишь воображения и бессильной перед ничем не подкрепленным рассудком, — время от времени этот поэтический интеллект делал новый шаг в развитии неясной философской мысли и обретал в мистической параболе, повествующей о древе познания и запретном плоде, приносящем смерть, точное указание на то, что познание не пристало человеку в пору младенчества его души. И они, поэты, что жили и гибли, окруженные презрением «утилитаристов»[628] — сиречь низменных педантов, присвоивших себе титул, подобающий лишь презираемым, — они, поэты, размышляли — в унынии, но не без мудрости, — о стародавних днях, когда нужды наши были столь же просты, сколь живы были наши утехи, — о днях, когда не ведали слова веселость, ибо столь

торжественно и величаво было счастие, — о священных, царственных, блаженных днях, когда голубые реки струились, не перекрытые плотинами, среди неразрытых холмов в дальнюю лесную глушь, первозданную, благоуханную и неизведанную.

И все же эти благородные исключения из общего самоуправства лишь укрепляли его, рождая в нем противодействие. Увы! настал злейший из наших злых дней. Великое «движение»[629] — таково было его избитое название — продолжалось: смута, тлетворная и телесно и духовно. Промысел — промыслы возвысились и, заняв престол, заковали в цепи интеллект, возведший их к верховной власти. Человек не мог не признать величие Природы и поэтому впал в детский восторг от достигнутой и все возрастающей власти над ее стихиями. И, надменный бог в своем представлении о себе, он впал в ребяческое неразумие. Как можно было предположить, исходя из причины его расстройства, его заразила страсть к системе и абстракции. Он запутался в обобщениях. Среди прочих странных идей обрела почву идея всеобщего равенства; и пред ликом аналогии и бога — невзирая на упреждения, громогласно сделанные законами градации, столь явно объемлющими все сущее на Земле и Небе, — были предприняты безумные попытки установления всеобщей Демократии. Но это зло по необходимости было рождено главным злом — Познанием. Человек не мог и знать и подчиняться. Тем временем выросли бесчисленные города, громадные и задымленные. Зеленая листва увядала под горячим дыханием горнов. Прекрасный лик Природы был обезображен, словно после какой-либо мерзостной болезни. И мнится мне, милая Уна, что даже наше дремавшее чувство, говорящее о принуждении и насилии, еще могло бы тогда остановить нас. Но теперь делается ясным, что мы сами уготовили себе гибель извращением нашего вкуса, или, скорее, слепым небрежением его развитием в школах. Воистину, при этом кризисе один лишь вкус — то качество, которое, находясь между чистым интеллектом и нравственным чувством, не могло быть презрено безнаказанно, — один лишь вкус тогда еще мог неприметно вернуть нас к Красоте, Природе и Жизни. Но горе духу чистого созерцания и царственной интуиции Платона! Горе μονσιχή[630], которую он справедливо почитал достаточной для воспитания души! Горе ему и ей! — ибо в них была

особо отчаянная нужда, когда их постигло полное забвение или полное презрение.[631][632]

Паскаль[633], философ, которого мы оба любили, сказал — и как справедливо! — «que tout notre raisonnement se reduit a ceder au sentiment»[634], и вполне возможно, что чувство естественного, если бы время позволило, могло бы вернуть прежнее главенство над жестоким математическим рассудком школ. Но так не было суждено. Преждевременно вызванная неумеренностью знаний, наступила дряхлость мира. Большинство человечества этого не видело, или, живя энергической, но несчастливой жизнью, притворялось, что не видит. Меня же летописи Земли научили усматривать в величайшем разрушении плату за высочайшую цивилизацию. Я почерпнул предвидение нашего Рока из сравнения простого и выносливого Китая с зодчим Вавилоном, с астрологом Египтом, с Нубией, более хитроумной, нежели они, бурной матерью всех промыслов. В истории[635] этих стран мне сверкнул луч из Будущего. Присущие трем последним государствам вычуры были локальными заболеваниями Земли, и в падении каждого мы видели применение местного лекарства; но для мира, зараженного целиком, я видел возрождение только в смерти. Для того чтобы род человеческий не прекратился, он должен был, как открылось мне, испытать «новое рождение».

И тогда-то, прекраснейшая и дражайшая, мы стали каждый день погружаться в грезы. Тогда-то в сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда израненная промыслом поверхность Земли, пройдя пурификацию[636], которая одна сможет стереть ее непристойные прямоугольники, вновь облачится в зелень, горные склоны и улыбчивые райские воды и станет постепенно достойным обиталищем человеку — человеку, очищенному Смертью, человеку, для чьего возвышенного ума познание тогда не будет ядом, — искупленному, возрожденному, блаженному и тогда уже бессмертному, но все же материальному человеку.

Уна. Я отлично помню эти разговоры, дорогой Монос; но эпоха огненной катастрофы была не так близка, как мы верили и как заставляла нас верить упомянутая тобою испорченность. Люди жили и умирали, каждый сам по себе. Заболел и ты и сошел в могилу; и вскоре за тобою последовала твоя верная Уна. И хотя с той поры миновало

столетие, конец которого вновь соединил нас, и пусть на его протяжении наши дремлющие чувства не томились долгою разлукою, но все же, мой Монос, это было столетие.

Монос. Скажи лучше: точка в неопределенной бесконечности. Несомненно, я умер в пору одряхления Земли. Измученный тревогами, рожденными всеобщей смутой и разложением, я пап жертвою свирепой лихорадки. После немногих дней, исполненных страдания, и многих — исполненных бредовых грез, пронизанных экстазом, проявления которого ты считала страданиями, а я жаждал тебя разуверить, но не мог — через несколько дней на меня сошло, как ты сказала, бездыханное п недвижное оцепенение; и его называли Смертью те, кто стоял вокруг меня.

Слова зыбки. Мое состояние не лишило меня способности воспринимать. Я усмотрел в нем известное сходство с полным покоем того, кто после долгой и глубокой дремоты лежит недвижимо в летний полдень и к кому начинает постепенно возвращаться сознание — от того, что он выспался, а не от каких-либо внешних помех его сну.

Я перестал дышать. Пульс затих. Сердце не билось. Волевое начало не оставило меня, но было бессильно. Чувства необычно обострились, хотя часто и беспорядочно заимствовали одно у другого свои функции. Вкус и обоняние нерасторжимо смешались и стали единым чувством. Ненормальным и напряженным. Розовая вода, которою ты нежно увлажняла мне губы до последнего часа, пробуждала во мне отрадные грезы о цветах, о фантастических цветах, куда более прекрасных, нежели любые цветы старой Земли, о цветах, чьи прообразы мы видим расцветающими здесь вокруг нас. Веки, бескровные и прозрачные, не препятствовали зрению. Так как волевое начало бездействовало, глазные яблоки не могли вращаться в орбитах — но все предметы в поле зрения были видны с большею или меньшею отчетливостью; лучи, попадавшие на наружную ретину[637] пли в угол глаза, производили более сильное действие, нежели те, что касались передней поверхности. И все же в первом случае эффект был столь ненормален, что я воспринимал его только в качестве звука — приятного или резкого в зависимости от того, были ли предметы, находящиеся сбоку от меня. светлыми или темными по тону, закругленными пли угловатыми по очертаниям. В то же время слух, хотя и крайне возбужденный, не менял своей природы, оценивая

реальные звуки с удивительной точностью. Осязание претерпело более любопытную перемену. Его впечатления поступали с запозданием, но держались очень долго, неизменно разрешаясь огромным физическим наслаждением. Так, то, что твои милые персты нажали мне на веки, сначала я ощутил только зрением, и лишь через много времени после того, как ты отняла их, все мое существо преисполнилось неизмеримым чувственным восторгом. Я говорю — чувственным. Все мои восприятия были сугубо чувственны по природе. Показания, сообщаемые пассивному мозгу чувствами, ни в коей мере не осмыслялись умершим рассудком. Было немного больно и очень приятно; но моральных страданий или отрад никаких. Так, твои исступленные рыдания влились в мой слух со всеми горестными каденциями, и были восприняты все вариации их скорбного строя; но для меня опи звучали нежно и музыкально, не более; они не давали угасшему рассудку никакого представления о породившем их горе; а крупные слезы, долго падавшие мне на лицо, говоря очевидцам о разбитом сердце, охватывали меня всего экстазом — и только. И это воистину была Смерть, о которой стоявшие рядом почтительно говорили таким шепотом, а ты, милая Уна, — с громкими стенаниями и задыхаясь.

Меня обрядили во гроб — три или четыре темные фигуры, озабоченно сновавшие взад и вперед. Пересекаясь с прямой моего зрения, они воспринимались мною как формы; но, переходя вбок от меня, давали мне понятие о пронзительных криках, стонах и других исступленных выражениях страха, ужаса и горя. Ты одна, облаченная в белое, двигалась музыкально во всех направлениях.

День угасал; и, пока убывал свет, мною овладевала смутная неловкость — волнение, подобное тому, что испытывает спящий, когда грубые звуки действительности все время поражают его слух, — тихий отдаленный звон, похожий на колокольный, торжественный, с длинными, но равномерными перерывами, смешивающийся с меланхолическими грезами. Настала ночь; а с ее тенями мною овладела тягостная тревога. Ясно ощутимая, она давила на мои члены, как некий изнурительный груз. Слышался также звук, подобный стону, несколько напоминающий отдаленный рокот прибоя, но более длительный; он возник с началом сумерек и усиливался по мере того, как сгущалась тьма. Внезапно в комнату внесли огонь, и раскаты

превратились в частые, во неравномерные взрывы того же звука, только менее унылого и менее отчетливого. Тягостное состояние значительно облегчилось; и, исходя от пламени каждой лампы (а их было много), в мой слух вливалась непрерывная, монотонная мелодия. И когда, дорогая Уна, ты приблизилась к одру, на котором я был простерт, и тихо села рядом, а твои сладостные уста, прижимаясь к моему лбу, источали благоухание, в груди моей трепетно возникло, мешаясь с сугубо физическими ощущениями, порожденными обстоятельствами, нечто родственное самому чувству, — полупризнание, полуотклик на твою искреннюю любовь и скорбь; но это чувство не укоренилось в недвижном сердце и, право же, казалось скорее тенью, нежели реальностью, и быстро поблекло, вначале став полным бездействием, а затем — чисто физической отрадой, как и прежде.

И тогда из обломков и хаоса обычных чувств как бы возникло во мне шестое, совершенное. В нем обрел я бурное наслаждение — но все еще физическое, поскольку в нем не было места пониманию. Движение в теле полностью прекратилось. Не сокращалась ни одна мышца; не напрягался ни один нерв; не трепетала ни одна артерия. Но в мозгу как бы всплыло то, о чем никакие слова не могут дать человеческому разуму хотя бы смутное представление. Позволь мне назвать его качательной пульсацией ума. Это было внутреннее воплощение абстрактной идеи Времени, доступной человеку. Путем абсолютного выравнивания этого движения — или чего-то подобного — были установлены циклы небесных орбит. С его помощью я определил ошибку часов на каминной полке, а также часов, принадлежавших тем, кто присутствовал. Тиканье всех часов звучно отдавалось у меня в ушах. Малейшее отклонение от истинной меры — а этим отклонениям не было числа — действовало на меня так же, как на земле попрание абстрактных истин способно воздействовать на нравственное чувство. Хотя никакие два часовых механизма в комнате не отсчитывали секунды точно в унисон, все же я без труда различал звуки и ошибки каждого. И это — это острое, совершенное, самодовлеющее чувство протяженности во времени — это чувство, существующее (ибо ни один человек не в силах представить его) независимо от какого-либо чередования событий, — эта идея — это

шестое чувство, рождающееся из праха остальных, было первым шагом вневременной души на пороге временной Вечности.

Была полночь; ты все еще сидела рядом со мною. Все другие оставили покой Смерти, Меня положили в гроб. Лампы мигали; я знал это по дрожи монотонных звуков. Но внезапно отчетливость и сила этих звуков стала убывать. Наконец они замолкли. Аромат в моих ноздрях исчез. Зрение больше не отражало никаких форм. Тягостный Мрак перестал давить мне на грудь. Тупой удар, похожий на электрический, пронизал мое тело, после чего полностью исчезло самое понятие о соприкосновении. Все, что человек называет чувством, смешалось воедино в сознании существования, единственном оставшемся, и в непреходящем чувстве протяженности во времени. Смертное тело, наконец, получило удар десницы смертельного Разложения.

Но не все ощущения исчезли: летаргическое наитие оставило мне что-то немногое. Я сознавал ужасные перемены, которым теперь подвергалась плоть, и, подобно тому, как спящий порою ощущает присутствие кого-то, над ним склонившегося, так и я, милая Уна, в оцепенении чувствовал, что ты сидишь рядом со мною. И когда настал следующий полдень, я как-то еще сознавал то, что разлучило тебя со мною, что замкнуло меня в гробу, что поместило меня на катафалк, что доставило меня к могиле, что опустило пеня в могилу, что засыпало меня тяжелою землею и так оставило меня среди черноты и гниения для сурового и скорбного сна с червями.

И здесь, в темнице, скрывавшей мало тайн, миновали дни, и недели, и месяцы; и душа пристально следила за каждой пролетающей секундой и без усилия отмечала ее полет — без усилия и без цели.

Прошел год. Сознание того, что я есмь, с каждым часом тускнело, в значительной мере вытесняясь всего лишь сознанием положения в пространстве. Идея сущности сливалась с идеей места. Узкое пространство, вплотную окружавшее то, что некогда было телом, теперь само становилось телом. Наконец, как часто бывает со спящим (только при помощи сна и мира сна можно вообразить Смерть), — наконец, как порою на Земле случается с погруженным в глубокий сон, когда какой-нибудь скользнувший блик света полупробудит его, оставив наполовину погруженным в сновидения, так и мне, заключенному в строгие объятия Тени, явился тот самый свет, который

один был бы в силах тронуть меня, — свет непреходящей Любви. Над могилою, где я лежал во мраке, трудились люди. Они раскидали влажную землю. На мои истлевающие кости опустился гроб Уны.

И вновь все опустело. Призрачный свет погас. Слабое трепетание заглохло. Протекли многие десятилетия. Прах вернулся в прах. Не стало пищи у червей. Чувство того, что я есмь, наконец ушло, и взамен ему — взамен всему — воцарились, властные и вечные, самодержцы Место и Время. И для того, что не было, — для того, что не имело формы, — для того, что не имело мысли, — для того, что не имело ощущений, — для того, что было бездушно, но и нематериально, — для всего этого Ничто, все же бессмертного, могила еще оставалась обиталищем, а часы распада — братьями.

Август, 1841

пер. В. Рогова

Не закладывай чёрту своей головы

«Con tal que las costumbres de un autor» — пишет дон Томас де Лас Торрес[638] в предисловии к своим «Любовным стихам», — «sean puras y castas, importa muy poco que no sean igualmente severas sus obras», что в переводе на простой язык значит если нравственность самого автора не вызывает сомнений, неважно, что за мораль содержится в его книгах. Мы полагаем, что дон Торрес за это утверждение находится сейчас в чистилище. Поэтической справедливости ради стоило бы продержать его там до тех пор, пока его «Любовные стихи» не будут распроданы или не покроются на полках пылью из-за отсутствия читателей. В каждой книге должна быть мораль; и, что гораздо важнее, критики давно уже обнаружили, что в каждой книге она есть. Не так давно Филипп Меланхтон[639] написал комментарий к «Войне мышей и лягушек»[640], где доказал, что целью поэта было возбудить отвращение к мятежу. Пьер Ла Сен[641] пошел дальше, заявив, что поэт имел намерение внушить молодым людям, что в еде и питье следует соблюдать умеренность. Точно таким же образом Якобус Гюго[642] утверждает, что в лице Эвнея[643] Гомер изобразил Жана Кальвина[644], в Антиное[645] — Мартина Лютера, в лотофагах[646] — вообще протестантов, а в гарпиях — голландцев. Новейшие наши схоласты столь же проницательны. Эти молодцы находят скрытый смысл в «Допотопных»[647], нравоучение в «Поухатане»[648], новую философию в «Робине-Бобине»[649] и трансцендентализм в «Мальчике-с-пальчике». Словом, они доказали, что если уж кто-нибудь берется за перо, то обязательно с самыми глубокими мыслями. Так что авторам теперь не о чем беспокоиться. Романист, к примеру, может совершенно не думать о морали.

Она в книге есть — где именно, неизвестно, но есть, — а в остальном пусть критики и мораль позаботятся о себе сами. А когда пробьет час, все, что хотел сказать этот господин (я имею в виду, конечно, романиста), и все, чего он не хотел сказать, все предстанет на суд в «Дайеле» или в «Даун-Истере»[650], равно как и то, что он должен

был хотеть, и то, что он явно собирался хотеть, — словом, в конце концов, все будет в порядке.

Итак, нет никаких причин для обвинений, возведенных на меня некоторыми неучами, — что я якобы не написал ни одного морального рассказа или, вернее, рассказа с моралью. Не этим критикам выводить меня на чистую воду, не им читать мне мораль, — впрочем, тут я умолкаю. Пройдет совсем немного времени, и «Североамериканское трехмесячное обозление»[651] заставит их устыдиться собственной глупости. Тем временем, чтоб избежать расправы — чтоб смягчить выставленные против меня обвинения — я предлагаю вниманию публики нижеследующую печальную историю, историю, мораль которой совершенно ясна и несомненна, ибо всякий, кто только захочет, может узреть ее в заглавии, напечатанном крупными буквами. Прошу воздать мне должное за этот прием, гораздо более остроумный, чем у Лафонтена и всех прочих, что приберегают нравоучение до самой последней минуты, а потом подсовывают его вам в конце, словно изжеванный окурок.

Defuncti injuria ne afficiantur[652] — таков был закон двенадцати таблиц[653], a De mortuis nil nisi bonum[654] — тоже прекрасное изречение, хоть покойный, о котором идет здесь речь, возможно, всего лишь покойный старый диван. Вот почему я далек от мысли поносить моего почившего друга, Тоби Накойчерта. Жизнь у него, правда, была собачья, да и умер он, как собака[655]; но он не несет вины за свои грехи. Они были следствием некоторого врожденного недостатка его матери. Когда он был еще младенцем, она порола его на совесть: выполнять свой долг всегда доставляло ей величайшее наслаждение — на то она и была натурой рационалистической, а дети — что твои свиные отбивные или нынешние оливы из Греции — чем больше их бьешь, тем лучше они становятся. Но — бедная женщина! — на свое несчастье она была левшой, а детей лучше вовсе не пороть, чем пороть слева. Мир вертится справа налево, и если пороть дитя слева направо, ничего хорошего из этого не выйдет. Каждый удар в нужном направлении выколачивает из дитяти дурные наклонности, а отсюда следует, что порка в противоположном направлении, наоборот, вколачивает в него определенную порцию зла. Я часто присутствовал при этих экзекуциях и уже по тому, как Тоби при этом брыкался, понимал, что с каждым разом он становится все неисправимее.

Наконец, сквозь слезы, стоявшие в моих глазах, я узрел, что он отпетый негодяй, и однажды, когда его отхлестали по щекам так, что он совсем почернел с лица и вполне сошел бы за маленького африканца, я не выдержал, пал тут же на колени и зычным голосом предрек ему скорую погибель.

Сказать по правде, он так рано вступил на стезю порока, что просто диву даешься. Пяти месяцев от роду он нередко приходил в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. В шесть я поймал его на том, что он жует колоду карт. В семь он только и делал, что тискал младенцев женского пола. В восемь он наотрез отказался подписать обет трезвости. И так из месяца в месяц он все дальше продвигался по этой стезе; а когда ему исполнился год, он не только отрастил себе усы и ни за что не желал их сбрить, но и приобрел недостойную джентльмена привычку ругаться, божиться и биться об заклад. Это его в конце концов и погубило, как, впрочем, я и предсказывал. Склонность эта «росла и крепла вместе с ним»[656], так что, возмужав, он что ни слово, предлагал биться с ним об заклад. Нести что-нибудь в заклад он и не думал — о нет! Не такой он был человек, надо отдать ему должное, — да он скорее стал бы нести яйца! Это была просто форма, фигура речи — не более. Подобные предложения в его устах не имели решительно никакого смысла. Это были простые, хоть и не всегда невинные, присказки — риторические приемы для закругления фразы. Когда он говорил: «Готов прозакладывать тебе то-то и то-то», — никто никогда не принимал его всерьез, и все же я счел своим долгом вмешаться. Привычка эта безнравственна — так я ему и сказал. Вульгарна — в этом он может положиться на меня. Общество ее порицает — это чистейшая правда. Она запрещена специальным актом Конгресса — не стану же я ему лгать. Я уговаривал — бесполезно. Я выговаривал — тщетно. Я просил — он скалил зубы. Я умолял — он заливался смехом. Я проповедовал — он издевался. Я грозился — он осыпал меня бранью. Я дал ему пинка — он кликнул полицию. Я взял его за нос — он сморкнулся мне прямо в руку и заявил, что готов прозакладывать голову черту: больше я этого опыта не повторю.

Бедность была другим пороком, коим Тоби Накойчерт обязан был врожденному недостатку своей матери. Он был беден до отвращения, а потому, естественно, в риторических его фигурах никогда не слышался звон монет. Я не припомню, чтоб он хоть раз сказал «Бьюсь об заклад

на доллар». Нет, обычно он говорил — «Готов спорить на что угодно», или «Пари на что угодно», или «Пари на любую ерунду», или, наконец, что звучало, пожалуй, гораздо внушительнее, — «Готов заложить черту голову!»

Эта последняя формула, видно, нравилась ему больше других, возможно, потому, что риску тут было всего меньше, а Накойчерт в последнее время стал крайне бережлив. Поймай его даже кто-нибудь на слове, что ж — невелика потеря! Ведь голова-то у него тоже была невелика. Впрочем, все это просто мои догадки, и я отнюдь не уверен, что поступаю правильно, приписывая ему эти мысли. Как бы то ни было, выражение это с каждым днем нравилось ему все больше, несмотря на чудовищное неприличие ставить в заклад, словно банкноты, собственные мозги, но этого мой друг не понимал — в силу своей испорченности, несомненно. Кончилось тем, что он отказался от всех других формул и предался этой с таким усердием и упорством, что я только диву давался. Впрочем, все это немало меня сердило, как сердят меня любые обстоятельства, которых я не понимаю. Тайна заставляет человека думать — а это вредно для здоровья. Признаюсь, было нечто неуловимое в манере, с которой мистер Накойчерт выговаривал эту ужасную фразу, — нечто неуловимое в самом произношении — что поначалу меня занимало, но понемногу стало приводить в смущение — за неимением лучшего слова, позвольте назвать это чем-то странным, хоть мистер Колридж назвал бы это мистическим, мистер Кант — пантеистическим, мистер Карлейль — казуистическим, а мистер Эмерсон — сверхвопросическим. Мне это не нравилось. Душа мистера Накойчерта была в опасности. Я решил пустить в ход все свое красноречие и спасти его. Я поклялся послужить ему так же, как святой Патрик[657] в ирландской хронике послужил жабе, то есть «пробудить в нем сознание собственного положения». Я тотчас приступил к этой задаче. Снова я прибегнул к уговорам. Опять я собрал все свои силы для последней попытки.

Как только я закончил свою проповедь, мистер Накойчерт повел себя самым непонятным образом. Несколько минут он молчал — только смотрел с любопытством мне в лицо. Потом склонил голову набок и вздернул брови. Потом развел руками и пожал плечами. Потом подмигнул правым глазом. Потом повторил эту операцию левым. Потом крепко зажмурил оба. Потом так широко раскрыл их, что я

начал серьезно опасаться за последствия. Затем приложил большой палец к носу и произвел остальными неописуемые движения. Наконец подбоченился и соблаговолил ответить.

Мне припоминаются лишь основные пункты этой речи. Он будет миг очень признателен, если я буду держать язык за зубами. Ему мои советы не требуются. Он презирает все мои инсинуации. Он уже не мальчик и может позаботиться о себе сам. Я, видно, думал, что имею дело с младенцем? Мне что — не нравится его поведение? Я что — решил его оскорбить? Я что — совсем дурак? А моей родительнице известно, что я покинул домашний очаг? Он задает мне этот вопрос как человек чести и почтет своим долгом поверить мне на слово, Еще раз — он требует от меня ответа: знает ли моя матушка, что я убежал из дому? Мое смущение меня выдает — он черту голову готов прозакладывать, что ей это неизвестно.

Мистер Накойчерт не стал дожидаться моего ответа. Он круто повернулся и без дальнейших околичностей покинул меня. Оно и к лучшему: чувства мои были задеты. Я даже рассердился. Я готов был, против обыкновения, поймать его на слове — и с удовольствием отплатил бы ему за оскорбление, выиграв для Врага Человеческого небольшую головку мистера Накойчерта, — конечно, маменька моя прекрасно знала о сугубо временном характере моей отлучки.

Но Khoda shefa midehed — Господь ниспошлет облегчение, — как говорят мусульмане, когда наступишь им на ногу. Я был оскорблен при исполнении долга, и я снес обиду, как мужчина. Однако мне все же казалось, что я сделал все возможное для этого несчастного, и я решил не докучать ему более своими советами, но предоставить его самому себе — и собственной совести. Впрочем, хоть я и решил воздерживаться от увещеваний, все же я не мог вовсе оставить его на произвол судьбы. Мало того, я даже потакал некоторым из наименее предосудительных его склонностей и подчас, со слезами на глазах, хвалил его злые шутки, как хвалит привереда-гурман злую горчицу, — до того сокрушали меня его нечестивые речи.

В один прекрасный день, взявшись под руки, мы отправились с ним прогуляться к реке. Через реку был переброшен мост, и мы решили пройтись по нему. Мост, для защиты от непогоды, был крытый, в виде галереи, в стенах которой проделано было несколько окошек, так что внутри было жутковато и темно. Войдя с яркого

солнечного света под сумрачные своды, я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Однако несчастный Накойчерт был по-прежнему весел и тут же предложил заложить свою голову черту в знак того, что я просто нюня. По всей видимости, он находился в чрезвычайно приподнятом расположении духа. Он был необыкновенно говорлив — что невольно навело меня на самые мрачные подозрения. Не исключено, думал я, что у него припадок трансцендентализма. Впрочем, я недостаточно знаком со всеми признаками этой болезни для того, чтобы с уверенностью ставить диагноз; и, к несчастью, поблизости не было никого из моих друзей из «Дайела». Я упоминаю об этом прежде всего потому, что у бедного моего приятеля появились, как мне показалось, некоторые симптомы шутовской горячки, заставившей его валять дурака. Ему зачем-то понадобилось перепрыгивать через все, что ни встречалось нам по пути, или подлезать вниз на четвереньках, то вопя во весь голос, а то шепча какие-то странные слова и словечки, — и все это с самым серьезным выражением лица. Я, право, не знал — жалеть мне его или надавать пинков. Наконец, пройдя почти весь мост до конца, мы увидели, что путь нам преграждает довольно высокая калитка в виде вертушки. Я спокойно толкнул перекладину и прошел, как это обычно и делается. Но для мистера Накойчерта это было, конечно, слишком просто. Он, разумеется, заявил, что должен через нее перепрыгнуть, да еще и сделать курбет в воздухе. По совести говоря, я был уверен, что он этого сделать не может. Лучшим прыгуном-курбетистом через всякого рода заборы был мой друг мистер Карлейль, но я-то твердо знал, что он так прыгнуть не может, куда уж там Тоби Накойчерту. А потому я прямо ему заявил, что он жалкий хвастун и сделать этого не сумеет. В чем я впоследствии раскаялся — ибо он тут же объявил, что сумеет, пусть черт возьмет его голову.

Несмотря на прежнее свое решение, я открыл было рот, чтобы пожурить его за божбу, как вдруг услышал у себя за спиной легкое покашливание, словно кто-то тихонько произнес «Кхе!» Я вздрогнул и с удивлением огляделся. Наконец взгляд мой упал на небольшого хромого господина преклонных лет и почтенной наружности, стоявшего в укромном уголке у стены. Вид у него был самый достойный — он был облачен во все черное, рубашка блистала белизной, уголки воротничка были аккуратно подвернуты, высокий

белый галстук подпирал подбородок, а волосы были расчесаны, как у девушки, на ровный пробор. Руки он в задумчивости сложил на животе, а глаза закатил под самый лоб.

Вглядевшись пристальнее, я заметил, что ноги у него прикрыты черным шелковым фартуком, и это показалось мне странным. Не успел я, впрочем, и слова сказать об этом удивительном обстоятельстве, как он остановил меня, снова промолвив: «Кхе!»

На это замечание я не тотчас нашелся что ответить. Дело в том, что на рассуждения такого лаконичного свойства отвечать вообще практически невозможно. Мне даже известен случай, когда одно трехмесячное обозрение растерялось от единого слова: «Вранье!» Вот почему я не стыжусь признать, что тут же обратился за помощью к мистеру Накойчерту.

— Накойчерт, — сказал я, — что с тобой? Ты разве не слышишь, этот господин сказал «Кхе!»? — С этими словами я строго взглянул на своего друга, ибо, признаюсь, я вконец растерялся, а когда растеряешься, приходится хмурить брови и принимать суровый вид, чтобы не выглядеть совсем дураком.

— Накойчерт, — заметил я (это прозвучало как ругательство, хоть, смею вас заверить, у меня этого и в мыслях не было). — Накойчерт, — проговорил я, — этот господин говорит «Кхе!»

Я не собираюсь утверждать, что слова мои отличались глубоким смыслом, но впечатление от наших речей, как я замечаю, далеко не всегда пропорционально их смыслу в наших глазах. Швырни я в мистера Накойчерта пексановскую бомбу[658] или обрушь я на его голову «Поэтов и поэзию Америки»[659], он и тогда не был бы так огорошен, как услышав эти простые слова: «Накойчерт — что с тобой? — ты разве не слышишь — этот господин сказал „Кхе!“».

— Не может быть, — прошептал он, меняясь, в лице, словно пират, завидевший, что их настигает военный корабль. — Ты уверен, что он именно так и сказал? Что же, я, видно, попался — не праздновать же мне теперь труса. Остается одно — кхе!

Услышав это, пожилой господин просветлел — бог знает, почему. Он покинул свое укромное местечко у стены, подковылял, любезно улыбаясь, к Накойчерту, схватил его за руку и сердечно потряс ее, — глядя все это время ему прямо в лицо с выражением самой искренней и нелицеприятной благосклонности.

— Накойчерт, я совершенно уверен, что вы выиграете, Накойчерт, — проговорил он с самой открытой улыбкой, — но все же надо произвести опыт. Пустая проформа, знаете ли…

— Кхе, — отвечал мой приятель, снимая с глубоким вздохом свой сюртук, повязываясь по талии носовым платком, опуская концы губ и подымая очи к небесам, отчего лицо его приняло самое невероятное выражение, — кхе! — И, помолчав, он снова промолвил: «кхе!» — другого слова я так от него больше и не услышал. — Ага, — подумал я, не высказывая, впрочем, своих мыслей вслух, — Тоби Накойчерт молчит — такого еще не бывало! Это, несомненно, следствие его прежней болтливости. Одна крайность влечет за собой другую. Интересно, помнит ли он, как ловко он меня допрашивал в тот день, когда я прочел ему свое последнее наставление? Во всяком случае, от трансцендентализма он теперь излечился.

— Кхе, — отвечал тут Тоби, словно читая мои мысли, с видом задумчивым и покорным.

Тут пожилой господин взял его под руку и отвел в глубь моста, подальше от калитки.

— Любезный друг, — сказал он, — для меня дело чести предоставить вам нужный разбег. Подождите здесь, пока я не займу своего места у калитки, откуда мне будет видно, насколько изящно и трансцендентально вы возьмете этот барьер, — и не забудьте про курбет в воздухе. Конечно, все это пустая проформа… Я сосчитаю «раз, два, три — пошли». При слове «пошли» бегите, по никак не раньше. — Затем он занял свою позицию у калитки, минутку помолчал, словно в глубоком раздумье, а затем взглянул вверх и, как мне показалось, легонько усмехнулся. Потом потуже затянул свой фартук, потом пристально посмотрел на Тоби Накойчерта и, наконец, произнес условный сигнал:

— Раз, два, три — пошли!

На слове «пошли», не раньше и не позже, мой бедный друг сорвался в галоп. Калитка была не так высока, как стиль мистера Лорда[660], но и не так низка, как стиль его критиков. В целом я был совершенно уверен, что он без труда ее перепрыгнет. А если нет? — вот именно, в том-то и дело, — что, если нет? — По какому праву, — сказал я про себя, — этот господин заставляет других прыгать? Да кто он такой, этот старикашка? Предложи он мне прыгнуть, я ни за что не

стану — это уж точно, плевать мне на этого старого черта. Как я уже сказал, мост был крытый, в виде такой нелепой галереи, и все слова отдавались в нем пренеприятнейшим эхом, — обстоятельство, которое я особо отметил, произнеся последние два слова.

Но что я сказал и что я подумал и что я услышал — все это заняло лишь миг. Не прошло и пяти секунд, как бедный мой Тоби прыгнул, выделывая ногами в воздухе всевозможные фигуры. Я видел, как он взлетел вверх и сделал курбет над самой калиткой, но по какой-то совершенно необъяснимой причине через нее он так и не перепрыгнул. Впрочем, весь прыжок был делом одного мгновения; предаваться глубоким размышлениям у меня попросту не было времени. Не успел я и глазом моргнуть, как мистер Накойчерт упал навзничь с той же стороны калитки, с какой прыгнул. В тот же миг я заметил, что пожилой господин со всех ног бежит, прихрамывая, прочь, поймав и завернув в свой фартук что-то, тяжело упавшее сверху, из-под темного свода прямо над калиткой. Всему этому я немало поразился; впрочем, времени размышлять не было, ибо Накойчерт лежал, как-то особенно притаясь, и я решил, что он обижен в лучших своих чувствах и нуждается в моей поддержке. Я поспешил к нему и обнаружил, что ему, как говорится, был нанесен серьезный урон. Сказать по правде, он попросту лишился своей головы, и как я ни искал, мне так и не удалось ее нигде найти. Тогда я решил отвести его домой и послать за гомеопатами. Меж тем в голове у меня мелькнула одна мысль — я распахнул ближайшее окошко в стене и тут же узрел печальную истину. Футах в пяти над самой калиткой шла поперек узкая железная полоса, укреплявшая, как и ряд других, перекрытие на всем его протяжении. С острым ее краем, как видно, и пришла в непосредственное соприкосновение шея моего несчастного друга.

Он ненадолго пережил эту ужасную потерю. Гомеопаты давали ему недостаточно малые дозы, да и то, что давали, он не решался принять. Вскоре ему стало хуже, и, наконец, он скончался (да послужит его кончина уроком любителям бурных развлечений). Я оросил его могилу слезами, добавил диагональную полосу к его фамильному гербу[661], а весь скромный счет на расходы по погребению отправил трансценденталистам. Эти мерзавцы отказались его оплатить — тогда я вырыл тело мистера Накойчерта и продал его на мясо для собак.

Сентябрь, 1841
пер. Н. Демуровой

Элеонора

Sub conservatione formae specificae salva anmia.

Raymond Lully[662]

Я родом из тех, кто отмечен силой фантазии и пыланием страсти. Меня называли безумным, но вопрос еще далеко не решен, не есть ли безумие высший разум и не проистекает ли многое из того, что славно, и все, что глубоко, из болезненного состояния мысли, из особых настроений ума, вознесшегося ценой утраты разумности. Тем, кто видят сны наяву, открыто многое, что ускользает от тех, кто грезит лишь ночью во сне. В туманных видениях мелькают им проблески вечности, и, пробудясь, они трепещут, помня, что были на грани великой тайны. Мгновеньями им открывается нечто от мудрости, которая есть добро, и несколько больше от простого звания, которое есть зло, и все же без руля и ветрил проникают они в безбрежный океан «света неизреченного»[663] и вновь, словно мореплаватели нубийского географа[664], «agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi»[665].

Что ж, пусть я безумен. Я готов, впрочем, признать, что есть два различных состояния для моего духа: состоянье неоспоримого ясного разума, принадлежащего к памяти о событьях, образующих первую пору моей жизни, и состоянье сомненья и тени, относящихся к настоящему и воспоминаньям о том, что составляет вторую великую эру моего бытия. А потому рассказу о ранних моих днях верьте; а к тому, что поведаю я о времени более позднем, отнеситесь с той долей доверия, какую оно заслуживает, или вовсе в нем усомнитесь, или, если и сомневаться вы не можете, разгадайте, подобно Эдипу, эту загадку.

Та, кого любил я в юности и о которой теперь спокойно и ясно пишу я эти воспоминания, была единственным ребенком единственной сестры моей матери, давно усопшей. Элеонора — это имя носила моя кузина. Всю жизнь мы прожили вместе под тропическим солнцем, в Долине Многоцветных Трав. Путник никогда не забредал ненароком в

эту долину, ибо лежала она далеко-далеко, за цепью гигантских гор, тяжко нависших над нею со всех сторон, изгоняя солнечный свет из прекрасных ее уголков. К нам не вела ни одна тропа, и, чтобы попасть в наш счастливый край, нужно было пробраться сквозь заросли многих тысяч лесных деревьев, растоптав каблуком прелесть многих миллионов душистых цветов. Вот почему жили мы совсем одни, не зная ничего о внешнем мире, — я, моя кузина и мать ее.

Из угрюмых краев, что лежали за далекими вершинами гор, замкнувших наш мир, пробивалась к нам узкая глубокая река, блеск которой превосходил все — все, кроме глаз Элеоноры; неслышно вилась она по долине и наконец исчезала в тенистом ущелье, среди гор, еще угрюмее тех, из которых она вытекала. Мы называли ее Рекой Молчания, ибо была в ее водах какая-то сила беззвучия. На ее берегах не раздавалось ни шороха, и так тихо скользила она, что жемчужная галька на глубоком ее дне, которой мы любовались, не двигалась, а лежала в недвижном покое на месте, блистая неизменным своим сиянием.

Берега этой реки и множества ослепительных ручейков, бегущих, извиваясь, к ее волнам, и все пространство, что шло от склонов вниз, в самую глубь ее потоков, до ложа из гальки на дне, — все это и поверхность долины, от реки и до самых гор, вставших кругом, были, словно ковром, покрыты мягкой зеленой травой, густой, короткой, удивительно ровной, издававшей запах ванили, по которой рассыпаны были желтые лютики, белые маргаритки, лиловые фиалки и рубиново-красные асфодели[666], и безмерная их красота громко вещала нашим сердцам о любви и о славе господней.

Тут и там над этой травой, словно порожденья причудливых снов, вздымали стройные стволы невиданные деревья; они не стояли прямо, как свечи, но, выгибаясь изящно, тянулись к солнечному свету, который в час полудня заглядывал в сердце долины. Кора их была испещрена изменчивым ярким сиянием черни и серебра, и была она нежной — нежнее всего, кроме щек Элеоноры; и если б не яркая зелень огромных листов, что спадали с вершин длинным, трепещущим рядом, играя с легким ветерком, деревья эти можно было б принять за гигантских сирийских змеев[667], воздающих хвалу своему властелину Солнцу.

Пятнадцать лет рука об руку бродил я с Элеонорой по этой долине, пока любовь не вошла в наши сердца. Это случилось однажды вечером, на исходе третьего пятилетия ее жизни и четвертого пятилетия — моей; мы сидели, сомкнув объятья под змееподобными стволами и смотрели в Реку Молчания, на свои отражения в ней. Мы не произнесли ни слова за весь этот дивный день и даже назавтра сказали друг другу лишь несколько робких слов. Из волн мы вызвали бога Эроса и знали теперь, что он зажег в нас пламенный дух наших предков. Страсти, которыми веками славился наш род, слились в своем биении с мечтами, которые равно нас отличали, и пронеслись горячкой блаженства над Долиной Многоцветных Трав. Все в ней переменилось. Странные, яркие цветы раскрылись, словно звезды, на деревьях, которые раньше не знали цветенья. Зелень изумрудных ковров стала глубже; а когда, одна за другой, белые маргаритки увяли, вместо них засверкали десятки рубиново-красных асфоделей. И жизнь засияла повсюду, куда мы ступали, ибо стройный фламинго, никогда не виданный ранее, вместе с другими веселыми светлыми птицами развернул перед нами алые крылья. В реке заиграли золотые и серебряные рыбы, а в глубине родился ропот, который, все ширясь, зазвучал наконец колыбельной, слаще эоловой арфы, краше всего на свете, кроме голоса Элеоноры. И огромное облако, которое давно замечали мы возле Геспера[668], выплыло, сверкая золотом и багрянцем, и, мирно встав над нами, день за днем опускалось все ниже, пока наконец не коснулось краями верхушек гор, превратив их угрюмость в сияние и заключив нас, как бы навеки, в волшебной темнице величия и славы.

Элеонора красой подобна была серафиму, бесхитростна и невинна, как та недолгая жизнь, что провела она среди цветов. Она не скрывала лукаво пламя любви, что охватило ее сердце, и вместе со мной заглянула в его тайники, когда мы бродили вдвоем по долине, беседуя о переменах, недавно свершившихся здесь.

И, наконец, заговорив однажды в слезах о последней печальной перемене, что выпадает всем людям, она стала с тех пор грустна, не расставалась с этой мыслью, то и дело возвращаясь к ней, подобно тому, как в песнях певца Шираза[669] во всех величавых вариациях снова и снова возникают все те же образы.

Она видела, что Смерть коснулась своим перстом ее груди, — подобно мотыльку, она создана была бесконечно прелестной лишь для того, чтоб погибнуть; но ужас могилы был для нее лишь в одном; она поведала мне об этом однажды в сумерках па берегу Реки Молчания. Ей горестно было думать, что, похоронив ее в Долине Многоцветных Трав, я навсегда покину этот счастливый край, отдав свою любовь, так страстно ей теперь посвященную, деве из мира будничного и чужого. И тогда, ни минуты не медля, я бросился к ногам Элеоноры и поклялся ей и небесам, что никогда не соединюсь браком с дочерью Земли, что ни в чем не изменю ее благословенной памяти и памяти о том неземном чувстве, которым она меня подарила. И я призвал Великого Владыку Мира в свидетели того, что обет этот свят и нерушим. И кара, ниспослать которую я молил Его и ее, святую, чье жилище будет в Элизиуме[670], если нарушу я свой обет, кара эта была столь чудовищно страшной, что я не решусь говорить о ней здесь. И ясные глаза Элеоноры прояснились при этих словах, она вздохнула, словно смертельная тяжесть спала у ней с груди, и, трепеща, заплакала горько; но приняла мой обет (ибо была всего лишь ребенком), и он принес ей облегчение на ложе смерти. Несколько дней спустя, умирая спокойно и мирно, она мне сказала: за то, что сделал я для спокойствия ее духа, дух ее после кончины будет меня охранять, и если будет ей то дозволено, то по ночам будет она являться мне зримо; но если не дано это душам рая, то будет часто посылать мне весть о своем присутствии — вечерний ветерок обвеет ее вздохом мне щеку или напоит воздух, которым я дышу, благоуханием небесных кадильниц. И с этими словами она рассталась со своей безгрешной жизнью, кладя предел первой поре моего бытия.

Истинно излагал я все до сего мгновенья. Но, пересекая преграду на путях Времени, преграду, воздвигнутую смертью любимой, и вступая во вторую пору моего существования, чувствую, как тени окутывают мой мозг, и не доверяю своему разуму и памяти. Но продолжаю. Годы тяжко влачили свой груз, а я не покидал Долины Многоцветных Трав; и снова все в ней переменилось. Звездоподобные цветы исчезли и более не появлялись на деревьях. Зеленые ковры поблекли, и одна за другой увяли рубиново-красные асфодели, а на их месте раскрыли свои глаза десятки черных фиалок, беспокойно трепещущих и вечно отягощенных влагой. И Жизнь покинула те края,

где мы когда-то ступали, ибо стройный фламинго сложил свои алые крылья и с другими веселыми светлыми птицами, что появились когда-то с ним вместе, с грустью покинули долину. Золотые и серебряные рыбы уплыли по ущелью, в самый дальний конец края, и не украшали больше нашей реки. И колыбельная, что звучала слаще эоловой арфы, волшебней всего — кроме голоса Элеоноры, — начала затихать и понемногу вовсе замолкла; ропот волн становился все глуше, пока наконец река не погрузилась снова в торжественное свое молчание; и огромное облако поднялось и, возвращая вершинам гор прежнюю их угрюмость, пало назад, в край Геспера, унеся из Долины Многоцветных Трав всю многокрасочную и золотую прелесть сияния.

Но обет, данный Элеонорой, не был забыт — я слышал звон небесных кадильниц, волны нездешнего благоухания плыли по долине, и в часы одиночества, когда сердце тяжко стучало в груди, ветерок, обвевавший мое чело, доносил до меня тихий вздох. Часто воздух ночи исполнен был невнятного шепота, и раз — о, только раз! — я пробудился от глубокого, словно смертельного, сна, ощутив на своих губах прикосновение призрачных уст.

Но пустота в моем сердце все не заполнялась. Я тосковал по любви, которая прежде заполняла его до краев. Настало время, когда долина стада меня тяготить памятью об Элеоноре, и я покинул наш край навсегда ради бурных волнений и суетных радостей мира.

Я очутился в незнакомом городе, где все, казалось, служило тому, чтобы изгнать из памяти сладкие сны, которым предавался я так давно в Долине Многоцветных Трав. Великолепие и пышность блестящего двора, и упоительный звон оружия, и сияние женских очей, смутив, опьянило мой ум. Но душа моя все еще оставалась верна своему обету, и по ночам мне все еще было дано знать о присутствии Элеоноры. Внезапно все прекратилось; и мир потемнел у меня пред глазами; и я пришел в ужас от неотступных мучительных мыслей и страшных соблазнов, ибо из далекой-далекой, чужой, неизвестной земли прибыла к веселому двору короля, которому я служил, дева, чьей красотой пленилось мое неверное сердце — к ее ногам склонил я без колебаний колена в пылком самозабвении любви. Разве могла моя страсть к девочке из долины сравниться с тем лихорадочным жаром, с тем возвышающим дух восторгом и преклоненьем, с которым излил я в слезах свое сердце божественной Эрменгарде? О, светел был

ангельский лик Эрменгарды! — и, зная об этом, я не помышлял ни о ком другом. О божественный свет Эрменгарды! — и, глядя в самую глубь ее всепомнящих очей, я думал только о них — и о ней.

Я обвенчался и не трепетал той кары, которую призывал на себя, и горечь ее меня миновала. И раз — но только раз! — в ночной тиши сквозь решетку окна послышались давно замолкшие тихие вздохи, и милый, такой знакомый голос сказал:

— Спи с миром! — ибо над всем царит Дух Любви, и, отдав свое сердце той, кого зовешь Эрменгардой, ты получишь отпущение — почему, узнаешь на небесах — от клятвы, данной Элеоноре.

Осень, 1841

пер. Н. Демуровой

Три воскресенья на одной неделе

«У, бессердечный, бесчеловечный, жестоковыйный, тупоголовый, замшелый, заматерелый, закоснелый, старый дикарище!» — воскликнул я однажды (мысленно), обращаясь к моему дядюшке (собственно, он был мне двоюродным дедом) Скупердэю, и (мысленно же) погрозил ему кулаком.

Увы, только мысленно, ибо в то время существовало некоторое несоответствие между тем, что я говорил, и тем, чего не отваживался сказать, — между тем, как я поступал, и тем, как, право же, готов был поступить.

Когда я распахнул дверь в гостиную, старый морж сидел, задрав ноги на каминную полку и держа в руке стакан с портвейном, и, насколько ему это было по силам, пытался петь известную песенку:

Remplis ton verre vide!
Vide ton verre plein![671]

— Любезный дядюшка, — обратился я к нему, осторожно прикрыв дверь и изобразив на лице своем простодушнейшую из улыбок, — вы всегда столь добры и снисходи и так много раз выказывали всячески свое благорасположение, что… что я не сомневаюсь, стоит мне только заговорить с вами опять об этом небольшом деле, и я получу ваше полное согласие.

— Гм, — ответствовал дядюшка. — Умник. Продолжай.

— Я убежден, любезнейший дядюшка (у-у, чтоб тебе провалиться, старый злыдень!), что вы, в сущности, вовсе и не хотите воспрепятствовать моему союзу с Кейт. Это просто шутка, я знаю, ха-ха-ха! Какой же вы, однако, дядюшка, шутник!

— Ха-ха, — сказал он. — Черта с два. Ну, так что же?

— Вот видите! Конечно же! Я так и знал. Вы шутили. Так вот, милый дядюшка, мы с Кейт только просим вашего совета касательно того… касательно срока… ну, вы понимаете, дядюшка… срока, когда вам было 6 кг удобнее всего… ну, покончить это дело со свадьбой?

— Покончить, ты говоришь, негодник? Что это значит? Чтобы покончить, надо прежде начать.

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо. Ну, не остроумно ли? Прелесть, ей-богу! Чудо! Но нам всего только нужно сейчас, чтобы вы точно назначили срок.

— Ах, точно?

— Да, дядюшка. Если, понятно, вам это нетрудно.

— А если, Бобби, я эдак приблизительно прикину, скажем, в нынешнем году или чуть позже, это тебе не подходит?

— Нет, дядюшка, скажите точно, если вам нетрудно.

— Ну, ладно, Бобби, мой мальчик, — ты ведь славный мальчик, верно? — коли уж тебе так хочется, чтобы я назначил срок точно, я тебя на этот раз, так и быть, уважу.

— О, дядюшка!

— Молчите, сэр (заглушая мой голос). На этот раз я тебя уважу. Ты получишь мое согласие — а заодно и приданое, не будем забывать о приданом, — постой-ка, сейчас я тебе скажу когда. Сегодня у нас воскресенье? Ну так вот, ты сможешь сыграть свадьбу точно — точнехонько, сэр! — тогда, когда три воскресенья подряд придутся на одну неделю! Ты меня слышал? Ну, что уставился, разиня рот? Говорю тебе, ты получишь Кейт и ее деньги, когда на одну неделю придутся три воскресенья. И не раньше, понял, шалопай? Ни днем раньше, хоть умри. Ты меня знаешь: я человек слова! А теперь ступай прочь. — И он одним глотком осушил свой стакан портвейна, а я в отчаянье выбежал из комнаты.

Как поется в балладе, «английский славный джентльмен»[672] был мой двоюродный дед мистер Скупердэй, но со своими слабостями — в отличие от героя баллады. Он был маленький, толстенький, кругленький, гневливый человечек с красным носом, непрошибаемым черепом, туго набитым кошельком и преувеличенным чувством собственной значительности. Обладая, в сущности, самым добрым сердцем, он среди тех, кто знал его лишь поверхностно, из-за своей неискоренимой страсти дразнить и мучить ближних почитался жестоким и грубым. Подобно многим превосходным людям, он был одержим бесом противоречия, что по первому взгляду легко сходило за прямую злобу. На любую просьбу «нет!» бывало его неизменным ответом, и, однако же, почти не бывало таких просьб, которые бы он

рано или поздно — порой очень поздно — не исполнил. Все посягательства на свой кошелек он встречал в штыки, но сумма, исторгнутая у него в конечном итоге, находилась, как правило, в прямо пропорциональном отношении к продолжительности предпринятой осады и к упорству самозащиты. И на благотворительность он жертвовал всех больше, хотя и ворчал и кряхтел при этом всех громче.

К искусствам, особливо к изящной словесности, питал он глубочайшее презрение, которому научился у Казимира Перье[673], чьи язвительные слова: «A quoi un poete est-il bon?»[674] — имел обыкновение цитировать с весьма забавным прононсом, как пес plus ultra[675] логического остроумия. Потому и мою склонность к музам он воспринял крайне неодобрительно. Как-то в ответ на мою просьбу о приобретении нового томика Горация он вздумал даже уверять меня, будто изречение: «Poeta nascitur non fit»[676] — надо переводить как: «Поэт у нас-то дурью набит», чем вызвал глубокое мое негодование. Его нерасположение к гуманитарным занятиям особенно возросло в последнее время в связи со вдруг вспыхнувшей у него страстью к тому, что он именовал «естественной наукой». Кто-то однажды на улице обратился к нему, по ошибке приняв его за самого доктора О'Болтуса, знаменитого шарлатана «виталиста». Отсюда все и пошло, и ко времени действия моего рассказа — а это все-таки будет рассказ — подъехать к моему двоюродному деду Скупердэю возможно было только на его собственном коньке. В остальном же он только хохотал да отмахивался руками и ногами. И вся его несложная политика сводилась к положению, высказанному Хорслеем[677], что «человеку нечего делать с законами, как только подчиняться им».

Я прожил со стариком всю жизнь. Родители мои, умирая, завещали ему меня, словно богатое наследство. По-моему, старый разбойник любил меня, как родного сына, — почти так же сильно, как он любил Кейт, — и все-таки это была собачья жизнь. С года и до пяти включительно он потчевал меня регулярными трепками. С пяти до пятнадцати, не скупясь, ежечасно грозил исправительным домом. С пятнадцати до двадцати каждый божий день сулился оставить меня без гроша в кармане. Я, конечно, был не ангел, это приходится признать, но такова уж моя натура и таковы, если угодно, мои убеждения. Кейт была мне надежным другом, и я это знал. Она была добрая девушка и

прямо объявила мне со свойственной ей добротой, что я получу ее вместе со всем ее состоянием, как только уломаю дядюшку Скупердэя. Ведь бедняжке едва исполнилось пятнадцать лет, и без его согласия, сколько там ни было у нее денег, все оставалось недоступным еще в течение пяти бесконечных лет, «медлительно длину свою влачащих». Что же в таком случае оставалось делать? Когда тебе пятнадцать и даже когда тебе двадцать один (ибо я уже завершил мою пятую олимпиаду), пять лет — это почти так же долго, как и пятьсот. Напрасно наседали мы на старика с просьбами и мольбами. Этот «piece de resistance»[678] (в терминологии господ Юда[679] и Карема[680]) как раз пришелся ему по вкусу. Сам долготерпеливый Иов возмутился бы, наверное, при виде того, как он играл с нами, точно старый многоопытный кот с двумя мышатами. В глубине души он и не желал ничего иного, как нашего союза. Он сам уже давно решил нас поженить и, наверное, дал бы десять тысяч фунтов из своего кармана (денежки Кейт были ее собственные), чтобы только изобрести законный предлог для удовлетворения нашего вполне естественного желания. Но мы имели неосторожность завести с ним об этом речь сами. И при таком положении вещей он, я думаю, просто не мог не заупрямиться.

Выше я говорил, что у него были свои слабости: но при этом я вовсе не имел в виду его упрямство, которое считаю, наоборот, его сильной стороной — «assurement ce n'etait pas sa faible»[681] Под его слабостью я подразумеваю его невероятную, чисто старушечью приверженность к суевериям. Он придавал серьезное значение снам, предзнаменованиям et id genus omne[682] ерунде. И, кроме того, был до мелочности щепетилен. По-своему он, безусловно, был человеком слова. Я бы даже сказал, что верность слову была его коньком. Дух данного им обещания он не ставил ни во что, но букву соблюдал неукоснительно. И именно эта его особенность позволила моей выдумщице Кейт в один прекрасный день, вскоре после моего с ним объяснения в столовой неожиданно обернуть все дело в нашу пользу. На сем, исчерпав но примеру современных бардов и ораторов на prolegomena[683] имевшееся в моем распоряжении время и почти все место, я теперь в нескольких словах передам то, что составляет, собственно, суть моего рассказа.

Случилось так — по велению Судеб, — что среди знакомых моей нареченной были два моряка и что оба они только что вновь ступили на британскую землю, проведя каждый по целому году в дальнем плавании. И вот, сговорившись заранее, мы с моей милой кузиной взяли с собой этих джентльменов и вместе с ними нанесли визит дядюшке Скупердэю — было это в воскресенье десятого октября, ровно через три недели после того, как он произнес свое окончательное слово, чем сокрушил все наши надежды. Первые полчаса разговор шел на обычные темы, но под конец нам удалось как бы невзначай придать ему такое направление:

Капитан Пратт: М-да, я пробыл в отсутствии целый год. Как раз сегодня ровно год, по-моему. Ну да, погодите-ка, конечно! Сегодня ведь десятое октября. Помните, мистер Скупердэй, год назад я в этот же самый день приходил к вам прощаться? И, кстати сказать, надо же быть такому совпадению, что наш друг капитан Смизертон тоже отсутствовал как раз год — ровно год сегодня, не так ли?

Смизертон: Именно! Точнешенько год! Вы ведь помните, мистер Скупердэй, я вместе с капитаном Праттом навестил вас в этот день год назад и засвидетельствовал вам перед отплытием мое почтение.

Дядя: Да, да, да, я отлично помню. Как, однако же, странно. Оба вы пробыли в отсутствии ровнехонько год! Удивительное совпадение! То, что доктор О'Болтус назвал бы редкостным стечением обстоятельств. Доктор О'Бол…

Кейт (прерывая): И в самом деле, папочка, как странно. Правда, капитан Пратт и капитан Смизертон плыли разными рейсами, а это, вы сами знаете, совсем другое дело.

Дядя: Ничего я такого не знаю, проказница. Да и что тут знать? По-моему, тем удивительнее. Доктор О'Болтус…

Кейт: Но, папочка, ведь капитан Пратт плыл вокруг мыса Горн, а капитан Смизертон обогнул мыс Доброй Надежды. Дядя. Вот именно! Один двигался на запад, а другой на восток. Понятно, стрекотунья? И оба совершили кругосветное путешествие. Между прочим, доктор О'Болтус…

Я (поспешно): Капитан Пратт, приходите к нам завтра вечером — и вы, Смизертон, — расскажете о своих приключениях, сыграем партию в вист…

Пратт: В вист? Что вы, молодой человек! Вы забыли: завтра воскресенье. Как-нибудь в другой раз…

Кейт: Ах, ну как можно? Роберт еще не совсем потерял рассудок. Воскресенье сегодня.

Дядя: Разумеется.

Пратт: Прошу у вас обоих прощения, по невозможно, чтобы я так ошибался. Я точно знаю, что завтра воскресенье, так как я…

Смизертон (с изумлением): Позвольте, что вы такое говорите? Разве не вчера было воскресенье?

Все: Вчера? Да вы в своем ли уме!

Дядя: Говорю вам, воскресенье сегодня! Мне ли не знать?

Пратт: Да нет же! Завтра воскресенье.

Смизертон: Вы просто помешались, все четверо. Я так же твердо знаю, что воскресенье было вчера, как и то, что сейчас я сижу на этом стуле.

Кейт (вскакивая в возбуждении): Ах, я понимаю! Я все понимаю! Папочка, это вам перст судьбы — сами знаете в чем. Погодите, я сейчас все объясню. В действительности это очень просто. Капитан Смизертон говорит, что воскресенье было вчера. И он прав. Кузен Бобби и мы с папочкой утверждаем, что сегодня воскресенье. И это тоже верно, мы правы. А капитан Пратт убежден в том, что воскресенье будет завтра. Верно и это, он тоже прав. Мы все правы, и, стало быть, на одну неделю пришлось три воскресенья!

Смизертон (помолчав): А знаете, Пратт, Кейт ведь правду говорит. Какие же мы с вами глупцы. Мистер Скупердэй, все дело вот в чем. Земля, как вы знаете, имеет в окружности двадцать четыре тысячи миль. И этот шар земной вертится, поворачивается вокруг своей оси, совершая полный оборот протяженностью в двадцать четыре тысячи миль с запада па восток ровно за двадцать четыре часа. Вам понятно, мистер Скупердэй?

Дядя: Да, да, конечно. Доктор О'Бол…

Смизертон (заглушая его): То есть, сэр, скорость его вращения — тысяча миль в чае. Теперь предположим, что я переместился отсюда на тысячу миль к востоку. Понятно, что для меня восход солнца произойдет ровно на чае раньше, чем здесь, в Лондоне. Я обгоню ваше время на один час. Продвинувшись в том же направлении еще на тысячу миль, я опережу ваш восход уже на два часа; еще тысяча миль

— на три часа, и так далее, покуда я не возвращусь в эту же точку, проделав путь в двадцать четыре тысячи миль к востоку и тем самым опередив лондонский восход солнца ровно на двадцать четыре часа. Иначе говоря, я на целые сутки обгоню ваше время. Вы понимаете?

Дядя: Но О'Болтус…

Смизертон (очень громким голосом): Капитан же Пратт, напротив, отплыв на тысячу миль к западу, оказался на час позади, а проделав весь путь в двадцать четыре тысячи миль к западу, на сутки отстал от лондонского времени. Вот почему для меня воскресенье было вчера, для вас оно сегодня, а для Пратта наступит завтра. И главное, мистер Скупердэй, мы все трое совершенно правы, ибо нет никаких философских резонов, почему бы мнению одного из нас следовало отдать предпочтение.

Дядя: Ах ты, черт, действительно… Ну, Кейт, ну, Бобби, это в самом деле, как видно, перст судьбы. Я — человек слова, это каждому известно. И потому ты можешь назвать ее своею (со всем, что за ней дается), когда пожелаешь. Обошли меня, клянусь душою! Три воскресенья подряд, а? Интересно, что скажет О'Болтус на это?

27 ноября, 1841

пер. И. Бернштейн

Овальный портрет

Замок, в который мой камердинер осмелился вломиться, чтобы мне, пораженному тяжким недугом, не ночевать под открытым небом, являл собою одно из тех нагромождений уныния и пышности, что в жизни хмурятся среди Апеннин столь же часто, сколь и в воображении госпожи Радклиф[684]. По всей видимости, его покинули ненадолго и совсем недавно. Мы расположились в одном из самых маленьких и наименее роскошных апартаментов. Он находился в отдаленной башне здания. Его богатое старинное убранство крайне обветшало. На обтянутых гобеленами стенах висело многочисленное и разнообразное оружие вкупе с необычно большим числом вдохновенных произведений живописи наших дней в золотых рамах, покрытых арабесками. К этим картинам, висевшим не только на стенах, но и в бесконечных уголках и нишах, неизбежных в здании столь причудливой архитектуры, я испытывал глубокий интерес, вызванный, быть может, начинающимся у меня жаром; так что я попросил Педро закрыть тяжелые ставни — уже наступил вечер — зажечь все свечи высокого канделябра в головах моей постели и распахнуть как можно шире обшитый бахромой полог из черного бархата. Я пожелал этого, чтобы отдаться если не сну, то хотя бы созерцанию картин и изучению томика, найденного на подушке и посвященного их разбору и описанию.

Долго, долго я читал — и пристально, пристально смотрел. Летели стремительные, блаженные часы, и настала глубокая полночь. Мне не нравилось, как стоит канделябр, и, с трудом протянув руку, чтобы не тревожить моего спящего камердинера, я поставил канделябр так, что свет лучше попадал на книгу. Но это произвело совершенно неожиданное действие. Лучи бесчисленных свечей (их было очень много) осветили нишу комнаты, дотоле погруженную в глубокую тень, отбрасываемую одним из столбов балдахина. Поэтому я увидел ярко освещенной картину, ранее мною вовсе не замеченную. Это был портрет юной, только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на портрет и закрыл глаза. Почему я так поступил, сначала не ясно было и мне самому. Но пока мои веки оставались опущены, я мысленно

отыскал причину. Я хотел выиграть время для размышлений — удостовериться, что зрение меня не обмануло, — успокоить и подавить мою фантазию ради более трезвого и уверенного взгляда. Прошло всего несколько мгновений, и я вновь пристально посмотрел на картину.

Теперь я не мог и не хотел сомневаться, что вижу правильно, ибо первый луч, попавший на холст, как бы отогнал сонное оцепенение, овладевавшее моими чувствами, и разом возвратил меня к бодрствованию.

Портрет, как я уже сказал, изображал юную девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой виньеточной манере, во многом напоминающей стиль головок, любимый Салли[685]. Руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальная, густо позолоченная, покрытая мавританским орнаментом. Как произведение искусства ничто не могло быть прекраснее этого портрета. Но ни его выполнение, ни нетленная красота изображенного облика не могли столь внезапно и сильно взволновать меня. Я никак не мог принять его в полудремоте и за живую женщину. Я сразу увидел, что особенности рисунка, манера живописи, рама мгновенно заставили бы меня отвергнуть подобное предположение — не позволили бы мне поверить ему и на единый миг. Я пребывал в напряженном размышлении, быть может, целый час, полулежа и не отрывая взгляд от портрета. Наконец, постигнув истинный секрет произведенного эффекта, я откинулся на подушки. Картина заворожила меня абсолютным жизнеподобием выражения, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и страх. С глубоким и трепетным благоговением я поставил канделябр на прежнее место. Не видя более того, что столь глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описания картин и их истории. Найдя номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие неясные и странные слова:

> «Она была дева редчайшей красоты, и веселость ее равнялась ее очарованию. И отмечен злым роком был час, когда она увидела живописца и полюбила его и стала его

женою. Он, одержимый, упорный, суровый, уже был обручен — с Живописью; она, дева редчайшей красоты, чья веселость равнялась ее очарованию, вся — свет, вся — улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела одну лишь Живопись, свою соперницу; боялась только палитры, кистей и прочих властных орудий, лишавших ее созерцания своего возлюбленного. И она испытала ужас, услышав, как живописец выразил желание написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и послушлива и много недель сидела в высокой башне, где только сверху сочился свет на бледный холст. Но он, живописец, был упоен трудом своим, что длился из часа в час, изо дня в день. И он, одержимый, необузданный, угрюмый, предался своим мечтам; и он не мог видеть, что от жуткого света в одинокой башне таяли душевные силы и здоровье его молодой жены; она увядала, и это замечали все, кроме него. Но она все улыбалась и улыбалась, не жалуясь, ибо видела, что живописец (всюду прославленный) черпал в труде своем жгучее упоение и работал днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его и все же с каждым днем делалась удрученнее и слабее. И вправду, некоторые видевшие портрет шепотом говорили о сходстве как о великом чуде, свидетельстве и дара живописца и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством. Но наконец, когда труд близился к завершению, в башню перестали допускать посторонних; ибо в пылу труда живописец впал в исступление и редко отводил взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. И он не желал видеть, что оттенки, наносимые на холст, отнимались у ланит сидевшей рядом с ним. И когда миновали многие недели и оставалось только положить один мазок на уста и один полутон на зрачок, дух красавицы снова вспыхнул, как пламя в светильнике. И тогда кисть коснулась холста, и полутон был положен; и на один лишь миг живописец застыл, завороженный своим созданием; но в следующий, все еще не отрываясь от холста, он затрепетал, страшно побледнел и, воскликнув громким голосом: „Да это воистину

сама Жизнь!“, внезапно повернулся к своей возлюбленной: — Она была мертвой!»

Апрель, 1842

пер. В. Рогова

Маска Красной смерти

Красная смерть давно опустошала страну. Никогда ни одна чума не носила такой роковой печати. Это была печать крови, и она имела весь ужас и безобразие крови. Симптомы ее были — острая боль в теле, внезапное головокружение, потом обильный пот из всех пор и разложение всего существа. Появление красных пятен на теле и, в особенности, на лице жертвы, мгновенно делали ее предметом отчуждения для всего человечества и лишали всякой помощи и участия. Для начала, развития и исхода болезни требовалось не более получаса.

Но принц Просперо был счастлив, неустрашим и изобретателен. Когда чума опустошила до половины его владения, он собрал вокруг себя своих придворных рыцарей и дам и, выбрав из них около тысячи самых бодрых и веселых, удалился с этим многочисленным обществом в одно из своих укрепленных аббатств. Это было обширное и великолепное здание, построенное по плану принца в эксцентрическом и грандиозном стиле и обнесенное высокой крепкой стеной с железными воротами. Раз вступивши туда, придворные взялись за наковальни и крепкие молотки, чтоб наглухо запаять замки. Они решились оградить себя от всякого внешнего вторжения и также пресечь всякое покушение к выходу тем, кто находился внутри. Аббатство было в изобилии снабжено съестными припасами, и благодаря этой предосторожности, придворные могли смело издеваться над заразой. Пусть остальные спасаются, как знают, а с их стороны было бы глупо сокрушаться и горевать. Принц позаботился, чтоб не было недостатка в средствах к удовольствию; отовсюду собраны были шуты-импровизаторы, танцовщики и музыканты; вино лилось в изобилии; роскошь и красота ослепляли на каждом шагу. Итак, внутри дворца царствовали безопасность и веселье; снаружи свирепствовала — красная смерть.

В конце пятого или шестого месяца их пребывания в аббатстве, в то время как зараза проявлялась с еще большей силой, принц Просперо вздумал устроить для своих друзей маскарад самого неслыханного великолепия.

Роскошна была картина этого маскарада! Но надо сначала описать залы, в которых он происходил. Их было семь. То была царственная анфилада! Они были устроены совсем иначе, нежели в других дворцах, где анфилады зал тянутся по прямой линии, так что их можно видеть все от первой до последней, когда обе половинки дверей распахнуты настежь. Здесь же было совсем напротив, как и можно было ожидать от принца и от его склонности ко всему необыкновенному. Залы были так неправильно расположены, что нельзя было видеть более одной за раз. Через каждые двадцать или тридцать ярдов был внезапный поворот, и при каждом повороте глазам представлялось новое зрелище. На правой и на левой стороне в средине каждой стены вделано было высокое и узкое готическое окно, выходившее в закрытый коридор, огибавший комнату во всех ее поворотах. В каждом окне были цветные стекла, гармонировавшие с цветом, преобладавшим в убранстве той залы, в которую оно выходило. Например, зала, занимавшая восточный угол, обита была голубым, и окна были темно-голубого цвета. Вторая комната убрана и обита пурпуровым цветом, и стекла были пурпуровые. Третья вся зеленая и окна зеленые. Четвертая оранжевая освещалась окном оранжевого цвета, пятая — белая, шестая — фиолетовая.

Седьмая зала была вся увешана драпировками из черного бархата, покрывавшими потолок и стены, и ниспадавшими тяжелыми складками на ковер из той же материи и того же цвета. Но только в этой комнате цвет окон не соответствовал убранству. Стекла были красные — яркого цвета крови.

Ни в одной из семи зал, посреди множества золотых украшений, рассыпанных повсюду, не видно было ни ламп, ни канделябр. Ни одна из семи зал не освещалась ни лампами, ни свечами и никаким освещением в этом роде. Но в коридорах, опоясывавших их, прямо против каждого окна возвышался огромный треножник с пылающим костром, отбрасывавшим свое пламя сквозь цветные стекла и ослепительно освещавшим залу. Это производило необыкновенный фантастический эффект. Но в западной комнате, в черной комнате, свет костра, отражавшийся на черных обоях и сквозь кровавые стекла, был страшно мрачен, и придавал лицам входивших туда такой странный вид, что очень немногие из танцующих отваживались вступать в это магическое пространство.

На западной стороне стены седьмой залы возвышались гигантские эбеновые часы. Маятник их качался с глухим, тяжелым и однообразным звуком, и когда минутная стрелка обегала круг циферблата и часы готовились пробить, то из внутренности машины исходил звук отчетливый, звучный, глубокий и чрезвычайно музыкальный, но такого особенного тона и такой силы, что музыканты оркестра чрез каждый час принуждены бывали прерывать на минуту свои аккорды, чтоб слушать музыку часов, танцующие останавливались, минутное смятение пробегало в веселом собрании, и пока раздавался бой, самые сумасбродные бледнели, и самые спокойные и благоразумные проводили рукой по лбу, как бы под влиянием тяжелого кошмара. Но когда отголосок последнего удара совсем замолкал, общество оживало. Музыканты переглядывались, смеясь над своим нервическим страхом, и уверяя друг друга, что следующий бой не произведет на них более никакого влияния. Но по прошествии трех тысяч шестисот секунд, заключающихся в шестидесяти минутах, бой роковых часов снова, раздавался и снова производил то же смятение, то же содрогание и волнение.

Несмотря на все это, оргия была весела и великолепна. Оригинальный вкус принца проглядывал во всем. Его необыкновенное искусство, в отношении выбора цветов и рассчитанности эффектов, создавало чудеса. Он презирал все пошлое и условное. Планы его были дики и дерзки, соображения отличались варварским величием. Многие сочли бы его сумасшедшим; и хотя придворные его чувствовали, что он не был сумасшедший, но для того, чтоб убедиться в этом последнем, надо было коротко его знать.

По случаю этого празднества, он сам лично распоряжался декорацией и убранством семи зал, и по его личному вкусу заказаны были все костюмы. Они были придуманы чрезвычайно причудливо, и ослепляли, сверкали; были между ними и нелепые и фантастические; были фигуры, испещренные арабесками, уродливо закутанные, невероятно сложенные, чудовищные как фантазии безумия; было тут и прекрасное, и бесстыдное, и много странного, страшного и отвратительного. Одним словом, все это общество, собравшееся в семи залах, можно было принять за осуществление снов кошмара. И эти воплощенные сны, которым каждая из зал придавала свой различный оттенок, сновали и корчились во всех направлениях. И

казалось, что они производили музыку своими ногами, и что странные пьесы оркестра были отголоском их шагов.

Между тем бой эбеновых часов аккуратно раздавался в определенное время в бархатной зале. И тогда все стихало, все замолкало, маски останавливались как прикованные к своим местам. Но страшный бой затихал, и все снова смеялись над своим страхом. И музыка раздавалась еще громче, и танцующие кружились еще быстрее, и на всем этом, сквозь цветные окна, отражался блеск костров. С приближением ночи ни одна маска не отваживалась уже проникнуть «в черную залу». Свет, пробивавшийся в нее сквозь кровавые стекла, делался все ярче, и вид черных обоев внушал непреодолимый ужас тем, кто решался вступить туда. Казалось, что бой часов раздавался там с большею торжественностью, чем в других залах, где под звуки музыки кружились танцующие пары.

Лихорадочное веселье оживляло все общество, праздник был во всем разгаре, когда раздался полночный бой на часах. Этот бой произвел свое обычное действие: музыканты и танцующие остановились, и повсюду воцарилась мрачная неподвижность. На этот раз часы должны были пробить двенадцать ударов, и в продолжение этого времени присутствующие несколько отрезвились от своего опьянения. Может быть, также благодаря этому, прежде чем стих отголосок последнего удара, некоторые заметили присутствие маски, которая до сих пор не привлекала ничьего внимания. С глухим шепотом пронесся слух о вторжении неизвестного лица и возбудил во всех ропот удивления и неудовольствия, превратившийся под конец в чувство ужаса, и отвращения. Без сомнения, это должно было быть очень необычайное явление, чтоб произвести подобное впечатление на такое разнородное общество. Как ни мало была ограничена маскарадная свобода в эту ночь, но неизвестный переступил даже те снисходительные условия приличия, которые принц допустил в выборе костюмов. В сердцах самых беспечных, есть струны, до которых нельзя дотрагиваться; для людей, отвергающих все святое, есть, однако, вещи, с которыми нельзя шутить. Все общество, по-видимому, было глубоко поражено неприличием и неуместностью поведения и костюма незнакомца. Он представлял фигуру высокую и худую как скелет, с головы до ног окутанную в саван. На лице его была надета маска, изображавшая в таком совершенстве черты окоченелого

трупа, что при самом тщательном наблюдении, трудно было ошибиться. Несмотря на всю неуместность этой шутки, опьяневшее общество, может быть, и допустило бы ее; но маска дошла до того, что олицетворила в себе полный тип красной смерти. Лоб и все черты лица ее были испещрены кровавыми пятнами, одежда была испачкана кровью.

Когда глаза принца Просперо обратились на страшную фигуру привидения, — которое, как бы для того, чтоб лучше поддержать свою роль, медленно и торжественно прохаживалось между танцующими, — неодолимый трепет ужаса и отвращения пробежал по всем его членам; но гнев тотчас же пересилил в нем все другие чувства.

— Кто осмеливается, — спросил он хриплым голосом у окружавших его придворных: — кто осмеливается оскорблять нас такой богохульной насмешкой? Схватите его и сорвите маску, чтоб мы знали, кого нам придется повесить на зубцах башни, при солнечном восходе!

Во время этой сцены, принц Просперо находился в южной или голубой зале. Слова его звучно раздались во всех семи залах, потому что он был человек здоровый и сильный, и музыка тотчас умолкла по мановению его руки.

Его окружала группа побледневших придворных. Сначала, когда он заговорил, группа эта обнаружила намерение броситься на незваного пришлеца, который свободным и величественным шагом приближался все более и более к принцу. Но вследствие какого-то неопределенного ужаса, внушенного дерзостью маски, никто не решился на нее напасть, так что, не встречая никакого препятствия, она прошла в двух шагах от принца, и между тем как собрание, как бы повинуясь одному и тому же чувству, отступало от центра залы к стенам, она продолжала путь свой, не останавливаясь, все тем же торжественным и мерным шагом, — из голубой комнаты в пурпуровую, из пурпуровой в зеленую, из зеленой в оранжевую, — из этой в белую — а оттуда в фиолетовую. Тогда-то принц Просперо, вне себя от ярости, и стыдясь своей минутной трусости, бросился вслед за незнакомцем через все шесть зал, но никто за ним не последовал, потому что смертельный страх овладел всеми. Он бежал, потрясая обнаженным кинжалом, и остановился шагах в трех или четырех от

призрака. Тот начал отступать, и наконец достигши конца бархатной залы, быстро обернулся и стал лицом к лицу с своим преследователем. Раздался пронзительный крик, кинжал выскользнул из рук принца, и он упал мертвый на траурный ковер.

Тогда-то вооружившись мужеством отчаяния, вся толпа ринулась в черную залу и схватила незнакомца, стоявшего прямо и неподвижно, как статуя в тени эбеновых часов. Но как описать их неслыханный ужас, когда под саваном и маской не оказалось никакой осязательной формы…

Тогда для всех стало ясно — присутствие Красной Смерти. Она подкралась как вор среди ночи. И все пирующие упали один за одним в тех самых залах, где за минуту пред тем бушевала оргия, упали, орошенные кровавым потом, и каждый из них умер в том положении отчаяния и ужаса, в каком застигло его падение. И жизнь эбеновых часов прекратилась вместе с жизнью последнего из этих беззаботных существ. И пламя костров потухло. И Мрак, Разрушение и Красная Смерть остались тут единственными и безграничными властелинами.

Май, 1842

пер. П. Лачиновой

Колодец и маятник

Impia tortorum longas hic turba furores Sanguinis innocui, non satiata, aluit. Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro, Mors ubi dira fuit, vita salusque patent.[714]

Четверостишие, сочиненное для ворот рынка, который решили построить на месте Якобинского клуба в Париже[715]

Я изнемог; долгая пытка совсем измучила меня; и когда меня наконец развязали и усадили, я почувствовал, что теряю сознание. Слова смертного приговора — страшные слова — были последними, какие различило мое ухо. Потом голоса инквизиторов слились в смутный, дальний гул. Он вызвал в мозгу моем образ вихря, круговорота, быть может, оттого, что напомнил шум мельничного колеса. Но вот и гул затих; я вообще перестал слышать. Зато я все еще видел, но с какой беспощадной, преувеличенной отчетливостью! Я видел губы судей над черными мантиями. Они показались мне белыми — белей бумаги, которой я поверяю зти строки, — и ненатурально тонкими, так сжала их неумолимая твердость, непреклонная решимость, жестокое презрение к человеческому горю. Я видел, как движенья этих губ решают мою судьбу, как зти губы кривятся, как на них шевелятся слова о моей смерти. Я видел, как они складывают слоги моего имени; и я содрогался, потому что не слышал ни единого звука. В эти мгновения томящего ужаса я все-таки видел и легкое, едва заметное колыханье черного штофа, которым была обита зала. Потом взгляд мой упал на семь длинных свечей на столе. Сначала они показались мне знаком милосердия, белыми стройными ангелами, которые меня спасут; но тотчас меня охватила смертная тоска, и меня всего пронизало дрожью, как будто я дотронулся до проводов гальванической батареи, ангелы стали пустыми призраками об огненных головах, и я понял, что они мне ничем не помогут. И тогда-то в мое сознанье, подобно нежной музыкальной фразе, прокралась

мысль о том, как сладок должен быть покой могилы. Она подбиралась мягко, исподволь и не вдруг во мне укрепилась; но как только она наконец овладела мной вполне, лица судей скрылись из глаз, словно по волшебству; длинные свечи вмиг сгорели дотла; их пламя погасло; осталась черная тьма; все чувства во мне замерли, исчезли, как при безумном падении с большой высоты, будто сама душа полетела вниз, в преисподнюю. А дальше молчание, и тишина, и ночь вытеснили все остальное.

Это был обморок; и все же не стану утверждать, что потерял сознание совершенно. Что именно продолжал я сознавать, не берусь ни определять, ни даже описывать; однако было потеряно не все. В глубочайшем сне — нет! В беспамятстве — нет! В обмороке — нет! В смерти — нет! Даже в могиле не все потеряно. Иначе не существует бессмертия. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы разрываем зыбкую паутину некоего сновиденья. Но в следующий миг (так тонка эта паутина) мы уже не помним, что нам снилось. Приходя в себя после обморока, мы проходим две ступени: сначала мы возвращаемся в мир нравственный и духовный, а потом уж вновь обретаем ощущение жизни физической. Возможно, что, если, достигнув второй ступени, мы бы помнили ощущения первой, в них нашли бы мы красноречивые свидетельства об оставленной позади бездне. Но бездна эта — что она такое? И как хоть отличить тени ее от могильных? Однако, если впечатления того, что я назвал первой ступенью, нельзя намеренно вызвать в памяти, разве не являются они нам нежданно, неведомо откуда, спустя долгий срок? Тот, кто не падал в обморок, никогда не различит диковинных дворцов и странно знакомых лиц в догорающих угольях; не увидит парящих в вышине печальных видений, которых не замечают другие, не призадумается над запахом неизвестного цветка, не удивится вдруг музыкальному ритму, никогда прежде не останавливавшему его внимания.

Среди частых и трудных усилий припомнить, среди упорных стараний собрать разрозненные приметы того состояния кажущегося небытия, в какое впала моя душа, бывали минуты, когда мне мнился успех; не раз — очень ненадолго — мне удавалось вновь призвать чувства, которые, как понимал я по зрелом размышленье, я мог испытать не иначе, как во время своего кажущегося беспамятства. Призрачные воспоминанья невнятно говорят мне о том, как высокие

фигуры подняли и безмолвно понесли меня вниз, вниз, все вниз, пока у меня не захватило дух от самой нескончаемости спуска. Они говорят мне о том, как смутный страх сжал мне сердце, оттого что сердце это странно затихло. Потом все вдруг сковала неподвижность, точно те, кто нес меня (зловещий кортеж!), нарушили, спускаясь, пределы беспредельного и остановились передохнуть от тяжкой работы. Потом душу окутал унылый туман. А дальше все тонет в безумии — безумии памяти, занявшейся запретным предметом.

Вдруг ко мне вернулись движение и шум — буйное движение, биение сердца шумом отозвалось в ушах. Потом был безмолвный провал пустоты. Но тотчас шум и движение, касание — и трепет охватил весь мой состав. Потом было лишь ощущение бытия, без мыслей — и это длилось долго. Потом внезапно проснулась мысль и накатил ужас, и я уже изо всех сил старался осознать, что же со мной произошло. Потом захотелось вновь погрузиться в беспамятство. Потом душа встрепенулась, напряглась усилием ожить и ожила. И тотчас вспомнились пытки, судьи, траурный штоф на стенах, приговор, дурнота, обморок. И опять совершенно забылось все то, что уже долго спустя мне удалось кое-как воскресить упорным усилием памяти.

Я пока не открывал глаз. Я понял, что лежу на спине, без пут. Я протянул руку, и она наткнулась на что-то мокрое и твердое. Несколько мгновений я ее не отдергивал и все соображал, где я и что со мной. Мне мучительно хотелось оглядеться, но я не решался. Я боялся своего первого взгляда. Я не боялся увидеть что-то ужасное, нет, я холодел от страха, что вовсе ничего не увижу. Наконец с безумно колотящимся сердцем я открыл глаза. Самые дурные предчувствия мои подтвердились. Чернота вечной ночи окружала меня. У меня перехватило дыхание. Густая тьма будто грозила задавить меня, задушить. Было нестерпимо душно. Я неподвижно лежал, стараясь собраться с мыслями. Я припомнил обычаи инквизиции и попытался, исходя из них, угадать свое положение. Приговор вынесен; и, кажется, с тех пор прошло немало времени. Но ни на миг я не предположил, что умер. Такая мысль, вопреки выдумкам сочинителей, нисколько не вяжется с жизнью действительной; но где же я, что со мной? Приговоренных к смерти, я знал, обычно казнили на аутодафе, и такую казнь как раз уже назначили на день моего суда. Значит, меня снова бросили в мою темницу, и теперь я несколько месяцев буду ждать

следующего костра? Да нет, это невозможно. Отсрочки жертве не дают. К тому же у меня в темнице, как и во всех камерах смертников в Толедо, пол каменный, и туда проникает тусклый свет.

Вдруг мое сердце так и перевернулось от ужасной догадки, и ненадолго я снова лишился чувств. Придя в себя, я тотчас вскочил на ноги; я дрожал всем телом. Я отчаянно простирал руки во все стороны. Они встречали одну пустоту. А я шагу не мог ступить от страха, что могу наткнуться на стену склепа. Я покрылся потом. Он крупными каплями застыл у меня на лбу. Наконец, истомясь неизвестностью, я осторожно шагнул вперед, вытянув руки и до боли напрягая глаза в надежде различить слабый луч света. Так прошел я немало шагов; но по-прежнему все было черно и пусто. Я вздохнул свободней. Я понял, что мне уготована, по крайней мере, не самая злая участь.

Я осторожно продвигался дальше, а в памяти моей скоро стали тесниться несчетные глухие слухи об ужасах Толедо. О здешних тюрьмах ходили странные рассказы — я всегда почитал их небылицами, — до того странные и зловещие, что их передавали только шепотом. Что, если меня оставили умирать от голода в подземном царстве тьмы? Иди меня ждет еще горшая судьба? В том, что я обречен уничтожению, и уничтожению особенно безжалостному, и не мог сомневаться, зная нрав своих судей. Лишь мысль о способе и часе донимала и сводила меня с ума.

Наконец мои протянутые руки наткнулись на препятствие. Это была стена, очевидно, каменной кладки, совершенно гладкая, склизкая и холодная. Я пошел вдоль нее, ступая с той недоверчивой осторожностью, которой научили меня иные старинные истории. Однако таким способом еще нельзя было определить размеров темницы; я мог обойти ее всю и вернуться на то же место, так ничего и не заметив, ибо стена была совершенно ровная и везде одинаковая. Тогда я стал искать нож, который лежал у меня в кармане, когда меня повели в судилище; ножа я не нашел. Мое платье сменили на балахон из мешковины. А я-то хотел всадить лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями, чтоб определить начало пути. Затруднение, правда, оказалось пустое, и лишь в тогдашней моей горячке оно представилось мне сначала неодолимым. Я отодрал толстую подрубку подола и положил его под прямым углом к стене. Пробираясь вдоль стены, я непременно наткнусь на нее, обойдя круг. Так я рассчитал. Но я не

подумал ни о размерах темницы, ни о собственной своей слабости. Земля была сырая и скользкая. Я проковылял еще немного, споткнулся и упал. Изнеможение помешало мне подняться, и скоро меня одолел сон.

Проснувшись, я вытянул руку и нащупал рядом ломоть хлеба и кувшин с водою. Я так был измучен, что не стал размышлять, откуда они взялись, но жадно осушил кувшин и съел хлеб. Скоро я снова побрел вдоль стены и с большим трудом наконец добрался до места, где лежала мешковина. До того, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как встал и пошел сызнова, насчитал их сорок восемь. Значит, всего шагов получалось сто; и, положив на ярд по два шага, я заключил, что тюрьма моя имеет окружность в пятьдесят ярдов. Однако в стене оказалось и много углов, и я никак не мог догадаться о форме подземелья, ибо в голове у меня засела мысль, что здесь непременно подземелье.

Мои расследованья были почти бесцельны и уж вовсе безнадежны, но странное любопытство побуждало меня их продолжать. Я отделился от стены и решил пересечь обнесенное ею пространство. То и дело оскользаясь на предательском, хоть и твердом полу, я сперва ступал с величайшей осторожностью. Но потом я набрался храбрости и пошел тверже, стараясь не сбиваться с прямого пути. Так прошел я шагов десять — двенадцать, но споткнулся о свисавший оборванный край своего подола, сделал еще шаг и рухнул ничком.

Опомнился я не сразу, и лишь несколько секунд спустя мое внимание привлекло удивительное обстоятельство. Дело вот в чем — подбородком я уткнулся в тюремный пол, а губы и верхняя часть лица, хоть и опущенные ниже подбородка, ни к чему не прикасались. Мой лоб точно погрузился во влажный пар, а в ноздри лез ни с чем не сравнимый запах плесени. Я протянул руку и с ужасом обнаружил, что лежу у самого края круглого колодца, глубину которого я, разумеется, пока не мог определить. Я пошарил по краю кладки, ухитрился отломить кусок кирпича и бросил вниз. Несколько мгновений я слышал, как он, падая, гулко ударялся о стенки колодца, наконец глухо всплеснулась вода, и ей громко отозвалось эхо. В тот же миг раздался такой звук, будто где-то наверху распахнули и разом захлопнули дверь, тьму прорезал слабый луч и тотчас погас.

Тут я понял, какая мне готовилась судьба, и поздравил себя с тем, что так вовремя споткнулся. Еще бы один шаг — и больше мне не видеть белого света. О таких именно казнях упоминалось в тех рассказах об инквизиции, которые почитал я вздором и выдумками. У жертв инквизиции был выбор: либо смерть в чудовищных муках телесных, либо смерть в ужаснейших мучениях нравственных. Мне осталось последнее. От долгих страданий мои нервы совсем расшатались, я вздрагивал при звуке собственного голоса и как нельзя более подходил для того рода пыток, какие меня ожидали.

Весь дрожа, я отполз назад к стене, решившись скорей погибнуть там, только бы избегнуть страшных колодцев, которые теперь мерещились мне повсюду. Будь мой рассудок в ином состоянии, у меня бы хватило духу самому броситься в пропасть и положить конец беде, но я стал трусом из трусов. К тому же из головы не шло то, что я читал о таких колодцах — мгновенно расстаться с жизнью там никому еще не удавалось.

От возбужденья я долгие часы не мог уснуть, но наконец забылся. Проснувшись, я, как и прежде, обнаружил подле себя ломоть хлеба и кувшин с водой. Меня терзала жажда, и я залпом осушил кувшин. К воде, верно, примешали какого-то зелья; не успел я допить ее, как меня одолела дремота. Я погрузился в сон — глубокий, как сон смерти. Долго ли я спал, я, разумеется, не знаю, но только, когда я снова открыл глаза, я вдруг увидел, что меня окружает. В робком зеленоватом свете, которого источник я заметил не сразу, мне открылись вид и размеры моей тюрьмы.

Я намного ошибся, прикидывая протяженность стены. Она была не более двадцати пяти ярдов. Несколько минут я глупо дивился этому открытию, поистине глупо! Ибо какое значение в моих ужасных обстоятельствах могла иметь площадь темницы? Но ум цеплялся за безделицы, и я принялся истово доискиваться до ошибки, какую сделал в своих расчетах. И наконец меня осенило. Сначала, до того как я упал в первый раз, я насчитал пятьдесят два шага; и, верно, упал я всего в двух шагах от куска мешковины, успев обойти почти всю стену. Потом я заснул, и со сна, верно, пошел не в ту сторону; понятно поэтому, отчего стена представилась мне вдвое длинней. В смятении я не заметил, что в начале пути она была у меня слева, а в конце оказалась справа.

Относительно формы тюрьмы я тоже обманулся. Я уверенно счел ее весьма неправильной, нащупав на стене много углов, так могущественно воздействие кромешной тьмы на того, кто очнулся от сна или летаргии! Оказалось, что углы — всего-навсего легкие вмятины или углубления в неравном расстоянии одна от другой. Форма же камеры была квадратная. То, что принял я за каменную кладку, оказалось железом или еще каким-то металлом в огромных листах, стыки или швы которых и создавали вмятины. Вся поверхность этого металлического мешка была грубо размалевана мерзкими, гнусными рисунками — порождениями мрачных монашеских суеверий. Лютые демоны в виде скелетов или в иных более натуральных, но страшных обличьях, безобразно покрывали сплошь все стены. Я заметил, что контуры этих чудищ довольно четки, а краски грязны и размыты, как бывает от сырости. Потом я увидел, что пол в моей тюрьме каменный. Посередине его зияла пасть колодца, которой я избегнул; но этот колодец был в темнице один.

Все это смог я различить лишь смутно и с трудом; ибо собственное мое положение за время забытья значительно изменилось. Меня уложили навзничь, во весь рост на какую-то низкую деревянную раму. Меня накрепко привязали к ней длинным ремнем вроде подпруги. Ремень много раз перевил мне тело и члены, оставляя свободной только голову и левую руку, так чтоб я мог ценой больших усилий дотянуться до глиняной миски с едой, стоявшей подле на полу. К ужасу своему я обнаружил, что кувшин исчез. Я сказал — «к ужасу своему». Да, меня терзала нестерпимая жажда. Мои мучители, верно, намеревались еще пуще ее распалить; в глиняной миске лежало остро приправленное мясо.

Подняв глаза, я разглядел потолок своей темницы. В тридцати или сорока футах надо мной, он состоял из тех же самых, что и стены, листов. Чрезвычайно странная фигура на одном из них приковала мое внимание. Это была Смерть, как обыкновенно ее изображают, но только вместо косы в руке она держала то, что при беглом взгляде показалось мне рисованным маятником, как на старинных часах. Однако что-то в этом механизме заставило меня вглядеться в него пристальней. Пока я смотрел прямо вверх (маятник приходился как раз надо мною), мне почудилось, что он двигается. Минуту спустя впечатление подтвердилось. Ход маятника был короткий и, разумеется,

медленный. Несколько мгновений я следил за ним с некоторым страхом, но скорей с любопытством. Наконец, наскуча его унылым качаньем, я решил оглядеться.

Легкий шум привлек мой слух, я посмотрел на пол и увидел, как его пересекает полчище огромных крыс. Они лезли из щели, находившейся в моем поле зрения справа. Прямо у меня на глазах они тесным строем жадно устремлялись к мясу, привлеченные его запахом. Немалого труда стоило мне отогнать их от миски.

Прошло, пожалуй, полчаса, возможно, и час (я мог лишь приблизительно определять время), прежде чем я снова взглянул вверх. То, что я увидел, меня озадачило и поразило. Размах маятника увеличился почти на целый ярд. Выросла, следственно, и его скорость. Но особенно встревожила меня мысль о том, что он заметно опустился. Теперь я увидел, — надо ли описывать, с каким ужасом! — что нижний конец его имеет форму серпа из сверкающей стали, длиною примерно с фут от рога до рога; рожки повернуты кверху, а нижний край острый, как лезвие бритвы; выше от лезвия серп наливался, расширялся и сверху был уже тяжелый и толстый. Он держался на плотном медном стержне, и все вместе шипело, рассекая воздух.

Я не мог более сомневаться в том, какую участь уготовила мне монашья изобретательность в пытках. Инквизиторы прознали, что мне известно о колодце; его ужасы предназначались таким дерзким ослушникам, как я; колодец был воплощенье ада, по слухам, — всех казней. Благодаря чистейшему случаю я не упал в колодец. А я знал, что внезапность страданья, захват им жертвы врасплох — непременное условие чудовищных тюремных расправ. Раз уж я сам не свалился в пропасть, меня не будут в нее толкать, не такова их дьявольская затея; а потому (выбора нет) меня уничтожат иначе, более мягко. Мягко! Я готов был улыбнуться сквозь муку, подумав о том, как мало идет к делу это слово.

Что пользы рассказывать о долгих, долгих часах нечеловеческого ужаса, когда я считал удары стального серпа! Дюйм за дюймом, удар за ударом — казалось, века проходили, пока я это замечал — но он неуклонно спускался все ниже и ниже! Миновали дни, — быть может, много дней, — и он спустился так низко, что обдал меня своим едким дыханьем. Запах остро отточенной стали забивался мне в ноздри. Я

молился, я досаждал небесам своей мольбой о том, чтоб он спускался поскорей. Я сходил с ума, я рвался вверх, навстречу взмахам зловещего ятагана. Или вдруг успокаивался, лежал и улыбался своей сверкающей смерти, как дитя — редкой погремушке.

Я снова лишился чувств — ненадолго, ибо когда я очнулся, я не понял, спустился ли маятник. А быть может, надолго, ибо я сознавал присутствие злых духов, которые заметили мой обморок и могли нарочно остановить качанье. Придя в себя, я почувствовал такую, о! невыразимую слабость, будто меня долго изнуряли голодом. Несмотря на страданья, человеческая природа требует еды. Я с трудом вытянул левую руку настолько, насколько мне позволяли путы, и нащупал жалкие объедки, оставленные мне крысами. Когда я положил в рот первый кусок, в мозгу моем вдруг мелькнул обрывок мысли, окрашенной радостью, надеждой. Надежда для меня — возможно ли? Как я сказал, то был лишь обрывок мысли, — мало ли таких мелькает в мозгу, не завершаясь? Я ощутил, что мне помстилась радость, надежда, но тотчас же ощутил, как мысль о них умерла нерожденной. Тщетно пытался я додумать ее, поймать, воротить. Долгие муки почти лишили меня обычных моих мыслительных способностей. Я сделался слабоумным, идиотом.

Взмахи маятника шли под прямым углом к моему телу. Я понял, что серп рассечет меня в том месте, где сердце. Он протрет мешковину, вернется, повторит свое дело опять… опять. Несмотря на страшную ширь взмаха (футов тридцать, а то и более) и шипящую мощь спуска, способную сокрушить и самые эти железные стены, он протрет мешковину на мне, и только! И здесь я запнулся. Дальше этой мысли я идти не посмел. Я задержался на ней, я цеплялся за нее, будто бы так можно было удержать спуск маятника. Я заставил себя вообразить звук, с каким серп разорвет мой балахон, тот озноб, который пройдет по телу в ответ на трение ткани. Я мучил себя этим вздором, покуда совершенно не изнемог.

Вниз — все вниз сползал он. С сумасшедшей радостью противопоставлял я скорость взмаха и скорость спуска. Вправо — влево — во всю ширь! — со скрежетом преисподней к моему сердцу, крадучись, словно тигр. Я то хохотал, то рыдал, уступая смене своих порывов.

Вниз, уверенно, непреклонно вниз! Вот он качается уже в трех дюймах от моей груди. Я безумно, отчаянно старался высвободить левую руку. Она была свободна лишь от локтя до кисти. Я только дотягивался до миски и подносил еду ко рту, и то ценою мучительных усилий. Если б мне удалось высвободить всю руку, я бы схватил маятник и постарался его остановить. Точно так же мог бы я остановить лавину!

Вниз, непрестанно, неумолимо вниз! Я задыхался и обмирал от каждого его разлета. У меня все обрывалось внутри от каждого взмаха. Мои глаза провожали его вбок и вверх с нелепым пылом совершенного отчаяния. Я жмурился, когда он спускался, хотя смерть была бы избавленьем, о! несказанным избавленьем от мук. И все же я дрожал каждой жилкой при мысли о том, как легко спуск механизма введет острую сверкающую секиру мне в грудь. От надежды дрожал я каждой жилкой, от надежды обрывалось у меня все внутри. О, надежда, — победительница скорбей, — это она нашептывает слова утешенья обреченным даже в темницах инквизиции.

Я увидел, что еще десять — двенадцать взмахов — и сталь впрямь коснется моего балахона, и оттого я вдруг весь собрался и преисполнился ясным спокойствием отчаяния. Впервые за долгие часы — или даже дни — я стал думать. Я сообразил, что моя подпруга, мои путы — цельные, сплошные. Меня связали одним-единственным ремнем. Где бы лезвие ни прошлось по путам, оно рассечет их так, что и сразу смогу высвободиться от них с помощью левой руки. Только как же близко мелькнет от меня сталь! Как гибельно может оказаться всякое неверное движенье! Однако мыслимо ли, что прихлебатели палача не предусмотрели такой возможности? Вероятно ли, что тело мое перевязано там, куда должен спуститься маятник? Страшась утратить слабую и, должно быть, последнюю надежду, я все же приподнял голову, чтобы как следует разглядеть свою грудь. Подпруга обвивала мне тело и члены сплошь, но только не по ходу губительного серпа!

Едва успел я снова опустить голову, и в мозгу моем пронеслось то, что лучше всего назвать недостающей половиной идеи об избавлении, о которой я уже упоминал и которой первая часть лишь смутно промелькнула в моем уме, когда я поднес еду к запекшимся губам. Теперь мысль сложилась до конца, слабая, едва ли здравая, едва

ли ясная, но она сложилась. Отчаяние придало мне сил, и я тотчас взялся за ее осуществление.

В течение многих часов пол вокруг моего низкого ложа буквально кишел крысами. Бешеные, наглые, жадные, они пристально смотрели на меня красными глазами, будто только и ждали, когда я перестану шевелиться, чтобы тотчас сделать меня своей добычей. «К какой же пище, — думал я, — привыкли они в подземелье?»

Как ни старался я отгонять их от миски, они съели почти все ее содержимое, оставя лишь жалкие объедки. Я однообразно махал рукой над миской, и из-за этой бессознательной монотонности движения мои перестали оказывать действие на хищников. Прожорливые твари то и дело кусали меня за пальцы. И вот последними остатками жирного, остро пахучего мяса я тщательно натер свои путы, там, где сумел дотянуться до них; потом я поднял руку с пола и, затаив дыханье, замер.

Сначала ненасытных животных поразила и спугнула внезапная перемена — моя новая неподвижная поза. Они отпрянули; иные метнулись обратно к щели. Но лишь на мгновенье. Не напрасно рассчитывал я на их алчность. Заметя, что я не шевелюсь, две-три самых наглых вспрыгнули на мою подставку и стали обнюхивать подпругу. Прочие будто только ждали сигнала. Новые полчища хлынули из щели. Они запрудили все мое ложе и сотнями попрыгали прямо на меня. Мерное движенье маятника ничуть им не препятствовало. Увертываясь от ударов, они занялись умащенной подпругой. Они теснились, толкались, они толпились на моем теле, все вырастая в числе. Они метались по моему горлу; их холодные пасти тыкались в мои губы; они чуть не удушили меня. Омерзение, которого не передать никакими словами, мучило меня, леденило тяжким, липким ужасом. Но еще минута — и я понял, что скоро все будет позади. Я явственно ощутил, что ремень расслабился. Значит, крысы уже перегрызли его. Нечеловеческим усилием я заставлял себя лежать тихо.

Нет, я не ошибся в своих расчетах, я не напрасно терпел. Наконец я почувствовал, что свободен. Подпруга висела на мне обрывками. Но маятник уже коснулся моей груди. Он распорол мешковину. Он разрезал белье под нею. Еще два взмаха — и острая боль пронзила меня насквозь. Но миг спасенья настал. Мановением руки я обратил в

бегство своих избавителей. Продуманным движеньем — осторожно, боком, косо, медленно — я скользнул прочь из ремней так, чтобы меня не доставал ятаган. Хоть на мгновенье, но я был свободен.

Свободен! И в тисках инквизиции! Едва ступил я с деревянного ложа пыток на каменный тюремный пол, как адская машина перестала качаться, поднялась, и незримые силы унесли ее сквозь потолок. Печальный урок этот привел меня в отчаяние. За каждым движением моим следят. Свободен! Я всего лишь избегнул одной смертной муки ради другой муки, горшей, быть может, чем сама смерть. Подумав так, я стал беспокойно разглядывать железные стены, отделявшие меня от мира. Какая-то странность — перемена, которую и не вдруг осознал, — без сомненья, случилась в темнице. На несколько минут я забылся в тревожных мыслях; я терялся в тщетных, бессвязных догадках. Тут я впервые распознал источник зеленоватого света, освещавшего камеру. Он шел из прорехи с полдюйма шириной, которая опоясывала всю темницу, по низу стен, совершенно отделяя их от пола. Я пригнулся, пытаясь заглянуть в проем, разумеется, безуспешно.

Когда я распрямился, мне вдруг открылась тайна происшедшей в камере перемены. Я уже говорил, что, хотя роспись на стенах по очертаниям была достаточно четкой, краски как будто размылись и поблекли. Сейчас же они обрели и на глазах обретали пугающую, немыслимую яркость, от которой портреты духов и чертей принимали вид непереносимый и для нервов более крепких, чем мои. Бесовские взоры с безумной, страшной живостью устремлялись на меня отовсюду, с тех мест, где только что их не было и помину, и сверкали мрачным огнем, который я, как ни напрягал воображение, не мог счесть ненастоящим.

Ненастоящим! Да ведь уже до моих ноздрей добирался запах раскаленного железа! Тюрьма наполнилась удушливым жаром. С каждым мигом все жарче горели глаза, уставившиеся на мои муки. Все гуще заливал багрец намалеванные кровавые ужасы. Я ловил ртом воздух! Я задыхался! Так ват что затеяли мои мучители! Безжалостные! О! Адские отродья! Я бросился подальше от раскаленного металла на середину камеры. При мысли о том, что огонь вот-вот спалит меня дотла, прохлада колодца показалась мне отрадой. Я метнулся к роковому краю. Я жадно заглянул внутрь.

Отблески пылающей кровли высвечивали колодец до дна. И все же в первый миг разум мой отказывался принять безумный смысл того, что я увидел. Но страшная правда силой вторглась в душу, овладела ею, опалила противящийся разум. О! Господи! Чудовищно! Только не это! С воплем отшатнулся я от колодца, спрятал лицо в ладонях и горько заплакал.

Жар быстро нарастал, и я снова огляделся, дрожа, как в лихорадке. В камере случилась новая перемена, на сей раз менялась ее форма. Как и прежде, сначала я тщетно пытался понять, что творится вокруг. Но недолго терялся я в догадках. Двукратное мое спасенье подстрекнуло инквизиторскую месть, игра в прятки с Костлявой шла к концу. Камера была квадратная. Сейчас я увидел, что два железных угла стали острыми, а два других, следственно, тупыми. Страшная разность все увеличивалась с каким-то глухим не то грохотом, не то стоном. Камера тотчас приняла форму ромба. Но изменение не прекращалось — да я этого и не ждал и не хотел. Я готов был прижать красные стены к груди, как покровы вечного покоя. «Смерть, — думал я, — любая смерть, только бы не в колодце!» Глупец! Как было сразу не понять, что в колодец-то и загонит меня раскаленное железо! Разве можно выдержать его жар? И тем более устоять против его напора? Все уже и уже становился ромб, с быстротой, не оставлявшей времени для размышлений. В самом центре ромба и, разумеется, в самой широкой его части зияла пропасть. Я упирался, но смыкающиеся стены неодолимо подталкивали меня. И вот уже на твердом полу темницы не осталось ни дюйма для моего обожженного, корчащегося тела. Я не сопротивлялся более, но муки души вылились в громком, долгом, отчаянном крике. Вот я уже закачался на самом краю — я отвел глаза…

И вдруг — нестройный шум голосов! Громкий рев словно множества труб! Гулкий грохот, подобный тысяче громов! Огненные стены отступили! Кто-то схватил меня за руку, когда я, теряя сознанье, уже падал в пропасть. То был генерал Лассаль.[716] Французские войска вступили в Толедо.[717] Инквизиция была во власти своих врагов.

Декабрь, 1842 — Январь, 1843

пер. Е. Суриц

Сердце-обличитель

Правда! Я нервный — очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть меня сумасшедшим? От болезни чувства мои только обострились — они вовсе не ослабели, не притупились. И в особенности — тонкость слуха. Я слышал все, что совершалось на небе и на земле. Я слышал многое, что совершалось в аду. Какой я после этого сумасшедший? Слушайте же! И обратите внимание, сколь здраво, сколь рассудительно могу я рассказать все от начала и до конца.

Сам не знаю, когда эта мысль пришла мне в голову; но, явившись однажды, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакого повода у меня не было. И бешенства я никакого не испытывал. Я любил этого старика. Он ни разу не причинил мне зла. Ни разу не нанес обиды. Золото его меня не прельщало. Пожалуй, виной всему был его глаз! Да, именно! Один глаз у него был, как у хищной птицы, — голубоватый, подернутый пленкой. Стоило ему глянуть на меня, и кровь стыла в моих жилах; мало-помалу, исподволь, я задумал прикончить старика и навсегда избавиться от его глаза.

В этом-то вся суть. По-вашему, я сумасшедший. Сумасшедшие ничего не соображают. Но видели бы вы меня. Видели бы вы, как мудро я действовал — с какой осторожностью, с какой предусмотрительностью, с каким искусным притворством принялся я за дело! Всю неделю, перед тем как убить старика, я был с ним сама любезность. И всякую ночь, около полуночи, я поднимал щеколду и приотворял его дверь — тихо-тихо! А потом, когда в щель могла войти моя голова, я вводил туда затемненный фонарь, закрытый наглухо, так плотно, что и капли света не могло просочиться, а следом засовывал и голову. Ах, вы не удержались бы от смеха, если б видели, до чего ловко я ее засовывал! Я делал это медленно — очень, очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Лишь через час голова моя оказывалась внутри, так что я мог видеть старика на кровати. Ха!.. Да разве мог бы сумасшедший действовать столь мудро? А когда моя голова проникала в комнату, я открывал фонарь с осторожностью — с превеликой осторожностью, — открывал его (ведь петли могли скрипнуть) ровно

настолько, чтобы один-единственный тоненький лучик упал на птичий глаз. И все это я проделывал семь долгих ночей — всегда ровно в полночь, — но глаз неизменно бывал закрыт, и я никак не мог покончить с делом, потому что не сам старик досаждал мне, а его Дурной Глаз. И всякое утро, когда светало, я преспокойно входил в комнату и без робости заговаривал с ним, приветливо окликал его по имени и справлялся, как ему спалось ночью. Сами видите, лишь очень проницательный человек мог бы заподозрить, что каждую ночь, ровно в двенадцать, я заглядывал к нему, пока он спал.

На восьмую ночь я отворил дверь с особенной осторожностью. Рука моя скользила медленней, чем минутная стрелка на часах. До той ночи я никогда еще так не упивался своим могуществом, своей прозорливостью. Я едва мог сдерживать торжество. Подумать только, я потихоньку отворял дверь, а старику и во сне не снились мои тайные дела и помыслы. Когда это пришло мне на ум, я даже прыснул со смеху, и он, верно, услышал, потому что вдруг шевельнулся, потревоженный во сне. Вы, может быть, подумаете, что я отступил — но ничуть не бывало. В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и плотно закрывал ставни), поэтому я знал, что он не видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.

Я просунул голову внутрь и хотел уже было открыть фонарь, даже нащупал пальцем жестяную защелку, но тут старик подскочил, сел на кровати и крикнул: «Кто там?»

Я затаился и молчал. Целый час я простоял не шелохнувшись, и все это время не слышно было, чтобы он опять пег. Он сидел на кровати и прислушивался — точно так же, как я ночь за ночью прислушивался к бессонной гробовой тишине в четырех стенах.

Но вот я услышал слабый стон и понял, что стон этот исторгнут смертным страхом. Не боль, не горесть исторгли его, — о нет! — то было тихое, сдавленное стенание, какое изливается из глубины души, терзаемой страхом. Уж я-то знаю. Сколько раз, ровно в полночь, когда весь мир спал, этот стон рвался из собственной моей груди, умножая своим зловещим эхом страхи, которые раздирали меня. Кому уж знать, как не мне. Я знал, что чувствует старик, и жалел его, но все же посмеивался над ним про себя. Я звал, что ему стало не до сна с того самого мгновения, как легкий шум заставил его шевельнуться на кровати. Ужас одолевал его все сильней. Он пытался убедить себя, что

это пустое беспокойство, и не мог. Он твердил себе: «Это всего лишь ветер прошелестел в трубе, это только мышка прошмыгнула по полу», — пли: «Это попросту сверчок застрекотал и умолк». Да, он пытался успокоить себя такими уговорами; но все было тщетно. Все тщетно; потому что черная тень Смерти подкрадывалась к нему и уже накрыла свою жертву. И неотвратимое присутствие этой бесплотной тени заставило его почувствовать — незримо и неслышимо почувствовать, что моя голова здесь, в комнате.

Я ждал долго и терпеливо, но не слышал, чтобы он пег снова, и тогда решился приоткрыть фонарь — разомкнуть тонкую-пре-тонкую щелочку. Я стал его приоткрывать — спокойно-преспокойно, так что трудно даже этому поверить, — и вот наконец один-единственный лучик не толще паутинки пробился сквозь щель и упал на птичий глаз.

Он был открыт, широко-прешироко открыт, и от одного его вида я пришел в ярость. Он был передо мной как на ладони, — голубоватый, подернутый отвратительной пленкой, от которой я весь похолодел, но лицо и все тело старика скрывала темнота, потому что я, словно по наитию, направил луч прямо в проклятую глазницу.

Ну, не говорил ли я вам, что вы полагаете сумасшествием лишь крайнее обострение чувств? Так вот, в ушах у меня послышался тихий, глухой, частый стук, будто тикали часы, завернутые в вату. Мне ли не знать этого звука. То билось сердце старика. Его удары распалили мою ярость, подобно тому как барабанный бой будит отвагу в душе солдата.

Но даже тогда я сдержал себя и не шелохнулся. Я затаил дыхание. Фонарь не дрогнул в моей руке. Я проверил, насколько твердо я могу удерживать луч, направленный в его глаз. А меж тем адский барабанный грохот сердца нарастал. Что ни миг, он становился все быстрей и быстрей, все громче и громче. Страх старика неотвратимо дошел до крайности! С каждым мгновением сердце его билось все громче, да, все громче!.. Понятно вам? Я же сказал, что я нервный: это так. И тогда, глухой ночью, в зловещем безмолвии старого дома, неслыханный этот звук поверг меня самого в беспредельный ужас. И все же еще несколько минут я сдерживал себя и не шелохнулся. Но удары звучали все громче, громче! Казалось, сердце вот-вот разорвется. И тут у меня возникло новое опасение — ведь стук мог услышать кто-нибудь из соседей! Час старика пробил! С громким

воплем я сорвал заслонку с фонаря и прыгнул в комнату. Старик вскрикнул только раз — один-единственный раз. Я мигом стащил его на пол и придавил тяжелой кроватью. Дело было сделано на славу, и я сиял от радости. Но долгие минуты сердце еще глухо стучало. Однако это меня не беспокоило; теперь уж его не могли услышать за стеной. Наконец все смолкло. Старик был мертв. Я оттащил кровать и осмотрел труп. Да, он был навеки, навеки мертв. Я приложил руку к его груди, против сердца, и держал так долгие минуты. Сердце не билось. Он был навеки мертв. Его глаз больше не потревожит меня.

Если вы все еще считаете меня сумасшедшим, вам придется переменить свое мнение, когда я расскажу о тех мудрых предосторожностях, с какими я спрятал тело. Ночь была уже на исходе, и я действовал поспешно, но без шума. Первым делом я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Потом я оторвал три половицы и уложил все останки меж брусьев. После этого приладил доски на место так хитроумно, так ловко, что никакой человеческий глаз — даже его глаз — не заметил бы ничего подозрительного. Смывать следы не пришлось: нигде ни пятнышка, ни капельки крови. Уж об этом я позаботился. Все попало прямехонько в таз — ха-ха!

Когда я управился со всем этим, было уже четыре часа — но темнота стояла такая же, как в полночь. Едва колокол пробил четыре, в парадную дверь постучали. Я спустился вниз и отворил со спокойной душой — чего мне теперь было бояться? Вошли трое и как нельзя более учтиво сообщили, что они из полиции. Сосед слышал ночью крик; возникло подозрение, что совершено злодейство; об этом сообщили в полицейский участок, и они (полицейские) получили приказ обыскать дом.

Я улыбнулся — в самом деле, чего мне было бояться? Я любезно пригласил их в комнаты. Я объяснил, что это сам я вскрикнул во сне. А старика нет, заметил я мимоходом, он уехал из города. Я водил их по всему дому. Я просил искать — искать хорошенько. Наконец я провел их в его комнату. Я показал им все его драгоценности, целехонькие, нетронутые. Самонадеянность моя была столь велика, что я принес в комнату стулья и предложил им отдохнуть здесь от трудов, а сам, преисполненный торжества, с отчаянной дерзостью поставил свой стул на то самое место, где покоился труп моей жертвы.

Полицейские были удовлетворены. Мое поведение их убедило. Я держался с редкой непринужденностью. Они сели и принялись болтать о всяких пустяках, а я оживленно поддержал разговор. Но в скором времени я почувствовал, что бледнею, и мне захотелось поскорей их спровадить. У меня болела голова и, кажется, звенело в ушах; а они все сидели и болтали. Звон становился явственней; он не смолкал, нет, он становился явственней: я заговорил еще более развязно, чтобы избавиться от него; но он не смолкал, а лишь обретал отчетливость, — и наконец я обнаружил, что он раздается вовсе не у меня в ушах.

Без сомнения, я очень побледнел; теперь я говорил без умолку и повысил голос. Но звук нарастал — и что мог я поделать? Это был тихий, глухой, частый стук — очень похожий на тиканье часов, если их завернуть в вату. Я задыхался, мне не хватало воздуха, — а полицейские ничего не слышали. Я заговорил еще быстрей — еще исступленней; но звук нарастал неотвратимо. Я вскочил и затеял какой-то нелепый спор, громогласно нес всякую чушь, неистово размахивал руками; но звук неотвратимо нарастал. Отчего они не хотят уйти? Я расхаживал по комнате и топал ногами, как будто слова этих людей привели меня в ярость, — но звук неотвратимо нарастал. О господи! Что мог я поделать? Я брызгал слюной — я бушевал — я ругался! Я двигал стул, на котором только что сидел, со скрежетом возил его по половицам, но звук перекрывал все и нарастал непрестанно. Он становился все громче — громче — громче! А эти люди мило болтали и улыбались. Возможно ли, что они ничего не слышали? Господи всемогущий!.. Нет, нет! Они слышали!.. они подозревали!.. они знали!.. они забавлялись моим ужасом — так думал я и так думаю посейчас. Но нет, что угодно, только не это мучение! Будь что будет, только бы положить конец этому издевательству! Я не мог более выносить их лицемерные улыбки! Я чувствовал, что крик должен вырваться из моей груди, иначе я умру!.. Вот… опять!.. Чу! Громче! Громче! Громче! Громче!..

— Негодяи! — возопил я. — Будет вам притворяться! Я сознаюсь!.. оторвите половицы!.. вот здесь, здесь!.. это стучит его мерзкое сердце!

Январь, 1843

пер. В. Хинкис

Золотой жук

Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный.
Тарантул укусил его…

«Все не правы»[718]

Много лет тому назад мне довелось близко познакомиться с некиим Вильямом Леграном. Он происходил из старинной гугенотской семьи и был прежде богат, но неудачи, следовавшие одна за другой, довели его до нищеты. Чтобы избегнуть унижений, связанных с потерей богатства, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на Сэлливановом острове, поблизости от Чарлстона в Южной Каролине.

Это очень странный остров. Он тянется в длину мили на три и состоит почти что из одного морского песка. Ширина его нигде не превышает четверти мили. От материка он отделен едва заметным проливом, вода в котором с трудом пробивает себе путь сквозь тину и густой камыш — убежище болотных курочек. Деревьев на острове мало, и растут они плохо. Настоящего дерева не встретишь совсем. На западной оконечности острова, где возвышается форт Моултри[719] и стоит несколько жалких строений, заселенных в летние месяцы городскими жителями, спасающимися от лихорадки и чарлстонской пыли, — можно увидеть колючую карликовую пальму. Зато весь остров, если не считать этого мыса на западе и белой, твердой как камень, песчаной каймы на взморье, покрыт частой зарослью душистого мирта, столь высоко ценимого английскими садоводами. Кусты его достигают нередко пятнадцати — двадцати футов и образуют сплошную чащу, наполняющую воздух тяжким благоуханием и почти непроходимую для человека.

В сокровенных глубинах миртовой чащи, ближе к восточной, удаленной от материка оконечности острова, Легран соорудил себе хижину, где и обитал, когда я, по воле случая, с ним познакомился. Знакомство вскоре перешло в дружбу. Многое в характере отшельника внушало интерес и уважение. Я увидел, что он отлично образован и

наделен недюжинными способностями, но вместе с тем заражен мизантропией и страдает от болезненного состояния ума, впадая попеременно то в восторженность, то в угрюмость. У Леграна было немало книг, но он редко к ним обращался. Он предпочитал охотиться и ловить рыбу или же бродить по прибрежному песку и миртовым зарослям в поисках раковин и насекомых. Его коллекции насекомых позавидовал бы Сваммердам[720]. В этих странствиях Леграна обычно сопровождал старый негр Юпитер. Он был отпущен на волю еще до разорения семьи; однако ни угрозами, ни посулами Юпитера нельзя было убедить, что он лишился неотъемлемого, как он полагал, права следовать повсюду за своим «масса Биллом». Возможно, впрочем, что родные Леграна, обеспокоенные его психической неуравновешенностью, поддерживали это упорство в Юпитере, чтобы не оставить беглеца без всякого попечения.

Зимы на широте Сэлливанова острова редко бывают очень суровыми, и в осеннее время почти никогда не приходится разводить огонь в помещении. В средних числах октября 18… года выдался, однако, необычайно холодный день. Перед самым заходом солнца я пробрался сквозь вечнозеленые заросли к хижине моего друга, которого не видел уже несколько недель. Я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и удобства сообщения в те дни далеко отставали от нынешних. Добравшись до хижины, я постучал, как обычно, и, не получив ответа, разыскал в тайном месте ключ, отомкнул замок и вошел. В камине пылал славный огонь. Это было неожиданно и весьма кстати. Я сбросил пальто, опустился в кресло поближе к потрескивавшим поленьям и стал терпеливо ждать возвращения хозяев.

Они пришли вскоре после наступления темноты и сердечно меня приветствовали. Юпитер, улыбаясь до ушей, стал хлопотать по хозяйству, приготовляя на ужин болотных курочек. У Леграна был очередной приступ восторженности — не знаю, как точнее именовать его состояние. Он нашел двустворчатую раковину, какой не встречал ранее, и, что еще более радовало его, выследил и с помощью Юпитера поймал жука, неизвестного, по его словам, доселе науке. Он сказал, что завтра хочет услышать мое суждение об этом жуке.

— А почему не сегодня? — спросил я, потирая руки у огня и мысленно посылая к чертям всех жуков на свете.

— Если бы я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но ведь мы так давно не виделись. Как я мог угадать, что именно сегодня вечером вы к нам пожалуете? Когда мы с Юпитером шли домой, то повстречали лейтенанта Дж. из форта, и я но какой-то глупости отдал ему на время жука. Так что сейчас жука не достанешь. Переночуйте, и мы пошлем за ним Юпа, как только взойдет солнце. Это просто восторг.

— Что? Восход солнца?

— К черту солнце! Я — о жуке! Он ослепительно золотой, величиной с крупный лесной орех, и на спине у него три пятнышка, черных как смоль. Два круглых повыше и одно продолговатое книзу. А усики и голову…

— Где же там олово, масса Вилл, послушайте-ка меня, — вмешался Юпитер, — жук весь золотой, чистое золото, внутри и снаружи; только вот пятна на спинке. Такого тяжелого жука я еще в жизни не видел.

— Допустим, что все это так, и жук из чистого золота, — сказал Легран, как мне показалось, более серьезным тоном, чем того требовали обстоятельства, — но почему же, Юп, мы должны из-за этого есть пережаренный ужин? Действительно, жук таков, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что я почти готов согласиться с Юпитером. Надкрылья излучают яркий металлический блеск — в этом вы сами сможете завтра же убедиться. Пока что я покажу вам, каков он на вид.

Легран сел за столик, где было перо и чернильница. Бумаги не оказалось. Он поискал в ящике, но и там ничего не нашел.

— Не беда, — промолвил он наконец, — обойдусь этим. — Он вытащил из жилетного кармана очень грязный клочок бумаги и, взяв перо, стал бегло набрасывать свой рисунок. Пока он был этим занят, я продолжал греться; озноб мой еще не прошел. Легран закончил рисунок и протянул его мне, не поднимаясь со стула. В эту минуту послышался громкий лай и царапанье у входной двери. Юпитер распахнул ее, и огромный ньюфаундленд Леграна ворвался в комнату и бурно меня приветствовал, положив свои лапы мне прямо на плечи; я подружился с ним еще в прежние посещения. Когда нес утих, я взглянул на бумагу, которую все это время держал в руке, и, по правде сказать, был немало озадачен рисунком моего друга.

— Что же, — сказал я, наглядевшись на него вдосталь, — это действительно странный жук. Признаюсь, совершеннейшая новинка, никогда ничего подобного не видывал. По-моему, больше всего этот жук походит на череп, каким его принято изображать на эмблемах. Да что там походит… Форменный череп!

— Череп? — отозвался Легран. — Пожалуй, что так, в особенности на моем рисунке. Общая форма овальная. Два черных пятнышка сверху напоминают глазницы, не так ли? А нижнее удлиненное пятнышко можно счесть за оскал черепа.

— Может быть, что и так, Легран, — сказал я ему, — но рисовальщик вы слабый. Я подожду судить о жуке, пока не увижу его собственными глазами.

— Как вам угодно, — отозвался он с некоторой досадой, — но, по-моему, я рисую недурно, по крайней мере, я привык так считать. У меня были отличные учителя, и позволю себе заметить, чему-то я должен был у них научиться.

— В таком случае вы дурачите меня, милый друг, — сказал я ему. — Вы нарисовали довольно порядочный череп, готов допустить даже, хотя я и полный профан в остеологии, что вы нарисовали замечательный череп, и если ваш жук на самом деле похож на него, это самый поразительный жук на свете. Жук с такой внешностью должен вызывать суеверное чувство. Я не сомневаюсь, что вы назовете его Scarabaeus caput hominis[721]или как-нибудь еще в этом роде; естественная история полна подобных наименований. Хорошо, а где же у него усики?

— Усики? — повторил Легран, которого наш спор почему-то привел в дурное расположение духа. — Разве вы их не видите? Я нарисовал их в точности, как в натуре. Думаю, что большего вы от меня не потребуете.

— Не стоит волноваться, — сказал я, — может быть, вы их и нарисовали, Легран, но я их не вижу. — И я отдал ему рисунок без дальнейших замечаний, не желая сердить его. Я был удивлен странным оборотом, который приняла эта история. Раздражение Леграна было мне непонятно. На его рисунке не было никаких усиков, и жук как две капли воды походил на череп.

Он с недовольным видом взял у меня бумагу и уже скомкал ее, намереваясь, видимо, бросить в огонь, когда что-то в рисунке вдруг

завладело его вниманием. Легран сперва залился яркой краской, потом стал белее мела. Некоторое время он разглядывал своп рисунок, словно изучая его. Потом встал и, забрав свечу со стола, пересел на сундук в другом конце комнаты. Там он снова уставился на бумагу, поворачивая ее то так, то эдак, однако хранил молчание. Хотя его поведение было довольно странным, я счел за лучшее тоже молчать; как видно, он погружался в свое угрюмое настроение. Легран достал из кармана бумажник, тщательно спрятал туда рисунок, затем положил бумажник в бюро и замкнул его там на ключ. Он как будто очнулся, но прежнее оживление уже не вернулось к нему. Он не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянность Леграна все возрастала, и мои попытки развлечь его не имели успеха. Я думал сперва заночевать в гостях, как бывало уже не раз, но, считаясь с настроением хозяина, решил вернуться домой. Легран меня не удерживал; однако, прощаясь, пожал мне руку сердечнее обыкновенного.

По прошествии месяца, в течение которого я не имел ни малейших сведений о Легране, меня посетил в Чарлстоне Юпитер. Я никогда не видел старого добряка-негра таким удрученным, и меня охватила тревога: уж не случилось ли чего с моим другом?

— Ну, Юп, — сказал я, — что там у вас? Как поживает твой господин?

— По чести говоря, масса, он нездоров.

— Нездоров? Ты пугаешь меня! На что он жалуется?

— В том-то и штука! Ни на что он не жалуется. Но он очень болен.

— Очень болен, Юпитер? Что же ты сразу мне не сказал? Лежит в постели?

— Где там лежит! Его и с собаками не догонишь! В том-то и горе! Ох, болит у меня душа! Бедный мой масса Вилл!..

— Юпитер, я хочу все-таки знать, в чем у вас дело. Ты сказал, что хозяин твой болен. Не говорил он тебе, что у него болит?

— Вы не серчайте, масса. Не знаю, что с ним стряслось. А я вот спрошу вас, почему масса Вилл ходит весь день, уставившись в землю, а сам белый, как гусь? И почему он все время считает?

— Что он делает?

— Считает да цифры пишет, таких чудных цифр я отроду не видал. Страх за него берет. Смотрю за ним в оба, глаз не спускаю. А

вчера проворонил, он убежал, солнце еще не вставало, и пропадал до ночи. Я вырезал толстую палку, хотел отлупить его, когда он придет, да пожалел, старый дурак, уж очень он грустный вернулся…

— Как? Что? Отлупить его?.. Нет, Юпитер, не будь слишком суров с беднягой, не бей его, он этого не перенесет. Скажи лучше вот что: как ты считаешь, что послужило причиной болезни твоего господина или, вернее, этого странного поведения? Не приключилось ли с ним что дурное после того, как я приходил к вам?

— После того, как вы приходили, масса, ничего такого не приключилось. А вот до того приключилось. В тот самый день приключилось.

— Что? О чем ты толкуешь?

— Известно, масса, о чем! О жуке!

— О чем?

— О жуке. Я так думаю, что золотой жук укусил масса Вилла в голову.

— Золотой жук укусил его? Эка напасть!

— Вот-вот, масса, очень большая пасть, и когти тоже здоровые. В жизни не видел такого жука, бьет ногами, как лошадь, и кусает все, что ему подвернется. Масса Вилл схватил его, да и выронил, тут же выронил, вот тогда жук, наверно, и укусил его. А мне морда этого жука не понравилась, и я сразу решил — голыми руками брать его ни за что не стану. Поднял я клочок бумаги, да в бумагу и завернул его, а край бумаги в пасть ему сунул, вот что я сделал!

— Значит, ты действительно думаешь, что твоего хозяина укусил жук и это причина его болезни?

— Ничего я не думаю — точно вам говорю. Если бы его не укусил золотой жук, разве ему снилось бы золото? Я много кое-чего слыхал про таких золотых жуков.

— А откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Да он говорит про это во сне. Вот откуда я знаю.

— Хорошо, Юп, может быть, ты и прав. Ну а каким же счастливым обстоятельствам я обязан чести твоего сегодняшнего визита?

— О чем это вы толкуете, масса?

— Ты привез мне какое-нибудь послание от господина Леграна?

— Нет, масса. Но он приказал передать вам вот это. И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:

«Дорогой N!

Почему вы совсем перестали бывать у нас? Неужели вы приняли близко к сердцу какую-нибудь очередную мою brusquerie?[722]*Нет, это, конечно, не так.*

За время, что мы не виделись с вами, у меня появилась забота. Хочу рассказать вам о ней, но не знаю, как браться за это, да и рассказывать ли вообще.

Последние дни я был не совсем здоров, и старина Юп вконец извел меня своим непрошеным попечением. Вчера, представьте, он приготовил огромнейшую дубину, чтобы побить меня за то, что я ускользнул от него и прогулял весь день solus[723]*в горах на материке. Кажется, только нездоровье спасло меня от неожиданной взбучки.*

Со времени нашей встречи ничего нового в моей коллекции не прибавилось.

Если у вас есть хоть какая-нибудь возможность, приезжайте вместе с Юпитером. Очень прошу вас. Мне нужно увидеться с вами сегодня же вечером по важному делу. Поверьте, что это дело великой важности.

Ваш, как всегда, Вильям Легран».

Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был так непохож на Леграна. Что взбрело ему в голову? Какая новая блажь завладела его необузданным воображением? Что за «дело великой важности» могло быть у него, у Леграна? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я опасался, что неотвязные мысли о постигшем его несчастье надломили рассудок моего друга. Не колеблясь, я решил тотчас же ехать вместе с негром.

Когда мы пришли к пристани, я увидел на дне лодки, на которой нам предстояло плыть, косу и лопаты, как видно, совсем новые.

— Это что, Юп? — спросил я.

— Коса и еще две лопаты, масса.

— Ты совершенно прав. Но откуда они взялись?

— Масса Вилл приказал мне купить их в городе, и я отдал за них чертову уйму денег.

— Во имя всего, что есть таинственного на свете, зачем твоему «масса Виллу» коса и лопаты?

— Зачем — я не знаю, и черт меня побери, если он сам знает. Все дело в жуке!

Видя, что от Юпитера толку сейчас не добьешься и что все его мыслительные способности парализованы этим жуком, я вскочил в лодку и поднял парус. Сильный попутный ветер быстро пригнал нас в опоясанную скалами бухточку к северу от форта Моултри, откуда нам оставалось до хижины около двух миль. Мы пришли в три часа пополудни. Легран ожидал нас с видимым нетерпением. Здороваясь, он крепко стиснул мне руку, и эта нервическая горячность вновь пробудила и усилила мои недавние опасения. В лице Леграна сквозила какая-то мертвенная бледность, запавшие глаза сверкали лихорадочным блеском. Осведомившись о его самочувствии и не зная, о чем еще говорить, я спросил, получил ли он от лейтенанта Дж. своего золотого жука.

— О да! — ответил он, заливаясь ярким румянцем. — На другое же утро! Ничто не разлучит меня теперь с этим жуком. Знаете ли вы, что Юпитер был прав?

— В чем Юпитер был прав? — спросил я, и меня охватило горестное предчувствие.

— Жук — из чистого золота!

Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен.

— Этот жук принесет мне счастье, — продолжал Легран, торжествующе усмехаясь, — он вернет мне утраченное родовое богатство. Что ж удивительного, что я его так ценю? Он ниспослан самой судьбой и вернет мне богатство, если только я правильно пойму его указания. Юпитер, пойди принеси жука!

— Что? Жука, масса? Не буду я связываться с этим жуком. Несите его сами.

Легран поднялся с важным видом и вынул жука из застекленного ящика, где он хранил его.

Жук был действительно великолепен. В научной ценности находки Леграна не могло быть сомнений — натуралисты в то время еще не знали таких жуков. На спинке виднелись с одной стороны два черных округлых пятнышка, и ниже с другой еще одно, подлиннее. Надкрылья были удивительно твердыми и блестели действительно как полированное золото. Тяжесть жука была тоже весьма необычной.

Учитывая все это, можно было не так уж строго судить Юпитера. Но как мог Легран разделять суждение Юпитера, оставалось для меня неразрешимой загадкой.

— Я послал за вами, — начал Легран торжественным тоном, когда я кончил осмотр, — я послал за вами, чтобы испросить совета и вашей помощи для уяснения воли Судьбы и жука…

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы совсем больны, вам надо лечиться. Ложитесь сейчас же в постель, и я побуду с вами несколько дней, пока вам не станет полегче. Вас лихорадит.

— Пощупайте мне пульс, — сказал он.

Я пощупал ему пульс и вынужден был признать, что никакой лихорадки у него не было.

— Бывают болезни и без лихорадки. Послушайтесь на этот раз моего совета. Прежде всего в постель. А затем…

— Вы заблуждаетесь, — прервал он меня. — Я совершенно здоров, но меня терзает волнение. Если вы действительно желаете мне добра, помогите мне успокоиться.

— А как это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером собираемся в экспедицию на материк, в горы, и нам нужен верный помощник. Вы единственный, кому мы полностью доверяем. Ждет нас там успех или же неудача, все равно это волнение во мне сразу утихнет.

— Я буду счастлив, если смогу быть полезным, — ответил я, — но, скажите, этот дурацкий жук имеет какое-нибудь отношение к вашей экспедиции в горы?

— Да!

— Если так, Легран, я отказываюсь принимать участие в вашей нелепой затее.

— Жаль! Очень жаль! Нам придется идти одним.

Идти одним! Он действительно сумасшедший!

— Погодите! Сколько времени вы намереваетесь пробыть там?

— Должно быть, всю ночь. Мы выйдем сию же минуту и к восходу солнца вернемся домой, что бы там ни было.

— А вы поклянетесь честью, что, когда ваша прихоть будет исполнена и вся эта затея с жуком (боже правый!) благополучно закончится, вы вернетесь домой и станете слушаться меня, как если бы я был вашим домашним врачом?

— Да. Обещаю. Скорее в путь! Время не ждет!

С тяжелым сердцем решился я сопровождать моего друга. Было около четырех часов дня, когда мы пустились в путь — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер нес косу и лопаты; он настоял на этом не от избытка любезности или же прилежания, но, как я полагаю, из страха доверить эти орудия своему господину. Вид у него был преупрямый. «Чертов жук!» — вот единственное, что я услышал от него за все путешествие. Мне поручили два потайных фонаря. Легран нес жука. Жук был привязан к концу шнура, п Легран крутил его на ходу, как заклинатель. Когда я заметил это новое явное доказательство безумия моего друга, я с трудом удержался от слез. Тем не менее я пока решил ни в чем не перечить Леграну и ждать случая, когда я смогу предпринять какие-либо энергичные меры. Я попытался несколько раз завязать беседу о целях похода, но безуспешно. Уговорив меня идти вместе с ним и довольный этим, Легран, видимо, не хотел больше вести никаких разговоров, и на все мои расспросы отвечал односложно: «Увидим!»

Дойдя до мыса, мы сели в ялик и переправились на материк. Потом взобрались по высокому берегу и, взяв направление на северо-запад, углубились в дикий, пустынный край, где, казалось, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас вперед, лишь изредка останавливаясь и сверяясь с ориентирами, которые, видимо, заприметил, посещая эти места до того.

Так мы шли часа два, и на закате перед нами открылась угрюмая местность, еще более мрачная, чем все, что мы видели до сих пор. Это был род плато, раскинувшегося у подножья почти неприступного склона и поросшего лесом от низу до самого верха. Склон был усеян громадными валунами, которые, казалось, ие падали вниз в долину лишь потому, что деревья преграждали им путь. Глубокие расселины пересекали плато во всех направлениях и придавали пейзажу еще большую дикость.

Плоскогорье, по которому мы поднимались, сплошь поросло ежевикой. Вскоре стало ясно, что без косы нам сквозь заросли не пробраться. По приказу Леграна Юпитер стал выкашивать для нас тропинку к тюльпановому дереву необыкновенной высоты, которое стояло, окруженное десятком дубов, и далеко превосходило и эти дубы, и вообще все деревья, какие мне приходилось когда-либо видеть,

раскидистой кроной, величавой красотой листвы и царственностью общих очертаний. Когда мы пришли наконец к цели, Легран обернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на это дерево. Старик был сперва озадачен вопросом и ничего не ответил. Потом, подойдя к лесному гиганту, он обошел ствол кругом, внимательно вглядываясь. Когда осмотр был закончен. Юпитер сказал просто:

— Да, масса! Еще не выросло такого дерева, чтобы Юпитер не смог на него взобраться.

— Тогда не мешкай и лезь, потому что скоро станет темно и мы ничего не успеем сделать.

— Высоко залезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся вверх по стволу, пока я не крикну… Эй, погоди. Возьми и жука!

— Жука, масса Вилл? Золотого жука? — закричал негр, отшатываясь в испуге. — Что делать жуку на дереве? Будь я проклят, если его возьму.

— Слушай, Юпитер, если ты, здоровенный рослый негр, боишься тронуть это безвредное мертвое насекомое, тогда держи его так, на шнурке, но если ты вовсе откажешься взять жука, мне придется, как это ни грустно, проломить тебе голову вот этой лопатой.

— Совсем ни к чему шуметь, масса, — сказал Юпитер, как видно, пристыженный и ставший более сговорчивым. — Всегда вы браните старого негра. А я пошутил, и только! Что я, боюсь жука? Подумаешь, жук!

И, осторожно взявшись за самый конец шнура, чтобы быть от жука подальше, он приготовился лезть на дерево.

Тюльпановое дерево, или Liriodendron Tulipiferum, — великолепнейшее из деревьев, произрастающих в американских лесах. В юном возрасте оно отличается необыкновенно гладким стволом и выгоняет ветви лишь на большой высоте. Однако, по мере того как оно стареет, кора на стволе становится неровной и узловатой, а вместе с тем появляются короткие сучья. Так что задача, стоявшая перед Юпитером, казалась невыполнимой только на первый взгляд. Крепко обняв огромный ствол коленями и руками, нащупывая пальцами босых ног неровности коры для упора и раза два счастливо избежав падения, Юпитер добрался до первой развилины ствола и, видимо, считал свою

миссию выполненной. Главная опасность действительно была позади, но Юпитер находился на высоте в шестьдесят или семьдесят футов.

— Куда мне лезть дальше, масса Вилл? — спросил он.

— По толстому суку вверх, вон с той стороны, — ответил Легран.

Негр тотчас повиновался, лезть было, должно быть, нетрудно. Он поднимался все выше, и скоро его коренастая фигура исчезла из виду, потерявшись в густой листве. Потом послышался голос как будто издалека:

— Сколько еще лезть?

— Где ты сейчас? — спросил Легран.

— Высоко, высоко! — ответил негр. — Вижу верхушку дерева, а дальше — небо.

— Поменьше гляди на небо и слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри теперь вниз и сочти, сколько всего ветвей на суку, на который ты влез. Сколько ветвей ты миновал?

— Одна, две, три, четыре, пять. Подо мной пять ветвей, масса.

— Поднимись еще на одну.

Вскоре Юпитер заверил нас, что он добрался до седьмой ветви.

— А теперь, Юп, — закричал Легран, вне себя от волнения, — ты полезешь по этой ветви, пока она будет тебя держать! А найдешь что-нибудь, крикни.

Если у меня еще оставались какие-нибудь сомнения по поводу помешательства моего друга, то теперь их не стало. Увы, он был сумасшедший! Следовало подумать о том, как доставить его домой. Пока я терялся в мыслях, опять послышался голос Юпитера:

— По этой ветви я боюсь дальше лезть. Она почти вся сухая.

— Ты говоришь, что она сухая, Юпитер? — закричал Легран прерывающимся голосом.

— Да, масса, мертвая, готова для того света.

— Боже мой, что же делать? — воскликнул Легран, как видео, в отчаянии.

— Что делать? — откликнулся я, обрадованный, что наступил мой черед сказать свое слово. — Вернуться домой и сразу в постель. Будьте умницей, уже поздно, и к тому же вы мне обещали.

— Юпитер! — закричал он, не обращая на мои слова никакого внимания. — Ты слышишь меня?

— Слышу, масса Вилл, как не слышать?

— Возьми нож. Постругай эту ветвь. Может быть, она не очень гнилая.

— Она, конечно, гнилая, — ответил негр, немного спустя, — да не такая гнилая. Пожалуй, я немного продвинусь вперед. Но только один.

— Что это значит? Разве ты и так не один?

— Я про жука. Жук очень, очень тяжелый. Если я брошу его вниз, я думаю, одного старого негра этот сук выдержит.

— Старый плут! — закричал Легран с видимым облегчением. — Не городи вздора! Если ты бросишь жука, я сверну тебе шею. Эй, Юпитер, ты слышишь меня?

— Как не слышать, масса? Нехорошо так ругать бедного негра.

— Так вот, послушай! Если ты проберешься еще немного вперед, осторожно, конечно, чтобы не грохнуться вниз, и если ты будешь держать жука, я подарю тебе серебряный доллар, сразу, как только ты спустишься.

— Хорошо, масса Вилл, лезу, — очень быстро ответил Юпитер, — а вот уже и конец.

— Конец ветви? — вскричал Легран. — Ты вправду мне говоришь, ты на конце ветви?

— Не совсем на конце, масса… Ой-ой-ой! Господи боже мой! Что это здесь на дереве?

— Ну? — крикнул Легран, очень довольный. — Что ты там видишь?

— Да ничего, просто череп. Кто-то забыл свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо.

— Ты говоришь — череп?! Отлично! А как он там держится? Почему он не падает?

— А верно ведь, масса! Сейчас погляжу. Что за притча такая! Большой длинный гвоздь. Череп прибит гвоздем.

— Теперь, Юпитер, делай в точности, что я скажу. Слышишь меня?

— Слышу, масса.

— Слушай меня внимательно! Найди левый глаз у черепа.

— Угу! Да! А где же у черепа левый глаз, если он вовсе безглазый?

— Ох, какой ты болван, Юпитер! Знаешь ты, где у тебя правая рука и где левая?

— Знаю, как же не знать, левой рукой я колю дрова.

— Правильно. Ты левша. Так вот, левый глаз у тебя с той стороны, что и рука. Ну, сумеешь теперь отыскать левый глаз у черепа, то место, где был левый глаз?

Юпитер долго молчал, потом он сказал:

— Левый глаз у черепа с той стороны, что и рука у черепа? Но у черепа нет левой руки… Что ж, на нет и суда нет! Вот я нашел левый глаз. Что мне с ним делать?

— Пропусти сквозь него жука и спусти его вниз, сколько хватит шнура. Только не урони.

— Пропустил, масса Вилл. Это самое плевое дело — пропустить жука через дырку. Смотрите-ка!

Во время этого диалога Юпитер был скрыт листвой дерева. Но жук, которого он спустил вниз, виднелся теперь на конце шнурка. Заходящее солнце еще освещало возвышенность, где мы стояли, и в последних его лучах жук сверкнул, как полированный золотой шарик. Он свободно свисал между ветвей дерева, и если б Юпитер сейчас отпустил шнурок, тот упал бы прямо к нашим ногам. Легран быстро схватил косу и расчистил участок диаметром в девять — двенадцать футов, после чего он велел Юпитеру отпустить шнурок и слезать поскорее вниз.

Забив колышек точно в том месте, куда упал жук, мой друг вытащил из кармана землемерную ленту. Прикрепив ее за конец к стволу дерева, как раз напротив забитого колышка, он протянул ее прямо, до колышка, после чего, продолжая разматывать ленту и отступая назад, отмерил еще пятьдесят футов. Юпитер с косой в руках шел перед ним, срезая кусты ежевики. Дойдя до нужного места, Легран забил еще один колышек и, принимая его за центр, очистил круг диаметром примерно в четыре фута. Потом он дал по лопате мне и Юпитеру, сам взял лопату и приказал нам копать.

Откровенно скажу, я не питаю склонности к такого рода забавам даже при свете дня; теперь же спускалась ночь, а я и так изрядно устал от нашей прогулки. Всего охотнее я отказался бы. Но мне не хотелось противоречить моему бедному другу и тем усугублять его душевное беспокойство. Так что выхода не было. Если бы я мог рассчитывать на помощь Юпитера, то, ничуть не колеблясь, применил бы сейчас силу и увел бы безумца домой. Но я слишком хорошо знал старого негра и

понимал, что ни при каких обстоятельствах он не поддержит меня против своего господина. Что до Леграна, мне стало теперь ясно, что он заразился столь обычной у нас на Юге манией кладоискательства и что его и без того пылкое воображение было подстегнуто находкой жука и еще, наверное, упрямством Юпитера, затвердившего, что найденный жук — «из чистого золота».

Подобные мании могут легко подтолкнуть к помешательству неустойчивый разум, особенно если они находят себе пищу в тайных стремлениях души. Я вспомнил слова моего бедного друга о том, что жук вернет ему родовое богатство. Я был раздосадован и вместе с тем глубоко огорчен. В конце концов я решил проявить добрую волю (поскольку не видел иного выхода) и принять участие в поисках клада, чтобы быстрейшим и самым наглядным образом убедить моего фантазера в беспочвенности его замысла.

Мы зажгли фонари и принялись рыть с усердием, которое заслуживало лучшего применения. Свет струился по нашим лицам, и я подумал, что мы втроем образуем весьма живописную группу и что случайный путник, который наткнется на нас, должен будет преисполниться странных мыслей и подозрений.

Так мы копали не менее двух часов. Мы сохраняли молчание, и нас смущал только лай собаки, которая выказывала необычайный интерес к нашей работе. Этот лай становился все более настойчивым, и мы начали опасаться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, расположившегося по соседству на отдых. Точнее, боялся Легран; я был бы только доволен, если бы смог при содействии постороннего человека вернуть домой моего путешественника. Разбушевавшегося пса утихомирил Юпитер, проявив при этом немалую изобретательность. Он вылез из ямы с решительным видом и стянул ему пасть своими подтяжками, после чего, хмуро посмеиваясь, снова взялся за лопату.

После двухчасовых трудов мы вырыли яму глубиной в пять футов, однако никаких признаков клада не было видно. Мы приостановились, и я стал надеяться, что комедия подходит к концу. Однако Легран, хотя и расстроенный, как я мог заметить, отер пот со лба и снова взялся за работу. Яма уже имела четыре фута в диаметре и занимала всю площадь очерченного Леграном круга. Теперь мы расширили этот круг, потом углубили яму еще на два фута. Результаты остались все теми же.

Мой золотоискатель, которого мне было жаль от души, наконец вылез из ямы и принялся медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который сбросил перед началом работы. В каждой черточке его лица сквозило горькое разочарование. Я молчал, Юпитер по знаку своего господина стал собирать инструменты. Потом он снял с собаки свой самодельный намордник, и мы двинулись в путь, домой, не произнеся ни слова.

Не успели пройти мы и десятка шагов, как Легран с громким проклятием повернулся к негру и крепко схватил его за ворот. Пораженный Юпитер разинул рот, выпучил глаза и, уронив лопаты, упал на колени.

— Каналья, — с трудом промолвил Легран сквозь сжатые зубы, — проклятый черный негодяй, отвечай мне немедленно, отвечай без уверток, где у тебя левый глаз?

— Помилуй бог, масса Вилл, вот у меня левый глаз, вот он! — ревел перепуганный Юпитер, кладя руку на правый глаз и прижимая его изо всей мочи, словно страшась, что его господин вырвет ему этот глаз.

— Так я и думал! Я знал! Ура! — закричал Легран отпуская негра. Он исполнил несколько сложных танцевальных фигур, поразивших его слугу, который, поднявшись на ноги и словно окаменев, переводил взгляд с хозяина на меня и с меня опять на хозяина.

— За дело! — сказал Легран. — Вернемся! Мы еще выиграем эту игру! — И он повел нас обратно к тюльпановому дереву.

— Ну, Юпитер, — сказал Легран, когда мы снова стояли втроем у подножья дерева, — говори: как был прибит этот череп к ветке, лицом или наружу?

— Наружу, масса, так чтоб вороны могли клевать глаза без хлопот.

— Теперь говори мне, в какой ты глаз опустил жука — в тот или этот? — И Легран тронул пальцем сперва один глаз Юпитера и потом другой.

— В этот самый, масса, в левый, как вы велели! — Юпитер указывал пальцем на правый глаз.

— Отлично, начнем все сначала!

С этими словами мой друг, в безумии которого, как мне показалось, появилась теперь некоторая система, вытащил колышек, вбитый им ранее на месте падения жука, и переставил его на три

дюйма к западу. Снова связав землемерной лентой колышек со стволом дерева, он отмерил еще пятьдесят футов до новой точки, отстоявшей от нашей ямы на несколько ярдов.

Мы очертили еще раз круг, несколько большего диаметра, чем предыдущий, и снова взялись за лопаты.

Я смертельно устал, но хотя и сам еще не отдавал себе в том отчета, прежнее отвращение к работе у меня почему-то исчезло. Каким-то неясным образом я стал испытывать к ней интерес, более того, меня охватило волнение. В нелепом поведении Леграна сквозило что-то похожее на предвидение, на продуманный план, и это, вероятно, оказало на меня свое действие. Продолжая усердно копать, я ловил себя несколько раз на том, что и сам со вниманием гляжу себе под ноги, в яму, словно тоже ищу на дне ее мифическое сокровище, мечта о котором свела с ума моего бедного друга. Мы трудились уже часа полтора, и эти странные прихоти мысли овладевали мной все настойчивее, когда нас опять всполошил отчаянный лай нашего пса. Если раньше он лаял из озорства или же из каприза, то теперь его беспокойство было нешуточным. Он не дался Юпитеру, когда тот опять хотел напялить ему намордник, и, прыгнув в яму, стал яростно разгребать лапами землю. Через пять-шесть секунд он отрыл два человеческих скелета, а вернее, груду костей, перемешанных с обрывками полуистлевшей шерстяной материи и металлическими пуговицами. Еще два удара лопатой — и мы увидели широкое лезвие испанского ножа и несколько монет, золотых и серебряных.

При виде монет Юпитер предался необузданной радости, но на лице его господина выразилось сильнейшее разочарование. Он умолял нас, однако, не прекращать работу. Не успел он вымолвить эту просьбу, как я оступился и тут же упал ничком, зацепившись ногой за большое железное кольцо, прикрытое рыхлой землей.

Теперь работа пошла уже не на шутку. Лихорадочное напряжение, испытанное за эти десять минут, я не решусь сравнить ни с чем в своей жизни. Мы отрыли продолговатый деревянный сундук, прекрасно сохранившийся. Необыкновенная твердость досок, из которых он был сколочен, наводила на мысль, что дерево подверглось химической обработке, вероятно, было пропитано двухлористой ртутью. Сундук был длиною в три с половиной фута, шириной в три фута и высотой — в два с половиной. Он был надежно окован железными полосами и

обит заклепками. Перекрещиваясь, железные полосы покрывали сундук, образуя как бы решетку. С боков сундука под самую крышку было ввинчено по три железных кольца, всего шесть колец, так что за него могли взяться разом шесть человек. Взявшись втроем, мы сумели только что сдвинуть сундук с места. Стало ясно, что унести такой груз нам не под силу. По счастью, крышка держалась лишь на двух выдвижных болтах. Дрожащими руками, не дыша от волнения, мы выдернули болты. Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены.

Чувства, с которыми я взирал на сокровища, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами. Лицо Юпитера на минуту стало смертельно бледным, если можно говорить о бледности применительно к черноте негра. Он был словно поражен громом. Потом он упал на колени и, погрузив по локоть в сокровища свои голые руки, блаженно застыл в этой позе, словно был в теплой ванне. Наконец, глубоко вздохнув, он произнес примерно такую речь:

— И все это сделал золотой жук! Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бранил его! И не стыдно тебе, старый негр? Отвечай!..

Я оказался вынужденным призвать их обоих — и слугу и господина — к порядку; нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело, голова шла кругом, и много времени ушло на раздумья. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего, тоже не без труда, вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, — ведь и человеческая выносливость имеет предел, — мы закусили и дали себе отдых до двух часов; после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте, мы поспешили назад. Около четырех часов, — ночь уже шла на убыль, — мы

подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою леса.

Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наши сокровища.

Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки — французское, испанское и немецкое, несколько английских гиней и еще какие-то монеты, нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые большие монеты, стертые до того, что нельзя было прочитать на них надписи. Американских не было ни одной. Определить стоимость драгоценностей было труднее. Бриллианты изумили нас своим размером и красотой. Всего было сто десять бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска, триста десять превосходных изумрудов, двадцать один сапфир и одип опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправ и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценности. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег; золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь; восемьдесят три тяжелых больших распятия; пять золотых кадильниц огромной ценности; большая золотая чаша для пунша, изукрашенная виноградными листьями и вакхическими фигурами искусной ювелирной работы; две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями и еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал триста пятьдесят

английских фунтов. Я уж не говорю о часах, их было сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не менее чем по пятьсот долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия (некоторые безделушки мы сохранили на память), оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной.

Когда наконец мы завершили осмотр и владевшее нами необычайное волнение чуть-чуть поутихло, Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности.

— Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите; потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спинке жука, и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня — я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь.

— Клочок бумаги, вы хотите сказать, — заметил я.

— Нет! Я сам так думал вначале, но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-претонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я увидел сейчас, хотя в их общих чертах и можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука

и размером и очертаниями! Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Рассудок силится установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что, когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен потому, что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь таилась загадка, которую я не мог объяснить. Впрочем, скажу вам, уже тогда, в этот первый момент, где-то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало, подобное светлячку, то предчувствие, которое столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка. Я встал, спрятал пергамент в укромное место и отложил все дальнейшие размышления до того, как останусь один.

Когда вы ушли и Юпитер крепко уснул, я приступил к более методическому исследованию стоявшей передо мною задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер, прежде чем взять упавшего возле него жука, стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что-нибудь, чем защитить свои пальцы. В ту же минуту иония, одновременно, увидели этот пергамент; мне показалось тогда, что это бумага. Пергамент лежал полузарытый в песке, только один уголок его торчал на поверхности. Поблизости я приметил остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось.

Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Дж., я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять жука с собой в форт. Я согласился, он быстро сунул жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал жука, быть может, боясь, что я передумаю; вы ведь знаете, как горячо он относится ко

всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально.

Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне: эти обстоятельства имеют большое значение.

Можете, если хотите, считать меня фантазером, но должен сказать, что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий. Я соединил два звена длинной логической цепи. На морском побережье лежала шлюпка, неподалеку от шлюпки пергамент — не бумага, заметьте, пергамент, на котором был нарисован череп. Вы, конечно, спросите, где же здесь связь? Я отвечу, что череп — всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа.

Итак, я уже сказал, то была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго, то, что называется вечно. Его редко используют для ординарных записей уже потому, что писать или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был неспроста, а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на формат пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно, долго хранить.

— Все это так, — прервал я Леграна, — но вы ведь сами сказали, что, когда рисовали жука на пергаменте, там не было черепа. Как же вы утверждаете, что существует некая связь между шлюпкой и черепом, когда вы сами свидетель, что этот череп был нарисован (один только бог знает кем!) уже после того, как вы нарисовали жука?

— А! Здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути, логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако

помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся?

Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода (о, редкий, счастливый случай!), в камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел у стола. Ну а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент и вы стали его разглядывать, вбежал Волк, наш ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой вы гладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул, и хотел уже вам об этом сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла.

Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, при посредстве которых можно тайно писать и на бумаге и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру[724] в «царской водке» и разведите потом в четырехкратном объеме воды, чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте — они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично.

Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка — я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента, — выделялся отчетливее. Значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно; когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Конечно, Легран, я не вправе смеяться над вами, полтора миллиона долларов не тема для шуток, но прибавить еще звено к вашей логической цепи вам здесь не удастся.

Пират и коза несовместны. Пираты не занимаются скотоводством; это — прерогатива фермеров.

— Но я же сказал вам, что это была не коза.

— Не коза, так козленок, не вижу большой разницы.

— Большой я тоже не вижу, но разница есть, — ответил Легран, — сопоставьте два слова kid (козленок) и Kidd! Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде?[725] Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе. «Подпись» я говорю потому, что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь, наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного — текста моего воображаемого документа.

— Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо?

— Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук — из чистого золота, сильно подействовала на меня. К тому же эта удивительная цепь случайностей и совпадений!.. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ.

— Хорошо, что же дальше?

— Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести; на мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, о находке в них нет ни слова. Но если бы пират отрыл сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потеря карты, где

было обозначено местонахождение клада, помешало Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые наудачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад?

— Нет, никогда.

— А ведь всякий знает, что Кидд владел несметным богатством. Итак, я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу Кидда.

— Что вы предприняли дальше?

— Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на угольях. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с невыразимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком — сейчас я вам покажу.

Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие знаки:

53##+305))6*;4826)4#.)4#);806*;48+8 ||60))85;;]8*;:#*8+8
3(88)5*+;46(;88*96*?;8)*#(;485);5*+2:*#
(;4956*2(5*=4)8 ||8*;4069285);)6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+8
5;4)485+528806*81(#9;48;(88;4(#?34;48)4#;161;:188;#?;

— Что ж! — сказал я, возвращая Леграну пергамент, — меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы Голконды[726] я не возьмусь решать подобную головоломку.

— И все же, — сказал Легран, — она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, — шифр; иными словами, они

скрывают словесную запись. Кидд, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но притом такой, который незатейливой фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым.

— И что же, вы сумели найти решение?

— С легкостью! В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, которую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь; последующие трудности для меня просто не существуют.

Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения (в особенности это относится к шифрам простейшего типа) в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было; подпись давала разгадку. Игра словами kid и Kidd возможна лишь по-английски. Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей[727] скорее всего избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, что криптограмма написана по-английски.

Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача была бы намного проще, если б отдельные слова были выделены просветами. Я начал тогда бы с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел слово из одной буквы (например, местоимение я или союз и), счел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу:

Знак 8 встречается 34 раза знак; встречается 27 раз знак 4 встречается 19 раз знак) встречается 16 раз знак #

встречается 15 раз знак * встречается 14 раз знак 5 встречается 12 раз знак 6 встречается 11 раз знак + встречается 8 раз знак 1 встречается 7 раз знак 0 встречается 6 раз знак 9 и 2 встречается 5 раз знак: и 3 встречается 4 раза знак? встречается 3 раза знак || встречается 2 раза знак = и] встречается 1 раз.

В английской письменной речи самая частая буква — e. Далее идут в нисходящем порядке a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, I, m, w, b, k, p, q, x, z. Буква e, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения.

Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы. Поскольку знак 8 встречается в криптограмме чаще других, мы примем его за букву e английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква e очень часто удваивается, например в словах meet или fleet, speed или seed, seen, been, agree и так далее. Хотя криптограмма невелика, знак 8 стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз.

Итак, будем считать, что 8 — это e. Самое частое слово в английском — определенный артикль the. Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности, и оканчивающееся знаком 8. Если такое найдется, это будет, по всей вероятности, определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетание из трех знаков;48. Итак, мы имеем право предположить, что знак; — это буква t, а 4 — h; вместе с тем подтверждается, что 8 действительно e. Мы сделали важный шаг вперед.

То, что мы расшифровали целое слово, потому так существенно, что позволяет найти границы других слов. Для примера возьмем предпоследнее из сочетаний этого рода;48. Идущий сразу за 8 знак; будет, как видно, начальной буквой нового слова. Выписываем, начиная с него, шесть знаков подряд. Только один из них нам

незнаком. Обозначим теперь знаки буквами и оставим свободное место для неизвестного знака: t. eeth

Ни одно слово, начинающееся на t и состоящее из шести букв, не имеет в английском языке окончания th, в этом легко убедиться, подставляя на свободное место все буквы по очереди. Потому мы отбрасываем две последние буквы как посторонние и получаем: t. ee

Для заполнения свободного места можно снова взяться за алфавит. Единственным верным прочтением этого слова будет: tree (дерево).

Итак, мы узнали еще одну букву — r, она обозначена знаком (, и мы можем теперь прочитать два слова подряд: the tree

Немного дальше находим уже знакомое нам сочетание;48. Примем его опять за границу нового слова и выпишем целый отрывок, начиная с двух расшифрованных нами слов. Получаем такую запись: the tree;4(#?34 the

Заменим уже известные знаки буквами: the tree thr #? 3h the

А неизвестные знаки точками: the tree thr…h the

Нет никакого сомнения, что неясное слово — through (через). Это открытие дает нам еще три буквы — o, u и g, обозначенные в криптограмме знаками #? и 3.

Внимательно вглядываясь в криптограмму, находим вблизи от ее начала группу знакомых нам знаков:

> 83(88 которое читается так: egree. Это, конечно, слово degree (градус) без первой буквы. Теперь мы знаем, что буква d обозначена знаком +.

Вслед за словом degree, через четыре знака, встречаем такую группу:

> ;46(;88*

Заменим, как уже делали раз, известные знаки буквами, а неизвестные точками: th.rtee.

Сомнения нет, перед нами слово thirteen (тринадцать). К известным нам буквам прибавились i и n, обозначенные в криптограмме знаками 6 и *.

Криптограмма начинается так:

5 3 # # +

Подставляя по-прежнему буквы и точки, получаем: good

Недостающая буква, конечно, a, и, значит, два первые слова будут читаться так:

A good (хороший).

Чтобы теперь не сбиться, расположим знаки в виде такой таблицы.

5 означает a
+ означает d
8 означает e
3 означает g
4 означает h
6 означает i
* означает n означает o (означает r
; означает t

Здесь ключ к десяти главным буквам. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и, надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма — из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде:

> «A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out».[728]

— Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину: «трактир епископа», «мертвую голову», «чертов стул»?

— Согласен, — сказал Легран, — текст еще смутен, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу.

— Расставить точки и запятые?

— Да, в этом роде.

— И как же вы сделали это?

— Я исходил из того, что автор намеренно писал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз:

> «Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — двадцать один градус и тринадцать минут — северо-северо-восток — главный сук седьмая ветвь восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов».

— Запятые и точки расставлены, — сказал я, — но смысла не стало больше.

— И мне так казалось первое время, — сказал Легран. — Сперва я расспрашивал всех, кого ни встречал, нет ли где по соседству с островом Сэлливановым какого-нибудь строения, известного под названием «трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, быть может, это название «трактир епископа» (bishop's hostel) нужно связать со старинной фамилией Бессопов (Bessop), владевшей в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, старожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось «трактиром епископа», и думает, что найдет его, но что это совсем не трактир и даже не таверна, а высокий скалистый утес.

Я обещал ей хорошо заплатить за труды, и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной. Мы добрались до места без каких-либо приключений. Отпустив ее, я осмотрелся кругом. «Трактир» оказался нагромождением скал и утесов. Одна

скала, стоявшая особняком, выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше.

Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел в ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть «чертов стул» и что я проник в тайну записи на пергаменте.

«Хорошее стекло» могло означать только одно — подзорную трубу; моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции, не допускающей никаких отклонений. Слова «двадцать один градус и тринадцать минут» и «северо-северо-восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в «трактир епископа».

Опустившись на «чертов стул», я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано — «северо-северо-восток». Следовательно, «двадцать один градус и тринадцать минут» значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее вверх, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего высоко свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп.

Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что «главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона» означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести «прямую», то есть прямую линию от

ближайшей точки ствола через «выстрел» (место падения пули) на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, и было зарыто сокровище.

— Все это выглядит убедительно, — сказал я, — и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув «трактир епископа»?

— Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с «чертова стула», круглый просвет исчез и, сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева (как я убедился, несколько раз вставая и снова садясь) открывался зрителю с одной лишь единственной точки, с узкого выступа в этой скале.

К «трактиру епископа» мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, приметил за эти дни, что я веду себя как-то странно, и потому не отставал от меня ни на шаг. Но назавтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны.

— Значит, — сказал я, — первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера; он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой?

— Разумеется! Разница в «выстреле», иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустячной. Но ведь линия через «выстрел» лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровище здесь, наши труды пропади бы даром.

— Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом, в пустую глазницу которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов — в этом чувствуется некий поэтический замысел.

— Быть может, вы правы, хотя я лично думаю, что практический смысл играл здесь не меньшую роль, чем поэтическая фантазия. Увидеть с «чертова стула» столь малый предмет можно только в единственном случае — если он будет белым. А что тут сравнится с

черепом? Череп ведь не темнеет от бурь и дождей. Напротив, становится все белее…

— Ну а ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке?! Что за странное это было чудачество! Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули?

— Что же, не скрою! Ваши намеки на то, что я не в себе, рассердили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией в моем вкусе. Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль воспользоваться жуком вместо пули пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью.

— Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда взялись эти скелеты в яме?

— Об этом я знаю не больше вашего. Тут допустима, по-видимому, только одна догадка, но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кидд — если именно он владелец сокровища, в чем я совершенно уверен, — не мог обойтись без подручных. Когда они, выполнив все, что им было приказано, стояли внизу в яме, Кидд рассудил, наверно, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А может, и целый десяток — кто скажет?

Июнь, 1843

пер. А. Старцева

Чёрный кот

Я не надеюсь и не притязаю на то, что кто-нибудь поверит самой чудовищной и вместе с тем самой обыденной истории, которую я собираюсь рассказать. Только сумасшедший мог бы на это надеяться, коль скоро я сам себе не могу поверить. А я не сумасшедший — и все это явно не сон. Но завтра меня уже не будет в живых, и сегодня я должен облегчить свою душу покаянием. Единственное мое намерение — это ясно, кратко, не мудрствуя лукаво, поведать миру о некоторых чисто семейных событиях. Мне эти события в конце концов принесли лишь ужас — они извели, они погубили меня. И все же я не стану искать разгадки. Я из-за них натерпелся страху — многим же они покажутся безобидней самых несуразных фантазий. Потом, быть может, какой-нибудь умный человек найдет сгубившему меня призраку самое простое объяснение — такой человек, с умом, более холодным, более логическим и, главное, не столь впечатлительным, как у меня, усмотрит в обстоятельствах, о которых я не могу говорить без благоговейного трепета, всего только цепь закономерных причин и следствий.

С детских лет я отличался послушанием и кротостью нрава. Нежность моей души проявлялась столь открыто, что сверстники даже дразнили меня из-за этого. В особенности любил я разных зверюшек, и родители не препятствовали мне держать домашних животных. С ними я проводил всякую свободную минуту и бывал наверху блаженства, когда мог их кормить и ласкать. С годами эта особенность моего характера развивалась, и когда я вырос, немногое в жизни могло доставить мне более удовольствия. Кто испытал привязанность к верной и умной собаке, тому нет нужды объяснять, какой горячей благодарностью платит она за это. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть нечто покоряющее сердце всякого, кому не раз довелось изведать вероломную дружбу и обманчивую преданность, свойственные Человеку.

Женился я рано и, по счастью, обнаружил в своей супруге близкие мне наклонности. Видя мое пристрастие к домашним животным, она

не упускала случая меня порадовать. У нас были птицы, золотые рыбки, породистая собака, кролики, обезьянка и кот.

Кот, необычайно крупный, красивый и сплошь черный, без единого пятнышка, отличался редким умом. Когда заходила речь о его сообразительности, моя жена, в душе не чуждая суеверий, часто намекала на старинную народную примету, по которой всех черных котов считали оборотнями. Намекала, разумеется, не всерьез — и я привожу эту подробность единственно для того, что сейчас самое время о ней вспомнить.

Плутон — так звали кота — был моим любимцем, и я часто играл с ним. Я всегда сам кормил его, и он ходил за мной по пятам, когда я бывал дома. Он норовил даже увязаться со мной на улицу, и мне стоило немалого труда отвадить его от этого.

Дружба наша продолжалась несколько лет, и за это время мой нрав и характер — под влиянием Дьявольского Соблазна — резко изменились (я сгораю от стыда, признаваясь в этом) в худшую сторону. День ото дня я становился все мрачнее, раздражительней, безразличней к чувствам окружающих. Я позволял себе грубо кричать на жену. В конце концов я даже поднял на нее руку. Мои питомцы, разумеется, тоже чувствовали эту перемену. Я не только перестал обращать на них внимание, но даже обходился с ними дурно. Однако к Плутону я все же сохранил довольно почтительности и не позволял себе его обижать, как обижал без зазрения совести кроликов, обезьянку и даже собаку, когда они ласкались ко мне или случайно попадались под руку. По болезнь развивалась во мне, — а нет болезни ужаснее пристрастия к Алкоголю! — и наконец даже Плутон, который уже состарился и от этого стал капризнее, — даже Плутон начал страдать от моего скверного нрава.

Однажды ночью я вернулся в сильном подпитии, побывав в одном из своих любимых кабачков, и тут мне взбрело в голову, будто кот меня избегает. Я поймал его; испуганный моей грубостью, он не сильно, но все же до крови укусил меня за руку. Демон ярости тотчас вселился в меня. Я более не владел собою. Душа моя, казалось, вдруг покинула тело; и злоба, свирепее дьявольской, распаляемая джином, мгновенно обуяла все мое существо. Я выхватил из кармана жилетки перочинный нож, открыл его, стиснул шею несчастного кота и без жалости вырезал

ему глаз! Я краснею, я весь горю, я содрогаюсь, описывая это чудовищное злодейство.

Наутро, когда рассудок вернулся ко мне — когда я проспался после ночной попойки и винные пары выветрились, — грязное дело, лежавшее на моей совести, вызвало у меня раскаянье, смешанное со страхом; но то было лишь смутное и двойственное чувство, не оставившее следа в моей душе. Я снова стал пить запоем и вскоре утопил в вине самое воспоминание о содеянном.

Рана у кота тем временем понемногу заживала. Правда, пустая глазница производила ужасающее впечатление, но боль, по-видимому, утихла. Он все так же расхаживал по дому, но, как и следовало ожидать, в страхе бежал, едва завидя меня. Сердце мое еще не совсем ожесточилось, и поначалу я горько сожалел, что существо, некогда так ко мпе привязанное, теперь не скрывает своей ненависти. Но вскоре чувство это уступило место озлоблению. И тогда, словно в довершение окончательной моей погибели, во мне пробудился дух противоречия. Философы оставляют его без внимания. Но я убежден до глубины души, что дух противоречия принадлежит к извечным побуждающим началам в сердце человеческом — к неотторжимым, первозданным способностям, или чувствам, которые определяют самую природу Человека. Кому не случалось сотню раз совершить дурной или бессмысленный поступок безо всякой на то причины, лишь потому, что этого нельзя делать? И разве не испытываем мы, вопреки здравому смыслу, постоянного искушения нарушить Закон лишь потому, что это запрещено? Так вот, дух противоречия пробудился во мне в довершение окончательной моей погибели. Эта непостижимая склонность души к самоистязанию — к насилию над собственным своим естеством, склонность творить зло ради зла — и побудила меня довести до конца мучительство над бессловесной тварью. Как-то утром я хладнокровно накинул коту на шею петлю и повесил его на суку — повесил, хотя слезы текли у меня из гл: аз и сердце разрывалось от раскаянья, — повесил, потому что знал, как он некогда меня любил, потому что чувствовал, как несправедливо я с ним поступаю, — повесил, потому что знал, какой совершаю грех — смертный грех, обрекающий мою бессмертную душу на столь страшное проклятие, что она оказалась бы низвергнута — будь это

возможно — в такие глубины, куда не простирается даже милосердие Всеблагого и Всекарающего Господа.

В ночь после совершения этого злодейства меня разбудил крик: «Пожар!» Занавеси у моей кровати полыхали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам едва не сгорели заживо. Я был разорен совершенно. Огонь поглотил все мое имущество, и с тех нор отчаянье стало моим уделом.

Во мне довольно твердости, дабы не пытаться изыскать причину и следствие, связать несчастье со своим безжалостным поступком. Я хочу лишь проследить в подробности всю цепь событий — и не намерен пренебречь ни единым, пусть даже сомнительным звеном. На другой день после пожара я побывал на пепелище. Все степы, кроме одной, рухнули. Уцелела лишь довольно тонкая внутренняя перегородка посреди дома, к которой примыкало изголовье моей кровати. Здесь штукатурка вполне противостояла огню — я объяснил это тем, что стена была оштукатурена совсем недавно. Подле нее собралась большая толпа, множество глаз пристально и жадно всматривались все в одно место. Слова: «Странно!», «Поразительно!» и всякие восклицания в том же роде возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел на белей поверхности нечто вроде барельефа, изображавшего огромного кота. Точность изображения поистине казалась непостижимой. На шее у кота была веревка.

Сначала этот призрак — я попросту не могу назвать его иначе — поверг меня в ужас и недоумение. Но, поразмыслив, я несколько успокоился. Я вспомнил, что повесил кота в саду подле дома. Во время переполоха, поднятого пожаром, сад наводнила толпа — кто-то перерезал веревку и швырнул кота через открытое окно ко мне в комнату. Возможно, таким способом он хотел меня разбудить. Когда стены рухнули, развалины притиснули жертву моей жестокости к свежеоштукатуренной перегородке, и от жара пламени и едких испарении на ней запечатлелся рисунок, который я видел.

Хотя я успокоил если не свою совесть, то, по крайней мере, ум, быстро объяснив поразительное явление, которое только что описал, оно все же оставило во мне глубокий след. Долгие месяцы меня неотступно преследовал призрак кота; и тут в душу мою вернулось смутное чувство, внешне, но только внешне, похожее на раскаянье. Я начал даже жалеть об утрате и искал в грязных притонах, откуда

теперь почти не вылезал, похожего кота той же породы, который заменил бы мне бывшего моего любимца.

Однажды ночью, когда я сидел, томимый полузабытьем, в каком-то богомерзком месте, внимание мое вдруг привлекло что-то черное на одной из огромных бочек с джипом или ромом, из которых состояла едва ли не вся обстановка заведения. Несколько минут я не сводил глаз с бочки, недоумевая, как это я до сих пор но замечал столь странной штуки. Я подошел и коснулся ее рукой. То был черный кот, очень крупный — под стать Плутону — и похожий на него как две кайли воды, с одним лишь отличием. В шкуре Плутона не было ни единой белой шерстинки; а у этого кота оказалось грязно-белое пятно чуть ли не во всю грудь.

Когда я коснулся его, он вскочил с громким мурлыканьем и потерся о мою руку, видимо, очень обрадованный моим вниманием. А ведь я как раз искал такого кота. Я тотчас пожелал его купить; но хозяин заведения отказался от денег — он не знал, откуда этот кот взялся, — никогда его раньте не видел.

Я все время гладил кота, а когда собрался домой, он явно пожелал идти со мною. Я ему не препятствовал; по дороге я иногда нагибался и поглаживал его. Дома он быстро освоился и сразу стал любимцем моей жены.

Но сам я вскоре начал испытывать к нему растущую неприязнь. Этого я никак не ожидал; однако — не знаю, как и почему это случилось, — его очевидная любовь вызывала во мне лишь отвращение и досаду. Мало-помалу эти чувства вылились в злейшую ненависть. Я всячески избегал кота; лишь смутный стыд и память о моем прежнем злодеянии удерживали меня от расправы над ним. Проходили недели, а я ни разу не ударил его и вообще не тронул пальцем: но медленно — очень медленно — мною овладело неизъяснимое омерзение, и я молчаливо бежал от постылой твари как от чумы.

Я ненавидел этого кота тем сильней, что оп, как обнаружилось в первое же утро, лишился, подобно Плутону, одного глаза. Однако моей жене он стал от этого еще дороже, она ведь, как я уже говорил, сохранила в своей душе ту мягкость, которая некогда была мне свойственна и служила для меня неиссякаемым источником самых простых и чистых удовольствий.

Но, казалось, чем более возрастала моя недоброжелательность, тем крепче кот ко мне привязывался. Он ходил за мной по пятам с упорством, которое трудно описать. Стоило мне сесть, как он забирался под мой стул или прыгал ко мне на колени, донимая меня своими отвратительными ласками. Когда я вставал, намереваясь уйти, он путался у меня под ногами, так что я едва не падал, или, вонзая острые когти в мою одежду, взбирался ко мне на грудь. В такие минуты мне нестерпимо хотелось убить его на месте, но меня удерживало до некоторой степени сознание прежней вины, а главное — не стану скрывать, — страх перед этой тварью.

В сущности, то не был страх перед каким-либо конкретным несчастьем, — но я затрудняюсь определить это чувство другим словом. Мне стыдно признаться — даже теперь, за решеткой, мне стыдно признаться, — что чудовищный ужас, который вселял в меня кот, усугубило самое немыслимое наваждение. Жена не раз указывала мне на белесое пятно, о котором я уже упоминал, единственное, что внешне отличало эту странную тварь от моей жертвы. Читатель, вероятно, помнит, что пятно это было довольно большое, однако поначалу очень расплывчатое; по медленно — едва уловимо, так что разум мой долгое время восставал против столь очевидной нелепости, — оно приобрело наконец неумолимо ясные очертания. Не могу без трепета назвать то, что оно отныне изображало — из-за этого главным образом я испытывал отвращение и страх и избавился бы, если б только посмел, от проклятого чудовища, — отныне, да будет вам ведомо, оно являло взору нечто мерзкое — нечто зловещее, — виселицу! — это кровавое и грозное орудие Ужаса и Злодейства — Страдания и Погибели!

Теперь я воистину был несчастнейшим из смертных. Презренная тварь, подобная той, которую я прикончил, не моргнув глазом, — эта презренная тварь причиняла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, — столько невыносимых страданий! Увы! Денно и нощно не знал я более благословенного покоя! Днем кот ни на миг но отходил от меня, ночью же я что ни час пробуждался от мучительных сновидений и ощущал горячее дыхание этого существа на своем лице и его невыносимую тяжесть, — кошмар во плоти, который я не в силах был стряхнуть, — до конца дней навалившуюся мне на сердце!

Эти страдания вытеснили из моей души последние остатки добрых чувств. Я лелеял теперь лишь злобные мысли — самые черные и злобные мысли, какие только могут прийти в голову. Моя обычная мрачность переросла в ненависть ко всему сущему и ко всему роду человеческому; и более всех страдала от внезапных, частых и неукротимых взрывов ярости, которым я слепо предавался, моя безропотная и многотерпеливая жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности мы с ней спустились в подвал старого дома, в котором бедность принуждала нас жить. Кот увязался следом за мной по крутой лестнице, я споткнулся, едва но свернул себе шею и обезумел от бешенства. Я схватил топор и, позабыв в гневе презренный страх, который до тех пор меня останавливал, готов был нанести коту такой удар, что зарубил бы его на месте. Но жена удержала мою руку. В ярости, перед которой бледнеет ярость самого дьявола, я вырвался и раскроил ей голову топором. Она упала без единого стона.

Совершив это чудовищное убийство, я с полнейшим хладнокровием стал искать способа спрятать труп. Я понимал, что но могу вынести его из дома днем или даже под покровом ночи без риска, что это увидят соседи. Много всяких замыслов приходило мне на ум. Сперва я хотел разрубить тело на мелкие куски и сжечь в печке. Потом решил закопать его в подвале. Тут мне подумалось, что лучше, пожалуй, бросить его в колодец на дворе — или забить в ящик, нанять носильщика и велеть вынести его из дома. Наконец я избрал, как мне казалось, наилучший путь. Я решил замуровать труп в стене, как некогда замуровывали свои жертвы средневековые монахи.

Подвал прекрасно подходил для такой цели. Кладка стен была непрочной, к тому же не столь давно их наспех оштукатурили, и по причине сырости штукатурка до сих пор не просохла. Более того, одна стена имела выступ, в котором для украшения устроено было подобие камина или очага, позднее заложенного кирпичами и тоже оштукатуренного. Я не сомневался, что легко сумею вынуть кирпичи, упрятать туда труп и снова заделать отверстие так, что самый наметанный глаз по обнаружит ничего подозрительного.

Я не ошибся в расчетах. Взяв лом, я легко вывернул кирпичи, поставил труп стоймя, прислонив его к внутренней стене, и без труда водворил кирпичи на место. Со всяческими предосторожностями я

добыл известь, песок и паклю, приготовил штукатурку, совершенно неотличимую от прежней, и старательно замазал новую кладку. Покончив с этим, я убедился, что все в полном порядке. До стоны словно никто и не касался. Я прибрал с полу весь мусор до последней крошки. Затем огляделся с торжеством и сказал себе:

— На сей раз, по крайней мере, труды мои не пропали даром.

После этого я принялся искать тварь, бывшую причиной стольких несчастий; теперь я наконец твердо решился ее убить. Попадись мне кот в то время, участь его была бы решена; но хитрый зверь, напуганный, как видно, моей недавней яростью, исчез, будто в воду канул. Невозможно ни описать, ни даже вообразить, сколь глубокое и блаженное чувство облегчения наполнило мою грудь, едва ненавистный кот исчез. Всю ночь он не показывался; то была первая ночь, с тех пор как он появился в доме, когда я спал крепким и спокойным сном; да, спал, хотя на душе моей лежало бремя преступления.

Прошел второй день, потом третий, а мучителя моего все не было. Я вновь дышал свободно. Чудовище в страхе бежало из дома навсегда! Я более его но увижу! Какое блаженство! Раскаиваться в содеянном я и не думал. Было учинено короткое дознание, но мне не составило труда оправдаться. Сделали даже обыск — но, разумеется, ничего не нашли. Я не сомневался, что отныне буду счастлив.

На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянули полицейские и снова произвели в доме тщательный обыск. Однако я был уверен, что тайник невозможно обнаружить, и чувствовал себя преспокойно. Полицейские велели мне присутствовать при обыске. Они обшарили все уголки и закоулки. Наконец они в третий или четвертый раз спустились в подвал. Я не повел и бровью. Сердце мое билось так ровно, словно я спал сном праведника. Я прохаживался по всему подвалу. Скрестив руки на груди, я неторопливо вышагивал взад-вперед. Полицейские сделали свое дело и собрались уходить. Сердце мое ликовало, и я не мог сдержаться. Для полноты торжества я жаждал сказать хоть словечко и окончательно убедить их в своей невиновности.

— Господа, — сказал я наконец, когда они уже поднимались по лестнице, — я счастлив, что рассеял ваши подозрения. Желаю вам всем здоровья и немного более учтивости. Кстати, господа, это… это

очень хорошая постройка (в неистовом желании говорить непринужденно я едва отдавал себе отчет в своих словах), я сказал бы даже, что постройка попросту превосходна. В кладке этих стен — вы торопитесь, господа? — нет ни единой трещинки. — И тут, упиваясь своей безрассудной удалью, я стал с размаху колотить тростью, которую держал в руке, по тем самым кирпичам, где был замурован труп моей благоверной.

Господи боже, спаси и оборони меня от когтей Сатаны! Едва смолкли отголоски этих ударов, как мне откликнулся голос из могилы!.. Крик, сперва глухой и прерывистый, словно детский плач, быстро перешел в неумолчный, громкий, протяжный вопль, дикий и нечеловеческий, — в звериный вой, в душераздирающее стенание, которое выражало ужас, смешанный с торжеством, и могло исходить только из ада, где вопиют все обреченные на вечную муку и злобно ликуют дьяволы.

Нечего и говорить о том, какие безумные мысли полезли мне в голову. Едва не лишившись чувств, я отшатнулся к противоположной стене. Мгновение полицейские неподвижно стояли на лестнице, скованные ужасом и удивлением. Но тотчас же десяток сильных рук принялись взламывать стену. Она тотчас рухнула. Труп моей жены, уже тронутый распадом и перепачканный запекшейся кровью, открылся взору. На голове у нее, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседала гнусная тварь, которая коварно толкнула меня на убийство, а теперь выдала меня своим воем и обрекла на смерть от руки палача. Я замуровал это чудовище в каменной могиле.

19 августа, 1843

пер. В. Хинкиса

Надувательство как точная наука

Гули, гули, гули,
А тебя надули!

Дразнилка

С сотворения мира было два Иеремии. Один написал иеремиаду против ростовщичества и звался Иеремия Бентам[729]. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нила[730] и был, в узком смысле, великий человек. Другой дал имя самой важной из точных наук и был великим человеком в широком смысле слова — я бы сказал даже, величайшим.

Понятие «надувательство», — вернее, отвлеченная идея, заключенная в глаголе «надувать», — знакомо каждому. Но самый акт, надувательство как единичное действие, с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству как таковому, но человеку как животному, которое надувает. Напади в свое время на эту мысль Платон, и ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ощипанной курицы[731].

Ему был задан очень остроумный вопрос: «Не будет ли ощипанная курица, безусловно являющаяся „двуногим существом без перьев“, согласно его же собственному определению, человеком?» Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек — это животное, которое надувает; кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ощипанных кур ничего не сможет сделать. То, что составляет существо, основу, принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характеризующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует, лиса плутует; хорек хитрит — человек надувает. Надувать — таков его жребий. «Человек рожден, чтоб плакать»[732], — сказал поэт. Но это не так; он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни — его жизненная задача — его предназначение. Потому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже «отпетый».

Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное, его составными частями являются: малый размах, корысть, упорство, выдумка, отвага, невозмутимость, оригинальность, нахальство и оскал.

Малый размах. — Надуватель работает с небольшим размахом. Его операции — операции мелкого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнись он на крупные спекуляции, и он сразу же утратит свои характерные особенности, это уже будет не надуватель, а так называемый «финансист», каковой термин передает все аспекты понятия «надувательства», за исключением его масштаба. Таким образом, надуватель может быть рассмотрен как банкир in petto[733] а «финансовая операция» — как надувательство в Бробдингнеге[734]. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с «Флакком»[735] — как мастодонт с мышью — как хвост кометы с хвостиком поросенка.

Корысть. — Надувателем руководит корысть. Оп не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности — свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает Номер Первый. А вы — Номер Второй и должны сами о себе позаботиться.

Упорство. — Надуватель упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто сбить с избранного пути. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели, и

> Ut cam's a corio nunquam absterrebitnr uncto.[736] — так и он не выпускает свою добычу.

Выдумка. — Надуватель горазд на выдумки. Он обладает большой изобретательностью. Способен на хитрейшие замыслы. Умеет войти в доверие и выйти из любого положения. Если он не Александр Македонский, значит, он — Диоген. Не будь он надувателем, он мастерил бы патентованные крысоловки или ловил на удочку форель.

Отвага. — Надуватель отважен. Он — храбрый человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надуватель подучился бы из Дика

Терпина[737]; чуть поменьше болтовни — из Дэниела О'Коннелла[738], а лишний фунт-другой мозгов — из Карла Двенадцатого.

Невозмутимость. — Надуватель невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь не было. Не поддается суете. Его никто не выведет из себя — даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен — «как светлая улыбка леди Бэри[739]». Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Байи[740].

Оригинальность. — Надуватель оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него — собственные. Чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что прикарманил его с помощью неоригинального надувательства.

Нахальство. — Надуватель нахален. Он ходит вразвалку. Ставит руки в боки. Держит кулаки в карманах. Ухмыляется вам в лицо. Наступает вам на мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену.

Оскал. — Настоящий надуватель венчает все эти свойства оскалом. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов — когда дело сделано — поздно вечером у себя в каморке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой. Запирает дверь. Раздевается. Задувает свечу. Ложится в постель. Опускает голову на подушку. И по завершении всего этого надуватель широко скалит зубы. Это не гипотеза, а нечто само собой разумеющееся. Я рассуждаю a priori[741] ибо надувательство без оскала — не надувательство.

Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества. Первым надувателем, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли паши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа «преданий старины», удовлетворюсь кратким обзором примеров из наших дней[742].

Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного

магазина в другой. Наконец, в десятом рекламируют как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму, процентов на двадцать ниже ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер — дивана нет. Проходит следующий день — все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал — кроме надувателя, прикинувшегося для этого случая приказчиком.

У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захоти ты сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно.

Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в один доллар; обнаруживает, раздосадованный, что оставил бумажник в кармане другого сюртука, и говорит приказчику так:

— Мой дорогой сэр, бог с ним со всем. Сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо?.. Хотя постойте, кажется, у меня и там нет мелочи меньше пятидолларовой банкноты. Ну, да вы можете отослать и четыре доллара сдачи вместе с покупкой.

— Очень хорошо, сэр, — отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков, — говорит он себе, — которые бы просто положили товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар».

И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему — совершенно случайно — встречается давешний господин и восклицает:

— А, это мои покупки, как я вижу! Я думал, они уже давно у меня дома. Ну, ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе пять долларов — я ей оставил указания на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо

мне, серебро мне как раз кстати: я должен зайти на почту. Прекрасно! Один, два… это не фальшивый четвертак?.. три, четыре — все верно! Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри не замешкайся по дороге.

Мальчишка не мешкает по дороге — и однако очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что но такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и испытывает обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача.

Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отвалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться по дешевке, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через пятнадцать ему вручается другой, уже не столь умеренный, счет лицом, которое сразу же со всей очевидностью доказывает, что первый сборщик пошлин — надуватель и ранее произведенный сбор — надувательство.

Или еще нечто в этом же роде. От пристани с минуты на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто из джентльменов потерял бумажник?» — кричит он. Никто суверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его — ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя.

— Семеро одного не ждут, — говорит капитан.

— Ради всего святого, повремените хоть несколько минут, — просит господин с бумажником. — Законный владелец должен объявиться с минуты на минуту.

— Нельзя! — отвечает корабельный вседержитель. — Эй, вы там! Отдать концы!

— Ах, ну что же мне делать? — восклицает нашедший в великом беспокойстве. — Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр (здесь он обращается к господину, стоящему на пристани), вы выглядите честным человеком. Не окажете ли вы мне

любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо поместить объявление. Дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты…

— Меня? Нет, вас! Ведь это вы нашли бумажник.

— Ну, если вы настаиваете, я готов принять маленькое вознаграждение — только чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, позвольте, да тут одни только сотенные! Вот незадача! Сотня — это слишком много, без сомнения, пятидесяти было бы вполне достаточно.

— Отдать концы! — командует капитан.

— Но у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше вам…

— Отдавай концы!

— Ничего! — кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике. — Сейчас все устроим! Вот вам пятьдесят долларов, обеспеченные Североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!

Совестливый пассажир с видимой неохотой берет пятьдесят долларов и бросает господину на берегу бумажник, между тем как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что «банкноты на большую сумму» — не более как грубая подделка и вся эта история — первосортное надувательство.

А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надуватель располагается на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина — один цент с пешехода, два — с лошади или осла, и так далее, и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняются, и надуватель возвращается домой, разбогатев на пятьдесят — шестьдесят тяжким трудом заработанных долларов. Взимание денег с большого количества народу — занятие в высшей степени утомительное.

А вот тонкое надувательство. Знакомый надувателя владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надуватель покупает дюжины две таких бланков и ежедневно окунает по одному

бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает ей его на съедение. По наступлении срока расплаты по долговому обязательству надуватель и надувателева собака являются в гости к знакомому, и речь тут же заходит о долге. Знакомый вынимают расписку из своего бювара и готов протянуть ее надувателю, как вдруг надувателева собака подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надуватель не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только ему его предъявят.

Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувателя оскорбляет на улице даму. Сам надуватель бросается ей на помощь, и любовно отколотив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до дверей ее дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается. «Неужели, сэр, — лепечет она, — нет никакого способа мне выразить мою благодарность?»

— Почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы ссудить меня двумя-тремя шиллингами?

В первом приступе душевного смятения дама решается немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть за это поколоченным.

Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надуватель подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее разглядывает и говорит:

— Нет, не нравится мне этот табак. Нате, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой.

Бренди наливается и выпивается, и надуватель направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его:

— По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой.

— Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак? Что же вам еще надо?

— Но, сэр, прошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак.

— Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, что не брал?

— Но, сэр, — бормочет буфетчик, совершенно растерявшись, — но, сэр…

— Никаких «но», сэр, — обрывает его надуватель в величайшем негодовании. — Знаем мы ваши штучки, — и ретируясь, хлопает дверью.

Или еще одно очень хитрое надувательство, самая простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление о пропаже в одной из многих газет большого города.

Надуватель заимствует из этого объявления факты, изменив заглавие, общую фразеологию и адрес. Оригинал, скажем, длинный и многословный, дан под заголовком: «Утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении сокровища, буде оно найдется, по адресу: Том-стрит, № 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом: «Потерян» и адрес указан: Дик-стрит, № 2, или Гарри-стрит, № 3. Кроме того, копия помещена одновременно в пяти или шести газетах, а во времени отстает от оригинала всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И разумеется, пять или шесть шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по адресу, указанному надувателем, а не в дом настоящего владельца. Надуватель уплачивает вознаграждение, получает сокровище и сматывает удочки.

Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в сорок — пятьдесят долларов, прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом помер такой-то по сякой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо всяких расспросов. Дня два спустя, в то время, как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сякой-то улице

раздается звонок; слуга открывает; посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдет позже. «Ни в коем случае!» — восклицает слуга. «Ни в коем случае!» — восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рассматривают, шумно признают за подлинный, выплачивают вознаграждение, и посетителя чуть ли не взашей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке свое неодобрение, ибо они заплатили сорок или пятьдесят долларов за facsimile[743] ее бриллиантового перстня — facsimile, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла.

Но как нет, в сущности, конца надувательствам, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта паука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для каковой цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое было сравнительно недавно проделано у нас в городе, а впоследствии не без успеха повторено и в некоторых других, не менее злачных местностях Союза. В город неведомо откуда приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, по скромно, просто — белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства; мягкие штиблеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, респектабельный, трезвый делец par excellence[744] — один из тех суровых и по видимости жестоких, а в душе мягких людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, которые, как известно, одной рукой раздают гинеи, а другой, просто из коммерческого принципа, вытрясут из человека все до сотой доли последнего фартинга.

Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей. Привык к тишине. Образ жизни ведет весьма размеренный. И вообще предпочитает снять комнату н

поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит, единственное его условие — это что за квартиру он будет платить точно по первым числам каждого месяца (сегодня второе); и он умоляет свою квартирную хозяйку, когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в десять часов утра первого числа каждого месяца и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе.

Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли в глаза.

«За богатой вывеской, — провозглашает он, — редко бывает по-настоящему солидное дело», — замечание, столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.

Следующий шаг — объявление, вроде нижеследующего, которое помещается в главной деловой газете города. (При этом шесть пенсов за его помещение не вносятся — во-первых, это несолидно, а во-вторых, нечего требовать платы вперед; наш господин, как в святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана.)

> «Требуется. — Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги трех или четырех образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалованье. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие и не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, так как будущие обязанности клерков связаны с большой ответственностью и так как через их руки будут проходить значительные суммы, было сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере пятидесяти долларов. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих убедительных свидетельств о строгих

нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между десятью и одиннадцатью часами утра и четырьмя и пятью часами дня к господам

Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и К° в доме № 110 по Сучкью-стрит».

К тридцать первому числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания человек пятнадцать — двадцать молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт, — какой же делец в таких вопросах торопится? — так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности направления своего ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои пятьдесят долларов — просто для порядка — от респектабельной фирмы Кошкью, Вошкью, Мошкью, Печкью, Лавочкью и Компания. Утром первого числа следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета — упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на — кью, без сомнения, сурово выбранил бы ее, когда бы его удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два.

Между тем полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтеннейший господин — n.e.i., каковые буквы расшифровываются людьми знающими как начальные классической латинской фразы: поп est inventus[745]. Между тем молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшей резинки и тщательно стирает карандашную запись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии на широких полях Притчей Соломоновых.

14 октября 1843 г.

пер. И. Бернштейн

Очки

Некогда принято было насмехаться над понятием «любовь с первого взгляда»; однако люди, способные мыслить, равно как и те, кто способен глубоко чувствовать, всегда утверждали, что она существует. И действительно, новейшие открытия в области, так сказать, нравственного магнетизма или магнетоэстетики заставляют предполагать, что самыми естественными, а следовательно, самыми искренними и сильными из человеческих чувств являются те, которые возникают в сердце, точно электрическая искра, — словом, лучшие и самые прочные из душевных цепей куются с одного взгляда. Признание, которое я намерен сделать, будет еще одним из бесчисленных подтверждений этой истины.

Повесть моя требует, чтобы я сообщил некоторые подробности. Я еще очень молод — мне по исполнилось и двадцати двух лет. Моя нынешняя фамилия — весьма распространенная и довольно-таки плебейская — Симпсон. Я говорю «нынешняя», ибо я принял ее всего лишь в прошлом году ради получения большого наследства, доставшегося мне от дальнего родственника, Адольфуса Симпсона, эсквайра. По условиям завещания требовалось принять фамилию завещателя, — но только фамилию, а не имя; имя мое — Наполеон Бонапарт.

Фамилию Симпсон я принял неохотно; ибо с полным основанием горжусь своей настоящей фамилией — Фруассар и считаю, что мог бы доказать свое происхождение от бессмертного автора «Хроник»[746]. Если говорить о фамилиях, отмечу кстати любопытные звуковые совпадения в фамилиях моих ближайших предков. Отцом моим был некий мосье Фруассар из Парижа. Моя мать, вышедшая за него в возрасте пятнадцати лет, — урожденная Круассар, старшая дочь банкира Круассара; а супруга того, вышедшая замуж шестнадцати лет, была старшей дочерью некоего Виктора Вуассара. Мосье Вуассар, как ни странно, также женился в свое время на барышне с похожей фамилией — Муассар. Она тоже вышла замуж почти ребенком; а ее мать, мадам Муассар, венчалась четырнадцати лет. Впрочем, столь ранние браки во Франции довольно обычны. Как бы то ни было,

четыре ближайших поколения моих предков звались Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Я же, как уже говорилось, официально сделался Симпсоном, но с такой неохотой, что даже колебался, принять ли наследство на подобных никому не нужных и неприятных proviso[747].

Личными достоинствами я отнюдь не обделен. Напротив, я считаю, что хорошо сложен и обладаю внешностью, которую девять человек из десяти назовут красивой. Мой рост — пять футов одиннадцать дюймов. Волосы у меня темные и кудрявые. Нос — довольно правильной формы. Глаза большие и серые; и хотя крайняя близорукость причиняет мне большие неудобства, внешне это совершенно незаметно. Против докучной близорукости я применял всевозможные средства, за исключением очков. Будучи молод и красив, я их, естественно, не любил и всегда решительно от них отказывался. Ничто так не безобразит молодое лицо, придавая ему нечто излишне чопорное или даже ханжеское и старообразное. Что касается монокля, в нем есть какая-то жеманность и фатоватость. До сих пор я старался обходиться без того и другого. Но довольно этих подробностей, не имеющих, в сущности, большого значения. Добавлю еще, что темперамент у меня сангвинический; я горяч, опрометчив и восторжен и всегда был пылким поклонником женщин.

Однажды прошлой зимой в театре П. я вошел в одну из лож в сопровождении моего приятеля, мистера Толбота. В тот вечер давали онеру, в афише значилось много заманчивого, так что зрительный зал был полон. Мы, однако, вовремя явились занять оставленные для нас места в первом ряду, куда не без труда протиснулись.

В течение двух часов внимание моего спутника, настоящего музыкального fanatico[748] было всецело поглощено сценой; а я тем временем разглядывал публику, по большей части представлявшую elite[749] нашего города. Удостоверясь в этом, я приготовился перевести взгляд на prima donna[750] как вдруг его приковала к себе дама в одной из лож, прежде мной не замеченная.

Проживи я хоть тысячу лет, мне не позабыть охватившего меня глубокого волнения. То была прекраснейшая из всех женщин, до тех пор виденных мною. Лицо ее было обращено к сцене, так что в первые несколько минут оставалось не видным, но фигура была божественна — никакое иное слово не могло бы передать ее дивные пропорции, и даже это кажется мне смехотворно слабым.

Прелесть женских форм, колдовские чары женской грации всегда привлекали меня с неодолимой силой; но тут передо мной была воплощенная грация, beau ideal[751] моих самых пылких и безумных мечтаний. Видная мне почти целиком благодаря устройству ложи, она была несколько выше среднего роста и могла быть названа почти величавой. Округлости фигуры, ее tournure[752] были восхитительны. Голова, видная мне только с затылка, могла соперничать с головкой Психеи; очертания ее скорее подчеркивались, чем скрывались изящным убором из gaze aerienne[753], напомнившего мне о ventum textilem[754] Апулея[755]. Правая рука покоилась на барьере ложи и своей восхитительной формой заставляла трепетать каждый нерв моего существа. Верхняя часть ее скрывалась модным широким рукавом. Он спускался чуть ниже локтя. Под ним был другой, облегающий рукав, из какой-то тонкой ткани, законченный пышной кружевной манжетой, красиво лежавшей на кисти руки, оставляя наружи лишь тонкие пальцы, один из которых был украшен бриллиантовым кольцом, несомненно огромной ценности. Прелестная округлость запястья подчеркивалась браслетом, также украшенным aigrette[756] из драгоценных камней, который яснее всяких слов свидетельствовал как о богатстве, так и об изысканном вкусе владелицы.

Словно окаменев, я не менее получаса любовался этим царственным обликом и в полной мере ощутил силу и истинность всего, что говорится и поется о «любви с первого взгляда». Чувства мои совершенно не походили на те, какие я испытывал прежде, даже при виде наиболее знаменитых красавиц. Какое-то необъяснимое, магнетическое влечение души к душе, казалось, приковало не только мой взор, но все мои помыслы и чувства к восхитительному созданию, сидевшему передо мной. Я понял — я почувствовал — я знал, что глубоко, безумно и беззаветно влюбился — даже прежде чем увидел лицо любимой. Так сильна была сжигавшая меня страсть, что я едва ли охладел бы, если бы черты еще невидимого мне лица оказались самыми заурядными — настолько причудлива природа единственной истинной любви и так мало она зависит от внешних условий, которые только по видимости рождают и питают ее.

Пока я таким образом самозабвенно любовался прелестным видением, какой-то внезапный шум в зале заставил даму слегка повернуться в мою сторону, и я увидел ее профиль. Красота его даже превзошла мои ожидания — и, однако, что-то в нем разочаровало меня, хотя я и не сумел бы объяснить, что именно. Я сказал «разочаровало», но это слово не вполне подходит. Чувства мои успокоились и одновременно сделались как бы возвышеннее. Причиной могло быть выражение достоинства и кротости, придававшее ей облик матроны или мадонны. Однако я тотчас понял, что дело не только в этом. Было еще нечто — какая-то непостижимая тайна — что-то неуловимое в ее лице, что несколько встревожило меня, усилив вместе с тем мой интерес. Словом, я пришел в то состояние духа, когда молодой и впечатлительный человек готов на любое безумство. Если бы дама была в одиночестве, я наверняка вошел бы в ее ложу и рискнул заговорить с ней; но, по счастью, с ней были двое — мужчина и поразительно красивая женщина, но виду несколько моложе ее.

Я перебирал в уме всевозможные способы быть представленным старшей из дам или хотя бы рассмотреть ее более отчетливо. Я готов был пересесть к ней поближе, но для этого театр был слишком переполнен, а неумолимые законы прилетая запрещают в наше время пользоваться в подобных случаях биноклем, даже если бы он у меня оказался, — но его не было, и я был в отчаянии..

Наконец мне пришло в голову обратиться к моему спутнику.

— Толбот, — сказал я, — у вас есть бинокль. Дайте его мне.

— Бинокль? Нет. К чему мне бинокль? — И он нетерпеливо повернулся к сцене.

— Толбот, — продолжал я, теребя его за плечо, — послушайте! Видите вон ту ложу? Вон ту. Нет, соседнюю — встречали вы когда-нибудь такую красавицу?

— Да, хороша, — сказал он.

— Интересно, кто такая?

— Бог ты мой, неужели вы не знаете? «Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своем вы сознаетесь»[757]. Это известная мадам Лаланд — первая красавица — о ней говорит весь город. Безмерно богата, к тому же вдова, завидная партия и только что из Парижа.

— Вы с ней знакомы?

— Да, имею честь.
— А меня представите?
— Разумеется, с большим удовольствием; но когда?
— Завтра в час дня я зайду за вами в отель Б.
— Отлично; а сейчас помолчите, если можете.

В этом мне пришлось подчиниться Толботу; ибо он остался глух ко всем дальнейшим расспросам и замечаниям и до конца вечера был занят только тем, что происходило на сцене.

Я тем временем не сводил глаз с мадам Лаланд, и мне наконец посчастливилось увидеть ее en face[758] Лицо ее было прелестно — но ото подсказало мне сердце, еще прежде чем Толбот удовлетворил мое любопытство; и все же нечто непонятное продолжало меня тревожить. Наконец я решил, что это должно быть выражение серьезности, печали или, пожалуй, усталости, которое лишало лицо части свежести и юности, но зато придавало ему ангельскую кротость и величавость, то есть делало несравненно привлекательнее для моей восторженной и романтической натуры.

Пожирая ее глазами, я с волнением заметил по едва уловимому движению дамы, что она почувствовала на себе мой пламенный взгляд. Но я был так очарован, что не мог отвести его хотя бы на миг. Она отвернулась, и мне снова стал виден только ее изящный затылок. Через несколько минут, как видно, желая убедиться, продолжаю ли я смотреть на нее, она медленно обернулась и вновь встретила мой горящий взгляд. Она тотчас потупила свои большие темные глаза, а щеки ее густо залились румянцем. Но каково было мое удивление, когда она, вместо того чтобы вторично отвернуться, взяла двойной лорнет, висевший у нее на поясе, поднесла его к глазам, навела и несколько минут внимательно и неторопливо меня разглядывала.

Если бы у моих ног ударила молния, я был бы менее поражен — но именно поражен, а отнюдь не возмущен, хотя в любой другой женщине подобная смелость могла и возмутить и оттолкнуть. Но она проделала все это столь спокойно, с такой nonchalance[759], с такой безмятежностью, словом, с такой безупречной воспитанностью, что это не содержало и тени бесстыдства, и единственными моими чувствами были удивление и восторг.

Когда она направила на меня свой лорнет, я заметил, что она, бегло оглядев меня, уже готовилась отвести его, но потом, словно

спохватившись, вновь приставила к глазам и с пристальным вниманием разглядывала меня никак не менее пяти минут.

Поведение, столь необычное в американском театральном зале, привлекло общее внимание и вызвало в публике движение и шепот, которые на миг смутили меня, но, казалось, не произвели никакого впечатления на мадам Лаланд.

Удовлетворив свое любопытство — если это было любопытством, — она опустила лорнет и снова спокойно обратила лицо к сцепе, повернув ко мне, как и вначале, свой профиль. Я по-прежнему не спускал с нее глаз, хотя вполне сознавал неприличность своего поведения. Но вот голова ее медленно изменила положение, и вскоре я убедился, что дама, делая вид, будто смотрит на сцену, на самом деле внимательно глядит на меня. Излишне говорить, как подействовало на мою пламенную натуру подобное поведение столь обворожительной женщины.

Посвятив осмотру моей особы, пожалуй, с четверть часа, прекрасный предмет моей страсти обратился к сопровождавшему ее джентльмену, и я по взглядам их обоих ясно понял, что разговор идет обо мне.

Затем мадам Лаланд вновь повернулась к сцене и на несколько минут, по-видимому, заинтересовалась представлением. По прошествии этого времени я с неизъяснимым волнением увидел, что она еще раз взялась за лорнет, снова повернулась ко мне и, пренебрегая возобновившимся перешептыванием в публике, оглядела меня с головы до ног с тем же удивительным спокойствием, которое уже в первый раз так восхитило и потрясло меня.

Эти необычайные поступки, окончательно вскружив мне голову и доведя до истинного безумия мою страсть, скорее придали мне смелости, чем смутили. В любовном угаре я позабыл обо всем, кроме присутствия очаровательницы и ее царственной красоты. Улучив минуту, когда, как мне казалось, внимание публики было поглощено оперой, я поймал взгляд мадам Лаланд и тотчас же отвесил ей легкий поклон.

Она сильно покраснела — отвела глаза — медленно и осторожно огляделась, видимо, желая убедиться, что мой дерзкий поступок остался незамеченным — а затем наклонилась к джентльмену, сидевшему с нею рядом.

Я уже сгорал от стыда за совершенную мною бестактность и ожидал немедленного скандала; в уме моем промелькнула предстоящая наутро неприятная встреча на пистолетах. Но тут я с большим облегчением увидел, что дама просто молча передала своему спутнику программу; и пусть читатель хотя бы отдаленно представит себе мое удивление — мое глубокое изумление — и безумное смятение чувств, когда дама, снова украдкой оглянувшись вокруг, устремила прямо на меня свои сияющие глаза, а затем, с легкой улыбкой, открывшей жемчужный ряд зубов, два раза утвердительно наклонила голову.

Невозможно описать мою радость — мой восторг — мое безмерное ликование. Если кто-нибудь терял рассудок от избытка счастья, таким безумцем был в ту минуту я. Я любил. То была моя первая любовь — так я чувствовал. То была любовь — безграничная — неизъяснимая. То была «любовь с первого взгляда», и с первого же взгляда меня оцепили и ответили мне взаимностью. Да, взаимностью. Как мог я в этом усумниться хотя бы на минуту? Как мог иначе истолковать подобное поведение со стороны дамы столь прекрасной, столь богатой, несомненно образованной и отлично воспитанной, занимающей столь высокое положение в обществе и достойной всяческого уважения, какою, по моему убеждению, являлась мадам Лаланд? Да, она полюбила меня — она ответила на мою безумную любовь чувством столь же безотчетным — столь же беззаветным — столь же бескорыстным — и столь же безмерным, как мое! Эти восхитительные размышления были, однако, тут же прерваны опустившимся занавесом. Зрители встали с мест, и началась обычная сутолока. Покинув Толбота, я силился приблизиться к мадам Лаланд. Не сумев этого сделать из-за толпившейся публики, я должен был отказаться от погони и направился домой, тоскуя, что не смог хотя бы коснуться края ее одежды, но утешаясь мыслью, что назавтра Толбот представит меня ей по всей форме.

Этот день наконец настал, то есть долгая и томительная ночь нетерпеливого ожидания сменилась рассветом; но и после этого время до «часу дня» ползло нескончаемо, точно улитка. Но говорят, что даже Стамбулу когда-нибудь придет конец; наступил он и для моего ожидания. Часы пробили. При последнем отголоске их боя я вошел в отель Б. и спросил Толбота.

— Нету, — ответил слуга — собственный лакей Толбота.

— Нету? — переспросил я, пошатнувшись и отступая на несколько шагов. — Это, любезный, совершенно немыслимо и невозможно. Как это нету?

— Дома нету, сэр. Мистер Толбот сейчас же, как позавтракал, уехал в С. и велел сказать, что не будет в городе всю неделю.

Я окаменел от ужаса и негодования. Я пытался что-то сказать, но язык мне не повиновался. Наконец я пошел прочь, бледный от злобы, мысленно посылая в преисподнюю весь род Толботов. Было ясно, что мой внимательный друг, il fanatico, совершенно позабыл о своем обещании — позабыл сразу же, как обещал. Он никогда не отличался верностью своему слову. Делать было нечего; я подавил, как сумел, свое раздражение и уныло шел по улице, тщетно расспрашивая о мадам Лаланд каждого встречавшегося мне знакомого мужчину. Оказалось, что понаслышке ее знали все — а многие и в лицо, — но она находилась в городе всего несколько недель, и поэтому лишь очень немногие могли похвастать знакомством с нею. Эти немногие, сами будучи еще малознакомыми для нее людьми, не могли или не хотели взять на себя смелость явиться к ней с утренним визитом ради того, чтобы меня представить. Пока я, уже отчаявшись, беседовал с тремя приятелями все на ту же поглощавшую меня тему, предмет этой беседы внезапно сам появился перед нами.

— Клянусь, вот и она! — вскричал один из приятелей.

— Изумительна хороша! — воскликнул второй.

— Сущий ангел! — промолвил третий.

Я взглянул; в открытом экипаже, который медленно ехал по улице, к нам приближалось волшебное видение, представшее мне в опере, а рядом сидела та же молодая особа, что была тогда с нею в ложе.

— Ее спутница тоже удивительно хорошо выглядит, — заметил тот из троих, кто заговорил первым.

— Да, поразительно, — сказал второй, — до сих пор весьма эффектна; но ведь искусство творит чудеса. Честное слово, она выглядит лучше, чем пять лет назад, в Париже. Все еще хороша — не правда ли, Фруассар, то бишь Симпсон?

— Все еще? — переспросил я, — почему бы нет? Но в сравнении со своей спутницей она все равно что свечка рядом с вечерней звездой — или светлячок по сравнению с Антаресом[760].

— Ха, ха, ха! Однако ж, Симпсон, у вас истинный дар на открытия, и весьма оригинальные.

На этом мы расстались; а один из трио принялся мурлыкать водевильные куплеты, в которых я уловил лишь несколько слов:

Ninon[761]*, Ninon, Ninon a bas —*
A bas Ninon de L'Enclos![762]

Во время этого разговора произошло событие, которое меня очень обрадовало, но еще усилило сжигавшую меня страсть. Когда экипаж мадам Лаланд поравнялся с нами, она явно меня узнала; более того — осчастливила ангельскою улыбкой, ясно говорившей, что я узнан.

Всякую надежду на знакомство пришлось оставить до того времени, когда Толбот сочтет нужным вернуться в город. А пока я усердно посещал все приличные места общественных увеселений и наконец в том самом театре, где я увидел ее впервые, я имел несказанное счастье встретить ее еще раз и обменяться с ней взглядами. Это, однако, произошло лишь по прошествии двух педель. Все это время я ежедневно справлялся о Толботе в его отеле и ежедневно приходил в ярость, слыша от его слуги неизменное: «Еще не приезжал».

Вот почему в описываемый вечер я был уже близок к помешательству. Мне сказали, что мадам Лаланд — парижанка, недавно приехала из Парижа — она могла ведь и уехать обратно — уехать до возвращения Толбота — а тогда будет потеряна для меня навеки. Мысль эта была непереносима. На карту было поставлено мое будущее счастье, и я решил действовать, как подобает настоящему мужчине. Словом, по окончании представления я последовал за дамой, заметил себе ее адрес, а на следующее утро послал ей пространное письмо, в котором излил свои чувства.

Я писал свободно, смело — словом, писал со страстью. Я ничего не скрыл — даже своих слабостей. Я упомянул о романтических обстоятельствах нашей первой встречи и даже о взглядах, которыми мы обменялись. Я решился написать, что уверен в ее любви; этой уверенностью, а также пылкостью моего собственного чувства я оправдывал поступок, который иначе был бы непростителен. В

качестве третьего оправдания я написал о своем опасении, что она может уехать из города, прежде чем мне явится возможность быть ей представленным. Я заключил это самое безумное и восторженное из посланий откровенным отчетом о своих денежных обстоятельствах, о своих немалых средствах и предложением руки и сердца.

Ответа я ждал с мучительным нетерпением. Спустя какое-то время, показавшееся мне столетием, ответ пришел.

Да, пришел. Как ни романтично все это может показаться, я действительно получил письмо от мадам Лаланд — от прекрасной, богатой, всех восхищавшей мадам Лаланд. Ее глаза — ее чудесные глаза — не обманывали: сердце ее было благородно. Как истая француженка, она послушалась честного голоса природы — щедрых побуждений сердца и презрела чопорные условности света. Она не отвергла мое предложение. Она не замкнулась в молчании. Она не возвратила мое письмо нераспечатанным. Она даже прислала ответ, начертанный ее собственной прелестной рукой. Ответ этот гласил:

> «Мосье Симпсон будет извинить если плохо пишу прекрасного языка его contree[763]. Я приехал недавно и не был еще случай его etudier[764].
>
> С эта извинения, я скажу, helas![765] Мосье Симпсон очень истинно догадалась. Не надо добавлять? Helas! Я уже слишком много сказать.
>
> Эжени Лаланд»

Я тысячи раз целовал эту благородную записку и, вероятно, совершил множество других безумств, которых сейчас уж и не припомню. А Толбот все еще не возвращался. Ах, если б он хоть смутно догадывался о страданиях, какие причинял другу своим отсутствием, неужели он не поспешил бы их облегчить? Однако он не возвращался. Я написал ему. Он ответил. Его задерживали неотложные дела — но он скоро вернется. Он просил меня быть терпеливее — уморить мой пыл — читать успокоительные книги — не нить ничего крепче рейнвейна — и искать утешения в философии. Глупец! Если он не мог приехать сам, отчего, во имя всего разумного, он не прислал в своем письме рекомендательной записки? Я написал ему вторично, умоляя прислать таковую. Письмо мое было мне возвращено все тем

же слугой со следующей карандашной надписью — негодяй уехал к своему господину:

«Уехали вчера из С., а куда и надолго ли — не сказали. Поэтому я решил лучше письмо вернуть, узнавши вашу руку, потому что вам всегда спешно.

Ваш покорный слуга

Стабсс»

Надо ли говорить, как я после этого проклинал и господина и слугу, — но от гнева было мало пользы, а от жалоб — ни малейшего утешения.

Моей последней надеждой оставалась моя врожденная смелость. Она уже сослужила мне службу, и я решил положиться на нее и далее. К тому же после обмена письмами что мог я совершить такого, что мадам Лаланд сочла бы за дерзость? После получения от нее письма я постоянно наблюдал за ее домом и обнаружил, что она имела обыкновение прогуливаться по вечерам в парке, куда выходили ее окна, в сопровождении одного лишь негра в ливрее. Здесь, под роскошными тенистыми купами, в сумерках теплого летнего дня я дождался случая и подошел к ней.

Чтобы ввести в заблуждение сопровождавшего ее слугу, я принял уверенный вид старого, близкого знакомого. Она сразу поняла это и с истинно парижским присутствием духа протянула мне в качестве приветствия обворожительную маленькую ручку. Слуга тотчас же отстал на несколько шагов, и мы излили наши переполненные сердца в долгой беседе о нашей любви.

Так как мадам Лаланд изъяснялась по-английски еще менее свободно, чем писала, разговор мог идти только по-французски. На этом сладостном языке, созданном для любовных признаний, я дал волю своей необузданной страстности и со всем красноречием, на какое был способен, умолял ее согласиться на немедленный брак.

Мое нетерпение вызвало у нее улыбку. Она напомнила о светских приличиях — об этом пугале, которое столь многим преграждает путь к счастью, пока возможность его не бывает потеряна навеки. Она сказала, что я весьма неосторожно разгласил среди своих друзей, что ищу знакомства с нею, показав тем самым, что мы еще не знакомы, и

теперь нам не удастся скрыть, когда именно мы познакомились. Тут она, смущаясь, назвала эту столь недавнюю дату. Немедленное венчание было бы неприлично поспешным, неудобным, outre[766] Все это она высказала с очаровательной naivete[767] которая восхитила меня, хотя я с огорчением сознавал, что она права. Она даже обвинила меня, смеясь, в опрометчивости и безрассудстве. Она напомнила мне, что я не знаю, кто она, каковы ее средства, ее семья и положение в обществе. Она со вздохом попросила меня не спешить и назвала мою любовь ослеплением — вспышкой — минутной фантазией — непрочным созданием скорее воображения, нежели сердца. Пока ома говорила, блаженные сумерки все более сгущались вокруг нас — и вдруг нежным пожатием своей волшебной ручки она в один сладостный миг опрокинула все здание своих доводов.

Я отвечал, как умел, — как умеют одни лишь истинно влюбленные. Я пространно и убедительно говорил о своей любви, о своей страсти — о ее дивной красоте и о моем безмерном восхищении. В заключение я энергично указал на опасности, окружающие любовь, — ту истинную любовь, чей путь никогда не бывает гладким, и вывел отсюда, что путь этот надлежит по возможности сократить.

Последний мой довод, казалось, несколько поколебал ее суровую решимость. Она смягчилась; но оставалось еще одно препятствие, о котором, по ее словам, я должным образом не подумал. Вопрос был щекотливый — женщине особенно не хотелось бы его касаться; делая это, она пересиливала себя, но ради меня она готова на любую жертву. Она имела в виду возраст. Знаю ли я. — точно ли я знаю, какая разница в летах пас разделяет? Когда муж бывает на несколько лет и даже на пятнадцать — двадцать лет старше жены, это свет считает допустимым и даже одобряет; но чтобы жена была старше мужа, этого мадам Лаланд никогда не одобряла. Подобное противоестественное различие слишком часто, увы! бывает причиной несчастливого супружества. Она знает, что мне всего лишь двадцать два года; а вот мне, возможно, не известно, что моя Эжени значительно старше.

В этих словах звучало душевное благородство, достоинство и прямота, которые очаровали меня — привели в восхищение — и еще прочнее привязали к ней. Я едва мог сдерживать свой безмерный восторг.

— Прелестная Эжени! — вскричал я. — О чем вы толкуете? Вы несколько старше меня годами. Что ж из того? Обычаи света — всего лишь пустые условности. Для такой любви, как наша, не все ли равно — год или час? Вы говорите, что мне всего двадцать два, хотя мне уже почти двадцать три. Ну а вам, милая Эжени, не может быть более — более чем — чем…

Тут я остановился, надеясь, что мадам Лаланд договорит за меня и назовет свой возраст. Но француженка редко отвечает прямо и на щекотливый вопрос всегда имеет наготове какую-нибудь увертку. В этом случае Эжени, перед тем искавшая что-то у себя на груди, уронила в траву медальон, который я немедленно подобрал и подал ей.

— Возьмите его! — сказала она с самой обворожительной своей улыбкой. — Примите его от той, которая здесь так лестно изображена. К тому же на обороте медальона вы, быть может, найдете ответ на свой вопрос. Сейчас слишком темно — вы рассмотрите его завтра утром. А теперь проводите меня домой. Мои друзья устраивают сегодня небольшой домашний levee[768]. Обещаю, что вы услышите неплохое пение. Мы, французы, не столь чопорны, как вы, американцы, и я без труда проведу вас к себе, как будто старого знакомого.

Она оперлась на мою руку, и я проводил ее домой. Особняк ее был красив и, кажется, обставлен со вкусом. Об этом, впрочем, я едва ли мог судить, ибо к тому времени совсем стемнело, а в лучших американских домах редко зажигают лампы в летние вечера. Разумеется, спустя час после моего прихода в большой гостиной ванили карсельскую лампу под абажуром; и я смог увидеть, что эта комната была убрана с необыкновенным вкусом и даже роскошью; но две соседние, в которых главным образом и собрались гости, в течение всего вечера оставались погруженными в весьма приятный полумрак. Это отличный обычай, дающий гостям возможность выбирать между светом и сумраком, и нашим заморским друзьям следовало бы принять его немедленно.

Проведенный там вечер был, несомненно, счастливейшим в моей жизни. Мадам Лаланд не преувеличила музыкальные дарования своих друзей; я услышал пение, лучше которого еще не слышал в домашних концертах, разве лишь в Вене. Много было также талантливых исполнителей на музыкальных инструментах. Пели главным образом дамы — и все но меньшой мере хорошо. Когда собравшиеся

требовательно закричали: «Мадам Лаланд», — она, не жеманясь и не отнекиваясь, встала с шезлонга, где сидела рядом со мною, и, в сопровождении одного-двух мужчин, а также подруги, с которой была в опере, направилась к фортепиано, стоявшему в большой гостиной. Я охотно сам проводил бы ее туда, но чувствовал, что обстоятельства моего появления в доме требовали, чтобы я не был слишком на виду. Поэтому я был лишен удовольствия смотреть на певицу — но мог слышать ее.

Впечатление, произведенное ею на слушателей, было потрясающим, но на меня действие ее пения было еще сильней. Я не сумею описать его должным образом. Отчасти оно вызывалось переполнявшей меня любовью; но более всего — глубоким чувством, с каким она пела. Никакое мастерство не могло придать арии или речитативу более страстной выразительности. Ее исполнение романса из «Отелло»[769], — интонация, с какою она пропела слова «Sul mio sasso»[770] из «Капулетти»[771], доныне звучат в моей памяти. В низком регистре она поистине творила чудеса. Голос ее обнимал три полные октавы, от контральтового D до верхнего D сопрано, и хотя он был достаточно силен, чтобы наполнить Сан Карло[772], ома настолько владела им, что с легкостью справлялась со всеми вокальными сложностями — восходящими и нисходящими гаммами, каденциями и фиоритурами, Особенно эффектно прозвучал у нее финал «Сомнамбулы»[773]:

Ah! non giunge uman pensiero
Al contento ond'io son piena.[774]

Тут, в подражание Малибран[775], она изменила сочиненную Беллини фразу, взяв теноровое G, а затем сразу перебросив звук G на две октавы вверх.

После этих чудес вокального искусства она вернулась на свое место рядом со мной, и я в самых восторженных словах выразил ей мое восхищение. Я ничего не сказал о моем удивлении, а между тем я был немало удивлен, ибо некоторая слабость и как бы дрожание ее голоса при разговоре не позволяли ожидать, что пение ее окажется столь хорошо.

Тут между нами произошел долгий, серьезный, откровенный и никем не прерываемый разговор. Она заставила меня рассказать о моем детстве и слушала с напряженным вниманием. Я не утаил от нее ничего — я по чувствовал себя вправе что-либо скрывать от ее доверчивого и ласкового участия. Ободренный ее собственной откровенностью в деликатном вопросе о возрасте, я сознался не только в многочисленных дурных привычках, но также и в нравственных и даже физических недостатках, что требует гораздо большего мужества и тем самым служит вернейшим доказательством любви. Я коснулся студенческих лет — мотовства, пирушек, долгов и любовных увлечений. Я пошел еще дальше и признался в небольшом легочном кашле, который мне одно время докучал, в хроническом ревматизме, в наследственном расположении к подагре и, наконец, в неприятной, но доныне тщательно скрываемой слабости зрения.

— Что касается последнего, — сказала, смеясь, мадам Лаланд, — то вы напрасно сознались, ибо без этого признания вас никто бы не заподозрил. Кстати, — продолжала она, — помните ли вы, — и тут мне, несмотря на царивший в комнате полумрак, почудилось, что она покраснела, — помните ли вы, mon cher ami[776] средство для улучшения зрения, которое и сейчас висит у меня на шее?

Говоря это, она вертела в руках тот самый двойной лорнет, который привел меня в такое смущение тогда в опере.

— Еще бы не помнить! — воскликнул я, страстно сжимая нежную ручку, протянувшую мне лорнет. Это была роскошная и затейливая игрушка, богато украшенная резьбой, филигранью и драгоценными камнями, высокая стоимость которых была мне видна даже в полумраке.

— Eh bien, mon ami[777], — продолжала она с empressement[778] несколько меня удивившей. — Eh bien, mon ami, вы просите меня о даре, который называется бесценным. Вы просите моей руки, и притом завтра же. Если я уступлю вашим мольбам и вместе голосу собственного сердца, разве нельзя и мне требовать исполнения одной очень маленькой просьбы?

— Назовите ее! — воскликнул я так пылко, что едва не привлек внимание гостей, и готовый, если б не они, броситься к ее ногам. — Назовите ее, моя любимая, моя Эжени, назовите! — но ах! Она уже исполнена прежде, чем высказана.

— Вы должны, mon ami, — сказала она, — ради любимой вами Эжени побороть маленькую слабость, в которой вы мне только что сознались, — слабость скорее моральную, чем физическую, и, поверьте, недостойную вашей благородной души — несовместимую с вашей прирожденной честностью — и которая наверняка навлечет когда-нибудь на вас большие неприятности. Ради меня вы должны победить кокетство, которое, как вы сами признаете, заставляет вас скрывать близорукость. Ибо вы скрываете ее, когда отказываетесь прибегнуть к обычному средству против нее. Словом, вы меня поняли; я хочу, чтобы вы носили очки, — тсс! Вы ведь уже обещали, ради меня. Примите же от меня в подарок вот эту вещицу, что я держу в руке; стекла в ней отличные, хотя ценность оправы и невелика. Видите, ее можно носить и так — и вот так — на носу, как очки, или в жилетном кармане в качестве лорнета. Но вы, ради меня, будете носить ее именно в виде очков, и притом постоянно.

Должен признаться, что эта просьба немало меня смутила. Однако условие, с которым она была связана, не допускало ни малейших колебаний.

— Согласен! — вскричал я со всем энтузиазмом, на какой я был в тот миг способен. — Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден.

После этого разговор у нас перешел на подробности нашего завтрашнего плана. Толбот, как я узнал от своей нареченной, как раз вернулся в город. Я должен был немедленно с ним увидеться, а также нанять экипаж. Гости разойдутся не ранее чем к двум часам, и тогда, в суматохе разъезда, мадам Лаланд сможет незаметно в него сесть. Мы поедем к дому одного священника, который уже будет нас ждать; тут мы обвенчаемся, простимся с Толботом и отправимся в небольшое путешествие на восток, предоставив фешенебельному обществу города говорить о нас все, что ему угодно.

Уговорившись обо всем этом, я тотчас отправился к Толботу, но по дороге не утерпел и зашел в один из отелей, чтобы рассмотреть портрет в медальоне; это я сделал при мощном содействии очков.

Лицо на миниатюрном портрете было несказанно прекрасно! Эти большие лучезарные глаза! — этот гордый греческий нос! — эти пышные темные локоны! — «О, — сказал я себе ликуя, — какое поразительное сходство!» На обратной стороне медальона я прочел: «Эжени Лаланд, двадцати семи лет и семи месяцев».

Я застал Толбота дома и немедленно сообщил ему о своем счастье. Он, разумеется, выразил крайнее удивление, однако от души меня поздравил и предложил помочь, чем только сможет. Словом, мы выполнили наш план; и в два часа пополуночи, спустя десять минут после брачной церемонии, я уже сидел с мадам Лаланд — то есть с миссис Симпсон — в закрытом экипаже, с большой скоростью мчавшемся на северо-восток.

Поскольку нам предстояло ехать всю ночь, Толбот посоветовал сделать первую остановку в селении К. — милях в двадцати от города, чтобы позавтракать и отдохнуть, прежде чем продолжать путешествие. И вот, ровно в четыре часа утра, наш экипаж подъехал к лучшей тамошней гостинице. Я помог своей обожаемой жене выйти и тотчас же заказал завтрак. В ожидании его нас провели в небольшую гостиную, и мы сели.

Было уже почти, хотя и не совсем, светло; и глядя в восхищении на ангела, сидевшего рядом со мною, я вдруг вспомнил, что, как ни странно, с тех пор как я впервые увидел несравненную красоту мадам Лаланд, я еще ни разу не созерцал эту красоту вблизи и при свете дня.

— А теперь, mon ami, — сказала она, взяв меня за руку и прервав таким образом мои размышления, — а теперь, когда мы сочетались нерасторжимыми узами — когда я уступила вашим пылким мольбам и исполнила уговор, я надеюсь, вы не забыли, что и вам надлежит кое-что для меня сделать и сдержать свое обещание. Как это было? Дайте вспомнить. Да, вот точные слова обещания, которое вы дали вчера вечером своей Эжени. Слушайте! Вот что вы сказали: «Согласен, и притом с радостью. Ради вас я готов на все. Сегодня я буду носить этот милый лорнет как лорнет, у сердца; но на заре того дня, когда я буду иметь счастье назвать вас своей женой, я надену его на — на нос, и так стану носить всегда, в том менее романтическом и менее модном, но, несомненно, более полезном виде, какой вам угоден». Вот точные ваши слова, милый супруг, не правда ли?

— Да, — ответил я, — у вас отличная намять; и поверьте, прекрасная моя Эжени, я не намерен уклоняться от выполнения этого пустячного обещания. Вот! Смотрите. Они мне даже к лицу, не так ли? — И, придав лорнету форму очков, я осторожно водрузил их на подобающее место; тем временем мадам Симпсон, поправив шляпку и скрестив руки, уселась на стуле в какой-то странной, напряженной и, пожалуй, неизящной позе.

— Боже! — вскричал я почти в тот же миг, как оправа очков коснулась моей переносицы. — Боже великий! Что же это за очки? — И быстро сняв их, я тщательно протер их шелковым платком и снова надел.

Но если в первый миг я был удивлен, то теперь удивление сменилось ошеломлением; ошеломление это было безгранично и могу даже сказать — ужасно. Во имя всего отвратительного, что это? Как поверить своим глазам — как? Неужели — неужели это румяна? А это — а это — неужели же это морщины на лице Эжени Лаланд? О Юпитер и все боги и богини, великие и малые! — что — что — что сталось с ее зубами? — Я в бешенстве швырнул очки на пол, вскочил со стула и стал перед миссис Симпсон, уперевшись руками в бока, скрежеща зубами, с пеною у рта, но не в силах ничего сказать от ужаса и ярости.

Я уже сказал, что мадам Эжени Лаланд — то есть Симпсон — говорила на английском языке почти так же плохо, как писала, и поэтому обычно к нему не прибегала. Но гнев способен довести женщину до любой крайности; на этот раз он толкнул миссис Симпсон на нечто необычайное: на попытку говорить на языке, которого она почти не знала.

— Ну и что, мсье, — сказала она, глядя на меня с видом крайнего удивления. — Ну и что, мсье? Что слюшилось? Вам есть танец, святой Витт? Если меня не нрависьте, зачем купите кот в мешок?

— Негодяйка! — произнес я, задыхаясь. — Мерзкая старая ведьма!

— Едьма? Стари? Не такой вообще стари. Только восемьдесят два лета.

— Восемьдесят два! — вскричал я, пятясь к стене. — Восемьдесят две тысячи образин! Ведь на медальоне было написано: двадцать семь лет и семь месяцев!

— Конечно! Все есть верно! Но портрет рисовал уже пятьдесят пять год. Когда шел замуж, второй брак, с мсье Лаланд, делал портрет для мой дочь от первый брак с мсье Муассар. — Муассар? — сказал я.

— Да, Муассар, Муассар, — повторила она, передразнивая мой выговор, который был, по правде сказать, не из лучших. — И что? Что вы знать о Муассар?

— Ничего, старая карга. Я ничего о нем не знаю. Просто один из моих предков носил эту фамилию.

— Этот фамиль? Ну, что вы против этой фамиль имей? Ошень хороший фамиль; и Вуассар — тоже ошень хороший. Мой дочь мадмуазель Муассар выходил за мсье Вуассар; тоже ошень почтенный фамиль.

— Муассар! — воскликнул я, — и Вуассар! Да что же это такое?

— Что такой? Я говорю Муассар и Вуассар, а еще могу сказать, если хочу, Круассар и Фруассар. Дочь моей дочи, мадмуазель Вуассар, она женился на мсье Круассар, а моей дочи внучь, мадмуазель Круассар, она выходил мсье Фруассар. Вы будет сказать, что эти тоже не есть почтенный фамиль?

— Фруассар! — сказал я, чувствуя, что близок к обмороку. — Неужели действительно Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар?

— Да! — ответила она, откидываясь на спинку стула и вытягивая ноги, — да! Муассар, Вуассар, Круассар и Фруассар. Но мсье Фруассар — это один большой, как говорит, дюрак — очень большой осел, как вы сам — потому что оставлял la belle France[779] и ехал этой stupide Amerique[780] — а там имел один ошень глюпи, ошень-ошень глюпи сын, так я слышал, но еще не видал, и мой подруга, мадам Стефани Лаланд, тоже не видал. Его имя — Наполеон Бонапарт Фруассар. Вы может говорить, что это не почтенный фамиль?

То ли продолжительность этой речи, то ли ее содержание привели миссис Симпсон в настоящее исступление. С большим трудом закончив ее, она вскочила со стула как одержимая, уронив при этом на пол турнюр величиною с целую гору. Она скалила десны, размахивала руками и, засучив рукава, грозила мне кулаком; в заключение она сорвала с головы шляпку, а с нею вместе — огромный парик из весьма дорогих и красивых черных волос, с визгом швырнула их на пол и, растоптав ногами, в совершенном остервенении сплясала на них какое-то подобие фанданго.

Я между тем ошеломленно опустился на ее стул. «Муассар и Вуассар», — повторял я в раздумье, пока она выкидывала одно из своих коленец. «Круассар и Фруассар», — твердил я, пока она заканчивала другое. «Муассар, Вуассар, Круассар и Наполеон Бонапарт Фруассар! Да знаешь ли ты, невыразимая старая змея, ведь это я — я — слышишь? — я-а-а! Наполеон Бонапарт Фруассар — это я, и будь я проклят, если я не женился на собственной прапрабабушке!»

Мадам Эжени Лаланд, quasi[781] Симпсон — по первому мужу Муассар — действительно приходилась мне прапрабабушкой. В молодости она была очень хороша собой и даже в восемьдесят два года сохранила величавую осанку, скульптурные очертания головы, великолепные глаза и греческий нос своих девических лет. Добавляя к этому жемчужную пудру, румяна, накладные волосы, вставные зубы, турнюр, а также искусство лучших парижских модисток, она сохраняла не последнее место среди красавиц — un peu passees[782] французской столицы. В этом отношении она могла соперничать с прославленной Нинон де Ланкло.

Она была очень богата; оставшись вторично вдовою, на этот раз бездетной, она вспомнила о моем существовании в Америке и, решив сделать меня своим наследником, отправилась в Соединенные Штаты в сопровождении дальней и на редкость красивой родственницы своего второго мужа — мадам Стефани Лаланд.

В опере моя прапрабабка заметила мой устремленный на нее взор; поглядев на меня в лорнет, она нашла некоторое фамильное сходство. Заинтересовавшись этим и зная, что разыскиваемый ею наследник проживает в том же городе, она спросила обо мне своих спутников. Сопровождавший ее джентльмен знал меня в лицо и сообщил ей, кто я. Это побудило ее оглядеть меня еще внимательнее и, в свою очередь, придало мне смелость вести себя уже описанным нелепым образом. Впрочем, отвечая на мой поклон, она думала, что я откуда-либо случайно узнал, кто она такая. Когда я, обманутый своей близорукостью и косметическими средствами относительно возраста и красоты незнакомой дамы, так настойчиво стал расспрашивать о ней Толбота, он, разумеется, решил, что я имею в виду ее молодую спутницу и в полном соответствии с истиной сообщил мне, что это «известная вдова, мадам Лаланд».

На следующее утро моя прапрабабушка встретила на улице Толбота, своего старого знакомого по Парижу, и разговор, естественно, зашел обо мне. Ей рассказали о моей близорукости, всем известной, хотя я этого не подозревал; и моя добрая старая родственница, к большому своему огорчению, убедилась, что я вовсе не знал, кто она, а просто делал из себя посмешище, ухаживая на виду у всех за незнакомой старухой. Решив проучить меня, она составила с Толботом целый заговор. Он нарочно от меня прятался, чтобы не быть вынужденным представить меня ей. Мои расспросы на улицах о «прелестной вдове, мадам Лаланд» все, разумеется, относили к младшей из дам; в таком случае стал понятен и разговор трех джентльменов, встреченных мною по выходе от Толбота, так же как и их упоминание о Нинон де Ланкло. При дневном свете мне не пришлось видеть мадам Лаланд вблизи; а на ее музыкальном soiree[783], я не смог обнаружить ее возраст из-за своего глупого отказа воспользоваться очками. Когда «мадам Лаланд» просили спеть, это относилось к младшей; она и подошла к фортепиано, а моя прапрабабушка, чтобы оставить меня и дальше в заблуждении, поднялась одновременно с нею и вместе с нею пошла в большую гостиную. На случай, если б я захотел проводить ее туда, она намеревалась посоветовать мне оставаться там, где я был; но собственная моя осторожность сделала это излишним. Арии, которые так меня взволновали и еще раз убедили в молодости моей возлюбленной, были исполнены мадам Стефани Лаланд. Лорнет был мне подарен в назидание и чтобы добавить соли к насмешке. Это дало повод побранить меня за кокетство, каковое назидание так на меня подействовало.

Излишне говорить, что стекла, которыми пользовалась старая дама, были ею заменены на пару других, более подходящих для моего возраста. Они действительно оказались мне как раз по глазам.

Священник, будто бы сочетавший нас узами брака, был вовсе не священником, а закадычным приятелем Толбота. Зато он искусно правил лошадьми и, сменив свое облачение на кучерскую одежду, увез «счастливую чету» из города. Толбот сидел с ним рядом. Негодяи, таким образом, присутствовали при развязке. Подглядывая в полуотворенное окно гостиничной комнаты, они потешались над

dononement[784] моей драмы. Боюсь, как бы не пришлось вызвать их обоих на дуэль.

Итак, я не стал мужем своей прапрабабушки; и это сознание несказанно меня радует, но я все же стал мужем мадам Лаланд — мадам Стефани Лаланд, с которой меня сосватала моя добрая старая родственница, сделавшая меня к тому же единственным наследником после своей смерти — если только она когда-нибудь умрет. Добавлю в заключение, что я навсегда покончил с billets doux[785] и нигде не появляюсь без ОЧКОВ.

27 марта, 1844

пер. З. Александровой

Повесть Крутых гор

Осенью 1827 года[786], когда я некоторое время жил в штате Виргиния под Шарлоттсвиллом, мне довелось познакомиться с мистером Огестесом Бедлоу. Это был молодой человек, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство. Я обнаружил, что и телесный и духовный его облик равно для меня непостижимы. О его семье я не смог получить никаких достоверных сведений. Мне так и не удалось узнать, откуда он приехал. Даже его возраст — хотя я и назвал его «молодым человеком» — в немалой степени смущала меня. Бесспорно, он выглядел молодым и имел обыкновение ссылаться на свою молодость, и все же бывали минуты, когда мне начинало чудиться, что ему не менее ста лет. Однако более всего поражала в нем его внешность. Он был очень высок и тощ. Он всегда горбился. Его руки и ноги были необыкновенно худы, лоб — широк и низок. Лицо его покрывала восковая бледность. Рот был большим и подвижным, а зубы, хотя и совершенно крепкие, отличались удивительной неровностью, какой мне не доводилось видеть ни у кого другого. Однако его улыбка вовсе не была неприятной, как можно предположить, но она никогда не изменялась и свидетельствовала лишь о глубочайшей меланхолии, о постоянной неизбывной тоске. Его глаза были неестественно велики и круглы, как у кота. И зрачки их при усилении иди уменьшении света суживались и расширялись так, как это наблюдается у всего кошачьего племени. В минуты волнения они начинали сверкать самым невероятным образом и как бы испускали яркие лучи — не отраженные, но зарождающиеся внутри, как в светильнике или в солнце; впрочем, чаще всего они оставались пустыми, мутными и тусклыми, какими могут быть глаза давно погребенного трупа.

Эти особенности его наружности, по-видимому, были ему крайне тягостны, и он постоянно упоминал о них виноватым и оправдывающимся тоном, который вначале производил на меня самое гнетущее впечатление. Вскоре, однако, я привык к нему, и неприятное чувство рассеялось. Казалось, Бедлоу пытался, избегая прямых утверждений, дать мне понять, что он не всегда был таким и что

постоянные невралгические припадки лишили его более чем незаурядной красоты и сделали таким, каким я его вижу теперь. В течение многих лет его лечил врач но фамилии Темплтон — человек весьма преклонного возраста, лет семидесяти, если не более, — к которому он впервые обратился в Саратоге и получил (или лишь вообразил, будто получил) большое облегчение. В результате Бедлоу, человек очень богатый, предложил доктору Темплтону весьма значительное годовое содержание, и тот согласился посвятить все свое время и весь свой медицинский опыт ему одному.

В молодости доктор Темплтон много путешествовал и в Париже стал приверженцем многих доктрин Месмера[787]. Те мучительные боли, которые постоянно испытывал его пациент, он облегчал исключительно с помощью магнетических средств, и вполне естественно, что Бедлоу проникся определенным доверием к идеям, эти средства породившим. Однако доктор, подобно всем энтузиастам, прилагал все усилия, чтобы окончательно убедить свого пациента в их истинности, и преуспел в этом настолько, что страдалец согласился участвовать в различных экспериментах. Постоянное повторение этих экспериментов привело к возникновению феномена, который в паши дни стад настолько обычным, что уже почти не привлекает внимания, но в эпоху, мною описываемую, был в Америке почти неизвестен. Я хочу сказать, что между доктором Темплтоном и Бедлоу установилась весьма четкая и сильно выраженная магнетическая связь, или rapport. Впрочем, я не склонен утверждать, что этот rapport выходил за пределы простой власти вызывать сон, но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнетический сон месмерист потерпел постную неудачу. Пятая или шестая попытка частично достигла цели, причем ценой долгих и напряженных стараний. И только двенадцатая увенчалась полным успехом. Но вскоре после этого воля врача окончательно возобладала над волей пациента, и в те дни, когда я познакомился с ними обоими, первый мог вызвать у больного сон мысленным приказанием, даже когда тот не подозревал о его присутствии. Только теперь, в 1845 году[788], когда подобные чудеса совершаются ежедневно на глазах тысяч свидетелей, я осмеливаюсь занести на бумагу, как неоспоримый факт, то, что на первый взгляд представляется немыслимым.

Натура Бедлоу была в высшей степени чувствительной, восприимчивой и восторженной. Он обладал чрезвычайно деятельным и творческим воображением, и, без сомнения, оно приобретало дополнительную силу благодаря морфину, который Бедлоу принимал постоянно и в огромных количествах и без которого он просто не мог существовать. Он имел привычку глотать большую дозу каждое утро сразу же после завтрака — а вернее, сразу же после чашки крепкого черного кофе, ибо в первую половину дня он ничего не ел, — и затем отправлялся в одиночестве или сопровождаемый только собакой на прогулку среди диких и унылых холмов, протянувшихся к западу и к югу от Шарлоттсвилла и удостоенных от местных жителей почетного наименования «Крутые горы».

Как-то в конце ноября, в пасмурное, теплое и туманное утро, принадлежащее тому странному междуцарствию времен года, которое в Америке называют «индейским летом», мистер Бедлоу по своему обыкновению ушел в холмы. День уже кончался, а он все еще не возвратился.

Примерно в восемь часов вечера, серьезно обеспокоенные его столь длительным отсутствием, мы уже собрались отправиться на поиски, как вдруг он вернулся, — чувствовал он себя не хуже, чем обыкновенно, и был в состоянии возбуждения, для него редкого. То, что он поведал нам о своей прогулке и о событиях, его задержавших, было поистине необычайным.

— Как вы, несомненно, помните, — начал он, — я покинул Шарлоттсвилл около девяти часов утра. Я сразу же направился к горам и в десять часов вступил в узкую долину, дотоле мне неизвестную. С большим интересом следовал я по ее извивам. Ландшафт, открывавшийся моему взору, вряд ли можно назвать величественным, однако его отличала неописуемая — а для меня восхитительная — унылая пустынность. В безлюдии и дикости долины была какая-то девственная нетронутость, и я невольно подумал, что на этот зеленый дерн и серые камни до меня еще не ступала нога человека. Вход в эту долину настолько укрыт и настолько трудно доступен, что попасть туда можно лишь в результате стечения ряда случайностей, и я действительно мог быть первым, кто вторгся в нее, — первым и единственным смельчаком, проникшим в ее тайные пределы.

На долину вскоре спустился тот особый молочный туман, который свойствен только поре индейского лета, и оттого все вокруг стадо казаться еще более смутным и неопределенным. Этот приятный туман был столь густ, что порой я различал предметы впереди себя не более чем в десяти ярдах. Долина была чрезвычайно извилиста, и, так как солнце исчезло за непроницаемой пеленой, я скоро потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфин оказал свое обычное действие, и каждая деталь внешнего мира представлялась мне теперь необыкновенно интересной. В трепетании листа, в оттенке стебелька травы, в очертаниях трилистника, в жужжании пчелы, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в легких ароматах, доносившихся из леса, — во всем обреталась целая вселенная намеков, все давало пищу для веселого и пестрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей.

Погруженный в них, я шел так несколько часов, а туман становился все гуще, и в конце концов мне пришлось пробираться на ощупь в самом прямом смысле слова. И тут мною овладела неописуемая тревога, порождение нервной нерешительности и боязливости. Я страшился сделать шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот разверзнется бездна. К тому же мне на ум пришли странные истории, которые рассказываются об этих Крутых горах, о свирепых полудиких людях, которые обитали в их рощах и пещерах. Тысячи неясных фантазий — фантазий, еще более тягостных из-за своей неясности, — угнетали мой дух и усугубляли овладевшую мной робость. Внезапно мое внимание привлек громкий барабанный бой.

Изумление мое, разумеется, было чрезвычайным. Эти горы никогда не видели барабана. Мое удивление не было бы сильнее, услышь я трубу архангела. Однако вскоре мое недоумение и любопытство стократно возросли — раздалось оглушительное бряцание, точно кто-то взмахнул связкой гигантских ключей, и мгновение спустя мимо меня с воплем пробежал полунагой смуглый человек. Он промчался настолько близко от меня, что я почувствовал на своем лице его горячее дыхание. В одной руке он нес инструмент, состоявший из множества стальных колец, и на бегу энергично им встряхивал. Не успел он исчезнуть в тумане, как следом за ним, хрипло дыша, пробежал огромный зверь с ощеренной пастью и горящими глазами. Я не мог ошибиться — это была гиена!

Вид чудовища скорее развеял, нежели усугубил мой ужас, ибо теперь я убедился, что грежу, и попытался заставить себя очнуться. Я смело и решительно пошел вперед. Я протер глаза. Я громко закричал. Я несколько раз ущипнул себя. Увидев журчащий ключ, я ополоснул руки и смочил водой голову и шею. Это как будто рассеяло одолевавшие меня неясные ощущения. Я поднялся на ноги, чувствуя себя другим человеком, и спокойно и безмятежно продолжал свой неведомый путь.

Наконец, утомленный ходьбой и странной духотой, разлитой в воздухе, я сел отдохнуть под деревом. Вскоре сквозь туман забрезжили слабые солнечные лучи, и на траву легли прозрачные, но четкие тени листьев. С изумлением я долго смотрел на эти тени. Их очертания ошеломили меня. Я поднял глаза вверх. Это дерево было пальмой!

Я поспешно вскочил, охваченный страшным волнением, ибо уже не мог убеждать себя, будто я грежу. Я видел… я понимал, что полностью владею всеми своими чувствами — и теперь эти чувства распахнули передо мною мир новых и необычных ощущений. Жара мгновенно стала невыносимой. Ветер наполнился странными запахами. До моих ушей донесся слабый непрерывный ропот, словно поблизости струилась полноводная, но тихая река, и к этому ропоту примешивался своеобразный гул множества человеческих голосов.

Пока я прислушивался, вне себя от изумления, которое и не буду пытаться описывать, краткий, но сильный порыв ветра рассеял туман, словно по мановению магического жезла. Я увидел, что нахожусь у подножья высокой горы, а передо мной простирается бескрайняя равнина, по которой катит свои могучие воды величественная река. На ее берегу раскинулся восточного вида город, о каких мы читаем в арабских сказках, но своеобразием превосходящий их все. С того места, где я стоял высоко над городом, моему взгляду были доступны все самые укромные его уголки, как будто я смотрел на его план. Бесчисленные улицы вились во всех направлениях, беспорядочно пересекая друг друга, — собственно говоря, это были даже не улицы, а узкие длинные проулки, заполненные кишащими толпами. Дома поражали причудливой живописностью. Повсюду изобилие балконов, веранд, минаретов, святилищ и круглых окошек с резными решетками. Базары во множестве манили покупателей бесконечным разнообразием дорогих товаров, количество которых превосходило

всякое вероятие, — шелка, муслины, сверкающие ножи и кинжалы, великолепнейшие драгоценные камни и жемчуг. И повсюду взгляд встречал знамена и паланкины, носилки с закутанными в покрывала знатными дамами, слонов в расшитых попонах, уродливых каменных идолов, барабаны, знамена, гонги, копья, серебряные и позолоченные палицы. И среди этих толп и суеты, по запутанному, хаотичному лабиринту улочек, среди миллионов темнокожих и желтокожих людей в тюрбанах, в свободных одеждах, с пышными кудрявыми бородами, бродили мириады украшенных лентами храмовых быков, а гигантские полчища грязных, но священных обезьян прыгали, лопотали и визжали на карнизах мечетей или резвились на минаретах и в оконных нишах. От заполненных народом улиц к берегу реки спускались неисчислимые лестницы, ведшие к местам омовений, а сама река, казалось, с трудом пролагала себе путь между колоссальными флотилиями тяжело нагруженных судов, скрывавшими от глаз самую ее поверхность. За пределами города к небу тянулись купы кокосовых и иных пактам, а также других диковинных деревьев небывалой высоты и толщины. Там и сям взор встречал рисовое поле, крытую листьями крестьянскую хижину, водоем, одинокий храм, цыганский табор или грациозную девушку, которая с кувшином на голове спускалась к берегу величавой реки.

Теперь вы, конечно, скажете, что я спал и грезил, но это было не так. Тому, что я видел, что я слышал, что ощущал, что думал, ни в чем не была свойственна смутность, всегда присущая снам. Вся картина была исполнена строгих соответствий и логики. Вначале, сомневаясь, не чудится ли мне это, я применил несколько проверок, которые скоро убедили меня, что я бодрствую и сознание мое ясно. А ведь когда человеку снится сон и он во сне подозревает, что все происходящее ему только снится, это подозрение всегда и непременно находит подтверждение в том, что спящий тотчас пробуждается. Вот почему прав Новалис, утверждая: «Мы близки к пробуждению, когда нам снится, что нам снится сон». Если бы, когда это видение предстало передо мною, я не заподозрил бы, что оно может быть сном, тогда оно, несомненно, оказалось бы именно сном, но раз я заподозрил, что это может быть сон, и проверил свои подозрения, то приходится счесть его каким-то иным явлением.

— Я не скажу, что вы в этом ошиблись, — заметил доктор Темплтон. — Однако продолжайте. Вы встали и спустились в город.

— Я встал, — произнес Бедлоу, глядя на доктора с глубочайшим изумлением, — я встал, как вы сказали, и спустился в город. На пути туда я скоро оказался среди людей, бесчисленными потоками заполнявших все ведущие к нему дороги и каждым своим жестом выдававших бурное возбуждение и волнение. Внезапно под влиянием неизъяснимого импульса я проникся всепоглощающим личным интересом к тому, что происходило вокруг. Я, казалось, чувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не знал, какую и в чем. Однако окружающие меня людские толпы внушали мне глубокую враждебность. Я поспешил удалиться от них и быстро добрался до города кружным путем. Там царило величайшее смятение и раздор. Небольшой отряд солдат, облаченных в полуиндийские, полуевропейские одежды, под командой офицеров в мундирах, схожих с британскими, отражал натиск городской черни, несравненно более многочисленной. Я присоединился к слабейшим, взял оружие одного из убитых офицеров и вступил в бой, не зная, против кого, хотя и сражался с нервной яростью, рожденной отчаянием. Однако пас было слишком мало, и вскоре, вынужденные отступить, мы укрылись в здании, напоминавшем павильон. Там мы забаррикадировались и на некоторое время получили передышку. Сквозь амбразуру у самого свода я увидел, как огромная буйствующая толпа окружила и принялась штурмовать изящный дворец над рекой. Вскоре в одном из окон верхнего этажа этого дворца показался изнеженного вида человек и начал спускаться вниз по веревке, свитой из тюрбанов его приверженцев. Тут же ему подали лодку, и он уплыл на ней на противоположный берег реки.

И тут моей душой овладело новое стремление. Я обратился к моим товарищам с кратким, но настойчивым призывом и, убедив некоторых из них, предпринял отважную вылазку. Покинув павильон, мы врезались в окружавшую его толпу. Сначала враги расступились перед нами, затем оправились от неожиданности и бросились на нас как бешеные, но снова отступили. Тем временем, однако, мы оказались в стороне от павильона, среди узких проулков, над которыми почти смыкались верхние этажи домов, так что сюда никогда не заглядывало солнце. Городская чернь дерзко окружила нас, грозя нам копьями,

пуская в нас тучи стрел. Эти последние были весьма примечательны и по виду несколько напоминали извилистые лезвия малайских крисов[789]. Им придавалось сходство с телом ползущей змеи. Длинные и темные, они завершались отравленными наконечниками. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал. Мной овладела мгновенная и невыразимая ужасная дурнота. Я забился в судорогах… я испустил конвульсивный вздох… я умер.

— Ну, уж теперь-то вы вряд ли будете отрицать, — сказал я с улыбкой, — что все ваше приключение было сном! Не станете же вы утверждать, что вы мертвы?

Произнося эти слова, я, разумеется, ждал, что Бедлоу ответит мне какой-нибудь веселой шуткой, но, к моему удивлению, он запнулся, вздрогнул, побелел как полотно и ничего не сказал. Я поглядел на Темплтона. Он сидел, выпрямившись и словно окостенев, его зубы стучали, а глаза вылезали из орбит.

— Продолжайте! — хрипло сказал он наконец, обращаясь к Бедлоу.

— В течение нескольких минут, — заговорил тот, — моим единственным ощущением, моим единственным чувством были бездонная темнота, растворение в ничто и осознание себя мертвым. Затем мою душу как бы сотряс внезапно удар, словно электрический. И он принес с собой ощущение упругости и света, но свет этот я не видел, а только чувствовал. В одно мгновение я, казалось, воспарил над землей. Но я не обладал никакой телесной, видимой, слышимой или осязаемой сущностью. Толпа разошлась. Смятение улеглось. В городе воцарилось относительное спокойствие. Внизу подо мной лежал мой труп — из виска торчала стрела, голова сильно распухла и приобрела ужасный вид. Но все это я чувствовал, а не видел. Меня ничто не интересовало. Даже труп, казалось, не имел ко мне никакого отношения. Воля моя исчезла без следа, но что-то побуждало меня двигаться, и я легко полетел прочь от города, следуя тому же окольному пути, каким вступил в него. Когда я снова достиг того места в долине, где видел гиену, я снова испытал сотрясение, точно от прикосновения к гальванической батарее; ко мне вернулось ощущение весомости, воли, телесного бытия. Я снова стал самим собой и поспешно направился в сторону дома, однако случившееся со мной нисколько не утратило живости и реальности, и даже теперь, в эту

самую минуту, я не могу заставить себя признать, что все это было лишь сном.

— О нет, — с глубокой и торжественной серьезностью сказал Темплтон, — хотя и трудно найти иное наименование для того, что с вами произошло. Предположим лишь, что душа современного человека находится на пороге каких-то невероятных открытий в области психического. И удовлетворимся этим предположением. Остальное же я могу в какой-то мере объяснить. Вот акварельный рисунок, который мне следовало бы показать вам ранее, чему мешал неизъяснимый ужас, охватывавший меня всякий раз, когда я собирался это сделать.

Мы посмотрели на акварель, которую он протянул нам. Я не обнаружил в ней ничего необычайного, однако на Бедлоу она произвела поразительное впечатление. Он чуть не упал в обморок. А ведь это был всего лишь портрет, воспроизводивший — правда, с неподражаемой точностью, — его собственные примечательные черты. Во всяком случае, так думал я, глядя на миниатюру.

— Посмотрите, — сказал Темплтон, — на год, каким помечена акварель. Видите, вон в том углу еде заметные цифры — тысяча семьсот восемьдесят? Это год написания портрета. Он изображает моего покойного друга, некоего мистера Олдеба, с которым я близко сошелся в Калькутте в губернаторство Уоррена Гастингса[790]. Мне было тогда лишь двадцать лет. Когда я увидел вас в Саратоге, мистер Бедлоу, именно чудесное сходство между вами и портретом побудило меня искать знакомства и дружбы с вами, а также принять ваше предложение, которое позволило мне стать вашим постоянным спутником. Мной при этом руководили главным образом скорбные воспоминания о покойном друге, но в определенной степени и тревожное, не свободное от ужаса любопытство, которое возбуждали во мне вы сами. Рассказывая о видении, явившемся вам среди холмов, вы с величайшей точностью описали индийский город Бенарес на священной реке Ганге. Уличные беспорядки, схватка с толпой и гибель части отряда представляют собой реальные события, имевшие место во время восстания Чейт Сингха[791], которое произошло в тысяча семьсот восьмидесятом году, когда Уоррен Гастингс чуть было не распростился с жизнью. Человек, спустившийся по веревке, сплетенной из тюрбанов, был Чейт Сингх. В павильоне укрылись

сипаи[792] и английские офицеры во главе с самим Гастингсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров безрассудно решился на вылазку, я приложил все усилия, чтобы отговорить его, но тщетно — он пал в одной из улиц, пораженный отравленной стрелой бенгальца. Этот офицер был моим самым близким другом. Это был Олдеб. Как покажут вот эти записи, — доктор достал тетрадь, несколько страниц которой были исписаны и, очевидно, совсем недавно, — в те самые часы, когда вы грезили среди холмов, я здесь, дома, заносил эти события на бумагу.

Примерно через неделю после этого разговора в шарлоттсвиллской газете появилось следующее сообщение:

> «Мы должны с прискорбием объявить о кончине мистера Огестеса Бедло, джентльмена, чьи любезные манеры и многие достоинства завоевали сердца обитателей Шарлоттсвилла.
>
> Мистер Б. последние годы страдал невралгией, припадки которой не раз грозили стать роковыми, однако этот недуг следует считать лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственная же причина поистине необыкновенна. Во время прогулки по Крутым горам несколько дней тому назад покойный простудился, и у него началась лихорадка, сопровождавшаяся сильными приливами крови к голове. Поэтому доктор Темплтон решил прибегнуть к местному кровопусканию, и к вискам больного были приложены пиявки. Через ужасающе короткий срок больной скончался, и тогда выяснилось, что в банку с медицинскими пиявками случайно попал ядовитый кровосос — один из тех, которые иногда встречаются в пригородных прудах. Этот мерзкий кровопийца присосался к малой артерии на правом виске. Его сходство с медицинской пиявкой привело к тому, что ошибка была обнаружена слишком поздно.
>
> Примечание. Шарлоттсвиллский ядовитый кровосос отличается от медицинской пиявки черной окраской, а главное, особой манерой извиваться, напоминающей движение змеи».

Я беседовал с издателем шарлоттсвиллской газеты об этом необыкновенном происшествии и между прочим спросил, почему фамилия покойного была напечатана «Бедло».

— Полагаю, — сказал я, — у вас были какие-то основания для такого ее написания, по мне всегда казалось, что она оканчивается на «у».

— Основания? — переспросил он. — Нет, это просто типографская опечатка. Конечно, фамилия покойного пишется с «у» на конце — Бедлоу, и я ни разу в жизни не встречал иного ее написания.

— В таком случае, — пробормотал я, поворачиваясь, чтобы уйти, — в таком случае остается только признать, что правда действительно бывает любого вымысла странней: ведь «Бедлоу» без «у» — это же фамилия «Олдеб», написанная наоборот! А он хочет убедить меня, что это просто типографская ошибка!

Апрель, 1844

пер. И. Гуровой

Преждевременное погребение

Есть темы, полные захватывающего интереса, но слишком ужасные, чтобы служить законной темой для литературного произведения. Романист должен избегать их, если не хочет возбудить отвращение или оскорбить читателя. Мы можем затрагивать их лишь в тех случаях, когда их оправдывает и освящает суровое величие истины. Мы читаем с дрожью «мучительного наслаждения» о переходе через Березину, о лиссабонском землетрясении[793], о лондонской чуме[794], о кровавой Варфоломеевской ночи, о гибели ста двадцати трех пленных в Черной яме в Калькутте[795]. Но в этих рассказах нас волнует факт, быль, история. Будь это выдумка — они внушали бы нам отвращение.

Я перечислил некоторые из самых громких, самых трагических катастроф, занесенных в летописи человечества, но во всех этих случаях размеры бедствия усиливают его мрачный характер, производя особенно сильное впечатление на нашу фантазию. Вряд ли нужно напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих несчастий найдутся отдельные случаи, полные несравненно более жестоких страданий, чем эти всенародные бедствия. Подлинное отчаяние, высшая скорбь постигают отдельного человека, они не распространяются на многих. И слава милосердному богу, что эта нечеловеческая мука выпадает на долю единиц, а не масс.

Быть погребенным заживо — без сомнения, одна из ужаснейших пыток, когда-либо выпадавших на долю смертному. Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается часто, очень часто. Границы, отделяющие жизнь от смерти, смутны и неопределенны. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все видимые жизненные функции, хотя на самом деле это прекращение — только временная приостановка, минутная пауза в непонятном механизме человеческого тела. Проходит известный срок, и какой-то незримый таинственный закон снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колеса. Серебряная нить жизни не порвана, золотой кубок не разбит окончательно. Но где же пребывала душа в это время?

Независимо от неизбежного вывода априори, что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям и временное прекращение жизненных функций должно в отдельных случаях приводить к погребению заживо, — независимо от этих отвлеченных соображений, прямое свидетельство медиков, да и обычный опыт показывают, что такие погребения бывали не раз. Я мог бы в случае надобности привести десятки вполне достоверных примеров. Одно весьма замечательное происшествие этого рода, обстоятельства которого, быть может, еще свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и тягостное впечатление на широкие круги публики. Жена одного из самых уважаемых граждан — известного адвоката и члена конгресса — внезапно заболела какой-то странной болезнью, поставившей в тупик ее врачей. После тяжких страданий она умерла, или была сочтена умершей. Никому в голову не пришло, да и не могло прийти, что она жива. Все признаки смерти были налицо. Черты заострились и осунулись. Губы побелели, как мрамор. Глаза угасли. Пульс остановился. Тело стало холодным и в течение трех дней, пока лежало непогребенным, успело затвердеть, как камень. Ввиду быстрого наступления того, что казалось разложением, похороны были ускорены.

Покойницу положили в семейный склеп, который за три последующих года ни разу не открывали. По истечении этого срока его открыли, чтобы поставить туда саркофаг. Но, увы! какой страшный удар ожидал мужа, который сам открыл дверь. Когда он распахнул ее половинки, отворявшиеся наружу, что-то в белом со стуком повалилось к нему на грудь. Это был скелет его жены в не истлевшем еще саване.

Тщательное исследование показало, что она очнулась дня через два после погребения, билась в гробу, пока он с возвышения, или подставки, не упал на пол, расколовшись при этом, — так что она могла выйти. Лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой, — впрочем, может быть, масло улетучилось. На верхней ступеньке лестницы, у входа в склеп, валялся большой обломок гроба: по-видимому, она стучала им в железную дверь, стремясь привлечь чье-нибудь внимание. Тут она упала в обморок, а может быть, и умерла

от ужаса, и, падая, зацепилась саваном за торчавшую скобу или петлю. В этом положении она осталась и истлела.

В 1810 году случай погребения заживо имел место во Франции, при обстоятельствах, которые вполне оправдывают поговорку «Правда чудеснее выдумки». Героиня происшествия — мадемуазель Викторина Лафуркад[796], молодая девушка из знатной семьи, богатая и красивая. Среди ее многочисленных поклонников был некто Жюльен Боссюе, бедный парижский litterateur, или журналист. Таланты и достоинства завоевали ему благосклонность красавицы, но родовая гордость заставила ее отклонить предложение Боссюе и выйти за некоего Ренеля, банкира и довольно видного дипломата. Однако после свадьбы этот господин стал пренебрегать ею, может быть, даже колотил ее. Прожив с ним несколько горьких лет, она умерла, — по крайней мере впала в состояние, решительно ничем не отличавшееся от смерти. Ее похоронили не в склепе, а в обыкновенной могиле на деревенском кладбище, в той местности, где она родилась. Терзаясь отчаянием, до сих пор верный своей любви, Жюльен приезжает из Парижа в глухую провинцию с романтическим намерением: вырыть тело из могилы и взять себе на память роскошные косы красавицы. Ночью он является на кладбище, разрывает могилу, открывает гроб и уже собирается срезать волосы, как видит, что глаза любимой открыты. Оказалось, что ее похоронили заживо. Жизненные силы не совсем в ней иссякли, ласки возлюбленного пробудили ее от летаргии, которая была принята за смерть. Он отнес ее в деревенскую гостиницу, где остановился, и с помощью сильных укрепляющих средств (он обладал большими познаниями в медицине) окончательно оживил ее. Она узнала своего избавителя и оставалась у него до своего полного выздоровления. Женское сердце не камень, и этот последний урок любви смягчил его. Она отдала сердце Боссюе, больше не возвращалась к супругу и, скрыв от него свое воскресение, бежала с возлюбленным в Америку. Через двадцать лет они вернулись во Францию — в надежде, что время изменило ее наружность и друзья не узнают ее. Однако они ошиблись: при первой встрече господин Ренель узнал свою жену и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она отказалась, а суд поддержал ее, решив, что ввиду исключительных обстоятельств и за давностью дела права мужа и по справедливости и по закону следует считать потерявшими силу.

Лейпцигский «Хирургический журнал» — весьма ценный и авторитетный научный орган, который какому-нибудь американскому книгопродавцу следовало бы издавать в переводе на наш язык, — сообщает о весьма печальном случае в том же роде.

Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, был сброшен необъезженной лошадью и ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был слегка поврежден, однако рана оказалась неопасной. Трепанация удалась. Ему пустили кровь, были приняты и другие меры к его исцелению. Тем не менее он все более впадал в летаргическое состояние и наконец был сочтен умершим.

Погода стояла жаркая, и покойника похоронили с почти неприличной поспешностью на одном из общественных кладбищ. Похороны состоялись в четверг. В воскресенье на кладбище собралось, как обычно, много посетителей, и около полудня один крестьянин возбудил всеобщее волнение, заявив, что, когда он сидел на могиле офицера, насыпь зашевелилась, будто под ней покойник бился в гробу. Сначала на эти слова мало кто обратил внимание, но непритворный ужас рассказчика и его настойчивость подействовали на толпу. Достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как забросанную могилу. Офицер был, или казался, мертвым, но он не лежал, а сидел, почти выпрямившись, в гробу, крышку которого успел частично приподнять в своей отчаянной борьбе.

Его доставили в ближайшую больницу, где врачи объявили, что он еще жив, но находится в состоянии асфиксии. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и, как мог, рассказал о своей агонии в могиле.

Из рассказа выяснилось, что, очнувшись, он не менее часа провел в гробу и только потом потерял сознание.

Гроб был засыпан очень небрежно, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь рыхлую землю. Он слышал шаги посетителей над своей головой и старался привлечь их внимание. Вероятно, шум на кладбище и пробудил его от летаргии, но, придя в себя, он тотчас же понял весь ужас своего положения.

Этот больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но погиб жертвой медицинского

шарлатанства: его вздумали лечить электричеством, он скончался в пароксизме возбуждения, вызванного гальванической батареей.

Гальваническая батарея напомнила мне известный и весьма замечательный случай, когда этот аппарат возвратил к жизни молодого лондонского стряпчего, пролежавшего в могиле двое суток.

Больной, мистер Эдуард Степлтон, умер, по-видимому, от тифозной горячки, сопровождавшейся необычными симптомами, которые возбудили любопытство врачей. После его мнимой смерти они обратились к друзьям покойного с просьбой разрешить им исследование post mortem[797], но получили отказ. Как часто бывает при таких отказах, они сговорились все же вырыть труп из могилы и анатомировать его потихоньку. Условились с шайкой похитителей трупов, которых в Лондоне всегда немало, и на третью ночь после погребения предполагаемый труп был извлечен из глубокой, в восемь футов, могилы и доставлен в мертвецкую одной частной больницы.

Был уже сделан надрез в области желудка, когда свежий вид тела, без всяких признаков разложения навел врачей на мысль применить гальваническую батарею. Проделанные опыты сопровождались обычными явлениями, не представлявшими ничего исключительного; только раз или два наблюдаемые судороги напомнили движения живого тела.

Время шло. Близилось утро, и врачи решили наконец приступить к вскрытию. Тут один студент, желая проверить какую-то свою теорию, стал убеждать их сделать еще опыт, приложив батарею к одному из грудных мускулов. Сделали надрез, и лишь только приложили провод, как мертвец быстрым, но отнюдь не судорожным движением поднялся, соскочил со стола на пол, бросил вокруг себя беспокойный взгляд и заговорил. Слов его они не разобрали, но все-таки это были слова, членораздельные звуки. Произнеся их, он тяжело повалился на пол.

В первую минуту все оцепенели от страха, но необходимость что-то предпринять заставила их тут же опомниться. Очевидно, мистер Степлтон был жив, хоть и в обмороке. Эфир скоро привел его в чувство, затем он быстро оправился и вернулся в общество своих друзей, от которых скрывали факт его оживления до тех пор, пока не исчезла всякая опасность рецидива. Можно себе представить их удивление, их несказанное изумление.

Но то, что сообщил сам мистер Степлтон, было особенно удивительно. Он заявил, что ни на миг не терял сознания до конца; пусть смутно и неясно, но он сознавал все происходившее с ним с той минуты, когда врачи объявили, что он умер, до той, когда он упал без чувств в больнице. «Я жив», — вот слова, которые он пытался произнести, очнувшись в мертвецкой.

Нетрудно было бы увеличить число подобных историй, но я воздерживаюсь, так как и без того можно считать доказанным, что погребения заживо имеют место, и если принять в расчет, как редко, по самой своей природе, подобные случаи становятся нам известны, то придется допустить, что они могут очень часто происходить без нашего ведома. В самом деле, вряд ли хоть раз при раскопках кладбища не были найдены скелеты в позах, наводящих на самые ужасные подозрения.

Подозрения ужасны, но еще ужаснее сама могила! Можно смело сказать, что ни одно состояние не связано с такими адскими телесными и душевными муками, как состояние заживо погребенного. Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жесткие объятия узкого гроба, черная, непроглядная тьма, безмолвие, точно на морском дне; невидимое, но осязаемое присутствие победителя-червя, мысль о воздухе и траве наверху, воспоминание о друзьях, которые прилетели бы как на крыльях, чтобы спасти вас, если бы узнали о вашем положении, и уверенность, что они никогда не узнают; уверенность в том, что ваша участь — участь трупа, — все это наполняет еще бьющееся сердце таким неслыханным, невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить самое смелое воображение. Мы не знаем большей муки на земле и не можем представить себе более ужасной казни в глубочайших безднах ада. Понятно, что рассказы на эту тему представляют глубокий интерес, который, однако, в силу благоговейного ужаса, возбуждаемого самой темой, всецело зависит от нашего убеждения в истинности рассказа. То, что я намерен поведать читателю, заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного опыта.

В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи назвали каталепсией, за неимением более точного названия. Хотя прямые и косвенные причины этого недуга,

равно как и его диагноз, еще остаются тайной, его разнообразные симптомы довольно хорошо исследованы. По-видимому, они отличаются только интенсивностью. Иногда пациент впадает в летаргию на день или даже на меньший срок. Он лежит без чувств, без движения, но слабые удары сердца еще прослушиваются; остаются некоторые следы теплоты; легкий румянец окрашивает середину щек; а приставив зеркало к губам, можно заметить неровную, заметную, слабую деятельность легких. Но бывает и так, что припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что самое строгое медицинское исследование не откроет ни малейшего различия между этим состоянием и тем, которое мы неоспоримо признаем смертью. Обычно такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что друзья знают о его прежних припадках, и вследствие этого у них возникает сомнение, особенно если нет никаких признаков разложения. К счастью, болезнь эта овладевает человеком постепенно. Первые симптомы хотя и мало заметны, однако имеют уже недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся все характернее и с каждым разом тянутся дольше. Это обстоятельство — главная гарантия против погребения. Несчастный, у которого первый припадок имел бы острый характер, присущий этой болезни в самой тяжелой ее форме, был бы почти неизбежно осужден лечь живым в могилу.

Мой случай ничем особенным не отличался от описанных в медицинских книгах. По временам я без всякой видимой причины мало-помалу впадал в состояние полулетаргии или полуобморока; в этом состоянии, не чувствуя никакой боли, лишенный способности двигаться или, вернее сказать, думать, со смутным летаргическим сознанием собственного бытия и присутствия лиц, окружающих мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис разом не восстанавливал мои силы. Иногда, напротив, болезнь поражала меня быстро и неотразимо. На меня находила слабость, столбняк, озноб, головокружение, и я лишался чувств. Затем по целым неделям вокруг меня царили пустота, тьма, безмолвие, и вселенная превращалась в ничто. Словом, наступало полное небытие. От этих припадков я оправлялся тем медленнее, чем быстрее они наступали. Как заря для бесприютного, одинокого странника, блуждающего по улицам в

долгую тоскливую зимнюю ночь, — так же медленно и лениво и так же ободряюще возвращался ко мне свет сознания.

В основном здоровье мое, по-видимому, не ухудшалось; я не замечал, чтобы припадки эти сопровождались какими-либо болезненными явлениями, если не считать некоторой особенности моего сна. Пробудившись, я никак не мог сразу овладеть своими чувствами и в течение нескольких минут пребывал в самом растерянном и нелепом состоянии; душевные способности вообще, а память в особенности совершенно притуплялись.

При этом я не испытывал никаких физических страданий, лишь безмерную душевную смятенность. Мое воображение бродило по склепам. Я толковал «о чертях, могилах и эпитафиях». Я только и думал о смерти, и страх быть заживо погребенным неотступно преследовал меня. Ужасная опасность, которой я подвергался, не давала мне покоя ни днем ни ночью. Как ни терзала она меня днем, ночью она становилась еще нестерпимей. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнетом ужасных мыслей, дрожал, как перья на погребальной колеснице. А когда мое тело уже не могло переносить бодрствования, я продолжал бороться со сном — так пугала меня мысль проснуться в могиле. И, когда наконец сон овладевал мною, я переносился в царство призраков, над которым простирала широкие траурные крылья все та же мысль о могиле.

Из бесчисленных мрачных видений, угнетавших меня во сне, приведу для примера только одно. Мне казалось, будто я впал в каталептический сон, более глубокий и продолжительный, чем обычно. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба и нетерпеливый голос невнятно шепнул:

— Вставай!

Я сел на кровати. Тьма была кромешная. Я не мог рассмотреть фигуру того, кто разбудил меня. Я не мог вспомнить, когда со мной случился припадок и где я нахожусь. Пока я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями, та же холодная рука крепко схватила меня немного повыше кисти, нетерпеливо тряхнула мою руку, и тот же голос невнятно проговорил:

— Вставай! Ведь я же приказал тебе вставать.

— Кто ты? — спросил я.

— Там, где я обитаю, нет имен, — печально ответил голос. — Я был смертным, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я сострадателен. Ты чувствуешь, как я дрожу? Мои зубы стучат, но не от холода ночи, бесконечной ночи. Это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты спокойно спать? Крики их агонии не дают мне покоя. Эти картины превыше моих сил. Вставай! Пойдем в земную ночь, и я раскрою перед тобой могилы. Это ли не зрелище скорби, смотри!

Я взглянул; и невидимая фигура, все еще державшая меня за руку, раскрыла передо мной могилы всего человечества. Из каждой исходил слабый фосфорический свет гниения, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы и увидел скорченные трупы в их печальном и торжественном сне среди могильных червей. Но увы! Спящих вечным сном оказалось на много миллионов меньше, чем тех, кто вовсе не спал; отовсюду доносились звуки слабой борьбы, чувствовалось общее тоскливое беспокойство; из бездонных ям доносился печальный шорох саванов. Даже лежавшие спокойно и те изменили неловкие и неестественные позы, в которых были погребены. И снова голос шепнул мне:

— Это ли, о, это ли не зрелище скорби?

Но прежде чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет угас, земля сомкнулась над могилами, и из них вырвался отчаянный вопль множества голосов:

— Это ли, о господи, это ли не зрелище скорби?

Ночные кошмары оказывали ужасное влияние и на часы моего бодрствования. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой беспрерывного страха. Я боялся ездить верхом, гулять, боялся всякого развлечения, для которого нужно было выходить из дому. Я не решался покидать общество людей, знавших о моих припадках, так как, случись подобный приступ в их отсутствие, меня могли бы заживо похоронить. Я сомневался в заботливости и верности лучших моих друзей, боялся, что, если припадок затянется дольше обычного, они все-таки сочтут меня умершим. Я дошел до того, что спрашивал себя: а что, если они будут рады воспользоваться затянувшимся пароксизмом и отделаться от меня, причинявшего им столько хлопот? Напрасно они старались успокоить меня самыми торжественными обещаниями. Я заставил их поклясться самыми страшными клятвами,

что они не зароют меня, пока тело мое не разложится настолько, что дальнейшее промедление станет невозможным. Но даже после этого мой смертельный страх не поддавался никаким увещаниям, никаким утешениям. Я принял целый ряд тщательно продуманных предосторожностей. Между прочим, перестроил семейный склеп так, чтобы его можно было открыть изнутри. Стоило только слегка нажать на длинный рычаг, вдававшийся в глубину склепа, чтобы железные двери распахнулись. Подле самого гроба, куда меня должны были положить, были устроены приспособления для свободного доступа света и воздуха, а также для запасов пищи и питья. Сам гроб был мягко выстеган и накрывался крышкой в виде свода с пружинами, посредством которых крышка откидывалась при малейшем движении тела. Кроме того, под потолком склепа был повешен большой колокол, от него спускалась веревка, проходившая в отверстие гроба: ее должны были привязать к моей руке. Но увы! Что все наши предосторожности перед волею судьбы! Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, осужденного на эту пытку!

Случилось однажды, — как это часто случалось и раньше, — что я пробудился от полного бесчувствия к первому слабому и смутному сознанию бытия. Медленно — черепашьим шагом — наступал тусклый, серый рассвет душного дня. Я испытывал ощущение неловкости и одеревенения. Какое-то вялое смутное недомогание — ни тревоги, ни надежды, ни усилий. Затем, через некоторое время, — звон в ушах; спустя еще более длительный интервал — ощущение мурашек в конечностях; потом как будто бесконечный период блаженного спокойствия, когда просыпающиеся чувства начинают будить мысль; потом кратковременное погружение в небытие и внезапное пробуждение; легкая дрожь одного века, и тотчас — словно электрический удар смертельного бесконечного ужаса, от которого кровь прилила к сердцу. И только теперь — первая попытка мыслить. Первая попытка вспомнить. Только теперь успех — да и то неполный и мимолетный. И тут память возвращается ко мне настолько, что я начинаю сознавать свое положение. Я чувствую, что очнулся не от обычного сна, припоминаю, что со мной случался припадок каталепсии. И вот мой трепещущий дух наконец захвачен, точно

бурной волной океана, сознанием грозной опасности — одной адской мыслью, неизменной и единственной.

Когда она овладела мной, я несколько минут пролежал не двигаясь. Но почему? Сделать усилие, которое открыло бы мне мою участь, я не смел, а между тем сердце подсказывало мне, что самое ужасное совершилось. Отчаяние, подобного которому не может вызвать никакое другое несчастье, — одно отчаяние заставило меня после долгих колебаний поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Кругом тьма, непроглядная тьма. Я знал, что припадок кончился. Знал, что кризис давно миновал. Знал, что теперь я вполне владею способностью зрения. И все-таки кругом была тьма — кромешная тьма, полное, совершенное отсутствие света, ночь, которая никогда не проходит.

Я попытался крикнуть: губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не последовало; мои легкие, точно придавленные целой горой, сжимались и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе.

Я попробовал открыть рот, чтобы крикнуть, но почувствовал, что челюсти мои подвязаны, как у покойника. Я чувствовал также, что лежу на чем-то жестком и что-то жесткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелиться, но теперь разом поднял обе руки, которые лежали крест-накрест у меня на груди. Они ударились о что-то деревянное и прочное, находившееся дюймах в шести у меня над головой. Сомнений не оставалось: я наконец действительно лежал в гробу.

В эту минуту бесконечного ужаса передо мной мелькнул кроткий херувим надежды: я вспомнил о своих предосторожностях. Я стал судорожно биться, стараясь поднять крышку, но она не двигалась. Я начал искать веревку от колокола — ее не было. И вот ангел-утешитель отлетел навсегда, и восторжествовало еще горшее отчаяние. Я не мог не заметить отсутствия обивки, о которой позаботился, и в ту же минуту мое обоняние было внезапно поражено резким, своеобразным запахом сырой земли. Вывод был страшен: я лежал не в склепе. Припадок застиг меня вне дома, среди чужих людей, — когда и как, я не мог припомнить, — и меня зарыли, как собаку, в простом гробу, забитом гвоздями, глубоко, глубоко под землей, в обыкновенной, безвестной могиле.

Когда эта страшная уверенность проникла в мою душу, я снова попытался крикнуть; и на этот раз попытка удалась: долгий, отчаянный, бесконечный крик или вопль агонии огласил тишину подземной ночи.

— Эй, что там такое?! — раздался в ответ чей-то грубоватый голос.

— Что за чертовщина? — произнес другой.

— Вылезай-ка отсюда! — подхватил третий.

— Что ты там воешь, словно влюбленный кот? — сказал четвертый.

Затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие-то молодцы весьма грубого вида. Они не разбудили меня, — я и без того проснулся, — но вернули мне память.

Происшествие случилось близ Ричмонда в Виргинии. Вместе с приятелем я предпринял охотничью экскурсию по берегам Джемс-Ривер. Близилась ночь, и нас застала буря. Небольшая баржа, нагруженная садовой землей, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным нашим убежищем. За неимением лучшего, мы воспользовались им и провели ночь на барже. Я занял одну из двух кают, — а можно себе представить, что такое каюта на барже в шестьдесят-семьдесят тонн. В каюте, которую я занял, постели вовсе не было. Ширина ее достигала не более восемнадцати дюймов, столько же было и в высоту — от пола до потолка. Мне стоило немалого труда втиснуться в нее. Тем не менее я спал крепко; все, что мне представилось, — а был это не сон и не бред, — явилось естественным следствием моего положения, обычного хода моих мыслей и того обстоятельства, о котором я уже упоминал: неспособности сразу очнуться, а главное — сразу овладеть памятью. Оказалось, что люди, которые трясли меня, — хозяева баржи и работники, нанятые для выгрузки. Запах земли исходил от груза, а повязка под челюстью — это был шелковый платок, которым я обмотал голову за неимением ночного колпака.

Во всяком случае, пытка, которой я подвергся в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук заживо погребенного. Она была ужасна, невыразима, но нет худа без добра: самая чрезмерность страданий вызвала во мне неизбежное противодействие. Мои душевные силы окрепли, и я успокоился. Я

уехал за границу. Занялся физическими упражнениями. Дышал чистым воздухом полей. Стал думать о других предметах, а не только о смерти. Забросил медицинские книги. Бухана[798] я сжег; перестал читать «Ночные мысли»[799], всякую ерунду о кладбищах, бабьи сказки вроде той, которую сейчас рассказал. Словом, я стал другим человеком и зажил подлинно человеческой жизнью. С той памятной ночи я навсегда расстался со своими могильными страхами, а вместе с ними исчезли и припадки каталепсии, которые, быть может, явились скорее следствием, чем причиной этих страхов.

Бывают минуты, когда даже для трезвого рассудка наш печальный человеческий мир становится адом. Но воображение человека не может безнаказанно спускаться в такие бездны. Увы! мрачные ужасы могилы существуют не в одном воображении. Но, подобно демонам, в обществе которых Афразиаб[800] спустился по Оксусу[801], они должны спать, иначе они растерзают нас; а мы не должны тревожить их сна — иначе мы погибли.

31 июля, 1844

пер. М. Энгельгарта

Месмерическое откровение

Как бы сомнительны ни оставались пока попытки дать месмеризму[802] научное объяснение, поразительность его результатов признана почти безоговорочно. Упорствуют лишь записные скептики, не верящие ни во что просто из принципа, — народ никчемный и доброго слова не стоящий. Теперь мы бы стали ломиться в открытые двери, принявшись доказывать, что человек способен, воздействуя на партнера только усилием воли, привести того в патологическое состояние, необычность которого в том, что оно по своим признакам очень близко напоминает смерть, или, во всяком случае, напоминает скорее именно ее, чем какое-либо другое известное нам естественное состояние человека; что, когда человек находится в подобном состоянии, органы чувств почти теряют восприимчивость; но зато по каналам, пока неизвестным, он воспринимает с исключительной чуткостью явления, обычным органам чувств не доступные; более того, уму его чудодейственно сообщаются высота и озаренность; между ним и внушающим ему свою волю устанавливается глубочайшее взаимопонимание, и, наконец, восприимчивость человека к подобному внушению растет в прямой зависимости от частоты и регулярности повторения сеансов, одновременно с чем и поразительные явления, сопровождающие их, обнаруживают себя все полней и отчетливей.

Все эти положения, повторяю, суть общие прописи месмеризма, так что и нет нужды докучать ими читателям. Цель у нас совершенно иная. Я решил, чего бы это мне ни стоило и назло всем злопыхателям и маловерам, просто изложить поподробней и без всяких комментариев в высшей степени примечательное содержание моей беседы с человеком, бодрствующим во сне.

Я долгое время пользовал с помощью месмерического воздействия человека, о котором в дальнейшем пойдет речь (мистера Вэнкерка), и резкое усиление внушаемости, а также повышенная месмерическая восприимчивость уже, как и положено, были достигнуты. Много месяцев подряд он боролся с чахоткой, открытый процесс протекал мучительно, и мне удалось посредством ряда

манипуляций несколько облегчить его страдания, и вот в ночь со среды на четверг пятнадцатого числа текущего месяца меня позвали к его одру.

Больного мучили острые боли в области сердца, он еле дышал, налицо были все признаки астмы. Как правило, ему при этих спазмах приносили облегчение горчичники, прикладывавшиеся к нервным центрам, но на этот раз, сколько их ни прикладывали, они никакого действия не оказывали.

Когда я вошел, он поздоровался с приветливой улыбкой; несмотря на страдания, он, казалось, был бодр и ясен духом.

— Сегодня я послал за вами, — сказал он, — не за тем, чтобы вы избавили меня от страданий, — я хочу, чтобы вы удовлетворили мое любопытство по поводу некоторых ощущений, поразивших меня в прошлый раз, которые чрезвычайно заинтересовали меня и озадачили. Вы помните, как недоверчиво относился я до сих пор к вопросу о бессмертии души. Не могу отрицать, что где-то, и, похоже, как раз в той самой душе, существования которой я не признавал, всегда жила смутная догадка о ее бытии. Но в уверенность она никак не превращалась. И тут я просто терялся. Вполне понятно, что все попытки разобраться логически лишь укрепляли мое недоверие. Мне посоветовали обратиться к Кузену[803]. Я изучал его взгляды и по его собственным трудам, и по книгам его европейских и американских последователей. Мне, например, достали «Чарлза Элвуда» мистера Браунсона[804]. Я читал эту книгу особенно вдумчиво. В целом она показалась мне логичной, но, к сожалению, элементарной логики явно недостает именно тем ее частям, в которых обосновывается неверие ее героя. В итоге, — что, как мне кажется, просто бросается в глаза, — ему, при всем его уме, не удается убедить даже самого себя. В конце он, подобно правительству Тринкуло[805], уже просто не помнит, о чем шла речь сначала. Короче говоря, я довольно скоро понял, что если человека и можно убедить в его бессмертии, то одними лишь чисто умозрительными теориями, которые испокон веков в таком почете у моралистов Англии, Франции, Германии, тут не обойтись. Умозрения, пожалуй, и занятны, и по-своему небесполезны, но для постижения духа нужно что-то другое. Я пришел к выводу, что так уж все мы, видно, устроены, и философия так никогда и не приучит нас

рассматривать качества как нечто предметное само по себе. Мы, может быть, и рады бы, но ни ум, ни чувства не приемлют этого.

Так вот, повторяю, я смутно чувствовал в себе душу, хоть разумом — не верил. Но в последнее время это чувство во мне заметно углубилось, разум же настолько далеко пошел ему навстречу, что сейчас я уже затрудняюсь определить, где кончается одно и где начинается другое. Притом же оказалось нетрудно убедиться, что это положение — результат месмерического воздействия. Объяснить свою мысль яснее я мог бы, только высказав предположение, что месмерическое озарение позволяет мне схватывать самый ход рассуждений, который, пока я нахожусь в этом необычном состоянии, я могу проследить, но который — такова сама месмерическая феноменальность подобного состояния — становится недоступен моему пониманию в нормальных условиях, тогда в сознании остаются лишь результаты этих рассуждений. Бодрствующему во сне рассуждения и вывод — то есть причина и конечный результат — даны нераздельно. В естественном же состоянии причина исчезает, и остается — да и то, пожалуй, лишь частично — один результат.

— Эти соображения навели меня на мысль, что если, когда я буду усыплен, мне задать поискусней ряд наводящих вопросов, то из этого, пожалуй, вышел бы толк. Вы часто наблюдали, на какое глубокое самопостижение способен бодрствующий во сне — удивительную осведомленность, которую он обнаруживает по части особенностей месмерического транса; на эту его способность к углублению в себя лучше всего и ориентироваться, чтобы составить подобный катехизис по всем правилам.

Я, разумеется, согласился на предложенный эксперимент. Несколько пассов погрузили мистера Вэнкерка в месмерический сон. Он сразу же задышал легче, и, казалось, все его муки тут же как рукой сняло. Разговор принял вот какой оборот: **В.** в нашем диалоге — это больной, **П.** — я сам.

П. Вы спите?

В. Да — нет; я предпочел бы заснуть покрепче.

П. (проделав еще ряд пассов). А теперь?

В. Теперь да.

П. Что вы думаете об исходе вашей теперешней болезни?

В. (после долгих колебаний, говорит словно через силу), Только смерть.

П. Печалит ли вас мысль о смерти?

В. (не задумываясь). Нет-нет!

П. Разве подобная перспектива прельщает вас?

В. Если бы я бодрствовал, мне хотелось бы умереть, а сейчас мне все равно. Месмерическое состояние настолько близко к смерти, что мне хорошо и так.

П. Будьте добры, объяснитесь, мистер Вэнкерк.

В. Я бы рад, но боюсь, мне эта задача не по плечу. Вы задаете не те вопросы.

П. Как же тогда мне вас спрашивать?

В. Вы должны начать с самого начала.

П. С начала! Но где оно, это начало?

В. Вы же знаете, что начало есть бог. (Сказано это было глухим, прерывистым голосом и, судя по всему, с глубочайшим благоговением.)

П. Так что же такое бог?

В. (несколько минут остается в нерешимости). Я не знаю, как это объяснить.

П. Разве бог — не дух?

В. В бытность свою наяву я знал, что вы понимаете под словом «дух», но теперь оно для меня — слово и больше ничего… Такое же, к примеру, как истина, красота — то есть обозначение какого-то качества.

П. Но ведь бог нематериален?

В. Нематериальности не существует. Это просто слово. То, что нематериально, не существует вообще, если только не отождествлять предметы с их свойствами.

П. А бог, стало быть, материален?

В. Нет. (Этот ответ просто ошеломил меня.)

П. Так что же он в таком случае?

В. (после долгого молчания, бессвязно). Я представляю себе, но словами это передать трудно. (Снова долгое молчание.) Он не дух, ибо он — сущий. И. вместе с тем он и не материален в вашем понимании. Но есть также та. ступени превращений материи, о которых человеку ничего не известно; более простые и примитивные пробуждают более

тонкие и изощренные, более изощренные пронизывают собою более простые. Атмосфера, например, возбуждает электричество, а электричество насыщает собой атмосферу. Градации материи восходят все выше, по мере утраты ею плотности и компактности, пока мы не добираемся до материи, уже совершенно лишенной предметности — нерасторгаемой и единой; и здесь закон, побуждающий к действию силы и проникновения, преображается. Эта первоматерия, или нерасторжимая материя, не только проникает собой все сущее, но и побудительная причина всего сущего и, таким образом, сама в себе и есть все сущее. Эта материя и есть бог. И то, что люди силятся воплотить в слове «мысль», есть эта материя в движении.

П. Метафизики утверждают, что всякое деяние сводится к движению и мысли, и что вторая является прообразом первого.

В. Да, утверждают; и мне теперь ясно, в чем здесь заблуждение. Движение — это действие духа, а не мысли. Нерасторжимая материя, иди бог, в покое и есть (насколько мы можем приблизиться к пониманию этого) то, что люди называют духом. А сила самопобуждаемого движения (по своему конечному результату эквивалентного человеческой воле) в нерасторжимой материи является результатом ее неделимости и вездесущности, — как это происходит, я не знаю и теперь ясно понимаю, что никогда уже п не узнаю. Но нерасторжимая материя, приведенная в действие законом или свойством, заключенным в ней самой, и есть мысль.

П. Не можете ли вы уточнить понятие, которое вы называете «нерасторжимой материей»?

В. Известные людям вещества, по мере восхождения материи на более высокие ступени, становятся все менее доступными чувственному восприятию. Возьмем, например: металл, кусок древесины, каплю воды, воздух, газ, теплоту, электричество, светоносный эфир. Мы же называем все эти вещества и явления материей, охватывая таким образом единым и всеобщим определением все материальное; но так или иначе, а ведь не может быть двух представлений, более существенно отличных друг от друга, чем то, которое связано у нас в одном случае с металлом и в другом — со светоносным эфиром. Как только дело доходит до второго, мы чувствуем почти неодолимую потребность отождествить его с бесплотным духом или с пустотой. И удерживает нас от этого только

то соображение, что он состоит из атомов; но даже и тогда мы ищем себе опору в понятии об атоме как о чем-то, хотя бы и в бесконечно малых размерах, но все-таки имеющем плотность, осязаемость, вес. Устраните понятие о его атомистичности — и мы уже не в состоянии будем рассматривать эфир как вполне реальное вещество, или, во всяком случае, как материю. За неимением лучшего определения нам пришлось бы называть его духом. Сделаем, однако, от рассмотрения светоносного эфира еще один шаг дальше и представим себе вещество, которое настолько же бесплотней эфира, насколько эфир бесплотней металла, — и мы наконец приблизимся (вопреки всем ученым догмам) к массе, единственной в своем роде, — к нерасторжимой материи. Потому что, хотя мы и примиряемся с бесконечной малостью самих атомов, бесконечная малость пространства между ними представляется абсурдом. Ибо тогда непременно возникло бы какое-то критическое состояние, какая-то степень разреженности, когда, если атомы достаточно многочисленны, промежуточное пространство между ними должно было бы совершенно исчезнуть и вся их масса — абсолютно уплотниться. Ну, а поскольку само понятие об атомистической структуре в данном случае исключается, природа этой массы неизбежно сводится теперь к нашему представлению о духе. Совершенно очевидно, однако, что наше вещество по-прежнему остается материей. По правде говоря, мы ведь не можем уяснить себе, что такое дух, поскольку не в состоянии представить себе то, чего не существует. И обольщаемся мыслью, будто составили себе о нем какое-то понятие потому только, что обманываем себя представлением о нем как о бесконечно разреженном веществе.

П. По-моему, ваша мысль об абсолютном уплотнении наталкивается на одно возражение, которое невозможно оспаривать; оно заключено в том ничтожно малом сопротивлении, которое испытывают небесные тела при своем обращении в мировом пространстве, — сопротивлении, которое, как теперь установлено со всей очевидностью, существует в каких-то размерах, но настолько мало, что его совершенно не заметило даже Ньютоново всевидящее око. Мы знаем, что сопротивление тел зависит главным образом от их плотности. Абсолютное уплотнение даст абсолютную плотность. А там, где нет промежуточного пространства, не может быть и

податливости. И абсолютно плотный эфир был бы для движения звезд преградой бесконечно более могучей, чем если бы они двигались в алмазной или железной среде.

В. Легкость ответа на ваше возражение прямо пропорциональна кажущейся невозможности на него ответить. Если уж говорить о движении звезды, то ведь совершенно одно и то же, звезда ли проходит через эфир или эфир сквозь звезду. И самое странное заблуждение в астрономии — это попытка совместить постоянно наблюдаемое замедление хода комет с их движением в эфире; потому что, какую бы большую разреженность эфира ни допустить, он бы остановил все обращение звезд гораздо раньше срока, положенного астрономами, которые всячески стараются смазать этот вопрос, оказавшийся выше их понимания. С другой же стороны, замедление, которое в действительности имеет место, можно было бы предвидеть заранее, учитывая трение эфира, мгновенно проходящего сквозь светило. В первом случае действие замедляющей силы должно быть единовременным и всецело замкнутым в себе самом, во втором — оно накапливается нескончаемо.

П. Но разве во всем этом — в вашем отождествлении простейшей материи с богом — нет некоторого непочтения? (Усыпленный не сразу понял, что я имею в виду, и мне пришлось повторить свой вопрос.)

В. А вы можете объяснить, почему материя менее почтенна, чем дух? Но вы забыли, что та материя, о которой я говорю, и есть во всех отношениях именно тот самый «дух», «душа», о которых твердят ученые; она наделена всеми их высшими способностями и, более того, остается в то же самое время тем, что те же ученые называют «материей». Бог и все способности, приписываемые «духу», — это всего лишь совершеннейшее состояние материи.

П. Вы, стало быть, утверждаете, что нерасторжимая материя в движении есть мысль.

В. В общем это движение есть вселенская мысль вселенского разума. Эта мысль созидает. Все, что сотворено, — это не более как мысль бога.

П. Вы говорите — «в общем».

В. Да. Вездесущий дух — это бог. Для каждого нового отдельного бытия необходима материл.

П. Но вы говорите сейчас о «духе» и «материи» точь-в-точь как метафизики.

В. Да — во избежание путаницы. Когда я говорю «дух», то имею в виду нерасторжимую материю или сверхматерию, под «материей» предполагается все остальное.

П. Вы говорили о том, что «для каждого нового отдельного бытия необходима материя».

В. Да, дух, существующий исключительно сам по себе, — только бог. Для сотворения самостоятельного, мыслящего существа необходимо воплощение частицы духа божия. Так человек получает личное бытие. Без воплощения в телесную оболочку он был бы просто богом. Ну, а обособленное движение частных воплощений нерасторжимой материи — это мысль человеческая, точно так же, как общее ее движение — мысль божия.

П. Так, по вашим словам, выходит, расставшись с телом, человек станет богом?

В. (после мучительных колебаний), Я не мог так сказать, это абсурд.

П. (справляется по своей записи). Вы сказали, что «без воплощения в телесную оболочку человек был бы богом».

В. И воистину. Таким образом, человек стал бы богом — избавился бы от отдельности своего бытия. Но такого освобождения от плоти ему не дано или, во всяком случае, никогда такого с ним не бывает; иначе нам пришлось бы представить себе деяние божие обращающимся вспять на самого бога — бесцельным и бессмысленным. Человек — творение. Творения — суть мысли божьи. А мысль по самой своей природе преходяща.

П. Не совсем понял. Вы говорите, что человеку не дано вовеки совлечь с себя телесную оболочку?

В. Я говорю, что он никогда не будет бестелесным.

П. Поясните.

В. Есть два вида телесности: зачаточная и полная — соответствующие состояниям гусеницы и бабочки. То, что мы называем словом «смерть», — всего лишь мучительное преображение. Наше нынешнее воплощение преходяще, предварительно, временно. А грядущее — совершенно, законченно, нетленно. Грядущая жизнь и есть осуществление предначертанного нам.

П. Но ведь метаморфоза гусеницы известна нам досконально.

В. Нам — безусловно, но не гусенице. Вещество, из которого состоит наше рудиментарное тело, по своим свойствам не выходит из пределов восприятия органов этого тела, или, точнее, наши рудиментарные органы соответствуют веществу, из которого вылеплено наше рудиментарное тело, но материи нашего окончательного претворения они не соответствуют. И таким образом конечная наша телесность недоступна нашим рудиментарным чувствам, и мы способны ощущать лишь оболочку, которая спадет, чтобы истлеть, освободив скрытую форму; но и эта сокровенная форма, и оболочка равно доступны восприятию тех, кто уже достиг конечного бытия.

П. Вы часто говорили, что месмерическое состояние очень походит на смерть. Как это надо понимать?

В. Когда я говорю, что оно похоже на смерть, я имею в виду, что оно приближается к конечному бытию; потому что, когда я погружаюсь в транс, мои рудиментарные чувственные восприятия временно выключаются, и я воспринимаю внешние явления прямо, без опосредствования их органами чувств, а через посредника, который будет мне служить в предстоящей жизни, в которой нет нашей упорядоченности.

П. Нет упорядоченности?

В. Да, ведь органы — это приспособления, с помощью которых человек приводится в осмысленное отношение к одним видам и формам материи, а к другим — не приводится. Человеческие органы приспособлены к условиям рудиментарного бытия, и только к ним; и совершенно понятно, что предстоящее бытие человека не нуждается ни в какой организации, ибо оно подчинено прямо божьей воле, то есть движению нерасторжимой материи. Вы сможете создать себе ясное понятие о теле конечного претворения, если представите себе его как сплошной мозг. Оно не таково; но такого рода допущение все-таки приблизит вас к пониманию, что же оно такое. От светящегося тела исходят волны в светоносный эфир. Он, в свою очередь, передает их на сетчатую оболочку глаза, от которой они передаются зрительному нерву. Нерв сообщает их мозгу; мозг — нерасторжимой материи, проходящей сквозь него. Движение этой последней есть мысль, волна которой начинает свой бег с перцепции. Так сознание в

рудиментарной жизни сообщается с внешним миром, восприятие этого внешнего мира ограничено в рудиментарной жизни возможностями ее органо**В.** А в предстоящей, не регламентированной органикой жизни внешний мир воспринимается всем телом (которое состоит из вещества, наделенного, как я уже говорил, примерно теми же свойствами, что и мозг), и нет между ними никакого посредника, кроме эфира, даже еще более бесконечно разреженного, чем светоносный эфир; и все тело вибрирует вместе с этим эфиром, передавая свои колебания нерасторжимой материи. Именно отсутствие локализованности нашего восприятия органами чувств мы и обязаны в предстоящем бытии почти беспредельной восприимчивостью. Для рудиментарных существ органы чувств — клетки, в которых их держат, пока не оперятся.

П. Вы говорите о рудиментарных «существах». Но разве есть, кроме человека, еще и другие мыслящие существа?

В. Бесконечное многообразие разреженной материи в космических туманностях, планетах, солнцах и других телах, не являющихся ни туманностями, ни планетами, ни солнцами, единственно и предназначено для локализованных органов чувств бессчетных рудиментарных сущест**В.** Все эти тела необходимы для рудиментарной жизни, для предстоящего бытия, иначе их и не существовало бы вовсе. Каждое из них заселено определенной породой рудиментарных мыслящих существ, живущих органической жизнью. В общем свойства органов чувств меняются в зависимости от места обитания этих сущест**В.** Когда же наступает смерть, или — метаморфоза, все эти создания, приобщаясь к предстоящей жизни, бессмертию и всех тайн, кроме одной, совершают любое действие и переносятся куда угодно, и для этого им не нужно ничего, кроме проявления воли; они обитают уже не на звездах, представляющихся нам единственной достоверностью и единственно для размещения которых, как мы в слепоте своей полагаем, пространство и создано, — а прямо в мировом пространстве, в бесконечности, сама инстинносущностная безмерность которой поглощает эти звездные островки, не давая ангелам даже задерживать на них внимания, как словно бы их и не было.

П. Вот вы говорите, что «если бы не их необходимость для рудиментарной жизни, то звезд бы не существовало». Но откуда

берется эта необходимость?

В. В неорганической жизни, как и в неживой материи вообще, не может быть никаких препятствий действию одного простого и не имеющего себе подобия закона — божественной воли. Чтобы создать ему сопротивление, и была сотворена органическая материя, органическая жизнь (сложная, собственносущностная, стойкая в сопротивлении этому закону).

П. Но зачем же понадобилось создавать ему сопротивление?

В. Результатом подчинения закону является совершенство, истинность, счастье как отсутствие страданий. Результатом же нарушения закона становятся несовершенство, неправедность и страдание как таковое. Из-за помех его осуществлению, которые возникают в силу множественности, сложности и собственносущности законов органической жизни и материи, становится практически возможной какая-то мера воздаяния за нарушение высшего закона. Так, невозможное в неорганической жизни, страдание становится возможным в органической.

П. А какая благая цель при этом достигается?

В. Все сущее хорошо или плохо в сравнении с чем-нибудь. Обстоятельное исследование убеждает, что наслаждение во всех случаях является не чем иным, как только противоположностью страдания. И в чистом виде наслаждение — фикция. Радость нам дается лишь там, где мы уже страдали. Не испытать страдания значило бы никогда не познать блаженства. Но я уже указывал, что в неорганической жизни страдание немыслимо, отсюда — необходимость органической. Страдания в начальной, земной жизни являются залогом блаженства конечной, небесной жизни.

П. Вы употребили также и еще одно выражение, смысла которого я не уразумел: «истинносущностная безмерность бесконечности».

В. По всей видимости, причина этого в том, что само понятие «сущность» является у вас недостаточно общим. Его следует рассматривать не как качество, а как ощущение: у мыслящих существ оно является восприятием приспособления материи к собственному их устройству. На земле найдется немало такого, существования чего жители Венеры не могли бы воспринять, и многого, что на Венере видимо и осязаемо, мы бы не были в состоянии заметить и воспринять. Но для существ, не наделенных органичностью, для

ангелов, — вся нерасторжимая материя является сущностью, то есть, иначе говоря, все, что мы определяем словом «пространства», для них — вещественнейшая реальность, и в то же время звезды — именно в силу того, что мы считаем доказательством их материальности, — оказываются вне восприятия ангелов, и эта их невосприимчивость прямо пропорциональна тому, в какой мере нерасторжимая материя — в силу тех своих свойств, которые заставляют ее казаться нам не материей вообще, — не поддается восприятию органической.

В то время, как усыпленный уже еле слышно договаривал эти последние слова, я заметил, что лицо его приняло странное выражение, которое встревожило меня и вынудило тут же разбудить его. Но не успел я этого сделать, как он с просветленной улыбкой, озарившей все лицо, откинулся на подушку и испустил дух. Я обратил внимание, что не прошло и минуты, как тело успело окоченеть и стало словно каменным. Лоб его был холоден, как лед. Так обычно бывает лишь после того, как рука Азраила уже долго сжимала человека. Неужели и вправду усыпленный мной со своими последними рассуждениями обращался ко мне уже из царства теней?

Август, 1844

пер. В. Неделина

Продолговатый ящик

Несколько лет тому назад, направляясь в Нью-Йорк из Чарлстона в штате Южная Каролина, я взял каюту на превосходном пакетботе «Индепенденс», которым командовал капитан Харди. Отплытие — если не воспрепятствует погода — было назначено на пятнадцатое число текущего месяца (июня), и четырнадцатого я поднялся на борт, чтобы присмотреть за размещением моих вещей.

На пакетботе я узнал, что пассажиров будет очень много, причем число дам среди них заметно превышало обычное. В списке я заметил фамилии нескольких моих знакомых и с большим удовольствием обнаружил, что моим спутником будет также мистер Корнелий Уайет, молодой художник, к которому я питал чувство живейшей дружбы. Мы вместе учились в Ш-ском университете[806], где были почти неразлучны. Он обладал темпераментом, обычным для гениев, и натура его слагалась из мизантропии, впечатлительности и пылкости, К этим качествам следует добавить еще самое горячее и верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его фамилией были помечены целых три каюты, и, вновь обратившись к списку пассажиров, узнал, что он едет не один, но с женой и двумя своими сестрами. Каюты были достаточно просторны, и в каждой имелось по две койки — одна над другой. Правда, койки эти были настолько узки, что на каждой мог уместиться только один человек, но тем не менее я не понимал, почему этим четырем людям понадобились три каюты, а не две. Тем летом мною владело то мрачное душевное настроение, которому нередко сопутствует неестественное любопытство ко всяким пустякам, и со стыдом сознаюсь, что по поводу этой лишней каюты я строил немало не делающих мне чести нелепых предположений. Разумеется, меня все это нисколько не касалось, однако я упрямо продолжал ломать голову над тайной лишней каюты. Наконец я нашел отгадку и даже удивился тому, что такое простое решение не пришло мне в голову раньше. «Конечно же, с ними едет горничная! — сказал я себе. — Как глупо было с моей стороны не подумать об этом сразу!» Я еще раз справился со списком, но оказалось, что они отправляются в путь без прислуги,

хотя первоначально и собирались взять с собой служанку, ибо в список были внесены, а затем вычеркнуты слова «с горничной». «О, все дело, без сомнения, в лишнем багаже! — сказал я себе. — Что-то из своих вещей он не хочет везти в трюме и предпочитает хранить возле себя… А, понимаю! Какая-нибудь картина… Так вот о чем он вел переговоры с Николини, итальянским евреем!» Такой вывод вполне меня удовлетворил, и этот пустяк перестал тревожить мое любопытство.

Сестер Уайета, очаровательных и умных барышень, я знал очень хорошо, но жены его никогда не видел, так как они обвенчались совсем недавно. Однако он часто говорил мне о ней с обычной своей пылкой восторженностью. По его словам, она была необыкновенно красива, остроумна и одарена всевозможными талантами. Поэтому мне не терпелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я посетил пакетбот, то есть четырнадцатого, там собирался побывать и Уайет с супругой и сестрами, о чем мне сообщил капитан, а потому я задержался на борту еще час, в надежде, что буду представлен новобрачной. Но затем капитан получил записку с извинениями: «Миссис У. нездоровится, а потому она прибудет на пакетбот только завтра перед самым отплытием». На следующий день, когда я уже покинул отель и направился к пристани, меня встретил капитан Харди и сказал, что «ввиду некоторых обстоятельств» (глупая, но удобная ссылка) «Индепенденс», вероятно, задержится в порту еще на день-два и что он пришлет мне сказать, когда все будет готово к отплытию. Мне это показалось странным, так как дул свежий южный бриз, но поскольку капитан: не объяснил, в чем заключались эти «обстоятельства», хотя я настойчиво выспрашивал его о них, мне оставалось только вернуться в отель и на досуге изнывать от любопытства.

Чуть ли не неделю я тщетно ждал известия от капитана, но наконец оно пришло, и я немедленно отправился на пакетбот. Почти все пассажиры были уже на борту, где царила обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайет и его спутницы прибыли через десять минут после меня. Сестры, новобрачная и сам художник поднялись на корабль, и я заметил, что последний был в одном из самых своих мизантропических настроений, но я давно к ним привык и перестал обращать на них внимание. Он даже не представил меня жене, так что исполнить этот долг вежливости пришлось его сестре

Мэриэн, очень милой и тактичной барышне, которая и произнесла торопливо несколько отвечающих случаю слов.

Лицо миссис Уайет было скрыто густой вуалью, и когда она в ответ на мой поклон приподняла ее, признаюсь, я был глубоко поражен. Изумление мое было бы еще больше, если бы долгий опыт не научил меня лишь с оглядкой полагаться на восторженные описания моего друга-художника, когда речь шла о женской прелести. Я прекрасно знал, с какой легкостью уносился он в сферы идеального, если темой нашей беседы служила красота.

Дело в том, что миссис Уайет показалась мне настоящей дурнушкой. На мой взгляд, ее почти можно было назвать безобразной. Однако одета она была с изысканным вкусом, и тогда у меня не возникло сомнения в том, что она пленила сердце моего друга менее преходящими чарами ума и души. Сказав мне лишь два-три слова, она тотчас удалилась в свою каюту вместе с мистером Уайетом.

Во мне вновь вспыхнуло неутолимое любопытство. Горничной с ними не было — в этом я убедился собственными глазами. Оставалось подождать, не появится ли еще какой-нибудь багаж. Некоторое время спустя на пристани показалась повозка с продолговатым сосновым ящиком — по-видимому, пакетбот ждал только его, чтобы отплыть. Едва ящик перенесли на борт, как мы отчалили и вскоре, благополучно миновав мель в устье реки, вышли в открытое море.

Ящик этот, как я уже сказал, был продолговатым. Он имел примерно шесть футов в длину и два с половиной в ширину — я внимательно рассмотрел его, и я люблю быть точным. Подобная форма встречается не часто, и едва я увидел ящик, как похвалил себя за догадливость. Читатель, вероятно, помнит, что, по моим предположениям, особый багаж моего друга художника должен был состоять из картин или, по крайней мере, из одной картины. Мне было известно, что в течение нескольких недель он часто виделся с Николини, и вот теперь на пакетбот доставили ящик, который, судя по его форме, мог служить только вместилищем для копии «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Я же знал, что Николини некоторое время назад приобрел копию «Тайной вечери», сделанную во Флоренции Рубини-младшим. Таким образом, можно было считать, что и этот вопрос разрешен. Думая о своей проницательности, я весело посмеивался. Никогда раньше Уайет не имел от меня секретов во всем,

что казалось его профессии, но теперь по-видимому, ему захотелось подшутить надо мной и прямо у меня на глазах тайком привезти в Нью-Йорк превосходное полотно, с расчетом, что я ни о чем не догадаюсь. Я решил, что буду в отместку всячески поддразнивать его.

Одно обстоятельство тем не менее весьма меня раздосадовало: ящик отнесли не в третью каюту, а в собственную каюту Уайета, где он и остался, занимая почти весь пол и, вероятно, причиняя множество неудобств художнику и его жене, тем более что на его крышке большими корявыми буквами была выведена надпись не то смолой, не то краской, которая пахла очень сильно и дурно — мне этот запах показался отвратительным. Надпись на крышке гласила: «Миссис Аделаиде Кертис, Олбани, штат Нью-Йорк, под надзором Корнелия Уайета, эсквайра. Верх. Обращаться с осторожностью».

Я знал, что миссис Аделаида Кертис, проживающая в Олбани, — это мать жены художника, но решил, что ее адрес написан на ящике ради мистификации, для того чтобы ввести в заблуждение именно меня. Я не сомневался в том, что крайней точкой, которой достигнет ящик на своем пути па север, будет мастерская моего друга на Чемберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня нашего плаванья погода стояла прекрасная, хотя ветер все время был лобовым — он задул с севера, едва берег скрылся за кормой. Пассажиры, разумеется, были в превосходном расположении духа и весьма общительны. Исключение составляли только Уайет и его сестры, которые были со всеми настолько сухи и сдержанны, что, на мой взгляд, это даже граничило с неучтивостью. Поведение самого Уайета меня не очень удивляло. Он был мрачен еще больше обыкновенного — можно даже сказать, угрюм, — но я и привык ждать от него чудачеств. Для его сестер, однако, я не находил оправдания. Они почти все время уединялись у себя в каюте и, как я их ни уговаривал, наотрез отказывались присоединиться к корабельному обществу. Миссис Уайет держалась куда более любезно. Вернее сказать, она была очень словоохотлива, а словоохотливость во время морского путешествия — весьма приятный светский талант. Она завязала самое короткое знакомство с большинством дам и, к глубочайшему моему изумлению, чрезвычайно охотно кокетничала о мужчинами. Она нас всех очень развлекала. Я употребил слово «развлекала», не зная, как выразить мою мысль

точнее. Откровенно говоря, я скоро убедился, что общество чаще смеялось над миссис У., чем вместе с ней. Мужчины воздерживались от каких-либо замечаний на ее счет, а дамы не замедлили объявить ее «добросердечной простушкой, довольно невзрачной, совершенно невоспитанной и, бесспорно, вульгарной». И все недоумевали, что заставило Уайета решиться на подобный брак. Богатство — таков был всеобщий приговор; по я-то знал, что эта догадка неверна. В свое время Уайет сказал мне, что она не принесла ему в приданое ни доллара и что у нее нет состоятельных родственников, которые могли бы оставить ей наследство. Он говорил мне, что женился «по любви и ради одной любви, найдя ту, кто была более чем достойна любви». Когда я вспомнил эти слова моего друга, меня охватило глубочайшее недоумение. Неужели он помешался? Какое другое объяснение мог я найти? Ведь он был таким утонченным, таким возвышенным, таким взыскательным, таким чутким к малейшим недостаткам и изъянам, таким страстным ценителем всего прекрасного! Правда, сама дама, по-видимому, питала к нему нежнейшую привязанность — это становилось особенно заметно в его отсутствие, когда она ставила себя в весьма и весьма смешное положение, постоянно сообщая что-нибудь, что ей говорил «ее возлюбленный муж, мистер Уайет». Слово «муж» — если прибегнуть к одному из ее собственных изящных выражений — казалось, «все время вертелось у нее на языке». Тем не менее все, кто был на борту, постоянно замечали, что он избегает ее общества самым подчеркнутым образом и все время затворяется у себя в каюте, которую, собственно говоря, он почти не покидал, предоставляя жене полную свободу развлекаться в салоне как ей угодно.

То, что я видел и слышал, заставило меня прийти к заключению, что мой друг по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, под влиянием слепого увлечения связал себя с особой, стоящей во всех отношениях ниже него, и, вполне естественно, вскоре проникся к ней величайшим отвращением. Я всем сердцем жалел его, но все-таки не мог вполне простить ему, что он скрыл от меня покупку «Тайной вечери». За это я решил с ним поквитаться.

Однажды он вышел па палубу, и я, по своему обыкновению взяв его под руку, начал прогуливаться с ним взад и вперед. Однако мрачность его нисколько не рассеялась (что я счел при таких обстоятельствах вполне извинительным). Он почти все время молчал,

а если и говорил, то угрюмо, с видимым усилием. Я раза два рискнул пошутить, и он сделал мучительную попытку улыбнуться. Бедняга! Вспомнив его жену, я удивился, что у него хватило сил даже на такую притворную улыбку. Наконец я приступил к исполнению моего плана: я намеревался сделать несколько скрытых намеков на продолговатый ящик — лишь так, чтобы он постепенно понял, что ему не удалось меня провести и я не стал жертвой его остроумной мистификации. И вот я открыл огонь моей замаскированной батареи, сказав что-то о «своеобразной форме этого ящика». Свои слова я сопроводил многозначительной улыбкой, чуть-чуть подмигнул и легонько ткнул художника указательным пальцем в ребра.

То, как Уайет воспринял эту безобидную шутку, немедленно убедило меня в его безумии. Сначала он уставился на меня так, словно был не в силах понять моих слов, но по мере того, как его мозг медленно постигал их скрытый смысл, глаза его все больше вылезали из орбит. Затем он побагровел, затем страшно побледнел, а затем, словно мой намек чрезвычайно его позабавил, он разразился буйным смехом и, к моему удивлению, продолжал хохотать все громче и исступленнее более десяти минут. В заключение он тяжело упал на палубу. Я нагнулся, чтобы помочь ему встать, и мне показалось, что он мертв.

Я позвал на помощь, и нам лишь с большим трудом удалось привести его в чувство. Очнувшись, он что-то неразборчиво забормотал. Тогда мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На другое утро он совсем оправился — то есть телесно. О его рассудке я, конечно, промолчу. С этого дня я старательно избегал его, как посоветовал мне капитан, который, видимо, вполне разделял мое мнение о его помешательстве, но настоятельно попросил меня никому на пакетботе ничего об этом не говорить.

После этого припадка Уайета мое пробудившееся любопытство продолжало распаляться все сильнее, чему способствовали кое-какие обстоятельства. В их числе слезет упомянуть следующее: я был в нервическом состоянии — пил слишком много зеленого чая и дурно спал. Собственно говоря, были две ночи, когда я почти вовсе не сомкнул глаз. Дверь моей каюты выходила в главный салон, служивший также столовой, — туда же выходили все мужские каюты. Три каюты Уайета сообщались с малым салоном, отделенным от

главного лишь легкой скользящей дверью, которая на ночь никогда не запиралась. Так как мы почти все время шли против лобового ветра, причем довольно крепкого, то наше судно непрерывно лавировало, и когда оно кренилось на правый борт, скользящая дверь между салонами открывалась и оставалась открытой — никто не брал на себя труд вставать с постели и закрывать ее. Однако моя койка располагалась так, что в тех случаях, когда скользящая дверь открывалась, а дверь моей каюты была открыта (из-за жары же она бывала открыта постоянно), я мог видеть почти весь малый салон, причем именно ту его часть, где находились каюты мистера У. Так вот, в те две ночи (не следовавшие одна за другой), когда меня томила бессонница, я совершенно ясно видел, как около одиннадцати часов и в ту и в другую ночь миссис У. крадучись выходила из каюты мистера У. и скрывалась в третьей каюте, где оставалась до рассвета, а тогда по зову мужа возвращалась обратно. Это неопровержимо доказывало, что разрыв между ними был полным. Они уже отказались от общей спальни, вероятно, помышляя о формальном разводе, и я опять решил, что тайна третьей каюты наконец разъяснилась.

Было и еще одно обстоятельство, которое весьма меня заинтересовало. В обе упомянутые бессонные ночи, немедленно после того, как миссис Уайет удалялась в третью каюту, мой слух начинал различать в каюте ее мужа легкие шорохи и постукивания. Я некоторое время сосредоточенно к ним прислушивался, и в конце концов мне удалось найти верное их истолкование. Их производил художник, вскрывая продолговатый ящик с помощью стамески и деревянного молотка, который был, по-видимому, обернут какой-то мягкой шерстяной или бумажной материей, чтобы приглушить стук.

Мне казалось, что я способен совершенно точно различить миг, когда он открывал крышку, и когда снимал ее, и когда клал ее на нижнюю койку. Последнее, например, я определял по тихому постукиванию крышки о деревянную закраину койки, которого он не мог избежать, хотя и опускал крышку на койку с большой осторожностью. На полу же места для крышки просто не нашлось бы. Вслед за этим наступала мертвая тишина, и до рассвета я ни в первый, ни во второй раз больше ничего не слышал; правда, порой мне чудилось, что там раздаются почти беззвучные рыдания или шепот, но это, возможно, было лишь плодом моего воображения. Я сказал, что

звуки эти походили на рыдания или вздохи, но, разумеется, они не могли быть ни тем, ни другим. Я склонен думать, что у меня просто звенело в ушах. Без сомнения, мистер Уайет в полном соответствии с обычными представлениями всего лишь давал волю своему артистическому темпераменту, подчиняясь властительной страсти. Он вскрывал продолговатый ящик, чтобы насладиться созерцанием спрятанной там бесценной картины. Но с какой стати он начал бы над ней рыдать? А потому, повторяю, меня, несомненно, вводила в заблуждение моя фантазия, подстегнутая зеленым чаем почтенного капитана Харди. Перед зарей я оба раза ясно слышал, как мистер Уайет вновь закрывал продолговатый ящик крышкой и возвращал гвозди в прежнее положение с помощью обернутого материей молотка. Вслед за тем он выходил из каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайет из третьей каюты.

Наше плаванье продолжалось уже семь дней, и мы находились на траверзе мыса Гаттерас[807], когда с юго-запада налетел шторм. Однако мы в известной мере были готовы к нему, так как погода уже некоторое время угрожающе портилась. Люки были задраены, багаж и все предметы внизу и на палубе надежно закреплены. По мере того как ветер крепчал, мы убирали паруса и несли теперь только контрбизань и фор-марсель, взяв на них по два рифа.

Мы шли таким образом двое суток — наш пакетбот во многих отношениях показал себя отличным мореходом, и мы совсем не набрали воды в трюм. Однако на исходе второго дня ветер стал ураганным, наша контрбизань была разорвана в клочья, мы потеряли ход, и на нас обрушилось подряд несколько гигантских валов. Они увлекли за собой в море трех матросов, камбуз и почти весь левый фальшборт. Не успели мы прийти в себя, как лопнул фор-марсель, но мы поставили штормовые паруса, и в течение нескольких часов наше судно продолжало благополучно продвигаться вперед.

Однако ураган не стихал и ничто не свидетельствовало о скором его прекращении. Ванты, как оказалось, были плохо натянуты и все время испытывали излишнее напряжение — в результате на третий день около пяти часов дня, когда корабль резко вильнул, бизань-мачта не выдержала и рухнула на палубу. Более часа мы тщетно пытались освободить от нее судно, которое теперь подвергалось чудовищной боковой качке, а затем на корму явился плотник и доложил, что вода в

трюме поднялась на четыре фута. В довершение всех бед выяснилось, что помпы засорены и ничего не откачивают.

Теперь па судне воцарилось отчаяние и смятение, однако была сделана попытка облегчить его, выбросив за борт весь груз, до которого удалось добраться, и срубив оставшиеся две мачты. В конце концов нам удалось это сделать, но помпы по-прежнему бездействовали, а вода в трюме стремительно прибывала.

На закате ураган заметно стих, а с ним немного улеглось и волнение, и у нас появилась слабая надежда спастись в шлюпках. В восемь часов вечера тучи с наветренной стороны разошлись, и нас озарили лучи полной луны, — эта нежданная удача немало нас подбодрила.

Ценой невероятных усилий нам удалось благополучно спустить па воду вельбот, и в него погрузилась команда и почти все пассажиры. Вельбот тотчас же отвалил от судна, и на третий день после кораблекрушения те, кто в нем находился, немало настрадавшись, добрались до Окракок-Инлет.

На борту пакетбота осталось четырнадцать человек, включая капитана, которые решились доверить свою судьбу кормовой шлюпке. Мы спустили ее без особых затруднений, хотя, когда она коснулась воды, волна не залила ее лишь чудом. В эту шлюпку сели капитан с супругой, мистер Уайет и его спутницы, мексиканский офицер, его жена и четверо детей, а также я сам со слугой-негром.

Разумеется, в шлюпке почти не оставалось места, а потому мы могли взять с собой лишь несколько совершенно необходимых навигационных инструментов и немного провизии. Все наши вещи, кроме одежды, которая была на нас, остались на борту, и, разумеется, никто даже не помышлял о том, чтобы спасти хоть часть своего багажа. Как же должны были изумиться мы все, когда сидевший на корме шлюпки мистер Уайет вдруг поднялся на ноги, едва мы отошли от пакетбота на несколько саженей, и спокойно потребовал от капитана Харди повернуть назад к пакетботу, чтобы он мог взять с собой свой продолговатый ящик!

— Сядьте, мистер Уайет, — сурово сказал капитан. — Вы опрокинете нас, если не будете сидеть неподвижно. Ведь шлюпка и так погружена в воду по самый планшир.

— Ящик! — воскликнул мистер Уайет, продолжая стоять. — Я говорю о ящике! Капитан Харди, вы не можете… вы не посмеете мне отказать. Его вес… это же пустяк, сущая безделица. Матерью, родившей вас, милостью небесной, вашей надеждой на вечное спасение заклинаю вас — вернитесь за ящиком!

Капитан, казалось, был на миг тронут отчаянным призывом художника, но его лицо тут же обрело прежнее суровое выражение, и он ответил только:

— Мистер Уайет, вы безумны! Я не буду вас слушать. Сядьте же, или вы утопите шлюпку. Погодите… Хватайте его!.. Держите!.. Он хочет прыгнуть за борт! Ну вот… я предвидел это… он бросился в море!

И действительно, мистер Уайет кинулся в волны, и, так как мы были еще совсем рядом с пакетботом, заслонявшим нас от ветра, ему удалось ценой сверхчеловеческих усилий схватиться за канат, свисавший из носового клюза. Секунду спустя он был уже на палубе и стремглав бросился вниз в каюту.

Тем временем нас отнесло за корму судна, и мы оказались в полной власти все еще бушевавших волн. Мы попытались вернуться к пакетботу, но буря гнала нашу скорлупку куда хотела. И мы поняли, что злополучный художник обречен.

От разбитого пакетбота нас отделяло уже довольно большое расстояние, когда безумец (ибо мы были убеждены, что он лишился рассудка) поднялся по трапу и, хотя это должно было потребовать поистине колоссальной силы, вытащил на палубу продолговатый ящик. Пока мы смотрели на него, пораженные удивлением, он быстро обмотал ящик трехдюймовым канатом и тем же канатом обвязал себя. В следующий миг ящик с художником были уже в море, которое сразу же поглотило их.

Несколько мгновений мы удерживали шлюпку в неподвижности и с грустью глядели на роковое место. Потом мы начали грести и поплыли прочь. Больше часа в нашей шлюпке царило полное молчание. Наконец я осмелился прервать его:

— Вы заметили, капитан, что они сразу пошли ко дну? Разве это не странно? Признаюсь, когда я увидел, что он привязывает себя к ящику перед тем, как предаться волнам, во мне пробудилась слабая надежда на его спасение.

— Они и должны были пойти ко дну, — ответил капитан. — Как камень. Впрочем, они вскоре вновь всплывут — однако не прежде чем растворится соль.

— Соль?! — воскликнул я.

— Шшш, — сказал капитан, указывая на жену и сестер покойного. — Мы поговорим об этом после, в более подходящее время.

Нам пришлось перенести немало страданий, и мы с трудом избежали смерти в пучине, однако счастье улыбнулось не только вельботу, но и нашей шлюпке. Короче говоря, мы, еле живые, причалили после четырех дней тяжких испытаний к песчаному берегу напротив острова Роанок. Там мы провели педелю, не претерпев никакого ущерба от тех, кто наживается на кораблекрушениях, и в конце концов нас подобрало судно, шедшее в Нью-Йорк.

Примерно через месяц после гибели «Индепенденса» я случайно встретил на Бродвее капитана Харди. Как и следовало ожидать, мы вскоре разговорились о случившемся и о печальной судьбе бедного Уайета. Тогда-то я и узнал следующие подробности.

Художник взял каюты для себя, своей жены и двух сестер, а также для горничной. Его жена действительно была, как он и утверждал, необыкновенно красивой и необыкновенно одаренной женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, когда я в первый раз приехал на пакетбот) она внезапно занемогла и через несколько часов скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но по некоторым причинам не мог отложить свое возвращение в Нью-Йорк. Он должен был отвезти тело своей обожаемой жены к ее матери, однако не мог сделать этого открыто, так как широко известный предрассудок воспрепятствовал бы ему привести его намерение в исполнение. Девять десятых пассажиров предпочли бы вовсе отказаться от поездки, лишь бы не путешествовать на одном корабле с покойником.

Чтобы выйти из этого затруднения, капитан Харди устроил так, что труп, частично набальзамированный и уложенный в соль в ящике соответствующих размеров, был доставлен на борт как багаж. Смерть новобрачной держали в тайне, и, так как всем было известно, что мистер Уайет собирался в Нью-Йорк с женой, нужно было найти женщину, которая выдавала бы себя за нее во время плавания. На это без долгих уговоров дала согласие горничная покойной. Третью каюту,

первоначально предназначавшуюся для нее, мистер Уайет оставил за собой, а лжежена, разумеется, проводила там все ночи. Днем она в меру способностей разыгрывала роль своей покойной хозяйки, которую — как они позаботились выяснить заранее — никто из пассажиров не знал в лицо.

В моей вполне естественной ошибке был повинен мой слишком беспечный, слишком любопытный и слишком импульсивный характер. Однако последнее время я по ночам почти не смыкаю глаз. Как ни ворочаюсь я с боку на бок, перед моим взором все время стоит некое лицо. И в моих ушах никогда не умолкает пронзительный истерический хохот.

Сентябрь, 1844

пер. И. Гуровой

Ангел Необъяснимого Экстраваганца

Был холодный ноябрьский вечер. Я только что покончил с весьма плотным обедом, в составе коего не последнее место занимали неудобоваримые французские трюфли, и теперь сидел один в столовой, задрав ноги на каминный экран и облокотясь о маленький столик, нарочно передвинутый мною к огню, — на нем размещался мой, с позволения сказать, десерт в окружении некоторого количества бутылок с разными винами, коньяками и ликерами. С утра я читал «Леониды» Гловера[808], «Эпигониаду» Уилки[809], «Паломничество» Ламартина[810], «Колумбиаду» Барлоу[811], «Сицилию» Таккермана[812] и «Диковины» Гризуолда[813] и потому, признаю, слегка одурел. Сколько я ни пытался взбодриться с помощью лафита, все было тщетно, и с горя я развернул попавшуюся под руку газету. Внимательно изучив колонку «Сдается дом», и колонку «Пропала собака», и две колонки «Сбежала жена», я храбро взялся за передовицу и прочел ее с начала до конца, не поняв при этом ни единого слова, так что я даже подумал: не по-китайски ли она написана, и прочитал еще раз, с конца до начала, ровно с тем же успехом. Я уже готов был отшвырнуть в сердцах

> Сей фолиант из четырех листов завидных, который даже критики не критикуют[814], — когда внимание мое остановила одна заметка.
>
> «Многочисленны и странны пути, ведущие к смерти, — говорилось в ней. — Одна лондонская газета сообщает о таком удивительном случае. Во время игры в так называемые „летучие стрелы“, в которой партнеры дуют в жестяную трубку, выстреливая длинной иглой, вставленной в клубок шерсти, некто зарядил трубку иглой острием назад и сделал сильный вдох перед выстрелом — игла вошла ему в горло, проникла в легкие, и через несколько дней он умер».

Прочитав это, я пришел в страшную ярость, сам точно не знаю почему. «Презренная ложь! — воскликнул я. — Жалкая газетная утка. Лежалая стряпня какого-то газетного писаки, специалиста по сочинению немыслимых происшествий. Эти люди пользуются удивительной доверчивостью нашего века и употребляют свои мозги на изобретение самых невероятных историй, необъяснимых случаев, как они это называют, однако для мыслящего человека (вроде меня, добавил я в скобках, машинально дернув себя за кончик носа), для ума рассудительного и глубокого, каким обладаю я, сразу ясно, что необъяснимо тут только удивительное количество этих так называемых необъяснимых случаев. Что до меня, то я лично отныне не верю ничему, что хоть немного отдает необъяснимым.»

— Майн готт, тогда ты большой турак! — возразил мне на это голос, удивительнее которого я в жизни не слышал.

Поначалу я принял было его за шум в ушах — какой слышишь иногда спьяну, но потом сообразил, что он гораздо больше походит на гул, издаваемый пустой бочкой, если бить по ней большой палкой; так что на этом бы объяснении я и остановился, когда бы не членораздельное произнесение слогов и слов. По натуре я нельзя сказать чтобы нервный, да и несколько стаканов лафита, выпитые мною, придали мне храбрости, так что никакого трепета я не испытал, а просто поднял глаза и не спеша, внимательно огляделся, ища непрошеного гостя. Однако никого не увидел.

— Кхе-кхе, — продолжал голос, между тем как я озирался вокруг, — ты, ферно, пьян как свинья, раз не фидишь меня, федь я сижу у тебя под носом.

Тут я и в самом деле надумал взглянуть прямо перед собой и действительно, вижу — против меня за столом сидит некто, прямо сказать, невообразимый и трудно описуемый. Тело его представляло собой винную бочку или нечто в подобном роде и вид имело вполне фальстафовский. Снизу к ней были приставлены два бочонка, по всей видимости, исполнявшие роль ног. Вместо рук наверху туловища болтались две довольно большие бутылки горлышками наружу. Головой чудовищу, насколько я понял, служила гессенская фляга, из тех, что напоминают большую табакерку с отверстием в середине. Фляга эта (с воронкой на верхушке, сдвинутой набекрень на манер кавалерийской фуражки) стояла на бочке ребром и была повернута

отверстием ко мне, и из этого отверстия, поджатого, точно рот жеманной старой девы, исходили раскатистые, гулкие звуки, которые это существо, очевидно, пыталось выдать за членораздельную речь.

— Ты, говорю, ферно, пьян как свинья, — произнес он. — Сидишь прямо тут, а меня не фидишь. И, ферно, глуп, как осел, что не феришь писанному в газетах. Это — нрафда. Все как есть — прафда.

— Помилуйте, кто вы такой? — с достоинством, хотя и слегка озадаченно спросил я. — Как вы сюда попали? И что вы тут такое говорите?

— Как я сюда попал, не тфвоя забота, — отвечала фигура. — А что я гофорю, так я гофорю то, что надо. А кто я такой, так я затем и пришел сюда, чтобы ты уфидел сфоими глазами.

— Вы просто пьяный бродяга, — сказал я. — Я сейчас позвоню в звонок и велю моему лакею вытолкать вас взашей.

— Хе-хе-хе! — засмеялся он. — Хо-хо-хо! Да федь ты не можешь!

— Чего не могу? — возмутился я. — Как вас прикажете понять?

— Позфонить не можешь, — отвечал он, и нечто вроде ухмылки растянуло его злобный круглый ротик.

Тут я сделал попытку встать на ноги, дабы осуществить мою угрозу, но негодяй преспокойно протянул через стол одну из своих бутылок и ткнул меня в лоб, отчего я снова упал в кресло, с которого начал было подниматься. Вне себя от изумления я совершенно растерялся и не знал, как поступить. Он же между тем продолжал говорить:

— Сам фидишь, лучше фсего тебе сидеть смирно. Так фот, теперь ты узнаешь, кто я. Фзгляни на меня! Смотри хорошенько! Я — Ангел Необъяснимого.

— Необъяснимо, — ответил я. — У меня всегда было такое впечатление, что у ангелов должны быть крылышки.

— Крылышки! — воскликнул он, сразу распалясь. — Фот еще! На что они мне! Майн готт! Разфе я цыпленок?

— Нет, нет, — поспешил я его уверить, — вы не цыпленок. Отнюдь.

— Тогда сиди и феди себя смирно, не то опять получишь от меня кулаком по лбу. Крылья имеет цыпленок, и софа в лесу имеет крылья, и черти с чертенятами, и главный тойфель, но ангелы крыльеф не имеют, а я — Ангел Необъяснимого.

— И какое же у вас ко мне дело?

— Дело? — воскликнула эта комбинация предметов. — Как же ты турно фоспитан, если спрашиваешь у тжентльмена, и к тому же ангела, о деле!

Таких речей я, понятно, даже от ангела снести не мог; поэтому, призвав на помощь всю мою храбрость, я протянул руку, схватил со столика солонку и запустил в голову непрошеному гостю. Однако то ли он пригнулся, то ли я плохо метил, но все, чего я добился, это разнес вдребезги стекло на циферблате каминных часов. Ангел же, со своей стороны, не оставил мои действия без внимания, ответив на них тремя новыми затрещинами, не менее увесистыми, чем первая. Я принужден был покориться, и стыдно признаться, но на глаза мои то ли от боли, то ли от обиды набежала слеза.

— Майн готт! — промолвил Ангел Необъяснимого, сразу заметно подобрев. — Майн готт, этот человек либо очень пьян, либо горько стратает. Тебе нельзя пить крепкую, надо разбафлять водой. Ну, ну, на-ка, фыпей фон этого, мой труг, и не плачь.

И Ангел Необъяснимого до краев наполнил мой бокал (в котором примерно на треть было налито портвейну) какой-то бесцветной жидкостью из своих рук-бутылок. Я заметил, что на них вокруг горлышка были наклейки со словами «Kirschenwasser»[815].

Доброта и внимание Ангела несколько успокоили меня, и наконец с помощью воды, которой он неоднократно доливал мое вино, я вернул себе присутствие духа настолько, чтобы слушать его удивительные речи. Я даже не пытаюсь пересказать здесь все, что от него услышал, но в общем я понял так, что он является неким гением, по чьему велению случаются все contretemps[816] рода человеческого, чье дело — устраивать все необъяснимые случаи, которые постоянно озадачивают скептиков. Раза два во время разговора, когда я отваживался выразить ему мое полнейшее недоверие, он страшно свирепел, так что в конце концов я почел за благо помалкивать и не оспаривать его утверждений. Он продолжал разглагольствовать, а я откинулся в кресле, закрыл глаза и только забавлялся тем, что жевал изюм, а черенки разбрасывал по комнате. Но через некоторое время Ангел вдруг возомнил, что и это для него оскорбительно. В страшном гневе он вскочил, надвинул воронку на самые глаза и с громовым проклятием произнес какую-то угрозу, которой я не понял, после чего

отвесил низкий поклон и удалился, пожелав мне словами архиепископа из «Жиль Блаза»[817] «beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens»[818].

Его уход принес мне облегчение. Несколько стаканчиков лафита, которые я выпил, вызвали у меня сонливость, и я был более чем расположен вздремнуть минут пятнадцать, как обычно после обеда. В шесть часов у меня было важное свидание, пропустить которое я ни в коем случае не мог. Накануне истек срок страховки на мой дом, и поскольку возникли кое-какие разногласия, было решено, что я приду на заседание правления страховой компании и на месте договорюсь о возобновлении страховки. Подняв глаза к каминным часам (мне так хотелось спать, что вытащить часы из кармана просто не было сил), я с удовольствием обнаружил, что у меня в запасе целых двадцать пять минут. Была половина шестого, до страховой конторы ходьбы от силы пять минут, а моя сиеста ни разу в жизни не затягивалась дольше двадцати пяти. Так что я мог не беспокоиться и не мешкая погрузился в сон.

Проснувшись, я снова взглянул на каминные часы и, право, почти был готов поверить в пресловутые необъяснимые случаи, когда обнаружил, что вместо обычных пятнадцати — двадцати минут проспал всего три, ибо до назначенного мне часа все еще оставалось добрых двадцать семь минут. Тогда я снова сладко задремал, но когда наконец проснулся опять, то, к величайшему моему изумлению, на часах все еще было без двадцати семи минут шесть. Я вскочил, снял их с каминной полки — они стояли. Мои карманные часы показывали половину восьмого; я проспал добрых два часа и в страховую контору, естественно, опоздал. «Неважно, — сказал я себе, — зайду завтра утром и извинюсь. Однако, что могло произойти с часами?» Я внимательно осмотрел их, и оказалось, что один из черенков от изюма, которые я разбрасывал по комнате во время рассуждений Ангела, влетел через разбитое стекло циферблата прямо в скважину для завода и торчал оттуда, препятствуя вращению минутной стрелки.

— Ага, — сказал я, — понятно. Такие вещи говорят сами за себя. Вполне естественная случайность, со всяким может произойти.

Тут не над чем было ломать голову, и в положенный час я отправился спать. В спальне, поставив свечку на тумбочку у кровати, я сделал было попытку проштудировать несколько страниц из книги

«Вездесущность бога»[819], однако, к сожалению, менее чем за двадцать секунд погрузился в сон, а свеча так и осталась гореть у моего изголовья. Спал я тревожно — во сне мне без конца являлся Ангел Необъяснимого. Мне мерещилось, будто он стоит у меня в ногах, раздвигает шторы и гулким, отвратительным голосом винной бочки грозит мне ужасной местью за неуважительное с ним обращение. Кончил он свою длинную гневную речь тем, что сорвал с головы фуражку-воронку, вставил ее мне в глотку и буквально затопил меня вишневой настойкой, которую изливал непрерывной струей из правой длинногорлой бутылки, заменявшей ему руку. Он все лил и лил, мне стало невмоготу, я не вытерпел и проснулся — и как раз успел заметить, как крыса убегает в подполье с моей зажженной свечой в зубах, однако помешать ей в этом уже не успел. Очень скоро я почувствовал сильный удушливый запах: стало совершенно ясно, что дом горит. Через несколько минут языки пламени вырвались на волю и с невероятной быстротой охватили здание. Все пути отступления из моей спальни были отрезаны — оставалось только окно. Люди, толпившиеся на улице, быстро раздобыли длинную лестницу, подняли и приставили ее к подоконнику. По этой лестнице я стал торопливо спускаться, как вдруг прежирный боров, чье округлое брюхо, да и вообще весь облик и выражение лица напомнили мне Ангела Необъяснимого — так вот этот боров, мирно дремавший в грязи по соседству, ни с того ни с сего надумал вдруг почесать левое плечо и не нашел ничего лучшего, как воспользоваться для этой цели лестницей, на которой я находился. Я кувырком полетел вниз и, преследуемый неудачами, сломал руку.

Это несчастие, а также потеря страховки и еще более серьезная утрата всей шевелюры, под корень спаленной пожаром, настроили меня на серьезный лад, так что в конце концов я принял решение жениться. В городе у нас жила богатая вдова, как раз безутешно оплакивавшая кончину седьмого мужа, и ее-то страждущей душе я и предложил бальзам моих сердечных признаний. Она стыдливо даровала мне свое согласие. Я с восторгом и благодарностью пал к ее ногам. Тогда, зардевшись, она склонила головку, и ее роскошные локоны соприкоснулись с моими — доставшимися мне во временное пользование от Гранжана. Как именно случилось, что они переплелись, не знаю, но с колен я поднялся без парика с голой

сияющей лысиной, а негодующая вдова — вся опутанная чужими волосами. Так рухнули мои надежды на прекрасную вдову — из-за случайности, предвидеть которую, правда, было совершенно невозможно, но которую вызвала цепь вполне естественных причин.

Однако я не отчаялся и предпринял осаду сердца не столь неумолимого. И снова в течение краткого времени судьба благоприятствовала мне, но, как и в предыдущий раз, все сорвалось из-за вмешательства пустячной случайности. Встретившись однажды с моей нареченной на улице, где гуляло избранное общество нашего города, я поспешил было отвесить ей один из моих самых изысканных поклонов, как вдруг в глаз мне влетела крупица некоей посторонней материи, и я на какое-то время совершенно ослеп. Не успело зрение ко мне возвратиться, как уже моя возлюбленная исчезла, оскорбленная до глубины души таким, как она считала, вызывающим поступком — пройти мимо и не заметить ее! Пока, растерявшись от неожиданности (хотя это могло бы случиться со всяким смертным), я стоял, все еще не владея зрением, ко мне приблизился Ангел Необъяснимого и с любезностью, какой я от него вовсе не ожидал, предложил свою помощь. Бережно и весьма искусно исследовав мой пострадавший глаз, он объяснил, что в него попало, извлек это — что бы оно ни было, — и мне сразу стало легче.

Тогда я решил, что настала пора мне умереть (раз уж судьба так меня преследует), и с этим намерением я направился к ближайшей речке. Там, сняв одежду (ибо нет никаких причин нам умирать в ином виде, чем мы появились на свет), я бросился в воду вниз головой. Видела все это только одинокая ворона, которая отбилась от своего племени, пристрастившись к зерну, из которого гонят спирт. И эта самая ворона, лишь только я плюхнулся в воду, не нашла ничего лучше, как ухватить в клюв самый важный предмет моего туалета и полететь прочь. Тогда, отложив исполнение моего самоубийственного замысла до другого раза, я спешно сунул нижние конечности в рукава и пустился вдогонку за грабительницей со всей скоростью, какую предписывала потребность и допускала возможность. Но злой рок по-прежнему преследовал меня. Я бежал во всю прыть, задрав голову в небо и все внимание сосредоточив на похитительнице моей собственности, как вдруг почувствовал, что мои ноги уже больше не касаются твердой земли; оказалось, что я сорвался и лечу в пропасть,

на дне которой я неизбежно переломал бы себе все кости, если бы, по счастью, не успел ухватиться за волочившийся канат-гайдроп от гондолы летевшего надо мною воздушного шара.

Едва только успел я настолько оправиться от растерянности, чтобы осознать, перед какой страшной опасностью я стою, вернее, вишу, как я тут же во всю силу легких принялся оповещать об этой опасности находящегося надо мной аэронавта. Долгое время мои старания оставались безуспешны. То ли этот дурак меня не видел, то ли, подлец, не обращал внимания. Его летательный аппарат между тем быстро взмывал ввысь, и с такой же быстротой падали мои силы. Я уже готов был смириться с неизбежной гибелью и покорно свалиться в море, но тут настроение мое вновь поднялось, ибо сверху раздался гулкий голос, лениво напевавший какую-то оперную арию. Я поглядел вверх — на меня смотрел Ангел Необъяснимого. Сложив руки на груди, он свесился за борт гондолы; во рту у него торчала трубка, он ею попыхивал и имел вид человека, весьма довольного и собой, и белым светом. У меня уже не оставалось сил говорить, и я только устремил на него умоляющий взор.

Он смотрел мне прямо в лицо, но несколько минут не произносил ни слова. Затем наконец переложил трубку из правого угла рта в левый и соблаговолил заговорить.

— Кто фы такой? — спросил он. — И какофо тойфеля фам надо?

На столь вопиющее нахальство, жестокосердие и притворство я мог ответить только кратким призывом:

— Помогите!

— Фам помочь? — переспросил этот злодей. — Ну уж нет. Фот фам бутылка — не зефайте, она фам поможет).

С этими словами он выпустил из рук тяжелую бутылку с вишневой настойкой и попал ею мне прямо по темени, так что у меня создалось впечатление, будто она вышибла мне все мозги. Под этим впечатлением я уже готов был разжать руки и с миром отдать богу душу, но меня остановил окрик Ангела, который велел мне держаться.

— Тержитесь! — крикнул он. — Не надо торопиться. Хочешь еще бутылочку? Или ты уже тофольно отрезфел и пришел в себя?

В ответ я поспешил дважды помотать головой: отрицательно — в знак того, что еще одна бутылка мне сейчас не очень нужна; и

утвердительно, желая этим заверить его, что я совершенно трезв и полностью пришел в себя. Ангел немного смягчился.

— Тогта, значит, ты наконец поферил? — спросил он. — Ты теперь феришь в необъяснимое?

Я снова кивнул утвердительно.

— И феришь в меня, Ангела Необъяснимого?

Я опять кивнул.

— И признаешь, что ты пьян в стельку и глуп как осел?

И я снова кивнул.

— Раз так, положи правую руку в левый карман панталон в знак полного подчинения Ангелу Необъяснимого.

Этого я по очевидным причинам сделать не мог. Начать с того, что левая рука у меня была сломана при падении с пожарной лестницы, так что если бы я разжал теперь правую руку и выпустил канат, то выпустил бы его безвозвратно. Кроме того, у меня не было панталон, и, чтобы их получить, я должен был догнать ворону. Вследствие всего этого я вынужден был, к величайшему моему сожалению, отрицательно покачать головой, желая этим сообщить Ангелу, что в данный момент мне было бы несколько затруднительно удовлетворить его вполне разумные требования. Но лишь только я перестал качать головой, как…

— Ну, и катись ко фсем чертям! — рявкнул с неба Ангел Необъяснимого.

При этом он полоснул острым ножом по канату, на котором я висел, а так как в это самое мгновение мы пролетали над моим домом (который за время моих странствий успели заново отстроить), вышло так, что я угодил в дымоход и обрушился в камин у себя в столовой.

Когда я пришел в себя (ибо падение порядком меня оглушило), оказалось, что сейчас около четырех часов утра. Я лежал ничком на том самом месте, куда упал с воздушного шара, лицом уткнувшись в холодную золу вчерашнего огня, а ногами попирая обломки опрокинутого столика, а вокруг валялись всевозможные остатки десерта вперемешку с газетой, несколькими разбитыми стаканами и бутылками и пустым графином из-под вишневой настойки. Так отомстил мне Ангел Необъяснимого.

Октябрь, 1844

пер. И. Бернштейн

«Ты еси муж, сотворивый сие!»

Мне предстоит сейчас, сыграв роль Эдипа, разгадать загадку Рэттлборо. Я намерен открыть вам — ибо, кроме меня, этого никто не может сделать, — секрет хитроумной выдумки, без которой не бывать бы чуду в Рэттлборо — чуду единственному и неповторимому, истинному, общепризнанному, бесспорному и неоспоримому чуду; оно раз и навсегда положило конец неверию среди местных жителей и вернуло к старушечьему ханжеству всех, кто прежде, не помышляя ни о чем, кроме плоти, отваживался щеголять скептицизмом.

Это случилось — я постараюсь избежать неуместно-легкомысленного тона — летом 18.. года. Мистер Барнабас Челноук, один из самых состоятельных и самых уважаемых жителей города, исчез за несколько дней перед тем при обстоятельствах, дававших повод для весьма мрачных подозрений. Мистер Челноук выехал из Рэттлборо верхом рано утром в субботу; пупть его лежал в город, что в пятнадцати милях от Рэттлборо, и он намеревался возвратиться в тот же день к вечеру. Два часа спустя лошадь вернулась назад без всадника и без вьюков, которые мистер Челноук приторочил к седлу перед отъездом. К тому же она была ранена и покрыта грязью. Все это, вместе взятое, разумеется, весьма встревожило друзей пропавшего; а когда в воскресенье утром стало известно, что мистер Челноук все еще не появился, весь городок поднялся и en masse[820] отправился на розыски тела.

Самым настойчивым и энергичным организатором этих поисков был близкий друг мистера Челноука, некий мистер Чарлз Душкинс или, как решительно все его называли, — «Чарли Душкинс», или — «старина Чарли Душкинс». Есть ли тут какое-нибудь удивительное совпадение или самое имя неуловимо влияет на характер — это я никогда толком не мог понять; но факт остается фактом: еще не существовало на свете человека по имени Чарлз, который не был бы храбрым, честным, откровенным и добродушным малым, душа нараспашку: и голос у него звучный, внятный и ласкающий слух, и глаза всегда глядят прямо на вас, словно говоря: «У меня совесть чиста, мне бояться некого, и, уж во всяком случае, ни на какую низость

я не способен». Вот почему всех приветливых и беззаботных людей наверняка зовут Чарлз.

Итак, «старине Чарли Душкинсу», — хоть он и появился в городке всего месяцев шесть назад или около того и хотя прежде никто не слыхал о нем, — не стоило ни малейшего труда завязать знакомства со всеми уважаемыми гражданами Рэттлборо. Любой из них, не задумываясь, ссудил бы ему под честное слово хоть тысячу; что же касается Женщин, то невозможно даже представить себе, чего бы они ни сделали, лишь бы угодить «старине Чарли». И все только потому, что при крещении его нарекли Чарлзом — и, следовательно, он уже не мог не обладать тем открытым лицом, которое, как говорится, служит лучшей рекомендацией.

Я уже упомянул о том, что мистер Челноук считался одним из самых уважаемых и, несомненно, самым состоятельным человеком в Рэттлборо, а «старина Чарли Душкинс» был с ним так близок — ну, прямо брат родной! Оба старых джентльмена жили рядом, и хотя мистер Челноук едва ли хоть раз побывал в гостях у «старины Чарли» и, как хорошо было известно, никогда не садился у него за стол, все же, как я только что заметил, это нисколько не мешало их тесной дружбе: дня не проходило без того, чтобы «старина Чарли» раза три-четыре не заглянул к соседу справиться, как дела, весьма часто оставался завтракать или пить чай и почти ежедневно — обедать; а уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, пожалуй, и не сосчитаешь. Любимым напитком «старины Чарли» было шато-марго, и глядя, как этот почтенный джентльмен вливает себе в глотку кварту за квартой, мистер Челноук, казалось, радовался от всей души. И вот однажды, когда головы наполнились винными парами, а бутылки соответственно опустели, мистер Челноук, хлопнув своего закадычного друга по спине, объявил ему: «Знаешь, что я тебе скажу, старина Чарли? Ей-Богу, ты самый славный малый, какого мне доводилось встречать на своем веку, и раз тебе нравится хлестать вино этаким вот манером, так будь я проклят, если не подарю тебе большущий ящик шато-марго! Разрази меня Бог (у мистера Челноука была прискорбная привычка божиться, хоть он и редко заходил дальше таких выражений, как „Разрази меня Бог“ или „Ей-же-ей“ или „Чтоб мне провалиться“), — разрази меня Бог, — продолжал он, — если я сегодня же после обеда не отправлю в город заказ на двойной ящик

самого лучшего шато, какое только удастся сыскать, и я подарю его тебе, да, подарю! — молчи, не возражай мне — непременно подарю, слышишь? И дело с концом! Так смотри же — на днях тебе его привезут, — как раз тогда, когда ты и ждать-то не будешь!» Я упомянул об этом небольшом проявлении щедрости со стороны мистера Челноука лишь для того, чтобы показать вам, насколько близкими были отношения двух друзей.

Так вот, в то воскресное утро, о котором идет речь, когда стало уже совершенно ясно, что с мистером Челноуком случилось что-то неладное, никто, по-моему, не был потрясен глубже, чем «старина Чарли Душкинс». В первую минуту, услыхав, что лошадь вернулась домой без хозяина и без седельных вьюков, вся залитая кровью, струившейся из раны, — пистолетная пуля пробила насквозь грудь несчастного животного, хоть и не уложила его на месте, — услыхав об этом, он весь побелел, как будто пропавший был его любимым братом или отцом, и задрожал всем телом, словно в тяжком пароксизме лихорадки.

Сначала он был слишком поглощен своим горем для того, чтобы начать действовать или обдумать какой-либо план, и даже довольно долго уговаривал остальных друзей мистера Челноука не поднимать пока шума: лучше всего-де подождать немного — скажем, неделю-две, или месяц-другой, — авось что-нибудь да выяснится или, глядишь, появится и сам мистер Челноук, собственной персоной, и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь домой. Я полагаю, вам не раз случалось замечать это желание повременить, помешкать у людей, которых гложет мучительная скорбь. Душа их словно оцепенела, они испытывают ужас перед всяким подобием действия и ни на что в мире не променяют возможности лежать в постели и, как выражаются пожилые дамы, «лелеять свое горе», иными словами — все вновь и вновь оплакивать случившееся несчастье. Жители Рэттлборо были очень высокого мнения об уме и рассудительности «старины-Чарли», и большинство склонялось к мысли, что он прав и что не следует поднимать шум, «пока что-нибудь не выяснится», — как выразился сей почтенный старый джентльмен; и я полагаю, что в конце концов на том бы все и порешили, если бы не крайне подозрительное вмешательство племянника мистера Челноука, молодого человека, ведущего весьма беспорядочный образ жизни и к тому же наделенного

отвратительным характером. Этот племянник, по имени Шелопайн, и слышать не хотел о том, что «нужно-де, сидеть спокойно», и настоятельно требовал немедленно начать поиски «тела убитого». Именно так он и выразился, и мистер Душкине тогда же справедливо заметил, что «это выражение, по меньшей мере, странное». Последнее замечание «старины Чарли» также произвело большое впечатление на собравшихся, и слышали даже, как кто-то весьма внушительно вопросил: «Каким образом могло случиться, что молодой мистер Шелопайн столь хорошо знаком со всеми обстоятельствами исчезновения своего богатого дяди, и чувствует себя вправе ясно и недвусмысленно утверждать, будто дядя его убит?» После этого некоторые из присутствовавших обменялись колкостями и резкостями, а в особенности «старина Чарли» и мистер Шелопайн; последнее, впрочем, никого особенно не удивило, ибо вот уже три-четыре месяца как между ними не было и намека на приязнь, а однажды дошло даже до того, что мистер Шелопайн ударом кулака сбил с ног друга своего дяди якобы за какую-то чрезмерную вольность, которую тот позволил себе в доме дяди, где проживал и племянник. Говорят, что в ту минуту «старина Чарли» явил собою образец выдержки и христианского смирения; Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и даже не попытался воздать обидчику злом за зло. Он только пробормотал несколько слов, что, мол, «за все расквитается с ним при первом же удобном случае» — естественное и вполне понятное излияние гнева, еще ничего, впрочем, не означавшее и, вне всякого сомнения, тут же забытое.

Как бы то ни было (случай этот не имеет ни малейшего касательства к тому, о чем здесь идет речь), известно, что граждане Рэттлборо, главным образом послушавшись уговоров мистера Шелопайна, решили наконец разойтись и приступить к розыскам исчезнувшего мистера Челноука Я хочу сказать, что таково было самое первое их решение. Когда никто уже более не сомневался, надо ли начинать розыски, было высказано мнение, что участники поисков должны, конечно, разойтись в разные стороны, иными словами — разбиться на группы для более тщательного обследования местности. Но «старина Чарли» с помощью цепи остроумных рассуждений (я уж теперь не помню, каких именно) в конце концов убедил собравшихся, что этот план — самый неразумный из всех возможных; да, убедил —

всех, кроме мистера Шелопайна. Итак, условились, что поиски, упорные и весьма обстоятельные, будут вести горожане en masse во главе с самим «стариною Чарли».

Что касается последней детали этого решения, то лучшего предводителя, чем «старина Чарли», найти было невозможно: каждый знал, что взор у него острее, чем у рыси. Однако, хоть он и заглядывал со своим отрядом в разные ямы и укромные уголки, хоть он и водил его по дорогам, о существовании которых никто и не подозревал, и хотя поиски продолжались непрерывно, днем и ночью, почти целую неделю, все же никаких следов мистера Челноука обнаружить не удалось. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», не надо понимать меня буквально, потому что какие-то следы, конечно, были. Путь несчастного джентльмена удалось проследить по отпечаткам подков его лошади (на этих подковах была особая метка) до определенного пункта, примерно в трех милях к востоку от городка, на большой дороге, ведущей в соседний город. Здесь следы сворачивали на глухую тропинку; она шла прямо через лес и снова выходила на большую дорогу, сокращая путь примерно на полмили. Отпечатки подков привели наконец к заболоченному озерку, скрывавшемуся в зарослях ежевики справа от тропинки, и на берегу озерка все следы терялись. Заметно было, однако, что здесь происходила какая-то борьба и, по-видимому, с тропинки в воду волокли какое-то большое и тяжелое тело, гораздо больше и тяжелее человеческого. Дно озерка дважды тщательно обшарили, но ничего не нашли, и горожане, разочаровавшись и не веря в успех, уже готовы были отправиться дальше, когда провидение внушило мистеру Душкинсу счастливую мысль спустить воду совсем. Этот план был встречен возгласами одобрения и восторженными похвалами проницательности и уму «старины Чарли». Так как многие запаслись лопатами на случай, если придется выкапывать труп, воду отвели легко и быстро; и едва лишь показалось покрытое илом дно, как на самой середине был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствовавшие немедленно признали часть одежды мистера Шелопайна. Жилет был весь изодран и испачкан кровью, и сразу же нашлись люди, которые отчетливо помнили, что он был на своем владельце в то самое утро, когда мистер Челноук отправился в город. Нашлись и другие, готовые, в случае надобности, присягнуть, что той одежды, о которой идет речь,

на мистере Шелопайне в течение всей остальной части столь памятного дня не было; но не оказалось никого, кто стал бы утверждать, что хоть раз видел ее на мистере Шелопайне после исчезновения мистера Челноука.

Дело принимало серьезный для мистера Шелопайна оборот, и, как доказательство, неоспоримо подтверждающее возникшие против него подозрения, было отмечено, что он побелел как стена, а на вопрос, может ли он что-нибудь сказать в свое оправдание, не мог ответить ни слова. Вслед за тем немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его разгульный образ жизни, покинули его, бежали все до одного и даже ухитрились перекричать старых и откровенных врагов, требуя немедленного ареста преступника. Тем ярче засияло на этом фоне великодушие мистера Душкинса. Он выступил с горячей и чрезвычайно красноречивой защитой мистера Шелопайна и неоднократно ссылался на то, что от чистого сердца простил этому несдержанному молодому джентльмену — «наследнику достойного мистера Челноука» — оскорбление, которое он (молодой джентльмен), бесспорно в пылу гнева, счел возможным нанести ему (мистеру Душкинсу). Да, он искренне прощает его; и что касается его (мистера Душкинса), то он никак не намерен доводить до крайности подозрения, которые — увы, этого нельзя отрицать — возникли против мистера Шелопайна; он (мистер Душкинс) сделает все, что в его силах, употребит весь тот скромный запас красноречия, которым он располагает, для того, чтобы… чтобы… ну, скажем, выставить в более благоприятном свете — насколько совесть ему позволит — наиболее тяжелые детали этого и впрямь до крайности запутанного дела.

Мистер Душкинс продолжал в том же духе еще с полчаса, которые послужили к вящему прославлению как его ума, так и сердца. Но ведь слова подобных добряков так редко отвечают истинным их намерениям; охваченные самым горячим желанием помочь другу, они теряют голову и окончательно запутываются во всевозможных contre-temps[821] и mal a proposisms[822] и таким образом — часто с самыми лучшими намерениями — приносят делу несравненно больше вреда, чем пользы.

Так случилось и теперь, невзирая на все красноречие «старины Чарли». Хоть он и не щадил своих сил, действуя в интересах заподозренного, все же, по какой-то необъяснимой причине, каждое

слово, слетавшее с, уст мистера Душкинса и непреднамеренно, но вполне очевидно направленное к тому, чтобы возвеличить оратора в глазах его слушателей, лишь укрепляло подозрения, уже возникшие против того, чьим адвокатом он выступал, и разжигало ярость толпы.

Одним из самых досадных промахов, допущенных оратором, было упоминание о том, что заподозренный — «наследник достопочтенного джентльмена старого мистера Челноука». И в самом деле, раньше это никому и в голову не приходило. Помнили только, что год или два назад дядя (у которого не было никаких других родственников, кроме племянника) грозился лишить его наследства, а потому все и всегда считали это дело решенным — очень уж простодушны были граждане Рэттлборо. Но замечание, оброненное «стариной Чарли», сразу же заставило их призадуматься и напомнило о том, что иногда угрозы могут оказаться только угрозами, не больше. И сразу же встал вполне естественный вопрос — cui bono? — вопрос, который еще более упрямо, чем жилет, возлагал бремя страшного обвинения на плечи молодого человека. Здесь, — так как я опасаюсь, что меня могут понять неправильно, — разрешите мне на мгновение отвлечься: я хотел бы лишь заметить, что чрезвычайно лаконичная и простая латинская фраза, которую я употребил, неизменно переводится и истолковывается неверно. «Cui bono» во всех модных романах и вообще в романах — например, у миссис Гор[823] (автора «Сесила»), особы, которая приводит цитаты на всех языках, от халдейского до наречия племени чикасо, и в своих систематических занятиях по необходимости пользуется услугами мистера Бекфорда[824], — во всех, повторяю, модных романах, от Вулвера и Диккенса[825] до Зашибигрош и Эйнсворта, два коротеньких латинских слова cui bono переводятся «с какой целью?» или (будто это quo bono) «чего ради?» А между тем их подлинное значение — «в чью пользу». Cui — кому, bono — на благо? Это чисто юридическая формула, и применяется она как раз в делах, подобных описываемому нами, — когда вероятный субъект деяния устанавливается в зависимости от вероятной выгоды, которую может принести тому или иному лицу совершение этого деяния. И вот, в данном случае, вопрос cui bono бросал весьма густую тень на мистера Шелопайна. Его дядя, составив завещание в его пользу, потом начал грозить ему лишением наследства. Но угроза не была выполнена: старое завещание, по-

видимому, изменено не было. Если бы оно было изменено, единственным возможным мотивом для убийства могла бы оказаться обычная жажда мести: однако даже в этом случае злое чувство могло бы уступить надежде вновь снискать благосклонность дяди. Но коль скоро завещание осталось неизменным, а угроза изменить его продолжала висеть над головою племянника, тут уж сразу становился очевидным самый сильный из всех возможных стимулов к зверской расправе.

Именно так и порешили, выказав при этом свою глубочайшую проницательность, достойные граждане Раттлборо.

В соответствии с этим мистер Шелопайн был немедленно арестован, и толпа, еще немного поискав и порыскав, отправилась домой, держа своего пленника под стражей. По пути, однако, открылось новое обстоятельство, укрепившее прежние подозрения. Кто-то увидел, как мистер Душкинс, который, в силу ревностного своего усердия, все время держался немного впереди остальных, вдруг пробежал несколько шагов, нагнулся и, по-видимому, поднял какой-то небольшой предмет, лежавший в траве. Заметили также, что, быстро осмотрев этот предмет, он попытался, правда довольно неуверенно, спрятать его в карман сюртука; но эта попытка была, как я уже сказал, обнаружена и, разумеется, предупреждена. Тут-то и выяснилось, что находка мистера Душкинса — не что иное, как испанский нож, в котором не меньше десятка свидетелей сразу же опознали вещь, принадлежащую мистеру Шелопайну. Более того: на рукоятке были выгравированы его инициалы. Нож был раскрыт, и лезвие испачкано кровью.

Виновность племянника не вызывала больше сомнений, и, немедленно по прибытии в Рэттлборо, он был доставлен к следователю для допроса.

Здесь дело снова приняло, крайне неблагоприятный оборот. Арестованный, в ответ на вопрос, где он находился в то утро, когда исчез мистер Челноук, имел дерзость подтвердить, что в то самое утро он охотился с ружьем на оленей неподалеку от озерка, в котором, благодаря сообразительности мистера Душкинса, был обнаружен запятнанный кровью жилет.

Тут вышеозначенный джентльмен выступил вперед и со слезами на глазах попросил разрешения дать показания. Он заявил, что

непреклонное чувство долга, которое он питает по отношению к своему творцу, а равно и по отношению к своим собратьям здесь, на земле, не позволяет ему долее хранить молчание. До сих пор искренняя привязанность к молодому человеку (несмотря на последнюю его резкую выходку, направленную против него, мистера Душкинса) заставляли его строить всевозможные гипотезы, какие только могло подсказать воображение, чтобы как-нибудь объяснить то, что представлялось подозрительным в обстоятельствах, столь решительно говоривших против мистера Шелопайна; но эти обстоятельства становятся теперь слишком убедительными… слишком обличающими; он не станет больше колебаться, — он расскажет все, что знает, хотя его (мистера Душкинса) сердце от столь горестного усилия готово разорваться. Далее он утверждал, будто во второй половине дня накануне отъезда мистера Челноука в город этот достойный старый джентльмен в его (мистера Душкинса) присутствии намекнул своему племяннику, что завтрашнюю поездку он предпринимает для того, чтобы положить в «Сельскохозяйственный и промышленный банк» чрезвычайно крупную сумму; при этом упомянутый мистер Челноук прямо и недвусмысленно объявил упомянутому племяннику о своем бесповоротном решении уничтожить прежнее завещание и не оставить ему ни гроша. Он (свидетель) далее торжественно призвал обвиняемого ответить, являются или не являются его (свидетеля) показания, которые он только что дал, истиной во всех своих существенных подробностях. К великому удивлению всех присутствующих, мистер Шелопайн открыто признал, что все это — истина.

Тогда следователь счел своим долгом отправить двух констеблей с наказом обыскать комнату, которую занимал обвиняемый в доме своего дяди. Констебли не замедлили вернуться и принесли с собой знакомый многим коричневый кожаный бумажник, оправленный узкой полоскою стали, с которым старый джентльмен не расставался вот уже много лет. Однако его драгоценное содержимое исчезло, и следователь безуспешно старался выпытать у арестованного, на что он употребил деньги или куда он их спрятал, — мистер Шелопайн упорно утверждал, что знать ничего не знает. Констебли обнаружили также, под матрасом несчастного, рубашку и шейный платок — оба помеченные его инициалами и оба пропитанные кровью жертвы.

При таком-то стечении обстоятельств было доставлено известие, что лошадь убитого только что пала в своем стойле от раны, которую получила в памятный для всех день, и мистер Душкине высказался в том смысле, что должно учинить немедленное post mortem[826] вскрытие животного — быть может, удастся обнаружить пулю. Так и сделали, и вот, словно для того, чтобы рассеять последние сомнения в виновности арестованного, мистеру Душкинсу, после долгого исследования грудной полости лошади, удалось найти и извлечь пулю; — весьма необычные размеры ее, как было установлено экспертизой, в точности совпадали с калибром ружья мистера Шелопайна: с другой стороны, ни у кого в городке и его окрестностях не было второго ружья с таким же стволом. Но и это еще не все: на пуле оказалось подобие трещинки или бороздки, проходившей под прямым углом к обычному шву: расследование показало, что бороздка эта как раз соответствует случайной неровности или выступу в литейной форме, принадлежавшей — по его собственному признанию — обвиняемому. Осмотрев найденную пулю, следователь отказался выслушивать дальнейшие показания и тут же объявил, что арестованный будет предан суду. Он решительно отклонил просьбу выпустить мистера Шелопайна на поруки, хотя мистер Душкинс весьма горячо протестовал против такой суровости и вызвался даже внести в залог любую сумму, какую только потребуют власти. Впрочем, великодушие «старины Чарли» вполне соответствовало общему характеру его поведения, доброжелательству и рыцарской любезности, от которых он ни разу не отступал за все время своего пребывания в Рэттлборо. В данную минуту этот достойный человек был до такой степени увлечен порывом чрезмерно горячего сострадания, что, изъявляя намерение взять на поруки своего юного друга, видимо, совсем забыл, что у него самого (мистера Душкинса) нет и гроша за душой.

Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Когда мистер Шелопайн, под громкие проклятия всего Рэттлборо, предстал перед судом во время ближайшей сессии, цепь косвенных улик (ставшая еще нерасторжимее в силу некоторых дополнительных порочащих фактов, утаить каковые от блюстителей правосудия мистеру Душкинсу помешала его необычайно чужая совесть) была признана до такой степени исчерпывающей и столь убедительной, что присяжные, не покидая своих мест немедленно вынесли вердикт:

«Виновен в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах». Вскоре вслед за тем несчастный выслушал смертный приговор и был препровожден в окружную тюрьму, где ему предстояло ожидать неумолимого возмездия.

А тем временем «старина Чарли Душкинс» за благородное свое поведение сделался особенно дорог честным гражданам Рэттлборо. Он стал в десять раз популярнее, чем раньше. И, вполне естественно, в ответ на гостеприимство, которое ему оказывали, он волей-неволей должен был отказаться от строжайшей бережливости, на которую до сей поры его обрекала бедность; в его доме стали весьма часты маленькие reunions[827]; на них царили шутка и веселье… разумеется, слегка омраченные мелькающими подчас воспоминаниями о тяжкой и печальной участи, которая угрожала племяннику незабвенного друга нашего хлебосольного хозяина.

В один прекрасный день сей великодушный старый джентльмен был приятно изумлен, получив письмо следующего содержания:

> Чарлзу Душкинсу, эскв., Рэттлборо. От С., Т., Г. и о
> Шат. Мар. — А — э 1. — 6 дюж. Бутылок (1/2 гросса)
> Чарлзу Душкинсу, эсквайру.
>
> Дорогой сэр! В соответствии с заказом, сделанным нашей фирме около двух месяцев назад нашим уважаемым клиентом мистером Барнабасом Челноуком, имеем честь отгрузить сегодня утром в Ваш адрес двойной ящик шато-марго марки «Антилопа» с лиловой печатью; номер и маркировку ящика см. на полях.
>
> Остаемся, сэр, готовые к услугам
> Свиноу, Тиноу, Глиноу и о
> Город —, 21 июня, 18..
>
> P. S. Ящик будет доставлен Вам фургоном на следующий день после получения настоящего письма. Просим засвидетельствовать наше почтение мистеру Челноуку.
>
> С., Т., Г. и Ко.

Дело в том, что мистер Душкинс после смерти мистера Челноука оставил всякую надежду когда-нибудь получить обещанное шато-

марго, а потому, получив его теперь, усмотрел в этом некий дар, ниспосланный ему провидением. Охваченный неудержимой радостью, он решил дать назавтра petit souper[828] и пригласил большую компанию друзей, чтобы вместе распить дар старого доброго мистера Челноука не то чтобы он упомянул «доброго мистера Челноука», приглашая к себе гостей, — нет, он долго думал и решил вовсе не упоминать об этом. Если память мне не изменяет, он и словом не обмолвился о том, что получил шато-марго в подарок. Он просто попросил друзей помочь ему распить винцо замечательного качества и с тончайшим букетом, которое он выписал из города несколько месяцев назад и которое завтра должно прибыть. Я часто недоумевал, почему старина Чарли решил скрыть, что это вино — подарок его старого друга, но так и не мог понять толком соображений, заставлявших его хранить молчание, хотя какие-то высокие и весьма великодушные соображения у него, бесспорно, были.

Наконец наступило завтра, и в доме мистера Душкинса собралось многочисленное и в высшей степени респектабельное общество. Тут было чуть не полгорода (и я в том числе), но час шел за часом, гости уже успели самым усердным образом воздать должное роскошному ужину, которым их угостил «старина Чарли», а шато-марго, к великому огорчению хозяина, все еще не появлялось. Но в конце концов оно все-таки прибыло — чудовищно огромный ящик, смею вас заверить, — и так как настроение у всех присутствовавших было преотличное, nem. con.[829] решили поставить ящик на стол и вскрыть немедленно.

Сказано — сделано. Я тоже приложил руку, и в мгновение ока мы водрузили ящик на стол, посреди бутылок и стаканов, немалое число которых было перебито в ходе этой операции. Тут «старина Чарли», изрядно пьяный и раскрасневшийся, с комически важным видом занял место во главе стола и принялся неистово колотить по столу графином, призывая собравшихся соблюдать порядок «при церемонии вскрытия сокровища».

После нескольких громогласных призывов к спокойствию оно было наконец полностью водворено и, как нередко бывает в подобных случаях, воцарилась глубокая и многозначительная тишина. Меня попросили поднять крышку, и я, разумеется, согласился с величайшей охотой. Я всунул в щель долото и только успел несколько раз легонько стукнуть по нему молотком, как вдруг доски отскочили и в тот же миг

из ящика стремительно поднялся и сел прямо перед хозяином, весь покрытый пятнами и запекшейся кровью, уже начавший разлагаться труп убитого мистера Челноука; секунду-другую он пристально и скорбно глядел своими потухшими, тронутыми тлением глазами в лицо мистера Душкинса, потом медленно, но отчетливо и выразительно проговорил: «Ты еси муж, сотворивый сие!»[830] и, словно до конца удовлетворенный своим деянием, перевалился через край ящика, разметав по столу руки.

То, что за этим последовало, не поддается никакому описанию. Свалка у дверей и окон была невообразимая, и немало крепких мужчин буквально чувств лишились от ужаса. Но после того как первый, безумный, неистовый взрыв страха миновал, все взоры обратились к мистеру Душкинсу. Проживи я и тысячу лет, мне не забыть выражения смертной муки, застывшего на этом белом как мел лице, еще так недавно пылавшем от вина и от упоения своим торжеством. Несколько минут он сидел неподвижно, будто мраморное изваяние; пристальный взгляд его остановившихся глаз был, казалось, обращен внутрь и погружен в созерцание его собственной жалкой и преступной души. Наконец, словно возвращаясь в этот мир, глаза его сверкнули каким-то неожиданным блеском; содрогнувшись, он быстро вскочил со стула, тяжело рухнул головой на стол, так что она коснулась трупа, и с уст его быстро и бурно полилось признание в том самом гнусном преступлении, за которое мистер Шелопайн был заключен в тюрьму и приговорен к смерти.

То, что рассказал убийца, сводилось приблизительно к следующему: он следовал за своей жертвой почти до самого озерка, здесь выстрелил в лошадь из пистолета, уложил всадника ударом рукоятки, завладел бумажником и, полагая, что лошадь мертва, с большим трудом оттащил ее в заросли ежевики на берегу озерка. Труп мистера Челноука он взвалил на спину собственной лошади и увез его далеко в лес, чтобы спрятать в надежном месте.

Жилет, бумажник, нож и пулю он подбросил для того, чтобы отомстить мистеру Шелопайну. Находку окровавленного шейного платка и рубашки тоже подстроил он.

По мере того как это леденящее кровь повествование близилось к концу, слова злодея звучали все более глухо и невнятно. Когда же

показания его были исчерпаны, он выпрямился, отшатнулся от стола и упал — мертвый.

Способ, посредством которого удалось вырвать это своевременное признание, был, несмотря на свою действенность, очень прост. Чрезмерное чистосердечие мистера Душкинса неприятно поразило меня и с самого начала вызвало подозрения. Я был при том, как мистер Шелопайн ударил его, и выражение дьявольской злобы, которое скользнуло тогда по его лицу, каким бы мимолетным оно ни было, убедило меня, что он неукоснительно выполнит свою угрозу отомстить при первой же возможности. Итак, я был уже подготовлен к тому, чтобы взглянуть на маневры «старины Чарли» совсем иными глазами, чем добрые граждане Рэттлборо, и фазу же отметил, что все изобличительные находки — прямо или косвенно — связаны с ним. Но до конца открыл мне глаза на истинное положение вещей эпизод с пулей, найденной мистером Душкинсом в теле лошади. Я-то не забыл, — хоть горожане и забыли, — что кроме отверстия, через которое пуля вошла в тело, было и другое, через которое она вышла. А раз ее нашли в туше уже после того, как животное испустило дух, я был уверен, что пулю подложил тот, кто нашел ее. Окровавленная рубашка и шейный платок подтвердили мысль, на которую меня навела пуля, ибо кровь, при ближайшем рассмотрении, оказалась превосходным красным вином — не более того. Когда я начал обдумывать все эти факты и сопоставил их с необъяснимо возросшими за последнее время щедростью и расходами мистера Душкинса, я укрепился в своих подозрениях, которые не стали слабее от того, что я ни с кем ими не поделился.

Тем временем я приступил к систематическим тайным поискам трупа мистера Челноука, производившимся, по достаточно веским соображениям, как можно дальше от тех мест, куда водил своих приверженцев мистер Душкинс. В результате через несколько дней я набрел на старый высохший колодец, прятавшийся в зарослях ежевики; и тут, на дне, я обнаружил то, что искал.

Случилось так, что я был невольным свидетелем того разговора между двумя друзьями, когда мистер Душкинс ухитрился выманить у своего гостеприимного хозяина обещание подарить ему ящик шато-марго. На этом неопределенном обещании я и сыграл. Я раздобыл кусок тугого китового уса, протолкнул его в гложу трупа и дальше

вниз, а самый труп положил в старый ящик из-под вина, постаравшись при этом так согнуть тело, чтобы вместе с ним согнулся и китовый ус. Понятно, что мне пришлось сильно нажать на крышку, чтобы удержать се, пока я заколачивал гвозди. И я, разумеется, предвидел, что стоит их выдернуть — и крышка отлетит, а тело выпрямится.

Запаковав указанным образом ящик, я маркировал его, проставил номер и надписал адрес — так, как об этом рассказывалось выше; а затем, отправив письмо от имени виноторговцев, клиентом которых был мистер Челноук, наказал своему слуге по моему знаку подвезти ящик на тачке к дверям мистера Душкинса. Что касается слов, которые должен был произнести мертвец, то здесь я с уверенностью полагался на свой талант чревовещателя: именно на него я и рассчитывал, надеясь вырвать признание у злодея.

Вот, кажется, и все, больше объяснять нечего. Мистер Шелопайн был немедленно освобожден из-под стражи, получил состояние своего дяди, извлек полезный урок из выпавших на его долю испытаний, начал новую жизнь и с тех пор был неизменно счастлив.

Ноябрь, 1844

пер. С. Маркиш

Литературная жизнь Какваса Тама, Эсквайра

(Бывший редактор журнала «Абракадабра». Написано им самим).

Я уже в летах, и так как мне известно, что Шекспир и мистер Эммонс[831] скончались, то не исключено, что даже я могу умереть. Мысль об этом побуждает меня оставить литературное поприще и почить на лаврах. Но я горю желанием ознаменовать мое отречение от литературного скипетра каким-нибудь ценным даром потомству, и, пожалуй, самое лучшее — это описать начало моей карьеры. Право же, имя мое так долго и часто мелькало перед глазами публики, что я не только считаю совершенно естественным вызванный им интерес, по и готов удовлетворить то крайнее любопытство, которое им возбуждено. Действительно, долг всякого, кто достигает величия, — оставлять на пути своего восхождения вехи, которые могут помочь другим стать великими. Поэтому в настоящем труде (у меня была мысль озаглавить его «Материалы к абрису литературной истории Америки») я предполагаю подробно рассказать о тех пусть еще слабых и робких, но знаменательных первых шагах, которые вывели меня на широкую дорогу, ведущую к вершине славы.

Об очень отдаленных предках распространяться излишне. Мой отец, Томас Там, эскв., в течение многих лет был самым известным в Фат-сити парикмахером — фирма «Томас Там и Ко». Его заведение служило прибежищем для знатных людей города, особенно журнальной братии — сословия, которое всем внушает глубокое почтение и страх. Что касается меня лично, я смотрел на представителей этого сословия как на богов и с жадностью впивал живительную влагу мудрости и остроумия, которая потоками лилась с их священных уст во время операции, именуемой «намыливанием». Появление у меня первой вспышки творческого вдохновения следует отнести к той достопамятной эпохе, когда знаменитый редактор «Слепня» в перерывах упомянутой выше знаменитой операции прочел конклаву наших подмастерьев неподражаемую поэму в честь «Настоящего брильянтина Тама» (названного так по имени его талантливого изобретателя, моего отца), за сочинение каковой был

вознагражден с королевской щедростью фирмой «Томас Там и Ко, парикмахеры».

Гениальные строфы во славу «Брильянтина Тама» впервые, говорю я, заронили во мне искру божию. Не долго думая, я решил стать великим человеком, а для начала — великим поэтом. В тот же вечер упал я перед отцом на колени.

— Отец, — сказал я, — прости меня! Но душа моя не приемлет мыльной пены. Я не хочу быть парикмахером. Я хочу стать редактором… хочу стать поэтом… хочу слагать стихи во славу «Брильянтина Тама». Прости меня и помоги стать великим!

— Дорогой мой Каквас, — отвечал отец (меня окрестили Каквасом в честь богатого родственника, носившего это прозвище), — мой дорогой Каквас, — сказал он, поднимая меня с пола за уши, — Каквас, дитя мое, ты славный малый и душой весь в отца. Голова у тебя огромная, и в ней должно быть много мозгов. Я давно это приметил и потому имел намерение сделать тебя адвокатом. Но адвокаты теперь не в моде, а профессия политика невыгодна. Словом, ты рассудил мудро, нет ничего лучше, чем ремесло редактора, а если ты станешь еще и поэтом, — ими, кстати, становится большинство редакторов, — ты сразу убьешь двух зайцев. Я поддержу тебя на первых порах. Я предоставлю в твое распоряжение чердак, дам перо, чернила, бумагу, словарь рифм и экземпляр «Слепня». Надеюсь, ты не станешь требовать большего?

— Я был бы неблагодарной свиньей, если б посмел, — с подъемом отвечал я. — Щедроты ваши беспредельны. Я отплачу вам тем, что сделаю вас отцом гения.

Так закончилась моя беседа с лучшим из людей, и сразу же по ее окончании я ревностно принялся сочинять стихи, так как на них главным образом основывал свои надежды воссесть со временем на редакторское кресло.

Первые пробы моего пера убедили меня, что строфы «Брильянтина Тама» служат мне скорее помехой, чем подспорьем. Их великолепие не столько просветляло, сколько ослепляло меня. Созерцание их совершенств и сопоставление с недоносками моего поэтического воображения повергало меня в уныние, и долгое время усилия мои оставались тщетными. Наконец меня осенила одна из тех неповторимо оригинальных идей, которые время от времени все же

озаряют ум гения. Вот ее сущность, точнее — вот как она была осуществлена. Роясь в старой книжной лавчонке, на глухой окраине города, я откопал среди хлама несколько древних, никому не известных или совершенно забытых книг. Букинист уступил мне их за бесценок. Из одной, по-видимому перевода «Ада» какого-то Данте, я с примерным усердием выписал большой отрывок о некоем Уголино[832], у которого была куча детей-сорванцов. Из другой, содержавшей множество старинных театральных пьес какого-то автора[833] (фамилию не помню), я тем же способом и о таким же тщанием извлек множество стихов о «неба серафимах», «блаженном духе», «демоне проклятом» и тому подобном. Из третьей, сочинения слепца[834], не то грека, не то чоктоса, — не стану же я утруждать себя запоминанием всякого пустяка, — я заимствовал около пятидесяти стихов о «гневе Ахиллеса», «приношениях» и еще кое о чем. Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом[835], я взял несколько страниц, где говорилось сплошь о «граде» и «свете небесном»; и, хотя не дело слепого писать о свете, стихи все же были недурны.

Сделав несколько тщательных копий, я под каждой поставил подпись «Оподельдок» (имя красивое и звучное) и послал, каждую в отдельном конверте, во все четыре ведущих наших журнала с просьбой поместить немедленно и не тянуть с выплатой гонорара. Однако результат этого столь хорошо продуманного плана (успех которого избавил бы меня от многих забот в дальнейшем) убедил меня, что не всякого редактора можно одурачить, и нанес coup de grace[836] (как говорят во Франции) по моим зарождающимся упованиям (как говорят на родине трансценденталистов[837]).

Словом, все журналы, все, как один, учинили мистеру «Оподельдоку» полный разгром в своих «Ежемесячных репликах корреспондентам». «Трамтарарам» отделал его таким манером:

> «Оподельдок (кто бы он ни был) прислал нам длинную тираду о сумасброде, названном Уголино, многодетном родителе, которому следовало драть своих сорванцов ремнем и отправлять их спать без ужина. Вся эта история не только банальна, но и скучна до зевоты. Оподельдок (кто бы он ни был) лишен всякого воображения, а воображение, по нашему скромному мнению, не только душа ПОЭЗИИ, но и сердце

ее. Оподельдок (кто бы он ни был) имеет наглость требовать, чтобы мы немедленно напечатали его чепуху и „не тянули с выплатой гонорара“. Мы не печатаем и не поднаем подобной галиматьи. Впрочем, можно не сомневаться, что всю ту дрянь, которую он способен намарать своим пером, охотно возьмут в редакциях „Горлодера“, „Сластены“ или „Абракадабры“».

Надо сказать, что с Оподельдоком обошлись слишком немилосердно, но обиднее всего было слово ПОЭЗИЯ, напечатанное крупным шрифтом. Сколько желчи было влито в эти шесть букв!

Не менее бесцеремонно отделали Оподельдока в «Горлодере», который писал так:

«Мы получили крайне странное и возмутительное послание от субъекта (кто бы он ни был), подписавшегося „Оподельдок“ и оскорбившего тем самым величие прославленного римского императора[838], носившего это имя. К письму Оподельдока приложены бессмысленные и омерзительные вирши о „неба серафимах“ и „демоне проклятом“, столь омерзительные, что их мог сочинить только сумасшедший вроде Оподельдока или Ната Ли[839]. И вот нас скромно просят выплатить гонорар за этот архивздор. Нет, сэр, увольте! За такую чепуху мы не платим. Обратитесь в „Трамтарарам“, „Сластену“ или в „Абракадабру“. Эти повременные издания охотно примут у вас всякую литературную дребедень и охотно пообещают заплатить за нее».

Бедному Оподельдоку крепко досталось; но в данном случае острие сатиры было обращено против «Трамтарарама», «Сластены» и «Абракадабры», которые язвительно — и к тому же курсивом — названы «повременными», что должно было поразить их в самое сердце.

Не менее взыскательным оказался «Сластена», который изъяснился так:

«Некий субъект, коему доставляет удовольствие называть себя „Оподельдоком“ (в сколь низменных целях употребляют порой имена прославленных мертвецов!), препроводил нам свои стишонки (строк пятьдесят-шестьдесят), начинающиеся таким манером:

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына[840],
Грозный, который ахеянам: тысячи бедствий соделал… — и т. д. и т. п.

Почтительно уведомляем Оподельдока (кто бы он ни был), что самый захудалый наборщик нашей типографии сочиняет куплетики получше этих. Оподельдок не в ладу с размером. Ему надо научиться подсчитывать слоги. И как ему пришло в голову, что мы (никто другой, а именно мы!) решимся осквернить страницы нашего журнала такой беспардонной чепухой, — уму непостижимо. По совести сказать, вся эта белиберда едва-едва подойдет для „Трамтарарама“, „Горлодера“, „Абракадабры“ — органов печати, которые без зазрения совести публикуют „Напевы Матушки-Гусыни“[841] как оригинальное лирическое произведение. И Оподельдок еще имеет наглость требовать гонорар за свою галиматью! Да понимает ли Оподельдок (кто бы он ни был) в состоянии ли он понять, что, озолоти он нас, мы не станем его печатать!»

Вчитываясь в эти строки, я чувствовал, как становлюсь все меньше и меньше; когда же я увидел, с каким презрением редактор называет мое произведение «стишонками», весу во мне осталось не более унции. И мне стало искренне жаль беднягу Оподельдока. Но «Абракадабра» оказалось, если это возможно, еще менее снисходительной, чем «Сластена». Именно «Абракадабра» писала:

«Жалкий стихоблуд, подписывающийся „Оподельдоком“, настолько глуп, что вообразил, будто МЫ поместим и оплатим бессмысленную, безграмотную и выспреннюю белиберду, которую он прислал нам и представление о которой можно составить по следующим хоть сколько-нибудь вразумительным строкам:

О, свет небес, их отпрыск первородный, Священный град…[842]

„Хоть сколько-нибудь вразумительным“, говорим МЫ. Не будет ли Оподельдок (кто бы он ни был) столь любезен разъяснить вам, каким это образом „град“ может быть „священным“? До сих пор мы полагали, что град — это замерзший дождь. Не сообщит ли он вместе с тем, каким образом замерзший дождь может быть одновременно „священным градом“ (оставим это выражение на совести автора) и „отпрыском“, — ибо последним термином (если мы хоть чуточку смыслим в английском языке) обозначают только грудных младенцев в пределах шестинедельного возраста. Не стоит и обсуждать подобную нелепость. А вот Оподельдок (кто бы он ни был) с беспримерным нахальством полагает, что мы не только поместим его напыщенный вздор, но и (он так и пишет, черным по белому) выплатим за него гонорар!

Прелестно, не правда ли? Бесподобно! Мы не прочь проучить этого новоиспеченного строчкогона за его самомнение, действительно опубликовав его поэтические излияния verbatim et literatim[843] так, как они вышли из-под его пера. Мы не знаем худшего наказания, и мы применили бы его, если б не боялись наскучить нашим читателям.

Рекомендуем Оподельдоку (кто бы он ни был) посылать свои будущие произведения, написанные в том же духе в „Трамтарарам“, в „Сластену“ или в „Горлодер“. Эти напечатают. Эти ежемесячно печатают такую же дрянь. Посылайте им. МЫ же не позволим безнаказанно оскорблять себя».

Этот отзыв доконал меня; что до «Трамтарарама», «Горлодера» я «Сластены», то я не могу себе представить, как они это вынесли. Их тиснули мельчайшим миньоном (ядовитый намек: вот, мол, какие вы маленькие и подленькие), а «МЫ» взирали на них с высоты гигантских прописных!.. О, это убийственно!.. Им плевали в лицо, их втаптывали в грязь! Будь я на месте любого из этих журналов, я бы не пожалел сил — уж я бы посадил «Абракадабру» на скамью подсудимых, я бы

подвел ее под статью закона «Об охране животных от жестокого обращения»! Что до Оподельдока (кто бы он ни был), то этот субъект окончательно вывел меня из терпения и больше не вызывал у меня сочувствия. Он остался в дураках (кто бы он ни был) и получил пинков ровно столько, сколько засиживал.

Результат моих опытов с древними книгами убедил меня, во-первых, в том, что «честность — лучшая политика» и, во-вторых, что если мне не удалось написать стихи удачнее мистера Данте, обоих слепцов и других представителей допотопной литературной братии, то хуже их писать невозможно. Я собрался с духом и решил сочинить нечто «совершенно оригинальное» (как пишут на обложках журналов), каких бы трудов мне это ни стоило. За образец я снова взял великолепные строфы редактора «Слепня», написанные в честь «Брильянтина Тама», и, воспылав духом соперничества, решился создать оду на ту же возвышенную тему. Первая строка не вызвала серьезных затруднений. Вот она:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»…

Однако, внимательно просмотрев в справочнике все общеупотребительные рифмы к «Там», я убедился в тщетности дальнейших попыток. Тогда я прибег к родительской помощи, и соединенными усилиями нашей мысли спустя несколько часов мы с отцом сочинили стихотворение:

Писать стихи о «Брильянтине Тама»… —
Нелегкий труд, скажу вам прямо.
Точка (стоп).
(Подпись) — Сноб.

Конечно, опус этот не был слишком пространным, но «пора понять», как сказано в «Эдинбургском обозрении»[844], что достоинство литературного произведения не определяется его размером. Что касается требования «Ежеквартального обозрения»[845] «много и упорно учиться», то смысл его туманен. В общем, я был доволен первой пробой пера, и возникал только вопрос о том, куда бы ее пристроить. Отец советовал послать стихи в «Слепень», но два

обстоятельства побудили меня отклонить его предложение: я опасался вызвать у редактора зависть и к тому же мне было известно, что он не склонен платить за оригинальные произведения. Тщательно все взвесив, я предназначил мои стихи для страниц «Сластены», журнала более солидного, и стал с нетерпением, но покорный судьбе ждать дальнейшего развития событий. В следующем же номере я с радостью увидел мое стихотворение на первой странице, оно было опубликовано полностью в сопровождении следующих примечательных слов, напечатанных курсивом и в скобках:

> (Обращаем внимание наших читателей на публикуемые ниже восхитительные стансы «Брильянтин Тама». Нет нужды говорить о их великолепии и пафосе; их невозможно читать без слез. Тем, кто с отвращением вспоминает снотворные строки, написанные на ту же возвышенную тему грязной лапой редактора «Слепня», рекомендуем сравнить оба эти произведения.
>
> P.S. Сгораем от нетерпения разгадать тайну, которую скрывает псевдоним «Сноб». Можем ли мы надеяться побеседовать с автором лично?)

Все это нисколько не расходилось с истиной, но, признаюсь, несколько превзошло мои ожидания, — пусть былое непонимание ляжет вечным позором на мою родину и человечество. Однако я, не теряя времени даром, отправился к редактору «Сластены» и, к великому моему счастью, застал этого джентльмена дома. Он приветствовал меня с искренней почтительностью, в которой сквозило отеческое и покровительственное восхищение, вызванное, конечно, моим крайне юным и беспомощным видом. Пригласив меня сесть, он сразу же заговорил о моем стихотворении, но скромность да не позволит мне повторить те тысячи комплиментов, которые он расточал. Впрочем, похвалы мистера Краба (такова была фамилия редактора) отнюдь не являлись набором льстивых фраз. Он разобрал мое произведение с полной непринужденностью и знанием дела, смело указав мне на ряд ничтожных погрешностей, что высоко подняло его в моих глазах. Разумеется, речь зашла о «Слепне», и, надеюсь, я никогда не навлеку на себя столь взыскательной критики и

столь ядовитых насмешек, какими мистер Краб осыпал это злополучное издание. Я привык считать редактора «Слепня» чуть ли не сверхчеловеком, но мистер Краб рассеял мое заблуждение. Он обрисовал литературную и приватную жизнь «Кровососной мухи» (так язвительно назвал мистер Краб редактора «Слепня», своего конкурента) в их истинном свете. Он, «Кровососная муха», дрянь, каких мало. Он прескверный сочинитель. Продажный писака и фигляр. Мерзавец. Он написал трагедию — и вся страна хохотала до упаду, написал фарс — и вселенная залилась слезами. А кроме того, он не погнушался настрочить на него (мистера Краба) пасквиль и обозвать его «ослом». Если же я пожелаю высказать свое мнение о мистере «Кровососной мухе», страницы «Сластены», заверил меня мистер Краб, всегда в полном моем распоряжении. Тем временем, поскольку «Слепень» не преминет обрушиться на меня за мою попытку соперничать с автором «Брильянтина Тама», он (мистер Краб) берет непосредственно на себя защиту моих личных и прочих интересов. И если я в два счета не выйду в люди, то не по его (мистера Краба) вине.

Мистер Краб прервал на секунду свою речь (последнюю ее часть я никак не мог понять), и я осмелился намекнуть на гонорар, который ожидал полнить за свои стихи, согласно объявлению на обложке «Сластены», гласившему, что он («Сластена») щедро оплачивает все принятые материалы, нередко тратя на одно маленькое стихотворение сумму, превышающую годовой расход «Трамтарарама», «Горлодера» и «Абракадабры» вместе взятых.

Едва я произнес слово «гонорар», мистер Краб широко раскрыл глаза, затем рот, напомнив своим видом испуганную старую утку, которая тщетно силится крякнуть. В таком виде он пребывал (то и дело хватаясь за голову, словно в крайней растерянности), пока я не выложил ему почти все, что хотел сказать.

Когда я умолк, он в изнеможении откинулся на спинку кресла, беспомощно опустив руки, но все так же по-утиному разинув рот, Я молчал, озадаченный столь необычным поведением. Вдруг он вскочил и потянулся к звонку, но, коснувшись его, видимо, изменил свое намерение, каково бы оно ни было, нырнул под стол и тут же вылез, держа в руках дубинку. Поднял ее (затрудняюсь сказать, с какой целью), однако в тот же миг кроткая улыбка осветила его лицо, и он спокойно опустился в кресло.

— Мистер Там, — сказал он (я заранее послал ему визитную карточку), — мистер Там, вы ведь молоды, даже очень?

Я согласился, присовокупив, что еще не достиг совершеннолетия.

— Ах, вот как! — сказал он. — Очень хорошо? Все понятно без слов! Вас интересует вопрос о компенсации, это естественно… можно сказать, вполне и безусловно. Но гм… э… э… первое выступление в печати… первое, говорю я… и не в обычае нашего журнала платить за… понимаете, а? Дело в том, что в подобных обстоятельствах обыкновенно мы оказываемся получателями. (Мистер Краб ласково улыбнулся, сделав ударение на слове «получатели».) В большинстве случаев нам платят за то, что мы помещаем первую пробу пера… особенно если это стихи. Во-вторых, мистер Там, мы придерживаемся правила никогда не платить тем, что во Франции называют argent comptaiit[846], — вы понимаете, конечно. Спустя три — шесть месяцев после публикации… или через годик-два… мы не против того, чтобы выдать обязательство сроком на девять месяцев, если твердо знаем, что «погорим» через полгода. Я уверен, мистер Там, что мои разъяснения вполне удовлетворят вас.

Мистер Краб умолк, и на его глазах выступили слезы.

Огорченный до глубины души тем, что явился, пусть невольно, причиной страданий столь замечательного и столь отзывчивого человека, я поспешил извиниться и успокоить его, заверив в полном совпадении наших взглядов и в моем полном понимании деликатности его положения. Изложив все это изящным слогом, я удалился.

В одно прекрасное утро, вскоре после этого, «я проснулся и узнал, что я знаменит»[847]. О степени моей славы лучше всего судить по отзывам печати того дня. Эти отзывы, как будет видно дальше, представляют собой критические заметки о номере «Сластены» с моими стихами и являются вполне убедительными, исчерпывающими и ясными, за исключением, пожалуй, иероглифической подписи «Sep. 15 — It»[848] — в конце каждой заметки.

«Олух», журнал необычайно разборчивый, известный трезвостью литературных оценок, «Олух», говорю я, высказался так:

> «„Сластена“! Октябрьский номер этого прелестного журнала превосходит все предшествующие и стоит вне конкурса. Великолепием печати и бумаги, количеством и

совершенством иллюстраций, литературными достоинствами опубликованных в номере материалов „Сластена“ так же похож на своих старомодных конкурентов, как Гиперион[849] на сатира. Правда, „Трамтарарам“, „Горлодер“ и „Абракадабра“ превосходят его своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам „Сластену“! Как этот прославленный журнал выдерживает такие громадные расходы, остается для нас загадкой. Верно, его тираж равен 100 000 экземпляров и число его подписчиков за последний месяц увеличилось на одну четверть; по, с другой стороны, он выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Говорят, что мистер Плутосел получил не менее тридцати семи с половиной центов за свою неподражаемую статью „О свиньях“. С таким редактором, как мистер Краб, и с такими именами в списке сотрудников, как Сноб и Плутосел, успех „Сластены“ обеспечен. Идите и подпишитесь. Sep. 15 — It».

Признаюсь, я был польщен этим восторженным отзывом со стороны столь почтенного органа, как «Олух». Поместив мое имя, то есть мой nom de guerre[850] перед великим Плутослом, он оказал мне любезность, весьма приятную и вполне заслуженную.

Затем мое внимание привлекли следующие строки в «Гадине» — журнале, знаменитом своей прямотой и свободой… полной свободой: льстить и раболепствовать перед теми, кто дает званые обеды:

> «Октябрьская книжка „Сластены“ появилась ранее всех других журналов и бесконечно превосходит их роскошью оформления и богатством содержания. Мы допускаем, что „Трамтарарам“, „Горлодер“ и „Абракадабра“ выделяются своим бахвальством, но во всем остальном — подавайте нам „Сластену“! Как этот прославленный журнал выдерживает столь непомерные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 200 000 экземпляров, и за последние две недели число его подписчиков увеличилось на одну треть, но, с другой стороны, он ежемесячно выплачивает своим авторам баснословные гонорары. Нам известно, что мистер

> Пустомеля получил не менее пятидесяти центов за свою последнюю „Монодию в грязной луже“. Среди литераторов, поместивших в этом номере свои произведения, мы видим (кроме его выдающегося редактора) такие имена, как Сноб, Плутосел и Пустомеля. И все же, думается нам, наиболее значительным произведением в номере, не считая примечаний от редакции, является поэтическая жемчужина Сноба „Брильянтин Тама“, — пусть наши читатели не судят по заглавию, будто этот несравненный bijou[851] имеет сходство с галиматьей, написанной на ту же тему презренным субъектом, самое имя которого невыносимо для слуха уважающего себя человека. Подлинные стихи о „Брильянтине Тама“ возбудили всеобщее любопытство и страстное желание узнать, кто же скрывается под псевдонимом „Сноб“, желание, которое мы в силах удовлетворить. „Сноб“ — nom de plume[852] Какваса Тама, уроженца нашего города, родственника великого мистера Какваса (в честь которого он и назван), связанного различными нитями с самыми знатными семьями штата. Его отец, Томас Там, эскв., богатый коммерсант в Фат-сити. Sep. 15 — It».

Эта великодушная оценка тронула меня до глубины души, особенно потому, что исходила от столь светлого, кристально чистого источника, как «Гадина». Слово «галиматья» в применении к «Брильянтину Тама», опубликованному в «Кровососной мухе», я нашел как нельзя более уместным и выразительным. В то же время слова «жемчужина» и «bijou», примененные к моему произведению, показались мне несколько бесцветными. Им не хватало экспрессии. Они были недостаточно prononces[853] (как говорят во Франции).

Едва я кончил читать «Гадину», как мой друг сунул мне в руку экземпляр «Крота» — журнала, пользовавшегося высокой репутацией благодаря проницательности своих суждений вообще и откровенному, честному и беспристрастному тону передовиц в особенности. «Крот» отзывался о «Сластене» так:

«Мы только что получили октябрьскую книжку „Сластены“ и должны заявить, что никогда при чтении нами периодических изданий ни один номер не доставлял нам столь изысканного наслаждения. Мы не зря говорим об этом. „Трамтарараму“, „Горлодеру“ и „Абракадабре“ не мешает присматривать за своими лаврами. Спору нет, эти издания превосходят всех и вся крикливой заносчивостью, но в остальном — подавайте нам „Сластену“! Как удается этому прославленному журналу выдерживать столь чудовищные расходы, остается для нас загадкой. Правда, его тираж 300 000 экземпляров и за последнюю неделю число его подписчиков возросло наполовину, но суммы, которые он ежемесячно выплачивает авторам, все же баснословно велики. Нам известно из достоверных источников, что мистер Пустомеля получил не менее шестидесяти двух с половиной центов за свою последнюю повесть из семейной жизни „Кухонное полотенце“.

Лежащий перед нами номер украшают произведения мистера Краба (выдающегося редактора). Сноба, Плутосла, Пустомели и других; но после неподражаемых творений самого редактора мы особое предпочтение отдаем поэтическому алмазу, граненному пером восходящего таланта, подписывающегося „Сноб“ — nom de guerre, — он вскоре, мы это предсказываем, затмит славу „Боза“[854]. Под „Снобом“, как нам известно, скрывается мистер Каквас Там, единственный наследник богатого местного коммерсанта Томаса Тама, эскв., и близкий родственник знаменитого мистера Какваса. Прелестное стихотворение мистера Тама озаглавлено „Брильянтин Тама“, — заглавие, кстати сказать, не совсем удачное, так как некий пройдоха, связанный с продажной прессой, уже вызвал к нему отвращение всего города, написав изрядную порцию белиберды на ту же тему. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-нибудь спутал эти два произведения. Sep. 15 — It».

Благосклонное одобрение такого проницательного журнала, как «Крот», наполнило мою душу восторгом. Единственное возникшее у

меня возражение сводилось к тому, что лучше было бы написать не «пройдоха», а «гнусный и презренный злодей, мерзавец и пройдоха». Это, на мой взгляд, звучало бы более изыскание. Следует также признать, что выражение «поэтический алмаз» едва ли обладает достаточной силой, чтобы передать то, что «Крот» хотел сказать о великолепии «Брильянтина Тама».

Вечером того же дня, после того, как я прочел отзывы «Олуха», «Гадины» и «Крота», мне попался экземпляр «Долгоножки», журнала, известного широтой своих взглядов. Именно «Долгоножка» писала:

> «„Сластена“! Читатель уже держит в руках октябрьскую книжку этого роскошного журнала. Спор о превосходстве решен окончательно, и отныне было бы абсурдом со стороны „Трамтарарама“, „Горлодера“ или „Абракадабры“ делать судорожные попытки завоевать первенство. Эти журналы превосходят „Сластену“ нахальством, но во всем остальном — подавайте нам „Сластену“! Как этот прославленный журнал выдерживает явно непомерные расходы, остается загадкой. Правда, его тираж достигает почти 500 000 экземпляров, и за последние два дня число его подписчиков возросло на семьдесят шесть процентов, но вместе с тем суммы, ежемесячно выплачиваемые журналом своим авторам, баснословно велики. Нам известно, что мадемуазель Плагиатон получила не менее восьмидесяти семи с половиной центов за свой превосходный р-революционный рассказ „В Йорке бродит черный кот, в Нью-Йорке — наоборот“.
>
> В настоящем номере наиболее талантливые материалы принадлежат, разумеется, перу редактора (достопочтенному мистеру Крабу), но в нем немало великолепных произведений и таких авторов, как Сноб, мадемуазель Плагиатон, Плутосел, миссис Фальшивочка, Пустомеля, миссис Пасквилянтка, наконец, последний в списке, но не из последних — Шарлатан. Мир еще не знал столь бесценной плеяды гениев.
>
> Стихотворение за подписью „Сноб“ справедливо вызывает всеобщий восторг и, по нашему мнению,

заслуживает еще больших похвал.

„Брильянтин Тама“ — так называется этот шедевр красноречия и мастерства. Кое у кого из наших читателей может возникнуть смутное, но достаточно неприятное воспоминание о стихотворении (?) с таким же названием, подлой стряпне продажного писаки, побирушки и головореза, находящего применение своей способности плодить мерзости и кровно связанного, как мы полагаем, с одним из непристойных изданий, выпускаемых в черте нашего города; мы просим читателей, ради всего святого, не путать эти два произведения. Автором „Брильянтина Тама“ является, насколько нам известно, Каквас Там, эскв., джентльмен, одаренный гением, и ученый. „Сноб“ — всего лишь пот de guerre. Sep. 15 — It».

Я едва сдерживал негодование, читая заключительные строки диатрибы[855]. Для меня было ясно, что уклончивая, чтобы не сказать, уступчивая, манера выражаться… намеренная снисходительность, с какой «Долгоножка» разглагольствовала об этой свинье, редакторе «Слепня», — для меня, я подчеркиваю, было очевидно, что мягкость выражении вызвана не чем иным, как пристрастным отношением к «Слепню», явным стремлением «Долгоножки» поддержать за мой счет его репутацию. В самом деле, всякий легко может убедиться, что если бы «Долгоножка» действительно хотела сказать все, как есть, а не делала вид, то она («Долгоножка») могла подобрать выражения более решительные, резкие и гораздо более подходящие к случаю. Слова и выражения «продажный писака», «побирушка», «плодить мерзости», «головорез» столь (не без умысла) бесцветны и неопределенны, что лучше бы вовсе ничего не говорить об авторе гнуснейших стихов, когда-либо написанных представителем рода человеческого. Все мы отлично знаем, как можно изругать, слегка похвалив, и, наоборот, кто усомнится в тайном намерении «Долгоножки» слегка поругать, чтобы прославить.

Мне, собственно, было наплевать на то, что «Долгоножка» болтает о «Слепне». Но тут речь шла обо мне. После возвышенного тона, в каком «Олух», «Гадина» и «Крот» высказались о моих способностях, слишком уж безучастно звучали слова захудалой

«Долгоножки»: «джентльмен, одаренный гением, и ученый». Джентльмен — и это точно! И я тут же решил добиться от «Долгоножки» письменного извинения или вызвать ее на дуэль.

Поглощенный этой задачей, я стал думать, кого из друзей направить с поручением к «досточтимой» «Долгоножке», и, поскольку редактор «Сластены» выказывал мне явные знаки расположения, я в конце концов решился прибегнуть к его помощи.

До сих пор не могу найти удовлетворительного объяснения весьма странному выражению лица и жестам, с которыми мистер Краб слушал меня, пока я излагал ему свой план. Он повторил сцену со звонком и дубинкой и не преминул по-утиному раскрыть рот. Был такой момент, когда мне казалось, что он вот-вот крякнет. Но припадок прошел, как и в тот раз, и он начал говорить и действовать, как разумное существо. Однако он отказался выполнить поручение и убедил меня вовсе не посылать вызов, хотя и признал, что ошибка «Долгоножки» возмутительна, особенно же неуместны слова «джентльмен» и «ученый».

В конце беседы мистер Краб, выказывая, по-видимому, чисто отеческую заботу о моем благополучии заявил, что я могу хорошо подработать и в то же время упрочить свою репутацию, если соглашусь иногда исполнять для «Сластены» роль Томаса Гавка.

Я попросил мистера Краба объяснить мне, кто такой мистер Томас Гавк и что от меня требуется, чтобы исполнить его роль.

Тут мистер Краб снова «сделал большие глаза» (как говорят в Германии), но, оправившись в конце концов от приступа изумления, пояснил, что слова «Томас Гавк» он употребил, дабы избежать просторечного и вульгарного «Томми», а вообще-то следует говорить Томми Гавк или Томагавк, и что «исполнять роль томагавка» — значит разносить, запугивать, словом, всячески изничтожать свору неугодных нам авторов.

Я заверил моего патрона, что если в этом все дело, то я с готовностью возьму на себя роль Томаса Гавка. Тогда мистер Краб предложил мне не терять времени и для пробы сил разделать редактора «Слепня» со всей злостью, на какую я только способен. И я тут же, не покидая редакции, выполнил это поручение, написав рецензию на оригинальный текст «Брильянтина Тама», которая заняла тридцать шесть страниц «Сластены». Я убедился, что исполнять роль

Томаса Гавка куда легче, чем писать стихи; я строго следовал определенной системе, поэтому мне было нетрудно обстоятельно и со вкусом делать свое дело. Работал я так. Я приобрел на аукционе (по дешевке) «Речи» лорда Брума[856], Полное собрание сочинений Коббета[857], «Новый словарь вульгаризмов», «Искусство посрамлять» (полный курс), «Самоучитель площадной брани» (ин-фолио) и «Льюис Г. Кларк[858] о языке». Эти труды я основательно изодрал скребницей, затем, бросив клочки в сито, тщательно отсеял все мало-мальски пристойное (сущий пустяк), а крепкие выражения запихнул в большую оловянную перечницу с продольными дырками, в них фразы проходили целиком и без задержки. Смесь была готова к употреблению. Когда требовалось исполнить роль Томаса Гавка, я смазывал лист писчей бумаги белком гусиного яйца, затем, изодрав предназначенное к разбору произведение тем же способом, каким я раздирал книги, только более осторожно, чтобы на каждом клочке осталось по слову, я бросал их в ту же перечницу, завинчивал крышку, встряхивал и высыпал всю смесь на смазанный белком лист, к которому она мгновенно прилипала. Эффект получался изумительный. Просто сердце радовалось! Прямо скажу, никому не удавалось создать что-либо, хотя бы близко напоминающее мои рецензии, которые я изготовлял таким простым способом на удивление всему миру. Правда, первое время меня несколько смущала — вследствие застенчивости, вызванной неопытностью, — некоторая бессвязность, какой-то оттенок bizarre (как говорят во Франции), присущий моим рецензиям в целом. Все фразы вставали не на свое место (как говорят англосаксы). Многие строились шиворот-навыворот, иные даже вверх ногами, и не было ни одной, которая от этой путаницы не утратила бы в какой-то степени своего смысла. Только изречения мистера Льюиса Кларка оказались столь категорическими и стойкими, что, по-видимому, не смущались самыми необычными положениями и выглядели одинаково довольными и веселыми, — стояли они вверх или вниз ногами.

Трудно сказать, какая судьба постигла редактора «Слепня» по напечатании моей рецензии на его «Брильянтин Тама». Вероятнее всего, он умер, изойдя слезами. Во всяком случае, он мгновенно исчез с лица земли, и с тех пор даже призрака его никто не видел.

С этим делом было покончено, фурии умиротворены, и я сразу завоевал особую благосклонность мистера Краба. Он доверил мне

свои тайны, определил меня в «Сластене» на постоянную должность Томаса Гавка и, не имея пока возможности назначить мне содержание, разрешил широко пользоваться его советами.

— Дорогой мой Каквас, — сказал он мне однажды после обеда. — Я ценю ваши способности и люблю вас, как сына. Вы станете моим наследником. После смерти я откажу вам «Сластену». А пока я сделаю из вас человека… сделаю… только слушайтесь моих советов. Прежде всего надо избавиться от этого старого кабана.

— Кабана? — с любопытством спросил я. — Свиньи, да?.. арег[859] (как говорят по-латыни)?.. где свинья?.. кто свинья?..

— Ваш отец, — отвечал он.

— Совершенно верно, — сказал я. — Свинья.

— Вам надо сделать карьеру, Каквас, — продолжал мистер Краб, — а этот ваш наставник висит у вас словно жернов на шее. Нам надо его отсечь. (Тут я вынул нож.) Нам надо отсечь его, — продолжал мистер Краб, — раз и навсегда. Он нам ни к чему… ни к чему. Дайте ему пинка или поколотите палкой, — словом, сделайте что-нибудь в этом роде.

— А что вы скажете, — вкрадчиво вставил я, — если я сначала дам ему пинка, потом поколочу палкой и приведу в себя, дернув за нос?

Мистер Краб задумчиво посмотрел па меня и ответил:

— Я нахожу, мистер Там, то, что вы предлагаете, очень удачным… это замечательно, так сказать, само по себе… Но парикмахеры народ бывалый, и, учитывая все «за» и «против», я полагаю, что после того, как вы проделаете над мистером Томасом Тамом намечаемые вами операции, не плохо бы подбить ему кулаком оба глаза, да так, чтобы он закаялся следить за вами на увеселительных прогулках. Вот тогда, мне кажется, с вашей стороны будет сделано все возможное. Впрочем, не мешало бы искупать его разок-другой в сточной канаве и передать в руки полиции. На следующее утро вы в любой час можете явиться в полицейский участок и заявить под присягой, что на вас было совершено нападение.

Я был весьма тронут добрыми чувствами, побудившими мистера Краба дать мне такой превосходный совет, и не замедлил воспользоваться им. В итоге я избавился от старого кабана, почувствовал себя джентльменом и вздохнул свободно. Правда,

нехватка денег служила некоторое время для меня источником неудобств, но в конце концов, посмотрев повнимательнее в оба и увидев, что творится у меня под самым носом, я понял, как уладить такую вещь.

Прошу учесть: я сказал «вещь», потому что по-латыни, насколько известно, «вещь» значит — res. Кстати, относительно латыни: пусть-ка кто-нибудь скажет мне, что значит quocunque[860] или что такое modo?[861]

План мой был чрезвычайно прост. Я купил за бесценок шестнадцатую долю «Зубастой черепахи» — вот и все. Дело было сделано, и я положил денежки в карман. Конечно, надо было уладить еще кое-какие пустяки, не предусмотренные планом. Но оно уж явилось следствием… результатом. Например, я обзавелся пером, чернилами и бумагой и пустил их в оборот с бешеной энергией. Написав журнальную статью, я озаглавил ее «Чик-чирик» автора «Брильянтина Тама» и послал в «Абракадабру». Однако в «Ежемесячных репликах корреспондентам» мою статью назвали «пустой болтовней»; тогда я переменил заглавие на «Кукареку» Какваса Тама, эскв., автора оды в честь «Брильянтина Тама» и редактора «Зубастой черепахи». С этой поправкой я снова отправил статью в «Абракадабру», а в ожидании ответа ежедневно печатал в «Черепахе» по шести столбцов философических, можно сказать, размышлений о литературных достоинствах журнала «Абракадабра» и личных качествах его редактора. Спустя несколько дней «Абракадабра» убедилась, что произошла досадная ошибка: она спутала глупейшую статью «Кукареку», написанную каким-то безвестным невеждой, с драгоценной жемчужиной под тем же заглавием, творением Какваса Тама, эскв., знаменитого автора «Брильянтина Тама». «Абракадабра» выразила «глубокое сожаление по поводу вполне понятного недоразумения» и, кроме того, обещала поместить подлинник «Кукареку» в очередном номере журнала.

Без сомнения, я так и думал… Я, право же, думал… думал в то время… думал потом… и не имею никаких оснований думать иначе теперь, что «Абракадабра» действительно ошиблась. Я не знаю никого, кто бы с наилучшими намерениями делал так много самых невероятных ошибок, как «Абракадабра». С этого дня я почувствовал симпатию к «Абракадабре», вследствие чего вскоре смог уяснить

подлинное значение ее литературных достоинств и не терял случая поговорить о них в «Черепахе». И, представьте, странное совпадение, одно из тех воистину поразительных совпадений, которые наводят человека на серьезное раздумье: точно такой же коренной переворот во мнениях, точно такое же решительное bouleversement[862] (как говорят французы), точно такой же всеобъемлющий шиворот-навыворот (позволю себе употребить это довольно сильное выражение, заимствованное у племени чоктосов), какой совершился pro et contra[863] между мной, с одной стороны, и «Абракадаброй» — с другой, снова имел место при таких те обстоятельствах немного спустя в моих отношениях с «Горлодером» и «Трамтарарамом».

Так, одним гениальным ходом, я одержал полную победу — «набил потуже кошелек»[864] и, можно сказать, уверенно и честно начал блестящую и бурную карьеру, которая сделала меня знаменитым и сейчас позволяет мне сказать вместе с Шатобрианом: «Я делал историю» — «J'ai fait l'histoire».

Да, я делал историю. С того славного времени, о котором я повествую, мои дела, мои труды являются достоянием человечества. Они известны всему миру. Поэтому нет необходимости подробно описывать, как, стремительно возвышаясь, я унаследовал «Сластену», как я слил этот журнал с «Трамтарарамом», как потом приобрел «Горлодера» и как, наконец, заключил сделку с последним из оставшихся конкурентов и объединил всю литературу страны в одном великолепном всемирно известном журнале:

«ГОРЛОДЕР, СЛАСТЕНА, ТРАМТАРАРАМ И АБРАКАДАБРА»

Да, я делал историю. Я достиг мировой славы. Нет такого уголка земли, где бы имя мое не было известно. Возьмите любую газету, и вы непременно столкнетесь с бессмертным Каквасом Тамом: мистер Каквас Там сказал то-то, мистер Каквас Там написал то-то, мистер Каквас Там сделал то-то. Но я скромен и покидаю мир со смирением. В конце концов, что такое то неизъяснимое, что люди называют «гением»? Я согласен с Бюффоном…[865] с Хогартом…[866] в сущности говоря, «гений» — это усердие.

Посмотрите на меня!.. Как я работал… как я трудился… как я писал! О боги, разве я не писал! Я не знал, что такое досуг. Днем я сидел за столом, наступала ночь, и я — несчастный труженик — зажигал полуночную лампаду. Надо было видеть меня. Я наклонялся вправо. Я наклонялся влево. Я сидел прямо. Я откидывался на спинку кресла. Я сидел tete baissee[867] (как говорят на языке кикапу), склонив голову к белой, как алебастр, странице. И во всех положениях я… писал. И в горе и в радости я… писал. И в холоде и в голоде я… писал. И в солнечный день, и в дождливый день, и в лунную ночь, и в темную ночь я… писал. Что я писал — это не важно. Как я писал — стиль, — вот в чем соль. Я перенял его у Шарлатана… бамм!.. дзинь! Тарараххх!!! — и предлагаю вам его образчик.

Декабрь, 1844

пер. М. Урнова

Похищенное письмо

Nil sapientiae odiosius acumine nimio.

Seneca[868]

Как-то в Париже, в ветреный вечер осенью 18… года, когда уже совсем смерклось, я предавался двойному наслаждению, которое дарит нам сочетание размышлений с пенковой трубкой, в обществе моего друга С. — Огюста Дюпена в его маленькой библиотеке, а вернее, кабинете an troisieme, N 33 Rue Dunot, Faubourg St. Germain[869]. Более часа мы просидели, храня нерушимое молчание, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что и я, и мой друг всего лишь сосредоточенно и бездумно следим за клубами дыма, заполнившего комнату. Однако я продолжал мысленно обсуждать события, служившие темой беседы, которую мы вели в начале вечера, — я имею в виду происшествие на улице Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Вот почему, когда дверь распахнулась и в библиотеку вошел наш старый знакомый, мосье Г., префект парижской полиции, это представилось мне любопытным совпадением.

Мы сердечно его приветствовали, потому что дурные качества этого человека почти уравновешивались многими занятными чертами, а к тому же мы не виделись с ним уже несколько лет. Перед его приходом мы сумерничали, и теперь Дюпен встал, намереваясь зажечь лампу, но он тут же вновь опустился в свое кресло, когда Г. сказал, что пришел посоветоваться с нами — а вернее, с моим другом — о деле государственной важности, которое уже доставило ему много неприятных хлопот.

— Если оно требует обдумывания, — пояснил Дюпен, отнимая руку, уже протянутую к фитилю лампы, — то предпочтительнее будет ознакомиться с ним в темноте.

— Еще одна из ваших причуд! — сказал префект, имевший манеру называть «причудами» все, что превосходило его понимание, а потому живший поистине среди легиона «причудливостей».

— Совершенно справедливо, — ответил Дюпен, предлагая гостю трубку и придвигая ему удобное кресло.

— Но какая беда случилась на сей раз? — спросил я. — Надеюсь, это не еще одно убийство?

— О нет! Ничего подобного. Собственно говоря, дело это чрезвычайно простое, и я не сомневаюсь, что мы и сами с ним превосходно справимся, но мне пришло в голову, что Дюпену, пожалуй, будет любопытно выслушать его подробности — ведь оно такое причудливое.

— Простое и причудливое, — сказал Дюпен.

— Э… да. Впрочем, не совсем. Собственно говоря, мы все в большом недоумении, потому что дело это на редкость просто, и тем не менее оно ставит нас в совершенный тупик.

— Быть может, именно простота случившегося и сбивает вас с толку, — сказал мой друг.

— Ну, какой вздор вы изволите говорить! — ответил префект, смеясь от души.

— Быть может, тайна чуть-чуть слишком прозрачна, — сказал Дюпен.

— Бог мой! Что за идея!

— Чуть-чуть слишком очевидна.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — загремел наш гость, которого эти слова чрезвычайно позабавили. — Ах, Дюпен, вы меня когда-нибудь уморите!

— Но все-таки что это за дело? — спросил я.

— Я сейчас вам расскажу, — ответил префект, задумчиво выпуская изо рта длинную ровную струю дыма, и устроился в кресле поудобнее. — Я изложу его вам в нескольких словах, но прежде я хотел бы предупредить вас, что это дело необходимо хранить в строжайшем секрете и что я почти наверное лишусь своей нынешней должности, если станет известно, что я кому-либо о нем рассказывал.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или не продолжайте, — сказал Дюпен.

— Ну так вот: мне было сообщено из весьма высоких сфер, что из королевских апартаментов был похищен некий документ величайшей важности. Похититель известен. Тут не может быть ни малейшего

сомнения: видели, как он брал документ. Кроме того, известно, что документ все еще находится у него.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это вытекает, — ответил префект, — из самой природы документа и из отсутствия неких последствий, которые неминуемо возникли бы, если бы он больше не находился у похитителя — то есть если бы похититель воспользовался им так, как он, несомненно, намерен им в конце концов воспользоваться.

— Говорите пояснее, — попросил я.

— Ну, я рискну сказать, что документ наделяет того, кто им владеет, определенной властью но отношению к определенным сферам, каковая власть просто не имеет цены. — Префект обожал дипломатическую высокопарность.

— Но я все-таки не вполне понял, — сказал Дюпен.

— Да? Ну, хорошо: передача этого документа третьему лицу, которое останется неназванным, поставит под угрозу честь весьма высокой особы, и благодаря этому обстоятельству тот, в чьих руках находится документ, может диктовать условия той весьма знатной особе, чья честь и благополучие оказались в опасности.

— Но ведь эта власть, — перебил я, — возникает только в том случае, если похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель. Кто же дерзнет…

— Вот, — сказал Г., — это министр Д., чья дерзость не останавливается ни перед чем — ни перед тем, что достойно мужчины, ни перед тем, что его недостойно. Уловка, к которой прибег вор, столь же хитроумна, сколь и смела. Документ, о котором идет речь (сказать откровенно, это — письмо), был получен ограбленной особой, когда она пребывала в одиночестве в королевском будуаре. Она его еще читала, когда в будуар вошло то высочайшее лицо, от какового она особенно хотела скрыть письмо. Поспешно и тщетно попытавшись спрятать письмо в ящик, она была вынуждена положить его вскрытым на столик. Однако оно лежало адресом вверх и, так как его содержание было скрыто, не привлекло к себе внимания. Но тут входит министр Д. Его рысий взгляд немедленно замечает письмо, он узнает почерк, которым написан адрес, замечает смущение особы, которой оно адресовано, и догадывается о ее тайне. После доклада о каких-то делах, сделанного с его обычной быстротой, он достает письмо,

несколько похожее на то, о котором идет речь, вскрывает его, притворяется, будто читает, после чего кладет рядом с первым. Потом он снова около пятнадцати минут ведет беседу о государственных делах. И наконец, кланяясь, перед тем как уйти, берет со стола не принадлежащее ему письмо. Истинная владелица письма видит это, но, разумеется, не смеет воспрепятствовать ему из-за присутствия третьего лица, стоящего рядом с ней. Министр удаляется, оставив на столе свое письмо, не имеющее никакой важности.

— И вот, — сказал Дюпен, обращаясь ко мне, — налицо то условие, которое, по вашему мнению, было необходимо для полноты власти похитителя: похититель знает, что лицу, им ограбленному, известно, кто похититель.

— Да, — сказал префект. — И в течение последних месяцев подученной таким способом властью пользуются ради политических целей, и притом не зная никакой меры. С каждым днем ограбленная особа все более убеждается в необходимости получить назад свое письмо. Но, разумеется, открыто потребовать его возвращения она не может. И вот в отчаянии она доверилась мне.

— Помощнику, мудрее которого, — сказал Дюпен сквозь настоящий смерч дыма, — я полагаю, не только найти, но и вообразить невозможно.

— Вы мне льстите, — ответил префект, — но, пожалуй, кое-кто и придерживается такого мнения.

— Во всяком случае, совершенно очевидно, — сказал я, — что письмо, как вы и говорили, все еще находится у министра, поскольку власть дает именно обладание письмом, а не какое-либо его использование. Если его использовать, то власть исчезнет.

— Вы правы, — ответил Г. — И я начал действовать, исходя именно из этого предположения. Первой моей задачей было обыскать особняк министра, и главная трудность заключалась в том, чтобы сделать это втайне от него. Мне настоятельно указывали на необходимость устроить все дело так, чтобы он ничего не заподозрил, ибо это могло бы привести к самым роковым последствиям.

— Но, — сказал я, — вы же вполне au fait[870] в такого рода вещах. Парижская полиция достаточно часто предпринимала подобные обыски.

— О, разумеется. Вот потому-то я и не отчаивался. К тому же привычки Министра весьма благоприятствовали моим намерениям. Он частенько не возвращается домой до утра. Слуг у него немного, и они спят вдали от комнат своего хозяина, а к тому же их нетрудно напоить, так как почти все они — неаполитанцы. Вам известно, что у меня есть ключи, которыми я могу отпереть любую комнату и любой шкаф в Париже. В течение трех месяцев я чуть ли не еженощно сам обыскивал особняк министра Д. На карту поставлена моя честь, и, говоря между нами, награда обещана колоссальная. И я прекратил поиски, только когда окончательно убедился, что вор более хитер, чем я. Смею вас заверить, я осмотрел все закоулки и тайники, в которых можно было бы спрятать письмо.

— Хотя письмо, без сомнения, находится у министра, — заметил я, — но не мог ли он скрыть его не у себя в доме, а где-нибудь еще?

— Навряд ли, — сказал Дюпен. — Нынешнее положение дед при дворе и особенно те политические интриги, в которых, как известно, замешан Д., требуют, чтобы письмо всегда находилось у него под рукой — возможность предъявить его без промедления почти так же важна, как и самый факт обладания им.

— Возможность предъявить его без промедления? — переспросил я.

— Другими словами, возможность немедленно его уничтожить, — ответил Дюпен.

— Совершенно верно, — согласился я. — Следовательно, письмо спрятано где-то в его особняке. Предположение о том, что министр носит его при себе, вероятно, следует сразу же отбросить.

— О да, — сказал префект. — Его дважды останавливали псевдограбители и под моим личным наблюдением обыскивали самым тщательным образом.

— Вы могли бы и не затрудняться, — заметил Дюпен. — Д. насколько я могу судить, не совсем дурак, а раз так, то он, конечно, прекрасно понимает, что нападения подобных грабителей ему не избежать.

— Не совсем дурак… — повторил Г. — Но ведь он поэт, а по-моему, от поэта до дурака всего один шаг.

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, задумчиво затянувшись трубкой, — хотя мне и самому случалось грешить стишками.

— Может быть, — сказал я, — вы расскажете о своих поисках в его доме более подробно.

— Ну, по правде говоря, мы не спешили и обыскали решительно все. У меня в таких делах большой опыт. Я осмотрел здание сверху донизу, комнату за комнатой, посвящая каждой все ночи целой недели. Начинали мы с мебели. Мы открывали все ящики до единого, а вы, я полагаю, знаете, что для опытного полицейского агента никаких «потайных» ящиков не существует. Только болван, ведя подобный обыск, умудрится пропустить «потайной» ящик. Это же так просто! Каждое бюро имеет такие-то размеры — занимает такое-то пространство. А линейки у нас точные. Мы заметим разницу даже в пятисотую долю дюйма. После бюро мы брались за стулья. Сиденья мы прокалывали длинными тонкими иглами — вы ведь видели, как я ими пользовался. Со столов мы снимали столешницы.

— Зачем?

— Иногда человек, желающий что-либо спрятать, снимает столешницу или верхнюю крышку какого-нибудь сходного предмета меблировки, выдалбливает ножку, прячет то, что ему нужно, в углубление и водворяет столешницу на место. Таким же образом используются ножки и спинки кроватей.

— Но нельзя ли обнаружить пустоту выстукиванием? — осведомился я.

— Это невозможно, если, спрятав предмет, углубление плотно забить ватой. К тому же во время этого обыска мы были вынуждены действовать бесшумно.

— Но ведь вы не могли снять… вы же не могли разобрать на части всю мебель, в которой возможно устроить тайник вроде описанного вами. Письмо можно скрутить в тонкую трубочку, не толще большой вязальной спицы, и в таком виде вложить его, например, в перекладину стула. Вы же не разбирали на части все стулья?

— Конечно, нет. У нас есть способ получше: мы исследовали перекладины всех стульев в особняке, да, собственно говоря, и места соединений всей мебели Д., с помощью самой сильной лупы. Любой мельчайший след недавних повреждений мы обнаружили бы сразу. Крохотные опилки, оставленные буравчиком, были бы заметнее яблок.

Достаточно было бы трещинки в клее, малейшей неровности — и мы обнаружили бы тайник.

— Полагаю, вы проверили и зеркала — место соединения стекла с рамой, а также кровати и постельное белье, ковры и занавеси?

— Безусловно; а когда мы покончили с мебелью, то занялись самим зданием. Мы разделили всю его поверхность на квадраты и перенумеровали их, чтобы не пропустить ни одного. Затем мы исследовали каждый дюйм по всему особняку, а также стены двух примыкающих к нему домов — опять-таки с помощью лупы.

— Двух соседних домов! — воскликнул я. — У вас было немало хлопот.

— О да. Но ведь и предложенная награда огромна.

— Вы осмотрели также и дворы?

— Дворы вымощены кирпичом, и осмотреть их было относительно просто. Мы обследовали мох между кирпичами и убедились, что он нигде не поврежден.

— Вы, конечно, искали в бумагах Д. и среди книг его библиотеки?

— Разумеется. Мы заглянули во все пакеты и свертки, мы не только открыли каждую книгу, но и пролистали их все до единой, а не просто встряхнули, как делают некоторые наши полицейские. Мы, кроме того, самым тщательным образом измерили толщину каждого переплета и осмотрели его в лупу. Если бы в них были какие-нибудь недавние повреждения, они не укрылись бы от нашего взгляда. Пять-шесть томов, только что полученных от переплетчика, мы аккуратно проверили иглами.

— Полы под коврами вы осмотрели?

— Ну конечно. Мы снимали каждый ковер и обследовали паркет с помощью лупы.

— И обои на стенах?

— Да.

— В подвалах вы искали?

— Конечно.

— В таком случае, — сказал я, — вы исходили из неверной предпосылки: письмо не спрятано в особняке, как вы полагали.

— Боюсь, вы правы, — ответил префект. — Итак, Дюпен, что бы вы посоветовали мне предпринять?

— Еще раз как следует обыскать особняк.

— Бесполезно! — ответил Г. — Я совершенно убежден, что письмо находится не там. Это так же верно, как то, что я дышу воздухом.

— Ничего лучше я вам посоветовать не могу, — сказал Дюпен. — Вы, несомненно, получили самое точное описание внешнего вида письма?

— О да!

И, вытащив записную книжку, префект прочел нам подробнейшее описание того, как выглядел исчезнувший документ в развернутом виде, и особенно как он выглядел снаружи. Вскоре после этого он распрощался с нами и ушел, совсем упав духом, — я никогда еще не видел этого достойного джентльмена в таком унынии.

Приблизительно через месяц он снова посетил нас и застал Дюпена и меня примерно за тем же занятием, как и в прошлый свой визит. Он взял трубку, опустился в предложенное кресло и заговорил о каких-то пустяках. Наконец я не выдержал:

— Но послушайте, Г., как обстоят дела с похищенным письмом? По-видимому, вы пришли к выводу, что перехитрить министра вам не удастся?

— Совершенно верно, будь он проклят! Я последовал совету Дюпена и произвел вторичный обыск, но, как я и предполагал, все наши усилия пропали даром.

— Как велика награда, о которой вы упоминали? — спросил Дюпен.

— Очень велика… это весьма щедрая награда, хотя называть точную цифру мне не хотелось бы. Впрочем, одно я могу сказать: тому, кто доставил бы мне это письмо, я был бы рад вручить мой собственный чек на пятьдесят тысяч франков. Дело в том, что с каждым днем его значение возрастает, и обещанная награда недавно была удвоена. Однако, будь она даже утроена, я не мог бы сделать больше, чем сделал.

— О, — протянул Дюпен, между затяжками, — мне, право… кажется, Г., что вы приложили усилий… меньше, чем могли бы. И вам следовало бы… на мой взгляд, сделать еще кое-что, э?

— Но как? Каким образом?

— Ну… пых-пых-пых!.. вы могли бы… пых-пых!.. заручиться помощью специалиста, э? Пых-пых-пых!.. Вы помните анекдот,

который рассказывают об Абернети[871]?

— Нет. Черт бы его взял, этого вашего Абернети.

— О да, пусть его возьмет черт. И на здоровье. Но как бы то ни было, однажды некий богатый скупец задумал получить от Абернети врачебный совет, ничего за него не заплатив. И вот, заведя с Абернети в обществе светский разговор, он описал ему свою болезнь, излагая якобы гипотетический случай. «Предположим, — сказал скупец, — что симптомы этого недуга были такими-то и такими-то; что бы вы рекомендовали сделать больному, доктор?» — «Что сделать? — повторил Абернети. — Обратиться за советом к врачу, что же еще?»

— Но, — сказал префект, несколько смутившись, — я был бы очень рад получить совет и заплатить за него. Я действительно готов дать пятьдесят тысяч франков тому, кто поможет мне в этом деле.

— В таком случае, — сказал Дюпен, открывая ящик и доставая из него чековую книжку, — выпишите мне чек на вышеупомянутую сумму. Когда вы поставите на нем свою подпись, я вручу вам письмо.

Я был ошеломлен. Префект же сидел словно пораженный громом. На несколько мгновений он как будто онемел и был не в силах сделать ни одного движения — он только недоверчиво глядел на моего друга, разинув рот, и казалось, что его глаза вот-вот вылезут на лоб; затем, немного оправившись, он схватил перо и начал заполнять чек, но раза два прерывал это занятие и недоуменно глядел в пустоту. Однако в конце концов чек на пятьдесят тысяч франков был выписан и префект передал его через стол Дюпену. Тот внимательно прочитал чек и спрятал его к себе в бумажник; затем отпер замочек бювара, достал какое-то письмо и протянул его префекту. Этот достойный чиновник схватил письмо в настоящем пароксизме радости, дрожащей рукой развернул его, быстро прочел несколько строк, потом, спотыкаясь от нетерпения, кинулся к двери и бесцеремонно выбежал из комнаты и из дома, так и не произнеся ни единого слова с той самой минуты, когда Дюпен попросил его заполнить чек.

После того как префект исчез, мой друг дал мне кое-какие объяснения.

— Парижская полиция, — сказал он, — по-своему весьма талантлива. Ее агенты настойчивы, изобретательны, хитры и обладают всеми познаниями, необходимыми для наилучшего выполнения их обязанностей. Вот почему, когда Г. описал нам, как именно он

обыскивал особняк Д., я проникся неколебимой уверенностью, что он действительно исчерпал все возможности — в том направлении, в каком он действовал.

— В том направлении, в каком он действовал? — переспросил я.

— Да, — сказал Дюпен. — Принятые им меры были не только наилучшими в своем роде, но и приводились в исполнение самым безупречным образом. Если бы письмо было спрятано так, как он предполагал, его неминуемо обнаружили бы.

Я весело засмеялся, однако мой друг, по-видимому, говорил вполне серьезно.

— Итак, — продолжал он, — принятые меры были по-своему хороши и приведены в исполнение наилучшим образом. Единственный их недостаток заключался в том, что к данному случаю и к данному человеку они никак не подходили. Определенная система весьма хитроумных методов сыска стала для префекта поистине прокрустовым поящем, к которому он насильственно подгоняет все свои планы. Но он постоянно ошибается, каждый раз воспринимая стоящую перед ним задачу либо слишком глубоко, либо слишком поверхностно; найдется немало школьников, которые умеют рассуждать гораздо последовательнее, чем он. Мне знаком восьмилетний мальчуган, чья способность верно угадывать в игре «чет и нечет» снискала ему всеобщее восхищение. Это очень простая игра: один из играющих зажимает в кулаке несколько камешков и спрашивает у другого, четное ли их количество он держит или нечетное. Если второй играющий угадает правильно, то он выигрывает камешек, если же неправильно, то проигрывает камешек. Мальчик, о котором я упомянул, обыграл всех своих школьных товарищей. Разумеется, он строил свои догадки на каких-то принципах, и эти последние заключались лишь в том, что он внимательно следил за своим противником и правильно оценивал степень его хитрости. Например, его заведомо глупый противник поднимает кулак и опрашивает: «Чет или нечет?» Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Однако в следующей попытке он выигрывает, потому что говорит себе: «Этот дурак взял в прошлый раз четное количество камешков и, конечно, думает, что отлично схитрит, если теперь возьмет нечетное количество. Поэтому я опять скажу — нечет!» Он говорит «нечет!» и выигрывает. С противником чуть поумнее он

рассуждал бы так: «Этот мальчик заметил, что я сейчас сказал „нечет“, и теперь он сначала захочет изменить четное число камешков на нечетное, но тут же спохватится, что это слишком просто, и оставит их количество прежним. Поэтому я скажу — „чет!“» Он говорит «чет!» и выигрывает. Вот ход логических рассуждений маленького мальчика, которого его товарищи окрестили «счастливчиком». Но, в сущности говоря, что это такое?

— Всего только, — ответил я, — уменье полностью отождествить свой интеллект с интеллектом противника.

— Вот именно, — сказал Дюпен. — А когда я спросил у мальчика, каким способом он достигает столь полного отождествления, обеспечивающего ему постоянный успех, он ответил следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен, или глуп, или добр, или зол вот этот мальчик иди о чем он сейчас думает, я стараюсь придать своему лицу точно такое же выражение, которое вижу на его лице, а потом жду, чтобы узнать, какие мысли или чувства возникнут у меня в соответствии с этим выражением». Этот ответ маленького школьника заключает в себе все, что скрывается под мнимой глубиной, которую усматривали у Ларошфуко[872], Лабрюйера[873], Макиавелли[874] и Кампанеллы[875].

— А отождествление интеллекта того, кто рассуждает, с интеллектом его противника, — сказал я, — зависит, если я правильно вас понял, от точности, с какой оценен интеллект этого последнего.

— Практически говоря, оно зависит именно от этого, — ответил Дюпен, — а префект и его присные столь часто терпят неудачи именно потому, что не ищут подобного отождествления, и потому, что неверно оценивают интеллект своего противника, а вернее, никак его не оценивают. Они рассуждают, исходя только из собственных представлений о хитроумии, и когда разыскивают спрятанные вещи, то ищут их только там, где сами могли бы их спрятать. В одном отношении они правы: их хитроумие вполне соответствует хитроумию большинства людей; но в тех случаях, когда хитрость преступника по своей природе не сходна с их собственной, такой преступник, разумеется, берет над ними верх. Так бывает всегда, когда его хитрость превосходит их хитрость, и весьма часто — когда она ей уступает. Они ведут свои расследования, исходя из одних и тех же неизменных принципов. В лучшем случае, когда их подстегивает исключительная

важность случившегося или необыкновенно большая награда, они могут расширить сферу применения своих практических приемов или усложнить их, но вышеупомянутых принципов не меняют. Например, был ли хоть как-то изменен принцип их действий в деле Д.? Они сверлили, кололи иглами, выстукивали, исследовали поверхности с помощью сильной лупы, делили стены здания на пронумерованные квадратные дюймы: но что все это, как не преувеличенное применение того же принципа — а вернее, ряда принципов, которые опираются на ряд представлений о человеческом хитроумии, выработавшихся у префекта за долгие годы его службы? Неужели вы не видите, насколько он считал само собой разумеющимся, что все люди обязательно будут прятать письмо если и не в дырке, высверленной буравчиком в ножке стула, то, во всяком случае, в каком-то столь же неожиданном тайнике, подсказанном тем же ходом мысли, который заставляет человека высверливать буравчиком дырку в ножке стула и прятать туда письмо? И неужели вы не видите, что тайники столь recherches[876] годятся только для заурядных случаев и что к ним прибегают только заурядные умы? Ведь когда речь идет о спрятанном предмете, способ его сокрытия — способ rechecrhe — предопределен заранее и тем самым всегда поддается определению. И обнаружение такого предмета зависит вовсе не от проницательности ищущих, а только от их тщательности, терпения и настойчивости. И до сих пор, когда речь шла о чем-то очень важном или (что, на взгляд человека, причастного к политике, одно и то же) о большой награде, вышеперечисленные качества неизменно обеспечивали успешное завершение розысков. Теперь вы понимаете, что именно я подразумевал, когда сказал, что, будь похищенное письмо спрятано там, где его искал префект, — другими словами, будь принцип его сокрытия соотносим с принципами, согласно которым действует префект, — оно обязательно было бы найдено. Однако этот ревностный сыщик был совсем сбит с толку, и первоначальный источник его неудачи заключается в предположении, что министр должен быть дураком, поскольку он известен как поэт. Все дураки — поэты, — по крайней мере, так кажется префекту, и он повинен всего лишь в поп distributio medii[877], поскольку выводит отсюда, что все поэты — дураки.

— Но действительно ли речь идет о поэте? — спросил я. — Насколько мне известно, у министра есть брат, и оба они приобрели определенную известность в литературном мире. Однако министр, если не ошибаюсь, писал о дифференциальном исчислении. Он математик, а вовсе не поэт.

— Вы ошибаетесь. Я хорошо его знаю — он и то и другое. Как поэт и математик, он должен обладать способностью к логическим рассуждениям, а будь он всего только математиком, он вовсе не умел бы рассуждать логически, и в результате префект легко справился бы с ним.

— Меня поражают, — сказал я, — эти ваши суждения, против которых восстанет голос всего света. Ведь не хотите же вы опровергнуть представление, проверенное веками! Математическая логика издавна считалась логикой par excellence[878].

— «Il y a a parier, — возразил Дюпен, цитируя Шамфора[879], — que toute idee publique, toute convention regue est une sottise, car elle a convenue au plus grand nombre»[880] Не спорю: математики сделали все, от них зависевшее, чтобы укрепить свет в заблуждении, на которое вы ссылаетесь и которое остается заблуждением, как бы его ни выдавали за истину. Они, например, с искусством, заслуживающим лучшего применения, исподтишка ввели термин «анализ» в алгебре. В данном обмане повинны французы, но если термин имеет хоть какое-то значение, если слова обретают ценность благодаря своей точности, то «анализ» столь же мало означает «алгебра», как латинское «ambitus»[881] — «амбицию», а «religio»[882] — «религию».

— Я предвижу, что вам не избежать ссоры с некоторыми парижскими алгебраистами, — сказал я. — Однако продолжайте.

— Я оспариваю универсальность, а тем самым и ценность любой логики, которая культивируется в какой-либо иной форме, кроме абстрактной. И в частности, я оспариваю логику, выводимую из изучения математики. Математика — это наука о форме и количестве, и математическая логика — это всего лишь логика, прилагаемая к наблюдениям над формой и количеством. Предположение, будто истины даже того, что зовется «чистой» алгеброй, являются абстрактными или всеобщими истинами, представляет собой великую ошибку. И эта ошибка настолько груба, что мне остается только изумляться тому единодушию, с каким ее никто не замечает.

Математические аксиомы — это отнюдь не аксиомы всеобщей истины. То, что справедливо для взаимоотношений формы и количества. часто оказывается вопиюще ложным в применении, например, к морали. В этой последней положение, что сумма частей равна целому, чаще всего оказывается неверным. Эта аксиома не подходит и для химии. При рассмотрении мотивов она также оказывается неверной, ибо два мотива, из которых каждый имеет какое-то значение, соединившись, вовсе не обязательно будут иметь значение, равное сумме их значений, взятых в отдельности. Существует еще много математических истин, которые остаются истинами только в пределах взаимоотношений формы и количества. Однако математик, рассуждая, по привычке исходит из своих частных мыслей так, словно они обладают абсолютно универсальным характером — какими их, бесспорно, привык считать свет. Брайант[883] в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает аналогичный источник ошибок, когда он говорит: «Хотя мы не верим в языческие басни, однако мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из чего-то действительно существующего». Тем не менее алгебраисты, сами язычники, неколебимо верят в «языческие басни» и выводят из них заключения не столько по причине провалов памяти, сколько благодаря непостижимому затмению мыслей. Короче говоря, мне еще не доводилось встречать математика, которому можно было бы доверять в чем-либо, кроме равенства корней, и который втайне не лелеял бы кредо, будто x2+px всегда абсолютно и безусловно равняется q. Если хотите, то попробуйте в качестве опыта сказать кому-нибудь из этих господ, что, по вашему мнению, бывают случаи, когда x2+px не вполне равняется q, но, втолковав ему, что вы имеете в виду, поторопитесь отойти от него подальше, иначе он, без всякого сомнения, набросится на вас с кулаками.

— Я хочу сказать, — продолжал Дюпен, так как я только засмеялся в ответ на его последние слова, — что, будь министр всего лишь математиком, префекту не пришлось бы давать мне этот чек. Однако я знал, что он не только математик, но и поэт, а потому оценивал случившееся, исходя из его способностей и учитывая особенности его положения. Я знал, кроме того, что он искушен в делах двора и смелый интриган. Такой человек, рассуждал я, не может не быть осведомлен об обычных полицейских методах. Он не мог не

предвидеть нападения псевдограбителей — и события показали, что он его предвидел. Он обязательно должен был предположить, рассуждал я, что его дом будет подвергнут тайным обыскам. Его частые ночные отлучки, в которых префект с радостью усматривал залог своего успеха, мне представлялись хитростью, он давал полиции возможность провести самый тщательный обыск для того, чтобы заставить ее прийти к заключению, к которому Г. в конце концов и пришел, — к заключению, что письмо находится не в его доме, а где-то еще. Я только что подробно изложил вам ход мысли касательно неизменных принципов, лежащих в основе действий полицейских агентов, когда они ищут спрятанные предметы, — и я чувствовал, что тот же ход мысли неминуемо приведет министра к таким же выводам, что и меня. И заставит его пренебречь всеми обычными тайниками. Не мог же он быть столь слабоумен, рассуждал я, чтобы не видеть, что самые скрытые и недоступные недра его дома будут столь же достижимы для глаз, игл, буравчиков и сильных луп префекта, как и стоящие на виду незапертые шкафы. Короче говоря, я понял, что он будет вынужден прибегнуть к какой-то очень простой выдумке, если не предпочтет ее по доброй воле с самого начала. Возможно, вы не забыли, как хохотал префект, когда во время нашего первого разговора я высказал предположение, что эта загадка причиняет ему столько хлопот как раз из-за очевидности ее разгадки.

— Да, — сказал я. — Я отлично помню, как он веселился. Мне даже показалось, что с ним вот-вот случится родимчик.

— Материальный мир, — продолжал Дюпен, — изобилует аналогиями с миром нематериальным, а потому не так уж далеко от истины то правило риторики, которое утверждает, что метафору или уподобление можно использовать не только для украшения описания, но и для усиления аргументации. Например, принцип vis mertiae[884] по-видимому, одинаков и в физике и в метафизике. Если для первой верно, что большое тело труднее привести в движение, нежели малое, и что полученный им момент инерции прямо пропорционален этой трудности, то и для второй не менее верно, что более могучие интеллекты, хотя они сильнее, постояннее и плодотворнее в своем движении, чем интеллекты малые, тем не менее начинают это движение с меньшей легкостью и более смущаются и колеблются на

первых шагах. И еще: вы когда-нибудь замечали, какие уличные вывески привлекают наибольшее внимание?

— Никогда об этом не задумывался, — ответил я.

— Существует салонная игра, — продолжал Дюпен, — в которую играют с помощью географической карты. Один играющий предлагает другому найти задуманное слово — название города, реки, государства или империи — среди массы надписей, которыми пестрит карта. Новичок обычно пытается перехитрить своего противника, задумывая название, напечатанное наиболее мелким шрифтом, но опытный игрок выбирает слова, простирающиеся через всю карту и напечатанные самыми крупными буквами. Такие названия, как и чересчур большие вывески, ускользают от внимания из-за того, что они слишком уж очевидны. Эта физическая особенность нашего зрения представляет собой полную аналогию мыслительной тупости, с какой интеллект обходит те соображения, которые слишком уж навязчиво самоочевидны. Но, по-видимому, эта особенность несколько выше или несколько ниже понимания нашего префекта. Ему ни на секунду не пришло в голову, что министр мог положить письмо на самом видном месте на обозрение всему свету — именно для того, чтобы помешать кому-либо его увидеть.

Но чем больше я размышлял о дерзком, блистательном и тонком хитроумии Д., о том, что документ этот должен был всегда находиться у него под рукой, а в противном случае утратил бы свою силу, и о том, что письмо совершенно несомненно не было спрятано там, где считал нужным искать его префект, тем больше я убеждался, что, желая спрятать письмо, министр прибег к наиболее логичной и мудрой уловке и вовсе не стал его прятать.

Вот с какими мыслями я как-то утром водрузил себе на нос зеленые очки и во время прогулки заглянул к Д. Я застал его дома — он позевывал, изображал хандру, как всегда, притворяясь, будто ему все давно приелось и наскучило. В мире вряд ли сыщется другой столь же деятельный человек — по таким он бывает, только когда его никто не видит.

Чтобы не отстать от него, я пожаловался па слабость зрения и, оплакивая необходимость носить темные очки, под их защитой подробно и осторожно оглядел комнату, хотя со стороны показалось бы, что я смотрю только на место собеседника.

Особенно внимательно я изучал большой письменный стол, возле которого сидел мой хозяин. На этом столе в беспорядке лежали различные бумаги, письма, два-три музыкальных инструмента и несколько книг. Однако, тщательно и долго оглядывая стол, я так и не обнаружил ничего подозрительного.

В конце концов мой взгляд, шаривший по комнате, упал на ажурную картонную сумочку для визитных карточек, которая на грязной голубой ленте свисала с маленькой медной шишечки на самой середине каминной полки. У сумочки были три кармашка, расположенные один над другим, и из них торчало пять-шесть визитных карточек и одно письмо. Оно было замусоленное, смятое и надорванное посредине, точно его намеревались разорвать, как не заслуживающее внимания, но затем передумали. В глаза бросалась большая черная печать с монограммой Д. Адрес был написан мелким женским почерком: «Д., министру, в собственные руки». Оно было небрежно и даже как-то презрительно засунуто в верхний кармашек сумки.

Едва я увидел это письмо, как тотчас же пришел к заключению, что передо мной — предмет моих поисков. Да, конечно, оно во всех отношениях разительно не подходило под то подробнейшее описание, которое прочел нам префект. Печать на атом была большая, черная, с монограммой Д., на том — маленькая, красная, с гербом герцогского рода С. Это было адресовано министру мелким женским почерком, на том титул некоей королевской особы был начертан решительной и смелой рукой. Сходилась только величина. Но, с другой стороны, именно разительность этих отличий, превосходившая всякое вероятие, грязь, замусоленная надорванная бумага, столь мало вязавшаяся с тайной аккуратностью Д. и столь явно указывавшая на желание внушить всем и каждому, будто документ, который он видит, не имеет ни малейшей важности, — все это, вкупе со слишком уж заметным местом, выбранным для его хранения, где он бросался в глаза всякому посетителю, что точно соответствовало выводам, к которым я успел прийти, — все это, повторяю я, не могло не вызвать подозрений у того, кто явился туда с намерением подозревать.

Я продлил свой визит, насколько это было возможно, и все время, пока я поддерживал горячий спор на тему, которая, как мне было известно, всегда живо интересовала и волновала Д., мое внимание

было приковано к письму. Я хорошо разглядел его, запомнил его внешний вид и положение в кармашке, а кроме того, в конце концов заметил еще одну мелочь, которая рассеяла бы последние сомнения, если бы они у меня были. Изучая края письма, я обнаружил, что они казались более неровными, чем можно было бы ожидать. Они выглядели надломленными, как бывает всегда, когда плотную бумагу, уже сложенную и прижатую пресс-папье, вкладывают по прежним сгибам, но в другую сторону. Заметив это, я уже ни в чем не сомневался. Мне стало ясно, что письмо в сумочке под каминной полкой было вывернуто наизнанку, как перчатка, после чего его снабдили новым адресом и новой печатью. Тогда я распрощался с министром и отправился восвояси, оставив на столе золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с большим увлечением возобновили беседу, которую вели накануне. Пока мы разговаривали, под окнами министра раздался громкий, словно бы пистолетный выстрел, а вслед за ним послышались ужасные вопли и крики испуганной толпы. Д. бросился к окну, распахнул его и выглянул наружу. Я же сделал шаг к сумочке, вынул письмо, сунул его в карман, а на его место положил довольно точную его копию (то есть по внешности), которую я старательно изготовил дома, без труда подделав монограмму Д. с помощью печати, слепленной из хлебного мякиша.

Суматоха на улице была вызвана отчаянной выходкой какого-то человека, державшего в руке мушкет. Он выстрелил из своего мушкета в толпе женщин и детей. Однако выяснилось, что заряд в мушкете был холостой, и стрелка отпустили, решив, что это либо сумасшедший, либо пьяница. Когда он скрылся из виду, Д. отошел от окна, возле которого встал и я сразу после того, как завладел письмом. Вскоре я откланялся. Человек, притворявшийся сумасшедшим, был нанят мной.

— Но зачем вам понадобилось, — спросил я, — заменять письмо копией? Не проще ли было бы в первый же ваш визит схватить его на глазах у Д. и уйти?

— Д., — ответил Дюпен, — человек отчаянно смелый и находчивый. Кроме того, его слуги ему преданы. Если бы я решился на безумный поступок, о котором вы говорите, я вряд ли покинул бы особняк министра живым. И добрые парижане больше ничего обо мне

не услышали бы. Однако меня остановили не только эти соображения. Вам известны мои политические симпатии. И тут я действовал, как сторонник дамы, у которой было похищено письмо. Полтора года Д. держал ее в своей власти. А теперь он сам у нее в руках — ведь, не подозревая, что письма у него больше нет, он будет и далее множить свои требования. И тем самым неотвратимо обречет свою политическую карьеру на гибель. К тому же его падение будет не только стремительным, но и весьма неприятным. Хоть и говорится, что facilis descensus Averni[885] однако когда речь идет о взлетах и падениях, то, как заметила Каталани о пении, куда легче идти вверх, чем вниз. И в данном случае я не питаю никакого сочувствия — во всяком случае, никакой жалости — к тому, кому уготовано падение. Ведь он — пресловутое monstrum horrenchim[886] человек талантливый, но беспринципный. Однако, признаюсь, мне очень хотелось бы узнать, какой оборот примут его мысли, когда, получив резкий отказ от той, кого префект называет «некоей высокопоставленной особой», он вынужден будет развернуть письмо, которое я оставил для него в сумочке для визитных карточек.

— Как так? Вы что-нибудь в него вложили?

— Видите ли, я не счел себя вправе оставить внутреннюю сторону чистой — это было бы оскорблением. Давным-давно в Вене Д. однажды поступил со мной очень скверно, и я тогда сказал ему — без всякой злобы, — что я этого не забуду. А потому, понимая, что ему будет любопытно узнать, кто же его перехитрил, я рассудил, что следует дать ему какой-нибудь ключ к разгадке. Ему известен мой почерк, и я просто написал на середине листка следующие слова:

«…Un dessein si funeste
S'il n'est digne d'Atree, est digne de Thyeste»[887]

Вы можете найти их в «Атрее» Кребийона.

Декабрь, 1844 — Январь, 1845

пер. И. Гуровой

Тысяча вторая сказка Шехерезады

Правда всякой выдумки странней.

Старая пословица

Когда мне недавно представился случай, занимаясь одним ориенталистским исследованием, заглянуть в «Таклинетли» — сочинение, почти неизвестное даже в Европе (подобно «Зохару» Симона Иохаидеса[888]), и, насколько я знаю, не цитированное ни одним американским ученым, исключая, кажется, автора «Достопримечательностей американской литературы» — итак, когда мне представился случай перелистать некоторые страницы первого, весьма любопытного сочинения, я был немало удивлен, обнаружив, что литературный мир доныне пребывает в заблуждении относительно судьбы дочери визиря Шехерезады, описанной в «Арабских ночах»[889], и что приведенная там denouement[890] не то чтобы совсем неверна, но далеко не доведена до конца.

Любознательного читателя, интересующегося подробностями этой увлекательной темы, я вынужден отослать к самому «Таклинетли», а пока позволю себе вкратце изложить то, что я там прочел.

Как мы помним, согласно общепринятой версии сказок, некий царь, имея серьезные основания приревновать свою царицу, не только казнит ее, но клянется своей бородой и пророком ежедневно брать в жены красивейшую девушку своей страны, а на следующее утро отдавать ее в руки палача.

После того как царь уже много лет выполнял этот обет с набожностью и аккуратностью, снискавшими ему репутацию человека праведного и разумного, его посетил как-то под вечер (несомненно, в час молитвы) великий визирь, чьей дочери пришла в голову некая мысль.

Ее звали Шехерезадой, а мысль состояла в том, чтобы избавить страну от разорительного налога на красоту или погибнуть при этой попытке по примеру всех героинь.

Вот почему, хотя год, как оказалось, не был високосным (что сделало бы ее жертву еще похвальнее), она посылает своего отца, великого визиря, предложить царю ее руку. Это предложение царь спешит принять (он и сам имел подобное намерение и откладывал его со дня на день только из страха перед визирем), но при этом очень ясно дает понять всем участникам дела, что визирь визирем, а он, царь, отнюдь не намерен отступать от своего обета или поступаться своими привилегиями. Поэтому, когда прекрасная Шехерезада пожелала выйти за царя и вышла-таки, наперекор благоразумному совету отца не делать ничего подобного, — когда она, повторяю, захотела выйти замуж и вышла, то ее прекрасные черные глаза были открыты на все последствия такого поступка.

Однако у этой мудрой девицы (несомненно, читавшей Макиавелли) имелся весьма остроумный план. В брачную ночь, не помню уж под каким благовидным предлогом, она устроила так, что ее сестра заняла ложе в достаточной близости от ложа царственных супругов, чтобы можно было без труда переговариваться; и незадолго до первых петухов сумела разбудить доброго государя, своего супруга (который относился к ней ничуть не хуже из-за того, что наутро намеревался ее удавить), итак, она сумела (хотя он благодаря чистой совести и исправному пищеварению спал весьма крепко) разбудить его, рассказывая сестре (разумеется, вполголоса) захватывающую историю (если не ошибаюсь, речь там шла о крысе и черной кошке). Когда занялась заря, оказалось, что рассказ не вполне окончен, а Шехерезада, натурально, не может его окончить, ибо ей пора вставать и быть удавленной — процедура едва ли более приятная, чем повешение, хотя и несколько более благородная.

Здесь я вынужден с сожалением отметить, что любопытство царя взяло верх даже над его религиозными принципами и заставило его на сей раз отложить до следующего утра исполнение обета, с целью и надеждой услышать ночью, что же сталось наконец с крысой и черной кошкой (кажется, именно черной).

Однако ночью леди Шехерезада не только покончила с черной кошкой и крысой (крыса была голубая), но как-то незаметно для себя пустилась рассказывать запутанную историю (если не ошибаюсь) о розовом коне (с зелеными крыльями), который скакал во весь опор, будучи заведен синим ключом. Эта повесть заинтересовала царя еще

больше, чем первая, а поскольку к рассвету она не была окончена (несмотря на все старания царицы быть удавленной вовремя), пришлось еще раз отложить эту церемонию на сутки. Нечто подобное повторилось и в следующую ночь с тем же результатом; а затем еще и еще раз, так что в конце концов наш славный царь, лишенный возможности выполнять свой обет в течение целых тысячи и одной ночи, либо забыл о нем к тому времени, либо снял его с себя по всем правилам, либо (что всего вероятнее) послал его к черту, а заодно и своего духовника. Во всяком случае, Шехерезада, происходившая по прямой линии от Евы и, должно быть, полнившая по наследству все семь корзин россказней, которые эта последняя, как известно, собрала под деревьями райского сада. — Шехерезада, говорю я, одержала победу, и подать на красоту была отменена.

Такая развязка (а именно она приведена в общеизвестном источнике) несомненно весьма приятна и прилична — но увы! — подобно очень многим приятным вещам скорее приятна, чем правдива; возможности исправить ошибку я всецело обязан «Таклинетли». «Le mieux, — гласит французская пословица, — est l'ennemi du bien»[891]; и, сказав, что Шехерезада унаследовала семь корзин болтовни, мне следовало добавить, что она отдала их в рост, и их стало семьдесят семь.

— Милая сестрица, — сказала она в ночь тысяча вторую (здесь я verbatim[892] цитирую «Таклинетли»), — милая сестрица, — сказала она, — теперь, когда улажен неприятный вопрос с петлей, а ненавистная подать, к счастью, отменена, я чувствую за собой вину, ибо утаила от тебя и царя (который, к сожалению, храпит, чего не позволил бы себе ни один джентльмен) окончание истории Синдбада-морехода. Этот человек испытал еще множество других, более интересных приключений, кроме тех, о каких я поведала; но мне, по правде сказать, в ту ночь очень хотелось спать, и я поддалась искушению их сократить — весьма дурной поступок, который да простит мне Аллах. Но исправить мое упущение не поздно и сейчас; вот только ущипну пару раз царя и разбужу его хоть настолько, чтобы он прекратил этот ужасный храп, а тогда расскажу тебе (и ему, если ему будет угодно) продолжение этой весьма замечательной повести.

Сестра Шехерезады, по свидетельству «Таклинетли», не выказала при этих словах особого восторга; но царь после должного числа

щипков перестал храпеть и произнес «гм!», а затем «х-хо!»; и тогда царица, поняв эти слова (несомненно, арабские) в том смысле, что он — весь внимание и постарается больше не храпеть, — царица, повторяю, уладив все это к своему удовольствию, тотчас же принялась досказывать историю Синдбада-морехода.

— Под старость (таковы были слова Синдбада, переданные Шехерезадой), под старость, много лет проживши дома на покое, я вновь ощутил желание повидать чужие страны; однажды, не предупредив о своем намерении никого из домашних, я увязал в тюки кое-какие товары из тех, что подороже, а места занимают мало, и наняв для них носильщика, отправился вместе с ним на берег моря, чтобы дождаться там какого-нибудь корабля, который доставил бы меня в края, где мне еще не удалось побывать.

Сложивши тюки на песок, мы сели в тени деревьев и стали глядеть на море, надеясь увидеть корабль, но в течение нескольких часов ничего не было видно. Наконец мне послышалось странное жужжание или гудение; носильщик, прислушавшись, подтвердил, что он также его слышит. Оно становилось все громче, и у нас не было сомнения, что издававший его предмет приближается к нам. Наконец мы увидели на горизонте темное пятнышко, которое быстро росло и скоро оказалось огромным чудищем, плывшим по морю, выставляя на поверхность большую часть туловища. Оно приближалось с невиданной быстротой, вздымая грудью пенные волны и освещая море далеко тянувшейся огненной полосой.

Когда оно приблизилось, мы смогли ясно его разглядеть. Длина его равнялась трем величайшим деревьям, а ширина была не меньше, чем у большой залы твоего дворца, о величайший и великодушнейший из калифов. Тело его, не похожее на тело обычных рыб, было твердым, как скала, и совершенно черным в той части, что виднелась над водою, не считая узкой кроваво-красной полосы, которой оно было опоясано. Брюхо его, скрытое под водой и видное лишь по временам, когда чудище подымалось на волнах, было сплошь покрыто металлической чешуей, а цветом напоминало луну в тумане. Спина была плоской и почти белой, и из нее торчало шесть шипов длиною едва ли не в половину туловища.

Это ужасное существо, по-видимому, не имело рта; но словно в возмещение этого недостатка было снабжено, по крайней мере,

восемьюдесятью глазами, вылезавшими из орбит, как у зеленых стрекоз, и расположенными вокруг всего тела в два ряда, один над другим, параллельно красной полосе, которая, видимо, заменяла брови. Два или три из этих страшных глаз были гораздо больше остальных и казались сделанными из чистого золота.

Хотя чудовище, как я уже сказал, приближалось к нам с огромной скоростью, оно, несомненно, двигалось с помощью волшебства — ибо не имело ни плавников, как рыба, ни перепончатых лап, как у утки, ни крыльев, как у раковины-кораблика, подгоняемой ветром; но и не извивалось, как это делает угорь. Голова и хвост были у него совершенно одинаковой формы; но возле этого последнего имелись два небольших отверстия, служивших ноздрями, через которые чудовище выдыхало с большой силой и неприятным пронзительным звуком.

Наш ужас при виде отвратительного создания был велик; но еще большим было наше изумление, когда, всмотревшись в него вблизи, мы заметили на его спине множество тварей, величиной и обличием похожих на людей, только вместо одежды, подобающей людям, облаченных (вероятно, от природы) в уродливые и неудобные оболочки, с виду матерчатые, но прилегающие так плотно к коже, что они придавали бедным созданиям потешный и неуклюжий вид и, видимо, причиняли сильную боль. На макушках у них были квадратные коробки, которые сперва показались мне тюрбанами, но я скоро заметил, что они крайние тяжелы и плотны, и заключил, что их назначение состоит в том, чтобы прочнее удерживать на плечах головы этих существ. Вокруг шеи у них были черные ошейники (несомненно, знаки рабства), какие мы надеваем на собак, только гораздо более широкие и жесткие, так что бедняги не могли повернуть головы, не поворачиваясь одновременно всем туловищем, и были обречены созерцать собственные носы, дивясь их необычайно курносой форме.

Когда чудовище почти вплотную приблизилось к берегу, где мы стояли, один из его глаз внезапно выставился вперед и изрыгнул сноп огня, сопровождавшийся густым облаком дыма и шумом, который можно сравнить лишь с раскатами грома. Едва дым рассеялся, мы увидели, что одна из диковинных человекоподобных тварей стоит подле головы чудища с большой трубой в руке, через которую, (приставив ее ко рту) она обратилась к нам, издавая громкие, резкие и

неприятные звуки, которые мы приняли бы за слова, если бы они не исходили из носа.

На это обращение я не знал, как отвечать, ибо не понимал, что говорилось; в своей растерянности я обратился к носильщику, едва не лишившемуся чувств от страха, и спросил, какой породы, по его мнению, это чудовище и что за существа копошатся у него на спине. Носильщик, сотрясаясь от ужаса, пролепетал, что однажды уже слыхал о таком морском звере, что это свирепый демон с горящей серой вместо внутренностей и огнем вместо крови, сотворенный злыми джиннами на мучение людям; а создания на его спине — паразиты, вроде тех, что иногда заводятся на собаках и кошках, только крупнее и злее; что они имеют свое назначение, хотя и пагубное; ибо, кусая и жаля чудовище, доводят его до бешенства, заставляющего его рычать и творить всяческое зло, осуществляя тем самым мстительный и коварный замысел злых джиннов.

Это объяснение побудило меня пуститься наутек; ни разу не оглянувшись, я со всех ног побежал к холмам; носильщик кинулся бежать с такой же быстротой, но в противоположную сторону, спасая мои тюки, которые он несомненно, сберег в целости, — этого, впрочем, я не могу утверждать, ибо не помню, чтобы с тех пор с ним встречался.

Что касается меня, то человекоподобные паразиты (которые высадились на берег в лодках) пустились за мною в погоню, и скоро я был схвачен, связан по рукам и ногам и доставлен на спину чудовища, немедленно отплывшего в море.

Теперь я горько раскаивался в безрассудстве, заставившем меня покинуть домашний очаг, чтобы подвергать свою жизнь подобным опасностям; но, так как сожаления были бесполезны, я решил не унывать и постарался снискать расположение человеко-животного, владевшего трубой, который, очевидно, имел какую-то власть над своими спутниками. Это мне настолько удалось, что спустя несколько дней оно уже оказывало мне различные знаки благосклонности, а затем даже взяло на себя труд обучать меня основам того, что в своем тщеславии считало языком, так что я смог свободно с ним объясняться и сообщить о своем пылком желании повидать свет.

«Уошиш скуошиш, скуик, Синдбад, хэй дидл дидл, грант знд грамбл, хисс, фисс, уисс», — сказал он мне однажды после обеда, —

но прошу прощения! Я позабыл, что ваше величество незнакомы с наречием кок-неев[893] (это нечто среднее между ржанием и кукареканием). С вашего позволения я переведу. «Уошиш скуошиш» и т. д., то есть: «Я рад, любезный Синдбад, что ты оказался отличным малым; мы сейчас совершаем, как это называется, кругосветное плавание, и раз уж тебе так хочется повидать свет, я, так и быть, бесплатно повезу тебя на спине чудовища».

Когда леди Шехерезада дошла до этого места, сообщает «Таклинетли», царь повернулся с левого бока на правый и промолвил:

— Поистине, весьма удивительно, дорогая царица, что ты опустила эти последние приключения Синдбада. Я, знаешь ли, нахожу их крайне занимательными и необычайными.

После того как царь высказал таким образом свое мнение, прекрасная Шехерезада вернулась к своему повествованию:

— Продолжая свой рассказ калифу, Синдбад сказал так: «Я поблагодарил человеко-животное за его доброту и скоро совершенно освоился на спине чудовища, с неимоверной быстротой плывшего по океану, хотя поверхность последнего в той части света отнюдь не плоская, но выпуклая, наподобие плода граната, так что мы все время плыли то в гору, то под гору».

— Это мне кажется очень странным, — прервал царь.

— Тем не менее это чистая правда, — ответила Шехерезада.

— Сомневаюсь, — возразил царь, — но прошу тебя, продолжай рассказ.

— Так я и сделаю, — сказала царица. — «Чудовище, — так продолжал Синдбад, обращаясь к калифу, — плыло, как я уже говорил, то вверх, то вниз, пока мы наконец не достигли острова, имевшего в окружности много сотен миль и, однако, выстроенного посреди моря колонией крошечных существ, вроде гусениц»[894].

— Гм! — сказал царь.

— «Оставив позади этот остров, — продолжал Синдбад (ибо Шехерезада не обратила внимания на неучтивое замечание супруга), — оставив позади этот остров, мы прибыли к другому, где деревья были из массивного камня, столь твердого, что о него вдребезги разбивались самые острые топоры, которыми мы пытались их срубить»[895].

— Гм! — снова произнес царь, но Шехерезада, не обращая на него внимания, продолжала рассказ Синдбада.

— «Миновав и этот остров, мы достигли страны, где была пещера, уходившая на тридцать или сорок миль в глубь земли, а в — больше дворцов, и притом более обширных и великолепных, чем во всем Дамаске и Багдаде. С потолка этих дворцов свисали мириады драгоценностей, подобных алмазам, но размерами превышающих рост человека; а среди подземных улиц, образованных башнями, пирамидами и храмами, текли огромные реки, черные, как черное дерево, где обитали безглазые рыбы»[896].

— Гм! — сказал царь.

— «Затем мы попали в такую часть океана, где была высокая гора, по склонам которой струились потоки расплавленного металла, иные — двенадцати миль в ширину и шестидесяти миль в длину[897], а из бездонного отверстия на ее вершине вылетало столько пепла, что он совершенно затмил солнце и вокруг стало темнее, чем в самую темную полночь, так что даже на расстоянии полутораста миль от горы нельзя было различить самых светлых предметов, как бы близко ни подносить их к глазам»[898].

— Гм! — сказал царь.

— «Отплыв от этих берегов, чудовище продолжало свой путь, пока мы не прибыли в страну, где все было словно наоборот, — ибо мы увидели там большое озеро, на дне которого, более чем в ста футах от поверхности, зеленел роскошный лес»[899].

— Хо! — сказал царь.

— «Еще несколько сот миль пути, и мы очутились в таком климате, где в плотном воздухе держались железо и сталь, как у нас — пух»[900].

— Враки! — сказал царь.

— «Плывя дальше в том же направлении, мы достигли прекраснейшей страны в целом свете. Там протекала красивая река длиною в несколько тысяч миль. Эта река была необыкновенно глубока и более прозрачна, чем янтарь. В ширину она имела от трех до шести миль, а на берегах, подымавшихся отвесно на высоту тысячи двухсот футов, росли вечноцветущие деревья и неувядаемые благоуханные цветы, превращавшие всю местность в сплошной

роскошный сад; но эта цветущая страна звалась царством Ужаса и вступить в нее — значило неминуемо погибнуть»[901].

— Гм! — сказал царь.

— «Мы поспешили покинуть этот край и спустя несколько дней прибыли в другой, где с изумлением увидели мириады чудовищ, имевших на голове рога, острые, как косы. Эти отвратительные существа роют в земле обширные логова в форме воронок и выкладывают их края камнями, размещенными один над другим так, что они обрушиваются, едва лишь на них наступит какое-нибудь другое животное, и оно попадает в логово чудовища, которое высасывает из него кровь, а труп с пренебрежением отбрасывает на огромное расстояние от этих пещер смерти»[902].

— Фу-ты! — сказал царь.

— «Продолжая наш путь, мы повидали край, изобилующий растениями, которые растут не на земле, а в воздухе[903]. Есть и такие, что растут на других растениях[904], или произрастают на тела живых существ[905], или ярко светятся;[906] есть такие, которые способны передвигаться куда захотят;[907] а что еще удивительнее, мы обнаружили цветы, которые живут, дышат, произвольно двигают своими членами и вдобавок обладают отвратительной человеческой склонностью порабощать другие существа и заключать их в мрачные одиночные темницы, пока те не выполнят заданную работу»[908].

— Пхе! — сказал царь.

— «Покинув эту страну, мы вскорости достигли другой, где пчелы и птицы являются столь гениальными и учеными математиками, что ежедневно преподают уроки геометрии самым ученым людям. Когда тамошний царь предложил награду за решение двух весьма трудных задач, они также были решены — одна пчелами, а другая птицами; но, поскольку царь держал их решение в тайне, математики лишь после многолетних трудов и исследований, составивших бесчисленное множество толстых томов, пришли наконец к тем же решениям, какие были немедленно даны пчелами и птицами»[909].

— О, бог ты мой! — сказал царь.

— «Едва скрылась из виду эта страна, как мы оказались вблизи другой, где с берега над нашими головами полетела стая птиц шириною в милю, а длиною в двести сорок миль; так что, хотя они

летели со скоростью мили в минуту, потребовалось не менее четырех часов, чтобы над нами пролетела вся стая, в которой были миллионы миллионов птиц»[910].

— Черт те что! — сказал царь.

— «Не успели мы избавиться от этих птиц, которые доставили нам немало хлопот, как были напуганы появлением птицы иного рода, несравненно более крупной, чем даже птица Рух[911], встречавшаяся мне во время прежних путешествий; ибо она была больше самого большого из куполов над твоим сералем, о великодушнейший из калифов. У этой страшной птицы не было видно головы, а только одно брюхо, удивительно толстое и круглое, из чего-то мягкого, гладкого, блестящего, в разноцветные полосы. Чудовищная птица уносила в когтях в свое заоблачное гвездо целый дом, с которого она сорвала крышу и внутри которого мы явственно различили людей, очевидно в отчаянии ожидавших своей страшной участи. Мы кричали что было мочи, надеясь напугать птицу и заставить ее выпустить добычу, но она только запыхтела и зафыркала, точно разозлилась, и уронила нам на голову мешок, оказавшийся полным песку».

— Чепуха! — сказал царь.

— «Тотчас же после этого приключения мы достигли материка, который, несмотря на свою огромную протяженность и плотность, целиком покоился на спине небесно-голубой коровы, имевшей не менее четырехсот рогов»[912].

— Вот этому я верю, — сказал царь, — ибо читал нечто подобное в книге.

— «Мы прошли под этим материком (проплыв между ног коровы) и спустя несколько часов оказались в стране поистине удивительной, которая, по словам человеко-животного, была его роди-пой, населенной такими же, как он, созданиями. Это очень возвысило человеко-животное в моих глазах; и я даже устыдился презрительной фамильярности, с какою до тех пор с ним обращался, ибо обнаружил, что человеко-животные являются нацией могущественных волшебников; в мозгу у них водятся черви[913] которые, извиваясь там, несомненно возбуждают усиленную работу мышления».

— Вздор! — сказал царь.

— «Эти волшебники приручили несколько весьма странных пород животных, например, лошадь с железными костями и кипящей

водой вместо крови. Вместо овса она обычно питается черными камнями; но, несмотря на столь твердую пищу, обладает такой силой и резвостью, что может везти тяжести, превосходящие весом самый большой из здешних храмов, и притом со скоростью, какой не достигает в полете большинство птиц»[914].

— Чушь! — сказал царь.

— «Видел я также у этого народа курицу без перьев, но ростом больше верблюда; вместо мяса и костей у нее железо и кирпич; кровь ее, как и у лошади (которой она приходится сродни), состоит из кипящей воды; подобно ей, она питается одними лишь деревяшками или же черными камнями. Эта курица часто приносит в день по сотне цыплят, которые потом еще несколько недель остаются в утробе матери»[915].

— Бредни! — сказал царь.

— «Один из этих могучих чародеев сотворил человека из меди, дерева и кожи, наделив его такой мудростью, что он может обыграть в шахматы кого угодно на свете, кроме великого калифа Гаруна-аль-Рашида[916]. Другой чародей (из таких же материалов) создал существо, посрамившее даже своего гениального создателя; ибо разум его столь могуч, что за секунду оно производит вычисления, требующие труда пятидесяти тысяч человек в течение целого года[917]. А еще более искусный волшебник создал нечто, не похожее ни па человека, ни па животное, но обладающее мозгом из свинца и какого-то черного вещества вроде дегтя, а также пальцами, действующими с невообразимой быстротой и ловкостью, так что оно без труда могло бы сделать за час целых двадцать тысяч списков Корана, и притом с такой безошибочной точностью, что ни один из них не отличался бы от другого даже на волосок. Это создание наделено таким могуществом, что единым дыханием возводит и свергает величайшие империи; но мощь его используется как во благо, так и во зло».

— Нелепость! — сказал царь.

— «Среди этого народа чародеев был один, в чьих жилах текла кровь саламандр; ибо он мог как ни в чем не бывало сидеть и покуривать свою трубку в раскаленной печи, пока там готовился его обед[918]. Другой обладал способностью превращать обыкновенные металлы в золото, даже не глядя на них[919]. Третий имел столь тонкое

осязание, что мог изготовлять проволоку, невидимую глазу[920]. Четвертый обладал такой быстротой соображения, что мог сосчитать все отдельные движения упругого тела, колеблющегося со скоростью девятисот миллионов раз в секунду»[921].

— Ерунда! — сказал царь.

— «Был и такой чародей, что с помощью флюида, которого еще никто не видел, мог по своей воле заставить трупы своих друзей размахивать руками, дрыгать ногами, драться и даже вставать и плясать[922]. Другой настолько развил свой голос, что он был слышен из края в край земли[923]. У третьего была столь длинная рука, что, находясь в Дамаске, он мог написать письмо в Багдаде и вообще на любом расстоянии[924]. Четвертый повелевал молнией и мог призвать ее с небес, а призвав, забавлялся ею, точно игрушкой. Пятый брал два громких звука и творил из них тишину. Шестой из двух ярких лучей света извлекал густую тьму[925].

Еще один изготовлял лед в раскаленной печи[926]. Еще один приказывал солнцу рисовать свой портрет, и солнце повиновалось[927]. Еще один брал это светило, а также луну и планету, взвешивал их с большой точностью, а затем исследовал их недра и определял плотность вещества, из которого они состоят. Впрочем, весь тамошний народ настолько искусен в волшебстве, что не только малые дети, но даже обычные кошки и собаки без труда видят предметы либо вовсе не существующие, либо такие, которые исчезли с лица земли за двадцать тысяч лет до появления самого этого народа»[928].

— Невероятно! — сказал царь.

— «Жены и дочери этих могущественных чародеев, — продолжала Шехерезада, ничуть не смущаясь многократными и весьма невежливыми замечаниями супруга, — жены и дочери этих великих магов обладают всеми талантами и прелестями и были бы совершенством, если бы не некоторые роковые заблуждения, от которых пока еще бессильно избавить их даже чудодейственное могущество их мужей и отцов. Заблуждения эти принимают то один вид, то другой, но то, о котором я говорю, постигло их в виде турнюра».

— Чего? — переспросил царь.

— Турнюра, — сказала Шехерезада. — «Один из злобных джиннов, вечно готовых творить зло, внушил этим изысканным дамам, будто то, что мы зовем телесной красотой, целиком помещается в некоей части тела, расположенной пониже спины. Идеал красоты, как они считают, прямо зависит от величины этой выпуклости; так как они вообразили это уже давно, а подушки в тех краях дешевы, там не помнят времен, когда можно было отличить женщину от дромадера…»

— Довольно! — сказал царь. — Я не желаю больше слушать и не стану. От твоего вранья у меня и так уже разболелась голова. Да и утро, как я вижу, уже наступает. Сколько бишь времени мы женаты? У меня опять проснулась совесть. Дромадер! Ты, кажется, считаешь меня ослом. Короче говоря, пора тебя удавить.

Эти слова, как я узнал из «Таклинетли», удивили и огорчили Шехерезаду; но, зная царя за человека добросовестного и неспособного нарушить слово, она покорилась своей участи, не сопротивляясь. Правда, пока на ней затягивали петлю, она обрела немалое утешение в мысли, что столько еще осталось нерассказанным и что ее раздражительный супруг наказал себя, лишившись возможности услышать еще много удивительного.

Февраль, 1845

пер. З. Александровой

Разговор с мумией

Вчерашняя наша застольная беседа оказалась чересчур утомительной для моих нервов. Разыгралась головная боль, появилась сонливость. Словом, нынче, вместо того чтобы идти со двора, как я прежде намеревался, я предпочел подобру-поздорову остаться дома, поужинать самую малость и отправиться спать.

Ужин, разумеется, совсем легкий. Я страстный любитель гренков с сыром. Но даже их больше фунта в один присест не всегда съешь. Впрочем, и два фунта не могут вызвать серьезных возражений. А где два, там и три, разницы почти никакой. Я, помнится, отважился на четыре. Жена, правда, утверждает, что на пять, но она, очевидно, просто перепутала. Цифру пять, взятую как таковую, я и сам признаю, но в конкретном применении она может относиться только к пяти бутылкам черного портера, без каковой приправы гренки с сыром никак не идут.

Завершив таким образом мою скромную трапезу и надевши ночной колпак, я в предвкушении сладостного отдыха до полудня приклонил голову на подушку и, как человек с совершенно незапятнанной совестью, немедленно погрузился в сон.

Но когда сбывались людские надежды? Я не всхрапнул еще и в третий раз, как у входной двери яростно зазвонили и вслед в а этим нетерпеливо застучали дверным молотком, отчего я тут же и проснулся. А минуту спустя, пока я еще продирал глаза, жена сунула мне под нос записку от моего старого друга доктора Йейбогуса. В ней значилось:

> «Во что бы то ни стало приходите ко мне, мой добрый друг, как только получите это письмо. Приходите и разделите нашу радость. Я наконец благодаря упорству и дипломатии добился от дирекции Городского музея согласия па обследование мумии — вы помните какой. Мне разрешено распеленать ее и, если потребуется, вскрыть. При этом будут присутствовать лишь двое-трое близких друзей, вы, разумеется, в том числе. Мумия уже у меня дома, и мы начнем ее разматывать сегодня в одиннадцать часов вечера.

Всегда ваш Йейбогус»

Дойдя до слова «Йейбогус», я почувствовал, что совершенно, окончательно проснулся. В восторге выпрыгнул я из-под одеяла, сокрушая все на своем пути, оделся с быстротой прямо-таки фантастической и со всех ног бросился к дому доктора.

Там я застал уже всех в сборе, с нетерпением ожидающими моего прибытия. Мумия лежала распростертая на обеденном столе, и лишь только я вошел, было приступлено к обследованию.

Это была одна из двух мумий, привезенных несколько лет назад кузеном Йейбогуса капитаном Артуром Ментиком с Ливийского нагорья, где он их нашел в одном захоронении близ Элейтиаса, на много миль вверх по Нилу от Фив. В этой местности пещеры хотя и не столь величественны, как фиванские гробницы, зато представляют большой интерес, ибо содержат многочисленные изображения, проливающие свет на жизнь и быт древних египтян. Камера, из которой был извлечен лежащий перед нами экземпляр, по рассказам, особенно изобиловала такими изображениями — ее стены были сплошь покрыты фресками и барельефами, в то время как статуи, вазы и мозаичные узоры свидетельствовали о незаурядном богатстве погребенного.

Драгоценная находка была передана музею в том самом виде, в каком впервые попала на глаза капитану Ментику, — саркофаг остался не вскрыт. И так он простоял восемь лет, доступный лишь наружному осмотру публики. Иначе говоря, в нашем распоряжении сейчас была цельная, нетронутая мумия, и те, кто отдает себе отчет в том, сколь редко достигают наших берегов непопорченные памятники древности, сразу же поймут, что мы имели полное право поздравить себя с такой удачей.

Подойдя к столу, я увидел большой короб, или ящик, едва ли не семи футов в длину, трех в ширину и высотой не менее двух с половиной футов. Он имел правильную овальную форму, а не суживающуюся к одному концу, как гроб. Материал, из которого он был сделан, мы сначала приняли за дерево сикоморы (Platanus), но оказалось, когда сделали разрез, что это картон, вернее, papier-mache из папируса. Снаружи его густо покрывали рисунки — сцены похорон и другие печальные сюжеты, между которыми тут и там во

всевозможных положениях повторялись одинаковые иероглифические письмена, знаменующие собою, вне всякого сомнения, имя усопшего. По счастью, среди нас находился мистер Глиддон[929], который без труда расшифровал эту надпись: она была сделана просто фонетическим письмом и читалась как «Бестолковео».

Нам не сразу удалось вскрыть ящик так, чтобы не повредить его, но, когда наконец мы в этом преуспели, нашим глазам открылся другой ящик, уже в форме гроба и значительно меньших размеров, чем наружный, но во всем прочем — его совершенная копия. Промежуток между ними был заполнен смолой, отчего краски на втором ящике несколько пострадали.

Открыв и его (что мы осуществили с легкостью), мы обнаружили третий ящик, также сужающийся с одного конца и вообще отличающийся от второго лишь материалом: он был сделан из кедра и все еще источал присущий этому дереву своеобразный аромат. Никакого зазора между вторым и третьим ящиком не было — стенки одного вплотную прилегали к стенкам другого.

Сняв третий ящик, мы обнаружили и извлекли саму мумию. Мы ожидали, что она, как всегда в таких случаях, будет плотно обернута, как бы забинтована, полосами ткани, но вместо этого оказалось, что тело заключено в своего рода футляр из папируса, покрытый толстым слоем лака, раззолоченный и испещренный рисунками. На них изображены были всевозможные мытарства души и ее встречи с различными богами. Повторялись одни и те же человеческие фигуры, — но всей видимости, портреты набальзамированных особ. От головы до ног перпендикулярной колонкой шла надпись, также сделанная фонетическими иероглифами и указывающая имя и различные титулы усопшего, а кроме того, имена и титулы его родственников.

На шее мумии мы обнаружили ожерелье из разноцветных цилиндрических бусин с изображениями божеств, скарабеев и прочего, а также крылатого шара. Второе подобное, так сказать, ожерелье, стягивало мумию в поясе.

Содрав папирус, мы обнажили тело, которое оказалось в отличной сохранности и совершенно не пахло. Кожа имела красноватый оттенок. Она была гладкой, плотной и блестящей. В прекрасном состоянии были и зубы и волосы. Глаза, по-видимому, были вынуты, и

на их место вставлены стеклянные, выполненные очень красиво и с большим правдоподобием. Только, пожалуй, взгляд получился слишком уж решительный. Ногти и концы пальцев были щедро позолочены.

Мистер Глиддон высказал мнение, что, судя по красноватой окраске эпидермиса, бальзамирование осуществлено исключительно асфальтовыми смолами. Однако, когда с поверхности тела соскребли стальным инструментом некоторое количество порошкообразной субстанции и бросили в пламя, стало очевидным присутствие камфоры и других пахучих веществ.

Мы тщательно осмотрели тело в поисках отверстия, через которое были извлечены внутренности, но, к нашему недоумению, таковое не обнаружили. Никто из присутствовавших тогда не знал, что цельные или невскрытые мумии — явление не столь уж и редкое. Нам было известно, что, как правило, мозг покойника удаляли через нос, для извлечения кишок делали надрез сбоку живота, после чего труп обривали, мыли и опускали в рассол, и только позднее, по прошествии нескольких недель, приступали к собственно бальзамированию.

Так и не обнаружив надреза, доктор Йейбогус приготовил свой хирургический инструмент, чтобы начать вскрытие, но тут я спохватился, что уже третий час ночи. Было решено отложить внутреннее обследование до завтрашнего вечера, и мы ужо собирались разойтись, когда кто-то предложил один-два опыта с вольтовой батареей.

Мысль воздействовать электричеством на мумию трех — или четырехтысячелетнего возраста была если и не очень умна, то, во всяком случае, оригинальна, и мы все тотчас же ею загорелись. На девять десятых в шутку и на одну десятую всерьез мы установили у доктора в кабинете батарею, а затем перенесли туда египтянина.

Нам стоило немалых трудов обнажить край височной мышцы, которая оказалась значительно менее окостенелой, чем остальная мускулатура тела, однако же, как и следовало ожидать, при соприкосновении с проводом не проявила, разумеется, ни малейшей гальванической чувствительности. Эту первую попытку мы сочли достаточно убедительной и, от души смеясь над собственной глупостью, стали прощаться, как вдруг я мельком взглянул на мумию и замер в изумлении. Одного беглого взгляда было довольно, чтобы

удостовериться, что глазные яблоки, которые мы все принимали за стеклянные, хотя и было замечено их странное выражение, теперь оказались прикрыты веками, так что оставались видны только узкие полоски tunica albugmea[930].

Громким возгласом я обратил на это обстоятельство внимание остальных, и все сразу же убедились в моей правоте.

Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, «встревожен» — не совсем то слово. Думаю, что, если бы не портер, можно было бы утверждать, что я испытал некоторое беспокойство. Из остальных же собравшихся никто даже не делал попытки скрыть самый обыкновенный испуг. На доктора Йейбогуса просто жалко было смотреть. Мистер Глиддон вообще умудрился куда-то скрыться. А у мистера Силка Бакингема, я надеюсь, недостанет храбрости отрицать, что он на четвереньках ретировался под стол.

Однако, когда первое потрясение прошло, мы, нимало не колеблясь, немедленно приступили к дальнейшим экспериментам. Теперь наши действия были направлены против большого пальца правой ноги. Был сделан надрез над наружной os sesamoideum pollicis pedis[931] и тем самым обнажен корень musculus abductor[932] Снова наладив батарею, мы подействовали током на рассеченный нерв, и тут мумия, ну прямо совершенно как живая, сначала согнула правое колено, подтянув ногу чуть не к самому животу, а затем, выпрямив ее необыкновенно сильным толчком, так брыкнула доктора Йейбогуса, что этот солидный ученый муж вылетел, словно стрела из катапульты, через окно третьего этажа на улицу.

Мы все en masse[933] ринулись вон из дома, чтобы подобрать разбитые останки нашего погибшего друга, но имели счастье повстречать на лестнице его самого, задыхающегося от спешки, исполненного философическим пылом испытателя и еще более прежнего убежденного в необходимости с усердием и тщанием продолжить наши опыты.

По его указанию, мы, не медля ни минуты, сделали глубокий надрез на кончике носа испытуемого, и доктор, крепко ухватившись, притянул его в соприкосновение с проводом.

Эффект — морально и физически, в прямом и переносном смысле — был электрический. Во-первых, покойник открыл глаза и часто замигал, точно мистер Барнс[934] в пантомиме; во-вторых, он чихнул;

в-третьих, сел; в-четвертых, потряс кулаком под носом у доктора Йейбогуса; и в-пятых, обратившись к господам Глиддону и Бакингему, адресовался к ним на безупречном египетском языке со следующей речью:

— Должен сказать, джентльмены, что нахожу ваше поведение столь же оскорбительным, сколь и непонятным. Ну, хорошо, от доктора Йейбогуса ничего другого и не приходится ожидать. Он просто жирный неуч, где ему, бедняге, понять, как нужно обращаться с порядочным человеком. Мне жаль его. Я его прощаю. Но вы, мистер Глиддон, и вы, Силк, вы столько путешествовали и жили в Египте, почти, можно сказать, родились там, вы, так долго жившие среди нас, что говорите по-египетски, вероятно, так же хорошо, как пишете на своем родном языке, вы, кого я всегда был склонен считать верными друзьями мумий, — право же, уж кто-кто, а вы могли бы вести себя лучше. Вы видите, что со мною возмутительно обращаются, но преспокойно стоите в стороне и смотрите. Как это надо понимать? Вы дозволяете всякому встречному и поперечному снимать с меня мои саркофаги и облачения в таком непереносимо холодном климате. Что я, по-вашему, должен об этом думать? И наконец, самое вопиющее, вы содействуете и попустительствуете этому жалкому грубияну доктору Йейбогусу, решившемуся потянуть меня за нос. Что все это значит?

Естественно предположить, что, услышав эти речи, мы все бросились бежать, или впали в истерическое состояние, или же дружно шлепнулись в обморок. Любое из этих трех предположений напрашивается само собой. Я убежден, что, поведи мы себя таким образом, никто бы не удивился. Более того, честью клянусь, что сам не понимаю, как и почему ничего подобного с нами не произошло. Разве только причину нужно искать в так называемом духе времени, который действует по принципу «все наоборот» и которым в наши дни легко объясняют любые нелепицы и противоречия. А может быть, дело тут в том, что мумия держалась уж очень естественно и непринужденно, и потому речи ее не прозвучали так жутко, как должны были бы. Словом, как бы то ни было, но из нас ни один не испытал особого трепета и вообще не нашел в этом явлении ничего из ряда вон выходящего.

Я, например, ничуть не удивился и просто отступил на шаг подальше от египетского кулака. Доктор Йейбогус побагровел и

уставился в лицо мумии, глубоко засунув руки в карманы панталон. Мистер Глиддон погладил бороду и поправил крахмальный воротничок. Мистер Бакингем низко опустил голову и сунул в левый угол рта большой палец правой руки.

Египтянин посмотрел на него с негодованием, помолчал минуту, а затем с язвительной усмешкой продолжал:

— Что же вы не отвечаете, мистер Бакингем? Вы слышали, о чем вас спрашивают? Выньте-ка палец изо рта, сделайте милость!

При этом мистер Бакингем вздрогнул, вынул из левого угла рта большой палец правой руки и тут же возместил понесенный урон тем, что всунул в правый угол названного отверстия большой палец левой руки.

Так и не добившись ответа от мистера Б., мумия обратилась к мистеру Глиддону и тем же безапелляционным тоном потребовала объяснений от него.

И мистер Глиддон дал пространные объяснения на разговорном египетском языке. Не будь в наших американских типографиях так плохо с — египетскими иероглифами, я бы с огромным удовольствием привел здесь целиком в исконном виде его превосходную речь.

Кстати замечу, что вся последующая беседа с мумией происходила на разговорном египетском через посредство (что касается меня и остальных необразованных членов нашей компании) — через посредство, стало быть, переводчиков Глиддона и Бакингема. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии совершенно свободно и бегло, однако я заметил, что временами (когда речь заходила о понятиях и вещах исключительно современных и для нашего гостя совершенно незнакомых) они бывали принуждены переходить на язык вещественный. Мистер Глиддон, например, оказался бессилен сообщить египтянину смысл термина «политика», покуда не взял уголек и не нарисовал на стене маленького красноносого субъекта с продранными локтями, который стоит на помосте, отставив левую ногу, выбросив вперед сжатую в кулак правую руку, закатив глаза и разинув рот под углом в 90 градусов. Точно так же мистеру Бакингему не удавалось выразить современное понятие «прорехи в экономике» до тех пор, пока, сильно побледнев, он не решился (по совету доктора Йейбогуса) снять свой новехонький сюртук и показать спину крахмальной сорочки.

Как вы сами понимаете, мистер Глиддон говорил главным образом о той великой пользе, какую приносит науке распеленывание и потрошение мумий. Выразив сожаление о тех неудобствах, которые эта операция доставит ему, одной мумифицированной личности по имени Бестолковео, он кончил свою речь, намекнув (право, это был не больше чем тонкий намек), что теперь, когда все разъяснилось, неплохо бы продолжить исследование. При этих словах доктор Йейбогус опять стал готовить инструменты.

Относительно последнего предложения оратора у Бестолковео нашлись кое-какие контрдоводы идейного свойства, какие именно, я не понял; но он выразил удовлетворение принесенными ему извинениями, слез со стола и пожал руки всем присутствующим.

По окончании этой церемонии мы все занялись возмещением ущерба, понесенного нашим гостем от скальпеля. Зашили рану на виске, перебинтовали колено и налепили на кончик носа добрый дюйм черного пластыря.

Затем мы обратили внимание на то, что граф (ибо таков был титул Бестолковео) слегка дрожит — без сомнения, от холода. Доктор сразу же удалился к себе в гардеробную и вынес оттуда черный фрак наимоднейшего покроя, пару небесно-голубых клетчатых панталон со штрипками, розовую, в полоску chemise[935] широкий расшитый жилет, трость с загнутой ручкой, цилиндр без полей, лакированные штиблеты, желтые замшевые перчатки, монокль, пару накладных бакенбард и пышный шелковый галстук. Из-за некоторой разницы в росте между графом и доктором (соотношение было примерно два к одному) при облачении египтянина возникли небольшие трудности; но потом все кое-как уладилось и наш гость был в общем и целом одет. Мистер Глиддон взял его под руку и подвел к креслу перед камином, между тем как доктор позвонил и распорядился принести ему сигар и вина.

Разговор вскоре оживился. Всех, естественно, весьма заинтересовал тот довольно-таки потрясающий факт, что Бестолковее оказался живым.

— На мой взгляд, вам давно бы следовало помереть, — заметил мистер Бакингем.

— Что вы! — крайне удивленно ответил граф. — Ведь мне немногим больше семисот лет! Мой папаша прожил тысячу и умер молодец молодцом.

Тут посыпались вопросы и выкладки, с помощью каковых было скоро выяснено, что предполагаемая древность мумии сильно преуменьшена. Со времени заключения ее в элейтиадские катакомбы прошло на самом деле пять тысяч пятьдесят лет и несколько месяцев.

— Мое замечание вовсе не относилось к вашему возрасту в момент захоронения, — пояснил Бакингем. — Готов признать, что вы еще сравнительно молоды. Я просто имел в виду тот огромный промежуток времени, который, по вашему же собственному признанию, вы пролежали в асфальтовых смолах.

— В чем, в чем? — переспросил граф.

— В асфальтовых смолах.

— А-а, кажется, я знаю, что это такое. Их, вероятно, тоже можно использовать. Но в мое время употреблялся исключительно бихлорид ртути, иначе — сулема.

— Вот еще чего мы никак не можем понять, — сказал доктор Йейбогус. — Каким образом получилось, что вы умерли и похоронены в Египте пять тысяч лет назад, а теперь разговариваете с нами живой и, можно сказать, цветущий?

— Если б я действительно, как вы говорите, умер, — отвечал граф, — весьма вероятно, что я бы и сейчас оставался мертвым, ибо, я вижу, вы еще совершенные дети в гальванизме и не умеете того, что у нас когда-то почиталось делом пустяковым. Но я просто впал в каталептический сон, и мои близкие решили, что я либо уже умер, либо должен очень скоро умереть, и поспешили меня бальзамировать. Полагаю, вам знакомы основные принципы бальзамирования?

— М-м, не совсем, знаете ли.

— Понятно. Плачевная необразованность! Входить в подробности я сейчас не могу, по следует вам сказать, что бальзамировать — значило у нас в Египте остановить на неопределенный срок в животном организме абсолютно все процессы. Я употребляю слово «животный» в самом широком смысле, включающем как физическое, так и духовное, и витальпое бытие. Повторяю, ведущим принципом бальзамирования у нас была моментальная и полная остановка всех животных функций. Иными словами, в каком состоянии человек находился в момент бальзамирования, в таком он и сохраняется. Я имею счастье принадлежать к роду Скарабея[936] и поэтому был забальзамирован живым, как вы можете теперь убедиться.

— К роду Скарабея? — воскликнул доктор Йейбогус.

— Да. Скарабей был своего рода наследственным гербом одной очень знатной и высокой фамилии. Принадлежать к роду Скарабея означало просто быть членом этой фамилии. Мои слова надо понимать фигурально.

— Но как это связано с тем, что вы остались живы?

— Да ведь у нас в Египте повсеместно принято было перед бальзамированием трупа удалять внутренности и мозг. Одни только Скарабеи не подчинялись этому обычаю. Следовательно, не будь я Скарабеем, я остался бы без мозга и внутренностей, а в таком виде жить довольно неудобно.

— Я понял, — сказал мистер Бакингем. — Стало быть, все попадающиеся нам цельные мумии принадлежали к роду Скарабея?

— Без сомнения.

— Я думал, — кротко заметил мистер Глиддон, — что Скарабей — один из египетских богов.

— Из египетских богов? — вскочив, воскликнула мумия.

— Да, — подтвердил известный путешественник.

— Мистер Глиддон, вы меня удивляете, — произнес граф, снова усевшись в кресло. — Ни один народ на земле никогда не поклонялся более чем одному богу. Скарабей, ибис и прочие были для нас (как иные подобные существа для других) всего лишь символами, media[937] при поклонении Создателю, который слишком велик, чтобы обращаться к нему прямо.

Наступила пауза. Потом доктор Йейбогус продолжил разговор.

— Правильно ли будет предположить на основании ваших слов, — спросил он, — что в нильских катакомбах лежат и другие мумии из рода Скарабея, сохранившие состояние витальности?

— В этом не может быть сомнения, — отвечал граф. — Все Скарабеи, по случайности бальзамированные заживо, живы и в настоящее время. Даже среди тех, кого забальзамировали нарочно, тоже могут отыскаться по недосмотру душеприказчиков оставшиеся в гробницах.

— Не будете ли вы столь добры объяснить, что означает «забальзамировали нарочно»? — попросил я.

— С великим удовольствием, — отозвалась мумия, доброжелательно осмотрев меня в монокль, поскольку это был первый

вопрос, который задал ей лично я. — С великим удовольствием. Обычная продолжительность человеческой жизни в мое время была примерно восемьсот лет. Крайне редко случалось, если не считать экстраординарных происшествий, что человек умирал, не достигнув шестисотлетнего возраста. Бывали и такие, что проживали дольше десяти сотен. Но естественным сроком жизни считалось восемьсот лет. После того как был открыт принцип бальзамирования, который я вам ранее изложил, нашим философам пришла мысль удовлетворить похвальную людскую любознательность, а заодно содействовать развитию наук, устроив проживание этого естественного срока по частям с перерывами. Для истории, например, такой способ жизни, как показывает опыт, просто необходим. Скажем, ученый-историк, дожив до пятисот лет и употребив немало стараний, напишет толстый труд. Затем прикажет себя тщательно забальзамировать и оставит своим будущим душеприказчикам строгое указание оживить его по прошествии какого-то времени — допустим, шестисот лет. Возвратившись через этот срок к жизни, он обнаружит, что из его книги сделали какой-то бессвязный набор цитат, превратив ее в литературную арену для столкновения противоречивых мнений, догадок и недомыслий целой своры драчливых комментаторов. Все эти недомыслия и проч. под общим названием «исправлений и добавлений» до такой степени исказили, затопили и поглотили текст, что автор принужден ходить с фонарем в поисках своей книги. И, найдя, убедиться, что не стоило стараться. Он садится и все переписывает заново, а кроме того, долг ученого историка велит ему внести поправки в ходячие предания новых людей о той эпохе, в которой он когда-то жил. Благодаря такому самопереписыванию и поправкам живых свидетелей длительные старания отдельных мудрецов привели к тому, что наша история не выродилась в пустые побасенки.

— Прошу прощения, — проговорил тут доктор Йейбогус, кладя ладонь на руку египтянина. — Прошу прощения, сэр, но позвольте мне на минуту перебить вас.

— Сделайте одолжение, сэр, — ответил граф, убирая руку.

— Я только хотел задать вопрос, — сказал доктор. — Вы говорили о поправках, вносимых историком в предания о его эпохе. Скажите, сэр, велика ли в среднем доля истины в этой абракадабре?

— В этой абракадабре, как вы справедливо ее именуете, сэр, как правило, содержится ровно такая же доля истины, как и в исторических трудах, ждущих переписывания. Иными словами, ни в тех, ни в других нельзя отыскать ни единого сведения, которое не было бы совершенно, стопроцентно ложным.

— А раз так, — продолжал доктор, — то поскольку мы точно установили, что с момента ваших похорон прошло, по крайней мере, пять тысяч лет, можно предположить, что в ваших книгах, равно как и в ваших преданиях, имелись богатые данные о том, что так интересует все человечество — о сотворении мира, которое произошло, как вы, конечно, знаете, всего за тысячу лет до вас.

— Что это значит, сэр? — вопросил граф Бестолковее.

Доктор повторил свою мысль, но потребовалось немало дополнительных объяснений, прежде чем чужеземец смог его понять. Наконец тот с сомнением сказал:

— То, что вы сейчас мне сообщили, признаюсь, для меня абсолютно ново. В мое время я не знал никого, кто бы придерживался столь фантастического взгляда, что будто бы вселенная (или этот мир, если вам угодно) имела некогда начало. Вспоминаю, что однажды, но только однажды, я имел случай побеседовать с одним премудрым человеком, который говорил что-то о происхождении человеческого рода. Он употреблял, кстати, имя Адам, или Красная Глина, которое и у вас в ходу. Но он им пользовался в обобщенном смысле, в связи с самозарождением из плодородной почвы (как зародились до того тысячи низших видов) — в связи с одновременным самозарождением, говорю я, пяти человеческих орд на пяти различных частях земного шара.

Здесь мы все легонько пожали плечами, а кое-кто еще и многозначительно постучал себя пальцем по лбу. Мистер Силк Бакингем скользнул взглядом по затылочному бугру, а затем по надбровным дугам Бестолковео и сказал:

— Большая продолжительность жизни в ваше время, да к тому же еще эта практика проживания ее по частям, как вы нам объяснили, должны были бы привести к существенному развитию и накоплению знаний. Поэтому тот факт, что древние египтяне тем не менее уступают современным людям, особенно американцам, во всех

достижениях науки, я объясняю превосходящей толщиной египетского черепа.

— Признаюсь, — любезнейшим тоном ответил граф, — что опять не вполне понимаю вас. Не могли ли бы вы пояснить, какие именно достижения науки вы имеете в виду?

Тут все присутствующие принялись хором излагать основные положения френологии и перечислять чудеса животного магнетизма.

Граф выслушал нас до конца, а затем рассказал два-три забавных анекдота, из которых явствовало, что прототипы наших Галля[938] и Шпурцгейма[939] пользовались славой, а потом впали в безвестность в Египте так давно, что о них уже успели забыть, и что демонстрации Месмера[940] — не более как жалкие фокусы в сравнении с подлинными чудодействиями фиванских savants[941], которые умели сотворять вшей и прочих им подобных существ.

Тогда я спросил у графа, а умели ли его соотечественники предсказывать затмения. Он с довольно презрительной улыбкой ответил, что умели.

Это меня несколько озадачило, но я продолжал выспрашивать, что они еще понимают в астрономии, пока один из нашей компании, до сих пор не раскрывавший рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями на этот счет мне лучше всего обратиться к Птолемею (не знаю такого, не слышал), да еще к некоему Плутарху[942], написавшему труд «De facie lunae»[943].

Тогда я задал мумии вопрос о зажигательных и увеличительных стеклах и вообще о производстве стекла. Но не успел еще и договорить, как все тот же молчаливый гость тихонько тронул меня за локоть и покорнейше попросил познакомиться, хотя бы слегка, с Диодором Сицилийским[944]. Граф же вместо ответа только осведомился, есть ли у нас, современных людей, такие микроскопы, которые позволили бы нам резать камеи, подобные египетским. Пока я размышлял, что бы ему такое сказать на это, в разговор вмешался наш маленький доктор Йейбогус, и при этом довольно неудачно.

— А наша архитектура! — воскликнул он, к глубокому возмущению обоих путешественников, которые незаметно пинали его и щипали, но все напрасно. — Посмотрите фонтан на Боулинг-грин[945] у нас в Нью-Йорке! Или — если это сооружение уж слишком

величаво для сопоставления — возьмите здание Капитолия в Вашингтоне!

И наш коротышка-лекарь пустился подробно перечислять и описывать прекрасные линии и пропорции упомянутого сооружения. Только в портале, с жаром восклицал он, имеется ни много ни мало как двадцать четыре колонны пяти футов в диаметре каждая и в десяти футах одна от другой!

Граф сказал на это, что, к своему сожалению, не может сейчас назвать точные цифры пропорций ни одного из главных зданий в городе Карнаке, который был заложен некогда во тьме времен, но развалины которого в его эпоху еще можно было видеть в песчаной пустыне к западу от Фив. Однако, если говорить о порталах, он помнит, что у одного из малых загородных дворцов в предместье, именуемом Азнаком[946], был портал из ста сорока четырех колонн но тридцати семи футов в обхвате н в двадцати пяти футах одна от другой. Подъезд к этому порталу со стороны Нила был обстроен сфинксами, статуями и обелисками двадцати, шестидесяти и ста футов высотой. А сам дворец, если он не путает, имел две мили в длину и, вероятно, миль семь в окружности. Стены и снаружи и изнутри были сверху донизу расписаны иероглифами. Он не берется положительно утверждать, что на этой площади поместилось бы пятьдесят — шестьдесят таких Капитолиев, как рисовал тут доктор, но, с другой стороны, допускает, что с грехом пополам их вполне можно было бы туда напихать штук этак двести или триста. В сущности-то это был малый дворец, так себе, загородная постройка. Однако граф не может не признать великолепия, прихотливости и своеобразия фонтана на Боулинг-грин, так красочно описанного доктором. Ничего подобного, он вынужден признать, у них в Египте, да и вообще нигде и никогда не было.

Тут я спросил графа, что он скажет о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. По его мнению, они довольно ненадежны, неважно продуманы и плоховато уложены. И не идут, разумеется, ни в какое сравнение с безукоризненно ровными и прямыми, снабженными металлической колеей широкими дорогами, по которым египтяне транспортировали целые храмы и монолитные обелиски ста пятидесяти футов высотой. Я сослался на наши могучие механические двигатели. Он согласился, сказал, что слыхал об этом

кое-что, но спросил, как бы я смог расположить пяты арок на такой высоте, как хотя бы в самом маленьком из дворцов Карнака[947].

Этот вопрос я счел за благо не расслышать и поинтересовался, имели ли они какое-нибудь понятие об артезианских колодцах. Он только поднял брови, а мистер Глиддон стал мне яростно подмигивать и зашептал, что как раз недавно во время буровых работ в поисках воды для Большого Оазиса[948] рабочие обнаружили древнеегипетский артезианский колодец.

Я упомянул нашу сталь; но чужеземец задрал нос и спросил, можно ли нашей сталью резать камень, как на египетских обелисках, где все работы производились медными резцами.

Это нас совсем обескуражило, и мы решили перенести свои атаки в область метафизики. Была принесена книга под заглавием «Дайел», и оттуда ему зачитали две-три главы, посвященные чему-то довольно непонятному, что в Бостоне называют «великим движением», или «прогрессом».

Граф на это сказал только, что в его дни великие движения попадались на каждом шагу, а что до прогресса, то от него одно время просто житья не было, но потом он как-то рассосался.

Тогда мы заговорили о красоте и величии демократии и очень старались внушить графу правильное сознание тех преимуществ, какими мы пользуемся, обладая правом голосования ad libitum[949] и не имея над собой короля.

Наши речи его заметно заинтересовали и даже явно позабавили. Когда же мы кончили, он пояснил, что у них в Египте тоже в незапамятные времена было нечто в совершенно подобном роде. Тринадцать египетских провинций вдруг решили, что им надо освободиться и положить великий почин для всего человечества. Их мудрецы собрались и сочинили самую что ни на есть замечательную конституцию. Сначала все шло хорошо, только необычайно развилось хвастовство. Кончилось, однако, дело тем, что эти тринадцать провинций объединились с остальными не то пятнадцатью, не то двадцатью в одну деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал[950].

Я спросил, каково было имя деспота-узурпатора.

Он ответил, что, насколько помнит, имя ему было — Толпа.

Не зная, что сказать на это, я громогласно выразил сожаление по поводу того, что египтяне не знали пара.

Граф посмотрел на меня с изумлением и ничего не ответил. А молчаливый господин довольно чувствительно пихнул меня локтем под ребро и прошипел, что я и без того достаточно обнаружил свою безграмотность и что неужели я действительно настолько глуп и не слыхал, что современный паровой двигатель основан на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де Ко[951].

Было ясно, что нам угрожает полное поражение, но тут, по счастью, на выручку пришел доктор, который успел собраться с мыслями и попросил египтянина ответить, могут ли его соотечественники всерьез тягаться с современными людьми в такой важной области, как одежда.

Граф опустил глаза, задержал взгляд на штрипках своих панталон, потом взял в руку одну фалду фрака, поднял к лицу и несколько мгновений молча рассматривал. Потом выпустил, и рот его медленно растянулся от уха до уха; но, по-моему, он так ничего и не ответил.

Мы приободрились, и доктор, величаво приблизившись к мумии, потребовал, чтобы она со всей откровенностью, по чести признала, умели ли египтяне в какую-либо эпоху изготовлять «Слабительное Йейбогуса» или «Пилюли Брандрета»[952].

С замиранием сердца ждали мы ответа, но напрасно. Ответа не последовало. Египтянин покраснел и опустил голову. То был полнейший триумф. Он был побежден и имел весьма жалкий вид. Честно признаюсь, мне просто больно было смотреть на его унижение. Я взял шляпу, сдержанно поклонился мумии и ушел.

Придя домой, я обнаружил, что уже пятый час, и немедленно улегся спать. Сейчас десять часов утра. Я не сплю с семи и все это время был занят составлением настоящей памятной записки на благо моей семье и всему человечеству в целом. Семью свою я больше не увижу. Моя жена — мегера. Да и вообще, по совести сказать, мне давно поперек горла встала эта жизнь и наш девятнадцатый век. Убежден, что все идет как-то не так. К тому же мне очень хочется узнать, кто будет президентом в 2025 году. Так что я вот только побреюсь и выпью чашку кофе и, не мешкая, отправлюсь к Йейбогусу — пусть меня забальзамируют лет на двести.

Апрель, 1845

пер. И. Бернштейн

Сила слов

Ойнос[953]. Прости, Агатос, немощь духа, лишь недавно наделенного бессмертием!

Агатос[954]. Ты не сказал ничего, мой Ойнос, за что следовало бы просить прощения. Даже и здесь познание не приобретается наитием. Что до мудрости, вопрошай без стеснения ангелов, и дастся тебе!

Ойнос. Но я мечтал, что в этом существовании я сразу стану всеведущим и со всеведением сразу обрету счастье.

Агатос. Ах, не в познании счастье, а в его приобретении! Вечно познавая, мы вечно блаженны; но знать все — проклятие нечистого.

Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?

Агатос. Это (ибо он и Всеблаженнейший) должно быть единственным, неведомым даже ему.

Ойнос. Но если познания наши растут с каждым часом, ужели мы наконец не узнаем всего?

Агатос. Направь взор долу, в бездну пространств! — попытайся продвинуть его вдоль бесчисленных звездных верениц, пока мы медленно проплываем мимо — так — и так! — и так! Разве даже духовное зрение не встречает повсюду преграды бесконечных золотых стен вселенной? — стен из мириад сверкающих небесных тел, одною своею бесчисленностью слитых воедино?

Ойнос. Вижу ясно, что бесконечность материи — не греза.

Агатос. В Эдеме нет грез, но здесь говорят шепотом, что единственная цель бесконечности материи — создать бесконечное множество источников, у которых душа может утолять жажду познания, вечно неутолимую в пределах материи, ибо утолить эту жажду — значит уничтожить бытие души. Вопрошай же меня, мой Ойнос, без смущения и страха. Ну же! — оставим слева громозвучную гармонию Плеяд и воспарим от престола к звездным лугам за Орион, где вместо фиалок и нарциссов расцветают тройные и троецветные солнца.

Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы в пути, наставь меня! — вещай мне привычным земным языком. Я не понимаю твоих слов: только что ты намекнул мне на образ или смысл того, что, будучи смертными, мы

привыкли наименовать Творением. Не хочешь ли ты сказать, что Творец — не Бог?

Агатос. Я хочу сказать, что божество не творит.

Ойнос. Поясни.

Агатос. Только вначале оно творило[955]. Те кажущиеся создания, которые ныне во всей вселенной постоянно рождаются для жизни, могут считаться лишь косвенными или побочными, а не прямыми или непосредственными итогами божественной творческой силы.

Ойнос. Среди людей, мой Агатос, эту идею сочли бы крайне еретической.

Агатос. Среди ангелов, мой Ойнос, очевидно, что она — всего лишь простая истина.

Ойнос. Насколько я могу тебя покамест понять, от некоторых действий того, что мы называем Природой или естественными законами, при известных условиях возникает нечто, имеющее полную видимость творения. Я отлично помню, что незадолго до окончательной гибели Земли было поставлено много весьма успешных опытов того, что у некоторых философов хватило неразумия назвать созданием animalculae[956].

Агатос. Случаи, о которых ты говоришь, на самом деле являлись примерами вторичного творения — единственной категории творения, имевшей место с тех пор, как первое слово вызвало к жизни первый закон.

Ойнос. А ужели звездные миры, что ежечасно вырываются в небеса из бездны небытия, — ужели все эти звезды, Агатос, не сотворены самим Царем?

Агатос. Позволь мне попытаться, мой Ойнос, ступень за ступенью подвести тебя к наедаемому пониманию. Ты отлично знаешь, что, подобно тому, как никакая мысль не мокнет погибнуть, так же всякое действие рождает бесконечные следствия. К примеру, когда мы жили па Земле, то двигали руками, и каждое движение сообщало вибрацию окружающей атмосфере. Эта вибрация беспредельно распространялась, пока не сообщала импульс каждой частице земного воздуха, в котором с той поры и навсегда нечто было определено единым движением руки. Этот факт был хорошо известен математикам нашей планеты. Они достигали особых эффектов при сообщении жидкости особых импульсов, что поддавалось точному

исчислению — так что стало легко определить, за какой именно период импульс данной величины опояшет земной шар и окажет воздействие (вечное) на каждый атом окружающей атмосферы. Идя назад, они без труда могли по данному эффекту в данных условиях определить характер первоначального импульса. А математики, постигшие, что следствия каждого данного импульса абсолютно бесконечны и что часть этих следствий точно определима путем алгебраического анализа, а также то, что определение исходной точки не составляет труда, — эти ученые в то же время увидели, что сам метод анализа заключает в себе возможности бесконечного прогресса, что его совершенствование и применимость не знают пределов, за исключением умственных пределов тех. кто его совершенствует и применяет. Но тут наши математики остановились.

Ойнос. А почему, Агатос, им следовало идти дальше?

Агатос. Потому что им пришли в голову некоторые соображения, полные глубокого интереса. Из того, что они знали, можно было вывести, что наделенному бесконечным знанием, сполна постигшему совершенство алгебраического анализа не составит труда проследить за каждым импульсом, сообщенным воздуху, а также межвоздушному эфиру — до отдаленнейших последствий, что возникнут даже в любое бесконечно отдаленное время. И в самом деле, можно доказать, что каждый такой импульс, сообщенный воздуху, должен в конечном счете воздействовать на каждый обособленный предмет в пределах вселенной; — и существо; наделенное бесконечным знанием, — существо, которое мы вообразим, — способно проследить все отдаленные колебания импульса — проследить по восходящей все их влияния на каждую частицу материи — вечно по восходящей в их модификациях старых форм — или, иными словами, в их творении нового — пока не найдет их наконец-то бездейственными, отраженными от престола божества. И не только это, но если в любую эпоху дать ему некое явление — например, если предоставить ему на рассмотрение одну из этих бесчисленных комет, — ему бы не составило труда определить аналитическим путем, каким первоначальным импульсом она была вызвана к существованию. Эта возможность анализа в абсолютной полноте и совершенстве — эта способность во все эпохи относить все следствия ко всем причинам, конечно, является исключительной прерогативой божества — но в

любой степени, кроме абсолютного совершенства, этою способностью обладают в совокупности все небесные Интеллекты[957].

Ойнос. Но ты говоришь всего-навсего об импульсах, сообщаемых воздуху.

Агатос. Говоря о воздухе, я касался только Земли; но общее положение относится к импульсам, сообщаемым эфиру, — а также как эфир, и только эфир, пронизывает все пространство, то он и является великой средой творения.

Ойнос. Стало быть, творит всякое движение, независимо от своей природы?

Агатос. Так должно быть; но истинная философия давно учит нас, что источник всякого движения — мысль, а источник всякой мысли…

Ойнос. Бог.

Агатос. Я поведал тебе как сыну недавно погибшей прекрасной Земли, Ойнос, об импульсах земной атмосферы.

Ойнос. Да.

Агатос. И пока я говорил, не проскользнула ли в твоем сознании некая мысль о материальной силе слов? Разве каждое слово — не импульс, сообщаемый воздуху?

Ойнос. Но почему, Агатос, ты плачешь? — и почему, о почему крыла твои никнут, пока мы парим над этой прекрасной звездой — самой зеленой и все же самой ужасной изо всех, увиденных нами в полете? Ее лучезарные цветы подобны волшебному сновидению — но ее яростные вулканы подобны страстям смятенного сердца.

Агатос. Это так, это так! Три столетия миновало с той поры, как, ломая руки и струя потоки слез у ног моей возлюбленной — я создал эту мятежную звезду моими словами — немногими фразами, полными страсти. Ее лучезарные цветы — и вправду самые дорогие из моих несбывшихся мечтаний, а яростные вулканы — и вправду страсти самого смятенного и нечестивого из сердец.

Июнь, 1845

пер. В. Рогова

Бес противоречия

В рассмотрении способностей и наклонностей — prima mobilia[958] человеческой души — френологи[959] не уделили места побуждению, которое хотя по всей очевидности и существует как одно из врожденных, изначальных, непреодолимых чувств, но в равной степени было упущено из виду и всеми моралистами, их предшественниками. По чистой гордыне разума все мы упустили его из виду. Мы позволили его существованию ускользнуть от наших чувств единственно по недостатку веры, будь то вера в Апокалипсис или вера в Каббалу[960]. Само представление о нем никогда не приходит нам в голову просто потому, что в нем нет никакой надобности. Мы не видим нужды в этом влечении, в этой склонности. Мы не можем постичь его необходимость. Мы не понимаем, да и не могли бы понять, ежели представление об этом primum mobile и возникло бы — мы не могли бы понять, каким образом оно способно приблизить человечество к его целям, временным или вечным. Нельзя отрицать, что френология и в весьма значительной степени вся метафизика были состряпаны a priori[961]. Выдумывать схемы, диктовать цели богу принялся не человек, способный понимать и наблюдать, а скорее человек интеллекта и логики. Охватив подобным образом, к собственному удовлетворению, замыслы Иеговы, он построил из этих замыслов бесчисленные системы мышления. В области френологии, например, мы сначала решили, по вполне естественным основаниям, что божество повелело, дабы человек принимал пищу. Затем мы наделили человека органом питания, бичом, с помощью которого божество вынуждает человека принимать пищу, желает он того или нет. Во-вторых, установив, что бог повелел человеку продолжать род, мы немедленно обнаружили и орган любострастия. Так же обстояло с воинственностью, с воображением, с причинностью, с даром созидания — коротко говоря, с каждым органом, выражает ли он какую-либо склонность, моральную особенность или же чисто интеллектуальную черту. И в этих схемах principia[962] человеческих действий последователи Шпурцгейма[963], верно или нет, частично или в целом, но все же лишь следовали по

стопам своих предшественников, выводя и определяя все из заранее предустановленных судеб рода человеческого и целей творца.

Было бы мудрее, было бы безопаснее, если бы наша классификация (раз уж мы должны классифицировать) исходила из того, как человек обычно или иногда поступает, а не из того, как, по нашему убеждению, предназначило ему поступать божество. Ежели мы не в силах постичь бога в его зримых деяниях, то как нам познать его непостижимые мысли, рождающие эти деяния? Ежели нам непонятны его объективные создания, то как его понять в его свободных желаниях и фазах созидания?

Индукция a posteriori[964] вынудила бы френологию признать изначальным и врожденным двигателем человеческих действий парадоксальное нечто, которое за неимением более точного термина можно назвать противоречивостью или упрямством. В том смысле, который я имею в виду, это — mobile[965] без мотива, мотив не motivirt[966]. По его подсказу мы действуем без какой-либо постижимой цепи; или, если это воспримут как противоречие в терминах, мы можем модифицировать это суждение и сказать, что по его подсказу мы поступаем так-то именно потому, что так поступать не должны. Теоретически никакое основание не может быть более неосновательным; но фактически нет основания сильнее. С некоторыми умами и при некоторых условиях оно становится абсолютно неодолимым. Я столь же уверен в том, что дышу, сколь и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия часто оказывается единственной непобедимой силой, которая — и ничто иное — вынуждает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая тенденция поступать себе во вред ради вреда не поддается анализу или отысканию в ней скрытых элементов. Это врожденный, изначальный, элементарный импульс. Знаю, мне возразят, будто наше стремление упорствовать в поступках именно от сознания того, что мы в них упорствовать не должны, является лишь разновидностью черты, которую френология называет воинственностью. Но самый беглый взгляд докажет ошибочность подобного предположения. В основе френологической «воинственности» лежит необходимость самозащиты. В ней — наша охрана от повреждений физического характера. Ее суть — в обеспечении нашего благосостояния; и стремление к нему возбуждается одновременно с ее развитием.

Следовательно, стремление к благосостоянию должно быть возбуждено одновременно с любою разновидностью «воинственности», но в том, что я называю противоречивостью, не только не возникает стремление к благосостоянию, но нами движет, и весьма сильно, чувство прямо противоположное.

Обращение к собственной душе окажется, в конце концов, лучшим ответом на только что отмеченную софистику. Всякий, кто доверчиво и внимательно вопрошает свою душу, не будет отрицать, что особенность, о которой идет речь, безусловно, коренная черта. Она непостижима столь же, сколь и очевидна. Нет человека, который когда-нибудь не мучился бы, например, непреоборимым желанием истерзать слушателя многословием своих речей. Говорящий сознает, что вызывает недовольство; он всемерно хочет угодить собеседнику; обычно он изъясняется кратко, точно и ясно; самые лаконичные и легкие фразы вертятся у него на языке; лишь с трудом он удерживается от их произнесения; он боится разгневать того, к кому обращается; и все же его поражает мысль, что если он будет отклоняться от своего предмета и нанизывать отступления, то гнев может возникнуть. Одной подобной мысли достаточно. Неясный порыв вырастает в желание, желание — в стремление, стремление — в неудержимую жажду, и жажда эта (к глубокому огорчению и сожалению говорящего), несмотря на все могущие возникнуть последствия, удовлетворяется.

Перед нами работа, требующая скорейшего выполнения. Мы знаем, что оттягивать ее гибельно. Мы слышим трубный зов: то кличет нас к немедленной, энергической деятельности важнейшее, переломное событие всей нашей жизни. Мы пылаем, снедаемые нетерпением, мы жаждем приняться за труд — предвкушение его славного итога воспламеняет нам душу. Работа должна быть, будет сделана сегодня, и все же мы откладываем ее на завтра; а почему? Ответа нет, кроме того, что мы испытываем желание поступить наперекор, сами не понимая почему. Наступает завтра, а с ним еще более нетерпеливое желание исполнить свой долг, но по мере роста нетерпения приходит также безымянное, прямо-таки ужасающее — потому что непостижимое — желание медлить. Это желание усиливается, пока пролетают мгновения. Близок последний час. Мы содрогаемся от буйства борьбы, проходящей внутри нас, борьбы определенного с неопределенным, материи с тенью. Но если

единоборство зашло так далеко, то побеждает тень, и мы напрасно боремся. Бьют часы, и это похоронный звон по нашему благополучию. В то же время это петушиный крик для призрака, овладевшего нами. Он исчезает — его нет — мы свободны. Теперь мы готовы трудиться. Увы, слишком поздно!

Мы стоим на краю пропасти. Мы всматриваемся в бездну — мы начинаем ощущать дурноту и головокружение. Наш первый порыв — отдалиться от опасности. Непонятно почему, мы остаемся. Постепенно дурнота, головокружение и страх сливаются в некое облако — облако чувства, которому нельзя отыскать название. Мало-помалу, едва заметно, это облако принимает очертание, подобно дыму, что вырвался из бутылки, заключавшей джинна, как сказано в «Тысяче и одной ночи». Но из нашего облака на краю пропасти возникает и становится осязаемым образ куда более ужасный, нежели какой угодно сказочный джинн или демон, и все же это лишь мысль, хотя и страшная, леденящая до мозга костей бешеным упоением, которое мы находим в самом ужасе. Это всего лишь представление о том, что мы ощутим во время стремительного низвержения с подобной высоты. И это падение — эта молниеносная гибель — именно потому, что ее сопровождает самый жуткий и отвратительный изо всех самых жутких и отвратительных образов смерти и страдания, когда-либо являвшихся вашему воображению, — именно поэтому и становится желаннее. И так как наш рассудок яростно уводит нас от края пропасти — потому мы с такой настойчивостью к нему приближаемся. Нет в природе страсти, исполненной столь демонического нетерпения, нежели страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок. Попытаться хоть на мгновение думать означает неизбежную гибель; ибо рефлексия лишь внушает нам воздержаться, и потому, говорю я, мы и не можем воздержаться. Если рядом не найдется дружеской руки, которая удержала бы нас, или если нам не удастся внезапным усилием отшатнуться от бездны и упасть навзничь, мы бросаемся в нее и гибнем.

Можно рассматривать подобные поступки как нам вздумается, и все равно будет ясно, что исходят они единственно от духа Противоречия. Мы совершаем их, ибо чувствуем, что не должны их совершать. Никакого объяснимого принципа за ними не кроется; и,

право, мы могли бы счесть это стремление поступать наперекор прямым подсказом нечистого, ежели бы порою оно не служило добру.

Я сказал все это, дабы в какой-то мере ответить на ваш вопрос — дабы объяснить вам, почему я здесь — дабы оставить вам нечто, имеющее хоть слабую видимость причины тому, что я закован в эти цепи и обитаю в камере смертников. Не будь я столь пространным, вы или могли бы понять меня совсем уж превратно, или, заодно с чернью, сочли бы меня пометанным. А так вы с легкостью увидите, что я — одна из многих неисчислимых жертв Беса Противоречия.

Никакой поступок не мог быть взвешен с большей точностью. Недели, месяцы я обдумывал способ убийства. Я отверг тысячу планов, ибо их выполнение влекло за собою вероятность случайного раскрытия. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я обнаружил в них описание того, как мадам Пило была поражена почти фатальным недугом при посредстве отравленной свечи. Идея эта мгновенно привлекла меня. Я знал, что тот, кого я наметил в жертвы, имел привычку читать в постели. Знал я также, что его комната тесна и плохо проветривается. Но нет нужды докучать вам излишними подробностями. Нет нужды описывать нехитрые уловки, при помощи которых я подменил свечу из шандала в его спальне другою, сделанною мною самим. На следующее утро его нашли мертвым в постели, и заключение коронера гласило: «Смерть от руки божией».

Унаследовав его состояние, я многие годы благоденствовал. Мысль о разоблачении ни разу не посещала мой мозг. От остатков роковой свечи я самым тщательным образом избавился. Я не оставил и тени улики, при помощи которой возможно было бы осудить меня за преступление или даже заподозрить в нем. Непостижимо, сколь полное чувство удовлетворения возникало в моем сердце, пока я размышлял о совершенной моей безопасности. Весьма длительное время я упивался этим чувством. Оно доставляло мне больше истинного наслаждения, нежели все мирские преимущества, истекающие из моего греха. Но наконец наступила пора, когда отрадное чувство едва заметно превратилось в неотвязную и угнетающую мысль. Именно ее неотвязность и угнетала. Я едва был в силах избавиться от нее хотя бы на миг. Нередко у нас в ушах, или, вернее, в памяти, вертится припев какой-нибудь пошлой песни или ничем не примечательные обрывки оперы. И мучения наши не

уменьшатся, если песня сама по себе будет хороша, а оперный мотив — достоин высокой оценки. Подобно этому и я наконец начал ловить себя на том, что постоянно думаю о своей безопасности и едва слышно повторяю себе под нос: «Нечего бояться».

Однажды, прогуливаясь по улицам, я внезапно заметил, что бормочу эти привычные слова вполголоса. В припадке своеволия я переиначил их следующим образом: «Нечего бояться — нечего бояться — да — если только я по глупости сам не сознаюсь!»

Не успел я выговорить эти слова, как ледяной холод окатил мне сердце. У меня был известный опыт подобных припадков противоречия (природу которых я старался вам объяснить), и я отчетливо вспомнил, что ни разу мне не удалось успешно противостоять их натиску. И ныне то, что я сам себе небрежно внушил — будто я могу оказаться таким глупцом, что сознаюсь в совершенном мною убийстве — возникло передо мною, как само привидение моей жертвы, — и поманило меня к смерти.

Сперва я попытался стряхнуть с души этот кошмар. Я ускорил шаг — пошел быстрее — еще быстрее — наконец побежал. Я испытывал бешеное желание завопить во весь голос. Каждая последующая волна мысли обдавала меня новым ужасом, ибо, увы! я хорошо, слишком хорошо сознавал, что в моем положении подумать — значит погибнуть. Я все ускорял шаг. Я метался как сумасшедший по запруженным толпами улицам. Наконец прохожие встревожились и начали меня преследовать. И тогда я почувствовал, что судьба моя свершилась. Я бы вырвал себе язык, если бы мог, но в ушах у меня прогремел грубый голос — чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я повернулся, задыхаясь. На единый миг я ощутил все муки удушья; я ослеп, оглох, голова моя кружилась; и тогда, как мне показалось, некий невидимый дьявол ударил меня своею широкой) ладонью в спину. Долго скрываемая тайна вырвалась из моей души.

Говорят, что произношение мое было весьма отчетливо, хотя я чрезмерно подчеркивал каждый слог и бешено торопился, как бы опасаясь, что меня перебьют до завершения кратких, но веских фраз, которые обрекли меня палачу и преисподней.

Поведав все, необходимое для моего полнейшего юридического осуждения, я упал без чувств.

Но к чему говорить еще? Сегодня я в этих кандалах — и здесь! Завтра я буду без цепей! — но где?

Июль, 1845

пер. В. Рогова

Система доктора Смоля и профессора Перро

Осенью 18.. года, путешествуя по самым южным департаментам Франции, я оказался в нескольких милях от одного Maison de Sante, или частной лечебницы для душевнобольных, о которой я много слышал от знакомых парижских врачей. Я никогда не бывал в подобного рода заведениях и вот, решив не упускать представившейся мне возможности, предложил своему попутчику (господину, с которым случайно познакомился несколькими днями раньше) сделать небольшой крюк и потратить часок-другой на осмотр лечебницы. Но спутник мой отказался, сославшись, во-первых, на то, что очень спешит, и, во-вторых, на вполне естественное чувство страха перед умалишенными. Впрочем, он просил меня не стесняться и сказал, что соображения вежливости не должны помешать мне удовлетворить свое любопытство; он добавил, что поедет не спеша и что я смогу догнать его сегодня же или, в крайнем случае, завтра. Когда мы прощались, мне пришло в голову, что доступ в лечебницу может быть затруднен и меня, пожалуй, не впустят туда; опасениями на этот счет я поделился со своим спутником. Он ответил, что затруднения действительно могут возникнуть, если только я не знаком лично с главным врачом, м-сье Майяром, и не располагаю никакими рекомендательными письмами: ведь порядки в таких частных заведениях гораздо более строгие, чем в казенных больницах. Сам он, как выяснилось, познакомился где-то с Майяром несколько лет назад и берется проводить и представить меня; ему же самому чувство страха, о котором он говорил, не позволяет переступить порог этого дома.

Я поблагодарил его, и мы свернули с большой дороги на заросший травою проселок. Не прошло и получаса, как он почти совсем затерялся в густом лесу у подножия горы. Мы проехали около двух миль сквозь эту сырую мрачную чащу, и вот наконец нашим взорам предстал Maison de Sante. Это был причудливой постройки chateau[967], столь пострадавший от времени, такой обветшалый и запущенный, что, право, казалось невероятным, чтобы здесь жили люди. При виде этого дома я содрогнулся от страха, остановил лошадь

и был уже готов повернуть назад. Впрочем, вскоре я устыдился своей слабости и продолжал путь.

Мы подъехали к воротам. Я заметил, что они приотворены и какой-то человек выглядывает из-за них. В следующее мгновение этот человек вышел нам навстречу, окликнул моего спутника по имени, радушно пожал ему руку и попросил спешиться. Это был сам м-сье Майяр, видный и красивый джентльмен старого закала — с изящными манерами и тем особым выражением лица, важным, внушительным и полным достоинства, которое производит столь сильное впечатление на окружающих.

Мой друг представил меня, сообщил о моем желании осмотреть больницу и, выслушав заверения м-сье Майяра в том, что мне будет уделено все возможное внимание, тут же откланялся. С тех пор я больше его не видел.

Когда он уехал, главный врач провел меня в маленькую, но чрезвычайно изящно убранную гостиную, где все свидетельствовало о тонком вкусе: книги, рисунки, горшки с цветами, музыкальные инструменты и многое другое. В камине весело пылал огонь. За фортепьяно сидела молодая, очень красивая женщина и пела арию из какой-то оперы Беллини. Увидев гостя, она прервала пение и приветствовала меня с очаровательной любезностью. Говорила она негромко, во всей манере сквозила какая-то покорная мягкость. Мне почудилась скрытая печаль в ее лице, удивительная бледность которого была, на мой вкус, не лишена приятности. Она была в глубоком трауре и пробуждала в моем сердце смешанное чувство уважения, интереса и восхищения.

Мне приходилось слышать в Париже, что заведение м-сье Майяра основано на тех принципах, которые в просторечии именуются «системой поблажек», что наказания здесь не применяются вовсе, что даже к изоляции стараются прибегать пореже, что пациенты, находясь под тайным надзором, пользуются, на первый взгляд, немалой свободой и что большинству из них разрешается разгуливать по дому и саду в обычной одежде, какую носят здоровые люди.

Памятуя обо всем этом, я держался весьма осмотрительно, беседуя с молодой дамой, ибо полной уверенности, что она в здравом уме, у меня не было; и точно, в глазах ее я заметил какой-то беспокойный блеск, который почти убедил меня в противном. Поэтому

я ограничивался общими темами и такими замечаниями, которые, по моему разумению, не могли рассердить или взволновать даже сумасшедшего. На все, что я говорил, она отвечала вполне разумно, а собственные ее высказывания были исполнены трезвости и здравого смысла. Однако продолжительные занятия теорией mania[968] научили меня относиться с недоверием к подобным доказательствам душевного равновесия, и на протяжении всего разговора я сохранял ту же осторожность, какую проявил в самом начале.

Вскоре появился расторопный лакей в ливрее и с подносом в руках. Я занялся принесенными им фруктами, вином и закусками, а дама тем временем покинула комнату. Когда она ушла, я повернулся к хозяину и вопрошающе взглянул на него.

— Нет, — сказал он, — нет, что вы! Это моя родственница — племянница, весьма образованная женщина.

— О, тысяча извинений! — воскликнул я. — Простите мне мою ошибку, но вы, бесспорно, и сами понимаете, чем ее можно оправдать. Превосходная постановка дела здесь у вас хорошо известна в Париже, и я счел вполне возможным… вы понимаете…

— Да, да! Не стоит об этом говорить! Скорее уж мне надлежит благодарить вас за вашу похвальную осторожность. Редко встретишь в молодых людях такую осмотрительность, и я могу привести не один пример весьма плачевных contre-temps[969], которые были следствием легкомыслия наших посетителей. Пока действовала моя прежняя система и пациентам предоставлялось разгуливать где им вздумается, они часто впадали в состояние крайнего возбуждения по вине неблагоразумных посетителей, приезжавших осматривать наш дом. Поэтому мне пришлось ввести систему жестких ограничений, и теперь в лечебницу не допускается ни один человек, чья способность соответствующим образом держать себя внушала бы сомнения.

— Пока действовала ваша прежняя система?! — повторил я вслед за ним. — Правильно ли я понял вас? Значит, «система поблажек», о которой я столько наслышан, больше не применяется?

— Да, — ответил он. — Вот уже несколько недель, как мы решили отказаться от нее навсегда.

— Не может быть! Вы меня удивляете!

— Мы сочли совершенно необходимым, сэр, — сказал он со вздохом, — вернуться к традиционным методам. Опасность, связанная

с «системой поблажек», значительна, а преимущества ее сильно преувеличены. Уж если эта система и подвергалась где-нибудь добросовестной проверке, так именно у нас, сэр, смею вас заверить. Мы делали все, что подсказывала разумная гуманность. Как жаль, что вы не побывали у нас прежде, — вы бы могли обо всем судить сами. Насколько я понимаю, «система поблажек» знакома вам во всех подробностях, не так ли?

— Не совсем так. Все мои сведения — из третьих или четвертых рук.

— Что ж, в общих чертах я определил бы ее, пожалуй, как такую систему, когда больного menagent[970] и во всем ему потакают. Что бы сумасшедшему ни взбрело в голову — он не встречает ни малейшего противодействия с нашей стороны. Мы не только не мешали, но, напротив, потворствовали их причудам, на этом были основаны многие случаи излечения, и к тому же — наиболее устойчивого. Нет для ослабевшего, больного рассудка аргумента более убедительного, нежели argumentum ad absurdum[971]. Были у нас, например, пациенты, вообразившие себя цыплятами. Лечение состояло в том, что мы признали их фантазии фактом и настаивали на нем: бранили больного за бестолковость, если он недостаточно глубоко сознавал этот факт, и на этом основании кормили его в течение целой недели только тем, что едят цыплята. Какая-нибудь горсть зерна и мелких камешков творила в таких случаях настоящие чудеса.

— Но разве к подобного рода потачкам сводилось все?

— Ну, разумеется, нет. Значительную роль играли нехитрые развлечения — такие, как музыка, танцы, всякого рода гимнастические упражнения, карты, некоторые книги и так далее. Мы делали вид, будто лечим каждого от какого-нибудь заурядного телесного недуга, и слово «безумие» никогда не произносилось. Было очень важно заставить каждого сумасшедшего наблюдать за поступками всех остальных. Дайте понять умалишенному, что вы полагаетесь на его благоразумие и сообразительность, — и он ваш телом и душой. Действуя таким образом, мы избавились от необходимости содержать целый штат надзирателей, которые обходятся недешево.

— И у вас не было никаких наказаний?

— Никаких.

— И вы никогда не изолировали своих пациентов?

— Крайне редко. Время от времени с кем-нибудь из Них случался неожиданный припадок буйства или наступало обострение болезни. Тогда мы помещали больного в отдельную камеру, чтобы он не влиял заражающе на других, и он оставался там до тех пор, пока не представлялась возможность передать его в руки родных; буйных мы не держим, обычно их увозят в казенные больницы.

— А теперь все у вас по-новому, и, вы полагаете, лучше, чем прежде?

— Да, бесспорно. У этой системы были свои слабые и даже опасные стороны. Теперь она, к счастью, уже изгнана во Франции из всех Maisons de Sante.

— Ваши слова, — возразил я, — изумляют меня до крайности; я был твердо уверен, что нет сейчас во всей стране ни одного заведения, где применяется какой-либо иной метод лечения душевных болезней.

— Вы еще молоды, друг мой, — отвечал хозяин, — но придет время, и обо всем, что происходит на свете, вы научитесь судить самостоятельно, не полагаясь на чужую болтовню. Ушам своим не верьте вовсе, а глазам — только наполовину. Так вот и с нашим Maison de Sante: какой-нибудь невежда ввел вас в заблуждение, это ясно. Впрочем, после обеда, когда вы как следует отдохнете с дороги, я с великим удовольствием покажу вам дом и познакомлю вас с системой, которая, по моему мнению, а также по мнению всех, кому случалось видеть ее в действии, несравненно эффективнее всего, что удавалось раньше придумать.

— Это ваша собственная система? — спросил я. — Вы сами ее создали?

— Да, и я горд, что могу назвать ее своей — во всяком случае, до некоторой степени.

Так мы беседовали с м-сье Майяром час или два, в продолжение которых он показывал мне сад и оранжерею.

— Ваше знакомство с пациентами придется несколько отложить, — объявил он. — Для впечатлительного ума всегда есть что-то более или менее гнетущее в таких зрелищах, а я не хотел бы лишать вас аппетита перед обедом. Мы непременно пообедаем. Я угощу вас телятиной а-ля Мену с цветною капустой в соусе veloute[972] и вы запьете ее стаканом кло-де-вужо. Тогда уж мы как следует укрепим ваши нервы.

В шесть позвали к обеду; мой хозяин провел меня в salle a manger[973], просторную комнату, где нас уже ждало весьма многочисленное общество — всего человек двадцать пять — тридцать. Это были, по-видимому, люди знатного происхождения и, несомненно, наилучшего воспитания, хотя должен признаться, что наряды их показались мне непомерно роскошными, как-то слишком грубо напоминавшими показную пышность vieille cour[974]. Мое внимание привлекли дамы: они составляли почти две трети приглашенных, и некоторые были одеты так, что парижанин не нашел бы в их туалетах даже намека на то, что сегодня принято считать хорошим вкусом. Так, многие женщины в возрасте никак не менее семидесяти оказались прямо-таки обвешанными драгоценностями — кольцами, браслетами, серьгами, а их грудь и плечи были бесстыдно обнажены. Я заметил также, что очень немногие наряды были хорошо сшиты, — во всяком случае, очень немногие из них хорошо сидели на своих владельцах. Оглядевшись, я заметил красивую девушку, которой м-сье Майяр представил меня в маленькой гостиной; но каково же было мое изумление, когда я увидел на ней юбку с фижмами, туфли на высоком каблуке и грязный чепец из брюссельских кружев, который был ей настолько велик, что лицо выглядело до смешного маленьким. Когда я видел ее в первый раз, она была в глубоком трауре, что очень к ней шло. Одним словом, в одежде всех собравшихся чувствовалось нечто странное — нечто такое, что в первую минуту снова вернуло меня к прежним мыслям о «системе поблажек», и я подумал, что м-сье Майяр решил до конца обеда держать меня в неведении относительно того, кто такие наши соседи: по-видимому, он опасался, что обед за одним столом с сумасшедшими не доставит мне особенного удовольствия. Однако я сразу же вспомнил рассказы парижских друзей о южанах — какой это странный, эксцентричный народ и как упорно они держатся за свои старые понятия, — а разговор с двумя-тремя гостями немедленно и окончательно рассеял все мои подозрения.

Что касается самой столовой, то ей не хватало изящества, хотя, пожалуй, в удобстве и достаточно больших размерах ей нельзя было отказать. Ковра на полу не было, — впрочем, во Франции часто обходятся без ковров, — не было и занавесей на окнах, ставни были закрыты и заперты крепкими железными засовами, положенными крест-накрест, какие мы видим обыкновенно на ставнях лавок.

Столовая, как я успел установить, занимала одно из прямоугольных крыльев chateau. Окна выходили на три стороны, а дверь — на четвертую; всего я насчитал не меньше десяти окон.

Стол был сервирован роскошно, сплошь уставлен блюдами и ломился от всевозможных тонких яств. Это поистине варварское изобилие не поддается описанию. Мяса было столько, что хватило бы для пира сынов Енаковых[975]. Никогда в жизни не видывал я столь широкого, столь необузданного расточения жизненных благ. Но вкуса во всем этом ощущалось очень немного, и мои глаза, привыкшие к ровному мягкому свету, жестоко страдали от ослепительного сверкания бесчисленных восковых свечей в серебряных канделябрах, которые были расставлены на столе и по всей комнате — везде, где только удалось найти для них место. Прислуживало несколько расторопных лакеев, а за большим столом в дальнем углу сидело человек семь-восемь со скрипками, флейтами, тромбонами и барабаном. Эти молодцы жестоко досаждали мне за обедом, извлекая время от времени из своих инструментов бесконечно разнообразные звуки, которые должны были изображать музыку, и, по-видимому, доставляли большое удовольствие всем присутствовавшим, за исключением меня.

В общем, я никак не мог избавиться от мысли, что во всем происходящем перед моими глазами очень много bizarre[976], но ведь в конце-то концов на свете встречаешь людей любого склада, с любым образом мыслей, любыми традициями и привычками. К тому же я достаточно путешествовал, чтобы стать приверженцем принципа nil admirari[977], и вот, сохраняя полное хладнокровие, я занял место по правую руку от хозяина и, отнюдь не страдая отсутствием аппетита, воздал должное щедрому угощению, которое передо мною стояло.

Беседа за столом была оживленной и общей. Дамы, как водится, болтали без умолку. Вскоре я убедился, что общество почти целиком состояло из людей образованных; а сам хозяин оказался неисчерпаемым источником веселых анекдотов. Видимо, он любил поговорить о своих обязанностях директора Maison de Sante, и вообще все присутствовавшие, к великому моему изумлению, с большой охотой рассуждали о помешательстве. Забавные истории относительно разных «пунктиков» пациентов следовали одна за другой.

— Был у нас здесь один тип, — заявил низенький толстяк, сидевший справа от меня, — был у нас здесь один тип, который вообразил себя чайником. К слову сказать, прямо поразительно, как часто в мозгу у помешанных застревает именно эта бредовая идея. Едва ли найдется во Франции хоть один сумасшедший дом без такого человека-чайника. Наш господин был чайником английского производства и каждое утро исправно начищал себя оленьей замшей и мелом.

— А еще, — подхватил высокий мужчина, сидевший напротив, — был у нас здесь не так давно один субъект, который вбил себе в голову, что он осел, — говоря в переносном смысле, он был совершенно прав, этого нельзя не признать. И какой же беспокойный был пациент, сколько трудов нам стоило держать его в узде! Одно время он не желал есть ничего, кроме чертополоха; но от этой фантазии мы его живо избавили, настаивая на том, чтобы он ничего другого не ел. А к тому же он еще постоянно лягался — вот так… вот так…

— М-сье де Кок, извольте вести себя прилично, — прервала оратора пожилая дама, сидевшая рядом с ним. — Поосторожнее, прошу вас, не дрыгайте ногами. Вы мне испортили все платье, а ведь оно парчовое! Разве так уж необходимо, в самом деле, иллюстрировать свою мысль столь наглядным способом? Наш друг легко понял бы вас и без того. Честное слово, вы почти такой же осел, каким воображал себя тот бедняга. У вас все это так естественно получается, право!

— Mille pardons! Mamselle![978] — отвечал м-сье де Кок, выслушав такое внушение. — Тысяча извинений! У меня и в мыслях не было причинить вам хоть малейшее неудобство! Мадемуазель Лаплас, м-сье де Кок имеет честь пить за ваше здоровье!

И с этими словами м-сье де Кок низко поклонился, весьма церемонно поцеловал кончики своих пальцев и чокнулся с мадемуазель Лаплас.

— Разрешите мне, mon ami, — сказал м-сье Майяр, обращаясь ко мне, — разрешите предложить вам кусочек этой телятины а-ля святой Мену — она бесподобна, вот увидите!

В это мгновение трое дюжих лакеев после долгих усилий благополучно водрузили наконец на стол огромное блюдо, или, вернее, целую платформу, на которой, как я сначала решил, покоилось monstrum, horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum[979]. При

ближайшем рассмотрении оказалось, впрочем, что это всего-навсего маленький теленок: он был зажарен целиком и стоял на коленях, а во рту у него было яблоко, — так обычно жарят в Англии зайцев.

— Благодарю вас, не беспокойтесь, — ответил я. — Сказать по правде, я не такой уж поклонник телятины а-ля святой… как бишь вы ее назвали? Мне кажется, что желудок мой с ней не справится. Попробую-ка я, с вашего разрешения, кролика, — вот только тарелку переменю.

На столе было еще несколько блюд поменьше, с обыкновенной, как мне показалось, крольчатиной по-французски, — лакомейший morceau[980], смею вас заверить.

— Пьер, — крикнул хозяин, — перемените господину тарелку и положите ему ножку этого кролика au chat[981].

— Этого… как?

— Этого кролика au chat.

— Гм, благодарю вас, не стоит, пожалуй. Лучше я возьму себе ветчины. «Никогда не знаешь толком, чем тебя кормят за столом у этих провинциалов, — подумал я про себя. — Благодарю покорно, не нужно мне ни их кроликов под кошку, ни в равной мере кошек под кролика».

— А еще, — подхватил оборвавшуюся было нить разговора какой-то гость с бледным, как у мертвеца, лицом, сидевший на конце стола, — а еще, припоминаю, был у нас однажды среди прочих забавных чудаков пациент, который упорно утверждал, будто он кордовский сыр, и ходил повсюду с ножом в руке, приставая к приятелям и умоляя их отрезать у него ломтик от ноги.

— Да, несомненно он был полный идиот, — вмешался тут еще кто-то, — но все же его и сравнивать нельзя с тем экземпляром, который каждому из нас известен, за исключением лишь вот этого приезжего господина. Я говорю о человеке, который принимал себя за бутылку шампанского и то и дело откупоривался, стреляя пробкой и шипя, — вот таким манером…

Тут говоривший (на мой взгляд, это было верхом невоспитанности) засунул большой палец правой руки за левую щеку и выдернул его со звуком, напоминавшим хлопанье пробки, а затем, подражая пенящемуся шампанскому и ловко прижимая язык к зубам, издал резкий свист и шипение, не прекращавшиеся в течение нескольких минут. Я отчетливо увидел, что такое поведение пришлось

не совсем по вкусу м-сье Майяру, но он не промолвил ни слова, и в разговор вступил очень тощий и очень маленький человечек в большом парике.

— А еще был здесь один простофиля, — сказал он, — которому казалось, что он лягушка. К слову сказать, он ни капельки не походил на лягушку. Жаль, что вам не довелось встретиться с ним, сэр, — продолжал тощий господин, обращаясь ко мне, — вы получили бы истинное наслаждение, видя, какой естественности ему удалось достигнуть. Если, сэр, этот человек не был лягушкой, то я могу только выразить сожаление по этому поводу. Ах, уж это его кваканье — вот так: о-о-гх! о-о-о-гх! Прекраснейший звук в мире! Си-бемоль, да и только! А когда, он, бывало, выпьет стаканчик-другой вина да положит локти на стол — вот так! — да растянет рот до ушей — вот так! — да как заворочает глазами — вот так! — да как заморгает с быстротою, уму непостижимой, — ну, сэр, тут уж — беру на себя смелость прямо заявить вам об этом, — тут уж вы решительно остолбенели бы, восхищаясь талантами этого человека!

— Нисколько в этом не сомневаюсь, — отозвался я.

— А еще, — сказал кто-то из сидевших за столом, — был здесь премилый проказник, который принимал себя за понюшку табака и все страдал, что никак не может зажать самого себя между указательным и большим пальцами.

— А еще был здесь некто Жюль Дезульер. Вот уж у него действительно были какие-то странные фантазии: он помешался на том, будто он тыква, и без конца надоедал кухарке, умоляя запечь его в пирог, но кухарка с негодованием отказывалась. Что до меня, то я далеко не уверен, что этот пирог с тыквой а-ля Дезульер был бы таким уж невкусным блюдом!

— Удивительно! — воскликнул я и вопрошающе взглянул на м-сье Майяра.

— Ха-ха-ха! — заливался смехом этот джентльмен. — Хе-хехе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! Ху-ху-ху! Право же, великолепно! Не удивляйтесь, mon ami, наш друг — остряк, этакий, знаете ли, drole[982], не принимайте его всерьез!

— А еще, — раздался голос с другого конца стола, — еще был здесь один шут гороховый — тоже выдающаяся личность в своем роде. Он свихнулся от любви и вообразил, будто у него две головы: одна —

Цицерона, а другая — составная: от макушки до рта — Демосфенова, а ниже, до подбородка, — лорда Брума[983]. Может быть, он и ошибался, но он любого сумел бы убедить в своей правоте — уж очень был красноречив! У него была настоящая страсть к публичным выступлениям, страсть непреодолимая и необузданная. Бывало, как вскочит на обеденный стол — вот так!.. — и как…

Тут сосед и, по-видимому, один из приятелей говорившего, положил ему руку на плечо и прошептал на ухо несколько слов; тот немедленно оборвал свою речь и опустился на стул.

— А еще, — заявил во всеуслышание, перестав шептать, приятель предыдущего оратора, — был здесь Буллар-волчок. Я называю его волчком потому, что им овладела забавная, но вовсе не столь уж нелепая фантазия — будто он стал волчком. Вы бы от смеха померли, если б на него поглядели. Он мог вертеться на одном каблуке целый час без передышки — вот так…

Тут приятель, которого он сам только что угомонил, оказал ему в точности такую же услугу.

— А все-таки, — крикнула во всю мочь старая леди, — ваш м-сье Буллар в лучшем случае — сумасшедший, и к тому же крайне глупый сумасшедший. Человек-юла! Слыханное ли это дело, позвольте спросить? Чепуха! Вот мадам Жуаез — та была гораздо благоразумнее, как вам известно. У нее тоже была своя фантазия, но фантазия, исполненная здравого смысла и доставлявшая удовольствие всякому, кто имел честь быть знакомым с этой особой. После долгих размышлений она обнаружила, что по какой-то случайности обратилась в молодого петушка и стала держать себя соответствующим образом. Она хлопала крыльями поразительно удачно — вот так! вот так! А ее пение — ах, оно было просто восхитительно! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-реку-у-у-у-у!

— Мадам Жуаез, прошу вас вести себя прилично! — вмешался тут наш хозяин, весьма рассерженный. — Либо держите себя так, как подобает даме, либо сейчас же уйдите вон из-за стола! Выбирайте!

Мадам Жуаез (я был немало удивлен, услышав, как после описания мадам Жуаез, только что сделанного пожилой дамой, ее называют этим же именем) вспыхнула до корней волос и была, казалось, до крайности сконфужена выговором. Она опустила голову и не произнесла в ответ ни звука. Но другая, на сей раз более молодая

леди, поддержала разговор. Это была моя старая знакомая — красивая девушка из маленькой гостиной.

— О, мадам Жуаез и в самом деле была дура! — воскликнула она. — Зато во взглядах Эжени Сальсафетт действительно чувствовался трезвый ум. Это была очень красивая и до болезненности скромная молодая дама, которая считала обычный способ одеваться непристойным и хотела изменить его так, чтобы быть вне, а не внутри своего платья. В конце концов это не так уж сложно. Вы должны только сделать так… а потом так… так-так… и так…

— Мол Dieu! Мадемуазель Сальсафетт, — раздался одновременно десяток голосов. — Что вы задумали? Довольно! Достаточно нам уже вполне ясно, как это делается! Хватит! Хватит! — И несколько человек вскочило со своих мест, чтобы помешать мадемуазель Сальсафетт предстать перед нами в костюме Венеры Медицейской, но вдруг, как бы завершая эту эффектную сцену, раздались громкие, пронзительные крики и вопли, доносившиеся откуда-то из центральной части chateau.

На мои нервы эти вопли произвели очень тяжелое впечатление, но все же я не мог не почувствовать искреннего сострадания ко всей остальной компании: за всю мою жизнь не видел я у нормальных людей такого смертельного испуга. Все они побелели, как стена, и, съежившись на своих стульях, дрожали и лязгали зубами от страха, прислушиваясь, не повторятся ли звуки снова. И они повторились — громче и, как мне показалось, ближе, а потом в третий раз — очень громко, а потом в четвертый, — но сила их явно пошла на убыль. Когда не осталось больше сомнений, что шум затихает, настроение собравшихся мгновенно улучшилось, все опять оживились, опять посыпались забавные истории. Тут я рискнул осведомиться о причине недавнего смятения.

— Сущая bagatelle[984], — заявил м-сье Майяр. — Мы уже привыкли к подобным происшествиям и не обращаем на них внимания. Время от времени сумасшедшие поднимают вой: один начинает, другой подхватывает, как бывает иной раз по ночам в собачьих сворах. Иногда, правда, такой concerto[985] воплей сопровождается попыткой вырваться на свободу; в этих случаях некоторая опасность, конечно, существует.

— А сколько больных у вас на попечении?

— В настоящее время не более десяти.

— В основном женщины, я полагаю?

— О нет, одни мужчины, и к тому же здоровенные, скажу я вам.

— Вот как? А я всегда был уверен, что большинство сумасшедших — особы женского пола.

— Обычно это так, но не всегда. Еще недавно здесь было что-то около двадцати семи пациентов; не менее восемнадцати из этого числа были женщины. Но затем положение резко изменилось, как видите.

— Да, резко изменилось, как видите, — вмешался господин, который, брыкаясь, едва не переломал ноги мадемуазель Лаплас

— Да, резко изменилось, как видите, — подхватили хором все собравшиеся.

— Эй, вы, попридержите языки! — закричал в сильном гневе хозяин. Немедленно воцарилась мертвая тишина, продолжавшаяся около минуты. А одна леди поняла требование м-сье Майяра буквально и, высунув язык, оказавшийся необыкновенно длинным, покорно схватила его обеими руками да так и держала до конца обеда.

— А эта дама, — сказал, я, наклонившись к м-сье Майяру и обращаясь к нему шепотом, — эта милая леди, которая недавно говорила и кукарекала… она… я полагаю, безобидна, вполне безобидна… а?

— Безобидна?! — воскликнул он в неподдельном изумлении. — То есть как это? Что вы имеете в виду?

— Чуть-чуть не в себе, — сказал я, притрагиваясь к своей голове. — По-моему, она не особенно… не опасно больна, а?

— Mon Dieu! Что это вы придумали?! Эта леди — мадам Жуаез, мой близкий, старый друг; она так же абсолютно здорова, как я сам. У нее есть свои маленькие странности, это верно, но вы ведь сами знаете… старые женщины… все очень старые женщины страдают этим в той или иной мере.

— Разумеется, — сказал я, — разумеется… А остальные леди и джентльмены…

— Мои друзья и помощники, — закончил м-сье Майяр, выпрямляясь с высокомерным видом, — мои очень близкие друзья и сослуживцы.

— Как? Все до одного? — спросил я. — И женщины тоже?

— Ну конечно! Нам бы без них не управиться. Никто в мире не ухаживает за сумасшедшими лучше, чем они. У них, знаете ли, свои

приемы: эти блестящие глаза оказывают изумительное действие — что-то вроде зачаровывающего змеиного взгляда, знаете ли.

— Да, разумеется, — подтвердил я, — разумеется! Но в них есть что-то чудно е, они немного не того, а? Вам не кажется?

— ЧуднОе? Немного не того! Вам в самом деле так кажется? Бесспорно, мы не слишком-то любим стеснять себя здесь, на Юге… делаем, что хотим, наслаждаемся жизнью… и всякое такое, знаете ли…

— Да, разумеется, — подтвердил я, — разумеется.

— А потом, может быть, это кло-де-вужо слишком крепкое, знаете ли, слишком забористое… вы меня поняли, не так ли?

— Да, разумеется, — подтвердил я, — разумеется. Кстати, м-сье, вы, кажется, говорили, что новая система, которую вы ввели взамен прославленной «системы поблажек», отличается крайней строгостью и суровостью. Верно ли я вас понял?

— Отнюдь нет. Правда, режим у нас крутой, но это неизбежно. Зато такого ухода, как у нас, — я имею в виду медицинский уход — никакая другая система больному не даст.

— А эта новая система создана вами?

— Не вполне. В известной мере ее автором может считаться профессор Смоль, о котором вы, несомненно, слышали; а с другой стороны, я счастлив заявить, что отдельными деталями своего метода я обязан знаменитому Перро, с которым вы, если не ошибаюсь, имеете честь быть близко знакомым.

— Мне очень стыдно, но я должен сознаться, что никогда до сих пор не слыхал даже имен этих господ.

— Боже правый! — воскликнул мой хозяин, резко отодвинув свой стул назад и воздев руки к небу. — Нет, я несомненно ослышался! Ведь не хотите же вы сказать, что никогда не слыхали ни об ученейшем докторе Смоле, ни о знаменитом профессоре Перро?!

— Вынужден признаться в моем невежестве, — ответил я, — но истина превыше всего. Однако при этом я чувствую себя просто поверженным в прах — какой позор: ничего не знать о работах этих без сомнения выдающихся людей! Я обязательно разыщу их сочинения и буду изучать их с особым вниманием. М-сье Майяр, после ваших слов мне действительно — поверьте! — действительно стыдно за себя! Так оно и было.

— Оставим это, мой милый юный друг, — произнес ласково м-сье Майяр, пожимая мне руку. — Выпейте-ка со мной стаканчик сотерна.

Мы выпили. Собравшиеся последовали нашему примеру, потом еще раз, еще раз, и так без конца. Они болтали, шутили, смеялись, делали глупость за глупостью; визжали скрипки, грохотал барабан, как медные быки Фаларида ревели тромбоны, и сцена, становясь, по мере того как винные пары затуманивали головы, все более ужасной, наконец превратилась в какой-то шабаш in petto[986]. Тем временем мы — м-сье Майяр и я, — склонившись над стаканами сотерна и вужо, стоявшими перед нами, продолжали наш разговор, повысив голос до крика: слово, произнесенное обычным тоном, имело не больше шансов дойти до слуха собеседника, чем голос рыбы со дна Ниагарского водопада.

— Сэр, — прокричал я в ухо м-сье Майяру, — сэр, перед обедом вы упомянули об опасности, связанной со старой «системой поблажек». Что вы имели в виду?

— Да, — отвечал он, — время от времени у нас действительно складывалось очень опасное положение. Всех причуд умалишенных не предугадаешь, и, по моему мнению, равно как и по мнению доктора Смоля и профессора Перро, никогда нельзя оставлять их без всякого присмотра. Вы можете в течение того или иного времени делать так называемые «поблажки» умалишенному, но в конце концов он все же весьма склонен к буйству. С другой стороны, его хитрость настолько велика, что вошла в пословицу. Если он что-нибудь задумал, то скрывает свой план с изобретательностью, поистине уму непостижимой. А ловкость, с которой он симулирует здоровье, ставит перед философами, изучающими человеческий разум, одну из наиболее загадочных проблем. Когда сумасшедший кажется совершенно здоровым — самое время надевать на него смирительную рубашку.

— Но та опасность, дорогой сэр, о которой вы говорили… судя по вашему собственному опыту… по опыту управления этой лечебницей… есть ли у вас реальные основания считать предоставление свободы умалишенным делом рискованным?

— В этом доме… по моему собственному опыту?.. Что ж, пожалуй, да. Например, не так давно в этом самом доме произошел необыкновенный случай. «Система поблажек», как вам известно, была

тогда в действии, и пациенты делали что хотели. Они вели себя удивительно хорошо, даже слишком хорошо! Любой здравомыслящий человек догадался бы, что тут зреет какой-то адский замысел, — уже судя по одному тому, как удивительно хорошо вели себя эти субъекты. И вот в одно прекрасное утро надзиратели оказались связанными по рукам и ногам и были брошены в изоляторы, как будто сумасшедшими были они, а настоящие сумасшедшие, присвоив себе обязанности надзирателей, взялись их охранять.

— Да не может быть! Никогда в жизни не слыхивал я о такой нелепости!

— Факт! Все это случилось по вине одного болвана-сумасшедшего: почему-то он вбил себе в голову, что открыл новую систему управления, лучше всех старых, которые были известны прежде, — систему, когда управляют сумасшедшие. Вероятно, он хотел проверить свое открытие на деле, — и вот он убедил всех остальных пациентов присоединиться к нему и вступить в заговор для свержения существующих властей.

— И он действительно добился своего?

— Вне всякого сомнения. Надзирателям вскорости пришлось поменяться местами со своими поднадзорными, и даже более того: сумасшедшие прежде разгуливали на свободе, а надзирателей немедленно заперли в изоляторы и обходились с ними, к сожалению, до крайности бесцеремонно.

— Но, я полагаю, контрпереворот не заставил себя ждать? Такое положение дел не могло сохраниться надолго. Крестьяне из соседних деревень, посетители, приезжавшие, чтобы осмотреть заведение, — ведь они подняли бы тревогу!

— Вот тут-то вы и ошибаетесь. Глава бунтовщиков был слишком хитер. Он вовсе перестал допускать посетителей и сделал исключение только для одного молодого джентльмена, с виду весьма недалекого, опасаться которого не было никаких оснований. Он принял его и показал ему дом — просто для развлечения, чтобы немного позабавиться на его счет. Поморочив его вволю, он отпустил его и выставил за ворота!

— А сколько же времени держал этот сумасшедший бразды правления?

— О, очень долго, с месяц-то наверняка, а сколько точно — не скажу. Для сумасшедших это были славные денечки, можете мне поверить! Они сбросили свои обноски и свободно распоряжались всем платьем и драгоценностями, какие нашлись в доме. Вина в подвалах chateau было хоть отбавляй, а ведь что касается выпивки, то в ней сумасшедшие знают толк, тут они настоящие дьяволы. И, скажу вам, жили они недурно.

— Ну а лечение? Какие новые методы лечения применил вождь бунтовщиков?

— Что ж, сумасшедшему, как я уже говорил, далеко не обязательно быть дураком, и я убежден, что его метод лечения оказался гораздо удачнее прежнего. Право же, это была превосходная система — простая, ясная, никакого беспокойства, прелесть да и только! Это была…

Тут речь моего хозяина неожиданно прервал новый взрыв воплей, в точности походивших на те, что уже раз привели в замешательство всю компанию. Но теперь, по всей видимости, люди, издававшие эти вопли, быстро приближались.

— Боже мой! — воскликнул я. — Сумасшедшие вырвались на волю, это ясно как день!

— Боюсь, что вы правы, — согласился м-сье Майяр, страшно побледнев.

Не успел он произнести эти слова, как под окнами раздались громкие крики и проклятия; и сразу же стало ясно, что какие-то люди снаружи пытаются ворваться в комнату. В дверь чем-то колотили, по-видимому кувалдой, а ставни кто-то неистово тряс, стараясь сорвать.

Поднялась ужасная сумятица. М-сье Майяр, к моему крайнему изумлению, юркнул за буфет. Я ожидал от него большего самообладании. Оркестранты, которые вот уже с четверть часа были, по-видимому, слишком пьяны, чтобы заниматься своим делом, все разом вскочили на ноги, бросились к инструментам и, вскарабкавшись на свой стол, дружно заиграли «Янки Дудл»[987], исполнив его на фоне всего этого шума и гама, может быть, не совсем точно, но зато с воодушевлением сверхъестественным.

Тем временем на главный обеденный стол вскочил, опрокидывая бутылки и стаканы, тот самый господин, которого недавно с таким трудом удалось удержать от этого поступка. Устроившись поудобнее,

он начал произносить речь, и она, несомненно, оказалась бы блестящей, если бы только была малейшая возможность ее услышать. В ту же минуту человек, питавший пристрастие к волчкам, принялся с неисчерпаемой энергией кружиться по комнате, вытянув руки под прямым углом к туловищу, так что он, и правда, в точности походил на волчок и сшибал с ног всех, кто попадался ему на пути. А тут еще, услышав бешеное хлопанье пробки и шипение шампанского, я обнаружил в конце концов, что оно исходит от того субъекта, который во время обеда изображал бутылку этого благородного напитка. Затем и человек-лягушка принялся квакать с таким усердием, как будто от каждого издаваемого им звука зависело спасение его души. Вдобавок ко всему, над этой дикой какофонией раздавался неумолкающий рев осла. Что касается моей старой приятельницы мадам Жуаез, то мне было от души жаль бедняжку, до того она была потрясена: она стояла в углу у камина и беспрерывно кукарекала во весь голос «Ку-ка-ре-е-е-ку-у-у-у!»

И тут события достигли, так сказать, кульминационного пункта, наступила развязка драмы. Поскольку, не считая криков, воя и кукареканья, никакого сопротивления натиску снаружи оказано не было, то очень скоро все десять окон вылетели почти одновременно. Мне никогда не забыть того чувства изумления и ужаса, с которым я глядел, как, прыгая в эти окна, обрушиваясь вниз и смешиваясь с нами pele-mele[988], колотя по чем попало, лягаясь, царапаясь и истошно вопя, в зал ворвалась целая армия каких-то существ, которых я принял за шимпанзе, орангутангов или громадных черных бабуинов[989] с мыса Доброй Надежды.

Я получил страшный удар, и, скатившись под диван, лежал не шевелясь. Пробыв в таком положении больше часа, на протяжении которого я внимательнейшим образом прислушивался к тому, что происходило в комнате, я дождался благоприятного завершения этой трагедии. Оказалось, что м-сье Майяр, излагая мне историю сумасшедшего, который подговорил своих товарищей взбунтоваться, просто-напросто рассказывал о своих собственных подвигах. Года два-три тому назад этот джентльмен действительно был главным врачом этой лечебницы, но сам помешался и превратился, таким образом, в пациента. Мой попутчик, который меня представил, ничего об этом не знал. Захватив врасплох надзирателей (их было десять человек),

сумасшедшие прежде всего как следует вымазали их смолой, потом старательно вываляли в перьях и наконец заперли в подвале, в изоляторах. Так они пробыли в заключении больше месяца, и все это время м-сье Майяр благородно снабжал их не только смолой и перьями (которые были составными частями его «системы»), но также хлебом в известном количестве и водою — в изобилии. Эту последнюю им ежедневно накачивали в камеры насосом. В конце концов один из них выбрался через сточную трубу и освободил всех остальных.

«Система поблажек», с необходимыми поправками, вновь заняла свое место в chateau. Все же я не могу не согласиться с м-сье Майяром, что его «метод лечения» был в своем роде чрезвычайно удачен. Как он справедливо заметил, это была система простая, ясная, никакого беспокойства не доставляла, никакого — даже самого ничтожного!

Должен только добавить, что все мои поиски сочинений доктора Смоля и профессора Перро, — а в погоне за ними я обшарил все библиотеки Европы, — окончились ничем, и я по сей день не достал ни одного из их трудов.

Ноябрь, 1845

пер. С. Маркиш

Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром

Разумеется, я ничуть не удивляюсь тому, что необыкновенный случай с мистером Вальдемаром возбудил толки. Было бы чудом, если бы этого не было, принимая во внимание все обстоятельства. Вследствие желания всех причастных к этому делу лиц избежать огласки хотя бы на время или пока мы не нашли возможностей продолжить исследование — именно вследствие наших стараний сохранить его в тайне — в публике распространились ложные или преувеличенные слухи, породившие множество неверных представлений, а это, естественно, у многих вызвало недоверие.

Вот почему стало необходимым, чтобы я изложил факты — насколько я сам сумел их понять. Вкратце они сводятся к следующему.

В течение последних трех лет мое внимание не раз бывало привлечено к вопросам месмеризма[990], а около девяти месяцев назад меня внезапно поразила мысль, что во всех до сих пор проделанных опытах имелось одно весьма важное и необъяснимое упущение — никто еще не подвергался месмерическому воздействию in articulo mortis[991]. Следовало выяснить, во-первых, подвержен ли человек в таком состоянии действию гипноза; во-вторых, ослаблено ли оно при этом или же усилено; а в-третьих, в какой степени и как долго можно задержать гипнозом наступление смерти. Возникали и другие вопросы, но именно эти заинтересовали меня более всего — в особенности последний, чреватый следствиями огромной важности.

Раздумывая, где бы найти подходящий объект для такого опыта, я вспомнил о своем приятеле мистере Эрнесте Вальдемаре, известном составителе «Bibliotheca Forensica»[992] и авторе (под nom de plume[993] Иссахара Маркса) польских переводов «Валленштейна»[994] и «Гаргантюа». Мистер Вальдемар, с 1839 года проживавший главным образом в Гарлеме (штат Нью-Йорк), обращает (или обращал) на себя внимание прежде всего своей необычайной худобой — нижние конечности у него очень походили на ноги Джона Рандолфа[995], — а также светлыми бакенбардами, составлявшими резкий контраст с

темными волосами, которые многие из-за этого принимали за парик. Он был чрезвычайно нервен и, следовательно, был подходящим объектом для гипнотических опытов. Раза два или три мне без труда удавалось его усыпить, но в других отношениях он не оправдал ожиданий, которые естественно вызывала его конституция. Я ни разу не смог вполне подчинить себе его волю, а что касается clairvoyance[996], то опыты с ним вообще не дали надежных результатов. Свои неудачи в этом отношении я всегда объяснял состоянием его здоровья. За несколько месяцев до моего с ним знакомства доктора нашли у него чахотку. О своей близкой кончине он имел обыкновение говорить спокойно, как о чем-то неизбежном и не вызывающем сожалений.

Когда у меня возникли приведенные выше вопросы, я, естественно, вспомнил о мистере Вальдемаре. Я слишком хорошо знал его философскую твердость, чтобы опасаться возражений с его стороны; и у него не было в Америке родных, которые могли бы вмешаться. Я откровенно поговорил с ним на эту тему, и, к моему удивлению, он ею живо заинтересовался. Я говорю «к моему удивлению», ибо хотя он всегда соглашался подвергаться моим опытам, я ни разу не слышал, чтобы он их одобрял. Болезнь его была такова, что позволяла точно определить срок ее смертельного исхода; и мы условились, что он пошлет за мной примерно за сутки до того момента, когда доктора предскажут его кончину.

Сейчас прошло уже более семи месяцев с тех пор, как я получил от мистера Вальдемара следующую собственноручную записку:

> «Любезный П.!
>
> Пожалуй, вам следует приехать сейчас. Д. и Ф. в один голос утверждают, что я не протяну дольше завтрашней полуночи, и мне кажется, что они вычислили довольно точно.
>
> Вальдемар.»

Я получил эту записку через полчаса после того, как она была написана, а спустя еще пятнадцать минут уже был в комнате умирающего. Я не видел его десять дней и был поражен страшной переменой, происшедшей в нем за это короткое время. Лицо его

приняло свинцовый оттенок, глаза потухли, а исхудал он настолько, что кости скул едва не прорывали кожу. Мокрота выделялась крайне обильно. Пульс прощупывался с трудом. Несмотря на это, он сохранил удивительную ясность ума и даже кое-какие физические силы. Он ясно говорил, без посторонней помощи принимал некоторые лекарства, облегчавшие его состояние, — а когда я вошел, писал что-то карандашом в записной книжке. Он полулежал, обложенный подушками. При нем были доктора Д. и Ф.

Пожав руку Вальдемара, я отвел этих джентльменов в сторону и получил от них подробные сведения о состоянии больного. Левое легкое уже полтора года как наполовину обызвествилось и было, разумеется, неспособно к жизненным функциям. Верхушка правого также частично подверглась обызвествлению, а нижняя доля представляла собой сплошную массу гнойных туберкулезных бугорков. В ней было несколько обширных каверн, а в одном месте имелись сращения с ребром. Эти изменения в правом легком были сравнительно недавними. Обызвествление шло необычайно быстро; еще за месяц до того оно отсутствовало, а сращения были обнаружены лишь в последние три дня. Помимо чахотки, у больного подозревали аневризм аорты, однако обызвествление не позволяло диагностировать его точно. По мнению обоих докторов, мистер Вальдемар должен был умереть на следующий день (вокресенье) к полуночи. Сейчас был седьмой час субботнего вечера.

Когда доктора Д. и Ф. отошли от постели больного, чтобы побеседовать со мной, они уже простились с ним. Они не собирались возвращаться; однако по моей просьбе обещали заглянуть к больному на следующий день около десяти часов вечера.

После их ухода я откровенно заговорил с мистером Вальдемаром о его близкой кончине, а также более подробно о предполагаемом опыте. Он подтвердил свою готовность и даже интерес к нему и попросил меня начать немедленно. При нем находились сиделка и служитель, но я не чувствовал себя вправе начинать подобное депо, не имея более надежных свидетелей, чем эти люди, на случай какой-либо неожиданности. Поэтому я отложил опыт до восьми часов вечера следующего дня, когда приход студента-медика (мистера Теодора Л-ла), с которым я был немного знаком, вывел меня из затруднения. Сперва я намеревался дождаться врачей; но пришлось начать раньше,

во-первых, по настоянию мистера Вальдемара, а во-вторых, потому, что я и сам видел, как мало оставалось времени и как быстро он угасал.

Мистер Л-л любезно согласился вести записи всего происходящего; все, что я сейчас имею рассказать, взято из этих записей verbatim[997] или с некоторыми сокращениями.

Было без пяти минут восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его подтвердить возможно явственнее, что он (мистер Вальдемар) по доброй воле подвергается в своем нынешнем состоянии месмеризации.

Он отвечал слабым голосом, но вполне внятно: «Да, я хочу подвергнуться месмеризации, — и тут же добавил: — Боюсь, что вы слишком долго медлили».

Пока он говорил, я приступил к тем пассам, которые прежде оказывали на него наибольшее действие. Первое прикосновение моей руки к его лбу сразу подействовало, но затем, несмотря на все мои усилия, я не добился дальнейших результатов до начала одиннадцатого, когда пришли, как было условлено, доктора Д. и Ф. Я в нескольких словах объяснил им, чего я добиваюсь, и, так кат; они не возражали, установив, что больной уже находится в агонии, я, не колеблясь, продолжал, перейдя, однако, от боковых пассов к продольным и устремив взгляд на правый глаз умирающего.

К этому времени пульс у него уже не ощущался, а хриплое дыхание вырывалось с промежутками в полминуты.

В таком состоянии он пробыл четверть часа. Потом умирающий глубоко вздохнул, и хрипы прекратились, то есть не стали слышны; дыхание оставалось все таким же редким. Конечности больного были холодны, как лед.

Без пяти минут одиннадцать я заметил первые признаки месмерического состояния. В остекленевших глазах появился тот тоскливо устремленный внутрь взгляд, который наблюдается только при гипнотическом сне и насчет которого невозможно ошибиться. Несколькими быстрыми боковыми пассами я заставил веки затрепетать, как при засыпании, а еще несколькими — закрыл их. Этим я, однако, не удовольствовался и продолжал энергичные манипуляции, напрягая всю свою волю, пока не достиг полного оцепенения тела спящего, предварительно уложив его поудобнее. Ноги

были вытянуты, руки положены вдоль тепа, на некотором расстоянии от бедер. Голова была слегка приподнята.

Между тем наступила полночь, и я попросил присутствующих освидетельствовать мистера Вальдемара. Проделав несколько опытов, они констатировали у него необычайно глубокий гипнотический транс. Любопытство обоих медиков было сильно возбуждено. Доктор Д. тут же решил остаться при больном на всю ночь, а доктор Ф. ушел, обещав вернуться на рассвете. Мистер Л-л, сиделка и служитель также остались.

Мы не тревожили мистера Вальдемара почти до трех часов пополуночи; подойдя к нему, я нашел его в том же состоянии, в каком он находился перед уходом доктора Ф., то есть он лежал в том же положении; пульс не ощущался; дыхание было очень слабым (и заметным лишь при помощи зеркала, поднесенного к губам); глаза были закрыты, как у спящих, а тело твердо и холодно, как мрамор. Тем не менее это отнюдь не была картина смерти. Приблизившись к мистеру Вальдемару, я попробовал повести его руку за своей, тихонько водя ею перед ним. Такой опыт никогда не удавался мне с ним прежде, и я не рассчитывал на успех и теперь, но, к моему удивлению, рука его послушно, хотя и слабо, последовала за всеми движениями моей. Я решил попытаться с ним заговорить.

— Мистер Вальдемар, — спросил я, — вы спите? — Он не отвечал, но я заметил, что губы его дрогнули, и повторил вопрос снова и снова. После третьего раза но всему его телу пробежала легкая дрожь; веки приоткрылись, обнаружив полоски белков; губы нехотя задвигались, и из них послышался едва различимый шепот:

— Да, сейчас сплю. Не будите меня! Дайте мне умереть так!

Я ощупал его тело, оказавшееся по-прежнему окоченелым. Правая рука его продолжала повиноваться движениям моей. Я снова спросил спящего:

— А как боль в груди, мистер Вальдемар?

На этот раз он ответил немедленно, но еще тише, чем прежде:

— Ничего не болит — умираю.

Я решил пока не тревожить его больше, и мы ничего не говорили и не делали до прихода доктора Ф., который явился незадолго перед восходом солнца и был несказанно удивлен, застав пациента еще

живым. Пощупав у спящего пульс и поднеся к его губам зеркало, он попросил меня снова заговорить с ним. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, вы все еще спите?

Как и раньше, ответ заставил себя ждать несколько минут; за это время умирающий словно собирался с силами, чтобы заговорить, Когда я повторил свой вопрос в четвертый раз, он произнес очень тихо, почти неслышно:

— Да, все еще сплю — умираю.

По мнению, вернее, по желанию врачей, мистера Вальдемара надо было теперь оставить в его, по видимости, спокойном состоянии вплоть до наступления смерти, которая, как все были уверены, должна была последовать через несколько минут. Я, однако, решил еще раз заговорить с ним и просто повторил свой предыдущий вопрос.

В это время в лице спящего произошла заметная перемена. Глаза его медленно раскрылись, зрачки закатились, кожа приобрела трупный оттенок, не пергаментный, но скорее белый, как бумага, а пятна лихорадочного румянца, до тех пор ясно обозначавшиеся на его щеках, мгновенно погасли. Я употребляю это слово потому, что их внезапное исчезновение напомнило мне именно свечу, которую задули. Одновременно его верхняя губа поднялась и обнажила зубы, которые она прежде целиком закрывала; нижняя челюсть отвалилась с отчетливым стуком, и в широко раскрывшемся рту показался распухший и почерневший язык. Я полагаю, что среди нас не было никого, кто бы впервые встретился тогда с ужасным зрелищем смерти; но так страшен был в тот миг вид мистера Вальдемара, что все отпрянули от постели.

Здесь я чувствую, что достиг того места в моем повествовании, когда любой читатель может решительно отказаться мне верить. Однако мое дело — просто продолжать рассказ.

Теперь мистер Вальдемар не обнаруживал ни малейших признаков жизни; сочтя его мертвым, мы уже собирались поручить его попечениям сиделки и служителя, как вдруг язык его сильно задрожал. Это длилось несколько минут. Затем из неподвижных разинутых челюстей послышался голос — такой, что пытаться рассказать о нем было бы безумием. Есть, правда, два-три эпитета, которые отчасти можно к нему применить. Я могу, например, сказать, что звуки были хриплые, отрывистые, глухие, но описать этот кошмарный голос в

целом невозможно по той простой причине, что подобные звуки никогда еще не оскорбляли человеческого слуха. Однако две особенности я счел тогда — и считаю сейчас — характерными, ибо они дают некоторое представление об их нездешнем звучании. Во-первых, голос доносился до нас — по крайней мере, до меня — словно издалека или из глубокого подземелья. Во-вторых (тут я боюсь оказаться совершенно непонятным), он действовал на слух так, как действует на наше осязание прикосновение чего-то студенистого или клейкого.

Я говорю о «звуках» и «голосе». Этим я хочу сказать, что звуки были вполне — и даже пугающе — членораздельными. Мистер Вальдемар заговорил — явно в ответ на вопрос, заданный мною за несколько минут до того. Если читатель помнит, я спросил его, продолжает ли он спать. Он сказал:

— Да — нет — я спал — а теперь — теперь — я умер.

Никто из присутствующих не пытался скрыть и не отрицал потом невыразимого, леденящего ужаса, вызванного этими немногими словами. Мистер Л-л (студент-медик) лишился чувств. Служитель и сиделка бросились вон из комнаты и ни за что не захотели вернуться. Собственные мои ощущения я не берусь описывать. В течение почти часа мы в полном молчании приводили в чувство мистера Л-ла. Когда он очнулся, мы снова занялись мистером Вальдемаром.

Состояние его оставалось таким же, как я его описал, не считая того, что зеркало не обнаруживало теперь никаких признаков дыхания. Попытка пустить кровь из руки не удалась. Следует также сказать, что эта рука уже не повиновалась моей воле. Я тщетно пробовал заставить ее следовать за движениями моей. Единственным признаком месмерического влияния было теперь дрожание языка всякий раз, когда я обращался к мистеру Вальдемару с вопросом. Казалось, он пытался ответить, но усилия оказывались недостаточными. К вопросам, задаваемым другими, он оставался совершенно нечувствительным, хотя я и старался создать между ним и каждым из присутствующих гипнотическую связь. Кажется, я сообщил теперь все, что может дать понятие о тогдашнем состоянии усыпленного. Мы нашли новых сиделок, и в десять часов я ушел вместе с обоими докторами и мистером Л-лом.

После полудня мы снова пришли взглянуть на пациента. Состояние его оставалось прежним. Мы не сразу решили, следует ли и возможно ли его разбудить, однако скоро все согласились, что ничего хорошего мы этим не достигнем. Было очевидно, что смерть (или то, что под нею обычно разумеют) была приостановлена действием гипноза. Всем нам было ясно, что, разбудив мистера Вальдемара, мы вызовем немедленную или, во всяком случае, скорую смерть.

С тех пор и до конца прошлой недели — в течение почти семи месяцев — мы ежедневно посещали дом мистера Вальдемара, иногда в сопровождении знакомых врачей или просто друзей. Все это время спящий оставался в точности таким, как я его описал в последний раз. Сиделки находились при нем безотлучно.

В прошлую пятницу мы наконец решили разбудить или попытаться разбудить его; и (быть может) именно злополучный результат этого последнего опыта породил столько толков в различных кругах и столько безосновательного, на мой взгляд, возмущения.

Чтобы вывести мистера Вальдемара из гипнотического транса, я прибегнул к обычным пассам. Некоторое время они оставались безрезультатными. Первым признаком пробуждения было частичное опущение радужной оболочки глаз. Мы отметили, что это движение зрачков сопровождалось обильным выделением (из-под век) желтоватой жидкости с крайне неприятным запахом.

Мне предложили воздействовать, как прежде, на руку пациента. Я попытался это сделать, но безуспешно. Тогда доктор Ф. пожелал, чтобы я задал ему вопрос. Я спросил:

— Мистер Вальдемар, можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете или чего хотите?

На щеки мгновенно вернулись пятна чахоточного румянца; язык задрожал, вернее задергался, во рту (хотя челюсти и губы оставались окоченелыми), и тот же отвратительный голос, уже описанный мною, произнес:

— Ради бога! — скорее! — скорее! — усыпите меня, или скорее! — разбудите! скорее! — Говорят вам, что я мертв!

Я был потрясен и несколько мгновений не знал, на что решиться. Сперва я попытался снова усыпить пациента, но, не сумев этого сделать из-за полного ослабления воли, я пошел в обратном направлении и столь же энергично принялся его будить. Скоро я

увидел, что мне это удается — по крайней мере, я рассчитывал на полный успех, — и был уверен, что все присутствующие тоже ждали пробуждения пациента.

Но того, что произошло в действительности, не мог ожидать никто.

Пока я торопливо проделывал гипнотические пассы, а с языка, но не с губ, страдальца рвались крики: «мертв!», «мертв!», все его тело — в течение минуты ели даже быстрее — осело, расползлось, разложилось под моими руками. На постели пред нами оказалась полужидкая, отвратительная, гниющая масса.

Декабрь, 1845

пер. З. Александровой

Сфинкс

В ту пору, когда Нью-Йорк посетила свирепая эпидемия холеры[998], один мой родственник пригласил меня пожить недели две в его уединенном, комфортабельном коттедже на берегу реки Гудзон. Здесь к нашим услугам были все возможности для летнего отдыха; прогулки по лесам, занятия живописью, катание на лодке, рыбная ловля, купание, музыка и книги изрядно скрасили бы наш досуг, если б не ужасные известия, которые всякое утро приходили из многолюдного города. Не проходило и дня, чтобы мы не узнали о болезни того или другого знакомого. А бедствие все разрасталось, и вскоре мы стали повседневно ожидать смерти кого-нибудь из друзей. Дошло до того, что, едва завидя почтальона, мы содрогались. В самом ветре, когда он дул с юга, нам чудилось смрадное дыхание смерти. Мысль об этом леденила мне душу. Я не мог говорить, не мог думать ни о чем другом и даже во сне лишился покоя. Хозяин дома был по природе менее впечатлителен и, хотя сам не на шутку упал духом, всеми силами старался меня ободрить. Его серьезный, философский ум был чужд беспочвенных фантазий. Разумеется, действительные несчастья удручали его, но он не знал страха пред их зловещими призраками.

Однако его усилия рассеять мою болезненную мрачность оказались тщетны, и главной причиной тому были книги, которые я отыскал в его библиотеке. Книги эти были такого рода, что семена наследственных суеверий, сокрытые в моей душе, дали быстрые всходы. Я читал их без ведома моего друга, и он часто не мог понять, что же так сильно влияет на мое воображение.

Излюбленной темой разговора были для меня народные приметы — истинность их я готов был в то время доказывать чуть ли не с пеной у рта. Мы вели на эту тему долгие и горячие споры; мой друг утверждал, что все это лишь пустые суеверия, я же возражал, что предчувствия, возникающие в народе совершенно непроизвольно — то есть без какого-либо определенного повода, — обязательно содержат в себе зерно истины и, несомненно, заслуживают внимания.

Надо сказать, что вскоре после приезда со мной произошел случай, столь необъяснимый и зловещий, что вполне простительно

было счесть его за дурную примету. Он поверг меня в такой беспредельный ужас и смятение, что лишь много дней спустя я решился рассказать об этом случае своему другу.

На исходе знойного дня я сидел с книгой у открытого окна, из которого открывался прекрасный вид на берега реки и на склон дальнего холма, почти безлесный после сильного оползня. Я давно уже забыл о книге и мысленно перенесся в город, погруженный в скорбь и отчаянье. Подняв глаза, я рассеянно скользнул взглядом по обнаженному склону холма и увидел там нечто невероятное — какое-то мерзкое чудовище быстро спускалось с вершины и вскоре исчезло в густом лесу у подножья. При виде этой твари я подумал, что сошел с ума, — и уж, во всяком случае, не поверил своим глазам, — а потому прошло порядочно времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не повредился в рассудке и все это не было сном. Боюсь, однако, что, когда я опишу чудовище (я видел его совершенно явственно и без помехи наблюдал, пока оно спускалось с холма), у читателей возникнет еще более сомнений, чем у меня самого.

Я прикинул на глаз величину чудовища, соразмерив его с толщиной вековых деревьев, меж которыми оно совершало свой путь, — тех немногих лесных великанов, каких пощадил оползень, — и убедился, что оно несравненно превосходит все существующие линейные корабли. Сравнение с линейным кораблем напрашивается само собой — корпус любого из наших семидесятичетырехпушечных судов может дать зримое представление о форме чудовища. Пасть его была расположена на конце хобота длиной футов в шестьдесят или семьдесят и толщиной едва ли не с туловище слона. Основание хобота сплошь заросло черной, косматой шерстью — столько шерсти не настричь и с двух десятков буйволов; из нее, загибаясь вниз и в стороны, торчали два сверкающих клыка, похожих на кабаньи, но неизмеримо более длинных. По обе стороны от хобота, параллельно ему, выступали вперед громадные отростки длиной футов в тридцать, а то и сорок, похожие на кристально-прозрачные призмы безупречной формы — они во всем великолепии отражали закат. Туловище напоминало клин, острием обращенный к земле. С боков распростерлись одна над другой две пары крыльев — размахом в добрую сотню ярдов, — густо усеянные металлической чешуей; каждая чешуйчатая пластина имела в поперечнике футов десять или

двадцать. Мне показалось, что верхние и нижние крылья скованы тяжелой цепью. Но всего поразительней и ужасней было изображение Черепа едва ли не во всю грудь, так отчетливо выделявшееся в ослепительном свете на темном туловище, словно оно было выписано кистью художника. Когда я в ужасе и удивлении разглядывал это страшилище, и в особенности его грудь, с предчувствием близкой беды, которое не могли заглушить никакие доводы рассудка, огромная пасть на конце хобота вдруг разверзлась и исторгла звук, столь громкий и неизъяснимо горестный, что он сокрушил мое сердце, как похоронный звон, и когда чудовище исчезло у подножия холма, я без чувств рухнул на пол.

Едва я опомнился, первой моей мыслью было поделиться с другом всем, что я видел и слышал, — но какое-то необъяснимое чувство отвращения заставило меня промолчать.

Лишь дня три или четыре спустя, под вечер, нам случилось быть вдвоем в той самой комнате, откуда я видел призрак, — я опять сидел в кресле у окна, а мой друг прилег на диване. Совпадение места и времени побудило меня рассказать ему о необычайном явлении, которое я наблюдал. Он выслушал, не перебивая, — сначала посмеялся от души, потом стал необычайно серьезен, словно убедился в моем безумии. В этот миг я снова явственно увидел чудовище и с криком ужаса указал на него другу. Он стал пристально вглядываться, но сказал, что ничего не видит, хотя я подробно описал весь путь зверя, спускавшегося по обнаженному склону холма.

Теперь я пришел в совершеннейший ужас, решив, что видение предвещает либо мою смерть, либо, еще того страшней, надвигающееся помешательство. В отчаянье я откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Когда я опустил руки, призрак уже исчез.

Однако к хозяину дома вернулось его хладнокровие, и он принялся обстоятельно расспрашивать меня, как выглядело это невероятное существо. Когда я ответил на все его вопросы, он глубоко вздохнул, словно сбросив с души тяжкое бремя, и с невозмутимостью, которая показалась мне бесчеловечной, возобновил прерванный разговор об отвлеченных философских материях. Помнится, между прочим, он настоятельно подчеркивал ту мысль, что ошибки в исследованиях обычно проистекают из свойственной человеческому

разуму склонности недооценивать или же преувеличивать значение исследуемого предмета из-за неверного определения его удаленности от нас.

— Так, например, — сказал он, — чтобы правильно оценить то влияние, которое может иметь на человечество всеобщая и подлинная демократия, необходимо учесть, насколько удалена от нас та эпоха, в которую это возможно осуществить. Но сумеете ли вы назвать хоть одно сочинение о государстве, где автор уделял бы этой стороне вопроса хоть сколько-нибудь внимания?

Помолчав немного, он подошел к книжному шкафу и взял с полки начальный курс «Естественной истории». Затем он попросил меня поменяться с ним местами, чтобы ему легче было читать мелкий шрифт, сел в кресло у окна и, открыв книгу, продолжал разговор в том же тоне.

— Если бы вы не описали чудовище во всех подробностях, — сказал он, — я попросту не мог бы объяснить, что это было. Но позвольте для начала прочитать вам из школьного учебника описание одного из представителей рода сфинксов, — семейство бражников, отряд чешуекрылых, класс насекомых. Вот что здесь сказано:

> «Две пары перепончатых крыльев усеяны мелкими цветными чешуйками с металлическим отливом; ротовые органы имеют вид спирально закрученного хоботка, образованного удлиненными челюстями, причем по бокам от него находятся недоразвитые челюстные придатки и ворсистые щупики; верхние крылья сцеплены с нижними посредством жестких щетинок; усики имеют продолговатую, призматическую форму; брюшко заострено книзу. Сфинкс вида Мертвая голова внушает простонародью суеверный ужас своим тоскливым писком, а также эмблемой смерти на грудном покрове».

Тут он закрыл книгу и подался вперед, старательно приняв то самое положение, в каком сидел я, когда увидел «чудовище».

— Ага, вот она где! — тотчас воскликнул он. — Опять лезет на холм, и должен признать, что вид у него престранный. Но оно отнюдь не так огромно и не так удалено отсюда, как вам почудилось: дело в

том, что оно взбирается по паутинке, которую соткал за окном паук, и, сколько я могу судить, имеет в длину не более одной шестнадцатой дюйма, да и расстояние от него до моего глаза никак не более одной шестнадцатой дюйма.

Январь, 1846

пер. В. Хинкис

Бочонок Амонтильядо

Тысячу обид я безропотно вытерпел от Фортунато, но, когда он нанес мне оскорбление, я поклялся отомстить. Вы, так хорошо знающий природу моей души, не думаете, конечно, что я вслух произнес угрозу. В конце концов я буду отомщен: это было твердо решено, — но самая твердость решения обязывала меня избегать риска. Я должен был не только покарать, но покарать безнаказанно. Обида не отомщена, если мстителя настигает расплата. Она не отомщена и в том случае, если обидчик не узнает, чья рука обрушила на него кару.

Ни словом, ни поступком я не дал Фортунато повода усомниться в моем наилучшем к нему расположении. По-прежнему я улыбался ему в лицо; и он не знал, что теперь я улыбаюсь при мысли о его неминуемой гибели.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях он был человеком, которого должно было уважать и даже бояться. Он считал себя знатоком вин и немало этим гордился. Итальянцы редко бывают истинными ценителями. Их энтузиазм почти всегда лишь маска, которую они надевают на время и по мере надобности, — для того, чтобы удобнее надувать английских и австрийских миллионеров. Во всем, что касается старинных картин и старинных драгоценностей, Фортунато, как и прочие его соотечественники, был шарлатаном; но в старых винах он в самом деле понимал толк. Я разделял его вкусы: я сам высоко ценил итальянские вина и всякий раз, как представлялся случай, покупал их помногу.

Однажды вечером, в сумерки, когда в городе бушевало безумие карнавала, я повстречал моего друга. Он приветствовал меня с чрезмерным жаром, — как видно, он успел уже в этот день изрядно выпить; он был одет арлекином: яркое разноцветное трико, на голове остроконечный колпак с бубенчиками. Я так ему обрадовался, что долго не мог выпустить его руку из своих, горячо ее пожимая.

Я сказал ему:

— Дорогой Фортунато, как я рад, что вас встретил. Какой у вас цветущий вид. А мне сегодня прислали бочонок амонтильядо; по крайней мере, продавец утверждает, что это амонтильядо, но у меня есть сомнения.

— Что? — сказал он. — Амонтильядо? Целый бочонок? Не может быть! И еще в самый разгар карнавала!

— У меня есть сомнения, — ответил я, — и я, конечно, поступил опрометчиво, заплатив за это вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись сперва с вами. Вас нигде нельзя было отыскать, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— У меня сомнения.

— Амонтильядо!

— И я должен их рассеять.

— Амонтильядо!

— Вы заняты, поэтому я иду к Лукрези, Если кто может мне дать совет, то только он. Он мне скажет…

— Лукрези не отличит амонтильядо от хереса.

— А есть глупцы, которые утверждают, будто у него не менее тонкий вкус, чем у вас.

— Идемте.

— Куда?

— В ваши погреба.

— Нет, мой друг. Я не могу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы заняты. Лукрези…

— Я не занят. Идем.

— Друг мой, ни в коем случае. Пусть даже вы свободны, но я вижу, что вы жестоко простужены. В погребах невыносимо сыро. Стены там сплошь покрыты селитрой.

— Все равно, идем. Простуда — это вздор. Амонтильядо! Вас бессовестно обманули. А что до Лукрези — он не отличит хереса от амонтильядо.

Говоря так, Фортунато схватил меня под руку, и я, надев черную шелковую маску и плотней запахнув домино, позволил ему увлечь меня по дороге к моему палаццо.

Никто из слуг нас не встретил. Все они тайком улизнули из дому, чтобы принять участие в карнавальном веселье. Уходя, я предупредил

их, что вернусь не раньше утра, и строго наказал ни на минуту не отлучаться из дому. Я знал, что достаточно отдать такое приказание, чтобы они все до единого разбежались, едва я повернусь к ним спиной.

Я снял с подставки два факела, подал один Фортунато и с поклоном пригласил его следовать за мной через анфиладу комнат к низкому своду, откуда начинался спуск в подвалы. Я спускался по длинной лестнице, делавшей множество поворотов; Фортунато шел за мной, и я умолял его ступать осторожней. Наконец мы достигли конца лестницы. Теперь мы оба стояли на влажных каменных плитах в усыпальнице Монтрезоров.

Мой друг шел нетвердой походкой, бубенчики на его колпаке позванивали при каждом шаге.

— Где же бочонок? — сказал он.

— Там, подальше, — ответил я. — Но поглядите, какая белая паутина покрывает стены этого подземелья. Как она сверкает!

Он повернулся и обратил ко мне тусклый взор, затуманенный слезами опьянения.

— Селитра? — спросил он после молчания.

— Селитра, — подтвердил я. — Давно ли у вас этот кашель?

— Кха, кха, кха! Кха, кха, кха! Кха, кха, кха!

В течение нескольких минут мой бедный друг был не в силах ответить.

— Это пустяки, — выговорил он наконец.

— Нет, — решительно сказал я, — вернемся. Ваше здоровье слишком драгоценно. Вы богаты, уважаемы, вами восхищаются, вас любят. Вы счастливы, как я был когда-то. Ваша смерть была бы невознаградимой утратой. Другое дело я — обо мне некому горевать. Вернемся. Вы заболеете, я не могу взять на себя ответственность. Кроме того, Лукрези…

— Довольно! — воскликнул он. — Кашель — это вздор, он меня не убьет! Не умру же я от кашля.

— Конечно, конечно, — сказал я, — и я совсем не хотел внушать вам напрасную тревогу. Однако следует принять меры предосторожности. Глоток вот этого медока защитит вас от вредного действия сырости.

Я взял бутылку, одну из длинного ряда лежавших посреди плесени, и отбил горлышко.

— Выпейте, — сказал я, подавая ему вино.

Он поднес бутылку к губам с цинической усмешкой. Затем приостановился и развязно кивнул мне, бубенчики его зазвенели.

— Я пью, — сказал он, — за мертвецов, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Эти склепы, — сказал он, — весьма обширны.

— Монтрезоры старинный и плодовитый род, — сказал я.

— Я забыл, какой у вас герб?

— Большая человеческая нога, золотая, на лазоревом поле. Она попирает извивающуюся змею, которая жалит ее в пятку.

— А ваш девиз?

— Nemo me impune lacessit![999]

— Недурно! — сказал он.

Глаза его блестели от выпитого вина, бубенчики звенели. Медок разогрел и мое воображение. Мы шли вдоль бесконечных стен, где в нишах сложены были скелеты вперемежку с бочонками и большими бочками. Наконец мы достигли самых дальних тайников подземелья. Я вновь остановился и на этот раз позволил себе схватить Фортунато за руку повыше локтя.

— Селитра! — сказал я. — Посмотрите, ее становится все больше. Она, как мох, свисает со сводов. Мы сейчас находимся под самым руслом реки. Вода просачивается сверху и каплет на эти мертвые кости. Лучше уйдем, пока не поздно. Ваш кашель…

— Кашель — это вздор, — сказал он. — Идем дальше. Но сперва еще глоток медока.

Я взял бутылку деграва, отбил горлышко и подал ему. Он осушил ее одним духом. Глаза его загорелись диким огнем. Он захохотал и подбросил бутылку кверху странным жестом, которого я не понял.

Я удивленно взглянул на него. Он повторил жест, который показался мне нелепым.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Значит, вы не принадлежите к братству.

— Какому?

— Вольных каменщиков[1000].

— Нет, я каменщик, — сказал я.

— Вы? Не может быть! Вы вольный каменщик?

— Да, да, — ответил я. — Да, да.

— Знак, — сказал он, — дайте знак.

— Вот он, — ответил я, распахнув домино и показывая ему лопатку.

— Вы шутите, — сказал он, отступая на шаг. — Однако где же амонтильядо? Идемте дальше.

— Пусть будет так, — сказал я, пряча лопатку в складках плаща и снова подавая ему руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали путь в поисках амонтильядо. Мы прошли под низкими арками, спустились по ступеням, снова прошли под аркой, снова спустились и наконец достигли глубокого подземелья, воздух в котором был настолько сперт, что факелы здесь тускло тлели, вместо того чтобы гореть ярким пламенем.

В дальнем углу этого подземелья открывался вход в другое, менее поместительное. Вдоль его стен, от пола до сводчатого потолка, были сложены человеческие кости, — точно так, как это можно видеть в обширных катакомбах, проходящих под Парижем[1001]. Три стены были украшены таким образом; с четвертой кости были сброшены вниз и в беспорядке валялись на земле, образуя в одном углу довольно большую груду. Стена благодаря этому обнажилась, и в ней стал виден еще более глубокий тайник, или ниша, размером в четыре фута в глубину, три в ширину, шесть или семь в высоту. Ниша эта, по-видимому, не имела никакого особенного назначения; то был просто закоулок между двумя огромными столбами, поддерживавшими свод, а задней ее стеной была массивная гранитная стена подземелья.

Напрасно Фортунато, подняв свой тусклый факел, пытался заглянуть в глубь тайника. Слабый свет не проникал далеко.

— Войдите, — сказал я. — Амонтильядо там. А что до Лукрези…

— Лукрези невежда, — прервал меня мой друг и нетвердо шагнул вперед. Я следовал за ним по пятам. Еще шаг — и он достиг конца ниши. Чувствуя, что каменная стена преграждает ему путь, он остановился в тупом изумлении. Еще миг — и я приковал его к граниту. В стену были вделаны два кольца, на расстоянии двух футов одно от другого. С одного свисала короткая цепь, с другого — замок. Нескольких секунд мне было достаточно, чтобы обвить цепь вокруг

его талии и запереть замок. Он был так ошеломлен, что не сопротивлялся. Вынув ключ из замка, я отступил назад и покинул нишу.

— Проведите рукой по стене, — сказал я. — Вы чувствуете, какой на ней слой селитры? Здесь в самом деле очень сыро. Еще раз умоляю вас — вернемся. Нет? Вы не хотите? В таком случае я вынужден вас покинуть. Но сперва разрешите мне оказать вам те мелкие услуги, которые еще в моей власти.

— Амонтильядо! — вскричал мой друг, все еще не пришедший в себя от изумления.

— Да, — сказал я, — амонтильядо.

С этими словами я повернулся к груде костей, о которой уже упоминал. Я разбросал их, и под ними обнаружился порядочный запас обтесанных камней и известки. С помощью этих материалов, действуя моей лопаткой, я принялся поспешно замуровывать вход в нишу.

Я не успел еще уложить и один ряд, как мне стало ясно, что опьянение Фортунато наполовину уже рассеялось. Первым указанием был слабый стон, донесшийся из глубины тайника. То не был стон пьяного человека. Затем наступило долгое, упорное молчание. Я выложил второй ряд, и третий, и четвертый; и тут я услышал яростный лязг цепи. Звук этот продолжался несколько минут, и я, чтобы полнее им насладиться, отложил лопатку и присел на груду костей. Когда лязг наконец прекратился, я снова взял лопатку и без помех закончил пятый, шестой и седьмой ряд. Теперь стена доходила мне почти до груди. Я вновь приостановился и, подняв факел над кладкой, уронил слабый луч на темную фигуру в тайнике.

Громкий пронзительный крик, целый залп криков, вырвавшихся внезапно из горла скованного узника, казалось, с силой отбросил меня назад. На миг я смутился, я задрожал. Выхватив шпагу из ножен, я начал шарить ее концом в нише, но секунда размышления вернула мне спокойствие. Я тронул рукой массивную стену катакомбы и ощутил глубокое удовлетворение. Я вновь приблизился к стенке и ответил воплем на вопль узника. Я помогал его крикам, я вторил им, я превосходил их силой и яростью. Так я сделал, и кричавший умолк.

Была уже полночь, и труд мой близился к окончанию. Я выложил восьмой, девятый и десятый ряд. Я довел почти до конца одиннадцатый и последний, оставалось вложить всего один лишь

камень и заделать его. Я поднял его с трудом; я уже наполовину вдвинул его на предназначенное место. Внезапно из ниши раздался тихий смех, от которого волосы у меня встали дыбом. Затем заговорил жалкий голос, в котором я едва узнал голос благородного Фортунато.

— Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Отличная шутка, честное слово, превосходная шутка! Как мы посмеемся над ней, когда вернемся в палаццо, — хи-хи-хи! — за бокалом вина — хи-хи-хи!

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хи-хи-хи! Хи-хи-хи! Да, да, амонтильядо. Но не кажется ли вам, что уже очень поздно? Нас, наверное, давно ждут в палаццо… и синьора Фортунато и гости?.. Пойдемте.

— Да, — сказал я. — Пойдемте.

— Ради всего святого, Монтрезор!

— Да, — сказал я. — Ради всего святого.

Но я напрасно ждал ответа на эти слова. Я потерял терпение.

Я громко позвал:

— Фортунато!

Молчание. Я позвал снова.

— Фортунато!

По-прежнему молчание. Я просунул факел в не заделанное еще отверстие и бросил его в тайник. В ответ донесся только звон бубенчиков. Сердце у меня упало: конечно, только сырость подземелья вызвала это болезненное чувство. Я поспешил закончить свою работу. Я вдвинул последний камень на место, я заделал его. Вдоль новой кладки я восстановил прежнее ограждение из костей. Полстолетия прошло с тех пор, и рука смертного к ним не прикасалась. In pace requiescat![1002]

Ноябрь, 1846

пер. О. Холмской

Поместье Арнгейм

Прекрасной даме был подобен сад,
Блаженно распростертой в полусне,
Смежив под солнцем утомленный взгляд.
Поля небесные синели мне,
В цветении лучей сомкнувшись в вышине.
Роса, блестя у лилий на главе
И на лазурных листьях и в траве,
Была что звездный рой в вечерней синеве.

Джайлс Флетчер[1003]

От колыбели до могилы в паруса моего друга Эллисона дул попутный ветер процветания. И я употребляю слово «процветание» не в сугубо земном смысле. Для меня оно тождественно понятию «счастье». Человек, о котором я говорю, казался рожденным для предвозвещения доктрин Тюрго, Прайса, Пристли и Кондорсе — для частного воплощения всего, что считалось химерою перфекционистов[1004]. По моему мнению, недолгая жизнь Эллисона опровергала догму о существовании в самой природе человека некоего скрытого начала, враждебного блаженству. Внимательное изучение его жизни дало мае понять, что нарушение немногих простых законов гуманности обусловило несчастье человечества, что мы обладаем еще неразвитыми началами, способными принести нам довольство, и что даже теперь, при нынешнем невежестве и безумии всех мыслей относительно великого вопроса о социальных условиях, не лишено вероятности, что отдельное лицо, при неких необычайных и весьма благоприятных условиях, может быть счастливым.

Мнений, подобных этому, целиком придерживался и мой молодой друг, и поэтому следует принять во внимание, что ничем не омраченная радость, которой отмечена его жизнь, была в значительной мере обусловлена заранее. И в самом деле, очевидно, что, располагай он меньшими способностями к бессознательной философии, которая порою так успешно заменяет жизненный опыт, мистер Эллисон

обнаружил бы себя ввергнутым самою своею невероятною жизненною удачею во всеобщий водоворот горя, разверзтый перед всеми, наделенными чем-либо незаурядным. Но я отнюдь не ставлю себе целью сочинение трактата о счастии. Идеи моего друга можно изложить в нескольких словах. Он допускал лишь четыре простые основы или, точнее говоря, четыре условия блаженства. То, что он почитал главным, были (странно сказать!) всего лишь физические упражнения на свежем воздухе. «Здоровье, достигаемое иными средствами, — говорил он, — едва ли достойно зваться здоровьем». Он приводил как пример блаженства охоту на лис и указывал на землекопов как на единственных людей, которые как сословие могут по справедливости почитаться счастливее прочих. Его вторым условием была женская любовь. Третьим, и наиболее трудно осуществимым, было презрение к честолюбивым помыслам. Четвертым была цель, которая требовала постоянного к себе стремления; и он держался того мнения, что степень достижимого счастья пропорциональна духовности и возвышенности этой цели. Замечателен был непрерывный поток даров, которые фортуна в изобилии обрушивала па Эллисона. Красотою и грацией он превосходил всех. Разум его был такого склада, что приобретение познаний являлось для него не трудом, а скорее наитием и необходимостью. Он принадлежал к одной из знатнейших фамилий империи. Его невеста была самая прелестная и самая верная из женщин. Его владения всегда были обширны; но, когда он достиг совершеннолетия, обнаружилось, что судьба сделала его объектом одного из тех необычайных своих капризов, что потрясают общество и почти всегда коренным образом переменяют моральный склад тех, на кого направлены.

Оказалось, что примерно за сто лет до совершеннолетия мистера Эллисона в одной отдаленной провинции скончался некий мистер Сибрайт Эллисон. Этот джентльмен скопил огромное состояние и, не имея прямых потомков, измыслил прихотливый план: дать своему богатству расти в течение ста лет после своей смерти. Мудро, до мельчайших подробностей распорядившись различными вложениями, он завещал всю сумму ближайшему из своих родственников но фамилии Эллисон, который будет жить через сто лет. Было предпринято много попыток отменить это необычайное завещание; но

то, что они посиди характер ex post facto[1005] обрекало их на провал; зато было привлечено внимание ревностного правительства и удалось провести законодательный акт, запрещающий подобные накопления. Этот акт, однако, не помешал юному Эллисону в свой двадцать первый день рождения вступить во владение наследством своего предка Сибрайта, составлявшим четыреста пятьдесят миллионов долларов[1006].

Когда стали известны столь огромные размеры унаследованного богатства, то, разумеется, начала строить всяческие предположения относительно того, как им распорядятся. Величина и безусловное наличие суммы привели в растерянность всех, размышлявших об этом предмете. Про обладателя какого-либо умопостигаемого количества денег можно было вообразить что угодно. Владей он богатствами, только превосходящими богатства любого гражданина, легко было представить себе, что он пустится в безудержный разгул соответственно модам своего времени, или займется политическими интригами, или начнет метить в министры, или купит себе высокий титул, или примется коллекционировать целые музеи virtu[1007] или станет щедрым покровителем изящной словесности, наук, искусств, или свяжет свое имя с благотворительными учреждениями, известными широкою сферою деятельности. Но при столь невообразимом богатстве, действительным владельцем которого сделался наследник, чувствовалось, что эти цели, да и все обычные цели представляют слишком ограниченное поле. Обратились к цифрам, и они лишь привели в смущение. Стало ясно, что даже при трех процентах годовых капитал принесет не менее тринадцати миллионов пятисот тысяч годового дохода, что составляло миллион сто двадцать пять тысяч в месяц, или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть долларов в день, или тысячу пятьсот сорок один доллар в час, или двадцать шесть долларов в каждую быстролетную минуту. И вследствие этого обычные предположения решительно отбросили. Не знали, что и вообразить. Некоторые даже предположили, будто мистер Эллисон избавится, по крайней мере, от половины своего состояния, ибо такое множество денег уж совершенно ни на что не нужно, и обогатит целую рать родственников разделом избытков. Ближайшим из них он и в самом деле уступил то

весьма необычное богатство, которым владел до получения наследства.

Однако я не был удивлен, узнав, что он давно принял решение по вопросу, послужившему среди его друзей поводом для многих обсуждений. И я не очень-то изумился, обнаружив, что именно он решил. В отношении частной благотворительности он успокоил свою совесть. В возможность отдельного человека хоть как-либо, в прямом значении слова, улучшить общее состояние человечества он (мне жаль в этом признаться) мало верил. В целом, к счастью или нет, он в значительной степени был предоставлен самому себе.

Он был поэт в самом благородном и широком смысле слова. Кроме того, он постиг истинную природу, высокие цели, высшее величие поэтического чувства. Он бессознательно понял, что самое полное, а быть может, единственно возможное удовлетворение этого чувства заключается в созидании новых форм прекрасного. Некоторые странности, исходящие то ли из его раннего образования, то ли из самой природы его ума, придали всем его этическим представлениям характер так называемого материализма; и, быть может, это и внушило ему убеждение, что наиболее плодотворная, если только не единственная область воистину поэтического деяния заключается в создании новых видов чисто материальной красоты. И случилось так, что он не стал ни музыкантом, ни поэтом — если употреблять последний термин в его повседневном значении. А может быть, он пренебрег такою возможностью просто в соответствии со своим убеждением, что одно из основных условий счастья па земле заключается в презрении к честолюбивым помыслам. И, право, не вероятно ли, что если высокий гений по необходимости честолюбив, то наивысший чуждается того, что зовется честолюбием? И не может ли быть так, что иной, более великий, нежели Мильтон, оставался доволен, пребывая «немым и бесславным»[1008]? Я убежден, что мир никогда не видел — и если только цепь случайностей не вынудит ум благороднейшего склада к низменным усилиям, то мир никогда и не увидит — полную меру победоносного свершения в самых богатых возможностями областях искусства, на которую вполне способна природа человеческая.

Эллисон не стал ни музыкантом, ни поэтом, хотя не жил на свете человек, более глубоко поглощенный музыкой и поэзией. Весьма

возможно, что при других обстоятельствах он стал бы живописцем. Скульптура, хотя она и сугубо поэтична по природе своей, слишком ограничена в размахе и результатах, и поэтому не могла когда-либо обратить на себя его пристальное внимание. Я успел упомянуть все отрасли искусства, па которые поэтическое чувство, по общепринятому мнению, распространяется. Но Эллисон утверждал, что наиболее богатая возможностями, наиболее истинная, наиболее естественная и, быть может, наиболее широкая отрасль его пребывает в необъяснимом небрежении. Никто еще не относил декоративное садоводство к видам поэзии; но друг мой полагал, что оно предоставляет истинной Музе великолепнейшие возможности. И вправду, здесь простирается обширнейшее поле для демонстрации фантазии, выражаемой в бесконечном сочетании форм невиданной ранее красоты; и элементы, ее составляющие, неизмеримо превосходят все, что может дать земля. В многообразных и многокрасочных цветах и деревьях он усматривал самые прямые и энергичные усилия Природы, направленные на сотворение материальной красоты. И в направлении или в концентрации этих усилий — точнее, в приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле, в применении лучших средств, в трудах ради полнейшего совершенства — и заключалось, как он понял, исполнение не только его судьбы как поэта, но и высокой цели, с коей божество наделило человека поэтическим чувством.

«В приспособлении этих усилий к глазам, что должны увидеть их на земле». Объясняя это выражение, мистер Эллисон во многом приблизил меня к разгадке того, что всегда казалось мне загадочным: разумею тот факт (его же оспорит разве лишь невежда), что в природе не существуют сочетания элементов пейзажа, равного тем, что способен сотворить гениальный живописец. Не сыщется в действительности райских мест, подобных там, что сияют нам с полотен Клода[1009]. В самых пленительных из естественных ландшафтов всегда сыщется избыток или недостаток чего-либо — многие избытки и многие недостатки. Если составные части и могут по отдельности превзойти даже наивысшее мастерство живописца, то в размещении этих частей всегда найдется нечто, моющее быть улучшенным. Коротко говоря, на широких естественных просторах земли нет точки, внимательно смотря с которой взор живописца не

найдет погрешностей в том, что называется «композицией» пейзажа. И все же, до чего это непостижимо! В иных областях мы справедливо привыкли считать природу непревзойденной. Мы уклоняемся от состязаний с ее деталями. Кто дерзнет воспроизводить расцветку тюльпана или улучшать пропорции ландыша? Критическая школа, которая считает, что скульптура или портретная живопись должны скорее возвышать, идеализировать натуру, а не подражать ей, пребывает в заблуждении. Все сочетания черт человеческой красоты в живописи или скульптуре лишь приближаются к прекрасному, которое живет и дышит. Этот эстетический принцип верен лишь применительно к пейзажу; и, почувствовав здесь его верность, из-за опрометчивой тяги к обобщениям критики почли, будто он распространяется на все области искусства. Я сказал: почувствовав, ибо это чувство — не аффектация и не химера. И в математике явления — не точнее тех, которые открываются художнику, почувствовавшему природу своего искусства. Он не только предполагает, но положительно знает, что такие-то и такие-то, на первый взгляд произвольные сочетания материи образуют — и лишь они образуют — истинно прекрасное. Его мотивы, однако, еще не дозрели до выражения. Потребен более глубокий анализ, нежели тот, что ведом ныне, дабы вполне их исследовать и выразить. Тем не менее художника в его инстинктивных понятиях поддерживают голоса всех его собратьев. Пусть в «композиции» будет недостаток, пусть в ее простое расположение форм внесут поправку, пусть эту поправку покажут всем художникам на свете, необходимость этой поправки признает каждый. И даже еще более того: для улучшения композиционного изъяна каждый из содружества в отдельности предложил бы одну и ту же поправку.

Повторяю, что материальная природа подлежит улучшению лишь в упорядочении элементов пейзажа и, следственно, лишь в этой области возможность ее усовершенствования представлялась мне неразрешимою загадкою. Мои мысли о настоящем предмете ограничивались предположением, будто природа вначале тщилась создать поверхность земли в полном согласии с человеческими понятиями о совершенной степени прекрасного, высокого или живописного, но что это начальное стремление не было выполнено ввиду известных геологических нарушений — нарушений форм я

цветовых сочетаний, подлинный же смысл искусства состоит в исправлении и сглаживании подобных нарушений. Однако убедительность такого предположения значительно ослаблялась сопряженною о ним необходимостью расценивать эти геологические нарушения как противоестественные и не имеющие никакой цели. Эллисон высказал догадку, что они предвещают смерть. Объяснил он это следующим образом: допустим, что вначале на долю человека предназначалось бессмертие. Тогда первоначальный вид земной поверхности, отвечающий блаженному состоянию человека, не просто существовал, но был сотворен но расчету. Геологические же нарушения предвещали смертность, приуготовленные человеку в дальнейшем.

«Так вот, — сказал мой друг, — то, что мы считали идеализацией пейзажа, может таковою быть и в действительности, но лишь со смертной, или человеческой, точки зрения. Каждая перемена в естественном облике земли может, по всей вероятности, оказаться изъяном в картине, если вообразить, что картину эту видят целиком — во всем ее объеме — с точки, далекой от поверхности земли, хотя и не за пределами земной атмосферы. Легко понять, что поправка в детали, рассматриваемой на близком расстоянии, может в то же время повредить более общему или цельному впечатлению. Ведь могут быть существа, некогда люди, а теперь людям невидимые, которым издалека наш беспорядок может показаться порядком, наша неживописность — живописною; одним словом, это земные ангелы, и необозримые декоративные сады обоих полушарий бог, быть может, скомпоновал для их, а не для нашего созерцания, для их восприятия красоты, восприятия, утонченного смертью».

Во время обсуждения друг мой процитировал некоторые отрывки из сочинения о декоративном садоводстве, автор которого, по общему мнению, успешно трактовал свою тему:

«Собственно есть лишь два стиля декоративного садоводства. Первый стремится напомнить первоначальную красоту местности, приспосабливаясь к окружающей природе; деревья выращивают, приводя их в гармонию с окрестными холмами или долинами; выявляют те приятные сочетания размеров, пропорций и цвета, которые, будучи скрыты от неопытного наблюдателя, повсеместно обнаруживаются перед истинным ценителем природы. Результат этого

естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий — в преобладании здоровой гармонии и порядка, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот. У искусственного стиля столько же разновидностей, сколько существует индивидуальных вкусов, подлежащих удовлетворению. В известном смысле он соотносится с различными стилями архитектуры. Возьмите величественные аллеи и уединенные уголки Версаля, итальянские террасы, разновидности смешанного староанглийского стиля, родственного готике или елизаветинскому зодчеству. Что бы ни говорили против злоупотреблений в искусственном стиле садоводства, привнесение искусства придает саду большую красоту. Это отчасти радует глаз благодаря наличию порядка и плана, отчасти благодаря интеллектуальным причинам. Терраса с обветшалой, обросшей мохом балюстрадой напоминает прекрасные облики проходивших по пей в былые дни. И даже малейший признак искусства свидетельствует о заботе и человеческом участии».

«Из того, что я ранее заметил, — продолжал Эллисон, — вы поймете, что я отвергаю выраженную здесь идею о возврате к естественной красоте данной местности. Естественная красота никогда не сравнится с созданной. Конечно, все зависит от выбора места. Сказанное здесь о выявлении приятных сочетаний размеров, пропорций и цвета — лишь неясные слова, потребные для сокрытия неточной мысли. Процитированная фраза может значить что угодно или ничего и никуда нас не приводит. Что истинный результат естественного стиля в садоводстве заключается скорее в отсутствии всяческих недостатков и несоответствий, нежели в создании каких-либо особых чудес или красот — положение, пригодное более для низменного стадного восприятия, нежели для пылких мечтаний гения. Негативные достоинства, здесь подразумеваемые, относятся к воззрениям той неуклюжей критической школы, которая в словесности готова почтить апофеозом Аддисона[1010]. А ведь правда, что добродетель, состоящая единственно в уклонении от порока, непосредственно воздействует на рассудок и поэтому может быть отнесена к правилам, но добродетель более высокого рода, пылающая в мироздании, постижима только по своим следствиям. Правила применимы лишь к заслугам отречения — к великолепию воздержания. Вне этих правил критическое искусство способно лишь

строить предположения. Можно научить построению „Катона“, но тщетны попытки рассказать, как замыслить Парфенон или „Ад“[1011]. Однако создание готово; чудо совершилось, и способность воспринимать делается всеобщею. Обнаруживается, что софисты негативной школы, которые по своей неспособности творить насмехались над творчеством, теперь громче всех расточают похвалы творению. То, что в своем зачаточном состоянии возмущало их ограниченный разум, по созревании неизменно исторгает восхищение, рожденное их инстинктивным чувством прекрасного».

«Наблюдения автора относительно искусственного стиля, — продолжал Эллисон, — вызывают меньше возражений. То, что добавление искусства придает саду большую красоту, справедливо, так же как и упоминание о свидетельстве человеческого участия. Выраженный принцип неоспорим — но и вне его может заключаться нечто. В следовании этому принципу может заключаться цель — цель, недостижимая средствами, как правило, доступными отдельным лицам, но которая, в случае достижения, придала бы декоративному саду очарование, далеко превосходящее то очарование, что возникает от простого сознания человеческого участия. Поэт, обладая денежными ресурсами, был бы способен, сохраняя необходимую идею искусства или культуры, или, как выразился наш автор, участия, придать своим эскизам такую степень красоты и новизны, дабы внушить чувство вмешательства высших сил. Станет ясно, что, добиваясь подобного результата, он сохраняет все достоинства участия или плана, в то же время избавляя свою работу от жесткости или техницизма земного искусства. В самой дикой глуши — в самых нетронутых уголках девственной природы — очевидно искусство творца; но искусство это очевидно лишь для рассудка и ни в каком смысле не обладает явною силою чувства. Предположим теперь, что это сознание плана, созданного Всемогущим, понизится на одну ступень — придет в нечто подобное гармонии или соответствию с сознанием человеческого искусства, образует нечто среднее между тем и другим: вообразим, к примеру, ландшафт, где сочетаются простор и определенность, который одновременно прекрасен, великолепен и странен, и это сочетание показывает, что о нем заботятся, его возделывают, за ним наблюдают существа высшего порядка, но родственные человеку; тогда сознание участия сохраняется, в то время

как элемент искусства приобретает характер промежуточной или вторичной природы, природы, которая не бог и не эманация бога, но именно природа, то есть нечто сотворенное ангелами, парящими между человеком и богом».

И посвятив свое огромное богатство осуществлению подобной грезы — в простых физических упражнениях на свежем воздухе, обусловленных его личным надзором над выполнением его замыслов, в вечной цели, созданной этими замыслами, в возвышенной духовности этой цели, в презрении к честолюбивым помыслам, которое эта цель позволила ему всемерно ощутить, в неиссякаемом источнике, утолявшем без пресыщения главную страсть его души, жажду прекрасного, и, сверх всего, в сочувствии женщины, чары и любовь которой обволокли его существование царственной атмосферою рая, Эллисон думал обрести и обрел избавление от обыденных забот рода человеческого вкупе с большим количеством прямого счастья, нежели представлялось госпоже де Сталь в самых восторженных ее мечтах.

Я не надеюсь дать читателю хоть какое-то отдаленное представление о тех чудесах, которые моему другу удалось осуществить. Я хочу описать их, но меня обескураживает трудность описания, я останавливаюсь на полпути между подробностями и целым. Быть может, лучшим способом явится сочетание и того и другого в их крайнем выражении.

Первый шаг мистера Эллисона заключался, разумеется, в выборе места; и едва начал он раздумывать об этом, как внимание его привлекла роскошная природа тихоокеанских островов. Он уж решился было отправиться путешествовать в южные моря, но, поразмыслив в течение ночи, отказался от этой идеи. «Будь я мизантроп, — объяснял он, — подобная местность подошла бы мне. Ее полная уединенность и замкнутость, затруднительность прибытия п отбытия составили бы в этом случае главную прелесть ее, но пока что я еще не Тимон[1012]. В одиночестве я ищу покоя, по пе уныния. Да ведь будет и много часов, когда от поэтических натур мне потребуется сочувствие сделанному мною. В этом случае мне надобно искать место невдалеке от многолюдного города, а близость его, вдобавок, послужит мне лучшим подспорьем в выполнении моих замыслов».

В поисках подходящего места, подобным образом расположенного, Эллисон путешествовал несколько лет, и мне позволено было сопровождать его. Тысячу участков, приводивших меня в восторг, он отвергал без колебания по причинам, в конце концов убеждавшим меня в его правоте. Наконец мы достигли возвышенного плоскогорья, отличающегося удивительно плодородной землею и очень красивого, откуда открывался панорамический вид обширнее того, что открывается с Этны, и, по мнению Эллисона, равно как и моему, превосходящий вид с прославленной горы в отношении всех истинных элементов живописного.

«Я сознаю, — сказал искатель, вздохнув с глубоким удовлетворением, после того как зачарованно взирал на эту сцену около часа, — я знаю, что здесь на моем месте девять десятых из самых придирчивых ничего бы не пожелали. Панорама воистину великолепна, и я восторгался бы ею, если бы великолепие ее пе было бы чрезмерно. Вкус всех когда-либо знакомых мне архитекторов заставляет их ради „вида“ помещать здания на вершинах холмов. Ошибка очевидна. Величие в любом своем выражении, особенно же в смысле протяженности, удивляет и волнует, а затем утомляет и гнетет. Для недолгого впечатления не может быть ничего лучшего, но для постоянного созерцания — ничего худшего. А для постоянного созерцания самый нежелательный вид грандиозности — это грандиозность протяженности, а худший вид протяженности — это расстояние. Оно враждебно чувству и ощущению замкнутости — чувству и ощущению, которые мы пытаемся удовлетворить, когда удаляемся „на покой в деревню“. Смотря с горной вершины, мы пе можем не почувствовать себя затерянными в пространстве. Павшие духом избегают подобных видов, как чумы».

Только к концу четвертого года наших поисков мы нашли местность, которою Эллисон остался доволен. Разумеется, излишне говорить, где она расположена. Недавняя смерть моего друга привела к тому, что некоторому разряду посетителей был открыт доступ в его поместье Арнгейм[1013], и оно снискало себе род утаенной славы, хотя и значительно большей по степени, но сходной по характеру со славою, которою так долго отличался Фонтхилл[1014].

Обычно к Арнгейму приближались по реке. Посетитель покидал город ранним утром. До полудня он следовал между берегов,

исполненных спокойной, безмятежной красоты, на которых паслись бесчисленные стада овец — белые пятна среди яркой зелени холмистых лугов. Постепенно создавалось впечатление, будто из края землепашцев мы переходим в более дикий, пастушеский, — и впечатление это понемногу растворялось в чувстве замкнутости — а там и в сознании уединения. По мере того, как приближался вечер, русло сужалось; берега делались все более и более обрывисты, покрыты более густой, буйной и суровой по окраске растительностью. Вода становилась прозрачнее. Поток струился по тысяче излучин, так что вперед было видно не далее чем на фурлонг[1015]. Каждое мгновение судно казалось заключенным в заколдованный круг, обнесенный непреодолимыми и непроницаемыми стенами из листвы, накрытый крышею из ультрамаринового атласа и без пола, а киль с завидной ловкостью балансировал на киле призрачной ладьи, которая, перевернувшись по какой-то случайности вверх дном, плыла, постоянно сопутствуя настоящему судну ради того, чтобы держать его на поверхности. Теперь русло проходило по ущелью — пусть термин этот не вполне годится, я употребляю его лишь потому, что в языке нет слова, которое лучше бы обозначило самую примечательную, хотя и не самую характерную черту местности. На ущелье она походила лишь высотою и параллельностью берегов, и ничем другим. Берега (между которыми прозрачная вода по-прежнему спокойно струилась) поднимались до ста, а порою и до ста пятидесяти футов и так наклонялись друг к другу, что в весьма большой мере заслоняли дневной свет; а длинный, перистый мох, в обилии свисавший о кустов, переплетенных над головою, придавал всему погребальное уныние. Поток извивался все чаще и все запутаннее, как бы петляя, так что путешественник давно уж терял всякое понятие о направлении. Кроме того, его охватывало восхитительное чувство странного. Мысль о природе оставалась, но характер ее казался подвергнутым изменениям, жуткая симметрия, волнующее единообразие, колдовская упорядоченность наблюдались во всех ее созданиях. Ни единой сухой ветви, ни увядшего листа, ни случайно скатившегося камешка, ни полоски бурой земли нигде не было видно. Хрустальная влага плескалась о чистый гранит или о незапятнанный мох, и резкость линий восхищала взор, хотя и приводила в растерянность.

Пройдя до этому лабиринту в течение нескольких часов, пока сумрак сгущался с каждым мигом, судно делало крутой и неожиданный поворот и внезапно, как бы упав с неба, оказывалось в круглом водоеме, весьма обширном по сравнению с шириною ущелья. Он насчитывал около двухсот ярдов в диаметре и всюду, кроме одной точки, расположенной прямо напротив входящего судна, был окружен холмами, в общем одной высоты со стенами ущелья, хотя и совсем другого характера. Их стороны сбегали к воде под углом примерно в сорок пять градусов, и от подошвы до вершины их обволакивали роскошнейшие цветы; вряд ли можно было бы заметить хоть один зеленый лист в этом море благоуханного и переливчатого цвета. Водоем был очень глубок, но из-за необычайно прозрачной воды дно его, видимо, образованное густым скоплением маленьких круглых алебастровых камешков, порою было ясно видно, то есть, когда глаз мог позволить себе не увидеть в опрокинутом небе удвоенное цветение холмов. На них не росло никаких деревьев и даже кустов. Зрителя охватывало впечатление пышности, теплоты, цвета, покоя, гармонии, мягкости, нежности, изящества, сладострастия и чудотворного, чрезвычайно заботливого ухода, внушавшего мечтания о новой породе фей, трудолюбивых, наделенных вкусом, великолепных и изысканных; но, пока взор скользил кверху по многоцветному склону от резкой черты, отмечавшей границу его с водою, до его неясно видной вершины, растворенной в складках свисающих облаков, то, право, трудно было не вообразить панорамический поток рубинов, сапфиров, опалов и золотых ониксов, беззвучно низвергающихся с небес.

Внезапно вылетев в эту бухту из мрачного ущелья, гость восхищен, но и ошеломлен, увидев шар заходящего солнца, которое, по его предположениям, давно опустилось за горизонт, но оно встает перед ним, образуя единственный предел бесконечной перспективы, видной в еще одной расселине среди холмов.

Но тут путник покидает судно, на котором следовал дотоле, и опрыскается в легкую пирогу из слоновой кости, снаружи и внутри испещренную ярко-алыми арабесками. Острый нос и острая корма челна высоко вздымаются над водою, так что в целом его форма напоминает неправильный полумесяц. Он покоится на глади водоема, исполненный горделивой грации лебедя. На палубе, устланной горностаевым мехом, лежит единственное весло из атласного дерева,

легкое, как перышко; но нигде не видно ни гребца, ни слуги. Гостя уверяют, что судьба о нем позаботится. Большое судно исчезает, и он остается один в челне, по всей видимости, недвижимо стоящем посередине озера. Но, размышляя о том, что ему предпринять далее, он ощущает легкое движение волшебной ладьи. Она медленно поворачивается, пока нос ее не начинает указывать на солнце. Она движется, мягко, но равномерно ускоряя ход, а легкая рябь, ею поднятая, как бы рождает, ударяясь в борт, божественную мелодию — как бы единственно возможное объяснение успокоительной, но грустной музыке, источник которой, растерянно оглядываясь окрест, путник напрасно ищет.

Ладья идет ровно и приближается к утесистым вратам канала, так что его глубины можно рассмотреть яснее. Справа поднимается высокая цепь холмов, покрытых дикими и густыми лесами. Заметно, однако, что восхитительная чистота на границе берега и воды остается прежней. Нет и следа обычного речного мусора. Пейзаж слева не столь суров, и его искусственность более заметна. Берег здесь поднимается весьма отлого, образуя широкий газон, трава на котором похожа более всего на бархат, а ярким цветом выдерживает сравнение с чистейшим изумрудом. Ширина плато колеблется от десяти до трехсот ярдов; оно доходит до стены в пятьдесят футов, которая тянется, бесконечно извиваясь, но все же в общем следует направлению реки, пока не теряется из виду, удаляясь к западу. Стена эта образована из цельной скалы и создана путем стесывания некогда неровного обрыва на южном берегу реки; но никаким следам рук человеческих не дозволено было остаться. Обработанный камень как бы окрашен столетиями, он густо увешан и покрыт плющом, коралловой жимолостью, шиповником и ломоносом. Тождество верхней и нижней линий стены ясно оттеняется там и сям гигантскими деревьями, растущими поодиночке и маленькими группами как вдоль плато, так и по ту сторону стены, но в непосредственной к ней близости, так что очень часто ветви (особенно ветви черных ореховых деревьев) перегибаются и окунают свисающие конечности в воду. Что дальше — мешает увидеть непроницаемая лиственная завеса.

Все это видно во время постепенного продвижения челна к тому, что я назвал вратами перспективы. По мере приближения, однако, путник замечает, что сходство с ущельем пропало; слева открывается

новый выход из бухты; туда же тянется и стена, по-прежнему следуя общему направлению потока. Вдоль этого нового русла видно не очень далеко, потому что поток вместе со стеною все еще загибается влево, пока обоих не поглощает листва.

Тем не менее ладья волшебным образом скользит в извилистый канал; и здесь берег, противоположный стене, оказывается похож на берег, противоположный стене в канале. Высокие холмы, порою по высоте равные горам и покрытые буйной и дикой растительностью, все же не дают увидеть то, что вдали.

Спокойно, хотя и с несколько большей скоростью двигаясь вперед, путник после многих коротких поворотов видит, что дальнейшую дорогу ему преграждают гигантские ворота или скорее дверь из отполированного золота, покрытая сложной резьбой и чеканкой и отражающая отвесные лучи к тому времени стремительно заходящего солнца, отчего весь окрестный лес как будто охвачен огненными языками. Дверь врезана в высокую стену, которая здесь кажется пересекающей реку под прямым углом. Однако через несколько мгновений становится видно, что главное русло все еще описывает широкую и плавную дугу влево и стена, как прежде, идет вдоль потока, а от него ответвляется довольно большой рукав и, протекая с легким плеском под дверь, скрывается из глаз. Челн входит в рукав и приближается к воротам. Тяжкие створы медленно и музыкально распахиваются. Ладья проскальзывает между ними и начинает неудержимое нисхождение в обширный амфитеатр, полностью опоясанный лиловыми горами, чьи подножья омывает серебристая река. И разом является взору Аргеймский Эдем. Там льется чарующая мелодия; там одурманивает странный, сладкий аромат; там сновиденно свиваются перед глазами высокие, стройные восточные деревья; там раскидистые кусты, стаи золотых и пунцовых птиц, озера, окаймленные лилиями, луга, покрытые фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами, — длинные, переплетенные извивы серебристых ручейков, и воздымается полуготическое, полумавританское нагромождение, волшебно парит в воздухе, сверкает в багровых закатных лучах сотнею террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сильфид, фей, джиннов и гномов.

Март, 1847

пер. В. Рогова

Домик Лэндора. Дополнение к «Поместью Арнгейм»

Прошлым летом, во время пешего путешествия по одному-двум приречным графствам штата Нью-Йорк, однажды, когда день клонился к вечеру, я обнаружил, что сбился с пути. Местность была замечательно холмиста; и тропинка, по которой я шел, в течение часа так петляла и запутывалась, пытаясь удержаться в долине, что я не мог более определить, в каком направлении находится прелестная деревенька Б., где я намеревался заночевать. Строго говоря, солнце днем, почитай, и не светило, хотя и стояла тягостная жара. Все обволакивала туманная дымка, какая бывает порою бабьего лета, что, разумеется, увеличивало мою неуверенность. Не то чтоб это меня беспокоило. Если бы я не дошел до деревни к закату или даже затемно, то более чем вероятно, что мне попадется какая-нибудь маленькая голландская ферма или нечто подобное — хотя вообще-то окрестность (быть может, потому, что она более живописна, нежели пригодна для земледелия) была заселена в очень малой степени. Во всяком случае, если бы мой ранец послужил мне подушкою, а мой пес — часовым, бивуак на открытом воздухе освежил бы меня. Поэтому я шел, не торопясь и не волнуясь — Понто нес мое ружье — пока, наконец, я не стал размышлять, ведут ли куда-нибудь многочисленные прогалины, и одна из них как раз навела меня на несомненную проезжую дорогу. Ошибиться было невозможно. Ясно виднелись следы легких колес; и хотя высокие кусты и разросшийся подлесок сходились над головою, но они не воспрепятствовали бы проезду даже виргинского горного фургона — самого высокого экипажа из ему подобных. Дорога, однако, не считая того, что пролегала в лесу — если не будет чрезмерным назвать лесом подобное скопление тонких деревьев — и не считая отчетливых следов колес — ничем не походила ни на какую дорогу, мною дотоле виденную. Следы, о которых я говорю, были едва заметны, отпечатанные на упругой, но приятно влажной поверхности того, что больше всего напоминало зеленый генуэзский бархат. Ясно, что это была трава, но такую траву редко увидишь за пределами Англии — такую короткую, густую, ровную и яркую. Ничто не

мешало ходу колес — ни единой щепочки или сухой ветки. Камни, некогда преграждавшие дорогу, были тщательно размещены — а не отброшены — по обеим сторонам тропы, определяя ее границы полуточным, полунебрежным, но весьма живописным образом. Между камнями пышно разрослись дикие цветы.

Что обо всем этом подумать, я, конечно, не знал. Несомненно, здесь было искусство — это меня не удивило: все дороги, в обычном смысле слова, суть произведения искусства; не могу сказать, что удивлял избыток обнаруживаемого искусства; все, что было сделано, могло быть сделано именно здесь с использованием природных «возможностей» (как выражаются в книгах о декоративном садоводстве) — и с очень малой затратой труда и денег. Нет; не изобилие, а качество искусства заставило меня сесть на окруженный цветами камень и в течение целого получаса растерянно и восторженно любоваться волшебною тропою. Чем дольше я смотрел, тем яснее становилось одно: работою руководил художник, и художник, наделенный острейшим чувством формы. С крайнею заботою соблюдена была надлежащая середина между аккуратностью и грациозностью, с одной стороны, и pittoresco[1067] в истинном значении итальянского термина — с другой. Прямых линий было немного, а длинные и непрерывные и вовсе отсутствовали. Одинаковый линейный или цветовой эффект был виден с каждой данной точки зрения обычно дважды, но не чаще того. Всюду в пределах единства наблюдалось разнообразие. Это был образец «композиции», в которую и самый придирчивый критический вкус не мог бы предложить улучшений.

Вступив на эту дорогу, я повернул направо и теперь, встав, продолжал путь в том же направлении. Тропа так извивалась, что ни на миг я не видел впереди себя более чем на два или на три шага. Характер дороги ни в чем существенном не менялся.

Затем слух мой уловил мягкий рокот воды — и несколько мгновений спустя, сделав более крутой поворот, нежели до того, я увидел, что прямо передо мной у подножия пологого спуска стоит какое-то здание. Я ничего не мог ясно рассмотреть из-за тумана, окутавшего маленькую долину внизу. Однако перед самым закатом солнца подул нежный ветерок; и, пока я стоял на верху откоса, туман постепенно развеялся клочьями и пополз по лощине.

Когда она целиком открылась мне — постепенно, как я описываю, по частям: тут покажется дерево, там блеснет водная гладь, а там станет видна труба на крыше дома, — мне померещилось, будто передо мной одна из тех хитроумных иллюзий, которые иногда демонстрируют под названием «туманных картин».

Однако к тому времени, как туман совершенно рассеялся, солнце зашло за пологие холмы, а оттуда, как бы с легким chassez[1068] к югу, снова переместилось в поле зрения, струя пурпурное сияние сквозь расселину в западной части долины. И тогда мгновенно, как бы по волшебству, стала отчетливо видна вся долина и все вокруг.

При первом взгляде, как только солнце соскользнуло за горизонт, я испытал то, что испытывал в детстве от финальной сцены хорошо поставленного театрального зрелища или мелодрамы. Соблюдалась даже фантастичность освещения; потому что свет солнца прорывался сквозь расселину, переливаясь оранжевыми и лиловыми оттенками; а ярко-зеленая трава долины отбрасывала блики на все предметы, отражаясь от туманной завесы, все еще висящей над головою, как бы в нежелании покинуть навсегда столь чарующе прекрасное место.

Маленькая долина, в которую я заглянул из-под туманного полога, длиною не превосходила четырехсот ярдов; в ширину же насчитывала от пятидесяти до ста пятидесяти, быть может, Двухсот ярдов. Она была уже всего в северной своей части, отчасти расширяясь к югу. Самая широкая часть ее простиралась ярдах в восьмидесяти от южной оконечности. Пологие скаты, окружающие долину, вряд ли можно было бы назвать холмами, разве только на северной ее стороне. Здесь отвесная скала из гранита поднималась на высоту примерно в девяносто футов; и, как я упоминал, долина в этом месте была не шире пятидесяти футов; но, по мере движения к югу, путник находил справа и слева склоны менее высокие, менее крутые и менее скалистые. Одним словом, от севера к югу все понижалось и сглаживалось; но при этом всю долину, за исключением двух мест, окружали возвышенности. Об одном из этих мест я уже говорил. Оно было расположено на северо-западе и там, как я ранее описывал, заходящее солнце устремлялось в амфитеатр сквозь глубокую расселину в граните; эта трещина, если можно судить на глаз, в самом широком месте расходилась на десять ярдов. Видимо, она образовывала естественный коридор, ведущий к незнакомым горам и чащам. Другой

выход находился точно на юге долины. Здесь в целом склоны были едва заметны, простираясь с востока к западу примерно на сто пятьдесят ярдов. В середине находилось углубление на одном уровне с долиною. Что до растительности, то она, как и все здесь, смягчалась и сглаживалась к югу. На севере — под утесистым обрывом — в нескольких шагах от края — вздымались великолепные стволы каштанов, ореховых деревьев, а кое-где — дубов; и крепкие горизонтальные ветви, особенно у ореховых деревьев, простирались далеко за край обрыва. Продвигаясь к югу, путешественник вначале видел такие же деревья, но менее высокие и не столь похожие на деревья с полотен Сальватора[1069]; потом он замечал и менее суровый вяз, а за ним — белую акацию и сассафрас[1070]; их сменяли еще более мягкие по очертаниям липа, красноцвет, катальпа[1071] и клен, а их — еще более грациозные и скромные породы. Южный выход полностью оброс диким кустарником, среди которого лишь изредка попадались белые тополя или серебристые ивы. На дне самой долины (следует помнить, что растительность, о которой шла речь, находилась только на склонах и на утесах) видны были три одиноких дерева. Одно из них, вяз, большой и стройный; он стерег южные врата долины. Другое — ореховое дерево, гораздо выше вяза, хотя оба они были весьма красивы; оно как бы опекало северо-западный вход, вздымаясь из груды камней в самом зеве ущелья и простирая свой стройный стан почти под углом в сорок пять градусов далеко в освещенный солнцем амфитеатр. А примерно в тридцати ярдах к востоку от этого дерева видна была краса долины, вне всякого сомнения, самое великолепное дерево изо всех, что я видел, если, пожалуй, не считать итчиатуканских кипарисов. Это было трехствольное тюльпанное дерево — Liriodendron Tulipiferum — семейства магнолиевых. Три ствола начинали едва заметно расходиться на высоте около трех футов от земли и отстояли друг от друга не более, нежели на четыре фута в том месте, где самый большой из стволов зеленел листвою, то есть на высоте футов в восемьдесят. Ничто не превзошло бы красотою форму дерева или глянцевитую, яркую зелень его листьев. Шириною они насчитывали целых восемь дюймов; но красоту их полностью затмевало пышное великолепие многоизобильных цветов. Вообразите себе миллион огромных, роскошнейших тюльпанов! Только так читатель и сможет составить хоть какое-нибудь представление о

картине, про которую я хотел бы рассказать. Добавьте к этому горделивую стройность гладких колоннообразных стволов, из которых самые большие доходили до четырех футов в диаметре и возвышались на двадцать футов от земли. Бесчисленные цветы, смешиваясь с цветами других деревьев, едва ли менее красивых, но бесконечно менее величественных, наполняли долину ароматом, превосходящим все арабские благовония[1072].

Долина была покрыта травою, такой же, что и на дороге, но, быть может, еще более восхитительно мягкою, густою, бархатистою и чудесно зеленою. Трудно было представить себе, как добились такой красоты.

Я говорил о двух входах в долину. По северо-западному протекал ручей, покрытый легкою пеною, и с тихим ропотом струился по расселине, пока не ударялся о груду камней, из которой вздымалось одинокое ореховое дерево. Опоясав ее, ручей шел к северо-востоку, оставляя тюльпанное дерево футах в двадцати к югу, и не менял направления, пока не приближался к средней точке между восточной и западной границами долины. Здесь он несколько раз извивался, поворачивал под прямым углом и следовал на юг, все время петляя, пока не впадал в маленькое озеро неправильной (говоря неточно, овальной) формы, которое блестело у нижнего края долины. Озерцо это в самой широкой своей части достигало, быть может, ста ярдов в диаметре. Никакой хрусталь не превзошел бы чистотою его влаги. Дно его, ясно видное, целиком усеивала ослепительно белая галька. Берега, покрытые описанною ранее изумрудною травою, не опускались, а, скорее, стекали в чистый небосвод, и небосвод этот был столь ясен, порою столь безупречно отражал все над собою, что немалых трудов стоило определить, где кончается настоящий берег и где начинается призрачный. Форели и рыбы родственных им пород, которыми пруд был наполнен почти до тесноты, прямо-таки казались летучими рыбами. Почти невозможно было разувериться в том, что они парят в воздухе. Берестяной челн, покоившийся на водной глади, каждым своим волоконцем отражался в ней с точностью, которую не превзошло бы и тщательнейшим образом отполированное зеркало. Островок, утопавший в пышных, веселых цветах, едва оставлявших место для живописного домика, видимо, птичника, поднимался из воды невдалеке от северного берега, с которым его соединял мостик,

на вид необычайно легкий и крайне примитивный. Его образовывала одна доска из тюльпанного дерева, толстая и широкая. Длиною она была сорока футов и соединяла берега, легко, но заметно выгибаясь в арку, что не позволяло ей качаться. Из южной оконечности озера вытекало продолжение ручья, который, извиваясь на протяжении, быть может, тридцати ярдов, наконец проходил сквозь «углубление» (ранее описанное) посередине южного входа и, низвергаясь с отвесного стофутового обрыва, незаметно впадал в Гудзон.

Глубина озера местами доходила до тридцати футов — но ручеек редко превосходил глубиною три фута, в ширину же достигал не более восьми. Его берега и дно были такие же, что и у пруда, — и если уж можно было там к чему-нибудь придраться, то разве к чрезмерной опрятности, шедшей в ущерб живописности.

Зеленая трава там и сям разнообразилась декоративными кустами, такими, как гортензия или гевея; а чаще того — геранью, цветущей в великом обилии и разнообразии. Горшки с этими цветами были тщательно врыты в землю для видимости свободного произрастания. Помимо всего этого, на зеленом бархате луга белели овцы — их довольно большое стадо гуляло по долине, а с ними — три ручных оленя и множество уток яркого пера. Очень большой мастиф[1073], казалось, зорко сторожил всех вообще и каждого в отдельности.

Скалы на западе и на востоке — там, где в верхней части амфитеатра границы становились более или менее обрывисты, — поросли густым плющом, так что лишь изредка можно было заметить голый камень. Подобным же образом северный обрыв покрывали виноградные лозы редкостной пышности; иные росли из почвы у подножья утеса, иные — на его выступах.

Легкое возвышение, образующее южную границу этого маленького поместья, завершалось аккуратной каменной стеною, достаточно высокой для того, чтобы не позволить оленям уйти. Более нигде никаких изгородей не было видно, потому что в других местах искусственной ограды и не требовалось: к примеру, если бы какая-нибудь отбившаяся от стада овца попыталась покинуть долину сквозь расселину, то через несколько ярдов обнаружила бы, что путь ей преграждает отвесная скала, с которой падает каскад, привлекший мое внимание, когда я начал приближаться к поместью. Коротко говоря, единственным входом и выходом служили ворота в проходе между

скалами, на несколько шагов ниже той точки, где я остановился для обозрения местности.

Я описал вам весьма извилистый путь ручья на всем его протяжении. Два его главных направления, как я сказал, были сначала с запада на восток, а затем с севера на юг. На повороте ручей шел назад, почти замыкая круг, и образовывал полуостров площадью около одной шестнадцатой акра. На этом полуострове стоял жилой дом — и когда я хочу сказать, что дом этот, подобно адской террасе, увиденной Ватеком[1074], «etait d'une architecture inconnue dans les annales de la terre»[1075], я разумею лишь то, что общий вид его крайне поразил меня сочетанием новизны и скромности — одним словом, поэтичностью (ибо только употребленными словами я бы мог дать наиболее строгое определение поэтичного в отвлеченном смысле) — и я не хочу сказать, что в нем было хоть что-либо outre[1076].

Да, вряд ли сыскалось бы что-нибудь скромнее и непритязательнее этого домика. Чудесный эффект, им производимый, исходил из его живописной композиции. Смотря на него, я мог бы вообразить, будто его создал своей кистью некий прославленный пейзажист.

Место, с которого я впервые увидел домик, было почти, но не самым лучшим для его обозрения. Поэтому опишу его таким, каким я увидел его впоследствии — с каменной стены на южной стороне амфитеатра.

Основная часть здания насчитывала около двадцати четырех футов в длину и шестнадцати в ширину — никак не более. Общая высота его, от земли до конька крыши, не могла превышать восемнадцати футов. К западному концу здания примыкала пристройка, меньшая во всех измерениях на треть; линия ее фасада отстояла от линии фасада главной части ярда на два; и крыша, разумеется, была значительно ниже той, к которой примыкала. Под прямым углом к ним, от тыльной части здания — не строго посередине его — отходила другая пристройка, очень маленькая, в общем на одну треть меньше западного крыла. Крыши больших помещений были очень круты, — опускаясь от коньковой балки, они образовывали большие вогнутые плоскости и простирались фута на четыре дальше стен, служа навесами двух веранд. Эти навесы, разумеется, не нуждались в подпорках, но так как по виду казалось,

что нуждаются, то были снабжены легкими и совсем простыми столбами, и только по углам. Крыша северной пристройки была попросту продолжением главной крыши. Между основной частью и западным крылом поднималась очень высокая и довольно тонкая квадратная труба, сложенная из крепких голландских кирпичей, то черных, то красных, с небольшим карнизом, выступающим на верхушке. Крыши также далеко выступали: в главной части около четырех футов к востоку и двух к западу. Парадная дверь находилась не точно посередине главного здания, а чуть к востоку, два же окна фасада — чуть к западу. Эти последние не доходили до земли, но все же были значительно длиннее и уже обычного — одностворчатые, как двери, — а стекла большие и ромбовидные. Верхняя половина двери была стеклянная, тоже со стеклами в виде ромбов, закрываемая на ночь ставнею. Дверь западного крыла, очень простая, помещалась в его торцовой части, единственное окно его выходило на юг. В северном крыле наружной двери не было, и окно его, тоже единственное, выходило на восток.

Глухая стена восточного торца оживлялась лестницей (с балюстрадою), пересекавшей ее по диагонали с юга. Ступени ее вели под широко выступавшим навесом на мансарду или, скорее, на чердак — в нем было единственное окно с северной стороны, и служил он, видимо, кладовою.

У веранд при главной части здания и при западном его крыле полов, как водится, не было; но у дверей и под каждым окном, угнездясь в восхитительном дерне, лежали большие, плоские, неправильные по форме гранитные плиты, при любой погоде служившие удобной опорою. Тропинки, выложенные такими же плитами — без чрезмерной подгонки, но с частыми промежутками, заполненными бархатистым дерном, — вели в разных направлениях от дома: к хрустальному ручью шагах в пяти, к дороге, к флигелям, стоявшим к северу, на том берегу ручья и скрытым несколькими акациями и катальпами.

Не более чем в шести шагах от парадной двери высился мертвый ствол фантастической груши, так покрытый от подножья до макушки пышными цветами бегнонии, что требовалось немалое внимание, дабы определить, что же это такое. Ветви этого дерева были увешаны разнообразными клетками. В одной, плетенке цилиндрической формы,

веселился пересмешник; в другой — иволга; в третьей — дерзкий трупиал[1077] — а из трех или четырех более хрупких узилищ доносилось громкое пение канареек.

Вокруг столбов веранд вились благоуханная жимолость и жасмин; а из угла, образованного главной частью здания и западным крылом, разбегалась виноградная лоза невиданной густоты и пышности. Не зная преград, она карабкалась на крышу пониже — а затем и на более высокую; извивалась по коньку последней, выбрасывая усики направо и налево, пока не доходила, наконец, до восточного края и не сползала, волочась по ступенькам.

Весь дом с пристройками был возведен из старомодного голландского гонта — широкого, с незакругленными углами. Особенность этого материала заключается в том, что дома, из него выстроенные, кажутся шире в нижней части, нежели в верхней — на манер египетской архитектуры; и в настоящем случае этот весьма живописный эффект усиливали бесчисленные горшки с пышными цветами, почти скрывавшие основание дома.

Дом был выкрашен тускло-серой краской; и художник легко себе представит, что за счастливое сочетание образовывал этот нейтральный оттенок с ярко-зеленой листвою тюльпанного дерева, частично осенявшего коттедж.

Если, как я описывал, смотреть на здания, стоя у каменной стены, то они представали в очень выгодном свете — ибо вперед выступал юго-восточный угол — так что глаз охватывал оба фасада сразу, с живописной восточной стороною, и в то же время видел достаточную часть северного крыла, хорошенькую крышу беседки и почти половину легкого мостика, пересекавшего ручей в непосредственной близости от главных зданий.

Я оставался на гребне холма не очень долго, но достаточно для того, чтобы во всех подробностях рассмотреть вид подо мной. Было ясно, что я сбился с пути в Деревню и поэтому по праву путника мог открыть ворота и хотя бы спросить дорогу; и, без дальнейших церемоний, я направился внутрь.

Тропинка внутри ворот вела по естественному выступу и понемногу плавно опускалась по склону скал на северо-востоке. Она повела меня к подножью обрыва в северной стороне, оттуда — через

мост и, обогнув дом с восточной его оконечности, подвела к парадному. Я заметил, что флигели пропали из вида.

Когда я поворачивал за угол, ко мне в напряженной тишине по-тигриному прянул мастиф. Однако в залог дружбы я протянул ему руку — и я не встречал еще собаку, способную воспротивиться, когда подобным образом взывают к ее вежливости. Пес не только захлопнул пасть и завилял хвостом, но и дал мне лапу — а затем распространил свою любезность и на Понто.

Не обнаружив звонка, я постучал тростью в полуоткрытую дверь. И тут же к порогу приблизилась фигура — молодая женщина лет двадцати восьми — стройная или, скорее, даже хрупкая, чуть выше среднего роста. Пока она приближалась с некоторой не поддающейся описанию скромною решимостью, я сказал себе: «Право же, я увидел совершенство естественного, нечто прямо противоположное заученной грациозности». Второе впечатление, произведенное ею на меня, и куда более живое, нежели первое, было впечатление горячего радушия. Столь ярко выраженная, я бы сказал, возвышенность или чуждость низменным интересам, как та, что сияла в ее глубоко посаженных глазах, никогда еще дотоле не проникала мне в самое сердце сердца[1078]. Не знаю почему, но именно это выражение глаз, а иногда и губ — самая сильная, если не единственная чара, способная вызвать у меня интерес к женщине. «Возвышенность», — если мои читатели вполне понимают, что я хотел бы выразить этим словом — «возвышенность» и «женственность» кажутся мне обратимыми терминами; и, в конце концов, то, что мужчина по-настоящему любит в женщине — просто-напросто ее женственность. Глаза Энни (я услышал, как кто-то внутри позвал ее: «Энни, милая!») были «одухотворенно серого» цвета; ее волосы — светло-каштановые; вот все, что я успел в ней заметить.

По ее приглашению, весьма учтивому, я вошел в дом и сперва очутился в довольно широкой прихожей. Я пришел главным образом для наблюдений и поэтому обратил внимание, что справа от меня находилось окно, такое, как на фасаде; налево — дверь, ведущая в главную комнату; а прямо передо мной открытая дверь давала мне увидеть маленькую комнату, одной величины с прихожей, обставленную как кабинет, в котором большое окно фонарем выходило на север.

Пройдя в гостиную, я оказался в обществе мистера Лэндора — ибо, как я узнал впоследствии, такова была его фамилия. В обращении он был приветлив, даже сердечен; но именно тогда мое внимание более привлекала обстановка жилья, столь меня заинтересовавшего, нежели облик его хозяина.

В северном крыле, как я теперь увидел, помещалась спальня, дверь соединяла ее с гостиною. К западу от двери выходило на ручей единственное окно. В западной стене гостиной был камин и дверь, ведущая в западное крыло — вероятно, в кухню.

Ничто не могло бы суровою простотою превзойти обмеблировку комнаты. Пол устилал ковер превосходной выработки — с круглыми зелеными узорами по белому полю. На окнах висели занавески из белоснежного жаконета: они были достаточно пышны и ниспадали к полу резкими, быть может, чрезмерно жесткими складками — и доходили точно до пола. Стены были оклеены бумажными французскими обоями весьма тонкого вкуса, с бледно-зеленым зигзагообразным орнаментом по серебряному полю. Стена оживлялась тремя изысканными литографиями Жюльена[1079] a trois crayons[1080], повешенными без рамы. Одна из них изображала сцену восточной роскоши или, скорее, сладострастия; другая — карнавальный эпизод, исполненный несравненного задора; третья — голову гречанки, и лицо, столь божественно прекрасное и в то же время со столь дразнящею неопределенностью выражения, никогда дотоле не привлекало моего внимания.

Более основательная мебель состояла из круглого стола, нескольких стульев (в том числе большой качалки) и софы или, скорее, небольшого дивана; материалом ему служил простой клен, окрашенный в молочно-белый цвет, слегка перемежаемый зелеными полосками; сиденье плетеное. Стулья и стол — того же стиля; но формы их всех, очевидно, являлись порождением ума, который измыслил и весь «участок»; ничего изящнее и представить себе невозможно.

На столе лежали несколько книг, стоял большой квадратный флакон из хрусталя с какими-то новыми духами; простая астральная (не солнечная) лампа[1081] из матового стекла, с итальянским абажуром, и большая ваза, полная великолепных цветов. Цветы с многообразной яркой окраской и нежным ароматом были

единственным, что находилось в комнате только ради украшения. Камин почти целиком занимала ваза с яркой геранью. На треугольных полках по всем углам стояли такие же вазы, отличные друг от друга лишь своим прелестным содержимым. Один-два букета поменьше украшали каминную полку, а поздние фиалки усеивали подоконники открытых окон.

Цель настоящего рассказа заключается единственно в том, чтобы дать подробное описание жилища мистера Лэндора, каким я его нашел.

9 июня, 1849
пер. В. Рогова

Mellonta tauta[1016]

Редактору «Ледиз бук».

Имею честь послать вам для вашего журнала материал, который вы, надеюсь, поймете несколько лучше, чем я. Это перевод, сделанный моим другом Мартином Ван Бюрен Мэвисом[1017] (иногда называемым Пророком из Покипси[1018]) со странной рукописи, которую я, около года назад, обнаружил в плотно закупоренной бутылке, плававшей в Mare Tenebrarum[1019], — море это отлично описано нубийским географом, но в наши дни посещается мало, разве только трансценденталистами и ловцами редкостей.

Преданный вам
Эдгар А. По.

С борта воздушного шара «Жаворонок»
1 апреля 2848

Ну-с, дорогой друг, за ваши грехи вы будете наказаны длинным, болтливым письмом. Да, повторяю, за все ваши выходки я намерена покарать вас самым скучным, многословным, бессвязным и бестолковым письмом, какое только мыслимо. К тому же я томлюсь в тесноте на этом мерзком шаре, вместе с сотней-другой canaille[1020], отправившихся в увеселительную поездку (странное понятие об увеселениях имеют иные люди!), и, очевидно, не ступлю на terra firma[1021]по крайней мере, месяц. Поговорить не с кем. Делать нечего. А когда нечего делать — это самое подходящее время для переписки с друзьями. Видите теперь, отчего я пишу это письмо, — из-за своей ennui[1022]и ваших прегрешений.

Итак, достаньте очки и приготовьтесь скучать. Во время этого несносного полета я намерена писать вам ежедневно.

Ах, когда же наконец человеческий ум создаст нечто Новое? Неужели мы осуждены вечно терпеть бесчисленные неудобства воздушного шара? Неужели никто не изобретет более быстрого способа передвижения? По-моему, эта мелкая рысца — сущая пытка.

Честное слово, мы делаем не более ста миль в час, с тех пор как отправились! Птицы и те нас обгоняют, во всяком случае некоторые из них. Поверьте, я ничуть не преувеличиваю. Разумеется, наше движение кажется медленнее, чем оно есть в действительности, ибо вокруг нас нет предметов, которые позволили бы судить о нашей скорости, а также потому, что мы летим по ветру. Конечно, когда нам встречается другой шар, мы замечаем собственную скорость, и тогда, надо признать, дело выглядит не столь уж плохо. Хотя я и привыкла к этому способу передвижения, у меня кружится голова всякий раз, когда какой-нибудь шар пролетает в воздушном течении прямо над нами. Он всегда кажется мне гигантской хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в когтях. Один такой пролетел над нами сегодня на восходе солнца, и настолько близко, что его гайдроп задел сетку, на которой подвешена наша корзина, и немало нас напугал. Наш капитан сказал, что, если бы наша оболочка была сделана из дрянного лакированного «шелка», применявшегося пятьсот и тысячу лет назад, мы наверняка получили бы повреждения. Этот шелк, как он мне объяснил, был тканью, изготовленной из внутренностей особого земляного червя. Червя заботливо откармливали тутовыми ягодами — это нечто вроде арбуза, — а когда он был достаточно жирен, его размалывали. Полученная паста в первоначальном виде называлась папирусом, а затем подвергалась дальнейшей обработке, пока не превращалась в «шелк». Как это ни странно, он некогда очень ценился в качестве материи для женской одежды! Из него же обычно делались и оболочки воздушных шаров. Впоследствии, по-видимому, удалось найти лучший материал в семенных коробочках растения, которое в просторечии называлось euphorbium, а тогдашним ботаникам было известно под названием молочая. Этот вид шелка за особую прочность называли шелковым бекингемом и обычно покрывали раствором каучука, кое в чем, видимо, похожего на гуттаперчу, широко применяемую и в наше время. Каучук иногда называли также гуммиластиком или гуммиарабиком; это несомненно был один из многочисленных видов грибов. Надеюсь, Вы не станете теперь отрицать, что я в душе археолог.

Кстати, о гайдропах — наш только что сбил человека с борта одного из небольших пароходиков на магнитной тяге, которыми кишит поверхность океана, измещением около шести тысяч тонн и, очевидно,

безобразно перегруженного. Этим малым судам следовало бы запретить перевозить больше установленного числа пассажиров. Разумеется, человека не приняли обратно на борт, и он вскоре исчез из виду вместе со своим спасательным кругом. Как я рада, дорогой друг, что мы живем в истинно просвещенный век, когда отдельная личность ничего не значит. Подлинное Человеколюбие заботится только о массе. Кстати о Человеколюбии — известно ли вам, что наш бессмертный Уиггинс не столь же оригинален в своей концепции социальных Условий и т. и., как склонны думать его современники? Пандит уверяет меня, что те же мысли и почти в той же форме были высказаны около тысячи лет назад одним ирландским философом, носившим имя Фурже[1023], потому что он торговал в розницу фуражом. А уж Пандит знает, что говорит; никакой ошибки тут быть не может. Удивительно, как подтверждается ежедневно глубокомысленное замечание индуса Арис Тоттля[1024] (цитирую по Пандиту): «Вот и приходится нам сказать, что не однажды и не дважды или несколько раз, но почти до бесконечности одни и те же взгляды имеют хождение среди людей».

2 апреля.

Окликнули сегодня магнитный катер, ведающий средней секцией плавучих телеграфных проводов. Я слышала, что, когда Хорзе[1025] впервые сконструировал этот тип телеграфа, никто не знал, как проложить провода через океан, а сейчас нам просто непонятно, в чем заключалась трудность! Такова жизнь. Tempora mutanitur[1026] — извините, что цитирую этруска. Что бы мы делали без аталантического телеграфа? (Согласно Пандиту, древняя форма этого прилагательного была «атлантический».) Мы на несколько минут легли в дрейф, чтобы задать катеру ряд вопросов, и в числе других интересных новостей услышали, что в Африке бушует гражданская война, а чума делает свое благое дело и в Юропе и в Айшии. Подумать только, что раньше, до того как Гуманизм озарил философию своим ярким светом, человечество считало Войну и Чуму бедствиями. В древних храмах даже молились об избавлении людей от этих бед (!). Право, трудно понять, какую выгоду находили в этом наши предки! Неужели они были так слепы, что не понимали, насколько уничтожение какого-нибудь миллиарда отдельных личностей полезно для общества в целом?

3 апреля.

Очень интересно взбираться по веревочной лестнице на верхушку шара и обозревать оттуда окружающее. В корзине, как вы знаете, видимость не так хороша — но вертикали мало что можно увидеть. Но там, где я сейчас пишу это письмо, на открытой площадке, устланной роскошными подушками, отлично видно во все стороны. Сейчас я как раз вижу множество воздушных шаров, представляющих весьма оживленное зрелище, а в воздухе стоит гул многих миллионов голосов. Я слышала, что, когда Брин (Пандит утверждает, что правильнее будет: Дрин[1027]), считающийся первым аэронавтом, доказывал возможность двигаться в воздухе во всех направлениях и для этого подыматься или опускаться, пока не попадешь в нужное воздушное течение, современники не хотели об этом слышать и считали его за одаренного безумца, а все потому, что тогдашние философы (?) объявили это неосуществимым. Право, я совершенно не постигаю, как такая очевидная вещь могла быть недоступна пониманию древних savants[1028]. Впрочем, во все времена самые большие препятствия прогрессу Искусств чинили так называемые люди науки. Конечно, наши ученые далеко не столь нетерпимы, как прежние, — ах, на эту тему я могу сообщить нечто удивительное. Представьте себе, что всего каких-нибудь тысячу лет назад философы освободили людей от странного заблуждения, будто бы постижение Истины возможно лишь двумя путями! Хотите верьте, хотите нет! Оказывается, в очень далекие и темные времена жил турецкий (а возможно индусский) философ по имени Арис Тоттль. Этот человек ввел, и во всяком случае проповедовал, так называемый дедуктивный, или априорный, метод исследования. Он начинал с аксиом, то есть «самоочевидных истин», а от них «логически» шел к результатам. Его лучшими учениками были Невклид[1029] и Кэнт[1030]. Так вот, Арис Тоттль владел умами вплоть до появления некоего Хогга, прозванного «эттрикский пастух», который предложил совершенно иной метод, названный им a posteriori, или индуктивным. Он полагался исключительно на Ощущения. От фактов, которые он наблюдал, анализировал и классифицировал, — их высокопарно называли mstantiae naturae[1031] — он шел к общим законам. Одним словом, система Ариса Тоттля основывалась на noumena[1032]; система Хогга[1033] — на phenomena[1034]. Восхищение

новой теорией было столь велико, что Арис Тоттль утратил всякое значение; правда, позднее он вернул свои позиции и ему позволили разделить трон Истины со своим более современным соперником. Savants стали считать метод Ариса Тоттля и метод бекоповский единственными путями к познанию. Надо заметить, что слово «бекоповский» было введено в качестве более благозвучного и пристойного эквивалента слова «хогговский».

И уверяю вас, дорогой друг, что я излагаю все это объективно и по самым надежным источникам; понятно, насколько эта явно нелепая концепция задерживала прогресс всякого истинного знания, которое почти всегда развивается интуитивно и скачкообразно. Старая же система сводила научное исследование к продвижению ползком; в течение сотен лет влияние Хогга было столь велико, что, по существу, закрыло путь всякому подлинному мышлению. Никто не решался провозгласить ни одной истины, если был обязан ею только собственному Духу. Пусть даже эта истина была доказуема, все равно тогдашних твердолобых savants интересовал только путь, каким она была достигнута. На результат они не желали и смотреть. «Каким путем? — вопрошали они, — покажите, каким путем». Если оказывалось, что этот путь не подходил ни под Ариса (по-латыни: Овна), ни под Хогга, ученые не шли дальше, а попросту объявляли «теоретика» глупцом и знать не хотели ни его, ни его открытия.

Между тем ползучая система не давала возможности постичь наибольшего числа истин, даже за долгие века, ибо подавление воображения является таким злом, которого не может искупить никакая точность старых методов исследования. Заблуждение этих гурманцев, ранцуссов, аглинчан и амрикканцев (последние, кстати сказать, являются нашими предками) было подобно заблуждению человека, который полагает, что видит предмет тем лучше, чем ближе подносит его к глазам. Они ослепляли себя созерцанием мелких подробностей. Когда они рассуждали по-хогговски, их «факты» отнюдь не всегда были фактами, но это бы еще не имело большого значения, если бы они не утверждали, что факты должны быть таковыми, раз таковыми кажутся. Когда они шли за Овном, их путь получался едва ли не извилистей его рогов, ибо у них никогда не оказывалось аксиомы, которая была бы действительно аксиомой. Надо было быть совершенно слепым, чтобы не видеть этого даже в те

времена, ибо уже тогда многие из давно «установленных» аксиом были отвергнуты. Например, «Ex nihilo nihil fit»[1035];«Никто не может действовать там, где его нет»; «Антиподов не существует»; «Из света не может возникнуть тьма» — все эти и десяток других подобных положений, прежде безоговорочно принимавшихся за аксиомы, в то время, о котором я говорю, уже были признаны несостоятельными. До чего же нелепа была упорная вера в «аксиомы» как неколебимые основы Истины! Тщету и призрачность всех их аксиом можно доказать даже цитатами из наиболее серьезных тогдашних логиков. А кто был у них наиболее серьезным логиком? Минутку! Пойду спрошу Пандита и мигом вернусь… Вот! Передо мною книга, написанная почти тысячу лет назад, а недавно переведенная с аглисского — от которого, кстати, произошел, видимо, и амрикканский. Пандит говорит, что это несомненно лучшее из древних сочинений по логике. Автором его (в свое время очень чтимым) был некто Миллер или Милль; сохранились сведения, что у него была лошадь по имени Бентам. Заглянем, однако, в его трактат.

Вот! «Способность или неспособность познать что-либо, — весьма резонно замечает мистер Милль[1036], — ни в коем случае не должна приниматься за критерий неопровержимой истины». Ну, какой нормальный человек нашего времени станет оспаривать подобный трюизм? Приходится лишь удивляться, почему мистер Милль вообще счел нужным указывать на нечто столь очевидное. Пока все хорошо — но перевернем страницу. Что же мы читаем? «Противоречащие один другому факты не могут быть оба верны, то есть не уживаются в природе». Здесь мистер Милль хочет сказать, что, например, дерево должно либо быть деревом, либо нет и не может одновременно быть и деревом и недеревом. Отлично; но я спрашиваю его, отчего? Он отвечает следующим образом, именно следующим образом: «Потому что невозможно постичь, как противоречащие друг другу вещи могут быть обе верны». Но ведь это вовсе не ответ, как сам же он признает; ведь признал же он только что за очевидную истину, что «способность или неспособность познать ни в коем случае не должна приниматься за критерий истины».

Однако эти древние возмущают меня не столько тем, что их логика, по собственному их признанию, совершенно несостоятельна, беспочвенна и непригодна, сколько той надменностью и тупостью, с

какой они налагали запрет на все иные пути к Истине, на все иные способы ее достичь, кроме двух абсурдных путей, где надо либо ползти, либо карабкаться, на которые они осмелились обречь Душу, тогда как она стремится прежде всего парить.

Кстати, дорогой друг, эти древние догматики ни за что не догадались бы, — не правда ли? — каким из их двух путей была достигнута наиболее важная и высокая из всех их истин. Я имею в виду закон Тяготения. Ньютон обязан им Кеплеру. А Кеплер признавал, что угадал свои три закона — те три важнейших закона, которые привели великого аглисского математика к его главному принципу, основному для всей физики, за которым начинается уже Царство Метафизики. Кеплер угадал их, иными словами, вообразил. Он был истинным «теоретиком» — это слово, ныне священное, некогда было презрительной кличкой. Ну, как сумели бы эти старые кроты объяснить, каким из двух «путей» специалист по криптографии расшифровывает особо сложную криптограмму и по какому из них Шампольон направил человечество к тем непреходящим и почти неисчислимым истинам, которые явились следствием прочтения им Иероглифов?

Еще два слова на эту тему, которая вам уже, наверное, наскучила. Не странно ли свыше всякой меры, что при их вечной болтовне о путях к Истине эти рутинеры не нашли самой широкой дороги к ней, той, которая сейчас видна нам так ясно, — дороги Последовательности? Не странно ли, что из созерцания творений бога они не сумели извлечь наиболее важного факта, а именно, что абсолютная последовательность должна быть и абсолютной истиной? Насколько упростился путь прогресса после этого недавнего открытия! Исследования были отняты у кротов, рывшихся в земле, и поручены единственным подлинным мыслителям — людям пылкого воображения. Они теоретизируют. Воображаете, какое презрение вызвали бы мои слова у наших пращуров, если бы они могли сейчас видеть, что я пишу! Повторяю, эти люди теоретизируют, а затем остается эти теории выправить, систематизировать, постепенно очищая их от примесей непоследовательности, пока не выявится абсолютная последовательность, а ее — именно потому, что это есть последовательность, — даже тупицы признают за абсолютную и бесспорную истину.

4 апреля.

Новый газ творит чудеса в сочетании с новой, усовершенствованной гуттаперчей. Насколько наши современные воздушные шары надежны, комфортабельны, легко управляемы и во всех отношениях удобны! Сейчас один из таких огромных шаров приближается к нам со скоростью, по крайней мере, ста пятидесяти миль в час. Он, по-видимому, полон пассажиров — их три или четыре сотни, — но тем не менее парит на высоте около мили, презрительно поглядывая сверху на нас, бедных. И все же сто и даже двести миль в час — это, в сущности, медленно. Помните наш поезд, мчавшийся через Канадийский материк? Добрых триста миль в час — вот это уже было недурно. Правда, никакого обзора, оставалось только флиртовать, угощаться и танцевать в роскошных салон-вагонах. А помните, какое странное возникало чувство, когда из бешено мчащегося вагона перед нами на мгновение мелькал внешний мир? Все сливалось в сплошную массу. Что касается меня, то я, пожалуй, предпочитала тихоходный поезд, миль на сто в час. Там разрешены остекленные окна — их даже можно открывать — и с некоторой отчетливостью видеть местность… Пандит говорит, что Канадийская железная дорога была проложена почти девятьсот лет назад! Он утверждает даже, будто еще можно различить следы дороги, оставшиеся именно от тех далеких времен. Тогда, по-видимому, было всего две колеи; у нас, как вы знаете, их двенадцать; а скоро будут добавлены еще три или четыре. Древние рельсы были очень тонкими и лежали так близко один к другому, что езда по ним, согласно нынешним понятиям, была делом весьма легкомысленным, чтобы не сказать опасным. Даже современная ширина колеи — пятьдесят футов — считается едва достаточной для безопасности движения. Я тоже не сомневаюсь, что какая-то колея должна была существовать уже в весьма давние времена, как утверждает Пандит; мне кажется бесспорным, что в какой-то период — разумеется, не менее семисот лет назад — Северный и Южный Канадийские материки составляли одно целое, так что канадийцы по необходимости должны были иметь трансконтинентальную железную дорогу.

5 апреля.

Погибаю от ennui. Кроме Пандита, не с кем поговорить, а он, бедняга, способен беседовать только о древностях. Он весь день занят

тем, что пытается убедить меня, будто у древних амрикканцев было самоуправление — ну где это слыхана подобная нелепость? — будто они жили неким сообществом, где каждый был сам по себе, вроде «луговых собак», о которых мы читаем в преданиях. Он говорит, будто они исходили из чрезвычайно странного принципа, а именно: что все люди рождаются свободными и равными — я это наперекор законам градации, столь отчетливо проявляющимся всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Каждый у них «голосовал», как это называлось, то есть вмешивался в общественные дела, пока наконец не выяснилось, что общее дело всегда ничье дело и что «Республика» (так именовалась эта нелепость), по существу, не имеет правительства. Рассказывают, впрочем, будто первым, что поколебало самодовольство философов, создавших эту «Республику», явилось ошеломляющее открытие, что всеобщее избирательное право дает возможности для мошенничества, посредством которого любая партия, достаточно подлая, чтобы не стыдиться этих махинаций, всегда может собрать любое число голосов, не опасаясь помех или хотя бы разоблачения. Достаточно было немного поразмыслить над этим открытием, чтобы стало ясно, что мошенники обязательно возьмут верх и что республиканское правительство может быть только жульническим. Но пока философы краснели, устыдясь своей неспособности предвидеть это неизбежное зло, и усердно изобретали новые учения, появился некий молодчик по имени Чернь, который быстро решил дело, забрав все в свои руки и установив такой деспотизм, рядом с которым деспотизм легендарных Зерона и Геллофагабала[1037] был почтенным и приятным. Этот Чернь (кстати сказать, иностранец) был, как говорят, одним из гнуснейших созданий, когда-либо обременявших землю. Он был гигантского роста — нагл, жаден и неопрятен; обладал злобностью быка, сердцем гиены и мозгами павлина. В конце концов он скончался от избытка собственной энергии, которая его истощила. Однако и от него была своя польза — как вообще от всего, даже самого гадкого, — он преподал человечеству урок, которого оно не забывает доныне, а именно: никогда не идти наперекор аналогиям, существующим в природе. Что касается Республиканского принципа, то ему на земле не находится даже аналогий, не считая «луговых собак», а это исключение если что-либо доказывает, так только то, что демократия является отличной формой правления — для собак.

6 апреля.

Вчера ночью нам была отлично видна Альфа Лиры; диск ее, если смотреть в подзорную трубу нашего капитана, стягивает угол в полградуса и очень похож на наше солнце, как оно видно в туманный день невооруженным глазом. Кстати, Альфа Лиры, хотя и несравненно большего размера, вообще весьма похожа на солнце и своими пятнами, и своей атмосферой, и многими другими особенностями. О бинарной зависимости, существующей между этими двумя светилами, стали догадываться лить в последние сто лет — так говорит мне Пандит. Несомненное движение нашей системы в небесах принималось (как это ни странно!) за вращение ее вокруг колоссальной звезды, находящейся в центре Галактики. Считали, что именно вокруг этого светила или, во всяком случае, вокруг центра притяжения, общего для всех планет Млечного Пути и находящегося предположительно вблизи Альционы, в Созвездии Плеяд, вращаются все эти планеты, причем наша оборачивается вокруг него за 117000000 лет! Нам при нашем уровне знаний после крупных усовершенствований телескопа и т. п., разумеется, трудно понять, на каком основании возникла подобная идея. Первым, кто ее провозгласил, был некто Мадлер[1038]. Надо полагать, что к этой странной гипотезе его привела вначале простая аналогия; во если так, ему следовало хотя бы держаться аналогий и далее, развивая ее. Он предположил существование большого центрального светила — и тут он был последователен.

Однако это центральное светило динамически должно было быть больше, чем все окружающие светила, взятые вместе. А тогда можно было бы спросить: «Почему же его не видно?» — особенно нам, находящимся в середине скопления, именно там, где должно бы находиться это немыслимое центральное солнце, или, во всяком случае, вблизи него. Вероятно, астроном ухватился здесь за гипотезу о несветящемся теле и сразу перестал прибегать к аналогиям. Но, даже допустив, что центральное светило не излучает света, как сумел он объяснить его невидимость, когда вокруг со всех сторон сияли бесчисленные солнца? Несомненно, что в конце концов он стал говорить лишь о центре притяжения, общем для всех вращающихся небесных тел, но для этого ему опять-таки пришлось оставить аналогии. Наша система действительно вращается вокруг общего центра притяжения, но это объясняется существованием настоящего

солнца, чья масса более чем уравновешивает остальную систему. Математическая окружность представляет собой кривую, состоящую из бесконечного числа прямых; но это представление об окружности, которое в земной геометрии считается именно математическим, в отличие от практического, оно-то именно и является практическим, единственным, которое мы имеем право принять для исполинских окружностей, с какими приходится иметь дело, по крайней мере, мысленно, когда мы воображаем вращение нашей системы и соседних с нею вокруг некоей точки в центре Галактики. Пусть самое смелое человеческое воображение сделает хотя бы попытку постичь подобную окружность! Едва ли будет парадоксом сказать, что даже молния, вечно мчащаяся по этой невообразимой окружности, будет вечно мчаться по прямой. Нельзя допустить, что путь нашего солнца по этой окружности и вращение всей нашей системы по такой орбите меняет, в восприятии человека, отклониться в малейшей степени от прямой даже за миллион лет; а между тем древних астрономов, как видно, удалось убедить, что за краткий период их астрономической истории, то есть за какие-нибудь ничтожные две-три тысячи лет, появилась заметная кривизна! Непонятно, как такие соображения сразу же не указали им на истинное положение вещей — а именно, на двойное обращение нашего солнца и Альфы Лиры вокруг общего центра притяжения.

7 апреля.

Продолжали вчера ночью наши астрономические развлечения. Отчетливо видели пять астероидов Нептуна и с большим интересом наблюдали, как кладут огромный пятовый камень на дверные перекрытия в новом храме в Дафнисе на Луне. Любопытно, что столь миниатюрные и мало похожие на людей создания обладают техническими способностями, намного превосходящими наши. Трудно также поверить, что огромные глыбы, которые они с легкостью передвигают, на самом деле весят так мало, хотя об этом напоминает нам наш разум.

8 апреля.

Эврика! Пандит может блеснуть. Сегодня нас окликнули с канадийского воздушного шара и забросили нам несколько свежих газет; в них содержатся чрезвычайно любопытные сообщения о канадийских, а точнее амрикканских древностях. Вы, должно быть,

знаете, что вот уже несколько месяцев рабочие роют новый водоем в Парадизе, главном увеселительном саду императора. Парадиз с незапамятных времен был, собственно говоря, островом, то есть (уже во времена древнейших письменных памятников, какие сохранились) был ограничен с севера речушкой, вернее, очень узким морским протоком. Этот проток постепенно расширяли, и сейчас он имеет в ширину милю. В длину остров имеет девять миль; ширина в разных местах весьма различна. Все это пространство (как говорит Пандит) около восьмисот лет назад было сплошь застроено домами, достигавшими иногда двадцати этажей, так как земля (по неизвестной причине) была именно в этой местности особенно дорога. Однако сильнейшее землетрясение 2050 года настолько разрушило город (ибо он был, пожалуй, великоват для того, чтобы назвать его деревней), что самые усердные из наших археологов так и не смогли найти на этом месте достаточно материала (в виде монет, медалей или надписей), чтобы составить себе хоть самое общее понятие о нравах, обычаях и пр. и пр. прежних жителей. Почти все, что нам было до сих пор о них известно, это — что они принадлежали к дикому племени никербокеров, населявшему материк ко времени его открытия Рекордером Райкером, кавалером Ордена Золотого Руна. Впрочем, совершенно дикими они не были, ибо на свой лад развивали некоторые искусства и даже науки. О них рассказывают, что они во многом обнаруживали смышленость, но были одержимы странной манией: строить «церкви» — так назывались на древнеамрикканском языке пагоды, где поклонялись двум идолам, звавшимся Богатством и Модой. Говорят, что в конце концов остров на девять десятых состоял из церквей. А женщины были у них обезображены разросшимися выпуклостями пониже спины — хотя это уродство, совершенно неизвестно почему, считалось у них красотой. Сохранилась пара чудом уцелевших изображений этих диковинных женщин. Они действительно выглядят очень странно, напоминая одновременно индюка и дромадера.

Эти немногие мелочи составляли почти все, что нам было известно о древних никербокерах. Но сейчас, копая землю в центре императорского сада (который, как вы знаете, занимает весь остров), рабочие откопали обтесанный гранитный куб весом в несколько сот фунтов. Он был в хорошей сохранности и, как видно, почти не

пострадал от землетрясения, которое погребло его под слоем земли. К одной из его поверхностей была прикреплена мраморная доска, а на ней (подумать только!) надпись — ясно различимая надпись. Пандит просто вне себя от восторга! Когда доску сняли, под ней оказалось углубление, а в нем — свинцовый ящик, заполненный различными монетами, длинный свиток каких-то имен, несколько печатных листов, похожих на газеты, и другие материалы, столь ценные для археолога! Все это, несомненно, — подлинные американские древности, оставшиеся от племени никербокеров[1039]. В газетах, которые забросили в корзину нашего воздушного шара, помещено много снимков с монет, рукописей, печатных документов и др.

Привожу, чтобы Вас позабавить, текст никербокеровской надписи на мраморной доске:

> Этот краеугольный камень памятника ДЖОРДЖУ ВАШИНГТОНУ. Заложен с подобающей торжественностью 19 октября 1847 года, в годовщину сдачи лорда Корнваллиса[1040] генералу Вашингтону в Йорктауне в год н. э. 1781-й трудами нью-йоркской ассоциации по установке памятника Вашингтону

Таков дословный перевод надписи, сделанный самим Пандитом, так что никакой ошибки быть не может. Из этих немногих дошедших до нас слов мы узнаем ряд важных вещей, в том числе тот интересный факт, что уже тысячу лет назад настоящие памятники вышли из употребления — как и следовало — и люди стали довольствоваться, как и мы сейчас, простым заявлением о своем намерении воздвигнуть памятник когда-нибудь в будущем; для этого тщательно закладывали краеугольный камень «один, совсем один» (простите эту цитату из великого амрикканского поэта Бентона![1041]), в залог великодушного намерения. Из той же интересной надписи мы можем с несомненностью установить способ, а также место и объект примечательной сдачи, о которой идет речь. Место указано ясно: Йорктаун (где бы он ни был), а что касается объекта, им был генерал Кормваллис (очевидно, торговал кормами). Именно его и сдали. Надпись увековечила сдачу — чего? Ну, разумеется, «лорда Кормваллиса». Неясным остается только одно: куда эти дикари могли

его сдавать? Однако если вспомнить, что дикари наверняка были каннибалами, то мы придем к выводу, что сдавали его на колбасу. А как именно происходила сдача лорда Кормваллиса (на колбасу), сказано со всей ясностью: «трудами нью-йоркской ассоциации по установке памятника Вашингтону» — это, несомненно, была благотворительная организация, занимавшаяся закладкой краеугольных камней. Но, боже! Что случилось? Оказывается, шар лопнул, и нам предстоит падение в море. Поэтому я едва успею добавить, что бегло ознакомилась с фотографическими копиями тогдашних газет и обнаружила, что великими людьми среди тогдашних амрикканцев был некто Джон, кузнец[1042], и некто Захарий[1043], портной.

До свиданья, до встречи. Неважно, дойдет ли до Вас это письмо; ведь я пишу исключительно для собственного развлечения. Тем не менее я запечатаю его в бутылку и брошу в море.

Неизменно Ваша
Пандита

Февраль, 1849
пер. З. Александровой

Прыг-Скок

Я не знал другого такого любителя пошутить, как покойный король[1044]. Казалось, он только ради этого и живет. Рассказать ему хорошую историю в шутливом роде, да еще хорошо рассказать, значило вернейшим образом снискать его расположение. Оттого и оказалось так, что все семь его министров славились как шутники. Они походили на короля и тем, что все были тучные, гладкие мужчины, равно как и неподражаемые шутники. То ли люди тучнеют от шуток, то ли в самой тучности заключено нечто предрасполагающее к шутливости, я никогда не мог в точности определить; но, без сомнения, тощий шутник — rara avis in terris[1045].

Относительно изысков или, как он выражался, «кудреватости» остроумия король очень мало беспокоился. Он особенно ценил размах шутки и ради него мирился с ее длиннотами. Он бы предпочел «Пантагрюэля» Рабле Вольтерову «Задигу»[1046], и, в общем, грубые проказы куда более отвечали его вкусу, нежели словесные остроты.

В пору, к которой относится мое повествование, профессиональные шуты еще не вполне вышли из моды при дворах. Некоторые из великих континентальных «самодержцев» все еще заводили шутов в дурацких колпаках и соответственных нарядах, и в службу им вменялось в любой момент быть наготове и острить ради крох с королевского стола.

Наш король, само собой разумеется, не отказался от «дурака». Дело в том, что ему требовалось нечто глупое — хотя для того, дабы уравновесить весомую мудрость семерых мудрецов, служивших ему министрами, не говоря уж о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, однако, не был только шутом. В глазах короля ценность его утраивалась тем, что он был вдобавок карлик и калека. В те дни карлики встречались при дворах так же часто, как и шуты; и многие самодержцы сочли бы затруднительным коротать дни (а дни при дворе тянутся несколько долее, нежели где-нибудь еще), не имея разом и шута, с кем смеяться, и карлика, над кем, смеяться. Но, как я ранее заметил, шутят в девяноста девяти случаях из ста неповоротливые толстяки — и оттого

король был в немалой мере доволен собою, ибо принадлежавший ему Прыг-Скок (так звали дурака) являл собою тройное сокровище в одном лице.

Наверное, имя «Прыг-Скок» ему не дали при крещении, но единогласно присвоили семь министров ввиду его неспособности двигаться, как все. Прыг-Скок был в силах перемещаться лишь рывками, вприпрыжку, не то скача, не то виляя, чем, по мнению некоторых, напоминал лягушонка — и движение это бесконечно развлекало и утешало короля, ибо (невзирая на то, что его распирало от жира и самодовольства) весь двор считал короля мужчиною хоть куда.

Но хотя Прыг-Скок из-за уродливых нижних конечностей мог передвигаться лишь с великим трудом как на улице, так и в помещении, руки его, видимо, были наделены поразительною силою, как будто природа решила возместить изъян его ног, дав ему возможность совершать всяческие чудеса ловкости там, где оказались бы деревья, веревки или все, по чему можно карабкаться. При подобных упражнениях он скорее напоминал белку или мартышку, нежели лягушонка.

Не могу в точности сказать, откуда он был родом, но из какого-то варварского края, о котором никто никогда не слыхал, весьма отдаленного от двора нашего короля. Прыг-Скок и юная девушка, тоже карлица, лишь немногим по величине его превосходящая (хотя изящно сложенная и чудесная танцовщица), были силою отторгнуты от своих семейств в сопредельных провинциях и посланы в дар королю одним из его неизменно победоносных полководцев.

Не удивительно, что при подобных обстоятельствах между маленькими пленниками завязалась тесная дружба. Очень скоро они сделались близкими друзьями. Хотя Прыг-Скок и шутил вовсю, по его не любили, и он мало чем был в силах помочь Пушинке, но ею благодаря ее грациозности и очаровательной прелести все восхищались, ласкали ее, так что она завоевала большое влияние; и при любой возможности употребляла его на пользу шуту.

В какой-то большой праздник, не припомню, в какой именно, король решил устроить маскарад, а когда маскарад или нечто подобное имело быть при нашем дворе, то обыкновенно призывали на помощь дарования и шута и танцовщицы. Прыг-Скок в особенности был столь

изобретателен в измышлении всяческих потешных шествий, придумывании новых персонажей и сочинении костюмов для маскированных балов, что, казалось, без его участия ничего и сделать было нельзя.

Подошел вечер, назначенный для празднества. Под наблюдением Пушинки роскошную залу обставили всем, способным придать блеск маскараду. Весь двор ожидал его с нетерпением. Что до костюмов и масок, то можно смело предположить, что каждый что-нибудь придумал. Многие выбрали себе роли за неделю, а то и за месяц; и дело обстояло так, что в этом смысле все приняли какое-то решение — кроме короля и семи его министров. Почему мешкали они, не могу вам сказать, разве что шутки ради. Более вероятно, что они затруднялись на чем-либо остановиться из-за своей изрядной толщины. Во всяком случае, время шло; и в виде последнего средства они позвали танцовщицу и шута.

Когда два маленьких друга явились на зов короля, то увидели, что он сидит и пьет вино с семью министрами; но государь, видимо, пребывал в весьма дурном расположении духа. Он знал, что Прыг-Скок не любит вина; ибо оно доводило бедного уродца почти до исступления; а исступление — чувство не из приятных. Но его величество любил пошутить, и его забавляло, когда Прыг-Скок по его принуждению пил и (как выражался король) «веселился».

— Поди сюда, Прыг-Скок, — сказал он, как только шут со своею приятельницей вошли в комнату, — выпей-ка этот бокал за здоровье твоих далеких друзей (тут Прыг-Скок вздохнул), а потом порадуй нас своими выдумками. Нам нужны костюмы — понимаешь, костюмы для маскарада, — что-нибудь новенькое, из ряда вон выходящее. Нам наскучило это вечное однообразие. А ну, пей! Вино прояснит тебе ум.

Прыг-Скок попытался, по обыкновению, отшутиться, но не мог. Случилось так, что как раз был день рождения несчастного карлика, и приказ выпить за «далеких друзей» вызвал у него слезы. Много крупных, горьких капель упало в кубок, пока он брал его из рук тирана.

— А! Ха! Ха! Ха! — загрохотал тот, когда карлик с неохотою осушил чашу. — Видишь, что может сделать бокал хорошего вина! Да глаза у тебя прямо-таки заблестели!

Бедняга! Его большие глаза скорее сверкали, а не блестели; ибо вино оказало на его легко возбудимый мозг действие столь же сильное, сколь и мгновенное. Он нервно поставил кубок и обвел собравшихся полубезумным взором. Всех, видимо, позабавила удачная королевская «шутка».

— А теперь к делу, — сказал премьер-министр, очень толстый мужчина.

— Да, — сказал король. — Ну-ка, Прыг-Скок, помоги нам. Нам нужны характерные костюмы, молодец ты мой; всем нам не хватает характера, всем! Ха! Ха! Ха! — И так как король всерьез считал это шуткою, семерка начала ему вторить. Прыг-Скок тоже засмеялся, но слабо и как бы машинально. — Ну, ну, — с нетерпением сказал король, — неужели ты ничего не можешь нам предложить?

— Я пытаюсь придумать что-нибудь новенькое, — отвечал карлик рассеянно, ибо вино совсем помутило его рассудок.

— Пытаешься! — свирепо закричал тиран. — Что значит — пытаешься? А, понимаю. Ты не в себе и хочешь еще вина. А ну-ка, выпей! — И он до краев налил бокал и протянул калеке, а тот, задыхаясь, отупело смотрел на него.

— Пей, говорят тебе, — заорал изверг. — Не то, черт меня дери…

Карлик замялся. Король побагровел от бешенства. Придворные захихикали. Пушинка, мертвенно-бледная, бросилась к креслу государя и, пав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, явно изумляясь ее дерзости. Он словно растерялся, не зная, что делать или говорить, как наилучшим образом выразить свое возмущение. Наконец, не проронив ни звука, он отшвырнул ее и выплеснул содержимое наполненного до краев кубка прямо ей в лицо.

Несчастная едва могла подняться и, не смея даже вздохнуть, возвратилась на свое место в конце стола.

Около полуминуты царила такая мертвая тишина, что можно было бы услышать, как падает лист или перо. Ее нарушил тихий, но резкий скрежет, который, казалось, доносился изо всех углов разом.

— Ты — ты — ты — ты это зачем? — спросил король, яростно поворачиваясь к шуту.

Тот, казалось, в значительной степени оправился от опьянения и, пристально, но спокойно глядя прямо в лицо тирану, лишь воскликнул:

— Я, я? Да как бы я мог?

— Звук, вероятно, шел снаружи, — заметил один из придворных. — По-моему, это попугай у окна точил клюв о прутья клетки.

— И в самом деле, — отозвался король, как бы весьма успокоенный этим предположением, — но, клянусь моей рыцарскою честью, я готов был дать присягу, что скрежетал зубами этот бродяга.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком завзятый шутник, чтобы возражать против чьего-либо смеха) и выставил напоказ большие, крепкие и весьма безобразные зубы. Более того, он изъявил совершенную готовность выпить столько вина, сколько заблагорассудится государю. Монарх утихомирился; и, осушив без особо заметных дурных последствий еще кубок, Прыг-Скок сразу и с воодушевлением занялся маскарадными планами.

— Не знаю, какова тут связь, — заметил он, очень спокойно и с таким видом, словно вовсе и не пил, — но тотчас после того, как ваше величество изволили ударить девчонку и выплеснуть вино ей в лицо, тотчас же после того, как ваше величество изволили это сделать и, покамест попугай за окном издавал эти странные звуки, пришла мне в голову одна отменная пот эха, одна из забав у меня на родине — у нас на маскарадах ее часто затевают, но здесь она будет совершенно внове. Однако, к сожалению, для нее требуются восемь человек и…

— Пожалуйста! — вскричал король и засмеялся, радуясь тому, с какою проницательностью заметил совпадение. — Ровным счетом восемь — я и семеро моих министров. Ну! Так что же это за потеха?

— Называется она, — отвечал уродец, — Восемь Скованных Орангутангов, и при хорошем исполнении смеху не оберешься.

— Мы ее исполним, — заметил король, приосанясь и подмигивая обоими глазами.

— Прелесть игры, — продолжал Прыг-Скок, — заключается в страхе, который она вызывает у женщин. — Славно! — хором проревели монарх и его министры. — Я выряжу вас орангутангами, — пояснил свою идею карлик, — уж предоставьте это мне. Сходство будет так разительно, что на маскараде все примут вас за настоящих зверей — и, разумеется, их ужас не уступит по силе их потрясению.

— Ох, это восхитительно! — воскликнул король. — Прыг-Скок! Я озолочу тебя.

— Цепи надобны для того, чтобы лязгом усилить переполох. Предполагается, что все вы сбежали от ваших сторожей. Ваше величество не в силах представить, какой эффект производят на маскараде восемь орангутангов, которых почти все присутствующие сочтут за настоящих, когда они с дикими воплями ворвутся в толпу изящно и роскошно одетых кавалеров и дам. Контраст неподражаем.

— Уж конечно, — сказал король; и все торопливо поднялись с мест (времени оставалось немного), дабы приступить к осуществлению замысла, предложенного шутом.

Его способ экипировки был весьма прост, но для его цели достаточен. В эпоху, о которой идет речь, орангутангов очень редко видели в какой-либо части цивилизованного мира, и, так как наряды, предложенные карликом, делали ряженых достаточно похожими на зверей и более чем достаточно гадкими, то их верность природе сочли обеспеченной.

Король и министры сперва облачились в плотно облегающие сорочки и панталоны в виде трико. Затем одежду пропитали дегтем. Тут кто-то предложил перья; но предложение было тотчас же отвергнуто карликом, который быстро убедил всех восьмерых посредством наглядной демонстрации, что шерсть такой твари, как орангутанг, гораздо более успешно изобразит льняная кудель. И соответственно толстым слоем кудели облепили слой дегтя. Затем достали длинную цепь. Сперва ею опоясали короля и завязали ее; за ним — одного из министров и тоже завязали; и всех остальных — по очереди, подобным же образом. Когда с этим было покончено, король и министры отошли как можно дальше один от другого, образуя круг; и ради большей натуральности Прыг-Скок протянул остаток цепи крест-накрест поперек круга, как в наши дни делают на Борнео охотники на шимпанзе и других крупных обезьян.

Маскарад имел быть в большой круглой зале, очень высокой и пропускающей свет солнца только через люк в потолке. По вечерам (то есть в ту пору, на которую зала специально была рассчитана) ее освещала главным образом большая люстра, свисающая на цепи из середины люка; как водится, люстру поднимали и опускали при помощи противовеса, но (чтобы не портить вида) он помещался снаружи за куполом.

Заду убирали под наблюдением Пушинки, но, видимо, в некоторых частностях она следовала рассудительным советам своего друга-карлика. По его предложению в этот вечер люстру убрали. Капли воска (а в такой вечер их было решительно невозможно избежать) нанесли бы основательный ущерб пышным нарядам гостей, которые при большом скоплении не могли бы все держаться в стороне от центра залы, то есть не под люстрой. В разных частях залы, так, чтобы не мешать гостям, добавили кенкетов; и в правую руку каждой из пятидесяти или шестидесяти кариатид вставили по факелу, пропитанному благовониями.

Восемь орангутангов, следуя совету шута, терпеливо дожидались полуночи (когда зала должна была до отказа наполниться масками), прежде чем появиться на людях. Но не успел еще замолкнуть бой часов, как они ворвались или, вернее, вкатились все разом, ибо цепи мешали им, отчего при входе каждый из них споткнулся, а некоторые упали.

Среди гостей поднялась невероятная тревога, исполнившая сердце короля восторгом. Как и ожидали, многие из присутствующих поверили, будто эти свирепого вида твари — и в самом деле какие-то звери, хотя бы и не орангутанги. Многие женщины от страха лишились чувств, и если бы король не позаботился запретить в зале ношение оружия, то он с министрами мог бы очень быстро заплатить за свою потеху кровью. А так — все ринулись к дверям; но король приказал запереть их сразу после его появления, и, по предложению шута, ключи отдали ему.

Когда смятение достигло апогея и каждый думал только о собственной безопасности (а давка в перепуганной толпе и в самом деле представляла немалую и подлинную опасность), можно было заметить, что цепь, которую втянули, убрав люстру, начала очень медленно опускаться, пока крюк на ее конце не повис в трех футах от пола.

Вскоре после этого король и семеро его друзей, враскачку пройдя по зале во всех направлениях, наконец остановились на ее середине и, разумеется, в непосредственном соприкосновении с цепью. Пока они стояли подобным образом, карлик, неслышно следовавший за ними по пятам, подстрекая их поддерживать сумятицу, схватил их цепь в том месте, где две ее части пересекались в центре и под прямым углом.

Туда со скоростью мысли он продел крюк, с которого обычно свисала люстра; и тотчас некая невидимая сила потянула цепь от люстры так высоко вверх, что крюк оказался вне пределов досягаемости, и, как неизбежное этому следствие, орангутанги очутились очень близко друг от друга и лицом к лицу.

К тому времени гости в какой-то мере оправились от испуга; и, начиная понимать, что все происшествие — тщательно обдуманная проказа, громко захохотали над положением, в какое попали обезьяны.

— Предоставьте их мне! — закричал Прыг-Скок, легко перекрывая шум своим резким, пронзительным голосом. — Предоставьте их мне. По-моему, я их знаю. Взглянуть бы хорошенько, и уж я-то скажу вам, кто они такие.

Тут он ухитрился по головам толпы добраться к стене; выхватив у кариатиды факел, он тем же самым путем возвратился на середину залы, с ловкостью мартышки вспрыгнул на голову королю, оттуда вскарабкался на несколько футов вверх по цепи и опустил факел, рассматривая орангутангов и по-прежнему крича: «Уж я-то сейчас узнаю, кто они такие!»

И пока все сборище (включая обезьян) корчилось от смеха, шут вдруг пронзительно свистнул; цепь рывком взлетела футов на тридцать — и с нею орангутанги, которые в отчаянии барахтались между полом и люком в потолке. Прыг-Скок, держась за цепь, оставался на том же расстоянии от мнимых обезьян и по-прежнему (как ни в чем не бывало) тыкал в них факелом, как бы пытаясь разглядеть, кто они.

При этом взлете все были настолько повержены в изумление, что с минуту стояла мертвая тишина. Ее нарушил тот же самый тихий, резкий скрежет, что привлек внимание советников и короля, когда тот выплеснул вино в лицо Пушинке. Но сейчас не могло быть никакого сомнения, откуда исходил звук. Его издавали клыкообразные зубы карлика, и он с пеной у рта скрипел и скрежетал зубами и с маниакальным исступлением, жадно смотрел на запрокинутые лица короля и семи его спутников.

— Ага! — наконец сказал разъяренный шут. — Ага! Теперь я начинаю понимать, кто они такие! — Тут, делая вид, что он хочет рассмотреть короля еще более пристально, карлик поднес факел к облеплявшему короля слою кудели, и та мгновенно вспыхнула ярким и жгучим пламенем. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов

бешено запылали под вопли сраженной ужасом толпы, которая смотрела на них снизу, не в силах оказать им ни малейшей помощи.

Понемногу языки пламени, усиливаясь, вынудили шута вскарабкаться выше по цепи; и при его движении все снова на краткий миг погрузились в молчание. Карлик воспользовался им и снова заговорил:

— Теперь я хорошо вижу, — сказал он, — какого сорта люди эти ряженые. Это могущественный король и семеро его тайных советников, король, который не стесняется ударить беззащитную девушку, и семеро его советников, которые потакают его гнусной выходке. Что до меня, я всего-навсего Прыг-Скок, шут — и это моя последняя шутка.

Ввиду высокой воспламеняемости кудели и дегтя, на который она была налеплена, карлик едва успел закончить свою краткую речь, как месть совершилась. Восемь трупов раскачивались на цепях — смрадная, почернелая, омерзительная, бесформенная масса. Уродец швырнул в них факелом, вскарабкался, не торопясь, к потолку и скрылся в люке.

Предполагают, что Пушинка, ожидавшая его на крыше, была сообщницей своего друга в его огненном мщении и что им вместе удалось бежать к себе на родину, ибо их более не видели.

17 марта, 1849

пер. В. Рогова

Фон Кемпелен и его открытие

После весьма детальной и обстоятельной работы Араго[1047], — я не говорю сейчас о резюме, опубликованном в «Журнале Простака»[1048] вместе с подробным заявлением лейтенанта Мори[1049], — вряд ли меня можно заподозрить в том, что, предлагая несколько беглых замечаний об открытии фон Кемпелена, я претендую на научное рассмотрение предмета. Мне хотелось бы, прежде всего, просто сказать несколько слов о самом фон Кемпелене[1050] (с которым несколько лет тому назад я имел честь быть лично немного знакомым), ибо все связанное с ним не может не представлять и сейчас интереса, и, во-вторых, взглянуть на результаты его открытия в целом и поразмыслить над ними.

Возможно, однако, что тем поверхностным наблюдениям, которые я хочу здесь высказать, следует предпослать решительное опровержение распространенного, по-видимому, мнения (возникшего, как всегда бывает в таких случаях, благодаря газетам), что в открытии этом, как оно ни поразительно, что не вызывает никаких сомнений, у фон Кемпелена не было предшественников.

Сошлюсь на стр. 53 и 82 «Дневника сэра Хамфри Дэви[1051]» (Коттл и Манро, Лондон, 150 стр.). Из этих страниц явствует, что прославленный химик не только пришел к тому же выводу, но и предпринял также весьма существенные шаги в направлении того же эксперимента, который с таким триумфом завершил сейчас фон Кемпелен. Хотя последний нигде ни словом об этом не упоминает, он, безусловно (я говорю это не колеблясь и готов, если потребуется, привести доказательства), обязан «Дневнику», по крайней мере первым намеком на свое начинание. Не могу не привести два отрывка из «Дневника», содержащие одно из уравнений сэра Хамфри, хотя они и носят несколько технический характер.[1052]

Подхваченный всеми газетами абзац из «Курьера в карьер», в котором заявляется, что честь открытия принадлежит якобы некоему мистеру Джульстону из Брунсвика в штате Мен, сознаюсь, в силу ряда причин представляется мне несколько апокрифическим, хотя в самом этом заявлении нет ничего невозможного или слишком невероятного.

Вряд ли мне следует входить в подробности. В мнении своем об этом абзаце я исхожу в основном из его стиля. Он не производит правдивого впечатления. Люди, излагающие факты, редко так заботятся о дне и часе и точном местоположении, как это делает мистер Джульстон. К тому же, если мистер Джульстон действительно натолкнулся, как он заявляет, на это открытие в означенное время — почти восемь лет тому назад, — как могло случиться, что он тут же, не медля ни минуты, не принял мер к тому, чтобы воспользоваться огромными преимуществами, которые это открытие предоставляет если не всему миру, то лично ему, — о чем не мог не догадаться и деревенский дурачок? Мне представляется совершенно невероятным, чтобы человек заурядных способностей мог сделать, как заявляет мистер Джульстон, такое открытие и вместе с тем действовать, по признанию самого мистера Джульстона, до такой степени как младенец — как желторотый птенец! Кстати, кто такой мистер Джульстон? Откуда он взялся? И не является ли весь абзац в «Курьере в карьер» фальшивкой, рассчитанной на то, чтобы «наделать шума»? Должен сознаться, все это чрезвычайно отдает подделкой. По скромному моему понятию, на сообщение это никак нельзя полагаться, и если бы я по опыту не знал, как легко мистифицировать мужей науки в вопросах, лежащих за пределами обычного круга их исследований, я был бы глубоко поражен, узнав, что такой выдающийся химик, как профессор Дрейпер[1053], всерьез обсуждает притязания мистера Джульстона (или возможно, мистера Джуликстона?).

Однако вернемся к «Дневнику сэра Хамфри Дэви». Сочинение это не предназначалось для публикации даже после смерти автора, — человеку, хоть сколько-нибудь сведущему в писательском деде, легко убедиться в этом при самом поверхностном ознакомлении с его стилем. На стр. 13, например, посередине, там, где говорится об опытах с закисью азота, читаем: «Не прошло и тридцати секунд, как дыхание, продолжаясь, стало постепенно затихать, затем возникло аналогичное легкому давлению на все мускулы». Что дыхание не «затихало», ясно не только из последующего текста, но и из формы множественного числа «стали». Эту фразу, вне сомнения, следует читать так: «Не прошло и полуминуты, как дыхание продолжалось, а эти ощущения, стали постепенно затихать, затем возникло чувство, аналогичное легкому давлению на все мускулы».

Множество таких примеров доказывает, что рукопись, столь поспешно опубликованная, содержала всего лишь черновые наброски, предназначенные исключительно для автора, — просмотр этого сочинения убедит любого мыслящего человека в правоте моих предположений. Дело в том, что сэр Хамфри Дэви менее всего был склонен к тому, чтобы компрометировать себя в вопросах науки. Он не только в высшей степени не одобрял шарлатанства, но и смертельно боялся прослыть эмпириком; так что, как бы ни был он убежден в правильности своей догадки по интересующему нас вопросу, он никогда не позволил бы себе выступить с заявлением до тех пор, пока не был бы готов к наглядной демонстрации своей идеи. Я глубоко убежден в том, что его последние минуты были бы омрачены, узнай он, что его желание, чтобы «Дневник» (во многом содержащий самые общие соображения) был сожжен, будет оставлено без внимания, как, по всей видимости, и произошло. Я говорю «его желание», ибо уверен, что невозможно сомневаться в том, что он намеревался включить эту тетрадь в число разнообразных бумаг, на которых поставил пометку «Сжечь». На счастье или несчастье они уцелели от огня, покажет будущее. В том, что отрывки, приведенные выше, вместе с аналогичными им другими, на которые я ссылаюсь, натолкнули фон Кемпелена на догадку, я совершенно уверен; но, повторяю, лишь будущее покажет, послужит ли это важное открытие (важное при любых обстоятельствах) на пользу всему человечеству или во вред. В том, что фон Кемпелен и его ближайшие друзья соберут богатый урожай, было бы безумием усомниться хоть на минуту. Вряд ли будут они столь легкомысленны, чтобы со временем не «реализовать» своего открытия, широко приобретая дома и земли, вкупе с прочей недвижимостью, имеющей непреходящую ценность.

В краткой заметке о фон Кемпелене, которая появилась в «Семейном журнале»[1054] и многократно воспроизводилась в последнее время, переводчик, взявший, по его собственным словам, этот отрывок из последнего номера пресбургского «Шнельпост», допустил несколько ошибок в понимании немецкого оригинала. «Viele»[1055] было искажено, как это часто бывает, а то, что переводится как «печали», было, по-видимому, «Leiden», что, при правильном понимании «страдания», дало бы совершенно иную

окраску всей публикации. Но, разумеется, многое из того, что я пишу, — всего лишь догадка с моей стороны.

Фон Кемпелен, правда, далеко не «мизантроп», во всяком случае внешне, что бы там ни было на деле. Мое знакомство с ним было самым поверхностным, и вряд ли я имею основание говорить, что хоть сколько-нибудь его знаю; но видеться и беседовать с человеком, который получил или в ближайшее время получит такую колоссальную известность, в наши времена не так-то мало.

«Литературный мир»[1056] с уверенностью говорит о фон Кемпелене как об уроженце Пресбурга (очевидно, его ввела в заблуждение публикация в «Семейном журнале»); мне очень приятно, что я могу категорически, ибо я слышал об этом из собственных его уст, заявить, что он родился в Утике, штат Нью-Йорк, хотя родители его, насколько мне известно, родом из Пресбурга. Семья эта каким-то образом связана с Мельцелем, коего помнят в связи с шахматным автоматом.[1057] Сам фон Кемпелен невысок ростом и тучен, глаза большие, масленые, голубые, волосы и усы песочного цвета, рот широкий, но приятной формы, прекрасные зубы и, кажется, римский нос. Одна нога с дефектом. Обращение открытое, и вся манера отличается bonhomie[1058] В целом во внешности его, речи, поступках нет и намека на «мизантропию». Лет шесть назад мы жили с неделю вместе в «Отеле герцога» в Провиденсе, Род-Айленд; предполагаю, что я имел случай беседовать с ним, в общей сложности, часа три-четыре. Беседа его не выходила за рамки обычных тем; и то, что я от него услышал, не заставило меня заподозрить в нем ученого. Уехал он раньше, чем я, направляясь в Нью-Йорк, а оттуда — в Бремен. В этом-то городе и узнали впервые о его великом открытии, вернее, там-то впервые о нем и заподозрили. Вот, в сущности, и все, что я знаю о бессмертном ныне фон Кемпелене. Но мне казалось, что даже эти скудные подробности могут представлять для публики интерес.

Совершенно очевидно, что добрая половина невероятных слухов, распространившихся об этом деле, — чистый вымысел, заслуживающий доверия не больше, чем сказка о волшебной лампе Аладдина; и все же тут, так же как и с открытиями в Калифорнии, — приходится признать, что правда подчас бывает всякой выдумки странней. Во всяком случае следующий анекдот почерпнут из столь надежных источников, что можно не сомневаться в его подлинности.

Во время своей жизни в Бремене фон Кемпелен не был хоть сколько-нибудь обеспечен; часто — и это хорошо известно — ему приходилось прибегать ко всевозможным ухищрениям для того, чтобы раздобыть самые ничтожные суммы. Когда поднялся шум из-за поддельных векселей фирмы Гутсмут и Ко, подозрение пало на фон Кемпелена, ибо он к тому времени обзавелся недвижимой собственностью на Гасперитч-лейн и отказывался дать объяснения относительно того, откуда у него взялись деньги на эту покупку. В конце концов его арестовали, но, так как ничего решительно против него не было, по прошествии некоторого времени он был освобожден. Полиция, однако, внимательно следила за каждым его шагом; таким образом было обнаружено, что он часто уходит из дома, идет всегда одним и тем же путем и неизменно ускользает от наблюдения в лабиринте узеньких кривых улочек, который в воровском жаргоне зовется Дондергат. Наконец после многих безуспешных попыток обнаружили, что он поднимается на чердак старого семиэтажного дома в переулочке под названием Флетплатц: нагрянув туда нежданно-негаданно, застали его, как и предполагали, в самом разгаре фальшивых операций. Волнение его, как передают, было настолько явным, что у полицейских не осталось ни малейшего сомнения в его виновности. Надев на него наручники, они обыскали комнату или, вернее, комнаты, ибо оказалось, что он занимает всю mausarde[1059].

На чердак, где его схватили, выходил чулан размером десять футов на восемь, там стояла химическая аппаратура, назначение которой так и не установлено. В одном углу чулана находился небольшой горн, в котором пылал огонь, а на огне стоял необычный двойной тигель — вернее, два тигля, соединенных трубкой. В одном из них почти до верха был налит расплавленный свинец, — впрочем, он не доставал до отверстия трубки, расположенного близко к краю. В другом находилась какая-то жидкость, которая в тот момент, когда вошли полицейские, бурно кипела, наполняя комнату клубами пара. Рассказывают, что, увидав полицейских, фон Кемпелен схватил тигель обеими руками (которые были защищены рукавицами — впоследствии оказалось, что они асбестовые) и вылил содержимое на плиты пола. Полицейские тут же надели на него наручники; прежде чем приступить к осмотру помещения, они обыскали его самого, но ничего необычного на нем найдено не было, если не считать завернутого в

бумагу пакета; как было установлено впоследствии, в нем находилась смесь антимония[1060] и какого-то неизвестного вещества, в почти (но не совсем) равных пропорциях. Попытки выяснить состав этого вещества не дали до сих пор никаких результатов; не подлежит сомнению, однако, что в конце концов они увенчаются успехом.

Выйдя вместе с арестованным из чулана, полицейские прошли через некое подобие передней, где не обнаружили ничего существенного, в спальню химика. Они перерыли здесь все столы та. ящики, но нашли только какие-то бумаги, не представляющие интереса, и несколько настоящих монет, серебряных и золотых. Наконец, заглянув под кровать, они увидели старый большой волосяной чемодан без петель, крючков или замка, с небрежно положенной наискось крышкой. Они попытались вытащить его из-под кровати, но обнаружили, что даже объединенными усилиями (а там было трое сильных мужчин) они «не могут сдвинуть его ни на дюйм», что крайне их озадачило. Тогда один из них залез под кровать и, заглянув в чемодан, сказал:

— Не мудрено, что мы не можем его вытащить. Да ведь он до краев полон медным ломом! Упершись ногами в стену, чтобы легче было тянуть, он стал изо всех сил толкать чемодан, в то время как товарищи его изо всех своих сил тянули его на себя. Наконец с большим трудом чемодан вытащили из-под кровати и рассмотрели содержимое. Мнимая медь, заполнявшая его, была вся в небольших гладких кусках, от горошины до доллара величиной; куски эти были неправильной формы, хотя все более или менее плоские, словно свинец, который выплеснули расплавленным на землю и дали там остыть. Никому из полицейских и на ум не пришло, что металл этот, возможно, вовсе не медь. Мысль, о том, что это золото, конечно, ни на минуту не мелькнула в их головах; как там могла родиться такая дикая фантазия? Легко представить себе их удивление, когда на следующий день всему Бремену стало известно, что «куча меди», которую они с таким презрением привезли в полицейский участок, не даз себе труда прикарманить ни кусочка, оказалась золотом — золотом не только настоящим, но и гораздо лучшего качества, чем то, которое употребляют для чеканки монет, — золотом абсолютно чистым, незапятнанным, без малейшей примеси!

Нет нужды излагать здесь подробности признания фон Кемпелена (вернее, того, что он нашел нужным рассказать) и его освобождения, ибо все это публике уже известно. Ни один здравомыслящий человек не станет больше сомневаться в том, что фон Кемпелену на деле удалось осуществить — по мысли и по духу, если и не по букве — старую химеру о философском камне. К мнению Араго следует, конечно, отнестись с большим вниманием, но и он не вовсе непогрешим, и то, что он пишет о бисмуте в своем докладе Академии, должно быть воспринято cum grano salis[1061] Как бы то ни было, приходится признать, что до сего времени все попытки анализа ни к чему не привели; и до тех пор, пока фон Кемпелен сам не пожелает дать нам ключ к собственной загадке, ставшей достоянием публики, более чем вероятно, что дело это на годы останется in statu quo[1062] В настоящее время остается лишь утверждать, что «чистое золото можно легко и спокойно получить из свинца в соединении с некоторыми другими веществами, состав которых и пропорции неизвестны».

Многие задумываются, конечно, над тем, к каким результатам приведет в ближайшем и отдаленном будущем это открытие — открытие, которое люди думающие не преминут поставить в связь с ростом интереса к золоту, связанным с последними событиями в Калифорнии[1063]; а это соображение неизбежно приводит нас к другому — исключительной несвоевременности открытия фон Кемпелена. Если и раньше многие не решались ехать в Калифорнию, опасаясь, что золото, которым изобилуют тамошние прииски, столь значительно упадет в цене, что целесообразность такого далекого путешествия станет весьма сомнительной, — какое же впечатление произведет сейчас на тех, кто готовится к эмиграции, и особенно на тех, кто уже прибыл на прииски, сообщение о потрясающем открытии фон Кемпелена? Открытии, смысл которого состоит попросту в том, что, помимо существенного своего значения для промышленных нужд (каково бы ни было это значение), золото сейчас имеет или, по крайней мере, будет скоро иметь (ибо трудно предположить, что фон Кемпелен сможет долго хранить свое открытие в тайне) ценность не большую, чем свинец, и значительно меньшую, чем серебро. Строить какие-либо прогнозы относительно последствий этого открытия чрезвычайно трудно, однако можно с уверенностью утверждать одно, что

сообщение об этом открытии полгода назад оказало бы решающее влияние на заселение Калифорнии.

В Европе пока что наиболее заметным последствием было то, что цена на свинец повысилась на двести процентов, а на серебро — на двадцать пять.

14 апреля, 1849

пер. Н. Демуровой

Как была набрана одна газетная заметка

Поскольку доподлинно известно, что «мудрецы пришли с Востока»[1064], а мистер Вабанк Напролом прибыл именно с Востока, то из этого следует, что мистер Напролом был мудрецом; если же нужны дополнительные доказательства, они также имеются — мистер Напролом был редактором. Единственной его слабостью являлась раздражительность, а упрямство, в котором его упрекали, было отнюдь не слабостью, ибо он справедливо считал его своей сильной стороной. Оно было его достоинством, его добродетелью, и понадобилась бы вся логика Браунсона, дабы убедить его, что это «нечто иное».

Я доказал, что Вабанк Напролом был мудрецом; мудрость изменила ему лишь однажды, когда он, покинув Восточные штаты — родину мудрецов — переселился на Запад, в город Александрвеликиополис или что-то в этом роде.

Надо, впрочем, отдать ему справедливость: когда он окончательно решил обосноваться в упомянутом городе, он полагал, что в той части страны не существует газет, а следовательно, и редакторов. Основывая «Чайник», он надеялся иметь в этой области монополию. Я убежден, что он ни за что не поселился бы в Александрвеликиополисе, когда бы знал, что в том же самом Александрвеликиополисе проживал джентльмен по имени (если не ошибаюсь) Джон Смит, который уже много лет нагуливал там жир, редактируя и издавая «Александрвеликиопольскую Газету». Не будь он введен в заблуждение, мистер Напролом не оказался бы в Алекс… будем для краткости называть его «Ополисом» — но раз уж он там оказался, то решил оправдать свою репутацию твердого человека и остаться. Итак, он остался, более того — распаковал печатный станок, шрифты и т. д. и т. п., снял помещение как раз напротив редакции «Газеты» и на третий день по приезде выпустил первый номер «Александро…», то есть «Опольского Чайника»; если память мне не изменяет, именно так называлась новая газета.

Передовица, надо признать, была блестящая — чтобы не сказать сокрушительная. Она гневно обличала, в общих чертах, все; а редактора «Газеты» разносила в клочья уже во всех подробностях.

Иные из сарказмов Напролома были столь жгучи, что Джон Смит, который здравствует и поныне, всегда с тех пор казался мне чем-то вроде саламандры. Не берусь приводить дословно всю статью «Чайника», но один из ее абзацев гласил:

> «О, да!.. О, мы понимаем… О, разумеется! Наш сосед через улицу — гений…. О, бог мой!.. куда мы идем? О темпора! О Мориц!»[1065]

Столь едкая и вместе с тем классическая филиппика произвела на мирных доселе жителей Ополиса впечатление разорвавшейся бомбы. На улицах собирались группы возбужденных людей. Каждый с неподдельным волнением ждал ответа достойного Смита. На следующее утро ответ появился:

> «Позволим себе привести следующую заметку из вчерашнего номера „Чайника“: „О, да!.. О, мы понимаем…. О, разумеется! … О, бог мой! … О темпора! … О Мориц!“ Одним словом, сплошные „О“! Поэтому мысль автора и ходит кругами, и ни ему, ни его рассуждениям не видно ни начала, ни конца. Мы убеждены, что этот бездельник не способен написать ни слова без „О“. Что это у него за привычка? Кстати, уж слишком он поспешил сюда с Востока. Интересно, он и там не расставался со своим „О“? О, как же он жалок!»

Негодование мистера Напролома при этих лживых инсинуациях я не берусь описывать. Однако, вследствие привычки, — которая даже угря заставила освоиться со сдиранием шкуры, — нападки на его порядочность рассердили его меньше, чем можно было ожидать. Больше всего он был разъярен насмешками над его стилем! Как! Он, Вабанк Напролом, не способен написать ни слова без «О»? Он докажет наглецу, что это не так. Да! Он докажет этому щенку, что это далеко не так! Он, Вабанк Напролом из Лягуштауна, покажет мистеру Джону Смиту, что может, если ему заблагорассудится, написать целый абзац — да что там абзац! — целую статью, где презренная гласная не будет употреблена ни разу — ни единого разу. Впрочем, нет; это было бы

уступкой упомянутому Джону Смиту. Он, Напролом, не намерен менять свой слог в угоду капризам какого бы то ни было мистера Смита. Прочь, низкое подозрение! Да здравствует «О»! Он не отступит от «О». Будет О-кать сколько ему вздумается.

Исполненный решимости и отваги, великий Вабанк в ближайшем номере «Чайника» отозвался лишь следующей лаконичной, но решительной заметкой:

> «Редактор „Чайника“ имеет честь уведомить „Газету“, что он („Чайник“) в завтрашнем утреннем выпуске намерен доказать ей („Газете“), что он („Чайник“) способен быть — и будет — независим в вопросах стиля; что он („Чайник“) намерен выразить ей („Газете“) уничтожающее презрение, с каким гордый и независимый „Чайник“ относится к нападкам „Газеты“, и для этого напишет специальную передовицу, где отнюдь не намерен избегать употребления великолепной гласной — эмблемы Вечности, — оскорбившей не в меру чувствительную „Газету“, о чем и доводит до общего сведения ее („Газеты“) покорный слуга „Чайник“. На том и покончим с Букингемом!»[1066]

Во исполнение сей зловещей угрозы, которую он скорее выразил туманным намеком, нежели ясно сформулировал, великий Напролом не внял молениям о «материале», послал к черту метранпажа, когда тот (метранпаж) попытался убеждать его («Чайника»), что давно пора сдавать номер; не стал ничего слушать и просидел до рассвета за сочинением следующей поистине беспримерной заметки:

> «Вот, Джон, до чего дошло! Говорили ослу — получишь по холке. Не совался бы в воду, не спросив броду. Уходи скорей восвояси, подобру-поздорову! Каждому в Ономполисе омерзело твое рыло. Осел, козел, обормот, кашалот из Конкордских болот — вот ты кто! Бог мой, Джон, что с тобой? Не вой, не ной, не мотай головой, пойди домой, утопи свое горе в бочонке водки».

Изнуренный этим титаническим трудом, великий Вабанк, разумеется, уже не мог в тот вечер заняться чем-либо еще. Твердо, спокойно, но с сознанием своей силы, он вручил рукопись ожидавшему мальчишке-наборщику и неспешно направился домой, где с большим достоинством лег в постель.

Мальчишка, которому была вверена рукопись, бегом поднялся по лестнице к наборной кассе и немедленно принялся набирать заметку.

Прежде всего — поскольку заметка начиналась со слова «Вот» — он запустил руку в отделение заглавных «В» и с торжеством вытащил оттуда одно из них. Окрыленный успехом, он стремительно кинулся за строчным «о» — но кто опишет его ужас, когда рука его вернулась из ящика без ожидаемой литеры? Кто изобразит его изумление и гнев, когда он убедился, что напрасно шарит по дну пустого ящика? В отделении для строчных «о» не было ни единой буковки; а заглянув с опаской в отделение заглавных «О», он, к великому своему ужасу, обнаружил и там ту же картину. Не помня себя, он прежде всего побежал к метранпажу.

— Сэр! — крикнул он, не переводя духу. — Чего же тут наберешь, когда ни одного тебе «о»?

— То есть как? — проворчал метранпаж, очень злой из-за того, что задержался на работе так поздно.

— А так, что во всей кассе ни одного, хоть большого, хоть маленького.

— Куда ж они к черту подевались?

— Не знаю, сэр, — сказал мальчишка, — а только парень из «Газеты» что-то целый вечер здесь отирался, так, может, это он спер?

— Чтоб ему сдохнуть! Конечно, он, — ответил метранпаж, багровея от ярости, — а ты вот что, Боб, ты у нас молодец, стащи-ка и ты у них все «и». Кровь из носу, а пусть и у них так, разрази их гром.

— Есть! — откликнулся Боб, подмигивая. — Уж я им задам, я им пропишу. А только как же с заметкой? Ее надо в завтрашний, а то хозяин так всыпет, что…

— Да уж это как пить дать, — прервал метранпаж, тяжело вздыхая и упирая на слово «пить». — А очень она длинная, Боб?

— Не так чтобы очень, — сказал Боб.

— Ну ты уж как-нибудь постарайся, набери, ведь спешно, — сказал метранпаж, у которого работы было по горло; — сунь там что-

нибудь вместо «О», все равно эту ерунду никто читать не станет.

— Ладно, — ответил Боб. — Заметано. — И поспешил к наборной кассе, бормоча по дороге: — Ничего себе выражается, а еще говорит, не ругаюсь. Поди, значит, и пусти им кровь из носу. Ладно! Это мы можем. — Дело в том, что Боб, в свои двенадцать лет и при четырех футах росту, готов был драться с кем угодно.

Упомянутая замена букв — отнюдь не редкий случай в типографиях; и почти всегда при этом, не знаю уж почему, недостающую букву заменяют буквой «х». Возможно, это объясняется тем, что эта буква всегда имеется в наборной кассе в избытке; так, по крайней мере, было в старину, и наборщики привыкли прибегать к ней при заменах. Боб также посчитал бы за ересь употребить для замены другую букву, а не привычную «х».

— Заменять, так заменять, — сказал он себе, с удивлением читая заметку, — но в жизни не видел, чтобы столько этих самых «О» зараз.

Он заменял решительно и твердо, и с этими заменами заметка вышла в свет.

Наутро население Онополиса было ошеломлено следующей удивительной передовицей «Чайника»:

> «Вхт, Джхн, дх чегх дхшлх! Гхвхрили хслу — пхлучишь пх ххлке. Не схвался бы в вхду, не спрхсив брхду. Уххди скхрей вхсвхяси пх дхбру-пх здхрхву! Каждхму в Хнхпхлисе хмерзелх твхе рылх. Хсел, кхзел, хбхрмхт, кашалхт из Кхнкхрдских бхлхт — вхт ты ктх! Бхг мхи, Джхя, чтх с тхбхй? Не вхй, не нхй, не мхтай гхлхвхй, пхйди дхмхй, утхпи свхе гхре в бхчхнке вхдки».

Эта таинственная и кабалистическая заметка наделала невообразимого шуму. Первым впечатлением публики было, что в непонятных иероглифах кроется некий дьявольский заговор; и все бросились на квартиру Напролома, намереваясь вымазать его смолой, но его нигде не оказалось. Он исчез неизвестно куда, и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу.

За отсутствием законного объекта народный гнев в конце концов улегся, оставив, в виде осадка, самые разнообразные мнения о злополучном событии.

Кто-то сказал, что Напролом просто хотел, чтоб похохотали.

Другой — что он храбрец.

Третий — что он хулиган и хам.

Четвертый — что это хула на все хорошее.

Пятый — что надо хранить заметку для потомства.

Что Напролом был доведен до крайности — это было ясно всем; ну, а раз этого редактора обнаружить не удалось, стали поговаривать, что следовало бы линчевать второго.

Большинство, однако, считало, что дело это — если хорошенько подумать — очень хитрое. Даже городской математик признался, что не в силах разобраться в столь сложной проблеме.

Мнение наборщика Боба (который ни словом не проговорился насчет «замен») не встретило, на мой взгляд, должного внимания, хотя он высказывал его открыто и безбоязненно. Он утверждал, что дело тут ясное: мистер Напролом хлестал спиртное с утра до вечера, ну а во хмелю, конечно, хорохорился.

12 мая, 1849

пер. З. Александровой

Маяк

Сегодня — в мой первый день на маяке — я вношу эту запись в дневник, как уговорился с Дегрэтом. Буду вести дневник насколько смогу аккуратно — но кто знает, что может случиться, когда человек остается, вот так, совершенно один, — я могу заболеть, а может быть и хуже… Покуда все хорошо! Катер едва спасся, но стоит ли об этом вспоминать, раз уж я добрался сюда в целости? На душе у меня становится легче при одной мысли, что впервые в жизни я буду совершенно один; нельзя же считать «обществом» Нептуна, как он ни велик. Вот если бы в «обществе» я нашел половину той верности, что у этого бедного пса, я, вероятно, не разлучился бы с «обществом», даже на год… Что меня удивляет больше, так это затруднения, с которыми столкнулся Дегрэт, когда хлопотал получить для меня эту должность — для меня, знатного человека! И это не потому, что совет попечителей сомневался в моей способности справиться с огнем маяка. Ведь и до меня с ним справлялся один человек — и справлялся не хуже, чем команда из троих, которую к нему обыкновенно ставят. Обязанности эти — пустяшные, а печатная инструкция составлена как нельзя яснее. Взять в спутники Орндорфа было просто невозможно. Я не смог бы работать над книгой, если бы он был тут со своей несносной болтовней — не говоря уж о неизменной пеньковой трубке. К тому же, я хочу быть именно один… Странно, что до сих пор я не замечал, как уныло звучит самое слово — «один»! Мне даже начинает казаться, будто эти цилиндрические стены рождают какое-то особое эхо — впрочем, чепуха! Одиночество начинает-таки действовать мне на нервы. Нет, этак не годится. Я не позабыл предсказания Дегрэта. Надо поскорее подняться к фонарю и хорошенько оглядеться, «чтобы увидеть, что можно». Не очень-то много тут увидишь. Волнение на море как будто начало утихать, но все же катеру нелегко будет добраться до дому. Они едва ли завидят Норланд[1082] раньше полудня завтрашнего дня — а ведь до него вряд ли более 190 или 200 миль.

2 Янв.

Нынешний день я провел в каком-то экстазе, который не в силах описать. Моя страсть к одиночеству не могла бы получить лучшей

пищи — не могу сказать удовлетворения, ибо я, кажется, никогда не смог бы насытиться блаженством, какое я испытал сегодня… Ветер к рассвету стих, а после полудня заметно успокоилось и море… Даже в подзорную трубу ничего не видно, кроме океана и неба, да еще иногда чаек.

3 Янв.

Весь день стоит мертвый штиль. К вечеру море стало точно стеклянное. Показалось несколько обрывков водорослей, но кроме них весь день ничего — даже ни единого облачка… Я занялся осмотром маяка… Он очень высок — как я убеждаюсь на собственном нелегком опыте, когда приходится взбираться по бесконечным ступеням — почти 160 футов от самой низкой отливной отметки до верхушки фонаря. А внутри башни расстояние до вершины составляет не менее 180 футов — таким образом, пол расположен на 20 футов ниже уровня моря, даже при отливе… Мне кажется, что пустоту в нижней части следовало бы заполнить сплошной каменной кладкой. Она, несомненно, сделала бы все строение гораздо надежнее] но что это я говорю? Такое строение достаточно надежно при любых обстоятельствах. В нем я чувствовал бы себя в безопасности во время самого свирепого урагана, какой только возможен, — однако я слышал от моряков, что иногда, при юго-западном ветре, приливы здесь бывают выше, чем где бы то ни было, исключая западного входа в Магелланов пролив. Но перед этой мощной стеной, скрепленной железными скобами, прилив сам по себе бессилен — на 50 футов над высшей приливной отметкой толщина стены никак не меньше четырех футов. Здание построено, по-видимому, на меловой скале…[1083]

1849, рассказ не окончен, относительно окончания рассказа существуют различные точки зрения. Знаток творчества По текстолог Томас Мэббот считает, что героя должна спасти собака.

пер. З. Александровой

Повесть о приключениях Артура Гордона Пима

Предисловие

Несколько месяцев тому назад, по возвращении в Соединенные Штаты после ряда удивительнейших приключений в Южном океане, изложение которых предлагается ниже, обстоятельства свели меня с несколькими джентльменами из Ричмонда, штат Виргиния, каковые обнаружили глубокий интерес ко всему, что касалось мест, где я побывал, и посчитали моим непременным долгом опубликовать мой рассказ. У меня, однако, были причины для отказа, и сугубо частного характера, затрагивающие только меня одного, и не совсем частного.

Одно из соображений, которое удерживало меня, заключалось в опасении, что поскольку большую часть моего путешествия дневника я не вел, то я не сумею воспроизвести по памяти события достаточно подробно и связно, дабы они и казались такими же правдивыми, какими были в действительности — не считая разве что естественных преувеличений, в которые все мы неизбежно впадаем, рассказывая о происшествиях, глубоко поразивших наше воображение.

Кроме того, события, которые мне предстояло изложить, были столь необыкновенного свойства и притом никто в силу обстоятельств не мог их подтвердить (если не считать единственного свидетеля, да и тот индеец-полукровка), — что я мог рассчитывать лишь на благосклонное внимание моей семьи и тех моих друзей, которые, зная меня всю жизнь, не имели оснований сомневаться в моей правдивости, в то время как широкая публика, по всей вероятности, сочла бы написанное мною беззастенчивой, хотя и искусной выдумкой. Тем не менее одной из главных причин того, почему я не последовал советам своих знакомых, было неверие в свои сочинительские способности.

Среди виргинских джентльменов, проявивших глубокий интерес к моим рассказам, особенно той их части, которая относится к Антарктическому океану, был мистер По, незадолго, до того ставший редактором «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом У. Уайтом[1083] в Ричмонде. Как и прочие, мистер По настоятельно рекомендовал мне, не откладывая, написать обо всем, что я видел и пережил, и положиться на проницательность и здравый смысл читающей публики; при этом

он убедительно доказывал, что, какой бы неумелой ни получилась книга, сами шероховатости стиля, если таковые будут, обеспечат ей большую вероятность быть принятой как правдивое изложение действительных событий.

Несмотря на эти доводы, я не решился последовать его совету. Тогда он предложил (видя, что я непоколебим), чтобы я позволил ему самому описать, основываясь на изложенных мною фактах, мои ранние приключения и напечатать это в «Южном вестнике» под видом вымышленной повести. Не видя никаких тому препятствий, я согласился, поставив единственным условием, чтобы в повествовании фигурировало мое настоящее имя. В результате две части, написанные мистером По, появились в «Вестнике» в январском и февральском выпусках (1837 г.), и для того, чтобы они воспринимались именно как беллетристика, в содержании журнала значилось его имя.

То, как была принята эта литературная хитрость, побудило меня в конце концов взяться за систематическое изложение моих приключений и публикацию записей, ибо, несмотря на видимость вымысла, в которую так искусно была облечена появившаяся в журнале часть моего рассказа (причем ни единый факт не был изменен или искажен), я обнаружил, что читатели все-таки не склонны воспринимать ее как вымысел; напротив, на имя мистера По поступило несколько писем, определенно высказывающих убежденность в обратном. Отсюда я заключил, что факты моего повествования сами по себе содержат достаточно свидетельств их подлинности и мне, следовательно, нечего особенно опасаться недоверия публики.

После этого expose[1084] всякий увидит, сколь велика та доля нижеизложенного, которая принадлежит мне; необходимо также еще раз оговорить, что ни единый факт не подвергся искажению на нескольких первых страницах, которые написаны мистером По. Даже тем читателям, кому не попался на глаза «Вестник», нет необходимости указывать, где кончается его часть и начинается моя: они без труда почувствуют разницу в стиле.

А. Г. Пим. Нью-Йорк, июль, 1838 г.

1

Меня зовут Артур Гордон Пим. Отец мой был почтенный торговец морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Мой дед по материнской линии был стряпчим и имел хорошую практику. Ему всегда везло, и он успешно вкладывал деньги в акции Эдгартаунского нового банка, как он тогда назывался. На этих и других делах ему удалось отложить немалую сумму. Думаю, что он был привязан ко мне больше, чем к кому бы то ни было, так что я рассчитывал после его смерти унаследовать большую часть его состояния. Когда мне исполнилось шесть лет, он послал меня в школу старого мистера Рикетса, однорукого джентльмена с эксцентрическими манерами — его хорошо знает почти всякий, кто бывал в Нью-Бедфорде. Я проучился в его школе до шестнадцати лет, а затем перешел в школу мистера Э.Рональда, расположенную на холме. Здесь я сблизился с сыном капитана Барнарда, который обычно плавал на судах Ллойда и Реденберга, — мистер Барнард также очень хорошо известен в Нью-Бедфорде, и я уверен, что в Эдгартауне у него множество родственников. Сына его звали Август, он был почти на два года старше меня. Он уже ходил с отцом за китами на «Джоне Дональдсоне» и постоянно рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Я часто бывал у него дома, оставаясь там на целый день, а то и на ночь. Мы забирались в кровать, и я не спал почти до рассвета, слушая его истории о дикарях с Тиниана и других островов, где он побывал во время своих путешествий. Меня поневоле увлекали его рассказы, и я постепенно начал ощущать жгучее желание самому пуститься в море. У меня была парусная лодка «Ариэль» стоимостью примерно семьдесят пять долларов, с небольшой каютой, оснащенная как шлюп. Я забыл ее грузоподъемность, но десятерых она держала без труда. Мы имели обыкновение совершать на этой посудине безрассуднейшие вылазки, и, когда я сейчас вспоминаю о них, мне кажется неслыханным чудом, что я остался жив.

Прежде чем приступить к основной части повествования, я и расскажу об одном из этих приключений. Как-то у Барнардов собрались гости, и к исходу дня мы с Августом изрядно захмелели.

Как обычно в таких случаях, я предпочел занять часть его кровати, а не тащиться домой. Я полагал, что он мирно заснул, не обронив ни полслова на свою излюбленную тему (было уже около часу ночи, когда гости разошлись). Прошло, должно быть, полчаса, как мы улеглись, и я начал было засыпать, как вдруг он поднялся и, разразившись страшными проклятиями, заявил, что лично он не собирается дрыхнуть, когда с юго-запада дует такой славный бриз, — что бы ни думали на этот счет все Гордоны Пимы в христианском мире вместе взятые. Я был поражен, как никогда в жизни, ибо не знал, что он затеял, и решил, что Август просто не в себе от поглощенного вина и прочих напитков. Изъяснялся он, однако, вполне здраво и заявил, что я, конечно, считаю его пьяным, но на самом деле он трезв как стеклышко. Ему просто надоело, добавил он, валяться, словно ленивому псу, в постели в такую ночь, и сейчас он встанет, оденется и отправится покататься на лодке. Я не знаю, что на меня нашло, но едва он сказал это, как я почувствовал глубочайшее волнение и восторг, и его безрассудная затея показалась мне чуть ли не самой великолепной и остроумной на свете. Поднялся почти штормовой ветер, было очень холодно: дело происходило в конце октября. Тем не менее я спрыгнул в каком-то экстазе с кровати и заявил, что я тоже не робкого десятка, что мне тоже надоело валяться, словно ленивому псу, в постели и что я тоже готов, чтобы развлечься, на любую выходку, как и какой-то там Август Барнард из Нантакета.

Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старого полусгнившего причала на лесном складе «Пэнки и Компания», почти стукаясь бортом о разбитые бревна. Август прыгнул в лодку, которая была наполовину полна воды, и принялся вычерпывать воду. Покончив с этим, мы подняли стаксель и грот и смело пустились в открытое море.

С юго-запада, как я уже сказал, дул сильный ветер. Ночь была ясная и холодная. Август сел у руля, а я расположился на палубе около мачты. Мы неслись на огромной скорости, причем ни один из нас не проронил ни слова с того момента, как мы отошли от причала. Я спросил моего товарища, куда он держит курс и когда, по его мнению, нам стоит возвращаться. Несколько минут он насвистывал, потом язвительно заметил: «Я иду в море, а ты можешь отправляться домой, если угодно». Повернувшись к нему, я сразу понял, что, несмотря на

кажущееся безразличие, он сильно возбужден. При свете луны мне было хорошо видно, что лицо его белее мрамора, а руки дрожат так, что он едва удерживает румпель. Я понял, что с ним что-то стряслось, и не на шутку встревожился. В ту пору я не умел как следует управлять лодкой и полностью зависел от мореходного искусства моего друга.

Ветер внезапно стал крепчать, мы быстро отдалялись от берега, и все-таки мне было стыдно выдать свою боязнь, и почти полчаса я решительно хранил молчание. Потом я не выдержал и спросил Августа, не лучше ли нам повернуть назад. Как и в тот раз, он чуть ли не с минуту молчал и вообще, казалось, не слышал меня. «Потихоньку, полегоньку, — пробормотал он наконец. — Время еще есть… домой потихоньку, полегоньку». Другого ответа я не ожидал, но в тоне, каким были произнесены эти слова, было что-то такое, что наполнило меня неописуемым страхом. Я еще раз внимательно посмотрел на спутника. Губы его были мертвенно-бледны и колени тряслись так, что он, казалось, не может двинуться с места. «Ради бога, Август! — вскричал я, напуганный до глубины души. — Что случилось?.. Тебе плохо?.. Что ты задумал?» — «Что случилось?.. — выдавил он в полнейшем как будто удивлении и в тот же миг, выпустив из рук румпель, осел на дно лодки. — Н-ничего… ничего не случилось… поворачиваю назад… разве не видишь?» Только теперь меня осенило и я понял, в чем дело.

Бросившись вперед, я приподнял друга. Он был пьян, пьян до бесчувствия, так что не мог держаться на ногах, ничего не слышал и не видел вокруг. Глаза его совсем остекленели; в крайнем отчаянии я выпустил его из рук, и он, как бревно, скатился обратно в воду на дно лодки. Было ясно, что во время пирушки он выпил гораздо больше, чем я думал, и его странное поведение в постели было результатом последней степени опьянения, — в таком состоянии, как и в припадке безумия, жертва часто способна сохранять вид человека, вполне владеющего собой. Однако холодный ночной воздух сделал свое дело, нервное возбуждение под его воздействием начало спадать, и то обстоятельство, что Август, несомненно, весьма смутно сознавал опасность положения, в каком мы находились, приблизило катастрофу. Сейчас мой друг совсем лишился чувств, и никакой надежды на то, что в ближайшие часы он придет в себя, решительно не было.

Трудно представить меру моего ужаса. Винные пары успели улетучиться, я чувствовал себя вдвойне нерешительным и беспомощным. Я понимал, что не справлюсь с лодкой, что яростный ветер и сильный отлив гонят нас навстречу гибели. Где-то позади собирался шторм, у нас не было ни компаса, ни пищи, и я знал, что если не изменить курс, то еще до рассвета мы потеряем землю из виду. Эти мысли наряду с массой других, столь же пугающих, с поразительной быстротой промелькнули у меня в сознании и на несколько мгновений парализовали мою волю к действию.

Наша лодка, то и дело зарываясь носом в кипящую пену, летела с чудовищной скоростью, полным ветром — ни на стакселе, ни на гроте рифы не были взяты. Чудо из чудес, что волны не проломили борта, — ведь Август, как уже говорилось, бросил румпель, а я сам был настолько взволнован, что мне не пришло в голову сесть к рулю. К счастью, лодка продолжала идти прямо, и постепенно я в какой-то мере обрел присутствие духа. Ветер угрожающе крепчал, и всякий раз, когда нас возносило на гребень, волны разбивались о подзор кормы и обдавали нас водой. Но я почти ничего не ощущал: все члены моего тела словно одеревенели. Наконец я собрал последние силы и, с отчаянной решимостью кинувшись вперед, сорвал грот. Как и следовало ожидать, парус перекинуло ветром через нос, он намок в воде и потащил за собой мачту, которая, сломавшись, обрушилась в воду, едва не повредив борт. Только благодаря этому происшествию я избежал неминуемой гибели. Оставшись под одним стакселем, лодка продолжала нестись по ветру, то и дело захлестываемая тяжелыми волнами, но непосредственная угроза все-таки миновала. Я взял руль и вздохнул свободнее, видя, что у нас еще есть какая-то возможность в конце концов спастись. Август по-прежнему лежал без чувств на дне лодки, и я начал опасаться, что он захлебнется (в том месте, где он упал, воды набралось почти на целый фут). Я ухитрился приподнять товарища и, обвязав вокруг его пояса веревку, которую прикрепил к рым-болту на палубе, оставил в сидячем положении. Сделав, таким образом, все, что мог, дрожа от волнения, я целиком вверил себя всевышнему и, собравшись с силами, решил достойно встретить любую опасность.

Едва я пришел к этому решению, как вдруг неистовый протяжный вопль, словно взревела тьма демонов, наполнил воздух. Никогда,

покуда я жив, мне не забыть сильнейшего приступа ужаса, что овладел мною в тот миг. Волосы у меня встали дыбом, кровь застыла в жилах. Сердце остановилось, и, не поднимая глаз, так и не узнав причины катастрофы, я покачнулся и упал без сознания на тело моего неподвижного спутника.

Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в каюте большого китобойного судна «Пингвин», держащего курс на Нантакет. Около меня стояло несколько человек, а бледный, как смерть, Август усердно растирал мне руки. Возгласы благодарения и радости, которые он издал, увидя, что я открыл глаза, вызвали улыбки облегчения и слезы на суровых лицах присутствующих. Вскоре разъяснилась и загадка того, как мы остались живы. На нас наскочило китобойное судно, которое, держась круто к ветру, направлялось к Нантакету на всех парусах, какие только рискнули поднять, и, следовательно, гало почти под прямым углом к нашему курсу. На вахте было несколько впередсмотрящих, но они не замечали нашу лодку до того мгновения, когда избежать столкновения было ужо невозможно, — крики, которыми они пытались предупредить нас, завидев лодку, и повергли меня в ужас. Огромный корабль, как мне рассказывали, подмял нас с такой же легкостью, с какой наше утлое суденышко переехало бы соломинку, и без малейшего, хоть сколько-нибудь заметного замедления хода. Ни единого возгласа не донеслось с лодки, терпевшей крушение, был слышен лишь слабый, заглушаемый ревом ветра и волн, скребущий звук, пока нашу хрупкую скорлупу, которую уже поглотила вода, не протащило вдоль киля наскочившего на нас китобоя, и это все.

Приняв нашу лодку за какую-то брошенную за бесполезностью посудину (напомню, что у нас сорвало мачту), командир корабля (капитан Э. — Т. — В.Блок из Нью-Лондона) решил не обращать внимания на происшествие и следовать своим курсом. К счастью, двое из стоявших на вахте побожились, что у руля определенно кто-то находился и что человека можно еще спасти. Вспыхнул спор, Блок вышел из себя и заявил, что «только у него и дел, чтобы заботиться о какой-то яичной скорлупе, что он не станет поворачивать корабль из-за всякой чепухи, что если там человек, то в этом нет ничьей вины, кроме его собственной, — он может идти ко дну и будь он проклят» или что-то в этом роде. В спор вступил Хендерсон, первый помощник

капитана, справедливо возмущенный, как и вся остальная команда, его словами, выдающими крайнее бессердечие и жестокость. Видя поддержку матросов, он решительно сказал капитану, что тот заслуживает виселицы и что он не подчинится его распоряжениям, даже если его повесят, едва он ступит на сушу. Оттолкнув Блока в сторону (который побледнел, но не сказал ни слова), он зашагал к корме и, схватившись за штурвал, твердым голосом крикнул: «К повороту!» Матросы кинулись по своим местам, и судно совершило искусный поворот. Маневр занял почти пять минут, и трудно было предположить, что можно успеть прийти кому-то на выручку, если вообще в лодке кто-то был. И все-таки, как уже знает читатель, Август и я были спасены; мы избавились от смерти благодаря почти непостижимой двойной удаче, которую мудрые и благочестивые люди приписывают особому вмешательству провидения.

Пока судно еще не забрало ветер, помощник капитана приказал спустить ял и спрыгнул в него с двумя матросами, теми самыми, как я понимаю, которые утверждали, что видели меня у руля. Едва они отгребли от кормы, — луна сияла по-прежнему ярко, — как судно сильно накренило под ветер, и в тот же миг Хендерсон, привстав с кормового сиденья, закричал гребцам, чтобы те табанили. Он ничего не объяснял, только нетерпеливо повторял: «Табань! Табань!» Люди принялись грести изо всех сил в обратную сторону, но к этому времени судно уже завершило поворот и устремилось вперед, хотя команда на борту прилагала все усилия, чтобы убрать паруса.

Как только ял поравнялся с грот-мачтой, помощник капитана, презирая опасность, ухватился за ван-путенсы на борту судна. Тут судно опять резко накренилось, обнажив правый борт почти до киля, тогда-то и стала очевидной причина его беспокойства. На гладком блестящем днище («Пингвин» ниже ватерлинии был обшит медью, и его набор кренился медными болтами) каким-то необыкновеннейшим образом повисло человеческое тело, которое колотилось об обшивку при малейшем движении корабля. После нескольких безуспешных попыток, когда каждый толчок судна грозил потопить шлюпку, меня — ибо это было мое тело — наконец вызволили из опасности и подняли на борт. Оказалось, что какой-то болт сдвинулся с места, пропорол обшивку, и, когда нас протаскивало под днищем, я зацепился за него и повис там в совершенно невообразимом положении. Конец болта

прошел через воротник надетой на мне зеленой суконной куртки, сквозь заднюю часть шеи и вышел наружу между двумя мышцами чуть ниже правого уха. Меня немедленно уложили в постель, хотя я не подавал ни малейших признаков жизни. Хирурга на борту не было. Правда, капитан старался помочь мне, как мог, чтобы оправдать, как мне кажется, в глазах команды свое чудовищное поведение в начале происшествия.

Тем временем Хендерсон на шлюпке снова отошел от судна, хотя ветер уже достигал почти ураганной силы. Не прошло и нескольких минут, как ему стали попадаться обломки нашей лодки, и вскоре один из матросов, которые были с ним, стал уверять, что сквозь рев бури он слышит крики о помощи. Это заставило отважных моряков упорно продолжать поиски, несмотря на то что капитан Блок то и дело подавал им сигналы вернуться и каждый миг пребывания на воде в такой хрупкой шлюпке был чреват смертельной опасностью. В самом деле, почти невозможно себе представить, как крохотная шлюпка избежала крушения в первую же секунду. Шлюпка, однако, была сработана на славу, специально для китобойного промысла, и была снабжена воздушными ящиками, в чем я потом имел возможность убедиться, — на манер некоторых спасательных ботов, которыми пользуются у побережья Уэльса.

После тщетных поисков в течение упомянутого времени было решено вернуться на судно. Едва они пришли к этому заключению, как с какого-то темного предмета, быстро проплывавшего неподалеку, послышался слабый крик. Они пустились вдогонку и скоро настигли неизвестный предмет. Это был палубный настил «Ариэля». Около него из последних сил боролся с волнами Август. Когда его поднимали на борт шлюпки, оказалось, что он привязан веревкой к плавающему дереву. Напомню, что это была та самая веревка, которой я обвязал Августа вокруг пояса, а конец прикрепил к рым-болту, чтобы удержать его в сидячем положении; вышло так, что эта моя предосторожность в конечном счете сохранила ему жизнь. «Ариэль» был сколочен без особого тщания, и, когда на нас наскочил «Пингвин», остов его развалился на куски, а палубный настил оторвало от корпуса водой, хлынувшей в лодку, и он, вместе с другими обломками, выплыл на поверхность; благодаря этому Август тоже удержался на поверхности и избежал таким образом ужасной гибели.

Прошло более часа с того момента, как Августа подняли на борт, прежде чем он мог уяснить, что же, собственно, произошло с нашей лодкой, и рассказать о себе. Наконец он полностью очнулся от беспамятства и подробно рассказал о том, что он испытал, оказавшись за бортом. Едва придя в себя, он обнаружил, что его с немыслимой быстротой крутит под водою, а вокруг его шеи туго, в три-четыре раза обвязана веревка. В следующее мгновение он почувствовал, что быстро поднимается на поверхность и, сильно стукнувшись головой обо что-то твердое, опять теряет сознание. Когда он снова пришел в себя, он мог уже кое-что соображать, хотя рассудок его был еще затемнен и мысли путались. Он понял, что лодка потерпела крушение, он в воде, хотя и на поверхности и может более или менее свободно дышать. Вероятно, в это время лодка быстро неслась по ветру и тащила его, лежащего на спине, за собой. Само собой разумеется, он мог не опасаться, что пойдет ко дну, пока сумеет удержаться в том же положении. Вскоре волна кинула его на самый настил, и он судорожно вцепился в доски, время от времени призывая на помощь. Как раз перед тем, как его услышали со шлюпки мистера Хендерсона, он, обессилев, разжал пальцы, соскользнул в воду и решил, что погиб. Пока он боролся за свою жизнь, ему ни разу не пришла в голову мысль ни об «Ариэле», ни о том, что же, собственно, с ним случилось. Им целиком завладело смутное ощущение ужаса и отчаяния. Когда его наконец подобрали, он был без памяти, и, как уже говорилось, прошел добрый час, прежде чем он вполне осознал, в какую попал переделку. Что до меня, то я был возвращен к жизни из состояния, граничащего со смертью (после того как в течение трех с половиной часов перепробовали всевозможные средства), и результате энергичного растирания фланелью, смоченной в горячем масле, — эта мера была предложена Августом. Рана в шее, хотя и имела отвратительный вид, оказалась неопасной, и я скоро от нее оправился.

Выдержав один из самых жестоких штормов, какие случались у берегов Нантакета, «Пингвин» около девяти часов утра вошел в порт. Мы с Августом успели появиться у него дома как раз к завтраку, который, по счастью, запоздал из-за вчерашней попойки. За столом никто не обратил внимания на наш измученный вид, думаю — потому, что все были чересчур утомлены, хотя, разумеется, это не ускользнуло бы от более пристального взгляда. Когда школьники хотят обмануть

старших, они способны творить чудеса, и я убежден, что ни у кого из наших друзей в Нантакете не закралось подозрение, что потрясающая история, рассказанная матросами в городе, о том, как они пустили ко дну какое-то судно с тридцатью или сорока беднягами на борту, имела касательство к «Ариэлю», моему товарищу или ко мне. Мы с Августом неоднократно обсуждали происшествие и всякий раз содрогались от ужаса.

Во время одного такого разговора Август честно признался, что ни разу в жизни не испытывал столь мучительного смятения, как в тот момент, когда на борту нашего утлого суденышка вдруг осознал, до какой степени он пьян, и почувствовал, как под воздействием винных паров погружается куда-то в небытие.

2

В силу наших пристрастий или предубеждений мы не способны извлекать урок даже из самых очевидных вещей. Можно было бы предположить, что происшествие, подобное тому, о котором я рассказал, значительно охладит мою зарождающуюся страсть к морю. Но, напротив, я никогда не испытывал более жгучей жажды безумных приключений, сопутствующих жизни мореплавателя, чем по прошествии недели с момента нашего чудесного избавления. Этого короткого промежутка времени оказалось вполне достаточно, чтобы из моей памяти изгладились мрачные краски недавнего опасного происшествия и в ярком свете предстали все его волнующие мазки, вся его живописность. Наши беседы с Августом день ото дня становились все более частыми и захватывающими. Его манера рассказывать о своих приключениях в океане (более половины которых, как я теперь подозреваю, были просто-напросто выдуманы) вполне отвечала моему экзальтированному характеру, и они находили отклик в моем пылком, хотя несколько болезненном воображении. Странно также, что мое влечение к морской жизни более всего подогревалось тогда, когда он рисовал случаи самых невероятных страданий и отчаяния.

Меня не пленяли светлые тона в его картинах. Мне виделись кораблекрушения и голод, смерть или плен у варварских орд, жизнь в терзаниях и слезах на какой-нибудь седой необитаемой скале, посреди недоступного и непостижимого океана. Впоследствии меня уверяли, что подобные видения или вожделения — ибо они действительно превращались в таковые — обычны среди всего людского племени меланхоликов; в то же время, о котором идет речь, я усматривал в них пророческие проблески высшего предначертания, которому я в какой-то мере обязан следовать, Август целиком проникся моим умонастроением. Не исключено даже, что наш сокровенный союз имел следствием частичное взаимопроникновение характеров.

Спустя около полутора лет после гибели «Ариэля» компания «Ллойд и Реденберг» (каким-то образом связанная, как я предполагаю, с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой брига «Дельфин» и снаряжением его для охоты на китов. Это была старая

посудина, которая даже после того, как с ней сделали все, что можно было сделать, едва ли стала мореходной. Мне трудно сказать, почему «Дельфин» предпочли другим, хорошим судам, принадлежащим тем же владельцам, но дело обстояло именно так. Мистера Барнарда назначили капитаном, и Август собирался отправиться с ним. Пока бриг готовили к плаванию, он постоянно распространялся о том, какие отличные сейчас представляются возможности для осуществления моей мечты пуститься в путешествие. Он нашел во мне вполне благосклонного слушателя. Но устроить все оказалось не так-то просто. Если мой отец отнюдь не противодействовал мне, то с матерью случалась истерика при одном упоминании о моей затее; однако неприятнее всего было то, что мой дед, от которого я многого ожидал, поклялся лишить меня наследства, если я еще хоть раз заведу разговор на эту тему. Эти препятствия, однако, не только не погасили мое желание, но даже подлили масла в огонь. Я решил идти в море во что бы то ни стало и, сообщив свое решение Августу, вместе с ним принялся разрабатывать план действий. Все это время я ни с кем из своих родственников не заговаривал о плавании, и поскольку был поглощен по видимости обычными занятиями, то все предположили, что я отказался от своих намерений. Впоследствии я не раз вспоминал мое поведение в те дни, испытывая смешанное чувство неудовольствия и удивления. Отъявленное лицемерие, с помощью которого я добивался достижения своего замысла и которым было отмечено каждое мое слово и каждый поступок на протяжении столь длительного срока, оказалось мне по плечу лишь благодаря пылким и необузданным надеждам, с какими я ожидал исполнения моей давно лелеемой мечты о путешествиях.

Дабы не навлечь на нас подозрений, я по необходимости вынужден был много дел оставить на попечение Августа, который каждый день большую часть времени был занят на борту «Дельфина», присматривая за кое-какими работами в каюте отца и трюме. Вечерами, однако, мы непременно встречались и обменивались новостями.

Так пролетел без малого месяц, а мы не сумели остановиться на каком-нибудь определенном плане, который обеспечил бы нам успех, пока, наконец, Август не придумал, что необходимо предпринять. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, мистер Росс, и время от

времени я гостил у него в доме по две-три недели. Бриг должен был выйти в море около середины июня (1827 года), и было решено, что за день или два до отплытия «Дельфина» мой отец получит, как повелось, письмо от мистера Росса с приглашением для меня приехать и провести две недели с его сыновьями Робертом и Эмметом. Август взялся сочинить письмо и доставить его по назначению. Отправившись как будто в Нью-Бедфорд, я должен был встретиться с моим товарищем, который обеспечит мне убежище на борту «Дельфина». Он уверил меня, что устроит это убежище достаточно удобным для длительного пребывания, в течение которого я не должен обнаруживать себя. Когда бриг, следуя своим курсом, уйдет далеко в море, так что никто не решится поворачивать его назад, меня, по словам Августа, как положено, водворят со всеми удобствами в каюту; что до его отца, то он лишь от души посмеется над нашей проделкой. По пути, разумеется, попадутся суда, с которыми можно будет отправить домой письмо и объяснить моим родителям случившееся.

Наконец наступила середина июня, все было готово. Август написал письмо, вручил его моему отцу, и в понедельник утром я поспешил, как считали дома, на пакетбот, отправляющийся в Нью-Бедфорд. Вместо этого я отправился прямо к Августу, который ждал меня за углом. Согласно первоначальному плану я должен был: дождаться в укромном месте темноты, а затем проникнуть на судно, по поскольку, на счастье, стоял густой туман, то было решено не терять времени. Август направился к пристани, а на отдалении последовал за ним я, закутанный, дабы меня не узнали, в толстый морской плащ, который он прихватил с собой. Едва мы прошли мимо колодца мистера Эдмунда и еще раз свернули за угол, как прямо передо мной собственной персоной предстал, глядя мне в лицо, не кто иной, как мой дед мистер Петерсон. «Гордон, да ты ли это? — воскликнул он, оправившись от удивления. — Что с тобой?.. Зачем ты напялил на себя это старое тряпье?» — «Сэр! — отвечал я что ни на есть хриплым голосом и стараясь изо всех сил, как того требовала чрезвычайность момента, напустить на себя оскорбленный недоумевающий вид. — Сэр! Вы ошибаетесь. Во-первых, мое имя вовсе не какой-то там Гордон, а во-вторых, я не позволю всякому проходимцу называть мой новый плащ тряпьем». Ей-ей, я едва мог удержаться от хохота, видя, как повел себя почтенный джентльмен, получив этот достойный отпор.

Он отступил на два-три шага, побледнел, затем побагровел, сдвинул на лоб очки, потом снова опустил их на переносицу и в бешенстве кинулся на меня, подняв зонтик. Однако он тут же остановился как вкопанный, словно что-то внезапно сообразил, и, повернув, заковылял, прихрамывая, по улице, трясясь от ярости и бормоча сквозь зубы: «Никуда не годится… нужны новые очки… принял чужого человека за Гордона… Будь он неладен, этот долговязый Том, бездельник, ржавая селедка!»

После этой рискованной встречи мы продвигались с большей осторожностью и без приключений добрались до пристани. На борту «Дельфина» находилось два или три матроса, да и те что-то делали у комингса люка на баке. Что до капитана Барнарда, то он, как мы знали, был занят в конторе «Ллойд и Реденберг» и останется там допоздна, так что мы могли не опасаться его появления. Август первый подошел к трапу, и вскоре, не замеченный работающими матросами, за ним последовал и я. Мы быстро пробрались в кают-компанию. Там никого не было. Кают-компания оказалась оборудованной с большим комфортом и вкусом, что весьма редко на китобойных судах. В нее выходили четыре отличные отдельные каюты с широкими удобными койками. Я обратил внимание на большую печь и на удивительно толстый дорогой ковер, который был постлан на пол в салоне и каютах. Высота подволока достигала добрых семи футов, словом, здесь сверх ожидания было просторно и уютно. Мне удалось лишь бегло осмотреть обстановку, так как Август торопил меня, считая, что я должен как можно скорее укрыться в моем убежище. Он провел меня в свою каюту, которая помещалась по правому борту, сразу за переборкой. Когда мы вошли, он закрыл дверь на засов. Я подумал, что никогда не видел более приятной комнатки, чем та, где мы оказались. Она имела в длину около десяти футов и только одну широкую, удобную койку, как и те, о которых я уже упомянул. В тон части каюты, что примыкала к переборке, было свободное пространство площадью фута четыре, где стоял стол со стулом, а над ним были навешены полки, полные книг, главным образом о плаваниях и путешествиях. Тут были и другие небольшие предметы, придающие комнате уют, и среди них некое устройство, вроде ледника или рефрижератора, где, как показал мне Август, находилось множество вкусных вещей — в продуктовом и в винном отделении.

Затем он надавил пальцами на одно место в углу и сказал, что часть настила, размером около шестнадцати квадратных дюймов, здесь аккуратно вырезана и снова прилажена по месту. Когда он нажал рукой на край выпиленной части, тот чуть приподнялся, и он подсунул под него пальцы. Таким образом он поднял крышку люка (ковер держался на ней благодаря мебельным гвоздям), и я увидел, что он ведет в кормовой трюм. Затем Август фосфорной спичкой зажег маленькую свечу и, поместив ее в потайной фонарь, спустился в люк, позвав меня за собой. После того как я последовал его указанию, он с помощью гвоздя, вбитого с внутренней стороны, опустил крышку, причем ковер, как легко догадаться, занял прежнее положение, скрыв какие бы то ни было следы отверстия.

Фонарь со свечой бросал такой слабый свет, что каждый шаг посреди наваленной кое-как кладки давался нам с величайшим трудом, мы шли чуть ли не ощупью. Постепенно, однако, глаза мои привыкли к мраку, и, держась за товарища, я продвигался вперед более уверенно. Бесчисленное множество раз нам приходилось пригибаться, пролезать через какие-то узкие проходы, но наконец он привел меня к окованному листовым железом ящику, наподобие тех, в каких иногда перевозят фаянс. В высоту он имел почти четыре фута, в длину полных шесть, но был очень узок. На ящике стояли две больших порожних бочки из-под масла, а сверху, поднимаясь до палубы каюты, было уложено огромное количество соломенных циновок. Кругом, куда ни ступи, в полнейшем беспорядке теснились, громоздясь до самого верха, всевозможнейшие предметы корабельного хозяйства и груды различных ящиков, корзин, бочонков, тюков, так что казалось чуть ли не чудом, что мы вообще сумели пробраться к ящику. Впоследствии я узнал, что Август намеренно набил трюм до отказа, чтобы наилучшим образом скрыть мое местопребывание, причем работал он с помощью только одного человека, не идущего в плавание.

Мой спутник сказал, что при желании одну торцовую стенку ящика можно сиять. Он отодвинул ее в сторону и показал мне внутренность ящика. Я был приятно поражен: на дне ящика во всю длину был постелен матрац, снятый с каютной, койки, тут же находились почти лес предметы первой необходимости, какие только можно было разместить в таком малом пространстве, оставив в то же время достаточно места, чтобы я мог расположиться — сидя или

вытянувшись во весь рост. Среди вещей было несколько книг, перо, чернила и бумага, три одеяла, большой кувшин, наполненный водой, бочонок морских сухарей, три или четыре болонские колбасы, громадный окорок, зажаренная баранья нога и полдюжины бутылок горячительных напитков и ликера. Я немедленно вступил во владение своим крохотным жилищем, причем убежден, что испытал при этом удовольствие большее, нежели то, какое когда-либо доводилось испытать монарху, вступающему во дворец. Август научил меня, как закреплять открывающуюся стенку ящика, а затем, опустив свечу к настилу, показал мне кусок темной бечевки на полу. Эта бечевка, объяснил он, протянута от моего убежища через все необходимые повороты и проходы между грузом к люку, ведущему в его каюту, и привязана к гвоздю, вколоченному в трюмную палубу как раз под ним. Следуя вдоль веревки, я могу легко выбраться отсюда без его помощи, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство вызовет такую необходимость. Затем он попрощался со мной, оставив мне фонарь с обильным запасом свечей и спичек, и обещал наведываться всякий раз, когда удастся проскользнуть сюда незамеченным. Это произошло семнадцатого июня.

Насколько можно судить, я провел в своем убежище три дня и три ночи, почти не вылезая из ящика, и лишь дважды, чтобы размять мускулы, выпрямился во весь рост между ящиками, как раз напротив открывающейся стенки. Все это время Август не показывался, но это не сильно беспокоило меня, поскольку я знал, что бриг должен вот-вот выйти в море и что в предотъездной суете ему нелегко выбрать, случай спуститься ко мне. Наконец я услышал, как поднялась, а затем опустилась крышка люка, и вскорости тихим голосом Август спросил, все ли у меня в порядке и не нужно ли мне чего-нибудь. «Нет, — сказал я. — Удобнее не устроишься. Когда отплываем?»

— «Судно снимается с якоря меньше чем через полчаса, — ответил он. — Я пришел сказать тебе об этом, чтобы ты не волновался из-за моего отсутствия. Я не смогу снова спуститься сюда какое-то время, может быть, дня три-четыре. Наверху все в порядке. Когда я вылезу и закрою крышку, пожалуйста, пройди вдоль бечевки сюда, где торчит гвоздь. Я оставляю здесь часы — они могут тебе пригодиться, чтобы узнавать время, ведь дневного света здесь нет. Ты, наверное, не знаешь, сколько ты тут просидел… всего три дня… сегодня двадцатое.

Я принес бы часы сам, да боюсь, что меня хватятся». С этими словами он исчез.

Приблизительно через час после того, как Август ушел, я отчетливо почувствовал наконец, что судно движется, и поздравил себя с благополучным началом плавания. Вполне довольный, я решил по возможности ни о чем больше не думать и спокойно ожидать естественной развязки событий, когда мне разрешат сменить мой ящик на более просторное, хотя вряд ли намного более удобное каютное помещение. Первым долом надо было достать часы. Оставив свечу зажженной, я стал пробираться в полумраке вдоль бечевки, через бесконечный лабиринт переходов, так что иногда, одолев довольно большое расстояние, я снова оказывался в футе или двух от исходной точки. В конце концов я добрался до гвоздя и, взяв часы, целым и невредимым вернулся назад.

Затем я просмотрел книги, которые заботливо подобрал для меня Август, и остановился на экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Некоторое время я с интересом читал, потом почувствовал, что меня одолевает дремота, осторожно погасил свечу и вскоре уснул здоровым сном.

Проснувшись, я почувствовал, что никак не могу собраться с мыслями, и прошел какой-то срок, прежде чем мне удалось припомнить все обстоятельства моего положения. Постепенно я припомнил все. Я зажег свечу и посмотрел на часы, но они остановились, и я, следовательно, был лишен возможности узнать, как долго я спал. Члены мои совсем онемели, и я был вынужден размять мускулы, выпрямившись между ящиками. Почувствовав вскоре волчий аппетит, я вспомнил о холодной баранине, которой отведал перед тем как уснуть и нашел превосходной. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что она совершенно испортилась! Это обстоятельство вызвало у меня сильное беспокойство, ибо, связав его с беспорядочным состоянием ума после пробуждения, я подумал, что спал, должно быть, необыкновенно долго. Одной из причин тому мог быть спертый воздух в трюме, что имело бы в конечном счете пренеприятные последствия. Сильно болела голова, казалось, что трудно дышать, и вообще меня обуревали самые мрачные предчувствия. И все же я не осмеливался дать о себе знать, открыв люк

или как-нибудь иначе, а потому, заведя часы, решил, насколько возможно, запастись терпением.

На протяжении следующих двадцати четырех тягостных часов никто не явился избавить меня, и я не мог не винить Августа в явном невнимании к другу.

Но больше всего меня беспокоило то, что воды в моем кувшине поубавилось до полупинты, а я мучился жаждой, изрядно поев копченой колбасы, когда обнаружил, что моя баранина пропала. Мне было явно не по себе, читать решительно не хотелось. Кроме того, меня постоянно клонило ко сну, но я трепетал при мысли, что, поддавшись искушению, окажусь в удушливой атмосфере трюма, под каким-нибудь гибельным воздействием, например угарного газа. Между тем бортовая качка подсказывала мне, что мы вышли в океан, а непрерывное гудение, доносившееся словно бы с огромного расстояния, убеждало, что разыгралась исключительной силы буря.

Августа все не было, и я терялся в догадках. Мы наверняка отошли достаточно далеко, и я мог бы уже подняться наверх. Конечно, с ним могло что-нибудь стрястись, но мне не приходило в голову ничего такого, что объяснило бы, почему он не вызволит меня из моего плена, — разве что он скоропостижно скончался или упал за борт. Но думать об этом было нестерпимо. Возможно, что нас задержал противный ветер и мы все еще находились в непосредственной близости от Нантакета. Это предположение, однако, тоже отпадало, ибо в таком случае судну пришлось бы часто делать поворот оверштаг, но оно постоянно кренилось на левый борт, из чего я с удовлетворением заключил, что благодаря устойчивому бризу с кормы справа мы не сходили с курса. Кроме того, если мы по-прежнему были поблизости от нашего острова, то почему бы Августу не спуститься и не сообщить мне об этом?

Размышляя таким образом о тягостях моего беспросветного одиночества, я решил выждать еще сутки, и если не придет помощь, то пробраться к люку и либо поговорить с другом, либо на худой конец глотнуть свежего воздуха через отверстие и запастись водой в его каюте. Так, занятый этими мыслями, я забылся глубоким сном, вернее впал в состояние какого-то оцепенения, хотя всячески противился этому. Мои сновидения поистине были страшны. Какие только бедствия и ужасы не обрушивались на меня! То какие-то демоны

свирепого обличья душили меня огромными подушками. То громадные змеи заключали меня в свои объятия, впиваясь в лицо своими зловеще поблескивающими глазами. То передо мной возникали бескрайние, пугающие своей безжизненностью, пустыни. Бесконечно, насколько хватал глаз, вздымались гигантские стволы серых голых деревьев. Корнями они уходили в обширные зыбучие болота с густо-черной мертвой отвратительной водой. Казалось, в этих невиданных деревьях было что-то человеческое, и, раскачивая свои костистые ветви, они резкими, пронзительными голосами, полными нестерпимых мук и безнадежности, взывали к молчаливым водам о милосердии. Затем картина переменилась: я стоял один, обнаженный, посреди жгучих песков Сахары. У самых моих ног распластался на земле свирепый лев. Внезапно глаза его открылись, и на меня упал бешеный взгляд. Изогнувшись всем туловищем, он вскочил и оскалил свои страшные клыки. В следующее мгновение его кроваво-красный зев исторг рыкание, подобное грому с небесного свода. Я стремительно бросился на землю. Задыхаясь от страха, я наконец понял, что очнулся ото сна. Нет, мой сон был вовсе не сном. Теперь я уже был в состоянии что-то соображать. У меня на груди тяжело лежали лапы какого-то огромного живого чудовища… Я слышал его горячее дыхание на своем лице… его страшные белые клыки сверкали в полумраке.

Даже если бы мне даровали тысячу жизней за то, что я пошевелю пальцем, выдавлю хоть единый звук, то и тогда я не смог бы ни двинуться, ни заговорить. Неизвестный зверь оставался в том же положении, не предпринимая пока попытки растерзать меня, а я лежал под ним совершенно беспомощный и, как мне казалось, умирающий. Я чувствовал, как быстро покидают меня душевные и физические силы, я кончался, кончался единственно от страха. В голове у меня закружилось… я почувствовал отвратительную тошноту… глаза перестали видеть… даже сверкающие зрачки надо мной словно бы затуманились. Собрав остатки сил, я почти одними губами помянул имя господне и покорился неизбежному. Звук моего голоса, видимо, пробудил у зверя затаенную ярость. Он бросился на меня всей своей тушей; но каково же было мое удивление, когда он тихо, протяжно заскулил и начал лизать мне лицо и руки со всей пылкостью и самыми неожиданными проявлениями привязанности и восторга! Я был

поражен, совершенно сбит с толку, разве я мог забыть, как по-особому подвывал мой ньюфаундленд Тигр, его странную манеру ласкаться. Да, это был он! Кровь застучала у меня в висках, то была внезапная, до головокружения острая радость спасения и возврата к жизни. Я поспешно поднялся с матраца, на котором лежал, и, кинувшись на шею моему верному спутнику и другу, облегчил мою отчаявшуюся душу бурными горячими рыданиями.

Поднявшись с матраца, я обнаружил, что мысли мои, как и в тот раз, находятся в полном помрачении и сумятице.

Долгое время я был почти не в силах сообразить, что к чему; лишь мало-помалу ко мне вернулась способность рассуждать трезво, и я припомнил кое-какие обстоятельства, связанные с моим состоянием. Правда, я тщетно пытался объяснить появление Тигра, строил сотни догадок на этот счет, но в конце концов был вынужден довольствоваться утешительной мыслью, что он здесь и будет делить со мной тягостное одиночество и утешать своими ласками. Большинство людей любит собак, но к Тигру я питал пристрастие более пылкое, чем обыкновенно, и, конечно же, ни одно животное так не заслуживало этого, как он. Семь лет он был моим неразлучным спутником и неоднократно имел случай показать всевозможные благородные качества, за которые мы так ценим собак. Когда он был еще щенком, я выручил его из лап какого-то зловредного мальчишки, тащившего его на веревке в воду, а три года спустя, будучи взрослым псом, он отплатил мне тем же, — спас от дубинки уличного грабители.

Нащупав часы и приложив их к уху, я обнаружил, что они снова остановились. Но меня это ничуть не удивило, потому что по своему болезненному состоянию я знал, что, как и прежде, проспал очень долго, правда, узнать, сколько именно, было невозможно. У меня начался жар, нестерпимо хотелось нить. Я стал шарить, ища кувшин, где оставался еще небольшой запас воды, — света у меня не было, так как свеча догорела до самого гнезда в фонаре, а коробка со спичками не попадалась под руку. Наконец я наткнулся на кувшин, но он был пуст; Тигр, очевидно, не удержался и вылакал воду и сожрал остатки баранины: у самого отверстия ящика валялась хорошо обглоданная кость. Испорченное мясо мне было ни к чему, но при мысли о том, что я лишился воды, я совсем пал духом. Я испытывал такую слабость, что меня трясло, как в лихорадке, при малейшем движении.

Вдобавок к моим бедам, бриг бешено кидало из стороны в сторону, и бочки из-под масла, которые стояли на ящике, грозили ежеминутно свалиться и загородить доступ в мое убежище. Кроме того, я ужасно страдал от приступов морской болезни. Эти соображения заставляли меня рискнуть во что бы то ни стало добраться до люка и просить помощи до того, как я окажусь не в силах вообще что-либо сделать. Утвердившись в этом решении, я принялся ощупью искать коробку со спичками и свечи. Коробку я нашел без особого труда, по свечей не оказалось там, где я думал (хотя я хорошо запомнил место, куда я их положил), и посему, отказавшись пока от поисков, я приказал Тигру лежать тихо и немедленно двинулся в путь к люку.

Во время этого путешествия моя слабость стала очевидной, как никогда. Каких трудов мне стоило ползти, руки и колени у меня то и дело подгибались, и тогда, в полном изнеможении упав лицом на пол, я лежал по нескольку минут почти без чувств. И все-таки я продвигался мало-помалу, думая лишь о том, как бы не потерять сознания в этих узких, запутанных проходах между грудами клади, в результате чего меня неминуемо ждала смерть. Собрав все силы, я рванулся вперед и больно стукнулся головой об острый угол обитой железом клети. Удар лишь оглушил меня на несколько мгновений, но, к своему невыразимому огорчению, я увидел, что сильная порывистая качка сбросила клеть поперек прохода и она совершенно загородила мне дорогу. Как я ни старался, я не мог сдвинуть ее ни на дюйм, поскольку она оказалась зажата среди всяких ящиков и предметов корабельного хозяйства. Поэтому, несмотря на слабость, мне оставалось либо, отойдя от бечевки, искать новый проход, либо перелезть через препятствие и возобновить путь по другую сторону клети. Первая возможность таила такое множество опасностей и трудностей, что о ней нельзя было даже помыслить без содрогания. Ослабевший телом и духом, я неизбежно заблужусь, если сделаю такую попытку, и обреку себя на гибель в мрачных лабиринтах трюма. Поэтому я без колебаний решил призвать на помощь остатки сил и воли и попробовать по мере возможности перелезть через клеть.

Я встал, чтобы осуществить свой план, но тут же увидел, что он потребует еще больших трудов, чем подсказывали мои опасения. В проходе по обе стороны клети громоздилась целая стена разной клади,

и при малейшей моей оплошности она могла обрушиться мне на голову; если это и не случится сейчас, не исключено, что она завалит проход потом, когда я буду возвращаться, и образует такую же преграду, перед которой я стоял. Что до клети, то она была высокой, неудобной и решительно некуда было даже поставить ногу. Тщетно, чего-чего не пробуя, старался я достать до верха, в надежде затем подтянуться на руках. Впрочем, и к лучшему, ибо, дотянись я до верха, у меня все равно не хватило бы никаких сил перебраться через клеть. Наконец, отчаянно пытаясь хоть немного сдвинуть ее с места, я услышал, как на боковой ее стороне что-то дребезжит. Я нетерпеливо ощупал рукой края досок и почувствовал, что одна из них, весьма широкая, оторвалась от стойки. Орудуя перочинным ножом, который, к счастью, был при мне, я ухитрился после немалых трудов оторвать ее совсем; протиснувшись сквозь отверстие, я, к чрезвычайной своей радости, не обнаружил на противоположной стороне досок — другими словами, клеть была открыта, и я, следовательно, пролез через днище. Затем я без особых задержек прошел вдоль бечевки и достиг гвоздя. С бьющимся сердцем я выпрямился и легонько нажал на крышку люка. Она, против ожидания, не поддавалась, тогда я нажал более решительно, все еще опасаясь, что в каюте Августа находится кто-нибудь посторонний. Крышка, однако, оставалась неподвижной, и я встревожился, помня, как легко она открывалась раньше. Тогда я толкнул крышку посильнее — она сидела так же плотно, затем надавил со всей силой — она не сдвинулась с места, наконец, налег на нее в гневе, ярости, отчаянии — она не поддавалась никак. Крышка сидела совершенно неподвижно, значит, люк либо обнаружили и забили гвоздями, либо завалили каким-то тяжелым грузом, сдвинуть который я не мог.

Крайний ужас и смятение овладели мною. Напрасно пытался я рассуждать о вероятной причине моего заточения. Я не мог придумать сколько-нибудь связного объяснения и безвольно опустился на пол: мое мрачное воображение начало рисовать множество бедствий, ожидающих меня, и наиболее отчетливо — смерть от жажды, голода, удушья и погребение заживо.

В конце концов присутствие духа отчасти возвратилось ко мне. Я встал и ощупью стал искать щель или трещину в крышке люка. Таковые обнаружились, и я тщательно обследовал, не пропускают ли

они свет из каюты, но света не было видно. Я просунул лезвие ножа в одну щель, в другую, и всюду оно натыкалось на что-то твердое. Я поцарапал кончиком ножа — похоже на массивный кусок железа, причем с особой, неровной поверхностью, из чего я заключил, что это якорная цепь. Единственное, что мне оставалось, — это вернуться к себе в ящик и либо смириться с моим печальным уделом, либо успокоиться и самому разработать план спасения. Я немедленно отправился в обратный путь и после неимоверных трудностей добрался до места. Когда я в изнеможении упал на матрац, Тигр растянулся подле меня и стал ласкаться — казалось, он хочет утешить меня в моих бедах и страданьях и убеждает крепиться.

Необыкновенное его поведение в конце концов заставило обратить на себя внимание. Он то несколько минут подряд лизал мне лицо и руки, то вдруг переставал и тихонько взвизгивал. Протягивая к нему руку, я каждый раз находил, что он лежит на спине, с поднятыми кверху лапами. Это повторялось неоднократно и потому показалось мне странным, хотя я никак не мог понять, в чем дело. Собаку, видимо, что-то мучило, и я решил, что Тигр получил какое-нибудь повреждение; беря его лапы в руки, я внимательно осмотрел их одну за другой, но не нашел ни единой царапины. Я подумал, что он голоден, и дал ему большой кусок окорока, который он с жадностью проглотил, но потом возобновил свои непонятные действия. Тогда я предположил, что он, как и я сам, страдает от жажды, и посчитал было, что так оно и есть, но тут мне пришло в голову, что осмотрел-то я лишь его лапы, а рана могла быть где-нибудь на теле или на голове. Я осторожно ощупал его голову, но ничего не нашел. Зато когда я провел рукой но спине, то почувствовал, что в одном месте шерсть слегка взъерошена на всем полукружье. Потом я дотронулся до какого-то шнурка и, проведя по нему пальцами, убедился, что им обвязано все туловище собаки.

Осторожно ощупывая шнурок, я наткнулся, судя по всему, на листок почтовой бумаги, сквозь который он и был продернут, причем таким образом, что записка находилась как раз под левым плечом животного.

3

Да, у меня тут же промелькнула мысль, что листок бумаги — записка от Августа, что случилось что-то непредвиденное, помешавшее ему вызволить меня из заточения, и он прибегнул к этому способу, чтобы уведомить меня об истинном положении дел. Дрожа от нетерпения, я возобновил поиски фосфорных спичек и свечей. Я смутно помнил, что тщательно припрятал их перед тем, как заснуть, да и до последней моей вылазки к люку я в точности знал, куда я их положил. Однако сейчас я тщетно пытался припомнить место и убил целый час на бесплодные и нервные поиски пропажи — наверное, никогда я так не мучился от тревожного нетерпения. Но вот, высунувшись из ящика и принявшись шарить подле балласта, я вдруг заметил слабое свечение в той стороне, где находится руль. Я был поражен: оно казалось всего лишь в нескольких футах от меня, и я решительно двинулся вперед. Едва я тронулся с места, как свет пропал из виду, и мне пришлось возвращаться, ощупывая ящик, обратно, пока я не принял прежнее положение и не увидел свет снова. Осторожно наклоняя голову из стороны в сторону, я понял, что, если медленно, тщательно следя за светом, пробираться в направлении, противоположном тому, куда я было направился, можно приблизиться к нему, не теряя из виду. Протиснувшись сквозь множество узких поворотов, я вскоре достиг источника света — на опрокинутом бочонке валялись обломки моих спичек. Я удивился, как они сюда попали, и в ту же секунду моя рука нащупала два-три куска воска, побывавших, очевидно, в пасти Тигра. Я сразу понял, что он сожрал все мои свечи и теперь я вообще не сумею прочитать записку. Несколько мелких комков воска смешались с мусором в бочонке, так что я отчаялся извлечь из них пользу. Однако я как можно бережнее собрал крупицы фосфора и с большим трудом вернулся к своему ящику, где меня все это время ждал Тигр.

Я решительно не знал, что предпринять дальше. В трюме было так темно, что я не видел собственной руки, даже поднося ее к самым глазам. Клочок белой бумаги был едва различим, да и то лишь тогда, когда я смотрел на него не прямо, а немного скосив глаза. Можно

представить, какой мрак царил в моей темнице и как записка, написанная моим другом, если это в самом деле была записка, лишь причинила мне еще больше огорчений, бесцельно обеспокоив мой и без того ослабленный и смятенный ум. Тщетно перебирал я в воспаленном мозгу самые нелепые средства раздобыть огонь, — такие в точности привиделись бы в лихорадочном сне курильщику опиума, — каждое из которых само по себе и все вместе казались то необыкновенно резонными, то ни с чем не сообразными, равно как попеременно брала верх склонность к фантазии или способность рассуждать здраво. Наконец мне пришла в голову мысль, которая представлялась вполне разумной, и я справедливо удивился, почему не напал на нее раньше. Я положил листок бумаги на переплет книги и бережно ссыпал остатки фосфорных спичек, которые я собрал с бочонка, на записку. Затем я принялся быстро, с нажимом растирать их ладонью. Немедленно по всей поверхности бумаги распространилось ясное свечение, и, если бы на ней было что-нибудь написано, я наверняка без малейшего труда прочитал бы это. Однако на листке не было ни слова — я видел только мучительную, пугающую белизну: через несколько секунд свечение померкло, наступила тьма, и сердце у меня замерло.

Я уже не раз говорил о том, что последнее время мой разум находился в состоянии, близком к помешательству. Были, разумеется, недолгие периоды абсолютного здравомыслия, иногда даже подъема, но не часто. Не нужно забывать, что на протяжении многих дней я дышал затхлым воздухом трюма на китобойном судне и большую часть этого времени испытывал недостаток воды. Последние четырнадцать или пятнадцать часов во рту у меня не было ни капли и я ни на минуту не сомкнул глаз. Если не считать галет, то мои запасы пищи состояли преимущественно — а после пропажи баранины единственно — из копченостей, вызывающих нестерпимую жажду: что до галет, я никак не мог их есть, ибо они были как камень и не лезли в пересохшее и распухшее горло. Сейчас меня трясло, как в лихорадке, и вообще я был совершенно разбит. Это объяснит то обстоятельство, что после неудачи со спичками я провел несколько часов в полнейшей безнадежности, прежде чем сообразил, что осмотрел-то я лишь одну сторону листка! Не берусь описывать свою

ярость (именно это чувство владело мной более всего), когда меня внезапно осенило, какой дурацкий промах я совершил.

Сама по себе неудача не имела бы особого значения, если бы я по глупости не поддался первому побуждению: увидев, что на листке ничего не написано, я с досады по-ребячьи порвал его в клочки и бросил неизвестно куда.

Наиболее трудную часть этой задачи решила сообразительность моего Тигра. Разыскав после долгих поисков какой-то клочок записки, я дал понюхать бумагу псу, пытаясь заставить его понять, что он должен принести остальные куски. К моему удивлению (ибо я не обучал его разным штукам, какими славится его порода), Тигр как будто бы сразу же постиг, чего я добиваюсь от него, кинулся искать и через несколько секунд притащил другую, немалую часть записки. Затем он принялся тереться носом о мою руку, очевидно ожидая похвалы за выполнение приказа. Я ласково похлопал его по шее, и он бросился искать снова. На этот раз прошло несколько минут, зато, вернувшись, он притащил в зубах большой клочок бумаги, благодаря которому записка составлялась целиком: как оказалось, я порвал ее всего лишь на три части. К счастью, мне не доставило труда найти оставшиеся обломки фосфора, поскольку две-три крупицы испускали тусклый свет. Неудачи научили меня быть в высшей степени осторожным, и поэтому я медлил, еще раз обдумывая то, что собирался предпринять. Весьма вероятно, рассуждал я, на той стороне бумаги, которую я не видал, что-то написано, — но которая это сторона? Да, я сложил клочки вместе, но это не давало ответа, хотя и убеждало, что слова (если таковые имеются) находятся все на одной стороне, представляя собой связный текст, как он и был написан. На этот счет не должно быть ни тени сомнения, поскольку оставшегося фосфора явно не хватит для третьей попытки, если та, которую я собирался предпринять, тоже окончится неудачей. Как и в прошлый раз, я сложил вместе клочки записки на переплете книги и сидел несколько минут, еще и еще взвешивая свой план. Не исключено, подумал я наконец, что исписанная сторона бумаги имеет на поверхности некоторую неровность, которую, по-видимому, можно ощутить, обладая тонким осязанием. Я решил попробовать и осторожно провел пальцем по записке, но ничего не почувствовал. Тогда я перевернул клочки другой стороной, сложил их на переплете и

снова стал вести указательным пальцем вдоль записки. И здесь я различил тусклое мерцание, которое двигалось за моим пальцем. Я понял, что оно исходит от мельчайших частиц фосфора, которые остались на бумаге. Значит, надпись, если в конце концов окажется, что она все-таки существует, находится на другой, то есть нижней, стороне бумаги. Я опять перевернул записку и проделал ту же операцию, что и при первой попытке. Я быстро растер крупицы фосфора, появилось свечение, и на этот раз я отчетливо увидел несколько строчек, написанных крупным почерком и, очевидно, красными чернилами. Свет был достаточно яркий, но тут же погас. И все же, уйми я свое чрезмерное волнение, я успел бы прочитать все три фразы — а их было именно три, это я заметил. Однако горячее желание схватить весь текст сразу помешало мне, и я сумел прочитать лишь семь последних слов: «…кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».

Знай я даже полное содержание записки, сообщающей о каких-то неслыханных несчастьях, уясни я весь смысл увещания, переданного моим другом, то и тогда — я твердо убежден в этом — я не испытал бы и десятой доли того мучительного и непонятного ужаса, какой вселило в меня это отрывочное предупреждение. И это слово — «кровь»… сколько тайн, страданий, страха несло оно во все времена… какая утроенная сила заключалась сейчас в нем (хотя и оторванном от предыдущих слов и потому неясном и неопределенном)… как холодно и тяжело, посреди глухого мрака моей темницы, падали его звуки в отдаленнейшие уголки моей души!

У Августа, без сомнения, были веские причины предупредить, чтобы я оставался в убежище, и я строил тысячи предположений на этот счет, но ни одно не давало удовлетворительного объяснения тайне. Сразу же поело последней вылазки к люку и до того, как мое внимание переключилось на странное поведение Тигра, я пришел к решению сделать так, чтобы меня во что бы то ни стало услышали наверху, или, если это не удастся, попытаться прорезать ход наверх через нижнюю палубу. Доля уверенности в том, что в случае крайней необходимости я сумею осуществить одно из этих намерений, придавала мне мужество вынести все беды (в противном случае оно покинуло бы меня). Однако несколько слов, которые я успел прочитать, окончательно отрезали мне оба пути к отступлению, и

сейчас я в первый раз вполне постиг безвыходность моего положения. В припадке отчаяния я упал на матрац и пролежал пластом около суток в каком-то оцепенении, лишь на короткие промежутки приходя в себя.

В конце концов я снова очнулся и задумался над своим ужасным положением. Ближайшие двадцать четыре часа я еще смогу кое-как продержаться без воды, но дольше меня не хватит. В первые дни моего заключения я довольно часто потреблял горячительные напитки, которыми снабдил меня Август, но они только возбуждали нервы и ни в какой мере не утоляли жажду. Теперь у меня оставалось всего лишь с четверть пинты крепкого персикового ликера, которого решительно не принимал мой желудок. Колбасы я все съел, от окорока сохранился только небольшой кусок кожи, а сухари сожрал Тигр, за исключением одного-единственного, да и от того осталось только несколько крошечных кусочков. В довершение к моим бедам с каждым часом усиливалась головная боль и повышался лихорадочный жар, который мучил меня в большей или меньшей мере с того момента, когда я в первый раз забылся сном. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и сейчас каждый вдох сопровождался болезненными спазмами в груди. Но было еще одно обстоятельство, причинявшее мне беспокойство, обстоятельство особого рода, и именно его тревожные последствия и заставили меня побороть оцепенение и подняться с матраца. Я имею в виду поведение моего Тигра.

Какую-то перемену в нем я заметил еще тогда, когда в последний раз растирал крупицы фосфора на бумаге. Он сунул морду к моей движущейся руке и негромко зарычал, но я был слишком взволнован в тот момент, чтобы обращать на него внимание. Напомню, что вскоре после этого я бросился на матрац и впал в своего рода летаргический сон. Через некоторое время, однако, я услышал у себя над ухом свистящий звук — это был Тигр. Он весь дергался в каком-то крайнем возбуждении, дыхание со свистом вырывалось у него из пасти, зрачки яростно сверкали во тьме. Я что-то сказал ему, он тихонько заскулил и затих. Я снова забылся и снова был разбужен таким же манером. Это повторялось раза три или четыре, пока, наконец, поведение Тигра не внушило мне такой страх, что я окончательно проснулся. Он лежал у выхода ящика, угрожающе, хотя и негромко рыча и щелкая зубами, как будто его били судороги. У меня не оставалось сомнения, что он взбесился из-за недостатка воды и спертого воздуха трюма, и я

положительно не знал, как мне быть. Мысль о том, чтобы убить его, была нестерпима, и все же это казалось абсолютно необходимым для собственной безопасности. Я отчетливо различал его глаза, устремленные на меня с выражением смертельной враждебности, и каждое мгновение ожидал, что он кинется на меня. В конце концов я не выдержал чудовищного напряжения и решил выйти из ящика во что бы то ни стало; если же Тигр воспрепятствует мне, я буду вынужден покончить с ним. Для того чтобы выбраться наружу, я должен, был перешагнуть через него, а он как будто уже разгадал мои намерения: поднялся, опираясь на передние лапы (я заметил это по тому, как изменилось положение его глаз), и оскалил белые клыки, которые легко можно было разглядеть во тьме. Я сунул в карманы остаток кожи от окорока, бутылку с ликером, взял большой охотничий нож, который оставил мне Август, и, как можно плотнее запахнувшись в плащ, шагнул было к выходу. Едва я двинулся с места, как собака с громким рычанием кинулась вперед, чтобы вцепиться мне в горло. Всем весом своего тела она ударила меня в правое плечо, я опрокинулся на левый бок, и разъяренное животное перескочило через меня. Я упал на колени и зарылся головой в одеяла — это и спасло меня. Последовало второе бешеное нападение, я чувствовал, как плотно сжимались челюсти на шерстяном одеяле, которое окутывало мою шею, и все же, к счастью, его острые клыки не прокусили складки насквозь. Пес навалился на меня, — через несколько секунд я буду в его власти. Отчаяние придало мне энергии, и, собрав последние силы, я скинул с себя собаку и поднялся на ноги. Одновременно я быстро стянул с матраца одеяла, накинул их на пса, и, прежде чем он успел выпутаться, я выскочил из ящика и плотно захлопнул за собой дверцу, избежав таким образом преследования. В момент схватки я выронил кожу от окорока, и теперь все мои запасы свелись к четверти пинты ликера. Как только эта мысль промелькнула у меня в сознании, на меня вдруг что-то нашло; как избалованному ребенку, мне захотелось во что бы то ни стало осуществить свою вздорную затею, и, поднеся бутылку ко рту, я осушил ее до капли и со злостью швырнул на пол.

Едва замер треск разбившейся бутылки, как я услышал свое имя, произнесенное со стороны помещения для команды настойчивым, но приглушенным голосом. Настолько неожиданно было что-либо подобное, так напряглись все мои чувства при этом звуке, что я не

смог отозваться. Я лишился дара речи, и в мучительном опасении, что мой друг уверится в моей смерти и вернется на палубу, бросив поиски, я выпрямился между клетями близ входа в мой ящик, содрогаясь всем телом, ловя ртом воздух и силясь выдавить хоть слово. Даже если бы мне обещали тысячу жизней за один звук, то и тогда я не смог бы произнести его. Где-то впереди между досками послышалось движение. Вскоре звук стал слабее, потом еще слабее и еще. Разве можно когда-нибудь забыть, что я почувствовал в тот миг? Он уходил… мой друг… мой спутник, от которого я вправе ожидать помощи… он уходил… неужели он покинет меня?.. Ушел!.. Ушел, оставив меня умирать медленной смертью, оставил угасать в этой ужасной и отвратительной темнице… а ведь одно-единственное слово… едва слышимый шепот спас бы меня… но я не мог произнести ни звука! Я испытывал муки в тысячу раз страшнее самой смерти. Сознание у меня помутилось, мне стало дурно, и я упал на край ящика.

Когда я падал, из-за пояса у меня выскользнул нож и со звоном стукнулся об пол. Самая волшебная мелодия не показалась бы столь сладостной! Весь сжавшись от напряжения, я ждал, услышал ли Август шум. Поначалу все было тихо. Потом раздался негромкий неуверенный шепот: «Артур?.. Это ты?..» Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал во всю силу моих легких: «Август! Август!» — «Тише! Молчи ты, ради бога, — ответил он дрожащим от волнения голосом. — Сейчас я приду… Вот только проберусь здесь». Я слышал, как он медленно двигался между грудами клади, и каждая секунда казалась мне вечностью. Наконец я почувствовал у себя на плече его руку, и он тотчас поднес к моим губам бутылку с водой. Лишь тот, кто стоял на краю могилы или познал нестерпимые муки жажды, усугублявшиеся такими обстоятельствами, в каких находился я в этой мрачной темнице, — лишь тот способен представить себе неземное блаженство, которое я испытал от одного большого глотка самой чудесной жидкости на свете.

Когда я отчасти утолил жажду, Август вытащил из кармана три или четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой также летучий фонарь, и его теплый свет доставил мне, пожалуй, не меньшее наслаждение, чем еда и вода. Однако же мне не терпелось узнать причину затянувшегося отсутствия

моего друга, и он приступил к рассказу о том, что произошло на судне во время моего заточения.

4

Как я и думал, бриг снялся с якоря приблизительно через час после того, как Август принес мне часы. Это было двадцатого июня. Напомню, что к тому моменту я находился в трюме уже три дня; все это время на борту царила суматоха, люди бегали взад и вперед, особенно в салоне и каютах, так что Август не имел никакой возможности навестить меня, не рискуя раскрыть тайну нашего люка. А когда мой друг наконец спустился в трюм, я заверил его, что все обстоит наилучшим образом, и потому следующие два дня он почти не беспокоился за меня, ища тем не менее случай заглянуть в убежище. Такой случай выпал лишь на четвертый день. Все это время он неоднократно порывался рассказать отцу о нашем предприятии и вызволить меня, но мы сравнительно недалеко отошли от Нантакета, и по некоторым замечаниям, оброненным капитаном Барнардом, вряд ли можно было заключить, что он не повернет судно, как только обнаружит меня на борту. Кроме того, у Августа — как он говорил — не возникло предположения, что я в чем-нибудь нуждаюсь, и он знал, что в случае крайней необходимости я тут же дам о себе знать. Поэтому по зрелом размышлении он заключил, что мне лучше остаться здесь до тех пор, пока у него не появится возможность навестить меня незамеченным. Я уже сообщил, что такая возможность появилась только на четвертый день после того, как он оставил мне часы, или на седьмой — после того, как я укрылся в трюмо. Он не взял ни воды, ни провизии, намереваясь просто позвать меня к люку, а уж затем передать мне из каюты запасы. Когда он сошел вниз, то по громкому храпу понял, что я сплю. Из соответствующих сопоставлений я пришел к выводу, что как раз в это время я забылся тяжелым сном после моей вылазки к люку за часами и что, следовательно, мой сон длился по меньшей мере целых три дня и три ночи. Из собственного недавнего опыта и рассказов других я имел основания убедиться в том, какое сильное усыпляющее действие оказывает зловоние, распространяемое рыбьим жиром в закрытом помещении; и когда я думаю о жутких условиях, в которых я пребывал, и длительности срока, в течение которого брит

использовался в качестве китобойного судна, я склонен скорее удивляться тому, что, однажды заснув, я вообще проснулся, нежели тому, что проспал без перерыва указанное выше время.

Сперва Август позвал меня шепотом, не закрывая люк, однако я не ответил. Тогда он опустил крышку и позвал меня громче, потом полным голосом — но я продолжал храпеть. Он не знал, что ему делать. Пробираться к моему ящику сквозь завалы в трюме отняло бы довольно много времени, а между тем его отсутствие могло быть замечено капитаном Барнардом, который имел обыкновение поминутно пользоваться услугами сына для сортировки и переписывания деловых бумаг, связанных с рейсом. Поэтому он подумал, что лучше вернуться и подождать другого случая. Он шел на это с тем более легким сердцем, что спал я, по видимости, как нельзя более безмятежно, и он не мог предположить, что я испытываю особые неудобства от заключения. Как только он принял это решение, внимание его привлекло какое-то движение и шум, доносившийся, очевидно, из салона. Он быстро выскользнул из люка, закрыл крышку и распахнул дверь своей каюты. Едва он переступил порог, как чуть ли не в лицо ему грянул выстрел, и в то же мгновение его свалил с ног удар вымбовкой.

Чья-то сильная рука прижала его к полу, крепко стиснув ему горло, и все же он мог разглядеть, что происходит вокруг. Связанный по рукам и ногам, на ступеньках трапа лежал вниз головой его отец, и из глубокой раны на лбу непрерывной струей лилась кровь. Из груди его не вырывалось ни звука, он, очевидно, кончался. Над капитаном со злорадной усмешкой наклонился первый помощник и, хладнокровно вывернув ему карманы, достал большой бумажник и хронометр. Семь человек экипажа (среди них был кок-негр) рыскали по каютам вдоль левого борта и скоро вооружились ружьями и патронами. Кроме Августа и капитана Барнарда, в салоне находилось всего девять человек, причем из числа самых отъявленных головорезов на судне. Затем негодяи стали подниматься на палубу и повели с собой моего друга, предварительно связав ему за спиной руки. Они направились прямо на бак, который был захвачен бунтовщиками: у закрытого входа стояли двое с топорами, и еще двое дежурили у главного люка. Помощник капитана крикнул: «Эй, вы, там, внизу! Слышите?.. А ну, вылезайте поодиночке… И чтоб никаких штучек!» Прошло несколько

минут, затем показался англичанин, который записался на корабль необученным матросом, — он хныкал и униженно умолял помощника капитана пощадить его. В ответ последовал удар топором по голове. Бедняга без единого стона упал на палубу, а кок-негр легко, точно ребенка, поднял его на руки и рассчитанным движением выбросил за борт. Матросы, оставшиеся внизу, услышали удар и всплеск воды; теперь ни угрозами, ни посулами невозможно было заставить их подняться на палубу, и кто-то предложил выкурить их оттуда. Тогда несколько человек разом выскочили наверх, и в какой-то момент казалось, что они одолевают бунтовщиков. Последним, однако, удалось плотно закрыть дверь кубрика, так что оттуда успели выбежать только шесть матросов. Поскольку у этих шестерых не было оружия и противник превосходил их числом, то после короткой схватки они вынуждены были уступить силе. Помощник капитана обещал их помиловать, рассчитывая, разумеется, побудить оставшихся внизу тоже сдаться, ибо они слышали каждое слово, сказанное на палубе. Результат подтвердил его хитрость, равно как и дьявольскую жестокость. Вскоре все, находившиеся в кубрике, изъявили готовность сдаться и стали один за другим подниматься наверх; их тут же связывали и опрокидывали на пол рядом с первыми шестью матросами — оказалось, что двадцать семь человек в бунте не замешаны.

Затем началась поистине чудовищная бойня. Связанных матросов волочили к трапу. Здесь кок топором методически ударял каждого по голове, а другие бунтовщики скидывали несчастную жертву за борт. Таким образом было убито двадцать два человека, и Август уже считал себя погибшим, каждую минуту ожидая своей очереди. Но негодяи то ли устали, то ли пресытились кровавым зрелищем, во всяком случае расправа над четырьмя пленниками и моим другом, которые тоже лежали связанными на палубе, была временно отложена, а помощник капитана послал вниз за ромом, и вся эта компания убийц начала попойку, которая длилась до захода солнца. Между ними разгорелся спор о том, что делать с оставшимися в живых, которые находились тут же, шагах в пяти, и слышали каждое слово. Изрядно выпив, некоторые бунтовщики, казалось, подобрели. Стали даже раздаваться голоса о том, чтобы освободить пленников при условии, если они примкнут к ним и будут участвовать в дележе добычи. Однако

чернокожий кок (который во всех отношениях был сущим дьяволом и который, очевидно, имел такое те влияние на других, как и сам помощник капитана, если даже не большее) не желал ничего слышать и неоднократно порывался возобновить побоище у трапа. По счастью, он был настолько пьян, что его без труда удерживали менее кровожадные собутыльники, среди которых был и лотовой, известный под именем Дирка Петерса. Этот человек был сыном индианки из племени упшароков, которое обитает среди недоступных Скалистых гор, неподалеку от верховий Миссури. Отец его, кажется, торговал пушниной или, во всяком случае, каким-то образом был связан с индейскими факториями на реке Льюиса. Сам Петерс имел такую свирепую внешность, какой я, пожалуй, никогда не видел. Он был невысокого роста, не более четырех футов восьми дюймов, но сложен как Геркулес. Бросались в глаза кисти его рук, такие громадные, что совсем не походили на человеческие руки. Его конечности были как-то странно искривлены и, казалось, совсем не сгибались. Голова тоже выглядела какой-то несообразной: огромная, со вдавленным теменем (как у большинства негров) и совершенно плешивая. Чтобы скрыть этот недостаток, вызванный отнюдь не старческим возрастом, он обычно носил парик, сделанный из любой шкуры, какая попадалась под руку, — будь то шкура спаниеля или американского медведя-гризли. В то время, о котором идет речь, на голове у пего был кусок медвежьей шкуры, который сообщал еще большую свирепость его облику, выдававшему его происхождение от упшароков. Рот у Петерса растянулся от уха до уха, губы были узкие и казались, как и другие части физиономии, неподвижными, так что лицо его совершенно независимо от владеющих им чувств сохраняло постоянное выражение. Чтобы представить себе это выражение, надо вдобавок принять во внимание необыкновенно длинные, торчащие зубы, никогда, даже частично, не прикрываемые губами. При мимолетном взгляде на этого человека можно было подумать, что он содрогается от хохота, но если вглядеться более пристально, то с ужасом обнаружишь, что если это и веселье, то какое-то бесовское. Об этом необыкновеннейшем существе среди моряков Нантакета ходило множество историй. Некоторые касались его удивительной силы, которую он проявлял, будучи в раздраженном состоянии, а иные вообще сомневались, в здравом ли он уме. Но на борту «Дельфина» в

момент бунта он, по-видимому, был всего лишь предметом всеобщего зубоскальства. Я так подробно остановился на Дирке Петерсе потому, что, несмотря на кажущуюся свирепость, именно он помог Августу спастись от смерти, а также и потому, что я буду часто упоминать о нем в ходе моего повествования, которое — позволю себе заметить — в последних своих частях будет содержать происшествия, настолько несовместимые с областью человеческого опыта и в силу этого настолько выходящие за границы достоверности, что я продолжаю свой рассказ без малейшей надежды на то, что мне поверят, однако в стойком убеждении, что время и развивающиеся науки подтвердят наиболее важные и наименее вероятные из моих наблюдений.

После долгих колебаний и двух-трех яростных ссор было решено усадить всех пленников (за исключением Августа, которого Петерс словно бы в шутку настоятельно пожелал иметь при себе в качестве клерка) в какой-нибудь малый вельбот и пустить по воле волн. Помощник капитана сошел в салон посмотреть, жив ли капитан Барнард: его, как вы помните, бунтовщики бросили там, когда поднялись на палубу. Вскоре появились оба, капитан бледный как смерть, но немного оправившийся от раны. Едва слышным голосом он обратился к матросам, убеждая их не бросать его в море и вернуться к исполнению своих обязанностей, а также обещая высадить их на сушу, где пожелают, и не передавать дело в руки правосудия. Но то был глас вопиющего в пустыне. Двое негодяев подхватили его под руки и столкнули через борт в лодку, которую успели опустить на воду, пока помощник капитана ходил в кают-компанию. Четырем матросам, лежавшим на палубе, развязали руки и приказали следовать за капитаном, что они и сделали без малейшей попытки к сопротивлению, но Августа по-прежнему оставили крепко связанным, хотя он бился и молил только об одном — чтобы ему разрешили попрощаться с отцом. В лодку передали горсть морских сухарей и кувшин с водой, но пленники не получили ни мачты и паруса, ни весел, ни компаса. Несколько минут, пока бунтовщики о чем-то совещались, лодка шла за кормой на буксире, затем веревку обрубили. Тем временем спустилась ночь, на небе не было ни луны, ни звезд, шла опасная короткая волна, хотя ветер был умеренный. Лодка мгновенно пропала из виду, и вряд ли можно было питать надежду на спасение несчастных, находившихся в ней.

Это произошло на 35º 30' северной широты и 61º 20' западной долготы, то есть сравнительно недалеко от Бермудских островов. Поэтому Август старался утешить себя мыслью, что лодке удастся достичь суши или подойти достаточно близко к островам и встретить какое-нибудь судно.

Затем на бриге поставили все паруса, и он лег на прежний курс на юго-запад: бунтовщики, очевидно, задумали разбойничью экспедицию, намереваясь, наверное, захватить какое-то судно, идущее с островов Зеленого Мыса в Порто-Рико. Никто не обращал никакого внимания на Августа — ему развязали руки и разрешили находиться на передней части корабля, но не подходить, однако, близко к салону. Дирк Петерс обращался с ним довольно мягко, а однажды даже спас его от жестокого кока. И все же положение Августа было отнюдь не безопасным, ибо бунтовщики пребывали в состоянии постоянного опьянения и полагаться на их хорошее настроение или безразличие было нельзя. Однако более всего Августа, как он сам рассказывал, мучило беспокойство обо мне, и я не имею оснований сомневаться в его дружеской верности. Он не раз порывался раскрыть смутьянам тайну моего пребывания на борту, но его удерживала отчасти мысль о зверствах, свидетелем которых он имел несчастье быть, а отчасти надежда на то, что ему как-нибудь удастся в скором времени облегчить мое положение. Он был ежеминутно начеку, но, несмотря на постоянное бдение, минуло целых три дня, как бунтовщики бросили в открытом море вельбот, прежде чем выпал удобный случай. В ночь на четвертый день с востока налетел жестокий шторм, и все матросы были вызваны наверх убирать паруса. Воспользовавшись замешательством, Август незаметно спустился вниз и проник в свою каюту. Каково же было его горе и смятение, когда он обнаружил, что ее превратили в склад съестных припасов и корабельного хозяйства и что огромную, в несколько саженей, якорную цепь, которая была сложена под сходным трапом в кают-компанию, перетащили сюда, чтобы освободить место для какого-то сундука, и теперь она лежала как раз на крышке люка! Сдвинуть ее, не обнаружив себя, было решительно невозможно, и он поспешил вернуться на палубу. Когда он появился наверху, помощник капитана схватил его за горло, потребовав отвечать, что он делал в каюте, и хотел перекинуть его через поручни, но вмешательство Дирка Петерса снова спасло Августу жизнь. Ему

надели наручники (каковых на судне было несколько пар) и крепко связали ноги. Затем моего друга отвели на нижнюю палубу и заперли в каюту для команды, примыкающую к переборке бака, со словами, что нога его не ступит на палубу, «пока бриг называется бригом». Так выразился кок, швырнув его на койку, — трудно угадать, что именно он хотел сказать. Однако это происшествие, как вскоре станет очевидным, в конечном счете способствовало моему освобождению.

5

Какое-то время поело ухода кока Август предавался отчаянию, окончательно оставив надежду выйти из этой дыры живым. Он пришел к решению, что первому человеку, который спустится сюда, он скажет, где я нахожусь, считая, что мне лучше пойти на риск и оказаться пленником у бунтовщиков, нежели погибнуть от жажды в трюме, ибо со дня моего заключения прошло уже десять дней, а запас воды в моем кувшине был рассчитан от силы на четыре. Покуда он размышлял, его внезапно осенила мысль, нельзя ли попробовать снестись со мной через главный трюм. В других обстоятельствах трудности и риск, связанные с этим предприятием, заставили бы его отступиться, но сейчас — что бы ни случилось — у него у самого было немного шансов выжить, следовательно, терять было нечего, и он твердо решил осуществить свой замысел.

Первой заботой были наручники. Сперва ему показалось, что их не снять, и он расстроился, что с самого начала возникло непреодолимое препятствие, однако при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что с некоторым усилием протискивая сложенные ладони сквозь браслеты, последние можно безболезненно снять с руки и надеть при желании снова, — очевидно, этот вид наручников был не приспособлен для подростков, ввиду тонкости и гибкости их костяка. Затем он ослабил веревку на ногах, оставив на ней петлю, чтобы быстро затянуть ее снова в случае чьего-либо появления, и принялся осматривать переборку, у которой находилась койка. В этом месте она была составлена из мягких сосновых досок толщиною в дюйм, и он убедился, что без особого труда проделает в ней отверстие. В этот момент с трапа, ведущего на бак, раздался голос, и едва он успел протиснуть правую руку в браслет (левый он не снимал) и затянуть веревку скользящим узлом вокруг лодыжек, как спустился Дирк Петерс в сопровождении Тигра, который тут же вспрыгнул на койку и улегся на ней. Собаку привел на судно Август, который знал мою привязанность к животному и решил, что мне будет приятно иметь его при себе во время путешествия. Он пошел ко мне домой за собакой сразу же после того, как спрятал меня в трюме, но забыл сказать мне

об этом, когда принес часы. С того момента как вспыхнул бунт, Август не видел Тигра и решил, что его вышвырнул за борт какой-нибудь негодяй из числа дружков помощника капитана. Впоследствии выяснилось, что собака забилась под вельбот, но но могла вылезти назад без посторонней помощи. Петерс выпустил его и с каким-то доброжелательством, которое мой друг вполне оценил, привел к нему в кубрик для компании; оставив, кроме того, кусок солонины, несколько картофелин и кружку с водой, он поднялся наверх, обещав прийти на следующий день и принести что-нибудь поесть.

Когда тот ушел, Август стянул с рук браслеты и освободил от веревки ноги. Затем он откинул изголовье матраца, на котором лежал, и перочинным ножом (негодяи не сочли нужным обыскать моего друга) принялся усиленно резать поперек одну из досок в переборке как можно ближе к настилу. Он выбрал именно это место потому, что в случае внезапной помехи он мог быстро скрыть свою работу, опустив матрац на прежнее место. Остаток дня его, однако, никто не тревожил, и к вечеру он полностью перерезал доску. Здесь следует заметить, что никто из команды не использовал кубрик для сна, ибо с момента мятежа все постоянно находились в кают-компании, попивая вина и пируя за счет запасов капитана Барнарда и не заботясь, более чем это было абсолютно необходимо, о том, чтобы вести корабль. Это обстоятельство оказалось исключительно благоприятным как для меня, так и для Августа: в противном случае он не смог бы до меня добраться. Но дело обстояло именно так, и Август с рвением продолжал работу. Однако лишь незадолго до рассвета он закончил вторую прорезь в доске (находившуюся выше первой примерно на фут), проделав, таким образом, отверстие, которое было достаточно велико, чтобы с легкостью пролезть на нижнюю палубу. Он прополз сквозь отверстие и без особого труда добрался до главного нижнего люка, хотя для этого ему пришлось карабкаться на бочки для ворвани, которые ярусами возвышались чуть ли не до верхней палубы, так что там едва оставалось пространство, чтобы двигаться вперед. Он достиг люка и увидел, что Тигр следовал за ним понизу, протискиваясь между двумя рядами бочек. Было, однако, уже слишком поздно, он не успел бы пройти ко мне до зари, ибо главная трудность заключалась в том, чтобы пробраться сквозь тесно уложенную кладь в нижнем трюме. Он решил поэтому вернуться и дождаться следующей ночи, но

предварительно попробовал приоткрыть люк, чтобы не терять времени, когда он придет сюда. Едва он приподнял крышку, как Тигр бросился к щели, принялся нюхать и протяжно заскулил, одновременно скребя лапами и как бы пытаясь сдвинуть доски. Собака, без сомнения, почувствовала мое присутствие в трюме, и Август подумал, что она наверняка разыщет меня, если спустится вниз. Тогда-то Августу и пришла мысль послать мне записку с предупреждением, чтобы я не пытался выбраться наверх, во всяком случае при нынешних обстоятельствах, а полной уверенности, что сумеет повидать меня завтра, как он предполагал, у него не было. Последующие события показали, какой счастливой была эта мысль: не получи я записки, я неизбежно выискал бы какое-нибудь, пусть самое отчаянное, средство поднять на ноги всю команду, в результате чего и его и моя жизнь оказались бы, вероятнее всего, под угрозой.

Решение о записке было принято, но чем и на чем писать? Старая зубочистка была тотчас переделана в перо, причем на ощупь, потому что между палубами царил кромешный мрак. Бумага тоже нашлась — вторая страница письма мистера Росса, вернее дубликат подделки. Это был первоначальный вариант, не удовлетворивший Августа из-за недостаточного сходства почерков, и он написал другой, а первый по счастливой случайности сунул в карман, где он сейчас весьма кстати и обнаружился. Теперь недоставало только чернил, но и здесь нашлась замена: Август перочинным ножом уколол палец как раз над ногтем, и из пореза, как это обычно и бывает от повреждений в этом месте, обильно выступила кровь. Итак, записка была написана, насколько это вообще можно было сделать в темноте и в этих условиях. В ней коротко говорилось, что на бриге вспыхнул мятеж, что капитан Барнард оставлен в море, что я могу рассчитывать на помощь по части съестного, но никоим образом не должен обнаруживать свое присутствие. Записка заканчивалась словами: «Пишу кровью… Хочешь жить, не выходи из убежища».

Привязав листок бумаги к собаке и спустив ее по ступенькам в трюм, Август поспешил обратно в кубрик и никаких признаков того, что кто-нибудь из экипажа заходил сюда в его отсутствие, там не обнаружил. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он вогнал в доску над ним нож и повесил куртку, валявшуюся в каюте. Затем он надел наручники и обвязал веревкой ноги.

Едва он успел закончить эти приготовления, как в кубрик спустился Дирк Петерс, совершенно пьяный, но в отличнейшем настроении, и принес моему другу дневной паек. Он состоял из дюжины больших печеных картофелин и кувшина воды. Он уселся на ящик возле койки и принялся разглагольствовать о помощнике капитана и вообще о делах на судне. Держался он как-то неровно и непонятно. Один раз Августа даже смутило его странное поведение. Наконец он ушел, пробормотав, что завтра принесет пленнику хороший обед. Днем пришли еще два члена команды — гарпунщики — в сопровождении кока, причем все трое в состоянии совершенного опьянения. Как и Петерс, они, не таясь, говорили о своих намерениях. Оказалось, что среди бунтовщиков возникли серьезные разногласия относительно конечной цели путешествия и что они пришли к единодушному мнению лишь в одном пункте — напасть на судно, идущее с островов Зеленого Мыса, которое они ожидали встретить с часу на час. Насколько можно было понять, бунт вспыхнул не только из-за добычи — главным подстрекателем был первый помощник капитана, затаивший личную обиду на капитана Барнарда. Теперь, как явствовало, команда разделилась на две основные группы: одну возглавлял помощник капитана, другую кок. Те, что были с помощником капитана, предлагали захватить первый подходящий корабль и, снарядив его где-нибудь на островах Вест-Индии, пуститься в разбойничье плавание. Вторая группа, более многочисленная и включавшая Дирка Петерса, стояла на том, чтобы следовать первоначальному маршруту в южную часть Тихого океана, а там либо заняться китобойным промыслом, либо предпринять что-нибудь еще, смотря по обстоятельствам. Рассказы Петерса, который часто ходил в эти широты, очевидно, имели успех у бунтовщиков, колебавшихся между смутными представлениями о наживе и жаждой развлечений. Он распространялся о том, какой новый и увлекательный мир откроется перед ними на бесчисленных островах Тихого океана, как они будут наслаждаться полной безопасностью и свободой от всех ограничений, и особенно восхвалял благодатную природу, богатую и легкую жизнь и чудную красоту женщин. И все же к согласному решению на судне пока не пришли, хотя картины, нарисованные полукровкой, завладели разгоряченным воображением моряков, и, по

всей вероятности, его рассказы в конце концов могли возыметь действие.

Троица убралась примерно через час, и больше в тот день на баке никто не появлялся. Август лежал без звука почти до самой ночи. Потом он освободился от наручников и веревки на ногах и начал приготовления к вылазке. Около какой-то койки он нашел бутылку и наполнил ее из кувшина, оставленного Петерсом, в карманы засунул холодные картофелины. К его величайшей радости, ему попался также фонарь с сальным огарком. Фонарь он мог зажечь в любую минуту, поскольку в его распоряжении была коробка фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он из предосторожности так сложил одеяло, что создавалось впечатление, будто на копке лежит укрывшийся им человек, и пролез сквозь отверстие. Оказавшись по ту сторону переборки, он, как и прежде, повесил куртку на нож, чтобы скрыть отверстие, а затем вставил выпиленный кусок доски на место. Теперь он находился на нижней палубе и стал пробираться, как и в первый раз, между настилом верхней палубы и бочками для китового жира к главному люку. Там он зажег фонарь и спустился в трюм, осторожно нащупывая путь среди плотно установленного груза. Через несколько секунд он почувствовал невыносимую духоту и зловоние. Он не представлял себе, как я мог так долго дышать таким тяжелым воздухом. Он несколько раз позвал меня, но никто не отвечал; казалось, что самые худшие его предположения подтвердились. Бриг бешено швыряло из стороны в сторону, и стоял такой шум, что различить в нем дыхание или храп было совершенно немыслимо.

Он открыл крышку фонаря и, когда была возможность, поднимал его как можно выше, чтобы я — если я еще был жив — заметил свет и знал, что мне идут на выручку. Однако я не издавал ни звука, и предположение, что я погиб, постепенно превращалось в уверенность. Тем не менее он решил пройти, если удастся, к ящику и хотя бы убедиться в истинности своих подозрений. Какое-то время, совершенно подавленный, он еще продвигался вперед, пока не увидел, что проход совершенно загроможден и он не сможет сделать дальше ни шага тем путем, каким шел. Будучи не в силах сдержаться, он в отчаянии бросился на бревна и зарыдал, как ребенок. Как раз в этот момент он услышал треск бутылки, которую я швырнул на пол. Поистине счастливой оказалась эта случайность, ибо при всей

незначительности от нее зависела моя висевшая на волоске жизнь. Врожденная застенчивость и сожаление о своей слабости и нерешительности помешали Августу сразу признаться в том, в чем более тесное и откровенное общение побудило его поделиться со мной впоследствии.

Видя, что он не может пробраться вперед из-за непреодолимых препятствий, Август решил отказаться от намерения повидать меня и немедленно вернуться в кубрик. Прежде чем порицать его за это, необходимо принять во внимание чрезвычайные обстоятельства, которые крайне осложняли его положение. Приближалось утро, и его отсутствие могло быть обнаружено — вернее, так оно и должно было случиться, если он не успеет до рассвета вернуться в кубрик. В фонаре догорала свеча, а возвращаться к люку в темноте было необыкновенно трудно. Нужно упитывать также, что у него имелись все основания считать меня погибшим, и в этом случае он уже ничем не мог мне помочь, даже если бы достиг ящика, а по пути ему пришлось бы встретиться с множеством опасностей. Он несколько раз звал меня, но я не отвечал. На протяжении одиннадцати дней и ночей у меня было ровно столько воды, сколько помещалось в оставленном им кувшине, причем маловероятно, что я экономил ее в начале заключения, поскольку имел веские резоны ожидать благополучного разрешения дела. Кроме того, для него, дышавшего сравнительно свежим воздухом жилых помещений, атмосфера в трюме была отвратительна и куда более невыносима, чем показалось мне, когда я впервые устраивался в ящике, — ведь к тому времени люки оставались открытыми в течение многих месяцев. Добавьте к этим соображениям сцену страшного кровопролития, свидетелем которой совсем недавно был мой друг, его собственный плен, лишения, добавьте, что он сам едва избежал смерти и сейчас еще находился в каком-то двусмысленном и опасном положении, добавьте, словом, все так несчастливо сложившиеся обстоятельства, способные вконец истощить духовные силы, и тогда вы, читатель, вслед за мной отнесетесь к его очевидной неустойчивости в дружбе и вере скорее с чувством глубокой печали, нежели гнева.

Итак, Август отчетливо слышал треск разбившейся бутылки, но он не был уверен, что звук донесся из трюма. Однако и искры надежды было достаточно, чтобы продолжать поиски. Он вскарабкался по грузу

почти до средней палубы, а затем, выждав момент, когда качка стихла, стал изо всех сил звать меня, пренебрегая на этот раз опасностью быть услышанным членами команды. Напомню, что как раз в это время я услышал его голос, но не смог превозмочь волнения и отозваться. Убежденный, что сбылись худшие его предположения, он спустился на палубу, чтобы, не теряя времени, вернуться в кубрик. В спешке он столкнул несколько небольших ящиков, и я слышал, если помните, шум от падения. Он уже проделал значительный путь назад, когда стук ножа снова заставил его заколебаться. Он немедленно возвратился и, вторично забравшись на грузы и дождавшись затишья, так же громко стал звать меня. На этот раз я обрел дар речи. Вне себя от радости, что я жив, он решил пройти ко мне, невзирая ни на что. Кое-как выбравшись из лабиринта, образованного наваленным грузом, он наткнулся на подходящую как будто щель и после неимоверных усилий, вконец изнемогая, очутился у ящика.

6

Этот рассказ в общих чертах Август успел сообщить в момент нашей встречи подле ящика, и лишь позднее он поведал свои приключения во всех подробностях. Он опасался, что его хватятся, да и я сгорал от нетерпения избавиться от ненавистного плена. Мы решили немедленно добраться до его отсека, где я должен был выждать за перегородкой, пока он разведает, что творится наверху. Ни он, ни я положительно не знали, что делать с Тигром, хотя и помыслить не могли о том, чтобы оставить его здесь. Пес совсем затих, и, даже приложив ухо к стенке ящика, мы не различали его дыхания. Я уже подумал, что он околел, и открыл дверцу ящика. Тигр лежал совершенно неподвижно, вытянувшись во всю длину, но еще дышал. Нельзя было терять ни минуты, и все-таки я не мог заставить себя бросить на верную смерть животное, которое дважды спасло мне жизнь. С огромным трудом, изнемогая от усталости, мы кое-как потащили его с собой, причем Августу неоднократно приходилось брать собаку на руки и перелезать с ней через всевозможные препятствия — подвиг, на который я из-за крайней слабости был совершенно неспособен. Наконец мы достигли отверстия в перегородке, Август пролез внутрь, туда же мы протолкнули и Тигра. Все было в порядке, и мы не преминули вознести благодарственные молитвы господу за избавление от неминуемой гибели. Мы условились, что я пока останусь подле отверстия, чтобы мой друг имел возможность делиться со мной своим дневным пайком, а я — дышать сравнительно свежим воздухом.

Некоторые части моего рассказа, те, где я касался корабельного груза, могут показаться сомнительными иным читателям, которым доводилось наблюдать, как обычно загружают судно, и поэтому я должен определенно заметить, что в этом важнейшем деле капитан Барнард допустил позорную небрежность и не показал себя ни предусмотрительным, ни многоопытным моряком, как того очевидно требовал опасный служебный долг. Погрузку нельзя вести кое-как, и даже на собственном небольшом опыте я убедился, что небрежение или невежество в этой части ведет к гибельным последствиям. Чаще

других терпят кораблекрушение каботажные суда, на которых из-за обычной суматохи во время погрузочных и разгрузочных работ плохо следят за правильным размещением грузов. Самое главное состоит в том, чтобы исключить возможность малейшего перемещения груза или балласта даже в моменты наисильнейшей качки. Для этого надо принимать в расчет не только количество груза, но и характер его, а также степень заполненности трюма. В большинстве случаев правильная укладка груза достигается уплотнением. Так, при перевозке табака или муки тюки и мешки настолько уплотняют в трюме, что при разгрузке они оказываются совершенно сплющенными и лишь через некоторое время приобретают свою первоначальную форму. К уплотнению, однако, прибегают преимущественно в тех случаях, когда необходимо выгадать место в трюме, ибо при полной его загрузке такими товарами, как мука или табак, опасности перемещения нет вовсе или оно таково, что не причинит вреда. Бывало даже, что чрезмерное уплотнение приводило к весьма печальным последствиям, но по причинам, совершенно отличным от опасности, возникающей из-за сдвига груза. Известен, например, случай, когда плотно уложенная при определенных атмосферных условиях партия хлопка затем раздалась в объеме и разорвала в море корпус корабля. Нет сомнения, что то же самое могло бы произойти с табаком, в котором происходит обычный процесс ферментации, если бы не промежутки между тюками из-за их округлой формы.

Когда же трюм загружен не полностью, тогда и может возникнуть опасность сдвига груза, против чего и требуется принять соответствующие меры предосторожности. Только те, кто встречался со штормом, вернее, кто испытал бортовую качку в момент внезапно наступившего затем штиля, могут представить себе, с какой мощью накреняется судно и какая чудовищная движущая сила сообщается в результате всем свободным предметам на борту. Тогда-то и становится очевидной необходимость самой тщательной укладки груза в неполном трюме. Когда судно с неудачной конструкцией носа лежит в дрейфе (особенно с небольшим числом парусов на носу), его часто кренит набок; это случается в среднем каждые пятнадцать-двадцать минут и при условии правильной укладки груза не влечет за собой никаких серьезных последствий. Если же за нею не следили самым строжайшим образом, то при первом же сильном броске весь груз

перекатывается на один борт, и, поскольку судно не может выпрямиться, вода за несколько секунд проникает в трюм, и оно идет ко дну. Не будет преувеличением сказать, что по крайней мере половина кораблекрушений во время тяжелых штормов объясняется перемещением груза или балласта.

При перевозке на судне штучного товара груз размещается как можно плотнее и покрывается слоем толстых досок длиной от борта до борта. На эти доски устанавливают прочные временные стойки, упирающиеся в бимсы, и таким образом достигается надежное крепление. При погрузке зерна и других подобных материалов требуются особые предохранительные меры. Трюм, при отплытии загруженный зерном доверху, в пункте назначения окажется заполненным лишь на три четверти, хотя если грузополучатель замерит зерно бушель за бушелем, то количество его — несмотря на то что судно зафрахтовано специально для данной партии — значительно увеличится из-за разбухания. Эта мнимая убыль вызвана утряской зерна за время плавания, и она тем более ощутима, чем хуже была погода. Сколь хорошо ни закреплять досками и стойками свободно засыпанное в трюм зерно, все равно во время долгого перехода оно сдвинется, и это приведет к губительнейшим последствиям. Чтобы избежать их, перед отплытием следует как можно лучше утрясти груз; для этого существует множество способов, среди которых можно упомянуть вколачивание в зерно клиньев. Но и после всех этих приготовлений, после необыкновенно тяжелой работы по закреплению досок ни один моряк, даже знающий свое дело, не будет чувствовать себя в безопасности при сколько-нибудь сильном шторме, имея на борту груз зерна и тем паче неполный трюм со штучным товаром. Несмотря на это, сотни наших каботажных судов и еще больше европейских каждодневно уходят в плавание со штучным грузом, причем самым опасным, без каких-либо предосторожностей. Удивительно, что кораблекрушения не бывают еще чаще. Печальным примером такой беззаботности в моей памяти остался случай с Джоэлем Райсом, капитаном шхуны «Светляк», который шел с партией кукурузы из Ричмонда, штат Виргиния, на остров Мадейра в 1825 году. Капитан совершил много плаваний без значительных происшествий; и обычно он не обращал внимания на укладку груза, разве что следил, чтобы он был закреплен как следует. До того ему не приходилось

ходить с зерном, и на этот раз кукурузу просто ссыпали в трюм, загрузив его едва больше половины. Первую часть пути дул лишь свежий бриз, но когда до Мадейры оставался день ходу, налетел сильный норд-норд-ост, который заставил его лечь в дрейф. Капитан развернул, шхуну в бейдевинд, оставив только фок, взятый на второй риф, и она шла как и положено, не зачерпнув ни капли воды. К ночи шторм поутих, и хотя качка была порядочная, все же шхуна держалась хорошо до тех пор, пока тяжелый вал не опрокинул ее на правый борт. В тот же миг зерно всей своей массой с шумом сдвинулось с места и прорвало крышку главного люка. Судно тут же пошло ко дну. Это произошло на расстоянии слышимости голоса от небольшого шлюпа с Мадейры, который подобрал одного-единственного спасшегося члена команды и вышел из шторма невредимым, как вышла бы при умелом управлении и любая шлюпка-четверка.

Что до «Дельфина», то груз у него на борту был уложен кое-как, если вообще можно считать укладкой, когда чуть ли не без разбора сваливают в одну груду бочки для жира и предметы корабельного хозяйства. (Китобойные суда обычно снабжены металлическими баками для жира, и я до сих пор не знаю, почему их не было на «Дельфине».) Я уже говорил о том, в каком беспорядке был навален груз в трюме. Между бочками для жира, установленными на нижней палубе, и верхней палубой оставался просвет, где я мог проползти; много свободного пространства было у главного люка; и кое-где еще имелись большие промежутки между грузами. А возле самого отверстия, которое проделал в перегородке Август, я нашел место, где вполне поместилась бы бочка и где я пока с удобством расположился.

Когда мой друг благополучно пролез в свой отсек, снова натянул наручники и обвязал веревкой ноги, уже совсем рассвело. Мы успели как раз вовремя: едва он покончил с этим, как в кубрик спустился первый помощник капитана с Дирком Петерсом и коком. Разговор их касался судна с островов Мыса Верде, появления которого они ждали с часу на час. Потом кок зашел в отсек, где лежал Август, и присел у его изголовья. Я слышал каждое слово и видел каждое движение из своего убежища, ибо мой друг не вставил назад выпиленную часть доски, и я ожидал, что вот-вот негра качнет, он зацепит повешенную куртку, скрывавшую отверстие, все обнаружится, и нам, конечно, несдобровать. Фортуна, однако, была благосклонна к нам, и хотя он то

и дело задевал куртку, но не настолько сильно, чтобы обнаружить лаз. Сама же куртка не качалась и не могла открыть отверстие, так как полы ее были тщательно прикреплены к перегородке. Все это время Тигр лежал в ногах у Августа и, казалось, постепенно приходил в себя; я заметил, что иногда он открывал глаза и тяжело вздыхал.

Через несколько минут помощник капитана и кок поднялись наверх, а Дирк Петерс тотчас же подошел к Августу и сел там, где только что сидел кок. Он начал весьма дружески разговаривать с Августом, и мы заметили, что он совсем не так пьян, каким прикидывался в присутствии тех двоих. Он, не таясь, отвечал на вопросы моего друга, высказал уверенность, что его отца подобрали в море, потому что как раз перед заходом солнца в тот день, когда капитана бросили в лодке, он видел на горизонте никак не меньше пяти парусников, и вообще всячески утешал Августа, что столь же удивило меня, сколь и обрадовало. Я даже начал лелеять надежду, что с помощью Петерса мы в конце концов сумеем захватить бриг в свои руки, о чем я и сказал Августу, как только выпала возможность. Он счел это вполне вероятным, но оговорил, что в любой попытке такого рода необходимо соблюдать строжайшую осторожность, поскольку поведение полукровки могло быть следствием единственно причуды или случайного порыва, да и вообще никто не знал, действовал ли он когда-нибудь по трезвом размышлении. Через час Петерс поднялся на палубу и вернулся лишь после полудня с порядочным куском солонины и пудингом. Когда мы остались одни, я, не возвращаясь за перегородку, с удовольствием отведал того и другого. До конца дня на баке никто больше не появлялся, и под вечор я забрался к Августу в койку, где мирно проспал почти до рассвета, когда он поднял меня, услышав на палубе какое-то движение, и я как можно быстрее вернулся в свое убежище. Когда совсем рассвело, мы увидели, что Тигр почти окончательно оправился и, не обнаруживая никаких признаков водобоязни, жадно вылакал миску воды. В течение дня к нему вернулись силы и аппетит. Его странное поведение было вызвано, конечно же, тлетворной атмосферой трюма и не имело никакого отношения к бешенству. Я не мог нарадоваться тому, что решил во что бы то ни стало взять его с собой, когда мы покидали трюм. Это было тридцатого июня, на тринадцатый день с момента нашего отплытия из Нантакета.

Второго июля в кубрик спустился помощник капитана, по обыкновению пьяный и в чрезвычайно хорошем настроении. Он подошел к Августу и, фамильярно хлопнув его по плечу, спросил, будет ли он послушным, если ему предоставят свободу, и обещает ли он не заходить в кают-компанию. Мой друг, разумеется, сказал «да», и тогда негодяй, вытащив из кармана флягу, угостил его ромом, снял наручники и веревку. Они поднялись на палубу, и часа три Август не возвращался. Затем он вернулся с хорошими новостями: ему разрешили свободно ходить по всей передней части судна вплоть до грот-мачты, а спать приказали, как и прежде, в кубрике. Кроме того, он принес хороший обед и изрядный запас воды. Бриг держался прежнего курса, ожидая судна с островов Зеленого Мыса, и, когда вдали показался парус, все сошлись на том, что это оно и есть. Поскольку события последующих восьми дней ничем особо не примечательны и не имеют прямого отношения к моему повествованию, я изложу их в форме дневника, так как опускать их вовсе мне не хочется.

Июль, третьего дня. Август раздобыл для меня три одеяла, и я соорудил себе отличную постель в моем убежище. В течение всего дня никто, за исключением моего друга, не спускался в кубрик. Тигр расположился у переборки и все время спал, словно не вполне оправившись от последствия своей болезни. На исходе дня налетел шквал, и так неожиданно, что не успели убрать паруса и судно чуть было не опрокинулось. Ветер, однако же, сразу стих, не причинив нам никакого вреда, кроме того, что сорвал парус на фок-мачте. Весь день Дирк Петерс был чрезвычайно добр с Августом, завел с ним долгий разговор о Тихом океане и островах, где он бывал. Он спросил, не хотел ли бы Август вместе с ними отправиться в увлекательное путешествие по тем широтам, и сообщил, что команда все больше склоняется на сторону помощника капитана. Август благоразумно ответил, что будет рад участвовать в плавании, поскольку ничего другого не оставалось и любое предложение было предпочтительнее пиратской жизни.

Июль, четвертого дня. Судно, увиденное на горизонте, оказалось небольшим бригом из Ливерпуля, и ему дали возможность беспрепятственно проследовать своим курсом. Большую часть времени Август проводил на палубе, по мере сил стараясь разузнать планы бунтовщиков. Среди них то и дело вспыхивали бурные ссоры, и

во время одной из них сбросили за борт гарпунщика Джима Боннера. Число сторонников помощника капитана растет. Джим Боннер принадлежал к партии кока, к которой примыкает и Петерс.

Июль, пятого дня. На рассвете с запада подул сильный бриз, который после полудня перешел в штормовой ветер, так что пришлось убрать все паруса, кроме триселя и фока. Во время маневра сорвался с мачты матрос Симмс, входивший в группу кока, и, будучи сильно пьяным, утонул, причем никто даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Теперь на борту, вместе с Августом и мною, насчитывается тринадцать человек, а именно: в числе сторонников чернокожего кока Сеймура, кроме него самого, — Дирк Петере, Джонс, Грили, Хартман Роджерс и Уильям Аллеи; в группу помощника капитана — я так и не узнал его имени — входит он сам, Авессалом Хикс, Уилсон, Джон Хант и Ричард Паркер.

Июль, шестого дня. Весь день штормило, то и дело налетали шквалы с дождем. Сквозь пазы в трюм набралось порядочно воды, которую безостановочно откачивали одним насосом, причем Августа тоже заставили работать у рукоятки. Как только спустились сумерки, совсем близко от нас прошел большой корабль, — его увидели лишь тогда, когда он был на расстоянии слышимости голоса. Очевидно, это было то самое судно, которое поджидали бунтовщики. Помощник капитана окликнул проходящих мимо, но ответ потонул в реве ветра. В одиннадцать часов волна накрыла среднюю часть судна, смыла большую часть левого фальшборта и нанесла кое-какие мелкие повреждения. К утру распогодилось, и на рассвете ветер почти стих.

Июль, седьмого дня. Весь день на море было сильное волнение, наш легкий бриг изрядно качало, и я слышал из своего убежища, что многие предметы в трюме сорвались со своих мест. Меня мучила морская болезнь. Петерс долго беседовал с Августом, сообщив, что двое из его группы, Грили и Аллеи, переметнулись на сторону помощника капитана и решили сделаться пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, смысл которых мой друг в тот момент не вполне уловил. Вечером судно дало течь, с которой мы никак не могли справиться, так как она была вызвана большими напряжениями в корпусе и просачиванием воды сквозь швы. Пришлось отрезать кусок парусины и подвести его под нос; в какой-то мере это помогло, и течь уменьшилась.

Июль, восьмого дня. На восходе солнца, когда с востока поднялся легкий бриз, помощник капитана, осуществляя свои пиратские планы, взял курс на юго-запад, намереваясь достичь какого-нибудь острова в Вест-Индии. Ни Петерс, ни кок, насколько удалось узнать Августу, не стали противиться. От мысли захватить корабль, идущий с островов Зеленого Мыса, отказались. Насос свободно откачивал воду, проникавшую в щели, если мы, работая поочередно, отдыхали пятнадцать минут каждый час. Парус из-под носовой части за ненадобностью подняли.

На протяжении дня обменялись приветствиями с двумя небольшими встречными шхунами.

Июль, девятого дня. Погода чудесная. Матросы заняты починкой фальшборта. У Петерса снова был обстоятельный разговор с Августом, причем высказывался полукровка с большей прямотой, чем прежде. Он заявил, что ни под каким видом не разделяет намерений помощника капитана, и даже намекнул, что собирается взять у него власть. Он спросил, может ли он при таком обороте дел рассчитывать на помощь моего друга, на что тот без малейших колебаний ответствовал «да!». Пообещав осторожно выспросить мнение своих сторонников на этот счет, Петерс ушел. В тот день Августу больше не выпал случай поговорить с ним наедине.

7

Июль, десятого дня. Окликнули бриг, идущий из Рио-де-Жанейро в Норфолк. На море небольшой туман, с востока дует легкий встречный ветер. Сегодня умер Хартман Роджерс, которого восьмого числа после стакана грога схватили судороги. Роджерс был сторонником кока, причем именно на него Петерс полагался более всего. Он поделился с Августом подозрением, что помощник капитана отравил беднягу и что вскорости придет и его черед, если он не будет настороже. Теперь в его группе оставались только он, Джонс и кок, тогда как в другой группе было пятеро. Он заговорил было с Джонсоном о возможности отстранить помощника от командования судном, но, поскольку план был встречен холодно, не стал распространяться на эту тему и, уж конечно, не обратился к коку. Хорошо, что он был так благоразумен, ибо после полудня кок объявил о решении примкнуть к группе помощника и окончательно взял его сторону, а Джонс, поссорившись из-за чего-то с Петерсом, в пылу пригрозил, что расскажет о его намерениях помощнику. Теперь мы не могли терять ни часа, и Петерс решительно предложил во что бы то ни стало попытаться захватить судно, если, конечно, Август поддержит его. Мой друг тут же заверил его, что ради этого готов участвовать в любом предприятии, и, посчитав, что настал удобный момент, сообщил о моем пребывании на судне. Полукровка скорее был обрадован, нежели удивлен этим открытием, потому что совершенно не полагался на Джонса, которого считал уже сторонником помощника капитана. Они сразу сошли вниз. Август позвал меня и познакомил с Петерсом. Мы решили, что, не посвящая Джонса в наши замыслы, попытаемся при первой возможности захватить судно. В случае успеха мы направимся в ближайший порт и сдадим бриг властям. Измена сторонников Петерса нарушила его планы отправиться в Тихий океан, поскольку это путешествие невозможно предпринять без команды, и он рассчитывал либо на оправдание в суде по причине невменяемости (которое, как клятвенно утверждал, и побудило его примкнуть к бунтовщикам), либо, если его все-таки сочтут виновным, на прощение, надеясь на наше с Августом ходатайство. Наши переговоры были

прерваны командой: «Все наверх, паруса убрать!» — и Август с Петерсом выскочили на палубу.

Команда, по обыкновению, была почти вся пьяна, и прежде чем успели как следует убрать паруса, бешеный шквал опрокинул бриг набок. Затем, однако, судно выпрямилось, хотя и зачерпнув немало воды. Едва на борту привели все в порядок, как обрушился еще один шквал и за ним тут же еще, не причинив, правда, никакого вреда. Похоже было, что надвигается буря, которая и в самом деле скоро налетела с яростной силой с севера и запада, Паруса были прилажены наилучшим образом, и судно легло, как положено, в дрейф под глухо зарифленным фоком. По мере приближения ночи ветер еще более усилился, вызвав огромную волну. Петерс с Августом пришли на бак, и мы возобновили наши переговоры.

Мы решили, что настал самый удобный момент осуществить наши планы, потому что сейчас никому не придет в голову ожидать нападения. Бриг уверенно лежал в дрейфе, и до наступления хорошей погоды не возникнет необходимости маневрирования, а затем, если наша попытка увенчается успехом, мы могли бы освободить одного-двух матросов и с их помощью добраться до суши. Главное затруднение заключалось в большой несоразмерности сил. Нас было только трое, тогда как в кают-компании — девять человек. Все оружие на судне также находилось в их расположении, за исключением пары небольших пистолетов, которые Петерс спрятал на себе, да огромного морского тесака, который он носил на поясе. Кроме того, судя по некоторым признакам, таким, например, как отсутствие на обычных местах топора или гандшпуга, мы имели основание опасаться, что помощник капитана питал кое-какие подозрения, по крайней мере по отношению к Петерсу, и он не упустит возможности так или иначе отделаться от него. Словом, наше решение не должно быть чересчур поспешным. Шансы были слишком неравны, так что мы не могли приступить к осуществлению наших планов, не соблюдая величайшей осторожности.

Петерс предложил следующее: он выйдет на палубу, вступит в разговор с вахтенным, Алленом, и, улучив момент, без особого труда и не вызывая переполоха, сбросит его за борт; после наверх поднимаемся мы, чтобы раздобыть на палубе какое-нибудь оружие, а затем мы все трое блокируем дверь кают-компании, прежде чем нам

окажут сопротивление. Я возражал против этого предложения, ибо не допускал мысли, что помощник, человек весьма хитроумный во всем, что не касалось его нелепых суеверий, так легко попадется в ловушку. То обстоятельство, что на палубе вообще был вахтенный, само по себе убедительно свидетельствовало, что он настороже, поскольку обычно во время штормового дрейфа вахтенного на палубе не ставят, если, конечно, не иметь в виду суда, где соблюдается поистине железная дисциплина. Так как мой рассказ адресован преимущественно, если не полностью, людям, которые никогда не ходили в море, очевидно, полезно описать, что происходит с судном при таких условиях. Ложатся в дрейф — или, как говорят моряки, «дрейфуют» — для разных надобностей, и осуществляется это разными способами. В умеренную погоду в дрейф ложатся часто только для того, чтобы остановить судно или дождаться другого судна или чего-нибудь в этом роде. Если при этом судно несет все паруса, то часть их поворачивают другой стороной, то есть обстенивают, и судно останавливается. Но сейчас речь идет о необходимости лечь в дрейф во время шторма. Это делается при сильном противном ветре, когда нельзя поднять паруса без риска опрокинуться, а иногда даже при нормальном ветре, когда волнение слишком велико, чтобы идти по ветру. Если идти по ветру при тяжелой волне, то на судне неизбежны повреждения из-за того, что валы захлестывают корму, а нос глубоко зарывается в воду. К этому маневру прибегают лишь в случаях крайней необходимости. Когда судно дало течь, то его, напротив, часто пускают по ветру, даже при большой волне, ибо при дрейфе корпус испытывает такое давление, что пазы расходятся еще больше. Кроме того, необходимость поставить судно на фордевинд нередко возникает в тех случаях, когда порывы ветра настолько сильны, что рвут в клочья парус, поставленный для поворота против ветра, или когда нельзя совершить этот важнейший маневр из-за огрехов при постройке судна и по каким-нибудь иным причинам.

Суда ложатся в дрейф по-разному, в зависимости от конструкции. Некоторые лучше всего осуществляют этот маневр под фоком, и, на мой взгляд, этим парусом чаще всего и пользуются. Большие суда с прямым парусным вооружением имеют для этой цели особые паруса — штормовые стаксели. В зависимости от обстоятельств ставят только кливер, иногда кливер и фок или фок, взятый на два рифа, а нередко и

кормовые паруса. Иные считают, что наилучшим образом подходят для дрейфа фор-марселя. «Дельфин» обычно ложился в дрейф под глухо зарифленным фоком.

Когда судно ложится в дрейф, то нос его приводят к ветру лишь настолько, чтобы парус, под которым совершается маневр, забрал ветер, затем его обстенивают, то есть ставят диагонально к ветру. После этого нос ставится в нескольких градусах от направления, откуда дует ветер, и наветренная скула судна принимает на себя главный напор волн. В таком положении хорошее судно благополучно выдержит любой шторм, не зачерпнув ни капли воды и не требуя дальнейших усилий команды. Руль в таких случаях обычно закрепляют, хотя это не обязательно (если не обращать внимания на шум, который он производит в свободном состоянии), ибо никакого влияния на судно, лежащее в дрейфе, он не оказывает. Лучше даже вообще не крепить штурвал, дабы руль имел возможность «играть», и тогда его не сорвет под ударами сильных волн. И пока парус держит, хорошо рассчитанное судно, как живое разумное существо, сохранит устойчивость при любом шторме. Опасность возникает лишь в том случае, если ветер все же разорвет парус на куски (что в нормальных условиях может произойти при настоящем урагане). Тогда судно отваливает от ветра и, встав бортом к волнам, оказывается во власти стихии, и единственный выход — потихоньку развернуть судно на фордевинд и тем временем поставить дополнительный парус. Некоторые суда могут лежать в дрейфе вообще без парусов, но полагаться на такие суда в море не следует.

Вернемся, однако, к нашему рассказу.

Итак, помощник капитана не имел обыкновения ставить на палубу вахтенного во время штормового дрейфа, и отступление от этого правила, в совокупности с фактом исчезновения топоров и гандшпугов, убеждало, что бунтовщики были настороже и нам не удастся захватить их врасплох, как предлагал Петерс. И все же что-то надо было предпринимать, причем не откладывая: коль скоро против Петерса возникло подозрение, то с ним не замедлят расправиться при первом же удобном случае, а таковой наверняка найдут, как только стихнет шторм.

Август высказал предположение, что если бы Петерсу удалось под каким-нибудь благовидным предлогом сдвинуть якорную цепь с

крышки люка в кают-компании, то мы могли бы через трюм проникнуть внутрь и неожиданно напасть на противника; однако, подумав, мы пришли к убеждению, что при сильной качке попытка такого рода обречена на неудачу.

Наконец, мне по счастью пришла в голову мысль сыграть на предрассудках и нечистой совести помощника капитана. Напомню, что два дня назад одного из матросов, Хартмана Роджерса, схватили судороги — это случилось после того, как он выпил стакан грога, — и нынче утром он умер. Петерс уверял, что Роджерса отравил помощник капитана и что у него есть на этот счет неопровержимые доказательства, которые он, однако, несмотря на уговоры, отказался сообщить нам; впрочем, этот своенравный отказ вполне соответствовал особенностям его характера. Трудно сказать, имел он действительно основания подозревать помощника капитана или нет, но мы с готовностью присоединились к его мнению и решили действовать соответствующим образом.

Роджерс скончался в страшных мучениях около одиннадцати часов утра, и через несколько минут после смерти труп его являл такое ужасное и отвратительное зрелище, какого я, пожалуй, вообще никогда не видел. Живот у него вздулся, как у утопленника, несколько недель пробывшего в воде. На руки тоже было страшно смотреть, а уменьшившееся в размерах, сморщившееся лицо было бело, как мел, и поэтому особенно выделялись на нем два или три багрово-красных пятна, подобные тем, какие бывают при рожистом воспалении; одно из них тянулось наискось по всему лицу, полностью прикрыв глаз точно повязкой из темно-красного бархата. В таком состоянии в полдень труп вынесли на палубу, чтобы выбросить за борт, однако тут он попался на глаза помощнику капитана (он увидел мертвого Роджерса в первый раз), и тот, либо почувствовав угрызения совести, либо подавленный ужасом от такого страшного зрелища, приказал зашить тело в парусиновую койку и совершить обычный ритуал погребения в море. Отдав распоряжения, он спустился вниз, словно желая избежать вида своей жертвы. Пока матросы делали то, что им было приказано, налетел яростный шторм, и они отложили погребение. Брошенный труп смыло к шпигатам у левого борта, где он и провалялся до того времени, о котором я говорю, перекатываясь с места на место при каждом сильном крене.

Договорившись, как действовать, мы, не теряя времени, принялись за осуществление нашего плана. Петерс вышел на палубу, где его, как мы и ожидали, остановил Аллен, которого, по всей очевидности, и поставили здесь, единственно чтобы следить за тем, что происходит на полубаке. Судьба негодяя решилась мгновенно и безо всякого шума: беспечно, словно бы в намерении поболтать, приблизившись к Аллену, Петерс схватил его за горло и, прежде чем тот успел вымолвить хоть слово, перекинул за борт. Потом Петерс позвал нас с Августом, и мы присоединились к нему. Первейшей нашей заботой было чем-нибудь вооружиться, хотя действовать приходилось с величайшей осмотрительностью, ибо, не ухватившись за что-нибудь, на палубе нельзя было находиться и секунды, а всякий раз, когда нос судна зарывался в воду, по палубе перекатывались огромные волны. Кроме того, мы должны были спешить, ибо каждую минуту сюда мог подняться помощник капитана и поставить людей к помпам, поскольку бриг, должно быть, быстро набирал воду. После тщательных поисков мы, однако, не смогли обнаружить ничего более подходящего, чем две рукоятки от помпы. Одной рукояткой вооружился Август, другой — я, после чего мы сорвали с Роджерса рубашку, а труп столкнули в воду. Затем мы с Петерсом сошли вниз, а Август встал на страже на том самом месте, где находился Аллен, повернувшись спиной к трапу, ведущему в кают-компанию, и, если кто-нибудь из бандитов поднялся бы на палубу, он легко принял бы его за вахтенного.

Оказавшись в каюте, я стал преображаться в мертвого Роджерса. Весьма помогла в этом рубашка, снятая с трупа, так как это была какого-то особого покроя, ни на что не похожая блуза из синей трикотажной ткани с широкими поперечными белыми полосами, которую погибший носил поверх другой одежды. Облачившись в нее, я засунул под низ простыню и таким образом соорудил себе фальшивый живот, вполне смахивающий на отвратительное вздутие трупа. Распухшие конечности я сделал, натянув на руки пару белых шерстяных перчаток и набив их случайно валявшимся здесь тряпьем. Затем Петерс натер мне лицо мелом и намазал кровью, взятой из пореза на пальце. Кровавая полоса, закрывавшая глаз, довершала грим и придавала мне ужасающий вид.

8

При тусклом свете переносного фонаря я посмотрел на себя в осколок зеркала, висевший в каюте, и почувствовал такой страх при виде своей внешности и воспоминании об ужасном покойнике, которого я изображал, что меня стала бить дрожь, в голове помутилось, и я едва мог собраться с силами, чтобы сыграть свою роль. Обстоятельства, однако, требовали решительных действий, и мы с Петерсом вышли на палубу.

Наверху все было спокойно, и, держась ближе к борту, мы втроем прокрались к кают-компании. Дверь была чуть приоткрыта, и на ступеньке под нее были подложены деревянные чурбаки, которые не позволяли закрыть ее плотно. Сквозь щели у дверных петель мы имели полную возможность увидеть все, что делается внутри. Какое счастье, что мы отказались от мысли напасть на бунтовщиков врасплох, ибо они были, но всей видимости, настороже. Лишь один спал внизу у сходного трапа, держа подле себя ружье. Остальные же, сидя на матрацах, принесенных из других кают и разбросанных по палубе, о чем-то серьезно совещались. Пара пустых кувшинов и оловянные кружки, раскиданные то тут, то там, свидетельствовали о том, что негодяи только что отпировали, хотя и не были пьяны, как обычно. Все были вооружены ножами, кое у кого торчали за поясом пистолеты, а совсем рядом в парусиновой койке лежало множество ружей.

Мы напряженно вслушивались в их разговор, прежде чем окончательно решить, как действовать, договорившись заранее лишь о том, что при нападении на бунтовщиков попытаемся напугать их призраком Роджерса. Они обсуждали сейчас свои разбойничьи планы, и мы отчетливо услышали лишь то, что они намереваются соединиться с командой какой-то шхуны «Шершень», а если удастся, то захватить и шхуну, дабы впоследствии предпринять какую-то крупную авантюру, подробности которой никто из нас не разобрал.

Кто-то заговорил о Петерсе, помощник капитана ответил ему, но мы не расслышали, что именно, а потом он добавил громче, что «никак не возьмет в толк, зачем Петере нянчится с этим капитановым отродьем на баке, и чем скорее оба окажутся за бортом, тем лучше».

Слова эти были встречены молчанием, но нетрудно было понять, что их выслушали с готовностью все присутствующие, и особенно Джонс. Я был взволнован до крайности, тем более что ни Август, ни Петерс, насколько я мог заметить, не знали, что делать. Что до меня, то я решил не поддаваться минутной слабости и отдать свою жизнь как можно дороже.

Вой ветра в снастях и грохот волн, перекатывающихся через палубу, заглушал голоса, и мы слышали, о чем шла речь в салоне, лишь в моменты кратковременного затишья. Один раз нам удалось разобрать, как помощник капитана приказал кому-то пойти на бак и приказать «этим паршивым салагам пожаловать сюда, где за ними можно приглядывать, ибо он не потерпит никаких темных дел на борту». К нашей удаче, яростная качка помешала выполнить распоряжение в ту же минуту. Едва кок поднялся с места, чтобы пойти за нами, как судно внезапно накренилось, причем так резко, что я подумал, выдержат ли мачты, и его швырнуло и стукнуло прямо головой в какую-то дверь напротив, так что та распахнулась и вообще поднялась суматоха. К счастью, нам троим удалось удержаться на месте, и у нас оставалось еще время, чтобы стремительно отступить к баку и поспешно разработать план дальнейших действий до того, как кок появился наверху, или, точнее, высунулся из люка, поскольку на палубу он так и не вышел. Со своего места он не мог заметить отсутствия Аллена и потому крикнул ему о приказе помощника капитана. «Есть!» — ответил Петерс, изменив голос, и кок тут же спустился вниз, не заподозрив неладное.

Оба моих товарища смело отправились вперед и сошли по трапу в кают-компанию, причем Петерс прикрыл за собой дверь точно так же, как она была. Помощник капитана встретил их с наигранным радушием и разрешил Августу, ввиду его хорошего поведения последнее время, располагаться в салоне и вообще считать себя в будущем членом экипажа. Он налил ему полкружки рому и заставил выпить. Все это я преотлично видел и слышал, так как проследовал за своими друзьями, едва за ними закрылась дверь, и снова занял свой прежний наблюдательный пункт. Я захватил с собой обе рукоятки от помп и одну из них спрятал у сходного трапа, чтобы пустить в дело при первой же надобности.

Сохраняя, поелику возможно, равновесие, чтобы хорошо видеть все, что происходит внутри, я старался собраться с духом, готовясь появиться перед бунтовщиками, как только Петерс подаст условленный знак. Вскоре ему удалось перевести разговор на кровопролитие во время мятежа, и постепенно речь зашла о всяческих суевериях, которые повсеместно бытуют среди матросов. Я не слышал всего, что говорилось, но хорошо видел, как действует эта тема на присутствующих. Помощнику капитана было явно не по себе, и, когда кто-то сказал, как ужасно выглядел труп Роджерса, я подумал, что с ним вот-вот случится обморок. Петерс спросил его, не лучше ли было бы сбросить труп в море, потому что страшно смотреть, как он перекатывается с места на место. При этих словах у негодяя перехватило дыхание, и он медленно обвел взглядом своих сообщников, словно умоляя, чтобы кто-нибудь вызвался сделать это. Никто, однако, не шевельнулся, и было очевидно, что вся банда доведена до крайней степени нервного возбуждения. И вот тут-то Петерс подал мне знак. Я распахнул настежь дверь в кают-компанию, без единого звука сошел вниз и, выпрямившись, застыл посреди сборища.

Если принять во внимание совокупность многочисленных обстоятельств, не удивителен тот необыкновенный эффект, какой был вызван этим неожиданным появлением. Обычно в случаях подобного рода в воображении зрителя остается какое-то сомнение в реальности возникшего перед ним видения, какая-то, пусть самая слабая, надежда на то, что он — жертва обмана и призрак отнюдь не пришелец из мира теней. Не будет преувеличением сказать, что такие крупицы сомнения и служат причиной всяческих наваждений, что возникающий при этом страх, даже в случаях наиболее очевидных и вызывающих наибольшие терзания, должно отнести скорее за счет ужасного опасения, как бы видение и в самом деле не оказалось реальностью, нежели непоколебимой веры в его реальность. Однако в данном случае в воспаленных умах бунтовщиков не было и тени сомнения в том, что явившаяся фигура — это действительно оживший омерзительный труп Роджерса или, по крайней мере, его бесплотный образ. Совершенно обособленное местоположение брига и абсолютная его недоступность в такой шторм ограничили возможности обмана до таких узких и определенных пределов, что они могли мгновенно окинуть их

мысленным взглядом. Двадцать четыре дня они находились в открытом море, не поддерживая ни с кем никакой связи, и лишь перекликались со встречными судами. Команда в полном составе, точнее все те, кто, по их твердому убеждению, находился на борту, была собрана в салоне — за исключением Аллена, стоявшего на вахте, однако он так выделялся своим гигантским ростом (шесть футов и шесть дюймов), что они ни на секунду не могли предположить, будто он и есть явившийся им призрак. Добавьте к этим соображениям бурю, вызывающую благоговейный трепет, разговоры, начатые Петерсом, отвратительный труп, который произвел утром такое отталкивающее впечатление, отлично сыгранную мною роль призрака, тусклый неверный свет от раскачивающегося взад и вперед фонаря, который то освещал меня, то оставлял во мраке, добавьте все это, и тогда не придется удивляться, что наша хитрость возымела даже большее действие, нежели мы рассчитывали. Помощник капитана вскочил было с матраца, на котором лежал, но тут же, не проронив ни звука, упал замертво на ходившую ходуном палубу, и тело его, точно бревно, откатилось к левой переборке. Из оставшихся семи человек только трое в какой-то степени сохранили присутствие духа. Другие четверо на время точно приросли к полу — я ни разу не видел таких жалких жертв безрассудного страха. И лишь со стороны кока, Джона Ханта и Ричарда Паркера мы встретили сопротивление, да и они из-за растерянности могли только кое-как защищаться. Первых двух Петерс застрелил на месте, а я свалил Паркера, ударив его по голове прихваченной с собой рукояткой. Тем временем Август схватил с пола ружье и выстрелил другому бунтовщику (по фамилии Уилсон) прямо в грудь. Теперь их оставалось только трое, но к этому моменту они очнулись и, наверное, догадывались, какую злую шутку с ними сыграли, ибо сражались с такой отчаянной решимостью, что в конце концов могли бы и одолеть нас, если бы не огромная физическая сила Петерса. Эти трое были Джонс, Грили и Авессалом Хикс. Джонс опрокинул Августа на пол, ударил несколько раз ножом в правую руку и наверняка скоро прикончил бы его (поскольку ни я, ни Петерс не могли в эту минуту освободиться от своих собственных противников), если бы не своевременная помощь друга, на которого мы, разумеется, никак не рассчитывали. Этим другом оказался не кто иной, как Тигр. В самый критический для Августа момент он с глухим ворчанием

ворвался в кают-компанию и, кинувшись на Джонса, в один миг свалил его на пол. Август, однако, не мог снова вступить в схватку из-за ранений, а мне так мешало мое одеяние, что я едва поворачивался. Тигр вцепился Джонсу в горло и не отпускал. Впрочем, Петерс был гораздо сильнее тех двоих и давно покончил бы с ними, если бы не теснота помещения и мощные толчки от качки. Вскоре ему удалось схватить тяжелый табурет — из тех, что валялись в каюте, — и он размозжил Грили голову как раз в тот момент, когда тот собирался выстрелить в меня из ружья, после чего судно резко накренилось — и его швырнуло на Хикса, которого он тут же задушил голыми руками. Итак, мы завладели бригом, и нам потребовалось меньше времени, чем мне сейчас рассказывать об этом.

Из наших соперников остался в живых только Ричард Паркер, тот самый, которого в самом начале боя я свалил ударом рукоятки от насоса. Он лежал неподвижно у двери каюты, но, когда Петерс толкнул его ногой, очнулся и запросил пощады. Его просто оглушило ударом, и, если не считать небольшой раны на голове, он был цел и невредим. Мы заставили Паркера встать и на всякий случай связали ему за спиной руки. Тигр по-прежнему глухо ворчал над лежащим Джонсом, но, присмотревшись, мы увидели струящуюся кровь и глубокую рану на горле от острых клыков животного, — он был мертв.

Было около часу ночи, ветер не стихал. Шторм изрядно потрепал наш бриг, и надо было что-то предпринять, чтобы облегчить ему борьбу со стихией. Всякий раз, когда судно кренилось в подветренную сторону, волны захлестывали палубу, и вода проникла даже в салон, потому что, спускаясь, я не задраил люк. Весь фальшборт с левой стороны снесло начисто, равно как и камбуз, и рабочую шлюпку с кормового подзора. Грот-мачта так скрипела и ходила, что, казалось, вот-вот даст трещину. Чтобы выгадать в трюме место под груз (что иногда практикуется невежественными и своекорыстными корабельщиками), шпор грот-мачты на «Дельфине» был укреплен между палубами, и теперь возникла опасность, что сильным шквалом его вырвет из степса. Однако верхом наших бед оказались семь футов воды в трюме.

Мы оставили трупы как есть в кают-компании и принялись усиленно откачивать помпами воду, предварительно развязав, разумеется, руки Паркеру, чтобы он принял участие в работе. Хотя

рана у Августа была тщательнейшим образом перевязана и он делал, что мог, помощь от него была небольшая. Тем не менее мы убедились, что, если постоянно качать хоть одну помпу, воды не прибывает. Поскольку нас осталось только четверо, это было нелегким делом, но мы не падали духом и считали минуты, когда рассветет и мы облегчим бриг, срубив грот-мачту.

Так прошла ночь, полная тревоги и изнурительного труда, по и на рассвете шторм не стих и вообще ничто не предвещало перемены погоды к лучшему. Мы вытащили трупы из кают-компании и сбросили их в море. Теперь надо было избавиться от грот-мачты. Сделав все необходимое, Петерс стал рубить мачту; топоры мы нашли в кают-компании), а мы стояли наготове у штагов и вант. В нужный момент, когда бриг сильно накренился в подветренную сторону, он крикнул, чтобы мы рубили наветренные ванты, и вся эта масса дерева и такелажа рухнула в воду, почти не задев бриг. Судно приобрело большую устойчивость, хотя наше положение оставалось весьма ненадежным, так как, несмотря на все усилия, мы не успевали откачивать прибывающую воду одной помпой. Август же не мог работать в полную силу. На нашу беду, в наветренный борт ударил тяжелый вал, сдвинув судно на несколько румбов, и, прежде чем оно вернулось в прежнее положение, другая волна повалила его набок. Балласт всей своей массой переместился к подветренному борту (груз еще раньше сорвало с места), и мы уже ждали, что «Дельфин» вот-вот опрокинется. Вскоре мы немного выровнялись, по, поскольку балласт оставался у левого борта, все же крен был довольно значительный, так что откачивать воду не имело никакого смысла, да мы и не смогли бы это делать, потому что выбились из сил и так натрудили руки, что они буквально кровоточили.

Хотя Паркер пытался отговорить нас, мы принялись рубить фок-мачту. Из-за большого крена дело подвигалось медленно. Падая в воду, она снесла бушприт, и от нашего «Дельфина» остался только корпус.

До сих пор мы тешили себя надеждой, что на худой конец спасемся на баркасе, который чудом не получил никаких повреждений. Наша успокоенность, однако, была преждевременной, ибо как только мы лишились фок-мачты и фока, который удерживал бриг в относительной устойчивости, волны, не перекатываясь, начали разбиваться прямо на корабле, и через пять минут они гуляли по всей

палубе от носа до кормы, сорвав и баркас, и правый фальшборт, и даже разбив вдребезги брашпиль. Более критическое положение трудно было себе представить.

В полдень шторм начал как будто понемногу стихать, но, к величайшему нашему разочарованию, затишье длилось всего несколько минут, после чего ветер подул с удвоенной силой. Около четырех часов пополудни его яростные порывы уже валили с ног, а когда спустилась ночь, у меня не оставалось ни проблеска надежды на то, что мы продержимся до утра.

К полночи «Дельфин» погрузился настолько, что вода доходила до нижней палубы. Потом мы потеряли руль, причем сорвавшая его волна необыкновенно высоко вскинула корму, и она опустилась на воду с таким ударом, какой бывает, когда судно выкидывает на берег. Мы рассчитывали, что руль выдержит любой шторм, потому что ни до, ни после мне не приходилось видеть такой прочной конструкции. Сверху вниз вдоль его главного бруса шел ряд массивных металлических скоб; таким же манером подобные скобы были установлены на ахтерштевне. Сквозь оба ряда скоб был продет толстый кованый стержень, на котором поворачивался руль. О чудовищной силе волны, сорвавшей его, можно судить по тому, что скобы, концы которых были прошиты сквозь тело ахтерштевня и загнуты изнутри, все, как одна, оказались вырванными из твердой древесины.

Едва мы перевели дух от этого удара, как нас накрыл гигантский, не виданный мною до того вал — он начисто снес сходной трап, сорвал крышки от люков, заполнил водой каждую щель.

9

К счастью, как раз перед наступлением темноты мы крепко привязали себя к разбитому брашпилю и лежали на палубе плашмя. Только это и спасло нас от неминуемой гибели. Как бы то ни было, каждый из нас был в той или иной степени оглушен чудовищной волной, которая всем своим весом обрушилась на нас, так что мы едва не захлебнулись. Переведя дух, я окликнул моих товарищей. Отозвался один Август. «Все кончено, да пощадит господь наши души!» — пробормотал он. Потом очнулись Петерс и Паркер; оба призывали мужаться и не терять надежды: груз наш был такого рода, что бриг ни за что не затонет, а буря к утру, возможно, стихнет. Услышав это, я воодушевился: будучи в крайнем смятении, я, как ни странно, совершенно упустил из виду, что судно, загруженное пустыми бочками для китового жира, не может пойти ко дну, а именно этого я более всего опасался последние часы. Во мне снова ожила надежда, и я использовал каждый удобный момент, чтобы еще крепче привязать себя веревками к брашпилю — тем же самым вскоре занялись и мои товарищи. Кромешная тьма и адский грохот вокруг не поддаются описанию. Палуба находилась вровень с поверхностью моря, вернее, с вздымающимися гребнями пены, то и дело захлестывающей нас. Без всякого преувеличения скажу, что едва ли одну секунду из трех мы не были погружены с головой в воду. Хотя мы лежали совсем рядом, ни один из нас не видел другого, как не видел вообще ничего на судне, которое швыряло, как скорлупку. По временам мы перекликались, чтобы поддержать друг друга, утешить и приободрить того, кто в этом более всего нуждался.

Предметом особой нашей заботы был ослабевший Август; мы опасались, как бы его не смыло за борт, потому что из-за раненой руки он, конечно, не мог привязать себя как следует, однако помочь ему было решительно невозможно. К счастью, он лежал в самом безопасном месте: его голова и плечи были скрыты за обломками брашпиля, и набегающие волны, разбиваясь о него, значительно теряли в силе. Не будь Август под прикрытием брашпиля (куда его прибило водой после того, как он привязался на открытом месте), ему

не избежать бы гибели. Вообще благодаря тому, что судно лежало на боку, мы сейчас были менее достижимы для волн, нежели при любом другом его положении. Крен, как я уже сказал, был на левый борт, так что добрая половина палубы постоянно находилась под водой. Поэтому волны, набегавшие справа, разбивались о корпус судна и накрывали нас, прижавшихся всем телом к палубе, лишь частично, а те, которые докатывались с левого борта, уже не могли причинить нам особого вреда.

Так мы провели ночь, а когда настало утро, мы воочию убедились, в каком ужасном положении находимся. Бриг превратился в обыкновенное бревно, словно пущенное по воле волн, шторм усиливался, переходя в настоящий ураган, и вообще ничто не обещало перемен к лучшему. Мы молча держались еще несколько часов, безучастно ожидая, что вот-вот лопнут наши веревки, или вконец разобьет брашпиль, или один из тех гигантских валов, что с ревом вздымались отовсюду, так глубоко погрузит судно под воду, что мы захлебнемся, прежде чем оно всплывет на поверхность. Но милость господня избавила нас от этой участи, и около полудня нас приободрили робкие лучи благодатного солнца. Потом заметно стал стихать ветер, и Август, не подававший всю ночь никаких признаков жизни, вдруг спросил у Петерса, находившегося ближе других, есть ли, по его мнению, какая-нибудь возможность спастись. Ответа не последовало, и мы уже решили было, что полукровка захлебнулся, но затем, к великому нашему облегчению, он заговорил слабым голосом, жалуясь на невыносимую боль от веревок, врезавшихся ему в живот: надо найти способ ослабить их, либо он погибнет, ибо не в силах вынести эту адскую боль. Мы слушали его с сокрушением, но решительно ничем не могли помочь: волны окатывали нас с головы до ног. Мы убеждали его крепиться, обещая при первой же возможности облегчить его страдания. Он сказал, что будет поздно, что, пока мы сумеем оказать ему помощь, с ним будет все кончено, затем застонал и затих, из чего мы заключили, что он скончался.

Ближе к вечеру волнение улеглось, так что за целых пять минут, может быть, одна-единственная волна с наветренной стороны захлестнула палубу; отчасти ослаб и ветер, хотя несся по-прежнему с огромной скоростью. Вот уже несколько часов никто из моих товарищей по несчастью не проронил ни слова. Я решил позвать

Августа. Он ответил едва слышным голосом, но я не смог ничего разобрать. Потом я обратился к Петерсу и Паркеру, однако оба молчали.

Именно вскоре после этого я впал в какое-то бесчувствие, и в моем воспаленном мозгу стали возникать удивительно приятные видения: зеленеющая роща, золотистая колыхающаяся нива, хороводы девушек, скачущие кавалькады и другие картины. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что во всех этих образах, которые проходили перед моим мысленным взором, было нечто общее, а именно — идея движения. Я не припомню, чтобы мне привиделся хоть один неподвижный предмет, такой, как дом, гора или что-нибудь в этом же роде; напротив, бесконечной чередой проносились мельницы, корабли, какие-то огромные птицы, воздушные шары, всадники, бешено мчавшиеся экипажи и многое-многое другое, что движется. Когда я очнулся, было, судя по положению солнца, около часу дня. С огромнейшим трудом я соображал, где я и что со мной; какое-то время мне казалось, что я все еще нахожусь в трюме, около своего ящика, и что рядом со мной Тигр, а никак не Паркер.

Когда я окончательно пришел в себя, дул умеренный бриз и море было сравнительно спокойно — лишь редкая волна лениво перекатывалась через середину брига. С левой руки у меня веревка соскочила, оставив порядочную ссадину у локтя, а правая была так натерта тугой перевязью, что совершенно онемела и распухла книзу от предплечья. Другая веревка, та, которой я привязал себя у пояса, причиняла нестерпимую боль, ибо натянулась до предела. Я посмотрел на своих товарищей. Август лежал скорчившись у обломков брашпиля и не подавал признаков жизни. Петерс был жив, несмотря на то что толстый линь поперек поясницы, казалось, перерезал его надвое, и, увидев, что я задвигался, шевельнул рукой, показывая на веревку, и спросил, хватит ли у меня сил помочь ему развязаться, и тогда мы, может быть, спасемся, а в противном случае погибнем. Я посоветовал ему мужаться, пообещав помочь ему. Нащупав в кармане своих панталон перочинный нож, я после нескольких безуспешных попыток открыл наконец лезвие. Затем левой рукой мне удалось освободить правую руку и перерезать остальные веревки. Я попытался встать, но ноги совершенно не слушались меня, правая рука тоже не действовала. Я сказал об этом Паркеру, и тот посоветовал несколько

минут полежать спокойно, держась левой рукой за брашпиль, чтобы кровь снова начала циркулировать. Онемение постепенно проходило, я пошевелил одной ногой, потом другой; скоро стала частично действовать и правая рука. Не вставая на ноги, я осторожно подполз к Паркеру, перерезал веревки, и через несколько минут он тоже смог двигать конечностями. Теперь мы, не теряя времени, принялись освобождать бедного Петерса. Веревка прорвала пояс шерстяных панталон, две рубашки и так глубоко врезалась ему в поясницу, что, как только мы сняли веревку, из раны обильно потекла кровь. Несмотря на это, Петерсу тут же стало легче, он заговорил и двигался даже с меньшим трудом, чем мы с Паркером, — бесспорно, благодаря вынужденному кровопусканию.

Что до Августа, то он не подавал никаких признаков жизни, и мы почти не надеялись на благополучный исход, однако, приблизившись, убедились, что он без сознания из-за большой потери крови (повязку, которую мы сделали на раненой руке, давно сорвало водой), а веревки, которыми он привязался к брашпилю, ослабились и никак не могли быть причиной смерти. Сняв с Августа веревки и освободив от деревянных обломков брашпиля, мы перенесли его на сухое, продуваемое ветром место, опустив голову чуть пониже туловища, и принялись усиленно растирать ему конечности. Через полчаса он пришел в себя, но лишь на следующее утро стал узнавать нас и мог говорить. Пока мы возились с нашими веревками, совсем стемнело, стали собираться тучи, и нас снова взяло тревожное опасение, что разыграется шторм, и тогда уже ничто не спасет нас, выбившихся из сил, от верной гибели. К счастью, погода всю ночь держалась умеренная, и волнение заметно спадало, что опять вселило в нас надежды на спасение. Ветер по-прежнему дул с северо-запада, но было совсем не холодно. Ввиду крайней слабости Август не мог держаться сам, и мы осторожно привязали его у наветренного борта, чтобы он не скатился в воду. Что касается нас, то мы ограничились тем, что уселись поближе друг к другу и, держась за обрывки троса на брашпиле, принялись обсуждать, как бы нам выбраться из нынешнего ужасного положения. Кому-то пришла счастливая мысль снять одежду и выжать ее. Обсохнувшая одежда казалась теплой, приятной и придала нам бодрости. Помогли мы раздеться и Августу, сами выжали ему одежду, и он тоже почувствовал облегчение.

Теперь нас более всего мучили голод и жажда; мы боялись подумать о том, что ожидает нас в этом смысле, и даже сожалели, что избежали менее ужасной смерти в морской пучине. Правда, мы утешались мыслью, что нас подберет какое-нибудь судно, и призывали друг друга мужественно встретить испытания, которые могли еще выпасть на нашу долю.

Наконец настало утро четырнадцатого числа; погода была все такая же ясная и теплая, с северо-запада дул устойчивый, но легкий бриз. Море совсем успокоилось, бриг непонятно почему немного выровнялся, на палубе было сравнительно сухо, и мы могли свободно по ней передвигаться. Чувствовали мы себя лучше, чем минувшие три дня и три ночи, которые провели без пищи и воды, и сейчас надо было во что бы то ни стало раздобыть съестного. Поскольку трюмы и каюты были затоплены, мы принимались за дело без особой охоты, почти не рассчитывая достать что-нибудь снизу. Надергав гвоздей из обломков крышки от люка и вколотив их в две доски, связанные крест-накрест, мы соорудили нечто вроде драги и спустили ее на веревке через люк в кают-компанию. Волоча доски взад и вперед, мы пытались зацепить что-нибудь съедобное или какой-нибудь предмет, с помощью которого мы могли бы добыть пищу. Мы занимались этим почти все утро, выудив лишь кое-какое постельное белье, которое легко цеплялось за гвозди. Нет, наше приспособление было слишком примитивно, чтобы всерьез рассчитывать на успех.

Потом мы попробовали нашу драгу в люке на баке, но тоже напрасно, и совсем уже было отчаялись, когда Петере сказал, что, если мы будем держать его за веревку, он попытается достать что-нибудь из кают-компании, нырнув в воду. Предложение было встречено с таким восторгом, какой могла вызвать только ожившая надежда. Он немедленно разделся, оставив на себе лишь панталоны, а мы тщательно закрепили у него на поясе прочную веревку, обвязав его через плечо, чтобы она не соскочила. Затея эта была крайне трудной и опасной: поскольку в самой кают-компании вряд ли чем существенным можно было разжиться, Петерсу нужно было нырнуть вниз, взять вправо, проплыть под водой десять — двенадцать футов, попасть в узкий проход, ведущий в кладовую, а затем вернуться назад.

Когда все было готово, Петерс спустился по сходному трапу, так что вода доходила ему до подбородка, и нырнул головой вперед,

стараясь брать вправо, к кладовой. Первая попытка оказалась неудачной. Не прошло и полминуты, как веревка дернулась (мы условились, что этим он даст знать, когда его вытаскивать). Мы тут же стали выбирать веревку, по неосторожности сильно ударив Петерса о трап. Как бы то ни было, вернулся он с пустыми руками, не сумев проникнуть в проход и до половины, так как все его силы ушли на то, чтобы держаться на глубине, не дав воде вытолкнуть его на поверхность, к палубному настилу. Выбрался он весь измученный и вынужден был с четверть часа отдыхать, прежде чем отважился нырнуть снова.

Вторая попытка была еще более неудачной. Он так долго оставался под водой, не подавая знака, что, вконец встревоженные, мы стали вытаскивать его, успев в самый последний момент, — оказалось, что он несколько раз дергал веревку, а она, очевидно, запуталась за поручни в нижней части трапа, и мы ничего не чувствовали. Эти поручни на самом деле так мешали, что, прежде чем продолжать нашу работу, мы решили сломать их. Нам не на что было рассчитывать, кроме собственных мускулов, и потому, спустившись как можно глубже по трапу в воду, мы все вчетвером налегли на них разом и обрушили вниз.

Третья попытка, как и первые две, также не принесла успеха, и мы поняли, что ничего не добьемся, если не раздобудем какой-нибудь груз, который удерживал бы ныряльщика у самой палубы, пока тот занят поисками. Мы долго не могли найти ничего такого, что могло бы служить грузом, пока наконец не наткнулись, к счастью, на обрывок цепи. Прочно прикрепив ее к лодыжке, Петерс четвертый раз спустился в кают-компанию и даже добрался до двери в помещение стюарда. На беду, дверь была заперта, и он снова вернулся ни с чем, потому что при крайнем напряжении мог пробыть под водой не больше минуты. Теперь наши дела действительно были плохи, и при мысли о неисчислимых бедах, подстерегавших нас на каждом шагу, и о малой вероятности нашего спасения мы с Августом не могли удержаться от рыданий. Но то была минутная слабость. Упав на колени, мы вознесли молитву господу, прося не оставить нас своей помощью посреди окружавших опасностей, а поднялись уже с новой надеждой и новой решимостью искать, что еще может сделать смертный для своего избавления.

10

Вскоре после этого случилось происшествие, которое, на мой взгляд, сопровождалось такими глубокими переживаниями, вызвало такие противоположные чувства — от безграничной радости до крайнего ужаса, — какие я не испытал впоследствии ни разу, хотя за девять долгих лет на мою долю выпало немало приключений, насыщенных поразительными, а нередко и вообще непостижимыми событиями.

Мы лежали на палубе подле сходного трапа в кают-компанию и рассуждали о возможности проникнуть в кладовую. Я случайно посмотрел на Августа, обращенного ко мне лицом, и увидел, что он смертельно побледнел, а губы его задрожали самым неестественным образом. Безмерно встревоженный, я спросил, что случилось. Но он не отвечал, и я подумал было, что мой друг внезапно почувствовал себя дурно, однако в тот же момент заметил его горящий взгляд, устремленный на что-то позади меня. Я обернулся. Как мне забыть исступленный восторг, который пронизал каждую клеточку моего существа, когда я увидел милях в двух от «Дельфина» большой бриг, идущий прямо на нас. Я подпрыгнул, точно в грудь мне ударила пулями, простирая руки к судну, замер, не в силах проронить ни слова. Петерс и Паркер были равно возбуждены, хотя каждый по-своему. Первый пустился в какую-то сумасшедшую пляску, издавая немыслимые восклицания вперемешку со стонами и проклятиями, а другой заплакал от радости, как дитя.

Показавшийся корабль был большой бригантиной голландской постройки, выкрашен в черное, с какой-то аляповатой позолоченной носовой фигурой. Он, очевидно, немало пострадал от непогоды, а шторм, который оказался гибельным для нас самих, нанес ему изрядные повреждения: фор-стеньга была сорвана, равно как и часть правого фальшборта. Когда мы в первый раз заметили бриг, он находился, как я ужо сказал, на расстоянии двух миль с наветренной стороны и шел прямо на нас. Бриз был очень слабый, однако, на удивление, на бриге стояли только фок и грот с летучим кливером, так что двигался он очень медленно, а мы буквально обезумели от

нетерпения. Несмотря на наше возбуждение, мы, кроме того, заметили, что бриг идет как-то странно. Два или три раза он так значительно отклонялся от курса, что можно было подумать, что на незнакомце вообще не заметили «Дельфина» или, не видя на борту людей; решили повернуть на другой галс и уйти. Тогда мы начинали вопить что есть силы, и корабль снова менял курс и снова направлялся к нам. Так повторялось несколько раз, мы не могли понять, в чем дело, и в конце концов решили, что рулевой просто пьян.

На палубе корабля поначалу не было ни души, но, когда он приблизился к нам на четверть мили, мы увидели трех человек, судя по одежде — голландцев. Двое из них лежали на старой парусине на баке, а третий, взиравший на нас с величайшим любопытством, оперся на правый борт у самого бушприта. Это был высокий крепкий мужчина с очень темной кожей. Всем своим обликом он, казалось, призывал нас запастись терпением, радостно, хотя и несколько странно, кивая нам, и улыбался, обнажая ряд ослепительно-белых зубов. Когда судно подошло еще ближе, мы заметили, как у него с головы слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он не обратил на это внимания, продолжая улыбаться и кивать. Я описываю все происходящее со всеми подробностями, но — следует напомнить — именно так, как нам это казалось.

Медленно, но более уверенно, чем прежде, бриг приближался к нам — нет, я не могу рассказывать об этом событии спокойно. Наши сердца бились все сильнее, и мы излили душу в отчаянных криках и благодарениях всевышнему за полное, неожиданное чудесное избавление, которое вот-вот должно было свершиться. И вдруг с этого таинственного корабля (он был совсем близко) потянуло каким-то запахом, зловонием, которому в целом мире не найти названия, ни подобия… что-то адское, удушающее, невыносимое, непостижимое. Я задыхался, мои товарищи побледнели как мрамор. Для вопросов и догадок времени уже не оставалось: незнакомец был футах в пятидесяти и, казалось, хотел подойти вплотную к нашей корме, чтобы мы, вероятно, могли перебраться на него, не спуская лодки. Мы кинулись на корму, но в этот момент корабль внезапно отвернуло от курса на пять-шесть румбов, и он прошел перед самым нашим носом, футах в двадцати, дав нам возможность увидеть все, что творится на борту. До конца дней моих не изгладится из памяти невыразимейший

ужас, охвативший меня при виде того зрелища. Между кормой и камбузом валялись трупы, отталкивающие, окончательно разложившиеся, двадцать пять или тридцать, среди них и женские. Тогда-то мы и поняли, что на этом проклятом богом корабле не оставалось ни единого живого существа. И все же… и все же мы взывали к мертвым о помощи! Да, в тот мучительный момент мы умоляли эти безмолвные страшные фигуры, умоляли долго и громко остаться с нами, не покидать нас на произвол судьбы, которая превратит нас в таких же, как они, принять нас в свой смертный круг! Горестное крушение наших надежд повергло нас в форменное безумие, мы неистовствовали от страха и отчаяния.

Едва мы испустили первый крик ужаса, как, словно бы в ответ, раздался звук, который человек даже с самым тонким слухом принял бы за вопль себе подобного. В эту минуту судно снова сильно отклонилось в сторону, открыв перед нами носовую часть, и мы поняли причину звука. Опираясь на фальшборт, там по-прежнему стоял тот высокий человек и так же кивал головой, хотя лица его не было видно. Руки его свесились за борт, ладони были вывернуты наружу. Колени его упирались в туго натянутый канат между шпором бушприта и крамболом. К нему на плечо, туда, где порванная рубашка обнажила шею, взгромоздилась огромная чайка; глубоко вцепившись когтями в мертвую плоть, она жадно рвала ее клювом и глотала куски. Белое оперенье ее было забрызгано продаю. Когда судно, медленно поворачиваясь, приблизило к нам нос, птица как бы с трудом подняла окровавленную голову, точно в опьянении посмотрела на нас и лениво оторвалась от своей жертвы, паря над нашей палубой с куском красновато-коричневой массы в клюве, который затем с глухим ударом шлепнулся у самых ног Паркера. Да простит меня бог, но именно в этот момент у меня впервые мелькнула мысль, — впрочем, предпочту умолчать о ней, — и я невольно шагнул к кровавой лужице. Подняв глаза, я встретил напряженный и многозначительный взгляд Августа, который немедленно вернул мне самообладание. Кинувшись стремительно вперед, я с отвращением выбросил безобразный комок в море.

Итак, терзая свою жертву, хищная птица раскачивала поддерживаемое канатом тело; это движение и заставило нас подумать, что перед нами живой человек. Теперь, когда чайка взлетела в воздух,

тело изогнулось и немного сползло вниз, открыв нам лицо человека. Ничего более ужасающего я не видел! На нас смотрели пустые глазницы, от рта остались одни зубы. Так вот какая она, та улыбка, что вселила в нас радостные надежды! Так вот… впрочем, воздержусь от рассуждений.

Бриг, как я уже сказал, прошел перед самым нашим носом и медленно, но уверенно направился в подветренную сторону. С ним, с его фантасмагорическим экипажем уходили наши светлые надежды на спасение. Когда судно неспешно проходило мимо нас, мы, наверное, могли бы каким-нибудь образом перебраться к нему на борт, если б горькое разочарование и ужасающее открытие не лишили бы нас всех мыслительных и телесных способностей. Мы все видели и чувствовали, но не могли ни думать, ни действовать, пока — увы! — не стало слишком поздно. Насколько помрачился наш рассудок от этой встречи, можно судить по тому факту, что кто-то всерьез предложил пуститься вплавь вдогонку за бригом, когда тот был уже едва различим.

С тех пор я не раз пытался приоткрыть завесу неизвестности, которая покрывала судьбу незнакомого брига. Постройка и внешний вид, как я уже сказал, наводили на предположение, что то было голландское торговое судно; о том те говорила одежда команды. Мы с легкостью могли бы прочитать название на борту и вообще заметить что-нибудь характерное, что помогло бы проникнуть в причины катастрофы, но из-за чрезмерного возбуждения решительно ничего не соображали. По шафрановому оттенку кожи на тех трупах, которые не успели окончательно разложиться, мы заключили, что команда погибла от желтой лихорадки или иной, столь же заразной болезни. Если это так (ничего другого я не могу себе представить), то, судя по положению трупов, смерть настигла несчастных внезапно, причем всех сразу, то есть все произошло совершенно иначе, нежели вообще имеет место даже при самых широких эпидемиях, какие известны человечеству. Причиной бедствия, возможно, стал яд, случайно попавший в провиант, или употребление в пищу какой-нибудь неизвестной разновидности ядовитой рыбы, или морского животного, или птицы. Впрочем, бессмысленно строить предположения относительно того, что навсегда окутано ужасающей и непостижимой тайной.

11

Остаток дня мы провели в каком-то оцепенении, тупо глядя вслед удаляющемуся судну, пока темнота, скрывшая его из глаз, не вернула нас к действительности. Нас снова стали мучить голод и жажда, заглушив все остальные горести и заботы. До утра, однако, ничего нельзя было сделать, и, привязавшись поплотнее, мы постарались хоть немного уснуть. Сверх всякого ожидания, мне это удалось, и я проспал до рассвета, когда мои менее удачливые спутники разбудили меня, чтобы возобновить поиски съестного.

Стоял мертвый штиль, поверхность воды казалась удивительно гладкой, было тепло и ясно. Бриг давно скрылся из глаз. Мы начали с того, что выдернули из гнезда, правда не без труда, еще один кусок цепи и прикрепили оба к ногам Петерсу. Он снова хотел донырнуть до двери кладовой в надежде открыть ее, если у него будет достаточно времени, на что он рассчитывал, поскольку бриг держался более устойчиво, чем прежде.

Ему удалось довольно быстро добраться до двери, и, сняв одну цепь с ноги, он изо всех сил старался с ее помощью открыть ход, однако дверная рама оказалась гораздо крепче, чем он ожидал. Долгое пребывание под водой абсолютно вымотало его, и вместо него должен был спуститься кто-то другой. Немедленно вызвался Паркер, но, нырнув три раза, он не сумел даже приблизиться к злосчастной двери. Августу из-за раненой руки вообще было бесполезно предпринимать такую попытку, потому что он не смог бы открыть дверь, даже если доплыл бы до нее, и соответственно настала моя очередь попытать счастья.

Как на грех, Петерс где-то у входа в кают-компанию обронил цепь, и, нырнув, я почувствовал, что не могу устойчиво находиться под водой из-за недостаточного груза. Поэтому на первый раз я решил ограничиться тем, что достану цепь. Шаря по полу коридора, я наткнулся на какой-то твердый предмет, схватил его, не успев даже ощупать, и тут же поднялся на поверхность. Моей добычей оказалась бутылка, и можно представить нашу радость, если я скажу, что это была бутылка портвейна. Возблагодарив небо за этот своевременный и

приятный дар, мы вытащили моим перочинным ножом пробку и, сделав по умеренному глотку, почувствовали невыразимое облегчение: алкоголь согрел нас и придал нам силы. Затем мы тщательно закупорили бутылку и подвесили на носовом платке, чтобы она никоим образом не разбилась.

Немного отдохнув поело этой счастливой находки, я снова нырнул и достал цепь. Привязав ее, я погрузился в воду третий раз, но лишь затем, чтобы полностью убедиться, что никакой силой дверь под водой не открыть. Отчаявшись, я вернулся.

Все наши надежды, казалось, рухнули, и по липам моих спутников я понял, что они решили безучастно ждать гибели. Очевидно, вино все-таки вызвало опьянение, которого я избежал благодаря тому, что несколько раз погружался в воду. Они же бессвязно говорили о чем-то совершенно невообразимом. Петерс несколько раз спросил меня о Нантакете. Август, как сейчас помню, с серьезным видом приблизился ко мне и попросил одолжить расческу: в волосы ему набилась рыбья чешуя, и он хотел счесать ее перед тем, как сойти на берег. На Паркера вино подействовало меньше, и он убеждал меня нырнуть в кают-компанию еще раз и достать, что попадется под руку. Я согласился, и с первого же раза, пробыв под водой целую минуту, вытащил небольшой кожаный саквояж, принадлежавший капитану Барнарду. Мы немедленно раскрыли саквояж в надежде найти что-нибудь съестное, но там были только коробка с бритвами и пара льняных рубашек. Я снова нырнул, но безуспешно. Едва я выплыл на поверхность, как услышал какой-то треск, а поднявшись на палубу, увидел, что мои спутники, неблагодарно воспользовавшись моим отсутствием, выпили остатки вина, но нечаянно разбили, бутылку, намереваясь подвесить ее на прежнее место. Я пристыдил их за эгоизм, и Август даже расплакался. Другие двое смеялись, пытаясь свести все к шутке; лица у них при этом так чудовищно искажались, что не приведи бог мне снова стать свидетелем такого веселья. Выпитое на пустой желудок вино немедленно оказало свое губительное действие — они были совершенно пьяны. С большим трудом я уговорил их лечь, и скоро они погрузились в тяжелый сон, сопровождаемый оглушительным храпом.

Теперь на бриге, можно сказать, я остался совсем один и предался мрачным размышлениям. Я не видел для нас иного исхода, кроме

медленной смерти от голода или, в лучшем случае, гибели в морской пучине при первом же шторме, ибо нам, дошедшим до крайней степени изнеможения, бороться со стихией было не под силу.

Муки голода к этому времени стали просто невыносимы, и я чувствовал, что способен на что угодно, лишь бы только утишить их. Я отрезал ножом немного кожи от саквояжа и попробовал съесть, но не смог проглотить ни кусочка, хотя и вообразил, что чувствуешь некоторое облегчение, если жевать небольшие дольки, а после выплевывать их. Вечером мои спутники пробудились один за другим в состоянии неописуемой подавленности и слабости, вызванных алкоголем, пары которого, правда, к этому моменту уже улетучились. Их трясло, как в лихорадке, и все жалобно просили пить. Их состояние безмерно огорчило меня, и в то же время я порадовался, что благодаря счастливому стечению обстоятельств не злоупотребил вином и теперь не испытываю таких же неприятных ощущений. Своим поведением они, однако, доставили мне немало неприятностей и хлопот и не могли ничего делать для нашего самосохранения до того, как придут в себя. Я отнюдь не отказался от мысли достать что-нибудь в кают-компании, но не мог снова приступить к делу, пока кто-нибудь не будет в состоянии держать веревку. Паркер, казалось, чувствовал себя лучше других, хотя мне пришлось достаточно повозиться, прежде чем я окончательно растолкал его. Подумав, что лучше всего окунуть Паркера в морскую воду, я обвязал его веревкой и, отведя до сходного трапа (все это время он оставался совершенно пассивным), столкнул вниз и тут же вытащил. Я имел право поздравить себя с результатами этого эксперимента, ибо Паркер словно ожил и, выбравшись на палубу, вполне нормально спросил, зачем я это сделал. Я объяснил, а он сказал, что премного обязан мне, ибо в самом деле чувствует себя гораздо лучше. Спокойно обсудив ситуацию, мы решили применить то же самое к Августу и Петерсу, после чего им немедленно стало лучше. На идею внезапного погружения в воду меня натолкнула читанная когда-то медицинская книга, где говорилось о благотворном действии душа в случаях mania o potu[1085].

Убедившись, что снова могу доверить своим спутникам держать конец веревки, я нырнул еще несколько раз в кают-компанию, хотя совсем стемнело и с севера пошла слабая, но длинная зыбь и судно стало неустойчивым. Мне удалось достать лишь два ножа в футлярах,

пустой кувшин на три галлона и одеяло, но никакой еды не было. Я продолжал поиски, пока не выбился из сил, но ничего не нашел. Ночью Петерс и Паркер поочередно несколько раз спускались под воду, и тоже неудачно, так что в конце концов мы отказались от своих намерений, решив, что понапрасну тратим силы.

Трудно себе представить, в каких душевных и физических страданиях мы провели остаток ночи. Настало утро шестнадцатого числа, мы жадно всматривались в горизонт, мы ждали помощи — но все напрасно! Море было спокойно, только с севера, как и вчера, шла длинная зыбь. Не считая бутылки портвейна, мы шестой день жили без пищи и воды и понимали, что если не раздобудем что-нибудь, то долго не протянем. Ни до, ни после я не видел такой степени истощения, в каком пребывали Петерс и Август. Повстречай я их сейчас на суше, мне и в голову бы не пришло, что я знаю этих людей. Они совершенно изменились в лице, и трудно было поверить, что именно с ними я был вместе всего лишь несколько дней назад. Паркер выглядел немного лучше, хотя отчаянно исхудал и ослаб так, что не поднимал с груди головы. Он переносил страдания с завидным терпением, нисколько не жалуясь и пытаясь хоть как-нибудь приободрить других. Что до меня, то, несмотря на плохое самочувствие в начале путешествия и вообще хрупкое сложение, я не так страдал, как остальные, похудел гораздо меньше, а главное, в удивительной мере сохранял силу ума, тогда как мои товарищи находились в своего рода умственной прострации, казалось, совсем впали в детство и, по-идиотски ухмыляясь, несли какую-то околесицу. Временами, однако, они приходили в себя и сознавали, что с ними творится, и тогда они энергично вскакивали на ноги и начинали рассуждать вполне разумно, хотя рассуждения эти были полны безнадежности. Очень может быть, что мои товарищи вовсе не считали свое состояние плачевным; равно не исключено, что и я впал во временное умопомешательство и тоже был повинен во всяких экстравагантных выходках, — судить об этом не дано никому.

После полудня Паркер вдруг громогласно заявил, что слева по борту видит землю, и хотел броситься в море, чтобы плыть туда. Мне едва удалось удержать его от этой затеи. Петерс и Август почти не обратили на него внимание — оба, как видно, были погружены в мрачное оцепенение. Я пристально всматривался туда, куда показывал Паркер, но ничего похожего на сушу не видел; впрочем, я хорошо знал,

как далеко мы от земли, и не питал никаких иллюзий на этот счет. Мне пришлось, однако, долго убеждать Паркера, что он ошибся. Он разрыдался, как ребенок; крики и слезы продолжались часа два-три, потом он устал и забылся сном.

Петерс и Август безуспешно пытались проглотить кусочки кожи. Хотя я рекомендовал им жевать их и выплевывать, у них не хватало сил внять моему совету. Что до меня, то я неоднократно принимался жевать кожу и чувствовал определенное облегчение; теперь меня более всего мучила жажда, я был готов выпить даже морской воды, но меня останавливала единственно мысль об ужасных последствиях, которые выпадают на долю тех, кто оказывался в подобном положении.

Так тянулся еще один бесконечный день, как вдруг на востоке, левее от нас, впереди, я увидел парус. Какое-то большое судно шло почти перпендикулярным к нам курсом на расстоянии двенадцати — пятнадцати миль. Никто из моих спутников не заметил судно, а я решил пока молчать, чтобы нам снова не обмануться в надеждах. Но судно приближалось, я отчетливо видел, что оно на всех парусах направляется к нам. Я не мог больше сдержаться и показал на него моим товарищам по несчастью. Они тут же повскакали с мест, самыми немыслимыми способами выражая свою радость; они рыдали и заливались глупым смехом, прыгали, топали ногами, рвали на себе волосы и то молились, то исторгали проклятья. На меня так подействовал их бурный восторг, в ту минуту я так уверовал в близость избавления, что не мог более оставаться спокойным и, целиком отдавшись экстазу, в порыве благодарности небесам бросился на палубу и стал кататься по ней, хлопая в ладоши и что-то вскрикивая, как вдруг внезапно опомнился и снова испытал всю бездну человеческого отчаяния и горя, увидев, что судно повернулось к нам кормой и полным ходом идет почти в противоположном от нас направлении, удаляясь от нашего брига.

Потом мне еще долго пришлось убеждать своих спутников, что судьба действительно отвернулась от нас. Каждым своим взглядом и жестом они давали понять, что не желают слушать моих обманных уверений. Особое беспокойство вызвал у меня Август. Несмотря на все мои доводы, он продолжал твердить, что судно быстро приближается, и уже начал собираться, чтобы перейти на его борт. Какие-то водоросли, проплывающие мимо нашего брига, он принял за

лодку с того корабля и хотел спрыгнуть в нее, а когда мне пришлось силой удержать его от падения в воду, разразился душераздирающими стонами.

Отчасти примирившись с новым разочарованием, мы провожали неизвестный корабль взглядами, пока горизонт не подернулся дымкой и не подул легкий бриз. Как только он окончательно скрылся из вида, Паркер вдруг повернулся ко мне с таким странным выражением на лице, что я вздрогнул. В облике его была решимость, какую я до того не замечал в нем, и не успел он раскрыть рта, как я чутьем понял, что он хочет сказать. Он заявил, что один из нас должен умереть, чтобы остальные могли жить.

12

Не раз и не два я уже задумывался над тем, что мы, возможно, дойдем до последней черты, и про себя решил принять любую смерть, при любых обстоятельствах, но не соглашаться на это. Мою решимость ни в коей мере не колебал голод, причинявший мне страшные муки. Ни Петерс, ни Август не слышали Паркера, поэтому я поспешил отвести его в сторону и, мысленно попросив у бога придать мне силы, принялся умолять во имя всего, что для него свято, отказаться от чудовищного замысла, убеждал, приводя всевозможнейшие, как того требовали обстоятельства, аргументы, выбросить это из головы и ничего не говорить двум другим вашим товарищам.

Он выслушал, не перебивая и не оспаривая моих доводов, и я уже начинал надеяться, что добился желаемого результата. Но когда я замолчал, он заявил, что все сказанное мной справедливо и решиться на это — значит сделать самый мучительный выбор, перед каким только может оказаться разумное существо, но что он держался столько, сколько способен человек, что незачем гибнуть всем, если, пожертвовав одним, есть какая-то возможность спастись остальным, что сколько б я ни убеждал его, он не отступится от своей цели, потому что окончательно решился на все еще до появления корабля и лишь парус на горизонте заставил его повременить и не объявлять пока о своем намерении.

Тогда я стал просить его отложить осуществление этого замысла хотя бы на день, если уж он не хочет отказаться от него вовсе, и подождать, не встретится ли нам еще какое-нибудь судно, снова и снова повторяя все аргументы, которые я мог изыскать и которые, по моему мнению, воздействуют на такую грубую натуру. Он ответил, что молчал до последнего момента, что без пищи не протянет и часа, и поэтому завтра будет поздно — во всяком случае, для него.

Видя, что он не поддается никаким увещеваниям, я решил действовать иначе; ему, должно быть, известно, сказал я, что я легче других перенес все бедствия и поэтому мое физическое состояние лучше, чем у него и чем у Петерса или Августа, и что, коротко говоря,

я могу в случае необходимости силой настоять на своем и без колебаний выкину его за борт, если он так или иначе вздумает поделиться своими каннибальскими планами с другими. Он тотчас схватил меня за горло и, вытащив нож, несколько раз пытался пырнуть меня в живот, но из-за его крайней слабости злодеяние не удалось. Не на шутку разгневанный, я тем временем оттеснил его к борту и хотел сбросить в море. От гибели его спасло лишь вмешательство подоспевшего Петерса, который, разняв нас, спросил о причине ссоры. Прежде чем я успел что-либо, сделать, Паркер выложил все напрямик.

Слова его произвели еще большее впечатление, чем я ожидал. Оказалось, что и Август и Петерс втайне уже долго вынашивали эту чудовищную мысль, которую по чистой случайности первым вслух высказал Паркер, и теперь взяли его сторону, настаивая на немедленном осуществлении злодейского замысла. Я же рассчитывал, что по крайней мере у одного из них достанет силы духа вместе со мной воспротивиться этому ужасному намерению, и тогда мы вдвоем, безусловно, предотвратим кровопролитие. Надежды мои не оправдались, и теперь я должен был позаботиться о собственной безопасности, так как мои потерявшие рассудок спутники могли посчитать дальнейшее сопротивление с моей стороны отказом участвовать на равных в трагедии, которая неминуемо разыграется в самом скором времени.

Я сказал, что я согласен на их предложение и единственно прошу отсрочки на час, пока не рассеялся туман, окутывающий нас, и тогда, может быть, мы снова увидим корабль, который мы повстречали. С большим трудом я вырвал обещание подождать; как я и ожидал, быстро поднялся бриз, туман рассеялся, но горизонт был чист. Мы приготовились бросить жребий.

Крайне неохотно останавливаюсь я на последовавшей затем драме; чего только не случалось со мной впоследствии, но эта драма с ее мельчайшими подробностями врезалась в мою память, и до конца дней горькое воспоминание о ней будет омрачать каждый миг моего существования. Читатель не посетует на меня за то, что я изложу эту часть моего рассказа так коротко, как позволят описываемые события. Для роковой лотереи, которая должна была решить судьбу каждого из нас, мы придумали единственный способ — тянуть жребий. Для этого мы нарезали щепочек, и было решено, что держать буду я. Я удалился

на один конец судна, а мои товарищи, отвернувшись, молча уселись на другом. Горчайшие муки в ходе этой драмы я пережил тогда, когда принялся раскладывать щепочки. Редко случается, чтобы человек не испытывал горячего желания сохранить себе жизнь, причем это желание тем острее, чем тоньше нить, связывающая его с земным существованием. Но теперь, когда тайное, вполне определенное и мрачное дело, которым я был занят (так непохожее на борьбу с морской стихией или постепенно усиливающимся голодом), давало возможность подумать над тем, каким образом избежать чудовищнейшей смерти, смерти ради чудовищнейшей цели, самообладание, благодаря которому я только и держался, вдруг рассеялось, как дым на ветру, оставив меня беспомощной, жалкой жертвой собственного малодушия. Поначалу я не мог даже обломать и сложить вместе крохотные щепочки — пальцы абсолютно не слушались меня, и колени дрожали от волнения. Я лихорадочно перебирал в уме сотни способов — один невероятнее другого — избежать участия в кровавой игре. Я хотел броситься на колени и просить моих спутников избавить меня от жестокой обязанности, хотел неожиданно кинуться вперед и прикончить одного из них, сделав тем самым жеребьевку бессмысленной, — словом, думал о чем угодно, кроме дела, которым я должен был заниматься. Из этого длительного умопомрачения меня вывел голос Паркера, который требовал положить конец их томительному ожиданию. Но и тогда я не мог заставить себя разложить щепочки, а соображал, какой бы хитростью заставить кого-нибудь из моих товарищей по несчастью вытащить самый короткий жребий, ибо мы условились, что ради сохранения жизни другим умрет тот, кто из четырех щепочек вытянет у меня из руки самую короткую. Пусть те, кто захочет обвинить меня в жестокости, сперва окажутся в моем положении.

Медлить дольше было невозможно, и хотя сердце у меня колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди, я направился к баку, где меня ждали мои спутники. Я протянул руку, и Петерс, не колеблясь, вытянул свой жребий. Смерть миновала его: вытащенная им щепочка была не самой короткой. Вероятность, что я останусь жить, уменьшилась. Собрав все свои силы, я повернулся к Августу. Тот тоже сразу вытащил щепочку — жив! Теперь с Паркером у нас были абсолютно равные шансы. В этот момент мной овладела

какая-то звериная ярость, и я внезапно почувствовал безотчетную сатанинскую ненависть к себе подобному. Потом это чувство схлынуло, и, весь содрогаясь, закрыв глаза, я протянул ему две оставшиеся щеночки. Он долго не мог набраться решимости вытянуть свой жребий, и эти напряженнейшие пять минут неизвестности я не открывал глаз. Затем одна из двух палочек была резко выдернута из моих пальцев. Итак, жребий брошен, а я еще не знал, в мою пользу или нет. Все молчали, и я не осмеливался посмотреть на оставшуюся в руке щепочку. Наконец Петерс взял меня за руку, я заставил себя открыть глаза и по лицу Паркера понял, что на смерть обречен он, а я буду жить. Задыхаясь от радости, я без чувств упал на палубу.

Когда я очнулся, то застал кульминацию трагедии — смерть того, кто главным образом и был повинен в ней. Он не оказывал сопротивления; Петерс ударил его ножом в спину, и он упал мертвым. Не буду рассказывать о последовавшем затем кровавом пиршестве. Такие вещи можно вообразить, но нет слов, чтобы донести до сознания весь изощренный ужас их реальности. Достаточно сказать, что, немного утолив мучительную жажду кровью жертвы, мы с обоюдного согласия четвертовали ее, руки, ноги и голову вместе с внутренностями выбросили в море, а остальное с жадностью ели кусок за куском на протяжении четырех недоброй памяти дней — семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого числа июля месяца.

Девятнадцатого числа, когда пятнадцать — двадцать минут шел сильный ливень, с помощью простыни, которую мы выудили нашей драгой из кают-компании сразу после шторма, нам удалось набрать воды. Ее было не более полгаллона, но и это скудное количество придало нам немного силы и надежды.

Двадцать первого мы снова были вынуждены прибегнуть к последнему средству. Погода по-прежнему теплая и ясная, лишь иногда туманы и легкие бризы, главным образом с севера и запада.

Двадцать второго числа, когда мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и угрюмо размышляли над нашей горестной судьбой, у меня вдруг мелькнула мысль и с ней проблеск надежды. Я вспомнил, что, когда мы срубили фок-мачту, Петерс, который находился у якорного устройства с наветренной стороны, отдал мне топор, попросив припрятать в надежное место, и что за несколько минут до того, как на

бриг обрушился последний гигантский вал, залив все водой, я отнес топор на бак и положил в одну из левых кают. И вот сейчас я подумал, что, раздобыв этот топор, мы, наверное, могли бы прорубить палубный настил над кладовой и достать там провизию.

Я изложил этот план своим товарищам, оба вскрикнули от радости, и мы тотчас отправились на бак. Тут спускаться вниз оказалось гораздо труднее, так как проход был уже; кроме того, напомню, что всю надстройку над трапом в салон давно смыло, тогда как спуск в кубрик, представляющий собой простой люк площадью примерно в три квадратных фута, остался неповрежденным. Я, однако, не колебался ни секунды и, обвязавшись, как и раньше, веревкой, смело опустился в воду ногами вперед, быстро добрался до каюты и с первого же раза нашел топор. Мое появление было встречено с восторгом, а легкость, с какой удалось достать топор, сочли добрым знаком, предвещающим конечное избавление.

Надежда воодушевила нас, и мы поочередно с Петерсом принялись рубить палубу — Август не мог помочь нам из-за раненой руки. И все-таки мы могли работать без передышки лишь минуту-другую, потому что едва держались на ногах от слабости, и скоро поняли, что потребуются долгие часы, прежде чем мы сумеем прорубить достаточно широкое отверстие, чтобы свободно спуститься в кладовую. Однако это обстоятельство ничуть не обескуражило нас, и, провозившись всю ночь при свете луны, мы закончили нашу работу к рассвету двадцать третьего числа.

Петерс вызвался попытаться первым; приготовив все необходимое, он спустился вниз и скоро вернулся с небольшой банкой, которая, к нашей неописуемой радости, оказалась полной маслин. Поделив между собой плоды, мы с жадностью съели их и приготовились спустить Петерса вторично. На сей раз его успех превзошел все наши ожидания: он выбрался на палубу с большим куском окорока и бутылкой мадеры. Мы умеренно отведали вина, по опыту зная о губительных последствиях злоупотребления спиртным. Что до окорока, то, за исключением куска фунта в два у самой кости, он был совершенно попорчен морской водой. Мы разделили съедобную часть, и Петерс с Августом, не в силах удержаться, мгновенно проглотили свою долю; я же остерегся неминуемой жажды

и съел лишь крохотный кусочек. Потом мы решили отдохнуть от тяжких трудов.

Немного восстановив силы, мы в полдень снова принялись за добывание еды. Петерс и я до заката поочередно и с переменным успехом ныряли вниз, и нам посчастливилось вытащить еще четыре банки с маслинами, окорок, плетеную бутыль галлона на три с отличной мадерой и, что особенно обрадовало нас, небольшую черепаху из семейства галапагосских: перед отплытием «Дельфина» капитан Барнанд взял несколько таких черепах со шхуны «Мэри Питтс», которая ходила в Тихий океан за тюленями и только что вернулась из плавания.

В дальнейшем мне не раз придется упоминать об этом виде черепах. Обитают они, как, очевидно, известно моим читателям, на островах Галапагос, которые и берут свое наименование от названия животного: испанское слово galapago означает пресноводную черепаху. Из-за особой формы и необычного поведения этих черепах называют еще слоновыми. Иные из них имеют исполинские размеры. Я сам встречал таких, которые весили от двенадцати до пятнадцати сотен фунтов, хотя не припоминаю, чтобы кто-нибудь из моряков рассказывал, что видел экземпляр весом более одиннадцати сотен. Внешне эти черепахи весьма своеобразны, даже отвратительны. Передвигаются они очень медленно, тяжело и размеренно перебирая лапами и неся туловище в футе от земли. Шею они имеют чрезвычайно тонкую и длинную, обычно от полутора до двух футов, а однажды я убил особь, у которой от плеча до оконечности головы было не менее трех футов и десяти дюймов. Голова у них удивительно напоминает змеиную. Эти черепахи невероятно долго могут обходиться без пиши; известны случаи, когда их оставляли в трюме безо всякой пищи два года, и по истечении этого времени они были такими же мясистыми, как и прежде, и вообще находились в преотличном состоянии. В одном отношении эти необыкновенные четвероногие имеют сходство с одногорбым верблюдом, или дромадером. У основания шеи у них имеется сумка с постоянным запасом воды. Их иногда убивали после годового голодания, и в этих сумках обнаруживали до трех галлонов совершенно чистой, свежей воды. Питаются они по преимуществу дикой петрушкой и сельдереем, а также портулаком, морскими водорослями и опунцией; особенно на

пользу им идет последнее растение, которое обычно в обилии произрастает на склонах прибрежных холмов, именно там, где обитает и само животное.

Их мясо очень вкусно и высокопитательно, и нет сомнения в том, что не одна тысяча мореплавателей, занятых китобойным и другим промыслом в Тихом океане, обязана им жизнью.

Черепаха, которую нам посчастливилось вытащить из кладовой, была небольших размеров и весила, вероятно, шестьдесят пять — семьдесят фунтов. Нам попалась самка, необыкновенно жирная, и в сумке у нее мы нашли четверть галлона чистой прозрачной воды. Это было настоящее сокровище, и, дружно упав на колени, мы возблагодарили господа за своевременную помощь.

Мы изрядно потрудились, протаскивая черепаху через люк, потому что она яростно билась, а сила у нее удивительная. Она чуть не вырвалась у Петерса из рук и не упала снова в воду, но Август накинул ей на шею веревочную петлю и держал, пока я не спрыгнул вниз к Петерсу и не помог ему вытащить ее на палубу.

Мы осторожно перелили воду из сумки черепахи в кувшин, который, как вы помните, мы достали из кают-компании. Потом мы отбили горлышко от бутылки, заткнули ее пробкой, и у нас получилось, таким образом, нечто вроде бокала вместимостью в одну восьмую пинты. Каждый затем выпил эту меру, и на будущее было решено ограничиться именно этим количеством в день.

Последние два-три дня стояла сухая ясная погода, постельное белье, которое мы вытащили из кают-компании, и вся наша одежда совершенно просохли, так что эту ночь (на двадцать третье) мы провели в сравнительном комфорте, наслаждаясь безмятежным отдыхом после обильного ужина маслинами и окороком с глотком вина. Опасаясь, как бы не поднялся ветер и не снес наши припасы за борт, мы привязали их веревками к остаткам брашпиля. Черепаху мы решили сохранить живой как можно дольше и потому опрокинули на спину и тоже тщательно привязали.

13

Июль, 24 дня. Это утро мы встретили необыкновенно отдохнувшие и бодрые. Несмотря на тяжелое положение, в котором мы еще пребывали, ибо ничего не знали о нашем местонахождении, хотя, разумеется, были очень далеко от суши, располагали запасами продовольствия, которого при самом скудном рационе едва хватило бы на две недели, почти не имели воды и плыли по воле волн и ветров на самой жалкой в мире посудине, — несмотря на все это, мы склонны были воспринимать нынешние тяготы всего лишь как обычные неприятности, по сравнению с куда более ужасными несчастьями и опасностями, которых благодаря провидению мы совсем недавно избежали, — настолько относительны понятия блага и бедствия.

На рассвете мы приготовились было снова попытать счастья в камбузе, как началась гроза, сопровождаемая молниями, и мы решили набрать воды. Единственное, что мы могли сделать — снова прибегнуть к помощи простыни, которую мы уже использовали для этой цели. Положив на середину простыни юферс, мы растянули ее на руках, и вода, сбегавшая к середине, просачивалась сквозь полотно в кувшин. Таким способом мы почти наполнили нашу посуду, как вдруг с севера налетел свирепый шквал и началась такая бешеная качка, что невозможно было держаться на ногах. Тогда мы добрались до брашпиля и, крепко привязав себя к нему, как и раньше, стали пережидать непогоду с гораздо большим спокойствием, нежели можно вообразить при подобных обстоятельствах. В полдень ветер еще более усилился, а к вечеру разыгралась настоящая буря, подняв на море сильнейшее волнение. Опыт, однако, научил нас в целях самосохранения как можно крепче привязывать себя, и мы провели эту томительную ночь в сравнительной безопасности, хотя каждую минуту палубу обдавали волны, грозившие смыть нас за борт. К счастью, погода была теплая, и вода даже освежала.

Июль, 25 дня. Утром буря стихла до бриза скоростью десять миль в час, волнение тоже немного спало, так что вода не доставала нас. К величайшему нашему огорчению, мы обнаружили, что волны смыли обе банки с маслинами и окорок, несмотря на то что они были

привязаны самым тщательным образом. Мы решили пока не забивать черепаху и довольствовались на завтрак несколькими маслинами и порцией воды, которую мы наполовину смешали с вином, — напиток не вызывал неприятного ощущения, как это было после портвейна, а, напротив, придал нам бодрости и силы. Море оставалось еще бурным, и мы не могли снова заняться добыванием продовольствия в камбузе. На протяжении дня через отверстие люка несколько раз всплывали всякие бесполезные для нас предметы и тут же исчезали за бортом. Наш «Дельфин», как мы заметили, накренился почему-то больше обычного, так что мы не могли стоять на ногах, не привязываясь к чему-нибудь. Так тянулся этот томительный и неудачный день. В полдень солнце встало почти в зените, и это означало, что непрерывные северные и северо-западные ветры снесли нас к самому экватору. Вечером появилось несколько акул, и нас встревожило, что одна громадная хищница самым наглым образом приблизилась к судну. Был даже момент, когда судно сильно накренилось, палуба погрузилась в воду, и чудовище подплыло к нам совсем близко и несколько мгновений стояло над трапом в кают-компанию, сильно ударив Петерса хвостом. Мы облегченно вздохнули, когда волною его отнесло далеко прочь. Наверное, в спокойную погоду убить акулу не составило бы труда.

Июль, 26 дня. Утром ветер порядочно стих, волненье улеглось, и мы решили снова взяться за обследование кладовой. На протяжении целого дня мы неоднократно спускались вниз, пока не убедились, что рассчитывать больше не на что, ибо ночью волны проломили перегородку и все, что было в кладовой, смыло в трюм. Можно представить, в какое уныние повергло нас это обстоятельство.

Июль, 27 дня. Море почти спокойно, легкий ветерок но-прежнему с запада и северо-запада. В полдень сильно пекло солнце, сушили одежду. Потом купались — это облегчало жажду и вообще приносило облегчение; вынуждены были, однако, соблюдать величайшую осторожность: весь день вокруг судна шныряли акулы.

Июль, 28 дня. Ясная теплая погода. Бриг почему-то накренился до такой степени, что мы опасаемся, как бы он не перевернулся. Насколько смогли, приготовились к самому худшему, привязав нашу черепаху, бутыль с водой и две оставшиеся банки маслин как можно

дальше к наветренной стороне, вынеся их за корпус ниже вант-путенсов. Весь день море очень спокойно, ветра почти нет.

Июль, 29 дня. Погода держится. На раненой руке у Августа появились признаки гангрены. Он жалуется на сонливость и мучительную жажду, но не на боль. Единственное, что мы могли сделать, — это помазать рану остатками уксуса из-под маслин, но это, кажется, не помогло. Мы утешали его как могли и увеличили его рацион воды втрое.

Июль, 30 дня. Необыкновенно жаркий день, ни малейшего ветерка. Все утро совсем рядом с судном плыла огромная акула. Несколько раз пытались поймать ее арканом. Августу гораздо хуже, он слабеет, как, очевидно, от недостатка питания, так и от раны. Он умоляет нас избавить его от страданий, уверяя, что хочет умереть. Вечером съели последние маслины, а вода в бутыли настолько испортилась, что не могли хлебнуть ни глотка, не добавив в нее вина. Решено утром забить черепаху.

Июль, 31 дня. После беспокойной и утомительной из-за глубокого крена ночи приготовились забить и разделать черепаху. Она оказалась гораздо меньше, чем мы предполагали, хотя и в отличном состоянии: всего мяса набралось фунтов десять, не больше. Чтобы сохранить часть мяса как можно дольше, мы нарезали его тонкими кусочками, наполнили ими три банки из-под маслин и винную бутыль (мы не выбросили их), а затем залили остатками уксуса. Таким образом мы сделали трехфунтовый запас черепахового мяса, решив не притрагиваться к нему, пока не съедим остальное. Согласились ограничиться четырьмя унциями на каждого, чтобы растянуть мясо на тринадцать дней. В сумерки разразилась гроза со страшным громом и молниями, но она длилась совсем недолго, и мы успели набрать лишь полпинты воды. С общего согласия, всю эту воду отдали Августу, он чуть ни при смерти. Он пил прямо с простыни, которую мы держали над ним, и вода, просачиваясь, стекала ему в рот, — никакой посудины у нас не было. Продлись ливень чуть дольше, мы, разумеется, тогда вылили бы вино из бутыли и опорожнили бы кувшин с остатками протухшей воды.

Но вода, кажется, почти не помогла несчастному. Рука у него от кисти до плеча совсем почернела, и ноги были ледяные. Мы с ужасом ждали, что он вот-вот испустит последний вздох. Исхудал Август

страшно; если при отплытии из Нантакета он весил сто двадцать семь фунтов, то сейчас в лучшем случае сорок-пятьдесят. Глаза у него запали, их едва было видно, а щеки ввалились так, что он еле-еле мог жевать и даже пить.

Август, 1 дня. По-прежнему держится все та же ясная погода, изнуряюще жаркое солнце. Вода в кувшине кишит паразитами, мы изнываем от жары. Вынуждены сделать хоть по глотку, предварительно смешав ее с вином, но это не утоляет жажду. Гораздо большее облегчение приносит купание, но купаться вынуждены лишь изредка из-за постоянного присутствия акул. Теперь уже совершенно ясно, что Августа не спасти — он умирает. И мы ничем не можем облегчить его муки, а они, по-видимому, ужасные. Около полудня он скончался в страшных судорогах, не проронив ни слова; последние часы он вообще молчал. Смерть Августа навела нас на самые мрачные мысли, мы были угнетены сверх меры и целый день просидели неподвижно подле его тела, изредка переговариваясь шепотом. И лишь после наступления темноты у нас достало духа подняться и спустить его в море. На труп нельзя было смотреть без содрогания: он так разложился, что когда Петерс попытался приподнять его, то в руках у него осталась отломившаяся нога. Когда эта гниющая масса соскользнула с палубы в воду, в фосфорическом мерцании, которым она была окружена, мы увидели семь или восемь гигантских акул — они терзали свою жертву, и стук их зубов разносился, должно быть, на целую милю. При этих звуках мы съежились от неописуемого ужаса.

Август, 2 дня. Та же знойная безветренная погода. Зарю мы встретили подавленные и изнуренные. Вода в кувшине совершенно непригодна для питья, она превратилась в густую студенистую массу, кишащую отвратительными червями. Мы опорожнили кувшин и, влив туда немного уксуса из бутыли с законсервированным черепашьим мясом, хорошенько промыли морской водой. Будучи не в состоянии выносить более муки жажды, мы попытались облегчить их вином, но оно словно подлило масла в огонь и сильно опьянило нас. Потом мы попробовали смешать вино с морской водой, но нас тут же вырвало, и мы отказались от дальнейших попыток. Весь день мы искали возможности искупаться, но безуспешно: бриг со всех сторон буквально осаждали акулы — нет сомнения, то были такие же хищники, что накануне сожрали нашего несчастного спутника и

сейчас ждали подобного пиршества. Это обстоятельство огорчило нас безмерно и повергло в крайнее уныние. Дело в том, что купание приносило нам невыразимое облегчение, и вот теперь чудовища лишили нас такой возможности — ото было сверх всяких сил! Кроме того, нам постоянно грозила опасность: поскользнись чуть-чуть, сделай одно неверное движение, и сразу станешь добычей этих прожорливых хищников, которые, подплывая с подветренной стороны, нередко лезли прямо на нас. Ни крики, ни другие попытки отпугнуть их не давали результата. Даже когда Петерс топором сильно поранил одно чудовище, оно продолжало упрямо двигаться на нас. Когда опустились сумерки, надвинулась туча, но, к величайшему огорчению, прошла, не проронив ни капли дождя. Невозможно представить, как страдали мы от жажды в эти дни. Из-за этого, а также из-за акул мы провели ночь без сна.

Август, 3 дня. Никаких надежд на спасение. Бриг накренился еще сильнее, стоять на палубе совершенно невозможно. Занялись тем, чтобы поместить наши запасы черепашьего мяса и вина в безопасное место, даже если судно опрокинется. Раздобыли две свайки от вант-путенсов и топором загнали их в обшивку на наветренном борту в двух футах от воды и не так уж далеко от киля, так как бриг почти лежит на боку. К этим костылям мы и привязали наши запасы в надежде, что здесь они будут в большей сохранности, чем на прежнем месте под вант-путенсами. Весь день нестерпимо мучила жажда, и никакой возможности освежиться в воде из-за акул, которые ни на минуту не оставляют нас в покое. Нельзя сомкнуть глаз.

Август, 4 дня. Незадолго до рассвета мы почувствовали, что судно переворачивается и вот-вот опрокинется совсем, и повскакали с мест, чтобы нас не сбросило в воду. Поначалу бриг переворачивался медленно и равномерно, и мы успешно взбирались по наветренному борту с помощью веревок, тех самых, которые были привязаны к свайкам для хранения провизии и предусмотрительно оставленные нами на месте. Но мы не рассчитали ускорения при опрокидывании, и, когда судно стало переворачиваться быстрее, мы уже не могли взбираться с такой же скоростью, и, прежде чем успели сообразить, в чем дело, нас сбросило в воду на глубину нескольких морских саженей как раз под огромным корпусом брига.

При погружении в воду я не задержал в руках веревку, и теперь, поняв, что нахожусь под судном и силы мои почти иссякли, почти не пытался выплыть и приготовился к близкой смерти. Но и на этот раз я ошибся, ибо не взял во внимание обратный толчок опрокинувшегося корпуса. Наветренный борт качнулся в противоположную сторону, и вихревые потоки воды вынесли меня на поверхность с еще большей силой, нежели сбросили в глубину. Насколько можно было судить, меня вытолкнуло ярдах в двадцати от брига. Он лежал килем кверху, бешено раскачиваясь из стороны в сторону, а вокруг бились волны и ходили большие водовороты. Петерса нигде не было видно. В нескольких ярдах я заметил бочку из-под жира, кое-где плавали другие предметы с судна.

Теперь более всего приходилось остерегаться акул, которые шныряли поблизости. Чтобы не дать им приблизиться, я поплыл к бригу, отчаянно колотя руками и нотами по воде и поднимая столб брызг. Благодаря этой простой уловке я и спасся; море вокруг нашего корабля буквально кишело этими чудовищами за минуту до того, как он опрокинулся, так что они наверняка задевали меня, пока я плыл. Каким-то чудом я достиг брига целым и невредимым, хотя так выбился из сил, что ни за что не сумел бы забраться на него, если бы вовремя не подоспел Петерс, — к величайшей моей радости, он показался из-за киля (вскарабкавшись туда с другой стороны корпуса) и бросил мне веревку, одну из тех, что были привязаны к костылям.

Едва мы оправились от одной опасности, как наши мысли обратились к другой — неизбежности голодной смерти. Несмотря на все предосторожности, весь наш запас провизии смыло водой; не видя ни малейшей возможности раздобыть еды, мы оба поддались отчаянию; мы плакали, как дети, даже не пытаясь утешить друг друга. Трудно понять такую слабость, и тем, кто не попадал в подобные переделки, она наверняка покажется неестественной; но не нужно забывать, что от длительных лишений, выпавших на нашу долю, и постоянного страха мы почти помешались, и нас вряд ли можно было считать разумными существами. Впоследствии, оказываясь в столь же бедственных — если не хуже — обстоятельствах, я мужественно сносил все удары судьбы, а Петерс, как будет видно, обнаруживал философское спокойствие, столь же невероятное, как и его нынешнее ребячье слабоумие и малодушие, — вот что значит состояние духа.

В сущности, наше положение не сильно ухудшилось от того, что бриг опрокинулся и мы потеряли вино и черепаху (правда, пропала простыня, которой мы собирали дождевую воду, и кувшин, где хранили ее); дело в том, что все днище — на расстоянии двух-трех футов от скул и до киля — было покрыто плотным слоем моллюсков, оказавшихся вкусной, питательной пищей. В результате так страшившее нас кораблекрушение обернулось скорее благом в двух отношениях: у нас был теперь запас продовольствия, который при умеренном питании мы не исчерпаем и за месяц, и нынешнее наше месторасположение оказалось гораздо более удобным и менее опасным, чем прежде.

Однако неминуемые трудности с водой мешали нам оценить выгоды нашего нового положения. Мы сняли рубашки, чтобы в случае дождя быть готовыми немедленно воспользоваться ими, как раньше простынями, хотя, конечно же, не могли рассчитывать даже при самых благоприятных обстоятельствах набрать больше четверти кварты зараз. Мы страдали от жажды невыразимо, но на протяжении целого дня на небе не появилось ни единого облачка. Ночью Петерс на час забылся беспокойным сном, я же ни на минуту не мог сомкнуть глаз.

Август, 5 дня. Сегодня легкий ветер прибил к нам множество морских водорослей, в которых мы поймали дюжину небольших крабов, послуживших нам настоящим угощением. Мы ели их целиком, вместе с нежной скорлупой, и нашли, что они не так возбуждают жажду, как моллюски. Не видя никаких признаков акул, мы рискнули искупаться и пробыли в воде несколько часов. Это освежило нас, пить хотелось меньше, и мы, немного поспав, провели ночь спокойнее, чем предыдущую.

Август, 6 дня. В этот благословенный день пошел сильный дождь, который длился от полудня до заката. Вот когда мы пожалели, что не сберегли кувшин и бутыль! Мы могли бы, пожалуй, наполнить оба сосуда, как ни примитивен был наш способ собирания воды. Теперь же мы были вынуждены довольствоваться тем, что выжимали намокшие рубашки прямо в рот, ловя каждую каплю волшебной жидкости. В этом занятии мы провели весь день.

Август, 7 дня. Едва рассвело, как мы оба в единое мгновение заметили на востоке парус, очевидно приближавшийся к нам! Мы приветствовали чудесное зрелище долгими восторженными, хотя и

слабыми возгласами и тут же принялись подавать кораблю всевозможные знаки: размахивали рубашками, прыгали, насколько позволяли наши слабые силы, вопили во всю мощь легких, хотя корабль находился никак не меньше чем в пятнадцати милях. Судно постепенно приближалось к нам, и если оно не изменит курс, то в конце концов нас непременно заметят! Примерно через час после того, как на горизонте впервые показался парус, мы уже могли различить людей на палубе. Это была длинная, низко сидящая в воде топсельная шхуна с черным шаром на фор-брамселе и, очевидно, полным экипажем. Трудно было допустить, что нас не видят, и мы уже начали тревожиться, не собирается ли незнакомец пройти мимо, оставив нас на верную смерть. Как ни дико это звучит, такая изуверская жестокость порой совершается на море при схожих обстоятельствах существами, которых причисляют к человеческому роду. (Достаточно показателен в этом смысле случаи с бостонским бригом «Полли», судьба которого во многих отношениях так напоминает нашу, что я но могу не упомянуть о нем. 12 декабря 1811 года под командованием капитана Касно это судно грузоподъемностью сто тридцать тонн вышло из Бостона с грузом леса и съестных припасов, взяв курс на Санта-Круа. Помимо капитана на борту было восемь человек: его помощник, четыре матроса, кок, а также некий мистер Хант с принадлежащей ему молоденькой негритянкой. Пятнадцатого декабря, благополучно миновав Джорджес-банку, во время налетевшего с юго-запада шторма судно дало течь и в конце концов опрокинулось; к счастью, когда мачты снесло за борт, корабль выпрямился. Находившиеся на борту пробыли без огня и со скудным запасом продовольствия сто девяносто один день; двенадцатого июня оставшихся в живых капитана Касно и Сэмюэля Бэджера подобрал «Фэйм», который капитан Фезерстоун вел из Рио-де-Жанейро домой, в Гулль. Когда их снимали с обломков брига, они находились на 20º северной широты и 13º западной долготы, проделав, таким образом, путь в две тысячи с лишним миль! Девятого июля «Фэйм» повстречал бриг «Дромео», и капитан Перкинс высадил двух несчастных в Кенпебеке на сушу. Доклад, из которого мы заимствовали эти подробности, кончается следующими словами: «Возникает естественный вопрос: как они, проплыв такое огромное расстояние в наиболее судоходной части Атлантики, могли остаться никем не замеченными? Они видели более дюжины судов, причем

одно из них подошло так близко, что они отчетливо различали смотревших на них с палубы и мачт людей; но, к невыразимому разочарованию голодных, замерзающих страдальцев и вопреки всем законам человечности, те подняли паруса и бросили их на произвол судьбы».) Однако в данном случае, благодаря милости божьей, дело, к счастью, обстояло иначе. Вскоре мы заметили движение на палубе незнакомца, который тут же поднял британский флаг и, развернувшись, направился прямо к нам. Через полчаса мы были в каюте Шхуны «Джейн Гай» из Ливерпуля, направлявшейся под началом капитана Гая на тюлений промысел и с торговыми целями в Тихий и Южный океаны.

14

«Джейн Гай» была красивой топсельной шхуной грузоподъемностью сто восемьдесят тонн. У нее был необыкновенно острый нос, и с ветром при умеренной погоде она ходила с такой скоростью, какой я не наблюдал у других судов. Но для штормовых рейсов она годилась гораздо меньше, и осадка была слишком велика, если иметь в виду ее назначение. Промысел, для которого снарядили шхуну, требует судна большей грузоподъемности, скажем, от трех до трех с половиной сотен тонн, но соответственно меньшей осадки. Ее следовало бы оснастить как барк, да и конструкция ее желательна иная, нежели у кораблей, обычно плавающих в Южных морях. Совершенно необходимо также хорошее вооружение. На судне надо, к примеру, иметь десяток или дюжину двенадцатифунтовых каронад, две-три длинноствольные пушки с запасом картечи и водонепроницаемыми пороховыми ящиками. Якоря и канаты должны быть гораздо прочнее, нежели те, что надобны для другой службы, а главное, на таком корабле необходим многочисленный и опытный экипаж, пятьдесят — шестьдесят матросов первого класса по меньшей мере. На «Джейн Гай» помимо капитана и его помощника было всего лишь тридцать пять, правда, знающих свое дело людей, но все-таки ее вооружение и оснастка не удовлетворили бы моряка, знакомого с трудностями и опасностями тюленьего промысла.

Капитан Гай был вполне светский человек, обладавший значительным опытом плавания в этих широтах, чему он отдал многие годы своей жизни. Ему не хватало, правда, энергии и особенно того духа предпринимательства, который здесь совершенно необходим. Он был совладельцем шхуны и имел право по собственному усмотрению совершать рейсы в Южных морях, берясь за перевозку любого выгодного груза.

Как водится в плаваниях такого рода, сейчас он имел на борту запас бус, зеркал, огнив, топоров, тесаков, пил, стругов, зубил, стамесок, буравов, рубанков, рашпилей, напильников, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, лезвий, иголок, ниток, глиняной посуды, ситца, всякого рода безделушек и тому подобных товаров.

Шхуна вышла десятого июля из Ливерпуля, двадцать пятого пересекла тропик Рака под двадцатым градусом западной долготы и двадцать девятого достигла Сала, одного из островов Зеленого Мыса, где взяла на борт соль и другие припасы, необходимые для путешествия. Третьего августа «Джейн Гай» снялась с якоря и с островов Зеленого Мыса взяла курс на юго-запад, в направлении берегов Бразилии, чтобы пересечь экватор между двадцать восьмым и тридцатым градусом западной долготы. Это обычный маршрут судов, направляющихся из Европы к мысу Доброй Надежды и дальше — в Ост-Индию. Следуя этим путем, можно избежать штилей и сильных встречных течений, господствующих у берегов Гвинеи, а затем с помощью постоянных западных ветров достигнуть мыса Доброй Надежды, так что в конце концов этот путь оказывается кратчайшим. Первую остановку, не знаю даже, для какой надобности, капитан Гай намеревался сделать на Земле Кергелена. В тот день, когда нас подобрали, шхуна только что миновала мыс Сен-Рок на тридцать первом градусе западной долготы, так что мы продрейфовали с севера на юг расстояние не менее чем градусов в двадцать пять.

На борту «Джейн Гай» нас окружили таким вниманием, какого и требовало наше плачевное состояние. За две недели, пока судно следовало тем же курсом на юго-запад под мягким бризом и при чудесной погоде, мы с Петерсом полностью оправились от последствий пережитых недавно лишений и нечеловеческих страданий и теперь вспоминали происшедшее скорее как дурной сон, от которого так счастливо очнулись, нежели как действительные события во всей их беспощадной реальности. С тех пор мне не раз приходилось убедиться, что частичное выпадение памяти, которые я имею в виду, имеет причиной внезапный переход от радости к отчаянию или от отчаяния к радости, причем степень забывчивости пропорциональна степени противоположности наших переживаний. Как бы то ни было, лично я не могу в полной мере осознать бедствия, которые я перенес после кораблекрушения. Я помню цепь событий, но никак не чувства, владевшие тогда мной. Знаю только, что в тот момент, когда происходило то или иное событие, мне казалось, что больших мучений человек вынести не способен.

Несколько недель наше плавание продолжалось без каких-либо происшествий, если не считать разве что встреч с китобойными

судами; еще чаще попадались черные, или настоящие, киты, которые называются так в отличие от кашалотов. Правда, главным образом они встречаются южнее двадцать пятой параллели. Шестнадцатого сентября, находясь в непосредственной близости от мыса Доброй Надежды, шхуна перенесла первую с момента отплытия из Ливерпуля серьезную бурю. В этих местах, а еще чаще южнее и восточнее мыса (мы лежали к западу от него) морякам приходится вступать в схватку с яростными штормами, надвигающимися с севера. Они всегда несут сильнейшее волнение, и одна из их опаснейших особенностей состоит в мгновенной перемене ветра, каковая почти всегда происходит в самый разгар бури. С севера или северо-востока несется бешеный ураган, и вдруг в один момент ветер совершенно стихает, а затем с утроенной силой начинает дуть с юго-запада. Обыкновенно предвещает эту резкую перемену прояснение в южной части неба, так что на судах успевают принять необходимые меры предосторожности.

Итак, было шесть часов утра, когда на шхуну с севера, при сравнительно чистом небе, обрушился шквал. К восьми утра ветер еще более усилился, подняв такие гигантские волны, каких мне еще не приходилось видеть. Хотя мы убрали все паруса, шхуна держалась не так, как следовало бы океанскому паруснику. Ее кидало, как щепку, она то и дело зарывалась носом, и едва успевала выпрямиться, как накатывалась другая волна и накрывала ее. Мы следили за небом, и к исходу дня в юго-западной его части появилась ясная полоска. Спустя час передний парус безжизненно повис на мачте, а через две минуты, несмотря на все наши приготовления, шхуну точно по волшебству опрокинуло набок, и огромный поток пены окатил палубу. Дело, к счастью, ограничилось только шквалом, и нам удалось выровнять шхуну, не получив никаких повреждений. Поперечное волнение причиняло нам массу беспокойства еще несколько часов, но к утру на шхуне все было почти в том же порядке, как и до бури. Капитан Гай считал, что мы спаслись чуть ли не чудом.

Тринадцатого октября, находясь на 46º 53' ю.ш. и 37º 46' в.д., мы увидели острова Принс-Эдуард. Два дня спустя мы были у острова Владения, а затем прошли и острова Крозе, 42º 59' ю.ш. и 48º в.д. Восемнадцатого числа мы достигли острова Кергелен, или, как его еще называют, острова Запустения, в южной части Индийского океана, и бросили якорь в гавани Рождества на глубине около четырех саженей.

Этот остров, точнее — группа островов расположена к юго-востоку от мыса Доброй Надежды, почти в восьмистах лигах от него. Острова были впервые открыты в 1772 году французом бароном Кергуленом, или Кергеленом[1086], который принял их за выдающуюся часть южного материка, о чем и доложил на родине, вызвав большую сенсацию. Правительство заинтересовалось открытием и на следующий год послало барона исследовать новую землю — тогда-то и обнаружилась ошибка. В 1777 году на эти острова натолкнулся капитан Кук[1087] и нарек главный из них островом Запустения, какового названия он вполне заслуживает. Правда, когда впервые приближаешься к острову, этого не подумаешь, ибо с сентября по март склоны холмов одеты как будто пышной зеленью. Это ошибочное впечатление вызвано небольшим растением, напоминающим камнеломку, которая в обилии произрастает среди мха на болотистой почве. Другой растительности почти нет, если не считать высокую жесткую траву у самой гавани, лишайников и какого-то низкорослого кустарника, похожего на семенную капусту, но чрезвычайно горького и кислого на вкус.

Поверхность острова холмистая, хотя холмы отнюдь не высоки. Вершины их постоянно покрыты снегом. На острове есть несколько бухт, но гавань Рождества наиболее удобная из них. Если подходить к острову с северо-востока, то она будет как раз первой бухтой после мыса Франсуа, образующего северную оконечность острова и служащего хорошим ориентиром в силу своей необычной формы. Его выступающая часть заканчивается высокой скалой с большим естественным проломом, похожим на арку. Координаты горловины бухты — 48º 40' ю.ш. и 69º 6' в.д. Войдя в бухту, можно найти стоянку под прикрытием нескольких крошечных островов, защищающих судно от восточных ветров. Если двигаться отсюда к востоку, то попадешь в Осиную бухту, в самой глубине гавани. Этот маленький залив глубиной от трех до десяти саженей, к которому ведет проход в четыре сажени, со всех сторон окружен сушей и имеет твердое глинистое дно. Корабль может простоять здесь на якоре круглый год без малейшей опасности. В западной части Осиной бухты, у входа в нее, есть легкодоступный ручеек с отличной пресной водой.

На земле Кергелена и сейчас еще можно встретить и тюленей, и котиков, и множество морских слонов. Что до пернатых, здесь их

обитает огромное множество. Особенно многочисленны пингвины, в основном — четырех различных видов. Самый крупный вид — королевские пингвины, которых называют так благодаря величине и яркому оперению. Верхняя часть туловища у королевского пингвина обычно серая, иногда с лиловым оттенком, а нижняя — чистейшего белого цвета. Голова у него глянцевая, иссиня-черная, как и лапы. Главную же прелесть оперения составляют две широкие золотистые полоски, идущие от головы до груди. Клюв — длинный, розового цвета или ярко-алый. Ходят они величаво выпрямившись. Головку держат высоко, крылья опущены, точно две руки, а выступающий хвост несут на одной линии с лапами; сходство с человеческой фигурой настолько поразительно, что может обмануть не слишком внимательного наблюдателя и вводит в заблуждение в темноте. Королевские пингвины, которых мы встретили на Земле Кергелена, были гораздо больше гуся.

Кроме королевских пингвинов, бывают хохлатые пингвины, пингвины-глупыши и обыкновенные пингвины. Эти разновидности значительно мельче, не так красивы и вообще отличаются от королевских.

Помимо пингвинов, на островах обитает множество других птиц, среди которых можно упомянуть морских курочек, голубых буревестников, чирков, уток, портэгмондских курочек, бакланов, капских голубков, морских ласточек, крачек, чаек, всякие виды начурок, буревестников, включая исполинских, и, наконец, альбатросов.

Исполинский буревестник — хищная птица, величиной с обычного альбатроса. Иногда его зовут костоломом или скопой. Они нисколько не боятся людей, и их мясо, если умело приготовить, вполне пригодно в пищу. Часто они словно плывут над самой водой, широко раскинув крылья и как будто совсем не шевеля ими.

Альбатрос — одна из самых крупных и хищных птиц среди пернатых обитателей Южного океана. Принадлежат альбатросы к семейству буревестников, добычу терзают на лету, а на сушу летят только для размножения. Между ними и пингвинами существует какая-то странная привязанность. Они сообща строят гнезда, будто согласно некоему плану, совместно разработанному: гнездо альбатроса

помещается обыкновенно в середине небольшого квадрата, образованного четырьмя пингвиньими гнездами.

Моряки называют эти гнездовья «птичьим базаром». Описаний этих птичьих базаров имеется множество, но, поскольку мои читатели могут быть незнакомы с ними, а мне придется не раз упоминать о пингвинах и альбатросах, очевидно, не лишне рассказать здесь кое-что об их образе жизни и гнездовании.

Когда наступает период размножения, птицы собираются огромными стаями и несколько дней словно бы раздумывают, как устроить гнездовье, и лишь затем приступают к делу. Прежде всего они находят горизонтальную площадку подходящих размеров, обычно в три-четыре акра, расположенную как можно ближе к воде, но вне досягаемости волн. Место выбирается ровное, предпочтительно без камней. Затем, будто подчиняясь единому побуждению, они все, как один, разом начинают ходить друг за другом, с математической точностью вытаптывая квадрат или четырехугольник (в зависимости от характера почвы) достаточных размеров, чтобы разместиться всем, но никак не больше, ибо птицы исполнены, кажется, решимости не допустить сюда чужаков, не участвовавших в устройстве лагеря. Одна сторона выбранной площадки параллельна линии воды и открыта для входа и выхода.

Наметив очертания колонии, пингвины принимаются расчищать площадку от всякого сора, таская камешек за камешком и складывая их вдоль границ, так что с трех сторон, обращенных к суше, выстраивается своего рода стенка. С внутренней ее стороны протаптывается гладкая дорожка шириной шесть — восемь футов для общих прогулок.

Затем птицам предстоит разделить всю площадку на небольшие и совершенно одинаковые квадраты. Делается это посредством узких гладких тропинок, пересекающихся друг с другом под прямым углом по всей колонии. На каждом пересечении сооружают свои гнезда альбатросы, а в центре каждого квадрата — пингвины; таким образом, каждый альбатрос окружен четырьмя пингвинами, а каждый пингвин таким же количеством альбатросов. Пингвинье гнездо представляет собой неглубокую ямку, чтобы только не выкатилось единственное яйцо. Самка альбатроса устраивается поудобнее, сооружая из земли,

морских водорослей и ракушек холмик в фут высотой и два фута диаметром. На верхушке холмика и делается гнездо.

Птицы крайне осторожны и ни на секунду не оставляют гнездо пустым в период высиживания и даже до того времени, пока птенец не окрепнет и не научится сам заботиться о себе. Пока самец летает в море, добывая пищу, самка исполняет свои обязанности и лишь по возвращении партнера решается ненадолго покинуть гнездо. Яйца вообще никогда не остаются открытыми: когда одна птица снимается с гнезда, другая тут же занимает ее место. Эта мера предосторожности вызвана повсеместным воровством в колонии: обитатели ее не прочь при первом же удобном случае стянуть друг у друга яйца.

Хотя встречаются колонии, где обитают только пингвины и альбатросы, все же в большинстве случаев в них селятся самые разные морские птицы, причем все пользуются равными правами гражданства и устраивают свои гнезда там, где найдется местечко, не посягая, однако, на те, что заняты более крупными птицами. С расстояния птичьи базары являют зрелище совершенно необыкновенное. Застилая небо, альбатросы вперемешку со всякой мелкотой постоянно тучами реют над гнездовьем, то отправляясь в море, то возвращаясь назад. В это же самое время можно наблюдать толпы пингвинов — одни спешат взад-вперед по узким тропинкам, другие с характерной, как бы военной, выправкой вышагивают по дорожке вдоль стен, окружающих колонию. Словом, при пристальном наблюдении понимаешь, что нет ничего более поразительного, нежели эта задумчивость пернатых существ, и решительно ничто не заставляет так задуматься любого нормального человека, как это зрелище.

В то самое утро, когда мы бросили якорь в гавани Рождества, первый помощник капитана м-р Паттерсон распорядился спустить шлюпки и — хотя сезон охоты еще не начался — отправился на поиски тюленей, высадив капитана и его юного родственника на голой косе к западу от бухты: им надо было по каким-то делам пробраться в глубь острова.

Капитан Гай имел при себе бутылку с запечатанным письмом и с места высадки направился к самому высокому здесь холму. Он, очевидно, намеревался оставить на вершине письмо для какого-то судна, которое должно прийти за нами. Как только они скрылись из виду, мы (я и Петерс тоже были с шлюпке с помощником капитана)

пустились в путь вокруг острова, высматривая лежбище тюленей. Мы провели за этим занятием около трех недель, тщательно исследуя каждую бухточку, каждый укромный уголок не только на Земле Кергелена, но и на соседних островках. Наши труды не увенчались, однако, сколько-нибудь значительным успехом. Мы наткнулись на множество котиков, но они оказались чрезвычайно пугливы, и при всех наших стараниях мы сумели раздобыть лишь триста пятьдесят шкурок. В изобилии было и морских слонов, особенно на западном берегу, однако убили мы всего штук двадцать, да и то с большими трудностями. На островках попадалось немало обыкновенных тюленей, но мы решили их не брать. Одиннадцатого числа мы вернулись на шхуну, где уже находился капитан Гай с племянником — они вынесли весьма безотрадное впечатление из своей вылазки на остров, который, по их словам, представлял собой одно из самых неприглядных и пустынных мест на земле. Из-за нерасторопности второго помощника, забывшего вовремя послать за ними лодку, они были вынуждены две ночи провести на острове.

15

Двенадцатого ноября мы подняли паруса и, покинув гавань Рождества, взяли курс назад, к западу, оставляя по левому борту остров Марион из группы островов Крозе. Затем мы миновали остров Принс-Эдуард, который тоже остался слева, и, держась немного к северу, через пятнадцать дней достигли островов Тристан-да-Кунья под 37º 8' ю.ш. и 12º 8' з.д.

Эта группа, ныне исследованная и состоящая из трех крупных островов, была открыта португальцами; потом, в 1643 году, там побывали голландские моряки, а в 1767 — французы. Три острова образуют как бы треугольник и отстоят друг от друга миль на десять, так что между ними имеются отличные широкие проливы. Местность там возвышенная, особенно на самом Тристан-да-Кунья. Этот самый большой остров из всех имеет в окружности пятнадцать миль и так высок, что в ясную погоду хорошо виден на расстоянии восьмидесяти — девяноста миль. Северная часть острова вздымается более чем на тысячу футов над уровнем моря, образуя высокогорное плато, тянущееся до середины острова, на котором возвышается огромная коническая гора наподобие Тенерифского пика. У подножия горы растут большие деревья, но верхняя половина представляет собой голую скалу, большую часть года покрытую снегом и обычно окутанную облаками. Вокруг острова нет ни мелей, ни рифов, берега очень круты и глубина там порядочная. Только на северо-востоке расположен заливчик с отмелью из черного песка, где при южном ветре легко пристать на лодках. Тут же можно раздобыть отличной пресной воды и наловить трески и другой рыбы.

Второй по величине остров лежит к западу и носит название Недоступного. Его точные географические координаты — 37º 17' ю.ш. и 12º 24' з.д. Он имеет семь-восемь миль в окружности, и крутые, обрывистые берега придают ему непривлекательный вид. Он увенчан совершенно плоским бесплодным плато, на котором лишь кое-где произрастает низкорослый кустарник.

Соловьиный остров, самый маленький и южный из всей группы, расположен на 37º 26' ю.ш. и 12º 12' з.д. От южной его оконечности

отходит цепь крохотных скалистых островков; несколько похожих островков видны также на северо-востоке. Местность на Соловьином пересеченная и бесплодная, частично перерезанная глубокой долиной.

В соответствующее время года берега островов изобилуют морскими львами, морскими слонами, тюленями, котиками и всякого рода морскими птицами. Немало в этих водах и китов. Первоначально охота здесь была делом весьма легким, благодаря чему, очевидно, на эти острова частенько наведывались суда, особенно голландские и французские. В 1790 году капитан Пэттен из Филадельфии на корабле «Индустрия» достиг острова Тристан-да-Кунья и пробыл здесь семь месяцев (с августа 1790 по апрель 1791 года), занимаясь охотой на тюленей. За это время он добыл не менее пяти тысяч шестисот шкур и уверял, что мог бы без особого труда за три недели загрузить тюленьим жиром большой корабль. Если не считать нескольких диких коз, он не встретил на островах четвероногих; теперь же здесь водится множество ценнейших домашних животных, которых завезли сюда впоследствии.

Вскоре после экспедиции капитана Пэттена, если не ошибаюсь, на Тристан-да-Кунья прибыл для отдыха экипажа и пополнения запасов американский бриг «Бетси» под началом капитана Колкхуна. Они посадили на острове лук, картофель, капусту и другие овощи, которые сейчас там в обилии и произрастают.

В 1811 году на Тристане высадился некий капитан Хейвуд с «Нерея». Он встретил здесь трех американцев, которые жили на острове, занимаясь добычей тюленьих шкур и жира. Один из них, Джонатан Лэмберт, считал себя правителем острова. Он расчистил порядочный участок, акров в шестьдесят, и принялся выращивать кофейное дерево и сахарный тростник, которыми его снабдил американский консул в Рио-де-Жанейро. Со временем, однако, поселенье опустело, и в 1817 году английское правительство, послав туда с мыса Доброй Надежды воинское соединение, объявило острова собственностью британской короны. Англичане, впрочем, недолго удерживали острова, хотя после эвакуации соединения две-три английских семьи поселились здесь как частные лица. Двадцать пятого марта 1824 года капитан Джеффри, шедший на «Бервике», остановился здесь по пути из Лондона на Землю Ван-Димена и нашел англичанина Гласса, бывшего капрала британской артиллерии. Он

назвал себя губернатором островов и имел под началом двадцать одного мужчину и трех женщин. Он весьма хвалил здешний здоровый климат и плодородную почву. Колонисты занимались преимущественно добычей тюленьих шкур и заготовкой жира морских слонов, сбывая это на небольшой, принадлежащей Глассу шхуне торговцам в Кейптауне. Когда мы прибыли сюда, «губернатор» по-прежнему правил островами, а его колония увеличилась и насчитывала сейчас пятьдесят шесть человек на Тристане и небольшое поселение из семи душ на Соловьином острове. Здесь мы запаслись почти всем необходимым. Глубина, составляющая около восемнадцати саженей, позволила нам подойти почти к самому берегу Тристана и без труда взять на борт овец, свиней, волов, кроликов, домашнюю птицу, коз, множество всякой рыбы и овощей. Кроме того, капитан Гай купил у Гласса пятьсот тюленьих шкур и слоновой кости. Мы пробыли здесь неделю, пока с севера и запада дули сильные ветры и стояла пасмурная погода. Пятого ноября мы снялись с якоря и взяли курс на юго-запад, намереваясь провести тщательные поиски группы островов Аврора, относительно существования которых имелись самые разноречивые мнения.

Утверждают, что эти острова были открыты еще в 1762 году капитаном судна «Аврора». По словам капитана Мануэля де Оярвидо, в 1790 году на «Принцессе», принадлежащей Королевской Филиппинской компании, он прошел посреди этих островов. В 1794 году, с целью установить точное их расположение, в эти широты отправился испанский корвет «Атревида», и в сообщении Королевского Гидрографического общества в Мадриде, опубликованном в 1809 году, об этой экспедиции говорилось следующее: «В период между двадцать первым и двадцать седьмым января корвет „Атревида“, курсируя в этом районе, произвел все необходимые наблюдения и определил с помощью хронометров разницу в долготе между портом Соледад на Мальвинских островах и этими островами. Островов оказалось три, все они расположены примерно на одном меридиане; центральный остров низменный, но два других видны с расстояния девяти лиг». Наблюдения, сделанные на борту «Атревиды», позволили определить точное местоположение каждого острова: северный 52º 37'24" ю.ш. и 47º 43'15" з.д.;

центральный — 53° 2'40" ю.ш. и 47° 55'15" з.д.; южный — 53° 15'22" ю.ш. и 47° 57'15" з.д.

Двадцать седьмого января 1820 года капитан британского морского флота Джеймс Уэддел[1088] тоже отправился с Земли Стэтепа на поиски Авроры. Он заявил, что, тщательно обследовав не только пункты, координаты которых указал командир «Атревиды», но и близлежащие районы, он нигде не обнаружил признаков суши. Эти противоречивые заявления побудили других мореходов пускаться на поиски Авроры, и вот что странно: если некоторые, избороздя каждый дюйм в водах, где должны бы лежать эти острова, так и не наткнулись на них, то немало было и таких, которые положительно уверяли, что видели эту группу и даже подходили к берегам. Поэтому капитан Гай и хотел приложить все усилия, чтобы решить этот необыкновенный спор. (Среди судов, чьи экипажи утверждают, что встречали острова Авроры, можно упомянуть «Сан-Мигель» (1769), «Аврору» (1774), бриг «Жемчужина» (1779) и судно «Долорес» (1790). Все сходятся на том, что острова расположены на 53° ю.ш.)

При переменной погоде мы продолжали наш путь на юго-запад, пока двадцатого числа не вошли в район, из-за которого разгорелся спор, — на 53° 15' ю.ш. и 47° 58' з.д., то есть оказались в пункте, где, по сведениям, лежит южный из трех островов. Не встретив ничего, мы повернули на запад и по пятьдесят третьей параллели дошли до пятидесятого меридиана. Затем мы взяли курс на север я, пройдя до пятьдесят второй параллели, поплыли на восток, держась строго заданного курса и сверяя свои координаты утром и вечером с расположением небесных тел. Достигнув меридиана, который проходит через западную оконечность острова Южная Георгия, мы снова повернули на юг и вернулись к исходной точке. Затем мы прошли по диагоналям образованного таким образом четырехугольного участка моря, постоянно держа вахтенного на марсе, и в течение трех недель, пока стояла удивительно приятная ясная погода, снова и снова тщательно повторяли наши наблюдения.

Само собой разумеется, мы были вполне удовлетворены: если какие-либо острова и существовали здесь прежде, то сейчас от них не осталось и следа. Уже после возвращения на родину я узнал, что эти же места с таким же тщанием исследовали в 1822 году капитан Джонсон на американской шхуне «Генри» и капитан Моррел[1089] на

американской шхуне «Оса», и в обоих случаях выводы совпали с нашими собственными.

16

Первоначально план капитана Гая состоял в том, чтобы, обследовав район предполагаемого архипелага Аврора, пройти Магелланов пролив и подняться вдоль западных берегов Патагонии к северу, но сведения, полученные на Тристан-да-Кунья, побудили его взять курс на юг в расчете обнаружить группу крохотных островов, расположенных будто бы на 60º ю.ш. и 41º 20' з.д. В том случае, если островов в указанных координатах не окажется, мы должны были при условии благоприятной погоды двинуться к полюсу. Соответственно двенадцатого декабря мы подняли паруса и пошли к югу. Восемнадцатого числа мы были в районе, который указал Гласс, и трое суток бороздили эти воды, не находя никаких следов островов. Погода была преотличная, и двадцать первого мы снова взяли курс на юг, решив плыть в том направлении как можно дальше. Прежде чем приступить к этой части моего повествования, не лишне вкратце рассказать о немногочисленных попытках достичь Южного полюса, которые до сих пор предпринимались, имея в виду тех читателей, которые не следили за исследованиями этих районов.

Первую такую попытку, о которой мы знаем что-то достоверное, предпринял капитан Кук. В 1772 году он отправился на корабле «Резольюшн» к югу; его сопровождал лейтенант Фурно на корабле «Адвенчур». В декабре он достиг пятьдесят восьмой параллели под 26º 57' западной долготы. Здесь он наткнулся на узкие ледяные поля толщиной восемь — десять дюймов, простиравшиеся к северо-западу и юго-востоку. Льдины громоздились друг на друга, образуя большие торосы, так что корабли с трудом проходили между ними. По обилию птиц и другим признакам капитан Кук тогда заключил, что они находятся недалеко от суши. Несмотря на холода, он продолжал плыть к югу и на 38º 14' западной долготы прошел шестьдесят четвертую параллель. Потом значительно потеплело, подули легкие ветры, пять дней термометр показывал тридцать шесть градусов[1090]. В январе 1773 года суда капитана Кука пересекли Южный полярный круг, но дальше пройти ему не удалось: на шестьдесят седьмой параллели путь преградили сплошные ледяные поля, которые тянулись вдоль всего

горизонта, насколько хватал глаз. Лед был самый разнообразный, иные льдины, протяженностью несколько миль, представляли сплошные массивы, возвышавшиеся на восемнадцать-двадцать футов над водой. Ввиду позднего времени года капитан Кук не рассчитывал обойти льды и неохотно повернул обратно, на север.

В ноябре того же года он возобновил свои исследования Антарктики. На 59º 40' южной широты он попал в сильное течение, направлявшееся к югу. В декабре, когда экспедиция находилась на 67º 31' южной широты и 142º 54' западной долготы, наступили жестокие морозы с сильными ветрами и туманами. Тут тоже было множество птиц — альбатросов, пингвинов и особенно буревестников. На 70º 23' южной широты путешественники встретили несколько больших айсбергов, а несколько позже заметили белоснежные облака на юге, что указывало на близость сплошных ледовых полей. На 71º 10' южной широты и 106º 54' западной долготы мореплавателям, как и в первый раз, преградил путь гигантский ледяной массив, застилавший всю южную часть горизонта. Северный край этого массива на добрую милю вглубь был изрезан крепко спаянными торосами, и пробиться здесь оказалось никак невозможным. За ними на какое-то расстояние тянулась сравнительно ровная поверхность, а совсем вдали виднелись цепи громоздящихся друг на друга ледяных гор. Капитан Кук решил, что эти огромные ледовые поля простираются до самого полюса или примыкают к какому-то материку. Мистер Дж. — Н.Рейнольдс[1091], чьи самоотверженные усилия и упорство увенчались наконец подготовкой национальной экспедиции для исследования, в частности, и этих районов, говорит о попытках корабля «Резольюшн»: «Не приходится удивляться, что капитан Кук не сумел пройти дальше 71º 10'; поразительно, что ему удалось достичь этого пункта на 106º 54' западной долготы. Земля Палмера лежит южнее Шетландских островов, расположенных на шестьдесят четвертой параллели, и тянется к югу и западу дальше, чем проникал кто-либо из мореплавателей. Кук считал, что достиг земли, когда льды преградили ему путь, что, очевидно, неизбежно в этом районе и в такое раннее время года, как шестое января. Мы не удивимся, если ледяные горы, им описанные, действительно примыкают к Земле Палмера или являются частью суши, лежащей дальше к югу и западу».

В 1803 году русский царь Александр послал капитанов Крузенштерна[1092] и Лисянского в кругосветное плавание. Пробираясь к югу, они достигли только 59º 58' на 70º 15' западной долготы. В этом пункте обнаружилось сильное течение на восток. Они встретили множество китов, но льдов не видели. По поводу этой экспедиции мистер Рейнольдс замечает, что, если бы Крузенштерн прибыл сюда в более раннее время года, он непременно наткнулся бы на льды, но он оказался на указанном месте лишь в марте. Господствующие тут южные и западные ветры, а также течения отнесли дрейфующие льдины в район сплошных льдов, ограниченный с севера островом Южная Георгия, с востока Сандвичевыми и Южными Оркнейскими островами, а с запада — Южными Шетландскими.

В 1822 году капитан британского военно-морского флота Джеймс Уэддел на двух небольших суденышках проник к югу дальше всех своих предшественников, причем не испытал при этом особых трудностей. Он утверждает, что хотя во время плавания льды не раз затирали его корабли, но, когда он достиг семьдесят второй параллели, море оказалось совершенно чистым, и до 74º 15' ему попались лишь три ледяных островка. Удивительно, что, несмотря на большие стаи птиц и другие признаки близости земли, несмотря на то, что южнее Шетландских островов его марсовые заметили какие-то полоски суши, тянувшиеся к югу, капитан Уэддел отрицает предположение о существовании материка в южной полярной области.

Одиннадцатого января 1823 года капитан Бенджамин Моррел отплыл на американской шхуне «Оса» с острова Кергелен, намереваясь проникнуть как можно дальше на юг. Первого февраля он был на 64º 52' южной широты и 118º 27' восточной долготы. Вот запись в вахтенном журнале за то число: «Ветер задул со скоростью одиннадцати миль в час, и мы, воспользовавшись этим, поплыли к западу. Будучи, однако, убежденными, что чем дальше мы продвинемся от шестьдесят четвертой параллели к югу, тем менее вероятность встретить льды, мы взяли немного южнее, пересекли Южный полярный круг и достигли 69º 15' южной широты. На этой параллели замечены лишь несколько ледяных островков, но никакого сплошного льда».

Я обнаружил также следующую запись, датированную четырнадцатым марта: «Море совершенно свободно ото льда, видели

вдали с дюжину ледяных островков. Температура воздуха и воды по крайней мере на тринадцать градусов выше обычной между шестидесятой и шестьдесят второй параллелью. Сейчас мы находимся на 70º 14' южной широты, температура воздуха — сорок семь градусов, воды — сорок четыре. В этих условиях магнитное склонение 14º 27' восточное… Мне неоднократно доводилось на разных меридианах пересекать Южный полярный круг, и каждый раз я убеждался, что чем дальше я захожу за шестьдесят пятую параллель, тем теплее становится воздух и вода и тем больше, соответственно, отклонение стрелки. В то же время к северу от этой параллели, скажем между шестидесятой и шестьдесят пятой, мы часто с трудом находили проход между огромными бесчисленными айсбергами, причем иные были от мили до двух в окружности и возвышались над водой футов на пятьсот, а то и более».

Поскольку топливо и запасы воды были на исходе, поскольку на корабле не имелось хороших инструментов и близилась полярная зима, капитан Моррел был вынужден отказаться от попытки пробиться дальше на юг и повернул назад. Он высказывает убеждение, что достиг бы восемьдесят пятой параллели, а то и полюса, если бы не указанные неблагоприятные обстоятельства, заставившие его отступиться от своего намерения. Я пространно излагаю соображения капитана Моррела об этих делах для того, чтобы читатель имел возможность убедиться, в какой степени они подтверждаются моим собственным последующим опытом.

В 1831 году капитан Биско[1093], состоящий на службе у господ Эндерби, лондонских владельцев китобойных судов, отправился на бриге «Лайвли» и кутере «Фуле» в Южный океан. Двадцать восьмого февраля, находясь на 66º 30' южной широты и 47º 13' восточной долготы, мореплаватели заметили землю и «среди снега отчетливо разглядели черные вершины горной гряды, тянущейся ост-зюйд-ост». Биско пробыл в этих водах весь следующий месяц, но из-за бурного моря так и не подошел к берегу ближе чем на десять лиг. Убедившись, что продолжать исследования в это время года невозможно, он повернул на север, чтобы перезимовать на Земле Ван-Димена.

В начале 1832 года он снова отправился на юг и четвертого февраля, находясь на 67º 15' южной широты и 69º 29' западной долготы, увидел на юго-востоке землю. Она оказалась островом,

примыкавшим к мысу на материке, который он обнаружил раньше. Двадцать четвертого числа ему удалось высадиться на острове, который он именем короля Вильгельма IV объявил собственностью британской короны и в честь королевы назвал островом Аделейд. Когда обстоятельства путешествия стали известны Королевскому Географическому обществу в Лондоне, ученые мужи пришли к выводу, что «от 47º 30' восточной долготы до 69º 29' западной долготы вдоль шестьдесят шестой — шестьдесят седьмой параллели тянется сплошная полоса суши».

Мистер Рейнольдс замечает по этому поводу: «Мы никоим образом не можем присоединиться к этому заключению, и открытия Биско не дают к тому никаких оснований. Именно между этими двумя пунктами Уэддел проследовал к югу по меридиану, проходящему к востоку от острова Южная Георгия, от Сандвичевых, Южных Оркнейских и Южных Шетландских островов». Как будет видно, мой собственный опыт доказывает полнейшую несостоятельность вывода, к которому пришло Общество.

Таковы основные экспедиции, которые пытались проникнуть в высокие широты юга, из чего следует, что до плавания «Джейн Гай» ни один корабль не пересекал Южный полярный круг на огромных расстояниях, соответствующих тремстам градусов этой параллели. Перед нами открывалось широкое поле для исследований, и потому я с глубочайшим интересом воспринял решение капитана Гая смело идти на юг.

17

Отказавшись от поисков островов, о которых говорил Гласс, мы четыре дня плыли к югу, не встречая на своем пути никаких льдов. В полдень двадцать шестого, когда мы были на 63º 23' южной широты и 41º 25' западной долготы, показалось несколько больших айсбергов и ледяное поле, однако небольшой протяженности. С юго-востока и северо-востока дули постоянные, но не сильные ветры. Когда поднимался западный ветер, а это случалось не часто, то он неизбежно сопровождался порывами дождя. Каждый день выпадает хоть немного снега. Двадцать седьмого термометр показывал тридцать пять градусов.

Январь, 1 дня, 1828 года. Сегодня нас со всех сторон окружили льды, которым, казалось, нет ни конца ни краю, так что перспективы наши были безрадостны. Всю вторую половину дня с северо-востока несся штормовой ветер, и большие дрейфующие льдины с такой силой ударялись о подзор кормы и руль, что мы начали опасаться серьезнейших последствий. К вечеру ветер продолжал дуть с прежней яростью, большое ледовое поле впереди нас разошлось, и нам удалось, поставив все паруса, пробиться сквозь льдины к большой полынье. Приближаясь к ней, мы постепенно убирали паруса, а выйдя на чистую воду, оставили лишь зарифленный фок.

Январь, 2 дня. Стоит вполне умеренная погода. Мы пересекли Южный полярный круг и в полдень были на 69º 10' ю.ш. и 42º 20' з.д. К югу льдов почти не видно, хотя за нами расстилаются целые поля. Соорудили что-то вроде лота, используя для этого чугунный котел на двадцать галлонов и канат в двести саженей, и нашли течение, отходящее к северу со скоростью четверть мили в час. Температура воздуха — около тридцати трех градусов. Магнитное склонение — 14º 28' восточное.

Январь, 5 дня. Продолжали путь к югу без особых препятствий. Утром, однако, находясь на 73º 15' ю.ш. и 42º 10' з.д., «Джейн Гай» снова наткнулась на огромное поле спаянного льда. Правда, дальше к югу за ним открывалось большое пространство чистой воды, и мы надеялись, что в конце концов достигнем его. Идя вдоль края ледника

к востоку, мы обнаружили проход шириною в милю, который и прошли к заходу солнца. Море, в которое мы вышли, было усеяно ледяными островами, но свободно от полей, так что мы смело продвигались вперед. Холод, кажется, не усиливается, хотя часто идет снег, а иногда порывы ветра приносят град. Сегодня с юга на север пролетели огромные стаи альбатросов.

Январь, 7 дня. Море сравнительно чисто, и мы без труда следуем своим курсом. На западе заметили несколько айсбергов невероятно больших размеров, а в полдень прошли совсем рядом мимо одного из них, достигающего в высоту не менее четырехсот саженей от поверхности океана. У основания он имел, очевидно, в поперечнике три четверти лиги; по склонам его из расселин бежали потоки воды. Два дня этот гигантский остров оставался в пределах видимости и лишь затем скрылся в тумане.

Январь, 10 дня. Рано утром случилось несчастье: упал за борт человек. Это был американец по имени Питер Реденбург, уроженец Нью-Йорка, один из самых опытных матросов на шхуне. Взбираясь на нос, он поскользнулся и упал между двумя льдинами — больше мы его не видели.

В полдень мы были на 73º 30' южной широты и 40º 15' западной долготы. Сильный холод, с севера и востока то и дело налетает град. На востоке видели несколько огромных айсбергов, и вообще весь горизонт в той стороне застлан громоздящимися друг на друга рядами льда. Вечером мимо нас проплыли какие-то деревянные обломки, и снова множество направляющихся к северу птиц — исполинские буревестники, качурки, альбатросы, а также неизвестная большая птица с ярко-синим оперением. Магнитное склонение меньше, чем было до того, как мы пересекли Южный полярный круг.

Январь, 12 дня. Наше продвижение к югу снова вызывает сомнения: впереди не видно ничего, кроме бескрайнего ледяного пространства и гигантских нагромождений льда, угрожающе нависающих одно над другим. Мы повернули на восток и плыли, рассчитывая найти проход, в течение двух дней.

Январь, 14 дня. Утром достигли западной оконечности ледяного поля, преградившего нам путь, и, обойдя ее с наветренной стороны, вышли в открытое, без единой льдинки, море. Опустив наш лот на двести саженей, мы обнаружили, что течение отошло к югу со

скоростью полмили в час. Температура воздуха — сорок семь градусов, воды — тридцать четыре. Плыли на юг, не встречая сколько-нибудь значительных препятствий, вплоть до шестнадцатого числа, когда в полдень на 42º зап. долготы достигли восемьдесят первой параллели с 21'. Здесь мы снова опустили лот — течение все так же шло на юг, но уже со скоростью три четверти мили в час. Магнитное склонение уменьшилось, воздух мягкий и приятный; термометр поднялся до пятидесяти одного градуса. Льда совершенно нет. Матросы теперь убеждены, что мы достигнем полюса.

Январь, 17 дня. День полон всяких происшествий. С юга летят бесчисленные стаи птиц. Нескольких мы подстрелили, и одна из них, напоминавшая пеликана, имела отличное мясо. Около полудня с верхушки мачты слева по борту заметили небольшую льдину и на ней какое-то крупное животное. Погода была ясная, безветренная, капитан Гай распорядился спустить две шлюпки, чтобы посмотреть животное вблизи. Мы с Дирком Петерсом отправились вместе с помощником капитана в большой шлюпке. Подплыв к льдине, мы увидели огромного зверя из породы полярных медведей, но гораздо больших размеров, нежели самый крупный из них. Мы были хорошо вооружены и, не колеблясь, напали на животное. Один за другим раздались выстрелы, большинство достигло цели. Пули попали зверю в голову и туловище, но, очевидно, не причинили ему вреда, ибо он бросился с льдины в воду и с раскрытой пастью поплыл к шлюпке, в которой находились мы с Петерсом. Не ожидая такого оборота дела, мы растерялись, никто не был готов сделать второй выстрел и отразить нападение, так что медведю удалось наполовину перевалиться своим огромным туловищем через планшир и схватить одного из матросов за поясницу. Только ловкость и мужество Петерса спасли нас в этих чрезвычайных обстоятельствах от гибели. Вспрыгнув на зверя, он вонзил ему в шею нож, одним ударом повредив спинной мозг. Медведь обмяк и безжизненной тушей скатился в море, увлекая за собой Петерса. Тот вскоре выплыл, ему бросили веревку, которой он перевязал медведя, и сам выбрался из воды. Мы взяли на буксир нашу добычу и с триумфом вернулись на шхуну. Мы измерили тушу медведя — она достигала полных пятнадцати футов. Шерсть его была чистейшего белого цвета, очень жесткой и слегка завивалась. Кроваво-красные глаза были побольше, чем у полярного медведя, морда тоже

более округлая, напоминающая скорее бульдога. Мясо его оказалось ножным, но чересчур жирным и отдавало рыбой, хотя матросы, с аппетитом отведав его, нашли вкусным и питательным.

Едва мы успели подтянуть нашу добычу к борту шхуны, как с марса раздался радостный крик: «Земля по правому борту!» Всех охватило восторженное нетерпение, в этот момент с северо-востока как раз поднялся ветер, и скоро мы приблизились к берегу. Это был низкий скалистый островок около лиги в окружности, совершенно лишенный растительности, если не считать каких-то растений, напоминающих кактусы. Если подходить к острову с севера, то видно, как в море выдается странный утес, по форме сильно напоминающий перевязанную кипу хлопка. За этим утесом к западу есть небольшой заливчик, где наши шлюпки и пристали легко к берегу.

У нас не отняло много времени исследовать остров дюйм за дюймом, но мы не нашли ничего достойного внимания, за одним-единственным исключением. На южном берегу среди груды камней нам попался деревянный обломок, похожий на носовую часть каноэ. На нем сохранились следы резьбы, и капитан Гай уверял даже, что различает изображение черепахи, хотя я не нашел особого сходства. Кроме этого обломка лодки, — если это действительно было так, — мы не обнаружили никаких свидетельств того, что здесь ступала человеческая нога. Вдоль берега виднелось несколько маленьких льдин. Точное расположение этого островка, которому капитан в честь совладельца шхуны дал название острова Беннета, — 82º 50' южн. широты и 42º 20' зап. долготы.

Итак, мы продвинулись к югу на восемь с лишним градусов дальше, чем кто бы то ни было до нас, а перед нами по-прежнему расстилалось открытое море. По мере продвижения постепенно уменьшалось магнитное склонение и, что еще более удивительно, температура воздуха, а впоследствии и воды, неуклонно повышалась. Можно сказать, что погода была даже теплой, и с севера дул устойчивый, но мягкий бриз. Небо, как правило, было безоблачно, и лишь южную часть горизонта иногда, да и то совсем ненадолго застилал легкий туман. Правда, возникли два препятствия, осложняющих наше положение: у нас было на исходе топливо, и среди членов команды появились признаки цинги. Эти обстоятельства заставляли капитана Гая всерьез подумывать о возвращении, о чем он

не раз заводил речь. Что до меня, то, будучи убежден, что, следуя избранным курсом, мы вскоре наткнемся на значительную часть суши, а также имея все основания предполагать, что она окажется не голой бесплодной землей, каковая обыкновенно встречается в высоких полярных широтах, я мягко, но настойчиво внушал капитану мысль о целесообразности идти дальше к югу, по крайней мере в течение еще нескольких дней. Никогда еще перед человеком не открывалась такая волнующая возможность разгадать великую тайну Антарктического континента, и, признаюсь, робость и непредприимчивость нашего командира временами вызывали у меня негодование. Я не мог сдержаться и кое-что высказал ему на этот счет, и полагаю, что именно это и побудило его продолжить плавание. Поэтому, хотя я и не могу не скорбеть по поводу крайне горестных событий и кровопролития, Которые имеют первопричиной мои настоятельные советы, в то же время я испытываю известное удовлетворение при мысли, что содействовал, пусть косвенно, тому, чтобы Открыть науке одну из самых волнующих загадок, которые когда-либо завладевали ее вниманием.

18

Январь, 18 дня. Утром погода по-прежнему превосходная, и мы продолжаем свой путь к югу. (Понятие «утро» и «вечер», которыми я пользуюсь, чтобы поелику возможно избежать путаницы, не должны быть понимаемы в обычном смысле. В течение уже долгого времени мы не имеем ночи, круглые сутки светит дневной свет. Числа повсюду указаны в соответствии с морским временем, а местонахождение, естественно, определялось по компасу. Хотелось бы также попутно заметить, что я не мору претендовать на безусловную точность дат и координат в первой части изложенного здесь, поскольку я начал вести дневник позже, после событий, о которых идет речь в первой части. Во многих случаях я целиком полагался на память.) Море совершенно спокойно, с северо-востока дует сравнительно теплый ветерок, температура воды пятьдесят три градуса. Мы снова опустили наш лот и на глубине сто пятьдесят саженей снова обнаружили течение в южном направлении со скоростью одной мили в час. Это постоянное движение воды и ветра к югу вызвало на шхуне разговоры и даже посеяло тревогу, что, как я заметил, произвело впечатление на капитана Гая. Поскольку он был весьма чувствителен к шуткам, мне, однако, удалось в конце концов высмеять его страхи. Склонение компаса совсем незначительно. В течение дня видели несколько больших китов, над судном то и дело проносились альбатросы. Подобрали в море какой-то куст с множеством красных ягод, напоминающих ягоды боярышника, а также труп неизвестного сухопутного животного. В длину оно достигало трех футов, но в высоту было всего лишь шесть дюймов, имело очень короткие ноги и длинные когти на лапах ярко-алого цвета, по виду напоминающие коралл. Туловище его покрыто прямой шелковистой белоснежной шерстью. Хвост фута в полтора длиной суживался к концу, как у крысы. Голова напоминала кошачью, с той только разницей, что уши висели, точно у собаки. Клыки у животного такие же ярко-алые, как и когти.

Январь, 19 дня. Сегодня море приобрело какой-то необыкновенно темный цвет. На 83º 20' южн. широты и 43º 5' зап. долготы

впередсмотрящий снова заметил землю; подойдя поближе, мы увидели, что это — остров, являющийся частью какого-то архипелага. Берега его были обрывистые, а внутренняя часть казалась покрытой лесами, чему мы немало порадовались. Часа четыре спустя мы отдали якорь на глубине десять саженей, на песчаном дне, в лиге от берега, так как высокий прибой и сильная толчея волн то тут, то там вряд ли позволили бы судну подойти ближе к острову. Затем спустили на воду две самые большие шлюпки, и хорошо вооруженный отряд (в котором находились и мы с Петерсом) отправился искать проход в рифах, которые, казалось, опоясывали весь остров. Через некоторое время мы вошли в какой-то залив и тут увидели, как с берега отваливают четыре больших каноэ, наполненные людьми, которые, судя по всему, были вооружены. Мы ждали, пока они подплывут ближе, и так как каноэ двигались очень быстро, то вскоре они оказались в пределах слышимости. Капитан Гай привязал к веслу белый платок, туземцы тоже остановились и все разом принялись громко тараторить, иногда выкрикивая что-то непонятное. Нам удалось лишь различить восклицания: «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Туземцы не умолкали по крайней мере полчаса, зато мы получили за это время возможность как следует разглядеть их.

Всего в четырех челнах, которые в длину достигали пятнадцати футов, а в ширину были футов пять, насчитывалось сто десять человек. Ростом дикари не отличались от обычного европейца, но были более крепкого сложения. Кожа у них блестящая, черная, волосы — густые, длинные и курчавые. Одеты они в шкуры неизвестного животного с мягкой и косматой черной шерстью, причем последние прилажены не без умения, мехом внутрь, и лишь у шеи, запястьев и на лодыжках вывернуты наружу. Оружием туземцам служили главным образом дубинки из какого-то темного и, очевидно, тяжелого дерева. Некоторые, правда, имели копья с кремневыми наконечниками, а также пращи. На дне челноков грудой лежали черные камни величиной с большое яйцо.

Когда дикари покончили с приветствиями (было ясно, что их тарабарщина предназначалась именно для этой цели), один из них, по всей видимости вождь, встал на носу своего челна и знаками предложил нам приблизиться. Решив, что осмотрительнее держаться на расстоянии, ибо дикари вчетверо превосходили нас числом, мы

сделали вид, что не поняли его знаков. Тогда вождь на своем каноэ двинулся нам навстречу, приказав трем остальным челнам оставаться на месте. Подплывя вплотную к нам, он перепрыгнул на нашу шлюпку и уселся рядом с капитаном Гаем, показывая рукой на шхуну и повторяя: «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Мы стали грести к судну, а четыре каноэ на расстоянии следовали за нами.

Едва мы пристали к шхуне, вождь обнаружил все признаки крайнего удивления и восторга: заливаясь бурным смехом, он хлопал в ладоши, ударял себя по ляжкам, стучал в грудь. Его спутники присоединились к веселью, и несколько минут стоял оглушительный гам. Когда они наконец угомонились, капитан Гай в качестве меры предосторожности приказал поднять шлюпки наверх и знаками дал понять вождю (его звали, как мы вскоре выяснили, Ту-Уит, то есть Хитроумный), что может принять на борт не более двадцати человек за один раз. Того вполне устроило это условие, и он отдал какие-то распоряжения своим людям, когда приблизилось его каноэ; остальные три держались ярдах в пятидесяти. Два десятка дикарей забрались по трапу на шхуну и принялись шнырять по палубе, с любопытством разглядывая каждый предмет корабельного хозяйства и вообще чувствуя себя как дома.

Но оставалось сомнений, что они никогда не видели белого человека, и наша белая кожа, кажется, вызывала у них отвращение. Шхуну они воспринимали как живое существо и старались держать копья остриями вверх, судя по всему, чтобы не задеть ее и не причинить боль. Ту-Уит выкинул одну забавную штуку, и матросы немало потешались над ним. Наш кок колол у камбуза дрова и случайно вогнал топор в палубу, оставив порядочную зарубку. Вождь немедленно подбежал к нему, оттолкнул довольно бесцеремонно в сторону и, издавая то ли стопы, то ли вопли, что, очевидно, должно было свидетельствовать о его сочувствии раненой шхуне, принялся гладить зарубку рукой и поливать ее водой из стоявшего поблизости ведра. Мы никак не ожидали такой степени невежества, а я не мог не подумать, что оно отчасти и притворное.

Когда наши гости удовлетворили, насколько возможно, свое любопытство в отношении всего, что находилось на палубе, им позволили спуститься вниз, где их удивление превзошло все границы. Изумление их было слишком глубоко, чтобы выразить его словами, и

они бродили в полном молчании, изредка прерываемом негромкими восклицаниями. Затем им показали и разрешили внимательно осмотреть ружья, что, конечно, дало им много пищи для размышлений. Я убежден, что дикари нисколько не догадывались о действительном назначении ружей и принимали их за какие-то священные предметы, видя, как бережно мы обращаемся с ними и как внимательно следим за их движениями, когда они берут их в руки.

При виде пушек изумление их удвоилось. Они приблизились к ним с величайшим почтением и трепетом, но от подробного осмотра отказались. В кают-компании висели два зеркала, и вот тут-то изумление их достигло предела. Ту-Уит первым из них вошел в кают-компанию; он был уже в середине помещения, стоя лицом к одному зеркалу и спиной к другому, прежде чем заметил их, Когда он поднял глаза и увидел свое отражение в зеркале, я подумал, что он сойдет с ума, но когда, резко повернувшись, он бросился вой и тут же вторично увидел себя в зеркале, висящем напротив, — я испугался, что он тут же испустит дух. Никакие уговоры посмотреть еще раз на зеркало не подействовали — он бросился на пол и лежал без движения, закрыв лицо руками, так что мы были вынуждены вынести его на палубу.

Так, группами по двадцать человек, все дикари поочередно побывали на шхуне, и лишь Ту-Уит оставался на борту все это время. Наши гости не предпринимали никаких попыток стянуть что-либо, да и после их отплытия мы не обнаружили ни одной пропажи. Вели они себя вполне дружелюбно. Были, правда, в их поведении кое-какие странности, которые мы никак не могли взять в толк, — например, они ни за что не хотели приближаться к нескольким самым безобидным предметам, таким, как паруса, яйцо, открытая книга или миска с мукой. Мы попытались выяснить, нет ли у них каких-либо предметов для торговли, но они плохо понимали нас. Тем не менее нам удалось узнать, что острова, к большому нашему удивлению, изобилуют большими галапагосскими черепахами, одну из которых мы уже видели в каноэ Ту-Уита. У одного из дикарей в руках было несколько трепангов — он жадно пожирал их в сыром виде. Эти аномалии (если принять во внимание широту, на которой мы находились) вызвали у капитана Гая желание тщательно исследовать остров с целью извлечь выгоду из своих открытий. Что касается меня, то, как мне ни хотелось побольше узнать об этих островах, все же я был настроен без

промедления продолжать наше путешествие к югу. Погода стояла чудесная, но сколько она продержится — было неизвестно. Достичь восемьдесят четвертой параллели, иметь перед собой и открытое море, и сильное течение к югу, и попутный ветер, и в то же время слышать о намерении остаться здесь дольше, чем это совершенно необходимо для отдыха команды и пополнения запасов топлива и провизии, — было от чего потерять терпение! Я доказывал капитану, что мы можем зайти на острова на обратном пути и даже перезимовать здесь, если нас задержат льды. В конце концов он согласился со мной (я и сам хорошенько не знаю, каким образом приобрел над ним такое влияние), и было решено, что даже если мы обнаружим трепангов, то пробудем здесь неделю, чтобы восстановить силы, а затем, пока есть возможность, двинемся дальше на юг. Мы сделали соответствующие приготовления, провели с помощью Ту-Уита «Джейн» между рифами и встали на якорь в миле от берега у юго-восточной оконечности самого крупного в группе острова, в удобной, окруженной со всех сторон сушей бухте глубиной в десять саженей и с черным песчаным дном. В глубине бухты, как нам сообщили, были три источника превосходной воды, а кругом стояли леса. Четыре каноэ с туземцами следовали за нами, держась, однако, на почтительном расстоянии. Сам Ту-Уит был на шхуне и, когда мы бросили якорь, пригласил нас спуститься на берег и посетить его деревню в глубине острова. Капитан Гай принял предложение; оставив десяток дикарей в качестве заложников, мы группой из двенадцати человек приготовились сопровождать вождя. Хорошенько вооружившись, мы отнюдь не показывали вида, что не доверяем хозяевам. Во избежание всяких неожиданностей на шхуне выкатили пушки, подняли абордажные сети и приняли другие меры предосторожности. Помощник капитана получил указания не допускать в наше отсутствие ни единого человека на борт шхуны и, если через двенадцать часов мы не вернемся, послать на поиски вокруг острова шлюпку с фальконетом.

Мы шли в глубь острова, и с каждым шагом в нас крепло убеждение, что мы попали в страну, совершенно отличную от тех, где ступала нога цивилизованного человека. Все, что мы видели, было незнакомо и неизвестно нам. Деревья ничем не напоминали растительность тропического, умеренного, суровых полярных поясов и были совершенно не похожи на произрастающие в южных широтах,

которые мы уже прошли. Скалы и те по составу, строению и цвету были не такие, как обыкновенно. И, что уж совсем невероятно, даже реки имели так мало общего с реками в других климатических зонах, что мы поначалу не решались отведать здешней воды и вообще не могли поверить, что ее особые свойства — естественного происхождения. Ту-Уит со своими спутниками остановился у небольшого ручейка, пересекавшего нашу тропу, — первого на пути, где мы могли утолить жажду. Вода была какого-то странного вида, и мы не последовали его примеру, предположив, что она загрязнена, и лишь впоследствии мы узнали, что она именно такова на всех островах архипелага. Я затрудняюсь дать точное представление об этой жидкости и уж никак не могу сделать это, не прибегая к пространному описанию. Хотя на наклонных местах она бежала с такой же скоростью, как и простая вода, но не растекалась свободно, как обычно бывает с последней, за исключением тех случаев, когда падала с высоты. И тем не менее остается фактом, что она была столь же мягкая и прозрачная, как и самая чистая известковая вода на свете, — разница была только во внешнем виде. С первого взгляда, и особенно на ровном месте, она но плотности напоминала гуммиарабик, влитый в обычную воду. Но этим далеко не ограничивались ее необыкновенные качества. Она отнюдь не была бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета; она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как переливаются тона у шелка. Это изменение красок так же поразило наше воображение, как и зеркало невежественный ум Ту-Уита. Набрав в посудину воды и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различимых струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струй, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе. Это явление было первым звеном в длинной цепи кажущихся чудес, которые волею судеб окружали меня в течение длительного времени.

19

Нам понадобилось почти три часа, чтобы добраться до деревни, ибо располагалась она в добрых девяти милях от моря, а тропа проходила по пересеченной местности. По мере того как мы продвигались в глубь острова, почти у каждого поворота, как бы случайно, к отряду Ту-Уита, состоявшему из ста десяти туземцев, которые находились в челнах, примыкали небольшие группы от двух до шести-семи человек. Мне почудился в этом определенный замысел, который вызвал у меня тревогу, чем я и поделился с капитаном Гаем. Отступать, однако, было поздно, и мы решили, что всего безопаснее делать вид, будто мы вполне доверяемся Ту-Уиту. Поэтому мы продолжали идти плотной группой, не давая дикарям разделить нас и зорко следя за их передвижениями.

Пройдя затем какое-то ущелье с крутыми склонами, мы наконец достигли местности, где, как нам сказали, и располагалось единственное поселение на острове. Когда оно показалось вдали, вождь что-то закричал, повторяя слово «Клок-клок», что означало, очевидно, название деревни или родовое понятие деревни вообще.

Жилища являли собой самое жалкое зрелище и, в отличие от построек даже у самых низших рас, известных человечеству, не имели никакого единообразия. Некоторые, принадлежащие, как мы узнали, «вампу» или «ямну», то есть старшинам острова, представляли собой дерево, срубленное на высоте фута четыре от земли, с накинутой поверх сучьев большой черной шкурой, свободно свисающей до земли. Под ней и ютились дикари. Другие были устроены из ветвей с засохшей листвой, прислоненных под углом сорок пять градусов к бесформенным кучам глины, кое-как накиданным до высоты в пять-шесть футов. Третьи были простые ямы, вырытые в земле, также покрытые ветвями, которые туземцы, проникая в жилище, отодвигали в сторону, а потом возвращали на место. Попадались и такие, которые были сооружены на деревьях, среди густых ветвей, причем верхние частично подрубались и пригибались книзу, чтобы сделать лучше укрытие от непогоды. Большинство жилищ представляло собой неглубокие пещеры, выдолбленные в крутых уступах гряды из темного

камня, которая с трех сторон окружала деревню. Перед каждой пещерой валялся небольшой валун, которым обитатель, покидая свое жилище, аккуратно заставлял вход, — и я так и не понял, зачем это делается, ибо валун закрывал самое большее лишь треть отверстия.

Деревня — если можно так назвать это жалкое поселение — располагалась в неглубокой долине, попасть в которую можно только с юга, так как доступ с остальных сторон преграждала упомянутая крутая гряда. Посреди долины бежал журчащий ручей с той же волшебной водой, которую я уже описывал. Подле жилищ мы увидели несколько неизвестных животных, по-видимому прирученных. Самые большие из них по строению туловища и головы напоминали обыкновенную нашу свинью, однако имели пушистый хвост и тонкие, как у антилопы, ноги. Передвигались они медленно и неуклюже, и мы ни разу не видели, чтобы они бегали. Были также другие животные, похожие на этих, однако гораздо большей длины и с черной шерстью. Вокруг во множестве копошилась домашняя птица, которая, по всей видимости, и служила туземцам главной пищей. К нашему удивлению мы заметили среди птиц и черных альбатросов, очевидно совершенно одомашненных: временами они летали в море за добычей, но неизменно возвращались, как домой, в деревню. Южный берег острова они использовали для гнездования и размножения. Здесь к ним присоединялись, как это часто случается, их друзья пеликаны, однако последние никоим образом не допускались к жилищам дикарей. В числе другой домашней птицы можно упомянуть утку, мало чем отличающуюся от той, что водится у нас, черного баклана и какую-то птицу, отдаленно напоминающую сарыча, но не хищную. Остров, по всей видимости, изобиловал рыбой. Во время посещения деревни мы видели много сушеной семги, трески, голубых дельфинов, макрели, скатов, морских угрей, лобанов, морских языков, триглы, мерлузы, камбалы и всяких других разновидностей рыбы. Мы обратили внимание, что большая часть рыбы похожа на ту, что водится у островов Лорда Окленда, то есть на такой низкой широте, как пятьдесят первая параллель. Немало было здесь и галапагосских черепах. Дикие животные нам попадались редко, да и то некрупные и неизвестных пород. Раз или два мы встретили на тропе змей страшного вида, но туземцы не обращали на них никакого внимания, из чего мы заключили, что они не ядовитые.

Когда мы с Ту-Уитом и его отрядом приблизились к деревне, навстречу нам с громкими криками, в которых мы различили неизменные «Анаму-му!» и «Лама-лама!», высыпала огромная толпа. Нас удивило, что, за одним-двумя исключениями, обитатели деревни были совершенно голые, а шкуры носили только те, которые находились в челнах. В их же распоряжении было, очевидно, и все оружие, ибо встречавшие нас были безоружны. В толпе было очень много детей и женщин, причем последние были не лишены своеобразной прелести; высокие, стройные, с хорошей фигурой, с изящной и свободной осанкой, чего не встретишь у женщин в цивилизованном обществе. Внешность их портили губы, толстые и малоподвижные, как и у мужчин, так что зубы не обнажались даже при улыбке. Волосы у них, однако, были мягче, чем у мужчин. В толпе голых обитателей деревни выделялось человек десять, которые были одеты, как и воины Ту-Уита, в черные шкуры и вооружены копьями и увесистыми дубинками. Судя по всему, это были влиятельные люди, к которым неизменно обращались с почтительным титулом «вампу». Они-то и жили в дворцах из черных шкур. Обиталище Ту-Уита располагалось в центре деревни, было просторнее и устроено лучше, чем другие жилища такого же рода. Деревья, служившие подпоркой, были срублены на расстоянии футов двенадцати от комля, а пониже оставлено несколько ветвей в качестве распорок для крыши, которая состояла из четырех скрепленных деревянными иглами больших шкур, которые держались внизу кольями, вбитыми в землю. Сухие листья застилали ковром пол.

Нас торжественно провели в эту хижину, а за нами втиснулись в огромном количестве и дикари. Ту-Уит уселся прямо на кучу листьев и знаком предложил последовать его примеру, что мы и вынуждены были сделать, оказавшись в весьма невыгодном, если не критическом, положении. Мы, двенадцать человек, сидели на земле, а вокруг на корточках расположились человек до сорока дикарей, сгрудившись так, что в случае необходимости мы не смогли бы ни пустить в ход оружие, ни даже подняться на ноги. Теснота была неимоверная не только в хижине, но и снаружи, где собралось, пожалуй, все население острова, и только сердитые оклики Ту-Уита помешали толпе затоптать нас до смерти. Главным залогом нашей безопасности было присутствие среди нас Ту-Уита, и мы решили держаться как можно

ближе к нему, дабы иметь возможность сделать роковой выбор, покончив с ним на месте при первом же проявлении враждебного умысла.

После должной суматохи и шума установилась сравнительная тишина, и вождь обратился к нам с пространной речью, напоминающей произнесенную им с каноэ, с той только разницей, что восклицание «Анаму-му!» повторялось немного чаще и громче, чем «Лама-лама!». Мы выслушали его в глубоком молчании до конца, а затем капитан Гай держал ответную речь, заверив вождя в неизменной преданности и расположении и завершив ее тем, что сделал хозяину презент — несколько ниток голубых бус и нож. При виде бус правитель, нам на удивление, презрительно вздернул голову, зато нож доставил ему истинное удовольствие, и он тут же распорядился насчет обеда. Еду подали в хижину через головы всех собравшихся — она представляла собой еще дымящиеся внутренности неизвестного животного, — быть может, одной из тех тонконогих свиней, которых мы видели, подходя к деревне. Заметив, что мы не знаем, как приступить, он, подавая нам пример, принялся пожирать ярд за ярдом соблазнительно разложенные кишки, — мы решительно не могли выдержать это зрелище и обнаружили явные позывы к рвоте, каковые вызвали у его величества удивление, почти равное тому, какое он обнаружил, поглядев в зеркало. Как бы то ни было, мы наотрез отказались от предложенных деликатесов, сославшись на отсутствие аппетита, поскольку совсем недавно имели плотный dejeuner[1094].

Когда правитель покончил с едой, мы начали расспросы самыми хитроумными способами, какие приходили в голову, пытаясь выяснить, какие товары имеются на острове и могли бы мы рассчитывать на выгодную сделку. В конце концов вождь как будто понял, чего мы от него добиваемся, и вызвался сопровождать нас к той части побережья, где, по его уверениям, в изобилии водятся трепанги — тут он показал на них. Мы были рады подвернувшемуся случаю вырваться из толпы и изъявили готовность отправиться немедленно. Мы вышли из хижины и, сопровождаемые всеми обитателями деревни, последовали за вождем на юго-восточную оконечность острова, недалеко от залива, где стояла на якоре наша шхуна. Мы прождали с полчаса, пока дикари не перегнали сюда четверку челнов. Наша группа заняла места в одном из них, и нас повезли вдоль гряды

рифов, о которых я упоминал, а потом дальше, к следующей гряде, где мы и увидали такое количество трепангов, какого не видели старейшие среди нас мореходы даже в тех, более низких широтах, какие особенно знамениты этим промыслом. Мы пробыли здесь ровно столько, сколько потребовалось, чтобы убедиться, что при желании этой ценнейшей добычей можно без труда загрузить дюжину судов. Затем поднялись на шхуну и расстались с Ту-Уитом, взяв с него обещание в течение суток доставить нам уток и галапагосских черепах, сколько поднимут его каноэ. Во время вылазки на остров мы не заметили в поведении дикарей ничего такого, что могло бы вызвать подозрения, за единственным, пожалуй, исключением — той систематичности, с какой пополнялся их отряд по пути в деревню.

20

Вождь дикарей оказался верным своему слову, и скоро мы имели обильный запас свежей провизии. Черепаха была на редкость вкусна, а утка, с ее нежным и сочным мясом, превосходила все лучшие виды нашей дичи. Кроме того, дикари, когда мы втолковали им, что нам нужно еще, привезли много коричневого сельдерея и лука, а также полный челн свежей и вяленой рыбы. Сельдерей был настоящим лакомством, а лук — незаменимым средством для тех матросов, у которых появились симптомы цинги. В самое короткое время у нас совсем не осталось больных. Запаслись мы вдоволь и другими свежими продуктами, среди которых можно упомянуть какую-то разновидность моллюска, напоминающего формой мидию, но имеющего вкус устрицы, креветки, яйца альбатроса и какой-то другой птицы с темной скорлупой. Помимо всего прочего мы взяли на борт порядочный запас мяса той самой свиньи, о которой я упоминал. Большинству оно показалось вполне съедобным, но лично я решил, что оно отдает рыбой и вообще невкусно. Взамен мы дали туземцам бусы, медные безделушки, гвозди, ножи, куски красной материи, так что они остались вполне довольны сделкой. На берегу под самыми дулами наших пушек мы открыли настоящий рынок, торговля шла, к взаимному удовольствию, бойко и без особого беспорядка, чего мы никак не ожидали, судя по поведению дикарей в деревне Клок-клок.

Итак, несколько дней дела шли вполне полюбовно, группы туземцев часто бывали на шхуне, а группы наших людей сходили на берег, совершая длинные прогулки в глубь острова и не испытывая ни малейших неприятностей. Капитан Гай понял, что благодаря дружескому расположению островитян и готовности всячески помочь нам в сборе трепангов он без труда загрузит ими шхуну, и потому решил вступить в переговоры с Ту-Уитом относительно постройки подходящих помещений для заготовления товара, а также найма его самого и его соплеменников для собирания как можно большего количества моллюска, он же тем временем воспользуется хорошей погодой и продолжит плавание к полюсу. Когда он изложил этот план Ту-Уиту, тот, казалось, был готов прийти к соглашению. Стороны, к

обоюдному удовольствию, заключили сделку, договорившись, что после необходимой подготовки, то есть выбора и расчистки хорошего участка, возведения части строений и другой работы, в которой потребуется участие всей команды, шхуна проследует по намеченному маршруту, а на острове останутся трое наших людей, которые будут надзирать за постройкой и обучать туземцев сушке трепангов. Вознаграждение дикарям зависело от их старательности в наше отсутствие. За несколько пикулей высушенных трепангов, которые будут готовы к нашему возвращению, им полагалось получить определенное количество бус, ножей, красной материи и тому подобных товаров.

Поскольку читателям, может быть, небезынтересно узнать об этом ценном животном и способе его приготовления для продажи, вполне уместно сообщить здесь соответствующие сведения. Нижеследующее обстоятельное изложение предмета заимствовано из недавнего отчета о путешествии в Южный океан:

«Этот моллюск, обитающий в Индийском океане, известен под промысловым французским названием bouche de mer (морское лакомство). Если я не ошибаюсь, знаменитый Кювье[1095] называет его gasteropoda pulmonifera, Он в изобилии водится и на побережьях тихоокеанских островов, где его собирают специально для китайских купцов, у которых он идет по очень высокой цене, не уступающей, пожалуй, стоимости съедобных птичьих гнезд, о которых так много нынче говорят и которые, очевидно, как раз и делаются из студенистого вещества, доставаемого некоторыми ласточками из тела этих своеобразных животных. У них нет ни раковины, ни ног, вообще никаких конечностей, а только ротовое и заднепроходное отверстие; посредством гибких колец, как у гусениц или червей, они заползают в мелководье, где во время отлива их и настигают ласточки; вонзая свой острый клюв в их нежное тельце, они вытягивают клейкое волокнистое вещество, которое, засыхая, образует прочные стенки гнезд. Отсюда и название gasteropoda pulmonifera.

Эти моллюски имеют продолговатую форму и бывают самых разных размеров — от трех до восемнадцати дюймов в длину, а я видел несколько особей, которые достигали двух футов. В поперечнике они почти круглые, от одного до восьми дюймов толщиной, но немного приплюснутые с одной стороны, той самой, которая обращена

ко дну. Они собираются в неглубоких местах в определенное время года — очевидно, для размножения, так как часто их находят парами. Когда солнце сильно нагревает воду, они движутся к берегу и нередко заползают на такие мелкие места, что при отливе остаются на суше под лучами солнца. Мы ни разу не видели на мелководье потомства этих моллюсков, — наверное, его оставляют на глубине, откуда выползают только взрослые особи. Питаются они преимущественно теми видами зоофитов, из которых образуются кораллы.

Трепангов собирают обычно на глубине трех-четырех футов. На берегу их надрезают с одного конца ножом (величина надреза зависит от размера моллюска) и через это отверстие выдавливают внутренности, которые ничем почти не отличаются от внутренностей других низших обитателей морских глубин. Затем их промывают, проваривают при определенной температуре, которая не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой, зарывают на четыре часа в землю, снова кипятят в течение недолгого времени, после чего сушат на огне или на солнце. Особенно ценятся те, что провялены на солнце, но за то время, которое требуется, чтобы приготовить один пикуль (133 1/3 фунта) на солнце, на огне можно приготовить тридцать пикулей. Хорошо провяленные моллюски могут безболезненно сохраняться в сухом месте два-три года, правда, раз в несколько месяцев, скажем четырежды в год, необходимо следить, не завелась ли там сырость.

Как я уже сказал, китайцы считают трепангов особым деликатесом, полагая, что он самым чудесным образом придает силы, обновляет организм и восстанавливает энергию при половом истощении. В Кантоне первый сорт продается по девяносто долларов за пикуль, второй сорт стоит семьдесят пять долларов, третий сорт — пятьдесят, четвертый — тридцать, пятый — двадцать, шестой — двенадцать, седьмой — восемь и восьмой сорт — четыре доллара за пикуль. Небольшие партии этого товара нередко отправляют в Манилу, Сингапур и Батавию».

Соглашение, таким образом, вступило в силу, и мы немедля сгрузили на берег все необходимое для расчистки участка и возведения построек. Около восточного берега залива, где было достаточно леса и воды, и на сравнительно небольшом расстоянии от главных рифов, где было намечено собирать трепангов, была выбрана большая ровная площадка. Затем все усердно принялись за работу и вскорости, к

величайшему удивлению дикарей, свалили несколько больших деревьев, быстро обтесали бревна для каркасов, и через два-три дня постройки выросли уже настолько, что мы спокойно могли поручить закончить эту работу троим матросам, которые добровольно вызвались остаться на острове. Это были Джон Карсон, Элфрод Харрис и Петерсон, все трое, если не ошибаюсь, уроженцы Лондона.

К концу месяца все было готово для отплытия. Мы, правда, согласились нанести прощальный визит в деревню, и Ту-Уит так упорно настаивал на том, чтобы мы сдержали свое обещание, что нам показалось неблагоразумным рисковать, оскорбляя его своим отказом. Убежден, что в те дни ни у кого из нас не было ни тени сомнения в добропорядочности дикарей. Они были неизменно обходительны, охотно помогали нам в работе, предлагали всякую всячину, причем часто бесплатно, и, с другой стороны, не стянули у нас ни единой вещицы, хотя по бурным проявлениям восторга, с каким они принимали наши подарки, можно судить, как высоко они ценили имеющиеся у нас товары. Особой услужливостью во всех отношениях отличались женщины, и вообще мы были бы самыми неблагодарными существами на свете, если бы допустили мысль о вероломстве людей, которые так хорошо относились к нам. Однако потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что за этим внешне дружеским расположением таился глубоко продуманный план нашего уничтожения и что островитяне, которые столь высоко стояли в нашем мнении, оказались самыми жестокими, коварными и кровожадными негодяями, какие когда-либо оскверняли лик нашей планеты.

Первого февраля мы сошли на берег, чтобы отправиться в деревню. Хотя, как уже было сказано, мы не питали ни малейшего подозрения в отношении туземцев, мы отнюдь не пренебрегли самыми необходимыми мерами предосторожности. На шхуне осталось шесть человек, и им были даны указания не покидать палубы и ни под каким видом не допускать приближения туземцев к судну. Мы подняли абордажные сети, забили в пушки двойные заряды картечи, зарядили фальконеты мушкетными пулями. Шхуна стояла с якорем на панере (якорный канат был выбран до предела) в миле от берега, так что ни единый челн не мог подойти не замеченным и не попасть немедленно в поле обстрела наших фальконетов.

Без шести матросов, оставленных на шхуне, наша партия насчитывала тридцать два человека. Мы были вооружены до зубов ружьями, пистолетами и тесаками, у каждого, кроме того, был длинный морской нож, напоминающий охотничий, столь распространенный у нас в западных и южных штатах. На берегу нас встретили около сотни воинов в черных шкурах, чтобы сопровождать нас в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были безоружны, и на наш вопрос Ту-Уит коротко ответил, что «Матти нон уи па на си», что означало: там, где все братья, зачем оружие. Мы приняли его слова за чистую монету и отправились в путь.

Мы миновали источник и ручей, о которых я упоминал, и вошли в узкое ущелье, ведущее сквозь гряду скал из мыльного камня, окружающую деревню. Ущелье было неровное, каменистое, так что мы с трудом пробрались сквозь него во время нашего первого посещения Клокклок. Общая его длина — полторы-две мили; очевидно, в стародавние времена это было ложе огромного потока, оно шло немыслимыми изломами между утесами, так что чуть ли не каждые двадцать ярдов тропа круто поворачивала в сторону. Почти отвесные склоны на всем протяжении наверняка достигали семидесяти — восьмидесяти футов по вертикали, а в иных местах вздымались до головокружительной высоты, так заслоняя небо, что на тропу едва проникал дневной свет. Ширина ущелья была около сорока футов, но временами резко уменьшалась, и там могло пройти лишь пять-шесть человек в ряд. Короче говоря, на целом свете не найти было более удобного места для устройства засады, и, входя в ущелье, мы, естественно, тщательно осмотрели наше оружие. Когда я думаю о том, какую чудовищную глупость мы совершили, приходится только удивляться, как мы вообще рискнули отдаться во власть дикарей, позволив им во время продвижения по ущелью идти и впереди и позади нас. Тем не менее мы слепо подчинились этому порядку, доверчиво полагаясь на нашу численность, на то, что Ту-Уит и его люди не были вооружены, на действенность нашего огнестрельного оружия, еще неизвестного дикарям, и главным образом на то, что в течение долгого времени эти гнусные негодяи выставляли себя нашими друзьями. Пятеро или шестеро из них шли впереди, словно показывая дорогу и с нарочитым усердием расчищая тропу от больших камней и веток. Затем следовала наша группа. Мы шли плотным

строем, следя за тем, чтобы нас не разъединили. Соблюдая необыкновенный порядок и торжественность, шествие замыкал основной отряд дикарей.

Дирк Петерс, матрос Уилсон Аллен и я шли справа от наших товарищей, рассматривая необычайное залегание пород в нависающем склоне. Наше внимание привлекла какая-то расселина, достаточно широкая, чтобы пробраться одному человеку, и уходившая прямо футов на восемнадцать — двадцать вглубь, а затем поворачивающая налево. Высота ее, насколько мы могли судить со своего места, была, наверное, футов шестьдесят или семьдесят. Из трещин на склонах расселины торчало несколько кустов с плодами, напоминающими наши лесные орехи. Мне захотелось отведать их — я быстро пролез в расселину, сорвал целую горсть, но, повернувшись, увидел, что Петерс и Аллен последовали моему примеру. Я сказал, что им надо вернуться, потому что двоим здесь не разойтись, а орехов хватит, чтобы попробовать всем. Они стали выбираться наружу, Аллен был уже у края расселины, как вдруг я почувствовал сильнейший, ни с чем не сравнимый толчок, внушивший мне смутную мысль, — если я вообще успел о чем-то подумать в тот момент, — что земной шар раскололся и настал конец света.

21

Когда ко мне вернулась способность соображать, я понял, что лежу, задыхаясь, в кромешной тьме, заваленный землей, которая продолжает сыпаться со всех сторон, грозя похоронить меня заживо. Ужаснувшись, я попытался встать на ноги, что мне в конце концов удалось. Я замер на несколько секунд, стараясь сообразить, где я и что со мной произошло. Внезапно поблизости раздались глухие стоны, а затем и едва различимый голос Петерса, молящий о помощи. Я протиснулся на шаг или два вперед и, споткнувшись, свалился прямо на моего спутника, засыпанного землей по пояс, так что он никак не мог выбраться. Собрав все силы, я раскидал землю и помог ему освободиться.

Когда мы оправились от неожиданности и страха и смогли поразмыслить над случившимся, то оба пришли к выводу, что стены расселины, куда мы проникли, обрушились — то ли в результате подземного толчка, то ли под тяжестью собственного веса — и что мы погибли, погребены заживо. Охваченные смертельным ужасом, мы на какое-то время слабовольно поддались отчаянию, которое трудно понять тем, кто не оказывался в подобном положении. Я твердо убежден, что никакое бедствие, выпадающее человеку на его жизненном пути, не причиняет таких безысходных душевных и физических мук, как случай с нами — погребение заживо. Кромешный мрак, окружающий жертву, невозможность вздохнуть полной грудью, удушающие запахи сырой земли в совокупности со страшным сознанием, что находишься за гранью всякой надежды, что ты мертвец, засыпанный в отведенной тебе могиле, — все это вселяет в душу такую жуть, какую не вынести, не постичь умом.

В конце концов Петерс предложил определить размеры катастрофы и исследовать нашу темницу; не исключено, заметил он, что осталось какое-нибудь отверстие, сквозь которое можно выбраться на свободу. Я ухватился за эту ниточку надежды и, напрягая все силы, попытался пробиться сквозь осыпающуюся кругом землю. И действительно, едва я сделал один-единственный шаг, как заметил тусклый свет, означавший, что, уж во всяком случае, мы не погибнем

от удушья. Это воодушевило нас и позволило надеяться на лучшее. Когда мы перебрались через груду земли и камней, которая преграждала нам путь к свету, стало легче двигаться и дышать: мы сильно мучились от недостатка воздуха. Скоро мы могли уже кое-как различать все вокруг и обнаружили, что находимся у конца расселины, там, где она поворачивала налево. Еще несколько усилий, и мы, достигнув поворота, увидели, к неописуемой нашей радости, какую-то трещину, тянущуюся высоко вверх под углом градусов сорок пять, а местами и круче. Мы не могли разглядеть края трещины, но, поскольку сквозь нее проникало достаточно света, мы уже почти не сомневались, что наверху — если мы сумеем туда подняться — имеется выход наружу.

И только теперь я вспомнил, что в расселину мы вошли втроем и ничего не знаем о судьбе Аллена. Мы немедленно вернулись за ним. После долгих поисков, сопряженных с опасностью обвала, Петерс крикнул, что нащупал ногу нашего спутника, но он так завален землей и камнями, что вытащить его невозможно. Я убедился, что так оно и есть и жизнь давно покинула Аллена. Исполненные печали, мы вынуждены были оставить тело вашего товарища и вернуться к повороту.

Трещина была достаточно широка, чтобы протиснуться одному человеку, но вскарабкаться наверх мы не смогли и после нескольких безуспешных попыток опять было поддались отчаянию. Я уже говорил, что скалы, между которыми пролегало ущелье, были из какой-то мягкой горной породы, напоминающей мыльный камень. Поэтому стенки нашей трещины были настолько скользкие, особенно если попадалась сырость, что мы едва могли поставить ногу даже в сравнительно ровных местах; когда же она шла круто, почти вертикально, подъем казался вообще немыслимым. Но отчаяние иногда придает мужества, и мы, вспомнив о тесаках, принялись вырубать ими ступени в мягкой скале; с риском для жизни, цепляясь за куски твердого сланца, кое-где торчащие из породы, мы в конце концов вскарабкались на плоский уступ, откуда был виден клочок голубого неба в конце густо заросшей лесом лощины. Оглядываясь назад, теперь уже не без любопытства, на проделанный нами путь, мы увидели, что трещина совсем свежая, и сделали вывод, что она образовалась от того самого толчка, который так неожиданно настиг

нас. Поскольку мы совершенно обессилели, так что едва могли стоять или разговаривать, Петерс предложил позвать наших товарищей на помощь выстрелами из пистолета, которые еще висели у нас за поясом, хотя ружья и сабли мы потеряли в земле на дне пропасти. Последующие события показали, что, прибегни мы тогда к помощи оружия, нам пришлось бы горько раскаяться; к счастью, у меня возникла тень подозрения, что дело нечисто, и мы воздержались от выстрелов, чтобы не выдать дикарям наше местонахождение.

После часового отдыха мы двинулись по лощине и скоро услышали оглушительные крики. Наконец мы выбрались на поверхность — до сих пор наш путь пролегал внизу, под навесом из крутых откосов и свисающей листвы. Мы осторожно прокрались к узкой горловине, откуда вся окружающая местность была видна как на ладони, и в тот же момент буквально с первого взгляда поняли страшную причину обвала.

Площадка, с которой мы вели наблюдения, располагалась неподалеку от самой высокой вершины в горной цепи. Слева от нас, футах в пятидесяти, тянулось ущелье, которым наш отряд шел в деревню. По меньшей мере на добрую сотню ярдов дно его было засыпано гигантской, в миллион тонн, беспорядочной массой земли и камня. Способ, каким дикари устроили этот обвал, был столь же прост, сколь и очевиден, ибо негодяи оставили достоверные следы своего чудовищного злодеяния. В нескольких местах вдоль восточного края пропасти (мы находились на западном) торчали вбитые в землю деревянные колья. В этих местах почва была нетронута, зато на всем протяжении стенки, обнажившейся после обвала, виднелись углубления, как после бура: очевидно, тут были вбиты такие же колья, какие мы видели, — они располагались на расстоянии ярда друг от друга на протяжении трехсот футов и отстояли от края обрыва футов на десять. На оставшихся кольях болтались веревки из виноградной лозы — наверняка такие же были привязаны к другим кольям. Я уже упоминал о необыкновенной структуре этих гор, а приведенное выше описание глубокой и узкой трещины, благодаря которой нам удалось избежать погребения заживо, даст дополнительное понятие о ней. Скалы состояли из множества как бы наложенных друг на друга пластов, которые раскалывались по вертикали при малейшем

естественном толчке. Того же можно достичь сравнительно небольшим усилием.

Для осуществления своих коварных целей дикари и воспользовались этой особенностью. Вколотив цепочку кольев, они частично разрушили несколько слоев почвы, вероятно, на глубину одного-двух футов, а затем у каждого столба поставили по человеку, чтобы по сигналу тащить веревки (привязанные к самым верхушкам и тянущиеся прочь от обрыва); благодаря такому устройству, действующему как рычаг, создалась сила, достаточная, чтобы отколоть верхнюю часть обрыва и сбросить вниз, в ущелье. Судьба наших несчастных спутников была очевидна. Только нам удалось избежать гибельной катастрофы. Мы были единственные белые люди на острове, оставшиеся в живых.

22

Положение наше было едва ли лучше, чем тогда, когда мы думали, что нам не выбраться из-под обвала. Нас ожидала либо смерть от руки дикарей, либо томительный плен. Правда, мы могли какое-то время скрываться среди труднодоступных гор, а в крайнем случае и в той расселине, из которой только что выбрались, но, когда наступит долгая полярная зима, нам все равно не миновать гибели от холода и голода или в конечном счете нас обнаружат, когда мы попытаемся обеспечить себя самым необходимым.

Равнина буквально кишела дикарями, а с островов, лежащих к югу, на примитивных плотах прибывали все новые и новые толпы, жаждущие, очевидно, участвовать в захвате шхуны и дележе добычи. А «Джейн Гай» спокойно стояла на якоре, и люди на борту, наверное, не подозревали об ожидающей их опасности. Как нам хотелось оказаться в тот момент с ними! Ведь мы могли либо содействовать нашему общему спасению, либо погибнуть в бою, защищаясь от нападения. Но, увы, у нас не было никакой возможности предупредить их, не подвергнув себя немедленной гибели, а польза от нашего предупреждения весьма и весьма сомнительна. Выстрели мы из пистолета, они, разумеется, поняли бы, что случилось что-то неладное, но все равно не узнали бы, что единственная их возможность спастись в том, чтобы тотчас же выйти в открытое море, что они уже не связаны никакими понятиями чести, что их товарищей нет более в живых. Услышав выстрел, они не сумели бы сделать ничего сверх того, что уже сделано, дабы лучше отразить готовящееся нападение врага. Итак, наш выстрел им не принес бы пользы, а нам причинил бы вред, и по зрелом размышлении мы отказались от этой затеи.

Следующим нашим побуждением было пробиться к морю, захватить один из челнов, стоящих в заливе, и плыть к шхуне. Но скоро стала очевидной полная невозможность этого отчаянного предприятия. Окрестности, как я уже сказал, буквально кишели дикарями, которые прятались в кустах и среди скал, чтобы остаться незамеченными с судна. В непосредственной близости от нас, преграждая единственную дорогу, которой мы могли попасть на берег

в нужном месте, расположился весь отряд воинов в черных шкурах во главе с самим Ту-Уитом — они, по-видимому, ожидали подкреплений, чтобы начать приступ нашей «Джейн Гай». Да и в каноэ, стоящих у берега, находились туземцы, правда, безоружные, но оружие наверняка было где-то припрятано. Поэтому мы были вынуждены не покидать наше укрытие, оставаясь простыми наблюдателями бойни, которая вскорости и разыгралась.

Через полчаса с южной стороны залива показалось шестьдесят — семьдесят не то плотов, снабженных веслами, не то больших плоскодонных лодок, набитых дикарями. У них, по-видимому, не было другого оружия, кроме коротких дубинок и запаса камней. Затем немедленно с противоположной стороны появился другой, более многочисленный отряд, с тем же оружием. Одновременно из кустов в глубине залива тоже высыпали дикари, быстро расселись в четырех каноэ и отвалили от берега. Вся операция заняла столько же времени, сколько я писал эти строки, и в мгновение ока «Джейн Гай» оказалась окруженной головорезами, решившими во что бы то ни стало захватить ее.

Не было ни малейшего сомнения, что им удастся это сделать. С какой бы отчаянной решимостью ни защищались те шестеро, они не могли выдержать бой при таком неравном соотношении сил, не успели бы даже управиться с пушками. Я не знал, будут ли они вообще оказывать сопротивление, но ошибся: они быстро выбрали якорную цепь и развернули шхуну правым бортом, чтобы встретить огнем каноэ, которые к этому моменту были уже на расстоянии пистолетного выстрела, а плоты — в четверти мили с наветренной стороны. Неизвестно по какой причине, скорее всего из-за нерешительности наших несчастных товарищей, понявших, в какое безвыходное положение они попали, пушечный залп был совершенно безрезультатным. Ни один челн не был поврежден, ни единый дикарь не ранен: картечь ложилась с недолетом и рикошетом перелетала у них над головами. Их поразил только неожиданный грохот и дым, которого было так много, что я даже подумал, не откажутся ли они от своего намерения и не вернутся ли на берег. Впрочем, островитяне так и поступили бы, если бы на шхуне догадались за бортовым залпом сразу же сделать залп из ружей: поскольку челны были совсем рядом, он наверняка произвел бы какие-нибудь опустошения в рядах туземцев,

достаточные хотя бы для того, чтобы остановить их продвижение, а наши тем временем успели бы дать бортовой залп по плотам. Вместо этого они сразу же кинулись на левый борт, чтобы встретить огнем плоты, дав тем самым туземцам в каноэ возможность оправиться от паники и убедиться, что потерь у них нет.

Пушечный залп с левого борта достиг цели. Семь или восемь плотов были разнесены в щепки и на месте убито три-четыре десятка дикарей, кроме того, более сотни были сброшены в воду, многие из них жестоко изувечены. Остальные, напуганные до потери сознания, начали быстро отступать, нисколько не заботясь о своих раненых, которые барахтались в воде и тут и там, оглашая воздух воплями о помощи. Успех пришел, однако, слишком поздно, наши храбрые товарищи уже не могли спастись. Сотни полторы дикарей из челнов были уже на палубе, причем многим удалось вскарабкаться наверх по цепям и веревочным лестницам еще до того, как матросы успели поднести запал к орудиям на левом борту. Ничто уже не могло противостоять слепой ярости дикарей. В одно мгновение наши люди были сбиты с ног, оглушены, растоптаны, разорваны на куски.

Видя все это, дикари на плотах преодолели свой страх и налетели тучей, чтобы не упустить своей доли добычи. Через пять минут красавица «Джейн Гай» являла из-за неистовых бесчинств поистине жалкое зрелище. Палуба была разворочена, канаты, паруса, предметы корабельного хозяйства — все сгинуло как по волшебству. Затем, подталкивая шхуну с кормы, подтягивая канатами с челнов, тысячами плывя по бокам и подпирая борты, дикари наконец вынесли «Джейн» на берег (якорная цепь давно соскользнула в воду) как дань Ту-Уиту, который во время сражения, как и подобает опытному военачальнику, занял наблюдательный пост на приличном расстоянии в горах, но теперь, когда, к его удовольствию, была одержана полная победа, перестал чиниться и вместе со своими приближенными кинулся бегом вниз за добычей.

Теперь, когда Ту-Уит спустился на берег, мы могли выбраться из нашего убежища и сделать небольшую вылазку. Ярдах в пятидесяти от выхода из расселины бил небольшой родничок, и мы утолили мучившую нас жажду. Неподалеку от родничка росло несколько кустов орешника, о котором я говорил выше. Попробовав орехов, мы нашли их вполне съедобными и напоминающими по вкусу обычный

фундук. Мы немедленно наполнили ими наши шляпы, спрятали их в расселине и снова принялись собирать орехи. В этот момент в кустах раздался шорох, едва не заставивший нас отступить к нашему убежищу, и из ветвей медленно, словно бы с усилием, вылетела большая черная птица из породы выпей. Я замер, застигнутый врасплох, но у Петерса хватило сообразительности тут же кинуться вперед и схватить ее за шею. Она отчаянно билась и пронзительно кричала, и мы уже хотели отпустить ее, чтобы не привлечь внимания дикарей, которые могли оказаться поблизости. Последовал, однако, удар тесаком, птица упала на землю, и мы оттащили ее в расселину, поздравляя себя с добычей, которой при всех обстоятельствах могли питаться целую неделю. Затем мы снова отправились на вылазку, рискнув на этот раз отойти на порядочное расстояние вниз по южному склону, но не нашли ничего, что годилось бы в пищу. Тогда мы набрали сухих веток и быстро вернулись в свое убежище, чтобы нас не заметила большая толпа дикарей, которая с награбленным на шхуне добром возвращалась ущельем в деревню. Следующей нашей заботой было как можно лучше скрыть свое убежище, для чего мы прикрыли ветками ту самую дыру, сквозь которую увидели кусок неба, когда выбрались из трещины на уступ, оставив только небольшое отверстие, чтобы наблюдать за заливом без риска быть замеченными снизу. Мы были вполне удовлетворены своей работой: теперь нас никто не увидит, пока мы будем отсиживаться в расселине и не покажемся на склоне горы. Никаких следов, что здесь кто-нибудь бывал раньше, мы не обнаружили. Вместе с тем, когда мы еще раз взвесили предположение, что трещина, по которой мы пролезли наверх, образовалась в результате обвала и другого пути сюда нет, наша радость, что мы находимся в надежном укрытии, была омрачена сомнением, найдем ли мы вообще способ спуститься вниз. Поэтому при первом удобном случае нужно было тщательно исследовать всю вершину. Пока же мы решили понаблюдать за дикарями через наше отверстие.

Они уже совершенно разбили шхуну и готовились поджечь остов. Через некоторое время из главного люка повалили густые клубы дыма, а затем из бака вырвалось огромное пламя. Сразу же загорелись мачты, оснастка, остатки парусов, и огонь быстро распространился но палубам. Несмотря на это, множество дикарей по-прежнему пытались

сбить увесистыми камнями, топорами и пушечными ядрами металлические части с корпуса. Всего же в непосредственной близости от судна — на берегу, в челнах и на плотах — собралось не менее десяти тысяч: туземцев, не считая толп, которые, нагрузившись трофеями, отправились в глубь острова или переправились на другие острова. Теперь должна была последовать развязка, и мы не ошиблись. Сначала раздался сильный толчок (который мы ощутили в своем укрытии так отчетливо, как будто через нас пропустили заряд электричества), но иных видимых признаков взрыва не было. Перепуганные дикари прекратили галдеть и суетиться. С минуту они выжидали, но едва только снова приступили было к грабежу, как из палубы выбилось облако дыма, тяжелого и черного, словно грозовая туча, потом из его недр на добрые четверть мили вверх взвился огненный столб, который тут же распространился полукружьем, затем в одно мгновение весь воздух вокруг, как по волшебству, усеялся кусками дерева, железа и человеческих тел, и, наконец, раздался такой мощный взрыв, что нас тотчас же сбило с ног; в горах прокатилось громкое эхо, а с неба посыпал густой дождь мелких обломков.

Взрыв произвел опустошение гораздо большее, чем мы ожидали; дикари по справедливости пожинали плоды своего вероломства. Наверное, целая тысяча погибла при взрыве и столько же было изувечено. Весь залив был буквально усеян утопающими, тем, кто был на берегу, пришлось еще хуже. Дикари пришли в ужас от того, как внезапно и плачевно кончилась их затея, и даже не пытались помочь друг другу. И тут мы заметили какую-то странную перемену в их поведении. После полнейшего оцепенения их охватило вдруг крайнее возбуждение — они как безумные забегали взад и вперед по берегу с оглушительными криками: «Текели-ли! Текели-ли!». На лицах у них были написаны ужас, ярость, удивление.

Затем группа туземцев кинулась в горы и скоро вернулась с деревянными кольями в руках. Они подошли туда, где собралось больше всего народу, толпа расступилась, и мы могли увидеть то, что вызвало эту неистовую неразбериху. На земле лежало что-то белое, но мы не могли сразу разглядеть, что именно. Наконец мы поняли, что это было чучело того самого неизвестного животного с ярко-алыми клыками и когтями, которое мы подобрали в море восемнадцатого января. Тогда капитан Гай распорядился сиять с него шкуру, чтобы

набить чучело и увезти в Англию. Помню, как он давал какие-то указания на этот счет как раз перед тем, как мы прибыли на остров, и чучело принесли к нему в каюту и положили в сундук. Взрывом чучело выбросило на берег, однако мы не понимали, почему оно вызвало такой переполох среди дикарей. Они окружили чучело со всех сторон, хотя никто не осмеливался подойти поближе. Потом туземцы, бегавшие за кольями, обнесли животное частоколом, после чего вся огромная толпа рванулась в глубь острова, оглашая воздух криками: «Текели-ли! Текели-ли!»

23

В течение шести-семи последующих дней мы оставались в нашем убежище, выходя лишь изредка, да и то с величайшими предосторожностями, за водой и орехами. Соорудив на площадке шалаш, мы настлали туда сухих листьев для постели и вкатили три больших плоских камня, которые служили нам и очагом и столом. Без особого труда, путем трения друг о друга двух кусков дерева (одного — твердого, другого мягкого) мы раздобыли огонь. У птицы, которую нам посчастливилось поймать, оказалось превосходное мясо, хотя и немного жестковатое. Она не принадлежала к семейству морских птиц, а скорее была разновидностью выпи и имела блестящее черное с серым оперение и сравнительно небольшие крылья. Потом мы видели в окрестностях еще трех таких же птиц, которые, очевидно, искали ту, что была поймана нами, но они не опускались на землю, и мы не сумели поживиться добычей.

Пока у нас хватало мяса, мы еще мирились со своим положением, но вот мясо кончилось, и надо было срочно позаботиться о пропитании. Орехи отнюдь не утоляли голод, а, напротив, вызывали резь в желудке, а в больших количествах — и приступы жестокой головной боли. К востоку от вершины, у моря, мы видели крупных черепах, и, если бы нам удалось пробраться туда незамеченными, мы могли бы без труда изловить несколько штук. Поэтому было решено рискнуть и спуститься вниз.

Мы начали спуск по южному склону, который представлялся нам самым пологим, но, когда мы прошли едва ли сотню ярдов (если судить по видимости предметов на вершине), путь нам преградило ответвление от того ущелья, где погибли наши товарищи. Мы прошли по краю обрыва с четверть мили и снова наткнулись на глубокую пропасть; края ее осыпались, и мы были вынуждены вернуться.

Тогда мы спустились по восточному склону, но и здесь нас постигла неудача. Рискуя сломать шею, мы целый час спускались но каким-то откосам, пока не очутились в огромной впадине со стенками из черного гранита, выбраться из которой можно было только той каменистой тропой, какой мы спустились сюда. Поднявшись по ней

назад, мы решили попробовать северный склон. Здесь мы должны были соблюдать особую осторожность, так как малейшая оплошность — и мы могли оказаться на виду у всей деревни. Поэтому мы пробирались на четвереньках, а иногда и ползком, подтягиваясь с помощью ветвей кустарника. Преодолев таким образом некоторое расстояние, мы наткнулись на такую глубокую бездну, какой нам еще не встречалось, — она соединялась с главным ущельем. Итак, наши опасения полностью подтвердились: мы были совершенно отрезаны от долины. Вконец выбившись из сил, мы кратчайшим путем возвратились на площадку и, свалившись на нашу постель из листьев, несколько часов проспали беспробудным сном.

Дни после этой безуспешной вылазки были заняты тем, что мы исследовали каждый дюйм на вершине в поисках чего-нибудь съедобного, но ничего не нашли, если не считать орехов, так дурно действующих на желудок, да клочка земли в двадцать квадратных ярдов, поросшей какой-то кисловатой травой, которой, конечно, не хватит надолго. Если не ошибаюсь, к пятнадцатому февраля не осталось ни травинки, да и орехи стали попадаться гораздо реже; дела наши обстояли как нельзя хуже. (Этот день запомнился тем, что в южном направлении мы заметили огромные клубы сероватых паров, о которых я как-то упоминал.) Шестнадцатого мы еще раз осмотрели стены нашей темницы в надежде найти выход, но безрезультатно.

Спустились мы и в расселину, где нас засыпало, надеясь разыскать какой-нибудь проход в главное ущелье. Но и здесь нас постигла неудача, хотя мы подобрали потерянное там наше ружье.

Семнадцатого числа мы решили более тщательно исследовать колодец с черными гранитными стенами, куда мы спускались в первый раз. Нам запомнилось, что в одной стене была трещина, в которую мы едва заглянули, и сейчас нам хотелось осмотреть ее получше, хотя мы и но очень рассчитывали, что обнаружим там какое-нибудь отверстие.

Как и в прошлый раз, мы спустились в колодец без особого труда и принялись внимательно разглядывать, что он собой представляет. Место это было поистине необыкновенное, и мы едва могли поверить в его естественное происхождение. Если учесть все повороты и изломы, длина шахты от восточной до западной оконечности составляла около пятисот ярдов, хотя по прямой, — как я предполагаю, ибо не имел никаких средств для измерения, — было всего ярдов

сорок — пятьдесят. В верхней своей части, приблизительно в сотне футов от вершины, склоны шахты совершенно различны: один из мыльного камня, другой из мергеля с зернистыми металлическими вкраплениями, причем они никогда, видимо, не составляли одно целое. Средняя ширина шахты на этом уровне была, вероятно, футов шестьдесят. Ниже, однако, расстояние между склонами резко сокращается, и они-переходят в две отвесных параллельных стены, хотя и из разного материала и с разной формой поверхности. На расстоянии пятидесяти футов от дна начинается их полное соответствие. Обе стены образованы из черного блестящего гранита, и расстояние между ними, несмотря на горизонтальные изломы, повсюду постоянно — двадцать метров.

Точную форму шахты лучше всего понять из чертежа, сделанного мною на месте, — дело в том, что я имел при себе записную книжку и карандаш, которые бережно хранил во время всех последующих приключений и благодаря которым я записал множество подробностей, в противном случае никак не удержавшихся бы в памяти.

Чертеж (см. рис. 1) дает общие очертания шахты, на нем нет небольших углублений, каждому из которых соответствовал бы выступ на противоположной стене.

Дно шахты было покрыто слоем тончайшей, почти неосязаемой ныли толщиной три-четыре дюйма, под которым мы нащупали то же гранитное основание. В правой нижней части чертежа можно заметить нечто вроде отверстия — это была та самая трещина, о которой говорилось выше и которую мы хотели как следует исследовать на этот раз. Мы начали продираться туда сквозь гущу кустарника, ломая ветви, раскидывая по пути груды острых камней, формой напоминающих наконечники от стрел. Слабый свет в дальнем конце коридора придавал нам бодрости. Протиснувшись футов на тридцать вперед, мы оказались под низкой, правильной формы аркой, — тут под ногами тоже лежал слой пыли. Свет усилился, и за поворотом открылась другая высокая шахта, во всем похожая на первую, но продолговатая. Вот ее очертания (см. рис. 2).

Общая длина этой шахты, если вести отсчет от точки d по дуге b до точки d, составляет пятьсот пятьдесят ярдов. В точке c мы обнаружили небольшое отверстие, похожее на то, которым мы

проникли сюда из первой шахты, и оно тоже сплошь заросло кустарником и было засыпано обломками белого камня. Мы одолели и этот проход — он был около сорока футов длиной — и проникли в третью шахту. Она также не отличалась от первой, но была продолговатой формы, как это изображено на рис. 3.

Общая длина ее составляла триста двадцать ярдов. В точке а был проход шириной футов шесть, тянущийся в глубину на пятнадцать футов и упиравшийся в пласты мергеля; другого выхода, как мы надеялись, отсюда не было. Свет сюда еле проникал, и мы уже хотели было возвращаться назад, как Петерс обратил мое внимание на ряд странных знаков, словно бы высеченных в мергеле на задней стене. При некотором усилии воображения левый, но компасу — отстоящий к северу знак можно было принять за изображение человека, хотя и примитивное, стоящего с протянутой рукой. Остальные отдаленно напоминали буквы, и Петерс был склонен считать их таковыми, хотя и не имел особых оснований. Я, однако, убедил его в том, что он ошибается: рядом, на дне, среди пыли, мы подобрали несколько осколков мергеля, которые как раз подходили к впадинам на стене и, очевидно, отвалились во время какого-нибудь сотрясения; таким образом, фигуры имели естественное происхождение. Рис. 4 в точности воспроизводит их целиком.

Убедившись, что в этих странных галереях нет выхода наружу, мы, удрученные, поднялись на вершину холма. В следующие сутки не произошло ничего знаменательного, если не считать того, что к востоку от третьей шахты мы наткнулись на два глубоких отверстия треугольной формы, тоже имеющих гранитные стенки. Мы решили, что спускаться в них нет смысла, поскольку они представляли собой естественные колодцы и не имели ответвлений. В поперечнике каждый был ярдов по двадцать. Точная форма этих колодцев и их расположение относительно третьей шахты показаны на рис. 5.

24

Двадцатого февраля мы поняли, что на орехах больше не продержимся, не говоря уже о том, что они вызывали жестокую резь в желудке, и решили предпринять отчаянную попытку спуститься в пропасть на южном склоне, ведущую в главное ущелье. Стены ее в этом месте были из мягкого мыльного камня, но почти отвесны до самого дна (глубина по крайней мере сто пятьдесят футов) и даже нависали, как арка. После долгих поисков мы обнаружили узкий выступ футах в двадцати от края пропасти; я держал связанные друг с другом платки, и Петерсу удалось туда спрыгнуть. Когда я, правда с большими трудностями, оказался с ним рядом, мы решили, что спустимся на дно пропасти тем же манером, каким мы выбирались из трещины после обвала, то есть выбивая тесаками ступени в камне. Трудно даже представить риск, на который мы шли, но другого выхода у нас не было, и мы решились.

К счастью, на уступе рос орешник, и мы привязали к кусту нашу сделанную из платков веревку. Другим концом веревки Петерс обвязался вокруг пояса, и я осторожно спустил его на всю ее длину. Он принялся выбивать в стене отверстие глубиной восемь — десять дюймов, стесывая над ним на целый фут кусок скалы клинообразной формы, после чего рукояткой пистолета прочно загнал этот клин в отверстие. Затем я подтянул его фута на четыре кверху, и он сделал еще одну ступеньку и вбил еще один клин, устроив, таким образом, опоры для рук и для ног. Тогда я отвязал веревку от куста и бросил ему конец, который он прикрепил к первому клину. Потом он снова обвязался веревкой и опустился на полную ее длину, оказавшись фута на три ниже того места, где он стоял. Здесь он выбил третье отверстие и загнал третий камень. Далее Петерс подтянулся по веревке вверх, упираясь ногами в только что сделанную дыру и держась за второй сверху клин. Теперь ему предстояло отвязать веревку от верхнего клина, чтобы прикрепить ко второму, и тут он понял, какую совершил ошибку, выбивая ступени на таком большом расстоянии друг от друга. После нескольких безуспешных и опасных попыток дотянуться до узла (а ему в это время приходилось держаться одной левой рукой, так

как правой он намеревался развязать его) он перерезал веревку, оставив кусок дюймов в шесть на клине, и, привязав ее ко второму клину, занял удобное положение под третьим отверстием, но не слишком низко. Так с помощью клиньев и веревки (этот способ, который родился благодаря изобретательности и решимости Петерса, никогда не пришел бы мне в голову) мой товарищ, цепляясь помимо всего за каждый попадавшийся выступ, благополучно достиг дна.

Не сразу я мог набраться духу, чтобы последовать его примеру, но в конце концов все-таки решился. Еще до того, как пойти на это рискованное предприятие, Петерс снял рубашку, которую я связал с моей собственной, сделав таким образом необходимую для спуска веревку. Сбросив Петерсу найденное в пропасти ружье, я привязал ее к кустам и начал быстро спускаться вниз, пытаясь энергичными движениями преодолеть дрожь, которую я не мог унять никак иначе. Меня хватило, однако, на первые пять-шесть шагов; при мысли о бездне, разверзшейся под ногами, и о непадежных ступенях и клиньях из мягкого мыльного камня, которые служили единственной мне опорой, воображение мое разыгралось необыкновенно. Напрасно я пытался отогнать эти мысли, вперив взгляд в плоскую поверхность стены прямо перед собой. Чем упорнее я старался не думать, тем ужаснее и отчетливее возникали у меня в голове разные видения. Наконец настал тот момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы заранее как бы переживаем ощущения, испытываемые при падении, и ясно представляем себе головокружение и пустоту в животе, и последнее отчаянное усилие, и потемнение в глазах, и, наконец, острое сожаление, что все кончено и ты стремительно летишь головой вниз. Мои фантазии, достигнув критической точки, начали создавать свою собственную реальность, и все воображаемые страхи действительно обступили меня со всех сторон. Я чувствовал, как дрожат и слабеют ноги, как медленно, но неумолимо разжимаются пальцы. В ушах у меня зазвенело, и я подумал: «Это по мне звонит колокол!» Теперь мной овладело неудержимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть больше на стену и с каким-то безумным неизъяснимым чувством, в котором смешался ужас и облегчение, устремил взгляд в пропасть. Тут же мои пальцы судорожно вцепились в клин, и в сознании, как тень, промелькнула едва ощутимая надежда на спасение, но в то же мгновение всю душу

мою наполнило желание упасть — даже не желание, а непреодолимая жажда, влечение, страсть. Я разжал пальцы, отвернулся от стены и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом сразу помутилось в голове, в ушах раздался резкий, нечеловеческий голос, подо мной возникла какая-то страшная призрачная фигура, и, тяжело вздохнув, я с замирающим сердцем обрушился прямо к ней на руки.

Я потерял сознание, но Петерс поймал меня. Он следил за мной со дна пропасти и, понимая, что я пал духом, всячески старался приободрить меня, хотя состояние мое было таково, что я не различал его слов и вообще ничего не слышал. Видя, что я вот-вот сорвусь, он поспешил подняться мне на помощь и подоспел вовремя. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка наверняка бы лопнула, и я полетел бы в бездну, но он сумел подхватить меня и осторожно спустил на полную ее длину, так что я без чувств повис над пропастью. Минут через пятнадцать я пришел в себя. Страх мой совершенно пропал, я почувствовал себя новым человеком и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз.

Теперь мы были недалеко от ущелья, где погибли наши товарищи, к югу от того места, где произошел обвал. Вокруг расстилалась дикая пустынная местность, вызывающая в памяти нарисованные путешественниками картины запустения там, где некогда находился древний Вавилон. Не говоря уже об обломках обвалившейся скалы, которые беспорядочной грудой преграждали путь к северу, поверхность земли была усеяна огромными камнями, словно мы находились среди развалин какого-то гигантского сооружения, хотя, конечно, присмотревшись, нельзя было обнаружить никаких следов человеческой деятельности. Повсюду виднелись шлаковые обломки, а также бесформенные гранитные и мергелевые глыбы с металлическими вкраплениями. (Мергель тоже был черный, и вообще мы не видели на острове никаких светлых предметов.) Почва была совершенно бесплодная, куда ни посмотри, без каких бы то ни было признаков растительности. Мы видели несколько чудовищных скорпионов, попадались и другие пресмыкающиеся, каких не встретишь в высоких широтах.

Поскольку прежде всего надо было раздобыть пищу, мы решили направиться к берегу, который был не далее чем в полумиле, намереваясь поймать черепаху, одну из тех, что мы видели из нашего

убежища на вершине горы. Прячась между обломками скал, мы осторожно продвинулись на сотню ярдов, как вдруг из какой-то пещеры выскочили пятеро дикарей, и один ударом дубинки тут же свалил Петерса на землю. Все кинулись, чтобы прикончить жертву, и это дало мне возможность опомниться. У меня было ружье, но ствол его был поврежден при падении в пропасть, поэтому я отбросил его за ненадобностью, выхватил пистолеты, которые держал в полном порядке, и бросился на дикарей, сделав несколько выстрелов подряд. Двое упали, а третий, который уже занес копье над Петерсом, в испуге отскочил в сторону. Мой товарищ был спасен, дальнейшее не представляло никакого труда. Он тоже имел при себе пистолеты, но из осторожности решил не стрелять, вполне полагаясь на свою физическую силу, какой я не встречал ни у кого. Выхватив дубинку у одного из упавших, он уложил всех троих, с одного удара проломив каждому череп. Мы одержали полную победу.

Все произошло так быстро, что мы едва могли поверить, что все случившееся было наяву, и стояли над трупами врагов в каком-то отупении, пока раздавшиеся вдали крики не вернули нас к действительности. Очевидно, дикари были растревожены выстрелами и вот-вот обнаружат нас. Мы не могли отступить к горе, так как крики доносились именно оттуда, но, если мы и успеем достигнуть ее подножия, все равно нас увидят, когда мы будем карабкаться вверх. Положение складывалось опаснейшее, мы лихорадочно соображали, куда скрыться, и в этот момент один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил на ноги и хотел бежать прочь. Мы, однако, настигли его через несколько шагов и хотели прикончить, но Петерс решил, что дикарь может пригодиться нам, если мы заставим его бежать с нами. Мы потащили его за собой, дав понять, что при малейшем сопротивлении он будет немедленно убит. Дикарь подчинился, и, скрываясь среди скал, мы бегом направились к берегу.

До сих пор неровная местность почти совсем скрывала от нас море, и оно полностью открылось перед нами лишь тогда, когда мы оказались ярдах в двухстах от него. Выскочив на берег, мы с ужасом увидели толпы дикарей, которые отовсюду бежали к нам с животными воплями и яростно размахивая руками. Мы хотели уже повернуть назад и отступать под прикрытием складок местности, как вдруг за

большой скалой, выступающей в море, я заметил пару челнов. Мы кинулись туда со всех ног — у челнов никого не было, а в них лежали три крупных галапагосских черепахи и обычный запас весел гребцов на шестьдесят. Увлекая за собой нашего пленника, мы вскочили в один из челнов и что было сил принялись грести в открытое море.

Но, отплыв от берега ярдов на пятьдесят и немного успокоившись, мы поняли, какой промах мы допустили, оставив второй челн дикарям, которые к этому времени были лишь вдвое дальше от него, нежели мы, и быстро приближались к желанной цели. Нельзя было терять ни секунды. Надежда опередить была ничтожна, но ничего иного нам не оставалось. Сомнительно, чтобы мы, даже приложив все усилия, сумели подоспеть к челну до них, однако это была единственная возможность спастись. В противном случае нам грозила смерть.

Нос и корма у челна были устроены совершенно одинаково, так что мы не стали его разворачивать, а просто пересели и стали грести в другую сторону. Когда дикари увидели этот нехитрый маневр, их вопли усилились, равно как и скорость, с какой они приближались к челну. Мы отчаянно налегали на весла и прибыли к цели в тот момент, когда ее уже достиг один из туземцев, опередивший остальных. Этот человек дорого поплатился за свое необыкновенное проворство: едва мы коснулись берега, Петерс выстрелил ему прямо в лицо. Когда мы подоспели к челну, бегущие впереди находились, вероятно, в двадцати или тридцати шагах от нас. Сначала мы хотели оттолкнуть его подальше от берега, чтобы он не достался дикарям, но днище глубоко врезалось в песок, времени уже не оставалось, и тогда Петерс ружейным прикладом вышиб дно у носа и проломил борт. Пока мы сами отталкивались от берега, двое дикарей ухватились за наш челн и упорно держались, так что мы были вынуждены прикончить их ножами. Теперь мы были на плаву и что есть силы гребли в открытое море. Когда дикари толпой подбежали к поврежденному челну, они буквально взвыли от бессильной ярости. Вообще, насколько я могу судить, эти негодяи оказались самыми злобными, коварными, мстительными и кровожадными существами на свете; попади мы им в лапы, пощады нам не было бы. Дикари попытались пуститься за нами вдогонку на дырявом челне, но затея была явно бесполезной, и, снова излив свою ярость в чудовищных воплях, они кинулись в горы.

Итак, мы избежали непосредственной опасности, хотя положение оставалось еще угрожающим. В распоряжении дикарей имелись четыре таких же челна (о том, что два из них разлетелись в щенки при взрыве «Джейн Гай», мы узнали позже от нашего пленника), и мы решили, что преследование возобновится, как только дикари доберутся до входа в залив, где обычно стояли лодки, — расстояние туда было мили три. Поэтому мы прилагали все силы, чтобы отойти как можно дальше от острова, заставив, разумеется, нашего пленника тоже работать веслом.

Через полчаса, когда мы проплыли пять или шесть миль к югу, из залива появилась целая флотилия плоскодонок. Но, отчаявшись догнать нас, они скоро повернули назад.

25

Итак, мы находились в необозримом и пустынном Антарктическом океане, выше восемьдесят четвертой параллели, на утлом челне и без запасов пищи, если не считать черепах. Не за горами была и долгая полярная зима. Поэтому надо было хорошенько взвесить, куда держать курс. В поле зрения было еще шесть или семь островов, принадлежащих к той же группе, но ни к одному из них мы приставать не хотели. Когда мы шли сюда на «Джейн Гай» с севера, позади нас постепенно оставались наиболее труднопроходимые районы сплошного льда, — как бы этот факт ни расходился с общепринятыми представлениями об Антарктике, мы убедились в нем на собственном опыте. Попытка пробиться назад, особенно в такое время года, была бы чистейшим вздором. Лишь одно направление сулило какие-то надежды, и мы решили смело плыть к югу, где, по крайней мере, имелась вероятность наткнуться на землю и еще большая вероятность попасть в теплый климат.

До сих пор Антарктический океан, наподобие Арктического, показывал себя с неожиданно хорошей стороны: не было ни жестоких штормов, ни бурных волн, и все-таки наш челн был весьма хрупким, мягко выражаясь, суденышком, несмотря на порядочные размеры, и мы деятельно принялись за работу, намереваясь придать ему как можно большую прочность теми ограниченными средствами, которые были в нашем распоряжении. Корпус челна был сделан из коры неизвестного дерева, а шпангоуты — из крепкой лозы, которая хорошо подходила для этой цели. От носа до кормы челн имел пятьдесят футов, в ширину — четыре — шесть футов, а борта достигали четырех с лишним футов, то есть устройство здешних лодок сильно отличалось от тех, какими пользуются другие обитатели Южного океана, известные цивилизованным нациям. Они никак не могли быть делом рук невежественных островитян, которые владели ими, и несколько дней спустя из расспросов нашего пленника мы узнали, что они сделаны туземцами с островов, лежащих к юго-западу от того, где мы были, и нашим варварам достались случайно. Как могли, мы постарались сделать ее более пригодной для плавания в океане.

Разорвав суконную куртку, мы законопатили щели, обнаруженные на носу и на корме. Из лишних весел мы соорудили каркас на носу, чтобы гасить силу волн, накатывающихся с той стороны. Два весла пошли на мачты — мы поместили их на планшире друг против друга, обойдясь, таким образом, без рей. К этим самодельным мачтам был затем прикреплен парус из наших рубашек, что мы проделали не без труда: наш пленник наотрез отказался помогать нам, хотя охотно участвовал в других работах. Очевидно, белая материя вселяла в него невероятный страх. Он боялся не только взять ее в руки, но даже приблизиться к ней, а когда мы хотели заставить его силой, он задрожал с головы до ног и завопил: «Текели-ли!»

Оснастив по мере возможности наш челн, мы повернули на юго-восток, чтобы обойти с наветренной стороны самый южный остров из видневшейся на горизонте группы, и лишь после этого взяли курс прямо на юг. Погода стояла вполне сносная. С севера почти постоянно дул мягкий ветер, круглые сутки мы имели дневной свет, море было спокойно и совершенно свободно ото льда. Вообще я не видел ни одной льдины после того, как мы пересекли параллель, на которой лежал остров Беннета. Вода была достаточно теплая, и лед таял. Разделав самую крупную черепаху, мы располагали теперь запасом мяса и воды. В течение семи или восьми дней мы плыли на юг без сколько-нибудь значительных происшествий, пройдя за это время, должно быть, огромное расстояние, так как ветер был попутный и нам помогало сильное течение к югу.

Март, первого дня. (По понятным причинам я не могу ручаться за точность дат. Я привожу их по своим карандашным записям главным образом для того, чтобы читателю было легче следить за ходом изложения.) Множество необычных явлений говорит о том, что мы входим в какую-то неизвестную, диковинную область океана. На горизонте в южном направлении часто возникает широкая полоса сероватых паров — они то столбами вздымаются кверху, быстро перемещаясь с востока на запад и с запада на восток, то растягиваются в ровную гряду, то есть постоянно меняют очертания и краски, подобно Aurora Borealis[1096]. С нашего местонахождения пары поднимаются в среднем на высоту двадцать пять градусов. Температура воды с каждым часом повышается, и заметно меняется ее цвет.

Март, второго дня. Мы долго расспрашивали сегодня нашего пленника и узнали массу подробностей об острове, где была учинена расправа над нашими товарищами, о его обитателях и их обычаях — по могу ли я теперь задерживать ими внимание читателя? Наверное, достаточно сообщить, что, по его словам, архипелаг состоит из восьми островов, которыми правит король Тсалемон или Псалемун, живущий на самом крошечном островке, что черные шкуры, из которых сделана одежда воинов, принадлежат каким-то огромным животным, которые водятся только в долине неподалеку от обиталища короля, что туземцы строят только плоты, вернее плоскодонные лодки, а те четыре челна — единственные, которые у них были, — случайно достались им с какого-то большого острова на юго-западе, что его самого зовут Ну-Ну и он понятия не имеет об острове Беннета и что название деревни — Тсалал. Начало слов «Тсалемон» и «Тсалал» он произносил с длинным свистящим звуком, который мы при всем желании не смогли воспроизвести и который в точности напоминал крик птицы, пойманной нами на вершине горы.

Март, третьего дня. Вода просто теплая и быстро теряет прозрачность, цветом и густотой напоминая молоко. В непосредственной близости море совершенно спокойно, и наш челн не подвергается ни малейшей опасности, но мы с удивлением увидели, что справа и слева на разном расстоянии от нас на поверхности несколько раз внезапно возникало сильное волнение; позже мы заметили, что этому предшествуют бесформенные вспышки паров на юге.

Март, четвертого дня. Ветер с севера заметно стих, и мы решили увеличить площадь нашего паруса. Вытаскивая из кармана большой белый платок, я случайно задел Ну-Ну по лицу, и его тут же схватили судороги. Затем, лишь изредка бормоча: «Текели-ли! Текели-ли!» — он впал в беспамятство.

Март, пятого дня. Ветер прекратился, но мощное течение несет нас все так же к югу. Мы должны были, казалось бы, встревожиться, видя, какой оборот принимают дела, но — ничего подобного. У Петерса на лице не отражалось ни малейшего беспокойства, хотя по временам выражение его было какое-то загадочное. Приближающаяся полярная зима пока не давала о себе знать. Я чувствовал лишь

некоторую скованность, душевную и физическую оцепенелость, но это было все.

Март, шестого дня. Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску, дотрагиваться до нее неприятно. Сегодня море забурлило в нескольких местах, совсем близко от нашего челна. Это сопровождалось сильной вспышкой наверху, и пары как бы отделились на мгновение от поверхности моря. Когда свечение в парах погасло и волнение на море улеглось, нас и порядочную площадь вокруг осыпало тончайшей белой пылью, вроде пепла, но это был отнюдь не пепел. Ну-Ну бросился на дно лодки, закрыл лицо руками, и никакие уговоры не могли заставить его подняться.

Март, седьмого дня. Сегодня мы расспрашивали Ну-Ну, из-за чего его соплеменники убили наших товарищей, но он охвачен таким ужасом, что мы не сумели добиться от него вразумительного ответа. Он отказывался подняться со дна лодки, а когда мы возобновили расспросы, стал делать какие-то идиотские жесты. В частности, он поднял указательным пальцем верхнюю губу и обнажил зубы — они были черные. До сих пор нам не доводилось видеть зубы обитателей Тсалала.

Март, восьмого дня. Мимо нас проплыло то белое животное, чье чучело вызвало такой переполох среди дикарей на берегу Тсалала. Я мог поймать его, но на меня напала непонятная лень, и я не стал этого делать. Руку в воде держать нельзя — такой она стала горячей. Петерс почти все время погружен в молчание, я не знаю, что и думать. Ну-Ну неподвижно лежит на дне лодки.

Март, девятого дня. Тонкая белая пыль в огромном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более или менее отчетливую форму. Не знаю, с чем сравнить их, иначе как с гигантским водопадом, бесшумно низвергающимся с какого-то утеса, бесконечно уходящего в высоту. Весь южный горизонт застлан этой необозримой пеленой. Оттуда не доносится ни звука.

Март, двадцать первого дня. Над нами нависает страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана поднялось яркое сияние и распространилось вдоль бортов лодки. Нас засыпает дождем из белой

пыли, которая, однако, тает, едва коснувшись воды. Верхняя часть пелены пропадает в туманной вышине. Мы приближаемся к ней с чудовищной скоростью. Временами пелена ненадолго разрывается, и тогда из этих зияющих разрывов, за которыми теснятся какие-то мимолетные смутные образы, вырываются могучие бесшумные струи воздуха, вздымая по пути мощные сверкающие валы.

Март, двадцать второго дня. Тьма сгустилась настолько, что мы различаем друг друга только благодаря отражаемому водой свечению белой пелены, вздымающейся перед нами. Оттуда несутся огромные мертвенно-белые птицы и с неизбежным, как рок, криком «текели-ли!» исчезают вдали. Услышав их, Ну-Ну шевельнулся на дне лодки и испустил дух. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна[1097], будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване.

И кожа ее белее белого.

От издателя

Обстоятельства, связанные с последовавшей недавно внезапной и трагической кончиной мистера Пима, уже известны публике из газет. Высказывают опасения, что несколько оставшихся глав, которые, очевидно, заключали повествование, находились у него на переработке — тогда как остальные были уже в наборе — и безвозвратно утеряны во время несчастного случая, ставшего причиной его смерти. Впрочем, дело может обстоять совершенно иначе, и если бумаги в конце концов обнаружатся, они непременно будут опубликованы.

Мы испробовали все средства, чтобы исправить положение. Предполагалось, что джентльмен, чье имя упомянуто в предисловии, мог бы, как явствует оттуда же, восполнить пробел, но он, увы, наотрез отказался от этого предложения, резонно заявив, что не может целиком положиться на представленные ему материалы и вообще сомневается в достоверности последних частей повествования. Дополнительный свет на происшедшие события может, очевидно, пролить Петерс, который благополучно проживает в Иллинойсе, но в настоящее время мы не могли его разыскать. Не исключено, что это удастся впоследствии и он сообщит новые сведения для того, чтобы завершить рассказ мистера Пима.

Утрата двух или трех заключительных глав (вряд ли их было больше) тем более огорчительна, что они, бесспорно, содержат сведения относительно полюса или, по крайней мере, прилегающих к нему районов и что в скором времени они могут быть подтверждены или опровергнуты экспедицией в Южный океан, которую снаряжает наше правительство.

Пока же рискнем сделать несколько замечаний касательно одного места в повествовании, причем автору этих строк доставит неизъяснимое удовольствие, если то, что он имеет сказать, хоть в малейшей степени поможет завоевать доверие читателя к опубликованным страницам, представляющим исключительный интерес. Мы имеем в виду рассказ о галереях на острове Тсалал и рисунки.

Мистер Ним приводит чертежи шахт без каких-либо пояснении и о знаках, обнаруженных на стене восточной шахты, говорит, что они отдаленно напоминают буквы, то есть решительно заявляет, что они таковыми не являются. Это утверждение высказано столь убедительно и подтверждается фактами столь весомыми (например, то, что выступы найденных в пыли осколков точно соответствовали углублениям в стене), что мы вынуждены всерьез доверять автору, и ни у одного здравомыслящего читателя не появится и тени сомнения на этот счет. Однако поскольку факты, относящиеся к чертежам, совершенно исключительны (особенно если их рассматривать в связи с определенными подробностями повествования), то нелишне сказать о них несколько слов, нелишне особенно потому, что упомянутые факты, бесспорно, ускользнули от внимания мистера По.

Если сложить вместе рисунки 1, 2, 3 и 5 в том порядке, в каком располагаются сами шахты, и исключить Небольшие второстепенные ответвления и дуги (которые служили, как мы помним, только средством сообщения между основными камерами), то они образуют эфиопский глагольный корень «быть темным»; отсюда происходят слова, означающие тьму или черноту.

Что касается левого или «самого северного знака» на рис. 4, то более чем вероятно, что Петерс был прав и что он действительно высечен человеком и изображает человеческую фигуру. Чертеж перед читателем, и он сам может судить о степени сходства, зато остальные углубления решительно подтверждают предположение Петерса. Верхний ряд знаков, вероятно, представляет собой арабский глагольный корень «быть белым», и отсюда все слова, означающие яркость и белизну. Нижний ряд не столь очевиден. Линии стерлись, края их пообломались, и все же нет сомнения, что в первоначальном состоянии они образовывали древнеегипетское слово «область юга». Следует заметить, что это толкование подтверждает мнение Петерса относительно «самого северного знака». Рука человека вытянута к югу.

Эти предварительные выводы открывают широкое поле для размышлений и увлекательных догадок. Их можно, видимо, строить в связи с некоторыми наиболее обстоятельно изложенными деталями повествования, хотя на первый взгляд они отнюдь не являют некой единой цепи. «Текели-ли!» — кричали перепуганные дикари при виде чучела белого животного, подобранного в море. Таков же был

испуганный вопль пленного островитянина, когда мистер Ним вытащил из кармана белый платок. Так же кричали огромные белые птицы, стремительно несущиеся из парообразной белой пелены на юге. Ни на острове Тсалал, ни во время последующего путешествия к полюсу не было обнаружено ничего белого. Не исключено, что скрупулезный лингвистический анализ вскроет связь между самим названием острова «Тсалал» и загадочными пропастями и таинственными надписями на их стенах.

«Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе скалы».

Январь — Февраль, 1837
пер. Г. Злобина

Дневник Джулиуса Родмена

представляющий собой описание первого путешествия через скалистые горы северной Америки, совершенного цивилизованными людьми

Глава I

Вводная

Благодаря редкой удаче, мы имеем возможность предложить читателям под этим заглавием весьма примечательную и несомненно весьма интересную повесть. Публикуемый нами дневник не только содержит описание первой удачной попытки преодолеть гигантскую преграду, какою является высочайшая горная цепь, тянущаяся от Ледовитого океана на севере до перешейка Дариен на юге и образующая на всем своем протяжении отвесную стену, сверху опушенную снегом; что еще важнее, в нем приведены подробности путешествия по огромной территории, лежащей за этими горами, которая доныне считается совершенно неизвестной и на всех картах страны помечена как «неисследованная». К тому же это — единственная неисследованная часть северо-американского материка. А поскольку это так, наши друзья простят нам некоторую восторженность, с какой мы предлагаем дневник вниманию читателей. Чтение его вызвало и у нас самих больший интерес, чем любое другое повествование такого рода. Мы не считаем, что наше личное знакомство с тем, благодаря кому рукопись станет достоянием читателей, играет при этом сколько-нибудь значительную роль. Мы убеждены, что все наши читатели признают вместе с нами необычайную занимательность и важность описанных в ней событий. Личные качества человека, бывшего главою и душою экспедиции и одновременно ее летописцем, придали написанному большую долю романтичности, весьма не похожей на статистическую скуку, отличающую большинство подобных описаний. М-р Джеймс Э. Родмен, от которого мы получили рукопись, хорошо известен многим читателям нашего журнала[1098]; он частично унаследовал черты, омрачившие молодые годы его деда, м-ра Джулиуса Родмена, автора записок. Мы имеем в виду наследственную ипохондрию. Именно этот недуг был главной причиной, побудившей его предпринять описанное им необычайное путешествие. Охота и трапперство, о которых

говорится в начале дневника, были, насколько мы можем судить, лишь предлогами, которыми он оправдывал перед собственным рассудком свою дерзкую и необычную попытку. Нам кажется несомненным (и читатели с нами согласятся), что его влекло единственно стремление найти среди первобытной природы тот душевный покой, которого он в силу особенностей своего характера не мог обрести среди людей. Он бежал в пустыню как бегут к другу. Только при такой точке зрения удается примирить многие строки его повести с обычными нашими понятиями о мотивах человеческих поступков.

Так как мы решили опустить две страницы рукописи, где м-р Родмен описывает свою жизнь до поездки по Миссури, следует указать, что он родился в Англии, происходил из хорошей семьи, получил отличное образование, а затем, в 1784 г. (в возрасте около восемнадцати лет) эмигрировал в нашу страну вместе с отцом и двумя незамужними сестрами. Семья жила сперва в Нью-Йорке; но затем переехала в Кентукки и поселилась весьма уединенно на берегу Миссисипи, там, где сейчас Миллз Пойнт впадает в реку. Здесь осенью 1790 года скончался старый м-р Родмен; а в следующую зиму в течение нескольких недель погибли от оспы обе его дочери. Вскоре затем (весной 1791 года) сын, м-р Джулиус Родмен, отправился в путешествие, о котором рассказывается ниже. Возвратясь из него в 1794 г., как сказано далее, он поселился близ Абингдона в Виргинии; здесь он женился, имел троих детей и здесь же доныне проживает большинство его потомков.

М-р Джеймс Родмен сообщил нам, что его дед вел только краткий дневник своего трудного путешествия и что переданная нам рукопись была написана на основе этого дневника лишь много лет спустя, по настоянию г-на Андре Мишо, ботаника, автора трудов Flora Boreali Americana[1099] и Histoire des Chenes d'Amerique[1100]. Напомним, что г-н Мишо[1101] предложил свои услуги президенту Джефферсону[1102], когда тот впервые задумал послать экспедицию через Скалистые горы. Предложение его было принято, и он даже доехал до Кентукки, но здесь его догнало распоряжение французского посланника, находившегося в то время в Филадельфии, в котором ему приказывали отказаться от его намерения и избрать другую местность для ботанических исследований, порученных ему его правительством.

Руководство задуманной экспедицией досталось м-ру Льюису[1103] и м-ру Кларку, которые и завершили ее с успехом.

Но г-н Мишо так и не увидел рукописи, написанной специально для него; считалось, что она была утеряна тем юношей, которому была вручена для передачи г-ну Мишо в его временном местожительстве возле Монтичелло. Никто не пытался ее разыскать, ибо м-р Родмен, вследствие особых черт своего характера, мало этим интересовался. Как ни странно, но нам кажется, что он ничего не предпринял бы для опубликования результатов своей необычайной экспедиции и что он переписал и дополнил свой дневник единственно, чтобы сделать приятное г-ну Мишо. Даже проект м-ра Джефферсона, который в ту пору возбуждал всеобщий интерес и считался чем-то совершенно новым, вызвал у героя нашей повести лишь несколько общих замечаний, адресованных членам его семьи. О собственном своем путешествии он никогда не рассказывал и скорее даже избегал этой темы. Он скончался до возвращения Льюиса и Кларка; а рукопись, врученная посланцу для передачи г-ну Мишо, была обнаружена лишь около трех месяцев назад в потайном ящике секретера, принадлежавшего м-ру Джулиусу Родмену. Кто положил ее туда — неизвестно; все родственники м-ра Родмена утверждают, что спрятал ее не он; однако мы, при всем нашем уважении к его памяти, а также к м-ру Джеймсу Родмену (которому мы более всего обязаны), считаем, что предположение, будто автор рукописи каким-то образом вернул ее себе и спрятал, как раз весьма правдоподобно и вполне согласуется со свойственной ему болезненной чувствительностью.

Мы ни в коем случае не хотели ничего менять в повествовании м-ра Родмена, и единственная вольность, какую мы допустили в отношении его рукописи, это — некоторые сокращения. Слог ее едва ли нуждался в исправлениях; он прост и весьма выразителен и свидетельствует о глубоком восхищении путешественника величавыми зрелищами, которые день за днем представали его глазам. Его повесть, даже там, где говорится о жестоких лишениях и опасностях, написана с увлечением, раскрывающим нам все особенности его характера. Он пылко любил Природу и поклонялся мрачным и суровым ее зрелищам пожалуй даже больше, чем когда она представала светлой и безмятежной. Огромную и зачастую страшную чащу лесов он прошел с восторгом в сердце, вызывающим у нас зависть. Именно такому

человеку подобало путешествовать среди угрюмого безмолвия, которое он описывает с такой явной охотой. Он обладал подлинной способностью воспринимать и чувствовать. Вот отчего мы считаем его рукопись сокровищем, в своем роде непревзойденным и даже не имеющим себе равных.

То, что повесть эта была до сего времени утеряна, что даже сам факт, что м-р Родмен пересек Скалистые горы до экспедиции Льюиса и Кларка, остался неизвестным и не упоминается ни одним из географов, описавших Америку (таких упоминаний, насколько мы смогли установить, не существует), является чрезвычайно странным. Единственное упоминание об этом путешествии, как нам удалось узнать, содержится в неопубликованном письме г-на Мишо, находящемся в архиве некоего м-ра Уайетта в Шарлотсвилле, штат Виргиния. Там о нем говорится мимоходом как о «гигантском замысле, блестяще осуществленном». Если существуют другие упоминания об экспедиции, они нам неизвестны.

Прежде чем предоставить слово самому м-ру Родмену, нелишне будет вспомнить о других открытиях в северо-западной части нашего материка. Положив перед собою карту Северной Америки, читатель лучше сможет следить за нашими замечаниями.

Как мы видим, материк простирается от Северного Ледовитого океана, то есть примерно от 70-й северной параллели до 9-й и от 56-го меридиана к западу от Гринвича до 168-го. На всей этой огромной территории уже побывал цивилизованный человек, и весьма значительная часть ее заселена. Однако большое пространство еще помечено на всех наших картах как «неисследованное» и по сей день считается таковым. С юга оно ограничено 60-й параллелью, с севера — Ледовитым океаном, с востока — Скалистыми горами, а с запада — владениями России. И все же м-ру Родмену принадлежит честь первого прохождения через этот совершенно дикий край; наиболее интересные подробности публикуемой нами повести касаются его приключений и открытий в тех местах.

Самыми ранними путешествиями белых людей по Северной Америке были экспедиции Эннепена[1104] и его спутников в 1698 году; но так как он побывал главным образом в ее южной части, мы не считаем нужным говорить об этом подробнее.

М-р Ирвинг в своей «Астории»[1105] называет капитана Джонатана Карвера[1106] первым, кто попытался пересечь материк от Атлантического до Тихого океана; но тут он, по-видимому, ошибается, ибо в одном из дневников сэра Александра Маккензи[1107] говорится о двух таких попытках, предпринятых Пушной Компанией Гудзонова залива, — одной в 1758 году, а одной еще в 1749; однако обе оказались, как видно, неудачными, ибо никаких отчетов о них не сохранилось. Капитан Карвер совершил свое путешествие в 1763 г., вскоре после приобретения Канады Великобританией. Он намеревался пересечь материк между 43-м и 46-м градусами северной широты и достичь побережья Тихого океана. Целью его было установить протяженность материка в наиболее широкой части и выбрать на западном побережье место для правительственного поста, который служил бы базой для поисков северо-западного пути, а также связал бы Гудзонов залив с Тихим океаном. Он полагал, что река Колумбия, носившая тогда название Орегон, впадает в море где-то возле пролива Анниан; и тут он думал устроить пост. Он считал также, что поселение в этой местности откроет новые возможности для торговли и установит более прямое сообщение с Китаем и с британскими владениями в Ост-Индии, нежели прежний путь вокруг мыса Доброй Надежды. Однако попытка перевалить через горы ему не удалась.

Следующей по времени важной экспедицией в северной части Америки была экспедиция Самюэля Хирна[1108], который в 1769, 1770, 1771 и 1772 годах прошел в северо-западном направлении от форта Принца Уэльского на Гудзоновом заливе до берегов Северного Ледовитого океана в поисках медных залежей.

Затем надлежит отметить вторую попытку капитана Карвера, предпринятую им в 1774 году совместно с Ричардом Уитвортом[1109], членом парламента и богатым человеком. Мы упоминаем об этом предприятии только из-за широкого размаха, с каким оно было задумано, ибо осуществлено оно не было. Руководители экспедиции предполагали взять с собою пятьдесят-шестьдесят человек моряков и механиков, подняться по одному из рукавов Миссури, поискать в горах исток Орегона и спуститься по этой реке до ее предполагаемого устья возле пролива Анниан. Здесь думали построить форт, а также суда для

дальнейших плаваний. Осуществлению этих замыслов помешала американская революция.

Канадские миссионеры уже в 1775 г. вели пушную торговлю на берегах Саскачевана, на 53° северной широты и 102° западной долготы; а в начале 1776 года мистер Джозеф Фробишер[1110] достиг в том направлении 55° северной широты и 103° восточной долготы.

В 1778 году мистер Питер Бонд на четырех каноэ прошел до Лосиной реки, в 30 милях южнее ее слияния с Горным озером.

Теперь следует упомянуть еще об одной попытке, с самого начала неудачной, пересечь наиболее широкую часть материка от океана до океана. Публике о ней почти ничего не известно; она упоминается одним только мистером Джефферсоном, да и то вскользь. Мистер Джефферсон рассказывает, как его посетил в Париже Ледьярд[1111], жаждавший новых предприятий после своего удачного путешествия с капитаном Куком; и как он (мистер Джефферсон) предложил ему добраться по суше до Камчатки, переправиться на русском судне в Нужу, спуститься до широты, на которой протекает Миссури, а затем, по этой реке — в Соединенные Штаты. Ледьярд согласился при условии, что получит разрешение русского правительства. Этого мистеру Джефферсону удалось добиться, но путешественник прибыл из Парижа в Санкт-Петербург, когда императрица уже уехала на зиму в Москву. Не имея средств, чтобы без крайней надобности задерживаться в Санкт-Петербурге, он продолжал путь, получив паспорт у одного из консулов, но в двухстах милях от Камчатки был задержан чиновником императрицы, которая передумала и решила запретить поездку. Его посадили в закрытую повозку и, погоняя без устали день и ночь, доставили к границам Польши, где и отпустили. Мистер Джефферсон, говоря о предприятии Ледьярда, ошибочно называет его «первой попыткой исследовать западную часть североамериканского материка».

Следующей важной экспедицией было замечательное путешествие сэра Александра Маккензи, совершенное в 1789 году. Он отправился из Монреаля, прошел по реке Утавас, по озерам Нипписинг и Гурон, вдоль северного берега Озера Верхнего, так называемым Большим Волоком, а оттуда — вдоль реки Дождевой, по озерам Лесному и Боннет, верхней частью озера Собачья Голова, по южному берегу озера Виннипег, по Кедровому Озеру и, мимо устья

Саскачевана, к Осетровому Озеру; оттуда он волоком перебрался на Миссисипи и по озерам Черного Медведя, Примо и Бизоньему добрался до высокой горной цепи, идущей с северо-востока на юго-запад; дальше его путь лежал по Лосиной реке к Горному озеру, по Невольничьей реке к озеру Невольничье, вдоль северного берега этого озера до реки Маккензи, а уж по ней, наконец, в Полярное море. Это было огромное путешествие, во время которого он подвергался бесчисленным опасностям и терпел самые тяжкие лишения. Спустившись по реке Маккензи до ее устья, он прошел вдоль подножья восточного склона Скалистых гор, однако через горы не перевалил. Правда, весною 1793 года, отправившись из Монреаля и проделав свой прежний путь до устья Унджиги, или реки Мира, он затем поднялся по этой реке, проник в горы на уровне 56-й широты, повернул к югу, достиг реки, которую назвал Лососевой (ныне река Фрейзер), и по ней вышел в Тихий океан, примерно на 40-й параллели северной широты.

Памятная экспедиция капитанов Льюиса и Кларка была совершена в 1804–1805 и 1806 годах. В 1803 году, в связи с истечением срока договора с индейскими племенами о факториях, мистер Джефферсон, в секретном послании конгрессу от 18 января, рекомендовал некоторые изменения в договоре (распространявшие его на индейские территории на Миссури). Для подготовки путей было предложено послать экспедицию, которая прошла бы Миссури до ее истоков, перевалила через Скалистые горы, а там искала наиболее удобный водный путь к Тихому океану. Этот план был полностью осуществлен; капитан Льюис исследовал (но не «открыл», как сообщает мистер Ирвинг) верховье реки Колумбия и прошел по ней до ее устья. Верховье Колумбии посетил и Маккензи еще в 1793 г.

Одновременно с экспедицией Льюиса и Кларка вверх по Миссури, майор Зебулон М. Пайк[1112] прошел вверх по Миссисипи, проследив течение этой реки вплоть до ее истоков в озере Итаска. Вернувшись оттуда, он, по распоряжению правительства, отправился на запад от Миссисипи и за годы 1805–1806 и 1807 побывал в верховье реки Арканзас (за Скалистыми горами, на 40° северной широты), пройдя по рекам Оседж и Канзас до истоков Платы.

В 1810 году мистер Дэвид Томпсон[1113], пайщик Северо-Западной Пушной компании, отправился из Монреаля с многочисленной

группой, чтобы пересечь материк и выйти к Тихому океану. Первая половина его пути совпадала с маршрутом Маккензи в 1793 г. Целью его было предвосхитить намерение мистера Джона Джейкоба Астора[1114], а именно основать факторию в устье реки Колумбия. Большая часть его людей покинула его на восточных склонах гор; однако ему удалось перевалить через них и с оставшимися восемью спутниками достичь северного рукава Колумбии, по которому он спустился, проделав по нему значительно больший путь, чем какой-либо белый человек до него.

В 1811 году осуществил свое замечательное предприятие мистер Астор, во всяком случае ту его часть, которая относилась к путешествию через материк. Поскольку м-р Ирвинг уже познакомил читателей с подробностями этого путешествия, мы упомянем о нем лишь в немногих словах. О цели его уже только что говорилось. Путь экспедиции (возглавлявшейся м-ром Уилсоном Прайсом Хантом[1115]) шел из Монреаля, вверх по Утавас, через озеро Ниписсинг и ряд мелких озер и рек до Мичилимакинака, иначе называемого Мэкинау, оттуда через Зеленую Бухту и реки Лисью и Висконсин до Prairie du Chien[1116]; оттуда по течению Миссисипи до Сен-Луи; затем вверх по Миссури до поселения индейцев арикара, между 46-м и 47-м градусами северной широты, в 1430 милях выше устья реки; а там, держа на юго-запад, через горы, примерно у верховьев Платы и Иеллоустона, и по южному рукаву Колумбии — к морю. Два маленьких отряда этой экспедиции на обратном пути совершили весьма опасные и богатые приключениями путешествия по материку.

Следующим важным этапом были путешествия майора Стивена Х. Лонга[1117]. В 1823 г. он добрался до истоков реки Сент-Питер, до озера Виннипег, Лесного и многих других. О более недавних экспедициях капитана Бонвиля[1118] и других едва ли нужно говорить, ибо они еще свежи у всех в памяти. О приключениях капитана Бонвиля хорошо рассказал мистер Ирвинг. В 1832 г. отправившись из Форта Оседж, он перевалил через Скалистые горы и почти три года провел за ними. Но на обширные пустынные земли к северу от наших владений и к западу от реки Маккензи еще не ступала, насколько известно, нога цивилизованного человека, за исключением мистера Родмена и его маленького отряда. Что касается первенства в переправе

через Скалистые горы, то из сказанного нами явствует, что его не следовало бы приписывать Льюису и Кларку, поскольку это удалось Маккензи в 1793 году; а самым первым был, в сущности, мистер Родмен, преодолевший этот гигантский барьер еще в 1792 году. Таким образом, мы имеем немало оснований предложить нашу необычайную повесть вниманию читателей.

(Редакторы «Джентлменз мэгезин»)

Глава II

После смерти отца и обеих сестер я утратил всякий интерес к нашей плантации у Пойнта и за бесценок продал ее м-сье Жюно. Я и прежде подумывал отправиться траппером вверх по Миссури, а теперь решил снарядить туда экспедицию за пушниной, которую рассчитывал продать в Петит Кот агентам Северо-Западной Пушной компании. Я полагал, что таким образом, имея хоть сколько-нибудь предприимчивости и мужества, можно заработать куда больше денег, чем я мог бы это сделать любым другим способом. Охота и трапперство всегда меня привлекали, хотя прежде я не думал делать из них промысел; мне очень хотелось исследовать запад нашей страны, о котором мне часто рассказывал Пьер Жюно. Он был старшим сыном соседа, купившего мой участок. Это был человек со странностями и несколько эксцентрический, но при всем том — один из добрейших людей на свете и никому не уступавший в мужестве, хотя и не наделенный большой физической силой. Он был родом из Канады, и, побывав раз или два в небольших поездках по поручениям Пушной компании, в качестве voyageur[1119], любил называть себя таковым и рассказывать о своих путешествиях. Отец мой очень любил Пьера, и я тоже был о нем высокого мнения; он пользовался расположением моей младшей сестры Джейн, и я думаю, что они поженились бы, если бы богу было угодно сохранить ей жизнь.

Когда Пьер узнал, что я еще не решил, чем заняться после смерти отца, он принялся уговаривать меня снарядить небольшую экспедицию по реке и вызвался в ней участвовать; склонить меня к этому ему оказалось нетрудно. Мы решили подняться по Миссури, насколько окажется возможно, занимаясь в пути охотой и трапперством, и не возвращаться, прежде чем не добудем достаточно шкур, чтобы составить себе состояние. Отец Пьера не возражал и дал ему около трехсот долларов, после чего мы отправились в Петит Кот, чтобы приобрести снаряжение и набрать возможно больше людей для экспедиции.

Петит Кот[1120] представляет собой маленький поселок на северном берегу Миссури, милях в двадцати от места ее слияния с

Миссисипи. Он лежит у подножья невысоких холмов, на уступе, расположенном так высоко над рекой, что туда не достигают июньские паводки. Верхняя часть поселка насчитывает не более пяти-шести домов, притом деревянных; но на другом его конце находится часовня и около двенадцати или пятнадцати добротных домов, которые тянутся вдоль реки. В поселке около сотни жителей, большей частью креолов из Канады. Они весьма ленивы и не пытаются возделывать окружающую их плодородную землю, разве только кое-где разбили сады. Главным их занятием является охота и скупка у индейцев пушнины, которую они перепродают агентам Северо-Западной компании. Мы надеялись без труда найти здесь и спутников и снаряжение, но были разочарованы, ибо поселок оказался во всех отношениях слишком беден, чтобы снабдить нас всем необходимым для удобства и безопасности путешествия.

Нам предстояло ехать в самое сердце края, кишевшего индейскими племенами, о которых мы знали лишь понаслышке и которые мы имели все основания считать свирепыми и коварными. Поэтому было особенно важно запастись оружием и боеприпасами, а также иметь достаточно людей; а если мы хотели получить от экспедиции выгоду, надо было взять с собой достаточно вместительные каноэ для шкур, которые мы рассчитывали добыть. Мы приехали в Петит Кот в середине марта, но лишь в конце мая нам удалось подготовиться к путешествию. Пришлось дважды посылать вниз по реке, в Пойнт, за людьми и припасами, причем то и другое обошлось нам крайне дорого. Нам так и не удалось бы достать множества вещей, совершенно необходимых, если бы Пьер не повстречал людей, возвращавшихся из поездки вверх по Миссисипи, из которых он завербовал шестерых самых лучших и, кроме того, раздобыл у них каноэ, или пирогу, и приобрел большую часть излишка их провизии и боеприпасов.

Эта своевременная подмога позволила нам еще до первого июня приготовиться к путешествию. Третьего июня (1791 года) мы простились с нашими друзьями в Петит Кот и отправились в путь. Наша группа насчитывала всего пятнадцать человек. Из них пятеро были канадцами из Петит Кот, которые все уже побывали в поездках вверх по реке. Они были хорошими гребцами и отличными товарищами по части французских песен и выпивки; в этом за ними

никто не мог угнаться, хотя они редко напивались так, чтобы быть непригодными к делу. Они были всегда веселы и всегда готовы работать, но охотниками были посредственными, а в бою, как вскоре выяснилось, на них нельзя было положиться. Из этих пятерых канадцев двое взялись служить переводчиками на первые пятьсот-шестьсот миль пути вверх по реке (если только нам удастся пройти так далеко), а затем мы надеялись найти индейца, который в случае надобности мог бы переводить; впрочем, мы решили избегать, насколько возможно, встреч с индейцами и лучше самим заняться трапперством, чем, при нашей малочисленности, идти на столь опасное дело, как торговля. Мы постановили соблюдать осторожность и попадаться им на глаза только в тех случаях, когда этого невозможно будет избежать.

Те шестеро, которых Пьер набрал на судне, возвращавшемся по Миссисипи, были людьми совсем иного рода, чем канадцы. Пятеро из них были братьями по фамилии Грили (Джон, Роберт, Мередит, Фрэнк и Пойндекстер), и трудно было бы сыскать более отважных и бравых парней. Джон Грили был самым старшим и слыл первым силачом, а также лучшим стрелком во всем Кентукки, откуда они были родом. Он был шести футов ростом, необычайно крепок и широк в плечах. Подобно большинству людей, наделенных большой физической силой, он был чрезвычайно добродушен и за это очень любим всеми нами. Остальные четверо братьев тоже были сильны и хорошо сложены, хотя и не могли сравниться с Джоном. Пойндекстер был так же высок, но очень тощ и вид имел необычайно свирепый, хотя, подобно своему старшему брату, отличался миролюбивым нравом. Все они были опытными охотниками и отличными стрелками. Братья охотно приняли предложение Пьера ехать с нами, и мы условились, что они получат из прибылей нашего предприятия такую же долю, что и я, и Пьер; то есть мы должны были разделить всю прибыль на три части — одну мне, другую Пьеру, а третью пятерым братьям.

Шестой человек, завербованный нами на судне, также был хорошим приобретением. Это был Александр Уормли, родом виргинец, человек весьма своеобразный. Он был в свое время проповедником, а затем вообразил себя пророком, отпустил длинную бороду и волосы, ходил босой и всюду держал пылкие речи. Теперь у него появилась другая мания, и он мечтал найти золотые россыпи в

каких-нибудь неприступных местах. Это было у него несомненным помешательством, но во всем остальном он был удивительно разумен и сообразителен. Он был хорошим гребцом и хорошим охотником, отличался большой храбростью, а кроме того немалой физической силой и быстрыми ногами. Я очень рассчитывал на его энтузиазм и, как оказалось, не обманулся.

Остальные двое были: негр по имени Тоби, принадлежавший Пьеру Жюно, и незнакомец, который повстречался нам в лесу возле Миллз Пойнт и немедленно присоединился к нам, едва мы упомянули о своих намерениях. Его звали Эндрью Торнтон; он также был виргинцем и, кажется, из очень хорошей семьи — из Торнтонов, проживающих на севере штата. Он уехал из Виргинии около трех лет назад и все это время скитался по Западу в сопровождении одного лишь огромного пса ньюфаундлендской породы. Он не промышлял пушнины и, как видно, не имел иной цели, кроме удовлетворения своей страсти к бродяжничеству и приключениям. У вечернего костра он часто занимал нас рассказами о своих странствиях и о лишениях, какие он терпел в лесах, говоря о них с прямотой и серьезностью, не позволявшими усомниться в его правдивости, хотя многое походило на сказку. Впоследствии мы убедились на опыте, что опасности и тяготы, каким подвергается одинокий охотник, навряд ли могут быть преувеличены и что трудно изобразить их слушателям достаточно яркими красками. Я очень полюбил Торнтона с первого же раза, как увидел его.

О Тоби я сказал всего несколько слов, а между тем он был в нашей экспедиции далеко не последним. Он много лет прожил в семье старого мсье Жюно и показал себя верным слугой. Для такого предприятия, как наше, он был, пожалуй, чересчур стар, но Пьер не захотел его оставить. Впрочем, он сохранил еще силы и выносливость. Пьер был, вероятно, самым слабосильным из всех, но обладал зато большой рассудительностью и несокрушимым мужеством. Он был чудаковат и порою несдержан, что нередко приводило к ссорам, а раза два поставило под угрозу успех всей экспедиции; но это был верный друг, и за одно это я считал его неоценимым спутником.

Я описал всех членов нашей экспедиции, сколько их было при выезде из Петит Кот.[1121] Для людей и поклажи, а также для доставки обратно пушнины, которую мы думали добыть, у нас имелись две

большие лодки. Меньшая представляла собой берестяную пирогу, сшитую волокнами из корней ели и проконопаченную сосновой смолой — настолько легкую, что ее без труда несли шесть человек. Она имела двадцать футов в длину и могла идти на веслах — их могло быть от 4-х до 12-ти. При полной нагрузке она погружалась в воду примерно на восемнадцать дюймов, а пустая — не более чем на десять. Вторую лодку, плоскодонную, нам сделали в Петит Кот (пирога была куплена Пьером у компании, встреченной на Миссисипи). Эта была тридцати футов в длину и при полной нагрузке имела осадку в два фута. Переднюю часть ее занимала палуба в двадцать футов, а под ней — каютка с плотно закрывающейся дверью; там, потеснившись, могли уместиться все члены экспедиции, ибо лодка была очень широкой. Эта часть ее была непроницаема для пуль; промежуток между двух слоев дубовых досок был законопачен пенькой; кое-где мы просверлили маленькие отверстия, чтобы в случае нападения стрелять в противника, а также следить за ним; вместе с тем эти отверстия, при закрытой двери, давали доступ воздуху и свету; на случай надобности у нас имелись для них прочные затычки. Остальная, десятифутовая часть палубы была открытой; здесь было место для шести весел, но чаще всего судно двигалось при помощи шестов, которыми мы работали, переходя вдоль палубы. Была у нас также короткая мачта, которая легко ставилась и снималась; она устанавливалась в семи футах от носа; при благоприятном ветре мы подымали на ней большой прямоугольный парус, а при встречном — убирали его вместе с мачтой.

В особом отделении, отгороженном в носовой части, мы везли десять бочонков хорошего пороха и соответственное количество свинца, из десятой части которого уже были отлиты ружейные пули. Здесь мы спрятали также маленькую медную пушку с лафетом, в разобранном виде, чтобы занимала меньше места; ибо мы считали, что она может пригодиться. Эта пушка была одной из трех, привезенных на пироге по Миссури испанцами за два года до того, и вместе с пирогой пошла ко дну в нескольких милях от Петит Кот. Песчаная мель так сильно изменила русло в том месте, где опрокинулась пирога, что одну из пушек обнаружил какой-то индеец; с несколькими помощниками он доставил ее в поселок, где продал за галлон виски. Тогда жители Петит Кот вытащили и остальные две. Пушки были

очень маленькие, но из хорошего металла и искусной работы, с чеканкой, изображавшей змей, какая бывает иногда на французских полевых орудиях. При пушках было пятьдесят железных ядер, и они также достались нам. Я рассказываю о том, как к нам попала пушка, потому что она, как будет сказано ниже, сыграла важную роль в наших делах. Кроме того, у нас имелось пятнадцать запасных винтовок, упакованных в ящики, которые мы тоже поместили на носу, вместе с прочими тяжестями. Это мы сделали для того, чтобы нос глубоко сидел в воде; так лучше, когда в реке много коряг и всякого топляка.

Другого оружия у нас также было достаточно; у каждого был надежный топорик и нож, не говоря о ружье и патронах. В обе лодки положили по походному котелку, по три больших топора, бечеву, по две клеенки, чтобы укрывать, если понадобится, наш товар, и по две большие губки для вычерпывания воды. У пироги также имелась маленькая мачта с парусом (о которой я забыл упомянуть), а для починок — запас смолы, бересты и «ватапе»[1122]. Там же мы везли и все товары для индейцев, какие сочли нужным захватить и приобрели на том же судне, ходившем по Миссисипи. Мы не собирались торговать с индейцами, но эти товары были нам предложены по дешевке, и мы решили взять их на всякий случай. Они состояли из шелковых и бумажных платков, ниток, лесок и бечевы; шапок, обуви и чулок, мелкого ножевого и скобяного товара; коленкора, пестрых ситцев и других манчестерских изделий; табаку в пачках, валяных одеял, а также стеклянных побрякушек, бус и т. п. Все это было упаковано небольшими частями так, чтобы каждый из нас мог нести по три таких пакета. Провизия также была удобно упакована и распределена на обе лодки. Всего у нас было двести фунтов свинины, шестьсот фунтов галет и шестьсот фунтов пеммикана. Последний мы взяли в Петит Кот у канадцев, которые сказали нам, что его берут во все большие экспедиции Северо-Западной Пушной компании, когда опасаются, что не добудут достаточно дичи. Он приготовляется особым образом. Постное мясо крупных животных нарезается тонкими ломтями и вялится на деревянной решетке над небольшим огнем или выставляется на солнце (как в нашем случае), а иногда и на мороз. Когда оно таким образом провялено, его толкут между двумя тяжелыми камнями, и оно может сохраняться несколько лет. Однако при хранении в больших количествах оно весной начинает бродить, и

если его хорошенько не проветрить, оно скоро портится. Нутряной жир растапливают вместе с жиром огузка и смешивают в равных частях с толченым мясом; затем его кладут в мешки, и оно готово к употреблению и очень вкусно, даже без соли и овощей. Самый лучший пеммикан делается с добавлением костного мозга и сушеных ягод и является весьма вкусным блюдом.

[Пеммикан, описанный м-ром Родменом, представляет для нас нечто совершенно новое и совсем не похож на тот, о котором наши читатели несомненно узнали из записок Перри[1123], Росса[1124], Бэка[1125] и других северных путешественников. Тот, как мы помним, приготовляется посредством длительной варки постного мяса (из которого тщательно удален жир), пока оно не уварится в густую массу. К этой массе добавляются в изобилии пряности и соль, так что даже небольшое ее количество считается весьма питательным. Впрочем, один американский хирург, который имел возможность наблюдать процесс пищеварения через открытую рану в желудке пациента, доказал, что для этого процесса важен именно объем и что концентрация питательных веществ является поэтому в значительной степени бессмыслицей.] Виски мы везли в оплетенных бутылях по пять галлонов в каждом; таких у нас было двадцать, то есть всего сто галлонов.

Когда мы погрузили все припасы и всех пассажиров, включая собаку Торнтона, оказалось, что свободного места почти не остается, разве что в большой каюте, которую мы не загрузили, чтобы спать в ней в дурную погоду; здесь у нас хранилось только оружие и боеприпасы, да еще несколько бобровых капканов и медвежья шкура. Теснота подсказала нам мысль, которую надо было осуществить в любом случае, а именно: оставить четырех человек, чтобы шли вдоль берега и стреляли для нас дичь, а одновременно вели разведку, предупреждая нас о появлении индейцев. Для этого мы обзавелись двумя хорошими лошадьми; одну дали Роберту и Мередиту Грили, которые должны были следовать южным берегом, другую — Фрэнку и Пойндекстеру Грили, которым предстояло идти по северному берегу. Лошади предназначались для перевозки подстреленной дичи.

Это заметно разгрузило наши лодки, где теперь нас оставалось одиннадцать человек. В меньшую лодку сели двое из Петит Кот, а также Тоби и Пьер Жюно. В большой поместился Пророк (как мы его

называли), он же Александр Уормли, Джон Грили, Эндрью Торнтон, трое из Петит Кот и я, да, кроме того, собака Торнтона.

Иногда мы шли на веслах, но большей частью подтягивались, держась за ветви деревьев, росших по берегу, или, где позволяла местность, вели лодки на буксире, что было легче всего; одни шли по берегу и тянули, другие оставались в лодках, отпихиваясь от берега баграми. Очень часто мы все работали баграми. В этом способе передвижения (он хорош, когда на дне не слишком много ила или плывунов, а глубина не слишком велика) канадцы весьма искусны, так же как и в гребле. Они пользуются длинными, твердыми и легкими баграми с железными наконечниками; вооружившись ими, они идут к носу судна, по равному числу людей с каждого борта; затем становятся лицом к корме и достают баграми дно; крепко упираясь в него, каждый нажимает на конец багра плечом, подложив подушку; идя вдоль судна, они с большой силой толкают его вперед. С такими баграми не нужен рулевой, так как багры направляют судно с удивительной точностью.

Пользуясь всеми этими способами, а иногда, при быстром течении или на мелководье, вынужденные пробираться вброд и тащить наши лодки, мы начали свое богатое событиями путешествие вверх по Миссури. Шкуры, являвшиеся основной целью экспедиции, мы должны были добывать главным образом охотой и трапперством, стараясь оставаться незамеченными и не прибегая к торгу с индейцами, ибо знали их по опыту за коварный народ, с которым столь малочисленной экспедиции, как наша, лучше не иметь дела. Меха, которые добывались в этих местах нашими предшественниками, включали бобра, выдру, куницу, рысь, норку, ондатру, медведя, обычную лису, лису мелкой породы, росомаху, енота, ласку, волка, бизона, оленя и лося; но мы решили ограничиться наиболее ценными из них.

Великолепная погода в день нашего отъезда из Петит Кот вселила в нас надежду и настроила всех чрезвычайно весело. Лето еще только начиналось, и ветер, который сперва сильно дул нам навстречу, дышал весенней негой. Солнце светило ярко, но еще не жгло. Лед на реке уже сошел, и обильные воды скрыли от глаз илистые наносы, которые при низкой воде так портят вид берегов Миссури. Сейчас река величаво текла мимо одного из берегов, заросшего ивой и канадским тополем, и мощно била в крутые утесы другого берега. Глядя вверх по реке (она

здесь уходила прямо на запад, пока вода не сливалась вдали с небом) и размышляя об обширных пространствах, по которым протекли эти воды, — пространствах, еще не известных белому человеку и, быть может, изобилующих редчайшими творениями бога, — я почувствовал никогда прежде не испытанное волнение и втайне решил, что только неодолимые препятствия помешают мне плыть по этой величавой реке дальше всех моих предшественников. В эти минуты я ощущал в себе сверхчеловеческие силы и испытывал такой душевный подъем, что лодка показалась мне тесной. Мне хотелось быть на берегу вместе с братьями Грили и вприпрыжку мчаться по прерии, давая волю обуревавшим меня чувствам. Эти чувства полностью разделял со мною Торнтон; его живой интерес к нашему предприятию и восхищение окружавшею нас красотой особенно расположили меня к нему с той минуты. Никогда в жизни я не испытывал так сильно, как тогда, потребности в друге, с которым я мог бы беседовать свободно и не боясь быть неверно понятым. Внезапная потеря всех близких, отнятых у меня смертью, опечалила, но не подавила мой дух, обратившийся за утешением к девственной Природе; но оказалось, что ее созерцанием и навеваемыми ею размышлениями можно насладиться вполне только в обществе человека, способного чувствовать одинаково со мной. Торнтон был именно тем, кому я мог излить переполненную душу и высказать самые бурные чувства, не опасаясь насмешек и даже с уверенностью, что найду в нем столь же восторженного слушателя. Ни прежде, ни после я не встречал никого, кто бы так понимал мое отношение к природе; уже одного этого было достаточно, чтобы связать меня с ним крепкой дружбой. Все время, пока длилась наша экспедиция, мы были близки, как могут быть близки братья, и я ничего не предпринимал, не посоветовавшись с ним. Я был дружен также и с Пьером, но с ним меня не связывала общность мыслей — эта прочнейшая из всех связей между людьми. Хотя и чувствительный по натуре, Пьер был чересчур легкомысленным, чтобы понять мой благоговейный восторг.

Первый день нашего путешествия не ознаменовался никакими примечательными событиями, не считая того, что к вечеру мы с некоторым трудом прошли мимо устья большой пещеры, находившейся на южном берегу реки. Пещера выглядела очень мрачно; она находилась у подножья огромного, футов в двести, утеса,

несколько вдававшегося в реку. Мы не могли ясно разглядеть глубину пещеры, но в вышину она имела футов шестнадцать-семнадцать, а в ширину не менее пятидесяти.[1126] Течение в том месте весьма быстрое, а так как утес не позволял идти бечевой, то миновать его оказалось очень трудно; для этого всем, кроме одного человека, пришлось перебраться в большую лодку. Один из нас остался в пироге и укрепил ее на якоре ниже пещеры. Взявшись все за весла, мы провели большую лодку по трудному месту, а пироге бросили канат, с помощью которого потянули ее за собою, когда прошли достаточно вверх по течению. За этот день мы прошли мимо рек Боном и Оседж Фам, с двумя небольшими притоками и несколькими островками. Несмотря на встречный ветер, мы сделали около двадцати пяти миль и расположились на ночлег на северном берегу, у подножья холма, немного ниже порога, называемого Дьябль, 4 июня. Рано утром Фрэнк и Пойндекстер Грили принесли нам жирного оленя, которым все мы с большим удовольствием позавтракали, а затем бодро продолжали путь. У порога Дьябль течение с большой силой бьет о скалы, вдающиеся в реку с юга и сильно затрудняющие плавание. Немного выше нам повстречалось несколько плывунов, доставивших много хлопот; в этом месте берег все время осыпается и с течением времени сильно изменит русло. В восемь часов подул свежий ветер с востока, и с его помощью мы поплыли быстрей, так что к вечеру сделали, вероятно, тридцать миль или более. С севера мы миновали реку Дю Буа, приток, называемый Шарите[1127], и несколько маленьких островков. Вода в реке быстро прибывала; мы остановились на ночлег под купою канадских тополей, так как на самом берегу не оказалось места, пригодного для лагеря. Погода была отличная, и я был чересчур взволнован, чтобы уснуть; попросив Торнтона сопровождать меня, я пошел прогуляться по окрестностям и возвратился только перед рассветом. Остальные впервые разместились в каюте, и она оказалась достаточно просторной, чтобы вместить еще пять-шесть человек. Ночью их потревожил странный шум На палубе, причину которого не удалось выяснить, ибо когда некоторые выбежали посмотреть, там никого не было. Судя по их описанию шума, я заключил, что это могла быть индейская собака, которая учуяла свежее мясо (вчерашнюю оленину) и пыталась унести часть его. Это объяснение вполне меня удовлетворило; однако происшествие показало нам, как опасно не

выставлять по ночам часовых; мы решили на будущее держаться этого правила.

Описав первые два дня пути словами мистера Родмена, мы не последуем за ним до устья Платт, которого он достиг десятого августа. Эта часть реки настолько известна и столько раз описана, что еще одно описание было бы излишним, тем более что эти страницы записок не содержат ничего, кроме общих сведений о местности и обычных подробностей охоты или управления лодками. Экспедиция трижды останавливалась, чтобы заняться трапперством, но без особого успеха; поэтому было решено продвинуться дальше в глубь края, прежде чем всерьез добывать пушнину. За два месяца, описание которых мы опускаем, в записках отмечено всего два сколько-нибудь важных события. Одним из них была гибель одного из канадцев, Жака Лозанн, от укуса гремучей змеи; вторым — появление испанских чиновников, посланных комендантом провинции, чтобы перехватить экспедицию и заставить ее повернуть назад. Однако старший из них так заинтересовался экспедицией и почувствовал такую симпатию к мистеру Родмену, что нашим путешественникам разрешили плыть дальше. Временами появлялись мелкие группы индейцев из племен оседж и Канзас, не проявлявшие, впрочем, никакой враждебности. Оставшиеся четырнадцать путешественников десятого августа 1791 года достигли устья реки Платт, где мы их на некоторое время покинем.

Глава III

Достигнув устья реки Платт, наши путешественники сделали трехдневную остановку, во время которой они сушили и проветривали шкуры и провизию, мастерили новые весла и багры и чинили берестяную пирогу, получившую сильные повреждения. Охотники в изобилии доставляли дичь, которой до краев загрузили лодки. Там было вдоволь оленей, а также индеек и жирных куропаток. Кроме того, путешественники лакомились различными видами рыб, а неподалеку от берега нашелся отличный дикий виноград. Индейцы не показывались уже более двух недель, ибо начался охотничий сезон, и они, несомненно, ушли в прерию охотиться на бизонов. Прекрасно отдохнув, путешественники снялись с лагеря и поплыли дальше вверх по Миссури. Здесь мы снова приводим подлинный текст дневника.

14 августа. — Идем при отличном юго-восточном ветерке, держась южного берега и используя водовороты; идем очень быстро, несмотря на течение, которое на середине чрезвычайно сильно. В полдень мы остановились, чтобы осмотреть любопытные холмы на юго-западном берегу, где почва на пространстве более 300 акров значительно понижается. Поблизости находится большой водоем, который, очевидно, вобрал воду со всей низины. По ней всюду разбросаны курганы различной высоты и формы, из песка и глины; самые высокие находятся ближе всего к реке. Я не мог решить, были ли эти холмы естественными или насыпными. Можно было бы предположить, что они насыпаны индейцами, если бы не общий характер почвы, по которой, видимо, прошли бурные воды.[1128] Здесь мы провели остаток дня, проделав всего двадцать миль.

15 августа. Сегодня дул сильный и неприятный встречный ветер, и мы прошли всего пятнадцать миль, и то с большим трудом, а на ночь расположились под обрывом на северном берегу — первым обрывом на этом берегу, какой нам встретился от самой реки Нодавэй. Ночью полил проливной дождь; братья Грили пригнали лошадей и укрылись в каюте. Роберт вместе с лошадью переплыл реку с южного берега, а потом отправился в пироге за Мередитом. Эти подвиги он совершил

словно шутя, хотя ночь выдалась на редкость темная и бурная, а вода в реке сильно поднялась. Мы все уютно поместились в каюте, ибо снаружи было довольно холодно, и Торнтон долго занимал нас рассказами о своих приключениях с индейцами на Миссисипи. Его огромный пес, казалось, с величайшим вниманием вслушивался в каждое его слово. Рассказывая что-либо особенно неправдоподобное, Торнтон с полной серьезностью призывал его в свидетели. «Нэп, — говорил он, — помнишь, как было дело?» или: «Нэп может это подтвердить, — верно, Нэп?», и пес при этом таращил глаза, высовывал огромный язык и кивал кудлатой головой, словно говоря: «Верно, как Библия». Зная, что он был нарочно обучен этому фокусу, мы все равно не в силах были удержаться от смеха всякий раз, как Торнтон к нему обращался.

16 августа. Сегодня рано утром миновали остров и приток шириною около пятнадцати ярдов, а двенадцатью милями дальше — большой остров, расположенный посредине реки. Сейчас по северному берегу все время тянется возвышенность — прерия и лесистые холмы, — а по южному — низина, поросшая канадским тополем. Река крайне извилиста и течет не так быстро, как ниже впадения Платт. Леса стало меньше; если встречается, то большей частью вяз, канадский тополь, гикори и грецкий орех, иногда дуб. Почти весь день дул сильный ветер, и при содействии ветра и течения мы успели до ночи пройти 25 миль. Лагерь разбили на южном берегу, на равнине, заросшей высокой травой, с множеством сливовых деревьев и кустов смородины. Над ней подымался крутой лесистый холм; взойдя на него, мы увидели другую прерию, тянувшуюся примерно на милю, а за ней — еще одну, насколько хватал глаз. С горы над нашей стоянкой открывался один из прекраснейших ландшафтов в мире.[1129]

17 августа. Мы остались здесь на весь день и занялись различными делами. Позвав с собой Торнтона с его собакой, я немного прошел к югу и был очарован пышной красотой местности. Эта прерия превосходила все, о чем рассказывается в сказках «Тысячи и одной ночи». По берегам притока в изобилии росли цветы, казавшиеся скорее творениями искусства, нежели природы, — так богато и причудливо сочетались их яркие цвета. От их пьянящего аромата в воздухе было почти душно. Там и сям, среди океана пурпурных,

синих, оранжевых и алых цветов, качавшихся под ветром, попадались зеленые островки деревьев. Эти купы состояли из величественных лесных дубов; трава под ними казалась ковром из нежнейшего зеленого бархата, а по могучим стволам взбирались пышные лозы, отягощенные сладкими зрелыми гроздьями. Вдали величаво текла Миссури; многие разбросанные по ней настоящие острова были сплошь покрыты сливовыми и другими деревьями; кое-где острова пересекались в разных направлениях узкими и извилистыми тропами, похожими на аллеи английского парка; на них мы постоянно видели то лося, то антилопу, которые, очевидно, и протоптали их. На закате мы возвратились в лагерь в восхищении от нашей прогулки. Ночь была теплая, и нам сильно досаждали москиты.

18 августа. Сегодня мы проходили место, где река сужается почти до 200 ярдов, но течет быстро и загромождена древесными стволами. Большая лодка напоролась на корягу и до половины наполнилась водой, прежде чем мы ее вызволили. Из-за этого пришлось остановиться и осмотреть наши вещи. Часть сухарей подмокла, но порох остался сухим. На это ушел весь день, и мы сделали всего пять миль.

19 августа. Сегодня вышли в путь рано и успели много пройти. Погода была прохладная и облачная, а в полдень нас окатил ливень. По южному берегу миновали приток, устье которого почти загорожено большим песчаным островом причудливой формы. После этого прошли еще пятнадцать миль. Холмы теперь отступают от реки и отстоят друг от друга на 10–20 миль. На северном берегу много хорошего леса, на южном — очень мало. Вдоль реки тянется великолепная прерия, а на самом берегу мы собираем виноград четырех или пяти сортов, вкусный и совершенно зрелый, в том числе отличный крупный виноград пурпурного цвета. Наши охотники с обоих берегов пришли на ночь в лагерь и принесли больше дичи, чем мы могли осилить, — куропаток, индеек, двух оленей, антилопу и множество желтых птиц с черными полосами на крыльях; последние оказались удивительно вкусными. За этот день мы прошли около 20 миль.

20 августа. Сегодня утром река полна песчаных мелей и других преград; однако мы не унывали и к ночи добрались до устья довольно большого притока в 20 милях от предыдущего ночлега. Этот приток

расположен на северном берегу; напротив его устья лежит большой остров. Здесь мы разбили лагерь, решив остаться на четыре или пять дней для ловли бобров, так как заметили вокруг много бобровых следов. Этот остров — одно из самых сказочных мест в мире; он преисполнил меня восхитительными и новыми впечатлениями. Все окружающее походило больше на сны, которые я видел в детстве, чем на действительность. Берега полого спускались к воде и были покрыты, точно ковром, мягкой ярко-зеленой травой, видной даже под водой, на некотором расстоянии от берега; особенно с севера, где в реку впадал приток с прозрачной водой. Весь остров, размером примерно в двадцать акров, был окаймлен канадскими тополями; их стволы были увиты виноградными лозами со множеством гроздьев, сплетавшимися так тесно, что это едва позволяло разглядеть реку. Внутри этого круга трава была несколько выше и грубее, в бледно-желтую или белую продольную полоску; она издавала удивительно приятный аромат, напоминавший запах ванили, но гораздо сильнее, так что весь окружающий воздух был им напоен. Очевидно, английская глицерин относится к тому же семейству, но значительно уступает этой по красоте и аромату. Трава повсюду была усеяна бесчисленными яркими цветами, большей частью очень душистыми — голубыми, белыми, ярко-желтыми, пурпурными, малиновыми, ярко-алыми, а иногда — с полосатыми лепестками, подобно тюльпанам. Местами виднелись группы вишневых и сливовых деревьев; по всему берегу острова вились многочисленные узкие тропинки, протоптанные лосями или антилопами. Посреди его, из отвесной скалы, сплошь покрытой мхом и цветущей лозой, пробивался родник с прозрачной и вкусной водою. Все это удивительно походило на искусно разбитый сад, но было несравненно красивей, напоминая волшебные сады, о которых можно прочесть в старинных книгах. Мы были в восторге от местности и приготовились разбить свой лагерь среди всего этого безлюдного великолепия.

[Здесь экспедиция провела неделю, в течение которой осмотрела прилегающую местность во многих направлениях и добыла некоторое количество шкур, главным образом на упомянутом выше притоке. Погода стояла отличная, и путешественники предавались в этом земном раю ничем не омраченному блаженству. Однако мистер Родмен не забывал о необходимых предосторожностях и каждую ночь

выставлял часовых, пока остальные веселились, собравшись в лагере. Никогда еще они так не пировали и не пили. Канадцы показали себя с самой лучшей стороны, когда требовалось спеть песню или осушить кружку. Они только и делали, что стряпали, ели, плясали и во все горло пели веселые французские песни. Днем им обыкновенно поручали охрану лагеря, пока более солидные участники экспедиции уходили охотиться или ставить капканы. Однажды мистеру Родмену представилась отличная возможность наблюдать повадки бобров; его рассказ об этих своеобразных животных весьма интересен, тем более что в некоторых отношениях значительно отличается от других имеющихся описаний.

Как обычно, его сопровождал Торнтон со своей собакой, и они прошли вдоль небольшого притока к его верховьям на возвышенности, примерно в 10 милях от реки. Наконец они добрались до места, где сооруженная бобрами запруда образовала большое болото. В одном его конце густо росли ивы; некоторые нависали над водой, и в этом Месте наши путешественники увидели несколько бобров. Они подкрались к ивам и, приказав Нептуну лежать поодаль, сумели, незамеченные, влезть на толстое дерево, с которого могли вблизи наблюдать все происходящее.

Бобры чинили часть своей запруды, и можно было видеть весь ход работ. Строители по одному подходили к краю болота, держа в зубах небольшие ветки. Каждый шел к плотине и тщательно укладывал ветку в продольном направлении там, где запруду прорвало. Сделав это, он тут же нырял, а через несколько секунд появлялся на поверхности с комом ила, из которого он сперва выжимал большую часть влаги и которым затем обмазывал только что уложенную вежу, орудуя задними лапами и хвостом (последний служил ему мастерком). После этого он уходил, а за ним быстро следовал второй член общины, проделывавший то же самое.

Таким образом повреждение в запруде быстро чинилось. Родмен и Торнтон более двух часов наблюдали за этой работой и свидетельствуют о высокой искусности строителей. Но едва бобр отходил от края болота за новой веткой, они теряли его из виду среди ив, к большому своему огорчению, ибо хотели проследить все его действия. Однако, взобравшись несколько выше по дереву, они скоро все увидели. Бобры, как видно, свалили небольшой клен и обгрызли с

него почти все тонкие вежи; несколько бобров обгрызали оставшиеся вежи и направлялись с ними к плотине. Тем временем большая группа животных окружила гораздо более толстое и старое дерево и также готовилась его свалить. Вокруг дерева собралось около шестидесяти бобров; шесть-семь из них работало одновременно: если один из них уставал, он отходил, и его место занимал другой. Когда наши путешественники увидели этот клен, он был уже сильно подгрызен, но только со стороны, обращенной к болоту, на краю которого он рос. Надрез имел в ширину почти фут и был сделан так чисто, точно его вырубили топором; а земля вокруг была усеяна тонкими, как соломинки, длинными щепками, которые животные выгрызли, но не съели, так как, видимо, едят только кору. Работая, некоторые из Них сидели на задних лапах, как часто сидят белки, и грызли ствол, опираясь передними лапами о край выемки и глубоко засунув туда головы; два бобра целиком влезли внутрь и лежа усердно работали зубами; там их часто сменяли другие.

Хотя путешественники сидели в весьма неудобных позах, им так хотелось увидеть, как упадет клен, что они оставались на своем посту до заката, то есть целых восемь часов. Больше всего хлопот им причинил Нептун, которого с трудом удавалось удерживать от того, чтобы он не кинулся в болото за работниками, чинившими запруду. Производимый им шум несколько раз спугивал грызунов, которые все как один настораживались и долго прислушивались. Однако к вечеру пес прекратил свои выходки и лежал спокойно; а бобры работали без устали.

На закате среди лесорубов было замечено волнение; все они разом отбежали к той стороне дерева, которая не была повреждена. Спустя мгновение оно начало клониться на подгрызенную сторону, пока не сошлись края надреза, но все еще не падало, поддерживаемое отчасти нетронутой корой. На нее-то и накинулось теперь столько работников, сколько могло уместиться, и она очень быстро была перегрызена; тогда огромный ствол, которому уже был искусно придан нужный наклон, упал с громким треском, расстилая свои верхние ветви по поверхности болота. Закончив это дело, артель, очевидно, решила, что заслужила отдых, и, прекратив работу, бобры принялись гоняться друг за другом в воде, ныряя и шлепая хвостами по поверхности.

Приведенное здесь описание порубок, производимых бобрами, является наиболее подробным из всех, какие мы читали, и не содержит сомнений в сознательности всех действий животного. Из него ясно следует, что бобры намеренно валят дерево в направлении к воде. Вспомним, что капитан Бонвиль отрицает эту предполагаемую мудрость животного и считает, что его цель не идет дальше того, чтобы свалить дерево, без каких-либо тонких расчетов относительно того, как это делать. Такие расчеты, по его мнению, приписываются бобрам из-за того, что все деревья, растущие у воды, либо наклонены к ней, либо тянутся туда своими наиболее крупными ветвями, находя именно там больше всего света, простора и воздуха. Он полагает, что бобр, естественно, берется за ближайшие деревья, то есть крайние к воде, а они, будучи подгрызены, падают именно в сторону воды. Мысль эта представляется убедительной, но она отнюдь не исключает сознательного намерения в действиях бобра, который по уму стоит в лучшем случае ниже многих видов низших животных — несравненно ниже муравьиного льва, пчел и коралловых полипов. Скорее всего бобр, если бы он имел выбор между двумя деревьями, из которых одно тяготело бы к воде, а другое — нет, свалил бы первое, не соблюдая описанных предосторожностей, в данном случае излишних, но соблюдал бы их, сваливая второе.

Далее в дневнике сообщаются другие сведения о повадках этого своеобразного зверька и о том, как путешественники на него охотились: ради связности повествования мы приводим их здесь. Основной пищей бобрам служит кора, и они запасают ее на зиму в большом количестве, тщательно выбирая нужный им сорт. За корой отправляется все поселение бобров, насчитывающее иной раз две и три сотни животных; они проходят мимо зарослей по видимости одинаковых деревьев, пока не найдут того, что им нравится. Тогда они валят дерево, отгрызают самые молодые ветки, разгрызают их на куски равной длины и обдирают с них кору, которую сносят к ближайшему ручью, текущему к их поселению и по нему сплавляют. Иногда они запасают такие отрезки ветвей, не обдирая с них кору; тогда они тщательно убирают из своего жилья эти древесные отходы и, как только кора съедена, относят их на некоторое расстояние. Весной самцы никогда не бывают дома, а кочуют поодиночке или по два и три и тогда теряют обычную осторожность, легко становясь добычею

траппера. Летом они возвращаются к своему клану и вместе с самками начинают делать запасы на зиму. Будучи раздражены, они, как говорят, проявляют крайнюю свирепость.

Иногда их можно поймать на суше, особенно весною, когда самцы часто отдаляются от воды в поисках пищи. Застигнутых таким образом, их легко убить ударом палки; но самым верным способом является капкан. Это простое сооружение, куда животное попадает лапой. Траппер обычно помещает его у берега, под самой поверхностью воды, прикрепив короткой цепью к шесту, воткнутому в ил. В отверстие капкана вставляется тонкая веточка; другой ее конец выходит на поверхность воды и пропитывается жидкой приманкой, своим запахом привлекающей бобров. Почуяв этот запах, животное трется носом о ветку и при этом наступает на капкан; тот захлопывается, и бобр пойман. Капкан делается очень легким, для удобства переноски, и добыча легко могла бы уплыть вместе с ним, не будь он прикреплен к шесту цепью; — ничто другое не может устоять против зубов бобра. Опытный траппер легко обнаруживает присутствие бобров в любом пруду или реке по тысяче признаков, ничего не говорящих неопытному наблюдателю.

Многие из бобров-лесорубов, за которыми столь внимательно наблюдали двое из путешественников, попали впоследствии в капкан, и их великолепный мех стал добычей трапперов, порядком опустошивших норы на болоте. В других водах, поблизости, им также удалось немало поживиться; и им надолго запомнился островок в устье одного притока, названный ими Бобровым. Двадцать седьмого числа того же месяца они покинули это райское местечко, очень довольные, и, продолжая свое, пока еще не слишком богатое событиями, плавание вверх по реке, первого сентября без особых приключений достигли устья большой реки, впадающей в Миссури с юга, которую они назвали Смородиновой из-за обилия этих ягод по берегам; но это была, без сомнения, река Кикурр. В дневнике за этот период упоминаются большие стада бизонов, повсюду темневшие среди прерии, а также остатки укреплений на южном берегу реки, почти напротив южной оконечности острова, впоследствии названного Бонбм Айленд. Подробное описание этих укреплений в основном совпадает с тем, которое дают капитаны Льюис и Кларк. С севера путешественники миновали реки Малая Сиу, Флойд, Большая Сиу,

Уайт Стоун и Жак, а с юга — приток Вавандисенш и реку Уайт Пейнт; но нигде долго не задерживались. Они миновали также большое селение племени омаха, о котором дневник даже не упоминает. В то время это селение насчитывало не менее трехсот жилищ и давало приют многочисленному и могучему племени; но оно несколько удалено от берегов Миссури, и лодки, вероятно, прошли мимо него ночью — ибо из опасения наткнуться на индейцев сиу экспедиция стала теперь передвигаться по ночам. Со 2-го сентября мы продолжаем рассказ словами мистера Родмена].

2 сентября. Мы достигли мест, где, по слухам, следует опасаться индейцев, и стали продвигаться с величайшей осторожностью. Здешняя местность населена индейцами сиу, племенем воинственным и свирепым, которое не раз проявляло враждебность к белым и, как известно, непрестанно воюет со всеми соседними племенами. Канадцы немало говорили об их свирепости, и я очень опасался, как бы эти трусы при случае не сбежали и не вернулись на Миссисипи. Чтобы им было труднее это сделать, я снял одного из них с пироги, а на его место посадил Пойндекстера Грили. Все братья Грили пришли с берега, отпустив лошадей на волю. Теперь мы разместились следующим образом: в пироге — Пойндекстер Грили, Жюно, Тоби и один из канадцев; в большой лодке — я, Торнтон, Уормли, Джон, Фрэнк, Роберт и Мередит Грили, трое канадцев и собака. Мы выехали с наступлением сумерек и благодаря свежему ветру с юга успели пройти немало, хотя в темноте нам сильно мешали мели. Однако мы безостановочно продвигались вперед, а незадолго до рассвета вошли в устье притока и укрыли лодки в кустах.

3 и 4 сентября. Эти два дня лил дождь и бушевал ветер, так что мы не покидали своего укрытия. Дурная погода очень нас угнетала, а рассказы канадцев о свирепых сиу также не улучшали настроения. Мы собрались в каюте большой лодки и стали держать совет относительно дальнейшего пути. Братья Грили высказались за смелый бросок через опасную местность и утверждали, что рассказы путешественников страдают преувеличениями и что сиу будут лишь слегка досаждать нам, не вступая в бой. Однако Уормли и Торнтон, а также Пьер (все — хорошо знакомые с повадками индейцев) считали, что лучше действовать так, как до сих пор, хотя это могло надолго нас задержать.

Я был того же мнения; идя, как мы шли до тех пор, мы могли избежать стычки с сиу, а промедление я не считал большой бедой.

5 сентября. Двинулись в путь ночью и проделали около десяти миль, а затем стало светать, и мы, как и раньше, спрятали лодки в узком притоке, весьма удобном для этой цели, ибо его устье было почти целиком перегорожено лесистым островком. Снова начался проливной дождь, и мы промокли до нитки, прежде чем проделали все необходимое и могли укрыться в каюте. Ненастная погода действовала угнетающе; особенно приуныли канадцы. Мы находились теперь в узкой части реки, с быстрым течением; с обеих сторон над водой нависали утесы, густо поросшие липой, дубом, черным орехом, вязом и каштанами. Мы знали, что в такой теснине трудно оставаться незамеченными, даже ночью, и наши опасения очень усилились. Мы решили не отправляться дальше до поздней ночи и двигаться с большой осторожностью. А тем временем мы выставили часового на берегу и еще одного — в пироге, пока остальные осматривали оружие и боеприпасы, готовясь к худшему.

Около десяти часов мы собрались отплыть, как вдруг наша собака тихо зарычала; это заставило нас всех схватиться за ружья; однако причиной тревоги оказался одинокий индеец племени понка, который, не таясь, подошел к часовому, стоявшему на берегу, и протянул руку. Мы привели его на борт и угостили виски, от чего он сделался весьма общителен и рассказал, что его племя, живущее в нескольких милях ниже по течению, уже не первый день наблюдает наше передвижение; но что понка настроены дружелюбно и не тронут белых людей, а когда мы пойдем в обратный путь, готовы к меновому торгу. Его послали предостеречь белых против сиу, известных грабителей, которые устроили засаду в двадцати милях выше, где река образует излучину. Их там — три отряда, сообщил он, и они намерены убить нас всех, в отместку за оскорбление, много лет назад нанесенное их вождю неким французским траппером.

Глава IV

Мы покинули наших путешественников пятого сентября, в ожидании нападения сиу. Преувеличенные слухи о свирепости этого племени внушали экспедиции сильное желание избежать встречи; но из сообщения дружественного понки явно следовало, что встреча неизбежна. Путешественники отказались от ночных передвижений, признав эту тактику неправильной, и постановили действовать решительно и выказывать полное бесстрашие. Остаток ночи прошел в военных приготовлениях. Большую лодку освободили, насколько было возможно, для этой цели, придав ей самый грозный вид, какой сумели. В числе прочих приготовлений к обороне путешественники подняли снизу пушку и установили ее на палубе, над каютой, приготовив и пули для пальбы картечью. Перед восходом солнца путешественники отплыли с вызывающей смелостью, при сильном попутном ветре. Чтобы враг не увидел признаков страха или подозрительности, канадцы запели, а все остальные подхватили удалую походную песню, так что по лесу пошел гул, и бизоны в изумлении глядели им вслед.

Как видно, индейцы сиу были для мистера Родмена жупелом par excellence[1130], и он особо останавливается на их военных подвигах. Из его подробного описания нравов этого племени мы приводим лишь то, что содержит нечто новое или имеет важное значение. Название «сиу» дано этим индейцам французами; англичане превратили его в «сью». Кажется, их туземное название — даркоты[1131]. Они жили некогда на Миссисипи, но постепенно расширили свои владения и к тому времени, когда писался дневник, занимали почти всю обширную территорию между Миссисипи, Саскачеваном, Миссури и Красной рекой, впадающей в озеро Виннипег. Они делились на множество кланов. Собственно даркотами были виноваканты, которых французы называли Gens du Lac[1132]; их было Примерно пятьсот воинов, живших по обоим берегам Миссисипи, вблизи водопада Св. Антония. Соседями виновакантов, жившими к северу от них, на реке Сент-Питер, были ваппатоми, насчитывавшие около двухсот воинов. Выше по реке Сент-Питер жила группа в сто человек, которая называла себя ваппитути, а у французов была известна как Gens des Feuilles[1133]. Еще

выше по реке, в ее верховьях, обитали сисситуни, числом около двухсот. На Миссури жили янктоны и тетоны. Первые делились на две ветви, северную и южную, из которых первая, насчитывавшая около пятисот человек, кочевала в долине, откуда начинаются реки Красная, Сиу и Жак. Южная ветвь владела землей между рекой Де Мойн и реками Жак и Сиу. Но самыми свирепыми из всех сиу слывут тетоны; а они делятся на четыре племени: саони, миннакенози, окайденди и буа-брюле. Последние, те, что подкарауливали наших путешественников в засаде, были самыми дикими и грозными из всех; их насчитывалось около двухсот, и они жили по обоим берегам Миссури, вблизи рек, которым капитаны Льюис и Кларк дали название реки Белой и реки Тетон. Ниже реки Шайенн жили окайденди, в количестве полутораста человек. Миннакенози, числом двести пятьдесят, занимали землю между Шайенн и Ватарху; а саони, наиболее крупный из кланов тетонов, насчитывавший до трехсот воинов, жили вблизи Вареконн.

Кроме этих четырех племен — коренных сиу — было еще пять отколовшихся, которые назывались ассинибойны. Из них ассинибойны менатопа, в количестве двухсот, жили на Мышиной реке, между рекой Ассинибойн и Миссури; двести пятьдесят Gens des Feuilles занимали оба берега реки Белой; Большие Дьяволы, насчитывавшие четыреста пятьдесят человек, кочевали в верховьях реки Дикобразов и реки Молочной, а еще две группы, названия которых не упомянуты, бродили вдоль Саскачевана, общим числом около семисот. Эти отколовшиеся группы часто воевали с материнским племенем сиу.

Внешний облик сиу обычно уродлив; их конечности, по нашим понятиям о пропорциях тела, слишком коротки по сравнению с туловищем; у них выступающие скулы и выпуклые, тусклые глаза. Мужчины бреют голову, оставляя лишь длинную прядь на макушке, которая спускается им на плечи в виде косы; эту прядь они очень холят, но иногда срезают по случаю особого торжества или траура. Вождь сиу в полном боевом облачении представляет поразительное зрелище. Все его тело вымазано жиром и углем. Рубаха из шкур достигает талии и подпоясана кушаком примерно в дюйм шириною, из такой же шкуры или материи; к нему прикреплено одеяло или шкура, продетая между ног. На плечах у него плащ из отбеленной шкуры бизона, которую в хорошую погоду носят мехом внутрь, а в дождь —

мехом наружу. Плащ достаточно велик, чтобы можно было завернуться в него целиком, и часто украшен иглами дикобраза (которые гремят при движениях воина), а также множеством грубо нарисованных эмблем, указывающих на воинственность его владельца. На голове вождя укреплено ястребиное перо и иглы дикобраза. Вместо панталон — поножи из выделанной шкуры антилопы, с боковыми швами дюйма в два шириною и украшениями из прядей волос, взятых у какого-нибудь оскальпированного врага. Мокасины сшиты из шкуры лося или бизона мехом внутрь; в торжественных случаях вождь волочит за каждым из мокасин хорьковую шкурку. Сиу питают пристрастие к этому неприятному животному и любят делать из его шкуры кисеты и другие вещи.

Замечательна также одежда жены вождя. Ее длинные волосы разделены пробором и спускаются по спине или собраны в подобие сетки. Мокасины ее не отличаются от мужниных, но поножи достигают только колен, где их прикрывает неуклюжая рубаха из лосиных шкур, которая спускается до лодыжек, а вверху укрепляется веревкой. В талии она обычно подпоясана, а поверх всего накинут плащ из бизоньей шкуры, такой же, как у мужчин. Вигвамы тетонов хорошо построены; они делаются из отбеленных бизоньих шкур и укрепляются на шестах.

Это племя наводняет берега Миссисипи на протяжении более ста пятидесяти миль; по большей части это прерия, на которой местами встречаются холмы. Последние неизменно прорезаны глубокими оврагами и лощинами, которые в середине лета пересыхают, а в период дождей служат руслом мутных и бурных потоков. Их края как вверху, так и внизу заросли густым кустарником, но преобладает открытая ветрам безлесная низина, поросшая буйной травой. Почва сильно насыщена разнообразными минералами, в том числе глауберовой солью, медью, серой и квасцами, которые окрашивают воды реки и сообщают ей отвратительный запах и вкус. Из диких животных чаще всего встречаются бизоны, олени, лоси и антилопы.

Здесь мы опять даем слово автору дневника.

6 сентября. Плыли по открытой местности; погода стояла отличная, так что все мы были настроены довольно бодро, несмотря на ожидание нападения. До сих пор мы еще не видели ни одного индейца и быстро продвигались по их опасным владениям. Я, однако, слишком

хорошо знал тактику дикарей, чтобы не понимать, что за нами неустанно наблюдают, и был уверен, что тетоны не преминут оказаться в первой же лощине, где им будет удобно притаиться.

Около полудня один из канадцев заорал: «Сиу! Сиу!» и указал на длинную и узкую расселину, которая пересекала прерию слева от нас и тянулась от берега Миссури к югу, насколько хватал глаз. Это ущелье было руслом притока, но сейчас воды там было мало, и берега представляли собой высокие стены. С помощью подзорной трубы я тотчас обнаружил причину тревоги. По ущелью спускался цепочкой большой отряд конных индейцев, явно намереваясь застигнуть нас врасплох. Их выдали перья головных уборов, которые то и дело показывались над краем ущелья, там где неровности почвы заставляли их подыматься. Именно по движениям перьев мы увидели, что они едут верхом. Отряд приближался очень быстро, и я велел грести во всю мочь, чтобы пройти устье притока прежде, чем они его достигнут. Увидев, по ускоренному ходу лодок, что мы их заметили, индейцы испустили клич, выскочили из ущелья и помчались на нас; их было около сотни.

Положение наше становилось тревожным. В любом другом месте, пройденном за тот день, я не так опасался бы нападения этих разбойников; но здесь берега были очень высокими и отвесными, какими бывают берега у притоков, так что дикари отлично видели нас сверху, тогда как пушка, на которую мы возлагали такие надежды, не могла быть на них наведена. В довершение наших трудностей течение посредине реки было столь быстрым и сильным, что мы не могли преодолевать его иначе как бросив оружие и изо всех сил налегая на весла. У северного берега было чересчур мелко даже для пироги, и если мы вообще хотели продвигаться вперед, необходимо было держаться на расстоянии брошенного камня от левого, то есть южного, берега, где мы были совершенно беззащитны против сиу, но зато могли быстро двигаться с помощью шестов и ветра, а также используя водовороты. Если бы дикари напали на нас здесь, не думаю, чтобы мы уцелели. Все они были вооружены луками, стрелами и маленькими круглыми щитами, представляя очень живописное и красивое зрелище. У некоторых из вождей копья были украшены затейливыми вымпелами; вид их был весьма воинственный. Но то ли наша удача, то ли недогадливость индейцев весьма неожиданно вывела нас из

затруднения. Подскакав к краю обрыва над нашей головой, дикари снова завопили и принялись делать жесты, которыми — как мы сразу поняли — предлагали нам высадиться на берег. Этого требования я ожидал и решил, что всего благоразумнее будет не обращать на него внимания и продолжать путь. Мой отказ остановиться имел по крайней мере то хорошее действие, что очень озадачил индейцев, которые ничего не могли понять и, когда мы двинулись дальше, не отвечая на сигналы, глядели на нас с самым комическим изумлением. Затем они стали возбужденно переговариваться и, убедившись, что нас не поймешь, ускакали в южном направлении, оставив нас столь же удивленными, как и обрадованными их отступлением.

Мы постарались воспользоваться благоприятным моментом и изо всех сил работали шестами, чтобы до возвращения наших врагов миновать крутые берега. Спустя часа два мы снова увидели их вдалеке, к югу от нас, причем число их значительно увеличилось. Они приближались во весь опор и вскоре были уже у реки; но теперь наша позиция была куда более выгодной, ибо берега были отлогими и на них не было деревьев, которые могли бы укрыть дикарей от наших выстрелов. Да и течение уже не было здесь столь сильным, и мы могли держаться середины реки. Индейцы, как видно, уезжали только затем, чтобы раздобыть переводчика, который появился на крупном сером коне и, заехав в реку, насколько было возможно, на ломаном французском языке предложил нам остановиться и сойти на берег. На это я, через одного из канадцев, ответил, что ради наших друзей сиу мы охотно остановились бы ненадолго и побеседовали, но не можем, ибо это неугодно нашему великому талисману (тут канадец указал на пушку), который очень спешит и которого мы боимся ослушаться.

После этого они снова начали взволнованно совещаться, сопровождая это усиленной жестикуляцией, и, видимо, не знали, что делать. Тем временем лодки стали на якорь в удобном месте, и я решил, если нужно, сразиться немедленно и постараться дать такой отпор разбойникам, чтобы внушить им на будущее спасительный страх. Я считал, что сохранить с сиу дружественные отношения было почти невозможно, ибо в душе они оставались нашими врагами, и только убеждение в нашем мужестве могло удерживать их от грабежа и убийств. Согласиться на их требование сойти на берег и, быть может, даже купить себе, с помощью даров и уступок, временную

безопасность, было бы всего только полумерой, а не решительным пресечением зла. Рано или поздно они наверняка захотели бы насладиться местью и если сейчас и отпустили бы нас, то могли напасть потом, когда преимущество было бы на их стороне и когда мы едва сумели бы отбить нападение, а не то что внушить им страх. В нашей теперешней позиции мы могли дать им урок, который запомнится, а такого случая может больше не быть. Поддержанный в своем мнении всеми, за исключением канадцев, я решил держаться дерзко и не избегать столкновения, а скорее вызвать его. Это было самым правильным. У дикарей, видимо, не было огнестрельного оружия, не считая старого карабина одного из вождей; а их стрелы не могли бить метко с того расстояния, какое нас разделяло. Что касается их численности, она нас не слишком заботила. Все они находились сейчас под прицелом нашей пушки.

Когда канадец Жюль окончил речь о нашем великом талисмане, которого мы не хотели обеспокоить, а среди дикарей улеглось вызванное этим волнение, переводчик заговорил снова и задал три вопроса. Он желал узнать, во-первых, есть ли у нас табак, виски или ружья; во-вторых, не нужна ли нам помощь сиу в качестве гребцов на большой лодке, которую они предлагают провести вверх по Миссури до владений племени рикари, больших негодяев; а в-третьих, не является ли наш великий талисман всего-навсего огромным зеленым кузнечиком.

На эти вопросы, заданные с большой важностью, Жюль, выполняя мои указания, ответил следующим образом. Во-первых, у нас масса виски и табака и неисчерпаемые запасы оружия и пороха; но наш великий талисман только что поведал нам, что тетоны — еще большие негодяи, чем рикари, — что они нам враги — что они уже много дней поджидают нас, чтоб убить — и чтоб мы им ничего не давали и не вступали с ними в сношения; поэтому мы боимся что-либо им дать, если бы и хотели, чтоб не рассердился великий талисман, с которым шутки плохи. Во-вторых, после такой аттестации тетонов мы не можем и думать взять их гребцами; а в-третьих, их счастье, что великий талисман не расслышал последнего их вопроса насчет «огромного зеленого кузнечика», иначе им (сиу) пришлось бы очень худо. Наш великий талисман совсем не кузнечик, и в этом они скоро удостоверятся, на свою же беду, если немедленно не уйдут прочь.

Несмотря на грозившую нам опасность, мы с трудом сохраняли серьезность при виде глубокого изумления и почтения, с каким дикари слушали наш ответ; и я полагаю, что они бы тотчас же поспешили рассеяться, если бы не неудачные слова о том, что они большие негодяи, чем рикари. Это, очевидно, являлось для них величайшим оскорблением и вызвало ярость. Мы слышали, как они возбужденно повторили «рикари!», «рикари!» и, насколько мы могли судить, разделились во мнениях; одни указывали на могущество великого талисмана, другие не желали стерпеть неслыханно оскорбительного высказывания, в котором они были названы большими негодяями, чем рикари. Мы между тем продолжали держаться на середине реки, твердо решив вкатить негодяям порцию нашей картечи при первом же проявлении враждебности с их стороны.

Но вот толмач на сером коне снова заехал в воду и сказал, что считает нас за полные ничтожества — что все бледнолицые, какие до тех пор проплыли вверх по реке, показывали себя друзьями сиу и делали им ценные подарки — что они, тетоны, решили не пускать нас дальше, пока мы не сойдем на берег и не отдадим все наши ружья и виски и половину запасов табака — что мы, несомненно, состоим в союзе с рикари (которые сейчас воюют с сиу) и везем им боевые припасы, а это недопустимо — и, наконец, что они невысокого мнения о нашем великом талисмане, ибо он нам солгал насчет замыслов тетонов и несомненно является просто большим зеленым кузнечиком, хотя мы это и отрицаем. Последние слова о кузнечике были подхвачены всем сборищем и выкрикивались во все горло, чтобы сам великий талисман наверняка расслышал это оскорбление. Тут они пришли в настоящее неистовство; пустив лошадей в галоп, они описывали круги, делая, в знак презрения к нам, непристойные жесты, размахивая копьями и прицеливаясь из луков.

Я знал, что за этим последует атака, и решил начать первым, прежде чем кто-либо из нас будет ранен их стрелами — от промедления мы ничего не выигрывали, а быстрыми и решительными действиями могли выиграть все. Я выждал удобный момент и дал команду стрелять, которая была тотчас выполнена. Результат был разительный и вполне отвечал нашим целям. Шестеро индейцев было убито и втрое больше — тяжело ранено. Остальные пришли в величайший ужас и смятение и вскачь умчались по прерии, а мы

перезарядили пушку, подняли якоря и смело пошли к берегу. Когда мы его достигли, там не видно было ни одного тетона, кроме раненых.

Я поручил лодки попечению Джона Грили и троих из канадцев, а сам с остальными высадился и, подойдя к одному из дикарей, раненному тяжело, но не опасно, вступил с ним в беседу при посредстве Жюля. Я сказал, что белые хорошо относятся к сиу и ко всем индейским племенам; что единственной целью нашего прихода является ловля бобров и знакомство с прекрасной страной, которую Великий Дух даровал краснокожим людям; что как только мы добудем нужное количество шкур и осмотрим все, что хотели повидать, мы вернемся к себе домой; что, по слухам, сиу, а в особенности тетоны, — большие забияки, и мы поэтому взяли с собой для защиты наш великий талисман; что он сейчас сильно раздражен против тетонов за оскорбительное отождествление с зеленым кузнечиком (каковым он не был); что я с большим трудом удержал его от погони за убежавшими воинами и от расправы с ранеными и умиротворил его только тем, что лично поручился за хорошее поведение индейцев. Эту часть моей речи бедняга выслушал с большим облегчением и протянул мне руку в знак дружбы. Я пожал ее и обещал ему и его товарищам свое покровительство, если нас не потревожат, и подкрепил обещание двадцатью свертками табака, несколькими ножами, бусами и красной фланелью для него и остальных раненых.

Все это время мы зорко следили за беглецами. Раздавая подарки, я увидел некоторых из них вдалеке; их наверняка видел и раненый, но я счел за лучшее сделать вид, будто я никого не заметил, и вскоре вернулся к лодкам. Этот эпизод занял не менее трех часов, и только в четвертом часу пополудни мы смогли снова пуститься в путь. Мы спешили изо всех сил, ибо я хотел до наступления темноты уйти как можно дальше от поля боя. Сильный ветер дул нам в спину, а течение все более слабело по мере того, как река становилась шире. Поэтому мы шли очень быстро и к девяти часам вечера достигли большого лесистого острова у северного берега и вблизи устья притока. Здесь мы решили устроить стоянку, и едва ступили на берег, как один из братьев Грили подстрелил отличного бизона, которых тут было множество. Выставив на ночь часовых, мы поужинали бизоньим горбом, запивая его виски в количествах вполне достаточных. Затем мы обсудили события дня, которые большинство моих людей приняло

как отличную шутку; мне, однако, было не до веселья. До этого я еще ни разу не проливал человеческой крови; и хотя разум твердил мне, что я избрал наиболее мудрый, а в конечном итоге несомненно и наиболее милосердный путь, совесть отказывалась прислушаться даже к разуму и упорно шептала: «ты пролил человеческую кровь». Часы тянулись медленно; заснуть я не мог. Наконец занялась заря, и свежая роса, свежий ветерок и улыбки цветов снова вдохнули в меня мужество и дали мыслям иной ход, позволивший мне более трезво взглянуть на содеянное и правильно оценить его необходимость.

7 сентября. Выехали рано и много успели пройти при сильном и холодном восточном ветре. Около полудня достигли верхнего ущелья так называемой Большой Излучины, где река дает добрых тридцать миль крюку, тогда как напрямик по суше это расстояние составляет не более полутора тысяч ярдов. В шести милях дальше находится приток шириною около 35 ярдов, впадающий в реку с юга Местность выглядит весьма необычно; оба берега реки на много миль густо усеяны круглыми валунами, смытыми с утесов, и представляют очень своеобразное зрелище. Фарватер здесь очень мелкий и полон плывунов. Из деревьев чаще всего встречается кедр, а прерия покрыта колючей опунцией, среди которой нашим людям нелегко было пробираться в мокасинах.

На закате, стремясь обойти быстрину, мы имели несчастье посадить нашу большую лодку левым бортом на край песчаной мели, причем лодка так накренилась, что, несмотря на все наши усилия, едва не наполнилась водой. Вода успела подмочить порох и почти все товары, предназначенные для индейцев. Едва лишь лодка накренилась, все мы выпрыгнули в воду, чтобы поддержать накренившийся борт. Положение было трудное, ибо наших сил едва хватало на то, чтобы не дать лодке опрокинуться, и у нас не было ни одной пары свободных рук для другой работы. Когда мы уже были готовы отчаяться, песок под лодкой неожиданно осел, и все таким образом выправилось. Русло реки в этих местах изобилует подобными зыбучими песками, которые перемещаются очень быстро и без видимой причины. Это — твердый и мелкий желтый песок, который блестит, как стекло, когда высохнет, и почти неосязаем.

8 сентября. Мы все еще находились в краю тетонов и были постоянно настороже, останавливаясь возможно реже и только на

островах, которые изобиловали самой разнообразной дичью — бизонами, лосями, оленями, козами, чернохвостыми оленями и антилопами, а также различными породами ржанок и казарок. Козы совсем не пугливы и безбороды. Рыба не так обильна, как ниже по течению. В лощине на одном из малых островков Джон Грили подстрелил белого волка. Из-за трудного фарватера и частой необходимости вести лодки на буксире мы в этот день продвинулись мало.

9 сентября. Погода становится заметно холоднее, что заставляет нас спешить и скорее миновать страну сиу, ибо зимовать по соседству с ними было бы весьма опасно. Мы старались вовсю и плыли очень быстро, под песни и выкрики канадцев. По временам мы видели издали одинокого тетона, но никто нас не тревожил, и мы приободрились. За день мы прошли 28 миль и, настроенные очень весело, заночевали на большом острове, изобиловавшем дичью и густо заросшем канадским тополем.

Опускаем приключения мистера Родмена вплоть до десятого апреля. В конце октября экспедиция без особых происшествий достигла небольшого притока, который назвали ручьем Выдр; пройдя по нему примерно милю, до подходящего островка, путешественники построили там бревенчатое укрепление, где и зазимовали. Место это расположено чуть выше старых поселений индейцев рикари. Группы этих индейцев несколько раз навестили путешественников и вели себя весьма дружественно; они прослышали о стычке с тетонами и были очень довольны ее исходом. Сиу больше не беспокоили путешественников. Зима прошла благополучно и без особых происшествий. Десятого апреля экспедиция снова отправилась в путь.

Глава V

10 апреля 1792. Погода вновь настала отличная, и это нас чрезвычайно подбодрило. Солнце набирало силу, а река совершенно освободилась ото льда, как заверили нас индейцы, миль на сто вперед. Мы с искренним сожалением простились с Маленькой Змеей[1134] и с его людьми и, позавтракав, тронулись в путь. Перрин[1135], вместе с тремя индейцами, провожал нас первые десять миль, а затем попрощался и вернулся в селение, где (как мы узнали позднее) погиб от руки какой-то скваy, которую он оскорбил. Расставшись с агентом, мы поспешили дальше вверх по реке и прошли немало, несмотря на сильное течение. Под вечер Торнтон, который уже несколько дней жаловался на недомогание, сильно расхворался; настолько, что я хотел вернуться вместе со всеми в нашу хижину и там подождать его выздоровления; но он так энергично этому воспротивился, что я был вынужден уступить. Мы устроили ему удобную постель в каюте и окружили заботой; но у него началась сильная горячка и по временам бред, так что я очень опасался, что мы его потеряем. Однако мы продолжали упорно идти вперед и к ночи прошли двадцать миль — совсем неплохо для одного дня.

11 апреля. Погода все еще отличная. Вышли рано, при благоприятном ветре, очень нам помогавшем; и если бы не болезнь Торнтона, все мы были бы в отличном настроении. Ему становилось все хуже, и я не знал, что предпринять. Мы делали все, чтобы больному было легче. Канадец Жюль приготовил питье из местных трав, которое вызвало у больного пот и заметно снизило жар. На ночь мы причалили к северному берегу; трое охотников вышли в прерию при луне и вернулись в час пополуночи, без ружей, но с жирной антилопой.

Они рассказали, что, пройдя много миль в глубь местности, достигли берегов красивейшего ручья, где с тревогой увидели большой отряд сиу саони, которые тут же взяли их в плен и привели на другой берег потока, поместив за загородкой из сучьев и глины, где находилось целое стадо антилоп. Животные продолжали входить в этот загон, устроенный так, чтоб из него нельзя было выбраться.

Индейцы проделывают это ежегодно. Осенью антилопы, в поисках пищи и укрытия, уходят из прерии в гористую местность к югу от реки. Весной они снова переходят ее целыми стадами, и тогда их легко заманить в загоны, подобные только что описанному.

Охотники (Джон Грили, Пророк и один из канадцев) почти не надеялись вырваться из рук индейцев (которых было не менее пятидесяти) и приготовились к смерти. Грили и Пророка обезоружили и связали по рукам и ногам; но канадца, по какой-то не вполне понятной причине, не связали; у него только отобрали ружье, но оставили ему охотничий нож (который дикари, вероятно, не заметили, ибо он носил его в футляре, прикрепленном к краге) и вообще обращались с ним совершенно иначе, чем с остальными. Это и дало им всем возможность спастись.

Когда их схватили, было, вероятно, часов девять вечера. Луна ярко светила, но так как погода для этого времени года была необычно прохладной, индейцы зажгли два больших костра, на достаточном расстоянии от загона, чтобы не пугать антилоп, которые продолжали туда входить. На этих кострах они жарили дичь, когда охотники неожиданно наткнулись на них, выйдя из-за деревьев. Грили и Пророка, обезоруженных и связанных крепкими ремнями из бизоньей кожи, бросили под деревом, неподалеку от огня; а канадцу, под охраной двух дикарей, позволили сесть у одного из костров, в то время как остальные индейцы собрались вокруг другого, большего. Время тянулось медленно, и охотники ежеминутно ожидали смерти; ремни были затянуты так туго, что причиняли связанным нестерпимые муки. Канадец пытался заговорить со своей охраной, в надежде ее подкупить и освободиться, но его не понимали. Около полуночи у большого костра произошло смятение из-за того, что несколько крупных антилоп ринулось на огонь. Животные прорвались через глиняную стену загона и, обезумев от страха, бросились на свет костра, как это делают ночью насекомые. Должно быть, саони не ожидали ничего подобного от этих, обычно робких, животных, ибо они сильно испугались; а когда, через минуту после первых, на них понеслось все пленное стадо, испуг перешел в панику. Охотники рассказали, что творилось нечто необычайное. Животные совершенно обезумели; по словам Грили (отнюдь не склонного к преувеличениям), их безудержный, стремительный бег сквозь пламя и через толпу испуганных дикарей

представлял не только удивительное, но и жуткое зрелище. Они сметали все на своем пути; проскочив сквозь большой костер, они тут же ринулись на малый, расшвыривая горящие головешки; потом, ошеломленные, снова повернули к большому костру и так несколько раз, пока костры не стали гаснуть, а тогда они, одно за другим, вихрем умчались в лес.

В этой сумасшедшей свалке многие индейцы оказались повалены на землю, а некоторые наверняка тяжело, если не смертельно, ранены острыми копытами скачущих антилоп. Иные плашмя легли на землю и тем спаслись. Пророк и Грили, находившиеся далеко от огня, были в безопасности. Канадец сразу же свалился под ударами копыт, на несколько минут лишившими его сознания. Очнулся он почти в полной темноте, ибо луна скрылась за плотной грозовой тучей, а костры почти погасли, не считая разметанных там и сям головешек. Индейцев рядом с ним не было, и он, мгновенно решив бежать, добрался, как сумел, до дерева, под которым лежали его товарищи. Их путы были быстро разрезаны, и все трое, что было сил, побежали к реке, не думая о ружьях и о чем-либо ином кроме спасения. Пробежав несколько миль и убедившись, что за ними никто не гонится, они замедлили бег и остановились у ручья напиться. Здесь-то они и обнаружили антилопу, которую, как я уже говорил, доставили к лодкам. Бедное животное лежало на берегу ручья, тяжело дыша и не в силах двинуться. У него была сломана нога и обгорело все тело. Это несомненно было одно из тех, кому они были обязаны своим спасением. Если бы имелась хоть какая-нибудь надежда на то, что оно может оправиться, охотники из благодарности пощадили бы его; но оно было тяжело покалечено, и они прикончили его и принесли нам, а мы отлично позавтракали на следующее утро его мясом.

12, 13, 14 и 15 апреля. Все эти четыре дня мы плыли без каких-либо происшествий. Днем стояла отличная погода, но ночи и утренние зори были очень холодные, с заморозками. Дичи было много. Торнтон все еще хворал, и его болезнь несказанно тревожила и огорчала меня. Мне очень недоставало его общества; я убедился, что он был почти единственным членом экспедиции, которому я мог вполне довериться. Этим я хочу сказать только, что он был почти единственным, с которым я мог или хотел делиться всеми своими дерзкими надеждами и фантастическими планами, — но это не значит, что среди нас был

кто-либо, не заслуживавший доверия. Напротив, все мы стали точно братья, и у нас ни разу не было сколько-нибудь серьезных разногласий. Всех нас связывала общая цель, а вернее сказать, мы оказались путешественниками без особых целей — кроме удовольствия. Что думали канадцы, я не сумел бы сказать с уверенностью. Они, разумеется, много толковали о выгодах нашего предприятия и особенно о своей предполагаемой доле в добыче; и все же мне кажется, что они не слишком были ею озабочены, ибо это были самые простодушные и безусловно самые услужливые парни на свете. Что до остальных членов нашего экипажа, то я нисколько не сомневаюсь, что о денежной выгоде от экспедиции они помышляли меньше всего. За время пути не раз явственно обнаружилось чувство, которое, в той или иной степени, овладело каждым из нас. Вещи, которые в городах считались бы наиболее важными, здесь расценивались как нечто, не стоящее серьезного обсуждения, и достаточно было пустячного предлога, чтобы их отодвинули на задний план или вовсе забыли. Люди, проделавшие не одну тысячу миль по пустынной местности, где их подстерегали величайшие опасности, и терпевшие самые страшные лишения якобы для того, чтобы добыть пушнину, редко давали себе труд сохранить добытое и без сожаления готовы были покинуть целый тайник, полный отборных бобровых шкур, ради удовольствия проплыть по какой-нибудь романтической реке или проникнуть в опасную скалистую пещеру в поисках минералов, о ценности которых они ничего не знали и которые при первом же случае тоже бросали как ненужный балласт.

В этом я был сердцем с ними; и должен сказать, что, чем дальше мы плыли, тем меньше я интересовался главной задачей экспедиции и тем больше был готов свернуть с пути ради праздной забавы — если только это слово правильно выражает глубокое и сильное волнение, с каким я созерцал чудеса и величавую красоту этих первозданных мест. Не успевал Я осмотреть одну местность, как меня охватывало непреодолимое желание идти дальше и исследовать другую. Однако я пока еще чувствовал себя чересчур близко к человеческому жилью, чтобы это вполне удовлетворяло мою пламенную страсть к Природе и к неизведанному. Я не мог не знать, что какие-то цивилизованные люди, пусть немногие, успели опередить меня; что чьи-то глаза прежде моих зачарованно глядели на окружающий ландшафт. Если б не эта

неотвязная мысль, я, конечно, чаще задерживался бы и уходил в сторону, чтобы осмотреть местность, прилегающую к реке, а то и проникнуть дальше в глубь края, лежавшего к северу и к югу от нашего пути. Но мне не терпелось плыть дальше — попасть, если возможно, за крайние пределы цивилизованного мира — взглянуть, если удастся, на исполинские горы, о существовании которых мы знали только из сбивчивых рассказов индейцев. Этих конечных целей и надежд я не поверял вполне никому, кроме Торнтона. Он поддерживал мои самые фантастические планы и полностью разделял владевшее мною романтическое настроение. Поэтому я так сокрушался о его болезни. А ему день ото дня становилось хуже, к мы не в силах были ему помочь.

16 апреля. Сегодня лил холодный дождь и дул сильный ветер, вынудивший нас простоять на якоре всю первую половину дня. В четыре часа пополудни мы тронулись в путь и к ночи прошли пять миль. Торнтону стало значительно хуже.

17 и 18 апреля. Оба дня стояла неприятная сырая погода, все с тем же холодным северным ветром. На реке нам часто встречались крупные льдины, а сама река сильно вздулась и помутнела. Нам приходилось трудно, и продвигались мы медленно. Торнтон, казалось, был при смерти, и я решил остановиться на первом же удобном месте, чтобы выждать исхода его болезни. Поэтому в полдень мы ввели лодки в широкий приток, впадавший в реку с юга, и расположились лагерем на его берегу.

25 апреля. Здесь мы оставались до сегодняшнего утра, когда, к общей нашей великой радости, Торнтону стало настолько лучше, что можно было продолжать путь. Наступила отличная погода, и мы весело шли красивейшими местами, не встречая ни одного индейца и никаких особых приключений, вплоть до последнего дня апреля, когда мы достигли страны манданов, вернее, манданов, миннетари и анахауэев; ибо все эти три племени живут рядом, в пяти селениях. Еще не так давно у манданов было девять селений, примерно в восьмидесяти милях ниже по реке; развалины их мы миновали, не зная, что это такое — семь к западу и два к востоку от реки; но оспа и старые враги, сиу, сильно уменьшили их численность; оставшаяся горсточка поселилась на нынешнем месте.[1136] Манданы встретили нас весьма дружелюбно, и мы пробыли вблизи них три дня, которые

употребили на починку пироги и другого снаряжения. Мы достали у них изрядный запас сушеной кукурузы разных сортов, которую дикари хранят зимой в ямах возле своих вигвамов. Пока мы гостили у манданов, нас навестил вождь племени миннетари, по имени Ваукерасса, который был очень учтив и оказал нам немалые услуги. Сына этого вождя мы уговорили сопровождать нас до развилки в качестве переводчика. Мы преподнесли отцу несколько подарков, которыми он остался весьма доволен.[1137] Первого мая мы простились с майданами и двинулись дальше.

1 мая. Погода стояла теплая, и местность становилась все красивее, ибо все вокруг зеленело. Листья на канадском тополе уже достигли величины пятишиллинговой монеты, и многие цветы распустились. Здесь начинаются более обширные, чем прежде, низины, густо заросшие лесом. Много канадского тополя и обычной, а также красной ивы, и изобилие розовых кустов. За приречной низиной тянулась сплошная огромная безлесная равнина. Почва была необычайно плодородна. Дичи было больше, чем где-либо до тех пор. Впереди нас по обоим берегам шло по охотнику, и сегодня они принесли лося, козла, пять бобров и множество ржанок. Бобры совсем не пугливы и легко ловятся. В качестве пищи мясо этого животного — настоящее bonne bouche[1138], в особенности хвост, несколько клейкий, наподобие плавников палтуса. Одного бобрового хвоста достаточно, чтобы сытно накормить трех человек. К ночи мы успели пройти двадцать миль.

2 мая. Утром дул отличный попутный ветер, так что до полудня мы шли под парусами, но затем он уж слишком усилился, и мы остановились до конца дня. Охотники вышли на промысел и вскоре вернулись с огромным лосем, которого Нептун свалил после долгой погони, ибо он был лишь слегка ранен крупной дробью. Он имел шесть футов в вышину. В сумерках добыли еще антилопу. Завидя наших людей, она помчалась, как стрела, но вскоре остановилась и вернулась, видимо, из любопытства, а потом снова поскакала. Это повторялось несколько раз, причем она подходила все ближе, пока не приблизилась на расстояние ружейного выстрела, и тут Пророк ее подстрелил. Она оказалась тощей и к тому же котной. При всей их необычайной быстроте, эти животные плохо плавают и часто, пытаясь

переправиться через реку, становятся добычей волков. За сегодняшний день мы прошли двенадцать миль.

3 мая. Утром шли очень быстро и к вечеру успели сделать не менее тридцати миль. Дичи по-прежнему много. Вдоль берега лежало множество трупов бизонов, которых пожирали волки.

При нашем приближении они неизменно убегали. Мы не знали, чем объяснить гибель бизонов, но, спустя несколько недель, загадка разъяснилась. Добравшись до места, где берега обрывисты, а вода под ними глубока, мы увидели большое стадо плывущих бизонов и остановились, чтобы их наблюдать. Они спускались наискось по течению и, очевидно, вошли в реку из ущелья в полумиле выше, где берег отлого спускался к воде. Доплыв до западного берега, они не смогли взобраться по обрыву, а вода была там слишком глубока, чтобы они могли стоять. После тщетных попыток удержаться на крутом и скользком глинистом склоне, они повернули и поплыли к другому берегу, где их встретила та же неприступная круча и где повторились те же напрасные попытки выбраться на сушу. Они повернули в другой раз, в третий, в четвертый и в пятый — подплывая к берегу почти в том же самом месте. Вместо того чтобы дать течению снести себя к более удобному берегу (всего на какую-нибудь четверть мили ниже), они старались удержаться на одном месте и для этого плыли под острым углом к течению, прилагая огромные усилия, чтобы их не снесло. После пятой попытки бедные животные были так измучены, что явно не могли дольше держаться. Они отчаянно бились, пытаясь выбраться на берег; одному или двум это почти удалось, как вдруг, к большому нашему огорчению (ибо мы не могли без сострадания наблюдать их мужественные усилия), земля над ними поползла и засыпала нескольких животных, а берег не стал от этого удобнее для подъема. Тут остальные издали жалобное мычание, вернее, стон, исполненный такой муки и отчаяния, какие невозможно себе вообразить; забыть его я никогда не смогу. Некоторые попытались еще раз переплыть реку, несколько минут бились в волнах и утонули, окрасив воду кровью, хлынувшей из их ноздрей в момент агонии. Большая же часть, испустив стон, апатично покорилась своей участи, перевернулась на спину и пошла ко дну. Так утонуло все стадо; ни одно животное не спаслось. Спустя полчаса река выбросила их трупы

неподалеку, на низкий берег, куда они так легко могли бы добраться, если б не их тупое упрямство.

4 мая. Погода стоит превосходная, и мы с помощью теплого южного ветра прошли до вечера двадцать пять миль. Торнтон настолько оправился, что помогал вести лодки. Под вечер он пошел со мной в прерию на западном берегу, где мы увидели множество ранних весенних цветов, какие не встречаются в населенных местах. Многие из них были удивительно красивы и ароматны. Попадалась нам и разнообразная дичь, но мы по ней не стреляли, будучи уверены, что наши охотники и без того принесут больше, чем мы сможем съесть; а бесцельного истребления живых существ я не одобряю. На обратном пути нам повстречались два индейца из племени ассинибойн, которые шли за нами до самых лодок. Они не выказывали никакого недоверия, напротив, шли с нами открыто и смело; поэтому мы очень удивились, когда они, дойдя до пироги на расстояние брошенного камня, неожиданно повернули и со всех ног побежали в прерию. Отбежав довольно далеко, они взошли на холмик, с которого виден берег реки. Здесь они легли на живот и, опершись подбородком на руки, уставились на нас с величайшим изумлением. В подзорную трубу я мог рассмотреть их лица, выражавшие изумление и испуг. Так они смотрели на нас долго. Потом, повинуясь какому-то внезапному побуждению, поспешно поднялись и бегом удалились в том направлении, откуда пришли.

5 мая. Когда мы рано утром собирались в путь, большая группа ассинибойнов внезапно бросилась к нашим лодкам и, прежде чем мы успели оказать сопротивление, захватила пирогу. В ней в то время находился только Жюль, который спасся, прыгнув в воду, а затем влез в большую лодку, уже готовую отплыть. Индейцев привели те двое, что посетили нас накануне; они, должно быть, подкрались совершенно неслышно, ибо у нас, как обычно, были выставлены часовые, но даже Нептун не дал знать о приближении чужих.

Мы готовились открыть по врагу огонь, когда Мискуош (наш новый переводчик — сын Ваукерассы) объяснил нам, что ассинибойны явились как друзья и сейчас выражают это знаками. Мы считали, что разбойничий захват лодки — отнюдь не наилучший способ выказывать дружбу, но готовы были выслушать этих людей и велели Мискуошу спросить их, почему они так поступили. Они ответили заверениями в

уважении; и мы в конце концов выяснили, что у них нет никаких дурных намерений, а только жгучее любопытство, которое они просят нас удовлетворить. Оказывается, те два индейца, которые накануне так удивили нас своим странным поведением, были поражены чернотой нашего негра Тоби. Они никогда не видели и даже не слыхали о чернокожих, и надо признать, что их изумление не было лишено оснований. К тому же Тоби был преуродливым старым джентльменом со всеми характерными чертами своей расы — толстыми губами, огромными выкаченными белками, приплюснутым носом, большими ушами, огромной шапкой волос, выпяченным животом и кривыми ногами. Рассказав о нем своим соотечественникам, оба индейца не встретили доверия и рисковали навсегда прослыть лгунами и обманщиками; тогда, чтобы доказать правдивость своего рассказа, они взялись привести к лодкам все селение. Внезапное нападение, как видно, было просто следствием нетерпения ассинибойнов, все еще сомневавшихся, ибо они не проявили после этого ни малейшей враждебности и вернули нам пирогу, как только мы обещали дать им вволю рассмотреть старого Тоби. Последний всем этим очень забавлялся и тотчас сошел на берег, in naturalibus[1139], дабы любознательные туземцы могли ознакомиться с ним во всех подробностях. Их удивление было велико, а удовлетворение — полное. Сперва они не верили своим глазам, плевали на палец и терли кожу негра, чтобы убедиться, что она не окрашена. Шерстистая голова вызвала одобрительные возгласы, особенное же восхищение возбудили кривые ноги. А когда наш безобразный приятель исполнил джигу, восторг достиг апогея, восхищению не было предела. Будь у Тоби хоть капля честолюбия, он мог бы немедленно сделать карьеру и взойти на трон ассинибойнов под именем короля Тоби Первого. Это происшествие задержало нас почти до вечера. Обменявшись с туземцами приветствиями и подарками, мы приняли предложение шестерых из них помочь нам грести первые пять миль, что было весьма кстати и за что мы высказали признательность Тоби. Тем не менее за день мы прошли всего двенадцать миль и остановились на ночлег на красивейшем острове, который надолго нам запомнился благодаря добытой там вкусной рыбе и дичи. В этом прелестном местечке мы провели два дня, угощаясь, веселясь, не заботясь о завтрашнем дне и обращая очень мало внимания на резвившихся

вокруг нас многочисленных бобров. На этом острове мы без труда добыли бы сотню и даже две шкур. А мы добыли их всего двадцать. Остров расположен в устье довольно большой реки, текущей с юга, там, где Миссури поворачивает на запад. Это примерно 48-я широта.

8 мая. Продолжали путь при благоприятном ветре и хорошей погоде и, сделав миль двадцать пять, достигли большой реки, впадающей в Миссури с севера. Однако при впадении она очень узка, не шире дюжины ярдов, и совершенно занесена илом. Немного выше она очень красива, имеет в ширину ярдов семьдесят-восемьдесят, очень глубока и течет по живописной долине, изобилующей дичью. Наш новый проводник сообщил нам ее название, но я его не записал[1140]. Здесь Роберт Грили подстрелил несколько гусей, которые строят гнезда на деревьях.

9 мая. Поодаль от берегов почва во многих местах покрыта белым налетом, оказавшимся солью. Мы прошли всего пятнадцать миль из-за различных мелких неполадок, а ночь провели на берегу, в зарослях канадского тополя и кроличьих ягод.

10 мая. Сегодня холодно и дует сильный ветер, правда попутный. Прошли немало. Холмы имеют здесь резкие зубчатые очертания с обнаженной скалистой породой; некоторые очень высоки и, по-видимому, размыты водой. Мы подобрали несколько окаменевших щепок и костей; повсюду разбросан уголь. Река становится очень извилистой.

11 мая. Почти весь день были задержки из-за дождя и порывистого ветра. К вечеру разъяснилось и подул попутный ветер; пользуясь им, мы успели до ночлега пройти десять миль. Поймали несколько жирных бобров, а на берегу подстрелили волка. Он, как видно, отбился от большой стаи, которая рыскала вокруг нас.

12 мая. Пройдя десять миль, причалили к небольшому обрывистому островку, чтобы починить кое-что из нашего снаряжения. Когда мы уже готовились плыть дальше, один из канадцев, который шел впереди всех и опередил нас на несколько ярдов, внезапно с громким воплем исчез из виду. Мы немедленно подбежали туда и от души посмеялись, обнаружив, что он всего лишь упал в пустой cache[1141], откуда мы быстро его извлекли. Впрочем, если бы он был один, неизвестно, как бы он выбрался. Мы тщательно осмотрели тайник, но нашли там только несколько пустых бутылок; не было

ничего, что помогло бы определить, кто прятал там имущество: французы, англичане или американцы; а нам хотелось это знать.

13 мая. Добрались до слияния Миссури с Йеллоустон, пройдя за день двадцать пять миль. Здесь Мискуош простился с нами и отправился домой.

Глава VI

За последние два-три дня местность показалась нам унылой в сравнении с той, которая уже сделалась нам привычна. Она стала в общем более ровной; лес растет лишь вдоль самого берега, а вдали его почти или совсем нет. Когда появлялись холмы, мы замечали признаки угольных залежей, а в одном месте был мощный пласт битума, изменявший цвет воды на протяжении нескольких сот ярдов. Течение стало медленнее, а вода — прозрачнее; утесы и мели встречаются реже, хотя обходить их все так же трудно. Непрерывно лил дождь, и на берегах стало так скользко, что идти бечевой было почти невозможно. Воздух сделался неприятно холодным, а поднимаясь на невысокие прибрежные холмы, мы видели в расселинах немало снеге. Справа вдалеке виднелось несколько индейских стойбищ, по-видимому временных и недавно покинутых. В этих местах не видно постоянных поселений; это, должно быть, излюбленные охотничьи угодья соседних племен — что подтверждают и многочисленные встречавшиеся нам следы охоты. Племя миссурийских миннетари, как известно, добирается в поисках дичи до большой развилки на южном берегу; а ассинибойны подымаются еще выше по течению. Мискуош сообщил нам, что дальше и до самых Скалистых Гор мы не встретим вигвамов, кроме вигвамов тех миннетари, которые живут на низком, то есть южном берегу Саскачевана.

Дичи здесь великое множество и самой разнообразной: лоси, бизоны, толстороги, мазамы, медведи, лисы, бобры и т. д. и т. д. и бесчисленное количество диких птиц. Рыбы также очень много. Ширина реки часто меняется — от двухсот пятидесяти ярдов до таких мест, где течение бежит между утесов, разделенных всего какой-нибудь сотнею футов. Поверхность этих скал большею частью представляет собой желтоватую каменную породу с примесью обгорелой земли, пемзы и минеральных солей. В одном месте ландшафт разительно меняется; холмы по обе стороны отступают далеко от реки, а на ней появляется множество красивых мелких островков, заросших канадским тополем. Низина, видимо, очень плодородна; к северу она расширяется, образуя три большие долины.

Здесь, как видно, находится крайняя северная оконечность горной цепи, через которую так долго течет Миссури и которую туземцы называют Черными Холмами. Переход от горной местности к равнинной заметен по воздуху, который здесь сух и чист; настолько, что это было заметно по швам наших лодок и немногим математическим инструментам.

На самом подходе к развилкам начался сильный дождь, а на реке то и дело попадались препятствия, отнимавшие много сил. Местами берег был такой скользкий, а глинистая почва так размякла, что приходилось идти босиком, ибо в мокасинах нельзя было удержаться. На берегу было много луж стоячей воды, которые мы переходили вброд, погружаясь иной раз по грудь. А потом приходилось пробираться среди огромных мелей и острой кремневой гальки, как видно, образовавшихся из обломков утесов, упавших en masse[1142]. Иногда попадался глубокий овраг или ущелье, которое мы одолевали с величайшим трудом; однажды, когда мы протаскивали мимо такого ущелья большую лодку, веревка (старая и истертая) не выдержала, и лодку снесло течением на скалистый выступ посредине реки, где было так глубоко, что снять ее оттуда удалось лишь с помощью пироги, а это заняло целых шесть часов.

Как-то нам встретилась с южной стороны высокая черная стена, возвышавшаяся над всеми прочими утесами и тянувшаяся примерно на четверть мили; потом пошла открытая равнина, а мили через три — снова такая же стена, с той же стороны, но из светлой породы, высотою не менее двухсот футов; дальше — снова равнина или долина и вновь причудливого вида стена, на этот раз с северной стороны, высотою не менее двухсот пятидесяти футов, а толщиной примерно футов в двенадцать, весьма похожая на искусственное сооружение. Эти утесы, отвесно встающие из воды, выглядят весьма необычно. Последний состоит из очень мягкого белого песчаника, на котором вода легко оставляет следы. Вверху его проходит некое подобие фриза или карниза, образованного несколькими тонкими горизонтальными прослойками твердого белого камня, не поддающегося действию дождей. Над ними лежит слой темной, жирной почвы, отступающей от берега примерно на милю, а там вздымаются новые отвесные утесы, пятисот и более футов высотою. Поверхность этих удивительных утесов естественно исчерчена множеством борозд, проделанных в

мягкой породе дождями, так что богатое воображение легко может увидеть в них гигантские памятники, воздвигнутые человеком и исписанные иероглифами. Иногда встречаются ниши (подобные тем, куда ставят в храмах статуи), образованные выпадением больших кусков песчаника; местами виднеются как бы лестницы и длинные коридоры — там, где случайные трещины в твердом каменном карнизе позволили дождям равномерно вымывать более мягкую породу, лежащую ниже. Мы плыли мимо этих необыкновенных скал при ярком свете луны, и я никогда не забуду, как они возбуждали мое воображение. То были настоящие волшебные замки (такие я видел во сне), а щебетание бесчисленных ласточек, гнездившихся в отверстиях, которые изрешетили всю скалу, немало способствовало такой иллюзии. Рядом с этими стенами иногда тянутся более низкие, от двадцати до ста футов высотою, а в толщину от одного до пятнадцати, тоже отвесные и очень правильной формы. Они образованы черноватыми камнями, по-видимому, из суглинка, песка и кварца, совершенно симметричной формы, хотя и разных размеров. Чаще всего квадратные, иногда удлиненные (но неизменно прямоугольные), они лежат один над другим так правильно, точно их клал смертный каменщик; каждый верхний камень прикрывает и скрепляет стык двух нижних, совсем как кирпичная кладка. Иногда эти удивительные сооружения тянутся параллельно, бывает, что по четыре в ряд; иногда они отступают от реки и теряются среди холмов; иногда пересекаются под прямым углом, как бы огораживая большие искусственные сады, а растительность внутри этих стен такова, что часто усиливает это впечатление. Где стены всего тоньше, там кладка помельче, и наоборот. Ландшафт этой части бассейна Миссури мы сочли самым удивительным, если не самым прекрасным из всего нами виденного. Он оставил у меня впечатление чего-то нового, своеобразного и незабываемого.

Прежде чем достичь развилки, мы добрались до крупного острова на северном берегу; в расстоянии мили с четвертью от него, на южном берегу, лежит низина, густо заросшая отличным лесом. Дальше пошли мелкие островки, и к каждому из них мы на несколько минут приставали. Затем мы миновали с северной стороны совершенно черный утес и два островка, где не было ничего примечательного. Еще через несколько миль встретился довольно большой остров у

оконечности скалистого мыса и два других, поменьше. Все они покрыты лесом. В ночь на 13 мая Мискуош указал нам устье большой реки, которая в европейских поселениях известна под названием Йеллоустон, а у индейцев зовется Аматеаза.[1143] Мы разбили лагерь на южном берегу, на красивой равнине, поросшей канадским тополем.

14 мая. Все рано проснулись и поднялись, ибо мы достигли весьма важного пункта, и прежде чем идти дальше, надо было убедиться, по которому из двух больших рукавов, находившихся перед нами, будет лучше плыть. Большинство хотело плыть вверх по одному из них, сколько будет возможно, чтобы достичь Скалистых Гор, где, быть может, удалось бы отыскать верховье большой реки Ареган, о которой все индейцы, с какими мы беседовали, говорили, что она течет в великий Тихий Океан. Я также стремился туда, ибо там моему воображению рисовался целый мир волнующих приключений; однако я предвидел множество трудностей, которые нам неминуемо встретятся, если мы попытаемся это сделать, располагая столь скудными сведениями о крае, который предстоит пройти, и о населяющих его туземцах; о них мы знали только, что это — наиболее свирепые из северо-американских индейцев. Я боялся также, что мы попадем не на тот рукав и окажемся в лабиринте затруднений, от которых люди могут пасть духом. Впрочем, эти мысли недолго меня тревожили, и я немедля принялся исследовать близлежащую местность; нескольких человек я послал по берегу каждого из рукавов, чтобы выяснить, какой из них полноводнее, а сам, вместе с Торнтоном и Джоном Грили, начал восхождение на возвышенность, расположенную на развилке, откуда должен был открыться вид на всю окрестность. Мы увидели тянувшуюся во всех направлениях огромную равнину, где волновалась под ветром густая трава и кишели бесчисленные стада бизонов и стаи волков, а порой попадались антилопы. На юге долину пересекала цепь высоких снежных гор, которая шла с юго-востока к северо-западу и там резко обрывалась. За нею виднелся еще более высокий хребет, на северо-западе уходивший за горизонт. Оба рукава реки представляли волшебное зрелище, убегая вдаль подобно двум длинным змеям и постепенно утончаясь, чтобы затеряться в туманной дали двумя серебряными нитями. Однако по их направлению мы не могли установить, куда они в конце концов текут, и сошли вниз в полной растерянности.

Осмотр обоих рукавов вблизи мало что прибавил. Северный оказался глубже, зато южный был шире, а по количеству воды они мало разнились. Первый был окрашен, как и вся Миссури, а русло второго было устлано гравием, что свойственно обычно рекам, которые текут с гор. Наконец мы избрали для продолжения нашего пути северный рукав, как более удобный, но он так быстро становился мельче, что через несколько дней мы не смогли пользоваться большой лодкой. Мы сделали трехдневную остановку и за это время добыли много отличных шкур, а потом сложили их, вместе со всеми запасами, в хорошо устроенном cache на маленьком островке, в какой-нибудь миле ниже слияния рек. Мы запасли также много дичины, особенно оленины, и несколько ножек засолили и закоптили впрок. Поблизости оказалась в изобилии опунция, а в низинах и оврагах много аронии. Много было также белой и красной смородины (еще неспелой) и крыжовника. На шиповнике уже появились бесчисленные бутоны. Мы снялись с лагеря утром, в отличном настроении.[1144]

18 мая. День был погожий, и мы бодро двигались вперед, несмотря на постоянные препятствия в виде мелей и выступов, которыми изобиловала река. Люди все как один были полны веселой решимости идти дальше и только и говорили, что о Скалистых Горах. Оставив наши шкуры, мы значительно облегчили лодки, и нам стало гораздо легче вести их против быстрого течения. Река была усеяна островами, и мы причаливали почти к каждому. К ночи мы достигли покинутой индейской стоянки подле обрыва с темной глинистой почвой. Нас очень тревожили гремучие змеи, а перед рассветом пошел сильный дождь.

19 мая. Мы не успели еще далеко продвинуться, как рукав сильно изменился; его то и дело преграждали песчаные мели или валы мелкого гравия, так что мы с величайшим трудом вели мимо них большую лодку. Два человека, посланных в разведку, доложили, что дальше русло становится шире и глубже, и это вновь придало нам мужества. Мы проделали десять миль и заночевали на одном из островков. На юге показалась необычная гора конической формы, целиком покрытая снегом.

20 мая. Русло стало лучше, и мы почти без препятствий прошли шестнадцать миль мимо своеобразной глинистой равнины, почти лишенной растительности. Ночь мы провели на большом острове,

поросшем высокими деревьями, из которых многие были нам неизвестны. Здесь мы провели пять дней, так как пирога нуждалась в починке.

В эти дни произошел важный эпизод. Берега Миссури в здешних местах круты и состоят из особой голубой глины, которая после дождя становится чрезвычайно скользкой. От самой воды и дальше, примерно на сотню ярдов, берега образуют отвесные уступы, пересеченные в разных направлениях глубокими и узкими щелями, промытыми в очень давние времена действием воды с такой правильностью, что они похожи на искусственные каналы. При впадении в реку эти узкие ущелья выглядят очень своеобразно и с противоположного берега при свете луны представляются гигантскими колоннами, возвышающимися на берегу. С верхнего уступа весь спуск к реке кажется нагромождением мрачных развалин. Растительности не видно нигде.

Джон Грили, Пророк, переводчик Жюль и я однажды утром после завтрака отправились на верхний уступ южного берега, чтобы обозреть окрестность, а точнее, попытаться что-то увидеть. С большим трудом и многими предосторожностями мы достигли плоскогорья напротив нашей стоянки. Здешняя прерия отличается от обычной тем, что на много миль вглубь заросла канадским тополем, кустами роз, красной ивой и ивой широколистой; а почва тут зыбкая, местами болотистая, как обычно на низменностях; она состоит из черноватого суглинка, на треть из песка, и, если пригоршню ее бросить в воду, она растворяется точно сахар, с обильными пузырями. Кое-где мы заметили вкрапления соли, которую мы собрали и употребили в пищу.

Взобравшись на плоскогорье, мы сели отдохнуть, но тотчас же были потревожены громким рычанием, раздавшимся из густого подлеска прямо позади нас Мы в ужасе вскочили, ибо оставили ружья на острове, чтобы без помех карабкаться на утесы, и имели при себе только пистолеты и ножи. Едва мы успели обменяться несколькими словами, как из-за розовых кустов на нас бросились с разинутой пастью два огромных бурых медведя (первые, какие повстречались нам за все время). Эти животные внушают сильный страх индейцам, и немудрено, ибо это в самом деле страшилища, наделенные огромной силой, неукротимой свирепостью и поразительной живучестью. Убить их пулей почти невозможно, разве лишь прямо в мозг, а он у них

защищен двумя крупными мускулами по бокам лба и выступом толстой лобной кости. Известны случаи, когда они жили по нескольку дней с полудюжиною пуль в легких и даже с тяжкими повреждениями сердца. Нам бурый медведь до тех пор не встречался ни разу, хотя часто попадались его следы в иле и на песке, а они бывали длиною почти в фут, не считая когтей, и восьми дюймов в ширину.

Что же нам было делать? Вступать в бой с таким оружием, как у нас, было бы безумием; и глупо было надеяться убежать в прерию; ибо, во-первых, медведи шли на нас именно оттуда, а во-вторых, уже вблизи утесов подлесок из шиповника, карликовой ивы и других был так густ, что мы не смогли бы пробраться; а если бы мы побежали вдоль реки, между этими зарослями и подножьем утеса, медведи мигом нас нагнали бы, ибо по болоту мы не смогли бы бежать, тогда как широкие, плоские лапы медведя ступали бы там легко. Как видно, эти мысли (которые дольше выразить словами) одновременно мелькнули у каждого из нас; ибо все мы сразу бросились к утесам, забыв об опасности, которая подстерегала нас и там.

Первый обрыв имел в вышину футов тридцать или сорок и был не слишком крут; глина была там смешана с верхним слоем почвы, так что мы без особого труда спустились на первую из террас, преследуемые разъяренными медведями. Когда мы туда добрались, для размышлений уже не было времени. Нам оставалось либо схватиться со злобными зверями тут же, на узком выступе, либо спускаться со следующего обрыва. Этот был почти отвесным, в глубину имел около семидесяти футов и почти весь был покрыт голубой глиной, намокшей от недавних дождей и скользкой, как стекло. Канадец, обезумев от страха, сразу кинулся к обрыву, соскользнул с него с огромной быстротой и, не удержавшись, покатился со следующего. Мы потеряли его из виду и, разумеется, решили, что он разбился, ибо не сомневались, что он будет скользить с откоса на откос, пока не упадет в реку с высоты более полутораста футов.

Если бы не пример Жюля, мы в нашей крайности, вероятнее всего, попытались бы спуститься; но то, что произошло с ним, заставило нас поколебаться, а звери тем временем догнали нас. Впервые в жизни я столкнулся так близко со свирепым диким зверем и не стыжусь признаться, что нервы мои не выдержали. Я был близок к обмороку, но громкий крик Грили, которого схватил первый из

медведей, побудил меня к действию, и тут я ощутил свирепую радость битвы.

Один из зверей, достигнув узкого выступа, где мы стояли, кинулся на Грили, свалил его на землю и вонзил свои огромные зубы в пальто, которое тот, к счастью, надел из-за холодной погоды. Второй, скорее катясь, чем сбегая, с обрыва, так разбежался, что, достигнув нас, не смог остановиться, и половина его туловища повисла над пропастью; он качнулся в сторону, обе правые лапы его оказались в пустоте, а левыми он неуклюже удерживался. Находясь в этом положении, он ухватил Уормли зубами за пятку, и я на мгновение испугался, ибо тот, в ужасе вырываясь, невольно помогал медведю утвердиться на краю обрыва. Пока я стоял, оцепенев от ужаса и не в состоянии чем-либо помочь, башмак и мокасин Уормли остались в зубах у зверя, который полетел вниз, на следующий выступ, но там удержался благодаря своим огромным когтям. Тут как раз позвал на помощь Грили, и мы с Пророком бросились к нему. Мы оба разрядили пистолеты в голову медведя; и я уверен, что мой наверняка ее прострелил, так как я приставил пистолет к самому его уху. Однако он казался скорее рассерженным, чем раненым; и выстрел оказал лишь то действие, что он отпустил Грили (которому не успел причинить вреда) и пошел на нас. Теперь мы могли надеяться только на ножи, и даже отступление вниз, на следующий уступ, было для нас невозможно, ибо там находился второй зверь. Мы стали спиной к откосу и приготовились к смертельной схватке, не чая помощи от Грили (которого считали тяжело раненным), как вдруг раздался выстрел, и огромный зверь свалился у наших ног, когда мы уже ощущали у самого лица его горячее и зловонное дыхание. Наш избавитель, много раз за свою жизнь сражавшийся с медведем, выстрелил зверю в глаз и пробил мозг.

Взглянув вниз, мы увидели, что упавший туда второй медведь тщетно пытается добраться до нас — но мягкая глина оседала под его когтями, и он тяжело сползал вниз. Мы несколько раз выстрелили в него, не причинив, однако, вреда, и решили оставить его там в добычу воронам. Я не думаю, чтоб он сумел выбраться. А мы почти полмили медленно двигались вдоль выступа, на котором оказались, пока не нашли тропинку, выведшую нас наверх, в прерию, так что до лагеря мы добрались лишь поздней ночью. Жюль был уже там, живой, но весь в ушибах — настолько, что не сумел толком рассказать, что с ним

случилось и где он оставил нас. При падении он задержался в одной из расселин третьего уступа и спустился по ней к берегу реки.

Январь — Июнь, 1840

Эссе

Философия обстановки

В искусстве внутреннего убранства, если не во внешней архитектуре своих жилищ, англичане занимают первое место. Итальянцы мало что смыслят кроме как в мраморе и красках. Во Франции, meliora probant, deteriora sequuntur[1146], народ там слишком непоседлив для культа домашнего очага, который он, однако, умеет тонко ценить или по крайней мере должным образом чувствовать. Китайцы и большая часть восточных народов обладают пылкой, но в данном случае неуместной фантазией. Шотландцы — плохие декораторы. Голландцы, пожалуй, смутно понимают, что занавеси — не то что капуста. В Испании только и делают, что вешают занавеси — недаром это нация вешателей. Русские вообще не обставляют комнат. У готтентотов и кикапу это делается в своем роде вполне правильно. И только у янки это ни на что не похоже.

Отчего так происходит, понять нетрудно. Не имея аристократии родовой, мы естественно и неизбежно создали себе аристократию доллара, и потому выставленное напоказ богатство заняло у нас то место и играет ту роль, какую в монархических государствах играет геральдика. Путем перехода, который легко понять и столь же легко было предвидеть, наши понятия о вкусе свелись к пышности. Скажем менее отвлеченно. В Англии простым нагромождением дорогих вещей не так легко, как у нас, создать впечатление, что вещи эти — красивы, а их владелец — обладает вкусом; и это потому, что в Англии богатство еще не возводит человека в высший ранг и не составляет высшей цели для честолюбия; а во-вторых, потому что подлинная аристократия, придерживаясь строгого вкуса, отнюдь не стремится к дорогой роскоши, в которой parvenus[1147] всегда могут успешно с ней соперничать!

Народ обязательно подражает знати, и результатом является широкое распространение надлежащего вкуса. В Америке же, где единственными гербами аристократии являются монеты, выставление их напоказ представляет собой, можно сказать, единственный способ попасть в число аристократов; а толпа, всегда ищущая образцов у тех, кто стоит над нею, незаметно начала смешивать две совершенно

различные вещи — роскошь и красоту. Словом, стоимость предмета обстановки стала у нас почти единственным мерилом ее декоративных достоинств — и, однажды установленное, это мерило привело к множеству подобных же заблуждений, легко возводимых к первичному.

Ничто так не оскорбляет глаз художника, как то, что зовется в Соединенных Штатах — то есть в Аппалачии — хорошо обставленной квартирой. Самым обычным ее недостатком является отсутствие гармонии. Мы говорим о гармонии в комнате, как говорили бы о гармонии в картине — ибо и картина и комната подчинены тем же неизменным принципам, которые управляют всеми искусствами; и почти те же законы, на основании которых мы судим о достоинствах картины, позволяют решить проблему убранства комнаты. Отсутствие гармонии замечается иногда в характере отдельных предметов обстановки, но чаще в их цвете и использовании. Очень часто глаз бывает оскорблен их безвкусным размещением. Слишком много прямых линий — они слишком долго ничем не прерываются — или же неуклюже прерываются под прямым углом. Если встречаются изогнутые линии, то они монотонно повторяются.

Педантическая симметрия нередко портит весь вид отлично обставленных комнат. Занавеси редко бывают хорошо расположены или удачно подобраны к другим предметам обстановки. При парадной мебели занавеси неуместны; и в любом случае избыток драпировок несовместим с хорошим вкусом — их количество, как и расположение, зависит от общего эффекта.

В коврах за последнее время стали разбираться лучше, чем раньше, однако мы еще очень часто ошибаемся в подборе их узоров и цветов. Ковер — это душа комнаты. Он определяет не только тона, но и формы всех окружающих предметов. Судья в обычном суде может быть обыкновенным человеком; но чтобы хорошо судить о коврах, надо быть гением. А нам приходилось слышать, как о коврах рассуждают с видом d’un mouton qui reve[1148] господа, которым нельзя доверить даже уход за их собственными усами. Всякий знает, что в большой комнате ковер может иметь крупный узор, а в маленькой должен иметь узор мелкий — но это еще не вся премудрость на свете. По фактуре единственно допустимыми являются ковры саксонские. Брюссельские представляют собой далекое прошлое моды, а турецкие

— это предсмертные содрогания хорошего вкуса. Что до рисунка, то ковер не должен быть разрисован наподобие индейца Рикари — весь в красном мелу, желтой охре и петушьих перьях. Коротко говоря: ясный фон и круглые или овальные фигуры, ничего не изображающие, — так предписывает суровый закон. Такая мерзость, как цветы, или изображения иных хорошо известных предметов не должны быть терпимы ни в одном христианском государстве. Как на коврах, так и на занавесях, драпировках, обивке кушеток единственным рисунком должны быть арабески. Что касается старых половиков, какие еще можно иногда видеть в жилищах черни, — с огромными, раскоряченными и расходящимися сиянием узорами и полосами, пестрящие всеми цветами, так что фон совершенно не виден, — это гнусное изобретение прислужников времени и почитателей златого тельца — детей Ваала и почитателей Маммоны — Бентамов, которые ради сбережения мысли и экономии фантазии сперва злостно придумали калейдоскоп, а затем учредили акционерные компании, чтобы вращать его посредством пара.

Блеск — вот главное заблуждение американской теории внутреннего убранства, заблуждение, которое легко объяснить уже описанным извращением вкуса. Мы страстно влюблены в газ и стекло. Первый совершенно недопустим в доме. Его резкий и неровный свет режет глаза. Ни один человек, обладающий кроме глаз также и мозгами, не станет им пользоваться. Мягкий свет, называемый у художников холодным, с соответственно теплыми тенями может творить чудеса даже в плохо обставленной комнате. Но самое очаровательное изобретение — это астральная лампа. Мы разумеем, конечно, астральную лампу в собственном смысле — лампу Арганда с первоначальным простым матовым абажуром и смягченным, ровным, точно лунным светом. Абажур граненого стекла — это жалкое изобретение дьявола. Восторг, с каким мы его встретили, частью за его блеск, но больше всего за высокую стоимость, лучше всего подтверждает положение, с которого мы начали. Можно смело сказать, что человек, сознательно выбравший граненый абажур, либо совершенно лишен вкуса, либо слепо подчиняется капризам моды. Свет, испускаемый этим аляповатым чудовищем, неровен, изломан, неприятен. Его одного достаточно, чтобы свести на нет самые лучшие

эффекты обстановки. Женская красота в особенности теряет больше половины своего очарования от этого дурного глаза.

В применении стекла мы вообще исходим из неверных принципов. От него требуется прежде всего, чтоб оно сверкало — одним этим словом сколько выражено омерзительного! Мерцающий, беспокойный свет иногда бывает приятен — детям и идиотам он нравится всегда, — но, обставляя комнату, его следует тщательно избегать. Строго говоря, недопустим даже и ровный, но слишком сильный свет. Огромные, бессмысленные стеклянные люстры с призматическими гранями, с газовым светом и без абажуров, висящие в самых фешенебельных наших гостиных, могут служить образцом безвкусицы и глупости.

Пристрастие к блеску — которое, как мы уже говорили, ошибочно соединилось с понятием роскоши вообще — вызвало также неумеренное употребление зеркал. Мы сплошь увешиваем стены большими английскими зеркалами и воображаем, что совершили нечто похвальное. Но достаточно чуть задуматься, чтобы убедить всякого, имеющего глаза, как некрасиво обилие зеркал, в особенности больших. Если исключить способность отражения, зеркало представляет собой сплошную, плоскую, бесцветную и однообразную поверхность — нечто явно неприятное. В качестве отражателя оно способно создавать чудовищное и отвратительное однообразие; причем зло возрастает даже не в прямой пропорции к увеличению числа его источников, но в отношении непрерывно возрастающем. Комната с четырьмя или пятью зеркалами, размещенными как придется, с точки зрения художественного впечатления совершенно бесформенна. Если добавить к этому злу сопровождающий его блеск, многократно повторенный, получается истый хаос резких и раздражающих эффектов. Самый неотесанный человек, войдя в разукрашенную таким образом комнату, сразу же почувствует нечто неладное, хотя и не сумеет понять причины своего неудовольствия. Но введите того же человека в комнату, убранную со вкусом, и он невольно издаст восклицание удовольствия и удивления.

Наши республиканские учреждения породили то зло, что здесь человек с большим кошельком имеет обычно очень маленькую душу, которую там же и держит. Порча вкуса является частью и неизбежным сопровождением производства долларов. Мы богатеем, а наши идеи

ржавеют. Поэтому не у нашей аристократии надо искать (если вообще искать в Аппалачии) идеальную прелесть английского будуара. Но мы видели комнаты у американцев среднего достатка, которые по крайней мере отсутствием безвкусицы могут соперничать с любыми раззолоченными кабинетами наших заокеанских друзей. Вот и сейчас перед моим мысленным взором встает небольшая и не претендующая на пышность комната, убранство которой безупречно. Хозяин ее спит на диване — на дворе холодно — время близится к полуночи; пока он спит, мы опишем его комнату.

Она продолговата — футов тридцать в длину и двадцать пять в ширину — именно такая форма дает лучшие (обычные) возможности размещения мебели. В ней всего одна дверь — никоим образом не широкая, — находящаяся на одной стороне прямоугольника, и всего два окна, на противоположной его стороне. Окна большие, доходящие до полу, помещены в глубоких проемах и выходят на итальянскую веранду. Стекла в них — алого цвета, рамы — из розового дерева, более массивные, чем обычно. К стеклу прилегают шторы из плотной серебряной ткани, по форме окна, которые свисают свободно, не драпируясь.

Сам оконный проем занавешен великолепным алым шелком с длинной золотой бахромой, подбитым той же серебряной тканью, из которой сделаны шторы. Карнизов нет; складки занавеса (более острые, чем массивные, и создающие впечатление легкости) спускаются из-под широкого, богато раззолоченного фриза, идущего вокруг всей комнаты там, где стены соединяются с потолком. Занавеси раскрываются и задергиваются с помощью толстого золотого шнура, свободно обвивающего их и завязанного легким узлом; нет ни булавок, ни скрепок, ни других подобных приспособлений. Цвета занавесей и бахромы — то есть алый и золотой — повторяются всюду и определяют характер комнаты.

Саксонский ковер толщиною в полдюйма — того же алого цвета — украшен тем же золотым шнуром, что на занавесях, расположенным так, что образует рельеф из неправильных изгибов, словно лежащих один на другом. Стены оклеены глянцевитыми серебристо-серыми обоями, по которым разбросаны мелкие алые арабески несколько более бледного тона, чем господствующий цвет. На стенах много картин. Это преимущественно фантастические пейзажи — как,

например, волшебные гроты Стенфилда[1149] или озеро «Мрачная Топь» Чапмена[1150]. Есть, однако, и три-четыре женских головки воздушной красоты — портреты в манере Салли. Тона картин — теплые, но темные. Здесь нет «блестящих эффектов». Во всем чувствуется покой. Нет ни одной маленькой картины. Мелкие полотна придают комнате тот пятнистый_ вид, который портит и многие произведения живописи, чересчур выписанные. Рамы широки, но не глубоки, украшены богатой, но не филигранной резьбой и не настолько, чтобы казаться потускневшими. Они сохраняют тон полированного золота. К стене они примыкают плотно, а не подвешены на шнурах. Последнее часто бывает выигрышным для картины, но портит общий вид комнаты.

Зеркало всего одно — притом не очень большое. Оно почти круглое и висит так, чтобы не отражать обычные места для сидения. Этими единственными сиденьями являются два больших и низких дивана розового дерева, обитых алым шелком с золотыми цветами, и две легкие козетки того же розового дерева. Есть и фортепиано (также розового дерева), открытое и без чехла. Возле одного из диванов — восьмиугольный стол, целиком из великолепного мрамора с золотыми прожилками. На нем также нет покрывала — достаточно одних занавесей. Четыре большие и роскошные севрские вазы, полные ярких цветов, занимают слегка закругленные углы комнаты. Высокий канделябр с небольшим античным светильником, в котором горит душистое масло, стоит у изголовья моего спящего друга. Несколько легких и изящных подвесных полок с золотыми краями на алых шелковых шнурах с золотыми кистями вмещают две-три сотни богато переплетенных книг. Кроме этого, нет никакой мебели, только лампа Арганда под алым матовым абажуром, свисающая с высокого сводчатого потолка на тонкой золотой цепи, освещая все спокойным, но волшебным сиянием.

Май, 1840

пер. З. Александровой

Лось (Утро на Виссахиконе)

Природу Америки часто противопоставляют, и в общем и в частностях, пейзажам Старого Света — особенно Европы; причем и та и другие имеют своих приверженцев, столь же восторженных, сколь несогласных между собой. Спор этот едва ли скоро окончится, ибо, хотя многое уже сказано обеими сторонами, кое-что остается еще добавить.

Наиболее известные из английских путешественников, пытавшихся проводить такое сравнение, очевидно принимают паше северное и восточное побережье за всю Америку или, по крайней мере, за все Соединенные Штаты, заслуживающие внимания. Они почти не упоминают — ибо еще меньше знают — великолепную природу некоторых внутренних областей нашего Запада и Юга, например, обширной долины Луизианы, этого истинного воплощения самых смелых видений рая. Эти путешественники по большей части довольствуются беглым осмотром лишь самых очевидных достопримечательностей страны — Гудзона, Ниагары, Кэтскиллских гор, Харперс-Ферри, озер Нью-Йорка, реки Огайо, прерий и Миссисипи. Все это, разумеется, весьма достойно внимания даже того, кто только что взбирался к рейнским замкам или бродил там,

где мчится Рона,
Лазурная, подобная стреле.[1151]

Однако это еще не все, чем мы можем похвастаться; и я даже осмеливаюсь утверждать, что в пределах Соединенных Штатов имеются бесчисленные уединенные и почти не исследованные места, которые подлинный художник или просвещенный любитель величавых и прекрасных творений Всевышнего предпочтет всем и каждому из упомянутых мною давно описанных и широко известных пейзажей.

В самом деле, подлинные райские кущи страны находятся вдали от маршрутов даже наиболее неторопливых из наших путешественников — и тем более недоступны они иностранцу,

который, взявшись доставить своему издателю известное количество страниц американских заметок к известному сроку, может надеяться выполнить свои обязательства, не иначе как проехав поездом или пароходом с записной книжкой в руках лишь по самым проторенным путям!

Я только что упомянул долину Луизианы. Из всех красивых местностей это, быть может, самая прекрасная. Никакой вымысел не сможет с нею сравниться. Самое богатое воображение сумеет нечто почерпнуть из ее пышной красоты. Ибо именно красота является ее определяющим признаком. Величавого там почти или вовсе нет. Пологие холмы, пересеченные причудливыми прозрачными ручьями, которые текут то среди усеянных цветами лугов, то среди лесов с огромными, пышными деревьями, населенных яркими птицами и напоенных ароматами, — все это превращает долину Луизианы в самый сладостный и роскошный на свете ландшафт.

Но и в этой прелестной местности лучшие уголки доступны одному лишь пешему путнику. Вообще в Америке путешественник, ищущий наиболее красивых пейзажей, должен добираться к ним не поездом, не пароходом, не дилижансом, не в собственной карете и даже не верхом — но только пешком. Он должен идти, перепрыгивать через расселины, преодолевать пропасти, рискуя сломать себе шею, — иначе он не увидит подлинного, недоступного словам великолепия нашей страны.

В большей части Европы в этом нет необходимости. В Англии ее не существует вовсе. Самый франтоватый путешественник может там посетить любую заслуживающую внимания местность без ущерба для своих шелковых чулок, настолько хорошо известны все места, представляющие интерес, и настолько удобны ведущие туда дороги. Это обстоятельство никогда достаточно не учитывалось при сравнении природы Старого и Нового Света. Все красоты первого сравниваются лишь с наиболее прославленными и отнюдь не самыми примечательными из красот второго.

Речные пейзажи бесспорно обладают всеми основными чертами прекрасного и с незапамятных времен принадлежат к излюбленным темам поэтов. А между тем слава их в значительной степени объясняется легкостью речных путешествий — по сравнению с путешествием в горах. Точно так же большим рекам, обычно

являющимся главными путями сообщения, всюду незаслуженно достается львиная доля восхищения. Их чаще видят и, следовательно, чаще о них говорят, чем о менее крупных, но зачастую более интересных реках.

Разительным примером может служить Виссахикон — ручей (ибо рекой его, пожалуй, не назовешь), впадающий в реку Скул-кил примерно в шести милях к западу от Филадельфии. Виссахикон отличается такой красотой, что, если бы он протекал в Англии, его воспевали бы все барды и расхваливали все языки. Но скорее всего его берега были бы разбиты на баснословно дорогие участки, а затем застроены виллами богачей. А менаду тем всего лишь несколько лет назад Виссахикон был известен разве только понаслышке, хотя более крупная и судоходная река, в которую он впадает, уже давно славится как одна из красивейших рек Америки. Скулкил, чьи красоты сильно преувеличены, а берега — по крайней мере в окрестностях Филадельфии — болотисты, как и берега Делавэра, не может сравниться по живописности с более скромной и менее известной речушкой, о которой идет речь.

Только после того как Фанни Кембл[1152] в своей забавной книжке о Соединенных Штатах указала жителям Филадельфии на редкую красоту ручья, протекающего у самых их порогов, наиболее отважные из местных любителей прогулок познакомились с этой красотой воочию. «Дневник» открыл всем глаза, и для Виссахикона началась некоторая известность. Я говорю «некоторая», ибо подлинную его красоту следует искать там, куда не доходит маршрут филадельфийских охотников за живописным, которые редко отдаляются более чем на милю-другую от устья — по той простой причине, что там кончается проезжая дорога. Я посоветовал бы отважному путнику, который делает полюбоваться лучшими видами, идти по Ридж Роуд, выходящей из города в западном направлении, а после шестой мили свернуть на вторую просеку и следовать по ней до конца. Он увидит тогда один из красивейших изгибов Виссахикона; пробираясь вдоль берега или же по воде в лодке, он сможет спуститься или подняться по течению, как ему вздумается, и в любом случае будет вознагражден за свои труды.

Я уже говорил, или мне следовало бы сказать, что речка эта — узкая. Берега ее почти всюду круты, ибо она течет среди высоких

холмов, ближе к воде поросших чудесным кустарником, а выше — некоторыми из красивейших пород американских деревьев, среди которых выделяется Liriodendron Tulipiferum. Она струится между берегов, одетых мхом, и прозрачная вода в своем задумчивом течении плещет о них, как плещут синие волны Средиземного моря о мраморные ступени дворцов. Кое-где в тени утесов приютились небольшие площадки, поросшие сочной травой, — самое живописное место для домика с садом, какое только может представиться прихотливому воображению. Речка изобилует крутыми излучинами, как обычно бывает при отвесных берегах, так что взору путника открывается бесконечная череда разнообразнейших маленьких озер или, вернее, озерков. Но Виссахикон следует посещать не при свете луны, как Мелрозское аббатство[1153], и даже не в облачную погоду, а при ярком полуденном солнце; ибо узкая лощина, где он протекает, высокие холмы, окружающие его, и густая листва создают сумрачный, почти угрюмый колорит, от которого его красота несколько проигрывает, когда ие освещена достаточно ярким светом.

Недавно я отправился туда описанным выше путем и провел в лодке большую часть жаркого дня. Утомленный зноем, я доверился медленному течению и погрузился в некий полусон, унесший меня к Виссахикону давно минувших дней — того «доброго старого времени», когда еще не было Демона Машин, когда пикники были неведомы, «водные угодья» не покупались и не продавались и когда по этим холмам ступали лишь лось да краснокожий. Пока эти грезы постепенно овладевали мною, ленивый ручей успел пронести меня вокруг одного мыса, а за ним, в каких-нибудь сорока или пятидесяти ярдах, показался второй. Это был отвесный утес, далеко вдававшийся в ручей и гораздо более напоминавший пейзажи Сальватора[1154], чем все, только что прошедшее перед моими главами. То, что я увидел на этом утесе, хотя и было весьма необычно в таком месте и в такое время года, поначалу ничуть меня не поразило — настолько оно гармонировало с моими полусонными видениями. На краю обрыва, — или это мне пригрезилось? — вытянув шею, насторожив уши и всем своим видом выражая глубокое и печальное любопытство, стоял один из тех старых, отважных лосей, которые только что грезились вместе с краснокожими.

Я сказал, что в первые мгновения это зрелище не испугало и не удивило меня. Душа моя была полна одним лишь глубоким сочувствием. Мне казалось, что лось не только дивится, но и сетует на те явные перемены к худшему, которые беспощадные утилитаристы принесли за последние годы на берега ручья. Легкое движение его головы развеяло мою дремоту и заставило осознать всю необычность моего приключения. Я приподнялся на одно колено, но, пока я решал, надо ли остановить лодку или дать ей подплыть поближе к предмету моего удивления, из кустов над моей головой послышалось быстрое и осторожное: «тсс!», «тсс!». Мгновение спустя из чащи, осторожно раздвигая ветви и стараясь ступать бесшумно, появился негр. На ладони у него была соль и, протягивая ее лосю, он приближался к нему медленно, но неуклонно. Благородное животное несколько обеспокоилось, но не пыталось уйти. Негр приблизился и дал ему соль, произнося при этом какие-то успокоительные слова. Лось переступил ногами, пригнул голову, а затем медленно лег и дал надеть на себя узду.

Тем и окончилась моя романтическая встреча с лосем. Это был очень старый ручной зверь, собственность английской семьи, имевшей неподалеку усадьбу.

1844

пер. З. Александровой

История с воздушным шаром

13 апреля, 1844

> Поразительная новость, переданная срочно через Норфолк! перелет через атлантический океан за три дня! небывалый успех летательного аппарата мистера монка мейсона[1155]! После перелета, длившегося семьдесят пять часов, от континента до континента, мистер Мейсон, мистер Роберт Холленд, мистер Хенсон[1156], Мистер Харрисон Эйнсворт[1157] и четверо других лиц на управляемом воздушном шаре «виктория» прибыли на остров сэлливан, около чарлстона, штат южная каролина! Все подробности перелета!

Приводимая ниже J'eu d'esprit[1158] снабженная вышеприведенным заголовком, набранным крупным шрифтом и щедро пересыпанным восклицательными знаками, впервые появилась в качестве достоверного известия в ежедневной газете «Нью-Йорк сан» и отлично выполнила свою задачу: доставила любопытным неудобоваримую пищу на несколько часов, отделяющих в Чарлстоне одну почту от другой. Погоня за «единственной газетой, располагающей подробностями», превзошла всякое вероятие; да и в самом доле, если (как утверждают некоторые) «Виктория» и не совершила такого перелета, нот никаких причин, почему она не могла бы его совершить.)

Наконец-то великая задача разрешена! Отныне не только земля и океан, но и воздух покорен наукой и станет для человечества общедоступным и удобным путем сообщения. Совершен перелет через Атлантический океан на воздушном шаре! — причем совершен без затруднений, по-видимому, без серьезной опасности, при исправном действии всего устройства и за невероятно короткий срок: семьдесят пять часов от берега до берега! Благодаря анергии одного из наших корреспондентов в Чарлстоне[1159] (штат Южная Каролина) мы первые имеем возможность сообщить читателям подробности этого необычайного путешествия, начатого в субботу 6-го числа текущего

месяца, в 11 часов утра, и закончившегося в среду 9-го, в 2 часа пополудни. Участниками полета были: сэр Эверард Брингхерст; м-р Осборн[1160], племянник лорда Бентинка[1161]; известные аэронавты мистер Монк Мейсон и мистер Роберт Холленд; мистер Харрисон Эйнсворт, автор «Джека Шеппарда» и других произведений; мистер Хенсон, изобретатель предыдущей, неудавшейся летательной машины, и два матроса из Вулвича — всего восемь человек. Точность приводимых ниже подробностей гарантируется, так как все они, за одним небольшим исключением, verbatim[1162] списаны с путевого журнала, который вели мистер Монк Мейсон и мистер Харрисон Эйнсворт, любезно давшие нашему корреспонденту сверх этого множество устных объяснений относительно шара, его устройства и прочих предметов, представляющих интерес. Единственные изменения в полученной рукописи имели целью придать поспешным записям нашего корреспондента мистера Форсита большую связность.

Воздушный шар

Две явные неудач — мистера Хенсона и сэра Джорджа Кейли[1163] — значительно ослабили за последнее время интерес публики к воздухоплаванию. В основе проекта мистера Хенсона (который даже ученые вначале сочли вполне осуществимым) была наклонная плоскость, помещенная на известной высоте и получающая первоначальный толчок от внешнего двигателя, а затем приводимая в движение вращением ударяющихся лопастей, формой и числом подобных крыльям ветряной мельницы. Однако опыты с моделями, проведенные в Галерее Аделаиды, показали, что движение этих лопастей не только не толкает летательную машину вперед, но, напротив, мешает полету. Единственной движущей силой оказался импульс, создающийся снижением наклонной плоскости, причем при недвижных лопастях он уносил машину дальше, чем когда они находились в движении, — что достаточно доказывало их бесполезность; а при отсутствии движущей силы, которая одновременно поддерживала бы аппарат в воздухе, он, разумеется, опускался на землю. Это подало сэру Джорджу Кейли мысль приспособить пропеллер к чему-то такому, что может самостоятельно

держаться в воздухе, — то есть к воздушному шару; новым, или оригинальным, здесь был лишь способ осуществления. Свою модель сэр Джордж демонстрировал в Политехническом институте. И здесь движущая сила прилагалась к расчлененной поверхности, то есть к лопастям, которые приводились во вращение. Их было четыре, но они оказались не способными двигать шар или содействовать его подъему. Словом, изобретение потерпело полную неудачу.

Вот тогда-то мистер Монк Мейсон (чей полет на воздушном шаре «Нассау» в 1837 году из Дувра в Вейльбург произвел такую сенсацию) решил применить для движения в воздухе принцип Архимедова винта, справедливо объясняя неудачу проектов мистера Хенсона и сэра Джорджа Кейли применением отдельных лопастей, расчленявших плоскость. Первый публичный опыт был им произведен в помещении Виллиса, но позднее он передал свою модель Галерее Аделаиды.

Как и у сэра Джорджа Кейли, его шар имел форму эллипсоида. Длина его составляла 13 футов 6 дюймов, высота — 6 футов 8 дюймов. Он вмещал около трехсот двадцати кубических футов газа и, при применении чистого водорода и тотчас по наполнении, пока газ но успевал частично разложиться или выйти, обладал подъемной силой в двадцать один фунт. Общий вес его составлял семнадцать фунтов, так что около четырех фунтов оставалось в запасе. Под шаром помещалась легкая деревянная рама длиною около девяти футов, прикрепленная к ному с помощью обычной сетки. К раме была подвешена плетеная лодочка или корзина.

Винт модели состоит из оси, сделанной из полой латунной трубки длиною в восемнадцать дюймов, в которую под углом в пятнадцать градусов пропущено несколько двухфутовых спиц из стальной проволоки, выступающих на один фут с каждого конца трубки. Наружные концы этих спиц соединены посредством скреп из сплющенной проволоки — и все это образует остов винта, обтянутый промасленным шелком с прорезями, натянутым так, чтобы представлять достаточно гладкую поверхность. Концы оси винта поддерживаются опорами из полой латунной трубки, прикрепленной к обручу. В нижних концах этих трубок имеются отверстия, в которых вращаются шкворни оси. Из конца оси, ближнего к пассажирской корзине, выходит стальной стержень, соединяющий винт с шестерней пружинного устройства, находящегося в корзине. С помощью этой

пружины винту придают быстрое вращение, сообщающее поступательное движение всему воздушному шару. Руль позволяет легко поворачивать шар в любом направлении. Для своих размеров пружина обладает большой мощностью и за первый оборот может поднять сорокапятифунтовый груз на вал диаметром в четыре дюйма, причем по мере вращения мощность увеличивается. Вес пружины составляет восемь фунтов шесть унций. Руль представляет собой легкую тростниковую раму, обтянутую шелком, по форме напоминающую ракетку; в длину он имеет около трех футов, наибольшую ширину — один фут, а весит около двух унций. Его можно ставить горизонтально, поворачивать вверх или вниз, а также вправо и влево, что позволяет аэронавту использовать сопротивление воздуха, создаваемое при наклонном положении руля, в любом направлении; воздушный шар при этом поворачивается в направлении противоположном.

Эта модель (которую мы, за недостатком времени, описали лишь приблизительно) подверглась испытанию в Галерее Аделаиды, где развила скорость до пяти миль в час; по, как ни странно, вызвала очень мало интереса по сравнению со своим предшественником — сложным аппаратом мистера Хенсона; так привыкли люди пренебрегать всем, что им кажется простым. Все считали, что для решения великой задачи воздухоплавания необходимо особо сложное применение какого-либо из самых хитроумных законов динамики.

Однако мистер Мейсон был так уверен в конечном успехе своего изобретения, что решил немедленно соорудить, если возможно, воздушный шар достаточных размеров, чтобы испытать его в длительном путешествии — сперва он предполагал лететь через Ла-Манш, как это сделал ранее на шаре «Нассау». Для осуществления своего замысла он прибег к поддержке сэра Эверарда Брингхерста и мистера Осборна, известных своими научными познаниями и в особенности интересом к воздухоплаванию. По желанию мистера Осборна работы держались в строгой тайне, в которую были посвящены только лица, непосредственно занятые сооружением шара (под наблюдением мистера Мейсона, мистера Холленда, сэра Эверарда Брингхерста и мистера Осборна) в поместье этого последнего, возле Пенструталя, в Уэльсе. В прошлую субботу шар был показан мистеру Хенсону и его другу мистеру Эйнсворту, когда они были приняты в

число участников полета. Нам неизвестна причина, по которой в состав экспедиции включили также двух матросов — но через день или два мы сообщим нашим читателям все подробности этого необычайного путешествия.

Оболочка шара сделана из шелка, покрытого лаком из растворенного каучука. Она очень велика и вмещает более 40000 кубических футов газа; но, поскольку вместо более дорогого и неудобного водорода в нем применен светильный газ, подъемная сила аэростата тотчас по наполнении не превышает 2500 фунтов. Светильный газ не только значительно дешевле, но легче добывается и хранится.

Его широким применением в воздухоплавании мы обязаны мистеру Чарльзу Грину. До его открытия заполнение оболочки шаров было не только крайне дорогим, но и ненадежным. Нередко два и даже три дня тратились на тщетные попытки достать нужное количество водорода, чтобы наполнить шар, из которого он стремился утечь вследствие своей крайней легкости и сродства с окружающей атмосферой. Даже достаточно совершенный шар, в котором светильный газ целиком сохраняется в течение шести месяцев, не изменяя при этом своего качества, не мог бы удержать такого же количества водорода в течение шести недель.

При подъемной силе в 2500 фунтов и общем весе около 1200 фунтов оставался запас в 1300; из них 1200 приходилось на балласт, размещенный в мешках различного размера, на которых был обозначен вес, а также на спасти, барометры, телескопы, запас провизии на две педели, бочонки с водой, плащи, саквояжи и другие необходимые предметы, в том числе кофейник для приготовления кофе с помощью гашеной извести, что позволяло обойтись без огня, если бы этого потребовали соображения безопасности. Все это, за исключением балласта и немногих других вещей, было подвешено к верхнему обручу. Пассажирская корзина относительно меньше и легче, чем в модели. Она сплетена из легких прутьев, по, несмотря на хрупкий вид, необыкновенно прочна. Глубина ее около четырех футов. Руль относительно гораздо больше, чем на модели, тогда как винт значительно меньше. Кроме того, шар снабжен малым якорем и гайдропом; последний имеет очень большое значение. Здесь

необходимо дать некоторые объяснения тем из читателей, кто незнаком с воздухоплаванием.

Поднявшись в воздух, шар подвергается действию множества факторов, изменяющих его вес, а это увеличивает или уменьшает его подъемную силу. Так, например, на оболочке может осесть роса весом до нескольких сот фунтов; тогда приходится выбрасывать часть балласта, чтобы шар не пошел вниз. Когда балласт сброшен, а солнце высушило росу и одновременно вызвало расширение газа внутри оболочки, шар вновь начинает быстро подыматься. Остановить подъем приходится (вернее, приходилось до того, как мистер Грин[1164] применил гайдроп) только одним способом: выпуская через клапаны часть газа; однако при этом соответственно уменьшалась подъемная сила, так что даже самый лучший аэростат быстро истощал весь свой запас и должен был опуститься. Вот что являлось главной помехой для длительных полетов.

Гайдроп устраняет эту помеху безо всякого труда. Оп представляет собой просто очень длинный канат, опущенный из корзины для удержания шара примерно на. одной высоте. Если, скажем, на оболочке осела влага, и аэростат в результате этого начинает снижаться, ему уже не надо выбрасывать балласт, чтобы уменьшить общий вес, ибо вес можно уменьшить ровно на столько, на сколько нужно, опуская на землю соответствующий отрезок каната. Если, напротив, вес чрезмерно уменьшается и шар стремится подняться, этому может немедленно противодействовать вес отрезка каната, подбираемого с земли. Таким образом шар может быть удержан почти на одной и той же высоте, а запас газа и балласта сохраняется почти неизменным. При полете над водным пространством применяются маленькие медные или деревянные бочонки, наполненные какой-либо жидкостью, более легкой, чем вода. Они плывут по поверхности воды, выполняя ту же роль, какую выполняет на суше волочащийся канат. Вторым важным назначением гайдропа является указывать направление полета шара. На суше, как и на воде, канат волочится, тогда как шар свободно летит; поэтому при движении последний всегда находится впереди; сравнивая с помощью компаса относительное положение их обоих, определяют курс. Точно так же угол, образуемый канатом и вертикальной осью шара, указывает скорость движения. Когда этого угла нет, то есть когда канат

опущен перпендикулярно земле, это значит, что шар недвижим; чем больше угол, иначе говоря, чем больше шар обгоняет конец каната, тем, значит, больше скорость; и наоборот.

Поскольку первоначальным намерением было перелететь Ла-Манш и опуститься возможно ближе к Парижу, путешественники, чтобы избавиться от лишних формальностей, заранее запаслись паспортами для всех частой европейского континента с обозначением цели полета, как это было сделано и при полете «Нассау»; однако неожиданные события сделали эти паспорта излишними.

Шар был надут в субботу утром, шестого числа, во дворе Вил-Вор Хаус — поместья мистера Осборна, находящегося примерно в одной миле от Пенструталя, в Северном Уэльсе; в 11 ч. 7 мин., когда все было готово к полету, шар отвязали, и он медленно полетел в направлении на юг, причем в первые полчаса ни винт, ни руль не применялись. Далее мы приводим бортовой журнал, переписанный мистером Форситом с рукописи мистера Монка Мейсона и мистера Эйнсворта. Журнал заполнен рукой мистера Мейсона, а ежедневные приписки делались мистером Эйнсвортом, который подготовил и вскоре опубликует более подробный и, несомненно, чрезвычайно увлекательный отчет о полете.

Бортовой журнал

Суббота 6 апреля.

Все трудоемкие приготовления были сделаны еще с вечера, а сегодня на рассвете мы начали надувать шар; однако из-за густого тумана и сырости, которая пропитала складки шелка и затрудняла работу, мы закончили ее лишь к одиннадцати часам. После этого, в отличном настроении, отвязались и медленно поднялись, при легком ветре с севера, понесшем нас в сторону Ла-Манша.

Подъемная сила оказалась больше ожидаемой; когда мы поднялись выше утесов и попали на солнце, подъем сильно ускорился. Я, однако, не хотел в самом начале полета выпускать газ и решил продолжать подъем. Скоро мы поднялись на всю длину нашего гайдропа; по даже когда он был совсем поднят с земли, мы продолжали быстро подыматься. Шар был необычайно устойчив и

выглядел очень красиво. Спустя около 10 минут после взлета барометр показал высоту в 15 000 футов. Погода стояла на редкость хорошая, и вид на лежавшую под нами местность — весьма романтический с любой возвышенности — сейчас был особенно великолепен. Многочисленные ущелья из-за наполнявшего их густого тумана казались озерами, а беспорядочно громоздившиеся на юго-востоке остроконечные скалы и вершины очень походили на огромные города восточных сказок. Мы быстро приближались к горам Юга, по летели достаточно высоко, чтобы безопасно их миновать. Через несколько минут мы весьма эффектно пролетели над ними; мистер Эйнсворт и матросы удивились тому, что из пашей корзины они казались совсем невысокими, ибо при взгляде со столь большой высоты неровности земной поверхности почти совершенно сглаживаются.

В половине двенадцатого, продолжая лететь на юг, мы завидели Ла-Манш; а спустя четверть часа под нами уже виднелась полоса прибоя, и мы летели над морем. Теперь мы решили выпустить достаточно газа, чтобы можно было опустить на воду наш гайдроп с прикрепленными к нему буйками. Это было немедленно проделано, и мы стали понемногу опускаться. Через двадцать минут первый из буйков достиг поверхности воды, а после того как ее коснулся и второй, шар остался уже на одном уровне. Теперь нам было важно проверить работу руля и винта, и мы привели их в действие, чтобы больше повернуть на восток, к Парижу. С помощью руля мы тотчас же осуществили желаемое изменение направления и полетели почти под прямым углом к ветру; тогда мы привели в движение пружину винта и с радостью убедились, что он толкает пас в нужном направлении. Тут мы трижды три раза прокричали «ура» и сбросили в море бутылку с листом пергамента, где кратко описывался принцип нашего аппарата. Однако, едва лишь мы кончили радоваться, как произошло нечто непредвиденное и немало нас смутившее. Ближайший к корзине конец стального стержня, соединяющего пружину с пропеллером, внезапно соскочил со своего моста (из-за нечаянного резкого движения одного из наших матросов, качнувшего корзину) и сразу же повис на шкворне оси винта, за пределами досягаемости. Пока мы пытались его поймать и были всецело этим заняты, восточный ветер, который все время крепчал, понес нас к Атлантическому океану. Мы вскоре оказались над океаном, летя со скоростью не менее пятидесяти или шестидесяти

миль в час, и, прежде чем сумели закрепить стержень и сообразили, что происходит, были уже над мысом Клир[1165], оставшемся примерно в сорока милях к северу от нас. Вот тут мистер Эйнсворт высказал необычайное, но, на мой взгляд, ничуть не безрассудное или фантастическое предложение, немедленно поддержанное мистером Холлендом, а именно: воспользоваться уносившим пас сильным ветром и вместо того, чтобы возвращаться в Париж, попытаться достичь побережья Северной Америки. После краткого раздумья я охотно согласился с этим смелым замыслом, против которого возражали (как ни странно) лишь оба матроса. Но мы были в большинстве, мы успокоили их опасения и решительно продолжали путь. Теперь мы правили прямо на запад, по, поскольку тянувшиеся по воде буи немало замедляли наше движение, а шар и без того легко нам повиновался кат; при подъеме, так и при спуске, мы сперва выбросили пятьдесят фунтов балласта, а затем (с помощью ворота) на столько подтянули гайдроп, чтобы он не находился в воде. Результатом этого было немедленное и значительное увеличение скорости; по мере того как ветер крепчал, она становилась почти невообразимой; гайдроп летел за корзиной, точно вымпел за кораблем. Излишне говорить, что берег очень скоро скрылся из глаз. Мы пролетели над множеством различных судов, из которых лишь немногие пытались идти против ветра, а большинство лежало в дрейфе. На каждом из них наше появление вызывало величайший восторг, что чрезвычайно нам правилось, в особенности двум матросам, которые, хлебнув джина, как видно, отбросили всякие сомнения и страхи. Многие суда палили из пушек; всех нас приветствовали громкими «ура» (удивительно отчетливо слышными) и махали шляпами и платками. Так продолжалось весь день, без особых происшествий, а когда наступила темнота, мы приблизительно подсчитали проделанный путь. Он был равен не менее чем пятистам милям, а вероятнее всего — значительно больше. Пропеллер все время находился в действии и, несомненно, немало ускорял наш полет. После захода солнца ветер перешел в настоящий ураган; расстилавшийся под нами океан был ясно виден благодаря фосфорическому свечению воды. Ветер всю ночь дул с востока, суля нам успех. Мы немало страдали от холода и неприятной сырости, но просторная корзина позволяла нам улечься, и с помощью плащей и одеял мы кое-как согрелись.

P.S. (рукой м-ра Эйнсворта). Минувшие девять часов, бесспорно, были самыми волнующими в моей жизни. Я не представляю себе ничего более возвышающего душу, чем неведомые опасности и новизна подобного предприятия. Дай бог, чтобы оно удалось! Я молюсь об удаче не просто ради безопасности собственной незначительной особы, но ради победы человеческого разума — и какой победы! Впрочем, возможность ее настолько очевидна, что остается лишь удивляться, отчего люди не попытали счастья раньше.

Достаточно, чтобы такой ветер, как нынешний, мчал шар пять-шесть дней (а эти ветры часто длятся и дольше), и путешественник легко преодолеет за это время расстояние от побережья до побережья. При таком ветре просторы Атлантики — не более чем озеро. А сейчас меня более всего поражает глубокое безмолвие, царящее на море под нами, несмотря на волнение. Воды не возносят голоса к небесам. Огромный светящийся океан извивается и бьется, не издавая жалоб. Гигантские валы похожи на множество огромных немых демонов, мечущихся в бессильной ярости. В такую ночь, какова для меня нынешняя, человек живет — она равна целому столетию повседневности, — нет, я не променял бы этого восторга даже на столетие будничного существования.

Воскресенье, 7-го (рукой м-ра Мейсона).

Нынче утром ветер с десяти упал до восьми-девяти узлов и несет нас со скоростью тридцати морских миль в час или более. При этом направление его заметно переместилось к северу; сейчас, на закате солнца, мы держим на запад главным образом с помощью винта и руля, которые служат нам отлично. Конструкция представляется мне во всех отношениях удачной; задачу передвижения по воздуху в любом направлении (кроме разве прямо навстречу урагану) я считаю решенной. Против вчерашнего ураганного ветра мы не могли бы лететь; но могли бы, если нужно, подняться выше него. А против обычного свежего ветра мы, несомненно, можем двигаться с помощью винта. Сегодня в полдень, выбрасывая балласт, мы поднялись на высоту почти 25000 футов. Это мы сделали в поисках более благоприятного воздушного течения, но не нашли ничего лучше того, в котором находимся сейчас. Чтобы перелететь этот маленький пруд, у нас достаточно газа, если бы даже полет затянулся недели на три. У меня нет ни малейшего сомнения в успехе нашего предприятия. Его

трудности сильно преувеличивались из-за некоторых неверных представлений. Я могу выбирать попутное воздушное течение, а если даже все они окажутся неблагоприятными, можно неплохо двигаться с помощью винта. Особых происшествий не было. Ночь обещает быть ясной.

P.S. (написано м-ром Эйнсвортом). Отмечать почти нечего, кроме того факта (весьма меня удивившего), что на высоте, равной Котопахи[1166], я не испытывал ни особого холода, ни головной боли, ни затруднений в дыхании; то же и мистер Мейсон, мистер Холланд и сэр Эверард. Мистер Осборн пожаловался на стеснение в груди, но оно скоро прошло. Весь день мы летели с большой скоростью и сейчас, должно быть, проделали уже более половины пути. Мы обогнали не менее двадцати — тридцати различных судов, и у всех вызывали радостное изумление. Оказывается, перелет через океан в аэростате вовсе уж не столь труден. Omne ignotum pro magnffico[1167] Mem.: на высоте 25000 футов небо кажется почти черным, а звезды видны очень ясно; поверхность моря представляется не выпуклой (как можно было бы ожидать), но заметно вогнутой.[1168]

Понедельник, 8-го (рукой м-ра Мейсона).

Сегодня утром у нас снова были неполадки со стержнем винта, который придется полностью переделать во избежание серьезной аварии. Я имею в виду стальной стержень, а не лопасти. Последние сделаны как нельзя лучше. Весь день дует сильный и устойчивый ветер с северо-востока; до сих пор судьба нам явно благоприятствует. Перед рассветом мы были встревожены странными звуками и сотрясением внутри шара, сопровождавшимися быстрым кажущимся снижением аэростата. Причиной этого явилось расширение газа вследствие повышения температуры воздуха и вызванное этим растрескивание ледяной корки, которая образовалась за ночь на поверхности сетки. Мы сбросили находившимся внизу судам несколько бутылок. Видели, что одна из них была подобрана крупным судном — очевидно, одним из пакетботов нью-йоркской линии. Пытались разобрать его название, но не уверены, что сумели. Мистер Осборн с помощью подзорной трубы прочел нечто вроде «Атланты». Сейчас 12 часов ночи, и мы продолжаем быстро лететь почти прямо на запад. Океан сильно фосфоресцирует.

P.S. (рукой м-ра Эйнсворта). Два часа ночи, ветер почти стих, насколько я могу судить — однако судить трудно, поскольку мы движемся по ветру. Я не спал со времени вылета из Вил-Вора и больше не в силах бодрствовать, надо вздремнуть. Очевидно, мы уже находимся недалеко от американского побережья.

Вторник, 9-го (рукой м-ра Эйнсворта).

Час пополудни. Видны низкие берега Южной Каролины. Великое предприятие завершено. Мы перелетели Атлантический океан — легко перелетели его на воздушном шаре! Слава богу! Кто после этого скажет, что на свете есть что-либо невозможное?

На этом бортовой журнал кончается. Некоторые подробности посадки были сообщены мистеру Форситу мистером Эйнсвортом. Было почти полное безветрие, когда путешественники завидели берег, немедленно узнанный обоими моряками и мистером Осборном. Так как у последнего имелись знакомые в форте Моултри[1169], было решено опуститься вблизи него. Шар подвели к берегу (был отлив, и твердый, гладкий песок отлично подходил для высадки); опустили якорь, который сразу же хорошо зацепился. Обитатели острова и форта, разумеется, сбежались толпою посмотреть на шар, но долго отказывались поверить, что он действительно перелетел Атлантический океан. Якорь был брошен ровно в два часа пополудни; таким образом все путешествие заняло семьдесят пять часов, или даже меньше, считая от побережья до побережья. Оно прошло без серьезных происшествий и каких-либо опасностей. Шар легко удалось привязать и выпустить газ; и когда рукопись, по которой мы составили наше сообщение, была отправлена из Чарлстона, путешественники еще находились в форте Моултри. Дальнейшие их намерения пока неизвестны; но в понедельник, а самое позднее во вторник, мы с уверенностью обещаем нашим читателям дополнительные сведения.

Вот, бесспорно, самое поразительное, самое интересное и самое важное путешествие, когда-либо совершенное или хотя бы предпринятое человеком. Какие великие последствия оно может иметь, сейчас предсказать еще невозможно.

Философия творчества

В письме, которое сейчас лежит передо мной, Чарльз Диккенс[1170], говоря о некогда произведенном мною исследовании механизма «Барнеби Раджа», замечает: «Между прочим, обратили ли вы внимание, что Годвин[1171] писал „Калеба Уильямса“ в обратном порядке? Сначала он запутал своего героя в тенетах затруднений, что составило содержание второго тома, а в первом попытался каким-нибудь образом объяснить происшедшее».

Я не думаю, чтобы Годвин действовал в точности этим способом, да и то, что он сам об этом рассказывает, не вполне совпадает с предположением мистера Диккенса; но автор «Калеба Уильямса» был слишком искусный художник, дабы не понять выгоду, извлекаемую из процесса, хотя бы отчасти сходного с этим. Совершенно ясно, что всякий сюжет, достойный так называться, должно тщательно разработать до развязки, прежде нежели браться за перо. Только ни на миг не упуская из виду развязку, мы сможем придать сюжету необходимую последовательность или причинность и заставить события и особенно интонации в любом пункте повествования способствовать развитию замысла.

По-моему, в общепринятом способе построения повествования имеется ошибка. Тему дает или история, или какое-то злободневное событие, или, в лучшем случае, автор сам начинает комбинировать разительные события для того, чтобы составить простую основу своего повествования и желая в целом заполнить описаниями, диалогом или авторскими рассуждениями те пробелы в фактах или действиях, которые могут постоянно бросаться в глаза.

Я предпочитаю начинать с рассмотрения того, что называю эффектом. Ни на миг не забывая об оригинальности — ибо предает сам себя тот, кто решает отказаться от столь очевидного и легко достижимого средства возбудить интерес, — я прежде всего говорю себе: «Из бесчисленных эффектов или впечатлений, способных воздействовать на сердце, интеллект или (говоря более общо) душу, что именно выберу я в данном случае?» Выбрав, во-первых, новый, а во-вторых, яркий эффект, я соображаю, достижим ли он лучше

средствами фабулы или интонации — обыденной ли фабулой и необычайной интонацией, наоборот ли, или же необычайностью и фабулы и интонации; а впоследствии ищу окрест себя или, скорее, внутри себя такого сочетания событий и интонаций, кои наилучшим образом способствовали бы созданию нужного эффекта.

Я часто думал, какую интересную статью мог бы написать любой литератор, если бы он захотел, то есть если бы он смог в подробностях, шаг за шагом проследить те процессы, при которых любое его произведение достигло окончательной завершенности. Почему подобная статья никогда не была выдана в свет, решительно не могу сказать, но, быть может, пробел этот в большей степени обусловило авторское тщеславие, нежели какая-либо иная причина. Большинство литераторов, в особенности поэты, предпочитают, чтобы о них думали, будто они сочиняют в некоем порыве высокого безумия, под воздействием экстатической интуиции, и прямо-таки содрогнутся при одной мысли позволить публике заглянуть за кулисы и увидеть, как сложно и грубо работает мысль, бредущая на ощупь; увидеть, как сам автор постигает свою цель только в последний момент; как вполне созревшие плоды фантазии с отчаянием отвергаются ввиду невозможности их воплотить; как кропотливо отбирают и отбрасывают; как мучительно делают вымарки и вставки — одним словом, увидеть колеса и шестерни, механизмы для перемены декораций, стремянки и люки, петушьи перья, румяна и мушки, которые в девяноста девяти случаях из ста составляют реквизит литературного лицедея.

С другой стороны, я сознаю, что автор, способный шаг за шагом проследить свой путь к достижению намеченной цели, — явление отнюдь не частое. Как правило, идеи возникают хаотично, подобным же образом их и выполняют и забывают.

Что до меня, то я не сочувствую подобной скрытности и готов в любую минуту без малейшего труда восстановить в памяти ход написания любого из моих сочинений; и поскольку ценность анализа или реконструкции, мною желаемой, совершенно не зависит от какого-либо реального или воображаемого интереса, заключенного в самой анализируемой вещи, то с моей стороны не будет нарушением приличий продемонстрировать modus operandi[1172], которым было построено какое угодно из моих собственных произведений. Я

выбираю «Ворона» как вещь, наиболее известную. Цель моя непреложно доказать, что ни один из моментов в его создании не может быть отнесен на счет случайности или интуиции, что работа, ступень за ступенью, шла к завершению с точностью и жесткою последовательностью, с какими решают математические задачи.

Отбросим как не относящуюся к стихотворению per se[1173] причину или, скажем, необходимость, которая и породила вначале намерение написать некое стихотворение, способное удовлетворить вкусы как широкой публики, так и критики.

Итак, мы начинаем с этого намерения.

Прежде всего возникает мысль относительно объема. Если какое-либо литературное произведение не может быть из-за своей длины прочитано за один присест, нам надо будет примириться с необходимостью отказа от крайне важного эффекта, рождаемого единством впечатления; ибо если придется читать в два приема, то вмешиваются будничные дела, и всякое единство сразу гибнет. Но так как, ceteris paribus[1174], никакой поэт не может позволить себе отказаться от чего-либо, способствующего его замыслу, остается рассмотреть, есть ли какая-нибудь выгода, уравновешивающая потерю единства, с нею сопряженную. Здесь я сразу говорю: нет. То, что мы называем большой поэмой, на самом деле представляет собою всего лишь чередование небольших стихотворений или, иначе говоря, кратких поэтических эффектов. Нет нужды доказывать, что стихотворение является стихотворением постольку, поскольку оно сильно волнует душу, возвышая ее; а все сильные волнения, по необходимости физического порядка, кратковременны. По этой причине минимум половина «Потерянного Рая» в основе своей — проза, чередование поэтических волнений с неизбежными спадами, в итоге чего целое лишено по своей крайней длине весьма важного художественного элемента — цельности или единства эффекта.

В таком случае становится очевидным, что существует известный предел объема всех литературных произведений — возможность прочитать их за один присест — и что если для некоторого разряда прозаических сочинений, таких, как «Робинзон Крузо» (не требующих единства), пределом этим с выгодою можно пренебречь, то в стихах пренебрегать им никак нельзя. В этом пределе из объема стихотворения можно вывести математическую соотнесенность с его

достоинствами; иными словами, с волнением или возвышением души, им вызываемым; еще иными словами — со степенью истинно поэтического эффекта, который оно способно оказать; ибо ясно, что краткостью непосредственно определяется интенсивность задуманного эффекта; разумеется, при той непременной оговорке, что известная степень длительности абсолютно необходима для того, дабы вообще достичь какого-либо эффекта.

Имея в виду эти соображения, равно как и ту степень взволнованности, которую я счел не выше вкусов публики и не ниже вкусов критики, я сразу же решил, какой объем будет наиболее подходящим для задуманного стихотворения: около ста строк. Его окончательный объем — сто восемь строк.

Следующая мысль была о выборе впечатления или эффекта, которого должно достичь; и тут я могу заодно заметить, что в процессе писания я постоянно имел в виду цель сделать эти стихи доступными всем. Я чересчур уклонился бы от моего непосредственного предмета, если бы начал доказывать мысль, на которой все время настаиваю и которая применительно к поэзии ни в малейшей степени не нуждается в доказательствах, — мысль, что прекрасное единственная законная область поэзии. Однако скажу несколько слов, дабы пояснить истинный смысл этого положения, ибо у некоторых из моих друзей замечается склонность истолковывать его превратно. Наслаждение одновременно наиболее полное, наиболее возвышающее и наиболее чистое, по-моему, то, которое обретают при созерцании прекрасного. И когда говорят о прекрасном, то подразумевают не качество, как обычно предполагается, но эффект; коротко говоря, имеют и виду то полное и чистое возвышение не сердца или интеллекта, но души, о котором я упоминал и которое испытывают в итоге созерцания «прекрасного». Я же определяю прекрасное как область поэзии просто-напросто по очевидному закону искусства, закону, гласящему, что эффекты должны проистекать от непосредственных причин, что цели должно достигать средствами наиболее пригодными для ее достижения, и никто не был еще столь слаб рассудком, дабы отрицать, что упомянутое выше особое возвышение души легче всего достигается при помощи стихов. Если цель истина или удовлетворение интеллекта, если цель — страсть или волнение сердца, то хотя цели эти в известной мере и достижимы в поэзии, по с гораздо большею легкостью достижимы они

в прозе. Ведь истина требует точности, а страсть — известной неказистости (подлинно страстные натуры поймут меня), что абсолютно враждебно тому прекрасному, которое, как я настаиваю, состоит в волнении или возвышенном наслаждении души. Из всего сказанного здесь отнюдь не следует, будто страсть или даже истина не могут быть привнесены в стихотворение, и привнесены с выгодою, ибо они способны прояснить общий эффект или помочь ему, как диссонансы в музыке, путем контраста; но истинный художник всегда сумеет, во-первых, приглушить их и сделать подчиненными главенствующей цели, а во-вторых, облечь их, елико возможно, в то прекрасное, что образует атмосферу и суть стихов.

Итак, считая моей сферой прекрасное, следующий вопрос, которым я задался, относился к интонации, наилучшим образом его выражающий, и весь мой опыт показал мне, что интонация эта — печальная. Прекрасное любого рода в высшем своем выражении неизменно трогает чувствительную душу до слез. Следовательно, меланхолическая интонация — наиболее законная изо всех поэтических интонаций.

Определив таким образом объем, сферу и интонацию, я решил путем индукции найти что-нибудь острое в художественном отношении, способное послужить мне ключевой нотой в конструкции стихотворения, какую-нибудь ось, способную вращать все построение. Тщательно перебрав все обычные художественные эффекты, или, говоря по-театральному, приемы, я не мог не заметить сразу же, что ни один прием не использовался столь универсально, как прием рефрена. Универсальность его применения послужила мне достаточным доказательством его бесспорной ценности и избавила меня от необходимости подвергать его анализу. Однако я рассмотрел его, желая узнать, нельзя ли его усовершенствовать, и скоро убедился, что он пребывает в примитивном состоянии. В обычном применении рефрен или припев не только используют, ограничиваясь лишь лирическими стихами, но и заставляют его воздействовать лишь однообразием и звучания и смысла. Наслаждение, доставляемое им, определяется единственно чувством тождества, повторения. Я решил быть разнообразным и тем повысить эффект, придерживаясь в целом однообразия в звучании и вместе с тем постоянно меняя смысл: иными словами, я решил постоянно производить новый эффект, варьируя

применение рефрена, но оставляя сам рефрен в большинстве случаев неизменным.

Установив эти пункты, я далее задумался о характере моего рефрена. Поскольку его применение должно постоянно варьироваться, стало ясно, что сам рефрен должен быть краток, иначе возникли бы непреодолимые трудности при частых смысловых вариациях какой-либо длинной фразы. Легкость вариаций, разумеется, была бы обратно пропорциональна длине фразы. Это сразу же навело меня на мысль, что лучшим рефреном будет одно слово.

Тогда возник вопрос, что же это за слово. Решение применить рефрен имело своим следствием разбивку стихотворения на строфы, каждая из которых оканчивалась бы рефреном. То, что подобное окончание для силы воздействия должно быть звучным и способным к подчеркиванию и растягиванию, не подлежало сомнению; все эти соображения неизбежно привели меня к долгому «о» как к наиболее звучной гласной в комбинации с «р» как с наиболее сочетаемой согласной.

Когда звучание рефрена было подобным образом определено, стало необходимым выбрать слово, заключающее эти звуки и в то же время как можно более полно соответствующее печали, выбранной мною в качестве определяющей интонации стихотворения. В подобных поисках было бы абсолютно невозможно пропустить слово «nevermore»[1175]. Да это и было первое слово, которое пришло в голову.

Далее следовало найти предлог для постоянного повторения слова «nevermore». Рассуждая о трудностях, с которыми я сразу столкнулся, измышляя достаточно правдоподобную причину его непрерывного повторения, я не мог не заметить, что испытываю трудности единственно от исходного представления о том, что слово это будет постоянно или монотонно произносить человек; коротко говоря, я не мог не заметить, что трудности заключаются в согласовании этой монотонности с тем, что произносящий данное слово наделен рассудком. И тогда немедленно возникла идея о неразумном существе, способном к членораздельной речи; а весьма естественно, что прежде всего мне представился попугай, но тотчас был вытеснен вороном, существом в равной мере способным к членораздельной речи, но бесконечно более соответствующим замеченной интонации.

К тому времени я пришел к представлению о Вороне, птице, предвещающей зло, монотонно повторяющей единственное слово «nevermore» в конце каждой строфы стихотворения, написанного в печальной интонации, объемом приблизительно в сто строк. И тут, ни на миг не упуская из виду цеди безупречности или совершенства во всех отношениях, — я спросил себя: «Изо всех печальных предметов, какой, в понятиях всего человечества, самый печальный?» «Смерть», — был очевидный ответ. «И когда, — спросил я, — этот наиболее печальный изо всех предметов наиболее поэтичен?» Из того, что я уже довольно подробно объяснял, очевиден и следующий ответ: «Когда он наиболее тесно связан с прекрасным; следовательно, смерть прекрасной женщины, вне всякого сомнения, является наиболее поэтическим предметом на свете; в равной мере не подлежит сомнению, что лучше всего для этого предмета подходят уста ее убитого горем возлюбленного».

Теперь мне следовало сочетать две идеи: влюбленного, оплакивающего свою усопшую возлюбленную, и Ворона, постоянно повторяющего слово «nevermore». Мне следовало сочетать их, не забывая о том, что я задумал с каждым разом менять значение произносимого слова; но единственный постижимый способ добиться такого сочетания — представить себе, что Ворон говорит это слово в ответ на вопросы, задаваемые влюбленным. И тут я сразу увидел возможность достичь того эффекта, на который я рассчитывал, то есть эффекта смысловой вариации. Я увидел, что могу сделать первый вопрос, задаваемый влюбленным, — первый вопрос, на который Ворон ответит «nevermore», — что я могу сделать этот первый вопрос обыденным, второй — в меньшей степени, третий — еще менее того и так далее, пока наконец в душе влюбленного, с изумлением выведенного из своего первоначального безразличия печальным смыслом самого слова, его частыми повторениями, а также сознанием зловещей репутации птицы, которая это слово произносит, наконец пробуждаются суеверия, и он с одержимостью задает вопросы совсем иного рода — вопросы, ответы на которые он принимает очень близко к сердцу, — задает их наполовину из суеверия, наполовину от того вида отчаяния, что находит усладу в самоистязаниях; задает их не потому, что целиком верит в пророческую или демоническую природу птицы (которая, как подсказывает ему рассудок, просто-напросто

повторяет механически зазубренный урок), но потому, что он испытывает исступленное наслаждение, строя вопросы таким образом, чтобы испытать, слыша ожидаемое «nevermore», горе наиболее сладостное, ибо наиболее невыносимое. Увидев предоставлявшуюся или, вернее, навязанную мне в ходе построения возможность, я сперва мысленно определил кульминацию или заключительный вопрос — тот вопрос, на который «nevermore» было бы окончательным ответом; тот вопрос, в ответ на который слово «nevermore» вызвало бы наибольшее горе и отчаяние, какие только возможно вообразить.

И можно сказать, что тут началось стихотворение — с конца, где и должны начинаться все произведения искусства; ибо именно на этом этапе моих предварительных размышлений я впервые коснулся пером бумаги, сочиняя следующую строфу:

Адский дух иль тварь земная, — повторил я, замирая,
Ты — пророк. Во имя неба говори: превыше гор,
Там, где рай наш легендарный, — там найду ль я, благодарный,
Душу девы лучезарной, взятой богом в божий хор,
Душу той, кого Ленорой именует божий хор?
Каркнул ворон: «Nevermore».

Тогда я сочинил эту строфу, во-первых, для того, чтобы, определив кульминацию, мог лучше варьировать в нарастающей последовательности вопросы влюбленного с точки зрения их серьезности и важности; и, во-вторых, чтобы точно установить метр, ритм, длину и общее расположение строк в строфе, а также разместить предыдущие строфы по степени напряженности таким образом, дабы ни одна не могла бы превзойти кульминационную ритмическим эффектом. Будь я способен в дальнейшем сочинить строфы более энергические, я без колебаний намеренно ослабил бы их во избежание помех кульминационному эффекту.

Тут кстати будет сказать несколько слов о стихотворной технике. Моей первой целью, как обычно, была оригинальность. То, до какой степени ею пренебрегают в стихосложении, — одна из самых необъяснимых вещей на свете. Признавая, что метр сам по себе

допускает не много вариаций, нельзя не объяснить, что возможные вариации ритмического и строфического характера абсолютно бесконечны; и все же на протяжении веков ни один стихотворец не только не сделал, но, видимо, и не подумал сделать что-нибудь оригинальное. Дело в том, что оригинальность, если не говорить об умах, наделенных весьма необычайным могуществом, отнюдь не является, как предполагают некоторые, плодом порыва или интуиции. Вообще говоря, для того, чтобы ее найти, ее надобно искать, и, хотя оригинальность положительное достоинство из самых высоких, для ее достижения требуется не столько изобретательность, сколько способность тщательно и настойчиво отвергать нежелаемое.

Разумеется, я не претендую ни на какую оригинальность ни в отношении метра, ни в отношении размера «Ворона». Первый — хорей; второй восьмистопный хорей с женскими и мужскими окончаниями (последние — во второй, четвертой и пятой строках), шестая строка — четырехстопный хорей с мужским окончанием. Говоря менее педантично, стопа, везде употребляемая (хорей), — двусложная, с ударением на первом слоге; первая строка строфы состоит из восьми подобных стоп; вторая — из восьми же с усечением последнего безударного слога; третья — из восьми; четвертая — из восьми с усечением последнего безударного слога; пятая — тоже; шестая — из четырех стоп с усечением последнего безударного слога. Так вот, каждая из этих строк, взятая в отдельности, употреблялась и раньше, и та оригинальность, которою обладает «Ворон», заключается в их сочетании, образующем строфу; ничего даже отдаленно напоминающего эту комбинацию ранее не было. Эффекту оригинальности этой комбинации способствуют другие необычные и некоторые совершенно новые эффекты, возникающие из расширенного применения принципов рифмовки и аллитерации.

Следующий пункт, подлежащий рассмотрению, — условия встречи влюбленного и Ворона, и прежде всего — место действия. В этом смысле естественнее всего представить себе лес или поле, но мне всегда казалось, что замкнутость пространства абсолютно необходима для эффекта изолированного эпизода; это все равно что рама для картины. Подобные границы неоспоримо и властно концентрируют внимание и, разумеется, не должны быть смешиваемы с простым единством места.

Тогда я решил поместить влюбленного в его комнату — в покой, освященный для него памятью той, что часто бывала там. Я изобразил комнату богато меблированной — единственно преследуя идеи о прекрасном как исключительной и прямой теме поэзии, которые я выше объяснял.

Определив таким образом место действия, я должен был впустить в него и птицу, и мысль о том, что-она влетит через окно, была неизбежна. Сначала я заставил влюбленного принять хлопанье птичьих крыльев о ставни за стук в дверь — идея эта родилась от желания увеличить посредством затяжки любопытство читателя, а также от желания ввести побочный эффект, возникающий оттого, что влюбленный распахивает двери, видит, что все темно, и вследствие этого начинает полупредставлять себе, будто к нему постучался дух его возлюбленной.

Я сделал ночь бурною, во-первых, для обоснования того, что Ворон ищет пристанища, а во-вторых, для контраста с кажущейся безмятежностью внутри покоя.

Я усадил птицу на бюст Паллады, также ради контраста между мрамором и оперением, — понятно, что на мысль о бюсте навела исключительно птица; выбрал же я бюст именно Паллады, во-первых, как наиболее соответствующий учености влюбленного, а во-вторых, ради звучности самого слова Паллада.

Примерно в середине стихотворения я также воспользовался силою контраста для того, чтобы углубить окончательное впечатление. Например, нечто фантастическое и почти, насколько это допустимо, нелепое привносится в первое появление Ворона:

Без поклона, смело, гордо, он прошел легко и твердо,
Воспарил с осанкой лорда к верху входа моего.

В двух последующих строфах этот эффект проводится с большею очевидностью.

Оглядев его пытливо, сквозь печаль мою тоскливо
Улыбнулся я — так важен был и вид его и взор.
«Ты без рыцарского знака — смотришь рыцарем, однако,

Сын страны, где в царстве Мрака Ночь раскинула шатер!
Как зовут тебя в том царстве, где стоит Ее шатер?»
Каркнул Ворон: «Nevermore».
Изумился я сначала: слово ясно прозвучало,
Как удар — но что за имя «Никогда»? И до сих пор
Был ли смертный в мире целом, где в жилище опустелом
Над дверьми, на бюсте белом, словно призрак древних пор,
Сел бы важный, мрачный, хмурый, черный Ворон древних пор
И назвался «Nevermore»?

Обеспечив таким образом развязку, я немедленно оставляю все причудливое и перехожу на интонацию, исполненную глубочайшей серьезности, начиная со строфы, следующей прямо за только что процитированными:

Но, прокаркав это слово, вновь молчал уж он сурово…

и т. д.

С этого времени влюбленный более не шутит, более не усматривает в облике Ворона даже ничего фантастического. Он называет его: «мрачный, хмурый, гордый Ворон древних нор», чувствует на себе его «горящий, пепелящий душу взор». Эта смена мыслей или фантазий влюбленного имеет целью такую же смену и у читателя — дабы привести его в нужное состояние для развязки, которая и следует как можно более скоро.

После собственно развязки — когда Ворон прокаркал «nevermore» в ответ на последний вопрос влюбленного — суждено ли ему встретить свою возлюбленную в ином мире, — стихотворение в его самоочевидном аспекте, как законченное повествование, можно счесть завершенным. Покамест все находится в пределах объяснимого, реального. Какой-то Ворон, механически зазубривший единственное слово «nevermore», улетает от своего хозяина и в бурную полночь пытается проникнуть в окно, где еще горит свет, — в окно комнаты, где находится некто, погруженный наполовину в чтение, наполовину

— в мечты об умершей любимой женщине. Когда на хлопанье крыльев этот человек распахивает окно, птица влетает внутрь и садится на самое удобное место, находящееся вне прямой досягаемости для этого человека; того забавляет подобный случай и причудливый облик птицы, и он спрашивает, не ожидая ответа, как ее зовут. Ворон, по своему обыкновению, говорит «nevermore», и это слово находит немедленный отзвук в скорбном сердце влюбленного, который, высказывая вслух некоторые мысли, порожденные этим событием, снова поражен тем, что птица повторяет «nevermore». Теперь он догадывается, в чем дело, но, движимый, как я ранее объяснил, присущею людям жаждою самоистязания, а отчасти и суеверием, задает птице такие вопросы, которые дадут ему власть упиться горем при помощи ожидаемого ответа «nevermore». Когда он предастся этому самоистязанию до предела, повествование в том, что я назвал его первым и самоочевидным аспектом, достигает естественного завершения, не преступая границ реального.

Но предметы, трактованные подобным образом, при каком угодно мастерстве или нагромождении событий всегда обретают некую жесткость или сухость, которая претит глазу художника. Всегда требуются два момента: во-первых, известная сложность или, вернее, известная тонкость; и, во-вторых, известная доза намека, некое подводное течение смысла, пусть неясное. Последнее в особенности придает произведению искусства то богатство (если воспользоваться выразительным термином из разговорной речи), которое мы слишком часто путаем с идеалом. Именно чрезмерное прояснение намеков, выведение темы на поверхность, вместо того чтобы оставить ее в качестве подводного течения, и превращает в прозу (и в самую плоскую прозу) так называемую поэзию трансценденталистов.

Придерживаясь подобных взглядов, я добавил в стихотворение две заключительные строки, скрытый в которых намек стал пронизывать все предшествующее повествование. Подводное течение смысла делается ясным в строках:

Не терзай, не рви мне сердца, прочь, умчися на простор!
Каркнул Ворон: «Nevermore».

Можно заметить, что слова «не терзай, не рви мне сердца» образуют первую метафору в стихотворении. Она вместе с ответом «Nevermore» располагают к поискам морали всего, о чем дотоле повествовалось. Читатель начинает рассматривать Ворона как символ, но только в самой последней строке самой последней строфы намерение сделать его символом непрекращающихся и скорбных воспоминаний делается ясным:

И сидит, сидит с тех пор он, неподвижный черный Ворон,
Над дверьми, на белом бюсте — там сидит он до сих пор,
Злыми взорами блистая, — верно, так глядит, мечтая,
Демон; тень его густая грузно пала на ковер
И душе из этой тени, что ложится на ковер,
Не подняться — nevermore!

Апрель, 1846
пер. В. Рогова

Новеллистика Натаниэля Готорна

В предисловии к моим очеркам[1176] о нью-йоркских литераторах, говоря о большом различии между общим признанием наших писателей и мнением о них меньшинства, я говорил о Натаниеле Готорне следующее:

«Так, например, м-р Готорн, автор „Дважды рассказанных историй“, не находит признания в прессе и у читателей, и если его вообще замечают, то лишь для того, чтобы „кислой похвалою осудить“. Я же считаю, что хотя тропа его не широка и его можно обвинить в маньеризме, в том, что у него для всех сюжетов один и тот же тон задумчивых намеков, однако на этой тропе он обнаруживает редкостный талант и не имеет соперников ни в Америке, ни где-либо еще; и такое мнение ни разу не оспаривалось ни одним литератором нашей страны. А то, что мнение это существует только в устной, а не в письменной форме, объясняется тем, что м-р Готорн, во-первых, беден, а во-вторых, не является вездесущим шарлатаном».

Действительно, вплоть до самого последнего времени известность автора «Дважды рассказанных историй» не выходила за пределы литературных кругов; и я, кажется, не ошибся, когда привел его в качестве примера par excellence американского таланта, который восхваляют в частных беседах и не признают публично. Правда, в последние год-два то один, то другой критик, побуждаемый справедливым негодованием, высказывал писателю горячее одобрение. Так, например, м-р Веббер[1177] (как никто способный оценить тот род сочинений, который особенно удается м-ру Готорну) отдал искреннюю и полную дань его таланту в одном из последних номеров «Североамериканского обозрения»; а после выхода в свет «Легенд старой усадьбы» отзывы в таком же тоне не раз появлялись в наших наиболее солидных журналах. Но до появления «Легенд» я почти не припоминаю рецензий на Готорна. Помню одну в «Арктуре» (редакторы Мэтьюс и Дайкинк) за май 1841 года; одну в «Американ мансли» (редакторы Хофман и Херберт[1178]); еще одну в девяносто шестом номере «Североамериканского обозрения». Однако эти статьи, по-видимому, оказали мало влияния на читательские вкусы, если об

этих вкусах можно судить по их выражению в печати или по тому, как раскупается книга. О нем до последнего времени никогда не упоминали при перечислении наших лучших писателей. В таких случаях газетные рецензенты писали: «Разве нет у нас Ирвинга, Купера, Брайента, Полдинга и — Смита?» Или: «Разве нет у нас[1179] Халлека, Даны, Лонгфелло и — Томпсона?» Или: «Разве не можем мы с торжеством указать на наших собственных Спрага, Уиллиса, Чаннинга, Банкрофта, Прескотта и — Дженкинса?» Но никогда эти риторические вопросы не заканчивались именем Готорна.

Такое непризнание его публикой несомненно объясняется главным образом двумя указанными много причинами — тем, что он не богач и не шарлатан. Впрочем, только этим оно объясняться не может. В немалой степени его надо приписать и характерной особенности творчества м-ра Готорна. С одной стороны, быть особенным значит быть оригинальным, а подлинная оригинальность есть высшее из литературных достоинств. Однако эта подлинная и похвальная оригинальность состоит не в однообразии, а в постоянном своеобразии — своеобразии, рожденном деятельной фантазией или, еще лучше, непрерывно творящим воображением, которое придает свой оттенок и свой характер всему, к чему оно прикасается, а главное, само стремится ко всему прикоснуться.

Часто необдуманно заявляют, что крайне оригинальные писатели никогда не завоевывают популярности, что такие-то и такие-то чересчур оригинальны, чтобы быть понятными широкому читателю. Следовало бы говорить «чересчур специфичны». Ибо сильнее всего чувствует оригинальность именно широкая публика с ее возбудимостью, необузданностью и ребячливостью. А осуждают ее консерваторы, литературные ремесленники и образованные старые пасторы из «Североамериканского обозрения». Духовному лицу, — говорит лорд Кок[1180], — не подобает огненный дух саламандры. Поскольку собственная их совесть не позволяет им ничего смещать, они испытывают священный ужас перед всяким смещением. «Дайте нам безмятежность», — говорят они. Открывая рот с должной осторожностью, они произносят одно только слово: «Покой». И это в самом деле единственное, что им надо предоставить — хотя бы по христианскому правилу «око за око».

Будь м-р Готорн действительно оригинален, это непременно было бы понято читателями. Но дело в том, что он ни в каком смысле не оригинален. Те, кто называет его оригинальным, имеют в виду только, что своей манерой и выбором тем он отличается от всех известных им авторов, в число которых не входит немец Тик[1181], чья манера в некоторых его произведениях абсолютно схожа с обычной манерой Готорна. Между тем ясно, что условием литературной оригинальности является левизна. Условием ее признания читателем является его чувство нового. Все, что доставляет ему новые и приятные ощущения, он считает оригинальным, а всякого, кто доставляет их часто, считает оригинальным писателем. Словом, звание оригинального присуждается писателю по сумме этих ощущений. Однако я должен здесь заметить, что существует предел, за которым новизна перестает быть оригинальностью, если, как мы это делаем, судить об оригинальности по достигаемому эффекту: это предел, за которым новизна уже не нова, и тут художник, чтобы остаться оригинальным, опускается до банальности. Никто, мне кажется, не заметил, что только из-за пренебрежения этим законом Мур потерпел неудачу в своей «Лалле Рук». Почти никто из читателей, а также из критиков, не похвалил эту поэму за оригинальность — и она действительно не производит такого впечатления, — а между тем ни одно произведение такого размера не содержит стольких отдельных черт оригинальности. Но их так много, что они под конец притупляют в читателе всякую способность их оценить.

Учитывая все это, мы поймем, что критик (незнакомый с Тиком), прочитав один рассказ или очерк Готорна, имеет основания считать его оригинальным; но гот тон, манера или выбор сюжета, который вызвал у критика ощущение новизны, если не во втором, то в третьем и во всех следующих рассказах не только не вызовет ого, но произведет обратное действие. Дочитывая том, и в особенности все тома этого писателя, критик откажется от намерения объявить его оригинальным и удовольствуется эпитетом «специфический».

С несколько неопределенным положением, что быть оригинальным значит быть популярным, я мог бы согласиться, если бы принял то определение оригинальности, которое, к моему удивлению, принято многими, имеющими право зваться критиками. В своей любви к словам они ограничили литературную оригинальность

философской. Они считают оригинальными в литературе только те сочетания мыслей, событий и тому подобного, которые действительно абсолютно новы. Ясно, однако, что, во-первых, имеет значение только новизна эффекта, а во-вторых, — если иметь в виду цель всякого художественного произведения, а именно удовольствие, — для лучшего достижения этого эффекта надо не искать абсолютной новизны сочетаний, а, скорее, избегать ее. Оригинальность, понятая в этом абсолютном смысле, поражает и обременяет ум, обращаясь к тем его свойствам, к которым мы менее всего хотели бы обращаться у читателя романов и повестей. Понятая таким образом, оригинальность не может быть популярной у широкого читателя, который в подобных произведениях ищет удовольствия и будет раздражен поучениями. Но оригинальность подлинная — верная своей цели это та, которая проясняет смутные, невольные и невыраженные фантазии людей, заставляет страстно биться их сердца или вызывает к жизни некое всеобщее чувство или инстинкт, только еще зарождавшиеся, и тем самым присоединяет к приятному эффекту кажущейся, новизны подлинное эгоистическое удовольствие. В первом случае (то есть при абсолютной новизне) интерес читателя возбужден, но он смущен, встревожен и даже огорчен своей непонятливостью и тем, что сам не напал на эту мысль. Во втором случае его удовольствие удваивается. Это удовольствие направлено и внутрь и вовне. Он с радостью ощущает кажущуюся новизну мысли как подлинную, как возникшую только у автора — а у него самого. Ему кажется, что только они двое из всех людей так думают. Только они создали это. Отныне между ними устанавливается связь, которая освещает все дальнейшие страницы книги.

Существует род сочинений, которые с некоторой натяжкой можно признать низшей ступенью того, что я назвал истинной оригинальностью. Читая их, вы не говорите «Как оригинально!» или «Это пришло в голову только мне и автору»; вы говорите: «Вот нечто очаровательное и совершенно очевидное», а иногда даже: «Вот мысль, которая, кажется, никогда не являлась мне, но наверняка — всем остальным людям». Подобные произведения (также высокого порядка) принято называть «естественными». Они имеют мало внешнего сходства, но большое внутреннее сродство с истинно оригинальными, если даже не являются, как я уже сказал, низшей ступенью этих

последних. Среди пишущих на английском языке они лучше всего представлены Аддисоном, Ирвингом и Готорном. «Непринужденность», которая так часто упоминается в качестве их характерной черты, принято считать кажущейся и достигаемой ценою больших трудов. Однако здесь необходима некоторая оговорка. Натуральный стиль труден только для тех, кто и не должен за него браться, — для ненатуральных. Он рождается, когда пишут с сознанием или инстинктивным чувством, что тон, в любой момент и при любой теме, должен быть тот, каким говорит большинство человечества. Автор, который по примеру «Североамериканского обозрения» просто всегда спокоен, окажется в большинстве случаев просто глуп и имеет не больше прав считаться «непринужденным» или «натуральным», чем щеголь-кокни или Спящая Красавица из музея восковых фигур.

«Специфичности», или однообразности, или монотонности Готорна независимо от того, в чем эта специфичность состоит, достаточно, чтобы лишить его всех шансов на широкое признание. И уж никак нельзя удивляться отсутствию признания, когда он оказывается однообразен в худшей из всех возможных областей — в той области, которая всего дальше от Природы, а следовательно, от ума, чувств и вкусов широкого читателя. Я имею в виду аллегоричность, которая доминирует в большинство его сочинений и в какой-то степени присутствует во всех.

В защиту аллегории (как бы и в каких бы целях к ней ни прибегали) едва ли можно сказать разумное слово. Она в лучшем случае обращается к фантазии — то есть к нашей способности согласовывать самые не подходящие друг к другу вещи, реальные и нереальные, не более связанные, чем нечто и ничто, гораздо менее родственные, чем предмет и его тень. Самое сильное чувство, вызываемое у нас удачнейшей из аллегорий как таковой, — это весьма слабое удовлетворение находчивостью автора, преодолевшего трудность, хотя мы предпочли бы, чтобы он вообще за это не брался. Ошибочную мысль, будто какой бы то ни было аллегорией можно внушить истину, что, например, метафора способна не только украсить, но и доказать тезис, можно легко опровергнуть; не трудно было бы и показать, что дело обстоит иначе: но все это не имеет отношения к моей нынешней цели. Одно ясно — если аллегория

когда-либо устанавливает какой-то факт, то ценой уничтожения вымысла. Когда скрытый смысл проходит под явным где-то очень глубоко, так, чтобы не смешиваться с ним, если мы того не пожелаем, не показываться на поверхность, пока его не вызовут, только тогда он и уместен в художественном вымысле. В лучшем случае аллегория мешает тому единству впечатления, которое для художника дороже всех аллегорий на свете. Однако наибольший вред она причиняет самому важному в художественном произведении — правдоподобию. Ни один мыслящий человек не станет отрицать, что «Путь паломника»[1182] до смешного переоценен и что своей кажущейся популярностью он обязан одной или двум из тех литературных случайностей, которые хорошо известны критикам; но удовольствие, которое от него можно получать, оказывается прямо пропорциональным читательской, способности заглушать основную линию и отбрасывать, аллегорию или же неспособности ее понять. Лучшим и весьма замечательным примером искусного и разумного применения аллегории, где она всего лишь тень или проблеск и где сближение ее с правдой ненавязчиво, а потому приятно и уместно — это «Ундина» да ла Мотт Фуке[1183].

Но явных причин, помешавших популярности м-ра Готорна, недостаточно, чтобы повредить ему в глазах тех немногих, кто посвятил себя книгам. Эти немногие мерят автора иначе, чем читатели: не по тому, что он делает, не в большой степени — и даже главным образом — по тому, какие способности он обнаруживает. В этом смысле Готорн занимает среди американских литераторов место, которое можно сравнить с местом Колриджа в Англии. Эти немногие, вследствие известного извращения вкуса, неизбежно вызываемого длительным погружением в книги, не могут считать ошибки ученого человека за ошибки. Эти люди склонны считать неправым скорее читателя, чем образованного писателя. Но дело в том, что писатель, стремящийся произвести впечатление на читателей, всегда не прав, когда это ему не удается. Насколько м-р Готорн обращается к читателю, я, разумеется, решать не могу. Его книги содержат много скрытых доказательств того, что они написаны только для себя и друзей.

В литературе издавна существует пагубное и необоснованное предубеждение, которое нынешний век призван уничтожить, а именно

мысль, что при оценке достоинств сочинения немалую роль играет его объем. Я не думаю, чтобы даже худший из журнальных рецензентов стал утверждать, что размеры произведения могут сами по себе претендовать на наше восхищение. Гора самой своей величиною действительно вызывает у нас представление о величавости, но ничего подобного мы не испытываем при созерцании даже «Колумбиады». Этого не говорят и «Обозрения». Но в таком случае как понимать их постоянный лепет о «длительном усилии»? Допустим, что эта длительное усилие имело результатом эпическую поэму; так будем же восхищаться усилием (если это — вещь, восхитительная), но не эпосом только ради затраченных, на него усилий. В будущем здравый смысл, возможно, заставит оценивать творение искусства скорее по выполненной задаче и по производимому впечатлению, нам по затраченному на него времени или количеству «длительного усилия», оказавшемуся необходимым для создания такого впечатления. Дело в том, что упорство — это одно, а талант — совсем другое; и всем трансценденталистам в языческом мире не под силу свалить их в одну кучу.

Этой количественной мерой вооружился и последний номер «Североамериканского обозрения», который, воображая, будто публикует рецензию на Симмса, «честно признает, что о коротком рассказе имеет весьма невысокое мнение»; каковое честное признание подтверждается тем, что этот журнал действительно еще не выдвигал иных мнений, кроме низких.

Из всей обширной области прозы новелла предоставляет наибольшие возможности для проявления величайшего таланта. Если бы меня спросили, где гений может с наибольшим успехом приложить свои силы, я без колебаний ответил бы: «в рифмованных стихах, не длиннее того, что можно прочесть за час». Только в этих пределах может существовать высочайшая поэзия. Я обсуждал эту тему не раз и могу здесь только повторить, что слова «длинная поэма» заключают в себе противоречие. Стихи должны сильно волновать. Волнение составляет самую их суть. Их ценность пропорциональна возвышающему волнению, которое они вызывают. Но волнение в силу психического закона недолговременно. Оно не может длиться столько, сколько чтение длинной поэмы. Уже после часа чтения оно ослабевает, спадает, и тогда стихи, не достигая цели, перестают ими быть. Люди

восхищаются «Потерянным Раем», но он их утомляет; одна банальность сменяет другую, неизбежно, через равные промежутки времени (промежутки спада между приступами волнения), и, дочитав поэму (являющуюся, по существу, цепью коротких поэм), мы обнаруживаем, что суммы приятных и неприятных впечатлений примерно равны. Вот почему абсолютное или общее впечатление от любого эпоса на свете равно нулю. «Илиада» в форме эпоса ведет лишь призрачное существование; если допустить ее реальность, я могу только сказать, что в ее основе лежат первобытные понятия об Искусстве. О современном эпосе нельзя сказать лучше, как назвав его слепым подражанием чему-то случайному. Постепенно эти положения станут очевидными, а покамест их истинность не слишком пострадает от того, что они объявляются ложными.

С другой стороны, слишком короткое стихотворение может производить впечатление живое и сильное, но не глубокое и не длительное. Без сколько-нибудь длительного усилия, без известной его протяженности или повторения редко удается взволновать читателя. Капля должна точить камень. Печать должна неуклонно давить на воск. Беранже сочинял блестящие и острые вещи, затрагивающие душу, но они в большинстве своем чересчур легки, чтобы служить импульсом; они взлетают, как перышки из крыльев фантазии, и от них так же легко отмахиваются. Чрезмерная краткость может выродиться в эпиграмму; однако подлинно непростительным грехом является чрезмерная длина.

А если бы мне предложили указать род произведений, который после описанного мною типа стихотворения всего лучше отвечает требованиям гения и всего лучше служит его целям, предоставляя ему наибольшие возможности проявить себя и самую выгодную область для приложения сил, я сразу же назвал бы короткий рассказ в прозе. Мы, разумеется, оставляем в стороне историю, философию и тому подобные вещи. Разумеется, говорю я наперекор седым мудрецам. Эти серьезные предметы всегда будут лучше всего трактоваться теми, кого разборчивый свет, отворачивая нос от скучных трактатов, условился называть талантами. Обычный роман не годится но тем же причинам, что и длинная поэма. Поскольку роман нельзя прочесть за один прием, он лишается огромного преимущества целостности. Житейские дела, в промежутках между чтением, меняют или изглаживают впечатления от

книги или противостоят им. Достаточно простого перерыва в чтении, чтобы нарушить подлинное единство. В коротком же рассказе автор имеет возможность осуществить свой замысел без помех. В течение часа, пока длится чтение, душа читателя находится во власти автора.

Искусный писатель сочинил рассказ. Он не подгоняет мысли под события; тщательно обдумав некий единый эффект, он затем измышляет такие события и их сочетания и повествует о них в таком тоне, чтобы они лучше всего способствовали достижению задуманного эффекта. Если уже первая фраза не содействует этому эффекту, значит, он с самого начала потерпел неудачу. Во всем произведении не должно быть ни одного слова, которое прямо или косвенно не вело бы к единой задуманной цели. Вот так, тщательно и искусно, создается наконец картина, доставляющая тому, кто созерцает ее с таким же умением, чувство наиболее полного удовлетворения. Идея рассказа предстает полностью, ибо ничем не нарушена, — требование непременное, но для романа совершенно недостижимое.

В Америке очень мало искусно построенных рассказов — не говоря о других качествах, иногда более важных, чем построение. В общем, я не знаю лучшего, чем «Убийство обнаружится» м-ра Симмса[1184], но и он имеет несколько вопиющих недостатков. «Рассказы путешественника» Ирвинга изящны и выразительны — особенно хорош «Молодой итальянец», но среди них нет ни одного, который можно было бы похвалить целиком. Во многих из них интерес раздваивается и рассеивается по мелочам, а развязки недостаточно кульминируют. Главным требованиям композиции отлично отвечают журнальные рассказы Джона Нила — я имею в виду энергичность, живописное сочетание событий и тому подобное, — но они слишком перескакивают с предмета на предмет и неизменно разваливаются перед самым концом, точно писателя неожиданно и срочно позвали обедать и он счел своей обязанностью перед уходом закончить повествование. Одним из самых удачных от начала до конца рассказов, какие мне встречались, является «Джек Лонг, или Выстрел в глаз» Чарлза У.Веббера, помощника м-ра Колтона в редакции «Американского обозрения». По искусности построения рассказа Уиллис превосходит всех американских писателей, кроме м-ра Готорна.

Подробное обсуждение отдельных его произведений я вынужден отложить до лучших возможностей и спешу закончить эту статью кратким резюме его достоинств и недостатков.

Он своеобразен, но не оригинален — разве лишь в отдельных подробностях и мыслях, которые вследствие недостатка у него оригинальности вообще не получат заслуженного признания, так как никогда не предстанут перед широким читателем. Он чересчур склонен к аллегории и, пока упорствует в этом, не может рассчитывать на популярность. Но упорствовать он не будет, ибо аллегория противна всей его природе, которая никогда не чувствует себя так привольно, как вырвавшись от мистических Молодых Браунов и Белых Старых Дев в бодрое и солнечное, хоть и тихое, бабье лето «Уэйкфилдов» и «Прогулок маленькой Энни». Этот его дух «взбесившихся метафор» явно впитан им в фаланге и в атмосфере фаланстера[1185], где он так долго задыхался. Чтобы быть писателем для немногих, у него нет и половины тех качеств, которые имеются у него, чтобы быть писателем популярным. Он-обладает самым чистым слогом, самым тонким вкусом, самой полезной эрудицией, самым тонким юмором, самой большой трогательностью, самым светлым воображением, величайшей изобретательностью, и со всеми этими достоинствами, он преуспел в качестве мистика. Но разве эти достоинства могут помешать ему преуспеть вдвойне, сочиняя простые, разумные, осязаемые и понятные вещи? Хорошо бы ему очинить перо, раздобыть склянку видимых чернил, уйти из Старой усадьбы[1186], порвать знакомство с м-ром Олкоттом[1187], удавить (если возможно) редактора «Дайела»[1188] и выбросить из окна на съедение свиньям все разрозненные номера «Североамериканского обозрения».

Ноябрь, 1847

пер. З. Александровой

Эврика. Поэма в прозе

Предисловие

Тем немногим, кто любит меня и кого я люблю — тем, кто чувствует скорее, чем тем, кто думает, — сновидцам и тем, кто верит в сны как в единую действительность — я отдаю эту Книгу Истин не как Истину Глаголящую, а во имя Красоты, что пребывает в ее Истине, — делающей ее истиной. Им я предлагаю творение это как Создание Искусства только, скажем, как Повесть или, если мое притязание не слишком высоко, как Поэму.

Что я здесь возвещаю, есть истинно: — потому оно не может умереть: — или если какими либо средствами будет затоптано ныне так, что умрет, оно снова восстанет для Жизни Бесконечной.

И все же, как Поэму лишь хочу я, чтоб судили произведение это, когда я умру.

Эврика: Опыт о Вещественной и Духовной Вселенной

С смиреньем поистине искренним — даже с чувством благоговейной боязни — начертываю я вступительные слова этого произведения: ибо из всех вообразимых предметов я приближаю читателя к самому торжественному — самому объемлющему — самому трудному — самому величественному. Какие выражения найду я достаточно простые в их возвышенности — достаточно возвышенные в их простоте, — чтобы лишь указать мой замысел?

Я вознамерился говорить о Физической, Метафизической, и Математической — о Вещественной и Духовной Вселенной: о ее Сущности, ее Происхождении, ее Сотворении, ее Настоящем Состоянии, и Участи ее. Я буду при этом настолько отважен, что призову на суд заключения, и таким образом, действительно подвергну сомнению прозорливость людей величайших и наиболее справедливо почитаемых.

В самом начале да будет мне позволено возвестить — не теорему, которую я надеюсь доказать, ибо, что бы ни утверждали математики, нет, в этом мире по крайнее мере, такой вещи как доказательство; но руководящую мысль, которую, на протяжении этой книги, я буду беспрерывно пытаться внушить.

Мое общее предложение таково: В Начальном Единстве Первого Существа заключается Вторичная Причина Всего и Всех, с Зародышем их Неизбежного Уничтожения.

Для разъяснения этой мысли я предлагаю сделать такой огляд Вселенной, чтобы ум был способен действительно приять и воспринять впечатление личной ее цельности.

Тот, кто с вершины Этны досужно устремит свои глаза кругом, — впечатлится главным образом размахом и разностью раскрывшейся картины. Лишь быстро крутясь, на своих пятках, смог бы он надеяться постичь панораму возвышенности ее единства. Но так как на вершине Этны никакому человеку не приходила мысль крутиться на своих пятках, никто никогда и не вобрал в свой мозг полную единственность перспективы; и, таким образом, с другой стороны, какие бы соображения ни заключались в этой единственности, они еще не имеют действенного существования для человечества.

Я не знаю ни одного рассуждения, в котором вообще сделан был бы какой-нибудь огляд Вселенной — употребляя это слово в самом объемлющем и единственно законном его применении; и, вполне уместно будет упомянуть здесь, что под словом «Вселенная», везде, где оно употребляется в этом очерке без означающей оговорки, я разумею наикрайне постижимую протяженность пространства со всем, духовным и вещественным, что может быть воображено существующим в объеме этой протяженности. Говоря же о том, что обычно разумеется под словом «Вселенная», я буду ограничительно означать: «Вселенная звезд», «звездная Вселенная». Почему такое различение сочтено необходимым, будет видно в последующем.

Но даже среди рассуждений об ограниченной в действительности, хотя всегда и принимаемой за неограниченную, Вселенной звезд, я не знаю ни одного, в котором бы огляд, даже этой ограниченной Вселенной, был сделан так, чтобы удостоверять выводы, истекающие из ее личной цельности. Самое тесное к этому приближение было сделано в «Космосе» Александра фон Гумбольдта. Он представляет

предмет, однако, не в его личной цельности, а в его общности. Его тема, в последнем ее выводе, есть закон каждой части только физической Вселенной, поскольку этот закон относится к законам каждой другой части этой чисто физической Вселенной. Его замысел есть просто слиятельный. Словом, он обсуждает всеобщность вещественного отношения, и разоблачает оку Философии всякого рода выводы, которые доселе были скрытыми за этой всеобщностью. Но как бы, однако, ни была превосходна сжатость, с которой он рассмотрел каждую отдельную точку своей области, простая множественность этих рассматриваемых точек обусловливает, необходимо, обилие подробностей, и, таким образом, закрученность мысли, каковая исключает всякий личный, самоотдельный, характер впечатления.

Мне кажется что, стремясь к этому последнему результату и через него к последствиям, заключениям, внушениям, умозрениям, или, если ничего лучшего не представится, к простым догадкам, могущим отсюда возникнуть, мы нуждаемся в чем-то вроде умственного коловращения на пятах. Мы нуждаемся в таком быстром вращении всего вокруг центральной точки зрения, что, в то время как мельчайшие подробности исчезают совершенно, даже и более значительные предметы сливаются в одно. Среди исчезающих мелочей, в огляд такого рода, были бы все исключительно земные предметы. Земля рассматривалась бы в ее планетных отношениях только. Человек в таком огляде становится человечеством, человечество членом мировой семьи Разумов. И теперь, прежде чем продолжать собственное наше рассуждение, да будет им позволено попросить у читателя внимания к двум-трем выдержкам из довольно примечательного письма, найденного в закупоренной бутылке, плававшей по Mare Tanebrarum (Море Мраков) — океану хорошо описанному нубийским географом Птоломеем Гефестионом, но мало кем посещаемый в наши дни, за исключением лишь разве трансценденталистов и некоторых других ныряльщиков за причудами. Дата этого письма, признаюсь, удивляет меня совсем особенно, еще больше чем его содержание, ибо, по-видимому, оно было написано в две тысячи восемьсот сорок восьмом году. Что касается тех отрывков, которые я намерен переписать, они, я думаю, говорят за себя сами.

«Знаете ли вы, мой дорогой друг, — говорит пишущий, обращаясь, без сомнения, к какому-то современнику, — знаете ли вы, что вряд ли более чем восемьсот или девятьсот лет тому назад метафизики впервые согласились освободить людей от странной фантазии, что существуют лишь две проходимые дороги к Правде! Уверуйте в это, если вы можете! Представляется, однако, что давно-давно тому назад, в ночи Времени, жил некий турецкий философ по имени Ариес, а по прозванию Тоттль[1189]. [Здесь, возможно, автор письма разумел Аристотеля; наилучшие имена жалостно искажаются в два или три тысячелетия]. Слава этого великого человека зависела главным образом от его доказательства, что чихание есть естественная мера предосторожности, с помощью которой чрезмерно глубокие мыслители получают способность изгонять лишние идеи через нос; но он снискал вряд ли менее ценную знаменитость как основатель или во всяком случае как принципиальный распространитель, того, что было наименовано дедуктивной или априорной философией. Он исходил из того, что он считал аксиомами, или самоочевидными истинами: и ныне хорошо известный факт, что нет истин самоочевидных, действительно, ни в малейшей степени не восстает на его умозрения: для его цели было достаточно, чтобы рассматривавшиеся истины были очевидны. От аксиом он последовал, логично, к выводам. Наиболее прославленными учениками его были некий Туклид, геометр [разумей Эвклид], и некий Кант, голландец, родоначальник того разряда Трансцендентализма, который, лишь с переменою буквы С на К, ныне носит его имя» [1190].

Прекрасно, Ариес Тоттль процветал верховно, до пришествия некоего Хогга[1191], по прозванию «Эттрикк Пастух», который проповедовал совершенно отличную систему, каковую он наименовал апостериорной или индуктивной. Его план всецело полагался на ощущение. Его приемы были наблюдение, анализ и фальсификация фактов — instantiae Naturae, настоящее Природы, как они иногда назывались аффектированно, — и подведете их под общие законы. Словом, в то время как под способом Ариеса основанием были noumena, в способе Хогга основанием были phenomena; и так велико было восхищение, возбужденное этой последней системой, что, при первом ее введении, Ариес впал во всеобщее пренебрежение. В конце концов, однако, он вновь украсил под собою почву, и ему было

позволено разделить царство Философии с его более современным соперником; ученые удовольствовались воображением всех других состязателей, прошлых, настоящих, и будущих; положили конец всякому спору о данном предмете, издав Мидийский закон, гласящий, что Аристотелевская и Бэконовская дороги суть и по праву должны быть единственно возможные пути к знанию: «Бэконовская», вы должны знать, мой дорогой друг, — добавляет в данном месте автор письма, — это было прилагательное, изобретенное как эквивалент Хогговскому, и в то же время более исполненное достоинства и благозвучия. Теперь я уверяю вас самым положительным образом, — продолжает письмо, — что я изображаю эти обстоятельства честно; и вы можете легко понять, как ограничения, такие нелепые с первого же взгляда, должны были действовать в эти дни, замедляя ход истинного Знания, которое делает свои наиболее важные поступательные движения — как покажет вся История — прыжками, видимо интуитивными. Эти древние идеи осуждали исследование на ползание; а мне не надо внушать вам, что ползание, среди разновидностей передвижения, есть в своем роде вещь первостатейная; но, если черепаха уверена в ноге, должны ли мы на этом основании подрезать крылья орлам? В течение нескольких столетий так велико было ослепление касательно Хогга в особенности, что настоящим образом положен был предел всякому мышлению, собственно так именуемому. Ни один человек не смел высказать истину, которой он чувствовал себя обязанным только перед своей душой. Не представляло важности, была ли истина доказуема как таковая; ибо догматизирующие философы этой эпохи рассматривали только дорогу, при прохождении которой, как проповедовали, она была достигнута. Конец, для них, вовсе не был обстоятельством какой-нибудь важности: «Средства! — вопили они, — взглянем на средства!» — и если при рассмотрении средств они оказывались не подходящими ни под категорию Хогга, ни под категорию Ариеса (что означает «баран»), что ж, тогда ученые не шли далее, но, называя мыслителя глупцом и в виде наложения клейма давая ему прозвище «теоретика», впредь уже не желали иметь дела ни с ним, ни с его истинами. Теперь, мой милый друг, — продолжает автор письма, — нельзя утверждать, чтобы через ползучую систему, исключительно усвоенную, люди могли достичь максимального количества истины, даже в каком-либо длинном ряде веков; ибо

подавление воображения такое зло, которое не уравновешивается даже абсолютною достоверностью этих улиточных ходов. Но их достоверность была очень далека от абсолютной. Ошибка наших предков была совершенно схожею с ошибкою того мудреца премудрого, который воображает, что он необходимо должен видеть предмет тем более четко, чем более близко держит его к глазам. Они ослепляли себя, кроме того, неосязаемым щекочущим шотландским нюхательным табаком подробностей; и таким образом, восхваленные факты хоггистов отнюдь не всегда были фактами — обстоятельство малой важности, если бы не допущение, что они всегда таковыми были. Однако жизненная зараза бэконизма — самый прискорбный источник ошибки здесь — заключалась в его наклонности швырять власть и почитание в руки людей просто воспринимающих, в руки этих пескарей среди тритончиков, микроскопических ученых, откапывателей и разносчиков мелочных фактов, по большей части из области физического знания, — фактов, которые они кромсали и продавали по мелочам за одну и ту же самую цену на проезжей дороге; их ценность зависела, как предполагалось, просто от факта их фактичности, без отношения к их применимости или неприменимости, в развитии тех конечных и единственно не подложных фактов, что называются Законом.

На лице земном, — продолжает это письмо, «никогда не существовало лицемеров и тиранов более несносного, более нестерпимого разряда, нежели эти индивидуумы, внезапно, таким образом, вознесенные хогговской философией до ситуации, к которой они вовсе не подходят, эти персоны, перенесенные из кухонных судомоен в гостиные Знания и из чуланов на кафедры. Их символ веры, их текст и их проповедь заключались, равно, в одном слове „факт“ — но по большей части, они даже не знали смысла одного этого слова. Что до тех, кто дерзал тревожить их факты, с целью привести их в порядок и воспользоваться ими, ученики Хогга обращались с ними без милосердия. Все попытки обобщения встречались немедленно словами: „теоретический“, „теория“, „теоретик“ — всякая мысль, словом, прямо воспринималась ими как личное им оскорбление. Разрабатывая Естествознание во исключение Метафизики, Математики, и Логики, многие из этих философов бэконовского рода — одномысленные, однобокие и одноногие — были

более жалостно беспомощны, более жалко невежественны, перед лицом всех постижимых целей знания, чем самый безграмотный мужик, который доказывает, что он знает, по крайней мере, что-нибудь, допуская, что он не знает совершенно ничего.

И наши предки не имели никаких лучших оснований толковать о достоверности, когда следовали, в слепом доверии, по априорному пути аксиом, или пути Барана. В бесчисленных пунктах этот путь был вряд ли так прям, как бараний рог. Простая истина заключается в том, что Аристотелевцы воздвигали свои замки на основании гораздо менее надежном, чем воздух; ибо такие вещи как аксиомы никогда не существовали и никогда не могут существовать вовсе. Чтобы не видеть этого или хотя бы не заподозрить, они должны были быть, на самом деле, весьма слепыми; ибо даже в их собственное время многие из их давно допущенных „аксиом“ были оставлены: например: „ex nihilo nihil fit“, или „вещь не может действовать там, где ее нет“, или „гнет антиподов“, или „тьма не может происходить из света“. Эти и многочисленные подобные положения, первоначально принятые без колебания, как „аксиомы“, или не отрицаемые истины, были, даже в период, о котором я говорю, рассматриваемы как совершенно неприемлемые: сколь же нелепо было со стороны этих людей упорствовать на необходимости опираться, как на незыблемом, на том основании, изменчивость которого столь много раз явила себя!

Но, даже благодаря свидетельству, доставляемому ими самими против них же самих, легко уловить этих априорных резонеров в грубейшей нерезонности, легко показать бесплодность — неосязаемость их аксиом вообще. Передо мною лежит, — нужно заметить, что мы продолжаем слова письма, — передо мной сейчас лежит книга, напечатанная приблизительно тысячу лет тому назад. Грамотник удостоверяет меня, что это решительно умнейшая древняя книга по данному предмету, каковой есть Логика. Автор, который был весьма ценим в свое время, был некто Миллер или Милль; о нем рассказывают, отмечая это как обстоятельство некоторой важности, что он обыкновенно ездил верхом на мельничной лошади, которую он называл Иеремия Бентам; но заглянем в самую книгу.

Способность или неспособность понимать, говорит мистер Милль, весьма уместно, — ни в каком случае не может быть принята как мерило аксиомной истины». Но что это осязательный трюизм, не

будет отрицать никто, владеющий здравым смыслом. Не допустить данное положение, это значит подсказывать обвинение в переменчивости, взводимое на саму Истину, коей самый титул есть синоним Стойкого. Если способность понимать брать как мерило Истины, тогда истина для Давида Юма была бы очень редко истиной для Иосифа; и девяносто девять сотых того, что не отрицаемо на Небе, было бы доказуемо как ложность на Земле. Итак, положение мистера Милля основательно. Я не могу принять, чтобы оно было аксиомой; и это просто потому, что я показываю, что никаких аксиом не существует; но с тонким ограничением, которое не может быть придирчиво отвергнуто даже самим мистером Миллем, я готов принять, что, если какая-нибудь аксиома существует, тогда положение, о котором мы говорим, имеет полнейшее право быть рассматриваемо как аксиома, — что более абсолютной аксиомы нет — и, следственно, каждое последующее положение, которое вступит в столкновение с этим, первично выставленным, должно быть или ложным в самом себе — то есть, не аксиомой, — или, если допустить его аксиомность, должно сразу уничтожать и себя и предшественника своего.

А теперь — логикою самого их возвестителя — распробуем какую-нибудь из возвещенных аксиом. Даруем мистеру Миллю наилучшую игру. Не будем искать заурядного розыгрыша. Мы выберем для рассмотрения не аксиому заурядную — не аксиому того, что столь же нелепо, сколь просто подразумеваемо (он определяет — как класс второразрядный — как будто какая-нибудь положительная истина через определение может стать более или менее положительной истиной), — мы выберем, говорю я, не аксиому бесспорности, столь спорной, как имеющаяся быть найденной у Эвклида. Мы не будем говорить, например, о таких положениях, как то, что две прямые линии не могут замыкать пространство, или что целое больше, чем какая либо из его частей. Мы доставим логизирующему все преимущества. Мы сразу приступим к положению, которое он рассматривает как верховную высь бесспорности — как квинтэссенцию аксиомной неотрицаемости. Вот: — «Противоречия не могут быть оба верны — то есть не могут сосуществовать в природе». Здесь мистер Милль разумеет, например, — и я даю самый веский постижимый пример, — что какое-нибудь дерево должно быть или деревом или не деревом, что оно не

может быть в одно и тоже самое время деревом и не деревом: все это вполне разумно само по себе и примечательно в качестве аксиомы, пока мы не сопоставим это положение с аксиомой, на которой настаивалось за несколько страниц перед этим; другими словами — словами, которые я уже ранее употреблял, — пока мы не распробуем это логикою собственного возвестителя аксиом. «Дерево, — уверяет мистер Милль, — должно быть деревом или не деревом». Прекрасно: а теперь, да будет мне позволено спросить его почему. На этот маленький вопрос есть только один ответ — я зову любого из живущих изобрести другой. Единственный этот ответ таков: — «Потому что мы находим это невозможным понять, что дерево может быть чем-нибудь кроме дерева или не дерева». Вот, повторяют, единственный ответ мистера Милля — он не будет притязать на внушение другого; и, однако же, согласно с собственным его показанием, его ответ ясно есть вовсе не ответ — ибо не потребовал ли он уже от нас допустить, как аксиому, что способность или неспособность понять ни в каком случае не может быть принята как мерило аксиомной истины? Таким образом, вся — абсолютно вся его аргументация — на море без руля. Пусть не указывают, что исключение из общего правила должно быть сделано в тех случаях, где «невозможность понять» столь особливо велика, как когда нас призывают понять, что дерево есть и дерево и не дерево. Пусть не пытаются, говорю я, настаивать на такой глупости; ибо, во-первых, нет степеней «невозможности», и таким образом, никакое невозможное представление не может быть более особливо невозможным, чем другое невозможное представление: во-вторых, мистер Милль сам, без сомнения, — после окончательного рассмотрения самым четким и самым основательным образом, — устранил всякую возможность исключения — взнесенностью своего положения, что ни в каком случае способность или неспособность понять не может быть принята как мерило аксиомной истины; в-третьих, если бы даже исключения были вообще допустимы, нужно показать, каким образом какое-либо исключение допустимо здесь. Что дерево может быть сразу и деревом и не деревом, это мысль, которую ангелы или дьяволы могут принять и которую, без сомнения, многие из земных бедламитов или трансценденталистов принимают.

Но если я ссорюсь с этими древними, — продолжает автор письма, — это не столько по причине прозрачной легковесности их логики — которая, говоря на чистоту, была безосновной, ничего не стоящей и совершенно фантастической, — сколько по причине их широковещательного и напыщенного возбранения всех других дорог к Истине, кроме двух узких и кривых тропинок — по одной ползти, по другой волочиться, — каковыми, в своем невежественном извращении, они осмеливались тюремно ограничить Душу — Душу, которая ничего так не любит, как парить в тех областях безграничной интуиции, внутрезоркости, которые столь крайне не знают пути.

Между прочим, дорогой мой друг, не очевидность ли это умственного рабства, наложенного на этих лицемерных людей их Хогами и Рамами[1192], что, несмотря, на вечную болтовню их ученых о дорогах к Истине, никто из них не наткнулся, хотя бы случайно, на то, что мы воспринимаем столь четко как самую широкую, самую прямую, и наиболее удобную из всех путей-дорог — большую проезжую дорогу, — великолепный торный путь Сообразного? Не удивительно ли, что они опустили вывести из дел Бога то жизненно важное соображение, что совершенная сообразность, согласование не может быть ничем иным, как абсолютною истиной? Как ясно, как быстро шествие наше вперед, после запоздалого возвещения этого положения! С помощью него исследование было вырвано из рук подземных кротов и отдано как долг, скорее чем как задача, истинным — единственно истинным — мыслителям, людям, соединяющим общую образованность с пламенным воображением. Эти последние, наши Кеплеры, наши Лапласы — «предаются умозрениям», «строят теории», — это суть точные термины; не можете ли вы вообразить вопль презрения, которым бы их встретили наши предки, если бы им было возможно заглянуть через мое плечо, пока я пишу? Кеплеры, повторяю я, предаются умозрениям, теориям — и их теории лишь исправляются (сводятся, просеиваются — очищаются мало-помалу от мякины несообразности), пока наконец они не являют себя как незагроможденная Сообразность, Согласованность, — сообразность, которую и глупейший допустит, ибо эта сообразность есть абсолютная и бесспорная Истина.

Я часто думал, друг мой, что это должно было весьма озадачить данных догматиков тысячу лет тому назад, определить, идя по какой из

двух прославленных дорог, криптограф достигает разрешения самых сложных шифров — или по какой из них Шампольон привел человечество к тем важным и бесчисленным истинам, которые в течение столь многих столетий лежали схороненными среди фонетических иероглифов Египта. В особенности не причинило ли бы этим лицемерам кое-каких хлопот определить, по какой из их двух дорог была достигнута самая важная и возвышенная из всех их истин — факт тяготения? Ньютон вывел эту истину из законов Кеплера. Кеплер допускал, что эти законы он угадал, — эти законы, исследование которых открыло величайшему из британских астрономов это правило, основу всякого (существующего) физического правила, заходя за которое, мы вступаем сразу в туманное царство Метафизики. Да! Эти жизненные законы Кеплер угадал — то есть он вообразил их. Если б его спросили, дедуктивною или индуктивною дорогой он дошел до них, его ответ мог бы гласить: «я ничего не знаю о дорогах — но я знаю сложную машину Вселенной. Вот она. Я ухватил ее моею душой — я достиг до нее простою силой интуиции». Увы, бедный невежественный старик! Не мог ли бы какой-нибудь метафизик сказать ему, что то, что он назвал «интуицией», было лишь убеждением, получившимся из дедукций или индукции, поступательный ход которых был столь теневой, что ускользнул от его сознания, увернулся от его рассудка или посмеялся над его способностью выражения? Этакая жалость, что какой-нибудь «моральный философ» не просветил его насчет всего этого! Как бы это утешило его на смертном его одре, если бы он узнал, что вместо того, что он шел интуитивно и, таким образом, неблагопристойно, он, в действительности, поступил совсем законно и соблюл полный декорум — то есть двигался по хогговскому, или, по крайней мере, по рамовскому в обширные чертоги, где скрываются, мерцая, не хранимые и доселе нетронутые смертной рукой, не узренные смертным оком, непогубимые и бесценные тайны Вселенной!

Да, Кеплер был существенным образом теоретик; но этот титул, ныне столь священный, был в эти древние времена означением крайне презрительным. Это только теперь люди начинают ценить того божественного старца — сочувствовать пророческой и поэтической рапсодии его вечно-памятных слов. Что до меня, — продолжает неизвестный автор письма, — «я горю священным огнем, когда я

только думаю о них, и чувствую, что я никогда не устану их повторять», — В заключение этого письма да будет нам дано истинное наслаждение переписать их еще раз: «Я не беспокоюсь о том, будет ли читаться мое произведение ныне или потомством. Я могу столетие подождать читателей, если сам Бог шесть тысяч лет ждал одного зрителя. Я ликую. Я похитил золотую тайну египтян. Я хочу услаждаться моим священным исступлением».

Здесь кончаются мои выдержки из этого весьма необъяснимого и, быть может, несколько дерзкого послания; и, быть может, было бы безумием пояснять, в каком-либо отношении, химерические, чтобы не сказать революционные, фантазии автора — кто бы он ни был, — фантазии, столь резко враждующие с благопринятыми и благоустановленными мнениями этого века. Приступим же опять к законному нашему тезису — Вселенной.

Этот замысел допускает выбор между двумя способами рассуждения: мы можем восходить или исходить. Начиная с нашей собственной точки зрения, с Земли, на которой мы стоим, мы можем перейти к другим планетам нашей системы, оттуда к Солнцу, оттуда к нашей системе, рассматриваемой собирательно, и оттуда, через другие системы, неопределенно вовне; или, начиная на высоте с какой-нибудь точки, так определенной, как мы это можем сделать или вообразить, мы можем нисходить до обиталища Человека. Обычно, то есть в заурядных рассуждениях по астрономии, усвоен, с некоторыми оговорками, первый из двух этих способов: это на основании того очевидного довода, что раз астрономические данные только, и первоосновы, являются предметом исследования, таковая цель наилучше достигается при поступательном шествии от наиболее известного, ибо близкого, впредь до точки, где всякая достоверность теряется в отдаленном. Для моей настоящей цели, однако, для того, чтобы сделать ум способными получить, как бы издали и с одного взгляда, отдаленное представление самоотдельной Вселенной, — ясно, что нисхождение от малого к великому — до крайних пределов от средоточий (если б мы могли установить какое-нибудь средоточие), — к концу от начала (если б мы могли вообразить какое-нибудь начало), было бы путем предпочтительным, ежели бы не трудность, если не невозможность, представить этим путем неастрономически мыслящему картину сколько-нибудь постижимую касательно таких

соображений, которые включены в количество — то есть, в число, величину, и расстояние.

Но отчетливость — понимаемость во всех отношениях — есть первичная черта в общем моем замысле. В предметах важных лучше быть в доброй мере многословным, нежели, хоть сколько-нибудь темным. Неясность есть качество несоприсутствующее в каком-либо предмете самом по себе. Все сходно, в легкости понимания, для того, кто приближается к чему-нибудь по соразмеренным — в должной степени — ступеням. Лишь потому, что, тут и там, забывчиво пропустили ступеньку на нашей дороге к дифференциальному исчислению, оно не столь же совершенно просто, как какой-нибудь сонет мистера Соломона Сисо.

Итак, чтобы не допускать никакой возможности для лжепонимания, я считаю благопригодным говорить так, как если бы даже наиболее явные очевидности, относящиеся к астрономии, были неизвестны читателю. Сочетая два способа рассуждения, на которые я указывал, я задаюсь целью воспользоваться выгодами, свойственными каждому, и совсем особенно — повторением частностей, которое будет неизбежным, как следствие замысла. Начиная с нисхождения, я оставлю для возвращения вверх те необходимые соображение о количестве, на которые намек был уже сделан.

Начнем же сразу с этого самого простого из слов — «Бесконечность». Это слово, так же как слова «Бог», «дух», и некоторые другие выражения, коих равнозначащие существуют на всех языках, отнюдь не есть выражение какой-нибудь мысли, а лишь некое усилие, устремленное к ней. Оно есть замена возможной попытки невозможного понятия. Человек нуждался в означении, которым мог бы указать на направление этого усилия — облако, за которым находился навсегда невидимый предмет его попытки. Кратко говоря, требовалось слово, с помощью которого одно человеческое существо могло бы сразу вступать в соотношение с другим человеческим существом и с известным устремлением человеческого разума. Из такой потребности возникло слово «Бесконечность»; оно изображает, таким образом, лишь мысль некоторой мысли. Что касается этой бесконечности, ныне рассматриваемой, — бесконечности пространства, — мы часто слышим, как говорится, что «ум допускает эту мысль, соглашается на нее, принимает ее — по причине большей

трудности, которая сопровождает понятие границы». Но это просто-напросто одна из тех фраз, которыми даже глубокие мыслители, с незапамятных времен, при случае с удовольствием обманывают самих себя. Закорючка скрыта в слове «трудность». «Ум, — говорят нам, — „принимает мысль о безграничном в силу большей трудности, которую он находит в том, чтобы принять мысль об ограниченном пространстве“. Но, если бы данное предложение было лишь честно выражено, его бессмыслица сразу сделалась бы прозрачной. Ясно, что в данном случае существует не простая трудность. Задуманное утверждение, если его выразить согласно его замыслу, и без софистики, будет гласить: — „Ум допускает мысль о безграничном, в силу большей невозможности принять мысль об ограниченном пространстве“.

Сразу должно быть очевидно, что тут не вопрос о двух утверждениях, между относительною вероятностью которых ум призван выбирать, — и не о двух аргументах идет речь, коих относительная пригодность должна быть определена, — разговор идет о двух понятиях прямо противоречивых, и каждое из двух понятий открыто признано невозможным, и предполагается, что одно из них разум способен принять по причине большей невозможности принять другое. Выбор делается не между двумя трудностями: воображают просто-напросто, что он должен быть сделан между двумя невозможностями. Но, что до первого, там есть степени, в последнем их нет — как в точности на это уже указал наш заносчивый автор письма. Задача может быть более или менее трудной; но она или возможна, или невозможна — степеней тут нет. Могло бы быть более трудным опрокинуть Анды, нежели муравейник; но не может быть более невозможным уничтожить вещество одного, нежели вещество другого. Человек может подскочить на десять футов с меньшею трудностью, нежели на двадцать, но невозможность того, чтобы он подскочил к Луне, ни чуточки не меньше, чем невозможность его скачка к Сириусу.

Так как все это не отрицаемо; так как выбор, представляющийся уму, должен быть сделан между невозможностями понятия; так как одна невозможность не может быть больше, чем другая; и так как, следственно, одно не может быть предпочтено другому, — философы, которые не только принимают, на упомянутых основаниях,

человеческую мысль о бесконечности, но, на основании такой предположенной мысли, самую бесконечность, — явно стараются доказать, что одна невозможная вещь возможна, если они показывают, что другая вещь — тоже невозможна. Это, скажут, нонсенс — бессмыслица, и, быть может, оно так и есть; поистине, я думаю, что это перворазрядный нонсенс, но я только отказываюсь от всех притязаний, чтобы этот нонсенс был моим.

Однако же самый прямой способ явить ложность философского доказательства в данном вопросе есть простое указание на то касающееся его обстоятельство, которое доселе было совершенно просмотрено, — то обстоятельство, что указанное доказательство содержит в своем предложении и свой довод, и свое опровержение. „Ум побуждаем, — говорят теологи и другие, — допустить Первую Причину превосходящей трудностью, которую он испытывает для допущения причины за причиной без конца“. Закорючка, как и раньше, заключается в слове „трудность“, но здесь — что она хочет поддержать? Первую Причину. Что же есть Первая Причина? Предельное окончание причин. Что же есть предельное окончание причин? Конечность — Конечное. Таким образом, одна закорючка в двух рассуждениях Бог знает сколькими философами была применена, чтобы утверждать сегодня Конечность, а нынче Бесконечность; нельзя ли ее применить для поддержки и чего-нибудь еще? Что касается закорючек, они по крайней мере нестерпимы. Но, чтобы покончить с ними; что они доказывают в одном случае, есть тождественное ничто, которое они доказывают в другом.

Разумеется, никто не предположит, что я препираюсь здесь о безусловной невозможности того, что мы пытаемся указать в слове „Бесконечность“. Моя задача лишь показать безумие попытки доказывать самую Бесконечность или даже понятие о ней каким-либо таким бессвязно бормочущим способом умозаключения, как тот, который обычно применяется.

Тем не менее, как отдельной личности, да будет мне позволено сказать, что я не могу постичь Бесконечность, и, я убежден, не может ни одно человеческое существо. Разум, который не вполне самосознателен, не привык к глядящему внутрь рассмотрению собственных своих сложных действий, нередко заблудится, это верно, и предположит, что он имел представление того, о чем мы говорим. В

усилии составить это представление мы идем шаг за шагом, мы воображаем точку за точкой, еще и еще; и пока мы продолжаем усилие, действительно, может быть сказано, что мы устремляемся к образованию замысленного представления; причем сила впечатления, которое мы, воистину, образуем или образовали, находится в прямом отношении к длительности, в течение каковой мы осуществляем эту умственную попытку. Но прекращая попытку — завершив (как мы думаем) помысел, дав (как мы предполагаем) заключительный удар кисти представлению, мы сразу опрокидываем все сооружение нашей фантазии, успокоившись на какой-нибудь конечной, и потому, определенной, точке. Этого обстоятельства мы, однако, не усматриваем, по причине полного совпадение во времени, между окончательной остановкой на предельной точке и действием прекращения мышления. Пытаясь, с другой стороны, выработать представление ограниченного пространства, мы лишь даем обратный ход тем приемам, которые увлекают нас в невозможность.

Мы верим в некоего Бога. Мы можем верить или не верить в конечное или бесконечное пространство; но наше верование, в таких случаях, более подходящем образом обозначается как вера, и это есть обстоятельство совершенно отличное от того собственно верования — от того умственного верования, — которое предполагает мыслительное представление.

Дело в том, что при указании на какое-либо выражение из того разряда, к которому принадлежит „Бесконечность“ — разряд, служащий для изображения мыслей мысли, — тот, кто имеет право сказать, что он вообще мыслит, чувствует себя призванным не принять какое-нибудь представление, а просто устремить свое умственное зрение к какой-нибудь данной точке на мыслительном небосводе, где находится некая туманность, которой не суждено никогда быть разрешенной. Разрешить ее — на самом деле — он и не делает никакого усилия; потому что быстрым чутьем он постигает не только невозможность, но, поскольку это касается человеческих замыслов, несущественность ее разрешения. Он постигает, что Божество не замыслило ее для того, чтобы быть ей разрешенной. Он видит сразу, что она находится вне человеческого мозга и даже как — если не в точности почему — она находится вне его. Есть люди, я знаю, которые, занимаясь попытками достичь недостижимого, очень легко

приобретают повторным употреблением словоговорения, пускаемого ими в обращение, некоторого рода славу каракатицы за глубину, среди тех мыслителей-мыслящих-что-они-мыслят, для которых темнота и глубина суть синонимы; но тончайшее свойство Мысли — это ее самопостигание; и с некоторою малой игрой слов может быть сказано, что никакой туман разума не в состоянии быть большим, чем тот, который, простираясь до самых пределов мыслительной области, закрывает даже эти самые пределы от постижения.

Теперь будет понятно, что, употребляя слова „Бесконечность Пространства“, я не призываю читателя принять невозможное представление о какой-нибудь абсолютной Бесконечности. Я просто говорю о предельно постижимом протяжении „пространства“, о теневой и колеблющейся области, то сжимающейся, то возрастающей в соответствии с колеблющейся энергией воображения.

До сих пор Звездная Вселенная всегда рассматривалась как совпадающая с Вселенной собственно, как я определил ее в начале этого рассуждения. Прямо или косвенно всегда принималось — по крайней мере с самой зари постижимой астрономии, — что, если бы для нас было возможно достичь какой-нибудь данной точки в пространстве, мы все продолжали бы видеть, со всех сторон вокруг нас, нескончаемую последовательность звезд. Это была незащитимая мысль Паскаля, когда, делая, быть может, самую удачную попытку из всех когда-либо сделанных, для того чтобы перефразировать представление, к которому мы с борьбой устремляемся в слове „Вселенная“, он сказал: „Это есть сфера, центр которой везде, а окружность нигде“. Но хотя это замысленное определение, в действительности, не есть определение Вселенной звезд, мы можем принять его, с некоторой мыслимой оговоркой, как определение (достаточно строгое для всех прикладных целей) собственно Вселенной — то есть Вселенной Пространства. Итак, эту последнюю будем рассматривать как „сферу, центр которой везде, а окружность нигде“. Действительно, в то время как мы находим невозможным вообразить конец, в пространстве, для нас нет никакого затруднения нарисовать себе какое-либо из бесконечности начал. Изберем же как исходную нашу точку Божество. Об этом Божестве, в самом себе, лишь тот не безрассуден, лишь тот не нечестив, кто не возвещает — ничего. „Nous ne connaissons rien, — говорит барон де Бильфельд. — Nous ne

connaissons rien de la nature ou de I'essence, de Dieu: pour savoir ce qu il est il faut eire Dieu meme“. — „Мы не знаем абсолютно ничего о природе или сущности Бога: чтобы постичь то, что он есть, мы должны были бы сами быть Богом“.

„Мы должны были бы сами быть Богом!“ В то время как эти столь поразительные слова еще звучат в моих ушах, я дерзаю, однако, вопросить: что, наше теперешнее неведение Божества, есть ли оно то неведение, на которое душа осуждена вековечно?

Удовольствуемся, однако, предположив сейчас, что Им — по крайней мере теперь Непостижимым, — Им — допуская его как Дух, то есть, как не Вещество (различие, которое для всяких постижимых замыслов будет заменять определение), — Им, существующим как Дух, было создано или сделано из Ничего силою его Воления (в некоторой точке Пространства, которую мы примем за средоточие, в некоторой дали времен, в каковую мы не дерзаем заглянуть, но, во всяком случае, безмерно далекой), — Им, повторяю, предположим, было создано — Что? Это жизненно важная эпоха в наших соображениях. Что мы вправе, что одно мы в праве предполагать как то, что было первично и единственно создано?

Мы достигли точки, где лишь Интуиция, взгляд внутрь, может помочь нам — но да позволено мне будет напомнить мысль, на которую я уже намекал как на единственную, которая может надлежащим образом определить взгляд внутрь. Это не что иное, как убеждение, возникающее из тех наведений или выведений, поступательный ход которых есть настолько теневой, что ускользает от нашего сознания, уклоняется от нашего разума или противоборствует нашей способности выражения. С таким уразумением я ныне утверждаю, что некий взгляд внутрь, совершенно неудержимый, хотя неизъяснимый, понуждает меня к заключению, что то, что Бог первоначально создал, что то Вещество, которое, силою своего Воления, он сделал из своего духа, или из Ничего, не могло быть ничем иным, кроме Вещества в его предельно постижимом состоянии — чего? — Простоты?

Это будет единственным безусловным допущением моего рассуждения. Я употребляю слово „допущение“ в его повседневном смысле; однако же я утверждаю, что даже это мое первоначальное предположение очень-очень далеко на самом деле от того, чтобы быть

действительно простым допущением. Ничто никогда не было более достоверно — никакое человеческое заключение никогда, в действительности, не было более правильно, более строго выведено, — но увы! поступательный ход вывода находится за пределами человеческого рассмотрения — во всяком случае, за пределами выразимости на человеческом языке.

Попытаемся теперь постичь, чем должно было быть Вещество, когда оно находилось или если оно находилось в своем безусловном крайнем состоянии Простоты. Здесь рассудок тотчас улетает к Бесчастичности — к некоторой частице — к одной частице — к частице одного рода — одного свойства — одной природы — одной величины — одной формы — к некоторой частице, поэтому, „без формы и пустоты“ — к частице положительно, частице во всех точках, — к частице абсолютно единственной, самоотдельной, нераздельной и не неделимой только потому, что Он, который создал ее силой своей Воли, может бесконечно менее энергическим проявлением той же самой Воли, само собою разумеющимся образом, разделить ее.

Итак, Единство есть все, что я предрешаю относительно первично созданного Вещества; но я предлагаю показать, что это Единство есть основа изобильно достаточная для того, чтобы объяснить устроение, существующие явления и явно неизбежное уничтожение по крайней мере вещественной Вселенной.

Волением в бытие первичная частица довершила деяние или, более точно, представление Мироздания. Мы обратимся теперь к конечной цели, для которой, как нам надо предположить, Частица созидала — то есть, к конечной цели, насколько наши соображения еще могут делать нас способными видеть ее, — к построению Вселенной из нее, Частицы.

Это построение осуществилось через понуждение первично и потому правильно Единого в неправильное состояние Многих. Действие такого свойства включает в себя противодействие. Рассеяние из Единства включает в себя как условие устремление к возвращению в Единство — устремление неискоренимое, пока оно не удовлетворено. Но об этом я буду говорить более подробно позднее.

Допущение безусловного Единства в первичной Частице включает допущение бесконечной делимости. Итак, предположим, что

Частица лишь не целиком истощена рассеянием в Пространство. Из одной частицы, как из центра, предположим, сферически излучается по всем направлениям — на безмерные, но еще определенные расстояния в первоначально пустом пространстве — известное, невыразимо большое, однако же ограниченное число невообразимых, однако же не бесконечно малых атомов.

Теперь, когда эти атомы так рассеяны, или после того как они рассеяны, какие условия их возможно нам — не предположить, но вывести из рассмотрения как их источника, так и свойства замысла явного в их рассеянии? Так как Единство их источник и отличие от Единства есть свойство замысла, явленное в их рассеянии, мы уполномочены предположить, что это свойство по крайней мере общим образом сохраняется через весь замысел и образует часть самого замысла — то есть мы будем уполномочены помыслить беспрерывные отличия, во всех отношениях, от единичности и простоты происхождения. Но на таких основаниях вправе ли мы вообразить атомы разнородными, несхожими, неравными и неравноотстоящими? Более подробно: должны ли мы считать, что нет двух атомов, которые, при их рассеянии, были бы той же самой природы, или той же самой формы, или той же самой величины, и что, после выполнение их рассеяния в Пространство, должно ли абсолютно неравное отстояние, каждого от каждого, быть помыслено о них всех? При таком распорядке, при таких условиях мы самым легким и немедленным образом понимаем последовательное, наиболее выполнимое приведение в действие, до завершенности, какого-либо замысла, подобного мной указанному замыслу разности из единства — различия из самости — разнородности из однородности — сложности из простоты — словом, предельно возможной множественности отношения из четко безотносительного Единого. Без сомнения, поэтому мы были бы уполномочены принять все мною упомянутое, если бы не размышление, что, во-первых, лишнее действие несовместно с каким-либо Божеским Деянием; и что, во-вторых, предположенная цель, по-видимому, так же легко достижима, когда некоторые из упоминаемых условий опущены в начале, как и тогда, когда все они понимаются немедленно существующими. Я разумею, что некоторые включены в остальные или так мгновенна их последовательность, что различие не может быть оценено. Различие в

величине, например, будет сразу получено через устремление одного атома к другому, в предпочтение к третьему, по причине особого неравного отстояния; что нужно понять как частичные неравные отстояния между центрами количества в соседних атомах различной формы — обстоятельство отнюдь не находящееся в противоречии с равным вообще распределением атомов. Различие рода, кроме того, легко постичь как простое следствие различия величины и формы, беря их, более или менее, слитно; на самом деле, раз Единство Частицы собственно подразумевает абсолютную однородность, мы не можем вообразить атомы, в их рассеянии, отличающимися по роду, не воображая в то же время особое проявление Божеской Воли при испускании каждого атома, для целей совершения в каждом перемены его существенной природы, — мысль настолько фантастичную тем менее можно лелеять, что указанная цель, как это явствует, сполна достижима без такого подробного и тщательного вмешательства. Мы понимаем поэтому в целом, что было бы лишним и, следовательно, не философическим предрешать об атомах, касательно их целей, что-нибудь большее, чем различие формы при их рассеянии, с особым неравным отстоянием после этого, — все другие различия сразу возникают из этих, при самых первых свершениях построения массы, громады; мы, таким образом, устанавливаем Вселенную на чисто геометрическом основании. Конечно, отнюдь не представляется необходимым принимать безусловное различие даже формы между всеми излучившимися атомами — так же как безусловное особое неравное отстояние каждого от каждого. Мы должны только постичь, что нет ни соседствующих атомов схожей формы, ни атомов, которые могут когда-либо сближаться — ранее их неизбежного воссоединения в конце. Хотя непосредственное и беспрерывное устремление разъединенных атомов к возвращению в их правильное единство подразумевается, как я сказал, в их неправильном рассеянии, все же ясно, что это устремление должно оставаться без последствия — стремление и не больше, до тех пор пока рассеивающая энергия, прекращая свое действие, не оставит его, устремление, свободным искать своего удовлетворения. Божеское деяние, однако же, будучи рассматриваемо как определенное и прерванное по выполнении рассеяния, делает нам понятным сразу противодействие — другими

словами, удовлетворимое стремление разъединенных атомов вернуться в Одно.

Но раз рассеивающая энергия устранена и противодействие начало споспешествовать окончательному замыслу — именно, наивозможно большего отношения, — этот замысел подвергается теперь опасности быть несовершенным в частях, благодаря как раз этому самому стремлению к возврату, которое должно осуществлять его выполнение вообще. Множественность есть цель; но нет ничего, дабы удерживать ближайшие атомы от того, чтобы они немедленно не ринулись друг к другу, в силу ныне удовлетворимого устремления, прежде выполнения какой-либо из целей, задуманных во множественности, — и не слились между собою в полное единство; нет ничего, что помешало бы сцеплению различных единичных громад, в различных точках пространства — другими словами, ничего, что противоборствовало бы скоплению различных громад, из коих каждая есть безусловно Одно.

Для действительного и цельного выполнения общего замысла мы видим, таким образом, необходимость в некотором отталкивании с ограниченной способностью — в разделяющем что-то, которое, по устранении рассеивающего Воления, в одно и то же самое время будет допускать приближение и возбранять соединение атомов, позволяя им бесконечно приближаться, в то же самое время возбраняя им положительное соприкосновение, — словом, нечто, имеющее власть до известной грани времен предупреждать их сращение, но не имеющее способности противоборствовать их срастанию в каком-либо отношении или степени. Отталкивающая сила, уже разсмотренная как особливо ограниченная в других отношениях, может быть рассматриваема, повторяю я, как имеющая власть предупреждать безусловное сращение лишь до некоторой известной поры. Если только мы не допустим, что алкание Единства среди атомов осуждено не быть удовлетворенным никогда; если только мы не представим, что то, что имело начало, не будет иметь конца — понятие, которое не может, действительно, быть принято, сколько бы мы ни говорили и ни грезили о том, что мы его принимаем, — мы вынуждены заключить, что воображенное нами отталкивающее влияние уступит в конце концов — под давлением совокупно применяемого Единоустремления, но никогда и ни в какой степени не до тех пор, как, по выполнении

Божеских замыслов, такое совокупное применение совершится естественно, — уступит силе, которая в эту предельную пору будет верховною силой, как раз до требуемых размеров и, таким образом, позволит всемирное оседание в неизбежное, ибо первичное и потому правильное Одно. Условия, имеющие здесь быть примиренными, поистине трудны; мы даже не можем понять возможности их примирения; тем не менее кажущаяся невозможность исполнена блестящих внушений.

Что это отталкивающее нечто действительно существует, мы видим. Человек не применяет и не знает силы достаточной, чтобы привести два атома в соприкосновение. Это есть лишь хорошо установленное положение о непроницаемости вещества. Всякий опыт доказывает его — всякая философия допускает. Замысел отталкивания — необходимость его существования — я попытался показать; но от всякой попытки исследования его природы я благоговейно воздержался; это — на основании внутреннего убеждения, что начальная та основа строго духовна, что она находится в уюте непроницаемом для нашего теперешнего понимания, закутана в рассмотрении того, что ныне, в нашем человеческом состоянии, не может быть рассматриваемо — в рассмотрении Духа в себе. Я чувствую, словом, что здесь вмешался Бог, и здесь только, потому что здесь, и здесь только, узел требовал вмешательства Бога.

На самом деле, между тем как стремление рассеянных атомов к возвращению в Единство будет признано сразу как основное правило ньютоновского тяготения, то, о чем я говорил, как об отталкивающем влиянии, предписывающем границы для (немедленного) удовлетворения того стремления, будет понимаемо как иго, что мы в повседневности называем то теплом, то электричеством, то магнетизмом, являя наше неведение таинственно величественного свойства его этим словесным колебанием в попытках его определить.

Называя его лишь на данное мгновение электричеством, мы знаем, что всякое опытное рассмотрение электричества дало, как конечность, основу или кажущуюся основу разнородности. Только там, где вещи различаются, проявляется электричество; и можно предполагать, что они никогда не различаются там, где оно не развивается, по крайней мере явно. Но этот вывод находится в полнейшем соответствии с тем, до чего я дошел не путем опытным.

Замысел отталкивающего влияния, как я допустил, предупреждает немедленное Единство среди рассеянных атомов; и эти атомы изображены как различные один от другого. Различие есть их природа — их сущность, — совершенно так же как неразличие есть существенное свойство их движения. Итак, когда мы говорим, что попытка соединить два атома вызвала бы усилие, со стороны отталкивающего влияния, предупредить соприкосновение, мы можем с таким же удобством употребить строго обратимое предложение, гласящее что какая-либо попытка соединить какие-либо два различия будет иметь следствием развитие электричества. Все существующие тела, конечно, составлены из этих атомов в близком их соприкосновении, и должны поэтому быть рассматриваемы как простые сборища больших или меньших различий; и сопротивление, оказываемое отталкивающим духом, при попытке соединить какие-либо два подобные сборища, было бы в прямом отношении к двум итогам различий в каждом, выражение чего, вкратце, будет равносильно таковому: количество электричества, развивающегося при сближении двух тел, пропорционально различию между относительными суммами атомов, из коих эти тела состоят. Что нет двух тел абсолютно подобных, это есть простое следствие из всего, что было здесь сказано. Электричество поэтому, существующее всегда, развивается каждый раз, когда какие-нибудь тела приводятся в соприкосновение, но проявляется только тогда, когда приводятся в соприкосновение тела достаточной различности.

К электричеству — продолжая в настоящее время так называть это — мы можем справедливо отнести различные физические проявления света, тепла и магнетизма; но гораздо менее подвержены мы ошибке, приписывая этой, чисто духовной, основе более важные явления жизненности, сознания и Мысли. Касательно данного предмета, однако, я должен здесь помедлить, чтобы указать, что эти явления, наблюдаемые ли вообще или в подробностях, кажутся развивающимися по крайней мере в прямом соотношении с разнородностью.

Отбросив теперь два эти двусмысленные выражения: „тяготение“ и „электричество“, — усвоим более точное определение: „притяжение“ и „отталкивание“. Первое есть тело; второе есть душа: первое вещественная, второе духовная основа Вселенной. Не существует

других основ. Все явления сводимы к одному или другому или к сочетанию обоих. Столь строго это точно, столь целиком доказуемо, что притяжение и отталкивание суть единственные качества, через которые мы воспринимаем Вселенную — другими словами, через которые Вещество выявляется Разуму, — что для всех чисто доказательных целей мы вполне вправе допускать, что вещество существует только как притяжение и отталкивание, что притяжение и отталкивание суть вещество, что нет такого постижимого случая, в котором мы не могли бы употреблять выражение „вещество“ и выражение „притяжение“ и „отталкивание“, взятые вместе, как равноценные и потому обратимые, выражения в логике.

Я только что сказал, что то, что я описал как стремление рассеянных атомов к возвращению в их первичное единство, могло бы быть рассматриваемо как основа ньютоновского закона тяготения; и на самом деле, представится лишь малая затруднительность для такого понимания, если мы взглянем на ньютоновское тяготение в общем оглядев его как на силу, побуждающую вещество отыскивать вещество, то есть когда мы не обращаем внимания на известный modus operandi ньютоновской силы. Общее совпадение удовлетворяет нас; но при ближайшем рассмотрении мы видим в частности многое, что кажется несовпадающим, и многое, в отношении чего совпадение по крайней мере не установлено. Например: ньютоновское тяготение, когда мы думаем о нем в некоторых его проявлениях, вовсе не является, по-видимому, устремлением к единству, но скорее является устремлением всех тел по всем направлениям — сочетание слов, видимо, выражающее устремление к рассеянию. Итак, здесь есть некоторое несовпадение. И еще: когда мы размышляем о математическом законе, управляющем ньютоновским устремлением, мы видим ясно, что никакого совпадения не выявилось относительно modus operandi, по крайней мере между тяготением, известным как существующее, и тем, по видимости, простым и прямым устремлением, которое я допустил.

В действительности, я дошел до такой точки, когда будет надлежащим усилить мою позицию, осуществив тот же прием обратным его ходом. Доселе мы рассуждали a priori, исходя из отвлеченного соображения Простоты как того качества, которое наиболее правдоподобно определяет первичное действие Бога.

Посмотрим теперь — что, установленные факты ньютоновского тяготения не доставят ли нам, a posteriori, некоторые законные наведения?

Что гласит ньютоновский закон? Что все тела притягиваются одно к другому с силою, соотносительной квадратам их расстояний. Я умышленно дал, прежде всего, обиходную версию закона; и признаюсь, что в ней, как и в большинстве других обиходных версий великих истин, мы находим мало чего внушающего. Усвоим же теперь более философское словоупотребление: каждый атом каждого тела привлекает каждый другой атом как своего собственного, так и каждого другого тела с силою, которая меняется обратно квадратам расстояний между притягивающим и притягиваемым атомом. Тут, на самом деле, целый поток внушения взрывается в уме.

Но рассмотрим отчетливо то, что Ньютон доказал — согласно с грубо иррациональными определениями доказательства, предписанного метафизическими школами. Он был понужден удовольствоваться указанием, как сполна движения некоторой воображаемой Вселенной, состоящей из притягивающих и притягиваемых атомов, подчиненных закону, который он возвестил, совпадают с движениями действительно существующей Вселенной, поскольку она подлежит нашему наблюдению. Таков был итог его доказательства, то есть таков был его итог, согласно с условным лицемерием „философии“. Успехи его нагромоздили довод на довод — такие доводы, какие допускаются здравым рассудком, но доказательство самого закона, — упорствуют метафизики, — не было усилено ни в какой степени. „Зрительное, физическое доказательство“ притяжения здесь, на Земле, в согласовании с ньютоновской теорией, было, однако же, наконец доставлено к великому удовлетворению некоторых из этих умственных ползучек. Это доказательство возникло попутно и случайно (как возникли почти все важные истины) из попытки удостовериться в средней плотности Земли. В знаменитых опытах Маскелина, Кэвендиша и Байи, преследовавших данную Цель, притяжение громады горы было увидено, почувствовано, смерено и найдено математически согласующимся с бессмертной теорией британского астронома. Но несмотря на это подтверждение того, что ни в каком подтверждении не нуждалось, несмотря на так называемое „подкрепление теории“ так называемым „зрительным и физическим“

доказательством, несмотря на характер этого подкрепления, — мысли относительно тяготения, которые даже действительно философски мыслящие люди не могут не питать в своем уме, и в особенности мысли о тяготении, которых держатся с самодовольствием люди заурядные, проистекают, насколько это видно, большею частью из рассмотрения основы, как они находят ее развитой. Но к чему тяготеет такое частичное рассмотрение, какого рода ошибке дает оно начало? На Земле мы видим и чувствуем только, что тяготение увлекает все тела к центру Земли. Никакой человек в обычных своих путях жизни не мог бы видеть или чувствовать что-нибудь другое, не мог бы постичь, что что-нибудь, где-нибудь имеет беспрерывное тяготеющее устремление в каком-либо другом направлении, кроме как к центру Земли; однако же (за одним исключением, которое будет указано позднее), это достоверность, что все земное (чтобы не говорить теперь о всем небесном) имеет устремление не только к средоточию Земли, но и кроме того — в каждом постижимом направлении.

Далее. Хотя о людях философски мыслящих нельзя сказать, что они заблуждаются с чернью по данному вопросу, они, тем не менее, неведомо для самих себя, позволяют себе быть захваченными чувством обыденной мысли. „Хотя в языческие вымыслы более не верят, — говорит Брайант в своей весьма ученой „Мифологии“, — мы, однако, постоянно забываемся и делаем выводы из них как из существующих действительностей“. Я разумею, что чисто чувственное восприятие тяготения, — как мы испытываем его на Земле, вводя человечество в заблуждение, вовлекает его в фантазии сосредоточивания или обособления его, — всегда заводило к этой фантазии даже самые мощные умы, беспрерывно, хотя и незаметно, уводя их прочь от действительного определения основы; таким образом, возбраняя им, до сего дня, осмотреть хотя беглым оглядом ту жизненную истину, которая находится в направлении диаметрально противоположном — за существенно определительными свойствами основы: каковы суть не свойства сосредоточивания и обособления, но всемирности и рассеяния. Эта „жизненная истина“ есть Единство как источник явления.

Позвольте мне теперь повторить определение тяготения: каждый атом каждого тела привлекает каждый другой атом как своего собственного, так и каждого другого тела, с силою, которая меняется

обратно квадратам расстоянии между притягивающим и притягиваемым атомом.

Здесь читатель да помедлит со мною на мгновение в созерцании чудесной, несказанной, совершенно невообразимой сложности отношения, подразумеваемой в той достоверности, что каждый атом притягивает всякий другой атом, — подразумеваемой просто в этой достоверности притяжения, без отношения к закону, или способу, которым притяжение проявляется, подразумеваемой просто в том, что каждый атом притягивает всякий другой атом вообще, в запутанности атомов столь многочисленных, что те атомы, которые составляют одно пушечное ядро, вероятно, превышают, в простом вопросе числа, все звезды, составляющие строение Вселенной.

Если бы мы, просто-напросто, открыли, что каждый атом стремится к одной какой-нибудь излюбленной точке — к какому-нибудь особливо притягательному атому, — мы и тогда натолкнулись бы на открытие, которое само по себе с достаточностью могло бы заполнить наш ум. Но что именно призывают нас постичь в действительности? Что каждый атом притягивает — сочувствует тончайшим движениям всякого другого атома, и каждому и всем в одно и то же самое время, и навсегда, и согласно с определенным законом, сложность которого, даже будучи рассматриваема только сама по себе, крайне превышает захват человеческого воображения. Если я предложу удостовериться во влиянии одной пылинки в солнечном луче на ее соседнюю пылинку, я не могу выполнить мой замысел, не сочтя и не взвесив предварительно все атомы во Вселенной и не определив точное положение их всех в такой-то особенный их миг. Если я дерзну переместить, даже на миллиардную часть дюйма, микроскопическое пятнышко пыли, лежащее сейчас на кончике моего пальца, то каково есть свойство этого поступка, на который я дерзнул? Я совершил деяние, которое сотрясает Луну на ее пути, которое заставляет Солнце не быть более Солнцем и которое меняет навсегда участь множественных мириад звезд, что мчатся и пылают в величественном присутствии их Творца.

Такие мысли — понятия такие, как эти, — немыслеподобные мысли, мечтания души скорее, чем заключение или даже соображение разума, — мысли, повторяю я, такие как эти, суть единственные, какие

мы можем надеяться успешно поддерживать в нашем усилии ухватить великую основу — Притяжение.

Но с такими мыслями, с таким видением чудесной сложности Притяжения, четко возникшим в уме, пусть лицо правоспособное мыслить о подобных предметах прикоснется к задаче вообразить какую-нибудь основу наблюденных явлений — условие, из которого они возникают.

Столь очевидное братство среди атомов не указывает ли на общность происхождения? Сочувствие столь всегосподствующее, столь неискоренимое и столь сполна безотносительное, не внушает ли мысли об общем отчестве как его источнике? Одна крайность не побуждает ли разум к другой? Бесконечность деления не приводит ли к крайности неделимости? Полнота сложного не указывает ли на совершенство простого? Не то, что атомы, как мы их видим, разделены или что они сложны в своих отношениях, но что они непостижимо разделены и несказанно сложны, — на что я теперь указываю, это на крайность их условий, скорее чем на самые условия. Словом, не потому ли, что атомы были, в какую-то отдаленную пору времени, даже более чем вместе, не потому ли, что первично, а следовательно, закономерно, они были Одно, — теперь во всех обстоятельствах, во всех точках, во всех направлениях, всеми способами приближения, во всех отношениях и при всех условиях они с борьбою устремляются назад к этому абсолютному, к этому безотносительному, к этому безусловному Одному? Кто-нибудь может спросить меня здесь: „Почему, раз атомы с борьбою стремятся назад к Одному, мы не видим и не определяем Притяжение как „просто общее стремление к какому-нибудь средоточию?“ Почему в особенности ваши атомы — атомы, которые вы описываете как излученные из одного средоточия, — сразу, по прямой линии, не устремляются назад к центральной точке их происхождения?“

Я отвечаю, что они устремляются — как это будет явственно показано; но что причина, их к этому побуждающая, совершенно безотносительна до центра как такового. Они все стремятся прямолинейно к некоторому средоточию, по причине шарообразности, с которою они были излучены в пространство. Каждый атом, образуя один из вообще единообразных шаров атомов, находит, конечно, больше атомов в направлении к средоточию, нежели в каком-либо

ином направлении, и в этом направлении он устремлен, но не потому так устремлен, что центр есть точка его происхождения. Не около какой-нибудь точки атомы собираются. Не с какой-нибудь местностью, в прямом ли, или отвлеченном смысле, связаны они, как я предполагаю. Ничто подобное местоположению не может быть помыслено как их происхождение. Их источник лежит в основе, в Единстве. Это — их утраченный родитель. Этого они ищут всегда, немедленно, по всем направлениям, где бы оно ни могло быть найдено, хотя бы частично, умиротворяя таким образом, в некоторой мере, неискоренимое устремление, находящееся на пути к совершенному его удовлетворению в конце. Из всего этого следует, что какая-либо основа, которая будет соответственной для объяснения закона или modus operandi притягательной силы вообще, объяснит этот закон в частности, то есть какая-либо основа, которая покажет, почему атомы должны стремиться к их общему центру излучения с силою, обратно пропорциональной квадратам расстояний, может быть допустима как удовлетворительно объясняющая в то же самое время устремление, согласно тому же самому закону, этих атомов каждого к каждому, потому что устремление к средоточию есть просто устремление каждого к каждому, а не какое-либо устремление к средоточию как к таковому. Таким образом, может быть видимо, в то же самое время, что установление моих положений не включало бы никакой необходимости видоизменения в выражениях ньютоновского определения Тяготения, которое гласит, что каждый атом притягивает каждый другой атом и т. д. — и возглашает лишь это; но (все при том условии, что мое положение, в конце, допустимо представляется ясным) некоторого заблуждения можно было бы при случае избегнуть в дальнейших успехах Знания, если б было усвоено более полное словоупотребление, например: „Каждый атом устремляется ко всякому другому атому… и пр., с силою… и пр.: общее следствие есть устремление всех, с силой подобною, к некоторому общему средоточию“.

Обратный ход наших рассуждений привел нас, таким образом, к тождественному заключению; но в то время как в одном рассуждении взгляд внутрь был исходной точкой, в другом он был целью. Начиная первое странствие, я мог только сказать, что, с неудержимым внутренним умозрением, я чувствую, что Простота была

отличительным свойством первичного действия Бога, кончая второе, я могу только возгласить, что с неудержимой внутрезоркостью я постигаю, что Единство было источником наблюденных явлений ньютоновского Тяготения. Таким образом, согласно школам, я не доказываю ничего. Так да будет: мой замысел лишь внушать и убеждать через внушение. Я с гордостью ведаю, что существуют некоторые из наиболее глубоких и тщательно осмотрительных человеческих разумов, которые не могут не удовольствоваться изобильно моими внушениями. Для этих разумов — как для моего собственного — нет математического доказательства, каковое могло бы доставить наименьший добавочный истинный довод великой Истины, которую я выдвинул — Истину Первоначального Единства как источника, как основы Всемирных Явлений. Что касается меня, я не так уверен в том, что я говорю и вижу, — я не так уверен в том, что мое сердце бьется и что моя душа живет, — в том, что завтрашнее солнце взойдет — некое вероятие, которое еще заключается в Будущем, — даже и на тысячную часть я не притязаю быть в этом так уверенным, как я уверен в невозвратимо прошлом Событии, что Все и Все, и Все Мысли о Всем и Всех, с их несказанной Множественностью Отношения, возникли сразу в бытие из первоначального и безотносительного Единого.

Касательно ньютоновского Тяготения, доктор Николь, красноречивый автор „Архитектуры Неба“, говорит: „Поистине, у нас нет основания предполагать, что этот великий Закон, как он ныне возвещен, есть конечная или простейшая и потому всемирная и всеобъемлющая формула некоего великого Устава. Способ, которым его напряженность уменьшается, с элементом расстояния, не имеет вида конечной основы, каковая всегда принимает простоту и самоочевидность тех аксиом, которые составляют основу геометрии“.

Но, совершенно верно, что „конечные основы“, в общем понимании слов, всегда принимают простоту геометрических аксиом (что до „самоочевидности“, таковой вещи не существует), но эти основы ясно не „конечные“; другими словами, то, что мы привыкли называть основами, не суть основы, собственно говоря, — раз может быть лишь одна только основа, Воление Бога. Мы не имеем никакого права предполагать, таким образом, опираясь на то, что мы наблюдаем в правилах, которые мы сумасбродно пожелали именовать „основами“,

что-нибудь вообще касательно отличительных свойств основы в точном смысле. „Конечные основы“, о которых говорит доктор Николь как об отличающихся геометрической простотой, могут иметь и имеют этот геометрический лик, будучи частью и частицей некоторой обширной геометрической системы, и, таким образом, системы самой простоты, в которой, тем не менее, истинно конечная основа есть, как мы знаем, завершенность сложного, то есть непостижимого, ибо не есть ли это Духовная Способность Бога?

Я привел, однако, замечание доктора Николя не столько, чтобы оспаривать его философию, сколько чтобы обратить внимание на то обстоятельство, что, меж тем как все люди допустили некоторую основу как существующую за законом Тяготения, никакой попытки еще не было сделано, дабы указать, что в частности есть эта основа, — если мы исключим, быть может, случайные фантастические усилия отнести это к магнетизму, или месмеризму, или сведенборгианизму, или трансцендентализму, или какому-нибудь равно пленительному изму того же разряда и неизменно покровительствуемому одним и тем же разрядом людей. Великий ум Ньютона, в то время как он смело ухватил самый Закон, отпрянул от основы Закона. Более подвижная и, по крайней мере, более объемлющая, если не более терпеливая и глубокая, проницательность Лапласа не имела мужества пойти здесь на приступ. Но колебание со стороны двух этих астрономов, быть может, вовсе не так трудно понять. Они, так же как все первоклассные математики, были только математиками — их разум, по крайней мере, отличается твердо выраженной математико-физической окраской. То, что не находится явственно в области физики или математики, кажется им как Не-Сущность, или Тень. Однако же мы можем весьма удивляться, что Лейбниц, который был примечательным исключением из общего правила в этом отношении, и умственный нрав которого был своеобразным смешением математического с физико-метафизическим, не исследовал сразу и не установил спорную точку. Ньютон ли, или Лаплас, отыскивая основу и не находя никакой физической основы, должны были мирно успокоиться на заключении, что таковой абсолютно нет; но почти невозможно вообразить, что Лейбниц, истощив в своих изысканиях физические области, не шагнул сразу, смело и с чаянием, в свои старые знакомые уголки в царстве Метафизики. Здесь, на самом деле, как это ясно, он должен был

дерзнуть отыскивать сокровище — и если в конце концов он не нашел его, это, быть может, оттого, что его вожатый, Воображение, не был достаточно возросшим или достаточно воспитанным, дабы направить его на надлежащую дорогу.

Я только что заметил, что, на деле, были некоторые смутные попытки отнести Тяготение к каким-нибудь, очень неопределенным, измам. Эти попытки, однако, хотя рассматриваемые как смелые, и справедливо так рассматриваемые, заходили не дальше как до общности — простейшей общности — ньютоновского закона. Его modus operandi никогда, в пределах моего ведения, не был изъяснен, и не было сделано попытки в этом направлении. С естественным поэтому страхом, что меня с самого начала примут за сумасшедшего, и с боязнью, что это случится прежде, чем я смогу надлежащим образом явить мои положения перед глазами тех, кто только и правоспособен о них решить, возглашаю я здесь, что modus operandi Закона Тяготения — вещь чрезвычайно простая и совершенно изъяснимая, то есть когда мы будем совершать наше приближение к ней с должною постепенностью и в верном направлении, когда мы будем рассматривать его с надлежащей точки зрения.

Достигаем ли мы мысли о безусловном Единстве, как источнике Всего, через рассмотрение Простоты как наиболее вероятного отличительного свойства первичного Бога; приходим ли мы к ней через рассмотрение всемирности отношения в явлениях тяготения; или мы достигаем ее как следствия обоюдного содействия, доставляемого обоими приемами; все же, самая мысль, если вообще принимать ее, принимается в неразрывной связи с другой мыслью, — с мыслью о состоянии звездной Вселенной, как мы ныне постигаем ее, то есть беря состояние безмерного рассеяния через пространство. Но связь между двумя этими мыслями — единство и рассеяние — не может быть установлена иначе, как через принятие третьей мысли — представление излучения. Раз абсолютное Единство принимаемо за средоточие, существующая Вселенная звезд есть следствие излучение из этого средоточия.

Но законы излучения известны. Они суть часть и частица сферы. Они принадлежат к разряду неоспоримых геометрических свойств. Мы говорим о них, „они истинны, они очевидны“. Спрашивать, почему они истинны, значило бы спрашивать, почему истинны

аксиомы, на которых основана доказательность. Ничто не доказуемо, строго говоря; но если что-нибудь может быть доказуемо, тогда свойства — законы, о которых идет речь, — доказаны.

Но эти законы — что они возглашают? Излучение — как, какими ступенями шествует оно вовне из средоточия?

Из светового средоточия Свет исходит излучением, и количества света, получаемые на какой-нибудь данной плоскости, при допущении, что эта плоскость меняет свое положение, делаясь то ближе к средоточию, то дальше от него, будут уменьшаться в той же самой соразмерности, как квадраты расстояний плоскости от светового тела будут увеличиваться; и будут увеличиваться в той же самой соразмерности, как эти квадраты будут уменьшаться.

Выражение закона может быть, таким образом, обобщено: число световых частиц (или, если такое словоупотребление предпочтительнее, число световых впечатлений), получаемых на подвижной плоскости, будет обратно пропорционально квадратам расстояний плоскости. Обобщая еще, мы можем сказать, что рассеяние, разбрасывание — словом, излучение — прямо пропорционально квадратам расстояний, например: на расстоянии B, от светового средоточия A, известное число частиц рассеяно так, что оно занимает поверхность B. Значит, на двойном расстоянии, то есть, C, световые частицы будут настолько дальше рассеяны, что займут четыре такие поверхности: на тройном расстоянии, то есть на D, они будут настолько дальше отлучены, что займут девять таких поверхностей; на четверном же расстоянии, или на E, они будут так рассеяны, что распространятся по шестнадцати таким поверхностям, — и так далее, навсегда.

Говоря вообще, что излучение движется в прямом соотношении с квадратами расстояний, мы употребляем слово „излучение“ дабы определить степень расстояния, по мере того как мы движемся вовне от средоточия. Опрокидывая представление и употребляя слово „сосредоточение“, дабы выразить степень сбирания вместе, по мере того как мы идем назад к средоточию извне, мы можем сказать, что сосредоточение осуществляется обратно квадратам расстояний. Другими словами, мы пришли к заключению, что, если вещество первично излучилось из средоточия и теперь возвращается к нему,

сосредоточение, в возвращении, осуществляется в точности так же, как мы это знаем относительно силы тяготения.

Теперь, если бы нам позволено было допустить, что сосредоточение в точности представляет силу устремления к средоточию — что одно в точности соразмерно с другим, и что оба осуществляются вместе, — мы показали бы все, что требуется. Таким образом, единственная трудность заключается в установлении прямого соотношения между „сосредоточением“ и силой сосредоточения; и это, конечно, сделано, если мы установим такое соотношение между „излучением“ и силой излучения.

Самый поверхностный огляд Неба удостоверяет нас, что звезды имеют некоторое общее единообразие, равномерность, или равностояние, в распределении по той области пространства, в которой, совокупно и в облаке грубо шаровом, они размещены: этот вид весьма общей, скорее чем безусловной, равномерности вполне согласуется с моим выводом неравноотстояния, в известных границах, среди первоначально рассеянных атомов, если принять это как сопутствующее следствие очевидного замысла бесконечной сложности отношения, извлеченной из безотносительного. Я исшел, надо помнить, из мысли о вообще единообразном, но в частности не единообразном распределении атомов, — мысль, повторяю я, которую огляд звезд, в том виде как они существуют, подтверждает.

Но даже просто в общей равномерности распределения, поскольку она касается атомов, предстает некоторое затруднение, каковое, без сомнения, уже наметилось у тех из моих читателей, которые думали, что я предлагаю эту равномерность распределения обусловленной излучением из одного средоточия. Первый беглый взгляд на это представление, излучение, понуждает нас принять доселе неотделимую и по видимости неотделяемую мысль о сгромождении вокруг одного средоточия и рассеянии по мере того как мы отступаем от него, — мысль, словом, о неравномерности распределения касательно излученного вещества.

Но, как я заметил в другом месте[1193], именно с помощью таких трудностей, как ныне обсуждаемая, таких шероховатостей, таких особенностей, таких выпуклостей над плоскостью повседневного Разум ощупывает свою дорогу, если вообще он ее находит, в своих поисках Истинного.

Пользуясь трудностью — „особенностью“, — ныне представляющейся, я делаю немедленно прыжок к тайне, какой я мог бы никогда не достичь, если бы не особенность и не заключение, которые, по самому свойству своей особенности, она дает мне.

Ход мысли в этом месте может быть грубо очерчен так — я говорю себе: „Единство, как я его объяснил, есть истина, — я чувствую это. Рассеяние есть истина, — я вижу это. Излучение, которым одним эти две истины примиряются, есть, следственно, истина, — я постигаю это; равномерность рассеяния, сперва выведенная a priori и потом подкрепленная рассмотрением явлений, есть также истина — я вполне допускаю это. До сих пор все ясно вокруг меня; здесь нет облаков, за которыми, возможно, могла бы скрываться тайна — великая тайна modus operandi тяготения; но эта тайна, вполне достоверно, находится где-то поблизости; и, если бы здесь было зримо хоть какое-нибудь облако, я вынужден был бы это облако заподозрить“. И как раз в то время, когда я говорю это, действительно предстает некое облако. Это облако есть кажущаяся невозможность примирить мою истину — излучение — с моей истиной — равномерностью рассеяния. Я говорю тогда: „За этой кажущейся невозможностью должно быть найдено то, что я желаю“. Я не говорю: „действительная невозможность“; ибо непобедимая вера в мои истины удостоверяет меня, что это лишь простая трудность после всего; но я иду дальше и говорю с неколеблющимся доверием, что, когда эта трудность будет разрешена, мы найдем, закутанным в ходе разрешения, ключ тайны, который мы ищем. Кроме того — я чувствую, что мы найдем лишь одно возможное разрешение трудности; это по той причине, что, если бы их было два, одно было бы лишним, было бы без плодным, было бы пустым, не содержало бы никакого ключа, потому что не может быть надобности в запасном ключе к какой-либо тайне Природы.

А теперь рассмотрим наши обычные понятия об излучении: на деле все наши четкие понятия об этом — извлечены просто из того хода, который мы видим на примере в Свете. Здесь существует беспрерывное излияние лучепотоков, и с силою, относительно которой мы, по крайней мере, не имеем никакого права предполагать, что она меняется вообще. Но в таком излучении, как это, — беспрерывной и неизменяющейся силы — области, ближайшие к средоточию,

неизбежно должны быть всегда более заполнены излученным веществом, нежели области более далекие. Но я не предположил такого излучения, как это. Я предположил не беспрерывное излучение; и это по простой причине, что такое допущение вовлекло бы сперва в необходимость принять понятие, которое, как я показал, никакой человек принять не может и которое (как я более полно изъясню позднее) всякое наблюдение небосвода опровергает — понятие абсолютной бесконечности звездной Вселенной — и вовлекло бы, во-вторых, в невозможность понимание противодействия, то есть тяготения, как существующего ныне, потому что, в то время как действие продолжается, ни о каком противодействии, конечно, не может быть и речи. Мое допущение, таким образом, или, скорее, мое неизбежное выведение из достодолжных посылок было допущением определенного излучения — излучения, в конце концов, прерывающегося. Да будет мне позволено теперь описать единственный возможный способ, которым вещество могло быть постижимо рассеяно через пространство, так что оно могло выполнить сразу условия излучения и вообще равномерного распределения. Для удобства разъяснения вообразим, прежде всего, пустой шар из стекла, или из чего-нибудь другого, занимающий пространство, через которое всемирное вещество должно, таким образом, равно рассеиваться посредством излучения из абсолютной, безотносительной, безусловной частицы, помещенной в средоточии шара.

Далее. Известное проявление рассеивающей мощи (предполагаемой нами как Божественное Воление), другими словами, известная сила, мера которой есть количество вещества, то есть число атомов распространенных, — распространяет излучением это известное число атомов, понуждая их двигаться по всем направлениям вовне из средоточия — причем их близость друг к другу уменьшается по мере того, как они удаляются, пока наконец они не распределяются, вольно, по внутренней поверхности шара.

Когда эти атомы достигли такого положения или в то время как они совершают свой ход для достижения его, второе и низшее применение той же самой силы — или вторая низшая сила того же самого свойства распространяет таким же самым образом, то есть излучением, как раньше, — второй слой атомов, который приходит поместиться на первый; число атомов, в этом случае, как и в первом,

конечно, есть мера силы, которая распространяет их; другими словами, сила в точности применяется к цели, которую она обусловливает, — сила и число атомов, высланных силою, прямо пропорциональны.

Когда этот второй слой достиг своего назначенного положения или в то время как он приближается к нему, третье, еще низшее проявление силы, или третья низшая сила подобного же свойства (число распространенных атомов во всех случаях есть мера силы), приступает к наложению третьего слоя на второй и т. д., пока эти концентрические слои, делаясь все меньше и меньше, не приходят наконец вниз к центральной точке, и рассеиваемое вещество, одновременно с рассеиваемою силой, истощается.

Теперь шар наполнен, через излучение, атомами равно рассеянными. Два необходимые условия — условия излучения и равномерного рассеяния — удовлетворены, и единственным ходом, которым возможность их единовременного удовлетворения делается постижимой. По этой причине, я, с полным доверием, ожидаю найти подстерегающей в настоящем состоянии атомов, как они распространены через шар, — тайну, которую я ищу, — всезахватывающую основу modus operandi ньютоновского закона. Расследуем же настоящее состояние атомов.

Они лежат в рядах концентрических слоев. Они равно рассеяны через сферу. Они были излучены в эти состояния.

Так как атомы распространены равно, чем больше поверхностное распространение какого-либо из этих концентрических слоев или сфер, тем больше атомов будет находиться на сфере. Другими словами, число атомов, находящихся на поверхности какой-либо одной из концентрических сфер прямо пропорционально распространенности этой сферы.

Но в любом ряде концентрических сфер, поверхности суть прямо пропорциональны квадратам расстояний от центра[1194].

Поэтому число атомов любого слоя прямо пропорционально квадрату расстояния этого слоя от центра.

Но число атомов в известном слое есть мера силы, устремившей этот слой, то есть прямо пропорциональна силе.

Поэтому сила, излучившая известный слой, прямо-пропорциональна квадрату расстояния этого слоя от центра — или

вообще Сила излучения была прямо пропорциональна квадратам расстояний.

Но, противодействие, поскольку нам известно о нем, есть действие обратное. Так как, во-первых, общая основа Тяготения разумеема как противодействие действия, как выражение желания со стороны Вещества, каковое существует в состоянии рассеяния, вернуться в Единство, откуда оно разорялось; и так как, во-вторых, дух призван определить свойство желания — способ, которым должно оно естественно выявиться; другими словами, так как он призван постичь вероятный закон или modus operandi для возврата, он не может не достичь до заключения, что этот закон возврата будет в точности обратным закону исхода. Что это так, каждый по меньшей мере будет вполне вправе почитать за допущенное до того времени, пока кто-нибудь не укажет какого-либо приемлемого основания, почему бы это должно было быть не так, — до тех пор, пока не будет воображен закон возврата, который разум мог бы счесть предпочтительным. Вещество, таким образом, излученное в пространство с силой, изменяющейся соответственно квадратам расстояний, — можно a priori предположить, — вернется к своему центру излучения с силой, изменяющейся обратно квадратам расстояний; и я уже показал, что любая основа, изъясняющая, каким образом стремятся атомы, согласно известному закону, к общему средоточию, должна быть принята достаточно изъясняющей в то же время, почему, повинуясь тому же самому закону, стремятся они каждый к каждому. Ибо, действительно, стремление к общему средоточию не есть стремление к средоточию как таковому, но потому оно осуществляется, что это известная точка, стремясь к которой каждый атом стремится прямейшим путем к своему действительному и существенному средоточию, Единству — безусловному и конечному Единению всего.

Соображение, здесь подразумевающееся, не представляет моему собственному разуму никакого затруднения. Но это не ослепляет меня относительно возможных его темнот для тех, кто менее привычен к обращению с отвлеченностями; и вообще, хорошо было бы рассмотреть предмет с двух или трех других точек.

Абсолютная, безотносительная частица, первично сотворенная Волением Бога, должна была быть в состоянии положительной образцовости, или закономерности, — ибо незакономерность влечет

соотношение. Правое положительно; неправое отрицательно, — оно есть лишь отрицание правого, как холод есть отрицание тепла, тьма — света. Чтобы нечто стало ошибочным, необходимо, чтобы другое нечто было, — в соотношении с которым оно есть неправое — некоторое условие, которому бы оно преминуло удовлетворить; некоторый закон им оскверняемый, некоторое бытие, которому оно наносит ущерб. Если такого бытия, закона или условия, по отношению к которому нечто ошибочно, нет и, еще точнее, если таковых бытия, закона или условия не существует вовсе — тогда это нечто не может быть ошибочным и, следственно, должно быть правым. Всякое уклонение от образцовости включает устремление к возврату. Разнствование с образцовым, с правым, со справедливым — может быть разумеемо лишь как вызванное превозможением трудности; и, если сила, превозмогающая трудность, не бесконечно непрерывна, неистребимое устремление к возврату дозволит себе наконец проявиться к собственному своему удовлетворению. По устранении силы устремление действует. Это есть основа противодействия как неизбежное следствие действия конечного. Употребляя выражения, кажущаяся повышенность которых да будет прощена за их выразительность, мы можем сказать, что противодействие есть возврат из состояния того, что есть и не должно было бы быть в состояние того, что было изначально и, поэтому быть должно; и еще добавлю здесь, что абсолютная сила противодействия будет несомненно найдена всегда в прямом отношении с действительностью — с правдой, с безусловностью изначальности, если бы когда-либо было возможно измерить эту последнюю, — и, следственно, величайшее из всех постижимых противодействий должно быть именно противодействие, произведенное устремлением, о котором мы теперь говорим, — устремлением к возврату в абсолютную изначальностъ — в верховную первичность. Тяготение поэтому должно быть могущественнейшей из сил — мысль достигнутая a priori и обильно подтвержденная наведением. Какое применение сделаю я этой мысли, — видно будет из последующего.

Атомы, рассеявшись из образцового своего состояния Единства, стремятся вернуться во — что? Не в какую-нибудь особую точку, конечно; ибо ясно, что, если бы через рассеяние целая Вселенная вещества совокупно отброшена была на известное расстояние от точки

излучения, атомное устремление к общему средоточию сферы ничуть не было бы нарушено: атомы не искали бы точки в абсолютном пространстве, из которой они были изначально увлечены. Только состояние, но не точку или место нахождение, где состояние это зародилось, эти атомы стараются восстановить; только того состояния, которое есть их образцовость, этого они хотят. „Но они ищут средоточия, — скажут, — средоточие же есть точка“. Верно; но они ищут точки этой не в ее свойстве как точки (ибо, если бы вся сфера содвинулась со своего положения, они искали бы, равно, средоточия; и средоточие тогда было бы новой точкой), но происходит это по причине формы, в которой они совокупно существуют (формы сферы) — потому, что лишь через рассматриваемую точку — средоточие сферы — могут они достигнуть истинной своей цели, Единства. В направлении к средоточию каждый атом ощущает большее количество атомов, чем в любом ином направлении. Каждый атом увлекаем к средоточию, потому что по прямой линии, соединяющей его с центром и выходящей за окружность, расположено большее число атомов, чем на протяжении всякой другой прямой линии, — большее число целей, которые ищут его, отдельный атом, большее число устремлений к Единству, большее число удовлетворений собственному их стремлению к Единству — одним словом, потому, что в направлении средоточия расположена предельная возможность удовлетворения, вообще, для их собственных личных алканий. Чтобы быть кратким, средоточие, Единство — это все, что действительно искомо; и, если атомы кажутся ищущими средоточия сферы, то лишь условно, через подразумеваемость, ибо такое средоточие предполагает в себе, включает или содержит, только и существующее средоточие, Единство. Но в силу этой подразумеваемости или вводности невозможно ощутимо отделить устремление к Единству, отвлеченному от устремления к средоточию непосредственному. Таким образом, устремление атомов к общему средоточию есть — для всякого намерения прикладного, как для всякой цели логической, — устремление каждого к каждому; и устремление каждого к каждому есть устремление к средоточию; и одно устремление может быть принято за другое; и что применимо к одному, всецело должно быть применимо к другому; и в заключение —

любое начало, достаточно изъясняющее одно, не может быть оспариваемо как изъясняющее и другое.

Отыскивая с тщательностью вокруг себя разумного возражения на то, что я высказал, я не способен найти ничего, но из того разряда возражений, которые обычно выставляются сомневальщиками сомнения ради, я весьма охотно отмечаю три и приступаю к рассмотрению их по порядку.

Скажут, быть может, во-первых: „Доказательство, что сила излучения (в случае описанном) прямо пропорциональна квадратам расстояний, зависит от необоснованного допущения, что число атомов каждого слоя суть мера силы, с которой они были устремлены“.

Я отвечаю: не только обоснован я в этом допущении, но я был бы крайне необоснован во всяком другом. Все, что я допускаю, это лишь то, что следствие есть мера своей причины, что каждое свершение Божественной Воли будет соотносительно требуемому этим свершенном, что пути Всемогущества, или Всеведения, будут в точности присущи своему предначертанию. Ни недочета, ни излишек причины не может произвести какого-либо следствия. Если бы сила, излучившая известный слой в его положение, была несколько больше или меньше, чем та, что нужна для предначертания, то есть не в прямом отношении с целью, тогда в подлинное свое положение этот слой не был бы излучен. Если бы сила, которая ввиду общего равенства распределения устремила надлежащее число атомов для каждого слоя, не была прямо пропорциональна числу, тогда число не было бы числом, требуемым для равенства распределение.

Второе предполагаемое возражение несколько лучше уполномочено для ответа.

Это установленная основа динамики, что каждое тело, получивши какой-нибудь толчок, или побуждение, к движению, движется вперед по прямой линии, в направлении, сообщенном ему побуждающей силой, пока движение не будет отклонено или остановлено какой-нибудь другой силой. Как же, могут спросить, мой первый или внешний слой будет разумеем как прерывный в своем движении по окружности воображаемой стеклянной сферы, если другая сила, свойства более чем воображаемого, не появится для объяснения этого прерывания?

Я отвечаю, что возражение в этом случае действительно проистекает из „необоснованного допущения“ — со стороны возражающего, — предположения основы динамики в те времена, когда основ не существовало в чем бы то ни было. Я употребляю слово „основа“ в том смысле, конечно, как понимает это слово возражающий.

„В начале начал“ мы можем принять — воистину можем уразуметь лишь одну Первопричину, достоверную конечную Основу, Воление Бога. Первичное действие, излучение из Единства, должно было быть независимым от всего того, что мир именует ныне „основой“ — ибо все, что мы так означаем, есть лишь следствие противодействия этого первичного действия. Я говорю „первичное“ действие, ибо создание абсолютной вещественной частицы скорее должно быть рассматриваемо как зачатие, чем как некоторое действие в обычном смысле выражения. Таким образом, мы должны смотреть на действие первичное как на действие для установления того, что мы ныне именуем „основами“. Но само это первичное действие должно быть рассматриваемо как непрерывность Воления. Помысел Бога разумеем быть должен как зарождающий рассеяние, как его сопровождающий, как упорядочивающий его, и, наконец, как удаляющийся от него по его завершении. Тогда начинается противодействие и через противодействие — „Основа“, согласно нашему употреблению слова. Предусмотрительно будет, однако, ограничить применение этого слова к двум непосредственным следствиям прерывности Божественного Воления — то есть к двум посредникам, Притяжению и Отталкиванию, Каждый иной природный посредник зависит, в большей или меньшей степени, непосредственно от этих двух, и поэтому было бы более подходящим означить его как подоснову.

Можно возразить, в-третьих, что вообще особый способ распределения, который я указал для атомов, есть гипотеза, и ничто более».

Но мне известно, что слово «гипотеза» есть большой тяжелый молот, хватаемый тотчас, если не вздымаемый, всеми ничтожными мыслителями, при первом появлении всякого предложения, в особенности облеченного в одеяние учения. Но за «гипотезу», с

добрым последствием, не схватятся здесь даже те, что способны поднять ее — малые ли то человечки или великаны.

Я утверждаю, во-первых, что единственно согласно описанному способу постижимо, что Вещество могло быть распространено так, чтобы удовлетворить одновременно условиям излучения и общего равенства распределения. Я утверждаю, во-вторых, что сами эти условия внушены были мне как неизбежности в ходе рассуждения, столь же строго логического, как то, на котором зиждется любое доказательство у Евклида; и я утверждаю, в-третьих, что, если бы даже обвинение в «гипотезе» было столь же полностью подтверждено, сколь есть оно, на самом деле, несостоятельно и неприемлемо, все же ценность и неоспоримость моего вывода не были бы ни в малейшей подробности, нарушены.

Изъясняю: ньютоновское тяготение — известный закон Природы, — закон, существование которого как такового может быть оспариваемо лишь в Бедламе, закон, принятие которого как такового дозволяет нам изъяснить девять десятых явлений Вселенной, закон, который, именно в силу такой его способности изъяснять нам явления, мы, не прибегая ни к каким иным соображениям, вполне расположены принять как закон и не можем удержаться от принятия как закона, — закон, однако, которого никакая основа или modus operandi основы никогда доселе не были исследованы человеческим рассмотрением; закон, словом, который ни в частностях своих, ни в общем вовсе не найден был доступным изъяснению, — является наконец сполна и всесторонне объяснимым, стоит нам только допустить соглашение с чем? С гипотезой? Но, если гипотеза, — если чистейшая гипотеза, — если гипотеза, для допущений которой — как в случае этой чистой гипотезы самого ньютоновского закона — ни тени причины a priori не означится, если гипотеза, столь же безусловная, как все, что она в себе включает, дозволит нам постичь некоторую основу ньютоновского закона, поможет нам уразуметь, как завершенные, условия столь чудесно, столь невыразимо сложные и столь, по-видимому, неразрешимые, как те, что заключаются в отношениях, сообщающих нам о тяготении — какое разумное существо захочет настолько выявить свое слабоумие, чтобы называть далее гипотезой даже эту безусловную гипотезу — если только оно действительно не будет

настаивать на таком ее наименовании, подразумевая, что делает это просто из пристрастия к постоянству в словах?

Но каково же истинное положение в настоящем нашем случае? Какова действительность! Не только, что это не есть гипотеза, которую требуют нас принять, чтобы допустить упомянутую изъясняющую основу, но что это есть логическое заключение, каковое приглашаемся мы не усвоить, ежели можем его избежать, которое мы просто вынуждаемы отринуть, ежели можем, — заключение такой точности логической, что оспаривать его было бы затруднительно, сомневаться в его ценности вне наших сил; заключение, от которого мы не видим способа ускользнуть, куда ни обернемся; вывод, с которым мы на очной ставке, в конце ли мы странствия, где неведение проводило нас через явления названного закона, или на завершении ристалища выведения из наиболее сурово-простого среди всех постижимых предположений — предположения, одним словом, самой Простоты.

И если теперь, из чистого пристрастия к крючкотворству, будут настаивать, что хотя исходная моя точка есть, как я утверждаю, допущение безусловной простоты, однако Простота, рассматриваемая глубже сама в себе, не есть аксиома, и что лишь выведения из аксиом суть неоспоримы — я отвечу так.

Каждая другая наука, кроме логики, есть наука об известных непосредственных соотношениях. Арифметика, например, есть наука о соотношениях числа, Геометрия — о соотношениях форм, Математика вообще — о соотношениях количеств вообще — чего бы то ни было, что может быть увеличено или уменьшено. Логика, между тем, есть наука о соотношении в отвлеченности, об абсолютном Соотношении — Соотношении, рассматриваемом единственно в себе самом. Аксиома в любой отдельной науке, кроме логики, есть, таким образом, просто предположение, возвышающее некоторые непосредственные соотношения, кажущиеся слишком явными, чтобы быть оспариваемыми — как когда мы говорим, например, что целое больше своей части; и таким образом, опять основа логической аксиомы — другими словами, аксиомы в отвлеченности — есть просто очевидность соотношения. Однако явно не только, что очевидное для одного разума может быть не очевидным для другого, но и что очевидное для одного разума в одно время может вовсе не быть очевидным в другое время для того же самого разума. Ясно, кроме

того, что очевидное сегодня всему большинству человечества, или большинству избранных умов человечества, способно быть завтра, для того же большинства, более или менее очевидно или и вовсе не почтется очевидным. Таким образом, видно, что сама аксиоматическая основа подвержена колебанию, и, разумеется, аксиомы способны к подобному изменению. В силу их непостоянства, «истины», из них проистекающие, также неизбежно суть непостоянны; или, другими словами, никогда нельзя на них полагаться как на истины вообще — ибо Истина и Неизменность суть одно.

Легко можно уразуметь теперь, что никакое аксиоматическое понятие — никакое понятие, основанное на зыбком начале очевидности соотношения, — не в состоянии быть столь достоверным, столь заслуживающим доверия в качестве опоры некоторого построения, воздвигнутого Рассудком, как то понятие (чем бы оно ни было, где бы ни было найдено нами, и если доступно найти его где-либо), всецело безотносительное, которое не только не представляет разумению никакой очевидности соотношения, большей или меньшей, для рассмотрения, но в не принуждает разум, ни в малейшей степени, к необходимости смотрения на какое-либо отношения вообще. Если такое понятие и не есть то, что слишком опрометчиво означаем мы «аксиомой», оно, по меньшей мере как логическое основание, предпочтительнее всякой когда-либо выдвинутой аксиомы или всех воображаемых аксиом вместе; и таково именно то понятие, которым мой способ выведения, так всецело поддержанный неведением, начинается. Подлинная моя частица есть лишь абсолютная Безотносительность. Обобщу уже высказанное: исходной точкой я избрал — просто как допущенное, — что Изначальность никогда не имела ничего за собой или перед собой, что то была изначальность по существу, что то была изначальность и ничто более как изначальность, — короче, что эта Изначальность была тем, чем она была. Если это есть «чистейшее предположение», тогда «предположением чистейшим» и быть оно должно.

В заключение этой ветви моего рассуждения: я вполне обоснованно возглашаю, что Закон, который мы обычно называем тяготением, существует, по причине того, что Вещество излучилось, в своей неудержимости, атомистически, в предельную[1195] сферу Пространства, из одной — обособленной, безусловной,

безотносительной, и абсолютной — Подлинной Частицы, единственным способом, посредством которого возможно было удовлетворить в то же самое время двум условиям, излучение и всеобще равному распределению по всей сфере — то есть с силой, взаимно изменяющейся в прямом отношении с квадратами расстояний между излученными атомами, соответственно, и особым средоточием Излучения.

Я уже высказал свои основания для предположения Вещества распространенным скорее определенной, нежели непрерывной или бесконечно длимой, силой. Представив себе непрерывную силу, мы неспособны были бы, во-первых, вовсе понять противодействие, и вынуждены были бы, во-вторых, принять невозможное представление бесконечной протяженности Вещества. Не останавливаясь на невозможности понятия, бесконечная протяженность Вещества есть представление если не положительно опровергнутое, то по меньшей мере не утвержденное в каком-либо отношении телескопическими наблюдениями над звездами, — вопрос долженствующий быть более изъясненным позднее; и это опытом доставленное основание для верования в первичную конечность Вещества внеопытно подтверждается. Например: допуская на миг возможность разумения Пространства преисполненного излученными атомами — то есть, допуская, поскольку это нам возможно, во имя доказательства, что последовательным рядам излученных атомов совершенно нет конца, — вполне ясно, что, даже когда Воление Бога от них удалилось, а таким образом устремлению к возврату в Единство дозволено (отвлеченно) быть удовлетворенным, дозволение это было бы недействительно и убого — лишено ценности прикладной и вне какого-либо воздействия. Никакое противодействие не могло бы иметь места; никакое движение к Единству не могло бы свершиться; никакой закон тяготения не мог бы получиться.

Изъясняю: допустив отвлеченное устремление известного одного атома к известному другому одному, как неизбежное следствие рассеяния из образцового Единства, или, что то же, допустив некоторый данный атом намеревающимся двигаться в некотором данном направлении, — ясно, что, коль скоро есть бесконечность атомов со всех сторон атома, намеревающегося двигаться, данный атом никогда в действительности не сможет подвинуться к удовлетворению

своего стремления в данном направлении, по причине, в точности равного и противовесного, устремление в направлении прямо противоположном. Другими словами, в точности столько же устремлений к Единству находится позади колеблющегося атома, как перед ним; ибо полная есть бессмыслица говорить, что одна бесконечная линия длиннее или короче, чем другая бесконечная линия, или, что одно бесконечное число больше или меньше другого числа, которое бесконечно. Рассматриваемый атом, таким образом, должен остаться недвижимым навсегда. При обстоятельствах невозможных, каковые мы пытались допустить лишь во имя доказательства, не было бы ни сцепления Вещества, ни звезд, ни миров — ничего, кроме бессменно атомистической и несообразной Вселенной. На самом деле, как бы мы ни взглянули, самая мысль о беспредельности Вещества не только неприемлема, но невозможна и нелепа.

С представлением известной сферы атомов, однако, мы примечаем сразу известное удовлетворимое устремление к единству. Так как общее следствие устремления каждого к каждому есть устремление всего к средоточию, общая поступательность сгущения или сближения начинается немедленно, содружественным и одновременным движением, по устранении Божественного Воления; единичные сближения или срастания — не сращения — атома с атомом, являются предметом почти бесконечных изменений во времени, степени и состоянии, по причине чрезвычайной множественности соотношений, порожденных различиями в форме, принятыми как свойства атомов, в миг, когда они покинули Подлинную Частицу, так же как возникших из последовательной и особой разности отстояния каждого от каждого.

Что я хочу запечатлеть в читателе, это достоверность происходящих здесь (сразу по устранении силы рассеивающей, или Божественного Воления, из состояния атомов, как оно описано, в бесчисленных точках чрез Вселенскую сферу) бесчисленных скоплений, отмеченных бесчисленными особыми различиями формы, объема, сущности естества и расстояния друг от друга. Развитие отталкивания (электричества) должно было начаться, конечно, вместе с очень ранними отдельными устремлениями к Единству и должно было происходить, непрестанно, в прямом отношении со Срастанием

— то есть в прямом отношении со сгущением, и опять-таки, разнородностью.

Итак, две Подлинные Основы, Тяготение и Отталкивание, Вещественная и Духовная, сопутствуют друг другу в строжайшем содружестве навсегда. Таким образом, Тело и Душа идут рука об руку.

Если теперь, в воображении, мы выберем какое-нибудь одно из скоплений, рассматриваемых как бы на первичных их ступенях в сфере Вселенной, и предположим, что это зарождающееся скопление занимает место в той точке, где пребывает средоточие нашего Солнца — или точнее, где оно пребывало изначально, ибо Солнце непрестанно меняет свое местоположение, — мы неизбежно повстречаемся и вместе будем двигаться, некоторое время по крайней мере, с самой великолепной из теорий — с космогонией туманностей Лапласа, хотя «космогония» есть выражение слишком всеобъемлющее для того, о чем в действительности толкует Лаплас, что есть лишь строение нашей солнечной системы, одной среди мириад подобных же систем, которые составляют Подлинную Вселенную — ту Вселенскую сферу, тот всеохватный и совершенный Космос, который составляет предмет моего настоящего рассуждения.

Ограничиваясь некоторой очевидно предельной областью — именно областью нашей Солнечной системы и сравнительно непосредственным ее соседством — и чисто предположительно, то есть допуская, без какого-либо основания, будь то наведение или выведение, многое из того, что я как раз старался поставить на основание более стойкое, чем предположение; допуская, например, что вещество рассеяно (не пытаясь изъяснить этого рассеяния) через и даже несколько за пространство, занимаемое нашей системой, — рассеяно в состоянии разнородной туманности и подчинено тому всемогущему закону тяготения, основы которого он не посмел угадать; допуская все это (что совершенно справедливо, хотя он и не имел никакого логического права на такое предположение) Лаплас показал, динамически и математически, что следствия, неизбежно в таком случае проистекающие, будут те самые и только те, которые мы нашли выявившимися в существующем состоянии самой системы.

Поясняю: допустим, что это обособленное скопление, о котором мы уже говорили — то самое, что находится в точке, означенной средоточием нашего Солнца, — продолжалось столь долго, что

огромное количество туманного вещества образовало грубо шаровидную форму; средоточие его, разумеется, совпадало с тем, что есть ныне или, точнее, было изначально, средоточием нашего Солнца; и окружность его протягивается за орбиту Нептуна, наиболее отдаленную из наших планет, — другими словами, предположим диаметр этого неровного шара равным приблизительно 6000 миллионов миль. Века эта громада вещества подвергалась сгущению настолько, что, с течением времени, она была доведена до объема, нами воображенного, при постепенной поступательности, разумеется, от ее атомистического и неуловимого состояния до того, что мы разумеем как видимую, осязаемую или иначе как-либо ощутимую туманность.

Но положение этой громады подразумевает вращение вокруг некоторой воображаемой оси — вращение, которое, начавшись с первозачатками силы сцепления, всегда с тех пор получало ускорение. Первейшие два атома, что встретились, каждый приближаясь из точек не диаметрально противоположных, должны были, ринувшись несколько друг мимо друга, образовать ядро для упомянутого вращательного движения. Как будет здесь возрастать скорость, видно сразу. К двум атомам присоединились другие — и сцепление образовано. Громада вещества продолжает вращение, все сгущаясь. Но любой атом на окружности имеет, разумеется, более быстрое движение, чем какой-либо ближайший к средоточию. Наружный атом, однако, при превосходстве своей скорости, приближается к средоточию, увлекая с собой, по мере приближения, и это превосходство скорости. Итак, каждый атом, действуя внутренне, и в завершении прикрепляя себя к сцепленному средоточию, добавляет несколько к изначальной скорости этого средоточия — то есть увеличивает вращательное движение всей громады.

Но представим себе эту громаду вещества сгущенной до того, что она занимает в точности пространство, описанное орбитой Нептуна, и что скорость, с которой поверхность громады движется, в общем вращении, есть именно та скорость, с которой Нептун теперь вращается вокруг Солнца. К этому времени, как мы должны понять, постоянно возрастающая центробежная сила, пересилив невозрастающую центростремительную, освободит и отделит внешний и наименее сгущенный слой, или несколько внешних и

наименее сгущенных слоев, у экватора сферы, где скорость касательных преобладающая, так что слои эти образуют вокруг главного тела некоторое независимое кольцо, опоясывающее экваториальные области — совершенно подобно тому, как внешние части, выброшенные чрезвычайной скоростью вращения, из жернова, образовали бы кольцо вокруг жернова, если бы не прочность поверхностного вещества: если бы это была резина или что-либо подобное ей по составу, явление мною описанное было бы в точности налицо.

Кольцо, так взвихренное из громады туманности, кружится, конечно, как отдельное кольцо, с той самой скоростью, с которой вращалось оно, будучи поверхностью всей громады. В то же самое время сгущение все продолжается, промежуток между освобожденным кольцом и главным телом продолжает увеличиваться до тех пор, пока первое не будет находиться на обширном расстоянии от последнего.

Но допустим, что кольцо обладало, в силу некоторых, по видимости случайных, сочетаний его разнородных составных частей, строением, почти единообразным, — тогда кольцо это как таковое никогда бы не прекратило своего обращения вокруг первичного своего тела; а как можно было бы предвидеть, в расположении составных частей, по видимости, достаточно было неправильностей, чтобы заставить их скучиваться вокруг средоточия высшей плотности; и таким образом кольцеобразная форма была разрушена[1196]. Без сомнения, обруч был очень скоро разорван на множество частей, и одна из этих частей, главенствующая в количестве, поглотила в себя остальные; все целое скрепилось, сферически, в планету. Что эта последняя, как планета, продолжала круговращательное движение, которое было свойственно ей как кольцу, это достаточно ясно; и что она захватила с собой также добавочное движение в новом своем состоянии сферы, это быстро выясняется. Разумея кольцо как еще нераздробленное, мы видим, что внешний его слой, в то время как целое обращается вокруг первоначального своего тела, движется более быстро, чем внутренний. Когда произошел разрыв, некоторая доля в каждом обрывке должна была двигаться с большей быстротой, чем другие. Наивысшее движение, преобладающее, должно было взвихрить кругом каждый обрывок — то есть должно было привести

его во вращение; и направление вращения должно было быть, конечно, направлением обращения, из которого оно изошло. Все обрывки, сделавшись предметом описанного вращения, должны были, срощаясь, передать его некоей планете, образовавшейся от их сращения. Планета эта была Нептун. Состав этой планеты продолжает подвергаться сгущению, и центробежная сила, зарожденная ее вращением, превозмогает, со временем, центростремительную, также как ранее в случае с отчим шаром; кольцо, таким образом, было взвихрено из экваториальной поверхности этой планеты: кольцо это, единообразное по своему строению, было разорвано, и его различные обрывки, поглощенные наиболее веским, совместно образовали сферу луны. Последовательно явление повторилось, и следствием была вторая луна. Таким образом, мы находим изъяснение для планеты Нептун, с двумя сопровождающими его спутниками.

Отбрасывая кольцо от своего экватора, Солнце восстановило то равновесие между центробежной и центростремительной своей силой, которое было потревожено в развитии сгущения; но, так как сгущение это все продолжалось, равновесие немедленно было снова нарушено возрастанием вращения. Между тем громада сжалась настолько, что заняла именно сферическое пространство, описанное орбитой Урана, и мы должны понять, что центробежная сила получила такое превосходство, что необходимо было новое облегчение: был, последовательно, отброшен второй экваториальный пояс, каковой, будучи состава неединообразного, был разорван, как ранее то было с Нептуном; обломки сплотились в планету Уран; скорость настоящего обращения его вокруг Солнца указывает, конечно, вращательную быстроту экваториальной поверхности Солнца в миг их разделения. Уран, усвоив вращение от совокупных вращений образующих его обрывков, как изъяснено выше, отбросил кольцо за кольцом; каждое из них, достигнув разрыва, закрепилось в луну: другие луны, в различные времена, образовывались этим путем разрыва и общего округления стольких же отличествующих и неединообразных колец.

Тем временем как Солнце сжалось до того, что заняло точное пространство, очерченное орбитой Сатурна, колебание, как должны мы предположить, между его центростремительной и центробежной силами стало настолько нарушенным, через возрастание вращательной скорости, вследствие сгущения, что третье усилие к уравновешению

сделалось необходимым, и еще один кольцевой пояс был взвихрен как дважды ранее; через разрыв неединообразности он сплотился в планету Сатурн. Этот последний отбросил, первоначально, семь единообразных поясов, каковые, путем разрыва, последовательно закруглились во столько же лун; но затем он, по видимости, освободил, в три раздельные, но не слишком отдаленные промежутка времени, три кольца, однородность строения которых, «зримо случайно», была настолько значительна, что не давала повода к их разрыву; так продолжают они кругообращаться как кольца. Я употребил выражение «зримо случайно», ибо случайности в обычном смысле здесь не было, конечно, никакой, — выражение применено собственно лишь к следствию неразличимого или не немедля проследимого закона. Сжимаясь все более и более, до того пока оно не заняло точное пространство, очерченное орбитой Юпитера, Солнце скоро ощутило необходимость дальнейшего усилия к восстановлению противовеса двух своих сил, непрерывно нарушаемого все продолжавшимся возрастанием вращения. Юпитер, согласно этому, был теперь отброшен, переходя из кольцеобразного состояния в планетное; и, достигнув этого последнего, отбросил в свою очередь, в четыре различные промежутка, четыре кольца, которые в завершении превратились во столько же лун.

Сжимаясь еще до того, что сфера его заняла точное пространство, ограниченное орбитой астероидов, Солнце оттолкнуло тогда кольцо, имевшее, по видимости, восемь средоточий высшей плотности и, по разрыве, разделившееся на восемь отрывков, ни один из которых не преобладал настолько оплотом своим, чтобы поглотить другие. Поэтому, все, как раздельные, хотя сравнительно и малые, планеты, продолжали они кружиться по орбитам, расстояния коих, каждой от каждой, можно считать, до некоторой степени, мерой силы, раздельно устремившей их; все орбиты, тем не менее, были настолько тесно совпадающими, что дозволяют нам принять их, по сравнению с другими планетными орбитами, как одно.

Продолжая сжиматься, Солнце становится уже таким малым, что заполняет как раз орбиту Марса, освободив эту планету, — конечно, способом, уже повторно, описанным. Не имея, однако, луны, Марс не мог отбросить кольца. Действительно, предельная пора теперь наступила в поприще отчего тела, средоточия всей сплетенности.

Уменьшение его туманности, — что есть увеличение плотности и вместе также уменьшение сгущаемости его, из-за которой происходили, недавно, непрестанные нарушения равновесия, — должно было в это время достигнуть точки, на которой усилия к восстановлению должны были становиться все более и более недействительными, в точном соотношении со все менее частой их необходимостью. Таким образом, ход явлений, о которых мы говорили, повсюду должен был представлять знаменья истощения: в планетах, во-первых, и, во-вторых, в изначальной громаде. Да не впадем в заблуждение, предположив, что сокращение промежутков, наблюдаемое между планетами при нашем приближении к Солнцу, находится в некоторой взаимной зависимости с возрастающей учащенностью в периодах, в которые они были отброшены. Именно обратное следует разуметь. Наиболее длительный промежуток времени должен был истечь между разряжением двух внутренних планет; кратчайший между таковыми — двух внешних. Уменьшение промежутков пространства есть, тем не менее, мера плотности, и, таким образом, обратно она есть мера сгущения Солнца, во всех изложенных развитиях.

Сжавшись, однако, до того, чтобы занять лишь орбиту Земли, отчая сфера взвихрила из себя еще одно новое тело — Землю — при состоянии такой туманности, которое дозволяло этому телу отбросить, в свою очередь, еще другое, каковое есть наша Луна: но здесь завершились лунные созидания.

Наконец, нисходя до орбит сначала Венеры и потом Меркурия, Солнце отбросило эти две внутренние планеты, ни одна из которых не дала рождение какой-либо луне.

Итак, из своего изначального объема — или, говоря точнее, из состояния, в котором мы первично рассматривали его, из частично закруглившейся туманной громады, конечно гораздо большей, чем 5600 миллионов миль в диаметре, — великий средоточный шар и первоисток нашей солнечно-планетно-лунной сети, нисходил постепенно, через сгущение, в повиновение закону тяготения, к шару имеющему лишь 882000 миль в диаметре; но из этого вовсе не следует все же, ни что сгущение его восполнено, ни что не обладает он более способностью взвихрить из себя еще иную планету.

Я дал здесь — лишь в очертании, конечно, со всей, однако же, подробностью необходимой для уразумения — огляд учения о туманностях, как сам создатель постигал его. С какой бы точки мы ни взглянули на него, мы найдем его красиво-истинным. Оно слишком красиво, на самом деле, чтобы не обладать Истиной как своей сущностью — и здесь я глубоко проникновенно серьезен в том, что я говорю. В обращении спутников Урана является нечто, по видимости, несогласное с положениями Лапласа; но, чтобы одно призрачное несогласие могло обесценить учение, воздвигнутое на миллионе сплетенных устоев, это есть соблазнительная приманка лишь для сумасбродов. Пророчествуя уверенно, что кажущееся уклонение, о котором я говорю, будет рано или поздно найдено одним из самых могучих закрепителей всей гипотезы, я не притязаю на какой-нибудь особый дух прорицания. Единственно, что кажется трудным, это не провидеть[1197].

Тела, взвихренные при описанном ходе явлений, изменили, как это было видно, поверхностное вращение шаров, которыми они были порождены, на обращение равной скорости вокруг этих шаров как отдаленных средоточий; и обращение, так зарожденное, должно длиться до тех пор, пока центробежная сила или та, с которой обращенные тела притягиваются к своему отчему телу, будет ни больше, ни меньше, чем та, которой они были отброшены, — то есть центробежная или, еще более точно, касательная скорость. Через единство, однако, первоистока двух этих сил мы можем надеяться найти их так, как они находятся, — одна, точно противовесящая другую. Показано уже было, на самом деле, что действие взвихривания есть, в каждом случае, скорее, действие для предохранения противовеса.

После того, однако же, как центростремительная сила была приписана всемогущему закону тяготения, обычай был в астрономических сочинениях искать за пределами чистой Природы, то есть Вторичной Причины, — разрешение явления скорости касательной. Эту последнюю они приписывают непосредственно Первопричине — Богу. Сила, движущая звездное тело вокруг своего первичного, утверждают они, возникла из толчка, данного непосредственно перстом — таково ребяческое словоговорение, — перстом Божества самого. По этому воззрению, планеты, вполне

образовавшиеся, почитались устремленными Божественной рукой в положение по соседству с солнцами, с порывом, математически приуроченным к громадам, или притягательным способностям, самих солнц. Мысль столь грубо нефилософская, хотя так легко и небрежно принятая, могла проистечь лишь из трудности иным образом изъяснить такое безусловно точное приспособление одной к другой двух сил, столь явно независимых одна от другой, как сила тяготения и сила касательная. Но должно быть вспомнено, что в продолжение долгого времени совпадение между вращением луны и ее звездным обращением — два обстоятельства, кажущиеся гораздо более независимыми, чем сейчас нами рассматриваемые, — созерцаемо было как положительно чудесное; и сильное было предрасположение, даже среди звездоведов, приписывать чудо прямому и непрестанному вмешательству Бога — который, в этом случае, говорили, счел необходимым противопоставить, обособленно среди своих общих законов, ряд вспомогательных постановлений с целью навсегда сокрыть от смертных взоров великолепия, или, быть может, ужасы, что по ту сторону Луны — того таинственного полушария, которое всегда избегало и должно непрестанно избегать телескопических выведываний человечества. Успехи Знания однако, доказали (что для умозрительного чутья не нуждалось в доказательствах), что одно движение есть лишь доля, нечто большее даже, чем следствие, другого движения.

Со своей стороны, я не имею терпения для вымыслов, одновременно столь робких, столь праздных, и столь неуклюжих. Они происходят от полнейшей трусливости мысли. Что Природа и Бог Природы суть различны, ни одно мыслящее существо не может в этом долго сомневаться. Под первой мы просто разумеем законы второго. Но в истинное представление о Боге, всемогущем и всеведущем, мы вводим также представление о непреложности его законов. В Нем нет ни Прошлого, ни Будущего, в Нем все Настоящее — не оскорбляем ли мы Его предполагая законы его сочетанными вне предвидения каждой возможной случайности — или, точнее, какое помышление можем мы иметь о любой возможной случайности, как не то, что она есть сразу следствие и выявление его законов? Тот, кто, освободившись сам от предрассудков, возымеет редкую смелость думать безусловно самолично, не сможет не прийти в конце к сгущению законов в Закон

— не сможет не достигнуть заключения, что каждый закон Природы зависит всецело от всех других законов и что все они суть лишь выводы из единого первичного свершения Божественного Воления. Таково есть первоначало Мироздания, которое, со всей необходимой внимательностью и осмотрительностью, пытаюсь я здесь указать и подтвердить.

Согласно с этим взглядом, как будет видно, устраняя, как суетный и даже как нечестивый, тот вымысел, что касательная сила сообщена была планетам непосредственно «перстом Бога», я смотрю на эту силу как на порожденную вращением звезд, на это вращение как на произведенное порывом первичных атомов к своим относительным средоточиям сцепления, на порыв этот как на следствие закона тяготения, на этот закон лишь как на способ, которым необходимо выявляется наклонность атомов к возврату в безраздельность, на эту наклонность к возврату как на неизбежное противодействие первого и верховнеишего из действ — того действа, которым некий Бог, самосущий и единосущий, вдруг претворился во все взмахом Воления своего, между тем как все и все сделались таким образом частицей Бога.

Коренные допущения этого рассуждения внушают мне и в действительности требуют некоторых важных изменений теории туманностей, как ее дает Лаплас. Усилия отталкивающей силы я рассматривал как произведенное в цели предупреждения соприкосновения между атомами и таким образом произведенное в прямом отношении к приближению соприкосновения — то есть в прямом отношении к сгущению. Другими словами, электричество, со сложными своими явлениями, теплотой, светом магнетизмом, должно быть разумеемо так происходящим, как происходит сгущение, и, конечно, обратно, как предназначенность свершения, или прекращение сгущения. Так Солнце, в ходе своего сцепления, должно было вскоре, с развитием отталкивания, достигнуть теплоты чрезмерной — быть может, белокалильной; и мы можем постичь, каким образом действие отбрасывания его колец вещественно должно было быть облегчаемо тонким затвердеванием его поверхности вследствие охлаждения. Самый обычный опыт покажет нам, сколь легко кора подобного свойства отделяется, через разнородность, от внутреннего оплота. Но при каждом последовательном отбрасывании коры новая поверхность

появилась бы раскаленной до бела, как раньше; и промежуток времени, в который она снова достаточно затвердела бы, чтобы легко отделиться и освободиться, может быть воображен точно совпадающим с тем, который необходим новому усилию всего оплота для восстановления равновесия двух его сил, нарушенных через сгущение. Другими словами — тем временем когда электрическое влияние (отталкивание) подготовило поверхность для отбрасывания, разумеется, влияние тяготения (притяжения) совершенно готово отбросить ее. Итак, здесь, как везде, Тело и Душа идут рука об руку.

Мысли эти опытно подтверждены всесторонне. Так как сгущение никогда не может, в каком-либо теле, быть рассматриваемо совершенным до конца, мы справедливо предвидим, что, всякий раз, как нам представится удобный случай проверить, мы найдем указание светового присутствия во всех звездных телах — в лунах и планетах так же, как в солнцах. Что наша Луна весьма самосветящая, мы видим при каждом полном затмении, при каковом, если бы это было не так, она исчезала бы. На темной части спутника, также в продолжение его фаз, мы часто наблюдаем вспышки, совершенно подобные нашим собственным зорям; и что последние, со всеми нашими другими многоразличными так называемыми электрическими явлениями, не упоминая уже ни о каком более постоянном свечении, должны придавать нашей Земле известный светящийся облик для какого-нибудь обитателя Луны, это вполне очевидно. В действительности, мы должны были бы смотреть на все упомянутые явления просто как на обнаруживающееся, различными способами и степенями, слегка продолжающееся сгущение Земли.

Если взгляды мои приемлемы, мы должны были бы приготовиться найти новейшие планеты — то есть ближайшие к Солнцу — более светящимися, чем старинные и более отдаленные, и чрезвычайный блеск Венеры (на темных частях которой, во время ее фаз, зачастую видимы зори) кажется вполне объяснимым простой ее близостью к средоточному шару. Она, без сомнения, ярко самосветящая, хотя менее, чем Меркурий: между тем как светящесть Нептуна может быть сравнительно ничтожна.

Принимая мои доводы, явно, что, с того мига когда Солнце устремило одно кольцо, должно было наступить двойственное уменьшение его теплоты и света, по причине непрерывного

затвердения его поверхности, и что должно б было прийти время — время непосредственно предшествующее новому разряжению, — когда весьма существенная убыль обоих, и света и тепла, должна стать явной. Но нам, известно, что знаменья этих перемен четко различимы. На Мельвильских островах — привожу лишь один из сотни примеров — мы находим следы сверхтропической растительности — растения, которые никогда не могли бы цвести без несоизмеримо большого света и тепла, чем те, что в настоящее время доставляет нам Солнце в какой-либо части поверхности Земли. Не относится ли эта растительность к времени, непосредственно следовавшему за взвихрением Венеры? В это время к нам должны были прибывать наши величайшие притоки солнечного влияния; и, на самом деле, влияние это должно тогда было достигнуть своей верховности — конечно, упуская из виду время, когда Земля сама была отброшена, — время простого ее образования.

Кроме того, мы знаем, что существуют несветящиеся солнца — то есть солнца, существование которых мы определяем по движению других, но светоносимость которых не-достаточна, чтобы давать нам впечатление. Солнца эти, суть ли они невидимы только по причине длительности времени, истекшего после того, как они отбросили какую-нибудь планету? И еще опять: не можем ли мы — по крайней мере, в некоторых случаях — объяснить внезапное появление солнц там, где никогда ранее их не подозревали, предположением, что, катясь с затвердевшей поверхностью в течение немногих тысячелетий нашей звездной истории, каждое из этих солнц, взвихрив и отбросив новое второстепенное, сделалось способным наконец разлить сияния своей, все еще раскаленной до бела, сокровенности? — Что до весьма достоверного соразмерного возрастания теплоты по мере того, как мы нисходим внутрь Земли, — мне надо, конечно, об этом лишь упомянуть, — оно является самым строгим возможным подкреплением всего того, что я сказал по предмету, ныне рассматриваемому.

Говоря недавно об отталкивающем или электрическом влиянии, я заметил, что «важные явления жизненности, сознания и мысли, рассматриваем ли мы их вообще или в частности, кажутся действующими по крайней мере в прямом отношении к разнородности». Я упоминал, также, что я еще вернусь к этому указанию, — и здесь как раз самое подходящее место, чтобы сделать

это. Рассматривая вещество сначала частично, мы замечаем, что не только выявление жизненности, но его важность, следствия и возвышенность определительного свойства весьма тесно связаны с разнородностью или сложностью животного строения. Рассматривая же вопрос в его общности и ссылаясь на первые движения атомов к оплотостроительству, мы находим, что разнородность, порожденная непосредственно через сгущение, соразмерна с ним навсегда. Мы достигаем, таким образом, предположения, что важность развития земной жизненности происходит сообразно с земным сгущением.

Но это находится в точном соответствии с тем, что мы знаем о последовательной смене животных на Земле. По мере ее сгущения, возникали высшие и все высшие племена. Разве невозможно, что последовательные геологические перевороты, которые по крайней мере сопровождали, если непосредственно не вызывали, эти последовательные повышения жизненных свойств, — разве это невероятно, что перевороты эти сами были произведены последовательными планетными извержениями из Солнца — другими словами последовательными изменениями солнечного влияния на Земле? Если эта мысль приемлема, мы не будем необоснованны, вообразив, что извержение еще одной новой планеты, более внутренней, чем Меркурий, может привести к еще новому изменению земной поверхности — изменению, из которого взрастет племя, двояко, вещественно и духовно высшее, чем человек. Эти мысли настигают меня со всей силой истины, но я ввожу их, конечно, не более как в явном их облике внушения. Теория туманностей Лапласа недавно получила гораздо больше подтверждение, чем это необходимо, в лице философа Конта. Двое эти совместно показали — не то, конечно, что Вещество в известный действительный миг существовало, согласно описанному, в состоянии туманного рассеяния, но что, принимая его так существовавшим в пространстве и далеко за пространством нашей Солнечной системы и зачавшим движение к средоточию, оно должно было постепенно захватывать, усваивая, смены форм и движений, каковые мы ныне видим в этой сети установившимися. Доказательство, подобное этому, — доказательство динамическое и математическое, поскольку доказательство может существовать — бесспорное и неоспоримое — для всех, на самом деле, кроме того бесплодного и бесславного отродья, ремесленных

вопрошателей — прямо умалишенных, что отрицают ньютоновский закон тяготения, на коем основаны выводы французских математиков, — доказательство, говорю я, подобное этому, будет для большинства разумов заключительным — и я исповедуюсь, что это именно так для разума моего — завершительным в смысли утверждения ценности гипотезы туманностей, на которой доказательство зиждется. Что доказательство не доказывает гипотезы, согласно общему пониманию слова «довод», я принимаю, конечно. Показать, что известные существующие следствия — известные установленные совершенности — могут быть, даже математически, объяснены при допущении некоторой гипотезы, это отнюдь не означает установить самую гипотезу. Другими словами, показать, что, если известные данные даны, некоторый существующий вывод может и даже должен следовать, не достаточно доказывает, что вывод этот есть исшедший из данных, пока не будет в то же время показано, что здесь нет и не может быть никаких других данных, из которых рассматриваемый вывод равно мог бы последовать. Но, в рассматриваемом сейчас случае, хотя и все признают недочет того, что нам привычно разуметь под выражением «довод», однако найдется много умов, и из ряда высочайших, для которых никакой довод, никакое доказательство ни на одну йоту не увеличит убедительности. Не входя в подробности, которые могли бы натолкнуться на Облачную Страну Метафизики, я охотно замечу здесь, что сила убедительности, в случаях подобных этому, всегда будет для правомыслящего соразмерна итогу сложности, промежуточно выступившей между гипотезой и выводом. Чтобы быть менее отвлеченным: величайший итог сложности, найденный существующим среди мирозданных условий, увеличивая в таком же соотношении трудность объяснения всех этих условий, одновременно усиливает также, в таком же соотношении, нашу веру в ту гипотезу, которая этим способом удовлетворяюще объясняет их; и так как никакой сложности не можем мы постичь большей, чем сложность астрономических условий, никакая убедительность поэтому не может быть сильнейшей, для моего разума, по крайней мере, чем та, что впечатлилась во мне гипотезой, которая не только примиряет эти условия с математической точностью и сводит их в одно сплоченное и постижимое целое, но есть в то же самое время единственная гипотеза, с помощью которой человеческий

ум мог когда-либо уяснить себе их сполна. Весьма необоснованное одно мнение распространилось за последнее время в свете и даже в научных кругах, что так называемая Небесная Космогония опрокинута. Вымысел этот проистекает из отчета о последних наблюдениях, произведенных над тем, что доселе именовалось «туманности», в большой телескоп в Цинциннати и всемирно известный прибор лорда Росса. Некоторые пятна на небосводе, являвшие, даже в самые сильные из старых телескопов, вид туманности или мглы, почитались долгое время как подтверждающие учения Лапласа. Их рассматривали как звезды, находящиеся именно на том пути сгущения, который я пытался описать. Поэтому предполагали, что мы имеем «наглядную очевидность» — очевидность, кстати, которая всегда была находима очень спорной, истинности гипотезы, и хотя некоторые телескопические усовершенствования время от времени дозволяли нам улавливать, что здесь и там пятно, которое мы относили к туманностям, было в действительности лишь гроздью звезд, получивших свой облик туманности только из-за необъятности их расстояния, все же, однако, полагали, что не может существовать сомнения относительно настоящей туманности бесчисленных других скоплений — крепостей для ратников туманностей, отклонявших всякую попытку разъединить стадность громады. Из этих туманностей наиболее любопытным было большое туманное пятно в созвездии Ориона, но оно, с бесчисленными другими так называемыми «туманностями», рассмотренное через великолепные новейшие телескопы, оказалось сведенным к простому собранию звезд. Событие это было вообще понято как заключительное против гипотезы туманностей Лапласа, и, по объявлении упомянутых открытий, самый восторженный защитник и самый красноречивый распространитель учения, доктор Николь, дошел даже до «допущения необходимости покинуть» мысль, которая составила сущность драгоценнейшей его книги[1198].

Многие из моих читателей расположены будут, без сомнения, сказать, что выводы этих новых исследований имеют, по меньшей мере, сильную склонность опрокинуть гипотезу, между тем как некоторые другие, более рассудительные, намекнут, что, хотя учение ничуть не опровергнуто разъединением некоторых из упомянутых звездотуманностеи, однако неудача разделения их в подобные

телескопы могла бы быть понятна как торжествующее подтверждение учения, и эти последние изумятся, быть может, услышав меня, если скажу, что даже с ними я не согласен. Если бы предложение этого рассуждения были усвоены, увидели бы, что, на мой взгляд, неудача разделения звездотуманностей тяготела бы скорее к отрицанию, чем к подтверждению гипотезы туманностей.

Объяснюсь: ньютоновский закон тяготения мы можем, конечно, почитать доказанным. Закон этот, как помнят, я приписал противодействию первого Божественного Действа — противодействию некоторого свершения Божественного Воления, временно превозмогающего некоторую трудность. Эта трудность есть пересиливание образцового противообразцовым — понуждение того, чего изначальное и поэтому закономерное состояние было Одно — избрать себе неправое состояние Множества. Лишь постигая трудность эту временно побежденной, можем мы уразуметь противодействие. Противодействия не существовало бы, если бы действие было бесконечно непрерывно. До тех пор пока действие длится, никакое противодействие, конечно, не могло бы начаться; другими словами, никакое тяготение не могло бы иметь места, ибо мы рассматривали одно лишь как выявление другого. Но тяготение возникло, поэтому действие Творения прекратилось, тяготение давно уже присутствовало, поэтому действие Творения давно уже прекратилось. Итак, мы не можем более надеяться наблюдать первичные шествия Творения, и к первичным этим шествиям относится, как было уже изъяснено, состояние туманности.

Посредством того, что мы знаем о распространении света, мы имеем прямое доказательство, что наиболее отдаленные звезды существовали в том лике, в котором мы видим их теперь, непостижимое число годов. Итак, по крайней мере, настолько далеко, как во время когда эти звезды переживали сгущение, должна была быть временная грань, в каковую начался поступательный ход оплотосозидательных развитии. Чтобы мы могли постичь этот ход явлений — как еще продолжающийся для известных туманностей, между тем как во всех других случаях мы находим эти развития совершенно оконченными, мы вынуждены к допущениям, для которых у нас в действительности нет какого-либо основания: мы должны опять навязать возмущающемуся Рассудку кощунственную мысль об

особом вмешательстве, мы должны предположить, что в частичных примерах таких звездотуманностей неошибающийся Бог нашел необходимым ввести некоторые дополнительные постановления, известные улучшения общего закона — словом, известные переделки и поправки, которые имели следствием отсрочку восполнения этих отдельных звезд на столетия столетий, за пределы временного разбега, в течение которого все другие звездные тела имели время не только вполне образоваться, но и сделаться седыми от неизреченно старого возраста.

Конечно, тотчас возразят, что, раз свет, по которому мы распознаем теперь звездотуманности, должен быть просто тот, который выделили их поверхности огромное число лет назад, развитие, наблюдаемое в настоящее время или предполагаемое быть наблюденным, есть, на самом деле, не развитие, ныне действенно свершающееся, но призрак развитии, завершенных задолго в Прошлом — именно так, как согласно с моим утверждением, должны были происходить все эти оплотосозидательные развития.

На это я отвечаю, что ни одно из ныне наблюдаемых состояний сгущенных звезд не есть их настоящее состояние, но состояние, восполнившееся задолго в Прошлом, так что мой довод, почерпнутый из относительных состояний звезд и звездотуманностей, нимало не нарушен. Кроме того, те, что утверждают существование звездотуманностей, не относят туманности на чрезмерное расстояние, они объявляют их действительно-сущими, а не просто перспективными туманностями. Дабы мы постигли на самом деле туманное скопление как зримое вообще, мы должны постигнуть его как очень близкое нам по сравнению со сгустившимися звездами, предстающими зрению через новейшие телескопы. Тогда в поддержание того, что упомянутые видения суть действительные туманности, мы утверждаем их сравнительную близость для нашей точки зрения. Итак, их состояния, как мы их видим сейчас, должны быть отнесены ко времени, гораздо менее отдаленному, чем то, к которому мы относим ныне наблюдаемые состояния по крайней мере большинства звезд. Одним словом, если бы астрономия могла когда-либо выявить туманное пятно, в том смысле, как оно понимается в настоящее время, я считал бы космогонию туманностей не

подкрепленной действительно этим наглядным доказательством, но, тем самым, безвозвратно опрокинутой.

Однако, чтобы воздать Кесарю не более того, что надлежит Кесарю, да позволено мне будет заметить здесь, что повод к гипотезе, приведшей Лапласа к столь блестящим выводам, кажется, внушен был ему, в большой степени, ложным понятием — тем самым ложным понятием, о котором именно мы уже говорили, — всегосподствующим недоразумением относительно свойства так называемых туманных пятен. Здесь он предполагает, что они суть в действительности то, что разумеет их наименование. Дело в том, что великий этот человек был, весьма справедливо, очень скромного мнения относительно своих чисто познавательных способностей. Поэтому касательно действительного существования туманных пятен, существования, столь отважно утверждавшегося его современниками, пользовавшимися наблюдением телескопическим, он опирался менее на то, что он знал, чем на то, что слышал.

Видно будет, что единственные ценные возражения его учению суть возражения против его гипотезы как таковой, возражения на то, чем она внушена, не на то, что она внушает, заданиям ее скорее, нежели выводам. Самое необоснованное его предположение было в приписывании атомам движения к известному средоточию, в прямом противоречии с явным его пониманием, что эти атомы, в беспредельной последовательности, простирались через все Вселенское пространство. Я уже показал, что при таких обстоятельствах вовсе не могло произойти никакого движения, и Лаплас, таким образом, допустил некое движение, не имея для этого большего философического основания, чем то, что нечто в этом роде было необходимо для утверждения того, что он намеревался утверждать.

Первичная его мысль, по-видимому, была смесью истинных эпикурейских атомов и облыжных туманных пятен его современников, и, таким образом, учение его предстает нам в виде причудливого уклонения от безусловной истины, выведенной, как математическое следствие, из ублюдочного данного древней фантазии, перепутанной с современною тупостью. Действительная мощь Лапласа, на самом деле, покоится на почти чудесном математическом чутье, ему он доверялся, и ни на один миг оно не изменило ему, не обмануло, в космогонии

туманностей оно вело его, с глазами завязанными, через лабиринт Заблуждения, в один из самых сияющих и самых поразительных храмов Истины.

Но вообразим себе, на мгновение, что кольцо, впервые отброшенное Солнцем, то есть кольцо, чьим разрывом образован Нептун, на самом деле не оторвалось до тех пор, пока не отброшено было кольцо, из которого возник Уран; что и это кольцо оставалось целым до разряжения того, из которого зачался Сатурн; что и это оставалось целым до разряжения того, из которого зачался Юпитер, — и так далее. Вообразим, словом, что никакого разрыва среди колец не произошло до конечного отброшения того, что дало рождение Меркурию. Мы живописуем, таким образом, перед оком разума ряд сосуществующих концентрических кругов, и, созерцая их постольку же в самих по себе, поскольку в развитиях, коими, согласно гипотезе Лапласа, были они построены, мы замечаем сразу весьма редкостное подобие с атомистическими слоями и развитием первичного излучения, как я его описал. Не возможно ли, что по относительном измерении сил, которыми каждый последовательный планетный круг был отброшен — то есть по измерении последовательных чрезмерностей вращения по отношению к тяготению, причинявшему последовательные разряжения, — мы должны были бы найти рассматриваемое подобие более решительно подтвержденным? Разве невероятно, что мы обнаружили бы силы эти изменившимися — как и в первичном излучении — соразмерно квадратам расстояний?

Наша Солнечная система, состоящая, главным образом, из одного солнца с шестнадцатью планетами несомненно, и, возможно, несколько более, обращающимися вокруг нее на различных отстояниях и сопровождаемых семнадцатью лунами достоверно, но очень вероятно и несколькими другими, — должна быть теперь рассматриваема как некий пример бесчисленных скоплений, который последовательно заполнили всю Вселенскую Сферу атомов по устранению Божественного Воления. Я хочу сказать, что наша Солнечная система должна быть разумеема как доставляющая родовой, пример этих скоплений или, более точно, крайних состоянии, которых они достигли. Если мы задержим наше внимание сосредоточенным на мысли крайнего возможного Соотношения в предначертании Всемогущего, и на предосторожностях, принятых для

свершения его через различие форм среди изначальных атомов, и обособленного разноотстояния, мы найдем невозможным предположить даже на одно мгновение, что хотя бы два из зачинающихся скоплений досягнули, в конце, совершенно одинакового достижения. Мы, скорее, будем склонны думать, что нет двух звездных тел во Вселенной — будь то солнца, планеты, или луны, — которые были бы в частном подобны, хотя все подобны в общем. Еще менее тогда можем мы вообразить некие два соединения таких тел — некие «системы» — имеющими более чем общее сходство[1199]. Наши телескопы в этом вполне подтверждают наши выведения. Обращаясь к нашему солнечному сплетению, как к наиболее вольному или общему образу из всех, мы зашли настолько далеко в нашем предмете, как рассмотрение Вселенной в виде сферического пространства, через которое, рассеянное с единообразием чисто общим, существует известное число лишь в общем подобных сплетений.

Взглянем теперь, распространив наши понятия, на каждую из этих систем как на некий сам по себе атом, что он и есть в действительности, если мы будем рассматривать его лишь как одну из несчетных мириад многочастных целых, которые образуют Вселенную. Рассматривая, таким образом, их все лишь как великанские атомы, каждый с одним и тем же неистребимым устремлением к Единству, что отличает настоящие атомы, из которых она состоит, — мы вступаем сразу в новый порядок сцеплений. Меньшие сплетенности, в соседстве с известной большей, должны были бы неизбежно притягиваться все теснее в ее соседство. Тысяча соберется здесь; миллион там; здесь, быть может, снова, даже миллиард — оставляя, таким образом, неизмеримые пустоты в пространстве. И, если будет спрошено, почему в отношении этих многочастных целых, этих просто исполинских атомов — я говорю лишь о «соединении», а не о более или менее скрепленном скоплении, как в примере настоящих атомов, — если вопросят, например, почему я не довожу своего указания до его законного разрешение и не описываю сразу эти сборища систем-атомов ринувшимися в сплочение сфер, между тем как каждый достигает сгущения в одно великолепное солнце, — мой ответ есть, что это грядет — я лишь приостановился, на миг, у порога в Грядущее. В текущем, называя эти сборища

«гроздьями», мы видим их в зачаточных состояниях их сплочения. Абсолютное их сплочение еще впереди.

Мы достигли теперь той точки, откуда мы созерцаем Вселенную как сферическое пространство, усеянное, неравно, гроздьями. Я хочу отметить, что предпочитаю здесь наречие «неравно» выражению «с равенством чисто общим», употребленному ранее. Очевидно, на самом деле, что равенство распределения будет уменьшаться в прямом отношении к образованию скоплений — то есть по мере уменьшения, в числе, вещей распределяющихся. Таким образом, возрастание неравенства — возрастание, каковое должно длиться до тех пор пока, раньше или позже, не настанет некоторое время, и обширнейшее скопление поглотит все остальные, — должно быть рассматриваемо просто как указание, подтверждающее устремление во Едино.

И здесь, наконец, уместным кажется полюбопытствовать, подтверждают ли удостоверенные сведения астрономии общее расположение, которое я, путем выведения, означил Небесам. Сполна они это делают. Телескопические наблюдения, руководимые законами перспективы, дозволяют нам установить, что постижимая Вселенная существует как гроздь гроздей, неправильно расположенных.

«Гроздья», из которых эта Вселенская «гроздь гроздей» состоит, суть просто то, что мы обычно определяем как «звездные туманности» — и из этих звездотуманностей одна есть верховнейшей завлекательности для человечества. Я разумею Светомлечность, или Млечный Путь. Она занимает нас, во-первых и наиболее явно, по причине большего своего превосходства в видимом объеме, не только над той или другой гроздью небосвода, но и над всеми вместе взятыми гроздьями. Наибольшая из этих последних занимает лишь точку, сравнительно, и четко видима только с помощью телескопа. Млечный Путь метется через все Небо и сияюще зрим для простого глаза. Но он влечет человека главным образом, хотя и менее непосредственно, по причине того, что он его дом, отчизна Земли, где он существует; обитель Солнца, вокруг которого Земля обращается; обитель той сложности шаров, среди коих Солнце есть средоточие, и первосвет — Земля есть одна из шестнадцати вторичных, или планет, Луна одна из семнадцати третичных, или спутников. Млечный Путь, я повторяю, есть лишь одна из гроздей, что я описал, лишь одна из так называемых «туманностей», открывающихся нам — временами, в телескоп только

— как слабые мглистые пятна в различных частях неба. У нас нет основания предполагать, что Млечный Путь в действительности более пространен, чем самая малая из этих звездотуманностей. Огромные превосходства его объема суть лишь видимые превосходства, происходящие от нашего положения относительно него — то есть от нашего положения в его середине. Сколь бы странным ни показалось первоначально это утверждение для тех, кто не посвящен в звездоведение, однако сам звездовед не колеблется в утверждении, что мы находимся в середине этого несметного воинства звезд — солнц, многочастных целых, — каковые образуют Светомлечность. Кроме того, и не только мы имеем — не только наше Солнце имеет право притязать на Млечный Путь как на свою собственную отдельную гроздь, но, с малой оговоркой, можно сказать, что каждая четко зримая звезда небосвода — каждая звезда зримая простому глазу — может равно притязать на него как на свою собственность.

Существовало в сильной степени заблуждение относительно облика Млечного Пути, который, как говорят, приблизительно во всех астрономических рассуждениях, похож на заглавную «Y». Гроздь эта в действительности имеет некоторое общее, очень общее сходство с планетой Сатурн, что окружен тройным своим кольцом. Вместо плотного шара этой планеты, мы, однако, должны нарисовать себе чечевицеобразныи звездоостров, или собрание звезд; Солнце наше находится вне совпадения средоточием — близ берега острова, в стороне, ближайшей к созвездию Креста и отдаленнейшей от Кассиопеи. Окружное кольцо, близясь к нашему положению, имеет продольный рубец, который на самом деле, в силу нашего соседства с кольцом, доставляет смутное сходство с заглавной «Y».

Мы не должны, однако, впасть в ошибку, представляя себе этот несколько неопределенный пояс вообще отдаленным, говоря сравнительно, от столь же неопределенной чечевицеобразной грозди, которую он окружает; и таким образом, лишь с целью изъяснения, мы можем говорить, что Солнце наше действительно находится в той точке Y, которая единит три его составные линии; и представляя эту букву имеющей некоторую плотность — некоторую толщину, весьма ничтожную сравнительно с ее длиной — мы можем даже говорить о нашем положении как бы в средине ее толщи. Вообразив себя в этом месте, мы не найдем более затруднения изъяснить представляющиеся

явления, каковые всецело перспективны. Когда мы смотрим вверх или вниз — то есть когда мы устремляем наши взоры в направлении толщи буквы, — мы смотрим через меньшее количество звезд, чем когда мы устремляем их в направлении длины ее или вдоль одной из трех составных линий. Разумеется, в первом случае звезды являются рассеянными — в последнем скученными. Опрокинем это изъяснение: обитатель Земли, смотрящий, как обычно мы выражаемся, на Млечный Путь, созерцает его тогда в направлении его длины — смотрит вдоль линий Y, — но, когда, взглянув вообще на Небо, обращает он свои глаза от Млечного Пути, он наблюдает тогда его в направлении толщи буквы; и по этой причине звезды кажутся ему рассеянными; тогда как, в действительности, они столь же сомкнуты, в среднем, как и в оплоте грозди. Нет размышления более приспособленного дать представление о чудовищной протяженности этой грозди.

Если, с телескопом высокой пространство-проникающей силы, мы будем тщательно рассматривать небосвод, мы повстречаемся с перевязью гроздей, которую доселе именовали мы «звездотуманностью», — некоей полосой различной ширины, протягивающейся от горизонта к горизонту, под прямым углом к общему потоку Млечного Пути. Полоса эта есть предельная гроздь гроздей. Перевязь эта есть Вселенная. Наша Светомлечность есть лишь одна, и, быть может, одна из самых незначительных гроздей, что входят в образование предельной этой Вселенской перевязи или полосы. Видимость этой грозди гроздей для наших глаз, как перевязь или полоса, есть всецело некое явление перспективное, того же самого свойства, как и то, что вынуждает нас видеть нашу собственную отдельную и грубо-сферическую гроздь, Светомлечность, также в образе перевязи, пересекающей Небеса под прямым углом к перевязи Вселенской. Облик грозди всевключающей, конечно, вообще тот же, что каждой отдельной грозди его включаемой. Совершенно как рассеянные звезды, которые, при взгляде от Млечного Пути, мы видим в общем небе, суть, в действительности, лишь части этой самой Млечности и так тесно с нею смешанные, как любая телескопическая точка в том, что кажется сгущеннейшей частью ее оплота, — таковы же суть рассеянные звездотуманности, которые, устремляя наши взоры от Вселенской перевязи, мы замечаем во всех точках небосвода, —

таковы же, говорю я, суть рассеянные звездотуманности, долженствующие быть разумеемы лишь как перспективно рассеянные и как часть и частица единой верховной и Вселенской сферы. Нет астрономического вымысла менее приемлемого, и не было другого, за который бы более цепко держались, чем этот вымысел об абсолютной беспредельности Вселенной Звезд. Причины для предельности, как я уже означил их, a priori, кажутся мне неоспоримыми; но, не говоря об этом, наблюдение удостоверяет нас, что существует, достоверно, в бесчисленных направлениях вокруг нас, если не во всех, известный положительный предел — или, в крайнем случае, оно не доставляет нам какого-либо основания думать иначе. Если бы непрерывность звезд была бесконечна, тогда бы заднее поле неба являло нам единообразную светящесть, подобную исходящей от Млечного Пути, — ибо безусловно не было бы точки, на всем этом заднем поле, где не существовало бы звезды. Единственный способ поэтому, при таком положении вещей, понять пустоты, что открывают наши телескопы в бесчисленных направлениях, предположить, что рассеяние от незримого заднего поля так несметно, что ни один его луч доселе совершенно не мог нас достигнуть. Что это может быть так, кто решится отрицать? Я утверждаю, просто, что у нас нет даже тени причины веровать, что это так.

Говоря о повседневной склонности смотреть на все тела на Земле как устремляющиеся лишь к средоточию Земли, я заметил, что «за некоторыми исключениями, определяемыми ниже, каждое тело на Земле устремляется не только к средоточию Земли, но и в каждом другом постижимом направлении». «Исключения» относятся к тем частым провалам в Небе, которые тщательнейшему нашему разысканию не только не открывают никаких звездных тел, но даже и указания на их существование; где зияющие расселины, чернее, чем мрачный Эреб, чудится, бросают нам отсветы через граничные стены Вселенной Звезд в беспредельную Вселенную Пустоты за ними. Но, так как всякому телу, существующему на Земле, представляется случай пересечь, своим ли собственным движением или движением Земли, в некоторой линии одну из этих пустот или мировых пропастей, ясно, что оно более не притягивается в направлении этой пустоты и на миг, следовательно, «тяжелее», чем в любое время после этого или до. Независимо от рассмотрения этих пустот, однако, и взирая только на

общее неравенство распределения звезд, мы видим, что абсолютное устремление тел Земли к средоточию Земли находится в состоянии непрерывного изменения.

Мы понимаем тогда обострование нашей Вселенной. Мы постигаем отъединение этого — всего того, что ухватываем мы нашими чувствами. Мы знаем, что существует некая гроздь гроздей — сборище, вокруг которого, со всех сторон, простираются безызмерные дебри Пространства, всякому человеческому восприятию недостижимые. Но, так как на пределах этой Вселенной Звезд мы вынуждены приостановиться, за отсутствием дальнейшего свидетельства наших чувств, справедливо ли заключать, что, в действительности, нет вещественной точки за той, которой доселе дозволено нам было досягнуть? Имеем ли мы или не имеем сходное право заключить, что эта ощутимая Вселенная — что эта гроздь гроздей — есть лишь одна из некоторого ряда гроздьев гроздей, остальные из которых незримы за расстоянием — незримы, ибо рассеяние их света столь чрезмерно, раньше чем он нас достигнет, что уже более не производит он на нашу сетчатку световпечатления, или же оттуда нет вовсе такого истечения как свет в этих несказанно дальних мирах, или, наконец, наименьшее промежуточное расстояние столь обширно, что электрические вести их присутствия в Пространстве еще не смогли — через истекающие мириады лет — пройти это расстояние?

Имеем ли мы какое-нибудь право на заключение, имеем ли мы какое-либо основание для видений, как эти? Если мы имеем на них право в какой-либо степени, мы имеем право на бесконечную их протяженность.

Человеческий мозг, очевидно, имеет наклонность к «Бесконечному» и лелеет призрак этого помысла. Чудится, со страстной пламенностью жаждет он этого невозможного представления в надежде разумом уверовать в него, раз постигши. Что обще для целого рода Человеческого, того, конечно, ни единая личность этого рода не уполномочена почитать неправильными, тем не менее может существовать некий разряд высших разумов, для которых указанная человеческая склонность представляется облеченной всеми свойствами помешательства на одном.

Вопрос мой, однако, остается безответным: имеем ли мы какое-нибудь право утверждать — скажем, скорее, воображать — некую нескончаемую последовательность «гроздьев гроздей», или «Вселенных», более или менее подобных?

Я отвечу, что «право», в таком случае, как этот, зависит всецело от смелости того воображения, что отваживается требовать этого права. Да позволено мне будет заявить лишь то, что, как отдельная личность, я чувствую себя побужденным воображать — не осмеливаясь назвать это иначе, — что действительно существует некая беспредельная последовательность Вселенных, более или менее подобных той, о которой мы имеем осведомленность, — той, о которой одной будем мы когда-нибудь иметь осведомленность, по крайней мере до возврата нашей собственной отдельной Вселенной в Единство. Если такие гроздья гроздей существуют, однако, — а они существуют — слишком явно, что, не имея доли в нашем происхождении, они не имеют доли в наших законах. Ни они не притягивают нас, ни мы их. Их вещество — их дух; не наш — они не то, что получает какую-либо часть в нашей Вселенной. Они не могли бы впечатлевать наши чувства или наши души. Между ними и нами — рассматривая все на мгновение, совокупно — нет влияний взаимных. Каждая существует, отдельно и независимо, на лоне своего собственного и особого Бога.

Ведя это рассуждение, я устремляюсь менее к физическому, чем к метафизическому порядку. Ясность, с которой даже вещественные явления предстают разумению, зависит очень мало, — издавна научился я это уловлять, — от чисто природного устроения и почти всецело — от нравственного. Если же покажется, что я шагаю несколько слишком умозрительно от точки к точке моей задачи, да позволят мне сообщить, что я делаю так в надежде тем лучше предохранить неразрывной ту цепь поступательного впечатления, через каковое рассудок Человека только и может надеяться охватить величины, о которых я говорю, и, в их величественной цельности, понять их.

До сих пор внимание наше было направлено почти исключительно к общему и относительному сочетанию звездных тел в пространстве. Подробных обособлений здесь было мало; и какие бы представления количества ни были введены — то есть представления числа, величины и расстояния, — они были введены случайно и на

пути подготовки к более определенным понятиям. Этих последних попытаемся теперь досягнуть.

Наша Солнечная система, как было уже упомянуто, состоит в главнейшем из одного солнца и шестнадцати планет достоверных, но весьма вероятно и нескольких других, вращающихся вокруг него как средоточия, и семнадцати сопровождающих лун, о коих мы знаем, с возможностью многих еще, о которых мы доселе не знаем ничего. Различные эти тела суть не правильные сферы, но сплющенные сфероиды, — сферы, приплюснутые на полюсах воображаемых осей, вокруг которых они вращаются, — приплюснутость есть следствие вращения. И Солнце отнюдь не безусловное средоточие этой сети; ибо само Солнце, со всеми планетами, обращается вокруг некоторой непрестанно изменяющейся точки пространства, которая есть для всей сети общее средоточие тяготения. Мы ни мало не должны также рассматривать дороги, по которым эти различные сфероиды движутся — луны вокруг планет, планеты вокруг Солнца, или Солнце вокруг общего средоточия, — как круги в точном смысле. Они суть, в действительности, эллипсы: один из очагов составляет точку, вокруг которой совершается обращение. Эллипс есть кривая, возвращающаяся внутрь самое себя, один из диаметров ее длиннее другого. На длинном диаметре есть две точки, равноотстоящие от средины линии, и, с другой стороны, расположенные так, что, если из той или другой провести прямую линию в какую-нибудь точку кривой, две линии, вместе взятые, будут равны длинному диаметру. Представим же себе такой эллипс. В одной из упомянутых точек, что суть очаги, укрепим апельсин. Посредством растягивающейся нити соединим этот апельсин с горошиной и поместим эту последнюю на окружности эллипса. Будем подвигать горошину непрерывно вокруг апельсина — удерживая ее неизменно на окружности эллипса. Растягивающаяся нить, на пути, конечно, изменяющаяся в длине, по мере передвижения горошины, образует то, что в геометрии именуется радиус-вектор. Но если под апельсином разуметь Солнце, а горошину считать некоторой планетой обращающейся вокруг него, тогда обращение будет происходить со скоростью столь изменчивой, что радиус-вектор будет проходить равные площади пространства в равные времена. Поступательное движение горошины должно быть — другими словами, поступательное движение планеты — есть

замедленное, конечно соразмерно с ее расстоянием от Солнца, ускоренное соразмерно с ее приближением. Те планеты, кроме того, движутся более медленно, которые дальше от Солнца; квадраты времен их обращения находятся в таком же соотношении друг к другу, в каком соотношении друг к другу находятся кубы их средних расстояний от Солнца.

Зачарованно сложные законы обращения, здесь описанные, однако, не должны быть понимаемы как достигнутые лишь нашими одним сплетением. Повсеместно господствуют они, где господствует притяжение. Они управляют Вселенной. Каждое сияющее пятно в небосводе есть, несомненно, светоносное Солнце, похожее на наше собственное, по крайней мере в общих своих чертах, и имеющее в свите своей большее или меньшее число планет, больших или меньших, чья еще замедленная светящесть недостаточна, чтобы сделать их зримыми нам на таком огромном расстоянии, но которые, тем не менее, обращаются, лунносопутствуемые, вокруг своих звездных средоточий, повинуясь началам только что описанным — повинуясь трем всепревозмогшим законам обращения, трем бессмертным законам, что разгаданы воображением Кеплера и лишь потом выявлены и доказаны терпеливым и математическим умом Ньютона. Среди разряда философов, которые гордятся чрезмерно положительностями, слишком общепринято подсмеиваться над всяким умозрением, давая ему всеобъемлющую кличку «гадание». Главное дело в том, кто гадает. Гадая с Платоном, мы иногда тратим наше время с большей целесообразностью, нежели прислушиваясь к доказательствам Алкмеона.

Во многих сочинениях по астрономии я нахожу четко утверждаемым, что законы Кеплера суть основание великой основы, тяготения. Эта мысль должна была возникнуть из того, что угадание этих законов Кеплером и его доказывание действительного их существования a posteriori побудили Ньютона объяснять их гипотезою тяготения, и, в конце концов, доказывать их a priori, как необходимые последствия гипотетической основы. Таким образом, не только законы Кеплера не суть основа тяготения, но тяготение есть основа этих законов, — и это поистине верно относительно всех законов вещественной Вселенной, которые не относятся только к Отталкиванию.

Среднее расстояние Земли от Луны — то есть от небесного тела, находящегося в наиболее близком с нами соседстве — 237 000 миль. Меркурий, планета ближайшая к Солнцу, отстоит от него на 37 миллионов миль. Венера, ближайшая, обращается на расстоянии 68 миллионов. Земля, которая следует в близости, находится на расстоянии 95 миллионов. Затем Марс — на расстоянии 144 миллионов. Затем следуют восемь астероидов (Церера, Юнона, Веста, Паллада, Астрея, Флора, Ирида, и Геба) на среднем расстоянии приблизительно в 250 миллионов; наконец, Нептун, недавно открытый и обращающийся на расстоянии, скажем, в 28 сотен миллионов. Оставляя Нептун вне расчета — о нем мы еще знаем очень мало чего-нибудь точного, и возможно, что он принадлежит к системе астероидов, — будет видно, что в известных границах есть известный порядок промежутка между планетами. Говоря приблизительно, можно сказать, что каждая внешняя планета отстоит от Солнца дважды на таком расстоянии, на каком находится ближайшая внутренняя. Не может ли порядок, здесь упоминаемый, — не может ли закон Боде быть выведен из соображения подобия, мною указываемого, как существующим между солнечным отбрасыванием колец и способом атомического излучения?

Числа, спешно упоминаемые в этом итоге расстояний, было бы безумием пытаться постичь, кроме как в свете отвлеченных арифметических достоверностей. Применительно они не ощутимы. Они не дают точных представлений. Я утверждал, что Нептун, наиболее дальняя от Солнца планета, обращается около него на расстоянии 28 сотен миллионов миль. До сих пор прекрасно: я утверждал математическую достоверность; и, не постигая ее ни в малейшей степени, мы можем пользоваться ею — математически. Но, упоминая даже, что Луна обращается вокруг Земли на сравнительно пустяшном расстоянии в 237 000 миль, я не ожидал дать кому-нибудь возможность понять — узнать — почувствовать, насколько далеко от Земли находится в действительности Луна. 237 000 миль. Среди моих читателей, быть может, лишь немногие не пересекли Атлантический океан; многие ли, однако, из них имеют точное представление даже о 3000 миль, находящихся между берегом и берегом? Я сомневаюсь, на самом деле, есть ли среди живущих какой-нибудь человек, который может внедрить в свой мозг самое отдаленное представление о

промежутке между одним верстовым столбом и другим, ближайшим. Нам, однако, в некоторой мере помогает, при наших соображениях расстояния, сочетать это соображение с родственным соображением о скорости. Звук проходить 1100 футов пространства в одну секунду времени. Если бы было возможно жителю Земли увидеть вспышку пушечного выстрела на Луне и услышать звук выстрела, он, заметив первую, должен был бы ждать более тринадцати дней и ночей, прежде чем он получил бы какое-либо указание на второй.

Как бы ни было слабо даже таким образом доставленное впечатление действительного расстояния Луны от Земли, оно, тем не менее, будет иметь то доброе действие, что даст нам способность более ясно видеть тщету попытки постичь такие промежутки, как 28 сотен миллионов миль между нашим Солнцем и Нептуном или хотя бы 95 миллионов между Солнцем и Землей, на которой мы живем. Пушечное ядро, летя с величайшей быстротой, с каковою ядро когда-либо летело, не могло бы пройти этот промежуток скорей, чем в 20 лет; для первого же промежутка оно потребовало бы 590 лет.

Истинный диаметр нашей Луны 2160 миль; однако же она сравнительно столь пустяшный предмет, что нужно было бы приблизительно 50 таких шаров, чтобы составить один из размеров, одинаковых с Землею.

Диаметр нашего собственного шара — 7912 миль, но какое положительное представление можем мы извлечь из значения этих чисел?

Если мы взойдем на обыкновенную гору и посмотрим вокруг себя с ее вершины, мы увидим ландшафт, простирающийся, скажем, на 40 миль в каждом направлении, образующий круг в 250 миль в окружности, и включающий в себя пространство в 5000 квадратных миль. Протяженность такой перспективы, по причине последовательности, с которой отдельные ее части необходимо являются взору, может быть оценена лишь очень слабо и очень частично — а вся панорама будет обнимать не более чем одну 40 000-ю часть поверхности нашего шара. Если бы эта панорама сменилась по истечении одного часа другою, равной протяженности, эта опять по истечении часа третьей, эта опять по истечении еще часа четвертой — и так далее, до того как будет исчерпана вся зримость Земли, и если бы мы рассматривали эти отдельные панорамы по двенадцати часов

каждый день, мы, тем не менее, окончили бы полный огляд лишь в 9 лет с 48-ю днями.

Но если простая поверхность Земли ускользает от охвата воображения, что должны мы думать о кубическом ее содержании? Оно обнимает громаду вещества весом, по крайней мере, в два секстиллиона двести квинтиллионов тонн. Предположим эту громаду в состоянии покоя, и попытаемся вообразить механическую силу, достаточную, чтобы привести ее в движение! Сила всех мириад существ, которые мы можем представить себе обитающими планетные миры нашей системы, — соединенная телесная сила всех этих существ — даже допуская, что все они более могучи, нежели человек — не смогла бы сдвинуть тяжелую громаду на один дюйм с ее места. Что же должны мы думать о силе, которая, при подобных обстоятельствах, потребовалась бы, чтобы сдвинуть самую большую из наших планет, Юпитер? У нее 86000 миль в диаметре, и она включила бы в свою окружность более чем тысячу шаров таких размеров, как наш. Однако же это изумительное тело мчится вокруг Солнца со скоростью 29 000 миль в час — то есть со скоростью, в сорок раз большей, чем скорость пушечного ядра! Мысль о таком явлении, нельзя даже сказать, чтобы она поражала ум, — она заставляет его ужаснуться и стереться. Нередко мы заставляем наше воображение нарисовать себе способности какого-нибудь ангела. Вообразим себе такое существо на расстоянии какой-нибудь сотни миль от Юпитера — близким очевидцем того, как эта планета поспешает в годовом своем обращении. Можем ли мы, спрашиваю я, составить себе какое-нибудь представление о духовной взнесенности этого идеального существа — настолько отчетливое, как представление, подразумевающееся в предположении, что он, — ангел, каким бы он ни был ангельским — не будет сразу низвергнут в ничто и сражен даже этой неизмеримой громадой вещества, взвихренной непосредственно перед его глазами и летящей с быстротою, столь неизреченной?

Здесь, однако, вполне подходит указать, что в действительности мы говорим о сравнительных пустяках. Наше Солнце, средоточный и заправляющий шар сплетенности, к которой принадлежит Юпитер, — не только больше, чем Юпитер, но больше гораздо, чем все планеты нашей сети вместе взятые. Это обстоятельство на самом деле есть существенное условие стойкости самой системы. Диаметр Юпитера

был упомянуть; в нем 86 000 миль — в диаметре Солнца 882 000 миль. Житель последнего, проходя по 90 миль в день, должен был бы идти более восьмидесяти лет, свершая великий круг его окружности. Оно занимает кубическое пространство в 681 квадриллион 472 триллиона миль. Луна, как было сказано, обращается вокруг Земли на расстоянии 237 000 миль — по орбите, следственно, приблизительно в полтора миллиона. Но, если бы Солнце было помещено на Земле, средоточие над средоточием, тело первого простерлось бы, по всем направлениям, не только до линии Лунной орбиты, но и за нее, на расстояние в 200 000 миль.

И здесь опять да будет мне позволено указать, что в действительности мы еще говорим о сравнительных пустяках. Расстояние планеты Нептун от Солнца было указано; это 28 сотен миллионов миль; окружность его орбиты поэтому около 17 миллиардов. Будем держать это в уме, меж тем как мы глядим на одну какую-нибудь из самых блестящих звезд. Между нею и звездою нашей системы (Солнцем) находится бездна пространства, чтобы дать представление о котором, нам нужен язык архангела. Итак, звезда, на которую мы в предположении смотрим, есть нечто совершенно отдельное от нашей сплетенности и от нашего Солнца, или звезды; все же, на мгновение вообразим ее помещенной на нашем Солнце, средоточие над средоточием, как мы только что воображали это самое Солнце помещенным на Земле. Представим себе теперь эту особенную звезду, которую мы держим в уме, простирающейся, по всем направлениям, за пределы орбиты Меркурия — Венеры — Земли; еще дальше, за пределы орбиты Марса — Юпитера — Урана — до тех пор, пока наконец мы не вообразим ее наполняющею круг в семнадцать миллиардов миль в окружности, каковой описывает в своем обращении планета Леверье. Когда мы представим себе все это, наше представление совсем не сумасбродно. Есть наилучшее основание верить, что многие из звезд еще гораздо больших размеров, чем та, которую мы вообразили. Я разумею, что у нас есть наилучшее опытное основание для такого верования — и смотря назад, на первичные атомистические устроения для разнообразия, которые были предположены как часть Божественного распорядка в устроении Вселенной, мы сможем легко понять и допустить существование даже гораздо более обширных несоразмерностей в величине звезд, нежели

какая-либо указанная мною доселе. Конечно, мы должны ожидать, что величайшие шары катятся через обширнейшие пустоты Пространства.

Я только что говорил, что для того, чтобы составить представление о промежутке между нашим Солнцем и какою-нибудь из других звезд, нам потребно красноречие архангела. Говоря так, я не могу быть обвинен в преувеличении; ибо простая правда гласит, что есть предметы, относительно которых вряд ли возможно преувеличивать. Но явим данное обстоятельство более четко перед оком ума.

Прежде всего, мы можем достичь общего относительного представления упомянутого промежутка сравнением его с междупланетными пространствами. Если, например, мы предположим, что Земля, которая с действительности отстоит от Солнца на 95 миллионов миль, находится лишь на один фут от этого светила, тогда Нептун был бы от него на расстоянии сорока футов, а звезда Альфа Лиры по крайней мере на расстоянии ста пятидесяти девяти. Теперь я притязаю, что при заключении моей последней фразы немногие из моих читателей заметили что-нибудь особенное, подлежащее возражению, — что-нибудь в частичности неверное. Я сказал, что, если расстояние Земли от Солнца будет в один фут, расстояние Нептуна было бы в сорок футов, а расстояние Альфы Аиры в сто пятьдесят девять. Соотношение между одним футом и сто пятидесятые девятью дало, быть может, достаточно четкое впечатление соотношения между двумя промежуточными пространствами — Земли от Солнца и Альфы Лиры от того же самого светила. Но мое исчисление должно было бы в действительности происходить так: предположив, что расстояние Земли от Солнца есть один фут, расстояние Нептуна было бы сорок футов, а расстояние Альфы Лиры сто сорок девять миль — то есть, я приписал Альфе Лиры, в моем первом утверждении, лишь 5280-ю часть расстояния, которое есть наименьшее возможное, на каковом она в действительности находится.

Продолжаю: как бы далеко ни была простая планета, все же, когда мы глядим на нее через телескоп, мы видим ее имеющей известную форму — известные ощутительные размеры. Но я уже указывал вероятный объем многих из звезд; тем не менее, когда мы смотрим на какую-нибудь из них, даже через самый сильный телескоп, она не

являет нам никакой формы и, следственно, никакой величины. Мы видим ее как точку, и не более.

Потом: предположим, что мы идем ночью по большой дороге. На поле, с той и другой стороны дороги, находится линия высоких предметов, скажем деревьев, очерк которых четко предстает на заднем пространстве неба. Эта линия предметов простирается под прямым углом к дороге и от дороги к горизонту. Идя вдоль дороги, мы видим, как эти предметы меняют свои положения соответственно в отношении к известной неподвижной точке в той части небосвода, которая образует заднее поле зрения. Предположим, что эта неподвижная точка — достаточно неподвижная для нашей цели — есть встающая Луна. Мы тотчас замечаем, что, в то время как дерево, ближайшее к нам, настолько изменяет свое положение относительно Луны, что кажется убегающим сзади нас, дерево, находящееся на самом дальнем расстоянии, едва изменило свое положение относительно спутника. Мы замечаем тогда, что чем предметы дальше от нас, тем менее они изменяют свое положение; и наоборот. Тогда мы начинаем, неведомо для нас самих, оценивать расстояние отдельных деревьев по градусам, в которых они указывают соответственное изменение. Наконец, мы начинаем понимать, каким образом возможно удостовериться в действительном расстоянии любого данного дерева этого ряда, пользуясь итогом относительного изменения как основой в простой геометрической задаче. Но это относительное изменение есть то, что мы называем «параллаксом», некоторым воображаемым углом; и этим углом, параллаксом, мы исчисляем расстояние небесных тел. Применяя данное положение к рассматриваемым деревьям, мы, конечно, с трудом могли бы понять расстояние вот этого дерева, которое, как бы мы ни шли вперед вдоль дороги, вовсе не дало бы никакого угла. В данном случае это есть вещь невозможная, но невозможная только потому, что все расстояния на нашей Земле поистине ничтожны, в сравнении с обширными мировыми величинами, мы можем сказать о них, что они суть абсолютное ничто.

Теперь предположим, что звезда Альфа Лиры находится как раз у нас над головой; и вообразим, что вместо того, чтобы стоять на Земле, мы стоим на одном конце прямой дороги, простирающейся через Пространство до расстояния, равного диаметру земной орбиты, — то есть до расстояния в сто девяносто миллионов миль. Заметив с

помощью тончайших микрометрических инструментов точное положение звезды, пройдем теперь вдоль этой непостижимой дороги, пока мы не достигнем другой крайности. И теперь, еще раз, глянем на звезду. Она в точности там, где мы ее оставили. Наши приборы, хотя бы тончайшие, удостоверяют нас, что ее относительное положение безусловно — тождественно то же самое, как при начале нашего неизреченного странствия. Никакого параллакса — какого бы то ни было — не было найдено.

Дело в том, что касательно расстояния неподвижных звезд — касательно расстояния какой-либо из мириад солнц, что искрятся на дальней стороне этой ужасающей расселины, каковая отделяет наше звездное многочастное целое от его собратий в грозде, к которому оно принадлежит — звездоведение, до самого последнего времени, могло говорить лишь с отрицательной достоверностью. Допуская, что самые яркие суть самые близкие, мы могли бы сказать даже о них только одно — что расстояние, на здешней стороне которого они не могут быть, неизмеримо; как далеко они находятся за пределами его, в этом мы никогда не могли удостовериться. Мы постигли, например, что Альфа Лиры не может быть ближе от нас, чем на 19 триллионов 200 миллиардов миль; но из всего, что мы знали, и, поистине, из всего, что мы теперь знаем, следует, что она может отстоять от нас на квадрат, или на куб, или на какую-либо другую степень упомянутого числа. Однако же, с помощью удивительно кропотливых и осмотрительных наблюдений, пользуясь новыми инструментами, в течение многих трудолюбивых годов, Бесселю, недавно умершему, удалось за последнее время определить расстояние шести или семи звезд; среди них, расстояние звезды, помеченной числом 61, в созвездии Лебедя. Расстояние, удостоверенное в этом последнем случае, есть повторенное 670 000 раз расстояние от Солнца; это же последнее, как будет припомнено, 95 миллионов миль. Звезда 61 Лебедя, значит, находится приблизительно на 64 триллиона миль от нас — или на более чем трижды повторенном расстоянии, принятом как наименьшее возможное для Альфы Лиры. Пытаясь определить этот промежуток с помощью каких-либо соображений скорости, как мы это делали, стараясь определить расстояние Луны, мы должны совершенно упустить из виду такие ничто, как быстрота пушечного ядра или звука. Свет, однако, согласно с последними исчислениями Струве, движется

со скоростью 167 000 миль в секунду. Сама мысль не может пройти через такой промежуток более быстро — если в действительности мысль вообще может пройти его. Все же, доходя до нас от звезды 61 Лебедя, даже с такой непостижимой быстротою, свет идет более чем десять лет; и, следственно, если бы эта звезда в данный миг была вычеркнута из Вселенной, все же в течение десяти лет она продолжала бы искриться, незатуманенная в своей парадоксальной славе. Храня теперь в уме хотя бы слабое представление, какое только мы можем иметь относительно промежутка между нашим Солнцем и звездой 61 Лебедя, припомним, что, как бы ни был этот промежуток неизреченно обширен, нам дозволено рассматривать его лишь как средний промежуток между бесчисленным воинством звезд, составляющим эту гроздь, или «туманное пятно», к которому принадлежит вся наша сплетенность, так же как звезда 61 Лебедя. Я производил исчисление, на деле, с большой умеренностью. Мы имеем наилучшее основание верить, что звезда 61 Лебедя одна из ближайших звезд, и, таким образом, можем заключить, по крайней мере для настоящего, что ее расстояние от нас меньше, чем среднее расстояние между звездой и звездой в великолепной грозди Млечного Пути.

И здесь, еще раз, и окончательно, кажется благопристойным указать, что даже и доселе мы все еще говорили о пустяках. Перестанем дивиться на пространство между звездой и звездой в нашей собственной или какой-либо частичной грозди — обратим скорее наши мысли к расстояньям между гроздью и гроздью во всеобъемлющем грозде Вселенной.

Я уже сказал, что свет движется со скоростью 167 000 миль в секунду — то есть около 10 миллионов миль в минуту, или около 600 миллионов миль в час; все же так далеко отодвинуты от нас некоторые из звездотуманностей, что даже свет, поспешая с такой быстрой, не мог бы достичь нас и не достигает нас из этих таинственных областей скорее, чем в 3 миллиона лет. Это исчисление, кроме того, сделано Гершелем-старшим, и в отношении только тех сравнительно близких гроздей, что находятся в огляде его собственного телескопа. Есть, однако, звездотуманности, которые через магическую трубу лорда Росса в это самое мгновение шепчут нам на ухо тайны о миллионе веков отошедших. Словом, события, что мы созерцаем теперь — в этот миг — в тех мирах — тождественны с теми событиями, что

привлекали внимание их жителей десять сотен тысяч веков тому назад. В пространствах — в расстояниях, какие подобное внушение внедряет в душу скорее, чем в разум — мы наконец находим подходящий размах приращения ко всем доселе возникавшим, столь ничтожным соображениям о количестве.

С воображением нашим, таким образом, занятым мировыми пространствами, воспользуемся случаем упомянуть о трудности, столь часто нами испытанной, в то время как мы идем по пробитому пути астрономического размышления, изъясняя указанные неизмеримые пустоты, — трудности понять, почему расселины, столь целостно незанятые и, следовательно, по видимости, столь бесполезные, возникли между звездой и звездой — между гроздью и гроздью — трудность постичь, словом, достаточное основание для Титанической лестницы — в отношении только Пространства, в отношении исполинской пространственной размерности, — на которой, как зримо, построена Вселенная. Я утверждаю, что звездоведение осязательным образом не смогло указать разумной причины для такого явления; но соображения, через которые, в этом рассуждении, мы шли вперед шаг за шагом, делают нас способными ясно и немедленно постичь, что Пространство и Длительность суть одно. Чтобы Вселенная могла длиться в течение летосчисления, вообще соразмерного с величием составных ее вещественных частей и с высоким величеством духовных ее замыслов, было необходимо, чтобы изначальное рассеяние атомов было сделано на такую непостижимую распространенность, только бы не быть бесконечным. Требовалось, словом, чтобы звезды могли собраться в зримость из незримой туманности, перейти от туманности к скреплению — и потом поседеть, давая рождение и смерть несказанно многочисленным и сложным различностям жизненного развития; требовалось, чтобы звезды сделали все это, чтобы они имели время целиком выполнить все эти Божественные замыслы — в течение круга времен, в каковой все свершает свой возврат в Единство с быстротой собирательной в обратном отношении к квадратам расстояний, на грани которых лежит неизбежный Конец.

В силу всего этого у нас нет никакой трудности понять безусловную точность Божественного приспособления. Густота звезд, относительная, идет, конечно, вперед по мере того, как их сгущение

уменьшается; сгущение и разнородность идут в уровень друг с другом; через последнюю, которая есть показатель первого, мы оцениваем жизненное и духовное развитие. Таким образом, в густоте небесных тел мы имеем меру, в каковой цели их выполнены. По мере того как густота увеличивается — по мере того как Божественные замыслы свершаются, по мере того как все меньше и меньше остается того, что должно быть свершенным — в том же самом прямом отношении должны мы ожидать ускорения Конца; и, таким образом, ум философический легко поймет, что Божественные замыслы в созидании звезд математически идут к своим свершениям; и более, он легко даст этому поступательному движению математическое выражение; он решит, что это движете вперед находится в обратной соразмерности с квадратами расстояний всего созданного от исходной точки и цели их творения.

Это Божеское приспособление, однако, не только математически точно, но в нем есть нечто, что придает ему отпечаток Божественного в отличие от того, что есть попросту дело человеческого зодчества. Я намекаю на полную взаимность приспособления. Например, в человеческих построениях частичная причина имеет частичные следствия; частичное намерение идет к частичной цели; но это и все; мы не видим никакой взаимности. Следствие не оказывает своего обратного действия на причину, намерение не меняет отношение с целью. В Божеских построениях цель есть или замысел, или цель, как нам будет угодно взглянуть на это; и мы можем в любое время принимать причину за следствие, или наоборот — так что мы никогда не можем безусловно решить что есть что.

Возьмем пример: в полярных климатах человеческое тело, чтобы поддерживать животное свое тепло, требует для сгорания в сети тончайших своих сосудов обильного запаса весьма азотизированной пищи, какова, например, ворвань. Но опять: в полярных климатах почти единственная пища, доставляемая человеку, есть ворвань в изобилии там существующих тюленей и китов. Потому ли жировое масло под рукой, что оно приказательно требуется, или потому единственная вещь требуется, что единственная вещь может быть получена? Решить невозможно. Здесь некая безусловная взаимность приспособления.

Удовольствие, которое мы извлекаем из проявления человеческой изобретательности, находится в прямом отношении с приближением к этого рода взаимности. В построении замысла, например в повествовательной литературе, мы должны были бы стремиться так расположить события и обстоятельства, что мы не были бы в состоянии решить о каком-либо из них, зависит ли оно от какого-нибудь другого, или поддерживает его. В этом смысле, конечно, совершенство замысла действительно и применительно недостижимо — но только потому, что его строит конечный разум. Замыслы Бога совершенны. Вселенная есть замысел Бога.

И тут мы достигли точки, где разум опять принужден бороться с своею склонностью к выводу по уподоблению, с упрямым безумством своего желания ухватиться за бесконечное. Луны были видимы вращающимися вокруг планет; планеты вокруг звезд; и поэтическое чутье человечества, его чутье соразмерного, если соразмерность есть только соразмерность поверхности, — это чутье, которое Душа не только Человека, но и всех сотворенных существ, заимствовала вначале из геометрического основания Всемирного излучения, побуждает нас вообразить некое бесконечное протяжение этой многосложности циклов. Закрывая наши глаза равно на выведение и наведение, мы настаиваем на представлении обращения всех небесных тел Млечного Пути вокруг некоторого исполинского шара, который мы принимаем за средоточную ось целого. Каждая гроздь в великой грозди гроздей воображается, конечно, схоже построенной и снаряженной; между тем как, чтобы подобие ни в какой точке не испытывало пробела, мы доходим до постижения самых этих гроздей как вращающихся вокруг какой-то еще более величественной округлости, эта последняя опять, с окружающими ее гроздьями, есть лишь один из еще более великолепных рядов скоплений, вращающийся вокруг еще другого шара, средоточного для них, какого-то шара, еще более неизреченно возвышенного, какого-то шара, скажем скорее, бесконечной возвышенности, бесконечно умноженной бесконечно возвышенным. Таковы условия, продолжаемые в беспрерывности, которые голос того, что люди именуют «уподоблением», призывает Мечту нарисовать и Рассудок созерцать, если возможно, не испытывая неудовлетворенности от картины. Таково вообще бесконечное вращение за вращением, которое

Философия научила нас понимать и объяснять, по крайней мере, наилучшим образом, как мы только можем. Время от времени, однако, философ в точном смысле такой, чье безумие имеет совершенно определенный поворот, чей гений, чтобы говорить более почтительно, имеет сильно выраженную наклонность прачек, изготовляющих все дюжинами, — делает нас способными увидать в точности ту точку зрения, на каковой обсуждаемые вращательные движения приходят, и по справедливости должны приходить к концу.

Вряд ли, быть может, стоит даже презрительно усмехнуться на бредни Фурье; но за последнее время много говорилось о гипотезе Мэдлера, гласящей, что в средоточии Светомлечности существует огромный шар, вокруг которого вращаются все системы грозди. Период нашего собственного вращения, как было указано, составляет 117 миллионов лет.

Что наше Солнце имеет движение в пространстве, независимо от его обращения и вращения вокруг средоточия тяготения системы, это подозревали давно. Это движение, если допустить, что оно существует, должно было бы проявляться в перспективе. Звезды в той части небосвода, которую мы оставляем сзади нас, должны были в течение большего ряда лет скучиваться; звезды в противоположном направлении должны рассеиваться. Но с помощью истории астрономии мы удостоверяемся, смутно, что некоторые такие явления имели место. В этой области было сообщено, что наше многочастное целое движется к точке в небе, диаметрально противоположной звезде Z созвездия Геркулеса, но этот вывод, быть может, есть наибольшее, на что мы имеем какое-либо логическое право. Мэдлер, однако, дошел до того, что означал особенную звезду Альциону созвездия Плеяд как истинное или приблизительное место, вокруг которого совершается общее вращение.

Но, так как, прежде всего, мы вовлечены в эти сны «уподоблением», совершенно уместно, чтобы мы пребывали в уподоблении, по крайней мере, до некоторой степени, пока они развиваются; и это уподобление, которое внушает нам мысль о вращении, внушает в то же самое время мысль о средоточном шаре, около которого оно должно совершаться; до этих пор звездовед был последователен. Этот средоточный шар, однако, динамически должен был бы быть больше, чем все окружающие его небесные тела, взятые

вместе. Их около 100 миллионов. «Почему же, — конечно, было спрошено, — не видим мы это обширное средоточное солнце, по крайней мере равное по громаде 100 миллионам таких солнц, как наше, — почему же мы не видим его — мы, в особенности, занимающие среднюю область грозди — то самое местоположение, около которого, во всяком случае, должна находиться эта несравненная звезда?» Ответ был готов: «Оно должно быть не светящим, как наши планеты». Итак, здесь, чтобы достигнуть цели, уподоблению внезапно позволили отпасть. «Не так, — могло быть сказано, — мы знаем, что несветящие солнца действительно существуют». Это верно, что мы имеем основание по крайней мере предполагать так; но мы, конечно, не имеем какого-либо основания предполагать, что несветящие солнца, о которых идет речь, окружены светящими солнцами, между тем как эти, опять, окружены несветящими планетами; и этому-то всему в точности Мэдлер был призван найти что-нибудь подобное в небе — ибо все это в точности он воображает существующим в Млечном Пути. Допуская, что это так, мы не можем не нарисовать себе, сколь прискорбно недоуменное почему бы это так должны были испытывать все априорные философы.

Но, допуская, вопреки подобному и чему бы то ни было, несветящесть обширного центрального шара, мы все же вопрошаем, каким образом этот шар, такой огромный, не сделался видимым, благодаря потоку света, бросаемому на него от 100 миллионов лучезарных солнц, ярко сверкающих по всем направлениям от него. При выдвигании такого вопроса, мысль о каком-либо действительно плотном центральном солнце, кажется, в некоторой мере оставленной; и умозрение идет далее, принимая, что цельные многосложности грозди свершают свои вращения просто вокруг невещественного центра тяжести, общего всем. Здесь опять, чтобы достигнуть цели, уподобление срывается. Планеты нашей системы вращаются, это верно, вокруг общего центра тяжести; но они это делают в связи и в причинности с вещественным Солнцем, коего оплот более чем уравновешивает остальную часть системы.

Математический круг есть кривая, образуемая бесконечностью прямых линии. Но это понятие круга — понятие, которое, с точки зрения всякой обычной геометрии, есть понятие чисто математическое, как противоотличимое от применительного — есть,

будучи рассматриваемо как здравая действительность, понятие применительное, которое единственно мы имеем какое-нибудь право принять касательно величественного круга, с каковым мы должны иметь дело, по крайней мере, в воображении, когда мы предполагаем, что вся наша сплетенность вращается вокруг какой-нибудь точки средоточия Млечного Пути. Пусть самое мощное из человеческих воображений попытается только сделать один отдельный шаг к пониманию выгиба, такого неизреченного! Вряд ли было бы парадоксальным сказать, что даже вспышка молнии, свершая путь навсегда по окружности этого несказанного круга, продолжала бы навсегда совершать путь по прямой линии. Что путь нашего Солнца в такой орбите отклонялся бы, для восприятия, хотя в слабейшей степени от прямой линии, даже на протяжении миллиона лет, есть предложение неприемлемое; от нас же требуют уверовать в то, что кривизна сделалась явною в течение короткого периода нашей астрономической истории — в течение этой простой точки — в течение этого совершеннейшего ничто двух или трех тысячелетий.

Может быть сказано, что Мэдлер действительно проследил кривизну в направлении, ныне хорошо установленного шествия нашей многочастной цельности через Пространство. Допуская, если необходимо, что это в действительности так, я утверждаю, что этим ничего не показано, кроме действительности такого обстоятельства — обстоятельства кривизны. Для его полного определения потребны века; и раз определенное, оно бы указывало лишь на двойное или другое множественное отношение между нашим Солнцем и какой-нибудь одной или большим числом из ближайших звезд. Я, однако, вне шаткости, предсказывая, что, по истечении нескольких столетий, все усилия определить путь нашего Солнца через Пространство будут оставлены как бесполезные. Это легко постижимо, если мы примем во внимание бесконечность нарушений, которые оно должно испытывать от беспрерывно меняющихся соотношений с другими небесными телами в общем приближении всех к ядру Светомлечности.

Но, исследуя другие звездотуманности, кроме звездотуманности Млечного Пути, обозревая, вообще, гроздья, которые распространены по небу, находим мы или не находим подтверждение гипотезы Мэдлера? Мы не находим его. Формы гроздей чрезвычайно различны, если их рассматривать случайно; но при ближайшем рассмотрении,

через могучие телескопы, мы признаем весьма четко сферу как ближайшую, по крайней мере, форму из всех — их строение вообще в несогласии с мыслью об обращении вокруг одного общего средоточия.

«Трудно, — говорит Джон Гершель, — составить какое-либо понятие о динамическом состоянии таких систем. С одной стороны, без вращательного движения и центробежной силы вряд ли возможно не рассматривать их как находящиеся в состоянии все увеличивающегося оседания. С другой стороны, допуская такое движение и такую силу, мы находим не менее трудным примирить их формы с вращением всей системы [разумея гроздь] вокруг одной отдельной оси, без чего внутреннее столкновение предстало бы неизбежным».

Некоторые замечания, недавно сделанные о туманностях доктором Николем, хотя и с другой точки зрения в рассмотрении мировых условий, нежели те, что приняты в этом рассуждении, — имеют совсем особенную применимость к тому, о чем мы сейчас беседуем. Он говорит:

«Когда наши величайшие телескопы направлены на них, мы видим, что те, которые считались неправильными, не являются таковыми; они приближаются наиболее к некоторому шару. Тут вот одна, которая имела вид овала; но телескоп лорда Росса привел ее к кругу… Встречается весьма примечательное обстоятельство в отношении к этим, сравнительно дугообразным круговым громадам туманностей. Мы находим, что они не совершенно круговые, а выгнутые, и что вокруг них на каждой стороне находятся извивности звезд, простирающихся, по видимости, так, как если бы они низрушивались по направлению к большой центральной громаде, вследствие действия какой-то великой силы»[1200].

Если бы я описывал моими собственными словами, какое должно быть необходимым настоящее состояние каждой туманности по гипотезе, что все вещество, как я указываю, ныне возвращается к своему первичному Единству, я просто воспроизвел бы, почти дословно, способ говорения, которым пользовался в данном случае доктор Николь, без малейшего подозрения той поразительной истины, которая является ключом к этим явлениям, связанным с туманностями.

И здесь да будет мне позволено укрепить мою позицию еще надежнее голосом человека большего, чем Мэдлер, — человеком,

кроме того, для которого все данные Мэдлера давно были вещами запросто знакомыми, тщательно и сполна рассмотренными. Обращаясь к весьма разработанным исчислениям Аргеландера — к тем самым изысканиям, на которые опирается Мэдлер, — Гумбольдт, чьи обобщающие способности, быть может, никогда не имели себе равных, делает следующее замечание:

«Когда мы рассматриваем действительные неперспективные движения звезд, мы находим некоторые группы движущимися в противоположных направлениях; и данные, до сих пор собранные, не делают, по крайней мере, необходимым принимать, что все части нашего звездного ряда, или всех вместе звездных островов, которые вообще наполняют Мировое Пространство, вращаются вокруг какого-либо одного большего неведомого, светлого или темного, центрального тела. Это, конечно, стремление Человека к последним и крайним основопричинам побуждает его разум и фантазию принять такое допущение».

Явление, на которое здесь намекается — то есть явление «нескольких групп, движущихся в противоположных направлениях» совершенно необъяснимо по мысли Мэдлера; но оно возникает как естественное следствие из того, что образует основу этого рассуждения. В то время как чисто общее движение каждого атома — каждой луны, планеты, звезды или грозди — совершалось бы, по моей гипотезе, конечно, путем безусловно прямолинейным, в то время как общий путь всех тел был бы прямой линией, ведущей к средоточию всех, ясно, тем не менее, что эта общая прямолинейность была бы составлена из того, что мы могли бы, без какого-либо преувеличения, наименовать бесконечностью частичных кривых, бесконечностью местных уклонений от прямолинейности, сводкой беспрерывных различий относительного положения среди множественных громад, по мере того как каждая свершает свой собственный путь к Концу.

Я только что приводил следующие слова из Джона Гершеля, употребленные в приложении к гроздьям звезд: «С одной стороны, без вращательного движения и центробежной силы вряд ли возможно не рассматривать их как находящиеся в состоянии все увеличивающегося оседания». Дело в том, что, наблюдая «туманности» через телескоп большой силы, мы найдем совершенно невозможным, усвоив однажды это представление «оседания», не видеть, со всех сторон,

подтверждения данной мысли. Всегда явно некоторое ядро, в направлении к которому звезды кажутся устремляющимися, и данные ядра не могут быть приняты просто заявление связанные с перспективой, — гроздья действительно более густы вблизи от средоточия, более редки в областях, находящихся на большем от него отдалении. Словом, мы видим все так, как мы это видели бы, если бы имело место оседание; но, вообще, об этих гроздьях может быть сказано, что мы справедливо можем, смотря на них, принять мысль орбитного движения вокруг одного центра, лишь допуская возможное существование, в отдаленных областях пространства, динамических законов, с которыми мы не знакомы.

У Гершеля, однако, очевидное отвращение считать туманности «находящимися в состоянии все увеличивающегося оседания». Но если достоверности — если даже видимости оправдывают предположение об их нахождении в таком состоянии, почему, вполне уместно может быть спрошено, он не склонен допускать его? Только на основании предрассудка; просто потому, что предположение это враждует с предвзятым и крайне безосновным понятием бесконечности — понятием вечной стойкости Вселенной.

Если положение этого рассуждения приемлемы, «состояние все увеличивающегося оседания» есть в точности то состояние, которое только мы и можем законным образом принять в рассмотрении всего; и, с должным смирением, да смогу я признаться здесь, что, поскольку дело идет обо мне, я совершенно не могу постичь, каким образом какое-либо другое понимание существующего состояния вещей могло когда-либо проложить себе дорогу в человеческий мозг. «Устремление к оседанию» и «притяжение тяготения» суть словоупотребления обратимые. Говоря так или иначе, мы говорим о противодействии Первого Действия. Никогда не было менее очевидной необходимости, чем необходимость предполагать Вещество насыщенным неискоренимым качеством, образующим часть его вещественной природы, — качеством или инстинктом, навсегда неразлучным с ним, и, благодаря повторному действию таковой неотъемлемой основы, каждый атом беспрерывно побуждаем искать своего товарища — атома. Никогда необходимость не была менее очевидной, чем поддержание такой нефилософской мысли.

Смело выходя за обыденную мысль, мы должны понять, метафизически, что основа тяготения соприсутствует в Веществе временно — лишь пока Вещество рассеяно, лишь пока оно существует как Многие вместо Одного, — принадлежно соприсутствует в нем лишь в силу его состояния излучения, принадлежно соприсутствует, словом, всецело в его условии, а ни в малейшей степени не в нем самом. Согласно с таким взглядом, когда излучение вернется в свой источник, когда противодействие будет завершено, — основа тяготения не будет более существовать. И, действительно, звездоведы, не дойдя когда-либо до мысли, здесь указанной, по-видимому, приближались к ней, в утверждении, что «если бы во Вселенной было только одно тело, было бы невозможно понять, каким образом могла бы получиться основа тяготения»; то есть из соображения о Веществе, как они его находят, они достигают до заключения, к которому я прихожу наведением. Что внушение, столь обильное выводами, как это, могло быть оставляемо так долго бесплодным, это, тем не менее, есть тайна, которую я нахожу трудным измерить.

Это, быть может, в немалой степени есть, однако, наша наклонность к беспрерывному, к подобному, в данном случае более особенно к соразмерному, что нас заблудило. И на самом деле, чувство соразмерного есть чутье, которое опирается почти на слепую уверенность. Это поэтическая сущность Вселенной — Вселенной, которая, в верховности своей соразмерности, есть самая возвышенная из поэм. Но соразмерность и согласование суть наименования обратимые; таким образом, Поэзия и Истина суть одно. Какая-нибудь вещь согласованна в прямом отношении с ее истиной — истинна в прямом отношении с ее согласованностью. Совершенное согласование, повторяю я, не может быть ни чем иным, как абсолютной истиной. Мы можем считать, таким образом, допущенным, что Человек не может долго или сильно заблуждаться, если он позволяет себе руководиться своим поэтическим чутьем, каковое, я утверждаю, истинно, будучи его чутьем соразмерности. Он должен, однако, заботиться о том, чтобы, преследуя слишком неосмотрительно поверхностную соразмерность форм и движений, он не опустил из виду действительно существенную соразмерность основ, которые определяют и проверяют их.

Что звездные тела должны в конце концов слиться в одно, что, наконец, все будет втянуто в вещественную сущность одного изумительного средоточного шара, уже существующего, это мысль, которая в течение некоторого прошедшего времени, как кажется, смутно и неопределенно, овладела фантазией человечества. Это на самом деле одна из мыслей, что принадлежат к разряду чрезвычайно очевидных. Она возникает, мгновенно, из поверхностного наблюдения над круговыми и по видимости, вращательными, или водоворотными, движениями отъединенных частей Вселенной, которые, наиболее непосредственно и наиболее тесно, подлежат нашему наблюдению; нет, быть может, ни одного человека с обычной образованностью и с средней способностью размышлять, у которого бы в некоторую пору жизни не возникло упомянутое представление, как бы самопроизвольно, или силой взгляда внутрь, и отличаясь всеми свойствами очень глубокой и очень своеобразной мысли. Это представление, однако, так обще возникающее, никогда, поскольку мне ведомо, не возникло из каких-либо соображений отвлеченных, будучи, наоборот, всегда внушаемо, как говорю я, водоворотными движениями вокруг центров, и основание для этого — причина для собирания всех небесных тел в круговое одно, воображаемое уже существующим — естественно отыскивалась в том же самом направлении, среди этих самых круговых движений. Таким образом случилось, что при возвещении постепенного и совершенно правильного убывания, замеченного в орбите кометы Энке, с каждым последовательным обращением вокруг вашего Солнца, звездоведы были почти единогласны в мнении, что обсуждаемая причина найдена — что открыта основа достаточная для того, чтобы объяснить, физически, это конечное всемирное скопление, которое, повторяю, уподобляющее, соразмерное, или поэтическое, чутье человека предрешило понимать как нечто большее, чем простую гипотезу.

Эта причина, это достаточное основание для конечного скучения, заключается, как было объявлено, в чрезвычайно разреженной, но еще вещественной среде, заполняющей пространство; каковая среда, замедляя в некоторой степени поступательный ход кометы, беспрерывно ослабляет ее касательную силу, таким образом давая господство силе центростремительной, которая, конечно, привлекает

комету все ближе и ближе, при каждом обращении, и в конце концов должна бросить ее на Солнце.

Все это было строго логично, допуская среду или эфир, но этот эфир был допущен самым нелогическим образом, на основании того, что никакой другой способ, кроме упомянутого, не мог быть открыт для объяснения наблюденного убывания в орбите кометы; как будто из того обстоятельства, что мы не могли открыть никакого другого способа его объяснить, следовало в каком-либо отношении, что и нет никакого другого способа объяснить его. Ясно, что бесчисленные причины могли бы оказывать свое действие, в сочетании, на уменьшение орбиты, без того, чтобы даже мы могли когда-нибудь получить сведение о какой-либо одной из них. В то же самое время никогда, может быть, не было хорошенько показано, почему замедление, причиняемое окраинами солнечной атмосферы, через которые комета проходит в перигелии, недостаточно для объяснения данного явления. Что комета Энке будет поглощена Солнцем, это вероятно; что все кометы многочастного целого будут поглощены, это более чем просто возможно; но в таком случае основа поглощения должна быть приписана разноцентренности орбиты — тесному приближению комет к Солнцу в их перигелии; и это обстоятельство не воздействует в какой-либо степени на весомые сферы, которые должны быть рассматриваемы как настоящие вещественные составные части Вселенной. Относительно комет вообще да будет мне позволено здесь указать мимоходом, что мы не можем быть далеко от истины, если будем смотреть на них как на вспышки молнии космического Неба. Мысль о замедляющем эфире, и через него мысль о конечном скоплении всего, казалась, однако, в течение некоторого времени, подкрепленной наблюдением положительного убывания в орбите плотной Луны. Через рассмотрение затмений, занесенных в летописи 2500 лет тому назад, было найдено, что скорость обращения спутника тогда была значительно меньше, чем теперь; и при допущении, что движения Луны в ее орбите находятся в единообразном согласовании с законом Кеплера, и были в точности определены тогда, 2500 лет тому назад; она теперь находится, сравнительно с тем положением, которое она должна была бы занимать, впереди приблизительно на 9000 миль. Увеличение скорости доказывало, конечно, уменьшение орбиты, и звездоведы уже уступали верованию в эфир как единственному

способу объяснения данного явления, когда пришел на помощь Лагранж. Он показал, что, благодаря очертаниям сфероидов, более короткие оси их эллипсов подвержены колебаниям в длине, тогда как более длинная ось остается неизменной, и что это колебание непрерывно и происходит содроганиями, так что каждая орбита находится в состоянии перехода или от круга к эллипсу или от эллипса к кругу. При рассмотрении случая с Луной, где более короткая ось находится в убывании, орбита переходит от круга к эллипсу и, следовательно, тоже убывает, но после долгого ряда веков будет достигнута крайняя разноцентренность, тогда более короткая ось начнет увеличиваться, пока орбита не сделается кругом, потом опять возникнет укорочение, и так далее впредь. В рассмотрении случая с Землей, орбита переходит от эллипса к кругу. Обстоятельства, таким образом доказанные, естественно уничтожают всякую необходимость догадки об эфире и всякое опасение за неустойчивость системы по причине эфира.

Нужно вспомнить, что я сам допускал нечто, что мы можем определить как эфир. Я говорил о тонком влиянии, которое, как мы знаем, всегда сопровождает вещество, хотя оно делается явным только через разнородность вещества. Этому влиянию, не дерзая касаться совсем какой-либо попытки объяснить его грозно величественную природу, я приписал различные явления электричества, тепла, света, магнетизма и более — жизненности, сознания, и мысли — словом, духовности. Сразу будет видно тогда, что эфир, понимаемый так, коренным образом отличается от эфира астрономов, поскольку их эфир есть вещество, а мой нет.

С мыслью о вещественном эфире, по-видимому, исчезает, таким образом, совершенно мысль об этом всемирном скоплении, столь долго предопределявшемся поэтической фантазией человечества — скоплении, в которое здравая Философия могла бы вполне закономерно уверовать, по крайней мере, до известных размеров, если бы оно было предопределено не каким иным доводом, кроме этой поэтической фантазии. Но поскольку говорит астрономия, поскольку говорит лишь физика — круговороты Вселенной не имеют постижимого конца. Если бы какой-нибудь конец был доказан, однако, некоторой причиной, чисто побочной, как эфир, чутье Человека, усматривающее Божескую способность приспособления, возмутилось

бы против доказательства. Мы были бы вынуждены смотреть на Вселенную приблизительно с таким же чувством неудовлетворенности, которое мы испытываем, смотря на какое-нибудь ненужно сложное создание человеческого искусства. Мироздание производило бы на нас впечатление как некий несовершенный замысел в романе, где развязка неуклюже приведена насильственно вмешавшимися случайностями, внешними и чуждыми главной мысли, вместо того чтобы возникнуть из самого лона замысла, из самого сердца правящей мысли, вместо того чтобы возникнуть как следствие первичного предложения, как неотделимая и неизбежная часть и частица основного понятия книги.

Теперь будет более ясно понято, что я разумею под соразмерностью чисто поверхностной. Это лишь простой соблазн такой соразмерности заманил нас в общий помысел, в коем гипотеза Мэдлера есть лишь часть, — помысел водоворотного втягивания небесных тел. Если мы отбросим это, чисто физическое, представление, соразмерность основы увидит конец всего метафизически включенным в мысль о начале; соразмерность ищет и находит в этом начале всего зачаток этого конца и постигает нечестивость предположения, чтоб этот конец мог быть приведен менее просто, менее прямо, менее явно, менее художественно, нежели через противодействие зачинающего Действа.

Итак, возвращаясь к одному из предыдущих указаний, уразумеем сплетения планет — уразумеем каждую звезду с сопровождающими ее планетами — лишь как Титанический атом, существующий в пространстве, с тем же самым, в точности, наклонением к Единству, которое определяло, вначале, настоящие атомы после их излучения через Всемирную сферу. Как эти первичные атомы мчались один к другому по линиям, вообще, прямым, так представим, по крайней мере, обще прямолинейными пути систем — атомов в направлении к их относительным средоточиям скопления; и в этом прямом скучении отдельных сплетенностей в гроздья, с некоторым подобным и одновременным собиранием вместе самых гроздьев, пока происходит соединение, мы достигаем, наконец, великого Теперь — грозного Настоящего — Существующего Состояния Вселенной.

Уподобление не неразумное может привести нас к построению догадки о еще более грозном Будущем. Так как равновесие между

центростремительной и центробежной силами каждой системы необходимо разрушено, при достижении известной близости к ядру грозди, к которой это сплетение принадлежит, должно, сразу, случиться хаотическое или по видимости хаотическое устремление лун на планеты, планет на солнца и солнц на ядра; и общим следствием этого поспешного устремления должно быть собирание мириад ныне существующих звезд небосвода в почти бесконечно меньшее число почти бесконечно больших сфер. Делаясь неизмеримо меньшими в числе, миры того дня будут неизмеримо большими, нежели наши, в размерах. Тогда, воистину, среди неисследованных бездн будут ослепительно сверкать невообразимые солнца. Но все это будет лишь верховным великолепием, предвещающим великий Конец. Новое бытие, только что описанное, может быть лишь весьма частичной отсрочкой этого Конца. Переживая скрепление воедино, самые гроздья, с быстротою изумительно собирательной, рушились к общему своему средоточию — и теперь, с тысячекратной электрической быстротой, соразмерной лишь с вещественным их величием и с духовною страстью их позыва к единству, великаны племени Звезд вспыхнут наконец в едином общем объятии. Неизбежная катастрофа вот тут.

Но эта катастрофа — что есть она? Мы видели свершившимся собирание миров. Отныне не должны ли мы понимать единый естественный шар шаров как составляющий и всеохватывающий Вселенную? Такая фантазия была бы совершенно в разногласии с каждым допущением и соображением этого рассуждения.

Я уже указывал на эту абсолютную взаимность приспособления, которая есть отличительная особенность Божественного Искусства — придающая ему Божескую печать. До этого места наших размышлений мы рассматривали электрическое влияние как нечто, чьей силой отталкивания Вещество только и делается способно существовать в этом состоянии рассеяния, требуемом для выполнение его задачи, — до сих пор, словом, мы рассматривали упомянутое влияние как предрешенное ради Вещества, дабы служить целям вещественным. С совершенно законной взаимностью мы вправе теперь смотреть на Вещество как на созданное только ради этого влияния — только, чтоб служить целям этого духовного Эфира. Через помощь, — посредством — через действие Вещества и силою его разнородности этот Эфир

проявлен — Дух обособился. Лишь в развитии этого Эфира, через разнородность, эти обособленные громады Вещества делаются одушевленными, чувствительными — и в прямом отношении к их разнородности; некоторые, достигая степени чувствительности, включающей то, что мы называем Мыслью, и таким образом достигая Сознательного Разума.

С этой точки зрения мы способны воспринять Вещество как Средство, не как Конец. Цели его, таким образом, видны заключенными в его рассеянии; и с возвращением в Единство эти цели прекращаются. Абсолютно соединенный шар шаров был бы бесцельным — поэтому ни на мгновение он не мог бы продолжать существовать. Вещество, созданное для некоей цели, бесспорно, по свершении этой цели, не было бы более Веществом. Постараемся уразуметь, что оно исчезло бы и что Бог остался бы всем во всем.

Что каждое дело Божеского зачатия должно сосуществовать и соистекать вместе с особым своим замыслом, кажется мне особенно очевидным; и я не сомневаюсь, что, постигая бесцельность конечного шара шаров, большая часть моих читателей совершенно удовлетворится моим, «поэтому он не может продолжать существовать». Тем не менее, так как поразительная мысль об его мгновенном исчезновении есть таковая, что самый могучий разум навряд ли примет ее запросто, на основаниях столь решительно отвлеченных, попытаемся взглянуть на эту мысль с некоторой другой, и более обычной, точки зрения, посмотрим, как полно и красиво она подкрепляется апостериорным рассмотрением Вещества, как мы ныне его находим.

Я сказал ранее, что «так как Притяжение и Отталкивание суть неотрицаемо единственные свойства, которыми Вещество выявляется Разуму, мы вправе принять, что Вещество существует только как Притяжение и Отталкивание — другими словами, что Притяжение и Отталкивание суть Вещество; нет, таким образом, постижимого случая, в каковом мы не могли бы употреблять понятие „Вещество“ и понятия „Притяжение“ и „Отталкивание“ взятые вместе как равноценные и поэтому обратимые выражения в Логике».

Но самое определение Притяжения включает частичность — существование частей, частиц, или атомов; ибо мы определяем это как устремление «каждого атома, и пр., ко всякому другому атому и проч.»,

согласно с известным законом. Конечно, где нет частей, где существует абсолютное Единство, где устремление к единению удовлетворено — там не может быть Притяжения: это было сполна показано, и вся философия допускает это. Итак, когда, по свершении своих задач, Вещество вернется в первичное свое состояние Единого — состояние, которое предполагает изгнание разделяющего эфира, коего область и коего способность ограничены быть держателем атомов отдельно друг от друга, до того великого дня, когда, при дальнейшей ненужности этого эфира, захватывающее давление в конечности собирательного Притяжения будет, наконец, как раз достаточным, чтобы возмочь и изгнать его, — когда, говорю я, Вещество, в конечности изгнавши эфир, возвратится в абсолютное Единство — тогда оно (говоря в данный миг парадоксально) будет Веществом без Притяжения, без Отталкивания, другими словами — Веществом без Вещества, другими словами опять — более не Веществом. Погрузившись в Единство, оно погрузится сразу в то Ничто, которым, для всякого Конечного Восприятия, Единство должно быть, в то Вещественное Nihil, из которого одного, согласно нашему пониманию, оно было вызвано, чтобы быть созданным Волением Бога. Итак, я повторяю, попытаемся понять, что конечный шар шаров мгновенно исчезнет, и что Бог останется всем во всем.

Но должны ли мы здесь остановиться? Нет. Во Всемирном сцеплении и растворении могут возникнуть, как это легко нам понять, некие новые и быть может совершенно отличествующие ряды условий — другое мироздание и излучение, возвращающееся само в себя другое действие и противодействие Божественной Воли. Ведя наше воображение этим всепревозмогающим законом законов, законом периодичности, не оправданы ли мы, на самом деле, не вполне ли мы оправданы, допуская верование — скажем лучше, услаждаясь надеждой, что поступательные развития, которые мы здесь дерзали созерцать, будут возобновляться и впредь, и впредь, и впредь; что новая Вселенная возрастет в бытие и потом погрузится в ничто, с новым биением Божеского Сердца?

И теперь — это Божеское Сердце — что есть оно? Оно наше собственное.

Да не отпугнет лишь кажущаяся непочтительность этой мысли наши души от того холодного пользования сознанием — от того

глубокого спокойствия самовзгляда внутрь, — через который мы только и можем надеяться достичь присутствия этой самой возвышенной из истин и не спеша взглянуть ей прямо в лицо.

Явления, от которых наши заключения должны здесь зависеть, суть лишь духовные тени, но тем не менее вполне существенные.

Мы бродим среди участей нашего существования в мире, окруженные смутными, но всегда присутствующими Воспоминаниями Участи более обширной, очень отдаленной в давно прошедшем времени и бесконечно грозной.

Мы изживаем Юность, особливо посещаемую такими снами; но никогда не принимаем их ошибочно за сны. Мы знаем их как Воспоминание. В продолжение нашей Юности различие слишком четко, чтобы обманывать нас хоть на одно мгновенье.

Пока эта Юность длится, ощущение, что мы существуем, есть самое естественное из всех ощущений. Мы понимаем его целиком. Чтобы было когда-нибудь время, когда мы не существовали — или чтобы это могло так случиться, что мы не существовали никогда вовсе, — это суть, воистину, такие соображения, которые в течение этой Юности мы находим трудным понять. Почему бы мы не существовали, это, до поры нашей Возмужалости, из всех вопросов наиболее лишенный ответа. Существование, самосуществование, существование от всего Времени и до всей Вечности кажется, до поры Возмужалости, правильным и бесспорным состоянием — кажется, потому что есть.

Но вот приходить пора, когда условный Мировой Разум пробуждает нас от истины нашего сна. Сомнение, Удивление, и Непостижимость прибывают в один и тот же миг. Они говорят: «Вы живете, а было время, когда вы не жили. Вы были созданы. Существует Разум больший, чем ваш собственный; и лишь через этот Разум вы живете живя». Мы стараемся это понять, делаем усилие, и не можем — не можем, потому что это, будучи неверно, тем самым, по необходимости, непостижимо.

Нет мыслящего существа, которое живет и которое, в какой-нибудь лучезарный миг своей мыслительной жизни, не чувствовало себя среди зыбей напрасных стараний понять или поверить, что существует что-нибудь большее, чем его собственная душа. Крайняя невозможность души кого бы то ни было почувствовать себя низшей

сравнительно с другой, напряженная завладевающая неудовлетворенность и мятеж при этой мысли, — это все, вместе с всепревозмогающими тяготениями к совершенству, суть лишь духовные, совпадающие с вещественными, полные борьбы усилия в направлении к первичному Единству; они, для моего ума по крайней мере, суть некоторого рода доказательство, весьма превышающее то, что Человек называет доказательством, — доказательство того, что ни одна душа не ниже другой, что ничего нет и не может быть выше какой-либо души — что каждая душа есть, частично, ее собственный Бог, ее собственный Создатель — словом, что Бог — вещественный и духовный Бог — ныне существует только в рассеянном Веществе и Духе Вселенной и что воссобирание этого рассеянного Вещества и Духа будет лишь восстановлением части Духовного и Личного Бога.

С этой точки зрения, и только с этой точки зрения, мы понимаем загадки Божеской Несправедливости — Неумолимого Рока. Только с этой точки зрения существование Зла делается постижимым; но еще больше — с этой точки зрения оно делается терпимым. Наши души не возмущаются более на Скорбь, которую мы сами наложили на самих себя, во свершение наших собственных замыслов, с целью — хотя бы с целью пустою — расширить нашу собственную Радость.

Я говорил о Воспоминаниях, что посещают нас во время нашей Юности. Они иногда преследуют нас далее в нашей Возмужалости: принимают постепенно менее и менее неопределенные очертания и время от времени говорят к нам тихими голосами, глаголя:

«Была пора в Ночи Времен, когда существовало Существо еще существующее — одно из абсолютно бесконечного числа подобных Существ, что населяют абсолютно бесконечные области абсолютно бесконечного пространства. Не было во власти и не во власти этого Существа — так же, как и не во власти вашей — расширить, действительным увеличением, радость своего Существования; но в точности как это в вашей власти распространить или сосредоточить ваши восторги (причем абсолютное количество счастья остается всегда одним и тем же), так подобная способность принадлежала и принадлежит атому — Божескому Существу, которое, таким образом, проводит свою Вечность в беспрерывном изменении Сосредоточенного Самого Себя и почти Бесконечного Саморассеяния. Что вы называете Вселенная, есть лишь его настоящее

распространенное существование. Он ныне чувствует свою жизнь через бесконечность несовершенных восторгов — частичных и перепутанных с пыткой восторгов этих непостижимо многочисленных существ, которые вы именуете его тварями, но которые суть, в действительности, лишь бесконечные обособленности его Самого. Все эти творения — все те, кого вы именуете Одушевленными, так же как и те, за которыми вы отрицаете жизнь лишь потому, что вы не видите ее в действии, — все эти творения имеют, в большей или меньшей степени, способность к наслаждению и пытке, но общий итог их ощущений есть в точности тот объем Счастья, который принадлежит по праву Божескому Существу, когда оно сосредоточено в самом себе. Эти существа все, кроме того, суть, больше или меньше, сознательные Разумы; сознающие, во-первых, некую собственную тождественность; сознающие, во-вторых, слабыми неопределенными проблесками, некую тождественность с Божеским Существом, о котором мы говорим, — некое тождество с Богом. Из двух этих разрядов сознания, вообразите, что первое будет слабеть, последнее делаться сильнее в течении долгой смены веков, которые должны протечь, прежде чем эти мириады личных Разумов сольются — когда блестящие звезды сольются — в Одно. Помыслите, что чувство личного тождества постепенно смешается в общее сознание, что Человек незаметно перестанет чувствовать себя Человеком, достигнет, наконец, той грозно-величественной торжествующей грани времен, когда он признает свое существование как существование Иеговы. Между тем держите в уме, что все есть Жизнь — Жизнь — Жизнь в Жизни — меньшая в большей, и все в Духе Господнем».

Март, 1848

Поэтический принцип

Говоря о поэтическом принципе, я не претендую ни на полноту, ни на глубину. Вначале позвольте мне сказать несколько слон относительно довольно странного принципа, который, справедливо или нет, всегда оказывал влияние на мою критическую оценку стихотворения. Я считаю, что больших стихотворений или поэм вообще не существует. Я утверждаю, что выражение «большая поэма» — явное противоречие в терминах.

Вряд ли стоит говорить о том, что произведение достойно называться поэтическим постольку, поскольку оно волнует, возвышая душу. Ценность его пропорциональна этому возвышающему волнению. Но все волнения преходящи таково свойство души. Та степень волнения, которая дает произведению права называться поэтическим, не может постоянно сохраняться в каком-либо сочинении большого объема. Максимум через полчаса волнение ослабевает, иссякает, переходя в нечто противоположное, и тогда поэтическое произведение, по существу, перестает быть таковым.

Несомненно, многие нашли трудным сочетать предписание критики относительно того, что «Потерянным Раем» надлежит благоговейно восхищаться на всем его протяжении, с абсолютной невозможностью во все время чтения сохранять тот восторг перед поэмой, которого это предписание требует. Фактически это великое произведение можно счесть поэтическим лишь в том случае, если, отбросив важнейшее требование, предъявляемое ко всем произведениям искусства, требование единства, мы будем рассматривать его лишь как ряд небольших стихотворений. Если ради сохранения единства поэмы, цельности ее эффекта или производимого ею впечатления мы прочитали бы ее за один присест, то в итоге волнение наше постоянно то нарастало, а то спадало бы. После пассажа истинно поэтического неизбежно следуют банальности, которыми никакие априорные критические суждения не заставят нас восхищаться; но если, дочитав поэму, мы вновь примемся за нее, пропустив первую книгу (то есть начав со второй), мы поразимся, увидев, как восхищает нас то, что ранее мы осуждали, и возмущает то,

чем мы прежде столь восторгались. Изо всего этого следует, что конечный, суммарный или абсолютный эффект даже лучшей эпической поэмы на свете равняется нулю — и это именно так.

Что до «Илиады», то мы располагаем если не прямым доказательством, то, по крайней мере, вескими основаниями предполагать, что она была задумана как цикл лирических стихотворений; но, допуская замысел эпоса, мы можем только сказать, что поэма зиждется на несовершенном представлении об искусстве. Современный эпос, написанный в духе ложно представляемых древних образцов, — плод опрометчивого и слепого подражания. Но время таких художественных аномалий миновало. Если когда-либо какая-либо очень большая поэма и вправду пользовалась популярностью — в чем сомневаюсь, то, по крайней мере, ясно, что никакая очень большая поэма никогда более популярна не будет.

Суждение о том, что величина произведения, ceteris paribus, может служить мерилом его оценки, будучи сформулировано подобным образом, несомненно, покажется в достаточной мере нелепым; но суждением этим мы обязаны нашим толстым журналам. Право же, в одном лишь абстрактно рассматриваемом количестве, насколько это касается книг, нет ничего достойного похвал, столь постоянно расточаемых этими суровыми изданиями! Да, гора в самом деле одними лишь своими пространственными размерами внушает нам чувство возвышенного; но никто не получит подобного впечатления даже от непомерного объема «Колумбиады»[1201]. Пока что журнальные рецензенты не требовали оценивать Ламартина в кубических футах, а Поллока[1202] — в фунтах; ко что еще можем мы вывести из их постоянных разглагольствований о «длительном усилии»? Ежели посредством «длительного усилия» какой-нибудь господинчик и разрешится эпической поэмой, от всей души похвалим его за усилия, ежели за это стоит хвалить; но давайте воздержимся от похвал его поэме только ради этих самых усилий. Можно надеяться, что в будущем здравый смысл столь возрастет, что о произведении искусства станут судить по впечатлению, им производимому, по эффекту, им достигаемому, а не по времени, потребному для достижения этого эффекта, или по количеству «длительных усилий», необходимых, дабы произвести это впечатление. Дело в том, что прилежание — одно, а дар — совсем другое, и никакие журналы во

всем крещеном мире не могут их смешивать. Мало-помалу и это суждение наряду с другими, утверждаемыми мною, будет принято как самоочевидное. А пока их обычно осуждают как ложные, что не повредит существенным образом их истинности.

С другой стороны, ясно, что стихотворение может быть и неуместно кратким. Чрезмерная краткость вырождается в голый эпиграмматизм. Очень короткое стихотворение хотя и может быть блестящим или живым, но никогда не произведет глубокого или длительного впечатления. Печать должна равномерно вдавливаться в сургуч. Беранже сочинил бесчисленное количество произведений, острых и затрагивающих душу; но, в общем, их легковесность помешала им глубоко запечатлеться в общественном мнении, и, как многие перышки из крыл фантазии, они бесследно унесены ветром.

Пока эпическая мания, пока идея о том, что поэтические победы неразрывно связаны с многословием, постепенно угасает во мнении публики благодаря собственной своей нелепости, мы видим, что ее сменяет ересь слишком явно ложная, чтобы ее можно было долго выносить, но которая за краткий срок существования, можно сказать, причинила больше вреда нашей поэзии, нежели все остальные ее враги, вместе взятые. Я разумею ересь, именуемую «дидактизмом». Принято считать молча и вслух, прямо и косвенно, что конечная цель всякой поэзии — истина. Каждое стихотворение, как говорят, должно внедрять в читателя некую мораль, и по морали этой и должно судить о ценности данного произведения. Мы, американцы, особливо покровительствовали этой идее, а мы, бостонцы, развили ее вполне. Мы забрали себе в голову, что написать стихотворение просто ради самого стихотворения, да еще признаться в том, что наша цель такова, значит обнаружить решительное отсутствие в нас истинного поэтического величия и силы; по ведь дело-то в том, что, позволь мы себе заглянуть в глубь души, мы бы немедленно обнаружили, что нет и не может существовать на свете какого-либо произведения более исполненного величия, более благородного и возвышенного, нежели это самое стихотворение, это стихотворение per se, это стихотворение, которое является стихотворением и ничем иным, это стихотворение, написанное ради самого стихотворения.

Питая к истине столь же глубокое благоговение, как и всякий другой, я все же ограничил бы в какой-то мере способы ее внедрения.

Я бы ограничил их ради того, чтобы придать им более силы. Я бы не стал их ослаблять путем рассеивания. Истина предъявляет суровые требования, ей нет дела до миров. Все, без чего в песне никак невозможно обойтись, — именно то, с чем она решительно не имеет ничего общего. Украшать ее цветами и драгоценными каменьями — значит превращать ее всего лишь в вычурный парадокс. Борясь за истину, мы нуждаемся скорее в суровости языка, нежели в его цветистости. Мы должны быть просты, точны, кратки. Мы должны быть холодны, спокойны, бесстрастны. Одним словом, мы должны пребывать в состоянии как можно более противоположном поэтическому. Воистину слеп тот, кто не видит коренные и непреодолимые различия между убеждением посредством истины и посредством поэзии. Неизлечимо помешан на теоретизировании тот, кто, невзирая на эти различия, все же настаивает на попытках смешать воедино масло и воду поэзии и истины.

Разделяя сознание на три главные области, мы имеем чистый интеллект, вкус и нравственное чувство. Помещаю вкус посередине, ибо именно это место он в сознании и занимает. Он находится в тесном соприкосновении с другими областями сознания, но от нравственного чувства отделен столь малозаметною границею, что Аристотель не замедлил отнести некоторые его проявления к самим добродетелям. Тем не менее мы видим, что функции частей этой триады отмечены достаточными различиями. Подобно тому как интеллект имеет отношение к истине, так же вкус осведомляет нас о прекрасном, а нравственное чувство заботится о долге. Совесть учит нас обязательствам перед последним, рассудок — целесообразности его, вкус же довольствуется тем, что показывает нам его очарование, объявляя войну пороку единственно ради его уродливости, его диспропорций, его враждебности цельному, соразмерному, гармоническому — одним словом, прекрасному.

Некий бессмертный инстинкт, гнездящийся глубоко в человеческом духе, это, попросту говоря, чувство прекрасного. Именно оно дарит человеческому духу наслаждение многообразными формами, звуками, запахами и чувствами, среди которых он существует. И подобно тому как лилия отражается в озере, а взгляд Амариллиды[1203] — в зеркале, так и простое устное или письменное воспроизведение этих форм, звуков, красок, запахов и чувств

удваивает источники наслаждения. Но это простое воспроизведение — не поэзия. Тот, кто просто поет, хотя бы с самым пылким энтузиазмом и с самою живою верностью воображения, о зрелищах, звуках, запахах, красках и чувствах, что наравне со всем человечеством улыбаются и ему, — он, говорю я, еще не доказал прав на свое божественное звание. Вдали есть еще нечто, для него недостижимое. Есть еще у нас жажда вечная, для утоления которой он не показал нам кристальных ключей. Жажда эта принадлежит бессмертию человеческому. Она — и следствие и признак его неувядаемого существования. Она — стремление мотылька к звезде. Это не просто постижение красоты окружающей, но безумный порыв к красоте горней. Одухотворенные предвидением великолепия по ту сторону могилы, боремся мы, дабы многообразными сочетаниями временных вещей и мыслей обрести частицу того прекрасного, которое состоит, быть может, из того, что принадлежит единой лишь вечности. И когда поэзия или музыка, самое чарующее из всего поэтического, заставляют нас лить слезы, то не от великого наслаждения, как предполагает аббат Гравина[1204], но от некоей нетерпеливой скорби, порожденной нашей неспособностью сейчас, здесь, на земле, познать сполна те божественные и экстатические восторги, на которые стих или музыка дает нам лишь мимолетные и зыбкие намеки.

Стремление постичь неземную красоту, это стремление душ соответственного склада и дало миру все, в чем он когда-либо мог постичь и вместе почувствовать поэтическое.

Конечно, поэтическое чувство может развиваться по-разному: в живописи, в скульптуре, в архитектуре, в танце, особенно в музыке, а весьма своеобразно и широко — в декоративном садоводстве. Но наш предмет ограничивается поэтическим чувством в его словесном выражении. И тут позвольте мне вкратце сказать о ритме. Удовольствуясь высказыванием уверенности в том, что музыка в многообразных разновидностях метра, ритма и рифмы столь значительна в поэзии, что отвергать ее всегда неразумно и отказывающийся от столь необходимого подспорья попросту глуп, я не буду останавливаться на утверждении ее абсолютной важности. Быть может, именно в музыке душа более всего приближается к той великой цели, к которой, будучи одухотворена поэтическим чувством, она стремится, — к созданию неземной красоты. Да, быть может, эта

высокая цель здесь порою и достигается. Часто мы ощущаем с трепетным восторгом, что земная арфа исторгает звуки, ведомые ангелам. И поэтому не может быть сомнения, что союз поэзии с музыкой в общепринятом смысле открывает широчайшее поле для поэтического развития. Старинные барды и миннезингеры обладали преимуществами, которых мы лишены, и когда Томас Мур сам пел свои песни, то законнейшим образом совершенствовал их как стихи.

Итак, резюмируем: я бы вкратце определил поэзию слов как созидание прекрасного посредством ритма. Ее единственный судья — вкус. Ее взаимоотношения с интеллектом и совестью имеют лишь второстепенное значение. С долгом или истиной она соприкасается лишь случайно.

Однако скажу несколько слов в виде объяснения. Я утверждаю, что наслаждение одновременно наиболее чистое, наиболее возвышающее и наиболее полное — то, которое обретают при созерцании прекрасного. Лишь при созерцании прекрасного мы в силах изведать то высокое наслаждение или волнение, в котором мы видим поэтическое чувство, столь легко отличимое от истины или удовлетворения интеллекта, а также от страсти или волнения сердца. Следовательно, поэзии я отвожу область прекрасного — что включает и понятие возвышенного — просто-напросто по очевидному закону искусства, гласящему, что следствия должны проистекать как можно более непосредственно от причин, и никто не был еще столь слаб рассудком, дабы отрицать, что особое возвышение души, о котором идет речь, легче всего достигается при помощи стихов. Однако из этого отнюдь не следует, что зоны страсти, предписания долга и даже уроки истины не могут быть привнесены в стихотворение, и притом с выгодою, ибо они способны попутно и многообразными средствами послужить основной цели произведения; но истинный художник всегда сумеет приглушить их и сделать подчиненными тому прекрасному, что образует атмосферу стихов.

Я попытался, хотя и весьма поверхностным и несовершенным образом, ознакомить вас с моей концепцией поэтического принципа. Я ставил себе целью изложить вам, что, в то время как принцип этот сам по себе выражает человеческую тягу к неземной красоте, проявляется он неизменно в неком возвышающем волнении души, вполне независимом от опьянения сердца, то есть страсти, или

удовлетворения разума, то есть истины. Ибо страсть, увы, склонна, скорее, принижать душу, а не возвышать ее. Любовь же, напротив, любовь истинная, божественный Эрос, Венера Уранийская в отличие от Дионейской[1205], несомненно, самая чистая и самая истинно поэтическая тема. Что до истины, то, конечно, если при постижении какой-либо истины мы обретаем дотоле не замеченную гармонию, то сразу же испытываем истинно поэтическое чувство; но чувство это относится лишь к самой гармонии и ни в коей мере не к истине, лишь послужившей выявлению этой гармонии.

Однако нам легче будет прийти к ясному представлению о том, что такое истинная поэзия, путем простого перечисления некоторых из несложных элементов, рождающих поэтическое чувство в самом поэте. Он обретает амброзию, насыщающую его Душу, в ярких светилах, сияющих на небосводе, в цветочных лепестках, в густом, невысоком кустарнике, в волнистых нивах, в высоких склоненных восточных деревьях, в голубых горных далях, в нагромождении облаков, в мерцании полускрытых ключей, в бликах на серебристой речной глади, в покое уединенных озер, в колодезной глубине, отражающей звезды. Она является ему в пении птиц, в золотой арфе, во вздохах ночного ветра, в ропоте леса, в жалобах прибоя, в свежем дыхании рощ, в аромате фиалки, в сладострастном благовонии гиацинта, в так много говорящем запахе, который в сумерки доносится к нему с дальних неоткрытых островов, что высятся за смутными океанами, бесконечными и неизведанными. Он узнает ее во всех благородных мыслях, во всех бескорыстных побуждениях, во всех святых порывах, во всех доблестных, великодушных и жертвенных деяниях. Он чувствует ее в красоте женщины, в грации ее поступи, в сиянии ее взора, в мелодии ее голоса, в ее нежном смехе, в ее вздохе, в гармоническом шелесте ее одеяний. Он глубоко чувствует ее в чарующей ласке ее, в ее пылких восторгах, в ее кроткой доброте, в ее безропотном и благочестивом долготерпении — но более всего, о, более всего он узнает ее, склоняя перед нею колена, он поклоняется ей, воплощенной в вере, в чистоте, в силе, в истинно божественном величии ее любви.

Позвольте в заключение прочитать одно краткое стихотворение. Написано оно Мазеруэллом[1206] и озаглавлено «Песня кавалера». При наших современных и целиком рациональных представлениях о

нелепости и нечестивости войны мы вряд ли наилучшим образом приспособлены для сочувствия выраженным в ней эмоциям и, следовательно, для оценки ее достоинств. Чтобы вполне этого добиться, мы должны в воображении отождествить себя с душою кавалера старых времен.

Проверьте шлемы, сталь кирас
И в седла, молодцы!
Вновь Честь и Слава кличут нас
Погибели гонцы.

Слезой не затуманим взгляд,
Когда возьмем клинки,
Вздыхать не будет наш отряд
Красоткам вопреки.

Пастух унылый, хнычь, дрожи
Нам нет примера в том:
Пойдем сражаться как мужи,
Героями умрем!

Декабрь, 1848
пер. В. Рогова

Стихотворения и поэмы

O, Tempora! O, Mores!

1825
пер. Р. Дубровкина

О времена! О нравы! Видеть грустно,
Как все вокруг нелепо и безвкусно.
О нравах, о приличиях смешно
И говорить — приличий нет давно!
Что ж до времен, то каждому известно:
О «старых добрых временах» нелестно
Толкует современный человек
И хвалит — деградировавший век!

Сидел я долго, голову ломая
(Ах, янки, до чего у вас прямая
Манера выражаться!), я не знал,
Какой избрать зачин, какой финал?
Пустить слезу, как Гераклит Эфесский
В душещипательной плаксивой пьеске?
Или за едким Демокритом вслед
Швырнуть, расхохотавшись, книгу лет,
Затрепанную, как учебник в школе,
И крикнуть: «К дьяволу! Не все равно ли?»

Предмет мой, надо знать, имеет вес,
Не дай Господь, займется им Конгресс!
Дебаты будут длиться две недели:
Мы обе стороны во всяком деле
Должны заслушать, соблюдая закон,
У Боба восемь таковых сторон!
Возьмусь я, посмеявшись иль поплакав,
Вердикт присяжных будет одинаков.
Пока мне лесть и злость не по плечу,
Обняв обоих греков, — поворчу.

— На что же будешь ты ворчать, приятель?
Героя притчи описать не кстати ль?
— Ах, сэр, едва не ускользнула нить!
Но, черт возьми, зачем народ дразнить?
Зачем, раскланиваясь постоянно,
По улицам гуляет обезьяна?
Читатель, брань случайную прости!
Давно ли шимпанзе у нас в чести?
(О нет, мы главного не упустили,
Быть нелогичными не в нашем стиле:
Меняясь, как политик, на ходу,
Я к правильному выводу приду!)

Друзья, вы много ездили по свету,
Я сам топтал порядком землю эту,
Перевидал немало городов
И клясться хоть на Библии готов,
Что в общем (мы же на Конгресс не ропщем
За аргументы, принятые в общем),
Так вот, уютней в мире нет лагун,
Где всякий расторопный попрыгун
Коленца б мог выделывать лихие,
Сновать, как рыба в собственной стихии.
Иль, рулоны кружев подхватив,
Скакать через прилавки под мотив
Прославленных Вестри, а вечерами
К обсчитанной галантерейно даме
Лететь на бал и предлагать ей тур!
Из выставляемых кандидатур
Судьба всех милостивей к претенденту,
Отмерившему вам тесьму и ленту.

Не пренебрег и нашим городком
Такой герой-любовник, — незнаком
Я, к счастью, с ним, но видел эту прелесть:
От корчей, от ужимок сводит челюсть!
Его бегу (в душе я страшный трус) —

Вдруг не сдержусь и прысну — вот конфуз!
Безмерна власть его над женским полом:
Кто ж, фраком опьянясь короткополым
С раздвоенным, как у чижа, хвостом,
Захочет на мужчин смотреть потом?
А черный шелк цилиндра франтовского? —
Он частью стал пейзажа городского.
Ни дать, ни взять Адонис во плоти! —
Воротнички, воздушные почти,
А голос создан для небесных арий.
Спор о наличьи разума у тварей,
Неразрешимый философский спор
Бесповоротно разрешен с тех пор,
Как был рассмотрен новый наш знакомый:
Мы данный факт считаем аксиомой.

Нам Истина важней ученых смех!
Вопроса нет, он мыслит. Только чем?
Готов с любым философом правдивым
Я голову ломать над этим дивом.
Философ, ты не понял ничего —
Упрятан в пятку разум у него!
Подумаю — душа уходит в пятки!
Не приведи Господь сыграть с ним в прятки:
Как пнет для правоты моих же слов!
Я перед величайшим из ослов,
Как зеркало, стихи раскрою эти,
И дабы в недвусмысленном портрете
Себя узнал тупица из тупиц,
Внизу проставлю имя: Роберт Питтс

Тамерлан

Июль, 1827 пер. И. Озеровой

Отец! Дай встретить час мой судный
Без утешений, без помех!
Я не считаю безрассудно,
Что власть земная спишет грех
Гордыни той, что слаще всех;
Нет времени на детский смех;
А ты зовешь надеждой пламя!
Ты прав, но боль желаний — с нами;
Надеяться — О Боже — в том
Пророческий источник ярок! —
Я не сочту тебя шутом,
Но этот дар — не твой подарок.

Ты постигаешь тайну духа
И от гордыни путь к стыду.
Тоскующее сердце глухо
К наследству славы и суду.
Триумф в отрепьях ореола
Над бриллиантами престола,
Награда ада! Боль и прах…
Не ад в меня вселяет страх.
Боль в сердце из-за первоцвета
И солнечных мгновений лета.
Минут минувших вечный глас,
Как вечный колокол, сейчас
Звучит заклятьем похорон,
Отходную пророчит звон.

Когда-то я не ведал трона,
И раскаленная корона
В крови ковалась и мученьях.
Но разве Цезарю не Рим

Дал то, что вырвал я в сраженьях?
И разум царственный, и годы,
И гордый дух — и мы царим
Над кроткостью людского рода.
Я рос в краю суровых гор:
Таглей, росой туманы сея,
Кропил мне голову. Взрослея,
Я понял, что крылатый спор
И буйство бури — не смирились,
А в волосах моих укрылись.

Росы полночный водопад
(Так в полусне мне мнилось это)
Как будто осязал я ад,
Тогда казался вспышкой света,
Небесным полымем знамен,
Пока глаза туманил сон
Прекрасным призраком державы,
И трубный голос величаво
Долбил мне темя, воспевал
Людские битвы, где мой крик,
Мой глупый детский крик — звучал
(О, как мой дух парил, велик,
Бил изнутри меня, как бич),
В том крике был победный клич!

Дождь голову мою студил,
А ветер не щадил лица,
Он превращал меня в слепца.
Но, знаю, человек сулил
Мне лавры; и в броске воды
Поток холодный, призрак битвы
Нашептывал мне час беды
И час пленения молитвы,
И шло притворство на поклон,
И лесть поддерживала трон.

С того мгновенья стали страсти
Жестокими, но судит всяк
С тех пор, как я добился власти,
Что это суть моя, пусть так;
Но до того, как этот мрак,
Но до того, как этот пламень,
С тех пор не гаснущий никак,
Меня не обратили в камень,
Жила в железном сердце страсть
И слабость женщины — не власть.

Увы, нет слов, чтобы возник
В словах любви моей родник!
Я не желаю суеты
При описанье красоты.
Нет, не черты лица — лишь тень,
Тень ветра в незабвенный день:
Так прежде, помнится, без сна,
Страницы я листал святые,
Но расплывались письмена, —
Мелела писем глубина,
На дне — фантазии пустые.

Она любви достойна всей!
Любовь, как детство, — над гордыней.
Завидовали боги ей,
Она была моей святыней,
Моя надежда, разум мой,
Божественное озаренье,
По-детски чистый и прямой,
Как юность, щедрый — дар прозренья;
Так почему я призван тьмой —
Обратной стороной горенья.

Любили вместе и росли мы,
Бродили вместе по лесам;
И вместе мы встречали зимы;

И солнце улыбалось нам.
Мне открывали небеса
Ее бездонные глаза.

Сердца — любви ученики;
Ведь средь улыбок тех,
Когда все трудности легки
И безмятежен смех,
Прильну я к трепетной груди
И душу обнажу.
И страхи будут позади,
И все без слов скажу…
Она не спросит ни о чем,
Лишь взором тронет, как лучом.

Любви достоин дух, он в бой
Упрямо шел с самим собой,
Когда на круче, горд и мал,
Тщету тщеславия познал,
Была моею жизнью ты;
Весь мир — моря и небеса,
Его пустыни и цветы,
Его улыбка и слеза,
Его восторг, его недуг,
И снов бесцветных немота,
И жизни немота вокруг.
(И свет и тьма — одна тщета!)
Туман разняв на два крыла —
На имя и на облик твой,
Я знал, что ты была, была
Вдали и все-таки со мной.

Я был честолюбив. Укор
Услышу ль от тебя, отец?
Свою державу я простер
На полземли, но до сих пор
Мне тесен был судьбы венец.

Но, как в любой другой мечте,
Роса засохла от тепла.
В своей текучей красоте
Моя любимая ушла.
Минута, час иль день — вдвойне
Испепеляли разум мне.

Мы вместе шли — в руке рука,
Гора взирала свысока
Из башен вековых вокруг,
Но башни эти обветшали!
Шум обезличенных лачуг
Ручьи стогласо заглушали.

Я говорил о власти ей,
Но так, что власть казалась вздором
Во всей ничтожности своей
В сравненье с нашим разговором
И я читал в ее глазах,
Возможно, чуточку небрежно —
Свои мечты, а на щеках
Ее румянец, вспыхнув нежно,
Мне пурпур царственный в веках
Сулил светло и неизбежно.

И я пригрезил облаченье,
Легко вообразил корону;
Не удивляясь волшебству
Той мантии, я наяву
Увидел раболепство черни,
Когда коленопреклоненно
Льва держат в страхе на цепи;
Не так в безлюдии, в степи,
Где заговор существованья
Огонь рождает от дыханья.

Вот Самарканд. Он, как светило,

Среди созвездья городов.
Она в душе моей царила,
Он — царь земли, царь судеб, снов.
И славы, возвещенной миру.
Так царствен он и одинок.
Подножье трона, дань кумиру,
Твердыня истины — у ног.
Единственного Тамерлана,
Властителя людских сердец,
Поправшего чужие страны…
Я — в царственном венце — беглец.

Любовь! Ты нам дана, земная,
Как посвященье в тайны рая.
Ты в душу падаешь, жалея,
Как ливень после суховея,
Или, слабея каждый час,
В пустыне оставляешь нас.
Мысль! Жизни ты скрепляешь узы
С обычаями чуждой музы
И красотой безумных сил.
Прощай! Я землю победил.

Когда Надежда, как орлица,
Вверху не разглядела скал,
Когда поникли крылья птицы,
А взор смягченный дом искал, —
То был закат; с предсмертной думой
И солнце шлет нам свет угрюмый.
Все те, кто знал, каким сияньем
Лучится летний исполин,
Поймут, как ненавистна мгла,
Хоть все оттенки собрала,
И темноты не примут (знаньем
Богаты души), как один,
Они бы вырвались из ночи;
Но мгла им застилает очи.

И все-таки, луна, луна
Сияньем царственным полна,
Пусть холодна, но все же так
Она улыбку шлет во мрак.
(Как нужен этот скорбный свет).
Посмертный нами взят портрет.
Уходит детство солнца вдаль,
Чья бледность, как сама печаль.
Все знаем, что мечтали знать,
Уходит все — не удержать;
Пусть жизнь уносит темнота,
Ведь сущность жизни — красота.

Пришел домой. Но был мой дом
Чужим, он стал давно таким.
Забвенье дверь покрыло мхом,
Но вслед чужим шагам моим
С порога голос прозвучал,
Который я когда-то знал.
Что ж, Ад! Я брошу вызов сам
Огням могильным, небесам,
На скромном сердце скорбь, как шрам.

Отец, я твердо верю в то,
Что смерть, идущая за мной
Из благостного далека,
Оттуда, где не лжет никто,
Не заперла ворот пока,
И проблеск правды неземной —
Над вечностью, над вечной тьмой.
Я верую, Иблис не мог
Вдоль человеческих дорог
Забыть расставить западни…
Я странствовал в былые дни,
Искал Любовь… Была она
Благоуханна и нежна

И ладаном окружена.
Но кров ее давно исчез,
Сожженный пламенем небес.

Ведь даже муха не могла
Избегнуть зорких глаз орла.
Яд честолюбия, сочась,
В наш кубок праздничный проник.
И в пропасть прыгнул я, смеясь,
И к волосам любви приник.

Песня

Июль, 1827 пер. Н. Вольпина

Я видел: в день венчанья вдруг
Ты краской залилась,
Хоть счастьем для тебя вокруг
Дышало все в тот час.

Лучи, что затаил твой взор, —
Как странен был их свет! —
Для нищих глаз моих с тех пор
Другого света нет.

Когда девическим стыдом
Румянец тот зажжен,
Сойдет он вмиг. Но злым огнем
Горит его отсвет в том,

Кто видел, как венчаясь, вдруг
Ты краской залилась,
Хоть счастьем для тебя вокруг
Все расцвело в тот час.

Имитация

Июль, 1827 пер. В. Брюсова

Сумрак неизмеримый
Гордости неукротимой,
Тайна, да сон, да бред:
Это — жизнь моих ранних лет
Этот сон всегда был тревожим
Чем-то диким, на мысль похожим
Существ, что были в былом.
Но разум, окованный сном,
Не знал, предо мной прошли ли
Тени неведомой были.

Да не примет никто в дар наследий
Видений, встававших в бреде,
Что я тщетно старался стряхнуть,
Что, как чара, давили грудь!
Оправдались надежды едва ли;
Все же те времена миновали,
Но навек я утратил покой
На земле, чтоб дышать тоской.
Что ж! пусть канет он дымом летучим,
Лишь бы с бредом, чем был я мучим!

Сон

Июль, 1827 пер. Г. Кружкова

В ночи отрадной грезил я,
Не помня о разлуке,
Но сон дневной настиг меня
И пробудил — для муки!

Ах, что мне в том, что видно днем? —
Не все ли это сон
Тому, чей взор всегда в былом,
Печалью освещен?

Но тот, родной — тот сон святой
Назло судьбе жестокой
Был мне звездою золотой
В дороге одинокой.

Откуда он мерцал — Бог весть! —
Сквозь шторм, в ночах глухих…
Но что у правды ярче есть
Средь звезд ее дневных?

Озеро

Июль, 1827 пер. Г. Бена

Я часто на рассвете дней
Любил, скрываясь от людей,
В глухой забраться уголок,
Где был блаженно одинок
У озера, средь черных скал,
Где сосен строй кругом стоял.

Но лишь стелила полог свой
Ночь надо мной и над землей
И ветер веял меж дерев,
Шепча таинственный напев,
Как в темной сонной тишине,
Рождался странный страх во мне;
И этот страх мне сладок был —
То чувство я б не объяснил
Ни за сокровища морей,
Ни за любовь, что всех сильней, —
Будь даже та любовь твоей.

Таилась смерть в глухой волне,
Ждала могила в глубине
Того, кто здесь, томим тоской,
Мечтал найти душе покой
И мог бы, одинок и нем,
У мрачных вод обресть Эдем.

Духи мертвых

Июль, 1827 пер. В. Топорова

В уединеньи темных дум
Душа окажется… Угрюм
Здесь камень, мертвенна могила —
И празднословье отступило.

В молчанье здешней тишины
Нет одиночества… Ты знаешь:
Здесь мертвые погребены,
Которых ты не забываешь.
Здесь души их, здесь духи их,
Здесь их завет: будь строг и тих.

Ночь — хоть ясная — ненастна.
Россыпь ярких звезд — ужасна;
Помертвели ореолы,
Пали светлые престолы;
Не надеждою полны,
А кровавы и мрачны
Их лучи — чума и пламя,
Вечно властные над нами.

Дум неизгладимых бремя
И видений вещих время —
Ими дух твой напоен,
Как росой омытый склон.

Ветер — вздох Господен — тих.
Холм, обитель неживых, —
Тень, лишь нет в ночном тумане;
А туман — напоминанье,
Образ, символ и покров

Тайны Тайн во тьме миров!

Вечерняя звезда

Июль, 1827 пер. Ю. Корнеева

Лето в зените,
Полночь темна.
Звезды бледнеют —
Всходит луна,
В небо выводит
Свиту планет.
Брызжет холодный
На воду свет.

Луна улыбалась,
Но мне показалась
Улыбка ее неживой,
А тучи под нею —
Трикраты мрачнее,
Чем черный покров гробовой,
Но тут я в молчанье
Увидел мерцанье
Вечерней звезды над собой.
Был луч ее дальний
Во тьме изначальной
Чуть зрим, но согрел с вышины
Он душу, которой
Так больно от взора
Бесстрастной и близкой луны.

Мечты

Июль, 1827 пер. Ю. Корнеева

О, будь вся юность долгим сном одним,
Чтоб пробуждался дух, объятый им,
Лишь на рассвете вечности холодной;
Будь этот сон печален безысходно, —
И все ж удел подобный предпочтет
Безрадостной и косной яви тот,
Чье сердце предназначено с рожденья
Страстей глубоких испытать смятенье.
Но будет сходен сон такой иль нет
С фантазиями отроческих лет,
Когда бывают грезы столь прекрасны,
Что лучших небо ниспослать не властно?
Как часто ярким полднем в летний зной
Я, мысленно покинув дом родной,
Скитался по далеким чуждым странам,
Плыл к существам неведомым и странным,
Плодам воображенья моего…
Что мог еще желать я сверх того?
Лишь раз пора мечтаний нам дается,
Тоска ж по ней до смерти остается.
Уж не под властью ль тайных чар я жил?
Не ветер ли ночной в меня вложил
Свой образ и порывы? Не луна ли
Меня манила в ледяные дали?
Не к звездам ли с земли меня влекло?
Не знаю. Все, как вихрем, унесло.
Но хоть в мечтах, а счастлив был тогда я
И к ним пристрастье ввек не обуздаю.
Мечты! Без них была бы жизнь бледна.
В них, радужных, олицетворена
Та схватка яви с видимостью ложной,
Благодаря которой и возможно

В бреду познать любовь и рай полней,
Чем в самом цвете юных сил и дней.

Стансы

Как часто сердцу горы, чащи, воды —
Безлюдные святилища Природы
Дают столь всеобъемлющий ответ,
Что забываем мы о беге лет!

Байрон

1
Был в юности знакомец у меня,
Имевший дар общенья со вселенной;
Но, красоту ее в себе храня
И дух свой, этот факел в жизни бренной,
Воспламеняя и лучами дня,
И блеском звезд на тверди довременной,
Не знал он, что за силой одержим,
Когда владело исступленье им.

2
Что это было? То ли наважденье
От чар луны в глухой полночный час?
То ль краткий миг внезапного прозренья,
Что раскрывает больше тайн для нас,
Чем древние оккультные ученья?
То ль просто мысль, что в плоть не облеклась,
Но, как роса траву в начале лета,
Живит рассудок, несмотря на это?

3
Как вид того, что любишь всей душой,
Ленивые зрачки нам расширяет,
Иной предмет, в который день-деньской
Любой из нас привычно взор вперяет,
В нежданном свете предстает порой
И глубиной своею изумляет.

Лишь звон разбитой арфы душу так
Пронзает. — Это символ, это знак

4
Того, что нам сулят миры другие
И в красоте дает провидеть тут
Создатель лишь таким сердцам, какие,
Не будь ее, — от неба отпадут,
Поскольку бой в себе они, слепые,
Не с верою, но с божеством ведут,
Чтобы себя, его низринув с трона,
Венчать своей же страстью, как короно

Июль, 1827 пер. Ю. Корнеева

«Счастливый день! Счастливый час!»

15 сентября, 1827 пер. Т. Гнедич

Счастливый день! Счастливый час!
И я был горд и ослеплен!
Но дух мой сир и слаб мой глас —
Растаял сон!

Познал я сил своих расцвет,
Свой молодой и смелый пыл,
Но юных лет давно уж нет —
Я их забыл.

И, гордость я вотще познал —
Пускай другим венки дарит —
Еще жестокий яд похвал
В душе горит.

Счастливый день! Счастливый час!
Ты не обман мечты пустой —
Ты мне сиял, но ты погас,
Мираж златой.

Когда бы гордость, блеск и власть
Я смог бы снова обрести,
Не стало б силы боль и страсть
Опять снести.

Маргарет

1827 пер. Р. Дубровкина

Что побудило, Маргарет, тебя
Отречься от служенья Красоте?
Источник чистой мудрости презреть,
Поэзию оставить ради скверны?
Писать — нелепость? Рифмовать — абсурд?
Что ж, я не буду. Ежели писать —
Удел людей, молчать — удел богов.

Один

1829 пер. Р. Дубровкина

Иначе, чем другие дети,
Я чувствовал и все на свете,
Хотя совсем еще был мал,
По-своему воспринимал.
Мне даже душу омрачали
Иные думы и печали,
Ни чувств, ни мыслей дорогих
Не занимал я у других.
То, чем я жил, ценил не каждый.
Всегда один. И вот однажды
Из тайников добра и зла
Природа тайну извлекла, —
Из грядущих дней безумных,
Из камней на речках шумных,
Из сиянья над сквозной
Предосенней желтизной,
Из раскатов бури гневной,
Из лазури в час полдневный,
Где, тускла и тяжела,
Туча с запада плыла,
Набухала, приближалась —
В демона преображалась.

Айзеку Ли

1829 пер. Р. Дубровкина

Добро свершилось или зло,
Бог весть, но это ремесло
Я посчитал своим уделом,
Служа ему душой и телом.

К ручью…

1829 пер. В. Брюсова

Живой ручей! как ясен ты,
Твой бег лучами вышит,
Твой блеск — эмблема красоты,
Души, открытой тайнам чувств,
Привольной прихоти искусств,
Чем дочь Альберто дышит.

Когда она глядит в тебя,
Дрожишь ты, многоводен,
И, детский лик волной дробя,
Со мной, ручей, ты сходен;
Как ты, вбираю я в себя
Ее черты глубоко,
И я, как ты, дрожу, дробя
Души — взыскующее око!

К…

1829 пер. М. Квятковской

Твои уста — твоя простая
Мелодия певучих слов —
Цветущий куст, где птичья стая
Среди моих щебечет снов;

Глаза, твои глаза — светила
Моей души — льют свет живой,
Как будто звезды на могилу,
На омертвелый разум мой;

Твоя душа! — И неизменный
Мой сон в ночи и на заре —
О правде вечной и бесценной
И всем доступной мишуре.

Романс

1829 пер. Ю. Корнеева

О, пестрый мой Романс, нередко,
Вспорхнув у озера на ветку,
Глаза ты сонно закрывал,
Качался, головой кивал,
Тихонько что-то напевал,
И я, малыш, у попугая
Учился азбуке родной,
В зеленой чаще залегая
И наблюдая день-деньской
Недетским взглядом за тобой.

Но время, этот кондор вечный,
Мне громовым полетом лет
Несет такую бурю бед,
Что тешиться мечтой беспечной
Сил у меня сегодня нет.
Но от нее, коль на мгновенье
Дано и мне отдохновенье,
Не откажусь я все равно:
В ней тот не видит преступленья,
Чье сердце, в лад струне, должно
Всегда дрожать от напряженья.

Страна фей

1829 пер. З. Морозкиной

Дым — лес, и дымом река,
И дымные облака.
Их контуры чуть видны
Сквозь слезы большой луны.
А лунам рождаться, зреть
И таять впредь и впредь…
Ночью странствуют они,
Длинна их вереница.
Дыханьем гасят звезд огни
Их призрачные лица.
Когда двенадцать ночи
Показывает диск,
Та, что прозрачней прочих,
Начинает спускаться вниз.
Все вниз
и вниз
и вниз…
Покров над горой навис
Окутал ее корону
Складками лег по склону
И накрыл в одно мгновенье
Все дворцы и все селенья,
Сколько есть их на просторе
Спрятал дикий лес и море,
Спрятал духов легкий сонм,
Спрятал все, что впало в сон,
Окутывая все это
Лабиринтом мягкого света.
И тогда — без сна, без сна! —
Их жажда сна.
Но едва встает заря,
Этот лунный покров

Поднимается, паря,
Став игрушкою ветров,
Все швыряющих вразброс,
Будь то даже альбатрос.
Луна для них с утра
Не служит, как вчера,
Покровом из тумана,
Что, может быть, и странно…
И радужною пылью
Все станет в небесах.
И ляжет этот прах
На трепетные крылья
Тех бабочек земли,
Что к небу вечно рвутся,
Чтобы затем вернуться
И умереть в пыли.

Сонет к науке

1829 пер. В. Васильева

Наука! Ты, дочь времени седого,
Преобразить всё сущее смогла.
Зачем, как гриф, простерла ты сурово
Рассудочности серые крыла?
Не назову ни мудрой, ни желанной
Ту, что от барда в золоте светил
Сокрыла путь, лучами осиянный,
Когда в эфире дерзко он парил.
И кто низверг Диану с колесницы?
Из-за кого, оставя кров лесной,
Гамадриада в край иной стремится?
Наяду разлучила ты с волной,
С поляной — Эльфа, а с легендой Пинда —
Меня в мечтах под сенью тамаринда.

Аль-Аарааф

1829 пер. В. Топорова

Часть I
Земного — здесь простыл и след
(Лишь цвет цветов), здесь Божий свет
Пчелой сбирает с высоты
Лучи небесной красоты.
Земного — здесь пропал и звук
(Лишь сердца стук), здесь лес и луг
Иною — тише тишины —
Мелодией оглашены,
Той музыкой морского дна,
Что раковинам раздана…
Ах! на земле иначе. — Там
Мы можем только по цветам
Гадать о Красоте, мечтам
Вослед, летя за ней, — куда?
Ответь, звезда!

Об эту пору счастлива Незейя —
Ее планета дремлет, пламенея
Под четырьмя светилами небес, —
Оазис чуда посреди чудес.
Но прочь-прочь-прочь, над океаном света,
Душа-Незейя, крыльями одета,
Над гроздьями созвездий мировых
(Они как волны; пенны гребни их),
Велению божественному внемля,
Пускалась в путь, спускалась к нам, на землю.
Так было раньше… А теперь она
Уснула или грезила без сна
И без движенья — на планете странной
Учетверенным солнцем осиянна.

Избранница на высших эмпиреях
(Где Красота предстала на заре их,
Мерцая, словно жемчуг в волосах
Влюбленной девы, в звездных небесах
И на Ахайю бросив свет Селены)
Взирала восхищенно в даль вселенной.
Раскинули куртины облаков
У ног ее — весь этот мир таков:
Прекрасен, но прозрачен, чтоб напрасно
Всего не застить, что равнопрекрасно, —
Цветной туман, цветных туманов шторм,
В котором исчезает косность форм.

Владычица упала на колени
На ложе трав, в прелестное цветенье
Левкадских лилий, легкою главой
Качавших над гордячкой страстной той,
Что смертного мятежно полюбила
И со скалы в бессмертие ступила.
А рядом цвел сефалик на стебле
Багровей, чем закаты на земле,
И тот цветок, что дерзко «требизонтом»
Зовем (он за небесным горизонтом
Возрос на самой пышной из планет);
Его хмельной, медовый, дивный цвет
(Известный древним, нектар благовонный), —
От благости небесной отлученный
За то, что он сулит восторг во зле, —
Цветет, в изгнанье жалком, на земле,
Где, жаля и желая, в забытьи
Над ним кружатся пьяные рои,
А сам он, брошен пчелам на потребу,
Стеблями и корнями рвется к небу.
Как падший ангел, голову клонит
(Забытый, хоть позор и не забыт)
И горькой умывается росою,
Блистая обесчещенной красою.

Цвели никанты, дневный аромат
Ночным превозмогая во сто крат,
И клитии — подсолнечники наши —
Под солнцами, одно другого краше,
И те цветы, чья скоро гибнет прелесть,
С надеждою на небо засмотрелись:
Они туда в июле полетят,
И опустеет королевский сад.
И лотос, над разливом бурной Роны
Подъемлющий свой стебель непреклонно,
Цветок Нелумбо, Гангом порожден
(А в нем самом родился Купидон).
Пурпурное благоуханье Занте!
Isola d'oro! Fior di Levante!
Цветы, цветы! чисты их голоса
И запахи восходят в небеса.

О великий Аллах!
Ты с высот высоты
Видишь горе и страх
В красоте красоты!
Где лазурный шатер
Гложут звезд пламена —
Там твой вечный дозор,
Страж на все времена —
В окруженье комет,
Из сияния в синь
До скончания лет
Низведенных рабынь,
Осужденных нести
Меж недвижных огней
В нарастании скорости
Факел скорби своей. —
Вечность — только в предчувствии
Нам дарованный срок —
Твоего соприсутствия
Неизменный залог.

В том и радость, Незейя,
В том великая весть:
Ибо, в вечности рея,
Вечность — ведаешь — есть!
Так ты судишь, Аллах.
И звезда одиноко
В путь пустилась в мирах
К свету Божьего ока.
Разум был вознесен!
Он один величавый,
И державу и трон
Делит с Богом по праву.
Ввысь, мой разум, взлети!
Стань, фантазия, птицей!
Мысли Божьи прочти —
И воздастся сторицей!

Петь кончила — и очи опустила,
И лилии к ланитам приложила,
Смущенная прихлынувшим огнем. —
Дрожали звезды перед Божеством.
Она ждала (робела, трепетала)
Речения, которое звучало
Сначала как молчание и свет, —
«Музыкой сфер» зовет его поэт.
Мы — в мире слов, но мир словесный наш —
Молчания великого мираж,
Лишь теням звуков или крыльям теней
Мы внемлем в мире подлинных видений.
Но ах! порой молчание прервет
Глас Господа, струящийся с высот, —
И красный вихрь охватит небосвод:

«Невидимо летит в потоках света
Под скудным солнцем скудная планета,
Божественный презревшая закон, —
За что сей мир в пучину погружен

Отчаянья, мучения, позора,
Изведал ужас пламени и мора,
Под скудным солнцем (так мой гнев велик)
Дано изведать людям смертный миг.
Но, властная и вечная, не надо
Пренебрегать и жителями ада;
С алмазных и хрустальных эмпирей
Ты с сестрами сойди в юдоль скорбей,
Даруйте людям свет иного края,
Как светлячки Сицилии сияя.
Божественные тайны разгласи!
Смиренье неземное принеси!
Свет истины моей! И стань пределом
Всем смелым и опорой — оробелым».
Душа очнулась в златотканый час
(Как на земле)! — Одна луна зажглась.
Мы, люди, однолюбы, одноверцы:
Единственная страсть сжимает сердце).
И, как луна скользит из облаков,
Восстала с ложа замерших цветов
И обозрела сонный мир Незейя:
То не Земля была, а Теразея.

Часть II
Гора над миром в пламени заката —
Такую лишь пастух узрел когда-то,
Очнувшись от нечаянного сна,
И прошептал (слепила вышина);
«Спасите, небеса, меня и стадо!» —
Плыла луны квадратная громада
Над той горой, бросая дикий блеск
На пик ее, а волн эфира плеск
Еще златился в ясный полдень ночи
При свете солнц, терявших полномочья.
На той горе в причудливом сиянье
Ряды виднелись мраморных колонн,
Меж них располагались изваянья,

И весь невозмутимый пантеон
Был в искрометных водах отражен.
Колоннами поддержанный помост
Сковали духи из падучих звезд,
Погибших, как злодей на эшафоте,
В рассеянном серебряном полете.
Сам храм — магнит лучей его держал —
Короной на помосте возлежал
И созерцал окна алмазным оком,
Все, что творилось в космосе высоком.
Когда, казалось, блеск ослабевал,
Пылал огнем расплавленный металл
Метеоритов, но порою все же
Тревожный дух из сумеречной дрожи
Трепещущим крылом туманил свет…
Здесь целый мир: прекрасен он и сед.
Здесь Красоты волшебная могила,
Здесь опочила вся земная сила,
Вся слава, вся надежда наша — лишь
Бездушный мрамор, мраком черных ниш
Одетый и навечно погребенный.
Руины и пожарища вселенной!
Обломки Персеполя, приговор
Гордыне вашей, Бальбек и Тадмор,
Величие, расцветшее в Гоморре. —
Исхода нет… О волны в Мертвом море!
Ночь летняя — час пиршества речей
Эйракский звездочет и книгочей
Умел, внимая звездные порядки,
Расслышать их законы и загадки, —
Но чутче тем реченьям внемлет Тот,
Кто ниоткуда ничего не ждет,
И видит, наши вечности листая,
Как тьма нисходит — громкая, густая…

Но что это? все ближе, все слышнее,
Нежней свирели, звонких струн стройнее, —

Звук… нарастанье… грянет… нарастает…
Незейя во дворце… скрипичный взлет.
От быстрого полета расплелась
Ее коса, ланиты заалели,
И лента, что вкруг стана обвилась,
Висит свободно на воздушном теле.
Она вступила в свой заветный зал
И замерла… Но свет не замирал,
Ее власы златистые лобзая
И звезды золотые в них вонзая.
В такие ночи шепчутся цветы
Друг с дружкою, и с листьями — листы,
Ручей — с ручьем — все чаще, все невинней,
При звездах — в рощах, под луной — в долине.
Но все, что полудух и дух почти,
До музыки не в силах дорасти —
Цветы, крыла, ручьи… Лишь дух единый
Внимал и вторил песне соловьиной:

В очарованных чащах
Под сенью ветвей,
Охраняющей спящих
От слепящих лучей, —
Искры истины! Те, что
Ночною порой
Сквозь сонные вежды
Звезду за звездой
Влекут с небосклона,
Чаруя, к очам,
Как взоры влюбленно
Внимающей вам,
Очнитесь, в эфирном
Своем бытии,
Веленьем всемирным,
Служанки мои!
Стряхните с душистых
Распущенных кос

След лобзаний росистых
И лобзающих рос
(Ведь любовь и лобзанья
Ниспошлют небеса,
Но покой и молчанье
Предпочтут небеса).
Поведите плечами,
Взмахните крылами —
Мешает роса
Взлететь в небеса.
От любви надо лики
Отвратить наконец:
В косах — легкие блики,
В сердце — тяжкий свинец!

Лигейя! Лигейя!
Музыка! Красота!
Темной гибелью вея,
Ты светла и чиста!
О, плакать ли станешь,
Упав на утес,
Иль в небе застынешь —
Ночной альбатрос:
Он дремлет над морем,
Раскинув крыла, —
Ты грезишь над миром,
Чиста и светла!

Лигейя! Покуда
Свет миров не померк,
Ты — певучее чудо,
Берущее верх
Над страхом, что гложет
Людей в забытьи…
Но кто ж приумножит
Напевы твои?
Не дождь ли, шумящий

Над спящей травой
Все чаще и чаще —
И вот — проливной?
Не рост ли растенья?
Цветенье ль цветов?
Ах! Подлинно пенье
Не струн, а миров!
Служанка, не надо!
Оставь свой напев
Для струн водопада,
Для шума дерев,
Для озера, сонно
Поющего в лад,
Для звезд, миллионы
Которых не спят,
Для диких цветов и
Лежащих без сна
В девичьем алькове
(Если в небе луна),
Беспокоясь, как пчелы…
Где вереск сырой,
Где тихие долы, —
Там, верная, пой!
Ведь люди, что дышат
Легко в забытьи,
Уснули, чтоб слышать
Напевы твои,
Ведь ночью иного
Не ждет небосвод —
Ни ласковей слова,
Ни мягче забот,
Ведь ангелы встанут
В хладном блеске луны,
Лишь только настанут
Чары, песни и сны!

И с этим словом духи взмыли ввысь,

И ангелы по небу понеслись,
И сны, не просыпаясь, полетели —
Во всем подобны ангелам, но еле —
Еле причастны Знанию тому,
Что означает Смерть конец всему.
Но заблужденье было так прекрасно
(Хоть смерть еще прекрасней), что неясно,
Зачем дыханье Знанья (или Зла?)
Туманит нам восторга зеркала.
А им — не дуновением — самумом
Открылась бы в величии угрюмом,
Что правда значит ложь, а радость — боль…
Прекрасна смерть — затем ли, оттого ль,
Что жизнь уже пресытилась экстазом,
Что сердце отгремело, замер разум,
И духи речь степенно завели
Вдали от Рая, Ада и Земли!
Но кто, мятежный, в зарослях тумана
Смолчал, когда послышалась осанна?
Их двое… Догадались: не простит
Господь того, кто на небе грустит.
Их двое, посетивших эту глушь…
О, никогда в краю притихших душ
Любовь — слепую смуту — не прощали!
Им пасть — «в слезах властительной печали».

Он был великий дух — и он падет.
Он странник был, скиталец, звездочет,
Был созерцатель в грусти неизменной
Всего, что восхищает во вселенной.
И что за диво? если красота
Ему открылась, истинно свята,
Он не молился ничему священней,
Чем красота — в любом из воплощений.
И ночь во мраке Анжело нашла,
Ночь (для него) отчаянья и зла
Нашла его клянущим мирозданье

Словами из земного достоянья.
С возлюбленной сидел он на холме
(Орлиный взор его блуждал во тьме),
Не глядя на любимую, — затем ли,
Что там, внизу, — в слезах — увидел Землю?

«Ианте! Погляди скорей туда,
Где замерцала слабая звезда!
О, свет ее лился совсем иначе
В осенний час — в тот час (мне памятен тот час) —
На Лемносе закат был златовлас
И злато, не жалея, перенес
На шерсть ковров и шелк моих волос,
И на мои ресницы. Свет святой!
Мгновенье счастья перед пустотой!
Цветы… качались… свет… лился… туман…
Я задремал… Саади… Гюлистан
Мне снились… Свет лился… Цветы цвели…
И смерть в тот час взяла меня с земли
И увела, как за руку. Взяла,
Не разбудив, взяла и повела…

Последнее, что помню на земле я, —
Храм Парфенон. Он краше и светлее
Самой земли. Ианте, даже ты
Не воплощаешь столько красоты…
Орлом раскинув крылья, с высоты
Я вниз глядел, на жизнь мою, что ныне
Песчинкою затеряна в пустыне.
Но, пролетая над землей, я зрел,
Что мир земной расцвел — и постарел:
Пустые храмы и пустые грады,
Заброшены поля и вертограды.
И красота, низвергнутая в ад,
Звала меня! Звала меня назад!»

«Мой Анжело! Тебе ль грустить об этом?

Ты избран Богом и обласкан светом,
Ты помещен на высшую звезду,
И я земную деву превзойду!»
«Ианте, слушай! с тех высот, где воздух
Разрежен в расстояниях межзвездных
(То голова кружилась ли?), вдали
Я наблюдал крушение Земли!
Она, морями пламени омыта,
Вдруг сорвалась под вихрями с орбиты
И покатилась — жалкий шар — в хаос.
И я, над океаном зыбких грез,
Я не летел, а падал, и светило —
В глубокой бездне красное светило —
Твоя звезда! Твой огненный Дедал!
Я наземь пал — и сам он упадал,
Всемирных страхов жуткое исчадье,
На Землю, что молила о пощаде».

«Да, мой любимый, мы летели — к Ней!
Вниз, вверх, вокруг, под иглами огней,
Как светлячки, — не ведая, доколе
Светиться по владычицыной воле.
Владычица ль, Господь ли судит нас —
Не нам с тобой постигнуть их наказ;
Одно я разумею, Землю вашу
Теперь увидев, — нету в мире краше!
Сперва не знала я, куда наш путь,
Она, звезда-малютка, лишь чуть-чуть
Мерцала в полупризрачном тумане,
Но чем быстрей, чем ближе — тем сиянье
Ее сильней — и застит небеса!
Уже я предвкушала чудеса,
Бессмертье открывала в человеке.
Но свет померк — и там и тут — навеки!»
Так, за речами, время проходило.
Ночь длилась, длилась… и не проходила…
Поникли. Догадались: не простит

Господь того, кто на небе грустит.

Акростих

1829 пер. Р. Дубровкина

Элизабет, не мучь меня напрасно:
Любовь мою ты гонишь слишком страстно,
Играя роль Ксантиппы по примеру.
Забытой поэтессы, злой не в меру.
Ах, не смотри так нежно, так влюбленно! —
Боюсь я участи Эндимиона:
Его Селена от любви лечила
Так пылко, что от жизни отлучила.

Элизабет Р. Херринг

1829 пер. Ю. Корнеева

Элизабет, коль первым имя это,
Листая твой альбом, увидят там,
Иной педант начнет корить поэта
За сочиненье вирш по пустякам.

А зря!.. Хотя и фокус строки эти,
Бранить меня за них причины нет:
Едва ли был когда-нибудь на свете
Таких забав не любящий поэт.

Размером трудным мысли излагает
Художник не по прихоти своей —
Ему игра созвучий помогает
Раскрыть себя в творении полней.

Раз у него есть дар, его работа
Известным с детства правилом жива:
«Не может в стих облечься то, чего ты
Глубоко в сердце не обрел сперва».

К Елене

1831 пер. Г. Кружкова

Елена, красота твоя
Мне — словно парус морякам,
Скитальцам, древним, как земля,
Ведущим корабли в Пергам,
К фригийским берегам.

Как зов Наяд мне голос твой
Звучит за ропотом глухим
Морей, ведя меня домой,
К сиянью Греции святой
И славе, чье имя — Рим.

В алмазной раме у окна
Вот ты стоишь, стройна, как взмах
Крыла, с лампадою в руках —
Психея! — не оставь меня
В заветных снах!

Пэан

1831 пер. В. Брюсова

Как реквием читать, — о смех! —
Как петь нам гимн святой!
Той, что была прекрасней всех
И самой молодой!

Друзья глядят, как на мечту,
В гробу на лик святой,
И шепчут: «О! Как красоту
Бесчестить нам слезой?»

Они любили прелесть в ней,
Но гордость кляли вслух.
Настала смерть. Они сильней
Любить посмели вдруг.

Мне говорят (а между тем
Болтает вся семья),
Что голос мой ослаб совсем,
Что петь не должен я,

И что мой голос, полн былым,
Быть должен, в лад скорбей,
Столь горестным, — столь горестным, —
Что тяжко станет ей.

Она пошла за небосклон,
Надежду увела;
Я все ж любовью опьянен
К той, кто моей была!

К той, кто лежит, — прах лучших грез,
Еще прекрасный прах!

Жизнь в золоте ее волос,
Но смерть, но смерть в очах.

Я в гроб стучусь, — упорно бью,
И стуки те звучат
Везде! везде! — и песнь мою
Сопровождают в лад.

В Июне дней ты умерла,
Прекрасной слишком? — Нет!
Не слишком рано ты ушла,
И гимн мой буйно спет.

Не только от земли отторг
Тебя тот край чудес:
Ты видишь больше, чем восторг
Пред тронами небес!

Петь реквием я не хочу
В такую ночь, — о нет!
Но твой полет я облегчу
Пэаном древних лет!

Спящая

1831 пер. А. Эппеля

В июне в темный час ночной
Я — под таинственной луной,
Чей золотистый ореол
На тихий холм и смутный дол
За каплей каплю в каплях рос
Дурманящий туман принес, —
И он ползет к долине вечной,
И мелодический, и млечный.
В волне белеет ненюфар,
К воде припал белесый пар,
К могиле никнет розмарин,
Спит разрушенье меж руин,
Подобный Лете сонный пруд
Не разорвет дремотных пут —
Вся Красота уснула тут.
И спит Ирен. Гляди! — она
Среди Судеб своих одна.

Любовь моя! Не верю я!
Оконце твоего жилья
Распахнуто в ночную тьму,
И ветерки летят к нему,
И чередой волшебных фей
По спальне носятся твоей —
И полог рукоплещет им,
И невесомым, и сквозным.
За темной бахромой ресниц
Сокрыт покой твоих зениц,
А по полу и вдоль стены
Тревожны тени и темны!
Ты здесь впотьмах, а рядом страх!
Куда стремишься ты во снах?

К каким морям и островам?
Твой облик странен деревам —
Все странно. Странно ты бледна,
Странна волос твоих длина
И выспренная тишина.

Спит леди! Пусть покойно спит,
Пусть небо спящую хранит!
И сновиденья вечно длит
На ложе, прежнего печальней,
В иной и столь священной спальной!
Господь, продли ей сон вовек,
Не дай открыть смеженных век,
Умерь ночных видений бег!

Пусть вечно спит! Покойно спит!
Пусть небо спящую хранит!
Пусть червь — могильный труд творит!
Пусть отворит туманный бор
Семейный склеп, где с давних пор
Покой таинственных могил
Лишь трепетно тревожим был,
Когда фамильные гроба
Печально множила судьба;
Таиствен склеп, как в те года,
Когда она — дитя тогда —
Бросала камешки туда.
Но в этот раз из гулких врат
Пусть эхо не звучит трикрат,
Вселяя давний детский страх,
Что это стонет смерть в гробах.

Город среди моря

1831 пер. Ю. Корнеева

Где сумрак запад обволок,
Воздвигла Смерть себе чертог.
Там странный город виден взглядам.
Герой и трус, святой и грешник рядом
Объяты там могильным хладом.
Там башни (накренило их,
А все ж не рухнут), храмы зданья —
Иные, чем у нас, живых,
И ветра свежее дыханье
Не взбороздит, не шелохнет
Немую ширь угрюмых вод.

Не льются с неба струи света
На город этот, мглой одетый.
Лишь отблеск дремлющих валов
Змеей ползет, как кровь багров,
По камням капищ и дворцов,
Чья кладка толще несравненно,
Чем в древнем Вавилоне стены,
По шпицам, по рядам колонн
И по ротондам, где фронтон
Украшен фризами лепными
Из чаш с фиалками лесными
И лоз, вплетенных между ними.

Ничто нигде не шелохнет
Немую ширь угрюмых вод.
Во мраке контуры строений
Расплылись над землей, как тени,
А с главной башни шлет в простор
Смерть-великанша грозный взор.

В любом из склепов, в каждом храме
На уровне одном с волнами
Раскрыта дверь, но воды спят;
Воспрянуть их не побудят
Ни бирюза в глазницах статуй,
Ни на гробах покров богатый,
И, увы, не тронет рябь
Стекленеющую хлябь,
Чья безмятежность так ужасна,
Что, мнится, ни лазури ясной,
Ни бурь нет больше на земле —
Один лишь мертвый штиль во мгле.

Но чу! Вдруг ожил воздух стылый,
И зыбь поверхность вод всхолмила.
Не башня ль, возмутив их гладь,
Беззвучно стала оседать
И плотный полог туч над ними
Зубцами прорвала своими;
Свет алый выси в море льют,
И затихает без минут,
И в миг, когда в пучину канут
Останки города того,
С престолов силы ада встанут,
Приветствуя его.

Долина тревоги

1831 пер. Г. Кружкова

Тихий край когда-то был,
Где давно никто не жил, —
Все пропали на войне;
Только звезды в вышине
Зажигались в поздний час,
И дозор их нежных глаз
Охранял с лазурных круч
Там цветы; и солнца луч
В душных травах целый день
Нежил сладостную лень.
Но теперь исчез и след
Безмятежных тех примет —
В том краю покоя нет! —
Один лишь воздух недвижим,
Словно во сне, застыл над ним.
Нет, то не ветер, пролетев,
Тревожит голоса дерев,
Шумящих, как студеный вал,
Вокруг пустынных скал!
Нет, и не ветер то влечет
Шуршащих облаков полет,
Неутомимый, непрестанный!..
А степь фиалками полна,
И плачет лилия одна
Там над могилой безымянной!
И плачет вечно, с лепестка
Роняя капель жемчуга.

И жжет слеза, на стебли трав
Росой бессмертною упав.

Израфел
1831
пер. В. Бетаки

...А так же ангел Израфел, чье сердце лютней звучит, и голос его сладчайший из голосов всех созданий Аллаха.

Коран

Есть в небе дух Израфел,
«Чье сердце лютней звучит»,
И никто так не пел,
Как поет Израфел:
Пенье звезд умолкает, и блеск их бел,
Чтоб восторгом звезд небосвод пламенел, —
Так легенда гласит.

В недрах тишины
Звук возник,
И алеет лик
Влюбленной луны.

В красных отблесках безмолвно
Застывают стрелы молний,
И Плеяды, семь сестер,
Слышат, как звенит простор.
И хоры звезд ночами
Спешат поведать миру,
Что из созвездья Лиры
Дух исторгает пламя.
Он звездных струн перстами
Касается, звеня,
И плещет над струнами
Живой аккорд огня!

Израфел живет в лазури,
Там, где мудрость бесконечна,
Где любовь — единый бог,
Где, горя красой извечной,
Льют на землю взоры гурий
Света звездного поток.

Бард небесный, Израфел,
Лучший в мире ты по праву:
Песнь бесстрастную презрел!
Лавры — вечный твой удел,
Ибо мудрых песен слава
В том, чтоб голос пламенел!

Если полон мудрой страсти
Ритм пылающих аккордов, —
Горе, радость, боль и счастье
Слиты вместе в пенье гордом!

Пой, Израфел, чтобы звезды молчали,
В небе властвуешь ты!
А в мире радости и печали,
Где цветы — всего лишь цветы,
Тень песен, упавшую с высоты,
Мы солнечным светом назвали.

Но если бы выпал мне, о Израфел,
Твой горний удел,
Тебе же — удел земной,
Ты бы дольних песен моих не пропел,
А я бы смелей, чем ты, звенел
Небесною струной.

Загадка

2 февраля, 1833 пер. В. Федорова

Сказал глупец разумный мне когда-то:
Как шляпу итальянскую на свет
Порой рассматриваем мы разъято,
Так различим с полмысли, коль сонет
(Петрарки выдумку) вдруг развернем, поэт,
И постараемся (прелестной даме
Работа не под силу) за словами
Загадочный здесь разгадать ответ —
Он, как сова пушистая пред вами,
Что спряталась от солнечных знамен,
С прозрачнейшим из радостных имен
Соединенный, углублен стихами,
Скользя, сквозит в дыханьи этих строк —
Бессмертию бросаемый намек.

Колизей

26 октября, 1833 пер. В. Бетаки

О, символ Рима! Гордое наследство,
Оставленное времени и мне
Столетиями пышных властолюбцев!
О, наконец-то, наконец я здесь!
Усталый странник, жаждавший припасть
К истоку мудрости веков минувших,
Смиренно я колени преклоняю
Среди твоих теней и жадно пью
Твой мрак, твое величие и славу.

Громада. Тень веков. Глухая память.
Безмолвие. Опустошенье. Ночь.
Я вижу эту мощь, перед которой
Все отступает: волшебство халдеев,
Добытое у неподвижных звезд,
И то, чему учил Царь Иудейский,
Когда вошел он в Гефсиманский сад.

Где падали герои — там теперь
Подрубленные временем колонны,
Где золотой орел сверкал кичливо —
Кружит в ночном дозоре нетопырь.

Где ветер трогал волосы матрон —
Теперь шумят кусты чертополоха,
Где, развалясь на троне золотом,
Сидел монарх — теперь по серым плитам
В холодном молчаливом лунном свете
Лишь ящерица быстрая скользит.

Так эти стены, выветренный цоколь,
Заросшие глухим плющом аркады

И эти почерневшие колонны,
Искрошенные фризы — эти камни,
Седые камни — это все, что Время,
Грызя обломки громкой, грозной славы,
Оставило судьбе и мне? А больше
И не осталось ничего? — Осталось!!!

Осталось!!! — эхо близкое гудит.
Несется вещий голос, гулкий голос
Из глубины руины к посвященным…
(Так стон Мемнона достигает солнца!)
«Мы властвуем над сердцем и умом
Властителей и гениев земли!
Мы не бессильные слепые камни:
Осталась наша власть, осталась слава,
Осталась долгая молва в веках,
Осталось удивленье поколений,
Остались тайны в толще стен безмолвных,
Остались громкие воспоминанья,
Нас облачившие волшебной тогой,
Которая великолепней славы!»

Серенада

20 апреля, 1833 пер. В. Топорова

Так ночь тиха, так сладок сон,
Что даже струн нескромен звон —
Он нарушает тишину,
Весь мир склонившую ко сну.
На моря жемчуг и опал
Элизиума блеск упал;
Спят звезды, только семь Плеяд,
Ни в небе, ни в волнах не спят;
Пленительный Эндимион
В любви, любуясь, отражен.
Покой и мрак в лесах и долах,
Спят горы в тихих ореолах.
Едва блеснул последний сполох, —
Земля и звезды забытья
Возжаждали, как жажду я
Тебя, любви твоей невинной
И состраданья, Аделина.
О! Слушай, вслушайся, услышь:
Не так нежна ночная тишь,
Как эти нежные слова,
Что лаской сна сочтешь сперва.
И вот, пока я не дерзну
Задеть призывную струну,
Сердца и думы воедино
Пребудут слитны, Аделина.

Той, которая в раю

Январь, 1834 пер. В. Рогова

В твоем я видел взоре,
К чему летел мечтой, —
Зеленый остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах —
И любой цветок был мой.
Конец мечтам моим!

Мой нежный сон, милей всех снов,
Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — но над Былым
Мой дух простерт, без чувств, без слов,
Подавлен, недвижим!

Вновь не зажжется надо мной
Любви моей звезда.
«Нет, никогда — нет, никогда»
(Так дюнам говорит прибой)
Не взмоет ввысь орел больной,
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!

Мне сны дарят отраду,
Мечта меня влечет
К пленительному взгляду,
В эфирный хоровод,
Где вечно льет прохладу
Плеск италийских вод.
И я живу, тот час кляня,
Когда прибой бурливый
Тебя отторгнул от меня

Для ласки нечестивой —
Из края, где, главу клоня,
Дрожат и плачут ивы.

Гимн

Апрель, 1835 пер. А. Щербакова

В полдень и полночь, сквозь тьму и мглу,
Мария, прими от меня хвалу.
В горе и счастье жизни земной,
О Богоматерь, пребудь со мной.
Когда моя жизнь текла без забот
И ясен, и светел был небосвод,
От лености и суеты людской
Спасала ты мне душу своей рукой.
Теперь, когда бури грозная тень
Мрачит мой былой и нынешний день,
Даруй мне свет для грядущих дней,
Даруй надежду рукой своей.

В альбом Фрэнсис С. Осгуд

Сентябрь, 1835 пер. Э. Гольдернесса

Ты хочешь быть любимой! Так пускай
Ступает сердце прежнею дорогой:
Все, что в себе имеешь, сохраняй,
А чуждое тебе — отринь, не трогай.

Твой светлый ум, твоя сверхкрасота —
В их единенье вечном и недолгом —
Воспеть хвалу заставят все уста
И сделают любовь — первейшим долгом.

Подвенечная баллада

Январь, 1837 пер. Ю. Корнеева

Скреплен союз кольцом,
Порукою согласья,
И с новым женихом
Стоим мы под венцом,
Но обрела ль я счастье?

Супруг обет мне дал,
Но голос, что от страсти
У бедного дрожал,
В моих ушах звучал,
Как стон того, кто пал
В бою у чуждых скал,
Обресть мечтая счастье.

Муж ласков был со мной,
Но сердцем унеслась я
К могиле дорогой
И, воскресив мечтой
Тебя, Делорми мой,
Шепнула вдруг: «Постой!
Вновь обрела я счастье!»

Да, я сказала так,
И хоть вся жизнь — ненастье,
Хоть впереди лишь мрак,
Сочтет отныне всяк,
Что люб мне этот брак,
Коль в верности клялась я:
Кольцо — ведь это знак,
Что обрела я счастье.

Пусть душу исцелит

Мне Бог от безучастья,
Иль зло она свершит:
Ведь тот, кто был убит
И милою забыт,
Обресть не может счастья.

Сонет к Занте

Январь, 1837 пер. В. Васильева

Прекрасный остров с именем прекрасным
Цветка, что всех дороже и милей.
Как много зорь на этом небе ясном
Ты зажигаешь в памяти моей!
Как много светлых встреч — уж больше нет их!
Как много помыслов, разбитых в прах!
Как много ликов той, кому на этих
Не быть, не быть зеленых берегах!
Не быть! Увы, магическое слово
Меняет все. Ушедшему не быть.
Не быть! Но если не вернуть былого,
То проклят будь и дай тебя забыть,
Пурпурный остров гиацинтов, Занте!
«Isola d'oro! Fior di Levante!»

Призрачный замок

Апрель, 1839 пер. Н. Вольпин

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.
И ничего прекрасней в мире
Крылом своим
Не осенял, плывя в эфире
Над землею, серафим.

Гордо реяло над башней
Желтых флагов полотно
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно).
Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона проносясь;
Государь порфирородный,
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной.

А дверь!.. Рубины, аметисты
По золоту сплели узор —
И той же россыпью искристой
Хвалебный разливался хор;
И пробегали отголоски

Во все концы долины,
В немолчном славя переплеске
И ум, и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог —
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).
А прежнее великолепье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец.
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачной рекой…
И слышен смех — смех без улыбки.

Молчание. Сонет

4 января, 1840 пер. В. Бетаки

Есть много близких меж собой явлений,
Двуликих свойств (о, где их только нет!).
Жизнь — двойственность таких соединений,
Как вещь и тень, материя и свет.

Есть двойственное, цельное молчанье
Души и тела, суши и воды.
В местах, где проросли травой следы,
Оно гнездится, но воспоминанья
И опыт говорят: не жди беды —
Оно — молчанье жизни, нет в нем зла,
Невозвратимым мысль его назвала.

Но если тень молчанья вдруг предстала
И душу в те пределы увела,
Куда нога людская не ступала, —
Доверься Господу! Пора пришла.

Червь-победитель

Январь, 1843 пер. В. Рогова

Смотри: спектакль богат
Порой унылых поздних лет!
Сонм небожителей крылат,
В покровы тьмы одет,
Повергнут в слезы и скорбит
Над пьесой грез и бед,
А музыка сфер надрывно звучит —
В оркестре лада нет.

На Бога мим любой похож;
Они проходят без следа,
Бормочут, впадают в дрожь —
Марионеток череда,
Покорна Неким, чей синклит
Декорации движет туда-сюда,
А с их кондоровых крыл летит
Незримо Беда!

О, балаганной драмы вздор
Забыт не будет, нет!
Вотще стремится пестрый хор
За Призраком вослед, —
И каждый по кругу бежать готов,
Продолжая бред;
В пьесе много Безумья, больше Грехов,
И Страх направляет сюжет!

Но вот комедиантов сброд
Замолк, оцепенев:
То тварь багровая ползет,
Вмиг оборвав напев!
Ползет! Ползет! Последний мим

Попал в разверстый зев,
И плачет каждый серафим,
Клыки в крови узрев.

Свет гаснет — гаснет — погас!
И все покрывается тьмой,
И с громом завеса тотчас
Опустилась — покров гробовой…
И, вставая, смятенно изрек
Бледнеющих ангелов рой,
Что трагедия шла — «Человек»,
В ней же Червь-победитель — герой.

Линор

Февраль, 1843 пер. Г. Усовой

Расколот кубок золотой, — рыдать колоколам!
Летит с тоской душа святой к стигийским берегам.
Тоскуй, сэр Гай, рыдай, рыдай! Что ж сух твой светлый взор?
Так холодна в гробу она, твоя любовь — Линор!
Пой с нами, пой за упокой над мертвой красотой
Хорал, над той, что умерла такою молодой,
Над той, что умерла вдвойне, скончавшись молодой.

«Не гордость вы ценили в ней, а деньги предпочли,
С больной, вы стали с ней нежней — и этим в гроб свели.
Как с ваших лживых языков слетает гимн святой?
Как злобный хор клеветников поет за упокой,
Когда ее убили вы, убили молодой?»

«Peccavimus![1145]*Из гневных уст летят твои слова,*
Но не мешай нам петь псалом, молчи — она мертва!
Хоть ради той души святой, что вознеслась, ушла,
Хоть ради той, что стать женой, твоей женой могла!
О, как мила она была! Она еще не прах —
Чиста улыбка и светла, нет смерти на устах,
И жизнь в волнистых волосах — но стынет смерть в глазах!»

«Да, слез мне нет, но горный свет горит в душе моей,
Пусть ангелу звучит вослед пеан минувших дней,
Пусть в мире зла колокола песнь оборвут свою,
Пускай Линор ваш злобный хор не слышит там в раю!
Да, здесь — враги, а там — друзья, паришь в полете ты,
Из ада — прямо в небеса, о них твои мечты.
Здесь — боль и стон, там — божий трон, сбываются

мечты!»

Страна снов

Июнь, 1844 пер. С. Андреевского

По тропинке одинокой
Я вернулся из страны,
Где царит во тьме глубокой
Призрак Ночи-сатаны,
На окраине далекой,
Средь отверженных дубов —
Вне пространства и веков.

Там деревья-великаны,
Облеченные в туманы,
Невидимками стоят;
Скалы темные глядят
С неба красного — в озера,
Беспредельные для взора…
Льют безмолвные ручьи
Воды мертвые свои,
Воды, сонные, немые,
В реки темно-голубые.
Там, белея в тьме ночной,
Над холодною водой,
Точно спутанные змеи,
Вьются нежные лилеи.
И во всяком уголке, —
И вблизи, и вдалеке, —
Где виднеются озера,
Беспредельные для взора, —
Где, белея в тьме ночной,
Над холодною водой,
Точно спутанные змеи,
Вьются нежные лилеи, —
Возле дремлющих лесов, —
Близ плеснеющих прудов,

Полных гадов и драконов, —
Вдоль вершин и горных склонов, —
С каждым шагом на пути
Странник может там найти
В дымке белых одеяний
Тени всех Воспоминаний…
Чуть заметная на взгляд,
Дрожь колеблет их наряд!
Кто пройдет близ тени дивной, —
Слышит вздох ее призывный.
То — давнишние друзья,
Лица некогда живые, —
Те, что Небо и Земля
Взяли в пытках агонии.

Кто, судьбой не пощажен,
Вынес бедствий легион,
Тот найдет покой желанный
В той стране обетованной.
Этот дальний, темный край
Всем печальным — чистый рай!
Но волшебную обитель
Заслонил ее Властитель
Непроглядной пеленой;
Если ж он душе больной
Разрешит в нее пробраться, —
Ей придется любоваться
Всем, что некогда цвело —
В закопченное стекло.

По тропинке одинокой
Я вернулся из страны,
Где царит во тьме глубокой
Призрак Ночи-сатаны,
На окраине далекой,
Средь отверженных духов, —

Вне пространства и веков.

К Ф…

Апрель, 1845 пер. В. Томашевского

Любимая средь бурь и гроз,
Слепящих тьмой мой путь земной
(«Бурьяном мрачный путь зарос,
Не видно там прекрасных роз»),
Душевный нахожу покой,
Эдем среди блаженных грез,
Грез о тебе и светлых слез.

Мысль о тебе в уме моем —
Обетованный островок
В бурлящем море штормовом…
Бушует океан кругом,
Но, безмятежен и высок,
Простор небес над островком
Голубизной бездонной лег.

Евлалия. Песня

Июль, 1845 пер. В. Рогова

Дарил мне свет
Немало бед.
И чахла душа в тишине,
Но Евлалия, нежная, юная, стала супругою мне —
Но Евлалия светлокудрая стала супругою мне.

О, блеск светил
Тусклее был,
Чем свет ее очей!
Никакой дымок
Так завиться б не мог
В переливах лунных лучей,
Чтоб сравниться с ничтожнейшим локоном Евлалии скромной моей —
С самым малым, развившимся локоном яснookой супруги моей.

Сомненье, Беда
Ушли навсегда:
Милой дух — мне опора опор!
Весь день напролет
Астарта льет
Лучи сквозь небесный простор,
И к ней дорогая Евлалия устремляет царственный взор —
И к ней молодая Евлалия устремляет фиалковый взор.

Ворон

29 января, 1845 пер. М. Зенкевича

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так застукал в двери дома моего.
«Гость, — сказал я, — там стучится в двери дома моего,
Гость — и больше ничего».

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме, ангелы зовут Линор, —
Безыменной здесь с тех пор.

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
«Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость — и больше ничего».

И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
«Извините, сэр иль леди, — я приветствовал его, —
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,
Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал», — дверь открыл я: никого,
Тьма — и больше ничего.

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: «Линор!»

Это я шепнул, и эхо прошептало мне: «Линор!»
Прошептало, как укор.

В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
«Это тот же стук недавний, — я сказал, — в окно за ставней,
Ветер воет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего, —
Ветер — больше ничего».

Только приоткрыл я ставни — вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо;
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего
Сел — и больше ничего.

И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор,
Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О, зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?»
Каркнул Ворон: «Nevermore».

Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,
Птица с кличкой «Nevermore».

Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шепнул я, вдруг вздохнувши: «Как друзья с недавних пор,

Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор».
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишьи мрачном,
И сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом Рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом „Nevermore“».

И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор,
Хриплым карком: «Nevermore».

Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о nevermore!

Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили Серафимы в фимиаме на ковер.
Я воскликнул: «О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес — исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенье и забудь свою Линор!»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор —
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

«Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! —
Я, вскочив, воскликнул: — С бурей уносись в ночной простор,
Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака
Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной простор!»
Каркнул Ворон: «Nevermore!»

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
Он глядит в недвижном взлете, словно демон тьмы в дремоте.
И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.
Никогда, о nevermore!

Ворон

29 января, 1845 пер. Н. Воронель

Окна сумраком повиты… Я, усталый и разбитый,
Размышлял над позабытой мудростью старинных книг;
Вдруг раздался слабый шорох, тени дрогнули на шторах,
И на сумрачных узорах заметался светлый блик, —
Будто кто-то очень робко постучался в этот миг,
Постучался и затих.

Ах, я помню очень ясно: плыл в дожде декабрь ненастный,
И пытался я напрасно задержать мгновений бег;
Я со страхом ждал рассвета: в мудрых книгах нет ответа,
Нет спасенья, нет забвенья, — беззащитен человек, —
Нет мне счастья без Леноры, словно сотканной из света
И потерянной навек.

Темных штор неясный шепот, шелестящий смутный ропот,
Шепот, ропот торопливый дрожью комкал мыслей нить,
И стараясь успокоить сердце, сжатое тоскою,
Говорил я сам с собою: «Кто же это может быть?
Это просто гость нежданный просит двери отворить, —
Кто еще там может быть?»

Плед оставив на диване, дверь открыл я со словами:
«Виноват я перед вами — дверь входная заперта,
Но так тихо вы стучали, не поверил я вначале
И подумал: — Гость? Едва ли. Просто ветра маята…»
Но в глаза мне из-за двери заглянула темнота,
Темнота и пустота.

Тихо-тихо в царстве ночи… Только дождь в листве бормочет,
Только сердце все не хочет подчиниться тишине,
Только сердцу нет покоя: сердце слушает с тоскою,

Как холодною рукою дождь колотит по стене;
Только я шепчу: «Ленора!», только эхо вторит мне,
Только эхо в тишине.

Я вернулся в сумрак странный, бледной свечкой осиянный,
И опять мой гость незваный дробно застучал в окно…
Снова дождь запел осенний, снова задрожали тени, —
Хоть на несколько мгновений сердце замолчать должно:
«Это ветер, просто ветер, дождь и ветер заодно, —
Бьют крылом ко мне в окно!»

Я рывком отдернул штору: там, за капельным узором
Величавый черный Ворон появился на окне.
Не спросивши разрешенья, он влетел в мои владенья,
Скомкал тени без стесненья, смазал блики на стене,
Сел на бледный бюст Паллады, не сказав ни слова мне,
Сел и замер в тишине.

Позабыв, что сердцу больно, я следил, смеясь невольно,
Как мой гость самодовольно в дом ворвался без стыда;
Я спросил: «Как величали вас в обители печали,
Где блуждали вы ночами, прежде чем попасть сюда?
Там, в великом Царстве Ночи, где покой и мрак всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда!»

Этот возглас непонятный, неуклюжий, но занятный,
Канул, хриплый и невнятный, не оставив и следа…
Как же мог я примириться с тем, что в дом влетела птица,
Удивительная птица по прозванью «Никогда»,
И сидит на бледном бюсте, где струится, как вода,
Светлых бликов чехарда.

Странный гость мой замер снова, одиноко и сурово,
Не добавил он ни слова, не сказал ни «Нет», ни «Да»;
Я вздохнул: «Когда-то прежде отворял я дверь Надежде,
Ей пришлось со мной проститься, чтобы скрыться в Никуда…

Завтра, птица, как Надежда, улетишь ты навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда!»

Вздрогнул я, — что это значит? Он смеется или плачет?
Он, коварный, не иначе, лишь затем влетел сюда,
Чтоб дразнить меня со смехом, повторяя хриплым эхом
Свой припев неумолимый, нестерпимый, как беда.
Видно, от своих хозяев затвердил он без труда
Стон печальный «Никогда!»

Нет, дразнить меня не мог он: так промок он, так продрог он…
Стал бы он чужой тревогой упиваться без стыда?
Был врагом он или другом? — Догорал в камине уголь…
Я забился в дальний угол, словно ждал его суда:
Что он хочет напророчить на грядущие года
Хриплым стоном «Никогда!»?

Он молчанья не нарушил, но глядел мне прямо в душу,
Он глядел мне прямо в душу, словно звал меня — куда?
В ожидании ответа я следил, как в пляске света
Тени мечутся в смятенье, исчезая без следа…
Ах, а ей подушки этой, где трепещут искры света,
Не коснуться никогда!

Вдруг, ночную тьму сметая, то ли взмыла птичья стая,
То ли ангел, пролетая, в ночь закинул невода…
«Ты мучитель! — закричал я. — Тешишься моей печалью!
Чтоб терзать меня молчаньем, Бог послал тебя сюда!
Сжалься, дай забыть, не думать об ушедшей навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда!»

«Кто ты? Птица или дьявол? Кто послал тебя, — лукавый?
Гость зловещий, Ворон вещий, кто послал тебя сюда?
Что ж, разрушь мой мир бессонный, мир, тоской опустошенный,
Где звенит зловещим звоном беспощадная беда,

Но скажи, я умоляю! — в жизни есть забвенье, да?»
Каркнул Ворон: «Никогда!»

«Птица-демон, птица-небыль! Заклинаю светлым небом,
Светлым раем заклинаю! Всем святым, что Бог нам дал,
Отвечай, я жду ответа: там, вдали от мира где-то,
С нею, сотканной из света, ждать ли встречи хоть тогда,
Хоть тогда, когда прервется дней унылых череда?»
Каркнул Ворон: «Никогда!»

«Хватит! Замолчи! Не надо! Уходи, исчадье ада,
В мрак, где не дарит отрадой ни единая звезда!
Уходи своей дорогой, не терзай пустой тревогой:
Слишком мало, слишком много ты надежд принес сюда.
Вырви клюв из раны сердца и исчезни навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда!»

Никогда не улетит он, все сидит он, все сидит он,
Словно сумраком повитый, там, где дремлет темнота…
Только бледный свет струится, тень тревожно шевелится,
Дремлет птица, свет струится, как прозрачная вода…
И душе моей измятой, брошенной на половицы,
Не подняться, не подняться,
Не подняться никогда!

Нет королей Господней властью

Октябрь, 1845 пер. Р. Дубровкина

Нет королей господней властью,
Но Эллен исключенье, к счастью, —
Служа такому королю,
Я сами цепи полюблю!

Из кости выстроен слоновой
Престол, где правит деспот новый,
И не осмелится порок
Державный преступить порог.

Ах, Эллен, за твои объятья
Монаршью власть готов признать я,
Бунтарский усмиряя нрав:
Король не может быть не прав!

Возлюбленной в Валентинов день

21 февраля, 1846 пер. Г. Бена

Фиалками пленительных очей,
Ярчайших, точно звезды Диоскуры,
На эти строки посмотри скорей:
Ты знала ли искусней трубадура?

Я имя скрыл твое средь этих строк;
Его ищи, в сплетенья слов вникая:
Оно — мой стяг, мой лавровый венок,
Мой талисман; твержу его всегда я.

В стихе значенья полон каждый знак.
Найти сам принцип здесь всего важнее.
Мой узел гордиев завязан так,
Чтоб не был нужен меч, клянусь тебе я.

Найти тут сможет взор прекрасный твой,
Сияющий нетленным, чистым светом,
Три слова, что составят имя той,
Чье превосходство ведомо поэтам.

Нет! Пусть, как Мендес Пинто, буквы лгут,
Дух истины скрыт в их глубинах свято.
Оставь решать загадку; тщетен труд:
Ее не разгадаешь никогда ты.

To M.L.S

1847 пер. В. Федорова

Из всех, кому с тобой свиданье — утро,
Из всех, кому с тобой разлука — ночь,
Когда на небе вычеркнуто солнце
Священное — из всех, кто в горькой доле
Тебя благословляет ежечасно
За жизнь и за надежду, а преболе
Всего — за воскресенье схороненной
Глубоко веры в Правду и Гуманность;
Из всех, кому на богохульном ложе
Отчаяния смертного подняться
Дано при ласковых твоих словах:
«Да будет свет!» исполнившихся странно,
Словах, светящих в ангельских глазах;
Из всех, кто более всего обязан
Одной тебе, чья благодарность нынче
Ближе всего подходит к поклоненью,
Вернейшая, покорнейшего вспомни
И думай: тот, кто пишет эти строки,
Такие слабые, дрожит при мысли,
Что с ангельской душой он говорит.

Улялюм

Декабрь, 1847 пер. В. Бетаки

Было небо сурово и серо,
Листья были так хрупки и сиры,
Листья были так вялы и сиры…
Был октябрь. Было горе без меры.
Было так одиноко и сыро
Возле озера духов Обера,
В странах странных фантазий Уира,
Там, в туманной долине Обера,
В заколдованных чащах Уира.

Вдоль рядов кипарисов-титанов
Брел вдвоем я с душою моей,
Брел с Психеей, душою моей.
Что-то в сердце моем непрестанно
Клокотало сильней и грозней,
Бушевало сильней и грозней,
Словно серный поток из вулкана,
Там, где правит холодный Борей,
Словно лава в утробе вулкана,
Там, где полюсом правит Борей.

Наша речь была ровной и серой:
Мысли были так хрупки и сиры,
Листья памяти — вялы и сиры;
В Ночь Ночей, когда горю нет меры,
Не узнали мы странного мира…
(Хоть однажды из вашего мира
Мы спускались в долину Обера…
Был октябрь… Было мрачно и сыро…)
Но забыли мы духов Обера
И вампиров, и чащи Уира…

Звездный круг в предрассветной тревоге…
Ночь осенняя шла на ущерб,
Ночь туманная шла на ущерб.
И в конце нашей узкой дороги
Подымался мерцающий серп,
Разливая сиянье, двурогий,
Странным светом сверкающий серп,
Серп далекой Астарты, двурогий
И алмазно блистающий серп.

И сказал я: «Так льдиста Диана —
Лик Астарты теплей и добрей,
В царстве вздохов она всех добрей,
Видя, как эту грудь непрестанно
Гложут червь и огонь всех огней.
Сквозь созвездие Льва из тумана
Нам открыла тропинку лучей,
Путь к забвенью — тропинку лучей,
Мимо злобного Льва из тумана
Вышла с тихим свеченьем очей,
Через логово Льва из тумана
К нам с любовью в свеченье очей!»

Но ответила тихо Психея:
«Я не верю сиянью вдали,
Этой бледности блеска вдали,
О, спеши же! Не верю звезде я,
Улететь, улететь повели!»
Говорила, от страха бледнея
И крыла опустив, и в пыли
Волочились они по аллее,
Так, что перья купались в пыли,
Волочились печально в пыли…

Я ответил: «Оставим сомненья!
Нам навстречу блистают лучи!
Окунись в голубые лучи!

И поверь, что надежд возвращенье
Этот свет предвещает в ночи,
Посмотри — он мерцает в ночи!
О, доверься, доверься свеченью,
Пусть укажут дорогу лучи,
О, поверь в голубое свеченье:
Верный путь нам укажут лучи,
Что сквозь мрак нам мерцают в ночи!»

Поцелуй успокоил Психею,
И сомненья покинули ум,
Мрачным страхом подавленный ум,
И пошли мы, и вдруг на аллее
Склеп возник, несказанно угрюм.
«О, сестра, этот склеп так угрюм!
Вижу надпись на створках дверей я…
Почему этот склеп так угрюм?»
И сказала она: «УЛЯЛЮМ…
Здесь уснула твоя Улялюм…»

Стало сердце сурово и серо,
Словно листья, что хрупки и сиры,
Словно листья, что вялы и сиры…
«Помню! — вскрикнул я, — горю нет меры!
Год назад к водам странного мира
С горькой ношей из нашего мира
Шел туда я, где мрачно и сыро…
Что за демоны странного мира
Привели нас в долину Обера,
Где вампиры и чаши Уира?
Это — озеро духов Обера,
Это черные чащи Уира!»

Мы воскликнули оба: «Ведь это —
Милосердие демонов, но
Нам теперь показало оно,
Что к надежде тропинки нам нет, и

Никогда нам узнать не дано
Тайн, которых нам знать не дано!
Духи к нам донесли свет планеты,
Что в инферно блуждает давно,
Свет мерцающий, грешной планеты,
Что в инферно блуждает давно!»

Строки в честь эля

1848 пер. Р. Дубровкина

Янтарем наполни взбитым
Запотелое стекло! —
По неведомым орбитам
Снова мысли повело.

Разобрать причуды хмеля
Я уже не в силах сам —
За веселой кружкой эля
Забываешь счет часам.

Марии Луизе

Март, 1848 пер. В. Федорова

Еще недавно автор этих строк,
В неодолимой гордости рассудком
Упрямо утверждая «силу слова»,
Говаривал, что ни единой мысли
Доступной человеку нет, пока
Мы знаком языка ее не свяжем:
И вот теперь — как бы ему в насмешку —
Два слова — два чужих двугласных звука
По-итальянски, — повторять бы только
Их ангелам, загрезившим по росам —
Светлиночкам в Гермонских косогорах
Жемчужисто пронизанных луной,
Подобных сокровенным думам, или
Лишь душам дум, божественным виденьям,
Быть может, выразимым только песней
На Лютне Израфеля (Серафима,
Которому Творцом дан дивный голос
Певучей всех!). А мне? — Увы, бессильно
Мое перо в моих руках дрожащих —
Невыразимо имя дорогое,
Тобой произнесенное, — ни мыслить,
Ни записать, ни даже только грезить
Не дано мне, затем, что перед этой
Мечтою недвижимой и прекрасной,
Раскрыв глаза огромные, стою
Как у ворот раскрытых прямо в грезу.
Направо, влево и вперед открылась
Поверх величественнейшей гробницы
Без края даль в пурпуровых туманах, —
Но весь простор в едином: ты одна.

Загадочный сонет

Март, 1848 пер. А. Щербакова

«Сонеты, — учит Соломон дон Дукка, —
На редкость мыслью подлинной бедны,
В прозрачном их ничтожестве видны
Хитросплетенья зауми со скукой.
Красавицы чураться их должны.
Их понапрасну выдумал Петрарка.
Чуть дунь — и все труды его насмарку.
Они смешны, слащавы и бледны».
Не возражаю Солу. Хоть и зол он,
Но прав. Сколь часто, изумляя свет,
Убог, как мыльный пузырек, сонет,
Не этот, я надеюсь. Тайны полон,
Он будет, вечен и неколебим,
Беречь свой смысл — ваш милый псевдоним.

К Елене

Ноябрь, 1848 пер. В. Рогова

Тебя я видел раз, один лишь раз;
Не помню, сколько лет назад — но мало.
В июле, в полночь, полная луна,
Твоей душе подобная, дорогу
Искала к самому зениту неба,
Роняя света серебристый полог,
Исполненный истомы и дремоты,
На тысячи подъявших лики роз,
Что в зачарованном саду росли,
Где колыхнуться ветерок не смел, —
Свет лился медленно на лики роз,
Они ж в ответ благоуханье душ
Ему в экстазе смерти изливали:
Свет лился медленно на лики роз,
Они же умирали, пленены
Тобою и поэзией твоею.

Полусклоненная, среди фиалок
Ты мне предстала в белом одеянье;
Свет лился медленно на лики роз,
На лик твой, поднятый — увы! — в печали.

Не Рок ли этой полночью в июле,
Не Рок ли (что зовется также Скорбью!)
Остановил меня у входа в сад,
Чтобы вдохнул я роз благоуханье?
Ни звука: ненавистный мир уснул,
Лишь мы с тобой не спали. (Боже! Небо!
Как бьется сердце, лишь услышу вместе
Два слова: мы с тобой.) Я огляделся —
И во мгновенье все кругом исчезло.
(Не забывай, что сад был зачарован!)

Луны жемчужный блеск погас на небе,
Извилистые тропки, мшистый берег,
Счастливые цветы и листьев шелест —
Исчезло все, и роз благоуханье
В объятьях ветерка тогда скончалось.
Все умерло — и только ты жила,
Нет, и не ты: лишь свет очей твоих,
Душа в очах твоих, подъятых к небу.
Я видел их, вселенную мою,
Лишь их я видел долгие часы,
Лишь их, пока луна не закатилась.
Какие горькие повествованья
Таились в их кристальной глубине!
И горя сумрак! И полет надежды!
И море безмятежное величья!
И дерзость в жажде славы! — но, бездонна,
К любви способность мне открылась в них!

Но вот исчезла милая Диана
На ложе западном грозовых туч:
И, призрак меж стволов, подобных склепу,
Ты ускользнула. Но остались очи.
Остался взгляд, он не исчез доныне.
В ту ночь он к дому осветил мне путь,
Меня он не покинул (как надежды).
Со мною он — ведет меня сквозь годы,
Он мне служитель — я же раб ему.
Он служит мне, светя и согревая,
Мой долг — спасенным быть его сияньем,
Стать чистым в электрическом огне,
В огне Элизия стать освященным.
Он дал мне Красоту (она ж Надежда),
Он в небе — пред его сияньем звездным
В часы унылых бдений я колена
Склоняю; и в слепящем свете дня
Все вижу их — две сладостно-блестящих

Венеры, что и солнце не затмит!

Сновиденье в сновиденьи

31 марта, 1849 пер. М. Квятковской

Печально лоб целую твой,
Но прежде, чем прощусь с тобой,
Поведаю тебе одной…
Да, ты не зря твердила мне,
Что жизнь моя течет во сне,
Но, если нет надежды боле,
То — ясным днем иль при луне
Она ушла — не все равно ли,
Во сне ушла иль не во сне?
Все, что несут нам сон и бденье,
Лишь сновиденье в сновиденьи.
…Стою на берегу морском,
У ног — прибоя вечный гром,
И бережно держу в руках
Песчинок золотистый прах,
А он сквозь пальцы, как струя,
Стекает в море бытия —
И горько, горько плачу я!
О Боже! Что ж моя рука
Не может удержать песка?
О Боже! Где мне силы взять
Хоть бы песчинку удержать?
Ужели всё — и сон, и бденье —
Лишь сновиденье в сновиденьи?

Эльдорадо

21 апреля, 1849 пер. В. Васильева

Средь гор и долин
Спешил паладин,
Ни солнце, ни тень не преграда.
И юн, и удал,
Он с песней искал
Таинственный край Эльдорадо.
Но тенью легла
На складки чела
Немых расстояний преграда.
Он в дальних краях
Ослаб и одрях,
Покуда искал Эльдорадо.

У сумрачных скал
Он тень повстречал:
«О тень, всем надеждам преграда,
Поведай ты мне,
В какой стороне
Смогу я найти Эльдорадо?»
«Ищи за несметным
сонмом планет.
Ни в чем я тебе не преграда.
Спускайся скорей
В долину теней,
И там ты найдешь Эльдорадо!»

К Анни

28 апреля, 1849 пер. М. Зенкевича

О, счастье! Не мучусь
Я больше, томясь,
Упорной болезнью,
И порвана связь
С горячкой, что жизнью
Недавно звалась.

Лежу я недвижно,
Лишенный сил,
И каждый мускул
Как будто застыл.
Мне лучше: не мучит
Горячечный пыл.

Лежу я спокойно,
Во сне распростерт,
Забыв все недуги,
Как будто я мертв,
И можно в испуге
Подумать — я мертв.

Рыданья и вопли
Затихли вокруг,
Как только прервался
Мучительный стук —

Терзающий сердце
Томительный стук.

Тоска, отвращенье,
Как тающий воск,
Исчезли с болезнью,

Мрачившей мой мозг,
С горячкой, что жизнью
Сжигала мой мозг.

Исчезла и пытка,
Всех пыток сильней. —
Ужасная жажда
Души моей
К реке ядовитой
Проклятых страстей:
Насытил я жажду
Души моей.

Испил я студеной
Воды из ключа,
Тот ключ потаенный
Струится, журча,
В земле неглубоко
Струится, журча.

О нет! Пусть не скажет
Никто, что для сна
Приют мой мрачен,
Постель так тесна, —
Ведь тот, кто скажет:
Постель так тесна,
Он тоже ляжет
В такую ж для сна.

Мой дух не лелеет
Мечтаний о грозах,
Не сожалеет
О пламенных розах,
О том, что алеет
На миртах и розах,

Дыханье как будто

Анютиных глазок
Он слышит из руты,
Из праздничных связок
Цветов розмаринных,
Анютиных глазок —
Дыханье невинных
Анютиных глазок.

Он дремлет блаженно
В тумане мечтаний
О правде нетленной
И верности Анни,
Витая блаженно
Средь локонов Анни.

Она с поцелуем
Склонилась ко мне,
И я, не волнуем
Ничем в тишине,
Скользя, как по струям,
Забылся во сне.

Укрыв меня нежно
И свет затемня,
Она помолилась
Потом за меня,
Чтоб ангелы неба
Хранили меня.

И я на постели
Лежу распростерт
(С истомою в теле),
Как будто я мертв, —
Прильнув к изголовью,
Лежу распростерт
(С ее любовью),
Как будто я мертв, —

И вам всем я страшен,
Как будто я мертв.

Душа ж моя ярче,
Чем в млечном тумане
Все звезды на небе,
Сверкает с Анни,
Горит она светом
Любви моей Анни,
Лучится ответом
Из глаз моей Анни.

Сонет к моей матери

7 июля, 1849 пер. В. Топорова

Постигнув, что не только человек —
Но ангелы — из всех благословений,
Способных нежность выразить навек,
Не отыскали имени блаженней,
Я «матерью» назвал тебя, и ты
Вошла мне в сердце самою родною
И стала жить в нем — в доме пустоты,
Покинутом покойною женою.
Мою родную мать (по ком я тоже
Скорблю) ты материнством превзошла:
Жизнь дорога — Виргиния дороже,
Ты, дав ей жизнь, мне этим жизнь дала;
Отныне же, когда ее не стало,
И для меня небытие настало.

Аннабель-Ли

9 октября, 1849 пер. Д. Садовникова

Многие, многие годы назад,
У моря родной мне земли,
Жила одна девушка, звали ее
Красавицей Аннабель-Ли,
И, кроме любви, мы ни о чем
И думать с ней не могли.

Оба мы были простыми детьми,
Детьми той приморской земли;
Но выше земной была эта любовь,
Любовь к моей Аннабель-Ли, —
Настолько, что даже завидовать ей
И ангелы в небе могли!

Многие, многие годы назад
Осенние тучи пришли,
И ветром холодным убили они
Красавицу Аннабель-Ли.
Родные зарыли в могилу ее
У моря родной ей земли.

Знаю — завидовать нашей любви
И ангелы в небе могли!
И вот где причина (про то говорят
Все люди приморской земли),
Что ветер осенний унес от меня
Красавицу Аннабель-Ли.

Да, наша любовь была выше земной!
Ни взрослые так полюбить не могли,
Ни мудрые так не могли, —
И кто разлучит ее душу со мной?

Ни ангелы неба, ни духи земли —
Не в силах никто меня с ней разлучить
С любимой Аннабель-Ли!

Мне при свете луны в душу крадутся сны
О красавице Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей вижу свет я очей
Дорогой моей Аннабель-Ли…
Я расстаться с моей дорогой не могу
И всю ночь провожу на морском берегу,
На могиле родной мне земли,
Возле Аннабель-Ли.

Колокола

Ноябрь, 1849 пер. А. Оленича-Гнененко

I

За санями вьется снег,
Белый снег.
Колокольчики беспечно рассыпают нежный смех
И звенят, звенят, звенят
В льдистом воздухе ночном,
И звенят, и говорят.
Звезды радужно горят
Кристаллическим огнем.
Слышишь ритм, ритм, ритм —
Речь руническую рифм?
С колокольчиков слетая, музыкально тает он,
Этот звон, звон, звон.
Звон, звон, звон.
Этот быстрый, серебристый перезвон.

II

Слышишь свадьбы звон литой —
Золотой?
О, с какою необычной, гармоничной красотой
Про любовь, что так светла,
Говорят колокола!
Золотистых, чистых нот
Мерный строй.
Звонких звуков хоровод
Нарастает, и летает, и плывет
Под луной.
Звучный звон — со всех сторон,
Ливень ласковых мелодий: слышен тем он, кто влюблен.
Льется он

В ночь и в сон.
Он грядущим освящен.
В сердце горлинки рожден.
Полногласный и прекрасный,
Этот звон, звон, звон,
Этот звон, звон, звон, звон.
Звон, звон, звон.
И поющий, и зовущий этот звон!

III

Слышишь ты тревожный звон —
Бронзы звон?
Воплем ужаса ночного надрывает сердце он!
Он выкрикивает вдруг
В ухо ночи свой испуг!
Он, не смея замолчать,
Может лишь кричать, кричать,
Слеп и дик, —
В безнадежности взывая к снисхождению огня,
Сумасшедшего, глухого, беспощадного огня,
Что все выше, выше, выше
Скачет в небо с гребня крыши.
Хоть безумно напряженье,
Но бессильно исступленье:
Недоступен бледный, лунный лик!
Бронзы звон, звон, звон!
Возвещает гибель он,
Гарь и прах,
Колокольным гулом, ревом,
В недра воздуха ночного
Изливая мрачный странный страх.
Но теперь уж знает слух
По звучанью
И молчанью,
Где багряный смерч потух.

Но теперь он без труда
Слышит в звоне,
Бронзы стоне,
Где, грозя, встает беда.
Отступая иль взлетая, исторгает ярость звон —
Этот звон,
Этот звон, звон, звон, звон.
Звон, звон, звон.
И гудящий, и гремящий этот звон!

IV

Слышишь ты железный звон —
Тяжкий звон?
О конце напоминает монотонным пеньем он.
И в плену у страха мы,
Услыхав в молчанье тьмы
Полный скорби и угрозы этот тон!
Пробуждаемся дрожа мы:
Каждый звук из глоток ржавых —
Это стон.
И народ, ах, народ,
Что под башни самый свод
Удален.
Всех нас будит, будит, будит
Мрачным звоном похорон.
Камень катится на грудь нам:
Вечным будь, последний сон!
Кто их видел — не забудет,
И ни звери, и ни люди —
Тот народ!
Их король — кто тон дает.
Он в них бьет, бьет, бьет,
Бьет —
Гудит пеаном звон!
Только грудь раздует он —

И гудит пеаном звон!
И, вопя, танцует он,
Держит ритм, ритм, ритм —
Род надгробных грозных рифм —
И гудит пеаном звон!
Этот звон!
Держит ритм, ритм, ритм —
Род надгробных грозных рифм:
Этот стон и этот звон,
Похоронный этот звон
Держит ритм, ритм, ритм,
И нежданно вносит он
Руны радостные рифм
В леденящий стон и звон,
Этот звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон.
И молящий, и грозящий этот звон.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Оставить отзыв о книге
Все книги автора

---

notes

Notes

1

Батлер Самюэл (1612–1680) — английский поэт-сатирик. Цитата взята из его героикомической поэмы «Гудибрас» (1663–1678), часть I, песнь 1.

временно (лат.).

сообщения (фр.).

4

Леди Мрган, урожденная Сидни Оуэнсон (1783–1859) — английская писательница, вокруг имени которой в начале XIX в. возникали горячие литературные споры. Ей принадлежат романы из ирландской жизни.

5

Блэквуд Блэквуд — В этом рассказе каждое из имен обыгрывает различные понятия. Например: Де Рерум Натура — название поэмы Лукреция «О природе вещей». Оррибиле Дикту — латинская фраза: «страшно произнести». Блэквуд Блэквуд — название популярного английского журнала того времени «Блэквудс мэгезин».

6

Смит Хорейс (1779–1849) — английский писатель, автор романов, в которых он подражает Вальтеру Скотту. В своем рассказе «На стенах иерусалимских» По пародирует один из эпизодов романа Х. Смита «Зилла. Повесть о священном граде» (1828).

7

В рукописи после этого вступления следовал рассказ «Тишина».

8

При жизни был для тебя чумой — умирая, буду твоей смертью (лат.).

9

«Происходит оттого, что человек не может быть наедине с собой.» (фр.)

10

«Лишь однажды вселяется в разумную оболочку; во всех остальных воплощениях — в лошади, в собаке, даже в человеке — она остается почти совершенно им чужда.» (фр.)

11

И вмиг попал он в климат попрохладнй — строка 337 из первой книги поэмы «Задача» (1785) английского поэта Вильяма Каупера (Купера) (1731–1800).

12

Китс Джон (1795–1821) — английский поэт, умер в Риме от туберкулеза. Считалось, что его смерть была ускорена резкой итикой его стихов в английском журнале «Ежеквартальное обозрение». Байрон писал Шелли 26 апреля 1821 г.: «Я очень огорчен тем, что вы сообщили мне о Китсе — неужели это правда? Я не думал, что критика способна убить».

13

«Андромаха» — трагедия Жана Расина (1639–1699), поставленная в ноябре 1667 г.

14

Монфлери — псевдоним французского актера Захари Жако (1595–1667), игравшего в первых постановках пьес Корнеля. Во время исполнения роли Ореста в «Андромахе» Монфлери заболел и через несколько дней умер.

15

«Преображенный Парнас» (1669) — сочинение французского писателя Габриеля Гере (1641–1688).

16

Гадес — в греческой мифологии бог подземного царства мертвых. Также наименование его царства, мрачной страны, где, согласно Гомеру, скитаются души умерших. Рассуждения, открывающие этот рассказ, были воспроизведены в «Маргиналиях» По, опубликованных в «Годиз лединз бук» в сентябре 1845 г.

17

Если кто пожелал бы узнать, отчего я умер, пусть не спрашивает, от лихорадки или от подагры, или еще чего-либо, но пусть знает, что от «Андромахи».

18

Ортолан — птица, известная нежным вкусом своего мяса.

19

Повесть об этом короткая *(фр.)*.

20

Апиций Марк Габий (I в.) — знаменитый римский гурман, изобрел ряд изысканных кушаний.

21

Ужас! — собака! — Батист! — птица, о боже! Эта скромная птица, с которой ты снял перья и которую подаешь без бумажной обертки! *(фр.)*.

это правда *(фр.)*.

23

халат *(фр.)*.

24

Вельзевул — библейское название божества филистимлян, защищавшего от укусов ядовитых мух. Позднее одно из имен властителя ада.

25

Белиал — в Библии название злого духа. В «Потерянном рае» (I, 490) Дж. Мильтона так назван один из падших ангелов.

26

до свидания *(фр.)*.

27

очень приличными *(фр.)*.

28

в облаках *(фр.)*.

29

Гебры — последователи древнеперсидской религии. Почитание ими огня дало основание называть их огнепоклонниками.

30

общий вид *(франц.)*

31

Астарта, или Аштарет — греческое название древнефиникийской богини плодородия и любви.

32

Правда, обо всех этих вещах он много думал — но! *(фр.)*.

33

Бедный герцог! *(фр.)*.

34

щеголь *(фр.)*.

35

который улыбается так горько *(фр.)*.

36

Но надо действовать *(фр.)*.

37

Он убил шестерых противников *(фр.)*.

38

Он может спастись *(фр.)*.

39

Ужас! *(фр.)*.

40

Но он играет! *(фр.)*.

41

«Дьявола» *(фр.)*.

42

Аббат Гуалтье (1745–1818) — французский писатель.

43

Дьявол не смеет отказаться от партии экарте *(фр.)*.

44

Лебрен Шарль Франсуа (1739–1824) — французский политический деятель и литератор, отец наполеоновского генерала А. Лебрена (1775–1859).

45

двадцать одно *(фр.)*.

46

Если проиграю, я погибну дважды *(фр.)*.

47

Вот и все! *(фр.)*.

48

Если выиграю, вернусь к своим ортоланам. — Пусть приготовят карты! *(фр.)*.

49

Франциск и Карл — имеется в виду соперничество и вражда французского короля Франциска I (1494–1547) и испанского короля Карла I (1500–1558), претендовавших в 1519 г. на императорскую корону Священной Римской империи. Был избран Карл, ставший императором Карлом V.

50

Вам сдавать *(фр.)*.

предъявляя короля *(фр.)*.

52

Если бы Александр не был Александром, он хотел бы быть Диогеном — слова Александра Великого при встрече с философом Диогеном, который попросил его отойти в сторону и не загораживать лучи солнца (Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр, XIV).

53

Что если бы он не был де л'Омлетом, он не возражал бы против того, чтобы быть Дьяволом *(фр.)*.

54

Стричь перестав, седины поднял на лоб непреклонный ... Лукан. (лат.) — Перевод: дикий кабан. «Фарсалия, или О гражданской войне», II, 375–376. У Лукана вместо «поднял» — «спустил». …дикий кабан — в английском оригинале каламбур, основанный на созвучии слов «кабан» (boar), и «скука» (bore).

55

Таммиз — в вавилонской и шумерской религии бог растительности, ежегодно умирающий во время жатвы и оживающий весной. Ему поклонялись и иудеи. Именем Таммуза назван десятый месяц еврейского календаря.

56

...в лето от сотворения мира три тысячи девятьсот сорок первое — то есть 63 год до нашей эры.

57

Град Давидов — район Иерусалима, названный по имени полулегендарного царя Давида (конец XI-начало X в. до н. э.), основателя иудейской династии в Иерусалиме.

58

…последний час четвертой стражи — ночной караул в римском войске делился на четыре стражи (вигилии), продолжительность которых менялась в зависимости от времени года.

59

Помпеи, Гней (106 — 48 до н. э.) — римский полководец и политический деятель. В 63 г. до н. э. вторгся на территорию Палестины и после трехмесячной осады взял Иерусалим.

60

Ваал — языческое божество почв и плодородия у древних семитов.

61

Пятикнижие — первая часть Библии.

62

Адонаи — древнееврейское обращение к богу, одно из имен бога Ягве в Библии. Народ Адонаи — богоизбранный народ.

63

Аммонитяне — древний народ, живший в восточной части Палестины и считавший себя потомками библейского Лота; постоянно враждовал с иудеями.

64

Сикл — мелкая серебряная монета в древней Иудее и Персии.

65

Филистимляне — древний народ, населявший восточное побережье Средиземного моря и давший название Палестине (страна филистимлян).

66

Храм Бела — вавилонский храм огромных размеров, отстроенный царем Навуходоносором в VI в. до н. э.

67

...от алефа до тау — первая и последняя буквы еврейского алфавита.

68

Иод — одна из букв еврейского алфавита. Здесь По пародирует выражение «больше, чем буква иод» из популярного в те годы романа Хорейса Смита «Зилла. Повесть о священном граде» (1828).

69

Эдепол — римское восклицание: «право же!» (буквально: «Клянусь Поллуксом!»).

70

Эль Элоим — еврейское восклицание: «Боже!»

71

Терафим — так иудеи называли культ языческого идолопоклонства.

72

Нергал — бог солнца в вавилонской религии.

73

Ашима — один из сирийских богов, изображавшийся в виде оленя.

74

Нибхаз — упоминаемый в Библии идол племен аввийцев (Четвертая книга Царств, XVII, 31).

75

Тартак — согласно Библии (Четвертая книга Царств, XVII, 31), идол аввийцев, имел образ осла и символизировал силы тьмы.

76

Адрамелех — в Библии имя ассирийского бога, которому приносили в жертву детей.

77

Анамелех — ассирийское божество, которому, как и Молоху, приносили человеческие жертвы. Изображался в виде лошади.

78

Суккот-Бениф — в вавилонской религии божество, о котором говорится в Библии (Четвертая книга Царств, XVII, 30).

79

Дагон — божество, которому поклонялись филистимляне. Культ Дагона близок культу бога Ваала.

80

Белиал — в Библии название злого духа. В «Потерянном рае» (I, 490) Дж. Мильтона так назван один из падших ангелов.

81

Ваал-Перит — согласно Библии (Числа, XXV, 1–9) моавитский бог.

82

Ваал-Пеор — божество, упоминаемое в Библии (буквально: «Господин горы Пеор», священной горы, расположенной к северо-востоку от Мертвого моря).

83

Ваал-Зебуб — Вельзевул.

84

Тук земли — библейское выражение (Бытие, XLV, 18), означающее плоды земли.

85

Рака — библейское ругательство (Евангелие от Матфея, V, 22).

86

Скиния — священный храм у иудеев.

87

Энгеди — местность на берегу Мертвого моря.

88

Долина Иосафата — долина вблизи Иерусалима, носящая имя иудейского царя IX в. до н. э.

89

Нагрудник — имеется в виду драгоценная пластинка, которую носили на груди верховные священнослужители Иудеи.

90

Хеврон — древний город южнее Иерусалима.

91

Васан — область на юге Сирии.

92

Саквебут — древний духовой музыкальный инструмент.

93

Трефное мясо — иудейская религия запрещает употребление в пищу свиного мяса и считает его нечистым.

94

«Блэквуд» («Блэквудс Эдинбург мэгезин») — английский ежемесячный журнал, основанный в 1817 г. В. Блэквудом (1776–1834). В своем письме к Джону Кеннеди 11 февраля 1836 г. По разъясняет, что этот рассказ был написан как сатирическая пародия на рассказы, печатавшиеся в журнале Блэквуда.

95

Мур, Томас (1779–1852) — английский поэт-романтик, автор «Ирландских мелодий» (1807–1834), воспевающих борьбу и скорбь народа Ирландии. По цитирует первую строчку стихотворения, обрывая ее таким образом, что получается иной смысл. На русский язык это стихотворение переведено А. Н. Плещеевым («Не называйте его»).

96

Салманассар IV (VIII в. до н. э.) — ассирийский царь (727–722 до н. э.). Согласно Библии, три года осаждал палестинский город Самарию, который был взят уже после его смерти (Четвертая книга Царств, XVII, 5).

97

Сарданапал (668–625 до н. э.) — последний ассирийский царь. По преданию, его дворец был осажден восставшими жителями Ниневии и после двухгодичной осады он сжег себя вместе со своими женами.

98

Диодор Сицилийский (ок. 80–29 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки», в которой излагается всемирная история от древнейших времен до 60 г. до н. э. О Сарданапале речь идет в части второй, глава 21 и следующие.

99

Аристей (III в. до н. э.) — грек, которому было поручено привезти из Иерусалима священные книги и ученых для перевода Ветхого завета на греческий язык.

100

Псамметих I (665–611 до н. э.) — египетский фараон, освободивший Египет из-под владычества Ассирии; Согласно свидетельству греческого историка Геродота («История», II, 157), двадцать девять лет осаждал город филистимлян Азот.

101

по чистой совести *(лат.)*.

102

Лорд Эдуард — персонаж из романа «Юлия, или Новая Элоиза» (1760) Жан-Жака Руссо (1712–1778). Цитата взята из второй части романа, письмо II.

103

и дорога страстей ведет меня к истинной философии *(франц.)*

104

Годвин в своем «Мандевиле»... — Годвин, Вильям (1756–1836) — английский Писатель. Его поздний роман «Мандевиль. Рассказ о временах Кромвеля» (1817) окрашен мрачным романтическим колоритом. Цитата взята из третьего тома, глава 3.

105

Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист. До нас дошли фрагменты его сочинений, в которых он утверждает, что «во всем есть часть всего».

106

любовных записочек *(фр.)*.

107

«Метамора» — романтическая трагедия из жизни индейцев американского драматурга Джона А. Стоуна (1800–1834). Поставлена 15 декабря 1829 г. в Нью-Йорке и затем с успехом шла в ряде городов США. При жизни По напечатана не была.

108

Демосфен (384–322 до н. э.) — древнегреческий оратор и политический деятель. Будучи от рождения косноязычным, он учился ораторскому искусству на пустынном берегу моря, произнося речи, набрав в рот камешки.

109

Фаларид (VI в. до н. э.) — правитель города Агригента (Сицилия), который подвергал своих подданных жестоким пыткам. По преданию, осужденных помещали внутрь медного быка, под животом которого разводили огонь. Стоны несчастных напоминали рев быка. Народ Агригента восстал в 554 г. до н. э. и казнил Фаларида в том же медном быке.

110

...гиппократовой патологией. — Гиппократ (ок. 460–377 до н. э.) — древнегреческий врач и естествоиспытатель, один из основоположников античной медицины.

111

«Вездесущность бога» — христианский догмат вездесущности бога сформулирован Фомой Аквинским (1225–1274) в его трактате «Сумма теологии» (VIII, 3) и развит немецкими мистиками (Майстер Экхарт, 1260–1328). По высмеивает религиозные трактаты немецких философов; возможно, имеется в виду сочинение Г. В. Лейбница (1646–1716) «Теодицея» (1710), в котором развиваются идеи всемогущества, вездесущности и всеведения бога.

112

Каталани, Анжелика (1780–1849) — итальянская певица, колоратурное сопрано, обладавшая гибким голосом огромного диапазона.

113

Гаумата (Мигегуш, лже-Смердис, VI в. до н. э.) — персидский маг. После смерти царя Кира (558–529 до н. э.) выдал себя за его сына Смердиса и захватил власть в Персии. Впоследствии был опознан по обрезанным ушам и убит (521 до н. э.).

114

Зопир — один из приближенных персидского царя Дария (522–486 до н. э.). Когда Дарий не мог взять восставший Вавилон, Зопир добровольно обрезал себе нос и уши и, выдав себя за жертву жестокости Дария, под видом перебежчика пробрался в осажденный город. Став вавилонским военачальником, он открыл войскам Дария городские ворота (520 до н. э.).

115

Киник — представитель древнегреческой философской школы, основанной Антисфеном в IV в. до н. э. Киники отрицательно относились к существующим законам и обычаям, проповедовали возврат к первобытному состоянию.

116

Марк Антоний (83–30 до н. э.) — римский политический деятель, член второго триумвирата. Провозгласил себя воплощением бога виноделия Диониса.

117

Марсий — в греческой мифологии один из силенов, спутников бога виноделия Диониса. Согласно легенде, вступил в музыкальное состязание с богом Аполлоном, который за это приказал привязать его к дереву и содрать с него кожу. Эта тема была излюбленным сюжетом греческой живописи и скульптуры.

118

Марстон, Джон (1575–1634) — английский драматург. Его комедия «Недовольный» была поставлена в 1601 г., издана в 1604 г.

119

Крабб, Джордж (1754–1832) — английский поэт, изображавший повседневную жизнь сельских приходов и провинциальных местечек, простых и заурядных людей.

120

Пелион, Осса — горы в Греции. В греческой мифологии рассказывается о борьбе титанов с Зевсом, во время которой титаны, чтобы добраться до неба, взгромоздили Пелион на Оссу.

121

Дюпон, Виктор (1767–1827) — американский фабрикант.

122

Саут, Джон Флинт (1797–1882) — английский хирург и анатом, автор книги «Описание костей» (1825), выдержавшей ряд переизданий.

123

Капитан Баркли — Роберт Баркли Аллардайс (1779–1854), популярный скороход, о котором По в 1844 г. опубликовал статью в журнале «Коламбиа спай».

124

Физ — псевдоним английского художника Хэблота Найта Брауна (1815–1882), известного своими иллюстрациями к книгам Диккенса и других английских писателей.

125

от слабого дуновения погибает *(лат.)*.

добрая слава целомудренности *(лат.)*.

127

Иероним (ок. 340–420) — римский монах и богослов. Цитата взята из его «Писем» (письмо 85) к христианскому писателю V в. Сальвиану.

128

и прочее… и прочее… и прочее… *(лат.)*.

129

Эпиктет (ок. 50-ок. 138) — древнегреческий философ, один из представителей позднего стоицизма. Приводимое замечание Эпиктета содержится в его «Беседах».

130

...подобно Бруту, жду ответа... — В. Шекспир. «Юлий Цезарь», III, 2.

131

...пролить новый свет на чрезвычайно любопытный раздел натурфилософии — По высмеивает здесь натурфилософию, или философию природы Ф. Шеллинга («Система трансцендентального идеализма», 1800) и его американских последователей, особенностью которых было преимущественно умозрительное истолкование природы.

132

Эпименид (VI в. до н. э.) — критский прорицатель и поэт. Когда в 596 г. до н. э. в Афинах свирепствовала чума, он, по преданию, спас город очистительными жертвоприношениями.

133

Лаэрций (Диоген Лаэртский, III в.) — греческий писатель, составитель обзора древнегреческих философских учений «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии», которую имеет в виду По.

134

Бальзак Жан Луи Гез де (1597–1654) — французский писатель. Его трактаты на античные темы были особенно популярны у писателей-классицистов.

135

Пибрак Гюи (1529–1584) — французский юрист и поэт.

136

Эак — в греческой мифологии сын Зевса и нимфы Эгины, дед Ахиллеса. Он славился своей справедливостью, так что даже сами боги приглашали его судьей в своих спорах.

137

ресторатор *(фр.)*.

тупике Ле Февр *(фр.)*.

139

паштеты *(фр.)*.

о природе *(фр.)*.

141

о душе *(фр.)*.

142

о разуме *(фр.)*.

143

омлеты *(фр.)*.

144

Фрикандо — жареные кусочки нашпигованного мяса или рыбы *(фр.)*.

145

Литератор *(фр.)*.

146

«Идею Бон-Бона» *(фр.)*.

147

«Идей» *(фр.)*.

148

ученых *(фр.)*.

149

афоризмы *(лат.)*.

150

Академия, Ликей. — Близ Афин находилась роща, посвященная аттическому божеству Академу, в которой преподавал свое учение Платон. Ликей получил свое название от сада храма Аполлона Ликейского, где учил Аристотель.

151

...обязан Кант — эстетика Канта оказала воздействие на формирование романтической концепции искусства Э. По и других романтиков.

152

...не был платоником, не был он, строго говоря, и последователем Аристотеля. — Э. По скептически относился к идеализму Платона и философии Аристотеля; это, в частности, нашло отражение в его книге «Эврика».

фрикасе *(фр.)*.

154

с легкостью *(лат.)*.

155

Георгий Трапезундский (1395–1484) — греческий философ, живший в Италии, последователь учения Аристотеля, автора трактата «Сравнение Аристотеля и Платона» (1523).

156

Бессарион Базилиус (ок. 1395–1472) — греческий философ, вселенский патриарх в Константинополе, последователь учения Платона. Выступил против критики идеализма Платона («Против извращения Платона», 1469), которую вел Георгий Трапезундский.

157

FreneV *(греч.)*.

горельефа *(ит.)*.

159

эссе *(фр.)*.

160

бургундское *(фр.)*.

161

Котдюрон *(фр.)*.

162

Сотерн, медок — французские виноградные вина разного сорта. Медок ценится знатоками невысоко.

163

Катулл Гай Валерий (ок. 84–54 до н. э.) — римский поэт, прославившийся любовной лирикой.

дьявольщины *(фр.)*.

165

святилище *(лат.)*.

166

поваренка *(фр.)*.

167

любезная *(фр.)*.

168

все в целом *(фр.)*.

169

Сочинения Бон-Бона *(фр.)*.

на греческий манер *(фр.)*.

171

библиотека *(фр.)*.

всякой всячины *(фр.)* в одну двенадцатую долю листа *(лат.)*.

173

Евсевий (ок. 260-ок. 340) — римский историк церкви, автор богословских и исторических сочинений.

глазунью а-ля принцесса *(фр.)*.

175

омлет а-ля королева *(фр.)*.

176

Здесь: косицы *(фр.)*.

177

Католический требник *(фр.)*.

178

Игристого *(фр.)*.

179

напротив *(фр.)*.

180

Реестр обреченных *(фр.)*.

181

Разум есть свирель *(греч.)*.

разум есть глаз *(испорч. греч.)*.

183

Трибун — высшая, выборная должность для плебеев в Древнем Риме, существовавшая с 494 или с 471 г. до н. э. Особенно большое значение народные трибуны приобрели во II в. до н. э. в связи с обострением классовой борьбы (трибунаты Тиберия и Гая Гракхов).

184

Ils ecrivaient sur la Philosophic (Cicero, Lucretius, Seneca) mais c'etait la Philosophic Grecque. — Condorcet. Они писали о философии (Цицерон, Лукреций, Сенека), но то была греческая философия. — *Кондорсе (фр.)*.

Кондорсе, Жан Антуан (1743–1794) — французский просветитель, деятель французской буржуазной революции, автор «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума» (1794), где в главе пятой говорится: «Цицерон, Лукреций и Сенека красноречиво писали на своем языке о философии, но речь шла о греческой философии».

185

вычурны *(фр.)*.

186

Кратин (ок. 490–420 до н. э.) — древнегреческий комедиограф, полемизировавший с Аристофаном, который высмеял Кратина в комедии «Всадники».

187

...не у вашего Платона, а у того, у комического поэта — то есть не у известного философа Платона, а афинского комедиографа Платона (428–389 до н. э.), представителя «древней комедии».

188

Невий (ок. 264–194 до н. э.) — римский поэт, изгнанный из Рима за выступления против представителей римской знати.

189

Андроник (Ливий Андроник, III в. до н. э.) — римский поэт, грек по происхождению.

190

Луцилий Гай (ок. 180–102 до н. э.) — римский поэт, автор сатирических стихов.

191

Назон (Овидий Публий Назон, 43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт.

192

Квинт Флакк (Гораций Флакк Квинт, 65 — 8 до н. э.) — римский поэт. Его «Юбилейные гимны» написаны по личному желанию императора Августа к годовщине основания Рима.

193

юбилейный гимн *(лат.)*.

194

Квириты — обычное в древнем Риме название полноправных римских граждан.

195

ничему не удивляться *(лат.)* — Гораций. «Послания», I, 6, I.

196

Менандр (ок. 343-ок. 291 до н. э.) — древнегреческий драматург, представитель новой аттической комедии.

197

Никандр (II в. до н. э.) — древнегреческий поэт, оказавший воздействие на поэзию Овидия.

198

Вергилий Марон Публий (70–19 до н. э.) — в своих пастушеских «Буколиках» он подражал Феокриту (315 до н. э. — ?).

199

Марциал Марк Валерий (ок. 40-ок. 102) — римский поэт, автор сатирических эпиграмм, высмеивавших упадок нравов античного Рима.

200

Архилох (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор сатирических стихов.

201

Ливий Тит (59 до н. э. — 17 н. э.) — автор «Римской истории от основания города».

202

Полибий (ок. 201–120 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Всеобщей истории».

203

Асафетида — высохший сок растений того же названия; смолистое вещество с резким чесночным запахом, употреблявшееся в медицине.

204

Здесь: в живом теле, на корню *(лат.)*.

205

Немврод — легендарный охотник и основатель Вавилонского царства.

206

Дионисий — тиран (правитель) древних Сиракуз (Сицилия) в 406–367 гг. до н. э.

207

Писистрат (ок. 600–527 до н. э.) — древнегреческий тиран, захвативший власть в Афинах в 560 г. до н. э.

208

Маки… — имеется в виду Никколо Макиавелли (1469–1527), итальянский политический деятель и писатель.

209

Маза… — имеется в виду Джулио Мазарини (1602–1661), французский политический деятель, правитель в начале царствования Людовика XIV, жестоко подавлявший народные движения.

210

Робесп… — имеется в виду Максимилиан Робеспьер (1758–1794), глава революционного правительства якобинской диктатуры во время французской революции.

211

Георг — английский король Георг III (1738–1820), поддерживавший европейскую реакцию в борьбе против французской революции; вел войну против американских колоний, провозгласивших в 1776 г. свою независимость.

212

Елизавета (1533–1603) — английская королева, издала ряд кровавых законов против крестьян.

213

Читать — Аруэ? (*Аруэ* — настоящая фамилия французского писателя и философа Вольтера.)

214

Кино Филипп (1635–1688) — французский поэт и драматург. «Атис» (1676) — либретто написанной им оперы.

215

Пиррон (ок. 365–275 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма.

216

Блуждающие огни (лат.).

217

Батавия — голландское название города Джакарта в Индонезии.

218

Лаккадивские острова — группа низменных островов в Аравийском море у западного побережья полуострова Индостан.

219

Фатом — английская мера глубины, равная 1 м 83 см.

220

Новая Голландия — прежнее название Австралии, западное побережье которой было открыто и исследовано голландскими мореплавателями в течение XVII века.

221

Баальбек — древний город в Ливане, где находился храм бога солнца, окончательно превратившийся в руины в результате землетрясения 1759 г.

Персеполь — столица древней Персии. В 330 г. до н. э. Александр Македонский сжег значительную часть города, разграбив его сокровища; в III веке до н. э. был покинут жителями. Все три древних города — Баальбек, Тадмор и Персеполь — упоминаются в поэме По «Аль-Аарааф».

222

...течение ведёт наспрямо к Южному полюсу. — По следует здесь за теорией американца Джона Симмса (1742–1814) об «отверстиях на полюсах».

223

Меркатор Гергард Кремер (1512–1594) — фламандский картограф и математик. Главная работа — сборник карт и описаний «Атлас» (1595).

224

Кинг Генри (1592–1669) — английский епископ, автор ряда поэтических произведений, в том числе «Элегии на смертьвозлюбленной жены» (1657), заключительную часть которой приводит По.

225

Элизиум — в античной мифологии место, где обитают души умерших. Поэтическое описание Элизиума, или Елисейских полей, дано в «Одиссее».

226

Палладио Андреа (1508–1580) — итальянский архитектор. В Венеции им построен ряд церквей.

227

Мост Вздохов (итал.).

228

Мост Вздохов — находится в Венеции между Дворцом дожей и государственной тюрьмой. Построен в 1597 г. Через него прходили осужденные на заключение или на казнь, откуда и возникло его название.

229

Пьяцца. — Имеется в виду площадь Святого Марка в Венеции. Часы на башне Пьяццы представляют собой двух бронзовых мавров, выбивающих на колоколе количество часов.

230

Кампанила — венецианская кампанилла, или колокольня Св. Марка на Пьяцце. Построена в X–XII вв.

231

Пьяцетта — примыкающая к Пьяцце со стороны Большого канала маленькая площадь перед Дворцом дожей.

232

Ниобея — в греческой мифологии жена фиванского царя Амфиона, мать двенадцати детей. Она отказалась принести жертву богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды, говоря, что у Латоны всего двое детей. В наказание за это Ниобея лишилась всех детей и была превращена богами в камень.

233

...молодого человека, имя которого тогда гремело почти по всей Европе. — Существует мнение, что в этом рассказе По создал шутливую пародию на Байрона, графиню Терезу Гвиччиоли и ёе старого мужа, а в образе рассказчика изобразил друга Байрона, английского поэта Томаса Мура, посетившего Байрона в Венеции.

234

Плиний Старший (23–79) — римский писатель и ученый, автор «Естественной истории в 37 книгах».

235

Коммод (161–192) — римский император в 180–192 гг.

236

...над водами Большого канала невдалеке от Риальто. — В этом месте Венеции жил в 1816–1819 гг. Байрон. Риальто — мост через Большой канал Венеции, построен в 1588–1591 гг.

237

Украшения (лат.).

238

Мор Томас (1478–1535) — английский писатель-гуманист, автор книги «Утопия» (1516). По преданию, поднимаясь на помост перед казнью, он попросил сопровождавшего его офицера: «Помогите мне взойти; вниз я уж как-нибудь сам спущусь».

239

Текстор Равизий (ок. 1480–1524) — французский писатель-гуманист, автор книги «Абсурдности» (1519).

240

Смех (греч.).

241

Верх (лат.).

242

Чимабуэ Джиованни (1240–1302) — итальянский художник.

243

Скорбящая (итал.)

244

Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский художник.

245

Антиной (ум. 130) — юноша, отличавшийся необычной красотой, любимец римского императора Адриана (117–138). Изображение Антиноя часто встречается среди произведений античного искусства.

246

Разве не Сократ сказал… — очевидно, имеется в виду высказывание Аристотеля, что каждая глыба мрамора звключает в себестатую, которую можно увидеть, если снять лишние части. На это суждение Аристотеля ссылается также А. Поп в «Дунсиаде» (IV, 269).

247

Единой мысли к тем, что мрамор сам

Начальные строки сонета 60 Микеланджело, посвященного Виттории Колонне (1490–1547), вдове известного полководца маркиза Пескара.

248

Полициано Анджело (наст. фамилия — Амброджини, 1454–1494) — итальянский гуманист и поэт, в стихах которого нашли отражение аристократические тенденции в культуре Возрождения. «Сказание об Орфее» написано в 1471 г., поставлено в 1480 г., издано в 1491 г.

249

Чепмен Джордж (1559?-1634) — английский драматург. В трагедии «Отмщение Бюсси д'Амбуа» (1607) обличаются разврат, интриги и преступления, царившие при дворе французского короля Генриха III (1551–1589).

250

Иоганнисбергер — знаменитый сорт немецкого вина, получивший название от деревни на правом берегу Рейна.

251

Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится *(лат.)* — Ибн-Зайат (XI в.) — арабский поэт.

252

Арнгейм — город в Голландии, на правом берегу Рейна, прославившийся живописностью окружающего ландшафта. См. рассказ «Поместье Арнгейм».

253

Курион Целий Секундус (1503–1569) — итальянский гуманист. Его книга «О величии блаженного царства Божия» издана в Базеле в 1554 г.

254

«О величии блаженного царства Божия» *(лат.)*.

255

Августин Аврелий, прозванный «Блаженным» (354–430) — христианский богослов и писатель, оказавший влияние на всю догматику католицизма. Его сочинение «О граде Божием» написано около 426 г.

256

«О пресуществлении Христа» *(лат.)*.

257

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160-ок. 230) — христианский писатель-богослов. Цитата взята из его книги «О пресуществлении Христа», часть II, гл. 5.

258

Умер Сын Божий — заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно *(лат.)*.

259

Птолемей (I в.) — александрийский математик, астроном и географ.

260

Асфодель — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В античности считался цветком смерти.

261

Гальциона, или Альциона — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола. Была превращена в птицу зимородка, которая, согласно легенде, выводила птенцов в гнезде, плавающем по морю в период зимнего солнцестояния, когда море две недели совершенно спокойно.

«Ибо ввиду того, что Юпитер дважды всякую зиму посылает по семь теплых дней кряду, люди стали называть эту ласковую, теплую пору колыбелью красавицы Гальционы» *(лат.).* — Симонид. — *Прим. автора.*

Симонид Кеосский (556-ок. 469 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

262

Салле Мари (1707–1756) — французская балерина, прославившаяся в 20 — 30е годы XVIII века в театрах Лондона и Парижа.

263

Что каждый ее шаг исполнен чувства *(фр.)*.

264

Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! *(фр.)*.

265

Призраки *(лат.)*.

266

Собой, только собой, в своем вечном единстве *(греч.)*

267

Пресбург — университетский город в Словакии, ныне — Братислава.

268

…Гинном стал Ге-Енной. — Библейское название ада — геенна — происходит от названия долины Гинном близ Иерусалима («Долина плача»).

269

Буйный пантеизм Фихте. — имеется в виду этическая философия И. — Г. Фихте (1762–1814), согласно которой противоположность между Я и не-Я (природой) рассматривается как источник всякого познания и действия.

270

Вторичное рождение (греч.).

271

Пифагорейцы. — Речьидёт о мистическом учении пифагорейцев, древнегреческой философской школы, основателем которой был Пифагор (ок. 580–500 гг. до н. э.).

272

…как её излагал Шеллинг. — По имеет в виду учение немецкого философа Ф. — В. — И. Шеллинга (1775–1854) о том, что природа и сознание, объект и субъект совпадают в своём духовном начале.

273

По имеет в виду сочинение Дж. Локка (1632–1704) «Опыто человеческом разуме» (1690).

274

…с вышины пала радуга. — После этого абзаца в первоначальном тексте рассказа следовал католический гимн, который пела Морелла.

275

Пестум — город на юге Италии, знаменитый в древности своими цветами. «Дважды цветущие розы Пестума» упоминаются Вергилием («Георгики», IV, 118), Овидием («Метаморфозы», XV, 708), Марциалом (IV, 41,10) и другими римскими поэтами.

276

Анакреонт — древнегреческий поэт (ок. 570–487 гг. до н. э.), воспевавший вино и любовь.

277

Люстр — пятилетие.

278

Цикута — ядовитое травянистое растение; также яд, изготовляемый из корней этого растения. Кипарис — эмблема печали и смерти.

279

…когда положил там вторую Мореллу. — В одном из рукописных вариантов рассказ оканчивался смертью первой Мореллы.

280

Холл Джозеф (1574–1656) — английский епископ, автор «Сатир» (1597). Цитата взята из книги II, гл. 3.

281

«Письма Юниуса» — анонимные сатирические письма, печатавшиеся в лондонском журнале «Паблик адвертайзер» в 1769–1772 гг. и резко критиковавшие английское правительство. Авторство их окончательно не установлено.

282

Железная Маска — таинственный узник времен французского короля Людовика XIV, никогда не снимавший маски с лица и умерший в Бастилии в 1703 г. Имя его было неизвестно. Согласно одной из версий, это был брат короля Людовика XIV.

283

Бели-Берда — в английском тексте Fum-Fudge — одно из сатирических названий Англии.

284

Бартолин Томас (1616–1680) — датский анатом.

285

вдохновение *(лат.)*.

286

«Ежеквартальном», «Вестминстерском», «Иностранном», «Эдинбургском», «Дублинском», «Бентли», «Фрейзер», «Блэквуд» — названия крупнейших британских журналов: «Ежеквартальное обозрение» (основано в 1809 г.), «Вестминстерское обозрение» (1824), «Иностранное ежеквартальное обозрение» (1827), «Эдинбургское обозрение» (1802), «Дублинское обозрение» (1836), «Бентли миселени» (1837), «Фрейзере мэгезин» (1830), «Блэквудс мэгезин» (1817). В первом издании этого рассказа упоминались только «Ежеквартальное обозрение», «Эдинбургское обозрение», «Блэквудс мэгезин» и «Нью мансли» (1821).

287

Синий чулок *(фр.)*.

288

произведение искусства, редкость *(ит.)*.

289

изысканные люди *(фр.)*.

290

Порфирий Финикийский (233-ок. 304) — древнегреческий философ-неоплатоник, автор более 70 трактатов, из которых до нас дошла только часть.

291

Ямвлих (ок. 280 — ок. 330) — сирийский философ-неоплатоник. До нас дошло пять трактатов из его «Свода пифагорейских учений».

292

Плотин (204–270) — древнегреческий философ, представитель неоплатонизма. Трактаты Плотина известны под общим названием «Эннеады».

293

Прокл (410–485) — древнегреческий философ-мистик, представитель позднего неоплатонизма (афинская школа), автор многих трактатов и комментариев к сочинениям Платона.

294

Гиерокл из Александрии (V в.) — философ-неоплатоник александрийской школы, известный своими комментариями к неопифагорейскому сочинению «Золотые стихи».

295

Максим Тирский (II в.) — древнегреческий философ-неоплатоник. Английский перевод его сочинений появился в 1804 г.

296

Сириан из Александрии (ум. ок. 438) — древнегреческий философ-неоплатоник, учитель Прокла. До нас дошел его комментарий к «Метафизике» Аристотеля.

297

Гюрго Анн Робер Жак (1727–1781) — французский политический деятель и экономист. Основное произведение Тюрго «Размышления о создании и распределении богатств» (1769–1770) представляет собой развитие идей физиократов, признававших землю и земледелие единственным источником богатства.

298

Прайс Ричард (1723–1791) — английский философ-моралист и экономист.

299

Пристли Джозеф (1733–1804) — английский естествоиспытатель и философ-материалист.

300

Кондорсе Жан Антуан (1743–1794) — французский просветитель, деятель французской буржуазной революции, автор «Эскиза исторической картины прогресса человеческого разума» (1794), где в главе пятой говорится: «Цицерон, Лукреций и Сенека красноречиво писали на своем языке о философии, но речь шла о греческой философии».

301

Де Сталь Анна Луиза Жермен (1766–1817) — французская писательница.

302

Прибытие души — теологическое учение о том, что душа Иисуса Христа существовала до сотворения мира. В расширительном смысле эта доктрина прилагается к людям вообще.

303

Гомеомерия — учение древнегреческого философа Анаксагора (ок. 500–428 до н. э.) о том, что тела образуются путем сочетания качественно определенных и бесконечно делимых частиц — геомерий.

304

Евсевий (ок. 260 — ок. 340) — римский историк церкви, автор богословских и исторических сочинений.

305

Арий (IV в.) — александрийский историк церкви, имя которого дало название одной из ранних ересей — арианству, отрицавшему догмат о единой сущности троицы.

306

Никейский собор — церковный собор, созванный римским императором Константином в г. Никее в 325 г. для борьбы с ересями. Осудил арианство и выработал в целях укрепления единства империи и церкви официальный «символ веры».

307

Пюзеизм — учение английского теолога Эдварда Бувери Пюзи (1800–1882) и его последователей, известное также под названием Оксфордское движение, или Католическое возрождение в английской церкви, и опиравшееся на трактаты английских священников XVII в. Имя Пюзи приобрело известность уже после 1835 г., когда впервые был опубликован этот рассказ, и в первой его редакции оно отсутствовало.

308

Пресуществление — учение о триединстве бога. Утверждено официальной церковью на Никейском соборе.

309

Гомузия и гомуйозия — две точки зрения на Иисуса Христа среди теологов IV в. Согласно первой, Христа отождествляли с богом-отцом, защитники второй считали, что Христос лишь подобен богу-отцу.

310

Французские названия различных блюд.

311

Латур… клодвужо — сорта французских вин.

312

Арпино — Джузеппе Чеэари (ок. 1568–1640), итальянский художник, прозванный «кавалер д'Арпино».

313

Карпаччо Витторио (ок. 1465-ок. 1522) — итальянский художник.

314

Агостино (XIV в.) — итальянский скульптор.

315

Альбано Франческо (1578–1660) — итальянский художник.

316

Стеен Ян (1626–1679) — голландский художник.

317

Бендида — фракийская богиня войны и охоты, культ которой сходен с культом древнегреческой богини-охотницы Артемиды, позже ставшей богиней луны (у римлян — Диана).

318

Бубастида — египетская богиня, изображавшаяся с головой кошки. Древние греки отождествляли ее со своей Артемидой.

319

...восемьдесят три трагедии Эсхила... — античные ученые насчитывали в наследии Эсхила 90 драматических произведений. До нас дошло семь его пьес.

320

Исей (ок. 420 — ок. 350 до н. э.) — древнегреческий оратор. До нас дошло 12 его речей и известны названия еще 42 речей.

321

Лисий (459 — ок. 380 до н э.) — древнегреческий оратор. До нас дошло 34 речи. Всего Лисию приписывалось 425 речей.

322

Феофраст (372–287 до н. э.) — древнегреческий философ и естествоиспытатель. Ему приписывают 227 сочинений.

323

Аполлоний Пергамский (ок. 262-ок. 205 до н. э.) — древнегреческий математик. Его главное сочинение о конических сечениях. До нас дошло семь его книг и восемь считаются утраченными.

324

Пиндар (522 — ок. 422 до н. э.) — древнегреческий поэт. Из многочисленных произведений Пиндара сохранилось 45 од и более 300 фрагментов разного содержания.

325

Гомер Младший (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт и грамматик, автор большого числа произведений, которые до нас не дошли.

326

Элмак — лондонский аристократический клуб, существовавший с 1764 г.

327

Дьявол! *(ит.)*.

328

Боже сохрани! *(исп.)*.

329

Тысяча громов! *(фр.)*.

330

Тысяча чертей! *(нем.)*.

331

Гром и молния! *(нем.)*.

332

Дурак! *(фр.)*.

333

Песня Тома из Бедлама — эпиграф взят из главы о странствующем нищем Томе из Бедлама в книге английского писателя Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы» (1791–1793, 1823). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.

334

…я не могу сообщить точной даты… — Из всего дальнейшего описания следует, что По имеет в виду 1 апреля — день обмана.

335

твердой земле *(лат.)*

336

Энке Иоганн Франц (1791–1865) — немецкий астроном, основал Берлинскую обсерваторию, исследовал и определил движение периодической кометы, названной его именем. О комете Энке По пишет в «Эврике».

337

Котопакси — действующий вулкан в Андах Южной Америкив 50 км от Кито.

338

Гей-Люссак Жозеф Луи (1778–1850) — французский химик и физик. 2 августа 1804 г. (вместе с Ж. Био) и 16 сентября 1804 г. осуществил полеты на воздушном шаре с научной целью. Во время второго полета достиг высоты 7016 м.

Био Жан Батист (1775–1862) — французский физик и астроном. В 1804 г. вместе с Гей-Люссаком совершил полет на аэростате с целью изучения свойств воздуха на различных высотах.

339

здесь: порядке *(лат.)*

340

Вальц Жан (1787–1867) — французский астроном, директор обсерватории в Марселе.

341

Этот зодиакальный свет, по всей вероятности, то же самое, что древние называли «огненными столбами»: Emicant Trabes quos docos vocant.. См.: Плиний, II, 26.

342

После опубликования отчета Ганса Пфааля я узнал, что известный аэронавт мистер Грин и другие позднейшие воздухоплаватели опровергают мнение Гумбольдта об этом предмете и говорят об уменьшении болезненных явлений, — вполне согласно с изложенной здесь теорией.

Грин Чарльз (1785–1870) — английский воздухоплаватель. 7 ноября 1836 г. совершил перелет на воздушном шаре из Лондона в герцогство Нассау (Германия), после чего его воздушный шар стал известен под именем «шара Нассау».

Гумбольдт Александр (1769–1859) — немецкий естествоиспытатель и путешественник. В 1829 г. предпринял экспедицию на Урал, Алтай и к Каспийскому морю. Его главный труд — «Космос» (первые два тома вышли в 1845–1847 гг.).

343

переворот *(франц.)*

344

Шретер Иоганн Иероним (1745–1816) — немецкий астроном, директор обсерватории в Лилиентале (Бремен). О наблюдениях Шретера над атмосферой малых планет, или астероидов, По пишет в заметках к «Эврике».

345

Гевелий пишет, что, наблюдая Луну на той же высоте, в том же расстоянии от Земли и в тот же превосходный телескоп, при совершенно ясном небе, даже когда были видимы звезды шестой и седьмой величины, он, однако, не всегда находил ее одинаково ясной. Наблюдения показывают, что причину этого нельзя искать в нашей атмосфере, в свойствах телескопа или в глазу наблюдателя, а что она коренится в чем-то (в атмосфере?), присущем самой Луне.

Кассини часто замечал, что при оккультации Сатурна, Юпитера, неподвижных звезд их круглая форма сменяется овальной в момент сближения с лунным диском, хотя при многих оккультациях этого изменения формы не замечается. Отсюда можно заключить, что, по крайней мере иногда, лучи планет и звезд встречают лунную атмосферу и преломляются в ней. — Примеч. автора.

Гевелий Ян (1611–1687) — польский астроном, составил первые карты Луны («Селенография, или Описание Луны». 1647) и каталог 1564 звезд.

Кассини Джованни Доменико (1625–1712) — французский астроном, по происхождению итальянец. Основал Парижскую обсерваторию и открыл четыре спутника Сатурна.

Примечание — добавлено к рассказу в издании «Гротески и арабески» (1840).

346

…с луны… — фольклорный образ человека с Луны встречается у В. Шекспира («Буря», II, 2) и у ряда других писателей. Выражение стало поговоркой для обозначения неведения земных дел.

347

Локк Ричард Адамс (1800–1871) — американский журналист, автор мистификации «Великие открытия в астрономии», напечатанной в газете «Нью-Йорк сан» (август 1835 г.), в которой утверждалось, что сын английского астронома Вильяма Гершеля Джон Гершель (1792–1871) обнаружил на Луне многочисленное крылатое население. Э. По упоминает Локка в своей серии статей «Литераторы Нью-Йорка», а в письме к Джону Кеннеди 11 сентября 1835 г. По вспоминает, что вначале он тоже хотел построить свой рассказ о Луне на основе открытий, сделанных благодаря телескопу, но затем оставил эту идею и обратился к более широкому изложению событий.

348

Игра ума *(франц.)*

349

Облачное Море, Море Спокойствия, Море Изобилия *(лат.)*

350

Питер Уилкинс — герой утопического романа Роберта Пелтока (1697–1767) «Жизнь и приключения Питера Уилкинса из Корнуэлса, о том, как он потерпел кораблекрушение вблизи Южного полюса, через подземную пещеру попал в некий Новый мир, встретился там с летающей женщиной, спас ей жизнь и затем женился на ней», изданного анонимно в 1751 г. и затем многократно переиздававшегося.

351

Брюстер Дэвид (1781–1868) — шотландский физик, член Лондонского королевского общества, изучал явления преломления света.

352

Лорд Росс — Парсонс, Вильям (1800–1867), английский астроном, президент Лондонского королевского общества. В 1827 г. начал работу по созданию большого телескопа, которая была завершена в 1845 г.

353

«Человек на Луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником. Переведено на наш язык Ж. Б. Д. А. Продается в Париже, у Франсуа Пио, возле фонтана Сен-Бенуа, и у Ж. Гуаньяра, возле первой колонны в большой дворцовой зале, близ Консультаций, MDCXLVIII», с. 176. (фр.)

Доминик Гонзалес — псевдоним английского писателя-богослова Фрэнсиса Годвина (1562–1633). Его фантастическая книга «Человек на Луне», написанная между 1599–1603 гг. и опубликованная посмертно в 1638 г., содержит изложение основных идей Коперника о Вселенной. В 1648 г. была издана в Париже по-французски под тем же псевдонимом.

354

Оригинал я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, за свою доблесть достойного хвалы, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования (искаж. фр.).

355

Жиль Блаз — герой плутовского романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–1747) «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715–1735).

356

Сирано де Бержерак Савиньен (1619–1655) — французский писатель, сторонник материалистической философии. Имеется в виду его утопия «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1650).

357

В третьем томе «Американ куотерли ревью»… — журнал, издававшийся в Филадельфии с 1827 по 1837 г. Третий том вышел в 1828 г.

358

игра разума *(франц.)*

359

Бантри Бей — залив на юге Ирландии (графство Корк), на северной стороне которого находится гора Хангри Хилл.

360

Аллегорический рассказ. — В первой публикации подзаголовок читался: «Рассказ, содержащий аллегорию, написанный…»; вместо точек подразумевалось имя английского писателя и политического деятеля Бенджамина Дизраэли (1804–1881). В этом рассказе пародируется описание Дворца вина в кн. IV, гл. I романаДизраэли «Вивиан Грей» (1826–1827).

361

«Трагедия о Феррексе и Порректе», или «Горбодук» (1561) — одна из ранних английских трагедий, первые три действия которой написаны Томасом Нортом (1532–1584), а две последние Томасом Сэквилем, бароном Бакхерстом (1536–1608). Цитата из II действия, сцена 1.

362

Эдуард Третий (1312–1377) — английский король (1327–1377).

363

Бен-Невис — гора в Шотландии, самая высокая на Британских островах.

364

«Мела нет» — жаргонное выражение, означающее: «Здесь в кредит не отпускают».

365

«Чума!» — во время царствования Эдуарда III в 1348 г. в Англии впервые возникла эпидемия чумы.

светский тон *(фр.)*.

367

Деви Джонс — в английском морском жаргоне название духа моря или дьявола.

368

Если я пойду и долиною тени… — Библия. Псалом Давида, XXII, 4. В первом издании рассказа эпиграф отсутствовал.

369

…распростерлись черные крыла Чумы. — В этом рассказе, так же как и в предыдущем «Король Чума», получили отражение впечатления писателя от эпидемии холеры в Балтиморе летом 1835 г.

370

…греку Ойносу… — Условное имя, по-гречески «Ойнос» означает «вино».

371

Птолемаида — древнее название города Акка в Палестине.

372

Зоил — древнегреческий философ (IV в. до н. э.), получил известностькак ниспровергатель авторитетов.

373

…песни теосца — то есть Анакреона.

374

…Харонову проливу. — Харон (греч. миф.) — перевозчик душ умерших через воды подземного царства.

375

«У каждого свои добродетели» (фр.). Из трагедии «Ксеркс» (1714), действие IV, сцена 2, французского драматурга Проспера Кребийона (1674–1762).

376

Антиох Эпифан (Антиох IV) (II в. до н. э.) — один из селевкидских царей, царствовавших в Сирии в 175–163 гг. до н. э. Прозван «Безумным» (Эпиманес), как и озаглавил По первоначально свой рассказ.

377

Иезекииль (VI в. до н. э.) — библейский пророк, ставивший в своих проповедях морально-этические вопросы. Согласно его пророчеству, Гог и Магог в отдаленном будущем придут с севера в Израиль войной, но погибнут в огне (Книга Иезекииля, 39. 1 — 16).

378

Камбиз (VI в. до н. э.) — древнеперсидский царь (529–523 до н. э.) из династии Ахеменидов, сын Кира, царствовавшего в 558–529 гг. до н. э.

379

Храм Дианы в Эфесе — выдающееся произведение античного искусства; построен в VI в. до н. э. В 356 г. до н. э. сожжен Герострáтом, желавшим прославиться этим деянием. Новый храм Дианы, или Артемиды, считавшейся покровительницей города Эфеса на побережье Малой Азии, был отстроен вскоре после пожара и просуществовал до 262 г., когда его сожгли готы.

380

…преследования евреев… — При Антиохе IV произошло восстание евреев под предводительством Маккавеев (165 г. до н. э.).

381

…осквернение Святая Святых… — В 170 г. до н. э. Антиох IV разграбил Иерусалимский храм.

382

…жалкая кончина в Табе… — Антиох IV умер в Табе (Персия) во время военного похода на восток. Перед смертью у негообнаружилось умственное расстройство.

383

…от сотворения мира три тысячи восемьсот тридцатое — то есть 174 г. до н. э.

384

Селевк Никанор, (правильно: Никатор) (310–281 г. до н. э.) — военачальник Александра Македонского, основатель династии Селевкидов.

385

Вер Луций (131–169) — римский император (161–169). Прославился своей расточительностью и разгулом.

386

Валент Флавий (329–378) — римский император (364–378), бывший соправителем своего брата, императора Валентиниана I, в восточнойчасти империи.

387

…тысяча восемьсот сорок пятое… — В первом издании рассказа значилось: «в тысяча восемьсот тридцать девятом году».

388

…Гордится этот город — В. Шекспир. «Двенадцатая ночь», III, 3. пер. М. Лозинского.

389

Гелиогабал (Элагабал) (204–222) — римский император в 218–222 гг., провозгласивший сирийского бога солнца Элагабала главнымбогомримлян, приняв имя этого бога.

390

Вописк, Флавий (III–IV вв.) — один из «шести писателей истории императоров». Биография римского императора Аврелиана (270–275) написана им около 304 г. Аврелиан разбил одно из сарматских племен на Дунае, о чем повествует Вописк в его биографии.

391

Пассадо и монтаны — приемы в фехтовании.

392

Нед Ноулз — по-видимому, английский писатель Джеймс Шеридан Ноулз (1784–1862), пьесы которого были особенно популярны в США в 30 — 40-е годы. По резко критикует эпигонство Ноулса в статье «Американская драма», напечатанной в августе 1845 г. в журнале «Американ виг ревью». В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал и появился лишь в тексте 1845 г.

393

Гротескного, причудливого *(фр.)*.

394

Тик, Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик. В своей рецензии на рассказы Н. Готорна (1847) По сравнивает Тика с Готорном.

395

Г-не — имеется в виду немецкий университетский город Геттинген.

396

Гераклит Эфесский (ок. 544–483 до н. э.) — древнегреческий философ, прозванный «Темным», потому что дошедшее до нас его сочинение «О природе» славилось в древности глубокомыслием и загадочностью.

397

Мать-кормилица (название студентами университета) *(лат.)*.

398

Инкуб — название злого духа, который, согласно средневековым верованиям, вступал в любовную связь с женщинами во время их сна и посещению которого приписывалось рождение ведьм и колдунов.

399

сладостного безделья *(ит.)*.

400

Колридж, Самюэл (1772–1834) — английский поэт-романтик. Наряду с Китсом и Шелли принадлежал к любимым поэтам По, видевшим главное достоинство его стихов в музыкальности (письмо к Дж. Р. Лоуэллу от 2 июля 1844 г.).

401

Филипп IV Красивый (1268–1314) — французский король (1285–1314). Дуэли во Франции регламентировались до революции XVIII в. специальными королевскими указами — ордонансами.

402

Фавин Андре (р. ок. 1560) — французский юрист, автор книги «Театр чести и рыцарства», изданной в Париже в 1613 г. и переизданной по-английски в Лондоне в 1623 г.

403

Д'Одигье Виталь (1569–1624) — французский писатель, автор «Трактата о дуэлях» (1617).

404

Брайтом Пьер (ок. 1540–1614) — французский историк. Его «Мемуары», которые он писал в последние годы своей жизни, были изданы в 1665–1666 гг.

405

Эльзевир — название книг и типографского шрифта, которым печатались книги в знаменитых голландских типографиях конца XVI–XVII в., принадлежавших семье типографов-издателей Эльзевиров.

406

Дером — семья французских переплетчиков книг XVII–XVIII вв.; особенно прославился Никола Дени Дером (1731–1788), известный под именем Дером-младший.

407

Эделен — Книга о дуэлях и ее автор, очевидно, выдуманы По. Возможно, По использовал для этого псевдоним французского писателя и критика Франсуа Обиньяка (1604–1676).

408

«Закон дуэли, писаный и неписаный, и прочее» *(лат.)*.

409

«Оскорбление прикосновением, словом и само по себе» *(лат.)*.

на первый взгляд *(лат.)*.

411

Дю Бартас Гийом де Саллюст (1544–1590) — французский поэт, пользовавшийся в своих стихах удвоением слогов в отдельных словах.

412

Алкман (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик. Приводимый в эпиграфе отрывок (опубликован впервые в 1773 г.), рисующий картину ночного сна природы, послужил основой для известных стихотворений И. — В. Гете («Uber allen Gipfeln ist Ruh…», 1780) и М. Ю. Лермонтова «Горные вершины» (1840). См. статью И. Толстого «Фрагмент Алкмана „Спят вершины гор“» («Ученые записки Ленинградского гос. пединститута им. А. И. Герцена», т. 15, 1938). В первой публикации рассказа вместо эпиграфа из Алкмана были две строки из поэмы По «Аль Аарааф»: «Наш мир — мир слов, и мы зовем „молчаньем“ — Спокойствие, гордясь простым названьем» (пер. В. Брюсова).

413

Заира — старое португальское название реки Конго.

414

Бегемот — имеется в виду мифическое библейское животное (Книга Иова, 40, 10–19).

415

Додона — древнегреческий город, где находился оракул Зевса, ответы которого слышались сквозь шум листвы священного дуба.

416

…смотрела ему в лицо. — Согласно народному поверью, взор рыси столь пронзителен, что никто не может его выдержать.

417

Гленвилл Джозеф (1636–1680) — английский священник и философ, автор трактата «Тщета догматики» (1661). Источник цитаты не установлен.

418

Аштофет — богиня финикийского города Сидона (II тысячелетие до н. э.), на месте которого ныне находится ливанский город Сайда. В древней Финикии поклонялись также богине плодородия — Ашторет (Астарта), которую почитали и в Египте. Астарта упоминается в стихотворении По «Улялюм».

419

...дочерей Делоса. — Согласно греческой мифологии, на острове Делос родилась и жила вместе с подругами богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.

420

«Всякая утонченная красота всегда имеет в своих пропорциях какую-то странность» — слова Фрэнсиса Бэкона (1561–1626), получившего в 1618 г. титул барона Верулама, в его эссе «О красоте» (1625). У Бэкона не «утонченная красота», а «совершенная красота».

421

Клеомен — Это имя значится на статуе Венеры Медицейской. Аполлон, покровитель искусств, назван здесь как вдохновитель создателя знаменитой скульптуры.

422

Нурджахад — Имеется в виду «восточный» роман «История Нурджахада» (1767) английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724–1766), матери известного драматурга.

423

...колодец Демокрита... — Имеется в виду приписываемое Демокриту (ок. 460–370 гг. до н. э.) высказывание «истина обитает на дне колодца». Встречается также у Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. II, гл. 18) и у Байрона («Дон Жуан», II, 84).

424

…звезды-близнецы, рожденные Ледой… — две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Полидевка — согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой от Зевса.

425

...с самой большой звездой Лиры. — Имеется в виду звезда Вега в созвездии Лиры. Двойная звезда этого созвездия известна под именем Эпсилон Лира.

426

...тайны трансцендентной философии... — Трансцендентализм — в Америке так называлось движение философского идеализма, возникшее в 1836 г. Группа американских писателей-трансценденталистов (Р. У. Эмерсон, Г. Д. Торо, Б. Олкотт, М. Фуллер и др.) проповедовала демократические взгляды и выступала в 40-е годы XIX века с романтической критикой капитализма и отрицанием буржуазного прогресса. Э. По считал философию трансценденталистов наивной и нередко высмеивал их.

427

Сатурнов свинец — в алхимии и старой химии свинец назывался сатурном.

428

Азраил, правильнее Израил — в мусульманской мифологии ангел смерти.

429

Это стихотворение По (вместе с абзацем перед ним и после него) не входило в первую публикацию рассказа в 1838 г. Впервые оно было опубликовано под названием «Червь-победитель» в журнале «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин» в январе 1843 г. В переработанный текст рассказа это стихотворение впервые включено писателем в нью-йоркском журнале «Нью уорлд» 15 февраля 1845 года.

430

Полудруидический стиль — Друиды — жрецы у древних кельтов.

431

Луксор — город в Египте на правом берегу Нила, на месте древних Фив, где находятся руины знаменитого храма бога Аммона (XV в. до н. э.).

432

Зенобия (III в.) — правительница Пальмиры, прославившаяся своей красотой, умом и энергией. В этом рассказе По сатирически изобразил американскую писательницу Маргарет Фуллер (1810–1850), которую он высоко ценил как критика, но осуждал ее стилистическую небрежность.

433

застежек *(фр.)*.

434

здесь: розеток *(лат.)*.

435

...мой отец был «греком» — жаргонное выражение, означающее «жулик».

436

Брум Генри (1778–1868) — английский политический деятель и журналист, один из основателей «Общества распространения полезных знаний» (1827).

437

...жеманством. — В английском оригинале далее следует каламбур со словами cant (лицемерие, жеманство) и Kant (немецкий философ И. Кант).

438

...знаменитого журнала. — Орган шотландских консерваторов журнал «Блэквудс мэгезин» был основан в 1817 г. шотландским издателем Вильямом Блэквудом (1776–1834) и собрал вокруг себя ряд известных в то время писателей; в нем печатался Вальтер Скотт. После смерти В. Блэквуда это издание продолжили его сыновья Александр и Роберт, которых, очевидно, и имеет в виду в своем рассказе Э. По.

439

странностей *(фр.)*.

440

«Живой мертвец» — анонимный рассказ, опубликованный в журнале «Фрейзере мэгезин» в апреле 1834 г. Возможно, По также имеет в виду рассказ «Похороненный заживо», напечатанный в «Блэквудс мэгезин» в октябре 1821 г.

441

«Исповедь курильщика опиума» — имеется в виду автобиографическая книга писателя-романтика Томаса Де Квинси (1785–1859) «Исповедь английского курильщика опиума», печатавшаяся первоначально в журнале «Лондон мэгезин» в сентябре-октябре 1821 г. Указание на то, что это произведение печаталось в «Блэквудс мэгезин», возможно, вызвано тем, что в этом журнале часто публиковались другие сочинения Де Квинси.

442

...автором был Колридж... — одно из известных произведений английского поэта Самюэла Колриджа — неоконченный фрагмент «Кубла Хан» (1798) — представляет собой бредовое видение, вызванное, по свидетельству самого поэта, действием опиума, к которому он пристрастился.

443

«Экспериментатор поневоле» — напечатан в «Блэквудс мэгезин» за октябрь 1837 г.

444

«Дневник покойного врача» — печатался в «Блэквудс мэгезин» по частям с 1830 по 1837 г.

445

«Человек в колоколе» — опубликовано в «Блэквудс мэгезин» за ноябрь 1821 г.

446

«Правда всякой выдумки странней» — Байрон. «Дон Жуан», XIV, 101.

447

Ионийская школа — самое раннее материалистическое направление в древнегреческой философии (VI в. до н. э.).

448

Элейская школа — группа древнегреческих философов конца VI-начала V века до н. э., развивавшая учение о едином и неизменном бытии и выступавшая против стихийно-диалектических воззрений ионийской школы.

449

Архит (ок. 428–347 до н. э.) — древнегреческий философ и ученый, друг Платона.

450

Горгий (ок. 483–375 до н. э.) — древнегреческий философ и ритор, центральная фигура в диалоге Платона «Горгий».

451

«Критике чистого разума» *(нем.)*

452

«Метафизическим начальным основаниям естествознания» (нем.) — (1786) — сочинения немецкого философа Иммануила Канта (1724–1804).

453

«Дайел» — журнал американских трансценденталистов, выходил с июля 1840 г. до апреля 1844 г., печатал статьи по вопросам литературы, философии и религии. Первые два года редактором журнала была писательница Маргарет Фуллер, затем Р. У. Эмерсон. В первом издании рассказа вместо «Дайел» упоминался роман Гете «Страдания Вертера».

454

Чаннинг Вильям Эллери (1818–1901) — американский поэт и публицист, член кружка трансценденталистов; его стихи и очерки печатались в журнале «Дайел». По цитирует строчку из его стихотворения «Мысли», анализ которого содержится в рецензии на сборник стихов Чаннинга, напечатанный По в журнале «Грэхеме леднз энд джентлменс мэгезин» в августе 1843 г.

455

остроумия *(фр.)*.

456

...три музы — Мелета, Мнема, Аэда… — Древнегреческий писатель Павсаний (II в.) в своем «Описании Эллады» (кн. IX, гл. 29) говорит о трех старших музах (Мелета, Мнема и Аэда). Первоначальное число муз в греческой мифологии было затем увеличено до девяти муз — покровительниц разного рода искусств и наук.

457

изысканно *(фр.)*.

458

Алфей — река в Греции, считавшаяся в древности рекой-богом. Согласно легенде, ее воды протекали под морем и выходили источником Аретусы вблизи Сиракуз.

459

Ю-Киао-Ли — имеется в виду китайский роман XVII в. «Юй, Цяо, Ли».

460

Чикасо — одно из племен американских индейцев, живших вдоль Миссисипи, а позднее переселенных в Оклахому.

461

...во французской трагедии того же названия — имеется в виду трагедия Вольтера «Заира» (1732).

462

...не возвратила меня к жизни — Сервантес. «Дон Кихот», часть II, гл. 38. Сервантес использовал здесь стихи испанского поэта Эскриба (конец XV-начало XVI в.). В переводе М. Лозинского: «Смерть, повей своим дыханьем, Подойдя неслышным шагом, Чтобы жизнь не счел я благом, Наслаждаясь умираньем».

463

...из Ариосто — на самом деле это строки из пародийно-героической поэмы «Влюбленный Роланд» (LIII, 60) итальянского поэта Франческо Берни (1490–1536).

464

Заключительные строки из стихотворения И. — В. Гете «Фиалка» (1775).

465

в виде мозаики *(фр.)*.

466

Тортони — парижский ресторатор, по имени которого называлось в XIX веке кафе на Итальянском бульваре в Париже.

467

Ignoratio elenchi — логическая ошибка в доказательстве, состоящая в том, что оставляется без внимания то, что следует доказать и, таким образом, доказывается совсем не то, что следует.

468

Слова-анемоны — это выражение принадлежит не римскому поэту Марку Лукану (39–65), а взято из произведения «Лексифан, или Краснобай» (гл. 23) древнегреческого писателя Лукиана (ок. 117-ок. 190).

469

Силий Италик Тит Катий (26 — 101) — римский поэт. Цитата взята из его поэмы «Пуническая война».

470

Демосфен — Цитируемые слова Демосфен произнес, как о том свидетельствует Тертуллиан (De Fuga in Persecutione, X), после своего бегства с поля сражения у Херонеи (338 до н. э.).

471

Aner o pheugon kai palin machesetai

472

«Гудибрас» (1663–1678) — поэма английского поэта-сатирика Самюэла Батлера (1612–1680). Цитируется с изменением множественного числа на единственное из III песни (строка 243) поэмы.

473

…Прекраснейшая дама? — строки из драматической поэмы «Комус» (1634) Джона Мильтона (1608–1674). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.

474

Эдина — Эдинбург.

475

…классического китайского романа… Пью Чай-ли. — Здесь и ниже По иронически-гротесково искажает имена, названия, цитаты из классиков и т. п., чтобыпоказать псевдоначитанность героини.

476

Зенобия (III в.) — правительница Пальмиры, прославившаяся своей красотой, умом и энергией. Здесь — пародийный псевдоним М. Фуллер.

477

Аграфы — калька франц. слова agraffas, что означает «застежки».

478

Аурикулы — калька лат. слова auriculas, т. е. розеток.

479

Переиначивание трех старших муз в греческой мифологии: Мелеты (муза размышления), Мнемы (муза памяти), Аэды (муза пения).

480

Нежна, как бифштекс *(испорч. фр.)*.

481

…в приемной мистера Блэквуда… — Речь идет о шотландском издателе Уильяме Блэквуде (1776–1834), который основал в 1817 г. журнал «Блэквудс мэгезин».

482

Оллапод — псевдоним американского журналиста Уиллиса Гейлорда Кларка (1808–1841), которым он подписывал статьи в журнале «Никербокер мэгезин», редактируемом им вместе с братом Льюисом Кларком с 1834 г… Слово «оллапод» означает «всякая всячина», «смесь».

483

Ванни Бюрен — шутливая переделка фамилии восьмого президента США (1837–1841) Мартина Ван-Бюрена (1782–1862).

484

«Небольшие речи о давнем прошлом» *(лат.)*.

485

«Об образованиях» *(лат.)*.

486

…комментариями Тшафкенхрюккена. — По продолжает здесь традицию пародирования «ученых трудов» историков, начатую В. Ирвингом в «Истории Нью-Йорка» (1809). Многие голландские реалии этого рассказа напоминают героикомическую «эпопею» Ирвинга.

487

«Джуди О'Фланнаган и Пэдди О'Рафферти» — ирландская народная песня.

488

Кикапу — племя североамериканских индейцев, отличавшееся воинственностью и сражавшееся на стороне англичан во время войны за независимость США и в англо-американской войне 1812–1814 гг. В 1819 г. остатки этого племени, уничтоженного белыми, были переселены в резервации в Канзасе. Бугабу значит по-английски «пугало», «бука».

489

Пролейтесь, токи слез, над злейшей из кончин!
Увы! Моей души одна из половин другою сражена.
Корнель (фр.).

Слова Химены из трагедии Пьера Корнеля (1606–1684) «Сид» (1637), действие III, сцена 3. В первой публикации рассказа эпиграф отсутствует.

490

Бревет — патент на следующий воинский чин с сохранением прежнего оклада.

491

изысканность *(фр.)*.

492

здесь: идеал *(лат.)*.

493

бедренной кости *(лат.)*.

494

малая берцовая кость *(лат.)*.

чего-то неопределенного *(фр.)*.

гордостью *(фр.)*.

497

Грин Чарльз (1785–1870) — английский воздухоплаватель. 7 ноября 1836 г. совершил перелет на воздушном шаре из Лондона в герцогство Нассау (Германия), после чего его воздушный шар стал известен под именем «шара Нассау».

498

Тимбукту — город на юге пустыни Сахара.

499

в коих сыграл он немалую роль *(лат.)*. — Вергилий. «Энеида», 11, 6.

500

страшно сказать *(лат.)*.

501

понизив голос *(ит.)*.

502

Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит и опадает — Библия. Книга Иова, XIV, 1–2.

503

Вы человек иль нет? Где ваше сердце? — Шекспир. «Отелло», III, 3.

504

вечере *(фр.)*.

в истинном значении этого слова *(фр.)*.

506

…о каком-то Манне, которого не то застрелили, не то повесили — имеется в виду капитан Даниел Манн, привлеченный к судебной ответственности по обвинению в заговоре. Судебный процесс над ним, начавшийся в марте 1839 г., еще продолжался, когда появился в печати этот рассказ По. Филадельфийская пресса, в которой был напечатан рассказ По, почти ежедневно освещала ход процесса.

507

…о какой-то поэме лорда Байрона — имеется в виду поэма Байрона «Бронзовый век» (1823). В английском тексте рассказа обыгрывается заглавие поэмы Байрона «Манфред» (1817).

508

то же самое *(фр.)*.

509

…с луны… — фольклорный образ человека с луны встречается у В. Шекспира («Буря», II. 2) и у ряда других писателей. Выражение стало поговоркой для обозначения неведения земных дел.

510

Тацит Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — римский историк, повествовательная манера которого отличается краткостью и сжатостью выражения.

511

Монтескье Шарль Луи (1689–1755) — французский писатель, публицист, философ, язык произведений которого отличается ясностью, точностью и выразительностью, что сделало его образцом французской прозы XVIII в.

512

Томас Джон Ф. — известный в то время в Филадельфии торговец протезами.

513

«Сердце его — как лютня», — заключительные строки песни Пьера-Жана Беранже (1780–1857) «Отказ» (1831), обращенной к генералу Себастьяни, участнику наполеоновских войн. Ту же мысль встречаем мы в стихотворении По «Израфел» (1831). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.

514

Скучающего, пресыщенного *(фр.)*.

515

…последнего вальса Вебера. — Создатель немецкой романтической оперы Карл Мария Вебер (1786–1826) не писал такого произведения. Имеются в виду «Блестящие танцы» (1824) немецкого композитора Карла Готлиба Рейзигера (1798–1859), один из которых (№ 5) известен под названием «Последний вальс Вебера», или «Последняя дума Вебера».

516

Фюссли (Фюзели) Иоганн Генрих (1741–1825) — швейцарский художник, работавший в Англии в 1779–1825 гг., где он получил известность под переделанной фамилией Фюзели. Представитель романтического маньеризма, иллюстрировал Шекспира и Мильтона.

517

«Обитель привидений» — впервые это стихотворение По опубликовано в журнале «Американ музеум» (Балтимор) в апреле 1839 г., за пять месяцев до того, как оно было включено в этот рассказ. В письме к Р. Грисволду от 29 марта 1841 г. По отмечает, что в образе заколдованного замка он изобразил «разум, преследуемый призраками».

518

Перевод Н. Вольпин.

519

Уотсон, доктор Пэрсивел, Спаланцани и в особенности епископ Лэндаф — см. «Этюды о химии», т. V. — *Прим. автора.*

Уотсон Ричард (1737–1816) — английский химик, автор пятитомных «Очерков по химии» (1781–1787). Он же был епископом Ландаффским, которого По принял, очевидно, за другое лицо.

Пэрсивел Томас (1740–1804) — английский врач, автор «Медицинской этики» (1803). Его работа о чувствительности растительных организмов была опубликована в 1785 г. в «Мемуарах Манчестерского литературного и философского общества».

Спаланцани Ладзаро (1729–1799) — итальянский ученый и путешественник. Идеи о чувствительности растений развиты им в «Диссертации о природе животных и растений» (1780, английский перевод в 1784 г.).

Сведения о Пэрсивеле и Спаланцани По почерпнул из предисловия к пятому тому «Очерков по химии» Р. Уотсона, где излагаются их мнения по затронутому вопросу.

520

…все растительное наделено чувствительностью. — Мысль о том, что чувствительность свойственна всей природе, получила дальнейшее развитие в книге По «Эврика» (1848).

521

Грессэ Жан Батист Луи (1709–1777) — французский поэт-сатирик. За поэму «Вер-Вер» (1734), рассказывающую о похождениях попугая, воспитанного в женском монастыре, Грессэ был исключен из ордена иезуитов. Стихотворное послание «Монастырь» (1735) воспевает уединенную жизнь поэта.

522

Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский писатель, историк и политический деятель. Новелла «Бельфагор-архидиавол» (опубл. 1549) повествует о посещении дьяволом земли.

523

Сведенборг Эммануил (1688–1772) — шведский естествоиспытатель и теолог. Его мистический трактат «Небо и ад» издан в 1758 г.

524

Хольберг Людвиг (1684–1754) — датский писатель, положивший начало новой датской литературе. Его сатирико-утопический роман «Подземное путешествие Николаса Климма» вышло в 1741 г.

525

Флад Роберт (1574–1637) — английский врач, автор мистических и псевдонаучных трактатов по алхимии и хиромантии. Одна из его книг была переведена в 1659 г. с латинского на английский.

526

Д'Эндажинэ Жан (XVI в.) — французский хиромант, автор книги «Хиромантия» (1522).

527

Делашамбр Марен Кюро (1594–1669) — французский хиромант, автор книги «Принципы хиромантии» (1653).

528

Тик Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик. По имеет в виду его сказочный роман «Старая книга, или Путешествие в голубую даль» (1835).

529

Кампанелла Томмазо (1568–1639) — итальянский ученый и писатель. Его социальная утопия «Город Солнца» написана в тюрьме в 1602 г. (издана в 1623 г.).

530

Херонн Эймерик де (ок. 1320–1399) — испанский инквизитор. Его «Руководство по инквизиции» (издано в 1503 г.) посвящено описанию способов изгнания нечистой силы и определению различных видов еретиков.

531

Мела Помпоний (I в.) — римский географ. В его «Географии», изданной в Милане в 1471 г., рассказывается о полусказочных обитателях Африки.

532

Бдения по усопшим согласно хору магунтинской церкви *(лат.)*.

533

…странных и мрачных обрядов… — как свидетельствуют американские исследователи, эта редкая книга содержит описание обычной католической заупокойной службы в церкви г. Майнца (Германия), мало чем отличающейся от современной. По, очевидно, не видел этой книги и составил впечатление о ней из вторых рук.

534

«Безумная печаль» — существует предположение, что приводимые По отрывки принадлежат ему самому. Этельред — имя одного из древних королей Британии, жившего в конце X — начале XI века.

535

Чемберлен Вильям (1619–1689) — английский писатель. Его «Фарониада» (1659) — героическая поэма в пяти книгах.

536

Самые ранние мои школьные воспоминания связаны… — Описание английской школы в этом рассказе сделано По на основании его собственных детских воспоминаний о жизни в пансионе в Стокньюингтоне (на северной окраине Лондона) в 1818–1820 гг., где он был записан под фамилией приемного отца Аллана.

537

Брэнсби — По называет фамилию главы стокньюингтонской школы Джона Бренсби (1783–1847).

538

преувеличенное *(фр.)*.

539

Карфагенские монеты — имеются в виду монеты города-государства Карфагена, выпускавшиеся в IV–II вв. до н. э. и отличавшиеся тщательной чеканкой.

540

О дивная пора — железный этот век! *(фр.)*.

541

…девятнадцатого января 1813 года… — По указывает дату собственного рождения (19 января 1809 г.). В журнальном варианте 1839 г. стояла дата 19 января 1811 г. (именно этот год назвал По годом своего рождения в «Автобиографии», написанной в 1839 г.). В сборнике рассказов «Гротески и арабески» (1840), куда был включен «Вильям Вильсон», значится уже 19 января 1809 г. Таким образом, эти изменения года рождения героя отражают либо неуверенность По относительно своего года рождения, либо сознательное желание изменить его.

542

Ирод Аттик Тиберий Клавдий (ок. 101–177) — знаменитыйафинянин, прославившийся своим богатством и ораторским искусством. По преданию, нашел в одном из своих домов в Афинах богатейший клад.

543

Престон — По называет своего приятеля по Виргинскому университету Джона Престона. В изображении жизни героя в Итоне и Оксфорде сказались впечатления писателя от его пребывания в Виргинском университете в 1826 г.

544

В Риме, во время карнавала… — Римский карнавал, самый древний в Италии, празднуется в течение нескольких дней перед великим постом и сопровождается процессиями колесниц с аллегорическими фигурами, маскарадными переодеваниями и всевозможными шутками веселящейся толпы.

545

Эйрос и Хармиона — в пьесе По «Полициан» эти имена носят служанки египетской царицы Клеопатры. Сравни Ирада и Хармиана в драме Шекспира «Антоний и Клеопатра» и в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха.

546

Эврипид (ок. 480–406 до н. э.). — Эпиграф взят из его трагедии «Андромаха», строка 257. В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.

547

«Шум от множества вод» — Библия. Откровение Иоанна Богослова, XIV, 2.

548

...о новой комете... — В этом рассказе, по-видимому, отразились наблюдения По над тем, как воспринимали в Балтиморе и Ричмонде метеоритный дождь исключительной силы 13 ноября 1833 г. и комету Галлея, наблюдавшуюся в 1835 г.

549

Инкуб — название злого духа, который, согласно средневековым верованиям, вступал в любовную связь с женщинами во время их сна и посещению которого приписывалось рождение ведьм и колдунов.

550

Так завершилось все. — За несколько месяцев до публикации этого рассказа, 4 июня 1839 г., в газете «Филадельфия паблик леджер», в которой позднее печатался По, появилось аналогичное предсказание о конце мира, который должен был произойти в 1843 г.

551

Коннаут — одна из четырех исторических провинций Ирландии.

552

Старая пословица — в первоначальной публикации рассказа эпиграф отсутствует.

553

Nemine contradicente — единогласно *(лат.)*.

554

Макассарское масло — растительное масло для волос применявшееся в начале XIX века и вывозимое из Макассара, на острове Целебес.

555

Ужасное несчастье — не иметь возможности остаться наедине с самим собой. Лабрюйер *(франц.)*.

556

Тоска, скука *(франц.)*.

557

Пелена, нависшая прежде *(греч.)*.

558

Горгий (ок. 483–375 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, центральная фигура в диалоге Платона «Горгий».

559

Эвпатриды — родовая знать в древних Афинах.

560

Лукиан (ок. 117 — ок. 190) — древнегреческий писатель-сатирик. Имеется в в иду диалог Лукиана «Изображения», II.

561

Ретц Мориц (1779–1857) — немецкий художник, автор иллюстраций к «Фаусту» Гёте.

562

Длинный сюртук, застегивающийся сверху донизу *(франц.)*.

563

«Садик души…» *(лат.)*. «Садик души с прибавлением некоторых маленьких речей» — книга, написанная в 1500 г. страсбургским типографом Иоганном Грюнингером (1450–1530). Книга не содержит ничего «гнусного» и, видимо, была известна По из вторых рук.

564

Браун Томас(1605–1682) — английский врач и писатель. Трактат «Захоронения в урнах» (1658), из пятой главы которого взят эпиграф, написан в связи с находкой в Норфолке нескольких древних могильных урн. В первой публикации рассказа эпиграф отсутствует.

565

По преимуществу (фр.).

566

Шахматист… — В апреле 1836 г. По напечатал в журнале «Сатерн литерери мессенджер» статью «Шахматный автомат Мелцела», в которой, вскрыв обман с автоматом для игры в шахматы, которым управлял человек, развивает те же мысли о шахматной игре, что и в этом рассказе.

567

Хойл Эдмонд (1672–1762) — автор книги «Краткий трактат об игре в вист» (1742). Правила Хойла при игре в вист применялись до 1864 г.

568

Френолог — сторонник френологии, антинаучного учения о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа. Основателем френологии был немецкий медик Франц Иосиф Галль (1758–1828). В марте 1836 г. в журнале «Сатерн литерери мессенджер» По рецензировал книгу некой Л. Майлс «Френология».

569

…потомок знатного и даже прославленного рода… — В 1840 г. главой палаты депутатов во Франции был избран Андре Мари Жан Жак Дюпен (1783–1865), автор трудов по уголовному праву. Его брат Шарль Дюпен (1784–1873), математик и политический деятель, был морским министром (1833). Третий брат — Филипп Дюпен (1795–1846) был известным адвокатом.

570

Сен-Жерменское предместье — аристократический район Парижа на южном берегу Сены.

571

Странность, чудачество (фр.).

572

…старинное учение о двойственности души… — философское учение, считающее началом бытия две субстанции — материальную и идеальную.

573

Пале-Рояль — дворец с садом в Париже, построенный для кардинала Ришелье в 1629–1634 гг.

574

Театр «Варьете» — парижский театр водевиля, основанный в 1807 г.

575

Некогда (лат.).

576

Кребийон Проспер Жолио (1674–1762) — французский драматург. Его трагедия «Ксеркс» (1714) памятна своим шумным провалом.

577

И ему подобных (лат.).

578

Очковтирательство (фр.).

579

Никольс Томас Лоу (1815–1901) — американский врач, писатель и общественный деятель. В книге «Сорок лет американской жизни, 1821–1861» (1864) рассказывает о своих встречах с По.

580

Ламартин Альфонс де (1791–1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель.

581

Утратила былое звучание первая буква *(лат.)., — Овидий. «Фасты», V, 536.*

582

«Судебная газета» (фр.).

583

Дюбур — По нередко использовал фамилии известных ему лиц в своих рассказах. Так, для первой свидетельницы, прачки Дюбур, он взял фамилию хозяйки лондонского пансиона, в котором учился с 1816 по 1817 г.

584

«Проклятие» и «черт» (фр.)

585

«Боже мой!» (фр.).

586

Берцовая кость (лат.).

587

Журден — герой комедии Мольера (1622–1673) «Мещанин во дворянстве». Журден надевает халат, чтобы удобнее было слушать музыку (I, 2).

588

Чтобы лучше слышать музыку (фр.).

589

Халат (фр.).

590

Видок Франсуа Эжен (1775–1857) — французский сыщик. Его «Мемуары» появились в 1829 г., а в 1838 г. (сентябрь — декабрь) журнал «Бертонс джентлменс мэгезин», который По редактировал в 1839–1840 гг., напечатал «Неопубликованные отрывки из жизни Видока, начальника парижской полиции».

591

Привратницкая (фр.).

592

Я им потакал (фр.).

593

В обратном порядке (фр.).

594

Кювье Жорж (1769–1832) — французский ученый, известный трудами в области сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, описание которых содержится в его книге «Царство животных» (1817).

595

Здесь: косицы; буквально: хвосты (фр.).

596

Усы (ит.).

597

Невшатель — город на севере Франции.

598

Ботанический сад (фр.).

599

Лаверна — древнеримская богиня прибыли, покровительница воров и мошенников.

600

«отрицать то, что есть, и распространяться о том, чего не существует» (фр.). — Ж. — Ж. Руссо. «Новая Элоиза», второе предисловие (1761).

601

Мальстрем — водоворот у северо-западного побережья Норвегии. По использовал сведения из Британской энциклопедии, позднейшие издания которой ссылалисьуже на По при описании водоворотов.

602

Демокрит из Абдеры — (около 460–370 гг. до н. э.) — великий дневнегреческий философ-материалист, один из основателей атомистической теории. Демокрит утверждает, что действительность лежит погруженной в столь глубокий колодец, что у него нет дна. Так же: «Истина… обитает на дне колодца.»

603

Гленвилл Джозеф (1636–1680) — английский священник и философ. Цитата взята из его книги «Эссе о некоторых важных вопросах философии и религии» (Лондон, 1676, с. 15). В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал.

604

…в суровом краю Лофодена. — Скалистые и безлесные Лофоденские (или Лофотенские) острова расположены у северо-западного побережья Норвегии.

605

Море Мрака (лат.).

606

…в описании нубийского географа. — Как поясняет По в своей поэме в прозе «Эврика», имеется в виду александрийский математик, астроном и географ Птолемей (1 в.), автор «Географии» в восьми книгах (издана в 1533 г.), представляющей собой свод географических знаний древности. «Морем мрака» на древних картах обозначался Атлантический океан.

607

Ионас (Джонас) Рамус(1649–1718) — норвежский историк.

608

Норвежская миля — 11 295 метров.

609

Вербное воскресенье — по церковному календарю, за две недели перед великим постом.

610

Флегетон — в греческой мифологии огненная река, окружающая подземное царство.

611

Кирхер Афанасий (1601–1680) — немецкий ученый, по теории которого Земля представляет собой твердое тело с пустотами внутри, заполненными огнем, водой и воздухом.

612

Планшир — деревянный или стальной брус по обводу корпуса корабля для придания жесткости и прочности, а также для укрепления такелажа.

613

Рым — металлическое кольцо, вбиваемое на судне для закрепления за него снастей.

614

См. Архимед. De incidentibus in fluido, lid. 2 («О плавающих телах». Кн. 2). — Примеч. автора.

615

Ибо нет места без своего духа-покровителя. Сервий *(лат.)*. Сервий Гонорат Мавр (IV–V вв.) — римский грамматик и комментатор Вергилия. В первом издании вместо настоящего эпиграфа напечатан «Сонет к науке» По.

616

МормонтельЖан Франсуа (1723–1799) — французский писатель. Его «Нравоучительныесказки» (1761) отчличаются чувствительностью всочетании с фривольностью.

617

Moraux — здесь производное от moeurs и означает «о нравах». — *(Примеч. автора)*

618

Музыкальность — единственный талант, который довольствуется сам собою; все остальные требуют второго лица *(фр.)*. — *(Примеч. автора)*

619

микроскопических существах *(лат.)*

620

Говоря о приливах, Помпонии Мела в своем трактате «De situ orbis» утверждает, что «или мир — огромное животное, или…» и т. д. — *(Примеч. автора)*. Помпоний Мела (I в.) — первый римский географ. Его книга «О положении мира» даёт общий очерк всего известного тогда света и является ранним произведением по географии древнего мира.

621

Бальзак; передаю общий смысл — точных слов не помню. — *(Примеч. автора)*

622

Циммерман Иоган Георг (1728–1795) — швейцарский философи врач. Имеется в виду его книга «Об одиночестве» (1756), переведённая на многие европейские языки.

623

Одиночество — прекрасная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество — прекрасная вещь *(фран.)*

624

Florem putares nare per liquidum aethere. — P. Commire. [Ты полагаешь, что цветок рождается из Текучего эфира. Отец Коммир; *(лат.*)]. — *(Примеч. автора)* Коммир Жан (1625–1702) — французский иезуит, писавший стихи на латинском языке («Собрание латинских стихов», 1678).

625

То в будущем

626

«Новое рождение». — Предвосхищая многие идеи, развитые им позднее в книге «Эврика», По обращается здесь к платоновской идее перевоплощения душ.

627

«Доселе и не доле» — слова из пьесы английского драматурга Аарона Хилла (1685–1750) «Этелуолд» (1709), д. V, сцена «Сад».

628

«Утилитаристы» — последователи буржуазной этической истории, получившей паспространение в Англии конца XVIII–XIX в. Основатель утилитаризма Иеремия Бентам (1748–1832) определял его основной критерий как «обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей» путем удовлетворения их частных интересов. При этом предполагалось, что нравственность поступка может быть математически исчислена как баланс удовольствий и страданий, полученных в его результате.

629

Великое «движение» — обычно так именовался американский трансцендентализм.

630

Музыке (греч.).

631

«Трудно найти лучший (метод воспитания), чем тот, что уже найден опытом столь многих веков; его можно вкратце определить как состоящий из гимнастики для тела и музыки для души». — Платон. «Государство». Кн. 2. — Примеч. автора.

632

«По этой причине музыкальное образование чрезвычайно важно, ибо оно дает Ритму и Гармонии проникнуть в душу как можно глубже, полня ее прекрасным и наделяя человека чувством прекрасного; он будет любоваться прекрасным и восхвалять его; с восторгом примет его к себе в душу, обретет в нем пищу для души и сольет с ним свое существование». — Там же. Кн. 3.

Музыка (μονσιχή) у афинян значила гораздо более, нежели у нас. Она обнимала не только гармонию ритма и мотива, но и поэтический стиль, чувство и творчество — все в самом широком смысле слова. Изучение музыки для них являлось фактически общим развитием вкуса чувства прекрасного — в отличие от разума, изучающего только истинное. — Примеч. автора.

633

Паскаль Блез (1623–1662) — французский учёный и философ. Его основной философский труд «Мысли» был издан посмертно в 1669 г. Приводимые По слова содержатся в главе IX, раздел 4.

634

Что всякое наше рассуждение готово уступить чувству (фр.).

635

От греческого ιστορετν — созерцать. — Примеч. автора.

636

Слово «пурификация» (очищение), видимо, соотнесено здесь с греческим корнем πύρ — «огонь».

637

Ретина — сетчатая оболочка глаза, воспринимающая световые раздражения.

638

Торрес Томас де Лас — испанский поэт, автор книги «Рассказы в стихах» (1828).

639

Меланхтон Филипп (1497–1560) — немецкий богослов-протестант, сподвижник Мартина Лютера.

640

«Война мышей и лягушек» («Батрахомиомахия») — древнегреческая героикомическая поэма, одно время ошибочно приписывавшаяся Гомеру.

641

Ла Сен Пьер (1590–1636) — итальянский писатель и филолог.

642

Гюго Якобус (XVII в.) — французский теолог.

643

Эвней — царь Лемноса, привозивший, как рассказывает в «Илиаде» Гомер, для греков под Трою вино и припасы и скупавший у них военную добычу.

644

Кальвин Жан (1509–1594) — религиозный деятель Реформации, основатель кальвинизма.

645

Антиной — в «Одиссее» Гомера самый наглый из женихов Пенелопы; убит Одиссеем.

646

Лотофаги — согласно Гомеру, мифический народ, питающийся лотосами.

647

«Допотопные» — поэма американского писателя Джеймса Макгенри (1785–1845). «Допотопные, или Погибший мир» (1839), на которую По в феврале 1841 г. опубликовал рецензию в том же журнале, где появился этот рассказ.

648

Поухатан (ок. 1550–1618) — вождь союза индейских племен, известный по имени своего племени. Его собственное имя было Вахунсонакоок.

649

«Робин-Бобин» — английская детская песенка.

650

«Даун-Истер» — в американской литературе прозвище глупого и неуклюжего янки. В 1833 г. американский писатель Джон Нил выпустил роман под таким названием.

651

«Североамериканское трехмесячное обозление» — имеется в виду известный американский журнал консервативного толка «Североамериканское трехмесячное обозрение», издававшийся с 1815 по 1940 г.

652

Правонарушение мертвого неподсудно *(лат.)*.

653

Законы двенадцати таблиц — сборник древнейших римских законов, написанный в 451–450 гг. до н. э. на двенадцати таблицах специально избранными для того законодателями.

654

О мертвых ничего, кроме хорошего (лат.) — Диоген Лаэртскийприписывает эти слова одному из семи древнегреческих мудрецов — Хилону (VI в. до н. э.).

655

...умер он, как собака… — По обыгрывает строчку из «Элегии на смерть бешеной собаки» в романе О. Голдсмита «Векфилдский священник» (1766), глава 17.

656

«…росла и крепла вместе с ним…» — слова из философской поэмы английского поэта А. Попа (1688–1744) «Опыт о человеке» (1732–1734), II, 135.

657

Святой Патрик (ок. 372-ок. 460) — ирландский епископ, считающийся покровителем Ирландии.

658

Пексановская бомба — изобретение французского генерала Анри-Жозефа Пексана (1783–1854), участника русского похода 1812 г., усовершенствовавшего осадную и морскую артиллерию.

659

«Поэты и поэзия Америки» — антология американской поэзии, выпущенная под редакцией Руфуса Грисволда (1815–1857) в 1842 г. и затем неоднократно переиздававшаяся. В июне 1842 г. в том же журнале, где появился этот рассказ, По опубликовал рецензию на эту антологию. В первой публикации рассказа упоминание об этой книге отсутствовало.

660

Лорд Вильям (1819–1907) — американский поэт, выпустил в 1845 г. сборник своих стихов, вызвавших резкую критическую оценку По в журнале «Бродвей джернал» 24 мая 1845 г. В первом издании рассказа был назван (вместо Лорда) Хью А. Пью, автор книги «Грамматика английского языка», на которую в июле 1841 г. По опубликовал рецензию в «Грэхемс мэгезин».

661

...диагональную полосу к его фамильному гербу... — то есть геральдический знак незаконного происхождения.

662

При сохранении особой формы душа остается неприкосновенной. — *Раймунд Луллий (лат.).*

Луллий Раймунд (1235–1315) — испанский схоласт, алхимик и поэт.

663

«Свет неизреченного» — слова из 117-й строки «Гимна временам года» (1730) английского поэта Джеймса Томсона (1700–1748).

664

Нубийский географ — имеется в виду александрийский математик, астроном и географ Птолемей (I в.), автор «Географии» в восьми книгах (издана в 1533 г.).

665

Вступают в море тьмы, чтобы исследовать, что в нем *(лат.)*.

666

Асфодель — род травянистых растений семейства лилейных с крупными цветами. В античности считался цветком смерти.

667

…гигантских сирийских змеев… — в мифологии древней Сирии существует несколько легенд об огромных змеях, опустошавших страну. Особенно известны сказания о змеях, охраняющих источники воды.

668

Геспер — то есть запад. Геспер — вечерняя звезда.

669

Певец Шираза — имеется в виду персидский поэт Саади (1184–1291), родившийся и умерший в Ширазе, городе на юге Ирана.

670

Элизиум — в античной мифологии место, где обитают души умерших. Поэтическое описание Элизиума, или Елисейских полей, дано в «Одиссее».

671

Наполни опять свой пустой стакан!
Осуши свой полный стакан! *(фр.)*.

672

…«английский славный джентльмен»… — слова английской народной песни того же названия.

673

Перье Казимир Пьер (1777–1832) — французский политический деятель. Сборник его речей был издан в 1838 г.

674

Что проку от поэта? *(фр.)*.

675

Предел *(лат.)*.

676

Поэтом рождаются, а не становятся *(лат.)*.

677

Хорсли Самуэл(1733–1806) — английский богослов, известный резкой полемикой с английским философом-материалистом и естествоиспытателем Джозефом Пристли. Ту же мысль Хорсли По приводит в своих «Пятидесяти предположениях» (№ 45), напечатанных в «Грэхеме мэгезин» в мае — июне 1845 года.

678

В кулинарии — самое сытное блюдо в меню *(фр.)*.

679

Юд Луи — повар, работавший в Англии и приобретший известность своими сочинениями о кулинарном искусстве («Французский повар», 1813).

680

Карем Мари Антуан (1784–1833) — французский кулинар, автор книги «Парижский повар, или Искусство кулинарии в XIX веке» (1833), служил у Талейрана, английского короля Георга IV, Ротшильда и др.

681

Это, безусловно, не было его слабостью *(фр.)*.

682

И всей такого рода *(лат.)*.

683

Введение *(греч.)*.

684

Радклиф, Анна (1764–1823) — английская писательница, автор готических романов «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797), действие которых происходит в Италии.

685

Салли, Томас (1783–1872) — американский художник, создатель ряда женских портретов, исполненных мягкой интимности.

686

Новалис (Фридрих фон Гарденберг, 1772–1801) — немецкий писатель-романтик. «Нравственные воззрения» — название третьей части второго тома «Сочинений» Новалиса, изданного Ф. Шлегелем и Л. Тиком (1802 и ряд последующих переизданий).

687

Нассау-стрит. — *Примеч. автора.*

Нассау-стрит — здесь и далее По дает в сносках реальные имена и названия, связанные с убийством в июле 1841 г. продавщицы одного из нью-йоркских табачных магазинов, Мэри Сесил Роджерс.

Андерсон. — *Примеч. автора.*

689

В Гудзоне. — *Примеч. автора.*

690

Уихокен. — *Примеч. автора.*

691

Пейну. — *Примеч. автора.*

692

Кроммелин. — *Примеч. автора.*

693

Нью-йоркская «Меркюри». — *Примеч. автора.*

694

Нью-йоркская «Бразер Джонатан», выходящая под редакцией Х. Хастингса Уэлда, эсквайра. — *Примеч. автора.*

Уэлд Хорацио Хастингс — американский журналист, издавал в Нью-Йорке журнал «Бразер Джонатан» (1842–1843). В своей статье «Автографы», опубликованной в «Грэхеме мэгезин» в декабре 1841 г., По посвятил Уэлду раздел.

695

Нью-йоркская «Джорнел оф коммерс». — *Примеч. автора.*

696

Филадельфийская «Сатердей ивнинг пост», редактируемая Ч. Питерсоном, эсквайром. — *Примеч. автора.*

Питерсон Чарлз Джекоб (1819–1887) — американский журналист и писатель. Был влиятельной фигурой в литературной жизни Филадельфии, редактировал несколько журналов и газет, в том числе «Сэтерди ивнинг пост». Вместе с По в 1841–1842 гг. входил в редколлегию журнала «Грэхеме ледиз энд джентлмене мэгезин».

697

Адам. — *Примеч. автора.*

698

Мирмидоняне — так называлось племя, жившее во владениях Ахиллеса, во главе которого он отправился на Троянскую войну.

699

См.: «Убийство на улице Морг». — *Примеч. автора.*

700

Односторонний, предвзятый *(лат.)*

701

Нью-йоркская «Коммершиэл адвертайзер» под редакцией полковника Стоуна. — *Примеч. автора.*

Стоун Вильям Лит (1792–1844) — американский журналист и писатель, с 1821 г. издавал журнал «Нью-Йорк коммершиел эдвертайзер». Известен также судебным процессом с Джеймсом Фенимором Купером, обвинившим Стоуна в клевете. В своей статье «Автографы» один из разделов По отвел Стоуну.

702

«Теория, опирающаяся на качества какого-либо предмета, препятствует тому, чтобы он раскрывался согласно его целям; а тот, кто располагает явлениями) исходя из их причин, перестает оценивать их согласно их результатам. Посему юриспруденция любой страны показывает, что закон, едва он становится наукой и системой, перестает быть правосудием. Нетрудно убедиться в ошибках, к которым слепая преданность принципу классификации приводила обычное право, проследив, как часто законодательным органам приходилось вмешиваться и восстанавливать справедливость, которую оно успевало утратить» *(Лендор). — Примеч. автора.*

Лендор Уолтер Севедж (1775–1864) — английский писатель, автор книги «Воображаемые разговоры» (1824–1829). Источник цитаты не установлен.

703

Нью-йоркская «Экспресс». — *Примеч. автора.*

704

Лотарио — неверный любовник в трагедии «Прекрасная грешница» (1703) английского драматурга Николаса Роу (1674–1718).

705

Нью-йоркская «Геральд». — *Примеч. автора.*

706

Нью-йоркская «Курьер энд инквайрер». — *Примеч. автора.*

707

Менэ был одним из тех, кого вначале арестовали по подозрению, но затем отпустили за полным отсутствием улик. — *Примеч. автора.*

708

«Нью-Йорк ивнинг пост». — *Примеч. автора.*

709

Нью-йоркская «Стандард». — *Примеч. автора.*

710

Сассафрас — североамериканское «укропное дерево» из семейства лавровых; из корня добывается эфирное масло.

711

Пироги и пиво — В. Шекспир. «Двенадцатая ночь», II, 3.

712

Не отсюда ли этот гнев? *(лат.)*

713

Из журнала, в котором впервые была напечатана эта статья. — *Примеч. автора.*

714

Клика злодеев здесь долго пыткам народ обрекала
И неповинную кровь, не насыщаясь, пила.
Ныне отчизна свободна, ныне разрушен застенок, Смерть попирая, сюда входят и благо и жизнь *(лат.)*

715

…Якобинского клуба в Париже. — Эпиграф взят из книги Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы» (1823).

716

Лассаль Антуан (1775–1809) — французский генерал, учавствовал в1808 г. в завоевании Наполеоном Испании.

717

Французские войска вошли в Толедо 6 мая 1808 года. В том же году Наполеон упразднил в Испании инквизицию, одним из центром которой был Толедо, но с падением Наполеона она была вновь введена и просуществовала до 1834 г.

718

«Все неправы» — комедия английского драматурга Артура Мерфи (1727–1805), премьера которой состоялась в Дрюрилейнском театре (Лондон) 15 июня 1761 г. Согласно старому поверью укус тарантула вызывает болезнь тарантизм, характеризующуюся беспрерывным и безумным танцем. Однако приведенные в эпиграфе слова отсутствуют в печатном тексте комедии А. Мерфи и, вероятно, записаны По по памяти на основе спектакля, который он видел в Нью-Йорке.

719

Форт Моултри — в этом форте По провел более года во время своей службы в армии США (с 18 ноября 1827 г. до 11 декабря 1828 г.).

720

Сваммердам Ян (1637–1680) — голландский естествоиспытатель, известный своими исследованиями насекомых. Его «Всеобщая история насекомых» (1663) была переведена с латинского на английский язык в 1758 г.

721

Жук — человеческая голова (лат.). — Считается, что По придумал своего золотого жука, похожего на череп, рассматривая один из номеров журнала «Сэтерди Мэгезин» (25 августа 1832 г.), где был изображен жук, напоминающий череп. Американские энтомологи, специально занявшиеся этим вопросом, полагают, что По соединил в своем описании приметы двух различных видов жуков, обитающих на Юге США.

722

Резкость (франц.)

723

Один (лат.)

724

Цафра — голубой пигмент, используемый для рисунков на стекле и фарфоре.

725

Кидд Вильям (ок. 1650–1701) — капитан британского флота, ставший пиратом. Арестован в Бостоне и повешен в Лондоне. По преданию, он зарыл в разных местах американского побережья, особенно в устье Гудзона, награбленные сокровища. Этой теме посвящены рассказы В. Ирвинга о кладоискателях в его книге «Рассказы путешественника» (1824).

726

Голконда — древняя столицаИндии; в Голконде гранили и полировали алмазы.

727

Испанские моря — район Карибского моря, место наибольшей активности морских пиратов.

728

«Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток главный сук седьмая ветвь восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов.» (англ.)

729

Бентам Иеремия (1748–1832) — английский философ-моралист, представитель утилитаризма. По высмеивает бентамовский утилитаризм также в рассказе «Делец» и в своих рецензиях («Питер Снук», 1836). В 1843 г., когда появился этот рассказ, в Англии было завершено издание 11-томного собрания сочинений Бентама. Упоминаемая По «иеремиада о ростовщичестве» — это трактат Бентама «Защита ростовщичества» (1787), написанный во время пребывания автора в России.

730

Нил Джон (1793–1876) — американский писатель. В издававшейся им еженедельной газете «Янки» популяризировалось учение Бентама.

731

…ему не пришлось бы проглатывать оскорблений из-за ощипанной курицы. — Платон («Государство», 266) определил человека как «двуногое без перьев». Согласно легенде, Диоген принес на лекцию Платона ощипанного петуха и сказал: «Вот человек Платона» (Диоген Лаэртский. «Жизнь и учения людей, прославившихся в философии», VI, 2).

732

«Человек рожден, чтобы плакать» — название стихотворения Роберта Бернса, написанного в 1784 г.

733

В миниатюре, в уменьшенном виде *(лат.)*.

734

Бробдингнег — страна великанов в книге Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» (1726).

735

«Флакк» — псевдоним американского поэта Томаса Уорда (1807–1873). Первый сборник его стихов («Пассейик, стихи, посвященные этой реке», 1842) вызвал резкую рецензию По в журнале «Грэхемс ледиз энд джентлменс мэгезин» (март 1843 г.), в которой он называет его «второстепенным, или третьестепенным, или вернее девяностодевятистепенным рифмоплетом».

736

Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры *(лат.)*.

737

Терпин Ричард (Дик) (1706–1739) — знаменитый английский разбойник; был пойман и повешен.

738

О'Коннел Даниел (1775–1847) — лидер либерального крыла ирландского освободительного движения.

739

Бэри Шарлотта Сьюзен Мария (1775–1861) — английская писательница, автор многочисленных романов. В молодости славилась красотой.

740

Байи — город вблизи Неаполя, известный в древности как место отдыха знатных римлян. Роскошь и легкость нравов в Байях часто отмечаются римскими писателями.

741

Исходя из общих соображений *(лат.)*.

742

…«преданий старины»… «примеров наших дней». — В. Шекспир. «Как вам это понравится», II, 7.

743

Копию *(лат.)*.

744

Прежде всего *(фр.)*.

745

Не возвратился *(лат.)*.

746

…автора «Хроник». — Имеется в виду французский историк и поэт Жан Фруассар (ок. 1337–1410). Его «Хроники» охватывают период 1325–1400 гг. и посвящены истории Франции, Фландрии, Испании, Португалии и Англии. В 1523–1525 гг. они были переведены на английский язык.

747

Условиях *(лат.)*

748

Фанатика *(итал.)*

749

Избранную часть, цвет *(франц.)*

750

Примадонну, певицу, исполняющую главную роль *(итал.)*

751

Идеал *(франц.)*

752

Осанка *(франц.)*

753

Воздушного газа *(франц.)*

754

Ткани воздушной *(лат.)*

755

Апулей Луций (II в.) — римский писатель и философ. Приводимые слова взяты, однако из «Сатирикона» Петрония (I в.), фрагмент 55.

756

Плюмажем, пучком *(франц.)*

757

«Сказав, что вы не знаете ее, в ничтожестве своемвы сознаетесь» — перефразировка стиха из «Потерянного Рая» (IV, 830) Дж. Мильтона. У Мильтона вместо «ее» — «меня».

758

Спереди *(франц.)*

759

Небрежностью *(франц.)*

760

Антарес — звезда первой звездной величины в созвездии Скорпиона.

761

Ланкло Нинон — (1615–1705) — французская куртизанка, сохранившая привлекательность до глубокой старости.

762

Долой Нинон, Нинон, Нинон —
Долой Нинон де Ланкло! *(франц.)*

763

Страны *(франц.)*

764

Изучить *(франц.)*

765

Увы! *(франц.)*

766

Вызывающим *(франц.)*

767

Наивностью *(франц.)*

768

Прием *(франц.)*

769

«Отелло» — опера итальянского композитора Джоакино Россини (1792–1868). Поставлена в Неаполе в 1816 г.

770

Над моим утесом *(итал.)*.

771

«Капулетти» — опера итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835), поставленная впервые в Венеции в 1830 г. («Капулетти и Монтекки»).

772

Сан Карло — оперный театр в Неаполе, один из самых крупных в Европе XIX в. Построен в 1737 г. и перестроен после пожара 1816 г. (партер на 1000 мест).

773

«Сомнамбула» — опера В. Беллини, поставленная впервые в Милане в 1831 г.

774

Ум человеческий постичь не может
Той радости, которой я полна *(итал.)*

775

Малибран Мария-Фелиция (1803–1836) — французская певица (контральто), автор ряда вокальныхи инструментальных произведений. В мае 1840 г. в журнале «Бэртонс джентелменс мэгезин» По напечатал рецензию на «Воспоминания и письма мадам Малибран», изданные в Филадельфии.

776

Дорогой друг *(франц.)*

777

Так вот, мой друг *(франц.)*

778

Поспешностью, готовностью *(франц.)*

779

Прекрасную Францию *(франц.)*

780

Дурацкую Америку *(франц.)*

781

Почти *(франц.)*

782

Несколько поблекших *(франц.)*

783

Вечере *(франц.)*

784

Развязкой *(франц.)*

785

Любовными письмами *(франц.)*

786

Осенью 1827 года… — В этом рассказе отразились впечатления По от кратковременного пребывания в 1826 г. в Виргинском университете (Шарлотсвилл), когда он любил совершать прогулки по окресностям.

787

Месмер Фридрих Антон (1734–1815) — австрийский врач, по происхождению швейцарец, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи «животного магнетизма», в основе которого лежало гипнотическое внушение.

788

…в 1845 году… — впервом издании рассказа было «в 1843 году».

789

Крис — изогнутый малайский кинжал.

790

Гастингс Уоррен (1732–1818) — британский генерал-губернатор Индии. За хищения и злоупотребление властью был отстранён от должности и в 1788 г. предан суду, однако палата лордов оправдала его. Одним из источников рассказа По была рецензия Т. Б. Маколея на трёхтомную биография Гастингса в «Эдинбургском обозрении» (октябрь 1841), в которой упоминается Вильям Бедлоу (1650–1680), извеестный лжесвидетель, из-за которого были казнены 35 католиков, обвинённых в государственной измене.

791

Восстание Чейт Сингха — имеется в виду восстание раджи Бенареса Шейт-Синга в 1781 г., поднятое в ответ на требование Гастингса о выплате английским колонизаторам большой суммы денег.

792

Сипаи — солдаты наемной армии, созданной англичанами вXVIII в. в Индии из местного населения.

793

...о лиссабонском землетрясении… — 1 ноября 1755 г. в течение пяти минут была разрушена столица Португалии и многие другие города, погибло около 60 000 человек.

794

...о лондонской чуме... — имеется в виду большая эпидемия чумы в Лондоне в 1665–1666 гг.

795

...в Черной яме в Калькутте... — тюрьма в форте Уильям в Калькутте, куда в 1756 году были брошены сто сорок шесть пленных англичан; за одну ночь сто двадцать три из них погибли от удушья.

796

Викторина Лафуркад — история её преждевременного погребения была опубликована в журнале «Филадельфия каскет» в сентябре 1827 г.

797

После смерти (*лат.*).

798

Бухан Уильям (1729–1805) — шотландский врач, автор книги «Домашняя медицина, или Домашний врач».

799

«Ночные мысли» — «Жалоба, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии» — дидактическая поэма английского поэта Э. Юнга (1683–1765).

800

Афразиаб (VI в.) — туранский царь, воевавший против Ирана; один из героев поэмы Фирдоуси «Шах-намэ».

801

Оксус — Аму-Дарья.

802

Месмеризм — антинаучная медицинская система, которую изучил и предложил Фридрих Месмер в восемнадцатом веке. В основе месмеризма стоит понятие о животном магнетизме. С его помощью возможно изменять состояние организма, излечивать болезни и облегчать раны, применяя гипноз.

803

Кузен Виктор (1792–1867) — французский философ-идеалист, эклектик, автор восьмитомного «Курса истории философии» (1815–1829). Утверждал, что любая философская система может быть создана из «истин», содержащихся в различных учениях.

804

Браунсон Орест (1803–1876) — американский писатель и философ, участник кружка трансценденталистов, автор автобиографической книги «Чарльз Элвуд, или Обращенный вероотступник» (1840). Один из разделов статьи По «Автографы» (1841) посвящен Браунсону.

805

Тринкуло — шут в «Буре» В. Шекспира (111,2). Говоря о Тринкуло, По допускает неточность, ибо у Шекспира речь идет о королевстве Стефана.

806

Ш-ском университете. — Очевидно, имеется в виду Виргинский университет в г. Шарлотсвилле. В 1826 г. в немучился Эдгар По.

807

Гаттерас — мыс наатлантическом побережье США (штат северная Каролина), знаменитый частыми штормами.

808

Гловер Ричард (1712–1785) — английский поэт, известный своей балладой «Дух адмирала Хозьера». В 1737 г. опубликовал эпическую поэму «Леонид».

809

Уилки Вильям (1721–1772) — шотландсий писатель, в 1757 г. опубликовал поэму «Эпигониада», основанную на четвертой книге «Илиады» Гомера.

810

Ламартин Альфонс де (1791–1869) — французский поэт-романтик, историк и политический деятель.

811

Барлоу Джоэл (1754–1812) — американский поэт, участник американской революции и похода Наполеона на Россию. Его эпическая поэма «Колумбиада» (1807)вызвала скептическое замечание По в статье «Поэтический принцип».

812

Таккерман Генри Теодор(1813–1871) — американский писатель. Имеется в виду его книга «Изабел, или Сицилия» (1839). Один из разделов статьи По «Автографы» посвящен Таккерману.

813

Гризуолд Руфус Уилмот (1815–1857) — американский писатель, журналист и составитель ряда антологий американской литературы. Вместе с По редактировал журнал «Грэхемс мэгэзин». Здесь имеется в виду его книга «Достопримечательности американской литературы» (1844), изданная под одним переплетом с часто упоминаемой у По книгой Исаака Дизраэли «Достопримечательности литературы».

814

…не критикуют… — строки из поэмы английского поэта Вильяма Каупера (1731–1809) «Задача»(1785), IV, 50.

815

Вишневая настойка *(нем.)*.

816

Неурядицы *(фр.)*.

817

Жиль Блаз — герой плутовского романа французского писателя Алена Рене Лесажа (1668–1747) «История Жиль Блаза из Сантильяны» (1715–1735). Цитируемые слова гренадерского архиепископа завершают четвертую главу седьмой книги романа.

818

«Много счастья и немного больше здравого смысла» *(фр.)*.

819

«Вездесущность бога» — христианский догмат вездесущности бога сформулирован Фомой Аквинским (1225–1274) в его трактате «Сумма теологии» (VIII, 3) и развит немецкими мистиками (Майстер Экхарт, 1260–1328).

сообща, толпой *(фр.)*.

821

здесь: недоразумениях *(фр.)*.

неуместных оговорках *(фр.)*.

823

Гор Кэтрин Грейс (1799–1861) — английская писательница. Наиболее известный ее роман «Сесил, или Приключения фата» (1841), как и другие ее книги, стали объектом пародии В. М. Теккерея. Своими сведениями о жизни лондонского аристократического общества, нашедшими отражение в романе «Сесил», она обязана Вильяму Бекфорду.

824

Бекфорд Вильям (1760–1844) — английский писатель, обладавший богатейшей коллекцией древностей, автор фантастической повести «Ватек».

825

...Булвера и Диккенса... — сравнивая английского писателя Эдуарда Джорджа Булвера-Литтона с Чарлзом Диккенсом, По писал: «Булвер при помощи искусства создал талантливое произведение; Диккенс при помощи таланта усовершенствовал нормы искусства, которые возвысят затем самую сущность искусства». Творчеству Булвера и Диккенса По посвятил несколько критических статей.

826

посмертное *(лат.)*.

827

сборища *(фр.)*.

828

скромный ужин *(фр.)*.

829

единогласно *(лат.)*.

830

«Ты еси муж, сотворивый сие!» — с этими словами обратился к царю Давиду пророк Нафан, рассказавший ему перед тем притчу о богаче, отобравшем у бедняка единственную овечку (Библия, Вторая книга Царств, XII, 7).

831

Эммонс Натаниел (1745–1840) — американский священник и теолог. Собрание его проповедей, весьма популярных в 30-е годы, было издано в 6 томах в 1842 г.

832

Уголино — в XXXIII песни «Ада» Данте рассказывается, как Уголино делла Герардеска, стоявший во главе Пизанской республики, был обвинен в государственной измене и вместе с двумя сыновьями и двумя внуками заточен в башню, где их уморили голодом (май 1289 г.).

833

…старинных театральных пьес какого-то автора… — имеется в виду «Гамлет» В. Шекспира (I, 4).

834

…сочинения слепца… — речь идет об «Илиаде» Гомера. Чоктосы — одно из племен американских индейцев, живших в низовьях Миссисипи. В 1820–1837 гг. чоктосы были насильственно переселены в резервации в Арканзасе. В повести Ф. Р. Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801) под именем Шактаса изображен юноша этого племени.

835

Из четвертой, написанной, помнится, тоже слепцом… — имеется в виду поэма Джона Мильтона «Потерянный рай» (1667).

836

Последний удар, которым добивают жертву, чтобы прекратить ее страдания *(франц.)*

837

…на родине трансценденталистов — то есть в Бостоне, главном городе штата Массачусетс, где родился глава кружка трансценденталистов Р. У. Эмерсон. По считал фразеологию трансценденталистов вычурной.

838

…римского императора, носившего это имя. — Шутка По. Оподельдок — мазь, применяемая для втирания при ревматических болях. Существует предположение, что под именем Оподельдока По высмеял американского журналиста Виллиса Гейлорда Кларка, одного из редакторов «Никербокер мэгезин», подписывавшегося псевдонимом Оллапод.

839

Ли Натаниел (1653? — 1692) — английский драматург, сошел с ума и был посажен в сумасшедший дом, откуда сбежал и кончил жизнь на улице.

840

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына… — начальные строки из поэмы Гомера «Илиада» в переводе Н. Гнедича.

841

«Напевы Матушки-Гусыни» — сборник английских стихов для детей, опубликованных впервые издателем детских книг Джоном Ньюбери (1713–1767).

842

О, свет небес, их отпрыск первородный // Священный град… — начальные строки третьей книги «Потерянного рая» Дж. Мильтона.

843

Дословно *(лат.)*.

844

«Эдинбургское обозрение» — журнал английских вигов, основанный в 1802 г. и выступавший с резкими нападками на молодую американскую литературу. Уже после смерти По «Эдинбургское обозрение» выступило со злостной клеветой на писателя (апрель 1858 г.).

845

«Ежеквартальное обозрение» — журнал английских тори, основанный в 1809 г. при непосредственном участии Вальтера Скотта.

846

Наличными *(фр.)*.

847

«Я проснулся и узнал, что я знаменит» — слова Байрона, сказанные им по поводу небывалого успеха первых двух песен «Паломничества Чайльд Гарольда», появившихся в свет 10 марта 1812 г. (эти слова приводятся в книге Томаса Мура «Письма и дневники лорда Байрона с заметками о его жизни», 1830, гл. 14).

848

Сентября 15 текущего года *(лат.)*.

849

Гиперион — в греческой мифологии один из титанов, отец Гелиоса-солнца, Эос-зари и Селены-луны. Отождествляется также с Аполлоном.

850

Псевдоним *(фр.)*.

851

Сокровище, драгоценность *(фр.)*.

852

Псевдоним *(фр.)*.

853

Здесь: точны *(фр.)*

854

«Боз» — псевдоним Ч. Диккенса, под которым были опубликованы его ранние произведения («Очерки Боза», 1836–1837).

855

Диатриба — резкая, придирчивая речь с нападками личного характера.

856

Брум — Брум приобрел известность своими речами в парламенте, которые были изданы в четырех томах в Эдинбурге в 1838 г.

857

Коббет Вильям (1762–1835) — английский публицист и политический деятель радикального направления. Его сочинения были изданы в Лондоне в 1835–1836 гг. в шести томах.

858

Кларк Льюис Гейлорд (1808–1873) — редактор американского журнала «Никербокер мэгезин» в 1834–1861 гг. В 1845 г. вышла его «Никербокеровская книга очерков», которую, очевидно, и имеет в виду По. В первой публикации этого рассказа вместо Кларка был назван американский писатель Джон Нил (1793–1876). Упоминание в этом рассказе фамилии Кларка сделало невозможным публикации произведений По в «Никербокер мэгезин», одном из крупнейших литературных журналов США в 40-е годы. Вражда По и Кларка, начавшаяся еще в 1836 г., вновь обострилась после этого рассказа и публицистических выступлений По против Кларка и его журнала в 1845 и 1846 гг.

859

Кабан *(лат.)*.

860

Куда бы ни *(лат.)*.

861

Только *(лат.)*

862

Потрясение, переворот *(фр.)*.

863

За и против *(лат.)*.

864

«Набил потуже кошелек» — перефразировка из «Отелло» (I, 3). У Шекспира Яго говорит: «Набей потуже кошелек».

865

Бюффон Жорж (1707–1788) — французский естествоиспытатель. По свидетельству современников, в частности французского государственного деятеля Эро де Сешеля (1759–1794), Бюффону принадлежат слова: «Гений — это терпение». Это высказывание приведено в книге Сешеля о его посещении Бюффона в Монбаре в 1785 г. (издана в Париже в 1800 г.).

866

Хогарт Вильям (1697–1764) — английский художник. «Гений — это усердие» — слова из его книги «Исследование красоты» (1753).

867

Склонив голову *(фр.)*.

868

Для мудрости нет ничего ненавистнее хитрости. Сенека *(лат.)*.

869

На четвертом этаже дома N 33, улица Дюно в предместье Сен-Жермен *(фр.)*.

870

Сведущи *(фр.)*.

871

Абернети Джон (1764–1831) — английский хирург. Был известен необычностью и резкостью в обращении с пациентами.

872

Ларошфуко Франсуа (1613–1680) — французский писатель-моралист.

873

Лабрюйер Жан (1645–1696) — французский писатель, сатирик-моралист. Цитата взята из его книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688), глава XI. О человеке, 99 («Вся наша беда в том, что мы не умеем быть одни»).

874

Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский писатель, историк и политический деятель.

875

Кампанелла Томмазо (1568–1639) — итальянский ученый и писатель. Его социальная утопия «Город Солнца» написана в тюрьме в 1602 г. (издана в 1623 г.).

876

Вычурные *(фр.)*.

877

Буквально: нераспределение среднего *(лат.)* — одна из классических ошибок в формальной логике.

878

В высшей степени *(фр.)*.

879

Шамфор Себастьян (1741–1794) — французский писатель, секретарь Якобинского клуба, покончил самоубийством во время якобинского террора; автор посмертно опубликованных афоризмов («Максимы и мысли», 1795), откуда и взята цитата (Шамфор. Максимы и мысли. Характеры и анекдоты. М. — Л., «Наука», 1966, с. 28).

880

«Можно побиться об заклад, что всякая широко распространенная идея, всякая общепринятая условность есть глупость, ибо она принята наибольшим числом людей» *(фр.)*.

881

Круговое движение *(лат.)*.

882

Добросовестность *(лат.)*.

883

Брайант Джейкоб (1715–1804) — английский писатель, автор книги «Новая система, или Анализ античной мифологии» (1774–1776).

884

Сила инерции *(лат.)*.

885

Легок спуск в Аверн *(лат.)*.

886

Отвратительное чудовище *(лат.)*.

887

…план такой зловещий
Достоин если не Атрея, то Фиеста *(фр.)*.

«Атрей и Фиест» (1707) — трагедия французского драматурга П. Кребийона-старшего (1674–1762). Герои пьесы — братья, жестоко мстящие один другому: микенский царь Атрей убивает детей Фиеста, Фиест соблазняет жену Атрея и проклинает его дом.

888

Симон Иохаидес(бен Иохай) (II в) — палестинский раввин. Ему приписывалось каббалистическая книга «Зохар», созданная, как было позднее установлено, в XIII в.

889

«Арабсие ночи, или Тысяча и одна ночь» — сборник арабских сказок переведённых в 1704–1717 гг. на французский язык Антуаном Галланом (1646–1717). С этого издания было сделано несколько английских переводов. По свидетельству современников, Э. По пользовался первым английским переводом с арабского, выпущенным в 1838–1841 гг. арабистом Эдвардом Вильямом Лейном (1801–1876). Упоминания арабских сказок встречаются во многих рассказах По 40-х годов («История своздушным шаром», «Повесть Скалистых гор», «Бес противоречия», «Фон Кемпелен и его открытие»).

890

Развязка *(фр.)*.

891

Лучшее — враг хорошего *(фр.)*

892

Дословно *(лат.)*.

893

…с наречием кок-неев… — имеется в виду кокни, лондонское просторечие.

894

Коралловые полипы. — *Примеч. автора.*

895

Одним из величайших природных чудес Техаса является окаменевший лес у истоков реки Пасиньо. Он состоит из нескольких сот стоящих стоймя деревьев, обратившихся в камень. Другие деревья, продолжающие расти, окаменели частично. Вот поразительный факт, который должен заставить естествоиспытателей изменить существующую теорию «окаменения». — Кеннеди.

Это сообщение, вначале встреченное недоверчиво, было впоследствии подтверждено открытием совершенно окаменевшего леса в верховьях реки Шайенн, иди Шьенн, текущей с Черных холмов в Скалистых горах.

Едва ли существует на земле более удивительное зрелище как для геолога, и с точки зрения живописности, чем каменный лес вблизи Каира. Миновав гробницы калифов, сразу же за городскими воротами, путешественник направляется к югу, почти под прямым углом к дороге, идущей через пустыню Суэц, и, проделав несколько миль по бесплодной низменности, покрытой песком, галькой и морскими ракушками, влажными, точно их оставил вчерашний прилив, пересекает гряду низких песчаных холмов, которая некоторое время тянулась вдоль его пути. Предстающее перед ним зрелище необыкновенно странно и уныло. На много миль вокруг простирается поваленный мертвый лес — бесчисленные обломки деревьев, ставших камнем и звенящих под копытами коня, как чугун. Дерево приобрело темно-бурый цвет, но полностью сохранило свою форму; обломки имеют в длину от одного до пятнадцати футов, а в толщину — от полуфута до трех; они лежат так тесно, что египетский ослик едва пробирается между ними, а выглядят так естественно, что в Шотландии иди Ирландии местность могла бы сойти за огромное осушенное болото, где извлеченные наружу стволы гниют под солнцем. Корни и сучья часто вполне сохранились, а иногда можно различить даже отверстия, проточенные под корой червями. Сохранились тончайшие волокна заболони и строение сердцевины — их можно рассматривать при любом увеличении. И все это настолько

окаменело, что способно царапать стекле и принимает какую угодно шлифовку. — «Азиатик мегезин». — *Примеч. автора.*

896

Мамонтова пещера в Кентукки. — *Примеч. автора.*

Мамонтова пещера — самая большая пещера на земле общей длиной около 240 км, вкоторой обитали ещё доисторические люди. Открытая в 1809 г. Пещера имеет подземные реки и озёра.

897

В Исландии, в 1783 году. — *Примеч. автора.*

898

«В 1766 году, при извержении вулкана Гекла, подобные тучи настолько затемнили небо над Глаумбой, находящейся более чем в пятидесяти лье от вулкана, что жителям приходилось пробираться ощупью. В 1794 году, во время извержения Везувия, в Казерте, в четырех лье от него, можно было ходить только с факелами. Первого мая 1812 года туча вулканического пепла и песка, извергнутая вулканом на острове Св. Винцента, застлала весь остров Барбадос, и там настала такая тьма, что в полдень, под открытым небом, нельзя было различить ближайшие деревья и другие предметы и даже белый платок, на расстоянии шести дюймов от глаз». — Меррей, с. 215, Phil. edit. — *Примеч. автора.*

Меррей, Хью (1779–1846) — английский географ. Цитата взята из выпущенной им в 1834 г. «Географической энциклопедии», том I, с. 215.

899

«В 1790 году, во время землетрясения в Каракасе, гранитная подпочва осела и образовала озеро диаметром в восемьсот ярдов, а глубиной от восьмидесяти до ста футов. На этом месте находилась часть леса Арипао, и деревья в течение нескольких месяцев оставались зелеными под водой». — Меррей, с. 221. — *Примеч. автора.*

900

Самая твердая сталь, какая была когда-либо изготовлена, с помощью паяльной трубки может быть превращена в неосязаемую пыль, способную легко держаться в атмосферном воздухе. — *Примеч. автора.*

901

Область Нигера. См. «Колониел мэгезин» Симмондса. — *Примеч. автора.*

«Колониел мэгезин» Симмондса — издавался в Лондоне с 1844 по 1852 г.

902

Myrmeleon, иди муравьиный лев. Слово «чудовище» одинаково применимо как к большим аномалиям, так и к малым, а эпитет «обширный» является относительным. Нора муравьиного льва обширна по сравнению с норкой обыкновенного рыжего муравья. А песчинка — это ведь тоже «камень». — *Примеч. автора.*

903

Epidendron, Flos Aeris из семейства Orehideae растет, прикрепившись только поверхностью корней к дереву или другому предмету, и не извлекает из него питательных веществ — питание ему доставляет исключительно воздух. — *Примеч. автора.*

Эпидендрон — сообщение об этом редком растении появилось в газете «Филадельфия паблик леджер» 22 июля 1839 г. В 1844 г. По печатался в этой газете.

904

Паразиты вроде удивительного Rofflesia Arnoldi. — *Примеч. автора.*

905

Шоу доказывает существование особой категории растений, растущих на теле животных, — Plantae Epizone. К ним относятся Fuei и Algae. Мистер Дж. Б. Вильяме из Салема, штат Массачусетс, подарил Национальному институту новозеландское насекомое, приложив следующее описание: «Hotte, несомненно представляющее собой гусеницу или червя, находят у подножья дерева Rata, а из головы его прорастает росток. Это необыкновенное насекомое вползает на деревья Rata и Puriri, проникает в дерево сверху и проедает его ствол, пока не добирается до корня; вылезши оттуда, оно умирает или погружается в спячку, а из его головы начинает расти росток; тело насекомого сохраняется полностью и становится тверже, чем оно было при жизни. Из этого насекомого туземцы приготовляют краску для татуировки». — *Примеч. автора.*

Шоу Иоахим Фредерик (1787–1852) — датский ботаник, автор «Географии растений» (1822).

906

В шахтах и в естественных пещерах находят род тайнобрачного fungus (грибкового), испускающего сильное свечение. — *Примеч. автора.*

907

Орхидея, скабиоза и вадлиснерия. — *Примеч. автора.*

908

«Трубчатый венчик этого цветка (Aristolochia Clematitis), оканчивающийся вверху язычком, внизу расширяется в виде шарика. Трубчатая часть усеяна внутри жесткими волосками, направленными книзу. В шарообразном расширении находится пестик, состоящий только из завязи и рыльца, вместе с окружающими тычинками. Однако, поскольку тычинки короче завязи, пыльца с них не может попасть на рыльце, ибо цветок до опыления стоит вертикально. Таким образом без посторонней помощи пыльца попадала бы на дно цветка. В этом случае Природа предусмотрела помощь в виде Tipula Pennicornis, маленького насекомого, которое проникает в трубчатый венчик в поисках меда, спускается на дно я копошится там, пока не покроется пыльцой; не находя оттуда выхода вследствие расположения волосков, которые направлены книзу и сходятся подобно проволочкам мышеловки, насекомое мечется туда и сюда и тычется во все уголки, не раз проползая и по рыльцу, на котором оставляет достаточно пыльцы для опыления; а когда цветок клонится книзу, волоски прижимаются к стенкам венчика я позволяют насекомому легко выбраться наружу». — Преподобный П. Кейт, «Система физиологической ботаники». — *Примеч. автора.*

Кейт Патрик (1769–1840) — английский ботаник. Его книга «Система физиологической ботаники» издана в Лондоне в 1816 г.

909

Пчелы — с тех пор как существуют — строят свои ячейки с такими именно стенками, в таком именно количестве и под таким именно наклоном, которые, как было доказано (путем весьма сложных математических выкладок), дают им наибольший простор, совместимый с максимальной прочностью их сооружения.

В конце прошлого столетия среди математиков возник замысел «определить наилучшую форму для крыльев ветряной мельницы, при любых возможных расстояниях от вращающихся лопастей, а также от центров вращения». Проблема эта крайне сложна, ибо требует нахождения наилучшего положения при бесконечном числе расстояний и бесконечном числе точек. Известнейшие математики много раз пробовали ее решить, а когда решение было найдено, люди обнаружили, что его можно найти в устройстве птичьих крыльев со времен первой птицы, поднявшейся в воздух. — *Примеч. автора.*

910

Он наблюдал стаю голубей, пролетавшую между Франкфуртом и территорией Индианы, шириною не менее мили; перелет продолжался четыре часа, а это, при скорости одна миля в минуту, дает расстояние 240 миль; таким образом считая но три голубя на квадратный ярд, в стае было 2230272000 голубей. — Лейтенант Ф. Холл, «Путешествия по Канаде и Соединенным Штатам». — *Примеч. автора.*

Холл Фрэнсис (ум. 1833) — английский путешественник, автор книги «Петешествия по Канаде и Соединенным Штатам в 1816 и 1817 годах», изданной в Лондоне в 1818 г.

911

Рух — в восточных легендах сказочная птица огромных размеров, которая приносила для корма своих птенцов слонов. В арабских сказках «Тысяча и одна ночь» Рух уноситСиндбада, который привязал себя к её ноге.

912

«Земля покоится на корове голубого цвета, у которой четыреста рогов». — Коран в переводе Сейла. — *Примеч. автора.*

Сейл Джордж (ок. 1697–1736) — английский востоковед, осуществивший английский перевод Корана (1734 и позднейшие переиздания).

913

Entozoa, или кишечных червей, нередко обнаруживают в мышцах и в мозгу человека. — См.: Уайет, «Физиология», с. 143. — *Примеч. автора.*

Уайет, Томас — американский естествоиспытатель, всовместно с которым По написал «Первую книгу конхиолога» (1839). Здесь имеется в виду его «Естественная история» (1839; раздел «Физиология»), которую По рецензировал в журнале «Бертонс джентлменс мэгэзин» в июле 1839 г.

914

На Западной железной дороге, между Лондоном и Эксетером, достигнута скорость в 71 милю в час. Состав весом в 90 тонн примчался от вокзала Паддингтон в Дидкот (53 мили) за 51 минуту. — *Примеч. автора*.

915

Eccaleobion (Инкубатор). — *Примеч. автора.*

Инкубатор — 23 мая 1839 г. в газете «Филадельфия паблик леджер», вкоторой одно время печатался По, была опубликована статья о выставленном в Лондоне для обозрения инкубаторе. Описание последнего сходно с тем, что мы встречаем в этом рассказе По.

916

Автоматический игрок в шахматы Мельцеля. — *Примеч. автора.*

Мельцель Иоганн Непомук (1772–1838) — немецкий изобретатель. В апреле 1836 г. По печатал в журнале «Сатерн литерери мессенджер» статью о шахматном автомате Мельцеля, демонстрировавшемся в США.

917

Счетная машина Бэббиджа. — *Примеч. автора.*

Бэббидж Джордж (1792–1871) — английский математик и изобретатель. Посвятил многие годы конструированию счетной машины, однако работа не была завершена, поскольку правительство отказалось от дальнейшего субсидирования работ в этой области.

918

Шабер, а после него сотня других. — *Примеч. автора.*

Шабер Джозеф-Бернар (1724–1805) — французский астроном, автор «Путешествия в Северную Америку» (1853).

919

Электротипия. — *Примеч. автора.*

920

Волластон изготовил для телескопа платиновую проволоку толщиною в одну восемнадцатитысячную дюйма. Увидеть ее можно было только под микроскопом.

Волластон Вильям Хайд (1766–1828) — английский химик. В 1813 г. предложил способ получать очень тонкую платиновую проволоку.

921

Ньютон доказал, что под действием фиолетового луча спектра ретина глаза колеблется 900 000 000 раз в секунду. — *Примеч. автора.*

922

Вольтов столб. — *Примеч. автора.*

923

Электрический телеграф передает сообщение моментально, во всяком случае, для любого земного расстояния. — *Примеч. автора.*

924

Электротелеграфный печатающий аппарат. — *Примеч. автора.*

925

Обычные в естественных науках опыты. Если два красных луча из двух источников света пропустить через темную камеру так, чтобы они падали на белую поверхность, а разница в их длине была 0,0000258 дюйма, их яркость удвоится. Так же будет, если разница в длине равна любому кратному этой дроби, представляющему собой целое число. Если эти кратные — 2 1/4, 3 1/4 и т. п., получаем яркость одного луча; а кратные 2 1/2, 3 1/2 и т. п. дают полную темноту. Для фиолетовых лучей мы имеем подобное явление при разнице длины в 0,000157 дюйма; те же результаты дают и все другие лучи спектра, причем разница в их длине равномерно возрастает от фиолетовых к красным.

Аналогичные опыты со звуками дают подобный же результат. — *Примеч. автора.*

926

Поместите платиновый тигель над спиртовкой и раскалите его докрасна; влейте туда серной кислоты, которая обладает чрезвычайной летучестью при обычных температурах, но в раскаленном тигле будет стойкой, и ни одна капля не испарится — ибо она окружена собственной атмосферой и не соприкасается со стенками сосуда. Если теперь добавить туда несколько капель воды, кислота немедленно войдет в соприкосновение с раскаленными стенками тигля и превратится в пары серной кислоты, притом так быстро, что одновременно уйдет и тепло воды, и на дно сосуда выпадет кусочек льда; а если поторопиться и не дать ему растаять, можно извлечь из раскаленного докрасна сосуда кусок льда. — *Примеч. автора.*

927

Дагерротип. — *Примеч. автора.*

928

Хотя скорость света составляет 200000 миль в секунду, расстояние до ближайшей, насколько мы знаем, из неподвижных звезд (Сириуса) так бесконечно велико, что его лучам требуется не менее трех лет, чтобы достичь Земли. Для более отдаленных звезд, по скромному подсчету, нужно 20 и даже 1000 лет. Таким образом, если они исчезли 20 или 1000 лет назад, они сейчас еще видны нам по свету, испускавшемуся их поверхностью 20 или 1000 лет назад. Что многие из тех звезд, которые мы ежедневно видим, уже угасли, возможно и даже более того — вероятно.

Гершель-старший утверждает, что свет самой отдаленной туманности, видимой в его большой телескоп, доходит до Земли за 3000000 лет. В таком случае для некоторых звезд, ставших видимыми благодаря инструменту лорда Росса, это должно быть по меньшей мере 20000000 лет. (Примечание Грисволда.) — *Примеч. автора.*

Об исследовании Гершелем и Россом звездных туманностей По пишет в «Эврике».

929

Глиддон — чтобыпридать рассказу видимость достоверности, По называет среди действующих лиц известного английского египтолога Джорджа Робинса Глиддона (1809–1857), который был американским консулом в Египте, а затем выступал в США с лекциями по египтологии.

930

Белки глаз *(лат.)*.

931

Сесамовидной костью большого пальца ноги *(лат.)*.

932

Отводящей мышцы *(лат.)*.

933

Скопом *(франц.)*.

934

Барнс Джон(1761–1841) — английский актёр-комик, с 1816 г. жил в США и был популярным актером нью-йоркского парк-театра.

935

Сорочку *(франц.)*.

936

Скарабей — жук, обитающий в Южной Европе и Северной африке. В Древнем Египте один из видов скарабея (скарабей священный) почитался как одна из форм солнечного божества. Его изображения служили предметами заупокойного культа, амулетами, которые клали в гробницы или внутрь мумии вместо вынутого при бальзамировании сердца.

937

Посредниками *(лат.)*.

938

Галль Франц Иосиф (1758–1828) — немецкий медик, основатель френологии.

939

Шпурцгейм Иоганн Кристоф (1776–1832) — немецкий френолог. До 1813 г. работал вместе с Галлем, затем выступал с чтением лекций по френологии в Англии, Франции и США, куда переселился незадолго перед смертью.

940

Месмер Фридрих Антон (1734–1815) — австрийский врач, по происхождению швейцарец, получивший сенсационную известность своими опытами лечения болезней при помощи «животного магнетизма», в основе которого лежало гипнотическое внушение.

941

Мудрецов *(франц.)*.

942

Плутарх (ок. 46-120) — древнегреческий писатель. Упоминаемый диалог «О лике, видимом на Луне» характерен для астрономических воззрений греков.

943

«О лике, видимом на луне» *(лат.)*.

944

Диодор Сицилийский (ок. 80–29 до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Исторической библиотеки», в которой излагается всемирная история от древнейших времен до 60 г. до н. э.

945

Боулинг-Грин — сквер в центре Нью-Йорка.

946

Азнак — вымышленное название.

947

Карнак — селение в Египте (около столицы древнего Египта, города Фив), знаменитое развалинами храма, постройка которого восходит к XX в. до н. э.

948

Большой Оазис (Эль-Харга) — крупнейший из египетских оазисов, расположен в Ливийской пустыне. Древние колодцы этого оазиса достигают глубины 120 м. От римской эпохи сохранились акведуки и руины дворцов.

949

Вдоволь *(лат.)*.

950

…деспотию, такую гнусную и невыносимую, какой еще свет не видывал. — История с египетскими провинциями, провозгласившими себя свободными и принявшими конституцию, является сатирической аллегирией истории американской буржуазной демократии, выродившейся после американской революции в деспотию доллара и наживы.

951

...на изобретении Герона, дошедшем до нас благодаря Соломону де Ко. — Греческий инженер и ученый Герон из Александрии в своей книге «Пневматика» (ок. 130 г. до н. э.) описал устройство паровой турбины. Влияние сочинений Герона прослеживается в Европе до эпози Возрождения, когда французский инженер Соломон де Ко (1576–1626) в 1615 г. предложил идею усовершенствованного парового двигателя.

952

Брандрет Джозеф (1746–1815) — английский врач.

953

Ойнос — вино (греч.).

954

Агастос — идеальный (человек) (греч.).

955

Только вначале оно творило. — Согласно учению деизма, существование бога признаётся в качестве первопричины мира. Будучи сотворён, мир затем предоставлендействию своих собственных законов.

956

Микроскопических существ *(лат.)*

957

…небесные Интеллекты. — Вероятно, По имеет в виду учение Данте об Интеллектах, которых в «просторечии люди называют Ангелами» («Пир», II, 4). Данте следовал взглядам неоплатоников и полагал, что чисто интеллектуальные субстанции вполне отделимы от материи.

958

Перводвигателей (лат.).

959

Френолог — сторонник френологии, антинаучного учения о связи психических свойств человека со строением поверхности его черепа. Основателем френологии был немецкий медик Франц Иосиф Галль (1758–1828). В марте 1836 г. в журнале «Сатерн литерери мессенджер» По рецензировал книгу некой Л. Майлс «Френология».

960

Каббала — средневековое религиозно-мистическое учение, поличившееераспространение в среденаиболее фанатичных представителей иудаизма.

961

До и вне опыта (лат.).

962

Первопричин (лат.).

963

Шпурцгейм Иоганн Кристоф (1776–1832) — немецкий френолог. До 1813 г. работал вместе с Галлем, затем выступал с чтением лекций по френологии в Англии, Франции и США, куда переселился незадолго перед смертью.

964

После опыта (лат.).

965

Побудительная причина (франц.).

966

Мотивированный (искаж. нем.).

967

замок *(фр.)*.

безумия *(греч.)*.

969

недоразумений *(фр.)*.

970

щадят *(фр.)*.

971

доказательство посредством приведения к нелепости *(лат.)*.

972

здесь: под бархатным соусом *(фр.)*.

973

столовую *(фр.)*.

974

старого двора *(фр.)*.

975

...сынов Енаковых — согласно библейской легенде, племя исполинов в Палестине (Библия. Числа, XIII, 34).

976

причудливого, странного *(фр.)*.

977

ничему не удивляться *(лат.)*.

978

Тысяча извинений, мамзель! *(фр.)*.

979

страшное, нечто огромное, жуткое, детище мрака *(лат.)* — Вергилий. «Энеида», III, 658.

980

кусочек *(фр.)*.

981

под кошку *(фр.)*.

982

проказник *(фр.)*.

983

Брум — Сравнивая знаменитых античных ораторов с современными (в феврале 1837 г. По опубликовал в «Сатерн литерери мессенджер» рецензию на «Избранные речи Цицерона», изданные Чарлзом Энтоном), По писал в «Демократик ревью» в декабре 1844 г.: «Эффект, производимый речами Демосфена, был сильнее, чем тот, который достигает современное ораторское искусство. Это, однако, не противоречит тому, что современное красноречие выше греческого… Лучшие филиппики греков были бы освистаны в палате лордов, в то время как экспромты Шеридана и Брума покорили бы все сердца и умы Афин».

984

безделица *(фр.)*.

985

концерт *(ит.)*.

здесь: в зародыше *(ит.)*.

987

«Янки Дудл» — популярная народная американская песенка эпохи войны за независимость (1775–1783).

988

беспорядочно, в одну кучу *(фр.)*.

989

Бабуин — крупная обезьяна рода павианов.

990

Месмеризм — антинаучная медицинская система, которую изучил и предложил Фридрих Месмер в восемнадцатом веке. В основе месмеризма стоит понятие о животном магнетизме. С его помощью возможно изменять состояние организма, излечивать болезни и облегчать раны, применяя гипноз.

991

в состоянии агонии *(лат.)*.

992

«Судебной библиотеке» *(лат.)*.

псевдонимом *(фр.)*.

994

«Валленштейн» — драматургическая трилогияФридриха Шиллера: «Лагерь Валленштейна» (1798), «Пикколомини» (1799) и «Смерть Валленштейна» (1799).

995

Рандолф Джон (1773–1833) — американский политический деятель. Карикатуристы времен По изображали его с тонкими паучьими ногами.

996

ясновидения *(фр.)*.

997

дословно *(лат.)*.

998

В ту пору, когда Нью-Йорк посетила свирепая эпидемия холеры… — Имеется в виду эпидемия холеры начала 1830-х годов, распространившаяся из Европы на Северную Америку.

999

Никто не оскорбит меня безнаказанно! *(лат.)* — Девиз рыцарского ордена Чертополоха, основанного в 1687 г.

1000

Вольные каменщики, или масоны — религиозно-мистическоедвижение, возникшее в странах Европы в XVIII в. и призывавшее к объединению людей на началах братской любви. В Италии масонская ложа была создана в 1763 г.

1001

…в обширных катакомбах, проходящих под Парижем. — Парижские катакомбы были римскими каменоломнями и имеют протяженность свыше 30 км. Со временем в них стали переносить кости с уничтожаемых кладбищ, а также сбрасывать тела убитых и казненных. При осмотре парижских катакомб показывают галерею с костями, что и имеет в виду По.

1002

Да почиет в мире! *(лат.)* — Формула католической погребальной службы, а также надписи на могильных камнях.

1003

Флетчер Джайлас (ок. 1585–1623) — английский поэт. Цитата взята из его поэмы «Христова победа и торжество на небесах и на земле над смертью» (1610), сюжет которой, основанный на евангельском рассказе, предвосхищает «Возвращенный рай» Мильтона.

1004

Перфекционисты — последователи религиозного учения Джона Хамфри Нойса (1811–1886). Община перфекционистов, или «библейских коммунистов», возникла в США в 1831 г. Они призывали к всеобщему миру и христианскому согласию.

1005

Предпринятых задним числом *(лат.)*.

1006

Случай, подобный вымышленному здесь, не так давно произошел в Англии. Фамилия счастливого наследника — Теллусон. Впервые я увидел сообщение об этом в «Путевых заметках» принца Пюклера-Мускау, который пишет, что унаследованная сумма составляет девяносто миллионов фунтов, и справедливо замечает, что «в размышлениях о столь обширной сумме и о службе, которую она может сослужить, есть даже нечто возвышенное». Для соответствия со взглядами, исповедуемыми в настоящем рассказе, я последовал сообщению принца, хотя оно и непомерно преувеличено. Набросок и фактически первая часть настоящего произведения была обнародована много лет назад — до выхода в свет первого выпуска восхитительного романа Сю «Вечный жид», на идею которого, быть может, навели записки Мускау. — *Примеч. автора.*

Теллусон Питер (1737–1797) — английский купец, который завещал, чтобы доход от его собственности накапливался в течение жизни его детей, внуков и правнуков, родившихся до его смерти, а затем передан оставшимся в живых наследникам. В 1798 г. это завещание было признано правомочным, однако уже в 1800 г. британский парламент принял закон, запрещающий накопление собственности по наследству более 21 года после смерти завещателя.

Пюклер-Мускау Герман Людвиг Генрих (1785–1871) — немецкий писатель, автор ряда книг о путешествиях, из которых наиболее известны «Записки покойника» (1830–1831).

Сю Эжен (1804–1857) — французский писатель. Его роман «Вечный жид» был опубликован в 1844–1845 гг., через два года после первой публикации этого рассказа, где упоминание о нем отсутствовало.

1007

Произведений искусства, редкостей *(шт.)*.

1008

…«немым и бесславным?» — слова из «Элегии, написанной на сельском кладбище» (1751) английского поэта Томаса Грея (1716–1771).

1009

Клод. — Имеется в видуфранцузский живописец Клод Лоррен (1600–1682), создатель возвышенно-прекрасных образов природы, проникнутых элегическим чувством.

1010

Аддисон Джозеф (1672–1719) — английский писатель, создатель нравоописательных очерков. Упоминаемая далее его трагедия «Катон» отличается риторичностью.

1011

«Ад» — первая часть божественной комедии Данте, создававшейся с 1307 по 1321 г.

1012

Тимон(V в. до н. э.) — афинянин, известный своей мизантропией, упоминается многими античными писателями. Ему посвящена также драма В. Шекспира «Тимон Афинский» (1607).

1013

Арнгейм — город в Голландии, на правом берегу Рейна, прославившийся живописностью окружающего ландшафта.

1014

Фонтхилл — знаменитый замок в юго-западной части Англии, построенный английским писателем Вильямом Бекфордом (1760–1844) в 1796–1807 гг. в готическом стиле. Роскошь Фонтхилла вошла в пословицу.

1015

Фурлонг — английская мера длины, равная 201 метру.

1016

То в будущем (греч.).

1017

Мартин Ван Бюрен Мэвис — обычная для По контаминацияимен. Имеется в иду американский шарлатан-спирит Эндрью Джексон Дэвис (1826–1910), лекции которого о месмеризме Попосещал в Нью-Йорке. Поскольку Дэвиса звали именем седьмого президента США Эндрью Джексона (1767–1845), По иронически называет его именем восьмого президента США Мартина Ван-Бюрена (1792–1862).

1018

Покипси — горд на берегу реки Гудзон в штатье Нью-Йорк. Основан голландцами в 1698 г. В этом городев 1843 г. Эндрью Дэвис слушал лекции о «животном магнетизме» и сам «обрел дар ясновидения».

1019

Море мрака (лат.).

1020

Сброда (франц.).

1021

Твердую землю (лат.).

1022

Скуки (франц.).

1023

Фурже — то есть французский социалист-утопист Шарль Фурье (1772–1837).

1024

Арис Тоттль — то есть Аристотель. Отдельные пародийные элементы рассказа заимствованы из поэмы в прозе По «Эврика», где говорится о «турецком философе по имени Арис и фамилии Тоттль».

1025

Хорзе — то есть американский изобретатель телеграфного аппарата Самуэл Морзе (1791–1872).

1026

Времена меняются (лат.) — начало афоризма уэльского писателя Джона Оуэна (ок. 1560–1622) из первой книги его латинских «Эпиграмм» (1606). «Времена меняются, и мы изменяемся вместе с ними» (эпиграмма 58). Обычно цитируется как латинская пословица, приписываемая римскому императору ЛотарюI (ок. 795–855).

1027

Брин…Дрин — имеется в виду Чарлз Грин.

1028

Ученых (франц.).

1029

Невклид — то есть древнегреческий математик Эвклид (III в. до н. э.).

1030

Кэнт — то есть немецкий философ И. Кант.

1031

Природными данностями (лат.).

1032

Вещах в себе (лат.).

1033

Хогг Джеймс (1770–1835) — шотландский писатель, печатавшийся в журнале «Блэквудс мэгезин» под псевдонимом «Эттрикский пастух». У По каламбур, основанный на том, что «хог» по-английски значит «свинья». Таким же образом обыгрывается далее фамилия английского философа Фрэнсиса Бэкона.

1034

Явлениях (лат.).

1035

Ничто не происходит из ничего (лат.) — древнегреческий афоризм; встречается в «Сатирах» (III, 84) римского поэта Персия (34–62).

1036

Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский экономист и философ. В своем главном труде «Система логики» (1843), который имеется в виду в рассказе, Милль разрабатывал индуктивную логику. Взгляды Милля По подвергаеткритике в «Эврике».

1037

Зерон и Геллофагабал — имеются в виду римские императоры Нерон (37–68) и Гелиогабал (218–222).

1038

Мадлер — имеется в виду немецкий астроном Иоганн ГенрихМедлер (1794–1874), создатель теории «центрального солнца» (1846), согласно которой центр гравитации Галактики якобы расположен в Плеядах у звезды Альционы. Несостоятельность теории Медлера доказана в 1859 г. русским астрономом М. А. Ковальским, однако По еще в 1848 г. в «Эврике» подверг критике теорию Медлера.

1039

Племя Никербокеров — обозначение старожилов Нью-Йорка голландского происхождения (в XVII в. Нью-Йорк был голландской колонией Новый Амстердам). Название происходит от имени вымышленного историка, от лица которого Вашингтон Ирвинг выпустил свою «Историю Нью-Йорка» (1809).

1040

Корнваллис Чарлз (19738-1805) — английский военачальник, сражался против американцев в войне за независимость США. 19 октября 1781 г. капитулировал в Йорктауне перед объединенными американскими и французскими силами, которые возглавлял Джордж Вашингтон.

1041

Бентон Томас Харт (1782–1858) — американский государственный деятель, сенатор от штата Миссури (1821–1851), отстаивавший интересы Запада и выступавший против Южных штатов. В свое время был известен также, как писатель-мемуарист.

1042

…Джон, кузнец… — каламбур По. Имеется в виду капитан Джон Смит (1580–1631), один из первых колонизаторов Северной Америки.

1043

…Захарий, портной… — каламбур По. Имеется в виду Захарий Тейлор (1784–1850), ставший в результате выборов 1848 г. двенадцатым президентом США.

1044

король… — В основу рассказа лег случай при дворе французского короля Карла VI (1380–1422), о котором рассказывается в главе 138 «Хроник» Жана Фруассара (ок. 1337–1410). Отрывок из «Хроник», в котором рассказывается, как на короле загорелась маскарадная одежда, был в феврале 1845 г. напечатан в «Бродвей джорнэл», где сотрудничал По.

1045

Редкая птица на земле *(лат.)*

1046

«Задиг, или Судьба» (1748) — философская восточная повесть Вольтера, полная тонкой язвительной иронии.

1047

Араго Доминик Франсуа (1786–1853) — французский ученый, блестящий популяризатор науки, отличавшийся широтой своих научных интересов.

1048

«Журнал Простака». — Имеется в виду журнал «Американ джорнэл оф сайенс энд артс», издававшийся с 1818 г. американским журналистом и писателем Бенджамином Силлименом (1779–1864). «Силлимен» по-английски означает «простак».

1049

Лейтенант Мори — американский ученый МэтьюФ. Мори (1806–1873), научно-популярные статьи которого пользовались большим успехом в 40-е гг. XIX в.

1050

Кемпелен Вольфганг (1734–1808) — австрийский механик, венгр по происхождению, изобретатель автоматов. Особую известность приобрел своими «шахматными машинами», однако позже выяснилось, что внутри автомата был спрятан карлик, владевший искусством шахматной игры.

1051

Дэви Хамфри (1778–1829) — английский химик. Открыл опьяняющее действие закиси азота при вдыхании (веселящий газ). В 1839–1841 гг. было издано собрание его сочинений в девяти томах.

1052

Поскольку мы не располагаем необходимыми алгебраическими символами и поскольку «Дневник» можно найти в библиотеке Атенеума, мы опускаем здесь некоторую часть рукописи мистера По. — *Издатель.*

1053

Дрейпер Джон Вильям (1811–1882) — американский ученый, с 1837 г. профессор химии в Нью-Йоркском университете.

1054

«Семейный журнал» — американский еженедельник, основанный в 1846 г. Наталиэлем Уиллисом (1806–1867) и Джорджем Моррисом (1802–1864).

1055

Многое *(нем.)*.

1056

«Литературный мир» — американский еженедельник, основанный в феврале 1847 г. в Нью-Йорке братьями Эвертом (1816–1878) и Джорджем (1823–1863) Дайкинками и Чарлзом Хоффманом (1806–1884). Выходил до 1853 г.

1057

Если мы не ошибаемся, изобретателя этого автомата звали не то Кемпелен, не то фон Кемпелен, не то как-то вроде этого. — *Издатель*.

1058

Добродушием *(фр.)*.

1059

Чердак, мансарда *(фр.)*.

1060

Антимоний — старинное название сурьмы.

1061

С крупицей соли, то есть с осторожностью *(лат.)*.

1062

Без перемен *(лат.)*.

1063

…последними событиями в Калифорнии… — Настоящий рассказ написан как сатирана «золотую лихорадку» в Калифорнии, где в 1848 г. было открыто золото. В письме в Эверту Дайкинку от 8 марта 1849 г. По писал, что выдумке поверили и «это вызовет хотя бы временную приостановку золотой лихорадки».

1064

«Мудрецы пришли с Востока» — популярный в начале XIX в. афоризм («Чем дальше мы движемся на Запад, тем больше убеждаемся, что мудрецы пришли с Востока»), приписываемый обычно английскому юристу Вильяму Дэви (ум. 1780).

1065

О темпора! О Мориц! — искаженная латинская цитата: O tempora! O mores! (О времена! О нравы!). Это выражение часто употреблял в своих речах Марк Туллий Цицерон (106 — 43 до н. э.), например в первой речи против Луция Катилины (108 — 62 до н. э.), заговор которого против республики разоблачил Цицерон.

1066

«И ... покончим с Букингемом!» — цитата из «Ричарда III» (1700), IV, 3 английского драматурга Колли Сиббера (1671–1757), который переделал одноименную пьесу Шекспира.

1067

живописным *(ит.)*.

1068

Здесь: поворотом *(фр.)*.

1069

Сальватор — имеется в виду итальянский художник Сальватор Роза(1615–1673), известный своими пейзажами.

1070

Сассафрас — североамериканское «укропное дерево» из семейства лавровых; из корня добывается эфирное масло.

1071

Катальпа — род растений семейства бигноновых. Деревья этих видов распространены в Северной Америке.

1072

...все арабские благовония. — ср. В. Шекспир. «Макбет». V, 1.

1073

Мастиф — порода собак.

1074

Ватек — герой одноименной фантастической повести В. Бекфорда (см. примечание 3 к рассказу «Ты еси муж, сотворивый сие!»). Издана на французском языке в 1782 г., на английском в 1786 г. Описание адской террасы, увиденной Ватеком, см. в книге: Г. Уолпол, Ж. Казот, У. Бекфорд. Фантастические повести. Л., изд-во «Наука», 1967, стр. 221.

1075

по архитектуре являл собою нечто, неведомое в летописях земли *(фр.)*.

1076

преувеличено *(фр.)*.

1077

Трупиал — птица черного цвета отряда воробьиных.

1078

...сердце сердца — В. Шекспир. «Гамлет», III, 2.

1079

Жюльен, Пьер (1731–1804) — французский художник и скульптор.

трехцветные *(фр.)*.

1081

Астральная лампа — лампа, свет которой падает сверху.

1082

Норланд — историческая область на севере Швеции.

1083

Томас Уиллис Уайт (1788–1843) — ричмондский печатник, в типографии которого с августа 1834 г. печатался журнал «Сатерн литерери мессенджер», редактировавшийся в 1835–1837 гг. Эдгаром По.

1084

изложение, отчет (фр.)

1085

пристрастие к кубку (лат.)

1086

Кергелен Тремарек Ив (1745–1797) — французский мореплаватель.

1087

Кук Джеймс (1728–1779) — английский мореплаватель, совершивший три кругосветных путешествия. Пытаясь найти Южный материк, Кук проплыл вокруг Южной полярной области.

1088

Джеймс Уэддел (1787–1834) — английский мореплаватель, совершивший в 1819–1824 гг. ряд путешествий в Южные моря, открывший несколько островов, автор книги «Путешествие к Южному полюсу в 1822–1824 гг.» (1825).

1089

Моррел Бенджамин (1795–1839) — американский мореплаватель, в 1822–1824 гг. на шхуне «Оса» совершил плавание а Южные моря.

1090

по Фаренгейту

1091

Рейнольдс Джереми (1799–1858) — американский полярный исследователь. По неоднократно писал о нем в своих критических статьях в связи с путешествиями в Южные моря.

1092

Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) — русский мореплаватель, адмирал. Руководитель первого русского кругосветного плавания (1803–1806), во время которого были открыты многие острова. Экспедиция состояла из двух кораблей. Капитаном второго был Юрий Федорович Лисянский (1773–1837).

1093

Биско Джон — английский мореплаватель, совершивший плавание в Южные моря в 1830–1831 гг.

1094

завтрак (фр.)

1095

Кювье Жорж (1769–1832) — французский естествоиспытатель. Имеется в виду его книга «Записки об истории и анатомии моллюсков» (1817).

1096

северное полярное сияние (лат.)

1097

…разверзается бездна… — По следует здесь теории Джона К. Симмса.

1098

...нашего журнала — то есть «Бертонс джентлменс мэгезин», где публиковалась настоящая повесть.

1099

Флора Северной Америки *(лат.)*.

1100

Описание американских дубов *(фр.)*.

1101

Мишо Андре (1746–1802) — французский ботаник и путешественник. В 1785–1797 гг. путешествовал по Северной Америке, в результате чего появились его книги «Описание дубов Северной Америки» (1801) и «Флора Северной Америки» (1803).

1102

Джефферсон Томас (1743–1826) — президент США в 1801–1809 гг., содействовал исследованию западных районов Северной Америки и расширению территории США за счет этих земель. Так, в 1803 г. к США была присоединена Луизиана.

1103

Льюис Мериветер (1774–1809) — американский путешественник. В 1804–1806 гг. вместе со своим другом Вильямом Кларком совершил путешествие по индейской территории, отчет о котором напечатан в 1814 г.

1104

Эннепен Луи (1640–1710) — французский миссионер-иезуит, первым из европейцев посетивший в конце XVII в. районы Миннесоты и Иллинойса.

1105

«Астория» — книга Вашингтона Ирвинга (1783–1859) «Астория, или Анекдоты одного предприятия по ту сторону Скалистых гор» (1836), оказала определенное воздействие на «Дневник Джулиуса Родмена». В январе 1837 г. в журнале «Сатерн литерери мессенджер» По напечатал рецензию на «Асторию».

1106

Карвер Джонатан (ок. 1725–1780) — американский путешественник. В 1778 г. в Лондоне под его именем вышла книга «Путешествия по индейской территории Северной Америки в 1766, 1767 и 1768 годах», авторство которой в дальнейшем оспаривалось.

1107

Маккензи Александр (ок. 1755–1820) — канадский путешественник, автор книги «Путешествия по реке Св. Лаврентия и через Северную Америку к Ледовитому и Тихому океанам» (1801).

1108

Хирн Самюэл (1745–1792) — английский путешественник, исследователь Канады.

1109

Уитворт Ричард — сведения о путешествии Уитворта с Карвером почерпнуты По из «Астории» Ирвинга (гл. 3).

1110

Фробишер Джозеф (1740–1810) — английский путешественник и купец.

1111

Ледьярд Джон (1751–1789) — американский путешественник, принимал участие в 1776 г. в третьей экспедиции английского мореплавателя Джеймса Кука (1728–1779). В 1787 г. совершал путешествие по Сибири, но был арестован и выслан из России.

1112

Пайк Зебулон Монтгомери (1779–1813) — американский путешественник, исследовавший течение Миссисипи и Арканзаса.

1113

Томпсон Давид (1770–1857) — американский путешественник, исследовавший в 1797–1798 гг. район реки Миссури. В 1807 г. пересек Скалистые горы и в 1811 г. исследовал бассейн реки Колумбия.

1114

Астор Джон Джейкоб (1763–1848) — американский купец; в 1811 г. основал город Астория (штат Орегон), что описано в книге В. Ирвинга «Астория».

1115

Хант Уилсон Прайс (1782–1842) — американский путешественник, возглавлявший в 1811–1812 гг. экспедицию в Канаду.

1116

Собачьей Прерии *(фр.)*.

1117

Лонг Стивен Харриман (1784–1864) — американский путешественник, исследовавший районы Канзаса, Колорадо, Северной Дакоты.

1118

Бонвиль Бенджамин (1795–1878) — американский военный инженер и путешественник. Отчет о его путешествии был выпущен В. Ирвингом в 1837 г. под названием «Скалистые горы, или Сцены, происшествия и приключения на Дальнем Западе» (в позднейших переизданиях «Приключения капитана Бонвиля»).

1119

Здесь: разъездного агента *(фр.)*.

1120

Нынешний город Сент-Чарлз. — (Редакторы «Джентлменз мэгезин»). — *Примеч. автора.*

1121

М-р Родмен не описывает себя самого; а между тем без портрета руководителя описание группы было бы неполным. «Ему было около двадцати пяти лет, — сообщает м-р Джеймс Родмен в особой приписке, лежащей сейчас перед нами, — когда он отправился вверх по реке. Это был человек сильный и подвижный, хотя и невысокий ростом — не более пяти футов и пяти-шести дюймов; плотного сложения, с несколько кривыми ногами. Лицо его было еврейского типа, губы тонкие, выражение лица сумрачное». — *(Редакторы «Джентлменз мэгезин»). — Примеч. автора.*

1122

Bamane — так американские индейцы называют корни некоторых деревьев, которыми они сшивают березовую кору для пироги.

1123

Перри Вильям Эдвард (1790–1856) — английский контр-адмирал и полярный исследователь, автор «Дневника путешествия в поисках Северо-Западного прохода» (1821 и 1824), «Путешествия к Северному полюсу» (1827).

1124

Росс Джон (1777–1856) — английский контр-адмирал и полярный исследователь, автор «Путешествия в Баффинов залив» (1819) и «Второго путешествия в поисках Северо-Западного прохода» (1835).

1125

Бэк Джордж (1796–1878) — английский полярный исследователь, автор двух книг о путешествиях в Арктику, опубликованных в 1837 и 1838

1126

Упоминаемая здесь пещера известна купцам и речникам под названием «Таверны». На утесах видны причудливые рисунки, которые некогда весьма почитались индейцами. Эта пещера, по словам капитана Льюиса, имеет в ширину 120 ф., в вышину 20, в глубину 40, а высота нависшей над нею скалы составляет почти 300 ф. Мы хотим обратить внимание читателя на то обстоятельство, что данные Мистера Родмена неизменно оказываются скромнее данных капитана Льюиса. При всей своей явной восторженности наш путешественник никогда не преувеличивает фактических данных. В этом случае, как во многих других, его указания на размеры (в полном смысле этого слова) нигде не преувеличены, как доказывается позднейшими сведениями. Мы считаем это весьма ценной чертой; и она, несомненно, внушает полное доверие к его описаниям тех мест, о которых мы знаем только с его слов. Что касается впечатлений, тут мистеру Родмену свойственно сгущать краски. Так, например, описываемую пещеру он называет очень мрачной, но эту окраску ей придает его собственное сумрачное настроение в час, когда он плыл мимо. Это следует помнить при чтении его записок. Фактов он никогда не преувеличивает; его впечатления от этих фактов могут показаться преувеличенными. Но в этих преувеличениях нет никакой фальши; все дело в чувстве, вызываемом у него увиденными предметами. Колорит, который может показаться кричащим, для него был единственно верным. — *(Редакторы «Джентлменз мэгезин»). — Примеч. автора.*

1127

Вероятно, Ла Шаррет. Дю Буа — это, несомненно, Вуд Ривер. — (Редакторы «Джентлменз мэгезин»).

1128

Сейчас установлено, что эти курганы указывают место древнего селения некогда могучего племени оттов. Почти истребленные постоянными войнами, отты отдались под покровительство племени поуни и поселились к югу от реки Платт, милях в тридцати от ее устья. — *(Редакторы «Джентлменз мэгезин»)*. — *Примеч. автора.*

1129

Утесы Совета. — *(Редакторы «Джентлменз мэгезин»)*. — *Примеч. автора.*

1130

в особенности, по преимуществу *(фр.)*.

1131

Даркоты — имеется в виду племя американских индейцев дакотов, или сиу. Во время войны за независимость США и англо-американской войны 1812 г. выступали на стороне англичан. В 1837 г. дакоты были изгнаны со своих земель восточнее Миссисипи.

1132

Озерные люди *(фр.)*.

1133

Лиственные люди *(фр.)*.

1134

Вождем рикари, который в течение зимы оказывал путешественникам много знаков дружбы.

1135

Агент Пушной Компании Гудзонова залива, ехавший в Петит Кот.

1136

Здесь мистер Родмен дает довольно подробное описание миннетари и анахауэев, называемых также вассатунами; но мы опускаем его, ибо оно мало чем отличается от других известных описаний этих племен.

1137

Вождь Ваукерасса упоминается капитанами Льюисом и Кларком, которых он также навестил. — *Примеч. автора.*

1138

лакомство *(фр.)*.

1139

в натуральном виде *(лат.)*.

1140

Вероятно, Уайт-Эрс Ривер. — *(Редакторы «Джентлменз мэгезин»). — Примеч. автора.*

1141

тайник *(фр.)*.

1142

целиком *(фр.)*.

1143

Тут имеется некоторое несоответствие, которое мы не сочли нужным исправлять, ибо мистер Родмен, быть может, и прав. Согласно Льюису и Кларку, индейцы племени миннетари называют Аматеазой не Йеллоустон, но саму Миссури. — *Примеч. автора.*

1144

Caches — это ямы, которые часто выкапывают трапперы и торговцы пушниной, чтобы на время отлучки прятать меха или другое имущество. Для этого прежде всего выбирают укромное и сухое место. Очерчивают круг около двух футов диаметром, внутри которого тщательно срезают дерн. Затем роют яму глубиною в фут, которую затем расширяют, пока она не достигнет восьми-десяти футов в глубину и шести-семи в ширину. Вырытая земля аккуратно складывается на какую-нибудь шкуру, чтобы не оставалось ее следов на траве, а по окончании работы сбрасывается в ближайшую реку или прячется как-либо иначе. Cache вся выстилается сухими прутьями и сеном или шкурами, и внутри нее можно целыми годами надежно хранить почти любое имущество, каким владеет человек в лесной глуши. Когда оно сложено в яме и тщательно укрыто бизоньими шкурами, сверху все засыпают землей, а землю утаптывают. Потом укладывают на прежнее место дерн, а точное местонахождение тайника отмечают с помощью зарубок на соседних деревьях или как-либо еще. — Примеч. автора.

1145

Покаемся! (лат.)

1146

Благое хвалю, но к дурному влекусь (лат.).

1147

выскочки (фр.).

замечтавшегося барана (фр.).

1149

Стенфилд Уильям Кларксон (1794–1867) — английский художник-маринист.

1150

Чапмен Джон Гэтсби (1808–1889) — американский художник, мастер пейзажа

1151

…где мчится Рона // Лазурная, подобная стреле. — Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда», III, 71.

1152

Кембл Фрэнсис Энн (1809–1893) — английская актриса и писательница. В 1832 г. с отцом приехала в Америку, где вышла замуж за плантатора-южанина. Имеется в виду ее «Дневник» (1835), в котором описывается жизнь на плантации в штате Джорджия.

1153

Мелроз — древний шотландский город, известный красотой окружающего ландшафта и развалинами аббатства. Изображен в романах Вальтера Скотта «Аббат» и «Монастырь».

1154

Сальватор — имеется в виду итальянский художник Сальватор Роза (1615–1673), известный своими пейзажами.

1155

Мейсон Монк (1803–1889) — английский воздухоплаватель, вместе с Ч. Грином и Р. Холлендом совершил в 1836 г. перелет на воздушном шаре из Лондона в Нассау (Германия), отчет о котором был издан в Лондоне в 1836 г. и в следующем году переиздан в Нью-Йорке.

1156

Хенсон Вильям Самюэл (1812–1888) — английский изобретатель-аэронавт, получивший в 1842 г. патент на «воздушный паровой экипаж». После ряда неудач эмигрировал в 1848 г. в США.

1157

Эйнсворт Вильям Харрисон (1805–1882) — английский писатель, автор 39 романов, в том числе романа «Джек Шеппард» (1839) о знаменитом разбойнике. На исторические романы Эйнсворта «Лондонский Тауэр» (1840) и «Гай Фокс, или Пороховой заговор» (1841) По написал две рецензии в «Грэхемс мэгезин» в марте и ноябре 1841 г.

1158

Шутка *(фр.)*

1159

Благодаря анергии одного из наших корреспондентов в Чарлстоне… — По высмеивает газеты Чарлстона, которые хвастались тем, что благодаря специальному бригу, курсирующему между Нью-Йорком и Чарлстоном, они получают нью-йоркские газеты на три дня раньше, чем по почте.

1160

Эверард Брингхерст; м-р Осборн — стремясь придать рассказу правдоподобный вид, По вводит в него якобы реальные персонажи.

1161

Бентинк Вильям Джордж Фредерик (1802–1848) — английский политический деятель.

1162

Дословно (лат.).

1163

Кейли Джордж (1773–1857) — английский изобретатель-аэронавт, «отец британской аэронавтики». С 1815 г. занимался проблемами воздушных шаров, в 1837 г. получил патент на свой воздушный шар. В 1840 г. изобрел паровой геликоптер.

1164

Грин Чарльз (1785–1870) — английский воздухоплаватель. 7 ноября 1836 г. совершил перелет на воздушном шаре из Лондона в герцогство Нассау (Германия), после чего его воздушный шар стал известен под именем «шара Нассау».

1165

Мыс Клир — юго-западная оконечность Ирландии.

1166

Котопахи — действующий вулкан в Южной Америке (Эквадор). Высота — 5896 метров.

1167

Все неизвестное кажется грандиозным (лат.).

1168

Примечание. М-р Эйнсворт не пытается объяснить это явление, вполне, однако, объяснимое. Линия, проведенная с высоты 25000 футов перпендикулярно к поверхности земли или моря, образует один из катетов прямоугольного треугольника, основание которого идет от образованного прямого угла к горизонту, а гипотенуза — от горизонта к шару. Но высота в 25 000 футов — это почти ничто в сравнении с длиной линии, уходящей к горизонту. Другими словами, основание и гипотенуза этого воображаемого треугольника так длинны по сравнению с перпендикулярным катетом, что первое и вторую можно считать почти параллельными. Таким образом, горизонт представляется аэронавту на уровне его корзины. Но, поскольку лежащая под ним точка кажется, и действительно находится, на большом расстоянии от него, она тем самым кажется лежащей значительно ниже горизонта. Отсюда впечатление вогнутости, оно сохраняется, пока высота подъема не станет настолько значительной по сравнению с расстоянием до горизонта, что кажущаяся параллельность основания и гипотенузы исчезнет. Тогда земля представится выпуклой, как оно и есть.

1169

Форт Моултри — в этом форте По провел более года во время своей службы в армии США (с 18 ноября 1827 г. до 11 декабря 1828 г.).

1170

В письме, которое сейчас лежит передо мной, Чарльз Диккенс… — По познакомился с Диккенсом в марте 1842 г. в Филадельфии. За год до встречи По напечатал рецензию на первую часть романа «Барнеби Радж», где изобретательно предугадал развитие сюжета.

1171

Годвин Уильям (1756–1836) — английский писатель, автор романа «Вещи как они есть, или Приключения Калеба Уильямса»

1172

способ действия (лат.)

1173

как к таковому (лат.)

1174

при прочих равных условиях (лат.)

1175

больше никогда (англ.)

1176

В предисловии к моим очеркам… — Речь идет о статье «Литераторы Нью-Йорка» (1846), в которой По критически разбирает твореcтво тридцати восьми своих современников.

1177

Веббер Чарлз У. (1819–1856) — писатель, получивший известность благодаря рассказам об американском Западе.

1178

Мэтьюс, Дайкинк, Хофман, Херберт — писатели и журналисты — современники По.

1179

«Разве нет у нас?..» — далее По называет имена американских прозаиков, поэтов, журналистов, участников литературной жизни 20-40-х годов, намеренно объединяя в одном ряду писателей разного дарования.

1180

Кок Эдвард (1552–1634) — видный английский юрист.

1181

Тик Иоганн Людвиг (1773–1853) — немецкий писатель-романтик. Споры о влиянии немецкого романтизма на американский не утихли до нашего времени.

1182

«Путь паломника» — аллегорический роман английского писателя Джона Беньяна (1628–1688).

1183

Фуке Фридрих де ла (1777–1843) — немецкий писатель французского происхождения. Романтическая повесть «Ундина» считается лучшим его произведением.

1184

Симмс Уильям Гилмор (1806–1870) — писатель-южанин, к произведениям которого не раз обращался в своих критических работах По.

1185

…в фаланге и в атмосфере фаланстера… — Около полугода Готорн жил в сельскохозяйственной кооперативной колонии Брук Фарм, которую, опираясь на учение утопического социалиста Ф.Фурье, основали американские трансценденталисты под Бостоном (1841–1847). Согласно Фурье, будущее общество должно состоять из первичных ячеек-коммун — «фаланг», располагающихся в огромных дворцах — «фаланстерах».

1186

…уйти из Старой усадьбы. — По обыгрывает название сборника рассказов Готорна «Мхи старой усадьбы», в связи с которым и была написана публикуемая статья.

1187

Олкотт Эймос Бронсон (1799–1888) — поэт, педагог, философ, видный деятель трансцендентализма.

1188

…удавить редактора «Дайела»… — то есть Эмерсона, редактировавшего этот орган американских трансценденталистов. Характерный пример иронико-полемических приемов, к которым в духе американской журналистики прибегал и По.

1189

Aries по-латински Баран, Овен, Косвенная подпора; tottle по-английски быть нетвердым на ногах. (Прим. К. Бальмонта).

1190

Kant — Кант; Cant — Лицемерие. (Примеч. К. Бальмонта).

1191

Hog — свинья; hoggish — свинский. (Примеч. К. Бальмонта).

1192

Хог — свинья; Рам — баран (Примеч. К. Бальмонта).

1193

Смотри рассказ «Убийство в улице Морг».

1194

Короче — поверхности сфер относятся как квадраты их радиусов.

1195

«Предельная Сфера». Сфера неизбежно предельна. Я предпочитаю тождесловие возможной случайности непонимания.

1196

Лаплас предполагает свою туманность разнородной лишь потому, что это давало ему возможность изъяснить разрыв колец: ибо, если бы туманность была однородной, они бы не разорвались. Я достиг того же следствия — разнородность вторичных сгущений зависит непосредственно от атомов — просто исходя из некоторого соображения a priori общего их предназначения — Соотношения.

1197

Я приготовится доказать, что уклоненное обращение спутников Урана есть просто уклонение перспективное, происходящее от наклонения оси планеты.

1198

«Огляди Архитектуры Неба». Письмо, приписываемое д-ру Николю, к одному другу в Америке, описано круг, по всем ежедневникам новостей, года два назад, — думается мне, приемлющее «необходимость», о которой я упомянул. В последующей лекции, однако, д-р Н., кажется, победил до известной степени необходимость и не отрекается вовсе от учения, хотя и делает вид, что подсмеивается над ним как над «чем-то чисто гипотетическим». Чем же был закон тяготения до опытов Маскелина? И кто оспаривал Закон Тяготения даже тогда?

1199

Не невозможно, что какое-нибудь непредвиденное оптическое усовершенствование откроет нам, среди неисчислимого разнообразия систем, светящее солнце, окруженное светящимися и несветящимися кольцами, внутри и снаружи, и между них обращавшиеся светящиеся и несветящиеся планеты, сопровождаемые лунами, имеющими луны — и опять эти последние имеющими луны.

1200

Необходимо понять, что я особенно отрицаю только ту часть гипотезы Мэдлера, которая касается вращения. Конечно, если никакого великого средоточного шара ныне не существует в нашей грозди, таковой будет существовать позднее. Когда бы он ни существовал, он просто будет узлом скрепления.

1201

«Колумбиада» — эпическая поэма Джоэла Барло (1754–1812), который ставил цель «внушить любовь к национальной свободе».

1202

Поллок Роберт (1798–1827) — шотландский поэт, автор религиозной поэмы «Время» в десяти книгах.

1203

Амариллида — имя прекрасной пастушки у античных поэтов (Феокрит, Вергилий, Овидий).

1204

Гравина Джованни Винченцо (1664–1718) — итальянский писатель, автор «Рассуждений о поэзии».

1205

…Венера Уранийская в отличие от Дионейской… — это противопоставление «небесной» и «земной», чувственной любви восходит к Платону («Пир»). Диона — «малозначительная» супруга Зевса.

1206

Мазеруэлл Уильям — шотландский поэт начала XIX в.